This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

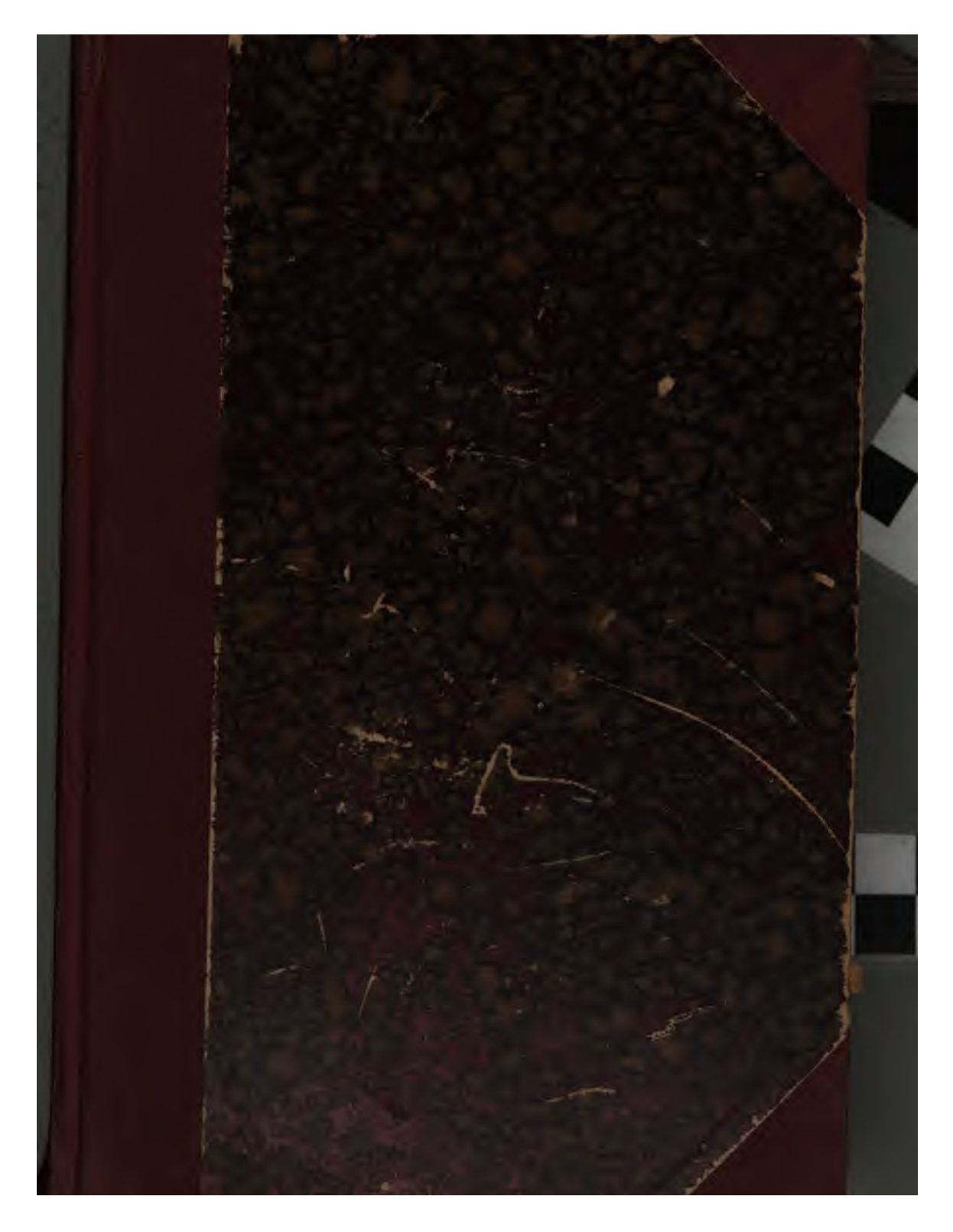
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Leskov, N. S.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРИДЦАТЬ ТРЕТІЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

891.73
L711
ed. 3a
v. 33-36

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ЮДОЛЬ.

РАПСОДІЯ.

«Совѣща Богъ смиритися горѣ и юдоліямъ исполнитися въ равенъ земную».

Варухъ, V. 7.

Теперь (съ наступленіемъ весны 1892 года) мы можемъ сказать, что мы очень благополучно пережили крайне опасное положеніе, какое подготовили намъ наше плохое хозяйство и неурожай прошлаго лѣта!.. Бѣда сошла съ рукъ сравнительно легко. Страданія поселянъ, описываемыя корреспондентами современныхъ изданій, конечно были велики и, какъ говорятъ, —«вопіютъ къ Небу»; но «ужасъ» впечатлѣнія, какое эти описанія производятъ, очень слабъ въ сравненіи съ тѣмъ, что̀ сохраняетъ въ несвязныхъ отрывкахъ память о прошлыхъ голодовкахъ, когда не было никакой гласности и никакой общественной помощи людямъ «избывавшимъ отъ глада».

О томъ, что̀ было при историческихъ голодовкахъ, упоминаемыхъ въ лѣтописяхъ и исторіи, то болѣе или менѣе извѣстно по тѣмъ описаніямъ, но у насъ были голодовки въ позднѣйшей порѣ, которую въ литературѣ принято именовать «глухою порою», — и онѣ не описывались, а потому воспоминанія объ этихъ голодовкахъ, хотя и не очень обстоятельныя, думается, были бы не излишни.

Сотрудникъ одной изъ нынѣшнихъ петербургскихъ газетъ, посѣтивши неурожайныя мѣстности Россіи зимою 1892 года,

имѣлъ случай бесѣдовать о той порѣ съ извѣстнымъ старожиломъ орловской губерніи, — помѣщикомъ и владѣльцемъ знаменитаго хрустальнаго завода генераломъ С. И. Мальцевымъ, и «генералъ, помнящій старинныя голодовки», въ разговорахъ съ упомянутымъ писателемъ «удивлялся, какъ мы далеко ушли впередъ». Въ удивленіи этомъ онъ отмѣчалъ то, что «теперь о голодѣ говоритъ вся Россія, и раньше всѣхъ на него указало само правительство». Не то было 40—50 лѣтъ тому назадъ. Тогда также случались неурожаи, но о нихъ могли знать лишь министры да развѣ сама голодающая масса. «Я тогда,—говорилъ генералъ Мальцевъ,— представилъ проектъ обезпеченія народнаго продовольствія. Императоръ Николай Павловичъ весьма сочувственно отнесся къ проекту, и я рѣшилъ напечатать его, но *ни одна типографія* не согласилась взять мою рукопись для набора...» Генералу «удалось напечатать свой проектъ только благодаря покровительству принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго». (См. *Недѣля* 19-го апрѣля 1892 г., № 16).

Съ такими необыкновенными усиліями могъ быть напечатанъ сорокъ лѣтъ тому назадъ «проектъ» о мѣрахъ противъ голода въ народѣ; но описаній, какъ люди переживали этотъ голодъ, совсѣмъ не могло появиться въ печати, и, что̀ еще удивительнѣе,—ихъ вѣроятно никто и не писалъ, потому что они не появлялись даже и въ послѣдующіе за тѣмъ годы, когда положеніе русской печати стало сравнительно немножко свободнѣе.

Во время страшнаго по своимъ ужасамъ «голоднаго (1840) года» я былъ ребенкомъ, но, однако, я кое-что помню,—по крайней мѣрѣ по отношенію къ той мѣстности, гдѣ была деревенька моихъ родителей—въ орловскомъ уѣздѣ орловской же губерніи. Значительно болѣе того, что я помню изъ тогдашняго времени, какъ непосредственный свидѣтель событій, я слышалъ многое послѣ отъ старшихъ, которые долго не забывали ту голодовку и часто обращались къ этому ужасному времени со своими воспоминаніями въ разсказахъ по тому или другому подходившему случаю.

Разумѣется, всѣ эти нынѣшнія *мои* воспоминанія охватываютъ одинъ небольшой районъ нашей ближайшей мѣстности (орловскій, мценскій и малоархангельскій уѣзды) и отражаются въ моей памяти только въ той формѣ, въ какой они могли быть доступны «барчуку», жившему подъ роди-

тельскимъ крыломъ, въ защищенномъ отъ бѣдствія господскомъ домѣ, — и потомъ воспоминанія эти такъ неполны, безсвязны, отрывочны и поверхностны, что они отнюдь не могутъ представить многостороннюю картину народнаго бѣдствія, но въ нихъ все-таки, можетъ-быть, найдется нѣчто пригодное къ тому, чтобы представить хоть кое-что изъ тѣхъ обстоятельствъ, какими сопровождалась ужасная зима въ глухой, безхлѣбной деревенькѣ сороковыхъ годовъ.

Словомъ, я рѣшился набросать на бумагу то, что уцѣлѣло въ моей памяти о давней голодовкѣ, относящейся къ той порѣ, о которой упомянулъ генералъ Мальцевъ, и, приступая къ этому, я впередъ прошу у моихъ читателей снисхожденія къ скудости и отрывочности моего описанія. Я предлагаю только то, что̀ могу вспомнить и о чемъ теперь можно говорить безстрастно и даже съ отрадою, къ которой даетъ возможность нашъ нынѣшній благополучный выходъ изъ угрожавшей намъ бѣды.

Воспоминанія мои будутъ не столько воспоминанія объ общей голодовкѣ 1840 года, сколько частныя замѣтки о томъ, что̀ случалось голодною зимою этого года въ нашей деревенькѣ и по сосѣдству.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Первыми предвозвѣстительницами горя — какъ это ни странно — были старухи, которыя видѣли нехорошіе сны. Это началось съ половины Великаго поста. Самою страшною сновидицею была наша птичница, гордая женщина изъ вольныхъ однодворокъ, по имени Аграфена Петровна. Я помню, какъ отецъ одинъ разъ, придя къ столу, за которымъ всѣ мы сидѣли у вечерняго чая, сказалъ матери, что сейчасъ, когда онъ распоряжался работами, староста Дементій объявилъ ему, что мужики боятся сѣять «яровые», потому что птичница Аграфена и другія старухи на деревнѣ «прорекаютъ голодъ», и поэтому страшно, что сѣмена въ землѣ пропадутъ.

— Но вѣдь это глупо!—возразила мать.

Отецъ пожалъ плечами и отвѣтилъ:

— Да; это не разумно, но я не могу, однако, забыть, что во время большого неурожая въ мое дѣтство у насъ объ этомъ тоже заговорили еще передъ весною и притомъ также съ бабьяго голоса, а потомъ и въ самомъ дѣлѣ вышелъ не-

урожай. Мужикамъ я, разумѣется, не позволю не сѣять пропового, и если они не захотятъ, то я засѣю ихъ поля собственными сѣменами и потомъ изъ будущаго урожая отберу у нихъ сѣмена назадъ. Я ужъ это объявилъ Дементію и приказалъ ему, чтобы повѣстилъ сновидящимъ старухамъ, которыя станутъ прорекать о голодномъ годѣ, что я этихъ пророчицъ отряжу на всю весну индѣятъ и утятъ отъ коршуновъ караулить. А тебѣ совѣтую о томъ же самомъ построже сказать Аграфенѣ, такъ какъ она всѣмъ этимъ пророчествамъ, говорятъ, самая главная заводчица.

Матушка была характера скораго и нетерпѣливаго: она сейчасъ же велѣла позвать къ себѣ Аграфену съ тѣмъ, чтобы вопросить ее: отчего она начала пророчествовать голодный годъ, и потомъ сказать ей, чтобы болѣе не пророчила.

А какъ я и братъ мой, и старшая сестра были въ это время уже просвѣщены грамотою и знали по «ста-четыремъ священнымъ исторіямъ», что пророчество есть «свыше спосылаемый даръ дивный и таинственный», то намъ, разумѣется, было въ высшей степени любопытно знать, какъ этотъ даръ спустился на нашу Аграфену, и какъ наша мать возбранитъ въ ней этому дару.

Аграфена же и сама по себѣ была личность интересная и пользовалась во дворѣ особыми правами, присвоенными ей превосходствомъ рожденія, возвышавшаго ее среди совершенно безправныхъ крѣпостныхъ людей. Аграфена, какъ сказано, была изъ людей вольныхъ и вышла замужъ за нашего крѣпостного сапожника Абрама, который вскорѣ умеръ, оставивъ ей двухъ дѣтей: сына Егорку и дочь Василису или Васёнку, которой теперь только исполнилось четыре года. Оба они, какъ рожденные отъ крѣпостного отца, были «крѣпки своему владѣльцу». Со смертью мужа Аграфена могла отъ насъ удалиться, но ради любви къ своимъ «крѣпостнымъ» дѣтямъ оставалась при нихъ и служила какъ крѣпостная, но, въ отличіе отъ крѣпостныхъ «понёвницъ», она носила красную юбку, какія въ нашемъ мѣстѣ носили однодворки, а крѣпостныя не носили. Кромѣ того, Аграфена была честна и горда,—она не сносила ни малѣйшаго подозрѣнія и считала себя въ правѣ вступаться за свою честь.

Ее надо было все «гладить по головкѣ»,—иначе она грубила.

Такъ случилось и тутъ, когда матушка позвала ее не въ урочное время изъ ея жаркой птичной избы въ покои.

Аграфена пришла недовольная и нехотя отвѣчала на вопросы, предложенные ей для претекста о сколотняхъ и пахтаньѣ, а когда матушка спросила ее: «Какіе ты видишь сны?»—Аграфена отвѣчала ей:

— Какіе приснятся.

— А зачѣмъ же ты голодъ пророчишь?

— А отчего же не пророчить? Вѣстимо ужъ, что когда хлѣба не будетъ, такъ голодъ будетъ.

— Да почему?.. Что̀ тебѣ снится... что̀ дѣлается?

— Что̀ ни снится и что̀ ни дѣлается, а все теперь будетъ къ голоду, и я съ дѣтьми пропаду... уйду отселева. И слава-те, Господи!—отвѣчала Аграфена и ничего болѣе не пояснила, а между тѣмъ слова ея тутъ же были поддержаны обстоятельствами.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Приближалось Благовѣщеніе, когда у насъ было въ обычаѣ печь при церквахъ «черныя просвиры» изъ ржаной муки, подсѣянной на чистое сито. Муку эту приходское духовенство собирало съ прихода и за сборомъ этимъ разъѣзжалъ на своей лошади высокій, старый дьячокъ, имя котораго я теперь позабылъ, но его всѣ называли «Аллилуй». Онъ во всемъ причтѣ пользовался авторитетомъ по церковному хозяйству и обыкновенно передъ праздниками обметалъ вѣникомъ иконостасъ и собственноручно мылъ полъ въ алтарѣ и чистилъ лампады, и подъ его же надзоромъ усердныя бабы *по обѣщанію* вымывали полы въ остальной церкви; онъ же и «отстрѣливалъ голубей», которые прилетали на колокольню и марали колокола; а его дьячиха—престарѣлая «Аллилуева жена», пекла «благовѣщенскія просвиры», о которыхъ надо сказать два слова въ объясненіе.

«Благовѣщенскія просвиры»—это совсѣмъ не то же самое, что обыкновенныя просфоры, которыя изготовлялись для проскомидіи. Проскомидійныя просфоры изготовлялись изъ пшеничной муки «нарочитою просфорнею» (вдовицею) и дѣлались высокенькія, столбушками, по общепринятому образцу, и печатались «именословною печатью» на верхней коркѣ, а эти,—благовѣщенскія,—дѣлались просто «кулабушками» или «катышками» изъ «черной», сборной муки и уподоблялись настоящимъ просфорамъ только тѣмъ, что наверху у нихъ тоже оттискивалась именословная печать.

Онѣ не требовались какимъ-либо церковнымъ правиломъ, а только *допускались*, или, точнѣе сказать, были терпимы во уваженіе «крѣпкой привычки народа».

Люди требовали, чтобы эти просфоры сыпали въ толпу сверху съ колокольни, и въ толпѣ ихъ ловили руками,— кто только схвѣтитъ.

При этомъ разгуливалась сила и удаль: просвиры не «по чести», а «силомъ» брали,—«кто сколько вырветъ», а оттого людямъ этотъ обычай нравился.

Просфорня-вдовица «благовѣщенскихъ просвиръ» печь не могла, потому что она была старушка слабенькая, и вымѣсить въ дежѣ большой растворъ была не въ состояніи. А потому она ѣздила только собирать на просвиры и приходила съ печатью ихъ «знаменить», но ставила ихъ и выдѣлывала Аллилуева жена.

Никакимъ обычаямъ и правиламъ это было не противно.

Въ этотъ годъ Аллилуй по обыкновенію объѣхалъ съ просфорнею прихожанъ и собралъ муки и промѣнялъ ее у мельника на муку одинаковаго размола (такъ какъ изъ сборной муки разнаго поля и неровнаго размола печь неудобно, потому что она неровно закисаетъ и трудно подходитъ), а затѣмъ Аллилуева жена растворила въ дежѣ муку и ночью подбила тѣсто, которое всходило прекрасно, какъ слѣдуетъ, а еще послѣ затопила печь и передъ тѣмъ, какъ наступила пора разваливать тѣсто и «знаменать просвиры печатью», пошла звать учрежденную вдовицу, у которой была печать; но едва она вышла со своего двора, какъ увидала мужа, безпокойно бѣжавшаго къ дому священника, съ лицомъ до неузнаваемости измѣненнымъ отъ ужаса. Дьячиха окликнула мужа и хотѣла его разспросить, но онъ сердито замахалъ на нее обѣими руками и еще сильнѣе напрягся бѣжать къ Ипполитову дому. Но такъ какъ Аллилуева жена была родомъ изъ сѣвскаго уѣзда, гдѣ уже есть «глуховскій духъ поведенціи», то-есть уже ощущается малороссійскій обычай женскаго господства въ семействѣ, то она забыла, зачѣмъ шла, а переняла Аллилуя на пути и сказала:

— Это еще что̀ за новости! Или я тебѣ не законная жена? Говори, что̀ случилось!..

Аллилуй отвѣчалъ, что случилась бѣда.

— А какая?

— А такая, что баба Дулеба стала, вымывши амвонъ, начисто воду спускать, да раскатилась и вся до половины сквозь двери въ алтарь просунулась...

— Кто же это видѣлъ?

— Никто кромѣ меня не видалъ.

— Ну, такъ и иди съ Господомъ Богомъ,—отпусти бабъ и займися самъ одинъ какимъ-нибудь дѣломъ посерьезнѣе, а на это и языкъ прикуси.

— Хорошо,—отвѣчалъ Аллилуй:—дай мнѣ чепурушечку выпить, и я взаправду послушаю тебя — прикушу языкъ.

Дьячиха налила ему чепурушечку, и Аллилуй подкрѣпился и пошелъ опять къ храму, а жена его тоже, поправясь маленькой чашечкой, вышла вмѣстѣ съ нимъ и отправилась къ учрежденной вдовицѣ,—звать ее «знаменить». Тутъ онѣ тоже между собою покалякали, и когда вышли вдвоемъ, имѣя при себѣ печать на знаменованія, то Аллилуева жена на половинѣ дороги къ дому вдругъ услыхала ни на что не похожій ударъ въ нѣсколько младшихъ колоколовъ, и тотчасъ же увидала людей, которые бѣжали къ колокольнѣ и кричали: «Аллилуй разбился!»

Несчастная женщина бросилась туда и нашла своего мужа простертымъ на землѣ и при послѣднемъ издыханіи: онъ лежалъ не дыша, съ закатившимися подъ лобъ глазами и съ окровавленнымъ ртомъ, изъ котораго торчалъ синій кусочекъ закушеннаго зубами языка.

Дѣло произошло такъ, что Аллилуй, не желая болѣе видѣть неловкихъ деревенскихъ бабъ, пошелъ исполнить другую работу и хотѣлъ очистить засиженные птицами колокола; онъ дѣлалъ это, держась за веревочки и стоя сапогами на перилахъ, съ которыхъ онъ покачнулся, упалъ и разбился до смерти. Пришелъ священникъ, отецъ Ипполитъ, по фамиліи Мирдаровъ,—далъ Аллилую такъ-называемую «глухую исповѣдь», а потомъ положилъ ему въ ротъ причастіе и тутъ же сразу прочелъ ему и отходную.

Все это было дѣломъ непродолжительнымъ, но и химическій законъ въ дежѣ съ растворенною мукою тоже не медлилъ и совершалъ безостановочно свое дѣло: назначенное для благовѣщенскихъ просфоръ тѣсто ушло изъ дежи и расползлось на полу. Въ него только ноги перепачкали люди, принесшіе Аллилуево тѣло, а просфоръ печь было не изъ чего... Весь приходъ остался безъ просфоръ, а это соста-

вляло случай въ жизни крестьянъ небывалый, потому что у насъ все были люди набожные и ни одинъ крестьянинъ не выходилъ сѣять безъ того, чтобы у него въ «сѣвалкѣ», т.-е. въ круглой лубочной коробкѣ съ зернами, не было благовѣщенской просфоры.

Теперь же первый разъ приходилось сѣять безъ просфоръ, а это добра не обѣщало. Притомъ случай съ бабой-дулебой, которая просунулась въ алтарь, тоже огласился: Аллилуева жена, когда стала въ голосъ «причитать» надъ мужниной могилой, выдала всенародно всю тайну своего пагубнаго самовластія и раскричала на весь крещеный міръ, что мужъ ея Аллилуй былъ человѣкъ праведный и не хотѣлъ утаить, что «дулеба» въ алтарь просунулась, а она его отвела отъ этого, и за то Господь покаралъ ее праведно: взялъ отъ нея совсѣмъ къ себѣ на тотъ свѣтъ Аллилуя.

Тутъ, узнавъ этакую вещь отъ Аллилуевой жены, ахнуло и все приходское христіанство, и были такія мнѣнія, что бабу-дулебу надлежитъ убить за то, что она «въ елтарь сунулась»; но дулеба, къ счастію, скоро объ этомъ услыхала и хорошо собою распорядилася, потому что пристала къ бѣглымъ, проходившимъ «въ вольный Николаевъ градъ», бывшій тогда для многихъ русскихъ людей «градомъ убѣжища». Этимъ дулеба спасла людей отъ грѣха, а себя отъ преждевременной смерти. Во всякомъ же случаѣ люди были окончательно обезкуражены какъ тѣмъ, что у нихъ въ приходѣ «баба въ елтарь вскочила», такъ и тѣмъ, что послѣ этого пришлось сѣять безъ просвиръ, — даромъ это въ судьбахъ міра пройти не могло, — и предчувствія, что годъ предстоитъ «голодный», стали переходить въ увѣренность.

О томъ, что предстоящее лѣто можетъ принести хорошій урожай, съ мужиками нельзя было и спорить: они вѣровали, что годъ будетъ голодный, и не хотѣли сѣять ни овса, ни гречи, ни проса.

— Для чего сѣять, когда все пропадетъ, и сѣмянъ не сберешь!

Въ нѣсколькихъ господскихъ имѣніяхъ такое упорство крестьянъ было строго наказано; но мужики претерпѣвали, но не сѣялись; кое-гдѣ они «скрыли сѣмена», побросавъ ихъ въ мѣшкахъ въ картофельныя ямы или овины, или спустили въ подполья избъ и въ другія скрытныя мѣста.

Мой отецъ къ крутымъ, понудительнымъ мѣрамъ не обращался, т.-е. «людей не стегалъ», какъ говорили мужики, но онъ настоялъ на томъ, что крестьяне должны были вспахать свои участки земли въ яровыхъ клинахъ и засѣяли ихъ выданными имъ заимообразными сѣменами, съ обязательствомъ возвратить сѣмена изъ урожая. Но возвращать было не изъ чего: просфорное тѣсто ушло не даромъ,—никакого урожая не было. Все посѣянное пропало.

И какъ пропало! съ какою-то злою ироніею или съ насмѣшкою, «точно шутъ сшутилъ».

Взошло все густо и сильно, всклочилось такъ, что уже на Юрьевъ день (23 апрѣля), когда скотъ выгнали первый разъ съ образами въ поле, земля была укрыта сплошною, рослою зеленью,—и зелень была такая ядреная, что ею не только наѣдались до-сыта тонкогубыя овцы, но и коровы прибавили отъ себя удоя. Къ Вознесеньеву дню грачъ въ темно-синихъ озимыхъ зеленяхъ прятался, и сообразно тому «княземъ восходилъ» брошенный «въ грязь» овесъ, и поднимались изъ земли посѣянные злаки, какъ вдругъ, въ то время, когда наступила пора разсаживать на грядахъ выращенную въ разсадникахъ капусту, стали слышаться жалобы, что «стало сушить». Разсаду и другія огородины «отливали водой», которую таскали на себѣ въ худыхъ ведрахъ бабы, а ребятишки въ кувшинчикахъ; но «было не отлиться», — сушь «лубенила землю», и послышалось ужасное слово:

— Сожгло!..

Тутъ, увидѣвъ бѣду, «ударились къ Богу», начали «звать поповъ и служить на поляхъ молебны».

Каждый день молебствовали и выносили образа, то на озимые хлѣба, то на яровые, но засуха стояла безотмѣнно.

Стали обращаться къ колдунамъ и знахарямъ—къ доморощеннымъ мастерамъ черной и бѣлой магіи, изъ которыхъ одни «наводили» что-то наговорами и ворожбою на листъ глухой крапивы и дули пылью по вѣтру, а другіе выносили откуда-то свои обглоданныя избенными прусаками иконки въ лѣсъ и тамъ передъ ними шептали, обливали ихъ водою и оставляли ночевать на деревѣ, — но дождя все-таки не было и даже прекратились росы.

Бѣда становилась неминучею... Провозглашено было «покаяніе» и объявленъ запретъ на всякія удовольствія и радости.

Веревки на вислыхъ качеляхъ, на улицѣ, закинули вверхъ, чтобы не качалися; не позволяли дѣвкамъ «водить танки́» и «играть (пѣть) пѣсни»; били ребятъ, которые играли въ казанки́ и въ свайку. Только одинъ пастухъ, «косолапый Ѳонька», имѣлъ право «вызывать на дудкѣ», но и его самодѣльная липовая дудка, вызывая коровъ, издавала слишкомъ унылые и непріятные звуки: это замѣтили, должно-быть, сами коровы и не шли на вызовъ косолапаго Ѳоньки, потому что онъ уже давно ихъ обманывалъ, и выгонялъ ихъ на поле, на которомъ имъ нечего было взять.

Въ народѣ стало усиливаться мрачное озлобленіе: мужья ни за-что и ни про-что били женъ, старики обижали ребятъ и невѣстокъ, и всѣ другъ друга укоряли хлѣбомъ и одинъ на другого все призывали «прòпасть»:—«О, нѣтъ на васъ пропасти!»

Явилась и она, явилась «пропасть»—совершилось общественное преступленіе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пришелъ откуда-то «незнамый человѣкъ»; переночевавъ у мужичка, онъ послушалъ разсказовъ о горѣ-злосчастіи отъ бездождія и сказалъ, что онъ это дѣло знаетъ, — что въ этой бѣдѣ попы не помогутъ, а надо выйти въ поле съ зажженной свѣчой, сдѣланной изъ сала опившагося человѣка, «схороненнаго на распутьѣ дорогъ, безъ креста и безъ пастыря».

«Незнамый человѣкъ» былъ запасливъ, и въ сумкѣ у него какъ разъ оказался огарокъ такой свѣчи, какая требовалась. Прежде она была у него длинная, но онъ ее уже «пожегъ во многихъ мѣстахъ», гдѣ было такое же бездождіе, и вездѣ будто тамъ «дожди пролили».

Захожему собрали съ міра яицъ и шесть гривенъ денегъ и пошли съ нимъ «молитвить» на поле ночью.

Онъ «читалъ Отчу» и еще какую-то молитву и «махалъ навкрестъ» зажженной свѣчой изъ человѣчьяго сала, и велѣлъ къ утру ждать росы, а «со полденъ тучи»,—но только чтобы «ей не мѣшать», а то она можетъ поворотить въ другую сторону.

Затѣмъ этотъ человѣкъ тутъ же и ушелъ темной ночью.

Росы къ утру не было, но о полдняхъ небо потемнѣло и начало будто тучиться. Вскорѣ и въ самомъ дѣлѣ за Дол-

гимъ лѣсомъ, принадлежавшимъ сосѣднему имѣнію, стало густѣть и появилась туча, но какая-то удивительная: вышла и стала на одномъ мѣстѣ и дальше не двигалась.

Три мужика, бывшіе на полѣ, долго не могли понять причину, почему туча не шла далѣе, но наконецъ—доглядѣлись и поняли.

Этому виноватъ былъ Егоръ Кожіёнъ, — шорникъ, который ходилъ по деревнямъ со своею работою. Онъ былъ хорошій мастеръ и отлично шилъ шлеи и хомуты, но человѣкъ былъ необстоятельный, и на выработанныя деньги пьянствовалъ иногда съ такимъ великимъ усердіемъ, что пропивалъ съ себя все и внутри себя утрачивалъ весь разумъ и тогда страдалъ отъ разнообразныхъ страховъ, безпокойно разыгрывавшихся въ его воспаленномъ мозгу.

Болѣе всего пьянаго Кожіёна преслѣдовалъ «черный быкъ», который обыкновенно стремился на него откуда-то издалеча и все хотѣлъ поднять его на рога и перекинуть черезъ свою спину въ тартарары.

Увидавъ этого хронически преслѣдовавшаго врага, Егоръ Кожіёнъ сейчасъ же отъ него бѣжалъ куда глаза глядятъ, но быкъ вдругъ неожиданно опять появлялся передъ нимъ впереди, и тогда Кожіёнъ останавливался въ ужасѣ, трясяся, махалъ руками и кричалъ: «Тпружи! тпружи!» Если ему удавалось увернуться, то онъ бросался въ противоположную сторону, а какъ и тамъ тоже появлялся тотъ же самый призракъ его больного воображенія, то шорникъ метался по полямъ изъ стороны въ сторону до тѣхъ поръ, пока гдѣ-нибудь быкъ его настигалъ, и тогда Кожіёнъ старался ужъ только о томъ, чтобы пасть ему между рогами и обхватить руками его за шею.

Это было отчаянное, но единственное средство спасенія, которое уже не разъ избавляло Кожіёна отъ смерти на рогахъ чудовища. Какъ онъ, бывало, заляжетъ у быка между рогъ, такъ тотъ его носитъ на головѣ пока измается, и тогда сброситъ его на землю, а самъ убѣжитъ, а Кожіёнъ послѣ выспится, чувствуетъ себя какъ послѣ качки на морѣ и «кунѣжится»—ищетъ, чтобы его пожалѣли: «Преставьте,—проситъ,—меня либо къ Матери Божіей—Она мнѣ заступница, либо пойдемте въ кабакъ—мнѣ цѣловальникъ въ долгъ дастъ».

Его находили недостойнымъ вести къ образу и обыкно-

венно отводили въ кабакъ, гдѣ онъ опохмелялся у знакомаго цѣловальника и поправлялся.

То же самое заходило у него и теперь, когда его примѣтили въ полѣ три мужика, наблюдавшіе тучу за Долгимъ лѣсомъ. Егоръ въ ужасѣ бѣжалъ отъ своего быка и махалъ на него руками, крича: «Тпружи! тпружи!»

Онъ бѣжалъ теперь какъ разъ противъ тучи, и ни къ кому прямѣе, какъ къ ней, относились его отгоняющіе крики и жесты, и... его не стало.

О ту пору какъ съ Кожіёномъ это въ послѣдній разъ сдѣлалось, на томъ же полѣ, гдѣ былъ онъ и три мужика, случились еще двѣ небольшія крестьянскія дѣвочки, которыя пришли на заросшую межу ломать полынь для вѣниковъ. Завидѣвъ скакавшаго и кричавшаго Кожіёна, дѣвочки испугались и залегли въ полынь, и видѣли, какъ Кожіёнъ упалъ на межу, и какъ къ нему тутъ же вскорѣ подошли три мужика и подняли его и старались поставить его на ноги, но онъ не становился, а плакалъ и голосилъ: «Ведите меня къ Божіей Матери!» Тогда третій мужикъ взялъ Кожіёна за ноги, и всѣ втроемъ они шибко пронесли его въ лѣсъ, гдѣ есть густо заросшій оврагъ, и тамъ сразу произошло какое-то несогласіе, и Кожіёнъ «навздрыхъ закричалъ: за что меня лобанитe?.. «И съ тѣмъ все утихло, а потомъ мужички къ ручейку спустились и у того ручья мыться стали.

Перепуганныя же дѣвчонки все на межѣ въ полыни сидѣли до вечера, притаившись какъ зайчики, и сами себѣ не могли сказать—чего онѣ испугались; а когда солнце стало заходить за тотъ самый лѣсъ, куда унесли Кожіёна «лобанить»,—дѣвчонкамъ сдѣлалось «еще больше ужасно», и онѣ выскочили и бросились бѣжать въ деревню безъ вѣниковъ,—за что ихъ встрѣтили съ строгостью,—оттрепали за косы и пообѣщали еще «выдрать крапивою», — отчего онѣ и умолкли, чтобы не навлечь на себя чего-нибудь еще худшаго.

Такъ Кожіёна быкъ забодалъ и на рогахъ забросилъ.

Съ той поры уже никто и нигдѣ не видалъ шатающагося шорника Егора,—и какъ не нуженъ былъ ему паспортъ, такъ не нужна была ему и могила; но въ память его были совершены нѣкоторыя немаловажныя дѣла.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

У насъ на чищобѣ, недалеко за гуменникомъ, стоялъ дрянной сараишко, который называли «старымъ половнемъ», хотя онъ никогда никакого «гуменнаго» назначенія не исполнялъ и даже для него не годился.

Сараишко этотъ сгородили для себя смоленскіе «копачи», или «грабари», приходившіе выкорчевывать пни отъ сведеннаго на этомъ мѣстѣ лѣса. Копачи, окончивъ свою работу, ушли, а сгороженный ими дрянной сараишко оставался неразобраннымъ, можетъ быть потому, что дрянной матеріалъ, изъ котораго онъ былъ сколоченъ, не стоилъ и разбора.

Крыша сарая давно вся сотлѣла и просѣтилась, воротища упали и висѣли на одной «пяткѣ», и никто въ этотъ сарай не ходилъ, кромѣ солдатки Наташки, которую, впрочемъ, велѣно было гонять отовсюду. И вдругъ въ одну ночь этотъ такъ-называемый «старый половень» *сгорѣлъ какъ свѣчка!*

Было тихо и темно, и вдругъ въ то самое время, когда мы поужинали,—значитъ, часу въ одиннадцатомъ, — небо озарилось теплымъ и очень пріятнымъ желтовато-розовымъ свѣтомъ.

Сначала всѣмъ показалось, что это будто такъ восходитъ «рыжая луна»; но оказалось, что это старый половень горитъ.

На пожаръ успѣли сбѣжаться многіе, но половня не растаскивали и не заливали, такъ какъ отецъ считалъ его ничего не стоящимъ; но хозяину, однако, былъ интересъ узнать: отчего могла загорѣться эта необитаемая и никому не нужная постройка?

Думали сначала на цыганъ, или на поляковъ, но ни цыганъ, ни поляковъ нигдѣ не видали; потомъ падала мысль на поводырей слѣпого Нефеда, которые курили трубку, но Нефедъ и его слѣпой товарищъ и ихъ поводыри, оказалось, «пѣли Лазаря», гдѣ-то далеко у Чудотворца на праздникѣ, и тогда староста Дементій—старовѣръ и врагъ куренія—подалъ мысль, что не виновенъ ли въ этомъ кто-нибудь изъ молодыхъ «трубокуровъ», и это первое подозрѣніе Дементій обобщилъ съ другими извѣстными ему подозрѣніями насчетъ маленькой солдатки Наташки,—шустрой

бабенки съ огромнымъ renommée всесвѣтной куртизанки, изъ-за которой въ деревнѣ было много безпорядка не только между молодыми людьми, но и между старыми.

Дементій Васильичъ непремѣнно хотѣлъ по этому случаю «кое-кого взбрызнуть» или «пострекать», до чего онъ, какъ коренной «начальникъ» стараго фасона, былъ большой любитель; но когда онъ захотѣлъ «пострекать» кучеряваго сиротинку Вукола, то, отколь ни возьмись, появилась сама солдатка Наташка и закричала:

— Не смѣй трогать Вукошку—это не онъ... я видѣла кто половень сжегъ.

И Наташка вдругъ, не обинуясь, назвала трехъ самыхъ обстоятельныхъ хозяевъ въ деревнѣ...

И тѣ были призваны и повинились, что они дѣйствительно были въ «старомъ половнѣ» со свѣчой *изъ Кожіёнова сала*, и, вѣроятно, какъ-нибудь по неосторожности, и проч.

Дѣло было уже не въ томъ, какъ они заронили огонь въ половнѣ, а въ томъ: отчего было произнесено упоминовеніе о «свѣчѣ изъ Кожіёнова сала»?

Все это сейчасъ же окуталъ густой мракъ самой тщательно скрываемой тайны: отецъ взялъ всѣхъ трехъ мужиковъ къ себѣ въ кабинетъ и заперся съ ними на ключъ вмѣстѣ со старостою Дементіемъ. И о чемъ они тамъ говорили—никто не слышалъ; но, конечно, всѣ отлично знали, въ чемъ это дѣло, и обстоятельнѣе всѣхъ изслѣдовали его именно женщины, имѣвшія смѣлость спуститься на самое дно глубокаго оврага въ Долгомъ лѣсу, и тамъ подъ хворостомъ и сухою листвою прошлогодняго листопада разсмотрѣли сильно разложившійся трупъ, который вся деревня единогласно признала за трупъ шорника Кожіёна. Изъ Кожіёнова тука все «нутреное сало» было уже «соскоблено», и изъ него, по всѣмъ вѣроятіямъ, надѣлано достаточное количество свѣчъ, сожженныхъ въ разныхъ мѣстахъ, можетъ-быть, съ подобнымъ же результатомъ, какъ случилось и у насъ въ половнѣ.

Тогда отецъ увидѣлъ, что дѣло можетъ принять очень серьезный оборотъ, и поѣхалъ къ сосѣду, которому принадлежалъ Долгій лѣсъ. Помѣщикъ этотъ, старикъ, бывшій когда-то морякъ и капитанъ 2-го ранга, жилъ нелюдимо въ сообществѣ трехъ крѣпостныхъ женщинъ, вмѣстѣ съ

которыми и самъ состоялъ подъ надзоромъ четвертой, которая дирижировала весь кругъ его жизни. Событіе въ Долгомъ лѣсу вывело моряка изъ его зависимаго состоянія и подвигло къ собственной иниціативѣ, по которой онъ условился съ отцомъ такъ, чтобы: есть или нѣтъ въ лѣсу убитый — о томъ имъ обоимъ благородно и чинно ничего не знать, и кто такой тамъ есть—этого не разыскивать, а для освѣженія чувства въ людяхъ, которые, очевидно, очень набожны, но только не знаютъ, что имъ дѣлать, — пригласить изъ трехъ селъ трехъ священниковъ... и сдѣлать это какъ бы... при опасно больномъ консиліумъ... Отслужить соборнѣ три молебна—въ саду, на лугу и на полѣ, и быть всѣмъ вмѣстѣ, дворянамъ и мужикамъ... и потомъ—угощеніе.

Отецъ на это согласился и все предположенное къ исполненію «для освѣженія чувствъ въ народѣ» должно было происходить «на общихъ межахъ», по-сосѣдски, но «выходъ» долженъ былъ быть отъ насъ, и у насъ же быть «консиліуму» и угощенію.

— Такъ какъ у васъ,—сказалъ отцу морякъ:—есть дома законная супруга, а у меня на этотъ счетъ одно беззаконіе.

И торжество было отправлено у насъ. Приглашенъ былъ еще одинъ сосѣдъ, майоръ Алымовъ, тоже холостякъ и съ «репутаціей», но молодой по лѣтамъ, говорунъ и щеголь довольно дурного тона. Капитанъ 2-го ранга, вѣроятно, нехорошо былъ о немъ наслышанъ и не хотѣлъ съ нимъ сближаться, — ему даже непріятно было стоять рядомъ съ майоромъ за молебномъ, и Алымовъ это замѣтилъ и «начихалъ на него»: онъ отошелъ отъ горделиваго моряка и, переступя поближе къ дьячкамъ, сталъ задувать съ ними вмѣстѣ не въ тактъ, но очень громкимъ и звонкимъ голосомъ: «Даждь дождь землѣ алчущей, Спасе!» Разъ отъ раза онъ все хваталъ это смѣлѣе и громче, и очень этимъ угодилъ и крестьянамъ, и духовенству, съ представителями котораго онъ еще болѣе сошелся за столомъ, гдѣ опять нѣсколько разъ поднимался и пѣлъ: «Даждь дождь землѣ алчущей, Спасе!» Этимъ Алымовъ ввелъ у насъ прошеніе о дождѣ въ такое распространеніе, что послѣ у насъ въ домѣ всѣ по цѣлымъ днямъ пѣли: «Даждь дождь землѣ, Спасе!» Но больше всѣхъ въ этомъ упражнялись мы, дѣти: мы въ своемъ молитвенномъ напряженіи даже превзошли старшихъ тѣмъ, что устроили себѣ изъ нянниныхъ фартуковъ ризы, а изъ

свивальниковъ орари, и все облачались да пѣли: «Даждь дождь». Намъ это очень нравилось, но прислугѣ мы надоѣли, и служеніе наше было разстроено тѣмъ, что нянька отобрала у насъ облаченія и сказала:

— Полно дьячить! теперь уже никому и дождь не нуженъ: настала пора убирать, а убирать нечего: *голодный годъ пришелъ уже!*

Это было для насъ ужасное открытіе! Мы и не замѣтили, что *онъ уже пришелъ*. Когда же это случилось? Мы все еще просили «отвратить праведный гнѣвъ, на ны движимый», и напитать людей, «яко же птицѣми онѣми», а тутъ уже все кончено: готово созрѣвшее поле, на которомъ «стоитъ колосъ отъ колоса такъ, что не слыхать человѣческаго голоса, а сжатый снопъ отъ снопа—день ѣзды»...

Пришелъ голодный годъ! «Съѣдимъ, что̀ зародилось, и умремъ», — говорили мужики и пекли еще изъ новины лепешки и наварили къ Успенью браги, а съ Богородичнаго Рождества нѣкоторые несмѣло стали отлучаться... Спросите — куда? Сначала былъ еще стыдъ въ этомъ сознаваться—отлучки эти скрывались: люди уходили изъ села и возвращались домой въ потемочкахъ, «чтобы сумы не было видно»,—но голодъ и нужда возрастали, и къ Покрову всѣ другъ о другѣ стали знать, что всѣмъ ѣсть нечего, и что «всѣмъ надо идти побираться».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Кто хотѣлъ бы составлять себѣ представленіе о деревенскомъ голодѣ, бывшемъ въ сороковомъ году, по тѣмъ явленіямъ, какія можно было наблюдать прошлой зимою, 1892 года, когда народныя страданія были облегчаемы дружными усиліями разумныхъ и добрыхъ людей, тотъ получилъ бы очень невѣрное понятіе о томъ, какъ страдалъ народъ при тѣхъ порядкахъ безпомощія, о которыхъ вспомянулъ генералъ Мальцевъ. Такихъ заботъ, какія прилагались теперь частными лицами, чтобы помочь голодающимъ крестьянамъ по одному человѣколюбію и состраданію, тогда и въ поминѣ ни у кого не было, да никакое оказательство въ смыслѣ общей помощи было и невозможно; а само правительство, разумѣется, не могло прокормить всѣхъ голодныхъ. «Казеннымъ» или такъ-называемымъ «государственнымъ крестьянамъ» тогда дали что-то изъ «запас-

ныхъ магазиновъ» на «обсѣмененіе полей»; но это была помощь слабая и ничтожная: «казенные» люди изъ названной категоріи на этотъ «заимобразъ» тоже не могли прокормиться. Но о томъ, чтобы кормить ихъ *до сытости*, и не считали нужнымъ заботиться: разсказывали, будто графъ Киселевъ сказалъ кому-то, что «крестьяне не солдаты», и что «до новины они могутъ *одну зиму какъ-нибудь перебиться*», и это будто бы послужило достаточнымъ успокоеніемъ чьей-то душевной тревоги. А казенные или государственные крестьяне въ то время считались за «любимыхъ дѣтей» правительства. Что же касалось людей другихъ сословій, то съ этими было еще меньше хлопотъ: о мѣщанахъ нечего было и говорить, такъ какъ они земли не пашутъ и хлѣба не сѣютъ,—стало-быть, у нихъ неурожая и не было, и притомъ о нихъ давно было сказано, что они «всѣ воры» и, какъ воры, они, стало-быть, могутъ достать себѣ все, что имъ нужно; а помѣщичьи «крѣпостные» люди были въ такомъ положеніи, что о нихъ нечего было и безпокоиться,—они со дня рожденія своего навѣки были предоставлены «попеченію владѣльцевъ», и тѣ о нихъ пеклись... Злополучные крѣпостные люди были всѣхъ другихъ несчастнѣе: они не только страдали безъ всякой помощи, но еще съ связанными руками и съ тряпицей во рту. Они даже не имѣли права отлучиться, и нерѣдко ихъ жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшія исключенія были тамъ, гдѣ помѣщики скоро ужаснулись раскрывшагося передъ ними деревенскаго положенія и, побросавъ свои деревни, сбѣжали зимовать куда-нибудь въ города и городишки,—«все равно куда, лишь бы избавиться отъ своихъ мужиченковъ» (т. е. чтобы не слыхать ихъ просьбъ о хлѣбѣ). Безъ господъ крестьянамъ по крайней мѣрѣ открывалась свобода брести куда глаза глядятъ и просить милостыню подъ чужими окнами. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ большихъ экономіяхъ «своимъ крестьянамъ» давали хлѣба и картофеля въ долгъ или со скидкой противъ цѣны, за которую отпускали «чужимъ людямъ», но и это все было недостаточно, такъ какъ и по удешевленной цѣнѣ покупать было не на что.

Разумѣется, я говорю только о той мѣстности, гдѣ я тогда жилъ, въ орловской губерніи. Можетъ-быть, что въ другихъ мѣстахъ было и иначе.

Я говорю *только* о томъ, что̀ самъ видѣлъ или о чемъ слышалъ въ тогдашнее время.

Самымъ ужаснымъ тогда казалось, что люди въ нашемъ мѣстѣ были связаны крѣпостною неволею: черезъ это они не могли никуда отлучиться и ничего себѣ промыслить. Среди мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ въ курской и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ орловской губерніи по мѣстамъ происходило такъ, что дѣти и старики «ходили въ-поборъ», а взрослые работали на барщинѣ, и работали работы неспѣшныя, какъ-то: сѣкли про запасъ хворостъ или рыли канавы,—съ чѣмъ со всѣмъ можно было подождать, а ѣли «сборное», т. е. то, что старики или ребятишки гдѣ-нибудь «напросятъ Христа ради». Въ большихъ экономіяхъ крестьянамъ было гораздо лучше, уже по тому одному, что тамъ по крайней мѣрѣ не стѣсняли людей, и мужики поползли «съ топорами» (т. е. плотничать) въ Кіевъ, въ Харьковъ и въ Нѣжинъ, и «съ лошадёмъ» подряжались везти «лагуны» (съ саломъ) или «бунты» (съ пенькою) въ Таганрогъ и въ Одесть. И въ первомъ, и во второмъ отходѣ заработокъ ихъ былъ самый ничтожнѣйшій, или лучше сказать—никакого. Работали они больше только «изъ одного прокорма», и то считалось еще хорошо, если работникъ прокормится и назадъ домой вернется «съ лошадёмъ», а не съ однимъ «кнутикомъ». А то случалось, что онъ придетъ да обрадуетъ домашнихъ, что «кобылу» или «мерина ободралъ въ ухабѣ». Крестьяне, которые «нашли ряду» и успѣли уѣхать ранѣе, пока лошади ихъ еще не обезсилѣли отъ изнурительной безкормицы, кое-какъ справлялись, и на дорогѣ, въ самомъ пути отъѣдались сами и откармливали лошадей: эти и возвращались благополучно; но которые не нашли рано работы, а тронулись тогда, когда давно уже сталъ санный путь и лошади давно заморены на безкормицѣ,—у этихъ все «рушилось»: лошади у нихъ запрокидывались кверху ногами въ первомъ раскатѣ и «падали». Какъ безподрѣзныя сани пойдутъ въ раскатъ и ударятъ клячу по исхудалымъ булдыжкамъ,—она тотчасъ же и упадетъ, и лежитъ. Ее «поднимаютъ» мужики, кто за хвостъ, кто за плечи. Поднимутъ, установятъ и поддерживаютъ, а потомъ тронутъ: «ну, матушка!» Но она пройдетъ нѣсколько шаговъ, и опять хлопнется, ноги вверхъ задеретъ и даже не бьется. Чуть только не проситъ, чтобы ее ужъ и не тро-

гали,—что «мнѣ-де уже все равно какъ околѣть, лишь бы только поскорѣе».

Иногда, бывало, видишь, что какъ только лошадь поднимутъ, такъ она тутъ же сію минуту опять и падаетъ. Мужики, даже самые жестокіе, тутъ плакали какъ дѣти и жалѣли лошадей, — не били ихъ, а все, бывало, уговариваютъ лошадку: «ну, матушка! ну, кормилица!» — да сами во всю дорогу то у одной, то у другой оглобли пыхтятъ и подсобляютъ, а сами все плачутъ.

Страшное это представляло зрѣлище, какъ они, бывало, плетутся по дорогамъ длинными вереницами, и сами взъерошенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсѣмъ одни скелеты, обтянутые кожей...

И не разберешь даже—кто кого жалче.

Во всякомъ случаѣ извѣстная художественная группа Рѣпина, изображающая поволжскихъ бурлаковъ, представляетъ гораздо болѣе легкое зрѣлище, чѣмъ тѣ мужичьи обозы, которые я видѣлъ въ голодный годъ, во время моего дѣтства.

Въ глубокихъ ухабахъ или подъ раскатами столбовыхъ дорогъ то-и-дѣло, бывало, валяются ободранныя «падла» и надъ ними стаями вѣются черныя птицы, высматривающія — какъ бы имъ ухватить что-нибудь изъ того, что̀ можетъ остаться послѣ зубовъ страшно освирѣпѣвшихъ отъ голода собакъ. Собаки тогда рыскали очень далеко отъ домовъ и дичали совершенно какъ волки. Крестьяне, какъ извѣстно, и въ «довольное время» не любятъ кормить своихъ сторожевыхъ собакъ, и держатся того взгляда, что «песъ самъ о себѣ промыслитель», а въ голодный годъ собакъ и нечѣмъ было кормить. На ихъ собачье счастье лошадей околѣвало множество и трупы ихъ, или, по-мужичьи, «коневое падло», валялись безъ перевода и по полямъ, и по задворкамъ. Псамъ только надо было имѣть чутье да ноги, чтобы не пропасть съ голода. Но удивительно было, какъ они далеко узнавали о каждой павшей скотинѣ! Бывало, гдѣ ни выволокутъ падло, собаки ужъ знаютъ, и черезъ часъ-два собачьи слѣды такъ и наплетутъ черезъ всѣ поля сѣть по снѣгу. Люди удивлялись этому и предполагали, что у собакъ непремѣнно есть какое-то свое имъ свойственное средство сообщать другъ другу новости о событіяхъ, совершающихся за предѣлами ихъ слуха, зрѣнія и

обонянія. Въ самомъ дѣлѣ, чутье едва ли могло достигать на такія далекія разстоянія, откуда сбѣгались собаки терзать падаль! Приходилось видѣть знаемыхъ деревенскихъ собакъ, прибѣгавшихъ верстъ за двѣнадцать и за пятнадцать. Въ началѣ зимы, когда лошадей дохло много, собаки такъ хорошо отъѣлись, что волки ихъ боялись, и онѣ не подпускали волковъ къ пиру; но потомъ, когда всѣ лошади переколѣли, голодъ собакъ сталъ ужасенъ, и волки пошли рвать ихъ. Впрочемъ, псамъ все-таки было лучше, чѣмъ травояднымъ. Коровъ своихъ крестьяне «до послѣдняго берегли» и «воспитывали крышами». Сгребутъ, бывало, съ крышъ давно почернѣвшую солому и иногда «попарятъ ее въ корчажкѣ»—вотъ и кормъ. Солить было нечѣмъ: тогда соль составляла «правительственную регалію», и была такъ дорога, что плоховатые мужики и въ «ровные»-то года часто ѣли сныть несоленую. (У Тургенева мужикъ говоритъ, что надобно осиротѣлую дѣвчонку взять. Баба отвѣчаетъ: «намъ самимъ сныть посолить нечѣмъ». А мужикъ говоритъ: «А мы ее несоленую!» — и дѣвчонку взяли). Коровъ «ходячихъ» не рѣзали. Станетъ она «падать» или «заваливаться», идучи на водопой — ее все еще поднимаютъ и ведутъ до дому, «поддерживаютъ» и опять «крышей воспитываютъ». И такъ водятся съ ней до тѣхъ поръ, пока у нея «титьки высохнутъ». Тутъ уже, значитъ, ждать отъ нея больше нечего — «воспитаніе» ея кончено и остается ей «ножъ воткнуть». Зарѣзанную полуиздохшую корову поскорѣе «требушили» и потомъ волокли «въ копоть», т. е. разнимутъ ея трупъ на частички и повѣсятъ эти разсѣченныя части «надъ дымомъ», чтобы ихъ «прокурило» и «духъ отшибло», потому что у этого мяса даже до посмертнаго разложенія былъ какой-то особенный, вѣроятно болѣзненный запахъ, котораго «утроба человѣческая не принимала». А потомъ, когда дымъ все это «прокуритъ» — вонь нѣсколько измѣняла свой характеръ и мясо воняло иначе,— менѣе противно: тогда его, бывало, варятъ и ѣдятъ.

Но все это еще было сравнительно благополучное время, когда было что̀ «дымить», а впереди ждало положеніе гораздо болѣе тяжкое.

Здѣсь, однако, мнѣ припоминается, какое горе бывало въ крестьянскомъ дворѣ, когда дѣлалась очевидною неминуемая надобность немедленно предать смерти «кормилицу».

Какъ, бывало, доходитъ послѣдній кормъ, такъ «безкормной коровѣ» отъ мужиковъ выходитъ рѣшеніе, что ее надо «приколоть»... Тогда всѣ бабы принимаются «выть», а на нихъ глядя, завоютъ всѣ дѣти, и всѣ стараются «коровушку покрыть», т. е. увѣряютъ мужиковъ, будто она еще можетъ жить; но мужики этому не внемлютъ, и какъ замѣтятъ, что подойникъ пустъ, такъ сейчасъ же и берутся исполнять свое рѣшеніе.

Это ужасныя минуты въ крестьянской избѣ, которыхъ нѣтъ средствъ описать, а ихъ надо видѣть.

Послѣ ссоры и спора изъ-за коровы между бабами и мужиками—въ избѣ вдругъ пропадаетъ хлѣбный ножъ!..

Нѣтъ его, да и только! Бабы говорятъ: «ребята затащили»,—мужики дерутъ ребятъ за виски; ребята говорятъ: «мамка скрала»,—мужики мнутъ мамкѣ потылицу... Всѣмъ дѣла много, а ножъ все-таки не отыскивается.

Идутъ занимать ножъ къ сосѣду, но и у сосѣда ножъ пропалъ! Бабы рѣжутъ хлѣбъ какими попало ножевыми «аскретками», а настоящіе хлѣбные ножи всѣ «пропали». Ихъ ищутъ-ищутъ и не находятъ. Мужики понимаютъ, что это значитъ, и долго не разговариваютъ, а идутъ за ножемъ на другой конецъ деревни и тамъ гдѣ-нибудь пригодный ножъ находятъ. Тутъ же дѣлаютъ и уговоръ еще о живой коровѣ: какъ дѣлить ея «тушу», кому передъ, кому задъ, кому нутро или студни. Объ этомъ уговариваются, чтобы не пропадала «убоина», и за разъ нѣсколько коровъ въ деревнѣ не рѣжутъ. Сегодня рѣжетъ одинъ сосѣдъ, а другой поджидаетъ, если есть чѣмъ издыхающую «воспитывать».

Когда мужикъ добудетъ ножъ и возвращается въ избу, онъ молча начинаетъ водить ножъ по желѣзистому кирпичу на загнеткѣ. Видъ у него тогда мрачный, и бабы начинаютъ его бояться и уже не воютъ, а тихо плачутъ; но мужика и это выводитъ изъ терпѣнія. Къ тому же мать, или другая старуха, которая не боится тукманки, гдѣ-нибудь за угломъ причитаетъ. Мужикъ спѣшитъ точить ножъ и, пощупавъ его на ладони, уходитъ звать на помощь сосѣда. Съ «уборкой» буренки надо спѣшить, потому что она того и гляди околѣетъ, и тогда выйдетъ не «убоина», а «падло.»

Потомъ настаетъ въ избѣ жуткая тишина... Со двора все слышно, какъ мужики путаютъ корову вожжами и потомъ

бабенки съ огромнымъ renommée всесвѣтной куртизанки, изъ-за которой въ деревнѣ было много безпорядка не только между молодыми людьми, но и между старыми.

Дементій Васильичъ непремѣнно хотѣлъ по этому случаю «кое-кого взбрызнуть» или «пострекать», до чего онъ, какъ коренной «начальникъ» стараго фасона, былъ большой любитель; но когда онъ захотѣлъ «пострекать» кучеряваго сиротинку Вукола, то, отколь ни возьмись, появилась сама солдатка Наташка и закричала:

— Не смѣй трогать Вукошку—это не онъ... я видѣла кто половень сжегъ.

И Наташка вдругъ, не обинуясь, назвала трехъ самыхъ обстоятельныхъ хозяевъ въ деревнѣ...

И тѣ были призваны и повинились, что они дѣйствительно были въ «старомъ половнѣ» со свѣчой *изъ Кожіёнова сала*, и, вѣроятно, какъ-нибудь по неосторожности, и проч.

Дѣло было уже не въ томъ, какъ они заронили огонь въ половнѣ, а въ томъ: отчего было произнесено упоминовеніе о «свѣчѣ изъ Кожіёнова сала»?

Все это сейчасъ же окуталъ густой мракъ самой тщательно скрываемой тайны: отецъ взялъ всѣхъ трехъ мужиковъ къ себѣ въ кабинетъ и заперся съ ними на ключъ вмѣстѣ со старостою Дементіемъ. И о чемъ они тамъ говорили—никто не слышалъ; но, конечно, всѣ отлично знали, въ чемъ это дѣло, и обстоятельнѣе всѣхъ изслѣдовали его именно женщины, имѣвшія смѣлость спуститься на самое дно глубокаго оврага въ Долгомъ лѣсу, и тамъ подъ хворостомъ и сухою листвою прошлогодняго листопада разсмотрѣли сильно разложившійся трупъ, который вся деревня единогласно признала за трупъ шорника Кожіёна. Изъ Кожіёнова тука все «нутреное сало» было уже «соскоблено», и изъ него, по всѣмъ вѣроятіямъ, надѣлано достаточное количество свѣчъ, сожженныхъ въ разныхъ мѣстахъ, можетъ-быть, съ подобнымъ же результатомъ, какъ случилось и у насъ въ половнѣ.

Тогда отецъ увидѣлъ, что дѣло можетъ принять очень серьезный оборотъ, и поѣхалъ къ сосѣду, которому принадлежалъ Долгій лѣсъ. Помѣщикъ этотъ, старикъ, бывшій когда-то морякъ и капитанъ 2-го ранга, жилъ нелюдимо въ сообществѣ трехъ крѣпостныхъ женщинъ, вмѣстѣ съ

которыми и самъ состоялъ подъ надзоромъ четвертой, которая дирижировала весь кругъ его жизни. Событіе въ Долгомъ лѣсу вывело моряка изъ его зависимаго состоянія и подвигло къ собственной иниціативѣ, по которой онъ условился съ отцомъ такъ, чтобы: есть или нѣтъ въ лѣсу убитый — о томъ имъ обоимъ благородно и чинно ничего не знать, и кто такой тамъ есть—этого не разыскивать, а для освѣженія чувства въ людяхъ, которые, очевидно, очень набожны, но только не знаютъ, что имъ дѣлать, — пригласить изъ трехъ селъ трехъ священниковъ... и сдѣлать это какъ бы... при опасно больномъ консиліумъ... Отслужить соборнѣ три молебна—въ саду, на лугу и на полѣ, и быть всѣмъ вмѣстѣ, дворянамъ и мужикамъ... и потомъ—угощеніе.

Отецъ на это согласился и все предположенное къ исполненію «для освѣженія чувствъ въ народѣ» должно было происходить «на общихъ межахъ», по-сосѣдски, но «выходъ» долженъ былъ быть отъ насъ, и у насъ же быть «консиліуму» и угощенію.

— Такъ какъ у васъ,—сказалъ отцу морякъ:—есть дома законная супруга, а у меня на этотъ счетъ одно беззаконіе.

И торжество было отправлено у насъ. Приглашенъ былъ еще одинъ сосѣдъ, майоръ Алымовъ, тоже холостякъ и съ «репутаціей», но молодой по лѣтамъ, говорунъ и щеголь довольно дурного тона. Капитанъ 2-го ранга, вѣроятно, нехорошо былъ о немъ наслышанъ и не хотѣлъ съ нимъ сближаться, — ему даже непріятно было стоять рядомъ съ майоромъ за молебномъ, и Алымовъ это замѣтилъ и «начихалъ на него»: онъ отошелъ отъ горделиваго моряка и, переступя поближе къ дьячкамъ, сталъ задувать съ ними вмѣстѣ не въ тактъ, но очень громкимъ и звонкимъ голосомъ: «Даждь дождь землѣ алчущей, Спасе!» Разъ отъ раза онъ все хваталъ это смѣлѣе и громче, и очень этимъ угодилъ и крестьянамъ, и духовенству, съ представителями котораго онъ еще болѣе сошелся за столомъ, гдѣ опять нѣсколько разъ поднимался и пѣлъ: «Даждь дождь землѣ алчущей, Спасе!» Этимъ Алымовъ ввелъ у насъ прошеніе о дождѣ въ такое распространеніе, что послѣ у насъ въ домѣ всѣ по цѣлымъ днямъ пѣли: «Даждь дождь землѣ, Спасе!» Но больше всѣхъ въ этомъ упражнялись мы, дѣти: мы въ своемъ молитвенномъ напряженіи даже превзошли старшихъ тѣмъ, что устроили себѣ изъ няниныхъ фартуковъ ризы, а изъ

свивальниковъ орари, и все облачались да пѣли: «Даждь дождь». Намъ это очень нравилось, но прислугѣ мы надоѣли, и служеніе наше было разстроено тѣмъ, что нянька отобрала у насъ облаченія и сказала:

— Полно дьячить! теперь уже никому и дождь не нуженъ: настала пора убирать, а убирать нечего: *голодный годъ пришелъ уже!*

Это было для насъ ужасное открытіе! Мы и не замѣтили, что *онъ уже пришелъ*. Когда же это случилось? Мы все еще просили «отвратить праведный гнѣвъ, на ны движимый», и напитать людей, «яко же птицѣми онѣми», а тутъ уже все кончено: готово созрѣвшее поле, на которомъ «стоитъ колосъ отъ колоса такъ, что не слыхать человѣческаго голоса, а сжатый снопъ отъ снопа—день ѣзды»...

Пришелъ голодный годъ! «Съѣдимъ, что̀ зародилось, и умремъ», — говорили мужики и пекли еще изъ новины лепешки и наварили къ Успенью браги, а съ Богородичнаго Рождества нѣкоторые несмѣло стали отлучаться... Спросите — куда? Сначала былъ еще стыдъ въ этомъ сознаваться—отлучки эти скрывались: люди уходили изъ села и возвращались домой въ потемочкахъ, «чтобы сумы не было видно»,—но голодъ и нужда возрастали, и къ Покрову всѣ другъ о другѣ стали знать, что всѣмъ ѣсть нечего, и что «всѣмъ надо идти побираться».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Кто хотѣлъ бы составлять себѣ представленіе о деревенскомъ голодѣ, бывшемъ въ сороковомъ году, по тѣмъ явленіямъ, какія можно было наблюдать прошлой зимою, 1892 года, когда народныя страданія были облегчаемы дружными усиліями разумныхъ и добрыхъ людей, тотъ получилъ бы очень невѣрное понятіе о томъ, какъ страдалъ народъ при тѣхъ порядкахъ безпомощія, о которыхъ вспомянулъ генералъ Мальцевъ. Такихъ заботъ, какія прилагались теперь частными лицами, чтобы помочь голодающимъ крестьянамъ по одному человѣколюбію и состраданію, тогда и въ поминѣ ни у кого не было, да никакое оказательство въ смыслѣ общей помощи было и невозможно; а само правительство, разумѣется, не могло прокормить всѣхъ голодныхъ. «Казеннымъ» или такъ-называемымъ «государственнымъ крестьянамъ» тогда дали что-то изъ «запас-

ныхъ магазиновъ» на «обсѣмененіе полей»; но это была помощь слабая и ничтожная: «казенные» люди изъ названной категоріи на этотъ «заимобразъ» тоже не могли прокормиться. Но о томъ, чтобы кормить ихъ *до сытости*, и не считали нужнымъ заботиться: разсказывали, будто графъ Киселевъ сказалъ кому-то, что «крестьяне не солдаты», и что «до новины они могутъ *одну зиму какъ-нибудь перебиться*», и это будто бы послужило достаточнымъ успокоеніемъ чьей-то душевной тревоги. А казенные или государственные крестьяне въ то время считались за «любимыхъ дѣтей» правительства. Что же касалось людей другихъ сословій, то съ этими было еще меньше хлопотъ: о мѣщанахъ нечего было и говорить, такъ какъ они земли не пашутъ и хлѣба не сѣютъ,—стало-быть, у нихъ неурожая и не было, и притомъ о нихъ давно было сказано, что они «всѣ воры» и, какъ воры, они, стало-быть, могутъ достать себѣ все, что имъ нужно; а помѣщичьи «крѣпостные» люди были въ такомъ положеніи, что о нихъ нечего было и безпокоиться,—они со дня рожденія своего навѣки были предоставлены «попеченію владѣльцевъ», и тѣ о нихъ пеклись... Злополучные крѣпостные люди были всѣхъ другихъ несчастнѣе: они не только страдали безъ всякой помощи, но еще съ связанными руками и съ тряпицей во рту. Они даже не имѣли права отлучиться, и нерѣдко ихъ жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшія исключенія были тамъ, гдѣ помѣщики скоро ужаснулись раскрывшагося передъ ними деревенскаго положенія и, побросавъ свои деревни, сбѣжали зимовать куда-нибудь въ города и городишки,—«все равно куда, лишь бы избавиться отъ своихъ мужиченковъ» (т. е. чтобы не слыхать ихъ просьбъ о хлѣбѣ). Безъ господъ крестьянамъ по крайней мѣрѣ открывалась свобода брести куда глаза глядятъ и просить милостыню подъ чужими окнами. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ большихъ экономіяхъ «своимъ крестьянамъ» давали хлѣба и картофеля въ долгъ или со скидкой противъ цѣны, за которую отпускали «чужимъ людямъ», но и это все было недостаточно, такъ какъ и по удешевленной цѣнѣ покупать было не на что.

Разумѣется, я говорю только о той мѣстности, гдѣ я тогда жилъ, въ орловской губерніи. Можетъ-быть, что въ другихъ мѣстахъ было и иначе.

Я говорю *только* о томъ, что̀ самъ видѣлъ или о чемъ слышалъ въ тогдашнее время.

Самымъ ужаснымъ тогда казалось, что люди въ нашемъ мѣстѣ были связаны крѣпостною неволею: черезъ это они не могли никуда отлучиться и ничего себѣ промыслить. Среди мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ въ курской и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ орловской губерніи по мѣстамъ происходило такъ, что дѣти и старики «ходили въ-поборъ», а взрослые работали на барщинѣ, и работали работы неспѣшныя, какъ-то: сѣкли про запасъ хворостъ или рыли канавы,—съ чѣмъ со всѣмъ можно было подождать, а ѣли «сборное», т. е. то, что старики или ребятишки гдѣ-нибудь «напросятъ Христа ради». Въ большихъ экономіяхъ крестьянамъ было гораздо лучше, уже по тому одному, что тамъ по крайней мѣрѣ не стѣсняли людей, и мужики поползли «съ топорами» (т. е. плотничать) въ Кіевъ, въ Харьковъ и въ Нѣжинъ, и «съ лошадёмъ» подряжались везти «лагуны» (съ саломъ) или «бунты» (съ пенькою) въ Таганрогъ и въ Одестъ. И въ первомъ, и во второмъ отходѣ заработокъ ихъ былъ самый ничтожнѣйшій, или лучше сказать—никакого. Работали они больше только «изъ одного прокорма», и то считалось еще хорошо, если работникъ прокормится и назадъ домой вернется «съ лошадёмъ», а не съ однимъ «кнутикомъ». А то случалось, что онъ придетъ да обрадуетъ домашнихъ, что «кобылу» или «мерина ободралъ въ ухабѣ». Крестьяне, которые «нашли ряду» и успѣли уѣхать ранѣе, пока лошади ихъ еще не обезсилѣли отъ изнурительной безкормицы, кое-какъ справлялись, и на дорогѣ, въ самомъ пути отъѣдались сами и откармливали лошадей: эти и возвращались благополучно; но которые не нашли рано работы, а тронулись тогда, когда давно уже сталъ санный путь и лошади давно заморены на безкормицѣ,—у этихъ все «рушилось»: лошади у нихъ запрокидывались кверху ногами въ первомъ раскатѣ и «падали». Какъ безподрѣзныя сани пойдутъ въ раскатъ и ударятъ клячу по исхудалымъ булдыжкамъ,—она тотчасъ же и упадетъ, и лежитъ. Ее «поднимаютъ» мужики, кто за хвостъ, кто за плечи. Поднимутъ, установятъ и поддерживаютъ, а потомъ тронутъ: «ну, матушка!» Но она пройдетъ нѣсколько шаговъ, и опять хлопнется, ноги вверхъ задеретъ и даже не бьется. Чуть только не проситъ, чтобы ее ужъ и не тро-

гали,—что «мнѣ-де уже все равно какъ околѣть, лишь бы только поскорѣе».

Иногда, бывало, видишь, что какъ только лошадь поднимутъ, такъ она тутъ же сію минуту опять и падаетъ. Мужики, даже самые жестокіе, тутъ плакали какъ дѣти и жалѣли лошадей, — не били ихъ, а все, бывало, уговариваютъ лошадку: «ну, матушка! ну, кормилица!» — да сами во всю дорогу то у одной, то у другой оглобли пыхтятъ и подсобляютъ, а сами все плачутъ.

Страшное это представляло зрѣлище, какъ они, бывало, плетутся по дорогамъ длинными вереницами, и сами взъерошенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсѣмъ одни скелеты, обтянутые кожей...

И не разберешь даже—кто кого жалче.

Во всякомъ случаѣ извѣстная художественная группа Рѣпина, изображающая поволжскихъ бурлаковъ, представляетъ гораздо болѣе легкое зрѣлище, чѣмъ тѣ мужичьи обозы, которые я видѣлъ въ голодный годъ, во время моего дѣтства.

Въ глубокихъ ухабахъ или подъ раскатами столбовыхъ дорогъ то-и-дѣло, бывало, валяются ободранныя «падла» и надъ ними стаями вѣются черныя птицы, высматривающія — какъ бы имъ ухватить что-нибудь изъ того, что можетъ остаться послѣ зубовъ страшно освирѣпѣвшихъ отъ голода собакъ. Собаки тогда рыскали очень далеко отъ домовъ и дичали совершенно какъ волки. Крестьяне, какъ извѣстно, и въ «довольное время» не любятъ кормить своихъ сторожевыхъ собакъ, и держатся того взгляда, что «песъ самъ о себѣ промыслитель», а въ голодный годъ собакъ и нечѣмъ было кормить. На ихъ собачье счастье лошадей околѣвало множество и трупы ихъ, или, по-мужичьи, «коневое падло», валялись безъ перевода и по полямъ, и по задворкамъ. Псамъ только надо было имѣть чутье да ноги, чтобы не пропасть съ голода. Но удивительно было, какъ они далеко узнавали о каждой павшей скотинѣ! Бывало, гдѣ ни выволокутъ падло, собаки ужъ знаютъ, и черезъ часъ-два собачьи слѣды такъ и наплетутъ черезъ всѣ поля сѣть по снѣгу. Люди удивлялись этому и предполагали, что у собакъ непремѣнно есть какое-то свое имъ свойственное средство сообщать другъ другу новости о событіяхъ, совершающихся за предѣлами ихъ слуха, зрѣнія и

бабенки съ огромнымъ renommée всесвѣтной куртизанки, изъ-за которой въ деревнѣ было много безпорядка не только между молодыми людьми, но и между старыми.

Дементій Васильичъ непремѣнно хотѣлъ по этому случаю «кое-кого взбрызнуть» или «пострекать», до чего онъ, какъ коренной «начальникъ» стараго фасона, былъ большой любитель; но когда онъ захотѣлъ «пострекать» кучеряваго сиротинку Вукола, то, отколь ни возьмись, появилась сама солдатка Наташка и закричала:

— Не смѣй трогать Вукошку—это не онъ... я видѣла кто половень сжегъ.

И Наташка вдругъ, не обинуясь, назвала трехъ самыхъ обстоятельныхъ хозяевъ въ деревнѣ...

И тѣ были призваны и повинились, что они дѣйствительно были въ «старомъ половнѣ» со свѣчой *изъ Кожіёнова сала*, и, вѣроятно, какъ-нибудь по неосторожности, и проч.

Дѣло было уже не въ томъ, какъ они заронили огонь въ половнѣ, а въ томъ: отчего было произнесено упоминовеніе о «свѣчѣ изъ Кожіёнова сала»?

Все это сейчасъ же окуталъ густой мракъ самой тщательно скрываемой тайны: отецъ взялъ всѣхъ трехъ мужиковъ къ себѣ въ кабинетъ и заперся съ ними на ключъ вмѣстѣ со старостою Дементіемъ. И о чемъ они тамъ говорили—никто не слышалъ; но, конечно, всѣ отлично знали, въ чемъ это дѣло, и обстоятельнѣе всѣхъ изслѣдовали его именно женщины, имѣвшія смѣлость спуститься на самое дно глубокаго оврага въ Долгомъ лѣсу, и тамъ подъ хворостомъ и сухою листвою прошлогодняго листопада разсмотрѣли сильно разложившійся трупъ, который вся деревня единогласно признала за трупъ шорника Кожіёна. Изъ Кожіёнова тука все «нутреное сало» было уже «соскоблено», и изъ него, по всѣмъ вѣроятіямъ, надѣлано достаточное количество свѣчъ, сожженныхъ въ разныхъ мѣстахъ, можетъ-быть, съ подобнымъ же результатомъ, какъ случилось и у насъ въ половнѣ.

Тогда отецъ увидѣлъ, что дѣло можетъ принять очень серьезный оборотъ, и поѣхалъ къ сосѣду, которому принадлежалъ Долгій лѣсъ. Помѣщикъ этотъ, старикъ, бывшій когда-то морякъ и капитанъ 2-го ранга, жилъ нелюдимо въ сообществѣ трехъ крѣпостныхъ женщинъ, вмѣстѣ съ

которыми и самъ состоялъ подъ надзоромъ четвертой, которая дирижировала весь кругъ его жизни. Событіе въ Долгомъ лѣсу вывело моряка изъ его зависимаго состоянія и подвигло къ собственной иниціативѣ, по которой онъ условился съ отцомъ такъ, чтобы: есть или нѣтъ въ лѣсу убитый — о томъ имъ обоимъ благородно и чинно ничего не знать, и кто такой тамъ есть—этого не разыскивать, а для освѣженія чувства въ людяхъ, которые, очевидно, очень набожны, но только не знаютъ, что имъ дѣлать, — пригласить изъ трехъ селъ трехъ священниковъ... и сдѣлать это какъ бы... при опасно больномъ консиліумъ... Отслужить соборнѣ три молебна—въ саду, на лугу и на полѣ, и быть всѣмъ вмѣстѣ, дворянамъ и мужикамъ... и потомъ—угощеніе.

Отецъ на это согласился и все предположенное къ исполненію «для освѣженія чувствъ въ народѣ» должно было происходить «на общихъ межахъ», по-сосѣдски, но «выходъ» долженъ былъ быть отъ насъ, и у насъ же быть «консиліуму» и угощенію.

— Такъ какъ у васъ,—сказалъ отцу морякъ:—есть дома законная супруга, а у меня на этотъ счетъ одно беззаконіе.

И торжество было отправлено у насъ. Приглашенъ былъ еще одинъ сосѣдъ, майоръ Алымовъ, тоже холостякъ и съ «репутаціей», но молодой по лѣтамъ, говорунъ и щеголь довольно дурного тона. Капитанъ 2-го ранга, вѣроятно, нехорошо былъ о немъ наслышанъ и не хотѣлъ съ нимъ сближаться, — ему даже непріятно было стоять рядомъ съ майоромъ за молебномъ, и Алымовъ это замѣтилъ и «начихалъ на него»: онъ отошелъ отъ горделиваго моряка и, переступя поближе къ дьячкамъ, сталъ задувать съ ними вмѣстѣ не въ тактъ, но очень громкимъ и звонкимъ голосомъ: «Даждь дождь землѣ алчущей, Спасе!» Разъ отъ раза онъ все хваталъ это смѣлѣе и громче, и очень этимъ угодилъ и крестьянамъ, и духовенству, съ представителями котораго онъ еще болѣе сошелся за столомъ, гдѣ опять нѣсколько разъ поднимался и пѣлъ: «Даждь дождь землѣ алчущей, Спасе!» Этимъ Алымовъ ввелъ у насъ прошеніе о дождѣ въ такое распространеніе, что послѣ у насъ въ домѣ всѣ по цѣлымъ днямъ пѣли: «Даждь дождь землѣ, Спасе!» Но больше всѣхъ въ этомъ упражнялись мы, дѣти: мы въ своемъ молитвенномъ напряженіи даже превзошли старшихъ тѣмъ, что устроили себѣ изъ нянниныхъ фартуковъ ризы, а изъ

свивальниковъ орари, и все облачались да пѣли: «Даждь дождь». Намъ это очень нравилось, но прислугѣ мы надоѣли, и служеніе наше было разстроено тѣмъ, что нянька отобрала у насъ облаченія и сказала:

— Полно дьячить! теперь уже никому и дождь не нуженъ: настала пора убирать, а убирать нечего: *голодный годъ пришелъ уже!*

Это было для насъ ужасное открытіе! Мы и не замѣтили, что *онъ уже пришелъ*. Когда же это случилось? Мы все еще просили «отвратить праведный гнѣвъ, на ны движимый», и напитать людей, «яко же птицѣми онѣми», а тутъ уже все кончено: готово созрѣвшее поле, на которомъ «стоитъ колосъ отъ колоса такъ, что не слыхать человѣческаго голоса, а сжатый снопъ отъ снопа—день ѣзды»...

Пришелъ голодный годъ! «Съѣдимъ, что̀ зародилось, и умремъ», — говорили мужики и пекли еще изъ новины лепешки и наварили къ Успенью браги, а съ Богородичнаго Рождества нѣкоторые несмѣло стали отлучаться... Спросите — куда? Сначала былъ еще стыдъ въ этомъ сознаваться—отлучки эти скрывались: люди уходили изъ села и возвращались домой въ потемочкахъ, «чтобы сумы не было видно»,—но голодъ и нужда возрастали, и къ Покрову всѣ другъ о другѣ стали знать, что всѣмъ ѣсть нечего, и что «всѣмъ надо идти побираться».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Кто хотѣлъ бы составлять себѣ представленіе о деревенскомъ голодѣ, бывшемъ въ сороковомъ году, по тѣмъ явленіямъ, какія можно было наблюдать прошлой зимою, 1892 года, когда народныя страданія были облегчаемы дружными усиліями разумныхъ и добрыхъ людей, тотъ получилъ бы очень невѣрное понятіе о томъ, какъ страдалъ народъ при тѣхъ порядкахъ безпомощія, о которыхъ вспомянулъ генералъ Мальцевъ. Такихъ заботъ, какія прилагались теперь частными лицами, чтобы помочь голодающимъ крестьянамъ по одному человѣколюбію и состраданію, тогда и въ поминѣ ни у кого не было, да никакое оказательство въ смыслѣ общей помощи было и невозможно; а само правительство, разумѣется, не могло прокормить всѣхъ голодныхъ. «Казеннымъ» или такъ-называемымъ «государственнымъ крестьянамъ» тогда дали что-то изъ «запас-

ныхъ магазиновъ» на «обсѣмененіе полей»; но это была помощь слабая и ничтожная: «казенные» люди изъ названной категоріи на этотъ «заимобразъ» тоже не могли прокормиться. Но о томъ, чтобы кормить ихъ *до сытости*, и не считали нужнымъ заботиться: разсказывали, будто графъ Киселевъ сказалъ кому-то, что «крестьяне не солдаты», и что «до новины они могутъ *одну зиму какъ-нибудь перебиться*», и это будто бы послужило достаточнымъ успокоеніемъ чьей-то душевной тревоги. А казенные или государственные крестьяне въ то время считались за «любимыхъ дѣтей» правительства. Что же касалось людей другихъ сословій, то съ этими было еще меньше хлопотъ: о мѣщанахъ нечего было и говорить, такъ какъ они земли не пашутъ и хлѣба не сѣютъ,—стало-быть, у нихъ неурожая и не было, и притомъ о нихъ давно было сказано, что они «всѣ воры» и, какъ воры, они, стало-быть, могутъ достать себѣ все, что имъ нужно; а помѣщичьи «крѣпостные» люди были въ такомъ положеніи, что о нихъ нечего было и безпокоиться,—они со дня рожденія своего навѣки были предоставлены «попеченію владѣльцевъ», и тѣ о нихъ пеклись... Злополучные крѣпостные люди были всѣхъ другихъ несчастнѣе: они не только страдали безъ всякой помощи, но еще съ связанными руками и съ тряпицей во рту. Они даже не имѣли права отлучиться, и нерѣдко ихъ жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшія исключенія были тамъ, гдѣ помѣщики скоро ужаснулись раскрывшагося передъ ними деревенскаго положенія и, побросавъ свои деревни, сбѣжали зимовать куда-нибудь въ города и городишки,—«все равно куда, лишь бы избавиться отъ своихъ мужиченковъ» (т. е. чтобы не слыхать ихъ просьбъ о хлѣбѣ). Безъ господъ крестьянамъ по крайней мѣрѣ открывалась свобода брести куда глаза глядятъ и просить милостыню подъ чужими окнами. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ большихъ экономіяхъ «своимъ крестьянамъ» давали хлѣба и картофеля въ долгъ или со скидкой противъ цѣны, за которую отпускали «чужимъ людямъ», но и это все было недостаточно, такъ какъ и по удешевленной цѣнѣ покупать было не на что.

Разумѣется, я говорю только о той мѣстности, гдѣ я тогда жилъ, въ орловской губерніи. Можетъ-быть, что въ другихъ мѣстахъ было и иначе.

Я говорю *только* о томъ, что̀ самъ видѣлъ или о чемъ слышалъ въ тогдашнее время.

Самымъ ужаснымъ тогда казалось, что люди въ нашемъ мѣстѣ были связаны крѣпостною неволею: черезъ это они не могли никуда отлучиться и ничего себѣ промыслить. Среди мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ въ курской и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ орловской губерніи по мѣстамъ происходило такъ, что дѣти и старики «ходили въ-поборъ», а взрослые работали на барщинѣ, и работали работы неспѣшныя, какъ-то: сѣкли про запасъ хворостъ или рыли канавы,—съ чѣмъ со всѣмъ можно было подождать, а ѣли «сборное», т. е. то, что старики или ребятишки гдѣ-нибудь «напросятъ Христа ради». Въ большихъ экономіяхъ крестьянамъ было гораздо лучше, уже по тому одному, что тамъ по крайней мѣрѣ не стѣсняли людей, и мужики поползли «съ топорами» (т. е. плотничать) въ Кіевъ, въ Харьковъ и въ Нѣжинъ, и «съ лошадёмъ» подряжались везти «лагуны» (съ саломъ) или «бунты» (съ пенькою) въ Таганрогъ и въ Одестъ. И въ первомъ, и во второмъ отходѣ заработокъ ихъ былъ самый ничтожнѣйшій, или лучше сказать—никакого. Работали они больше только «изъ одного прокорма», и то считалось еще хорошо, если работникъ прокормится и назадъ домой вернется «съ лошадёмъ», а не съ однимъ «кнутикомъ». А то случалось, что онъ придетъ да обрадуетъ домашнихъ, что «кобылу» или «мерина ободралъ въ ухабѣ». Крестьяне, которые «нашли ряду» и успѣли уѣхать ранѣе, пока лошади ихъ еще не обезсилѣли отъ изнурительной безкормицы, кое-какъ справлялись, и на дорогѣ, въ самомъ пути отъѣдались сами и откармливали лошадей: эти и возвращались благополучно; но которые не нашли рано работы, а тронулись тогда, когда давно уже сталъ санный путь и лошади давно заморены на безкормицѣ,—у этихъ все «рушилось»: лошади у нихъ запрокидывались кверху ногами въ первомъ раскатѣ и «падали». Какъ безподрѣзныя сани пойдутъ въ раскатъ и ударятъ клячу по исхудалымъ булдыжкамъ,—она тотчасъ же и упадетъ, и лежитъ. Ее «поднимаютъ» мужики, кто за хвостъ, кто за плечи. Поднимутъ, установятъ и поддерживаютъ, а потомъ тронутъ: «ну, матушка!» Но она пройдетъ нѣсколько шаговъ, и опять хлопнется, ноги вверхъ задеретъ и даже не бьется. Чуть только не проситъ, чтобы ее ужъ и не тро-

гали,—что «мнѣ-де уже все равно какъ околѣть, лишь бы только поскорѣе».

Иногда, бывало, видишь, что какъ только лошадь поднимутъ, такъ она тутъ же сію минуту опять и падаетъ. Мужики, даже самые жестокіе, тутъ плакали какъ дѣти и жалѣли лошадей, — не били ихъ, а все, бывало, уговариваютъ лошадку: «ну, матушка! ну, кормилица!» — да сами во всю дорогу то у одной, то у другой оглобли пыхтятъ и подсобляютъ, а сами все плачутъ.

Страшное это представляло зрѣлище, какъ они, бывало, плетутся по дорогамъ длинными вереницами, и сами взъерошенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсѣмъ одни скелеты, обтянутые кожей...

И не разберешь даже—кто кого жалче.

Во всякомъ случаѣ извѣстная художественная группа Рѣпина, изображающая поволжскихъ бурлаковъ, представляетъ гораздо болѣе легкое зрѣлище, чѣмъ тѣ мужичьи обозы, которые я видѣлъ въ голодный годъ, во время моего дѣтства.

Въ глубокихъ ухабахъ или подъ раскатами столбовыхъ дорогъ то-и-дѣло, бывало, валяются ободранныя «падла» и надъ ними стаями вѣются черныя птицы, высматривающія — какъ бы имъ ухватить что-нибудь изъ того, что̀ можетъ остаться послѣ зубовъ страшно освирѣпѣвшихъ отъ голода собакъ. Собаки тогда рыскали очень далеко отъ домовъ и дичали совершенно какъ волки. Крестьяне, какъ извѣстно, и въ «довольное время» не любятъ кормить своихъ сторожевыхъ собакъ, и держатся того взгляда, что «песъ самъ о себѣ промыслитель», а въ голодный годъ собакъ и нечѣмъ было кормить. На ихъ собачье счастье лошадей околѣвало множество и трупы ихъ, или, по-мужичьи, «коневое падло», валялись безъ перевода и по полямъ, и по задворкамъ. Псамъ только надо было имѣть чутье да ноги, чтобы не пропасть съ голода. Но удивительно было, какъ они далеко узнавали о каждой павшей скотинѣ! Бывало, гдѣ ни выволокутъ падло, собаки ужъ знаютъ, и черезъ часъ-два собачьи слѣды такъ и наплетутъ черезъ всѣ поля сѣть по снѣгу. Люди удивлялись этому и предполагали, что у собакъ непремѣнно есть какое-то свое имъ свойственное средство сообщать другъ другу новости о событіяхъ, совершающихся за предѣлами ихъ слуха, зрѣнія и

обонянія. Въ самомъ дѣлѣ, чутье едва ли могло достигать на такія далекія разстоянія, откуда сбѣгались собаки терзать падаль! Приходилось видѣть знаемыхъ деревенскихъ собакъ, прибѣгавшихъ верстъ за двѣнадцать и за пятнадцать. Въ началѣ зимы, когда лошадей дохло много, собаки такъ хорошо отъѣлись, что волки ихъ боялись, и онѣ не подпускали волковъ къ пиру; но потомъ, когда всѣ лошади переколѣли, голодъ собакъ сталъ ужасенъ, и волки пошли рвать ихъ. Впрочемъ, псамъ все-таки было лучше, чѣмъ травояднымъ. Коровъ своихъ крестьяне «до послѣдняго берегли» и «воспитывали крышами». Сгребутъ, бывало, съ крышъ давно почернѣвшую солому и иногда «попарятъ ее въ корчажкѣ»—вотъ и кормъ. Солить было нечѣмъ: тогда соль составляла «правительственную регалію», и была такъ дорога, что плоховатые мужики и въ «ровные»-то года часто ѣли сныть несоленую. (У Тургенева мужикъ говоритъ, что надобно осиротѣлую дѣвчонку взять. Баба отвѣчаетъ: «намъ самимъ сныть посолить нечѣмъ». А мужикъ говоритъ: «А мы ее несоленую!» — и дѣвчонку взяли). Коровъ «ходячихъ» не рѣзали. Станетъ она «падать» или «заваливаться», идучи на водопой — ее все еще поднимаютъ и ведутъ до дому, «поддерживаютъ» и опять «крышей воспитываютъ». И такъ водятся съ ней до тѣхъ поръ, пока у нея «титьки высохнутъ». Тутъ уже, значитъ, ждать отъ нея больше нечего — «воспитаніе» ея кончено и остается ей «ножъ воткнуть». Зарѣзанную полуиздохшую корову поскорѣе «требушили» и потомъ волокли «въ копоть», т. е. разнимутъ ея трупъ на частички и повѣсятъ эти разсѣченныя части «надъ дымомъ», чтобы ихъ «прокурило» и «духъ отшибло», потому что у этого мяса даже до посмертнаго разложенія былъ какой-то особенный, вѣроятно болѣзненный запахъ, котораго «утроба человѣческая не принимала». А потомъ, когда дымъ все это «прокуритъ» — вонь нѣсколько измѣняла свой характеръ и мясо воняло иначе,— менѣе противно: тогда его, бывало, варятъ и ѣдятъ.

Но все это еще было сравнительно благополучное время, когда было что̀ «дымить», а впереди ждало положеніе гораздо болѣе тяжкое.

Здѣсь, однако, мнѣ припоминается, какое горе бывало въ крестьянскомъ дворѣ, когда дѣлалась очевидною неминуемая надобность немедленно предать смерти «кормилицу».

Какъ, бывало, доходитъ послѣдній кормъ, такъ «безкормной коровѣ» отъ мужиковъ выходитъ рѣшеніе, что ее надо «приколоть»... Тогда всѣ бабы принимаются «выть», а на нихъ глядя, завоютъ всѣ дѣти, и всѣ стараются «коровушку покрыть», т. е. увѣряютъ мужиковъ, будто она еще можетъ жить; но мужики этому не внемлютъ, и какъ замѣтятъ, что подойникъ пустъ, такъ сейчасъ же и берутся исполнять свое рѣшеніе.

Это ужасныя минуты въ крестьянской избѣ, которыхъ нѣтъ средствъ описать, а ихъ надо видѣть.

Послѣ ссоры и спора изъ-за коровы между бабами и мужиками—въ избѣ вдругъ пропадаетъ хлѣбный ножъ!..

Нѣтъ его, да и только! Бабы говорятъ: «ребята затащили»,—мужики дерутъ ребятъ за виски; ребята говорятъ: «мамка скрала»,—мужики мнутъ мамкѣ потылицу... Всѣмъ дѣла много, а ножъ все-таки не отыскивается.

Идутъ занимать ножъ къ сосѣду, но и у сосѣда ножъ пропалъ! Бабы рѣжутъ хлѣбъ какими попало ножевыми «аскретками», а настоящіе хлѣбные ножи всѣ «пропали». Ихъ ищутъ-ищутъ и не находятъ. Мужики понимаютъ, что это значитъ, и долго не разговариваютъ, а идутъ за ножемъ на другой конецъ деревни и тамъ гдѣ-нибудь пригодный ножъ находятъ. Тутъ же дѣлаютъ и уговоръ еще о живой коровѣ: какъ дѣлить ея «тушу», кому передъ, кому задъ, кому нутро или студни. Объ этомъ уговариваются, чтобы не пропадала «убоина», и за разъ нѣсколько коровъ въ деревнѣ не рѣжутъ. Сегодня рѣжетъ одинъ сосѣдъ, а другой поджидаетъ, если есть чѣмъ издыхающую «воспитывать».

Когда мужикъ добудетъ ножъ и возвращается въ избу, онъ молча начинаетъ водить ножъ по желѣзистому кирпичу на загнеткѣ. Видъ у него тогда мрачный, и бабы начинаютъ его бояться и уже не воютъ, а тихо плачутъ; но мужика и это выводитъ изъ терпѣнія. Къ тому же мать, или другая старуха, которая не боится тукманки, гдѣ-нибудь за угломъ причитаетъ. Мужикъ спѣшитъ точить ножъ и, пощупавъ его на ладони, уходитъ звать на помощь сосѣда. Съ «уборкой» буренки надо спѣшить, потому что она того и гляди околѣетъ, и тогда выйдетъ не «убоина», а «падло.»

Потомъ настаетъ въ избѣ жуткая тишина... Со двора все слышно, какъ мужики путаютъ корову вожжами и потомъ

бьютъ ее долбней по головѣ. Безъ этого они убить большую скотину не умѣютъ. А потомъ, когда этотъ ужасный стукъ долбни по черепу прекратится, — мужикъ перекрестится и всунетъ коровѣ ножъ въ горло... И всѣ стоятъ вокругъ въ тишинѣ и смотрятъ, какъ кровь бьетъ и зарѣзанная еще дрыгаетъ связанными ногами и смотритъ. Потомъ тишина кончена и закричатъ: «давай нòчвы!» Тутъ всему дѣлу развязка: бабы уже работаютъ спокойно; носятъ разрубленныя части своей бурёнки по избамъ и вѣшаютъ ихъ на деревянныхъ крючьяхъ и на лыковыхъ веревкахъ подъ потолками и надъ дверями черныхъ избъ (гдѣ дымъ идетъ). Тутъ это мясо коптилось или какъ будто бы коптилось. На самомъ же дѣлѣ орловскіе мужики мяса коптить не умѣли, да и негдѣ было имъ его коптить какъ надобно; а они только добивались, чтобы отъ него «не дюжо смердѣло».

Такъ пріѣли весь рогатый скотъ, и ко Срѣтенью (2 февраля) во всемъ селѣ, о которомъ разсказываю, осталась только одна корова у старосты, да двѣ у дворовыхъ; но лошадей еще оставалось на сорокъ дворовъ штукъ восемь, и то не у крестьянъ, а у однодворцевъ, которые жили въ одномъ порядкѣ съ крѣпостными. Однако, всѣ эти лошади содержались на одной соломѣ и ни для какой работы не годились. Ихъ даже нельзя было гонять на водопой къ колодцу, потому что онѣ завязали въ сугробахъ и падали, и люди должны были ихъ вытаскивать и волочь домой — что̀ было очень трудно.

Но не будемъ болѣе говорить о скотахъ, а посмотримъ что̀ случалося съ самими сынами человѣческими, отбывавшими здѣсь же безпомощно и безропотно всѣ выпавшія на ихъ долю злоключенія «голоднаго года»

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Изобразить въ общихъ чертахъ состояніе духа деревенскихъ людей за все время ужасной зимы сорокового года — я не умѣю. Была и унылость, и отчаяніе, и стоны, и неимовѣрное мужество... все это «человѣкомъ» и «часомъ», т.-е. каждый человѣкъ переносилъ свое мученіе сообразно своему характеру и не во всякую минуту одинаково. Съ виду даже, пожалуй, незамѣтно было, что люди переживаютъ *особенное страданіе*: жизнь въ крестьянскихъ избахъ

плелась почти такая же безотрадная, какъ и всегда. Тѣ же стоны и кряхтѣнье стариковъ, не слѣзающихъ съ остылыхъ печей; тотъ же дымъ и вонь, а часто и снѣгъ, пролѣзающій по угламъ, съ наружной стороны избъ во внутреннюю; тѣ же слабые писки голыхъ, и еле живыхъ ребятъ со вспухшими животами и красными отъ дыма глазами; но зимняя картина въ орловской деревнѣ никогда и не была другою... Я ее всегда видѣлъ именно этакою. Мнѣ гораздо легче вспомнить и удобнѣе, кажется, передать нѣкоторые, *особенные случаи*, которые уцѣлѣли въ памяти и которые я изложу одинъ отъ другого въ отдѣльности.

Прежде всего вспоминается мнѣ хилая дѣвочка Васёнка, которую «Богъ взялъ», и я съ этого начну мои рапсодіи, но такъ какъ мать Васёнки жила на дворовомъ положеніи, то прежду я скажу коротко о положеніи людей дворовыхъ, которое отличалось отъ крестьянскаго. Дворовымъ людямъ, которые въ обыкновенное время почитали себя несчастнѣе крестьянъ, въ голодовку выходило лучше, чѣмъ крестьянамъ, потому что дворовыхъ, не имѣвшихъ земли и состоявшихъ на работѣ при помѣщичьихъ дворахъ, помѣщики должны были кормить и кое-какъ кормили. Въ обыкновенное время имъ отпускали на мужчину 1 п. 30 ф. въ мѣсяцъ, а на женщину 1 п. 20 ф. и на дѣтей (съ 5 до 15 лѣтъ) по 20 ф. ржаной муки. Болѣе не давали ничего: приварокъ и соль они должны были припасти себѣ сами, и гдѣ-то они этимъ дѣйствительно раздобывались. Въ голодный годъ во многихъ мѣстахъ этимъ людямъ сдѣлали страшную обиду: «сняли ихъ съ мучной мѣсячины на печеный отвѣсъ», т.-е. стали давать имъ по 3 ф. хлѣба въ день на мужчину и по 2 ф. на женщину, а мальчикамъ и дѣвочкамъ по полтора фунта. Притомъ, если варили щи или кашу, то въ эти дни хлѣбный отвѣсъ уменьшался на половину. Этимъ уже дворовые люди были страшно недовольны, потому что они своимъ «отвѣснымъ хлѣбомъ» дѣлились со своими родственниками, голодавшими на деревнѣ, и это составляло ихъ священное право «помогать на деревню».

Дворовымъ и комнатной прислугѣ съ Введенія (21 ноября) мѣсячину и отвѣсъ тоже стали выдавать не «чистымъ хлѣбомъ», а съ примѣсью, но съ примѣсью очень съѣдобною, по преимуществу съ картофелемъ, и только въ случаѣ не-

достатка картофеля,—съ коноплянымъ жмыхомъ, который если свѣжъ и не горекъ, то вкусъ хлѣба не очень портитъ. Во всемъ хозяйствѣ теперь только намъ къ столу подавали чистый и притомъ «обрушенный» ситный хлѣбъ, муку для котораго содержали въ кади, въ кладовой подъ замкомъ, и отпускали ее въ кухню для выпечки.

Хлѣбъ этотъ былъ, конечно, гораздо лучше крестьянскаго пирога, и мы, дѣти, это знали и, ѣвши такой хлѣбъ, чувствовали что-то въ родѣ стыда по тому случаю, что мы пресыщались вкуснымъ хлѣбомъ и даже кормили имъ нашу собачку Фиделькy, тогда какъ на деревнѣ дѣти сосали жмыхъ...

Въ дѣтскихъ сердцахъ нашихъ какъ будто раздавался голосъ Бога, вопрошающаго о братѣ...

Пекла нашъ «господскій хлѣбъ» та птичница Аграфена, изъ однодворокъ, о которой упоминалось выше,—та, которая видѣла сны и первая запророчила быть голодному году. Она—напоминаю опять—имѣла право уйти отъ насъ, но жила на положеніи крѣпостной, потому что у нея были дѣти, прижитыя съ крѣпостнымъ мужемъ, и въ числѣ ихъ была та Васёнка, которую «Богъ взялъ», о чемъ сейчасъ и будетъ предложено, какъ это случилось.

Испеченный Аграфеною ситный хлѣбъ опять принимали отъ нея по вѣсу, требуя на каждый пудъ муки опредѣленное по опыту количество припеку, на что пекарки-бабы очень жаловались и находили это требованіе несправедливымъ, потому что «всякая мука даетъ свой припекъ неровно». Но имъ не вѣрили и усчитывали ихъ на золотники, точно дѣло шло о золотѣ. И «свой братъ» и «своя сестра», такіе же дворовые и крѣпостные, поддерживали въ господахъ это недовѣріе, постоянно донося на пекарокъ, будто тѣ «отнимаютъ тѣста отъ господскихъ хлѣбовъ своимъ дѣтямъ на лепешки». По такимъ доносамъ ключницею дѣлались внезапные обыски, и одинъ разъ у птичницы Аграфены, которая имѣла четырехлѣтнюю дочь Васёнку, страдавшую «кишкою», дѣйствительно нашли «шматокъ тѣста съ ладонь», спрятанный между грязными подушками постели, на которой стонала ея больная дѣвочка. Я помню, какъ объ этомъ «довела» дѣвочка, бывшая въ «виносушкахъ», по имени Агашка, и передъ матушкою стояли разомъ эта Агашка и ключница, производившая обыскъ, и

Аграфена, а на столѣ въ видѣ поличья лежалъ «шматокъ тѣста», которое она отняла отъ барскихъ хлѣбовъ и хотѣла спечь изъ него лепешку Васёнкѣ. Аграфену уличали Анна и Агашка, и Аграфена не отпиралась, а стояла гордая и «грубила». А грубость ея выражалась тѣмъ, что она очень страшно кляла свою дѣвочку Васёнку. Это зашло такъ далеко, что матушка забыла о дѣлѣ по существу и начала сердиться на Аграфену за то, что она проклинала дитя. Матушка говорила ей, что она не имѣетъ права такъ клясть дѣвочку и желать ея смерти! Но Аграфена этому кощунственно не вѣрила и, скребя ногтями свои локти, отвѣчала:

— Что̀ еще за право надо, когда я ей родительница! Возьму ее да и убью!

— И судиться будешь.

— Ну, такъ и что жъ такое!

— Тебя не помилуютъ.

— Да и не надобно!.. И такъ-то ужъ у васъ надоѣло!

И проговоривъ это съ дерзостью, Аграфена нетерпѣливо повернулась и ушла.

Ее не останавливали: ея однодворчество было для нея все равно, что «римское гражданство».

Матушка сказала, чтобы ей простили шматокъ тѣста и не попрекали ее этимъ, и тѣмъ дѣло о шматкѣ въ господскомъ домѣ было окончено, но въ птичной избѣ, гдѣ пекли хлѣбы, оно продолжалось и окончилось только наканунѣ Николина дня (5 декабря), когда четырехлѣтняя Васёнка была найдена надъ птичною избой возлѣ трубы, въ гнѣздильной плетушкѣ, и совершенно закоченѣвшая. А нашла Васёнку опять та же Агашка, которая въ этотъ разъ была послана ключницею наверхъ птичной избы обобрать въ покинутыхъ галочьихъ гнѣздахъ забытыя «подкладухи» (каменныя яички). Тутъ Агашка, шаря въ полутьмѣ руками подъ застрѣхою, нащупала въ заиндивѣвшемъ хворостѣ что-то такое, что̀ инстинктивно показалось ей чрезвычайно страшнымъ. Агашка вскрикнула и, не попавъ на приставную лѣстницу, свалилась прямо съ потолка избы на полъ сѣней, а когда прибѣжала въ горницу, то заговорила, что «на птичной избѣ подъ застрѣхой въ хворостинахъ, близко къ трубѣ, сидитъ что-то страшное». Тогда послали на верхъ взрослую дѣвушку съ фонаремъ — и та нашла тамъ Ва-

сёнку... Дѣвочка была въ одной рубашкѣ и босая, но ножки обвертѣла хлопочками, которые нашла въ выставленномъ сюда изъ избы плетеномъ гнѣздѣ, на которомъ въ свое время сидѣли на яйцахъ насѣдки. Васёнка подвинула одно изъ такихъ гнѣздъ подъ застрѣху, усѣлась въ него, а головкою прислонилась къ заиндивѣвшимъ хворостиннымъ рѣшетинамъ соломенной кровли и такъ закоченѣла, но она еще была жива, и когда ее принесли въ избу, она даже какъ будто бы смотрѣла, но только глазки у нея были «какъ сонные».

Когда ее принесли въ избу, то сейчасъ же прибѣжали въ господскій домъ сказать объ этомъ случаѣ барынѣ. Это, разумѣется, произвело смятеніе, въ которомъ всякій по-своему обнаруживалъ свою находчивость. А такъ какъ это произошло въ то время, когда мы только отпили утренній чай и матушка перемывала въ полоскательницѣ чайныя чашки, по серединѣ которыхъ стоялъ чайникъ со спитымъ чаемъ и съ двумя кусочками сахару, составлявшими «положенье» для няни и ключницы, то матушка велѣла отнести этотъ чай въ птичную и сама поспѣшила туда же, а за нею, въ общей суматохѣ, проникли туда и мы.

Тамъ мы увидѣли, что наша мать и нѣсколько женщинъ стояли вокругъ Аннушки, которая сидѣла на скамейкѣ и держала на колѣняхъ застывшую дѣвочку, а матушка, нагнувшись къ ней, старалась влить Васёнкѣ въ ротикъ съ ложечки чаю.

Стоя близко къ самому центру дѣйствія, я видѣлъ, какъ матушка достигла чего хотѣла, — она влила въ ротикъ Васёнки чайную ложечку тепловатаго чаю, и дѣвочка этотъ чай какъ будто проглотила, но вдругъ на губкахъ у дитяти что-то запѣнилось и затѣмъ все вылилось вонъ, а въ горлышкѣ что-то щелкнуло и въ животикѣ забурчало.

Аннушка ослабила руки, которыми держала ребенка, и, вскинувъ на матушку испуганными глазами, прошептала:

— Отходитъ!

Послали какъ можно скорѣе принести изъ матушкина образника плисовую шапочку угодника Митрофанія, но когда стали ее надѣвать на головку Васёнки, увидали, что она уже умерла.

Шапочку, однако, все-таки надѣли, и Анна въ этой же шапочкѣ положила дѣвочку на лавку подъ образъ, а возлѣ нея

поставили ковшикъ съ водою, чтобы «душка ея обмылась».

Это для меня было трогательно и занимательно, потому что до этой поры я еще не былъ при разлученіи человѣческой души съ тѣломъ, и я не ожидалъ, чтобы это происходило такъ просто.

Аграфены во все это время дома не было: она ходила на деревню къ своей бѣдной сестрѣ-солдаткѣ, которая тоже умирала.

Матушка послала за Аграфеной, а сама ушла, но я притаился и остался въ птичной.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Этотъ первый случай, «какъ духъ уходилъ, и никто не видѣлъ, куда онъ идетъ», врѣзался у меня въ памяти на всю мою жизнь, и тихая «смёрточка» тихой Васёнки тогда вдругъ показалась мнѣ страшнымъ укоромъ, вставшимъ противъ самыхъ близкихъ и дорогихъ мнѣ людей, до которыхъ сердце мое не желало бы допустить никакой укоризны. Я бросился въ уголъ, гдѣ стояли гусиныя гнѣзда, и горько заплакалъ о Васёнкѣ... Я все вспоминалъ, какъ, бывало, зайдешь въ эту избу, среди дня, когда она жарко натоплена и въ ней стоитъ густой запахъ свѣже-испеченаго хлѣба, — караваи хлѣба лежатъ на столѣ, покрытые бѣлымъ закатникомъ, въ кошелкахъ гогочутъ гуси и тикаютъ цыплятки, а Аргафены нѣтъ, и только одна терпѣливая Васёнка лежитъ на грязной постели подъ грубымъ веретьемъ и смотритъ тихо и безропотно или вдругъ скажетъ:

— Мамки нѣтъ... она уходцы!—и сама снова умолкнетъ, и опять лежитъ тихо-претихо.

Теперь она уже совсѣмъ умолкла и затихла навѣки. Ей теперь хорошо; но сколько она должна была перестрадать и перемучиться, пока застыла подъ застрѣхой! Какой ужасъ! И что̀ такое могло ее побудить оставить постельку, на которой она всегда такъ терпѣливо лежала, и лѣзть на холодный чердакъ, чтобы тамъ закоченѣть въ страшной стужѣ?

Я былъ твердо увѣренъ, что тутъ есть какая-то тайна, которую отгадать страшно, и получилъ въ этомъ еще бо̀льшее удостовѣреніе, когда въ избу съ надворья, въ облакѣ морознаго пара, вошла вдова Аграфена.

Она посмотрѣла на свою умершую дѣвочку и на всѣхъ, которые ее укладывали «подъ святые», и молча, съ совер-

шенно безчувственнымъ лицомъ, пошла въ противоположную сторону къ печи и стала грѣть возлѣ нея руки.

Въ это время опять вошла матушка, неся въ рукахъ дѣтскую рубашечку съ голубою лентою. Увидя Аграфену, матушка тронула ее за плечо и сердито показала ей на мертваго ребенка.

Аграфена посмотрѣла и опять ни слова не отвѣчала.

— Видишь или нѣтъ?—строго спросила матушка, и только тутъ Аграфена отвѣтила ей дерзко:

— Что̀ видѣть-то?.. Ну, и вижу!

— Это твой вѣдь ребенокъ?

— Ну, и мой! Что жъ такое? Былъ мой, а теперь пускай будетъ Божій! Господь его принялъ, и слава Богу.

— Ты безчувственная!

— Ну, такъ что жъ такое, хоть и безчувственная!.. Богъ взялъ дитя—что̀ тутъ еще чувствовать! Его воля.

Матушка покачала головою и, погрозивъ Аграфенѣ пальцемъ, вышла и унесла съ собою на груди шапочку Митрофанія; а какъ только барыня ушла—Аграфена подошла къ дѣвушкамъ и, обхвативъ ихъ всѣхъ трехъ сразу одной охапкой, толкнула къ дверямъ и сказала:

— Сгиньте, доносчицы!

Я не трогался и не шевелился.

Аграфена меня не замѣчала: она стала возлѣ Васёнки, послюнила пальцы и этими пальцами разгладила ей на лобикѣ ея льняные волоса, потомъ другъ икнула, опустилась на лавку, и у нея полились слезы; но это было не долго: она вытерла лицо грязной тряпкой и подошла къ стоявшей въ углу коробьѣ.

Здѣсь она увидала меня и, казалось, нетного удивилась, но, однако, не сказала мнѣ ни слова, а, порывшись въ коробьѣ, достала оттуда конецъ полотна, нитки и наперстокъ и пошла къ столу, чтобы что-то кроить, но въ это время въ избу вбѣжала дѣвочка Агашка и сказала, что мать моя сама пришлетъ Васёнкѣ саванъ и покровецъ.

Аграфена ничего не отвѣтила, но завернула нитки и ножницы опять въ полотно и снова все это положила въ коробью, и тутъ, нагнувшись надъ коробьею, вдругъ зарыдала.

Я робко приблизился къ ней и, самъ плачучи, обвилъ руками ея шею, но она меня отодвинула и сказала:

— Не замай! не замай!—и опять заголосила.

Мнѣ показалось страшно съ нею оставаться, и я пошелъ домой, гдѣ теперь всѣ были заняты судьбою Васёнки и притомъ всякій по-своему: матушка отрѣзала холстъ на саванъ Васёнкѣ, а дѣвушки шили эту никогда до той поры мною невиданную вещь «на живую нитку». Матушка каждой изъ нихъ напоминала, чтобы непремѣнно шить «на живую нитку».

Я очень интересовался, почему дѣвушки должны были шить на живую нитку, когда имъ въ другихъ случаяхъ такое шитье ставилось въ вину, и мнѣ объяснили, что это такое правило, что «на мертвыхъ всегда надо шить на живую нитку».

Я тогда былъ въ такомъ возрастѣ, когда дѣти «набираются впечатлѣній», и все новое меня очень интересовало.

Я давно слыхалъ слово «саванъ» и привыкъ чувствовать въ его звукѣ что-то зловѣщее, но никогда савана не видалъ, и теперь напрасно всматривался, какъ его шили, потому что ничего не могъ разобрать въ кучкѣ полотна, которая вертѣлась у швеи на колѣняхъ; но потомъ мнѣ удалось его увидать. Когда большія дѣвушки пошли обѣдать, рѣзвая дѣвчонка Роська, остававшаяся дежурной по дѣвичьей комнатѣ, наложила Васёнкинъ саванъ на себя и стала передъ отворенными дверями въ нашу дѣтскую, такъ что мы ее увидали, и сначала мнѣ показалось, будто я вижу «козу», которая ходитъ плясать съ медвѣдями, но потомъ я понялъ, что это и есть саванъ... Я испугался и, закричавъ отчаяннымъ голосомъ, убѣжалъ къ старшимъ.

Васёнку я не видалъ въ ея погребальномъ уборѣ, приготовленномъ для нея на живую нитку; но когда я легъ спать, то, прежде чѣмъ заснуть, мнѣ привелось услыхать разъясненіе, какъ она попала на чердакъ. Всему дѣлу виновницею оказалась ея мать, Аграфена, или, точнѣе сказать, ея «сибирный карахтеръ» (такъ доносила матушкѣ старостиха Домна). «Аграфена узгордилась, чтобы никто на нее не смѣлъ думать, что она дочкѣ шматокъ тѣста отъ господской дежки беретъ». И она будто Васёнку взяла и выгнала, чтобы та шла въ общую людскую избу, пока хлѣбъ высидится, а сама Аграфена къ сестрѣ на деревню пошла и тамъ задержалась, потому что сестрѣ горшокъ накидывала;

а Васёнка побоялась идти въ людскую избу, потому что тамъ въ сѣняхъ бѣлая телка, которая бодалась, и спряталась на чердакъ въ гнѣзда и тамъ застыла.

И Васёнку схоронили, а на Аграфену не сердились, и даже, когда подходилъ Васёнкѣ девятый день, Аграфенѣ велѣли выдать полпуда муки на блины и приказали дать ей лошадь, чтобы она могла поѣхать съ сыномъ своимъ, девятилѣтнимъ Егоркою, на кладбище; но Аграфена муку взяла и отнесла ее на деревню къ сестрѣ, а на лошади не поѣхала, а пошла съ Егоркою пѣшкомъ, хотя день былъ прескверный: холодъ и метель.

Пошли они утромъ, но не возвратились засвѣтло, а метель разыгралась, и думали, что вдова съ сыномъ остались переждать погоду у кого-нибудь изъ дьячковъ. Но на другой день ее не нашли на Поповкѣ, а потомъ и ее, и сына отыскали въ овражкѣ—мать съ сыномъ сидѣли обнявшись, и оба замерзли.

Повидимому, они шли домой и сбились съ дороги; но нѣкоторые думали, что Аграфена нарочно заморозила сына, чтобы его «ослобонить».

Истину въ этомъ дѣлѣ открыть было невозможно, и дьячокъ Меркурій, которому заказывали дѣлать надписи на крестахъ, написалъ на крестѣ, покрывшемъ семейство горделивой Аграфены: «Боговинися душа».

Никто не могъ понять въ точности, что̀ такое это значило, но всѣ находили, что это «что-то значитъ».

А дьячокъ Меркурій только кивалъ значительно головою и произносилъ: «гмъ!» — а внятнѣе ничего не сказывалъ.

Смерть Васёнки, Аграфены и Егорки была первымъ трагическимъ случаемъ изъ всѣхъ событій голодной зимы въ нашей деревнѣ, но драма эта совершилась втайнѣ и «предана волѣ Божіей».

Другія событія, которыя я припоминаю, случились позже и не такъ близко, какъ это. Но здѣсь еще надо вставить отрывокъ о хитромъ помѣщикѣ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Хитрый помѣщикъ былъ не кто иной, какъ майоръ Алымовъ, о которомъ вскользь уже упомянуто. Его почему-то не называли по имени и отчеству, а титуловали *по чину*:

«майоръ». Онъ былъ молодой, холостой, бравый, сильный, плечистый, съ огромнѣйшими черными усами «въ-розметъ» и съ бойкими, но непріятными манерами дурного тона, которыми онъ и оттолкнулъ отъ себя сосѣда-моряка при молебнѣ о дождѣ для земли алчущей.

Алымовъ служилъ въ какомъ-то полку и вышелъ въ отставку по какой-то «исторіи». Это, должно-быть, имѣло общественное значеніе, потому что при всякомъ случаѣ, когда мои родители знакомили съ кѣмъ-нибудь майора Алымова, то непремѣнно къ громко произнесенной рекомендаціи его прибавляли потише, что онъ «вышелъ по исторіи». Майоръ былъ холостъ и постоянно «лыталъ и судьбы пыталъ» или, проще сказать — искалъ выгодныхъ невѣстъ для законнаго брака, а до устройства себѣ искомаго семейнаго положенія онъ жилъ одинъ въ своей небольшой деревушкѣ, гдѣ у него былъ очень скромный домикъ, въ пять комнатъ, и вся усадьба, устроенная его матерью «по-однодворчески», а не по-дворянски. То-есть, домикъ у Алымова былъ построенъ однимъ фасадомъ въ садъ, гдѣ не было никакихъ иныхъ деревьевъ, кромѣ фруктовыхъ, а всѣми другими тремя сторонами этотъ домикъ выходилъ во дворъ, обнесенный всѣми хозяйственными службами, — закутами, сараями, амбарами и амбарушками.

Такой способъ постройки въ нашихъ мѣстахъ назывался «въ кольцо» и имѣлъ ту выгоду, что и люди, и животныя — всѣ были у хозяина передъ глазами; но зато кромѣ ихъ уже ничего другого видно не было.

Отъ этого на такихъ усадьбахъ не ходитъ вѣтеръ, — тепло, хозяйственно и очень скучно.

Алымовъ, по выходѣ въ отставку, уже нѣсколько лѣтъ сидѣлъ на этой усадьбѣ и велъ свое небольшое хозяйство аккуратно, почему у него было довольно всего, что только нужно въ его положеніи домовитаго холостого помѣщика и «женишка». А женишокъ этотъ, по памятному мнѣ опредѣленію моей няньки, былъ притомъ человѣкъ «довольно будто простенькій, но и довольно будто хитренькій». Онъ, напримѣръ, не подражалъ большинству помѣщиковъ, которые бывали часто очень требовательны къ своимъ людямъ и за всякую неисполнительность наказывали ихъ сурово и даже жестоко. Алымовъ хотѣлъ быть «добрымъ бариномъ»;

онъ хотѣлъ «жить такъ, чтобы въ деревнѣ ему своихъ людей нечего было бояться», и «чтобы люди его хвалили». Но онъ достигъ только одной половины этой программы, т. е. онъ у себя въ домѣ своихъ людей нимало не боялся, но похвалъ себѣ отъ нихъ не дождался, а люди его говорили о немъ, что онъ «шишимора».

Алымовъ былъ очень скупъ и изъ-за скупости будто бы и не женился, а только все сватался и на жениховскомъ положеніи ѣздилъ изъ одного помѣщичьяго дома въ другой, заставляя принимавшихъ его хозяевъ кормить его, съ кучеромъ, казачкомъ «Валеткой», тройкою лошадей и легавою собакою, которая называлась «Интендантъ». Она была замѣчательна тѣмъ, что вездѣ умѣла отыскивать съѣстные припасы и вездѣ ихъ очень ловко крала.

У Алымова, также какъ и у насъ, въ этотъ годъ не уродилось въ поляхъ ничего, и надо было купить ржи, чтобы засѣять озимыя поля—свои и крестьянскія.

Это требовало большихъ расходовъ, и притомъ это была такая надобность, которой нельзя было отвести; но Алымовъ, однако, съ этимъ справился: онъ уѣхалъ изъ дома въ самый сѣвъ и возвратился домой «по грудкамъ», когда земля уже замерзла и была запорошена мелкимъ снѣгомъ. А чтобы не нести покоръ на своей душѣ, что онъ бросилъ крестьянъ на жертву безкормицы, онъ ихъ утѣшилъ:

— Братцы!—сказалъ онъ «своимъ людишкамъ» по возвращеніи:—я объ васъ хлопоталъ,—хотѣлъ найти озимыхъ сѣмянъ, да не нашелъ; но вы какъ-нибудь перебьетесь... Не правда ли? Я нашелъ отличныя сѣмена *яровой ржи* и купилъ цѣлыхъ десять четвертей. По осени ихъ везти неспособно было изъ Дмитровки, а теперь готовьтесь: какъ санный путь встанетъ—поѣзжайте на пяти подводахъ, берите по двѣ четверти на лошадь и привозите домой, ссыплемъ въ одинъ мой амбаръ, а по веснѣ, что̀ Богъ дастъ,—запашемъ и засѣемъ всѣ земли—мои и ваши, и будетъ чудесно... не правда ли?

Мужики отвѣчали:—Можетъ, и правда! А сами подумали: «Вѣрно, брешетъ,—вѣрно, что-нибудь крутитъ, шишимора!»—однако поѣхали и яровую рожь привезли.

А какая она такая будетъ и годится ли—то̀ имъ было не вѣдомо, и потому они дѣлали все это съ неудовольствіемъ.

Прибыли на дворъ, выпрягли лошадей и оставили рожь на санкахъ,—ссыпать было поздно.

А когда пришли ссыпать на другой день, то увидали нѣчто необыкновенное: господинъ ихъ захотѣлъ Божье зерно все перепортить.

Алымовъ начиталъ въ «Трудахъ Экономическаго Общества» что-то необыкновенное о «навозной жижѣ», въ которой рекомендовалось мочить сѣмена и потомъ ихъ высушить, и отъ посѣва такихъ сѣмянъ урожай бываетъ отмѣнный.

«Шишимора» сейчасъ же устроилъ у себя на скотной избѣ ящикъ, величиною въ два большихъ корыта,—навелъ тамъ жижицы на мѣшаномъ конскомъ и иномъ пометѣ и велѣлъ въ немъ «зерно макать да просушивать», и тогда только въ амбаръ ссыпать.

Затѣя эта мужикамъ очень не понравилась и показалась глупою, а оттого и руки у нихъ не поднимались, чтобы «добро не знамо въ чемъ мочить»; но дѣлать было нечего—власть господская выше, и мужики своему «шишиморѣ» повиновались, все помочили, обсушили и ссыпали,—амбаръ заперли и ключъ ему принесли и у самыхъ образовъ на стѣнку повѣсили. А «шишимора» сейчасъ же опять велѣлъ заложить свою тройку въ сани, взялъ казачка Валетку и собаку «Интенданта» и поѣхалъ свататься на цѣлую зиму. И выѣздъ этотъ онъ производилъ съ повсемѣстнымъ успѣхомъ, которому очень помогала его «продувная штука», «какъ онъ оплёлъ мужиковъ».

Оплетаніе же заключалось въ томъ, что яровая рожь, припасенная на сѣмя, была «припоганена» посредствомъ замачиванья ея въ навозной жижѣ, и что теперь за эту рожь уже бояться нечего, такъ какъ мужики ее, «поганую» отъ мочки въ навозѣ, на снѣдь уже не украдутъ.

— А что же они зимой будутъ ѣсть?—спрашивали майора.

— Сдѣлайте вашу милость!—отвѣчалъ Алымовъ: — объ нихъ, пожалуйста, не безпокойтесь! Они свое дѣло знаютъ. Но я ихъ, впрочемъ, *такъ* не оставляю: я имъ сказалъ: «Братцы! вѣдь это всего только до весны... вы до весны какъ-нибудь перебейтесь!» Они, не безпокойтесь: они перебьются!

И всѣмъ это казалось очень забавнымъ: люди съ воображеніемъ представляли себѣ—какъ тамъ у него мужики при-

дутъ къ амбару, гдѣ ссыпана рожь, маканная въ навозной жижѣ, и понюхаютъ они, чѣмъ пахнетъ, и увидятъ, что рожь есть, а ѣсть ее нельзя... Вотъ и смѣхъ! Не правда ли?—вотъ они и пойдутъ прочь и «какъ-нибудь перебьются».

Этого человѣка не презирали и не порицали, а напротивъ находили его шиншиморскій поступокъ очень забавнымъ, и продолжали всюду принимать Алымова и кормить его. Но мы теперь оставимъ майора путешествовать изъ дома въ домъ, а сами посмотримъ, какъ обходились и что выдумывали тѣ, кому было предоставлено: «какъ-нибудь перебиваться».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Передъ Рождествомъ Христовымъ прошла молва, что началось людоѣдство. Извѣстно, что и въ 1892 году въ деревняхъ объ этомъ пробовали говорить; но теперь писаря и старшины читаютъ газеты и знаютъ, что о такихъ событіяхъ пишется, а потому ложь скоро опровергается; но тогда было другое дѣло. Пришелъ кто-то откуда-то и сталъ сказывать, будто бы съ отчаянія и съ голоду люди убиваютъ другихъ людей и варятъ ихъ въ золовыхъ корчагахъ и съѣдаютъ. По преимуществу такія продѣлки приписывали матерямъ, которыя будто бы дѣлали это изъ состраданія. Глядитъ-глядитъ, будто бы, мать на своихъ дѣтей, какъ они мучатся голодомъ, и заманитъ къ себѣ чьего-нибудь чужого ребенка, и зарѣжетъ его, и сваритъ, и накормитъ своихъ дѣтей «убоиной». Указывали даже очень недалекія селенія, гдѣ, будто, навѣрное совершились всѣ такія происшествія, и описывали подробности этихъ случаевъ. Такъ, въ одномъ селѣ, которое было отъ насъ въ десяти верстахъ, одна баба, будто бы, долго терзалась, глядя на томленіе умиравшихъ отъ голода четырехъ дѣтей, да и говоритъ имъ съ вечера въ потемочкахъ (огня въ деревняхъ тогда многіе по бѣдности «не свѣтили»):

— Спите, дѣтки мои, голубяточки, и если вы спать будете, то я вамъ завтра сварю убоинки.

Старшая изъ дѣтей этой бабы уже понимала нужду своего бѣднаго житья и говоритъ:

— Гдѣ же ты, мамка, возьмешь намъ убоинки?

А мать отвѣчаетъ:

— Это не ваше дѣло: вы уже только засните, а я побѣгу либо у кого-нибудь выпрошу, либо впотьмахъ у волка вырву.

Дѣвочка и раздумалась о томъ, какъ мать будетъ впотьмахъ у волка изъ зубовъ мясо вырывать, и говоритъ:

— Страшно, мамушка!

А баба отвѣчаетъ:

— Ничего не страшно: спите! Вотъ какъ вы не спите да голосите, такъ мнѣ это гораздо страшнѣе!

А было это какъ разъ въ сочельникъ.

Дѣти же у бабы были погодочки—всѣ малъ-мала-меньше: старшей дѣвочкѣ исполнилось только пять лѣтъ, а остальныя всѣ меньше, и самый младшій мальчишка былъ у нея у грудей. Этотъ ужъ едва жилъ — такъ онъ извелся, тянувши напрасно изсохшую материну грудь, въ которой отъ голода совсѣмъ и молока не было. Очевидно, что грудной ребенокъ неминуемо долженъ былъ скоро умереть голодною смертью, и вотъ на него-то мать и возымѣла ужасное намѣреніе, о которомъ я передамъ такъ, какъ о немъ разсказывали въ самомъ народѣ.

Какъ только баба обманомъ угомонила дѣтей и ея старшіе ребятишки уснули съ голоднымъ брюхомъ, она взяла своего грудного мальчика, дрожавшаго въ ветошкахъ, положила его къ себѣ на колѣни и дала ему въ ротикъ грудь, а возлѣ себя положила на столъ хлѣбный ножикъ. Изнуренный ребенокъ, несмотря на свою усталость, взялся за грудь, но какъ молока въ груди не было, то онъ только защелкалъ губенками и сейчасъ же опять оторвался и запищалъ... Тогда мать пощекотала у него пальцемъ подъ шейкой, чтобы онъ поднялъ головку, а другою взяла ножъ и перерѣзала ему горло.

Убивъ дитя, она, будто, сейчасъ же положила его въ ночвы, а потомъ разняла на части, посовала въ горшокъ и поставила въ печку, чтобы мясо сварилось, а «утробку» на загнѣткѣ въ золѣ сожгла, и ночвы и столъ вымыла, и тогда побудила старшую дѣвочку и сказала ей:

— Вотъ тутъ въ печи стоитъ горшокъ—варится... Въ немъ, гляди, для васъ полно убоины... достаньте его и все мясушко съѣшьте, ничего не оставляйте. Слышишь ли?

Дѣвочка говоритъ:

— Мамушка родная! ты зачѣмъ же одна въ кусочки пойдешь, когда у насъ убоинка варена! Съѣшь убоинки!

Но мать только поблѣднѣла и руками замахала:

— Нѣтъ,—говоритъ,—я не хочу—вы одни ѣшьте!—и съ этимъ толкнула дверь ногой и ушла.

А дѣвочка сейчасъ же высунула ємками горшокъ изъ печи, перебудила своихъ младшихъ,—сѣли за столъ и начали ѣсть.

И всего своего братца они съѣли бы безъ остаточка, но только кому-то изъ нихъ къ концу стола попалась нераскинувшаяся въ кипяткѣ ручка или ножка ребенка, и они по этой ножкѣ или ручкѣ узнали, что ѣдятъ «человѣчину»...

Тутъ они бросились бѣжать вонъ изъ избы, но только-что отворили дверь, какъ смотрятъ—мать ихъ въ сѣнцахъ виситъ удавившись, подцѣпивъ веревку за рѣшетину въ снятой крышѣ.

Въ другомъ же селѣ вышло будто дѣло еще страшнѣе: тамъ будто бы «внучки съѣли свою бабушку».

Обѣ эти новости принесъ въ деревню и разсказывалъ всѣмъ на удивленье и на страхъ сухорукій Ефимъ, у котораго было особенное, очень пріятное положеніе. Его называли «прощенникъ», потому что онъ когда-то, еще при прежнихъ господахъ, сдѣлалъ очень большой грѣхъ: укралъ и одинъ, ни съ кѣмъ не подѣлясь, съѣлъ цѣлый артосъ, и за это онъ былъ три года скорченъ, но потомъ госпожа ѣздила куда-то къ святынѣ и возила этого Ефима съ собой, и онъ тамъ исцѣлился. «Богъ его простилъ»: корча отъ него была отнята, но для памяти о его грѣхѣ у него рука усохла, такъ что работать ему было невозможно. Съ тѣхъ поръ Ефимъ не жилъ осѣдло, а все ходилъ по святымъ мѣстамъ, «молился и презвищалъ». Ефимъ былъ мастеръ разсказывать, но въ основѣ его разсказовъ часто бывало много вздора и вралъ онъ, ничѣмъ не стѣсняясь, какъ будто ему и не было прощенія. Точно такъ же онъ навралъ и о сваренномъ ребенкѣ, и о старухѣ, которую съѣли внучки. Но навралъ онъ не все отъ своего ума, а взялъ нѣчто и отъ другихъ людей, среди которыхъ оба эти разсказа сложились эпически, и въ основу ихъ фабулы легли нѣкоторыя дѣйствительныя происшествія, которыя въ ихъ натуральной простотѣ были гораздо болѣе ужасны, чѣмъ весь приведенный вымыселъ съ Ефимовой раскраской.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ дѣйствительности было вотъ что: довольно далеко отъ насъ,—верстъ болѣе чѣмъ за сто, — была деревня, гдѣ крестьяне такъ же голодали, какъ и у насъ, и тоже всѣ ходили побираться кто куда попало. А такъ какъ въ ближнихъ къ нимъ окрестныхъ селеніяхъ нигдѣ хлѣба не было, то многіе крестьяне отбивались отъ дома въ дальнія мѣста и разбредались цѣлыми семьями, оставляя при избѣ какую-нибудь старуху или дѣвчонку, которой «покидали на пропитаніе» ранѣе собранныхъ «кусочковъ».

Одна изъ такихъ крестьянскихъ семей, удалившись въ поборъ, оставила въ избѣ дѣвочку лѣтъ тринадцати, которую съ собою нельзя было взять, потому что она недомогала, и притомъ у нея совсѣмъ не было ни обуви, ни одежи.

Ей «покинули» сколько могли корочекъ и охапки три хворосту, чтобы она могла имъ понемножку топить избу, и оставили ее на волю Божью. Несчастная абандона коротала дни одинокая въ пустой и почти холодной избѣ, для согрѣванія которой было очень мало топлива. Она сидѣла днемъ подъ окошечкомъ, пряла какую-то посконь и томилась и отъ голода, и отъ стужи, и отъ немощи, и отъ одиночества, и въ этомъ положеніи ее навѣщала только одна подруга,—такихъ же лѣтъ дѣвочка изъ сосѣдней избы. Разумѣется, и эта дѣвочка была такая же бѣдная, но та, первая—была тихая и покорная, а эта, вторая,—очень бойкая и, какъ увидимъ, слишкомъ предпріимчивая.

Она и надѣлала бѣдъ, изъ которыхъ сложились потомъ разнообразныя легенды, ходившія по округу и еще сохраняемыя, можетъ-быть, и доселѣ.

У этой, второй дѣвочки-«озорницы» недавно умерла мать, и отецъ ея отложилъ новую женитьбу «до урожая», а пока онъ самъ уходилъ побираться съ двумя мальчиками, а «озорницу» онъ жалѣлъ таскать, потому что ей было не во что одѣться.

Ей также «покидали кусочковъ и топливца», и она оставалась «при избѣ». А какъ одной въ избѣ сидѣть скучно, то «озорница» приходила скучать къ смирной сосѣдкѣ.

Вдвоемъ имъ было веселѣе и теплѣе и дни коротать, и ночь спать.

Дѣвочки ладили между собою, несмотря на то, что рѣзвая, приходя къ тихой, не давала ей покоя и не разъ ее забижала; но это все было ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что она одинъ разъ устроила.

Однажды, въ холодный и солнечный день, утромъ, когда обѣ дѣвочки встали,—хворая хозяйка начала набивать хворостомъ печь, а озорница убѣжала «свою избу провѣдать» и долго не возвращалась; но потомъ хворая слышитъ, что кто-то отворилъ дверь, которая вела съ надворья въ сѣни, и сейчасъ же въ сѣняхъ послышалось блеяніе ягненка.

Немощная дѣвочка удивилась, потому что во всемъ ихъ концѣ деревни давно уже ни ноги овечьей въ живыхъ не осталось, и ягненку взяться было неоткуда. Уцѣлѣло же нѣсколько овецъ только у двухъ «богатѣевъ», но это было въ дворахъ на противоположномъ концѣ деревни. Оттуда сюда забѣжать ягненку было далеко, да и незачѣмъ.

Но, однако, больной ясно было, что у нея въ сѣняхъ есть ягненокъ, и что онъ пришелъ туда не своею охотою, а его кто-то тащитъ и въ то же время запираетъ за собою дверь съ надворья.

Больная стоитъ у печи и смотритъ на дверь, а дверь вдругъ распахнулась и съ клубомъ холоднаго облака врывается въ избу сосѣдняя озорница, а передъ собою толкаетъ маленькаго черненькаго ягненочка.

Больная спросила ее.

— Чей это баранчикъ?

А озорница ей отвѣчаетъ:

— Развѣ не видишь, что мой!?

— Нѣтъ, исправди чей?

— Да вотъ исправди и есть, что мой.

— Чего ты врешь!

— Ничего не вру: въ моихъ рукахъ, такъ, стало-быть, мой. Давай мнѣ, дѣвушка, поскорѣй ножъ—я его зарѣжу!

Та удивилась.

— Что ты,—говоритъ,—выдумала!.. Уйди ты!

— Ну, какъ же, такъ я сейчасъ и ушла!—поддразнила озорница, и добавила:—Мы эту барашку сейчасъ обдеремъ и спечемъ, и ѣсть будемъ.

А сама увидала въ эту минуту на столѣ хлѣбный ножъ, схватила его, зажала барашка въ колѣни и перерѣзала ему горло.

Хворая было-бросилась, чтобы отнять барашка, да уже поздно было: барашекъ трепеталъ и фыркалъ кровью.

Дѣвочки побранились, и хозяйка хотѣла выгнать гостью вонъ изъ избы вмѣстѣ съ зарѣзаннымъ ягненкомъ; но озорница ея не послушалась и не пошла вонъ, а схватила изъ-подъ лавки рогожу и хотѣла закрыть ею окно, чтобы никто случайно не заглянулъ въ это окно и не увидалъ, что̀ тутъ дѣлается; но едва она зацѣпила на веретено одинъ уголъ рогожи, какъ замѣтила, что къ окну снаружи прильнуло дѣтское лицо въ огромной шапкѣ, и шепелявый полудѣтскій голосъ проговорилъ:

— А я все видѣлъ, что̀ вы, сибирныя, сдѣлали!

Робкая хозяйка такъ и замерла, а бойкая виновница всего происшествія дала ей знакъ, чтобы она молчала, а сама закричала на говорившаго:

— Анъ, врешь, ты ничего и не видѣлъ!

— А вотъ же, убей меня Богъ, видѣлъ!—отвѣчалъ мальчикъ, въ которомъ обѣ дѣвочки теперь могли узнать картаваго хозяйскаго сына изъ того самаго двора, чьего ягненка озорница заколола.

— Ну, а если видѣлъ — такъ скажи: что же ты видѣлъ?..—переговаривалась она, продолжая держать противъ окна рогожу.

— Я видѣлъ, что вы нашего ягненка зарѣзали, — отвѣчалъ мальчикъ.

— Ну, вотъ ты и врешь!

— Нѣтъ, видѣлъ... я сейчасъ побѣгу и тятькѣ скажу.

Тутъ озорница не стала больше спорить, а перемѣнила тонъ:

— Нѣтъ, ты слушай... ты, хорошій мальчикъ, этого пустого не сказывай!

— Анъ, скажу... Зачѣмъ вы зарѣзали!?

— Да на̀ посмотри,—барашекъ живъ еще.

— Не ври, не ври! Я видѣлъ, какъ ты на него верхомъ сѣла, да по горлу его полоснула!..

— Ну, а вотъ поди же, посмотри,—онъ живъ.

— А зачѣмъ онъ не кричитъ?

— А зачѣмъ ему кричать, когда ему хорошо. Бяшка! бяшка! Ишь, смотри... хвостикомъ махаетъ! Поди посмотри, какъ ему хорошо,—тебѣ и самому такъ захочется.

Мальчикъ хотѣлъ посмотрѣть въ окно, но дѣвочка не отвела рогожи, а упорно звала его въ избу.

— Поди,—говорила она:—поди сюда въ избу... Ишь ты, какой молодчикъ! И чья это только на тебѣ такая шапка ухастая?

— Шапка дѣдкина.

— То-то, ты въ ней ишь... какъ купецъ пригожій. Она у тебя, гляди, въ середкѣ-то еще, должно-быть, пуховая?

— Съ перьями.

— То-то я и вижу, что изъ нея изъ середки перо куриное лѣзетъ... Поди, я тебѣ эту дырку въ шапкѣ иглой зашью.

— Не надобно.

— Отчего жъ такъ не надобно? Иди, дурачокъ,—я зашью.

— Свои бабы зашьютъ.

Дѣвчонка бойко его передразнила:

— «Свои бабы зашьютъ»... Легко ли радость какая въ своихъ бабахъ! Къ намъ иди—у насъ лучше.

— Не надобно.

— Зарядилъ одно: «не надобно»! Иди, говорю тебѣ,— увидишь, что надобно будетъ.

Мальчикъ сталъ водить по снѣгу хворостиною и, заминаясь, повторилъ:

— А что будетъ?

— Хорошо поиграемъ съ тобою... Иди скорѣе!

Мальчикъ еще больше заколебался и глухо протянулъ:

— Не надо было барана рѣзать... Зачѣмъ зарѣзала?

— Да полно тебѣ все про одно, дуракъ!.. Иди... я за тебя замужъ выйду, а она будетъ свахою, а потомъ я тебя на ней женю... Иди... хорошо поиграемся.

Маленькая сирена восторжествовала, и еще меньшій сатиръ, въ дѣдкиной шапкѣ на куриномъ перѣ, будто нехотя, поползъ въ двери избы, куда его поманили на обѣщанныя забавы, а чуть только онъ отворилъ дверь и перелѣзъ черезъ порогъ въ дѣдкиномъ треухѣ и съ огромною хворостиною, озорная дѣвочка сейчасъ же схватила его за руку и говоритъ:

— На-ка, игрунокъ, смотри-ка, гдѣ вашъ ягненокъ-то!

— А гдѣ же онъ?

— Вонъ, вонъ, гляди, онъ сигаетъ вверху на полочкѣ!

Мальчикъ этотъ былъ моложе обѣихъ дѣвочекъ, — ему всего было лѣтъ десять, но онъ понималъ, что барашекъ не птица и что ему на полицѣ быть не пристало; однако, мальчикъ поднялъ вверхъ голову, а дѣвочка въ ту же се-

кунду нахлобучила ему шапку до подбородка, воткнула ему въ горло ножикъ и толкнула его колѣномъ въ спину такъ сильно, что онъ упалъ ницъ, и ножикъ еще глубже вонзился въ его горло.

Мальчикъ лежалъ ницъ, замирая въ тихихъ, но сильныхъ содроганіяхъ и захлебываясь собственною горячею кровью, которая лилась изъ раны прямо въ шапку и, наполняя ее, быстро задушила его черезъ ротъ и ноздри. Онъ не вскрикнулъ и даже не подалъ стона, и можно сказать — былъ убитъ мастерски, да и самъ себя велъ молодецки: придя сюда поиграть въ мужья, онъ въ самомъ дѣлѣ велъ себя мужественно—не плакалъ и не жаловался на женское предательство, а лежалъ какъ жертва коварства и любви, распластавъ руки въ-размётъ въ разныя стороны и не выпуская изъ крѣпко сжатой ладони орѣховой хворостины.

Какъ шелъ на свиданіе, такъ и умеръ во всей своей пышной представительности.

Больная дѣвочка, увидя такое происшествіе, заголосила и хотѣла выбѣжать изъ избы, но гостья погрозила и ей ножомъ и сказала:

— Чего ты боишься?.. Онъ самъ наткнулся. Хотѣлъ играть—вотъ и поигралъ... Слушай меня, а то и тебѣ то же будетъ. Пихай больше хворосту въ печь... Мы этого мальчёнку сожжемъ — и знать ничего не будутъ, а барашка спечемъ и поѣдимъ убонны.

Больная дѣвочка, дрожа отъ страха, стала исполнять распоряженія своей гостьи: онѣ съ очень большимъ трудомъ запихали убитаго мальчика въ печь, потому что растопыренныя руки ребенка и хворостина, которую дѣвочки никакъ не могли вырвать изъ окоченѣвшей руки, давали мальчику самооборону; онъ растопырился въ самомъ устьѣ печи и не хотѣлъ лѣзть, такъ что съ нимъ съ мертвымъ пришлось бороться и драться. Только послѣ многихъ трудовъ и усилій его, наконецъ, одолѣли и пропихали въ печь. и завалили его хворостомъ, и зажгли этотъ хворостъ, а потомъ принялись свѣжевать барана; но дѣло это тоже пришлось имъ не по силамъ.

Чтобы снять кожу съ убитаго животнаго, для этого нужно извѣстное умѣнье, котораго у дѣвочекъ не было, и притомъ онѣ сдѣлали упущеніе, давъ трупу барашка закоченѣть, послѣ чего освѣжевать его стало еще труднѣе. А потому

онѣ все перепортили и бросили, а откромсали кое-какъ, вмѣстѣ со шкурою, одну ляжку и принялись ее печь безъ всякой приправы и въ той же самой печи, гдѣ теперь сожигался убитый мальчикъ.

Мальчикъ горѣлъ запихнутый въ печь подальше, а баранья ляжка пеклась въ той же печи, только поближе къ устью, и у загнѣтки стояла робкая дѣвочка-хозяйка, подбивая къ огню хворостъ, а озорная гостья убирала хату, т.-е. засыпала соромъ и золою кровь, пролитую на земляной полъ, и металась, не зная куда сбыть съ глазъ долой выпущенную изъ барана утробу.

Въ концѣ она рѣшила закопать ее подъ лавкою, и принялась за это дѣло.

Простота всѣхъ побужденій и пріемовъ этого двойного и прогрессивно восходившаго преступленія двухъ малолѣтнихъ была изумительна! Обѣ дѣвочки убивали и прятали слѣды своего преступленія чисто по-дѣтски, — точно будто играючи... И пока на дворѣ былъ свѣтъ, онѣ чувствовали себя бодро; но когда короткій зимній день померкнулъ, на нихъ тотчасъ же напалъ страхъ, и онѣ стали соображать, что печку пора бы закрыть и избу «укутать», но этого нельзя было сдѣлать, потому что мальчикъ еще далеко не сгорѣлъ, и казалось, что онъ будто даже и не горитъ, а словно онъ еще живъ, и въ пылавшемъ хворостѣ «ёжится». Дѣвочки старались избавиться отъ него какъ можно скорѣе и спѣшили набивать въ печь новаго топлива, и не замѣтили, какъ сожгли весь бывшій у нихъ запасъ хвороста, и печь угрожала потухнуть; а между тѣмъ въ домѣ, гдѣ пропали баранчикъ и мальчикъ, къ ночи хватились того и другого и начали ихъ искать по дворамъ, при чемъ искавшіе пришли и въ избу, гдѣ были дѣвчонки, и преступленіе ихъ было открыто: убитаго мальчика отыскали «по гари», т.-е. по пригорѣлому запаху изъ печи.

Барашекъ былъ еще цѣлъ подъ лавкою, а въ печи подъ пепломъ нашли обгорѣлое туловище ребенка, отъ котораго даже не отпали ни голова, ни оконечности. Дѣвочки во всемъ признались и были отправлены въ острогъ, а изъ того, что онѣ сдѣлали, посредствомъ пересказа изъ устъ въ уста, составилась та басня, которую принесъ къ намъ въ деревню исцѣленный Ефимка.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Другой изъ разсказовъ Ефимки о томъ, будто «внучки живую бабку съѣли», имѣлъ въ основѣ своей иное, трогательное происшествіе: въ вольномъ селѣ Мотыляхъ доживала вѣкъ одинокая старушка, которая много лѣтъ провела въ господскихъ и купеческихъ домахъ, въ нянюшкахъ, и «нажила капиталъ»—цѣлую тысячу рублей ассигнаціями (т.-е. на нынѣшнія деньги около 280 руб.).

Подъ старость ей стало тяжело няньчить хозяйскихъ дѣтей, и она захотѣла уйти «на покой», для чего и рѣшила уѣхать изъ города въ то село, откуда была родомъ, и гдѣ у нея оставались еще какіе-то родственники.

Опытные люди отговаривали ее отъ этого: они представляли ей давно извѣстную опасность,—что тѣмъ, кто жизнь прожилъ въ городѣ, въ старыхъ лѣтахъ возвращаться въ село не безопасно. Про такого человѣка сейчасъ прославятъ, что онъ богачъ или она «богатѣя», и тогда, того и гляди, что кто-нибудь изъ родныхъ «соскучится дожидаться» и «приспѣшитъ смерти»; но старуху предупреждали напрасно—она этого дѣльнаго предостереженія не послушалась.

— Легкое ли дѣло, что̀ у меня за богатство!—разсуждала она.—Мѣстечко у міра выпрошу, сколько-нибудь денегъ на вино для старичковъ испою, а потомъ избенку себѣ поставлю, да коровенку куплю,—вотъ всего ничего у меня и останется на овсяный кисель да на еловую домовину... За что̀ меня и убить-то?.. И грѣха взять не сто̀итъ!

Такъ она и съѣхала изъ Орла, отъ своихъ почтенныхъ купцовъ, на деревню, пропоила старичкамъ три ведерка вина, получила мѣсто для хаты, построила избу, завела коровенку и стала жить.

Старушка была хорошая и добрая; она привѣчала всѣхъ и давала отъ своей коровки молочка безкоровнымъ ребятишкамъ, а особенно ласкала дочерей своей племянницы, ихъ которыхъ одна, самая младшая, была ея любимицею.

Эту дѣвочку старушка совсѣмъ забрала къ себѣ жить и обѣщала отказать ей по смерти своей и избу, и корову, и «все богатѣйство».

А сколько было того «всего богатѣйства», — то было не считано и «не смѣтно».

Когда насталъ голодный годъ, къ старушкѣ стало при-

ходить такъ много ребятишекъ, что она не могла уже всѣмъ имъ дать молока отъ своей коровы. Тремъ-четыремъ дастъ, а больше и нѣтъ, — и самой похлебать ничего не оставалось. Не привыкла старушка отказывать, да дѣлать нечего— поневолѣ отказываетъ, и бѣдные ребятишки отходятъ съ пустыми плошками... А такіе они все жалкіе, испитые, даже и не плачутъ, а только глядятъ жадно... Думать о нихъ больно. И не знаетъ старушка, какъ ей быть и какъ между всѣми молочко дѣлить...

Но вдругъ все это ея затрудненіе сразу покончилось: въ одну изъ темныхъ зимнихъ ночей, передъ праздникомъ, кто-то увелъ изъ сѣней ея корову, и слѣды ея на улицѣ съ другими такими же слѣдами попутались, и стало негдѣ искать коровы.

Старуха не согласилась и явку подавать,—сказала:

— Боюся я, не поклепать бы невиннаго!

Говорили ей, будто коровка ея по частямъ разнята и солится въ корчагахъ на большой дорогѣ у постоялаго дворика, но старуха таки-выдержала себя — не жаловалась.

Щуняли ее и племянники, и попъ при встрѣчѣ ей выговаривалъ, что нехорошо не заявлять,—что «кто вору потакаетъ, тотъ самъ если и не тать, то на ту же стать»; но старушка все отвела тѣмъ, что «Богъ все знаетъ, — а она не письмённая!»

Теперь она осталась при одномъ киселѣ и не уставала киселемъ дѣлиться, но и это по тогдашней всеобщей нуждѣ много значило, и стало это безпокоить старушкину племянницу.

— Кормитъ-де она мою дѣвочку и обѣщала ей отказать избу и корову, а вотъ коровы уже и нѣтути. Того гляди, то же самое выйдетъ и со всѣмъ ея богачествомъ. Все она истравитъ на чужихъ ребятъ, а тогда мнѣ съ моими дѣтями ужъ ничего и не останется... Лучше бы она, старушка, сдѣлала, если бы теперь поскорѣй померла!.. Чего ей?.. вѣдь ужъ пожила! А то все будетъ жить да раздавать, и раздастъ все такъ, что послѣ, какъ помретъ, то и попу за похороны дать будетъ нечего,—еще съ нею съ мертвою-то тогда и наплачешься.

И стала племянницинька о своей теткѣ все больше печалиться и даже начала говорить ей:

— Ты тò вздумай-ка, баунька, что ты вѣдь уже старъ-человѣкъ...

— Стара, дитятко!

— Гляди, ужъ тебѣ еще немного на свѣтѣ маяться.

— День мой—вѣкъ мой, касатка.

— То-то и есть, а осталось бы, на что тебя схоронить и чѣмъ помянуть.

А старуха вдругъ оказалась невозмутимо беззаботною.

— И-ихъ-ма!—говоритъ:—есть про что сгадывать! Умру, такъ похоронятъ, наверху земли валяться не оставятъ!

Такъ солдаткѣ и не удалось унять старуху отъ того, чтобы она никого чужихъ дѣтей не привѣчала, а благодѣтельствовала киселемъ только однимъ ея солдаткинымъ дѣтямъ, и задумала солдатка поправить это на другой маперъ,—пришла къ старухѣ въ сумерки и стала опять плакаться:

— Ходила, — говоритъ, — я нынче весь день, — страсть какъ иззябла вся: въ трехъ деревняхъ была, а трехъ ломтей жмыховаго хлѣба не выпросила... Вездѣ говорятъ: «Богъ подастъ,—сами втроемъ въ поборъ ушли...»

— Тяжко, болѣзная!—отозвалась старушка.—Всѣмъ равно сослано нонѣ тяжко отъ Господа!

А солдатка отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, баунька, не всѣмъ равно,—вотъ у тебя еще есть!

— Да; пока еще малость есть... да ужъ теперь... осталось немножечко.

— Что это?.. Денежекъ, что ль, остается-то у тебя немножечко?

— Да-а:.. денежекъ!.. Немножечко!

— А что же ты будешь дѣлать, когда все сойдетъ?

— Когда все сойдетъ-то, чтò буду тогда дѣлать?

— Да.

— А не знаю еще... не думала.

— Какъ же такъ!.. Надо думать... смерть-то вѣдь за плечами!

— А знамо дѣло, что за плечами; да что думать-то... думать-то нечего! Ничего, касатка моя, не выдумаешь... Только и есть на свѣтѣ всѣхъ помогаевъ, что одинъ Господь-Батюшка... Онъ же вѣдь зато и милостивъ!.. И-и-ихъ сколь милостивъ!.. Можетъ, Онъ дастъ... по своей милости, еще и такъ со мною сотворитъ, что я еще всего и что

есть, и того не доѣмъ, а Онъ и по мою по душу пошлетъ,— вотъ ничего думать тогда и не стоитъ.

— Это хорошо, бабушка, какъ помрешь!

— А то что жъ!.. Я то и говорю... Богъ съ милостью! Онъ создаетъ хорошо: помру, и ничего мнѣ не надобно!

— А если какъ все изведешь да не помрешь?

— Ну, такъ что жъ такое: я тогда себѣ средство найду.

— А какое же теперь средство, когда изо всякаго двора всѣ сами въ поборъ тронулись, и не знать, у кого можно корку выпросить.

— Ну, это такъ только въ деревняхъ въ однѣхъ... издыхаютъ-то!.. да!.. въ деревняхъ въ однѣхъ... А въ городахъ-то, касатка, не такъ... тамъ хлѣбъ-то есть у купцовъ... Тамъ припасено у купцовъ-то... всего... гляди-ко сколько!..

— Что жъ ты, въ городъ, что ли, хочешь?

— А что жъ! въ городъ сойду... Къ хозяевамъ-то къ старымъ приду, да и попрошусь на кухнѣ жить... Пустятъ!.. Неужли-таки выгонятъ?!. Чай, не выгонятъ... Проживу, пока надобно.

— То-то,—отвѣчаетъ солдатка:—вотъ оттого ты такая и щедрая, что тебѣ хорошо.

— Да,—говоритъ старуха:—мнѣ, касатка, всю жизнь мою все жилось хорошо. Я не щедрая, а... хорошо мнѣ

— А намъ-то вотъ худо, а не хорошо.

— Потерпѣть надо, касатушка! Нонче всѣ терпятъ... Голодный годъ насталъ!

— Поди-ко ребята-то воютъ, такъ не утерпишь... и самому ѣсть хочется... въ животѣ какъ веретеномъ сучитъ... Намъ хуже собакъ... тѣ падло лопаютъ, да еще насъ за лытки рвутъ... Вонъ меня искусали всю!

— Надо съ палочкой.

Тутъ нетерпѣливая племянница на тетку и осердилась, что та все ей совѣты даетъ, когда той такъ горько жить!

— Перестань,—говоритъ,—ты мнѣ тоску отводить; черезъ эти твои слова еще хуже мнѣ; вѣдь у насъ знакомыхъ купцовъ нѣтъ, намъ идти не къ кому, а ты вонъ еще мою дѣвчонку всю избаловала.

— Ну, зачѣмъ пустое говорить: чѣмъ я ее избаловала?

— Какъ же чѣмъ?.. все ее чистымъ хлѣбомъ кормила и побираться не пущала!

— Что-жъ, гдѣ ей побираться, когда она махонькая!..

А ты ее отпусти со мной: я и ее съ собой въ городъ сведу... у меня есть тамъ хозяева добрые... мои выняньченные; они велятъ намъ съ ней и вдвоемъ жить... будемъ вдвоемъ садиться съ прислугами.

— А другія-то мои дѣтушки мнѣ, думаешь, развѣ не жалобны?—говоритъ солдатка.

Тутъ старушка и задумалась.

—Другія! — говоритъ: — Да... вотъ то-то и есть... Еще и другія есть!

Развела руки и опять задумалась, и стала сама къ себѣ втишь приговаривать:

— Охъ, охъ-охъ-охъ!.. Одни да и другія есть... да и много ихъ... Вотъ и горюшко! А что̀ сдѣлать-то?

А солдатка, не долго думая, отвѣчаетъ ей:

— А ты не знаешь, баунька, что̀ сдѣлать?

— Не знаю, касатынька.

— Вотъ то-то и оно.

— А ты развѣ знаешь что-нибудь?

— Я знаю.

— Такъ ты скажи.

Солдатка задумалась, словъ у нея не находилось для выраженія того, что̀ она придумала.

И старушка молчитъ.

Тягостно-тягостно стало въ темной избѣ, какъ будто сатана взошелъ.

Старушка вздохнула и сказала:

— Встань-ка, касатка, подойди къ печкѣ, вздуй огня.

А племянница ей грубо отвѣтила:

— А на что тебѣ огонь,—вовсе не надобно.

— Какъ же не надобно... темно совсѣмъ.

— Ну, такъ что жъ, что темно?... Нонче... всѣ безъ огня... Ложися спать, баунька!

— Да зачѣмъ же такъ... впотьмахъ... Надо стать Богу помолиться.

— Ну, и помолись, баунька.

Та не поняла или не разслышала и переспросила:

— Что, матушка?

— Помолись, говорю, баунька.

— Да что ты меня торопишь — придетъ часъ, такъ и помолюсь.

— Нѣтъ, баунька, часъ ужъ пришелъ—скорѣй молись.

— Да что ты пристала!.. Я стану ложиться спать—помолюсь... Ступай-ка домой, а ко мнѣ дѣвку ночевать посылай, мы съ нею станемъ ложиться спать и помолимся.

Тогда солдатка видитъ, что бабушка безтолкова, и потому ей еще менѣе причины оставаться въ живыхъ, и сказала ей на чистоту:

— Нѣтъ, ты къ себѣ мою дѣвку не жди, она не придетъ.

— Отчего не придетъ?

— А оттого, баунька, что къ тебѣ твой конецъ пришелъ. Если не хочешь молиться — такъ и такъ будь тебѣ легкая смёртушка.

Старуха стала приподниматься и спросила:

— Что?..

— Прощай, баунька!—Солдатка всхлипнула, обняла старуху, поцѣловала ее и сказала:

— Теперь помирай!

— Что ты это... я не хочу! — и старушка безсильно замахала руками.

— Нѣтъ, ужъ все одно... помирай!

И съ этими словами солдатка опрокинула «бауньку» на ея же кроватку, накрыла ей лицо подушкою, да надавила своей грудью полегонечку, но потомъ сама вдругъ громко вскрикнула и начала тискать старуху безъ милосердія, а руками ее за руки держала, «чтобы трепетанія не было».

(Такъ это все съ большою подробностью сама солдатка разсказала при слѣдствіи).

«Баунька» послѣ этого почила скоро, а убійцею сейчасъ же былъ сдѣланъ въ имуществѣ убитой самый внимательный розыскъ; но «всѣхъ денегъ» у богачихи въ шерстяномъ пагленкѣ въ коробьѣ найдено полтора рубля, и больше ничего у этой богачихи не было.

Въ этомъ и заключались ея «всѣ деньги», о которыхъ она съ обстоятельностью разсуждала за пару минутъ до опредѣленной ей «легкой смёртушки».

Но смёртушка бауньки, какъ ни старалась ее облегчить добрая племянница, — все-таки, видно, трудновата пришлась ей.

Когда разсвѣло на другой день, солдатка взяла съ собою любимую внучку покойной и пошла вмѣстѣ съ нею навѣстить бабушку, и нашли ее, разумѣется, мертвою, а лицо у

нея синее и руки въ пятнахъ, а глаза выпучены и языкъ наружу, длиннѣй Аллилуева.

Дѣвчонка какъ увидала это, такъ сейчасъ затряслася и замерла, а мать говоритъ ей «не своимъ голосомъ»:

— Ничего не шкни... убью!.. Говори: гдѣ у нея были ножницы?

Дѣвчоночка, дрожа, показала молча ручонкою на коробью, въ которую уже вчера еще лазила солдатка за деньгами.

Теперь она опять открыла эту коробью, въ которой было все перерыто, и перебросавъ еще больше лежавшія тамъ ветошки и тряпочки, нашла на днѣ коробьи безручныя ножницы, которыми стригутъ овецъ, и, схвативъ ихъ въ дрожащія руки, подошла къ мертвой и отрѣзала у нея выдающійся конецъ языка; но отъ этого языкъ наружѣ какъ будто нимало не уменьшился, а только сталъ еще безобразнѣе.

Солдатка взглянула на свою работу, взяла за руку дѣвочку и пошла къ сотскому, — вошла тихо, помолилась на образъ и сказала:

— Вяжи мнѣ руки!

— Что тебѣ, дура, попритчилось, что ли? — спросилъ сотскій.

— Нѣтъ, вяжи руки: я бабку убила.

— Врешь на себя!

— Нѣтъ, не вру,—отвѣчала солдатка и, сѣвши на лавку, раскрыла свою грудь и сказала: — На-ко-сь, глядите-ка — вотъ онѣ тяпочки... Это когда я ее вчера душить стала, такъ она меня зубами за титьку тяпнула.

Тогда пошли и удостовѣрились, и увидали, что солдатка говорила правду, и связали ей руки, и увезли ее въ станъ, а оттуда—«куда дѣла требуютъ».

Черезъ годъ ее били кнутомъ въ Орлѣ на Ильинской площади. Она была еще молоденькая и очень хорошо сложенная. Ей дали пятнадцать ударовъ и растерзали ей до кости всѣ бока и спину, но она не потеряла чувствъ и за каждымъ ударомъ вскрикивала: «Понапрасно страдаю!» А когда ее сняли съ деревянной кобылы и она увидала на своей свиткѣ набросанныя мѣдныя деньги, то заплакала и сказала:

— Не надо мнѣ ничего, сошлите все въ деревню на церковь.

О дѣтяхъ своихъ она, можетъ-быть, позабыла.

И такихъ преступленій, поразительныхъ по несложности ихъ замысловъ и по простотѣ и холодности ихъ выполненія, было слышно очень много, и очень значительное число ихъ осталось неизслѣдованнымъ и даже неизвѣстнымъ далѣе своего околотка. Становые пристава за всѣмъ услѣдить не могли; «корреспондентовъ» тогда еще не водилось, а въ губернскихъ вѣдомостяхъ всѣ новости состояли изъ распоряженій начальства о перемѣщеніи и увольненіи чиновниковъ и, въ видѣ особенно интересныхъ случаевъ, объ отдачѣ ихъ подъ судъ.

Особенно поразительна была холодность и какая-то легкомысленная жестокость въ дѣйствіяхъ, затѣвавшихся съ голода. Въ сосѣднемъ съ нами селѣ пастухъ Игнашка съ подпаскомъ, напримѣръ, захотѣли «ѣсть убоину», и съ этой цѣлью сами, вдвоемъ, отлучили одну исправную тѣломъ овцу отъ стада и сволокли ее въ лѣсной оврагъ, чтобы тутъ зарѣзать и начать ее ѣсть; а на деревнѣ сказать, что ее волкъ съѣлъ. Но, спустясь въ оврагъ, они вздумали, что всей овцы имъ за одинъ день не съѣсть, а недоѣденное мясо протухнетъ и пропадетъ даромъ. Тогда они порѣшили овцу не зарѣзывать, а связать ее и *отрѣзать* у нея у живой столько мяса, сколько имъ на день нужно, а остальная овца пусть лежитъ и дожидается. Они такъ и начали, — отрѣзали у живой овцы «четверть», спекли ее и съѣли, а остальное оставили въ оврагѣ, — а сюда пришелъ въ самомъ дѣлѣ волкъ и прекратилъ терзательныя мученія овцы, и сволокъ и сожралъ ее всю безъ остатка, а пастухи, не найдя овцы на другой день, заподозрили другъ друга въ кражѣ, подрались и другъ друга выдали. Игнашку прозвали «живорѣзомъ».

Женскій полъ, какъ замужнія, такъ и незамужнія, продавали свои труды ни по чемъ: въ услуги или на работу поденно охотно набивались «изъ-за прокорму», но и на этихъ условіяхъ въ деревняхъ мѣста нельзя было найти. Духовенство набрало себѣ безплатныхъ батраковъ и батрачекъ, но только въ потребномъ числѣ, а предложеніе услугъ было безмѣрно. Цѣна же женскихъ издѣлій была невѣроятная: «конецъ холста» продавали за полтину мѣдью (7 аршинъ за 14 копѣекъ), «початокъ пряжи» — за мѣдную гривну (3 коп.), и фунтъ хлѣба стоилъ 3 коп. Покупали все это грабительскимъ образомъ торгаши, которыхъ назы-

вають «кошатниками» или «кошкодралами». Они покупаютъ кошекъ и тутъ же ихъ убиваютъ о колесную шину телѣги или о головашку саней. Цѣна кошки черной и сѣрой — гривна, а пестрой — пятакъ мѣди. Этимъ же кошкодраламъ бабы и дѣвки тогда продавали «свою дѣвичью красу», т. е. свои волосы, и весьма часто свою женскую честь, цѣна на которую, за обиліемъ предложенія, пала до того, что женщины и дѣвочки, иногда самыя молоденькія, предлагали себя сами, безъ особой приплаты, «въ придачу къ кошкѣ». Если кошатникъ не хотѣлъ брать дрянную кошку, то продавщица стонала: «купи, дяденька, хорошій мой: я къ тебѣ въ сумерки къ колодцу выйду». Но кошатники были этимъ добромъ изобильны, и не на всякую «придачу» льстились; они цинически разсказывали, что имъ теперь хорошо, потому что «кошка стóитъ грошъ *вмѣстѣ съ хозяйкою*». Кошачья шкура была товаръ, а хозяйка—придачею. И этотъ взглядъ на женщину уже не обижалъ ее: обижаться было некогда; мученья голода были слишкомъ страшны. Съ этимъ же взглядомъ освоивались и подростки-дѣвочки, которыя отдавали себя въ такомъ возрастѣ, когда еще не переставали быть дѣтьми... Вообще крестьянскія женщины тогда продавали свою честь въ нашихъ мѣстахъ за всякую предложенную цѣну, начиная съ мѣдной гривны, но покупатели въ деревняхъ были рѣдки. Болѣе предпріимчивыя и приглядныя бабы уходили въ города «къ колодцамъ». И у себя въ деревняхъ молодыя бабы выходили вечерами постоять у колодцевъ,—особенно у такихъ, на которые подворачиваютъ проѣздомъ напоить коней обратные ямщики, прасолы или кошкодралы, и тутъ въ сѣрой мглѣ повторялось все то, чтò было и въ оны дни у колодца Лаванова. Здѣсь взаимно омрачала другъ друга и старость, и юность, и все это буквально за то, чтобы «не околѣть съ голода»... Не могу теперь ясно отвѣтить, почему сельскія женщины и въ городахъ мѣстами своихъ жертвоприношеній избирали «колодцы», у которыхъ онѣ и собирались, и стояли кучками съ сумерекъ. Можетъ-быть, въ другихъ пунктахъ ихъ прогоняли горожанки. Особенно въ этомъ отношеніи въ Орлѣ прославились крытые колодцы у Михаила Архангела и Плаутинъ. Кромѣ того, множество женщинъ ютилось по пустымъ баркамъ, зазимовавшимъ во льду между Баннымъ мостомъ и мужскимъ монастыремъ и его слобод-

кою. Срамъ это былъ открытый, но его какъ-то не вмѣняли въ преступленіе. Старшія семьянинки не только отпускали молодыхъ на вѣдомое дѣло, но еще склоняли къ тому, говоря: «чего такъ-то сидѣть: надо сойти въ городъ у колодца *раздобыться*». А молодыхъ не нужно было много уговаривать: правила ихъ всегда были шатки, а голодъ — плохой другъ добродѣтели. Молодайки уходили, мало таясь въ томъ, на что онѣ надѣются, и бойкія изъ нихъ часто прямо говорили: «чѣмъ голодать — лучше срамъ принять». Когда онѣ возвращались отъ колодцевъ, ихъ не осмѣивали и не укоряли, а просто разсказывали: «такая-то пришла... въ городу у колодца стояла... разъѣлась—стала гладкая!» *)

*) Чтобы имѣть ясное понятіе, какъ относился къ этому «міръ», стоитъ припомнить, какъ относились къ своему «стоянію» тѣ, кто претерпѣлъ его ближайшимъ и непосредственнымъ образомъ. Когда я посѣтилъ родныя мѣста года черезъ три послѣ благословеннаго дня «освобожденія», мнѣ привелось посѣтить съ однимъ изъ мировыхъ посредниковъ прекрасную сельскую больницу, въ которой «по усердію» трудилась въ черныхъ работахъ пожилая женщина, очень крупнаго роста, по имени Стеха. Она же ходила и на деревню «обмывать мертвыхъ», тоже не по нуждѣ и не за плату, а «по усердію». Ей было уже лѣтъ за пятьдесятъ и она была сильна, велика и смахивала немножко на мужика. У нея на деревнѣ было свое хозяйство—дворъ, скотина, земля, дѣти и внуки, и даже, кажется, правнуки. Пользовалась она у всѣхъ почетомъ,—говорили о ней: «Стеха души не убьетъ,—Стеха не совретъ,—Стеха справедливая». И всѣ знали, что она «угождаетъ больнымъ» и «покойниковъ убираетъ только для Господа, а ея душа чиста, какъ стаканъ свѣтится». А эта самая Стеха,—несомнѣнно имѣвшая всѣ тѣ добрыя качества, которыя ей приписывали,—разсказывала мнѣ о голодномъ годѣ при своей пожилой уже дочери и при взрослой дѣвушкѣ и внучкѣ, «ничего не прибавляючи и не отбавляючи», и въ этомъ разсказѣ прямо о всѣхъ своихъ сверстницахъ *и о себѣ* говорила: «всѣхъ насъ, милый, восемь бабенковъ молоденькихъ было, и всѣхъ насъ кошкодралы у колодца уговорили: «поѣдемте, говорятъ, мы васъ въ Орелъ свеземъ, тамъ у колодцевъ лучше здѣшняго». — «Мы всѣ, дуры, и повѣрили, и пошли, а хорошаго только и было, что прокормилися; ну, да вѣдь тогда большаго-то грѣхъ было и спрашивать». О нравственной сторонѣ «инцидента» Стеха будто вовсе не думала, а когда я наклонилъ вопросъ въ эту сторону и побудилъ ее выразить свое мнѣніе, — она покопала веретеномъ подъ головною повязкою и сказала: «Что говорить-то! Вѣдь голодная смерть страшнѣй сраму... Все же лучше было шкуру свою продать, чѣмъ душу».

А ужъ что она разумѣла подъ продажей души—этого я не знаю.

О достоинствѣ взглядовъ этой женщины я вообще не могу и не хочу судить, потому что боюсь какъ бы не согрѣшить передъ Стехой и другими ей подобными грѣшницами болѣе тяжело, чѣмъ вѣсятъ всѣ ихъ согрѣшенія передъ «Могущимъ спасти всѣхъ» (Іак. IV).

Кромѣ «гладкости» или сытости тѣла, ничто другое не принималось и въ соображеніе. Всѣ высшія цѣли бытія человѣческаго словно перестали существовать.

У насъ была молодая баба Калерка или Холерка (настоящее имя—Калерія). У нея была прегнусная свекровь, которая «ее сбила въ городъ», и она пошла «у колодцевъ стоять», но ей такъ не посчастливилось, что она ни добычи домой не принесла и сама не «послажѣла», а напротивъ «гнить стала» и сидѣла всѣмъ на ужасъ въ погожіе дни на пыльной дорогѣ, *безъ языка*, издавая страшную вонь и шипѣніе вмѣсто крика... Ей бросали корки издали, какъ злой собакѣ, и отбѣгали, закрывая себѣ носъ. А сказу о ней было только, что она «въ голодный годъ у колодца стояла». Эта Холерка наконецъ задавила себя поясомъ.

О такихъ дѣлахъ, бывало, все «доводятъ господамъ», но больше только для новости и пріятнаго развлеченія,—какъ фельетоны.

Въ большомъ напряженіи чувства мы пережили рождественскіе праздники и, зайдя за Крещеньевъ день, стали чувствовать, что нашей унылости какъ будто брезжится край. И почувствовалось это по весьма неважному и даже незначительному обстоятельству: отецъ спросилъ старосту:

— Что, Дементій, не слыхать ли чего новаго?

А староста, который давно давалъ мрачно одинъ отрицательный отвѣтъ, на этотъ разъ отвѣчалъ:

— Да вотъ на Поповкѣ есть будто новость!

— А что̀ тамъ такое случилось?

— Да вотъ Меркулъ оттуда заѣзжалъ и сказывалъ, что къ нимъ новый дьячокъ присланъ.

— Это на Аллилуево мѣсто?

— Да, во его званіе... И еще не совсѣмъ придѣленъ, а только пріукаженъ, для просмотрѣнія, отъ отца Ниполита.

(Имя «Ипполитъ» для крестьянскаго произношенія было трудно, и они находили удобнѣе приставлять Н.).

Отецъ спросилъ:—хорошъ ли новый дьячокъ?

А Дементій отвѣчаетъ:

— Ничего; Меркулъ сказывалъ — свистулой поетъ, но вопче, по благословію надо полагать, что не важный.

— А почему?

— Да ужъ если не сразу придѣленъ, а на время пріука-

женъ, для присмотрѣнія должности, такъ стало-быть подъ владычнымъ сумлѣніемъ.

А черезъ нѣсколько дней тотъ же Дементій уже по собственному почину сообщилъ:

— Новый духовенный-то... я вамъ сказывалъ?

— Что же такое?

— Ничего не стоящій.

— Отчего?

— Совсѣмъ пустоплясъ!

— Да отчего?.. Что значитъ пустоплясъ?.. очень проворенъ, что ли?..

— Точно такъ. Пашкой звать.

— Отчего же ты его зовешь Пашкой, а не Павломъ?

— Не стоитъ онъ полнаго званія.

— Да чѣмъ же онъ такъ плохъ?

— Совсѣмъ никуда не годится.

Обстоятельство было не важное, а стало интересно, что за молодецъ къ намъ прибылъ «во мѣсто Аллилуя» и какое онъ займетъ у насъ «придѣленіе»?

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Прибывшій «во мѣсто Аллилуя» Павлушка-дьякъ былъ оригиналъ и всего менѣе человѣкъ «духовенный», — оттого онъ по свойствамъ своимъ такъ скоро и получилъ соотвѣтственное прозваніе «Пустоплясъ». Онъ былъ столь бѣденъ, что казался бѣднѣе всѣхъ людей на свѣтѣ, и по словамъ мужиковъ—пришелъ «не токма что голый, но ажно синій», и еще онъ привелъ съ собою мать, а въ рукахъ принесъ лубяной туезокъ да гармонію, на которой игралъ такъ, что у всѣхъ, кто его слушалъ, — ноги сами поднимались въ плясъ.

Имущества у него не было никакого и денегъ ни гроша. Причтъ не зналъ, куда его дѣть, и помѣстили Павла и его мать въ тѣсной сторожевой избушкѣ, вмѣстѣ со сторожемъ.

Мѣстными дознаніями было открыто, что Павлушкина мать была когда-то дьячихою, а потомъ ходила въ городѣ по стиркамъ, а иногда просила милостыни. Павелъ былъ ею воспитанъ въ тяжкой долѣ и могъ бы, кажется, постичь жизнь, но не удался,—«все клонилъ къ легкомысленности» и за то былъ исключенъ изъ третьяго класса и долго болтался «безъ придѣленія», и теперь онъ еще не былъ совсѣмъ

опредѣленъ «во мѣсто Аллилуя», а пока только былъ еще *временно пріукаженъ*, что̀ выходило въ родѣ испытанія.

У насъ, впрочемъ, всѣ сразу стали увѣрять, что изъ этого пріукаженья ничего и не выйдетъ, потому что за очевидныя Пашкины малодушества отецъ Ипполитъ непремѣнно «въ отзывѣ его опорочитъ».

Павлуша и въ самомъ дѣлѣ «не потрафлялъ»: онъ читалъ скверно, невнятно и «скорохватомъ», и все «поспѣшалъ на *лукаваго*». Начнетъ «Отче нашъ» и зачаститъ такъ, что ничего нельзя разобрать, пока придетъ «отъ лукаваго». Такъ же и «Иже на всякое время» и прочее— все онъ «читалъ безъ понятія», но пѣть могъ, только гораздо охотнѣе пѣлъ свѣтское пѣніе, чѣмъ «духовное», и любилъ шутки строить надъ старшими.

На это сторожъ жаловался его матери, но та отвѣчала, что у него такой же былъ и отецъ, который былъ на хорошемъ мѣстѣ, а зашутился и пропалъ безъ вѣсти—слѣдовательно Павлу ужъ нечего и думать, чтобъ удержаться.

Павлушина мать была стара и имѣла пляску св. Витта, отчего она дергала лицомъ и при каждомъ судорожномъ движеніи издавала звукъ «фпт! фпт!».

За это ее назвали «Фаптея».

О Павлушѣ скоро дошли до насъ вѣсти, что онъ очень веселый, и вслѣдъ затѣмъ мы очень скоро убѣдились, что это правда.

Между нашею деревнею и деревнею майора Алымова (въ верстѣ отъ алымовской усадьбы) стоялъ одинокій дворъ однодворца Луки Кромсаева, или попросту Кромсая. Кромсай этотъ подъ нѣкоторою личиною степенства и скромности былъ настоящій «шельма мужикъ» или «воръ-мужикъ»: онъ умѣлъ изъ всякаго положенія извлекать себѣ выгоды и жилъ скупо и одиноко, содержа свое семейство въ «страхѣ Божіемъ», т. е. колотилъ всѣхъ чѣмъ ни попало.

Онъ шинковалъ водочкой и бралъ подъ залогъ разныя вещи, отчего у него можно было найти кое-что такое, чего въ деревнѣ у другого не встрѣтишь. Такъ, между прочимъ, у него оказалась гитара, которая пришла къ нему давно и неизвѣстно откуда, и которую онъ давно не могъ никому «придѣлить»; но съ того момента, какъ Кромсай увидѣлъ Павла-дьячка, гитара нашла себѣ «придѣленіе».

Кромсай послушалъ игру Павла на гармоніи и сказалъ, что эта игра пристала кучерамъ, либо наемщикамъ, а что у него есть «струментъ»—гитара,—такъ вотъ это ужъ можно сказать что струментъ благородный—и притомъ онъ отдастъ его Павлу въ долгъ и за-дешево.

Пустоплясъ сейчасъ же этимъ соблазнился—пошелъ къ Кромсаю и взялъ гитару, на которой еще уцѣлѣли четыре струны. Павлуша подстроилъ, какъ зналъ, эти четыре струны и заигралъ сначала у Кромсая, а потомъ, проходя мимо насъ, зашелъ въ людскую и тамъ привелъ всѣхъ въ восторгъ своею игрой и подпѣваньями.

Дѣвушки донесли матушкѣ, что онъ «такія штуки дѣлаетъ, что и смотрѣть нельзя».

А какъ мы тогда всѣ уже очень наскучалися, то вѣсть о веселомъ человѣкѣ показалась намъ заманчивою, и Павлуша-дьячокъ былъ приглашенъ въ комнаты, гдѣ, дѣйствительно, произвелъ очень значительныя вещи, которыя должны были свидѣтельствовать о его большихъ дарованіяхъ.

Онъ пѣлъ много веселаго и заунывнаго, и наконецъ далъ цѣлое представленіе во вкусѣ братьевъ Давенпортовъ, славу которыхъ онъ могъ бы упредить за цѣлыя сорокъ лѣтъ.

Павлуша, между прочимъ, представилъ у насъ съ гитарой комическую сцену, имѣвшую соотношеніе съ претерпѣваемымъ бѣдствіемъ, т. е. съ голодомъ,—и тѣмъ «заставилъ самое горе смѣяться». Для этого онъ сѣлъ въ темноватомъ концѣ комнаты на стулъ, взялъ свою гитару о четырехъ струнахъ и велѣлъ покрыть себя простынею.

И чуть только его укрыли, какъ онъ требовалъ, такъ сейчасъ же изъ-подъ простыни запѣли *два* человѣка: сначала пѣла очень слабая и печальная старушка, а ей сразу бойко отвѣчалъ веселый старичокъ.

Старушка выпѣвала подъ грустный аккомпанементъ:

«Дѣдушка-а, Си-идоръ Карпови-ичъ!
Да когда-жъ ты буде-ешь уми-рать?»

А дѣдъ превесело отвѣчалъ совсѣмъ другимъ голосомъ:

«Въ середу, бабушка,—въ середу,
Въ середу, Пахомьевна,—въ середу!»

И дѣдъ не только пѣлъ, но онъ присвистывалъ и при-

щелкивалъ перстами, а бабка начинала хныкать и опять заводила:

«Чѣмъ тебя помина-ать?»

Дѣдъ отхватывалъ:

«Блинками, бабушка,—блинками,
Блинками, Пахомьевна,—блинками!»

И тутъ дѣдъ притопывалъ и соловьемъ свистѣлъ, а баба со слезами спрашивала:

«Гдѣ мучицы взять?»

Дѣдъ училъ:

«По-міру, бабушка,—по-міру,
По-міру, Пахомьевна,—по-міру».

И, разрѣшивъ эту задачу, дѣдъ хохоталъ и заливался, а когда старуха пропѣла съ ужасомъ, что «по міру собаки злы», то дѣдъ уже выбивалъ по гитарѣ трепака, а самъ пѣлъ:

«Съ палочкой, бабушка,—съ палочкой,
Съ палочкой, Пахомьевна,—съ палочкой!..»

Это Павлушино представленіе всѣхъ разутѣшило и сразу же завоевало ему у насъ всеобщее благорасположеніе, въ силу котораго съ этихъ поръ въ нашемъ домѣ начали Павломъ интересоваться и угощать его.

А онъ къ намъ «на привѣтъ» заходилъ и принесъ съ собою нѣсколько веселыхъ минутъ, съ которыми мы, сидя въ сугробахъ и слыша однѣ жалобы на голодъ, совсѣмъ было-раззнакомились.

Павелъ принесъ первое обновленіе въ замершую жизнь, и бывалъ онъ у насъ нерѣдко, потому что съ того случая, какъ пріобрѣлъ гитару, онъ сталъ все ходить къ Кромсаю, и это моему отцу показалось не хорошо, и онъ сказалъ Павлушѣ:

— Ты, Кромсая, смотри, берегись!.. Кромсай — воръ-мужикъ!

Но Павлуша за Кромсая заступался и говорилъ, что онъ его «дурному не научаетъ». И у нихъ съ Кромсаемъ завязалась тѣсная дружба, а къ тому же въ посту на Кромсая нашло благочестіе и рачительство: онъ пришелъ къ священнику и сказалъ, что вотъ у нихъ дома ни у кого хлѣба нѣтъ и муки къ Благовѣщенью собрать не у кого, и того гляди опять въ этотъ годъ придется безъ просвиръ сѣять; а потому Кромсай надумалъ—ѣхать на своей ло-

шади къ роднымъ, въ сытыя мѣста, и тамъ муки напросить, а кстати самому въ городѣ отъ куричьей слѣпоты и отъ вередовъ лѣкарства попросить. Но какъ собирать муку на просфоры есть дѣло церковное, то Кромсай просилъ отпустить съ нимъ «во свидѣтеляхъ» дьячка Павла. Священникъ на это согласился, и они поѣхали вдвоемъ «въ сытыя мѣста» на четвертой недѣлѣ Великаго поста, но къ Благовѣщенію не возвратились. Ждали ихъ нетерпѣливо, но напрасно.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Ждали ихъ попустому до самаго праздника, но зато, какъ только отпѣли святую заутреню и попы стали въ рядъ посреди церкви съ лукошками, чтобы всѣ люди подходили къ нимъ христосоваться и класть яйца, то вдругъ подошелъ съ желтымъ, въ лукѣ крашеннымъ яйцомъ и Кромсай.

— Христосъ воскресе, — говоритъ, — батюшка; держи яичко.

— Воистину воскресе! — отвѣчаетъ священникъ, и отъ радости, не выдержавъ, тутъ же сталъ его спрашивать:— Когда явился?

— А вотъ въ самую въ заутреню: когда ты звонить зачалъ, такъ я еще за лощиной былъ... Путался... Чуть, братъ, не залился.

— Ну-у! А Павелъ гдѣ-жъ?

— Ей-же ты Богу! Меринъ-то мой, насилу, братъ, выскочилъ!

— Скажи пожалуй!.. Ну, а Павелъ гдѣ-жъ?

— Его, братъ, ужъ нѣтути!

— А гдѣ же онъ?

— Онъ не пріѣхалъ.

Дальше говорить было нельзя, потому что это задерживало движеніе подходящихъ христосоваться крестьянъ, и дьяконъ, замѣтивъ непорядокъ, сказалъ: «не препятствуйте», а Кромсаю добавилъ: «Удались!» Тогда священникъ велѣлъ Кромсаю войти въ алтарь и подождать, пока онъ съ народомъ «отцѣлуется». И когда всѣ люди отцѣловалися и священникъ сталъ въ алтарѣ разоблачаться, то Кромсай повѣдалъ ему, что «Павелъ въ городу остался».

— Для чего́ же онъ остался?

— Да вотъ... сказалъ мнѣ: «ты, говоритъ, поѣзжай, — а я, говоритъ, останусь».

— А зачѣмъ?

— Потому, говоритъ, что мнѣ надо себѣ... другое придѣленіе.

— Ну, и ты его придѣлилъ?

— Не я, а онъ самъ придѣлился.

Священникъ подвелъ Кромсая къ окну, изъ котораго видны были могилки, и говоритъ:

— Всмотрись-ка да «помяни гробы—они вѣчны домы»: долго ли намъ жить-то остается?.. Куда ты Павлушку дѣлъ?

Кромсай понялъ, какое смущеніе запало въ душу священника, и отвѣчалъ ему съ широкой улыбкой:

— Что ты... Полно, батя!.. Неужели ты думаешь, что я Павлуньку загубилъ? Живъ Павлунька!

— Ты подумай: у него мать Фаптея древняя. Если ей о сынѣ что-нибудь ужасное сказать—она помретъ!..

Но ужаснаго ничего не было.

Кромсай разсказалъ только слѣдующее: когда они съ Пустоплясомъ выѣхали, то Пустоплясъ будто «все на самого себя обижался». Что, говоритъ, дядя Кромсай, разсуди ты, какой я неахтительный, что никто меня очень не обожаетъ! И всего у меня средства только одна старушка есть, только къ ней къ одной у меня есть и жалость на землѣ,—такъ что ни для кого, какъ для нея, я бы даже и въ солдаты... Вѣдь я могу на Кавказъ пойти и въ офицеры выйти». А Кромсай ему и помогъ начать всю эту карьеру: онъ свелъ его къ Николаю Андреевичу Воробью, старинному орловскому маклеру, или «сводчику», а тотъ его какъ въ хороводъ завелъ и «опредѣлилъ идти по найму за бакалейщикова сына».

Священникъ, услыхавъ неожиданно такую развязку, молча присѣлъ на сундучокъ и только глаза на Кромсая выставилъ.

— Ну ты, говоритъ, братъ, жиганъ! не даромъ, видно, тебя воромъ кличутъ!

— А что же «кличутъ»!.. Кличутъ-то меня разно кличутъ, а у кого я что-нибудь укралъ? Анъ я ничего не укралъ, а живу честно и благородно. Павлунька не такъ пошелъ, а семьсотъ серебра получилъ деньгами, да что еще,

братъ, гульбы было... Вотъ бы ты посмотрѣлъ! А онъ еще сто рублей прислалъ матери.

— Ну, лучше бы ужъ ты у него все послѣднее съ плечъ укралъ, чѣмъ этакое добро ему сдѣлалъ.

— Чего онъ хотѣлъ, то ему и сдѣлано... Чего ты на меня!..

— Ты, Кромсай, жиганъ, ты нехорошій, дурной человѣкъ!

— Что ты это?.. за что?.. Развѣ пропалъ Павлушка? Онъ пошелъ служить Богу и великому государю... Ты, сдѣлай милость, въ этомъ оставь меня!

— А сто рублей матери-то его... цѣлы у тебя?

— А ты почемъ знаешь?

— Вѣрно не цѣлы?

— Ну, если тебѣ открыто, то что же спорить... Не цѣлы!

— Вотъ вѣдь какая твоя совѣсть!

— Что же совѣсть!.. Я ихъ везъ и довезъ до самой лощины. А тутъ звонъ услыхалъ и въ зажоръ сѣлъ... Сдѣлай милость—это хоть и на тебя доведись: провались хоть и ты подъ снѣгъ, такъ, небось, все покинешь, а одну свою душу начнешь спасать! Меринъ биться сталъ... Я, братъ, весь растерялся: и два куля хлѣба при мнѣ были,—везъ на просвиры,—и тѣ оба тамъ въ зажорѣ погубилъ.

— Тамъ и деньги пропали?

— Все тамъ осталось. Тридцать рублей, которые везъ бумажками, тѣ какъ на крестѣ были привязаны, такъ они и уцѣлѣли, а семьдесятъ, которые были серебряными монетами: рубли и полтинники—съ сапогомъ вмѣстѣ снялись и изъ-за голенища потонули.

Священникъ выслушалъ, поднялся съ мѣста и сказалъ Кромсаю:

— Ну, да и подлецъ же ты!

— Хорошо, что хоть ты честный! — вздохнулъ Кромсай.

— Ну, смотри же: вспомни мое слово—за это разразитъ тебя Богъ!

Это надъ Кромсаемъ очень скоро и исполнилось *).

---

*) Наемный замѣститель рекрута, которому слѣдовало идти въ службу по очереди или по жребью, почитался въ народѣ за человѣка не только «пропащаго», но и *презрѣннаго*: о наемщикѣ никогда не говорили съ жалостью, а всегда, какъ о палачѣ, говорили съ омерзѣніемъ, и отъ солдатъ ему не было иной клички, какъ «продажная шкура». Имѣть общеніе съ наемщикомъ считалось такъ же противно, какъ имѣть общеніе съ палачомъ, которому, по мнѣнію простолюдиновъ, будто даже «но

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Во вторникъ на Ѳоминой недѣлѣ, никому не въ примѣту, съ какой стороны, взялась на небѣ сѣрая тучка и вдругъ начала темнѣть, расти и пучиться и расползлась страшно, принявъ такія очертанія, какъ баснословный пардъ или перуносный змѣй съ лапами, и полѣзло это чудище прямо-прямешенько на Кромсаевъ дворъ. Это всѣ видѣли. И какъ только туча надошла надъ Кромсаемъ, такъ она сейчасъ же сверкнула огнемъ и ударила прямо въ чуланъ, въ то мѣсто, гдѣ у Кромсая была примощена короватка, на которой онъ спалъ, а подъ короваткой стояла у него завѣт-

---

дають причастія». А какъ таково было всеобщее презрительное отношеніе къ этимъ людямъ, то, разумѣется, объ этомъ знали и сами тѣ, кто нанимался въ солдаты, и потому, за весьма рѣдкими исключеніями, это были «люди отчаянные»—зашалившіеся, загулявшіе, сбившіеся съ пути или чѣмъ-нибудь особливо несчастные, по какому-нибудь роковому стеченію семейныхъ обстоятельствъ стремившіеся къ погибели. Эти послѣдніе и составляли жалостное исключеніе, да къ ихъ числу можно еще придать «крѣпостныхъ», которые, впрочемъ, могли наниматься только съ согласія своихъ владѣльцевъ, и то послѣ рискованной процедуры съ освобожденіемъ ихъ на волю. Случалось, что вольный человѣкъ «выкупалъ крѣпостного» съ тѣмъ, чтобы онъ послѣ пошелъ въ рекруты за дѣтей этого капиталиста, и выкупаемый крѣпостной обѣщался это исполнить, но, получивъ отпускную въ свои руки, отказывался отъ «охотничанія» и предлагалъ выкупщику отработать заплаченныя за него деньги, или — еще проще — благодарилъ его и уходилъ иногда съ обѣщаніемъ «помолить Бога», а еще чаще съ бранью и насмѣшкою. Нанявшійся же «распутникъ» съ распутства начиналъ и въ распутствѣ продолжалъ все время своего «сговора» съ хозяиномъ. Зачиналъ это въ Орлѣ пропащій парень съ того, что появлялся въ безобразномъ и всего вѣроятнѣе въ безумномъ состояніи, въ торговый день (въ пятницу), на Ильинской площади и, остановясь у вѣсовъ, кричалъ громкимъ голосомъ: «*Жару!*» Его «схватывали *хваты*» и сейчасъ же «мчали» его въ близстоявшій «Подшиваловскій трактиръ» и сразу же «поддавали ему жару», то-есть поили его водкою и приглашали для «кураженія» его подходящаго свойства женщинъ, или «короводницъ», имѣвшихъ вблизи свое становище у мостика на Перестанкѣ. Хороводницы, или «короводницы», являлись скоро и не одна, а двѣ или три, изъ самыхъ отчаянныхъ и самыхъ безстыжихъ—«согласныхъ съ охотникомъ гулять». Онѣ сейчасъ же брали пьянаго парня въ свои раздольныя объятія и, обласкавъ его «до воли», начинали его «вывозить». Обвязавъ его красными платками, его везли «катать» на извозчикѣ, при чемъ «короводницы» держали охотника на сидѣньѣ извозчичьихъ дрожекъ или саней, а сами лѣпились вокругъ него, обнимали его и громко пѣли безстыжія пѣсни и говорили въ народъ сальности, и дергались, и приплясывали; а окураженный ими охотникъ сидѣлъ осовѣлый, какъ дуракъ, или по временамъ безумно вскри-

ная коробья, раскрашенная цвѣтами и подъ лакомъ. Все этб такъ «феваркомъ и загорѣлося». Но при этомъ еще показалось удивительно, что изъ всего добра, которое тутъ было и которое сгорѣло,—выкинуло вверхъ только одну доску отъ цвѣтной коробьи, и когда она упала на землю и ее осмотрѣли, то увидали, что къ ней прилипло нѣсколько штукъ копеечекъ и всѣ ихъ раскинуло треугольникомъ, а какъ разъ посрединѣ угла сидѣлъ серебряный рубль,—будто глазъ глядѣлъ.

Какъ увидали это люди, то всѣ удивилися и заговорили: «Это чудо! надо это показать священнику». И показали. А священникъ посмотрѣлъ и Кромсаю перстомъ погрозилъ.

Тогда Кромсай поблѣднѣлъ и сталъ каяться, что онъ утаилъ у Фаптеи семьдесятъ рублей и что они были цѣлы и береглись въ узелкѣ подъ подушкою, да вотъ это ихъ-то молоньей и раскинуло, и эти монетки, которыя влипли въ доску, дѣйствительно были изъ тѣхъ утаенныхъ денегъ.

А когда послѣ пожара стали разгребать пепелъ, то нашли слитокъ серебра и возлѣ него другое чудо: деньги сплавились, а возлѣ нихъ лежала остывшая «громовая стрѣла» или «чортовъ палецъ».

Кромсай отъ этого пришелъ въ такой ужасъ, что сейчасъ же сталъ жертвовать этотъ слитокъ на церковь, но священникъ недоумѣвалъ: можно ли брать эти деньги, такъ какъ «наемщикъ», или замѣститель въ солдатахъ, почитался тогда въ народѣ за что-то очень гадкое и приравнивался ко «псу продажному» (хотя псы себя никогда не продаютъ).

кивалъ и вопилъ: «*еще жару!*» Такимъ образомъ парень уже былъ афишированъ на весь городъ. А въ это время, какъ одни хваты его такъ «окручивали», другіе уже пріискивали хозяина, которому наемщикъ нуженъ, и сдавали его ему съ вознагражденіемъ себя за труды и за расходы по всей первоначальной обстановкѣ дѣла. Такая безобразная гульба продолжалась все время до сдачи наемщика въ рекруты, и онъ «давалъ себя знать» своему хозяину, который вынужденъ былъ исполнять всѣ выдумки и капризы пропащаго парня, и тотчасъ же бросалъ его, когда тому забривали лобъ и онъ дѣлался «продажною шкурою», которую на службѣ очень любили «выколачивать». До этого «погибельнаго состоянія» человѣка доводили всегда при необходимомъ и неизбѣжномъ участіи женщинъ, именно сихъ выше названныхъ «короводницъ», которыя чаще всего сами и наводили слабыхъ людей «на эту путь», т.-е. научали ихъ кричать: «*жару!*». Склоннаго къ загулу дьячка Пашу очень не трудно было провести этимъ путемъ, что Кромсай, вѣроятно, и обдѣлалъ.

А во Второзаконіи (23, 18) есть запрещеніе: «да не принесеши въ храмъ мзды блудничи и цѣны песіи»; но благочинный это разрѣшилъ. Онъ сказалъ, что «Второзаконіе дѣйствовало при Ветхомъ Завѣтѣ, а теперь, при Новомъ, — все новое».

Страшная гроза, спалившая Кромсаевъ дворъ, оживила нашъ воздухъ. Предчувствовалось уже въ тѣ дни, что голоду наступаетъ конецъ и близятся «времена отрады». Городскіе жители начинали вспоминать о своихъ деревенскихъ друзьяхъ и родственникахъ и посѣщать ихъ. Мы снова входили въ общеніе съ міромъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Передъ тѣмъ какъ растаять рѣчкѣ, къ намъ пріѣхала тетушка Пелагея Дмитріевна, которую, въ ранніе ея годы, въ родствѣ всѣ называли «проказница». Впрочемъ, у нея была репутація очень многосторонняя и сложная, и сообразно различнымъ ея фазисамъ и переходамъ ей давалось «новое имя».

Пелагея Дмитріевна или, по-домашнему, «тетя Полли», была княгиня и годъ тому назадъ выдала старшую дочь замужъ за очень именитаго князя.

Тетушка всегда была прекрасный человѣкъ, но въ молодости, когда на нее сердились, и потомъ, помирясь съ нею, называли ее «проказницей», — она «страдала самордаками». «Самордаки» — это такая болѣзнь, совмѣщавшая фантазію и упрямство. Своего рода «блажь». Самордаки у тети совсѣмъ никогда и не прошли, а только «переблажились». Въ голодный годъ она заблажила тѣмъ, что не продала ни пуда муки, а все искормила на дѣтскихъ мужиковъ, надъ которыми она была опекуншею, и завела такое баловство, что всѣ мужики и бабы приводили съ собою къ ней на дворъ своихъ дѣтей и всѣ у нея наѣдались.

На это двое ея сосѣдей обращали вниманіе предводителя и указывали, что она, какъ опекунша, такихъ расходовъ допускать не смѣетъ, — тѣмъ болѣе, что своимъ примѣромъ она другихъ подводитъ къ опасности; и предводитель ей дѣлалъ замѣчаніе, но «не могъ запретить». Тетя отвѣчала, что она «хочетъ идти подъ судъ».

Вообще тетя Полли была особа живая, смѣлая и интересная, и одолѣть ее — была не шутка...

Суда она не боялась, потому что держала въ своей совѣсти судъ надъ собою.

Теперь ей было уже лѣтъ за сорокъ, но она была еще очень красива: высокая, стройная, — что называется «король-баба»,—съ черными какъ смоль густыми волосами, которые вились у лба и у пробора на темени, и съ большими сѣрыми глазами, которые у нея «умѣли говорить все, что она хотѣла».

Недавно умершій Николай Антоновичъ Ратынскій, который былъ значительно меня старше и зналъ наше орловское родство, говорилъ мнѣ, будто Тургеневъ съ тети Полли нарисовалъ въ своемъ «Помѣщикѣ» ту барыню, о которой сказалъ, что она «была не вздоръ въ нашъ вѣкъ болѣзненный и хилый».

Разумѣется, описанное въ «Помѣщикѣ» лицо имѣло сходство съ тетей Полли только во внѣшности, а въ свойствахъ духа у нихъ была схожесть развѣ въ «побѣдоносности» и въ неукротимой энергіи и настойчивости.

«Побѣдоносный, свѣтлый взоръ,—
Все въ ней дышало древней силой».

Впрочемъ, какъ тетя Полли была оригинальное и характерное лицо дворянскаго круга глухой поры (тридцатыхъ годовъ) и такъ какъ ея «блажь» составляла въ голодный годъ нѣкоторое исключительное явленіе, то мнѣ кажется, что о ней стоитъ разсказать поподробнѣе.

Выше уже сказано, что она пользовалась репутаціей «проказницы», но слава ея въ этомъ родѣ была сильно раздута. Танта (какъ мы ее тоже называли) по положенію своему принадлежала къ губернской знати, но по живости своего ума и характера была лицо всесословное. Она держалась со всѣми какъ нельзя болѣе просто, «знала всѣ обстоятельства» и даже очень любила подшутить надъ родовитымъ невѣжествомъ. Первый мужъ ея былъ богатъ, скученъ и тученъ, но не именитъ, и никакимъ особеннымъ вниманіемъ и вліяніемъ не пользовался, но рокъ, однако, судилъ такъ, что онъ цѣлые полгода исправлялъ «по случаю» предводительскую должность и съ достоинствомъ умеръ въ этомъ почтенномъ званіи.

Тетушка овдовѣла очень молодою, она имѣла всего не болѣе двадцати трехъ или четырехъ лѣтъ и уже была матерью трехъ дочерей.

Если бы не дѣти, то очень могло статься, что тетушка пошла бы въ монастырь, такъ какъ у насъ въ Орлѣ это тогда было въ модѣ между дворянствомъ (съ чего и написана Лиза у Тургенева); но дѣти этому помѣшали. Они же дали чувствамъ тети и другое направленіе, а это послѣдовало вскорѣ послѣ смерти отца, когда всѣ дѣти вдругъ опасно заболѣли.

Болѣзнь была изъ «прилипчивыхъ», и родные молодой вдовы всѣ ее покинули. Это въ благородномъ сословіи и тогда уже было въ модѣ и практиковалось безъ зазрѣнія совѣсти. О положеніи тетушки дошла вѣсть въ Послово, гдѣ жила въ замкнутомъ одиночествѣ именитая г-жа княгиня Д*, знатная дама, занимавшая передъ тѣмъ видную «позицію», но вдругъ чѣмъ-то кому-то не угодившая и удаленная.

Говорили, будто она живетъ въ Пословѣ поневолѣ и «пребываетъ» тутъ однимъ лишь тѣломъ, а что «душа ея не тутъ»—она живетъ «въ недосягаемыхъ сферахъ». Сама же княгиня Д* не считала себя равною ни съ кѣмъ и не допускала къ себѣ никого. У нея была собственная церковь, собственный попъ и собственный врачъ, которому она не позволяла лѣчить никого, кромѣ ея особы.

Этотъ врачъ былъ французъ, съ качествами извѣстнаго по пьесѣ Дьяченко французскаго гувернера m-r Дорси: онъ былъ и пустъ, и вѣтренъ, и хорошъ собой, и великодушенъ.

Узнавъ черезъ людей, что въ сосѣднемъ селѣ такъ безжалостно всѣми брошена молодая и притомъ очень интересная вдова съ больными дѣтьми, онъ «взбунтовался» и объявилъ своей важной дамѣ, что онъ «ѣдетъ лѣчить сосѣдкиныхъ дѣтей».

Дама объ этомъ и слышать не хотѣла, но онъ продолжалъ настаивать, и когда люди не стали ему запрягать лошадей, то онъ завязалъ шею шарфомъ, надѣлъ теплые сапоги съ мѣхомъ и пришелъ къ тетѣ по снѣгу четыре или пять верстъ пѣшкомъ.

Разумѣется, онъ былъ встрѣченъ тетей какъ ангелъ-утѣшитель и оказался вполнѣ достойнымъ такой встрѣчи.

Онъ «воскресилъ дѣтей» и тѣмъ, понятно, произвелъ неотразимое вліяніе на сердце молодой матери. Княгиня Д* была поставлена этимъ случаемъ въ очень большія затрудненія. Сначала она сердилась и три дня не обращала вниманія, а потомъ позвала управителя и велѣла ему подать

объявленіе, что «пропалъ французъ»... Докторъ и тетя объ этомъ узнали, и оба смѣялись... Имъ было хорошо и радостно, потому что дѣти выздоравливали, а они были поглощены такимъ увлеченіемъ, которое дѣлало для нихъ чужія сердечныя страданія смѣшными... Это вызвало со стороны княгини Д* рядъ мѣропріятій, изъ которыхъ одно было очень рѣшительное и имѣло успѣхъ; она сначала прислала сказать доктору, чтобы онъ не смѣлъ къ ней возвращаться изъ заразнаго дома; а потомъ, когда увидала, что онъ и въ самомъ дѣлѣ не возвращается, — она прислала его звать, такъ какъ съ нею случился припадокъ какой-то жестокой болѣзни, и наконецъ, черезъ полтора мѣсяца, когда пришла весна и природа, одѣвшаяся въ зелень, выманила француза въ лѣсъ, пострѣлять куропатокъ для завтрака тети, на него внезапно напали четыре человѣка въ маскахъ, отняли у него ружье, завернули его въ коверъ и отнесли на рукахъ въ скрытую на лѣсной дорогѣ коляску и такимъ образомъ доставили его княгинѣ... Здѣсь съ нимъ было или только ему угрожало происшествіе смѣшное и тяжкое, изъ котораго онъ вышелъ благополучно только благодаря тому, что изъявилъ согласіе сію же минуту, немедленно, сочетаться съ княгинею Д* законнымъ бракомъ, что̀ и было исполнено въ ея собственной церкви, ея священникомъ и при ея людяхъ...

Тетушка узнала объ этомъ только на другой день и горько плакала—участь бѣднаго француза казалась ей необыкновенно трогательною, и она укоряла себя, зачѣмъ она сама была такъ увлечена обаятельностью своего положенія, что не оформила всего по образцу княгини. Вѣдь это было такъ просто и такъ возможно, и даже не нужно было этихъ низкихъ угрозъ, которыми и его, и себя унизила Д*... Онъ бы самъ охотно на все согласился... Но ужъ дѣло было потеряно и вдобавокъ требовался коррективъ, и тетушка, какъ думали, запылала мщеніемъ и «не снесла обиды», а отомстила княгинѣ какъ настоящая «проказница»: она, совершенно ни съ кѣмъ не посовѣтовавшись и для всѣхъ неожиданно, вышла замужъ за князя С—ва, въ которомъ только то и было, что онъ былъ молодъ и холостъ, но совсѣмъ необразованъ и вдобавокъ, по совершенной бѣдности, служилъ квартальнымъ...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Mésalliance былъ самый полнѣйшій, но мщеніе все-таки было совершено: Д*—родовая княгиня—черезъ замужество съ французскимъ лѣкаришкой потеряла княжескую корону, а наша милая тетя возложила ее на себя и на свое нисходящее потомство, такъ какъ князь С—въ былъ дѣйствительный, настоящій князь, изъ «Рюриковичей», и въ гербѣ у него стояли многозначительныя слова: «*не по грамотѣ*».

Словомъ — какой это ни былъ опрометчивый поступокъ, но тетушка о немъ не сожалѣла, такъ какъ она и вообще не сожалѣла никогда о томъ, что̀ уже случилось, а держалась того правила: «что̀ укоротишь—того не воротишь: надо съ другого конца надшивать или надвязывать».

Впрочемъ, ея князь не былъ совсѣмъ особенно плохъ: въ немъ было что-то «породистое» и самую «форму квартальнаго» онъ носилъ съ военнымъ шикомъ. Съ этой стороны онъ былъ замѣтенъ и ради того по представительности своей былъ отличенъ начальствомъ и употреблялся для сношеній съ благородными лицами города. А потому, когда представилась надобность объявить тетушкѣ бумагу, присланную изъ московскаго опекунскаго совѣта, о какихъ-то ея опекунскихъ дѣлахъ, то по распоряженію полицеймейстера къ ней былъ посланъ съ этою бумагою квартальный-князь, и онъ былъ принятъ тетушкою не такъ, какъ принимали обыкновенныхъ квартальныхъ. Тетушка велѣла позвать его къ себѣ въ залъ, гдѣ она сидѣла въ это время въ распашномъ пеньюарѣ за утреннимъ чаемъ, и, посмотрѣвъ на него, пригласила его сѣсть,—что̀ было тоже необычайностью для лицъ его сана.

Князь сѣлъ, и пока тетушка пробѣжала принесенную ей бумагу и потомъ потребовала себѣ перо и чернильницу для того, чтобы расписаться «о прочтеніи оной», она успѣла «бросить на него взглядъ ока», и сейчасъ же сообразила: на что̀ находящійся передъ нею человѣкъ можетъ быть годенъ и какъ за это дѣло надо взяться.

А дѣло не допускало промедленія.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

С—въ тутъ же получилъ отъ тетушки порученіе по какому-то частному ея дѣлу — по поводу какихъ-то ея хло-

потъ съ принадлежащимъ ей пустопорожнимъ мѣстомъ на берегу, гдѣ производилась погрузка хлѣба на барки, — и князь исполнилъ данное ему порученіе охотно, быстро и съ блестящимъ успѣхомъ.

За это онъ былъ вознагражденъ денежнымъ подаркомъ сверхъ мѣры заслугъ и кромѣ того удостоился разговора, вхожаго въ его положеніе, которое тетушка находила несоотвѣтствовавшимъ его родовому званію, такъ какъ князья С—вы въ самомъ дѣлѣ принадлежали къ «Рюриковичамъ» и были князья «не по грамотѣ».

С—въ былъ не глупъ и не уменъ, а то, что называется «человѣкъ средній», и участіе довольно именитой и весьма интересной дамы его такъ тронуло и согрѣло, что онъ расчувствовался и осмѣлился поцѣловать поданную ему на прощанье руку. Тогда это, впрочемъ, было въ обычаѣ, и тетушка этимъ не обидѣлась и даже обѣщала ему принять въ немъ участіе и о немъ подумать.

Князь былъ въ восторгѣ и провелъ нѣсколько дней въ размышленіи: какъ бы настроить ее такъ, чтобы она выпросила ему у губернатора мѣсто смотрителя тюремнаго замка или гдѣ-нибудь городничаго.

Но тетушка имѣла на него гораздо болѣе важные виды: черезъ нѣсколько дней она позвала его къ себѣ и спросила, не хочетъ ли онъ «измѣнить свой карьеръ».

Князь былъ готовъ на все и несказанно обрадовался, когда услыхалъ, что тетушка желаетъ принять его къ себѣ управителемъ. Онъ сейчасъ же подалъ въ отставку, снялъ квартальницкую форму и переселился въ тетушкино имѣніе, гдѣ пріучался къ хозяйству подъ ея непосредственнымъ руководствомъ, и для того ѣздилъ съ ней вдвоемъ въ кабріолетѣ безъ кучера, а жилъ во флигелѣ, но потомъ въ одинъ прекрасный день переведенъ въ домъ и обвѣнчанъ съ хозяйкою въ ихъ деревенской церкви, точно такъ же скромно, какъ Д* обвѣнчалась у себя съ французомъ.

Бывшая Д*, не будучи нимало знакома съ тантою, прислала ее поздравить «отъ себя и отъ мужа». Это была дерзость, но тетя была умна и не обратила на это вниманія, а въ вознагражденіе за то французъ прислалъ ей двусмысленное утѣшеніе, состоявшее изъ одной фразы: «Le nombre des sots est infini».

Тетушку и это уже не занимало: она усиленно хозяйни-

чала, и одинъ разъ, поѣхавъ на поле, такъ растряслась по кочкамъ, что въ тотъ же день Богъ далъ ей дочь— прехорошенькую княжну. Къ счастію, ребенокъ хотя пришелъ на свѣтъ немножко и рановременно, но это ему не повредило.

Маленькая неудача сказалась въ другомъ: тихій и благопристойный Рюриковичъ, послѣ того, какъ тетушка къ нему поближе присмотрѣлась, не выдержалъ самой снисходительной критики и оказался еще скучнѣе перваго ея мужа, предводителя.

Кромѣ того, тетѣ непріятно было, что князь все болтался и ничего не дѣлалъ и вдобавокъ,—какъ она убѣдилась,— ничего и не умѣлъ дѣлать, кромѣ клеенья коробочекъ изъ картона и цвѣтной бумаги съ золотыми бордюрами.

По мнѣнію родныхъ, тетя сама была во многомъ виновата, потому что она была со своимъ княземъ *очень суха*; но потомъ это перемѣнилось, и она сдѣлалась къ нему матерински нѣжна и неожиданно устроила его вполнѣ по его вкусу: какъ онъ когда-то мечталъ, такъ и получилъ вдругъ мѣсто городничаго въ отдаленномъ городѣ, куда отбылъ одинъ, и его лѣтъ шесть не видали. Во все это время про князя никто и не говорилъ, а тетя-княгиня заперлась отъ всѣхъ и «предалась книгамъ». Дѣти, книги и хозяйство ее поглотили, и о ней стали говорить, что она «вознеслась надъ жизнью». Но вдругъ князь потерялъ мѣсто и снова прибылъ въ деревню. Танта отвела ему помѣщеніе въ мезонинѣ, даже пожертвовала ему свой письменный столъ для кабинета, но сама осталась при дочеряхъ, изъ которыхъ старшая, Сусанна, *не-княжна*, имѣла въ это время уже шестнадцать лѣтъ и смотрѣла невѣстою.

Она и двѣ ея младшія, единокровныя и единоутробныя сестры, очень любили мать и ея младшую дочку, *княжну* Вàлю, но самого князя не могли переносить.

И въ самомъ дѣлѣ, всѣ онѣ были въ мать — «ужасныя читалки и игралки»,—т.-е. вѣчно были за книгой или за музыкальными занятіями, и ихъ занимали живые бытовые вопросы и литература, а князя не занимало ничто. Если онъ не клеилъ коробокъ, то онъ только могъ ходить да свистать, или сидѣлъ въ своихъ комнатахъ у окна и переговаривался съ проходящими мимо бабами и мужиками — и всегда о пустякахъ. Всякое обращеніе съ книгою ему

было противно, и хотя онъ зналъ, что онъ невѣжда и что это не хорошо, но преодолѣть свою вражду къ книгѣ не могъ.

Онъ понималъ, что онъ своей женѣ не пара и что «попалъ въ честь по случаю», и терпѣлъ это, и не нахальничалъ. Онъ только завидовалъ, что жена его, при ея запасѣ врожденнаго ума и начитанности, всегда занята и всегда ей вездѣ весело, а ему вездѣ скучно,—и единственное ему спасеніе—быть городничимъ, — ходить, свистать и покрикивать.

Въ семьѣ изъ этого ничего стройнаго не выходило, и благодаря тому, что падчерицы его не всегда умѣли скрыть, что онъ имъ непріятенъ и что онѣ страдаютъ за свою умную и образованную мать, видя ее женою такого остолопа,—князь страдалъ отъ своего положенія и даже сталъ возбуждать къ себѣ состраданіе въ сердцѣ очень чувствительной и доброй танты.

Тетя стала за него заступаться и говорила дочерямъ:

— Что онъ вамъ мѣшаетъ? Онъ очень простой человѣкъ, но что же онъ дѣлаетъ вреднаго?.. Онъ проводитъ время, какъ умѣетъ, и его можно оставить въ покоѣ. Онъ и безъ того всѣхъ избѣгаетъ и вѣчно одинъ.

И княгиня стала навѣщать бѣднаго князя въ его уединеніи, и чтобы это не имѣло видъ сентиментальности, она писала письма на письменномъ столѣ, перенесенномъ въ его кабинетъ. Такъ шли дѣла въ теченіе всей зимы, а по веснѣ Сусанна одинъ разъ окинула мать испытующимъ взглядомъ и сказала:

— Однако, что же это, мама?!

— Что такое?—спросила тетя и покраснѣла.

— То-то и есть, мама... вы краснѣете!.. И должно краснѣть!

— Чего же мнѣ краснѣть?—отозвалась, оправясь, тетя.

— Того, что мы уже взрослыя, а вы... ходите письма писать... Мы перенесемъ вашъ письменный столъ въ вашу комнату.

Но дѣло было уже не поправимо, и у Сусанны съ ея сестрами явился еще маленькій братецъ. Ребенка опять всѣ любили и ласкали, кромѣ самого князя, у котораго это удовольствіе было отнято, и на этотъ разъ — увы! — навсегда. Князю снова достали соотвѣтственное городничеству мѣсто на Кавказѣ, и онъ тамъ ходилъ, курилъ, свисталъ и по-

крикивалъ, и тамъ же и умеръ, выкупавшись послѣ жирнаго обѣда въ холодномъ Терекѣ.

Смерть мужа, взятаго точно напрокатъ и поставленнаго ни вѣсть на какую позицію, уязвила сердце тети сознаніемъ своего грѣха передъ этимъ человѣкомъ, который былъ принесенъ ею въ жертву самымъ эгоистическимъ соображеніямъ, весьма ничтожнаго свойства. Онъ, живой человѣкъ, пришедшій въ міръ, чтобы свободно исполнить на землѣ какое-то *свое* назначеніе, былъ обращенъ ею въ метелку, которою она замахнула сорный слѣдъ своего колоброда, и потомъ смыла его съ рукъ и сбросила въ Терекъ...

Ей было ужасно стыдно и ужасно его жаль,—и она заперлась въ спальнѣ и плакала о немъ много и долго; и тутъ же, запершись, въ уединеніи отъ дочерей, которыя не могли сдерживать своего презрѣнія къ захудалому глуповатому «Рюриковичу», исполнявшему и глуповатую роль въ жизни, — она обдумала себя. Дѣвицъ и теперь раздражало и обижало, что мать была такъ потрясена событіемъ и относилась къ князю съ «чувствомъ»... Онѣ были въ томъ «счастливомъ» возрастѣ, который даетъ возможность разсуждать обо всемъ не только очень эгоистично, но и очень ошибочно, и имъ было *стыдно* за то, что «она, значитъ, все-таки его любила»... Имъ, для ихъ семейнаго достоинства, не хотѣлось, чтобы это было такъ; но онѣ не понимали, что это именно *такъ* и не было! Тетя Полли не оплакивала въ князѣ человѣка, котораго бы она предпочитала всѣмъ другимъ людямъ, — что̀ выражаетъ банальное требованіе такъ-называемой «любви»,—но она оплакивала въ немъ человѣка-брата, котораго она встрѣтила случайно, заставила его продѣлать все, что̀ хотѣла, и къ которому не оказала благоволенія. Какіе бы доводы ей ни представляли, что она ни въ чемъ передъ нимъ не виновата, она чувствовала свою вину и хотѣла утолить ее. Тетя сдѣлала трауръ двумъ младшимъ дѣтямъ и сама надѣла черное платье,—отстояла на колѣняхъ заупокойную обѣдню и панихиду, и еще рядъ другихъ панихидъ, но утоленія не было: покой къ ней не приходилъ. Она находила, что это все не то... И вотъ она вдругъ уѣхала куда-то парою, въ маленькой бриченкѣ съ однимъ кучеренкомъ, и, возвратясь черезъ десять дней, сказала, что она была въ Оптиной пустыни у «старца», но на разспросы о томъ: что̀ тамъ

такое? — съ странною разсѣянностью отвѣчала: «Опять все это не то». И подаренныя ей старцемъ маленькія книжечки она прочла разъ и болѣе ихъ не открывала: опять было «не то». Она послала къ приходскому священнику, чтобы тотъ далъ ей Библію. Но Библіи въ церковномъ обиходѣ не было. За нею послали въ Орелъ, но и въ Орлѣ продажной Библіи не нашли, а достали ее «почитать» у семинарскаго ректора, и то съ предвареніемъ отъ своего священника, что «это книга мірская и читать ее небезпечно».

И другіе тоже пробовали отговаривать тетю, «чтобы не сошла съ ума, прочитавъ Библію»; но она была «неимовѣрная»: она таки-прочитала всю Библію и, разумѣется, какъ слѣдуетъ,—сошла съ ума и начала дѣлать явныя несообразности.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Такъ, напримѣръ, окончивъ чтеніе Библіи, тетя не задала себѣ труда повторять это, какъ дѣлаютъ многіе одолѣвшіе названную книгу, а она отложила ее въ сторону разъ и навсегда и «понесла фантазіи» въ родѣ того, что «хорошихъ временъ еще не было», или что «лучшая жизнь на землѣ будетъ впереди насъ, а не та, которая осталась позади насъ»... И она въ это не только вѣрила, но говорила, что «въ такой вѣрѣ только и находитъ силу жить и трудиться для того, чтобы равнять путь лучшему, которое идетъ и непремѣнно придетъ — когда «горы и юдоли сравняются и левъ ляжетъ съ ягненкомъ и не завредитъ ему».

Эти «глупости» танты основательные люди передавали другъ другу и, весело смѣясь, называли ее лицемѣрной фантазеркой и даже дурой. Прежнее игривое наименованіе «проказницы» было уже теперь для нея слабо, такъ какъ оно не выражало опаснаго характера ея нынѣшняго настроенія, и то, старое названіе было у нея отнято.

— *Была* проказница, — говорили о ней:—но тогда была зато хоть живая и преинтересная, а теперь стала Богъ знаетъ на что похожая—противная, скучная фантазерка, съ которой старикамъ нечего дѣлать, потому что она ихъ не слушаетъ, а молодежь... даже страшно оставлять съ нею!

Одинъ изъ основательныхъ дворянъ, имѣвшихъ «голосъ въ собраніи и въ обществѣ», во время выборовъ сдѣлалъ

заявленіе, что слѣдовало бы обратить вниманіе на то, въ какомъ духѣ танта воспитываетъ своихъ дочерей. Но предводитель, очень добрый и мягкій человѣкъ, нашелъ, что какъ у княгини всѣ ея дочери—дѣвочки, то какъ бы она ихъ ни воспитывала—это не важно.

Воспитывала же она ихъ странно—безъ учителей,—всему обучая ихъ сама, при содѣйствіи выписанной изъ Англіи *квакерши*, Гильдегарды Васильевны, которая была бы чрезвычайно красива, если бы «совершенно себя не безобразила», нося постоянно сѣрое платье въ складкахъ и лѣтомъ широкую соломенную шляпу, а зимою маленькую теплую черную шапочку «съ затылкомъ и съ ушками, безъ всякаго фасона».

Притомъ танта съ этою квакершею сдѣлались неразрывными друзьями и ни съ кѣмъ не церемонились.

Къ нимъ можно было заѣхать, и онѣ всякаго гостя встрѣчали очень привѣтливо, но всегда прямо желали узнавать: чѣмъ онѣ ему могутъ быть полезными. И затѣмъ сію же минуту дѣлали для него все, что̀ могли, но потомъ, сдѣлавши это, тотчасъ же къ нему, или къ ней, охладѣвали и держали себя съ гостями — какъ будто «занимать» его или ее совсѣмъ не ихъ обязанность. Онѣ оставляли пріѣзжихъ въ покоѣ и сами обращались къ своимъ обыденнымъ занятіямъ, въ которыхъ наблюдали строгій порядокъ,—очень противный для людей съ истинной «широкой натурой».

Кончилось это тѣмъ, что стали находить, будто у бывшей «милой проказницы» огрубѣли манеры и пропала женственность. Она стала носить безсмѣнно однообразнаго, самаго простого фасона черное шерстяное платье зимою и такое же свѣтлое ситцевое платье лѣтомъ; лѣчила у крестьянъ самыя неопрятныя болѣзни, сама своими руками обмывала ихъ раны и дѣлала кровавые разрѣзы и другія простыя операціи, и при этомъ ни за что не хотѣла поручить присмотръ за больнымъ горничнымъ дѣвушкамъ, ибо она находила, что горничныя слишкомъ деликатны и «носъ воротятъ». Вообще тетя Полли стала будто рѣзка и даже иногда употребляла «Антошины словечки». Оно такъ и было: тетя выражалась порою немножко во вкусѣ Антона Антоновича Сквозника-Дмухановскаго, называя вещи ихъ прямыми именами, что̀, впрочемъ, въ ея устахъ не было ни плоско, ни грубо, а только прямо и о̀бразно. Такъ же

рѣзки казались и ея чувства, въ которыхъ не находили самаго необходимаго—раскаянія и сожалѣнія о прошломъ,—что̀ ей очень бы и очень не мѣшало... На это даже и обращали иногда ея вниманіе, и говорили: кто хочетъ показать другимъ лучшій образъ жизни, тотъ не долженъ никогда забывать своего худшаго. «Врачу, исцѣлися самъ!»

Тетя за эти намеки нимало не сердилась и отъ нихъ не конфузилась: она, безъ сомнѣнія, понимала, во что̀ люди мѣтили, но все слушала спокойно и, выслушавъ, отвѣчала:

— По отношенію ко мнѣ все это совершенно справедливо, и я постоянно чувствую, какъ не хорошо имѣть неопрятное прошлое, — чистыхъ не въ чемъ упрекать и на нихъ выдумываютъ, а о насъ можно говорить правду, которая тяжелѣе всякой лжи,—но то дурное, что̀ я дѣлала, я уже оставила.

Maman разъ замѣтила ей, что, «переставъ грѣшить, надо начать каяться», но тетя отвѣтила ей:

— Насчетъ раскаяній мнѣнія различны; но я не нахожу никакой пользы въ томъ, чтобы порочный человѣкъ, сознавъ свои дурныя дѣла, сидѣлъ бы и все смотрѣлъ на свой животъ, какъ это дѣлаютъ какіе-то чудаки въ Индіи. У очень многихъ людей въ ихъ прошедшемъ есть порядочное болото, но что же пользы возиться въ этомъ болотѣ? Лучше поскорѣе встать да отряхнуться и идти доброй дорогой.

Такъ она и жила, «отряхнувшись», и не хотѣла жить иначе, и, несмотря на все ея «порядочное болото въ прошломъ», личность ея стала казаться свѣтлою и получила такую привлекательность, что къ ней широко запылала любовь во множествѣ сердецъ.

Ея дочери, которыя унаслѣдовали не всѣ ея свойства, напрасно боялись, что ея пассажъ со вторымъ бракомъ повредитъ ихъ карьерѣ: одна изъ этихъ дочерей очень скоро и очень пріятно разочаровалась въ этомъ потому, что прибывшій въ ихъ мѣстность, для принятія наслѣдства, молодой сынъ именитаго вельможи, князь Z., одинъ разъ побывавъ у тети Полли, такъ полюбилъ ее и ея Гильдегарду, и все ихъ семейство, что не захотѣлъ оставаться чужимъ этой семьѣ и твердо настоялъ на томъ, чтобы ему былъ разрѣшенъ бракъ съ ея старшею дочерью, съ тою самою Сусанной, которая была груба къ матери, стыдилась

ея беременности, — а потомъ еще болѣе стыдилась этой своей выходки и сдѣлалась образцомъ дочерней любви и уваженія къ матери.

Это было наградою тетѣ Полли, которая сама себя почитала «во всѣхъ статьяхъ неисправною» и никого не бралась исправлять, но до самозабвенія восторгалась, когда видѣла, что люди «ни отъ чего исправляются».

Ни отъ чего!..

Она была бы до слезъ смущена, если бы ей доказали, что это «ничто» была сама она, ушедшая «отъ своего болота».

Такъ преобразилъ ее Тотъ, Кто жалѣетъ объ утратѣ одной овцы, и, хватившись ея, оставляетъ девяносто девять овецъ, идущихъ своею дорогою, и ищетъ въ кустахъ и терніи потерявшую путь одну овцу, и находитъ ее, беретъ ее на Свои священныя руки, и несетъ, и радуется, и даетъ радость всѣмъ, кому понятна и дорога радость, что *ожилъ человѣкъ!*

Личныхъ утѣшеній тетя Полли съ тѣхъ поръ не искала, но они ее иногда находили, и одно такое прекрасное утѣшеніе освѣтило ея закатъ: ея зять, мужъ Сусанны, отличился благороднѣйшею дѣятельностью при «освободительныхъ работахъ» въ царствованіе Александра II. И тетя, при полученіи извѣстія объ этомъ, плакала радостными слезами на груди у своей Гильдегарды и сама себя перебивала словами:

— Нѣтъ, за что же?.. За что̀ мнѣ такъ много дано, когда я такъ мало сто̀ю!

Но, увлекаясь воспоминаніями о тетѣ Полли, я отступаю отъ порядка повѣствованія, съ которымъ здѣсь пора кончить.

Возвращаюсь къ тому, когда тетушка пріѣхала къ намъ въ деревню, измученную голодомъ, которому уже былъ виденъ предѣлъ, но къ которому теперь присоединились повальныя болѣзни: онѣ сложили на землю половину живущихъ и навели уныніе и страхъ на другую половину.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Тетя Полли собственно была вызвана къ намъ отцомъ, который описалъ ей наше унылое состояніе, и она сейчасъ же пріѣхала вмѣстѣ съ Гильдегардою и привезла успокоеніе и радости.

Эта женщина всегда привозила съ собою, во-первыхъ,

свою непобѣдимую и никогда ее не оставлявшую благородную веселость, а потомъ непремѣнно всѣмъ людямъ и дѣтямъ по подарку. *Дарить*—это была ея слабость и ея радость, и она имѣла удивительную способность всѣхъ помнить и всякому подобрать подарокъ, подходящій по его потребности и по вкусу.

Женщинамъ дарились головные платки, горничнымъ — ситцы на платья, лакею — «отрѣзъ на жилетъ», кучеру — «касандрійская рубаха», скотнику — рукавицы, но болѣе всего привозилось дешевыхъ алыхъ лентъ — деревенскимъ дѣвчонкамъ на «косоплетки».

Эти косоплетки, нарѣзанныя кусочками соотвѣтственнаго размѣра, тетя всегда имѣла у себя въ запасѣ въ карманѣ платья, и гдѣ бы ни встрѣтила дѣвчонку, она подзывала ее къ себѣ и дарила, всегда съ шуткою:

— Дѣвки! дѣвки! подите ко мнѣ, я васъ осчастливлю!.. На-те вамъ—въ косы заплетите... Ты чернуха — тебѣ вотъ ленточка алая, а ты бѣлый тараканъ — тебѣ лучше будетъ синенькую...

«Осчастливленныя» просіявали отъ счастія и съ разгорѣвшимися глазенками бѣжали за тетей и просили, чтобы къ алой была прибавлена синенькая, а къ синенькой — аленькая, и тетя увлекалась радостью дѣтей и имъ не отказывала, а иногда брала дѣвочекъ и цѣловала ихъ не совсѣмъ чистыя лица, приговаривая:

— Ахъ вы, рожицы!.. Тоже щеголихи!.. На-те вамъ, чумазыя! на-те!

И ленты летѣли въ толпу, и деревня расцвѣчалась пестротою дѣвичьихъ косоплетокъ.

Видно было, что «баловница пріѣхала».

Было ли послѣ этого чему удивляться, что эта «баловница» (сколько у нея было *прозваній!..*) была въ то же время и общая любимица и что такое лицо, какъ она, въ лихую годину, сразу однимъ своимъ появленіемъ наполняла сердца людей довѣріемъ и упованіемъ, облегчающими въ значительной мѣрѣ всякое горе и «всякую язю въ людѣхъ»?!

А тетя Полли и Гильдегарда теперь и пришли къ намъ съ нарочитою цѣлью—принести облегченіе больнымъ, которыхъ было полдеревни и которые валялись и мерли въ своихъ промзглыхъ избахъ безъ всякой помощи.

Какая это была болѣзнь—я не помню, но знаю, что надъ

распознаваніемъ ея по правиламъ науки никто не трудился. Уѣздные врачи (которыхъ тогда было по одному на уѣздъ) дѣлали только судебныя «вскрытія», а лѣчить больныхъ времени не имѣли; отецъ мой обладалъ «Лѣчебникомъ штабъ-доктора Егора Каменецкаго», но не имѣлъ дара лѣчить; матушка боялась заразы, а французъ-докторъ, женатый на нашей богатой сосѣдкѣ, бывшей княгинѣ Д*, еще въ самомъ началѣ голоднаго года покинулъ жену и уѣхалъ отъ снѣжныхъ сугробовъ Россіи на свою цвѣтущую родину, а оттуда въ палящія степи Африки, гдѣ охотился на львовъ вмѣстѣ съ Клодомъ Жераромъ.

Мы были совершенно безпомощны и знали о болѣзни, убивавшей крестьянъ, только такіе симптомы, что у нихъ сначала «заболитъ голова, а потомъ на нутрѣ сверлитъ, а потомъ весь человѣкъ слабъ сдѣлается» и валяется, пока «потмится въ лицѣ и духъ вонъ».

У тетушки и Гильдегарды Васильевны былъ талантъ къ лѣченію больныхъ крестьянъ, и имъ это было ни почемъ, такъ какъ онѣ не боялись заразиться. Болѣзнь, которою умирали наши крестьяне, началась-было на деревнѣ и у тети Полли, но тамъ ей не дали развиться. Тетя и Гильдегарда тотчасъ же отдѣляли больныхъ изъ семьи и клали ихъ въ просторную столярную мастерскую, гдѣ и лѣчили ихъ, чѣмъ знали, съ хорошимъ успѣхомъ.

Теперь у нихъ все было благополучно, и онѣ явились на помощь къ намъ во всеоружіи своей духовной мощи и знаній и съ запасомъ потребныхъ лѣкарствъ. Но болѣе всего полезенъ былъ ихъ мощный духъ, присутствіе котораго сразу измѣняло весь ходъ и настроеніе нашей жизни.

Тетя Полли не успѣла еще снять съ себя въ передней свой темно-зеленый шелковый ватошникъ, какъ уже давала тонъ и направленіе.

Первыя слова ея были къ отцу:

— Ну, что это за стыдъ!.. мы проѣхали всю вашу деревню и не слыхали ни какъ гусь гогочетъ, ни какъ корова мычитъ. Здравствуй, братъ!.. Или у васъ уже совсѣмъ нѣтъ коровъ?

Отецъ поцѣловалъ у нея обѣ руки и отвѣчалъ, что на деревнѣ осталась всего одна корова у старосты.

— Ахъ, да!.. И правда!.. Я ее, должно-быть, видѣла... Бурая?.. Но мнѣ показалось, что это неживое чучело.

Такой разговоръ произошелъ еще на самомъ порогѣ, и затѣмъ это такъ и продолжалось въ живомъ и энергичномъ тонѣ и съ однимъ и тѣмъ же надъ всѣмъ преобладающимъ стремленіемъ поставить все ниже заботъ о деревнѣ.

Тетя ласкала насъ—болѣе руками и взглядами—и въ то же время задавала отцу вопросы, требовавшіе немедленнаго исполненія ея просьбъ или приказаній, которыя вытекали изъ каждаго обстоятельства и шли одно за другимъ въ быстромъ, но стройномъ порядкѣ.

Тетя спрашивала: «сколько больныхъ на деревнѣ?» И видя, что отецъ затрудняется точнымъ отвѣтомъ, сейчасъ же сама за него отвѣчала:

— Ты не знаешь?.. Это не дурно для начала со стороны христіанина и помѣщика средней руки!.. А могу ли я видѣть твоего старосту или кого-нибудь, кто у тебя есть поумнѣе и у кого меньше упрямства и предразсудковъ?.. У тебя былъ, я помню, гдѣ-то за усадьбой пустой половень.

— Онъ сгорѣлъ,—отвѣчалъ отецъ.

— Вотъ какъ!.. Вѣрно отъ грозы?

— Нѣтъ,—мои дураки тамъ колдовали съ человѣчьимъ саломъ.

— Какъ это?

Отецъ разсказалъ ей извѣстную исторію со свѣчой изъ Кожіёнова сала, отъ которой сгорѣлъ половень.

Тетя пила чай и слушала исторію безъ улыбки, безъ ужаса и безъ гримасъ, и только посмотрѣла въ бокъ на Гильдегарду, которая тоже окинула ее отвѣтнымъ взглядомъ, и было ясно, что имъ не надо было говорить болѣе, чтобы понимать другъ друга.

Когда былъ конченъ разсказъ о свѣчѣ и о всемъ томъ, что записано выше въ этихъ воспоминаніяхъ, тетя Полли вздохнула и сказала:

— Да!.. здѣсь юдоль плача... Голодъ ума, голодъ сердца и голодъ души. Вотъ мотокъ, въ которомъ не знаешь, за какую нить хвататься!.. Дмитрій Ростовскій, впрочемъ, говорилъ въ дворцовой церкви, что онъ извиняетъ, когда люди «за нуждою и утѣсненіями забываютъ о Высшемъ». И теперь ужъ надо помогать одной низшей, грубой нуждѣ. Лучшее сдѣлаютъ когда-нибудь послѣ другіе, а не мы. Если половень сгорѣлъ, я прошу ригу и помѣщу въ ней больныхъ. Это первое дѣло, — ихъ надо сейчасъ отдѣлить. Мы

уже отдохнули и теперь обойдемъ съ Гильдегардой всѣ избы и сосчитаемъ всѣхъ больныхъ—и потомъ ихъ сейчасъ же перевезть...

— Больные не пойдутъ со своихъ печей и лавокъ,—замѣтилъ отецъ.

— Ну, мы постараемся убѣдить ихъ, чтобъ они пошли, въ крайнемъ случаѣ... мы ихъ возьмемъ и унесемъ.

— Насильно?

Тетя посмотрѣла въ глаза отцу и, помолчавъ минуту, отвѣтила:

— А хотя бы и насильно!.. Какъ странно! Развы ты и я—мы всѣ ими владѣемъ по ихъ доброй волѣ? Пустяки! Того, кто тонетъ, берутъ за волосы и вытаскиваютъ *насильно*... Это очень грубо, но совершенно необходимо. Соломы вѣрно нѣтъ у васъ, чтобы настлать кучами постелей по всей ригѣ?.. Это очень жаль, но, можетъ-быть, есть конопляная костра? Есть? Ну, вотъ и прекрасно,—обойдемся съ ней... Пока мы съ Гильдегардой будемъ на деревнѣ, возьми на себя трудъ наблюсти, чтобы здоровые натаскали въ ригу сухой костры и наклали ее для больныхъ кучками... Вели дѣлать этакъ... какъ большія котлеты, въ ростъ человѣка,—и въ головахъ—повыше, а къ ногамъ—пониже. Черезъ часъ тамъ уже будутъ больные... Твоя жена не можетъ намъ помогать?

Отецъ тихо отвѣтилъ:

— Она боится.

— Ну, и не нужно ея... Кто боится, тѣмъ это и вредно. А мы сейчасъ же идемъ!

Проговоривъ это, она уже стояла и покрывала свою кучерявую голову мягкимъ платкомъ, а Гильдегарда Васильевна надѣвала свою высокую, съ широчайшими полями, соломенную шляпу.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Тетя и Гильдегарда взяли въ карманы крошечный карманный фонарикъ съ рефлекторомъ (для осмотра горла), флаконъ съ какой-то жидкостью и записную книжку, и ушли.

Отецъ предлагалъ имъ провожатаго, но онѣ не взяли, и сказали, что надо зайти подъ-рядъ въ каждую избу.

— На васъ могутъ напасть собаки.

— Полно, пожалуйста! Собаки такія почтенныя живот-

ныя,—онѣ знаютъ, кто идетъ не съ дурнымъ намѣреніемъ, и будутъ съ нами вѣжливы.

И дѣйствительно, собаки повсемѣстно отнеслись къ нимъ превосходно, но все-таки экспедиція ихъ не обошлась безъ приключенія: бурая корова Дементія, которую тетя оскорбила, назвавъ ее «неживымъ чучеломъ», доказала, что она еще жива, и когда Гильдегарда, проходя мимо нея, остановилась, чтобы поощрить ее ласкою, тощая буренка немедленно подняла голову, сдернула съ англичанки ея соломенную шляпу и быстро удалилась съ нею на середину самой глубокой и непроходимой лужи, гдѣ со вкусомъ и съѣла шляпу, къ неописанному удовольствію тети Полли, которая надъ этимъ очень смѣялась, а англичанка, потерявъ шляпу, повязалась своимъ носовымъ платкомъ и окончила обходъ въ этомъ уборѣ.

До вечера было сдѣлано множество вещей: въ ригѣ было настлано двадцать семь постелей изъ сухой костры и на нихъ уложили соотвѣтственное число людей, освободивъ отъ производимаго ими смрада тѣсныя избы, въ которыхъ мѣстились ихъ семейства. При этой «эвакуаціи» насилій не было, но имѣли свое мѣсто энергія и настойчивость обѣихъ женщинъ, которыя сами при этомъ работали до изнеможенія и не пришли обѣдать до темнаго вечера.

Матушка долго и напрасно ждала ихъ и сердилась. Обѣдъ весь перестоялся и былъ испорченъ. Отецъ стыдился покинуть тетю и англичанку однѣхъ съ больными мужиками и бабами, и тоже оставался въ ригѣ: онъ помогалъ имъ раскладывать больныхъ и защищать ихъ отъ сквозного вѣтра въ импровизированномъ для нихъ баракѣ.

Имъ тамъ было холодновато, но они тотчасъ же стали легче дышать, а въ то же время безопаснѣе и легче дышалось и тѣмъ, которые остались у себя въ избахъ.

Отецъ, тетя и Гильдегарда пришли въ домъ, когда уже былъ вечеръ, и ѣли скоро и съ аппетитомъ, а говорили мало. На лицахъ у обѣихъ женщинъ какъ будто отпечаталось то выраженіе, какое онѣ получили въ ту минуту, когда тетя проговорила:

— Это ужасно: круглый голодъ, — голодъ ума, сердца и души... И тогда уже—всякій голодъ!

Ни тетя, ни Гильдегарда не были теперь разговорчивы и даже отвѣчали суховато и какъ бы неохотно.

Мать имъ сказала:

— Извините за обѣдъ... Онъ весь перешелъ, — вы сами виноваты, что дотянули обѣдъ до звѣзды.

Гильдегарда ее, кажется, не поняла; но тетя, разумѣется, поняла, но небрежно отвѣтила:

— До звѣзды!.. Ахъ, да... и ты права: мы въ самомъ дѣлѣ очень любимъ звѣзды... ихъ видѣть такъ отрадно. Тамъ вѣдь, безъ сомнѣнія, живутъ другія существа, у которыхъ, можетъ-быть, нѣтъ столько грубыхъ нуждъ, какъ у насъ, и потому они, должно-быть, противъ насъ лучше, чище... меньше самолюбивы и больше сострадательны и добры...

— Но вѣдь это фантазія,—замѣтила мама.

Тетя ей не отвѣчала.

— И притомъ, мы всѣ очень грѣшны, — зачѣмъ намъ мечтать такъ высоко! — молвила мать, конечно, безъ всякаго намека для тети.

Тетя ее слышала и произнесла тихо:

— Надо подниматься.

— Да вѣдь какъ это сказать...

Матушка, кажется, побоялась сбиться съ линіи, а тетя ничего болѣе не говорила: она озабоченно копошилась, ища что-то въ своемъ дорожномъ баулѣ, а Гильдегарда въ это время достала изъ темнаго кожанаго футляра что-то такое, что̀ я принялъ за ручную аптечку, и перешла съ этимъ къ окну, въ которое смотрѣлось небо, усѣянное звѣздами.

Мама вышла. Тетя закрыла баулъ, подошла къ столу, на которомъ горѣли двѣ свѣчки, и обѣ ихъ потушила, а потомъ подошла къ англичанкѣ и тихо ее обняла. Онѣ минуту стояли молча, и вдругъ по комнатѣ понеслись какіе-то прекрасные и до сей поры никому изъ насъ незнакомые звуки. То, что̀ я принялъ за ручную аптечку, была концертина, въ ея тогдашней, примитивной формѣ, но звуки ея были полны и гармоничны, и подъ ихъ аккомпанементъ Гильдегарда и тетя запѣли тихую пѣснь — англичанка пѣла густымъ контральто, а тетя Полли — высокимъ фальцетомъ.

Онѣ пѣли «cantique» на текстъ «Приходящаго ко Мнѣ не изгоню вонъ» (Іоан. VI, 37), и слова ихъ пѣсни передъ звѣздами (въ русскомъ переводѣ) были таковы:

«Таковъ какъ есть,—во имя крови,
За насъ пролитой на крестѣ,
За вѣрой, зрѣньемъ и прощеньемъ,
Христосъ, я прихожу къ Тебѣ.»

Я былъ пораженъ и тихой гармоніей этихъ стройныхъ звуковъ, такъ неожиданно наполнившихъ домъ нашъ, а простой смыслъ дружественныхъ словъ пѣсни плѣнилъ мое пониманіе. Я почувствовалъ необыкновенно полную радость оттого, что всякій человѣкъ *сейчасъ* же, «таковъ какъ есть», можетъ вступить въ настроеніе, для котораго нѣтъ расторгающаго значенія времени и пространства. И мнѣ казалось, что какъ будто, когда *онѣ* тронулись къ Нему «за вѣрой, зрѣньемъ и прощеньемъ», и *Онъ* тоже шелъ къ нимъ навстрѣчу, Онъ подавалъ имъ то, что̀ дѣлаетъ иго Его благимъ и бремя Его легкимъ...

О, какая это была минута! я уткнулся лицомъ въ спинку мягкаго кресла и плакалъ впервые слезами невѣдомаго мнѣ до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбужденія, что мнѣ казалось, будто комната наполняется удивительнымъ тихимъ свѣтомъ, и свѣтъ этотъ плыветъ сюда прямо со звѣздъ, пролетаетъ въ окно, у котораго поютъ двѣ пожилыя женщины, и затѣмъ озаряетъ внутри меня мое сердце, а въ то же время всѣ мы—и голодные мужики, и вся земля—несемся куда-то навстрѣчу мірамъ...

О, если бы за всѣ скорби жизни земной еще разъ получить такую минуту при уходѣ изъ тѣла!

Этотъ вечеръ, который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно укрыта снѣгомъ житейской зимы, кажется, имѣлъ для меня значеніе на всю мою жизнь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

На другой день передъ обѣдомъ, когда тетя Полли и Гильдегарда, съ помощью отца и двухъ дворовыхъ, перекладывали въ ригѣ больныхъ на свѣжія подстилки изъ кострики, на которую разостлали рогожи, въ ригу неожиданно вошелъ исчезнувшій по осени съ нашего горизонта майоръ Алымовъ, а за нимъ шли его легавый «Интендантъ» и мальчикъ съ табачнымъ кисетомъ и съ трубкой.

Я почему-то сразу понялъ, что майоръ напрасно вошелъ сюда, что ему здѣсь не мѣсто, и точно то же самое, очевидно, подумалъ мой отецъ, который, увидавъ майора, слегка

покраснѣлъ, передалъ мнѣ въ руки полоскательницу съ уксусомъ и губкой, а самъ пошелъ скорымъ шагомъ навстрѣчу Алымову и, здороваясь съ нимъ одною рукою, другою далъ знакъ мальчику, чтобы онъ удалилъ отсюда собаку.

— Ахъ, да!.. здѣсь гошпиталь! — замѣтилъ Алымовъ.— Это интересно. Я еще теперь только ѣду домой... Я всю зиму леталъ и своимъ мужикамъ не мѣшалъ жить какъ имъ угодно... Вѣдь мы имъ, право, только мѣшаемъ... Они сами — чудесный народъ и всегда какъ-нибудь обойдутся... А вы представьте меня, пожалуйста, вашей сестрицѣ: я объ ней много наслышанъ.

Отецъ представилъ его обѣимъ дамамъ, но тѣ поклонились ему черезъ плечо, не отрываясь отъ своего дѣла, и отецъ увелъ его въ домъ, а одинъ изъ дворовыхъ, подавая тетѣ дегтярное мыло и воду, чтобы вымыть руки, доложилъ ей вкратцѣ, что это за человѣкъ г. Алымовъ и какую онъ штуку сдѣлалъ, вымочивъ въ навозной жижѣ рожь, чтобы сдѣлать ее несъѣдобной.

Тетя перевела это по-англійски Гильдегардѣ, а та прошептала: «O, God!» и сконфузилась какъ ребенокъ.

Алымовъ уже не могъ ожидать встрѣтить у этихъ женщинъ симпатіи и за обѣдомъ напрасно старался втянуть тетю въ разговоры: она или молчала, или говорила съ нами, т. е. съ дѣтьми, а Гильдегарда вовсе не вышла къ столу, потому что у нея разболѣлась голова.

Новый гость могъ бесѣдовать только съ моими родителями, да и то отецъ, повидимому, не радъ былъ ни его визиту, ни говорливости, но мама въ этотъ разъ была къ нему внимательна...

Она въ душѣ не долюбливала тетю Полли, которая всегда «брала все не въ мѣру»: то была «проказница», а потомъ стала «фантазерка», и теперь развела у насъ въ домѣ близкое и опасное сношеніе съ больными людьми, чего maman никогда бы не допустила!

Maman умѣла говорить немножко «въ пику» тѣмъ, чьи «правила» ей не нравились, и присутствіе майора Алымова давало ей прекрасный поводъ поиронизировать надъ причудами и выдумками «филантропокъ», затѣи которыхъ будто нимало не полезны для нашего народа, такъ какъ нашъ народъ превосходно вѣритъ въ Бога, и Богъ спасетъ его отъ всякихъ бѣдствій.

Алымовъ былъ совершенно тѣхъ же мнѣній и при концѣ обѣда резюмировалъ разговоръ:

— Вотъ я ни во что не мѣшался... И прекрасно!.. Къ чему?.. Я знаю, что всѣхъ спасти нельзя, и нечего пробовать! Не правда ли?.. А если нельзя помочь всѣмъ, то какое право мы имѣемъ дѣлать однимъ людямъ предпочтеніе передъ другими!.. Не правда ли? Если уже спасать, то спасать *всѣхъ* людей!.. Это я понимаю... Не правда ли? Но если я этого не могу, то я не мѣшаюсь... Я отхожу въ сторону и ничего не порчу, и... по крайней мѣрѣ я не посѣваю зависти однихъ къ другимъ, какъ это на Западѣ, гдѣ все гніетъ, а не понимаютъ, отчего гніетъ? Не правда ли?.. Но у насъ этого нѣтъ... И вотъ, когда я могу сдѣлать серьезное и существенное дѣло, которое я, какъ хозяинъ, давно задумалъ, я его и дѣлаю — я возвращаюсь на мой постъ и всѣ мои крестьяне получатъ *ровно!*.. и если они не свиньи,—я оговариваюсь: если только они не свиньи,— то они навѣрно теперь поймутъ, что я для нихъ сдѣлалъ хорошее, а не дурное, и они благословятъ меня и отдадутъ мнѣ долгъ изъ новаго урожая!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Алымовъ уѣхалъ веселый и вдохновленный насквозь своимъ монологомъ, а ввечеру этого же дня къ намъ пріѣхалъ изъ Послова старикъ крѣпостной кондитеръ «бывшей княгини Д*», — очень почтенный человѣкъ, обучавшійся своему рукомеслу въ Парижѣ. Онъ желалъ быть «допущенъ на очи» къ пріѣзжимъ дамамъ и въ витіевато сложенной рѣчи изложилъ имъ, что онъ «рабъ своей госпожи, бывшей княгини Д*», и былъ за границей съ покойнымъ княземъ и служилъ «у него при дворѣ» въ Петербургѣ, а теперь прибылъ отъ своей госпожи, которая «больна мнѣніемъ»: она уже всю зиму не выходитъ изъ одной комнаты... въ другую переступить боится... а если переступитъ, то сейчасъ забезпокоится и говоритъ: «Я, вѣрно, что-то забыла?.. Скажите мнѣ, что̀ я такое забыла? Боже мой!.. какая я несчастная! Отчего мнѣ никто не хочетъ напомнить?» А если сдѣлаетъ какое-нибудь распоряженіе, то очень странное. «Вотъ и теперь она прислала меня вамъ доложить, что̀ отъ графа пришли въ посылкѣ двѣ шкуры отъ львовъ, которыхъ онъ убилъ, и она желаетъ подарить эти шкуры

бѣдственнымъ людямъ для ихъ постелей...» Поэтому его госпожа проситъ тетю и Гильдегарду, если онѣ позволятъ, привезти къ нимъ эти шкуры, и очень желали бы еще отдать что-нибудь, «что можетъ годиться»...

Наши дамы выслушали этотъ докладъ обѣ вмѣстѣ, но такъ какъ Гильдегарда говорила по-русски очень дурно, то отвѣчала за себя и за нее тетя Полли.

Она сказала:

— Бѣднымъ людямъ можетъ годиться все, что имъ захотятъ дать, и даже львиныя шкуры годятся, — мы ихъ охотно возьмемъ и за нихъ очень благодаримъ, но постилать ихъ мужикамъ мы не будемъ.

— Конечно, сударыня! — съ почтительнымъ поклономъ отвѣчалъ кондитеръ.

— Да, мы ихъ отошлемъ въ городъ и продадимъ ихъ, а на эти деньги купимъ, что понужнѣе.

— Разумѣется, сударыня! Какъ же можно иначе-съ! Я это и говорилъ компаньонкѣ... Львиныя шкуры мужикамъ!.. И много ли это... всего на двухъ человѣкъ... но вѣдь наша княгиня... онѣ... больны мнѣніемъ и,—извините,—по-русски я не смѣлъ бы сказать о своей госпожѣ, а скажу по-французски, — онѣ совсѣмъ какъ... perroquet... Отъ горя своего въ послѣдней разлукѣ съ супругомъ онѣ стали совсѣмъ въ дѣтствѣ. Если бы вы осчастливили ихъ видѣть и сказали бы имъ, что надо сдѣлать... онѣ бы рады... И даже, можетъ-быть, большія благодѣянія могли бы людямъ сдѣлать... Супругу ихъ мы не можемъ достаться, потому что онъ здѣшнихъ правъ не имѣетъ владѣть живыми людьми, но мы можемъ поступить послѣ ея смерти въ раздѣлъ ихъ дальнимъ родственникамъ, въ жестокія руки... Вы извините меня, что я, какъ рабъ, и притомъ смѣю такъ говорить; но ихъ племянники и племянницы пишутъ къ ихъ компаньонкѣ и къ іерею... и эти имъ отвѣчаютъ... Все это на нашу бѣду!.. Если бъ госпожа понимала, что можно сдѣлать, — онѣ бы сдѣлали... Онѣ теперь двухъ картофелинъ въ мундирахъ не докушиваютъ—одну ссылаютъ на подачку бѣдственнымъ... Я ихъ мнѣніе понимаю: они алкаютъ добродѣтели... и не умѣютъ... Онѣ сказали про васъ компаньонкѣ: «Какія это дамы пріѣхали? Говорятъ, добрыя... Ахъ, когда бы были на свѣтѣ гдѣ-нибудь добрые люди!.. Я даже не вѣрю: говорятъ—эти дамы всюду сами ходятъ и не боятся...

Зачѣмъ я такъ не могу?..» Ихъ, вѣдь, такъ воспитали и... графъ (мы ихъ супруга называемъ для ихъ удовольствія *графомъ*—они французъ)... графъ ихъ робковатъ и онъ имъ сказалъ, что надо опасаться голодныхъ людей, — и самъ уѣхалъ,—и княгиня все боятся, и затомили себя въ одной комнатѣ въ домѣ... Но если бы кто ихъ посѣтилъ, къ кому онѣ, какъ къ вамъ, расположились своею мечтою...

И старикъ вдругъ упалъ на колѣни, воздѣлъ руки вверхъ и зашепталъ придыханьемъ, рыдая:

— Рабыни Господни!.. Умилосердитесь... Разрушьте совѣтъ нечестивыхъ!.. Придите!.. Вложите ей мысль... Она вѣдь добра... Быть-можетъ, она завѣщаетъ отпустить насъ на волю!

А пока онъ рыдалъ и это высказывалъ, тетя и Гильдегарда переслались другъ съ другомъ своими говорящими глазами, и отвѣтъ ихъ былъ готовъ.

— Онъ есть тутъ лошадъ? — спросила Гильдегарда, касаясь своимъ пальцемъ до груди слуги.

Какъ квакерша, она никому не говорила «вы», и не желая говорить «ты» тѣмъ, съ кѣмъ это было неудобно, употребляла мѣстоименія въ третьемъ лицѣ, касаясь при этомъ рукою того человѣка, къ которому относились ея слова.

Кондитеръ былъ присланъ съ кучеромъ въ рессорной разсыльной телѣжкѣ, и когда Гильдегарда получила отвѣтъ, что есть на чемъ ѣхать, — она сейчасъ же встала и взяла со стола импровизированную шляпу, сшитую ей вчера тетею изъ сѣраго коленкора.

Тетя сказала ей одно только слово:

— Конечно!

Имъ было достаточно этого слова, чтобы понять въ немъ все, что̀ было нужно.

Но этотъ день, о которомъ я разсказываю, приводя къ концу мои воспоминанія о нашихъ домашнихъ событіяхъ при проводахъ голоднаго года,—былъ днемъ удивительныхъ сюрпризовъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Гильдегарда, уѣхавшая въ сумерки, *не* возвратилась къ ночи.

Для разстоянія въ четыре или въ пять верстъ, которое отдѣляло нашу деревушку отъ богатаго села Послова, было довольно времени, чтобы съѣздить въ два конца и имѣть достаточно времени для дѣлового разговора или для перваго знакомственнаго визита, къ избалованной и одичавшей

капризницѣ и недотрогѣ, какою всѣ и не безъ основанія считали «бывшую княгиню» Д*. Но Гильдегарда не возвращалась.

Отца это обезпокоило, и онъ хотѣлъ непремѣнно послать за ней свои дрожки въ Послово,—даже и maman находила это необходимымъ, но тетя настойчиво потребовала, чтобы этого не дѣлали.

Тетя сказала о Гильдегардѣ:

— Она безъ надобности нигдѣ тратить время не станетъ, а если она находитъ, что ей тамъ есть дѣло, то для чего ее отрывать оттуда *по нашимъ соображеніямъ*, когда она пошла туда по волѣ Бога?

Maman было непріятно, что тетя такъ безцеремонно думаетъ, будто ихъ туда и сюда посылаетъ Богъ.

Она это ей и сказала, конечно, съ смягчающей шуткой, но та ей отвѣтила совершенно серьезно:

— Я не возьму моихъ словъ назадъ: Богъ дѣйствительно посылаетъ туда и сюда всѣхъ тѣхъ, кто ищетъ вездѣ исполнить не свою волю, а послужить другимъ.

Тетя согласилась только на то, чтобы отецъ послалъ верхового—проѣхать до Послова и посмотрѣть: не случилось ли съ Гильдегардой и ея кондитеромъ что-нибудь въ дорогѣ? А негласно посланному велѣно было какъ-нибудь разузнать: отчего не возвращается англичанка?

Посланный скоро возвратился и привезъ извѣстіе, что путники доѣхали благополучно, и что англичанка у госпожи Д* и выходила съ ней на балконъ.

Тетя улыбнулась и сказала:

— Вотъ видите: она ее уже выводитъ на чистый воздухъ.

Утромъ Гильдегарда вернулась и сказала что-то тетѣ очень тихо,—въ отвѣтъ на что та покраснѣла и отвѣтила:

— Для чего ей это дѣлать? Я сама сейчасъ къ ней поѣду. Братъ! дай мнѣ лошадь въ Послово.

Такой оборотъ былъ неожиданъ и невѣроятенъ: эти двѣ женщины, соперничество которыхъ когда-то было такимъ непримиримымъ, что никто не могъ думать объ ихъ встрѣчѣ, шли нынче навстрѣчу другъ другу, и даже спѣшили одна другую предупредить въ этомъ движеніи!..

Для чего это имъ было нужно?

Но тетя уѣхала и цѣль ея поѣздки оставалась загадкою, а прежде чѣмъ она успѣла вернуться къ намъ, прискакалъ самъ на себя не похожій Алымовъ.

Онъ былъ блѣденъ, разстроенъ и растрепанъ, его кокъ упалъ и повисъ, галстукъ сбился на бокъ и венгерка разстегнута...

— А что̀ я вамъ говорилъ!—началъ онъ, входя въ залу и ни съ кѣмъ не здороваясь.

Отецъ посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— Я не помню, что̀ такое вы мнѣ говорили?

— Я говорилъ вамъ вчера... и вашей сестрѣ, что наши люди—это не люди, а это скоты!

— Ну, хорошо... я этого что-то не помню; но, впрочемъ, что жъ дальше?

— Моя яровая рожь вся тю-тю!

— Какъ?

— Тю-тю вся до послѣдняго зерна!

— Но вѣдь она была у васъ подъ замкомъ?

— Подъ большимъ американскимъ замкомъ, котораго невозможно ни отпереть безъ ключа, ни сбить, не разоривъ двери.

— Ну, и что же?

— Просверлили дыры въ доскахъ въ полу и все выпустили!

— Когда же это?

— Почему же я могу это знать! Меня всю зиму не было дома... А Кромсай, подлецъ, которому я, какъ вольному человѣку, поручалъ наблюдать и обѣщалъ дать ему за это теленка, говоритъ: «должно-быть, зимой помаленьку цѣдили». А куда же, спрашиваю, они ее дѣли? — «Должно-быть, говоритъ, слопали»... Ну, не скоты ли!.. Вѣдь она, говорю, была вонючая!.. я ее нарочно припоганилъ! «Такъ, говоритъ, поганковатую, вѣрно, и слопали». А чего «вѣрно», когда онъ самъ же, подлецъ, ее и лопалъ!

— Почему же вы это узнали?

Алымовъ закашлялся, покраснѣлъ и, вытащивъ изъ кармана венгерки мужичью трубку съ мѣдной крышкой, швырнулъ ее на столъ и закричалъ:

— Смотрите ее!.. Вотъ почему!.. Это его, подлеца, трубка... Не правда ли? ее подъ амбаромъ нашли... Онъ еще и всю усадьбу сжечь могъ. Я ихъ теперь всѣхъ, подлецовъ, разнесу... Я имъ сказалъ: «Я прямо поѣду къ исправнику и потребую сюда временное отдѣленіе земскаго суда... Пусть васъ всѣхъ заберутъ и заморятъ!..» А онъ еще, этотъ Кромсайка... вообразите, даетъ мнѣ въ родѣ родительскаго наставленія... «Погоди, — говоритъ, — ты еще младъ чело-

вѣкъ, тебѣ еще много вѣку надо на землѣ жить да радоваться... а ты себя укорочать хочешь... Это моя трубка, ничего что она моя... У меня ее, братъ, украли да тебѣ подкинули... Это все вороги... народъ воровской—шельмы... А ты ихъ не замай... прости... Богъ съ ними... Ты ужъ того, что̀ пропало, не воротишь, а потерпи—оно само вѣрнѣе въ другой оборотъ придетъ... А то укоротятъ тебѣ вѣку»... Вообразите, краснымъ пѣтухомъ меня пугать сталъ!.. «Спалятъ,—говоритъ,—дѣло сусѣдское: развѣ какому-нибудь жигуну огонька сунуть долго! У тебя постройка хозяйственная — весь дворъ въ кольцѣ — запылаетъ, и живой не выпрыгнешь». Стращать меня!.. Не правда ли? Но это неправда!.. Я не французъ изъ города Бордо... я не поѣду въ Африку львовъ стрѣлять, а сейчасъ прямо къ губернатору.

Отецъ сталъ его уговаривать и увелъ къ себѣ въ кабинетъ, потому что въ это время возвратилась тетя и отецъ не хотѣлъ ей показывать Алымова, положеніе котораго было и крайне смѣшно, и жалостно.

Впрочемъ, на этотъ разъ отецъ мой имѣлъ удачу: онъ успокоилъ майора и уговорилъ его побывать у губернатора, но не сильно жаловаться, и лучше простить мужиковъ, не разыскивая, кто изъ нихъ «полопалъ» припоганенную рожь.

Губернаторъ далъ ему тотъ же самый совѣтъ, которому Алымовъ и внялъ, и смилостивился надъ мужиками, — онъ «простилъ ихъ». А зато его Богъ простилъ и пропажа его «возвратилася другимъ оборотомъ»: дивный урожай, слѣдовавшій за голоднымъ сороковымъ годомъ,—обсѣменилъ его поля самосѣвомъ, и Алымовъ «сжалъ, гдѣ не сѣялъ».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Свиданіе же тети Полли съ бывшей княгиней Д*, вѣроятно, имѣло что-то неудобопередаваемое. Тетя вернулась домой въ сумерки, когда всѣ мы, дѣти, сидѣли вокругъ Гильдегарды Васильевны въ отведенной для нихъ комнатѣ. Англичанка показывала сестрѣ моей, какъ надо дѣлать «куадратный шнурокъ» на рогулькѣ и въ то же время разсказывала всѣмъ намъ по-французски «о несчастномъ Іудѣ изъ Керіота». Мы въ первый разъ слышали, что это былъ человѣкъ, который имѣлъ разнообразныя свойства: онъ любилъ свою родину, любилъ отеческій обрядъ и испытывалъ

страхъ, что все это можетъ погибнуть при перемѣнѣ понятій, и онъ сдѣлалъ ужасное дѣло, «предавъ кровь неповинную».

Въ это время въ комнату вошла тетя Полли и, сказавъ всѣмъ намъ общее привѣтное слово, опустилась на стоявшее въ углу кресло.

— Что жъ вы замолкли?—сказала она:—продолжайте говорить, о чемъ вы говорили.

Гильдегарда Васильевна мелькомъ взглянула на нее и продолжала объ Іудѣ, и закончила, что если бы онъ былъ безъ чувствъ, то онъ бы не убилъ себя, а жилъ бы какъ живутъ многіе, погубивши другого.

Тетя прошептала:—Правда.

Англичанка спустила паузу и сказала:

— Ты довольна собой или нѣтъ?

Тетя Полли хрустнула пальцами руки и отвѣчала:

— Не знаю, но... она такъ трогательна, она переноситъ на меня такія чувства, что мнѣ хочется плакать.

Въ голосѣ у нея въ самомъ дѣлѣ звучали слезы. Англичанка опять дала паузу и потомъ тихо сказала:

— Титанія...

Но тетя перебила скороговоркою:

— Ахъ, конечно, конечно!.. Титанія, доразсвѣтная Титанія, которая еще не видитъ, что она впотьмахъ цѣловала... осла!..

— Я этого не сказала,—замѣтила, смутясь, Гильдегарда.

— Ничего, мой другъ! Ничего! я знаю, ты не хочешь, чтобы я «предавалась воспоминаніямъ», ну, и карай меня!

Тетя ласково кинула на плечи англичанкѣ свои руки и сказала:

— Ты Петръ, и это значитъ: «камень»; и ты блаженна,— но прости насъ, грѣшныхъ!

И она, кажется, хотѣла спуститься и стать на колѣни, только Гильдегарда успѣла схватить ее подъ плечи и воскликнула:

— Полли! Полли! Неужели я тебя оскорбила!?

— Нѣтъ,—отвѣчала тетя:—мнѣ просто... хочется плакать.

Онѣ обнялись, и тетя два раза всхлипнула, потомъ утерла слезы и, улыбнувшись, сказала:

— Вотъ когда *аминь!*

Свиданіе это имѣло также и другія разнообразныя добрыя послѣдствія, изъ числа которыхъ два были очень замѣчательны. Первое состояло въ томъ, что больныхъ въ нашей мѣстности съ этихъ поръ уже не приходилось болѣе

класть на кострикѣ въ холодной ригѣ, потому что «бывшая княгиня» построила «для всей мѣстности» прекрасную больницу и обезпечила ее «на вѣчныя времена» достаточнымъ содержаніемъ; и второе: слезы кондитера, рыдавшаго и воздымавшаго руки къ «рабынямъ Господнимъ», были отерты: въ Пословѣ было написано завѣщаніе, дававшее послѣ смерти Д* «всѣмъ волю».

Это было величайшее событіе во всей губерніи, которая такого примѣра даже немножко испугалась.

А кромѣ того, въ день отъѣзда отъ насъ тети и Гильдегарды, «бывшая» Д* сама пріѣхала къ намъ, чтобы еще разъ видѣть обѣихъ этихъ женщинъ.

Я ее помню, эту «Титанію»,—какая она была «нетлѣнная и жалкая»: вся въ лиловомъ бархатномъ капотѣ на мягчайшемъ мѣхѣ шеншелà,—дробненькая, миніатюрная, съ крошечными руками, но припухлая, и на всѣхъ смотрѣла съ какимъ-то страхомъ и недовѣріемъ. Ея лицо имѣло выраженіе совы, которую вдругъ освѣтило солнце: ей было и непріятно, и больно, и въ то же время она чувствовала, что не можетъ теперь сморгнуть въ сторону.

Мнѣ показалось, что вотъ это и есть онъ самъ — воплощенный голодъ ума, сердца, чувствъ и всѣхъ понятій.

Тетѣ некогда было съ нею теперь заниматься, потому что, узнавъ объ ихъ отъѣздѣ, пришло множество больныхъ и всѣ ожидали у балкона, на которомъ тетя и Гильдегарда ихъ осматривали, обмывали и гдѣ было необходимо — дѣлали проколы и надрѣзы.

«Бывшую» Д* посадили въ кресло на этомъ же балконѣ. Она сама не хотѣла отсюда удалиться и смотрѣла съ величайшимъ вниманіемъ на все, что̀ дѣлала тетя, и наконецъ даже сама захотѣла принять хоть какое-нибудь непосредственное участіе и сказать человѣку хоть теплое слово.

Къ этому и представился поводъ въ томъ случаѣ, который особенно поразилъ вниманіе ея голоднаго ума.

Въ числѣ женщинъ, пришедшихъ съ больными дѣтьми, стояла баба неопредѣленныхъ лѣтъ, худая, съ почернѣвшей кожей; она была беременна и имѣла при себѣ трехъ дѣтей, изъ которыхъ двое тянулись за материну юбку, а третье безпомощно пищало у ея изможденной груди.

У всѣхъ дѣтей лица были въ красныхъ отмѣткахъ наружной болѣзни, которую въ крестьянствѣ называютъ «огникъ».

Это поразило даму, и она устремила на бабу пристальный взоръ и, не умѣя соразмѣрять голоса, сказала ей строго:

— Это зачѣмъ столько!?

— Что матушка?

— Зачѣмъ столько... дѣтей?

— Да вѣдь какъ же мнѣ быть-то? замужемъ я... сударынька!

— Ну, и что же такое!.. И я замужемъ... Дѣтей нѣтъ.

— Ваше дѣло иное, сударынька...

— Отчего дѣло иное? Пустяки!

— Какъ пустяки, болѣзная: вы живете въ такихъ-то широкихъ хоромахъ... Накось какое мѣсто... займаете... просторъ вамъ... разойдетесь и не сустрѣтитесь; а у насъ избы тѣсныя, все мы вмѣстяхъ да вмѣстяхъ...

— Ну, и не надо!

— Да не надо, а приключается.

Тутъ сразу и баба, и дама остановились, и тетя расхохоталась, а Гильдегарда сконфузилась. Тогда и «бывшая» Д* что-то поняла и, осмотрѣвъ бабу въ лорнетъ, проговорила:

— Savez-vous: elle est maigre, mais...

Дама вдругъ вздрогнула, нѣсколько разъ перекрестилась и прошептала:

— Retire-toi, Satan!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Прощаясь съ тетей, дама еще выкинула претрогательную штуку, которая была бы въ состояніи очень сконфузить тетю, если бы та не была находчива.

Когда тетя простилась и съ этою дамою, и со всѣми нами, и перецѣловала всѣхъ окружавшихъ ее дворовыхъ женщинъ и горничныхъ дѣвушекъ, и уже занесла ногу на спускную ступеньку коляски, — «бывшая» Д* ринулась къ ней, какъ дитя къ страстно-любимой нянькѣ, и закричала:

— Arrêtez! Arrêtez!

— Что̀ вамъ угодно, princesse?

— Вотъ именно... вотъ и объ этомъ... Если можно... я могу буду вамъ это отдать?

Она держала вынутый изъ кармана капота конвертъ.

— Что̀ это такое?

— Мой testament... я всѣхъ на волю.

— Ахъ, это надо послать въ опекунскій совѣтъ!

— Да, вотъ, ужъ это именно вы... Я боюсь сдѣлать именно такъ, какъ не надо.

Тетя взяла конвертъ.

— И еще... мнѣ скажите,—проговорила и запнулась Д*:— что я могу буду или нѣтъ къ вамъ написать?

— Пожалуйста!

— И вы мнѣ будетъ писать отвѣтъ?

— Непремѣнно!

— Тогда... еще одно... Я могу буду васъ попросить...

— Все, что̀ угодно.

— Не пишите мнѣ princesse, а... напишите мнѣ...

— Просто ваше имя?

— Нѣтъ!.. напишите мнѣ просто: *ты!*

Тетѣ, вѣроятно, показалось, что она ослышалась, и она недоумѣло и тихо спросила:

— Что?

А та ей робко и краснѣя прошептала: — «ты»! я хочу: «*ты*»!

Тогда тетя вдругъ вся вспыхнула, нагнулась къ ней, поцѣловала ее и сказала ей твердо и громко:

— Хорошо: я *тебѣ* напишу «ты» и буду о *тебѣ* думать съ любовью, которой «ты» сто̀ишь.

Тутъ и произошло для финала нѣчто смутившее тетю, потому что бывшая ея соперница и «бывшая» Д* вдругъ сжала въ своихъ рукахъ и поцѣловала *ея руку!..*

Но тетя Полли, я говорю, была находчива: она успѣла взять обѣ ея руки и обѣ ихъ поцѣловала, и сказала:

— Будь счастлива—и прощай, а то я, пожалуй, при всѣхъ разревусь здѣсь, какъ дура!

. . . . . .

Подозрѣвали тогда, что въ мозгу Д* въ это время была уже такая путаница, что она не узнавала въ тетѣ Полли лицо, нѣкогда ее сильно уязвившее; но это была неправда. Компаньонка этой дамы разсказывала, что, сдѣлавъ знакомство съ тетею, Д* постоянно ею бредила и искала случая говорить о ней, и всякій разговоръ заключала словами:

— Что жъ... ее вѣдь не любить нельзя... Я *его* понимаю... Нельзя!..

А когда Д* вскорѣ послѣ этого умерла, то въ мелкихъ вещахъ, завѣщанныхъ ею разнымъ лицамъ, нашли конвертикъ, ею самою надписанный на имя тети Полли. Онъ былъ

тщательно-претщательно обвязанъ шелковымъ шнурочкомъ и припечатанъ два раза, и въ немъ оказался миніатюрный портретъ «робковатаго» стрѣлка львовъ, за котораго онѣ когда-то взаимно ненавидѣли другъ друга, и потомъ, вѣроятно, обѣ почувствовали, что ненавидѣть другъ друга ни за что на свѣтѣ—не стòитъ!

Чувствительные люди, которымъ сдѣлалось извѣстно объ этомъ подаркѣ, были этимъ очень тронуты, и поняли дѣло такъ, что миніатюра подарена тетѣ Полли, безъ сомнѣнія, съ тѣмъ, чтобы она перешла княжнѣ Валѣ, которая приходилась слишкомъ сродни тому, чьи черты передавала миніатюра; но тетя какъ-то всю эту тонкость проманкировала и о миніатюрѣ не осталось ни памяти, ни слѣда.

Эта Титанія, очевидно, уже не придавала никакого значенія миніатюрамъ прошлыхъ увлеченій, которыя померкли въ лучахъ озарившаго ее великаго Солнца Любви, свѣтящаго въ вѣчность...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Голодный годъ прошелъ: злаки взошли, и люди, и животныя стали сыты. Хлѣбъ созрѣлъ необыкновенно рано. Въ половинѣ іюня мужики уже парили въ горшкахъ рожь и ѣли ее немолотую, а къ Петрову дню пекли «новый хлѣбъ».

Петровъ день—это былъ «нашъ престолъ» и «нашъ праздникъ». Духовенство обходило съ образами приходъ, пѣло молебны и собирало «новину». На улицѣ опять «шла гульба», было «сыто и пьяно»; высоко «подмахивали качели», и молодые люди, стѣной наступая другъ на друга, пѣли: «А мы просо сѣяли!» А другіе отвѣчали: «А мы просо вытопчемъ. Ой, дидъ Ладо, вытопчемъ!» А за ручьемъ на косогорѣ, гдѣ былъ кабакъ, разливало: «Наваримте, братцы, пива молодого»...

Пошла опять знакомая струя, но эти звуки, долетавшіе въ нашу дѣтскую, мнѣ уже не были милы. Я уже разсуждалъ, чтò это за «дидъ», чтò за «Ладо»? Зачѣмъ одни хотятъ «вытоптать» то, что «посѣяли» другіе? Я былъ тронутъ съ стараго мѣста... Я ощущалъ *голодъ* ума и мнѣ были милы тѣ звуки, которые я слышалъ, когда тетя и Гильдегарда пѣли, глядя на звѣздное небо, давшее имъ «зрѣніе», при которомъ можно все простить и все въ себѣ и въ другихъ успокоить.

О „КВАКЕРЕЯХЪ“.

(Post-scriptum къ «Юдоли».)

«Honny soit qui mal y pense».

Мои ретроспективные разсказы, напечатанные подъ заглавіемъ «*Юдоль*», вызвали у нѣкоторыхъ лицъ недоумѣнія: нѣкоторымъ изъ читателей показалось странно, откуда взялась квакерша въ русскомъ домѣ 30 — 40-хъ годовъ?! Этимъ читателямъ помнится, что тогда въ дворянскую жизнь скорѣе врѣзывалось романтическое вѣяніе римскаго католичества, къ которому покровительственно относились оберъ-прокуроръ синода кн. Голицынъ и другія вліятельныя особы тогдашней поры, но что тогда, будто бы, отнюдь неизвѣстно было «суровое — квакерское, религіозное резонерство». А потому упомянутымъ читателямъ думается, что эпизодъ съ выведенной у меня квакершей Гильдегардой какъ будто бы не подходитъ къ тому времени и отдаетъ свѣтомъ иной, позднѣйшей поры, наступившей послѣ появленія въ русскомъ обществѣ англичанина, лорда Редстока. При чемъ мнѣ дѣлаютъ указанія на сочиненія протоіерея Михаила Як. Морошкина и гр. Дм. Андр. Толстого о іезуитахъ, а также и на то, что писали о Редстокѣ кн. Мещерскій и другіе, «совоспитанные ему». Нѣкто же, болѣе прочихъ увѣренный въ основательности своихъ свѣдѣній по исторіи «постороннихъ религіозныхъ вліяній», утверждаетъ, будто «квакеровъ даже и не видали въ Россіи до нынѣшняго (1892) года, когда они прибыли сюда

подъ именемъ *Друзей* и привезли въ Россію денежную помощь для голодныхъ».

Такія замѣчанія очень многозначительны для писателя, и на всѣ эти, съ разныхъ сторонъ доходящія до меня замѣчанія я считаю необходимостью дать читателямъ моихъ воспоминаній объясненіе.

Вначалѣ скажу, что я, конечно, читалъ и знаю, что писали о католичествѣ въ Россіи протоіерей Морошкинъ и графъ Дм. Толстой, а о Редстокѣ есть книга, написанная мною самимъ, и за свѣдѣніями объ этомъ англичанинѣ мнѣ нѣтъ никакой надобности обращаться къ сочиненіямъ кн. Мещерскаго,—а затѣмъ перехожу къ объясненіямъ по самому существу выраженныхъ «недоумѣній».

Совершенно справедливо и въ историческихъ изысканіяхъ послѣдняго времени съ достовѣрностью доказано, что въ тридцатыхъ годахъ среди русской знати имѣло значительный успѣхъ стороннее вліяніе римскаго католичества, а не протестантство, но это отнюдь не доказываетъ, что тогда совсѣмъ не имѣли участія въ русской жизни и другія религіозныя вѣянія, исходившія отъ людей, извѣстныхъ подъ общимъ наименованіемъ «піетистовъ» (отъ pietas—благочестіе), въ числѣ которыхъ были и *квакеры*.

Такъ какъ въ «Юдоли» я сообщаю воспоминанія, касающіяся только моего родственнаго круга, то для оправданія себя лично я почелъ бы достаточнымъ сказать, что по отношенію къ протестантамъ мы въ своемъ родственномъ кругу были въ особливыхъ, сближающихъ условіяхъ, такъ какъ одна изъ моихъ тетокъ была замужемъ за англичаниномъ, и всѣ мы (тогдашняя молодежь) выросли въ уваженіи къ вѣрованіямъ и благочестію родственнаго намъ англійскаго семейства, въ которомъ наши старшіе нерѣдко ставили намъ, молодымъ, на видъ образцы дѣятельной христіанской жизни, послужившіе намъ во многомъ примѣрами. Мнѣ кажется, одной этой ссылки было бы довольно, чтобы читателю стало ясно, какъ въ семью нашу проникалъ немножко духъ англійской религіозности, и почему живая душа тети Полли послѣ своихъ хромыхъ движеній туда и сюда—на оба колѣна — нашла облегченіе и попутный ходъ къ свѣту въ содружествѣ такой женщины, какъ описанная мною молодая и очень красивая квакерша Гильдегарда Ва-

спльевна, которую тетя Полли встрѣтила случайно, быстро ее поняла и оцѣнила, а потомъ страстно къ ней привязалась и часто называла ее своею «крестною матерью», хотя безъ всякаго сомнѣнія Гильдегарда надъ моею тетушкою воднаго крещенія не повторяла.

Московскіе старожилы, которымъ сколько-нибудь памятно англійское населеніе «Шкотовскаго дома» въ Леонтьевскомъ переулкѣ, конечно знаютъ, что тамъ, въ этомъ старомъ домѣ, пока онъ принадлежалъ г-жѣ Шкотъ (мачихѣ мужа моей тетки), всегда былъ выборъ англичанокъ, занимавшихъ мѣста воспитательницъ. И это всегда были особы нравственныя, иногда очень образованныя и всегда строго религіозныя.

Отсюда онѣ разъѣзжались «на мѣста» по Россіи, и по преимуществу въ тѣ губерніи, гдѣ четыре сына «стараго Шкота» (Якова Яковлевича) занимались управленіемъ большими помѣщичьими *имѣніями* Нарышкиныхъ и Перовскихъ.

Сосѣди просили ихъ рекомендовать «англичанокъ» *благонадежныхъ* и получали какъ разъ такихъ, какихъ просили.

Изъ этихъ воспитательницъ очень многія «приросли» къ своимъ воспитанницамъ и остались друзьями ихъ *на всю жизнь*. А между ними бывали и методистки, и квакерки. Ни рекомендатели, ни наниматели въ этомъ никакой разницы не полагали *).

---

*) Теперь мнѣ приходитъ на память одинъ не важный, но характерный случай, дополняющій картину отношеній родственниковъ моихъ къ квакерскимъ женщинамъ. Изъ числа моихъ двоюродныхъ братьевъ одинъ овдовѣлъ въ очень молодыхъ годахъ и у него осталось трое дѣтей, съ которыми онъ не зналъ какъ управиться, и очень тосковалъ по своей прекрасной скончавшейся женѣ. Тетка наша, бывшая за англичаниномъ, очень сожалѣла этого своего племянника, но раздѣляла его опасенія, что жениться во второй разъ очень рискованно, ибо первобрачнымъ дѣтямъ при мачихѣ будетъ худо. Они перебирали на совѣтѣ множество извѣстныхъ имъ дѣвушекъ и все находили, что «ненадежно» и «страшно»: жена можетъ выйти изрядная, а для того, чтобы вышла добрая мачиха,—ни одна этому не отвѣчала. Тогда тетка и сказала племяннику: «Развѣ вотъ что: если ты дѣйствительно честный человѣкъ и хочешь жениться для счастья семьи, а не для одной своей утѣхи, то поѣзжай въ Англію, найди тамъ себѣ расположеніе въ квакерской семьѣ и *женись на квакеркѣ*. Онѣ умѣютъ приводить миръ въ домъ». Родственникъ нашъ такъ и сдѣлалъ,—онъ уѣхалъ въ Шотландію на цѣлый годъ и возвратился оттуда съ молодою женою, которая въ первый же день своего пріѣзда въ домъ мужа собственноручно вымыла babysoap'омъ уши его дѣтямъ и повела ихъ такъ, что ничьи глупыя наученія не по-

Слѣдовательно, квакеркѣ придти въ орловское дворянское семейство тогда было очень просто, и она для этого не имѣла надобности прибѣгать ни къ какимъ хитростямъ. На этомъ, я думаю, можно бы и кончить, ибо ясно, что въ нашъ родственный кругъ было откуда придти квакершѣ; но такимъ образомъ выяснился бы только частный случай, касающійся нашего родства; да и въ томъ читатель долженъ бы былъ принимать мои слова на-вѣру,—чего я не желаю. А я хочу и долженъ основательно удостовѣрить читателя, что квакеры впервые появились въ Россіи не въ 1892 году, «съ пособіемъ», а что они были здѣсь гораздо ранѣе, не только «до Редстока», но даже и до нашего рожденія,—и что присутствіе ихъ (мужчинъ и женщинъ, и даже *особенно женщинъ)* у насъ тогда уже очень чувствовалось и даже вызывало правительственныя мѣры. Къ этому теперь и прошу вниманія.

Я не знаю, по какому случаю въ Сибирь были сосланы изъ Россіи «послѣдователи квакерской ереси: квакеры и квакереи» (sic), но въ числѣ нѣсколькихъ бумагъ о «сибирской старинѣ», подаренныхъ мнѣ покойнымъ сибирскимъ уроженцемъ,—извѣстнымъ золотопромышленникомъ и русскимъ генералъ-маіоромъ Веніаминомъ Ивановичемъ Асташевымъ, есть обстоятельная записка именно «о квакереяхъ» (т.-е. женщинахъ), и въ этой интересной запискѣ, составленной со ссылками на года и на лица, значится слѣдующее:

мѣшали ей овладѣть ихъ почтеніемъ и любовью. А когда это такъ пошло, то другой братъ этого родственника, холостой, тоже пожелалъ жениться на англичанкѣ и притомъ на такой, которую ему посовѣтуетъ взять свояченица. Та это обдумала и исполнила: она дала ему письмо въ свою родную семью, гдѣ онъ нашелъ себѣ суженую въ младшей сестрѣ жены своего брата, и не избѣгъ этой судьбы: онъ женился на ней и остался навсегда въ Англіи, въ семьѣ престарѣлаго тестя своего, а свое имѣніе въ Россіи передалъ брату и съ нимъ разсчитался. Не возвращался онъ въ Россію, какъ говорили, потому, что здѣсь бракъ двухъ братьевъ съ двумя сестрами могъ быть признанъ незаконнымъ, а также и потому, что очень полюбилъ семейство жены и не хотѣлъ огорчать ее разлукою съ ея отцомъ. Итакъ, этотъ нашъ чистосердечный родственникъ съ очень милою, поэтическою натурою навсегда отчуждился отъ родины и мы его совсѣмъ потеряли изъ вида, но слыхали, что онъ пользовался въ общинѣ прекрасною репутаціею и видѣлъ на себѣ и на семьѣ своей «благословеніе Божіе», — что по ихъ манерѣ выражаться замѣняетъ понятіе, усвояемое словомъ: онъ «былъ счастливъ».

«*Квакереями* въ преданіяхъ томскихъ старожиловъ называются *послѣдовательницы квакерской ереси*, сосланныя въ томскій дѣвичь-монастырь, въ послушаніе и тяжкія монастырскія работы. Колодницы эти, числомъ двадцать двѣ, *имѣли большое вліяніе на религіозныя понятія тогдашнихъ томскихъ обывателей*. «Осужденныя за богомерзкую ересь, эти женщины прибыли въ томскій дѣвичь-монастырь въ 1744 году и оставались въ немъ даже и тогда, когда самый монастырь былъ уже упраздненъ и церковь его обращена въ приходскую. О нихъ въ памяти томскихъ старожиловъ сохраняется много «разнообразныхъ преданій». Преданія эти довольно обширны и излагать ихъ въ подробностяхъ для нашей цѣли нѣтъ надобности, но изъ всѣхъ изъ нихъ вытекаетъ прямой выводъ, что въ Сибири о «квакереяхъ» знали и сначала судили о нихъ различно, — кто хорошо, а кто худо: одни почитали «квакерей» за добрыхъ, благочестивыхъ женщинъ и относились къ нимъ съ большимъ уваженіемъ, а другіе видѣли въ нихъ вредныхъ «еретицъ» и пренебрегали ими. Эти послѣдніе обходились съ квакереями недружелюбно и желали вызывать противъ нихъ общее недовѣріе и строгости. Авторъ Асташевской записки (духовное лицо одной изъ сибирскихъ епархій), на основаніи извѣстныхъ ему соображеній, предполагаетъ, что не всѣ 22 томскія колодницы содержали квакерскую ересь, и что между ними были и другія сектантки: но во мнѣніи томскихъ обывателей всѣ онѣ неправильно почитались подъ одну стать «квакереями». Изъ нихъ, по разсказу этого очень обстоятельно освѣдомленнаго автора, особенно извѣстна была нѣкая «*матерая Надёжа Григорьевна*». По описанію, это была очень дородная женщина, «огромнаго роста», которая прославилась «благочестивою жизнью», и томскіе любители благочестія ходили къ ней молиться и «совѣтоваться въ семейныхъ дѣлахъ, а особенно въ горестяхъ»; а по сосѣдству съ «матерою Надёжею Григорьевною» жилъ ея братъ «и другія *квакери*», прожившія въ Томскѣ болѣе пятидесяти лѣтъ и оставившія по себѣ воспитанниковъ, подобныхъ по духу самой Надёжѣ Григорьевнѣ» *). Но въ чемъ

*) О братѣ Надёжи Григорьевны нѣтъ объясненія: былъ ли и онъ тоже квакеръ, и были ли съ нимъ сосланы тоже другія лица мужескаго пола, или онъ одинъ попалъ сюда при сестрѣ и другихъ квакереяхъ.

именно и какъ выражался духъ «матерой квакереи Надѣжи Григорьевны»—авторъ записки не разъясняетъ, но зато въ запискѣ встрѣчается отдѣльное упоминаніе о другой квакереѣ, по имени Маріи Матасовой, при которой значится, что̀ ей ставили въ вину. Изъ отмѣтки о Матасовой видно, что въ 1826 году священникъ томскаго Благовѣщенскаго собора, Никифоръ Большанинъ, сдѣлалъ въ томское духовное правленіе «доносъ», въ которомъ притомъ прописалъ и общую характеристику дѣятельности «квакерей» (Указъ тобольской консисторіи 1826 г., за № 3067). Изъ доноса видно, что названный сибирскій духовный, надо полагать, имѣлъ что-то непріязненное противъ священника того монастыря, въ которомъ были заключены квакереи, и сочинилъ доносъ такъ, что значительная тягость помѣщенныхъ въ немъ обвиненій падала на монастырское духовенство. Соборный священникъ Большанинъ писалъ, что «хитрыя квакереи учили своихъ почитателей строго соблюдать всѣ внѣшніе обряды православія, казаться наружно православными и *задабривать, сколько возможно, приходскихъ священниковъ*, чтобы они не имѣли на нихъ никакого подозрѣнія. Эти наставленія онѣ прежде всего исполняли сами, и въ глазахъ своихъ монастырскихъ священниковъ *въ теченіе сорока лѣтъ казались строго православными*, такъ что эти священники, обязанные ежегодно доносить объ ихъ поведеніи, постоянно отзывались, что *присланныя квакерской ереси растриги-дѣвки житіемъ пребываютъ исправно и вѣру христіанскую содержатъ во всемъ, какъ христіанская должность повелѣваетъ:* до церкви святой для слушанія славословія Божія всегда ходятъ нелѣностно, у исповѣди и св. причастія бываютъ, иныя по дважды, а другія по вся посты неотмѣнно, и *прежняго за ними злодѣйства нынѣ не оказывается*» («Репорты священника Шихова 1760 г. и Дулѣпова 1775 г.»).

Изъ вышесказаннаго ясно видно, что священники, которые должны были умѣть различать духъ ересей, разумѣли «присланныхъ» за послѣдовательницъ «квакерской ереси» и исправляли ихъ отъ «прежняго злодѣйства», которое, безъ сомнѣнія, заключалось въ квакерскомъ понятіи объ обрядахъ, о власти и о прочемъ, что̀ отличаетъ религіозныя мнѣнія этихъ людей, ставящихъ выше всего личное духовное возрожденіе.

Такимъ образомъ записка, сохранившаяся въ бумагахъ извѣстнаго сибиряка, генерала Асташева, даетъ несомнѣнное удостовѣреніе, что «квакереи» у насъ дѣйствительно *были*, а далѣе,—эта же записка представляетъ и любопытныя свѣдѣнія о томъ, какъ эти квакереи дожили вѣкъ свой въ Томскѣ.

Настоятель томскаго мужского монастыря, архимандритъ Лаврентій, въ «промеморіи», поданной имъ посѣтившему Сибирь исторіографу Миллеру, объяснилъ, что въ дѣвичьемъ монастырѣ, въ которомъ жили присланныя двадцать двѣ дѣвки-квакереи, «положеніе бѣдственное: церковь одна, деревянная и весьма ветхая, та такова-жъ и ограда, келій шесть—вси ветхія; вкладчиковъ, служителей и крестьянъ нѣтъ и земель и угодій не имѣется». А послѣ архимандрита Лаврентія самъ причтъ монастыря, гдѣ томились квакереи, жаловался митрополиту Сильвестру, что у нихъ церковь уже «въ развалинахъ», «въ монастырѣ монахинь нѣтъ, а ссыльныя растриги *дѣвки-квакереи живутъ на мірскомъ подаяніи»* *).

---

*) Хотя и нѣтъ никакой причины сомнѣваться въ справедливости объясненій, поданныхъ причтомъ митрополиту о томъ, что «квакереи живутъ мірскимъ подаяніемъ», но есть, однако, данныя, по которымъ можно предполагать, что и въ старости своей «квакереи» искали средствъ жить трудами рукъ своихъ и дѣлали что̀ могли и что̀ умѣли. Въ числѣ тѣхъ же самыхъ бумагъ, подаренныхъ мнѣ покойнымъ генераломъ Асташевымъ, есть разрозненные листки приходныхъ и расходныхъ тетрадей, изъ которыхъ видно, что старушки жили какъ-будто общиною,—сообща покупали писчую бумагу, свѣчи, чернила и краски и «писали заказы», т.-е. занимались *списываніемъ книгъ*, за что получали плату и вносили ее общею статьею на приходѣ. Такъ же общимъ расходомъ показываны издержки на крупу, соль, масло, холстину и проч. обиходныя вещи. Есть у меня и три листка ихъ письменныхъ работъ, совершенно схожихъ съ такими же работами инокинь старовѣрческихъ скитовъ. Письмо мелкимъ и очень красивымъ полууставомъ, и очень красивыя заставицы съ пестрою орнаментовкою, раздѣланной лазорѐмъ, киноварью и золотомъ, и въ коймахъ цвѣты, птицы и травы со тщаніемъ. На одномъ листкѣ поздравительное письмо къ благодѣтельницѣ, на другомъ—отрывокъ какого-то «утѣшенія», а третій—самаго изящнаго письма и тонкаго, красиваго рисунка съ золотомъ — «Стишокъ» или «пѣснь»,—весьма милая и особенно трогательная по положенію трудившихся надъ ея воспроизведеніемъ. Это «пѣснь къ *душѣ*», начинающаяся словами:

Авторъ записки, дошедшей до насъ черезъ руки генерала Асташева, доискивался и того, кто были эти томскія квакереи, и пришелъ къ убѣжденію, что «это были *раскольницы, приставшія къ немногимъ подлиннымъ русскимъ квакерамъ*».

Слѣдовательно, квакеры и «квакереи» были извѣстны отцамъ нашимъ.

Любопытная судьба сосланныхъ въ Сибирь квакерей, по запискѣ, дошедшей отъ генерала Асташева, кончилась тѣмъ, что двадцать изъ нихъ перемерли до 1784 года, но двѣ—Марія Дмитріевна и Анна Васильевна — жили очень долго, и когда монастырь развалился, онѣ сдѣлались предметомъ немалыхъ заботъ для начальства. Явился вопросъ о томъ, куда ихъ пристроить. «По закрытіи томскаго монастыря», который совсѣмъ обѣднялъ и разрушился, до того, что жить въ немъ стало невозможно, — квакерей Марью Дмитрову и Анну Васильеву «слѣдовало перевесть въ енисейскій монастырь». Почему опять это такъ «слѣдовало»— изъ записки не видно, но видно, что тутъ вздумали посмотрѣть на этихъ двухъ остальныхъ квакерей: каковы онѣ были въ это время, и тутъ увидали, что время ихъ не пощадило, и что онѣ уже такъ слабы и ветхи, что ихъ совсѣмъ «нельзя переводить», и «того ради» ихъ тогда рѣшились подвести подъ манифестъ «къ освобожденію изъ содержанія». Объ этомъ началась новая переписка и «продолжалась годъ», а въ апрѣлѣ 1784 года послѣдовало распоряженіе: «такъ какъ колодницы-квакереи Марія Дмитрова и Анна Васильева находятся въ Сибири чрезъ 39 лѣтъ, и *весьма престарѣлыя*, и черезъ такіе многіе годы отъ нихъ противности церкви святой не оказывается, то по старости ихъ, не переводя изъ онаго мѣста по отдаленности въ содержаніе, въ енисейскій штатный дѣвичь

«Душа моя—странница,
Не здѣшняго міра ты,
Къ чему прилѣпляешься
И чѣмъ очаруешься?
Ты птичка залетная,
Пурхая (sic) по радостямъ,
Пришла въ дебри страшныя,
Невѣдѣнья дикаго».

монастырь, оставить по смерть ихъ при той же въ городѣ Томскѣ церкви (гдѣ былъ монастырь), при коей онѣ нынѣ находятся *на мірскомъ подаяніи, подъ смотрѣніемъ духовнаго правленія, и приходскаго священника, и тамошняго городничаго*, а впередъ ихъ въ числѣ колодниковъ уже не показывать».

О смерти этихъ двухъ послѣднихъ изъ «квакерей» въ запискѣ, дошедшей ко мнѣ отъ генерала Асташева, ничего не сказано, но надо думать, что старушки-квакереи и въ послѣдніе свои дни на землѣ никакихъ «противностей» и «злодѣйствъ» не оказали и ничѣмъ не испортили той доброй репутаціи, послѣдствіемъ которой было распоряженіе не посылать ихъ въ Енисейскъ, а оставить умереть тамъ, гдѣ онѣ прожили 40 лѣтъ, не причиня никакого вреда никакимъ людямъ.

Такого же духа была и «сердечный другъ» тети Полли— англичанка Гильдегарда.

Да будетъ легка какъ пухъ надъ ихъ костьми земля русская и—«*Honny soit qui mal y pense*».

Лѣто 1892 г.

Мерекюль.

ПУСТОПЛЯСЫ.

СВЯТОЧНЫЙ РАЗСКАЗЪ.

На одномъ дорожномъ ночлегѣ по старому тракту сбилось такъ много людей, что всѣ мѣста въ просторной избѣ были заняты. Случились тутъ люди и конные, и пѣшіе, и швецы, и жнецы, и удалые разносчики, и чернорабочіе, которые ходили дорогу чистить. На дворѣ было студено и всѣ, съ надворья входя, лѣзли погрѣться у припечка, а потомъ раскладывались, гдѣ кто мѣсто засталъ, и начали разговаривать. Сначала поболтали про такія дѣла, какъ неурожай да подати, а потомъ дошли и до «судьбы божества». Стали говорить — отчего это Богъ Іосифу за семь лѣтъ открылъ, что въ Египтѣ «неурожай сойдетъ», а вотъ теперь такъ не дѣлаетъ: теперь живутъ люди и бѣды надъ собою не ожидаютъ, а она тутъ и вотъ она! И начали говорить объ этомъ всякій по-своему, но только одинъ кто-то съ печки откликнулся и сразу всѣхъ занялъ; онъ такъ сказалъ:

— А вы думаете, что если бы намъ было явлено, когда бѣда придетъ, такъ развѣ бы мы отвели бѣду?

— А разумѣется.

— Ну, напрасно! Мало, что ли, у всѣхъ въ виду самаго яснаго, чего отвести надо, а однако не отводимъ.

— А что, напримѣръ?

— Да вотъ, напримѣръ, чего еще яснѣй того, что бѣдныхъ и несчастныхъ людей есть великое множество, и что пока ихъ такъ много, до тѣхъ поръ никому спокойно жить нельзя; а вѣдь вотъ про это никто и не думаетъ.

— Вотъ то-то и есть! А если бъ предвѣщеніе объ этомъ было—небось бы поправились.

А тотъ съ печи отвѣчаетъ:

— Ничего бъ не поправились: не въ предвѣщеніи дѣло, а въ хорошемъ разумѣ. А разума-то и не слушаютъ; ну, а какъ предвѣщенія придутъ, такъ они не обрадуютъ.

Его и стали просить разсказать про какой-нибудь такой примѣръ предвѣщенія, и онъ началъ сразу сказывать.

— Я вѣдь уже старикъ, мнѣ седьмой десятокъ идетъ. Первый большой голодъ я помню за шесть лѣтъ передъ тѣмъ, какъ наши на венгра шли, и вышла тогда у насъ въ селѣ удивительность.

Тутъ его перебили излишнимъ вопросомъ: откуда онъ?

Разсказчикъ быстро, но нехотя оторвалъ:

— Изъ села Пустоплясова. Знаешь, что-ль?

— И не слышали.

— Ну, такъ услышишь, что у насъ въ Пустоплясахъ случилось-то; смотри, чтобы и у васъ въ своемъ селѣ чего-нибудь на такой манеръ не состроилось. А теперь помолчите, пока я докончу вамъ: моя сказка не длинная.

Стало въ томъ у насъ удивительно, что вокругъ насъ у всѣхъ хлѣба совсѣмъ не родило, а у насъ поле какъ-то такъ островкомъ вышло задачное,—урожай Богъ далъ средственный. Люди плачутъ, а мы Бога благодаримъ, — говоримъ: слава тебѣ, Господи! А что намъ отъ сосѣдей тѣснота придетъ, о томъ понимать не хочемъ. А сосѣди намъ всѣ завидуютъ; такъ и говорятъ про насъ: «Божьи любимчики: мы у Господа въ наказаніи, а вы въ милости». «И какимъ-де вы святителямъ молились и которымъ чудотворцамъ обѣщались?» А наши ужъ и чванятся, что въ самомъ дѣлѣ они въ любови у Господа: убираемъ, жнемъ, копны домой возимъ и снопы на овины сажаемъ да на токахъ молотимъ... Такая трескотня идетъ, что люба-два! И сейчасъ послѣ этого сряду пошло баловство: накололи убоины, свезли попамъ новины, наварили бражки, а потомъ мужики норовятъ винца попить, а бабы съ утра затѣваютъ: «аль натирушковъ натирить! аль лепешечекъ спечь!» И ѣдимъ да пьемъ во вредъ себѣ больше, чѣмъ надобно. По другимъ деревнямъ вокругъ мякиною и жмыхомъ давятся, а мы въ утѣху себѣ говоримъ: вѣдь мы не

причинны въ томъ, что у другихъ голодно. Мы вѣдь имъ вреда на поляхъ не дѣлали и даже вмѣстѣ съ ними по веснѣ на поляхъ молитвовали, а вотъ нашу молитву Господь услыхалъ и намъ урожай сослалъ, а имъ не пожаловалъ. Все въ Его волѣ: Господь праведенъ; а мы своихъ сосѣдовъ не покидаемъ и передъ ними не горжаемся: мы имъ помогаемъ кусочками. А сосѣди-то къ намъ и взаправду повадились кажиденъ да и безперечь, и все идутъ да идутъ и что̀ дальше, то больше, и стали они намъ очень надокучисты. Такъ пришло, что не токмо не кажись на улицѣ, а и въ избѣ-то стало посидѣть нельзя, потому что слышно, какъ все тянутъ голодные свою скорбинку: «Б-о-ж-ь-и л-ю-б-и-м-ч-и-к-и! сотворите святую милостыньку Христа ради!» Ну, разъ дашь, и два дашь, а потомъ ужъ дальше постучишь въ окно да скажешь: «Богъ подастъ, милые! Не прогнѣвайся!» Что же дѣлать-то! Хорошо, что мы «Божьи любимчики», а имъ хоть и пять ковригъ изрѣжь, ихъ все равно не накормишь всѣхъ! А когда отошлешь его отъ окошка, — другая бѣда: самому стыдно дѣлается себѣ хлѣбъ рѣзать... То-есть ясно, какъ не надо яснѣе, Господь тебѣ въ сердце кладетъ, что надо не отсылать, а надо иначе сдѣлать, а пока чего должно не сдѣлаешь — нельзя и надѣяться жить во спокойствіи.

И надо бы, кажется, это понять, а вотъ, однако, не поняли; тогда и превозвѣстникъ пришелъ,—его прогнали.

Тутъ по избѣ шопоткомъ пронеслось:

— Слушайте, братцы, слушайте!

Запечный гость продолжалъ:

— Такъ доняли насъ голодные сосѣди, что намъ совсѣмъ стало жить нельзя, а какъ помочь бѣдѣ—не вѣдаемъ. А у насъ лѣсникъ былъ Ѳедосъ Ивановъ, большой грамотникъ и умѣлъ хорошо всѣ дѣла разбирать. Онъ и сталъ говорить:

— А вѣдь это не хорошо, братцы, что мы живемъ какъ безчувственные! Что ни суди, а живемъ мы всѣ при жестокости: бѣдственнымъ людямъ норовимъ корочку бросить,—нешто это добродѣтель есть? — а сами для себя все вѣдь съ затѣями: то лепешечекъ намъ, то натирушковъ. Ахъ, не такъ-то совсѣмъ бы надо по-Божьи жить! Ахъ, по-Божьи-то надо бы намъ жить теперь въ строгости, чтобы себѣ какъ можно меньше известь, а больше дать бѣдствен-

нымъ. Тогда, можетъ-быть, легкость бы въ душѣ освѣтилася, а то прямо сказать — продыханья нѣтъ! Въ безразсудкѣ-то омраченіе, а чуть станешь думать и въ свѣтъ себя приводить—такое предстанетъ терзательство, что не знаешь, гдѣ легче мучиться, и готовъ молить: убей меня, Господи, отъ разу!

Ѳедосъ, говорю, начитавшись былъ и бралъ ото всего къ размышленію человѣчнему, какъ, то-есть, что̀ человѣку показано... въ обчествѣ... То-есть, какъ вотъ одинъ перстъ болитъ — и все тѣло неспокойно. Но не нравилось это Ѳедосово слово игрунамъ и забавникамъ во всемъ Пустоплясовѣ. Онъ, бывало, говоритъ:

— Вы, почкенные старички, и вы, молодой народъ, на мои слова не сердитеся: мои слова—это не самъ я выдумалъ, а отъ другого взялъ; сами думайте: эти люди, которые хотятъ веселиться, когда за порогомъ другіе люди бѣдствуютъ, они напрасно такъ думаютъ, будто помѣхи не дѣлаютъ,—они сѣютъ зависть и тѣмъ суть Богу противники. Теперь, братцы, надо со страдающими пострадать, а не праздновать—не вино пить да лепешкой закусывать.

Старики за это на Ѳедоса кривилися, а молодые ему стрекотали въ отвѣтъ:

— Чего ты тутъ, дядя Ѳедосъ, очень развякался! Что ты попъ, что ли, какой непостриженый? Намъ и попъ такихъ рѣчей не уставливалъ. Если намъ Богъ милость сослалъ, что намъ есть что̀ ѣсть, то отчего намъ и не радоваться? Пьемъ-ѣдимъ тоже вѣдь все въ славу Божію: съѣдимъ и запьемъ и отойдемъ—перекрестимся: слава-те, Господи! А тебѣ-то что̀ надобно?

Ѳедосъ не сердился, а только зналъ, что̀ отвѣтить.

— Несмысленные! что̀ тутъ за слава? Никакой славы нѣтъ, что вы будете лепешки жевать до отвалу, когда люди кожурой давятся! А вы вотъ такую славу вознесите Христу, чтобы видѣли всѣ, что вы у Него въ послушаніи... Вѣдь Его же есть слово къ намъ: «пусть знаютъ всѣ, что вы Мои ученики, если имѣете любовь между собою!»

Но только ничего Ѳедосъ не успѣвалъ, и всѣ ему наотрѣзъ грубили, и особенно ему перечила своя его собственная внучка Маврутка, — одна только она у него и осталась отъ всего поколѣнія, и онъ съ нею съ одною и жилъ въ избѣ, а была она съ нимъ несогласная: такая-то

была вертеница и Ѳедоса не слушалась, и даже озорничала съ нимъ.

— Ты,—бывало, скажетъ,—очень ужъ старъ сталъ, такъ вотъ и пужаешь всѣхъ и нѣтъ совсѣмъ при тебѣ никакой веселости. Чего ты пристаешь ко всѣмъ: «Богъ» да «Богъ»! Это мы и въ церкви слышали, и крестились, и кланялись, а теперь надо веселаго!

Онъ ей, бывало, скажетъ:—«Эй, не хорошо, Мавра! Бога надо постоянно видѣть передъ собою, на всѣхъ мѣстахъ ходящаго и къ тебѣ понятно глаголющаго, что̀ тебѣ хорошо, а чего ненадобѣ».—А дѣвка на эти слова отъ себя зачаститъ-зачаститъ и всякій разъ кончитъ тѣмъ, что:—«Ты простой мужикъ, а не попъ, и я не хочу тебя слушаться».

А онъ ей:

— Я простой мужикъ—я въ попы и не суюся, а ты не суди, кто я такой, а суди только мое слово: оно вѣдь идетъ на добро и отъ жалости.

А внучка отвѣчаетъ:

— Ну, ладно: въ молодомъ-то вѣку не до жалости; въ молодомъ вѣку надо счастье попробовать.

А Ѳедосъ ей и сказалъ:

— Ну, что̀ дѣлать — испробуешь, только вѣдь не насытишься.

Итакъ, гдѣ, бывало, съ дѣдомъ Ѳедосомъ люди ни сойдутся—сейчасъ всѣ противъ него; а онъ все толкуетъ, что надо жить въ тихости, безъ шума и грохота, да только никакъ съ людьми не столкуется, и съ Мавруткою къ празднику нелады у него по домашеству; пристаетъ она:

— Дай, дѣдко, мучицы просѣять, спечь лепешечекъ!

А онъ этого не хочетъ, говоритъ:

— Ѣшь рѣшотный хлѣбъ, отъ другихъ не отличай себя.

Мавра и злится:—«Насъ,—говоритъ,—Богъ отличилъ, а ты морить хочешь!»

Ѳедосъ отвѣчаетъ:—«Эхъ, глупая! еще невѣдомо, для чего вы отличены; можетъ-быть, и не для радости, а въ поученіе».

И когда разъ одинъ Маврутка такъ на Ѳедоса разсердилась, такъ взяла да и сказала ему:

— Не дай Богъ съ тобой долго жить, хоть бы померъ ты.

Но Ѳедосъ и тутъ не разсердился.—«Что же такое!.. Ни-

чего! Погоди, вотъ скоро похороните; можетъ-быть, потомъ поминать станете».

А молодые-то и расхохоталися:

— Еще, молъ, чего! Тебя, стараго ворчуна, вспоминать будемъ!

Да и старички-то, которыхъ звалъ онъ «почкенные», не на его сторонѣ становилися, а тоже, бывало, говорятъ:— Что̀ онъ презвышается—лучше всѣхъ хочетъ быть во всемъ въ Пустоплясовѣ! Довольно знаемъ мы всѣ его: вмѣстѣ и водку съ нимъ пили, и съ бабами пѣсни играли—чего великатится!

Молодые это слышатъ и рады, и иной озорной подойдетъ къ нему и говоритъ:

— Дѣдъ Ѳедосъ!

— А что тако?

— А вонъ что̀ про тебя старики-то сказываютъ!

— Да! Ну-ка, давай, послухаемъ.

— Говорятъ... будто ты... Стыдно сказывать!

— Ну что?.. ну что? Не тебѣ это стыдно-то!

— Когда молодой-то былъ...

— У, былъ пакостникъ!.. Школы намъ, братцы, не было! Бойло было, а школы не было.

— Говорятъ, ты солдаткѣ въ половень гостинцы носилъ!

— Да и хуже того, братцы мои, дѣлывалъ. Слава Богу, многое уже позабылося... Видно, Богъ простилъ, а вотъ... людямъ-то все еще помнится. Не живите, братцы, какъ я прожилъ, живите по-лучшему: чтобъ худого про васъ людямъ вспоминать было нечего.

А мы, разъ отъ раза больше все ошибаючись, попали, братцы, передъ святками въ такое безстыжество, что мало намъ стало натируховъ да лепешекъ, а захотѣли мы завести забавы и игрища. Сговорилися мы, потаймя отъ своихъ стариковъ, нарядиться какъ можно чуднѣе, медвѣдями да чертями, а дѣвки — цыганками, и махнуть за рѣку на постоялый дворъ шутки шутить. А Ѳедосъ какъ-то узналъ про это и пошелъ ворчать:

— Ахъ, вы,—говоритъ,—безстыжіе! Это вы мимо голодныхъ-то, дразнить ихъ пойдете, что ли, съ пѣснями? Слушай, Мавра, нѣтъ тебѣ моего позволенія!

Мы всѣ ее у Ѳедоса отпрашиваемъ:

— Пусти, молъ, ее, Ѳедосъ Ивановичъ, что̀ тебѣ ея вѣкъ томить!

А онъ отвѣчаетъ:

— Пошли вы, пустошни! Какое въ этомъ утомленіе, чтобы не пустить человѣка изъ себя дурака строить!

— Ну, да ты, молъ, ужъ всегда такой: ото всѣхъ все премудрости требуешь!

— Не премудрости,—говоритъ,—а требую, что̀ Господь велитъ,—на ближнія разумѣнія: ближній въ скорбѣхъ, и ты не попрыгивай.

— Да развѣ ближнему-то хуже отъ этого?

— А разумѣется,—не вводи его въ искушеніе, а въ себѣ не погубляй доброту ума.

— Ну, вотъ, молъ, ты опять все про вумственность! Это надокучило! Небось, когда молодъ былъ самъ, такъ не разсуживалъ, а игралъ, какъ и прочіе.

— Ну, и что же такое, — отвѣчаетъ дѣдъ Ѳедосъ. — Я вѣдь ужъ не разъ сознавался вамъ, что въ молодыхъ годахъ я много худого дѣлалъ, такъ неужели же и вамъ теперь долженъ тоже совѣтовать дѣлать худое, а не доброе! Эхъ, неразумные! Съ пьянымъ-то, чай, вѣдь надо говорить не тогда, когда онъ пьянъ, а когда выспится. Молодой я пьянъ былъ всякой хмелиною, а теперь, слава Богу, повыспался. А если бы я былъ человѣкъ не грѣшный, а праведный, такъ я бы и говорилъ-то съ вами совсѣмъ на другой манеръ: я бы вамъ, можетъ, прямо сказалъ: Богъ это вамъ запрещаетъ, и можетъ за это придти на васъ наказаніе!

Тутъ за это слово всѣ на Ѳедоса поднялись.

— Нѣтъ, нѣтъ!—закричали.—Что ты, какъ воронъ, все каркаешь! Это все ты самъ повыдумывалъ! Веселье и въ церквахъ поминается. Давыдъ-царь и игралъ, и плясалъ, и на свадьбѣ-то мало ли вина было попито. Ты своего не уставляй,—это намъ не запретное. Если бы похотѣлъ Господь, чтобы поворотить народъ на другую путь, Онъ бы не тебя послалъ, а особаго посла-благовѣстника.

Ѳедосъ имъ желалъ внушить, что не намъ судить, какого посла куда посылаетъ Богъ, а что слово Господне—духовное и черезъ кого оно доходитъ, черезъ того все равно и засѣменяется: кто въ божьихъ смыслахъ говоритъ, того и

послушайся, а нарочныхъ пословъ не жди. Нарочный-то, бываетъ, такъ придетъ, что и не поймешь его.

Ну, а все же хоть и всѣ съ дѣдомъ спорили, а въ открытость супротивъ его дѣлать стыдилися, потому что когда вспомянется намъ то, что̀ старики про половень говорили, мы Ѳедоса будто и не уважаемъ, а потомъ вздумаемъ, что онъ давно уже человѣкъ справедливый сталъ, а тѣ, «почкенные»-то, все еще вокругъ половня ходятъ—намъ Ѳедоса и совѣстно. Грѣшникъ-то онъ, правда, что грѣшникъ былъ, да вѣдь онъ отстоялся ужъ и повернулъ себя на хорошее! Свое-то намъ справить хочется, а его все-таки стыдно. И стали мы съ своими намѣреньями крыться и сдѣлали уговоръ вечеромъ на рожественъ день собираться всѣ въ ригу и ждать другъ дружку въ углу, въ колосѣ, а потомъ идти всей гурьбой переряженнымъ къ дворнику. А мы знали, что у дворника праздникъ какъ слѣдуетъ: быка залобанили, трехъ свиней зарѣзали и двѣ бочки браги наварено. Пойдемъ, молъ, налопаемся, а на обратномъ пути дѣвки пусть себѣ гдѣ знаютъ хоронятся.

Такія зашли затѣи хорошія!

Пошли у насъ хлопоты: разныя мы одежи припасаемъ да прячемъ въ потайныхъ мѣстахъ. Боимся только, чтобы не подсмотрѣли за нами сосѣди неимущіе да наши похоронки не украли бы.

Мы имъ до сочельника все подавали кусочки, а подъ сочельникъ бабы и дѣвки сказали имъ:

— Слушайте, вы, неимущіе! вы чтобы завтра не смѣть приходить сюда, потому что мы завтра будемъ сами въ печкахъ мыться и топорами лавки скресть. Завтра намъ не до васъ. Обходитесь какъ знаете.

Маврутка захотѣла свои уборы вынесть въ ригу, когда дѣдъ Ѳедосъ въ лѣсъ пойдетъ, и вотъ, когда все, что̀ надо было, у себя въ избѣ отмыла и отскребла, да поглядѣла въ окно, а на улицѣ, видитъ,—мятель и сиверка, такъ что дышать трудно. Маврутка думаетъ: «дай скорѣе сомчу, а то дѣдъ воротится!» и только-что отворила дверь, какъ сдушило ее сиверкой, а передъ самымъ ея лицомъ на жерновомъ камнѣ у порожка нищенское дитя стоитъ, и какое-то будто особенное: обликъ нѣжный, а одежи на немъ только одна рваная свиточка и въ той на обоихъ плечахъ

дыры, соломкой заправлены, будто крылышки сломаны да въ соломку завернуты и тутъ же приткнуты.

Маврутка на него осердилася.

— Чего тебѣ,—говоритъ,—для чего въ такой день пришелъ! Ишь ты, нѣтъ на васъ пропасти!

А дитя стоитъ и на нее большими очами смотритъ.

Дѣвка говоритъ:—«Что же ты бѣльма выпучилъ! Прочь пошелъ!»

А онъ и еще стоитъ.

Маврутка его повернула и сунула:

— Пошелъ въ болото!

А сама побѣжала, и никакого ей безпокоя на душѣ не было, потому что вѣдь сказано всѣмъ имъ было, чтобы не ходить въ этотъ день—чего же таскается!

Прибѣжала Мавра въ ригу да прямо въ дальній уголъ и тамъ въ сухомъ колосѣ все свое убранье и закопала, а когда восклонилася, чтобы назадъ идти—видитъ, что этотъ лупоглазый ребенокъ въ воротахъ стоитъ.

Маврутка на него опалилася.

— Ты, шелудивый,—говоритъ,—подслѣжаешь меня, чтобы скрасть мое доброе! Такъ я отучу тебя!—Да и швырнула въ него тяжелый цѣпъ, а цѣпъ-то такой былъ, что дитя убить сразу могъ, да Богъ далъ—она промахнулася, и съ того еще больше осердилась, и погналася за нимъ. А онъ не то за уголъ забѣжалъ, не то со страху въ какой-нибудь овинъ нырнулъ, только Мавра не нашла его и домой пошла, и поспѣшаетъ, чтобы придти прежде, чѣмъ дѣдъ Ѳедосъ воротится изъ лѣсу, а на самоё на нее сталъ страхъ нападать, будто какъ какая-то бѣда впереди ея стоитъ или позади вслѣдъ за ней гонится.

И все чѣмъ она шибче бѣжитъ, тѣмъ сильнѣе въ ней духъ занимается, а тутъ еще видитъ, что у нихъ на заваленкѣ будто кто-то сидитъ...

Маврутка вдругъ стала смотрѣть: что это, неужели опять лупоглазый тамъ?..

Дѣвка-ровесница съ ведромъ шла и спрашиваетъ:

— Что у тебя, нога, что ли, подвихнулася?

А Маврутка машетъ ей и говоритъ:—«Послушай-ка, что̀ тебѣ нашу избу видно?»

Та отвѣчаетъ:—«Видно».

— А что это такое тамъ у насъ подъ окномъ на заваленкѣ?

— Это твой дѣдъ Ѳедосъ сидитъ...

— У тебя, можетъ-быть, курья слѣпота въ глазахъ?

— Чего еще! Ярко его вижу, вонъ онъ руки въ рукавицахъ на костыль положилъ, а нѣдромъ носитъ. Тяжело его удушье бьетъ...

— А робенка лупоглазаго не видишь тамъ?

— Лупоглазое дитя-то нонѣ по всему селу ходило, а теперь его нѣтути...

А Маврутка ей говоритъ, что она сейчасъ лупоглазое дитя видѣла и что онъ подсмотрѣлъ, гдѣ она свой уборъ закопала.

— Теперь,—говоритъ,—то и думаю, что онъ, стылый, откопаетъ да и выкрадетъ.

— Пойди перепрячь скорѣй!

— И то сбѣгаю!

А сама чуетъ, что теперь ужъ ей въ ригѣ было бы боязно.

И тутъ Мавра съ дѣдомъ опять не въ ладъ сдѣлала, такъ что онъ сказалъ ей:

— Ты, должно-быть, задумала что-нибудь на своемъ поставить. Смотри, бѣды бъ не вышло!

Она отвѣчаетъ:—«Не удержишь меня!»

— Чего силомъ держать... и не надобно... А тебѣ, слышь, чего же тамъ понравилось?... Назадъ-то пойдете, ребята чтобъ васъ не обидѣли.

— Закаркалъ, закаркалъ опять! Никого не боимся мы, а тамъ праздникъ какъ слѣдуетъ,—тамъ били бычка и трехъ свиней, и съ солодомъ брага варена...

— Вона что наготовлено изступленія! И пьяно, и убоисто...

— А тебѣ и свиней-то жаль!

— Воробья-то мнѣ и того-то жаль, и о его-то головенкѣ вѣдь есть вышнее усмотрѣніе...

— О воробьиной головкѣ-то?

— Да!

— Усмотрѣніе?

— Да!

— Тьфу!

Мавра враскатъ громко плюнула.

Дѣдъ сказалъ:—«Чего-жъ плюешься?»

— На слова твои плюнула.

— На мои-то наплюй,—не груби только Хозяину.

— Онъ мнѣ и ненадобенъ.

— Вона какъ!

— Разумѣется!.. Пусть его нелюбымъ конямъ гривы мнетъ.

— Что городишь-то, неразумная! Я тебѣ говорю про Того, Кому мы всѣ работать должны.

— Ну, а я не разумѣю и не хочу.

— Что это,—работать-то?

— Да.

— Поработаешь. Не всѣ, вѣдь, вольною волей работаютъ,—другіе неволею. И ты поработаешь.

Мавра черезъ гнѣвъ просмѣялася и говоритъ:

— Полно тебѣ, дѣдъ, въ самомъ дѣлѣ, видно, правда, что ты съ ума сошелъ!

А дѣдъ посмотрѣлъ и отвѣтилъ ей:

— Господь съ тобой, умная!—и самъ на печь полѣзъ, а она схватила подъ полу его фонарь со свѣчой и побѣжала въ ригу свой нарядъ перепрятывать.

А въ ригѣ-то уже темно, и страхъ на нее тутъ такъ и налетѣлъ со всѣхъ сторонъ вмѣстѣ съ ужастью: такъ ее и за плечо беретъ, и ноги ей путаетъ. Думаетъ: «дай скорѣй огонь зажгу—смѣлѣй станетъ». Черкнула спичкою разъ и два—что-то у самаго лица будто пролетѣло. Она зажгла фонарь и перекрестилась, а только зашла въ уголъ къ колосу, какъ вдругъ съ одной стороны къ ней пташка, а съ другой другая,—точно не хотятъ допустить ее!

И видитъ она, что это ей не кажется, а взаправду есть: откуда-то слетѣли воробушки и пали на колосъ въ свѣтъ и сидятъ-глядятъ на нее, натопорщившись...

«Давай скорѣе выхвачу да и убѣгу»,—думаетъ Мавра, и стала скорѣй руками колосъ разворашивать, а тамъ подъ рукой у нея что-то двигнулось и закопалося... Она—цапъ посильнѣй, а ей откуда ни спади еще воробей, и трепещется, и чирикаетъ... «Тьфу, молъ, что̀ тебѣ надобно? Проклятый ты!» Взяла его да и сорвала съ него головеночку, а сама не замѣтила, какъ съ сердцемъ въ злости фонарь бросила и отъ него въ-разъ солома вся вспольхнула; а оттудова-то, изъ кучи-то—что̀ вы скажете! — возстаетъ оное дитя лупоглазое и на челушкѣ у него роситъ кровь.

Тутъ ужъ Мавра забыла все и бросилась бѣжать, а огонь потекъ съ бурею въ повсемѣстности и истлилъ за единый часъ все, чѣмъ мы жили и куражились...

И стало намъ хуже всѣхъ тѣхъ, которые докучали намъ, потому что не только у насъ весь хлѣбъ погорѣлъ, а и жить-то не въ чемъ было, и пошли мы всѣ къ своимъ нищимъ проситься пожить у нихъ до теплыхъ дней.

А дѣдъ-то Ѳедосъ на пожарѣ опекся весь и вставать не сталъ; ну, а все ладилъ въ ту же стать и говорилъ другимъ съ утѣшеніемъ:

— Ничего,—говоритъ,—хорошо все отъ Господа посылается. Вотъ какъ жили мы въ Божьихъ въ любимчикахъ—совсѣмъ, было, мы позабылись,—хотѣли все справлять свои дурости, а теперь Господь опять насъ наставитъ на лучшее.

Такъ и померъ съ тѣмъ,—съ этой вѣрой-то!

А какое это было дитя, и откудова, и куда оно въ пожаръ дѣлося—такъ никогда потомъ и не дозналися, а только стали говорить, будто это былъ ангелъ и за нечувствительность нашу къ нему мы будто были наказаны.

— Все равно,—говорилъ Ѳедосъ:—кто бы ни былъ онъ,—бѣдное дитя всегда «Божій посолъ»: черезъ него Господь наше сердце пробуетъ... Вы всѣ стерегитеся, потому что съ каждымъ вѣдь такой посолъ можетъ встрѣтиться!

ДУРАЧОКЪ.

(РАЗСКАЗЪ.)

Кого надо считать дуракомъ? Кажется, будто это всякій знаетъ, а если начать свѣрять, какъ кто это понимаетъ, то и выйдетъ, что всѣ понимаютъ о дуракѣ не одинаково. По академическому словарю, гдѣ каждое слово растолковано въ его значеніи, изъяснено такъ, что «дуракъ—слабоумный человѣкъ, глупый, лишенный разсудка, безумный, шутъ»... Въ подкрѣпленіе такого толкованія приведенъ словесный примѣръ: «Онъ былъ и будетъ дуракъ-дуракомъ». «Дурачокъ—смягченіе слова дуракъ». Ученѣе этого объясненія уже и искать нечего, а между тѣмъ въ жизни случается встрѣчать такихъ дураковъ или дурачковъ, которымъ эта кличка дана, но они, между тѣмъ, не безумны, не глупы и ничего шутовского изъ себя не представляютъ... Это люди любопытные, и про одного такого я здѣсь и разскажу.

Былъ у насъ въ деревнѣ безродный крѣпостной мальчикъ Панька. Росъ онъ при господскомъ дворѣ, ходилъ въ томъ, что̀ ему давали, а ѣлъ на застольщинѣ вмѣстѣ съ коровницею и съ ея дѣтьми. Должность у него была такая, чтобы «всѣмъ помогать»; это значило, что всѣ должностные люди въ усадьбѣ имѣли право заставлять Паньку дѣлать за нихъ всякую работу, и онъ, бывало, безпрестанно работаетъ. Какъ сейчасъ его помню: бывало, зимою,—у насъ зимы бываютъ лютыя,—когда мы встанемъ и подбѣжимъ къ окнамъ, Панька уже везетъ на себѣ, изогнувшись, большія салазки съ вязанками сѣна, соломы и съ плетушками

колоса и другого мелкаго корма для скотины и птицъ. Мы встаемъ, а онъ уже наработался, и рѣдко увидишь его, что онъ присядетъ въ скотной избѣ и ѣстъ краюшку хлѣбца, а запиваетъ водою изъ деревяннаго ковшика.

Спросишь его, бывало:

— Что ты, Паня, одинъ сухой хлѣбъ жуешь?

А онъ шутя отвѣчаетъ:

— Какъ такъ «съ ухой»?—онъ, гляди-ко, съ чистой водицею.

— А ты бы еще чего-нибудь попросилъ: капустки, огурца или картошечки!

А Паня головой мотнетъ и отвѣчаетъ:

— Ну, вотъ еще чего!.. Я и такъ наѣлся,—слава-те, Господи!

Подпояшется и опять на дворъ идетъ таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не переводилася, потому что всѣ его заставляли помогать себѣ. Онъ и конюшни, и хлѣва чистилъ, и скоту кормъ задавалъ, и овецъ на водопой гонялъ, а вечеромъ, бывало, еще себѣ и другимъ лапти плететъ, и ложился онъ, бывало, позже всѣхъ, а вставалъ раньше всѣхъ до̀-свѣта и одѣтъ былъ всегда очень плохо и скаредно. И его, бывало, никто и не жалѣетъ, а всѣ говорятъ:

— Ему вѣдь ничего,—онъ дурачокъ.

— А чѣмъ же онъ дурачокъ?

— Да всѣмъ...

— А напримѣръ?

— Да что̀ за примѣръ!—вонъ коровница-то всѣ огурцы и картошки своимъ дѣтямъ отдаетъ, а онъ, хоть бы что̀ ему... и не проситъ у нихъ, и на нихъ не жалуется. Дуракъ!

Мы, дѣти, не могли хорошо въ этомъ разобраться, и хоть глупостей отъ Паньки не слыхали, и даже видѣли отъ него ласку, потому что онъ дѣлалъ намъ игрушечныя мельницы и туезочки изъ бересты,—однако и мы, какъ всѣ въ домѣ, одинаково говорили, что Панька дурачокъ, и никто противъ этого не спорилъ, а скоро вышелъ такой случай, что объ этомъ уже и нельзя стало спорить.

Былъ у насъ нанятъ строгій-престрогій управитель, и любилъ онъ за всякую вину человѣка наказывать. Ѣдетъ,

бывало, на бѣговыхъ дрожкахъ и по всѣмъ сторонамъ смотритъ: нѣтъ ли гдѣ какой неисправности? И если замѣтитъ что-нибудь въ безпорядкѣ—сейчасъ же остановится, подзоветъ виноватаго и приказываетъ:

— Ступай сейчасъ въ контору и скажи моимъ именемъ старостѣ, чтобы дали тебѣ двадцать-пять розогъ; а если слукавишь—я тебѣ вечеромъ при себѣ велю вдвое дать.

Прощенья у него ужъ и не смѣли просить, потому что онъ этого терпѣть не могъ и еще прибавлялъ наказаніе.

Вотъ разъ, лѣтомъ, ѣдетъ этотъ управляющій и видитъ, что въ молодыхъ хлѣбахъ жеребята ходятъ и не столько зелени рвутъ, сколько ее топчутъ и копытами съ корнями выколупываютъ...

Управитель и расшумѣлся.

А жеребятъ въ этотъ годъ былъ приставленъ стеречь мальчикъ Петруша,—сынъ той самой Арины-коровницы, которая Панькѣ картошекъ жалѣла, а все своимъ дѣтямъ отдавала. Петруша этотъ имѣлъ въ ту пору лѣтъ двѣнадцать и былъ тѣломъ много помельче Паньки и понѣжнѣе, за это его и дразнили «творожничкомъ»—словомъ, онъ былъ мальчикъ у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкій. Выгналъ онъ жеребятъ рано утромъ «на-росу», и стало его знобить, а онъ сѣлъ да укрылся свиткою, и какъ согрѣлся, то на него нашелъ сонъ—онъ и заснулъ, а жеребятки въ это время въ хлѣбъ и вошли.

Управитель, какъ увидалъ это, такъ сейчасъ стегнулъ Петю и говоритъ:

— Пусть Панька пока и за своимъ, и за твоимъ дѣломъ посмотритъ, а ты сейчасъ иди въ разрядную контору и скажи выборному, чтобы онъ тебѣ двадцать розогъ далъ; а если это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я при себѣ тогда тебѣ вдвое дамъ.

Сказалъ это и уѣхалъ.

А Петруша такъ и залился слезами. Весь трясется, потому что никогда его еще розгами не наказывали, и говоритъ онъ Панькѣ:

— Братъ милый, Панюшка, очень страшно мнѣ... скажи, какъ мнѣ быть?

А Панька его по головкѣ погладилъ и говоритъ:

— И мнѣ тоже страшно было... Что̀ съ этимъ дѣлать-то... Христа били...

А Петруша еще горче плачетъ и говоритъ:

— Боюсь я идти и боюсь не идти... Лучше я въ воду кинуся.

А Панька его уговаривалъ-уговаривалъ, а потомъ сказалъ:

— Ну, постой же ты: оставайся здѣсь и смотри за моимъ и за своимъ дѣломъ, а я скорѣй сбѣгаю, за тебя постараюся,—авось тебя Богъ помилуетъ. Видишь, ты трусъ какой.

Петруша спрашиваетъ:

— А какъ же ты, Панюшка, постараешься?

— Да ужъ я штуку выдумалъ—постараюся!

И побѣжалъ Панька черезъ поле къ усадьбѣ рѣзвенько, а черезъ часъ назадъ идетъ, улыбается.

— Не робѣй,—говоритъ,—Петька, все сдѣлано; и не ходи никуда—съ тебя наказанье избавлено.

Петька думаетъ:

«Все равно: надо вѣрить ему»,—и не пошелъ; а вечеромъ управляющій спрашиваетъ у выборнаго въ разрядной избѣ:

— Что, пастушонокъ утромъ приходилъ сѣчься?

— Какъ же,—говоритъ,—приходилъ, ваша милость.

— Взбрызнули его?

— Да,—говоритъ,—взбрызнули.

— И хорошо?

— Хорошо,—постаралися.

Дѣло и успокоилось, а потомъ узнали, что высѣкли-то пастушонка, да не того, котораго было назначено, не Петра, а Паньку, и пошло это по усадьбѣ и по деревнѣ, и всѣ надъ Панькой смѣялись, а Петю уже не стали сѣчь.

— Что же,—говорили,—уже если дуракъ его выручилъ,—нехорошо двухъ за одну вину разомъ наказывать.

Ну, не дуракъ ли, взаправду, нашъ Панька былъ?

И такъ онъ все и дальше жилъ.

Сдѣлалась черезъ нѣсколько лѣтъ въ Крымѣ война и начали набирать рекрутъ. Плачъ по деревнѣ пошелъ: никому на войнѣ страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьяхъ убиваются—всякой своего сына жалко.

А Панькѣ въ это время уже совершенные годы исполнились, и онъ вдругъ приходитъ къ помѣщику и самъ просится:

— Велите,—говоритъ,—меня отвести въ городъ—въ солдаты отдать.

— Что же тебѣ за охота?

— Да такъ, — отвѣчаетъ, — очень мнѣ вдругъ охота пришла.

— Да отчего? Ты обдумайся.

— Нѣтъ,—говоритъ,—некогда думать-то.

— Отчего некогда?

— Да нешто не слышно вамъ, что вокругъ плачутъ, а я вѣдь любимый у Господа,—обо мнѣ плакать некому,—я и хочу идти.

Его отговаривали.

— Посмотри-ка, молъ, какой ты неуклюжій-то: надъ тобой на войнѣ-то, пожалуй, всѣ расхохочутся.

А онъ отвѣчаетъ:

— То и радостнѣй: хохотать-то вѣдь веселѣе, чѣмъ ссориться; если всѣмъ весело станетъ, такъ тогда всѣ и замирятся.

Еще разъ сказали ему:

— Утѣшай-ка лучше самъ себя да живи дома!

Но онъ на своемъ твердо стоялъ.

— Нѣтъ, мнѣ,—говоритъ,—это будетъ утѣшнѣе.

Его и утѣшили,—отвезли въ городъ и отдали въ рекруты, а когда сдатчики возвратились,—съ любопытствомъ ихъ стали разспрашивать:

— Ну, какъ нашъ дуракъ остался тамъ? Не видали ли вы его послѣ сдачи-то?

— Какъ же,—говорятъ,—видѣли.

— Небось, смѣются всѣ надъ нимъ,—какой увалень?

— Да,—говорятъ,—на самыхъ первыхъ порахъ-то было смѣялися, да онъ на всѣ на два рубля, которые мы дали ему награжденія, на базарѣ цѣлыя ночвы пироговъ съ горохомъ и съ кашей купилъ и всѣмъ по одному роздалъ, а себя позабылъ... Всѣ стали головами качать и стали ломать ему по половиночкѣ. А онъ застыдился и говоритъ:

— Что вы, братцы, я вѣдь безъ хитрости! Кушайте.

Рекрута его стали дружно похлопывать:

— Какой, молъ, ты ласковый!

А на утро онъ раньше всѣхъ въ казармѣ всталъ, да все убралъ и старымъ солдатамъ всѣмъ сапоги вычистилъ. Стали хвалить его и старики у насъ спрашивали: «что онъ у васъ дурачокъ, что ли?»

Сдатчики отвѣчали:

— Не дуракъ, а... малость сроду такъ.

Такъ Панька и пошелъ служить со своимъ дурачествомъ и провелъ всю войну въ «профосахъ»—за всѣми позади рвы копалъ да пакость закапывалъ, а какъ вышелъ въ отставку, такъ, по привычкѣ къ пастушеству, нанялся у степныхъ татаръ конскіе табуны пасти.

Отправился онъ къ татарамъ изъ Пензы и не бывалъ назадъ много лѣтъ, а скитался, гоняя коней, гдѣ-то вдали, около безводныхъ Рынъ-Песковъ, гдѣ тогда кочевалъ большой мѣстный богачъ Ханъ-Джангаръ. А Ханъ-Джангаръ, когда пріѣзжалъ на Суру лошадей продавать, то на тотъ часъ держалъ себя будто и покорно, но у себя въ степи что̀ хотѣлъ, то̀ и дѣлалъ; кого хотѣлъ—казнилъ, кого хотѣлъ—того миловалъ.

За отдаленностью дикой пустыни слѣдить за нимъ было невозможно, и онъ, какъ хотѣлъ, такъ и своевольничалъ. Но расправлялся онъ такъ не одинъ: находились и другіе такіе же самоуправцы, и въ числѣ ихъ появился одинъ лихой воръ, по имени Хабибула, и сталъ онъ угонять у Хана-Джангара много самыхъ лучшихъ лошадей, и долго никакъ его не могли поймать. Но вотъ разъ сдѣлалась у однихъ и другихъ татаръ свалка, и Хабибулу ранили и схватили. А время было такое, что Ханъ-Джангаръ спѣшилъ въ Пензу, и ему никакъ нельзя было остановиться и сдѣлать надъ Хабибулою судъ и казнить его такою страшною казнью, чтобы навести страхъ и ужасъ на другихъ воровъ.

Чтобы не опоздать въ Пензу на ярмарку и не показаться съ Хабибулой въ такихъ мѣстахъ, гдѣ русскія власти есть, Ханъ-Джангаръ и рѣшилъ оставить при маломъ и скудномъ источникѣ Паньку съ однимъ конемъ и раненаго Хабибулу, окованнаго въ конскихъ желѣзахъ. И оставилъ имъ пшена и бурдюкъ воды и наказалъ Панькѣ настрого:

— Береги этого человѣка какъ свою душу! Понялъ?

Панька говоритъ:

— Чего-жъ не понять-то! Вполнѣ понялъ, и какъ ты сказалъ, я такъ точно и сдѣлаю.

Ханъ-Джангаръ со всей своей ордой и уѣхалъ, а Панька сталъ говорить Хабибулѣ:

— Вотъ до чего тебя твое воровство довело! Такой ты

большой молодецъ, а все твое молодечество не къ добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился.

А Хабибула ему отвѣчаетъ:

— Если я до сихъ поръ не исправился, такъ теперь ужъ и некогда.

— Какъ это «некогда»! Только въ томъ вѣдь и дѣло все, чтобы хорошо захотѣть человѣку исправиться, а остальное все само придетъ... Въ тебѣ вѣдь душа такая же, какъ и во всѣхъ людяхъ: брось дурное, а Богъ тебѣ сейчасъ зачнетъ помогать дѣлать хорошее, вотъ и пойдетъ все хорошее.

А Хабибула слушаетъ и вздыхаетъ.

— Нѣтъ,—говоритъ,—уже про это некстати и думать теперь!

— Да отчего же некстати-то?

— Да оттого, что я окованъ и смерти жду.

— А я тебя возьму да и выпущу.

Хабибула ушамъ своимъ не повѣрилъ, а Панька ему улыбается ласково и говоритъ:

— Я тебѣ не шучу, а правду говорю. Ханъ мнѣ сказалъ, чтобы я тебя «какъ свою душу берегъ», а вѣдь знаешь ли, какъ надо сберечь душу-то? Надо, братъ, ее не жалѣть, а пусть ее за другого пострадаетъ—вотъ мнѣ теперь это и надобно, потому что я терпѣть не могу, когда другихъ мучаютъ. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай себя, гдѣ надѣешься, а если станешь опять зло творить—ну, ужъ тогда не меня обманешь, а Господа.

И съ этимъ присѣлъ и сломалъ на Хабибулѣ конскія желѣзныя путы, и посадилъ его на коня, и сказалъ:

— Ступай съ миромъ на всѣ стороны.

А самъ остался ожидать здѣсь возвращенія Хана-Джангара,—и ждалъ его очень долго, пока ручеекъ высохъ и въ бурдюкѣ воды осталось очень немножечко.

Тогда и прибылъ Ханъ-Джангаръ со своей свитой.

Осмотрѣлся Ханъ и спрашиваетъ:

— А гдѣ Хабибула?

Панька отвѣчаетъ:

— Я отпустилъ его.

— Какъ отпустилъ? Что ты такое разсказываешь?

— Я тебѣ говорю то, что взправду сдѣлалъ по твоему

велѣнію и по своему хотѣнію. Ты мнѣ велѣлъ беречь его какъ свою душу, а я свою душу такъ берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближняго... Ты вѣдь хотѣлъ замучить Хабибулу, а я терпѣть не могу, чтобы другихъ мучили,—вотъ возьми меня и вели меня вмѣсто его мучить,—пусть моя душа будетъ счастливая и отъ всѣхъ страховъ свободная, потому что вѣдь я ни тебя, ни другихъ никого не боюся ни капельки.

Тутъ Ханъ-Джангаръ сталъ водить глаза во всѣ стороны, а потомъ на головѣ тюбетейку поправилъ и говоритъ своимъ:

— Подойдите-ка всѣ поближе ко мнѣ: я вамъ скажу, что̀ мнѣ кажется.

Татары вокругъ Хана-Джангара стѣснилися. А онъ сказалъ имъ потихонечку:

— А вѣдь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что въ душѣ его, можетъ-быть, ангелъ былъ...

— Да,—отвѣчали татары всѣ однимъ тихимъ голосомъ:—нельзя намъ ему вредить: мы его не поняли за много лѣтъ, а теперь онъ въ одно мгновенье всѣмъ намъ ясенъ сталъ: онъ вѣдь, можетъ-быть, праведный.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХАРАКТЕРЫ.

Опытъ систематическаго обозрѣнія *).

«Народъ непремѣнно долженъ имѣть ясное понятіе о литературныхъ памятникахъ и источникахъ, которые вліяли на образованіе его идей и представленій».

Чт. въ Общ. Люб. Древн. Россійскихъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Тридцать лѣтъ назадъ, когда у насъ много писали о женскомъ вопросѣ, не разъ было упоминаемо, будто въ Россіи репутаціи женщинъ былъ нанесенъ большой вредъ житійными сказаніями, которымъ вѣрили наши предки. Тамъ, будто, женщины постоянно выставляются соблазнительницами, стремившимися удалить мужчинъ отъ возвышенныхъ задачъ жизни и погрузить ихъ въ жизнь чувственную и безразсудную. Нѣкоторыми, болѣе горячими, чѣмъ основательными друзьями женскаго вопроса было выхвачено нѣсколько примѣровъ въ этомъ родѣ, и тѣ примѣры, принятые безъ критики, до сей поры остаются въ непререкаемомъ значеніи убѣдительныхъ фактовъ. Между тѣмъ, на самомъ

---

*) Обозрѣніе это составлено по *древле-печатному, переводному* Прологу, редакція котораго не соотвѣтствуетъ тому, который издается послѣ Петра Великаго. Древле-печатный, переводный Прологъ, содержащій въ себѣ приводимые здѣсь «прилоги», не входитъ въ кругъ церковныхъ книгъ и не только не пользуется церковнымъ авторитетомъ, но представляетъ книгу «отреченную», и сказанья его, по выраженію Ѳеофана Прокоповича, относятся къ разряду «*пустыхъ и смѣху достойныхъ басенъ*». Интересъ, имъ представляемый, есть собственно интересъ литературный и историческій.

дѣлѣ, *это есть ложь,* и въ этомъ можетъ убѣдиться всякій, кто пожелаетъ познакомиться съ женскими типами Пролога.

Это здѣсь и предлагается.

Разбирая Прологъ, какъ повѣствовательный источникъ, я нашелъ въ немъ ровно *сто* темъ или «прилоговъ», которые даютъ болѣе или менѣе пригодный матеріалъ для воспроизведенія въ повѣствовательномъ или пластическомъ искусствѣ, а изъ этихъ ста исторій—въ тридцати пяти участвуютъ женщины.

Годъ по Прологу начинался съ 1 сентября, и первое соблазнительное дѣло описано подъ 5-мъ числомъ сентября.

1) «По діаволю злохитрству, впаде въ блудъ нѣкій епископъ». Объ этомъ никто не зналъ въ его паствѣ; но епископъ былъ человѣкъ искренній и самъ не могъ снести своего грѣха; онъ пришелъ въ церковь, снялъ съ себя омофоръ и, ставъ предо всѣми на колѣни, началъ каяться, «глаголя: отселѣ не могу быти вамъ епископъ».

Словомъ—онъ принесъ публичное покаяніе въ блудномъ грѣхѣ, послѣ чего его надо было «извергнуть»; но какъ этотъ епископъ былъ человѣкъ очень добрый и люди его любили, то имъ стало жаль потерять его, и потому «возопиша вси люди съ плачемъ: грѣхъ твой на насъ буди».

Епископъ отговаривался, но народъ настаивалъ на своемъ. Тогда растроганный епископъ, заливаясь слезами, потребовалъ себѣ отъ людей наказанія, а тѣ на это согласились, лишь бы онъ у нихъ остался. Но вотъ епископъ легъ на полъ у дверного порога и просилъ, чтобы каждый мірянинъ, выходя изъ церкви, толкнулъ его презрительно ногой. Люди его послушались и стали его толкать, и когда послѣдній человѣкъ, выходя изъ церкви, наступилъ на согрѣшившаго архіерея, тогда только епископъ всталъ, поклонился вышедшимъ чрезъ двери людямъ и остался служить у нихъ епископомъ, и люди не чувствовали въ этомъ смущенія, ибо всѣ были увѣрены, что грѣхъ его прощенъ ради его искренности и смиренія. «Зане запну его ногой своею» и та, которая была его соучастницей въ грѣхѣ.

2) *Сентября 15.* Одного молодого пустынника страшно мучили любовныя мечтанія. Онъ пришелъ къ старцу Пахому и просилъ у него совѣта: какъ ему отъ этого избавиться. «Онъ же (то-есть старецъ) рече: не дивися дѣлу сему: азъ бо многажды обрѣтахся въ сицевыхъ. Се бо видяши мя

человѣка уже стара суща и дряхла, яко уже четыредесять лѣтъ сижу въ хижинѣ и токмо и пекуся о единомъ своемъ спасеніи, и уже тольми ветхъ сый, а и до днешняго дне еще не свободенъ».

3) *Октября 29.* Старецъ Авраамій «сочетался съ женой»; но потомъ, когда вникъ въ семейную жизнь, то она ему не понравилась—онъ нашелъ, что домомъ жить очень хлопотно и безпокойно, и вообще это гораздо труднѣе отшельничества, къ которому онъ уже привыкъ. Тогда Авраамій опять оставилъ жену и, «отшедъ, затворился въ малѣ хлевинѣ». Теперь ему не о комъ было заботиться; но когда Авраамій просидѣлъ въ затворѣ девять лѣтъ, умеръ его братъ и оставилъ семилѣтнюю дочку. Волей-неволей Авраамію пришлось взять племянницу на свое попеченіе. Авраамій вышелъ изъ «хлевины», сдѣлалъ тутъ же рядомъ другую такую же «хлевинку» и замуровалъ туда дитя. Дѣвочка прожила замурованная въ затворѣ на глазахъ у дяди тринадцать лѣтъ и никакихъ дурныхъ примѣровъ не видала, но когда пошелъ ей двадцатый годъ, «она завистію бѣсовскою впала въ паденіе». Неизвѣстно, какъ она, замурованная, чрезъ оконце «познакомилась съ блудницами», выкарабкалась изъ затвора и ушла съ этими своими знакомками въ такую «гостиницу», гдѣ собирались въ досужное время военные люди. Военные же люди въ той странѣ такъ любили женское общество, что вездѣ подманивали къ себѣ дѣвицъ, а обратно получить отъ нихъ дѣвушку было уже очень трудно. Они отпускали женщину развѣ только тогда, когда она имъ надокучитъ и они сами ее прогонятъ. Старецъ ихъ усовѣщивалъ, и кричалъ на нихъ, и угрожалъ имъ изъ своего затвора; но военные смѣялись, и его молоденькой затворницы ему не отдали, а увели ее и не возвращали. Зная это, старецъ Авраамій обратился къ хитрости, которою и достигъ желаннаго успѣха. Въ одинъ день онъ самъ вышелъ изъ своего затвора, досталъ себѣ верхового коня, добылъ воинскіе доспѣхи, «во образъ воинскій оболкся» и поѣхалъ верхомъ въ ту же самую гостиницу, гдѣ веселились съ женщинами военные, къ которымъ ушла изъ затвора его племянница. Переодѣтый воиномъ, затворникъ держалъ себя въ гостиницѣ такъ искусно, что никто его не узналъ, и даже не заподозрилъ, что это затворникъ, а всѣ сочли его за настоящаго военнаго. Даже и племянница его не узнала, а

онъ, увидя это, самъ притворился разбитнымъ гулякой и сталъ звать неузнающую его дѣвушку, чтобъ она шла съ нимъ отсюда препроводить дальнѣйшее время, за что Авраамій обѣщалъ ей дать по обычаю «даръ». Молодая дѣвушка, еще недавно только пустившаяся въ гулевую жизнь, ничего хитростнаго не подозрѣвала и ушла съ Авраамiемъ изъ гостиницы, въ полномъ убѣжденіи, что ей сопутствуетъ настоящій воинъ. А когда они остались вдвоемъ, тогда Авраамій ей себя обнаружилъ и укорилъ ее, и ужъ на свободу не выпустилъ, а посадилъ опять «въ малу хлевину», гдѣ она, послѣ долгихъ стенаній и плача, «покаялась, а послѣжди, чудеса творяше, скоро почила».

4) *Октября 29.* Была женщина Анна, которой хотѣлось спасти себя, живучи въ мужскихъ монастыряхъ. Она назвала себя Ефимьяномъ и стала жить съ монахами. Бороды у нея не росло, но это никого не соблазняло: монахи все думали, что Ефимьянъ—скопецъ, и нимало этимъ не смущались. Но одинъ изъ монаховъ того монастыря на свое несчастіе былъ «воображенникъ». Ему непремѣнно хотѣлось дознаться: отчего у Ефимьяна не растетъ борода? Къ этому еще прибавилось и искушеніе: невдалекѣ отъ ихъ монастыря жила женщина, которая знала тайну Ефимьяна и притомъ была болтлива; она сказала «воображеннику»:

— Это не скопецъ, а *жена-безстрастница*!

(Сказавшая сама сейчасъ же и исчезла).

А «воображеннику» съ этой поры вступило въ голову во что бы то ни было «подсмотрѣть Ефимьяна».

Онъ объ этомъ и началъ стараться, «тщашася низринути Ефимьяна» и «сотвори сіе, но бысть божественною силой до полу-сухъ». Анна же «бѣжаше отъ соблазненія, имѣя съ собой точію два монаха».

5) *Февраля 9.* Братъ нѣкій жилъ въ скитѣ, не видя ни одной женщины, но врагъ «вложи ему въ память нѣкія жены прекрасны». Воспоминаніе о женской красотѣ ужасно безпокоило скитника. Одинъ разъ пришелъ къ нему другой братъ и началъ разсказывать, что случилось въ мірѣ новаго, и упомянулъ, что красавица, которая нравилась брату, умерла. Тогда этотъ несчастный, какъ дождался ночи, взялъ свой «лентій» и побѣжалъ къ тому мѣсту, гдѣ, по разсказу, похоронили красавицу. Тутъ онъ разрылъ ея могилу, открылъ гробъ и «потре гной ея лентіемъ и возвратися, имѣя

при себѣ смрадъ той». И это его исцѣлило. Когда ему приходило на умъ, какъ эта женщина была прекрасна, онъ доставалъ этотъ «смрадъ» и, «полагая его предъ собой», говорилъ: «вотъ то, что отъ всякой красоты остается».

6) *Марта 18.* Данило Египтянинъ исцѣлялъ женщинъ отъ неплодства. Одинъ молодой мужъ пришелъ къ нему съ просьбой, чтобъ онъ посѣтилъ его домъ и помолился надъ его женой, которая не рождаетъ. Старецъ пошелъ по приглашенію мужа, и съ того случая молодая женщина «Богу изволившу зачатъ во чревѣ». Мужъ былъ очень радъ и доволенъ, но сосѣди стали смѣяться ему и говорить, будто все чудо въ томъ заключается, что жена его естественно затяжелѣла отъ старца Данилы. Когда это дошло до Данилы, онъ позвалъ къ себѣ смущеннаго молодого супруга и сказалъ ему: «когда у тебя родится дитя, собери всѣхъ родственниковъ на обѣдъ, и я тогда тоже приду къ тебѣ, и все дѣло разъяснится». Молодой человѣкъ такъ и сдѣлалъ, какъ сказалъ ему помогательный старецъ: на двадцатый день по разрѣшеніи беременности его жены, онъ собралъ къ себѣ всѣхъ родныхъ и знакомыхъ. Пришелъ и Даніилъ, и когда всѣ сѣли за столъ, старецъ взялъ на руки новорожденное дитя и спросилъ его: «кто твой отецъ?» Двадцатидневное дитя протянуло ручку и, указывая пальчикомъ на молодого супруга, проговорило: «вотъ кто».

7) *Марта 17.* Два брата жили въ пустынѣ и, сильно между собою подружившись, дали обѣтъ никогда не оставлять другъ друга, «не точію въ жизни, но и по смерти».

Но вдругъ одинъ изъ нихъ «нача ратоваться отъ бѣса». Бѣсъ навелъ на него такую неодолимую скуку, что обуеваемый «не возмогъ стерпѣть» и сказалъ брату своему: «Отпусти меня въ людное мѣсто; я не могу здѣсь терпѣть,— хочу жить, какъ всѣ, и веселиться».

Благоразумный братъ употребилъ всѣ усилія уговорить несчастнаго, чтобъ онъ возобладалъ надъ страстью и не губилъ столькихъ лѣтъ прожитой въ чистотѣ жизни; но тотъ никакъ не могъ совладать съ собою и стоялъ на своемъ, что ему надо уйти веселиться.

— Но какъ же мнѣ быть въ такомъ случаѣ?—спросилъ благоразумный братъ. — Вѣдь вотъ ты помнишь, я далъ обѣтъ никогда съ тобою не разставаться!.. Какъ же мнѣ

быть теперь, когда ты стремишься къ распутству, въ которое я себя допустить не желаю?

— А ужъ мнѣ до этого теперь никакой заботы нѣтъ, — отвѣчалъ страстью уязвленный братъ. — Поступай, какъ знаешь, но я ни для чего остановиться не могу: я, какъ сказалъ, такъ и пойду искать утѣшительной жизни, а ты оставайся въ пустынѣ; но, впрочемъ,—добавилъ онъ,—если ты хочешь при мнѣ быть, то, пожалуй, иди со мною въ городъ и повеселимся вмѣстѣ. А можетъ-быть, мнѣ тамъ и не долго понравится, и я скоро очувствуюсь—тогда, можетъ-быть, я и возвращусь съ тобою опять сюда же.

Благоразумный братъ подумалъ: «что за несчастіе съ человѣкомъ содѣялось? Совсѣмъ омраченъ онъ, и можно ли отпустить его одного въ такомъ омраченіи? Одинъ онъ непремѣнно попадетъ въ компанію распутниковъ, сродную нынѣшнему его одержимому настроенію, и онъ къ нимъ такъ прилѣпится, что погибнетъ невозвратно, а надо лучше не выпускать его изъ глазъ и ждать въ немъ перемѣны отъ времени».

«Да, — разсудилъ благоразумный, — пусть лучше я самъ приближусь къ соблазну, но не оставлю человѣка совсѣмъ ослабѣвшаго. Нѣтъ, не покину его,—пойду съ нимъ и буду ждать, когда умъ и чувства его опять придутъ въ свѣтлое состояніе».

Всталъ благоразумный братъ и пошелъ въ городъ вмѣстѣ съ страстнымъ братомъ.

Идти имъ было трудно, ибо путь былъ не малъ, а страстный «бѣжа скоро», и какъ пришелъ въ городъ, — сейчасъ же «скочи въ огражденіе садовное», откуда неслися «плесканья и пѣсни», и видѣлись женскія лица и плещи. А благоразумный братъ сѣлъ на пыльной дорожкѣ предъ этимъ «огражденіемъ», набралъ горстями земляной пыли, зарыдалъ и сталъ насыпать себѣ пыль на голову.

Люди, проходя, спрашивали его: о чемъ онъ плачетъ? А онъ имъ отвѣчалъ по правдѣ: «Любимый братъ мой, долго жившій чистою жизнью, вошелъ вотъ туда, въ садовное огражденіе». Люди надъ нимъ смѣялись, говорили: «Что же тебѣ? Иди и ты туда же и повеселись тамъ вмѣстѣ со всѣми съ нами». И сами туда же входили, а благоразумный братъ все сидѣлъ въ пыли и все плакалъ.

Такъ прошла цѣлая ночь, а братъ, «вскочившій въ огра-

жденіе», все еще не выходилъ оттуда, пока на небѣ засвѣтился новый день, и тогда вывалила изъ «огражденія» большая толпа мужчинъ и всѣ шумѣли и ссорились, и въ ихъ-то безпорядочномъ обществѣ находился страстный братъ, съ блѣднымъ лицомъ, помятыми волосами и угасшимъ взоромъ. И чуть только страстный братъ вышелъ,—благоразумный братъ вскочилъ и бросился къ нему съ радостію и заговорилъ:

— Для чего ты такъ долго тамъ оставался! насилу я тебя дождался! хорошо, что ты наконецъ вышелъ: конечно, ты видишь теперь, какъ это гадко и можетъ тебя погубить. Пойдемъ скорѣе отсюда назадъ въ нашу пустыню!

— Ахъ, отстань ты, пожалуйста! — отвѣчалъ страстный братъ.—Это совсѣмъ не такъ гадко, какъ ты воображаешь. Мнѣ тамъ, напротивъ, очень понравилось, и я ни за что теперь не пойду въ пустыню, а ты, если хочешь, уходи. Я тебѣ не препятствую.

Какъ благоразумный братъ ни уговаривалъ страстнаго — все оказалось безуспѣшно: страстному такъ понравилось въ «огражденіи садовнѣмъ», что онъ совсѣмъ пришелъ въ изступленіе и уже не боялся ни суда Божія, ни вѣчныхъ мукъ, и ни за что не хотѣлъ возвращаться съ благоразумнымъ въ пустыню. Онъ слушалъ благоразумнаго молча, а самъ въ себѣ только и помышлялъ о томъ, чтобы какъ-нибудь поскорѣе скоротать день, а потомъ опять попасть въ огражденіе, объ удовольствіяхъ котораго онъ чѣмъ больше думалъ, тѣмъ бо̀льшую къ нимъ чувствовалъ несытость.

Видя такое страшное изступленіе несчастнаго, благоразумный братъ пересталъ его и уговаривать идти въ пустыню, но опять сталъ вопрошать самого себя: можно ли ему оставить друга и брата въ такомъ неистовствѣ? и, обдумавъ дѣло съ разныхъ сторонъ, благоразумный братъ увидалъ, что тотъ безъ него тутъ и погибнетъ въ безпутствѣ, и рѣшилъ самъ съ нимъ оставаться, пока надъ тѣмъ пройдетъ это «обладаніе».

Но чтобы жить въ городѣ и притомъ еще веселиться въ «огражденіи», надо было имѣть деньги, а у пустынныхъ братьевъ запасныхъ денегъ не было, и вотъ они стали оба наниматься на работы. И оба работали во всю силу, какъ благоразумный, такъ и страстный, а вечеромъ страстный братъ забиралъ себѣ и свой заработокъ, и заработокъ сво-

его благоразумнаго брата, и ночью все это истрачивалъ на свои удовольствія въ «огражденіи». Благоразумный же братъ не жалѣлъ этого и о деньгахъ своихъ со страстнымъ не спорилъ; но онъ жалѣлъ его, что тотъ такъ нравственно палъ и всякій день все глубже и глубже погружается въ смрадное болото порока, о которомъ благоразумный братъ самъ не имѣлъ никакого познанія, и изумляясь силѣ грѣха, такъ страшно возобладавшаго надъ братомъ. Но при всемъ этомъ онъ вѣрилъ, что любовь его какъ-нибудь спасетъ одержимаго, и когда страстный входилъ въ «огражденіе», благоразумный садился при дорожкѣ противъ этого «огражденія», насыпалъ себѣ на голову дорожной пыли и горестно плакалъ. Страстный это видѣлъ, но не останавливался и скорой стопою уходилъ внутрь «огражденія».

Такъ каждую ночь — одинъ гулялъ, а другой оплакивалъ его безуміе.

Днемъ братья между собою уже не говорили, а становились на работу молча и уходили молча, и благоразумный братъ никогда болѣе не укорялъ страстнаго. И это, наконецъ, такъ тронуло страстника, что тотъ однажды бросился благоразумному въ ноги и воскликнулъ:

— Братъ мой любимый! Ты уязвилъ своимъ терпѣніемъ мою душу! возьми меня въ свою власть и сдѣлай со мною, что̀ хочешь! Я не хочу оставаться такимъ, какимъ сдѣлался, но не могу собой править.

Тогда благоразумный братъ сейчасъ же поступилъ какъ почиталъ за лучшее: онъ взялъ страстнаго прямо отъ воротъ «огражденія», гдѣ съ тѣмъ произошелъ спасительный переломъ, и увелъ его изъ города въ пустыню и «тако пріобрѣлъ себѣ брата своего».

Видѣвъ же безумную страстность несчастнаго, благоразумный братъ и въ пустынѣ не оставилъ его на жертву его собственной волѣ, а заключилъ его въ тѣсную пещерку, гдѣ тотъ черезъ малое время много преуспѣлъ и скончался».

8) *Апрѣля 15.* Два монаха, живя вмѣстѣ, вдругъ оба наскучили одиночествомъ и пошли въ городъ. Тамъ они сейчасъ же взяли себѣ двухъ женщинъ и устроились такъ, чтобы жить съ этими подружіями, а обѣты свои оставили. Но скоро они увидали, что жить съ женщинами совсѣмъ не такъ легко, какъ они ожидали, а что это довольно хлопотливо, что женщины требуютъ себѣ того и другого, и

по добру хорошихъ внушеній не слушаются, а надо ихъ много усовѣщивать и понуждать къ покорности, а черезъ то отъ совмѣстнаго сожительства съ ними получается не столько удовольствія и радостей, сколько безпрестанныхъ досажденій. Монахи нашли, что имъ не совладать съ семейнымъ житьемъ, и опять сговорились другъ съ другомъ покинуть взятыхъ женщинъ и убѣжали отъ нихъ назадъ въ монастырь, и тамъ разсказали про все, что съ ними было во время ихъ блужденія, и принесли покаяніе. Старшіе ихъ приняли и посадили въ затворъ и оставили каяться, а когда минуло время ихъ наказанія, то пришли на нихъ посмотрѣть, и увидѣли, что заключеніе оказало на нихъ совершенно различное вліяніе: одинъ согрѣшившій монахъ весь исхудалъ и истомился, а другой, напротивъ, былъ тѣломъ бодръ и лицомъ веселъ. Спросили исхудавшаго: «что тебѣ бысть?» Онъ отвѣчалъ: «Кость моя прильпе къ гортани, егда вспоминаю, что сотворихъ». Тогда спросили о томъ же бодраго, а тотъ отвѣчалъ: «я все радуюсь, отъ какой бѣды меня Господь спасъ».

Старцы обсудили оба отвѣта и нашли, что «оба брата пришли равно въ хорошее понятіе».

9) *Мая 1.* Два брата, живучи въ скитѣ, занимались искуснымъ рукодѣліемъ, и одинъ разъ, наготовивъ работъ, пошли оба въ городъ, чтобы продать свои произведенія. Тутъ они, какъ только вступили въ городскія ворота, сейчасъ же и разошлись въ разныя стороны: одинъ пошелъ въ улицу, которая шла отъ воротъ направо, а другой—въ улицу, которая шла влѣво. И весь день они другъ друга не видѣли. Когда же настало уговоренное время, чтобъ имъ сойтись въ условленномъ мѣстѣ и идти назадъ въ скитъ, братъ, пошедшій влѣво, сказалъ другому, пошедшему вправо:

— Знаешь ли, со мною случилось нѣчто такое, послѣ чего я уже не могу идти назадъ въ скитъ.

— Что же такое съ тобою случилось? — вопросилъ второй братъ.

— А то, что когда мы съ тобою разстались, то я встрѣтилъ очень красивую женщину и поддался соблазнительному влеченію, и вотъ мой обѣтъ цѣломудрія мною нарушенъ.

— Это очень дурно,—отвѣчалъ другой братъ:—но ужъ, если это случилось, то тѣмъ скорѣе должно тебѣ спѣшить отсюда въ нашу пустыню.

— Нѣтъ, братъ возлюбленный, — отвѣчалъ падшій: — я уже не рѣшусь теперь оскорбить наше чистое жилище своимъ присутствіемъ.

Братъ же, ходившій въ улицу направо, еще настойчивѣе звалъ его скорѣе идти въ пустыню и самъ тянулъ его за руку; но падшій не шелъ и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, тебѣ самому будетъ тяжело со мною. Ты — чистый.

Тогда второй братъ «помысли мало и отвѣща»:

— Не сокрушайся о томъ, что мнѣ будетъ тяжело въ твоемъ присутствіи, ибо когда мы съ тобою сегодня разстались и ты пошелъ налѣво, а я понесъ свои рукодѣлья направо, то со мною въ правой сторонѣ города случилось какъ разъ то же самое, что̀ случилось съ тобой въ лѣвой.

Тогда первый братъ ободрился и воскликнулъ:

— Значитъ, мы равны!

— Да, оба мы равны, ибо оба пали.

— Что же мы теперь сотворимъ далѣе?

— Пойдемъ оба, какъ равные, вмѣстѣ въ свой скитъ и оба вмѣстѣ покаемся старцамъ.

— А что же намъ будетъ отъ старцевъ?

— А ужъ что̀ будетъ, то будетъ одинаково, что одному, то и другому. Не робѣй—перенесемъ вмѣстѣ по заслугамъ нашимъ, а какъ я старше тебя, то вѣрно мнѣ сдѣлаютъ наказаніе строжайшее, а тебя, младшаго,—накажутъ полегче.

Братъ, ходившій влѣво, «умилился» и пошелъ въ скитъ. Тамъ съ ними вышло, какъ говорилъ второй братъ, который собственно не былъ грѣшенъ, но только сказалъ на себя грѣхъ для того, чтобы поддержать духъ падшаго брата, и тѣмъ не допустилъ его до отчаянія.

10) *Мая 21.* Одинъ братъ вышелъ изъ скита на рѣку, чтобы почерпнуть воды, и вдругъ замѣтилъ тамъ на берегу «жену перущу ризы», то-есть прачку, моющую одежды, и «прилучися брату пасти съ нею». По совершеніи же этого грѣха, братъ зачерпнулъ воды и понесъ водоносъ въ скитъ свой; но его облѣпили бѣсы и стали кричать ему въ уши: «Чего идешь въ скитъ! Тебѣ тамъ теперь ужъ не мѣсто; оставайся теперь съ прачкой!»

Братъ этимъ очень смутился, но сейчасъ же понялъ, что бѣсы этакъ хотятъ совсѣмъ отбить его отъ пути спасенія, и сказалъ:

— Чего вы ко мнѣ вяжетесь и для чего мнѣ досаждаете! Я не хочу отчаиваться.

И съ тѣмъ онъ пришелъ въ свою келью и «безмолвствовалъ», но согрѣшеніе его открылось одному старцу. Тогда братъ покаялся и разсказалъ, что онъ скрывалъ свой грѣхъ, боясь, какъ бы не впасть въ отчаяніе.—Старецъ похвалилъ его «разсужденіе».

11) *Мая 24.* Одинъ старецъ, проведя всю жизнь въ скитѣ, пошелъ разъ въ Александрію продать свое рукодѣліе и тамъ увидѣлъ, какъ одинъ монахъ входитъ въ корчму. Пустынникъ сѣлъ противъ двери, въ которую вошелъ александрійскій монахъ, и сталъ дожидаться, пока тотъ выйдетъ. Когда же монахъ черезъ нѣкоторое время показался на порогѣ, скитникъ бросился къ нему, обхватилъ его руками и, удерживая его, сталъ говорить:

— Что ты, несчастный, дѣлаешь? Или ты не вѣдаешь, что носишь ангельскій чинъ? Зачѣмъ же ты лѣзешь во вражьи сѣти, для чего входишь въ корчемницу, гдѣ сходятся неподобные мужи и женщины? Молю тебя, бѣги къ намъ въ пустыню,—тамъ ты спасешься.

Молодой же городской монахъ отвелъ руки скитника и сказалъ ему:

— Иди себѣ, калугере, — Богъ ничего не ищетъ кромѣ чистаго сердца.

Старецъ «воздвигъ руки къ небу» и сказалъ:

«— Я въ пустынѣ не стяжалъ чистаго сердца, а сей ходящій въ корчемницы стяжалъ».

12) *Іюня 3.* Встрѣтилъ отецъ Пафнутій въ пустынѣ нагого человѣка, закрывавшагося своими волосами, и сталъ его разспрашивать объ его прежнемъ житьѣ. Нагой человѣкъ сказалъ, что онъ жилъ сначала въ монастырѣ и былъ ткачомъ, но наконецъ ему не понравилось жить въ монастырѣ, а вздумалось, что лучше жить одному: «я такъ и сдѣлалъ, и сталъ работать и жить очень хорошо»; но это шло только «пока позавидовалъ мнѣ дьяволъ. Попросила меня одна черноризница устроить ей полотно. Я сдѣлалъ. Она попросила устроить другое. Я сдѣлалъ и другое, и яко уже свычай ми бысть съ нею и часъ съ часу дерзновеніе большое, то она зачеши родила беззаконіе». Тогда нашло на него раскаяніе, и онъ, бросивъ черноризицу, бѣжалъ въ пустыню, гдѣ Пафнутій и встрѣтилъ его нагого.

Пафнутій съ нимъ разговорился и спросилъ:

— Что же, я думаю, сначала-то тебѣ здѣсь и тяжело было?

— «Вельми изнемогахъ, — отвѣчалъ нагой, — и лежахъ въ пещерѣ въ тузѣ и въ страсти». Опять хотѣлось ему возвратиться къ «черноризицѣ», но «пришелъ нѣкій мужъ, какъ бы ножомъ изрѣзалъ всю мою утробу, очистилъ ее и опять вложилъ, и руками замазалъ, — и съ той поры туга и страсть остависта мя».

13) *Іюня 20.* Жилъ въ дальней пустынѣ одинъ благочестивый старецъ и имѣлъ близкую родственницу, оставшуюся въ мірѣ. Долго они не видались, но вдругъ этой женщинѣ какъ-то соскучилось и захотѣлось сходить навѣстить своего родственника. При этомъ женщина не имѣла никакого дурного умысла, а только хотѣла узнать чисто по родственному: живъ ли пустынникъ, или онъ уже умеръ; если же онъ живъ, то она хотѣла побесѣдовать съ нимъ о божественномъ и чѣмъ-нибудь послужить ему по силамъ своимъ. Плутала она долго по пустынѣ, пока встрѣтила «камиларя», или пастуха, который пасъ верблюдовъ. Женщина разсказала ему, кого она ищетъ. Пастухъ верблюжій зналъ пустынника и показалъ ей, какъ найти его пещерку, которая была тутъ же неподалеку. Женщина разыскала своего родственника. Онъ ее уже не могъ узнать, но она сказала ему, что «сродница твоя есмь». Тогда пустынникъ ее принялъ. Потомъ они стали съ нимъ бесѣдовать; но «егда пріиде ночь», то старецъ «преступи съ ней свой обѣтъ цѣломудрія». Это сейчасъ сдѣлалось извѣстно необычайнымъ случаемъ. Въ этой же самой пустынѣ, на нѣкоторомъ разстояніи, жилъ другой старецъ, который нимало не интересовался тѣмъ, что произошло у сосѣдняго старца; но онъ пошелъ почерпнуть воды, и только-что погрузилъ свою чашу въ воду, какъ «чаша перевернулась». Старецъ удивился, потому что до этого случая чаша у него никогда не переворачивалась. Онъ второй разъ зачерпнулъ чашу, но чуть ее поставилъ, какъ она опять перевернулась.

Тогда пустынникъ подумалъ:

«Вѣрно это по усмотрѣнію Божію».

А такъ какъ онъ въ одиночествѣ никакъ не могъ себѣ разъяснить, къ чему ему давалось такое знаменіе, то онъ,

не теряя времени, пошелъ къ другому пустыннику, спасавшемуся въ той же пустынѣ, но въ другомъ мѣстѣ.

«Пойду и разскажу ему,—думалъ старецъ, — и вдвоемъ съ нимъ мы это лучше обсудимъ».

А старецъ, къ которому онъ собирался идти, какъ разъ и былъ тотъ самый, у котораго въ это время гостила родственница.

Пошелъ къ нему пустынникъ на совѣщаніе, но въ одинъ день не дошелъ, а заночевалъ дорогой подъ стѣнами идольскаго капища и тутъ обо всемъ узналъ. Случилось такъ, что въ этомъ капищѣ именно въ ту ночь собрались бѣсы и въ чрезвычайной радости завели шумное торжество, и стали хвастать, что соблазнили одного извѣстнаго и опытнаго пустынника, при чемъ не разъ называли соблазненнаго и по имени.

Это былъ какъ разъ тотъ, къ кому шелъ путешествующій. Но нутникъ хотя и смутился этимъ, однако все-таки пришелъ къ тому, который палъ во грѣхъ съ родственницей, и, поздоровавшись, спросилъ у него:

«— Что̀ убо сотворю, отче, — егда наполню чашу мою водой и она во время снѣденія превращается?»

А тотъ посмотрѣлъ на него и вмѣсто отвѣта самъ предложилъ вопросъ:

«— А что̀ убо азъ сотворю, яко азъ впадохъ въ блудъ?»

— Да, я это уже знаю,—отвѣчалъ гость: — я слышалъ объ этомъ «въ церкви идольстей».

Тогда преступившій обѣтъ цѣломудрія старецъ, какъ только услыхалъ, что о немъ даже дьяволы говорятъ, вскочилъ и отчаянно закричалъ:

— Ну, если это такъ, то тогда ужъ все равно—я брошу пустыню и пойду въ міръ!

Но тотъ братъ, у котораго чаша переворачивалась, отговорилъ его отъ этого, а присовѣтовалъ прогнать только отъ себя родственницу.

«Старецъ послушался и исправилъ житіе свое».

14) *Іюня 27.* Отцы Даніилъ и Палладій, придя въ Александрію, встрѣтили молодого монаха, выходящаго изъ бань. Имъ это показалось подозрительно и непристойно, и они ему это сказали, а тотъ, вмѣсто того, чтобы покаяться, отвѣчалъ имъ: «не судите и не судимы будете». Старцы попросили у него прощенія, но скорбѣли о немъ, потому

что видѣли, какъ около него вертятся два мурина. Спустя же нѣкоторое время они узнали, что этотъ молодой красавецъ-монахъ пришелъ въ Александрію изъ Константинополя и вступилъ въ связь съ «женой епарха», а слуги епарха изловили его и, желая сдѣлать евнухомъ, такъ его изуродовали, что онъ чрезъ три дня умеръ, «и бысть всѣмъ мнихомъ поруганіе и урокъ».

15) *Іюля 22.* Жилъ въ одномъ скитѣ многолѣтній старецъ и ослабѣлъ силами. Трудъ, который онъ до сего времени исполнялъ, пришлось разложить на другихъ. Это старика очень стѣсняло, и, чтобы не ѣсть даромъ хлѣба, онъ рѣшился уйти въ Египетъ. Тамъ же жилъ съ нимъ въ скитѣ другой старецъ, Моисей, который ранѣе бывалъ въ Египтѣ и вообще былъ человѣкъ очень опытный; онъ сказалъ старцу: «не ходи въ Египетъ,—тамъ много женщинъ, и ты соблазнишься».

А старецъ этому не повѣрилъ и даже обидѣлся.

— Что̀ ты мнѣ несообразное говоришь!—возразилъ онъ Моисею.—Ты бы долженъ постыдиться даже вспоминать мнѣ объ этомъ! Или ты не видишь, какъ я старъ, и все тѣло мое уже одряхлѣло и умерло!

Моисей же все стоялъ на своемъ и говорилъ, что какъ человѣкъ ни будь старъ, но, пока онъ живъ, ему, все равно, не безопасно побывать въ Египтѣ.

Старецъ такъ разсердился, что назвалъ Моисея нескромнымъ и соблазнительнымъ, а самъ сейчасъ же всталъ и ушелъ отъ него въ Египетъ. Слава же этого старца была столь велика, что его уже и въ Египтѣ знали, и объ его замѣчательной жизни разсказывали другъ другу. А потому, какъ только старецъ появился въ Египтѣ, такъ и стали приходить къ нему разные люди за духовными наставленіями и исцѣленіями. И сначала все шло очень хорошо, но одинъ разъ «пріиде также по вѣрѣ Божіи послужити ему и нѣкая дѣва». Она была чѣмъ-то неисцѣлимо больна, «но ю лѣтѣ единемъ старецъ исцѣли ее и впадъ съ нею въ грѣхъ и она явися непраздна». Люди, приходящіе къ старцу, стали замѣчать особенное положеніе дѣвушки и начали говорить объ этомъ различно. «А простая же чадь прямо вопроси ее: откуду се имаши?» Дѣвушка отвѣчала имъ: «отъ старца». Одни ей вѣрили, а другіе не вѣрили, ибо «бѣ той старецъ вельми многолѣтенъ». Но старецъ,

услыхавъ эти разногласія, самъ подтвердилъ слова дѣвушки. Онъ сказалъ: «се азъ сотворихъ сіе, и вы сохраните отроча рождающееся». «И ради просьбы его бысть родшееся отроча отдоено». Спустя же нѣкоторое время въ скитѣ былъ праздникъ и собралось много народа, и тогда посреди толпы вдругъ появился оный старецъ, «нося на рамѣ своемъ отроча отдоенное», и вошелъ въ церковь и, оборотясь къ скитникамъ, сказалъ: «Видите ли это дитя? Это есть плодъ моего непослушанія. Берегите себя отъ этого, потому что ежели такое дѣло могло случиться со мною, при моей старости, то тѣмъ легче это можетъ случиться со всякимъ въ молодости».

«И видѣвшіе это всѣ заплакали».

16) *Іюля 25.* Въ одномъ египетскомъ монастырѣ былъ знаменитый «славный» дьяконъ. Случилось, что мѣстный князь той страны преслѣдовалъ одного простолюдина, у котораго была очень красивая жена. Преслѣдуемый, укрываясь отъ князя, прибѣжалъ съ семьей въ монастырь, чтобы здѣсь сохранили его жену отъ страстныхъ преслѣдованій неистоваго князя. Монахи пріютили супруговъ, но мужъ отъ этого ничего не выигралъ, ибо тутъ «удариста во дьякона непріязненныя силы вражія», и съ женой простолюдина таки-случилось то самое, чѣмъ угрожало ей неистовство князя. Дьяконъ, замѣнившій князя, былъ изобличенъ и пристыженъ, и его опредѣлили «погребсти живаго въ темницу», и такъ и сдѣлали. Дьяконъ долго оставался замурованный; но въ краѣ томъ настала продолжительная засуха, и сколько ни молились о ниспосланіи съ неба дождя,—дождя все не было. Тогда явлено было одному старцу, что надо «извести наружу и поставить къ служенію сокрытаго славнаго дьякона». Сдѣлали по этому внушенію, и когда размуровали затворъ «и дьяконъ, изшедъ и вземши санъ свой», началъ молебствовать — «сошелъ дождь на землю».

17) *Августа 12.* Въ царствованіе Леона, царя константинопольскаго, жилъ одинъ очень славный и богатый человѣкъ, который притомъ былъ и чрезвычайно добръ, но въ то же время былъ и большой грѣшникъ. Онъ имѣлъ неодолимое влеченіе къ красѣ женщинъ и находился въ постоянномъ съ ними обращеніи, и такъ къ этому привыкъ, что каковъ былъ смолоду — точно такимъ же оставался и въ

старости,—«занеже устарѣся въ немъ той злой обычай». Въ такомъ страстномъ обдержаніи этотъ именитый и добрый человѣкъ и умеръ. При погребеніи его, у патріарха Гермогена и епископовъ, а также и у мірскихъ знатныхъ лицъ въ Византіи возникло огромное недоумѣніе: какъ почитать этого усопшаго, за праведника или за грѣшника, и въ какомъ мѣстѣ онъ долженъ быть помѣщенъ послѣ смерти, то-есть въ раю ли съ праведниками,—чего онъ былъ достоинъ по свойствамъ своей доброй души, или въ аду съ грѣшниками, куда ему слѣдовало идти за свой любострастный «обычай». Долго объ этомъ разсуждали важнѣйшіе духовные люди въ Византіи и никакъ не могли придти къ рѣшенію. Тогда захотѣли вопросить Небо, и патріархъ Гермогенъ повелѣлъ всѣмъ монастырямъ и затворникамъ молиться, чтобы «явлено было о человѣкѣ семъ пользы ради человѣческія». И Небо отвѣтило: открыто было нѣкоторому затворнику слѣдующее: «видѣлъ онъ *мѣсто нѣкое*, имущее одесную рай, а ошую озеро огненное, и между ближняго рая и страшнаго пламени стояше привязанъ умершій мужъ и злѣ стенаше, позирая на рай. А ангелъ Господень говорилъ ему: «напрасно, человѣче, стонеши, ибо ради милосердія твоего избавленъ еси отъ муки,—за скверну же любострастія лишенъ рая».

Прослѣдованное нами въ семнадцати «прилогахъ» ясно показываетъ, что изъ тридцати пяти случаевъ, гдѣ имѣетъ мѣсто любовный соблазнъ,—въ семнадцати случаяхъ женщины Пролога не обнаруживаютъ никакого обольстительнаго коварства для совращенія мужчинъ, а напротивъ, мужчины сами увлекаются въ эту сторону съ чрезвычайною неразборчивостью и легкостью.

Этимъ кончается первая категорія женскихъ лицъ, за которою слѣдуютъ другія, представляющія собою характеры болѣе сложные и болѣе интересные.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Прямыми соблазнительницами женщины Пролога являются въ слѣдующихъ исторіяхъ:

18) (1) *Октября 7.* Въ Александріи былъ славный художникъ, дѣлавшій необыкновенно изящныя вещи изъ серебра и золота. Его звали Зенонъ (въ Прологѣ онъ назы-

вается «златокузнецъ»). Онъ былъ потаенный христіанинъ. По художеству его ему нигдѣ не было равнаго. Самыя именитыя женщины роскошнаго города наперебой непремѣнно хотѣли имѣть украшенія, сдѣланныя этимъ искуснымъ мастеромъ, а Зенонъ не успѣвалъ исполнять всѣхъ дѣлаемыхъ ему заказовъ. Богатыя щеголихи Александріи шли наперебой одна передъ другой и платили очень дорого, чтобы перещеголять другъ друга, но только и это не помогало. Тогда въ Александрію пріѣхала изъ Антіохіи одна молодая красавица, необычайно своенравнаго и настойчиваго характера. Она имѣла привычку ни предъ чѣмъ не останавливаться для достиженія своей самомалѣйшей цѣли, а цѣль ея въ Александріи была превзойти здѣсь своею пышностью всѣхъ александрійскихъ женщинъ. Имя ея было Нефорисъ или Нефора. Вся Антіохія знала ее, какъ самую первую красавицу, затмевавшую собою всѣхъ иныхъ въ рощѣ Дафны. Она захотѣла во что бы то ни стало имѣть «головную утварь на красоту своего тѣла» и не послала звать къ себѣ художника, потому что знала, что Зенонъ откажется, а она взяла золото и драгоцѣнные камни и сама пошла къ нему и стала его «умолять»—сдѣлать для нея такое головное украшеніе, которое какъ можно болѣе шло бы къ ней и еще сильнѣе возвысило «красоту ея изящнаго тѣла».

Зенонъ, удаляясь отъ шума, жилъ за городомъ въ красивой мѣстности, до которой было довольно далеко. Нефора шла сначала тѣнистою аллеей, по которой ей встрѣчались рабы, несшіе въ паланкинахъ женщинъ, и съ грохотомъ проѣзжали колесницы на коняхъ съ подстриженными гривами; потомъ путь становился безлюднѣе и тише. Отъ аллеи начинались мелкіе свертки по тропинкамъ въ удолья, утонувшія въ рощахъ. У одного изъ этихъ свертковъ подъ вѣтвистымъ деревомъ сидѣлъ старикъ и кормилъ своего верблюда. Нефора спросила его, гдѣ живетъ Зенонъ златокузнецъ. Онъ ей указалъ на поляну, гдѣ зрѣли ароматныя дыни, межъ сирени, жасминовъ и розъ, а сзади катился ручей и за нимъ въ чащѣ кустовъ стоялъ бѣлый домикъ. Вокругъ было тихо—только черные дрозды сидѣли на бѣломъ карнизѣ и пѣли. Дверей не было видно. Нефора ударила три раза въ стѣну—и передъ ней раздвинулась панель и ее встрѣтилъ Зенонъ.

Онъ былъ пораженъ и недоволенъ ея посѣщеніемъ, но принялъ ее въ свою мастерскую. Это была большая квадратная комната безъ оконъ,—свѣтъ проникалъ въ нее черезъ потолокъ, сквозь фіолетовую слюду, отчего всѣ вещи казались обвитыми какою-то тонкою дымкой. По серединѣ комнаты стоялъ бронзовый ибисъ и изъ его клюва струилась свѣжая вода; въ углахъ помѣщались обширные тазы, въ которыхъ росъ златоглавый мускусъ и наполнялъ всю атмосферу своимъ запахомъ. Всѣ стѣны были покрыты художественными произведеніями искусства. Здѣсь были и Анисъ, и фараоновы кони, и шесты, и посуда.

Застигнутый дома врасплохъ, «златокузнецъ» не могъ отдѣлаться отъ этой бойкой и настойчивой гостьи и сталъ съ ней разговаривать, невольно замѣчая, что она чрезвычайно красива и одѣта къ лицу, такъ что красота ея выдается еще ярче. Чернокудрая голова ея была покрыта широкимъ и тонкимъ полосатымъ кефье, мягкія складки котораго облегали, какъ воздухъ, ея черносинія кудри. Кефье перевязано было желтымъ шнуромъ. Ея уши, руки и пальцы были украшены серьгами, кольцами и браслетами, а на шеѣ было золотое ожерелье изъ множества тонкихъ цѣпочекъ и на концѣ каждой изъ нихъ дрожали жемчужные перлы. Рѣсницы ея были подведены, а концы пальцевъ подрумянены и тонкіе ногти отливали радужнымъ перламутромъ. На поясѣ ея, который обхватывалъ пріятнаго сѣраго цвѣта тунику съ красною каймой, висѣло маленькое зеркальце и такой же маленькій сосудъ съ пахучею индійскою эссенціей.

Она сѣла, не ожидая приглашенія хозяина, поглядѣлась въ свое зеркало, прыснула на себя и передъ собою духами и пригласила художника, чтобъ онъ помогъ ей обсуждать: какъ ей можно еще «пріумножить ея красоту». И когда увидала, что онъ растерялся, то, дабы не дать ему опомниться и сразу преклонить его на свою сторону и получить отъ него такую изящную «утварь», какой нѣтъ ни у какой другой именитой женщины во всей Александріи, она стала прельщать его своею красотой, съ намѣреніемъ довести это до крайняго результата. «Тогда,—думала она,—онъ, какъ любовницѣ своей, сдѣлаетъ для меня уборъ всѣхъ лучше, а вреда моей чести отъ этого никакого не будетъ, ибо никто даже и не подумаетъ, что я, будучи столь знатна

и богата, согласилась бы такою цѣною златокузню его купить». Подходы щеголихи были такъ ясны, что художникъ не могъ ихъ не понять; но она еще ихъ усилила, — она сказала ему:

— Здѣсь жарко, и ты долженъ видѣть тѣло мое безъ постороннихъ прикрасъ: сѣрый и красный цвѣтъ оттѣняютъ цвѣтъ моей кожи. Я должна сбросить тунику.—И она ее сбросила, и въ это же время вилась передъ нимъ, перемѣняя прически, а онъ примѣривалъ къ ея лицу и головѣ то тѣ, то другія снизи и пронизи и безпрестанно имѣлъ въ своихъ объятіяхъ ея тѣло, покрытое одною сорочкой, которая держалась застежкой на правомъ плечѣ и шла внизъ подъ лѣвую руку, такъ что въ глаза ему била прелесть ея тѣла, и это его туманило... Художникъ «блазняшася на ню», а она ему «подаяше помизаніе очима и неподобенъ смѣхъ». Онъ опускалъ свои вѣки, чтобъ ея не видѣть, но она, смѣясь, насильно открывала ихъ своими тонкими пальцами,—онъ опять ее видѣлъ и душа его играла и прыгала, какъ молодая лань въ горахъ или какъ горный потокъ въ стремнинахъ Ливана. Зеновъ просилъ ее удалиться. Нефора смѣялась и тихо шептала: «зачѣмъ?»

— Я хочу быть царемъ моей совѣсти

— Э! оставь это! Повѣрь, веселѣе быть червемъ, гложущимъ тутовый листъ въ рощѣ Дафны, чѣмъ томиться въ царственной скукѣ. Дай мнѣ вина и лобзанье въ память нагого ребенка!

Зенонъ ей подалъ фіалъ; она отпила половину, а другую половину, смѣясь, влила ему во уста и держала его все это время въ своихъ объятіяхъ, а потомъ, бросивъ пустой фіалъ, поцѣловала Зенона въ честь Вакха...

Страсть, какъ темная гора, покрыла сердце Зенона.

Случай могъ быть чрезвычайно опаснымъ для обоихъ, но златокузнецъ александрійскій былъ тайный христіанинъ, и это спасло обоихъ. Въ самую безумную минуту, «егда устремися уже грѣху, — помянуся художному мужу слово евангельское: аще соблазняетъ тебя рука твоя или нога — отсѣцы ее, или око—избоди е». И онъ, воззрѣвъ на жену, рече: «мало ми отступи» (отойди немножко) и иземъ ножъ удари ся въ око десное и рече: «Виждь, Господи, яко сохранитель заповѣди Твоя есмь, — да егда и азъ востребую

помощи отъ Тебя — Ты не удалися». Соблазнительница ужаснулась и убѣжала.

Вскорѣ въ Александріи случилось гоненіе на христіанъ. Гонитель ихъ былъ человѣкъ не только жестокій, но и насмѣшливый, — онъ хотѣлъ издѣваться надъ христіанами и, призвавъ ихъ епископа, сказалъ ему: «Не нахожу въ вашей вѣрѣ ничего основательнаго и твердаго, да не вѣрю, чтобы вы и сами могли вѣрить въ то, о чемъ разсказываете. Вотъ я задамъ вамъ рѣшительное испытаніе: если вы его выдержите, то вы останетесь цѣлы, и все, что у васъ есть,— ваше будетъ; а если не выдержите, тогда я поступлю съ вами, какъ съ обманщиками, и оберу у васъ все, что вы имѣете, на государя. Испытаніе же вѣрѣ вашей назначаю вамъ по вашимъ книгамъ; тамъ написано: *если кто имѣетъ вѣру* и скажетъ горѣ—«стронься съ мѣста и иди въ воду», то будто гора непремѣнно тронется и пойдетъ. Вонъ, видите, тамъ недалеко отъ берега Нила есть гора Адеръ. Она стоитъ тамъ много лѣтъ, огнемъ земнымъ выдвинутая еще въ началѣ созданія земли, когда не было ни пирамидъ, ни сфинксовъ, ни праотцевъ нашихъ, трудившихся надъ этими постройками. Выберите изъ себя такого истинно вѣрующаго, который могъ бы сдѣлать надъ Адеромъ то, что представляется за возможное въ вашихъ книгахъ; если гора Адеръ стронется съ мѣста и пойдетъ, то я повѣрю, что въ вашихъ книгахъ писана правда, а если вы ничего этого не сдѣлаете, то вы тѣмъ докажете, что всѣ вы лгуны, и тогда я поступлю съ вами какъ съ недостойными уваженія обманщиками, а всѣ ваши имущества возьму у васъ на государя.

Христіане пришли въ ужасъ. Они знали, что ихъ правитель жестокъ и пощады имъ отъ него не будетъ: если гора Адеръ не тронется съ своего мѣста и не пойдетъ въ Нилъ, тогда всѣмъ имъ доведется погибнуть съ позоромъ, а все добро, которое они собрали трудами въ теченіе всей своей жизни, будетъ расхватано или поверстано въ казну, а дѣти ихъ останутся нищими и съ осмѣянною религіей и безъ руководства родителей перейдутъ въ вѣру торжествующихъ отцовскихъ мучителей...

Въ такомъ ужасномъ положеніи всѣ христіане, жившіе въ сосѣдствѣ горы Адера, надѣли на себя неподрубленныя одежды печали, постились, молились и плакали, а между тѣмъ время шло и приближался уже срокъ, назначенный

правителемъ. Никто,—ни одинъ изъ христіанъ не чувствовалъ въ себѣ той увѣренности, чтобы сказать горѣ при людяхъ: «стронься съ мѣста и иди въ воду».

Скорбь христіанъ сдѣлалась извѣстна и иновѣрнымъ людямъ въ городѣ, и тогда къ христіанскому епископу пришла тайно та самая египетская красавица, которая ранѣе приходила соблазнять «златокузнеца», и она сказала епископу:

— Я узнала о вашемъ горѣ и мнѣ васъ жалко; но вы, можетъ-быть, напрасно приходите въ отчаяніе, ибо если только вѣрѣ все возможно, то у васъ есть такой человѣкъ, который имѣетъ настоящую вѣру, и его вѣра можетъ выдержать всякое испытаніе.

— Какъ! — воскликнулъ епископъ: — неужели ты, нехристіанка, увѣрена, что гора можетъ сдвинуться?

— Да, я вѣрю въ это потому, что я видѣла вѣру, которая преодолѣла законы естества; но меня очень удивляетъ, что этого-то одного человѣка я и не вижу между тѣми, которыми ты себя здѣсь окружаешь и съ которыми совѣтуешься!

— Скажи же скорѣе, сострадательная госпожа,—кто онъ такой?

— Онъ златокузнецъ, художникъ.

— Неужто Зенонъ окривѣлый, который дѣлаетъ кумиры и утварь для женскихъ уборовъ?

— Да, это Зенонъ.

— Помилуй!—воскликнулъ христіанскій епископъ: — ты говоришь невозможную вещь.

— Почему?

— Зенонъ искусный художникъ, ни слова объ этомъ; но онъ въ вѣрѣ нашей не крѣпокъ, онъ въ постоянномъ общеньѣ съ людьми разныхъ вѣръ, и ты имя его можешь увидѣть на исподахъ различныхъ кумировъ, — крокодиловъ мерзостныхъ, страстнаго ибиса и быка съ чернымъ пятномъ и коней фараона; притомъ Зенонъ часто бываетъ лѣнивъ: онъ не поспѣваетъ къ общей со всѣми молитвѣ; въ день недѣльный, когда много заказовъ, онъ одинаково трудится, будто какъ въ будень; онъ живетъ безъ жены и нимало не занятъ тою мыслію, чтобъ учредить себѣ семью или удалиться въ пустыню, а онъ охотно разговариваетъ съ посторонними женщинами, которымъ онъ нуженъ, и угождаетъ ихъ суетности.

— Можетъ-быть, все это правда,—отвѣчала гостья:—но, быть можетъ и то, что все это не такъ важно, какъ тебѣ кажется.

— Ахъ, нѣтъ, госпожа,—что ужъ касается степени важности въ вѣрѣ, то ты повѣрь, что намъ это ближе извѣстно.

— Я и не спорю,—отвѣчала Нефорисъ:—такъ и должно быть, чтобы вамъ все было лучше извѣстно; но услышите и то, что̀ я знаю о вѣрѣ Зенона.

— Что же тебѣ стало извѣстно?

— Мнѣ извѣстно, что Зенонъ покорилъ себя волѣ Учителя вашего, котораго всѣ вы зовете Сыномъ вашего Бога, и при мнѣ показалъ такую силу любви къ Его слову, какой, можетъ-быть, никто изъ васъ не видѣлъ.

Епископъ попросилъ ее, чтобъ она разсказала, что̀ такое она видѣла, и Нефорисъ съ полною откровенностью разсказала ему всю соблазнительную сцену, которую она устроила художнику изъ желанія имѣть отъ него искусный уборъ на голову.

Старецъ всплеснулъ руками. Ему было извѣстно, что златокузнецъ недавно окривѣлъ на одинъ глазъ; но онъ не зналъ, отчего это случилось съ Зенономъ. Услыхавъ разсказъ красивой Нефоры, епископъ понялъ всю трудность борьбы, которую одолѣлъ художникъ, и далъ цѣну его поступку. Онъ благодарилъ гостью и сказалъ ей:

— Вѣрь, прекрасная госпожа, это никогда не позабудется въ нашемъ народѣ, что ты пожалѣла о насъ и не скрыла этого происшествія, которое при совершеннѣйшей красотѣ твоей для всякаго должно быть удивительно, и я согласенъ съ тобой, что Зенонъ доказалъ свою вѣру своимъ послушаніемъ: я сейчасъ пошлю звать его, чтобъ онъ сдвинулъ гору.

Въ тотъ же часъ отъ епископа пошли за Зенономъ послы, чтобы онъ немедленно явился, а антіохійская модница, разсказавъ свою тайну и тайну Зенона, ушла, чтобы съ нимъ тутъ не встрѣтиться. Ни епископъ, ни бывшіе при немъ люди не уразумѣли настоящихъ намѣреній гостьи. Египтянка Нефора, растлившая умъ свой въ Антіохіи на безумныхъ пирахъ въ рощѣ Дафны, не знакома была съ состраданіемъ, но мстила Зенону за его равнодушіе и нарочно выставляла его на самую отвѣтственную роль, въ которой онъ долженъ быть народомъ осмѣянъ.

Кривой златокузнецъ не скоро пришелъ изъ своего заго-

роднаго дома, а когда пришелъ и епископъ разсказалъ ему, что̀ отъ него требуется, чтобъ онъ сдвинулъ гору, то онъ этому очень удивился и отвѣчалъ:

— Господи, Боже мой! Что̀ только я слышу! Или вы это вздумали въ шутку, чтобы посмѣяться надо мной!

— Какъ!—отвѣчали ему:—да ты развѣ не знаешь, какое надъ нами случилось бѣдствіе?

— Скажите скорѣе! я живу далеко и отъ молвы городской въ сторонѣ, и ничего не знаю.

— Нашъ правитель велѣлъ намъ для испытанія вѣры нашей, чтобы мы сдвинули съ мѣста гору Адеръ.

— О, Боже великій! кто жъ это долженъ исполнить?

На это всѣ вдругъ ему отвѣтили:

— Ты!

Художникъ подумалъ, что онъ ослышался, и воскликнулъ:

— Что? Я не слышу, что̀ вы сказали?

Но народъ еще громче вскричалъ въ одно слово:

— Ты, Зенонъ, ты сдвинешь гору!

Зенонъ закрылъ себѣ ладонями уши и стоялъ въ молчаніи минуту, а когда открылъ слухъ, — опять оглушилъ его тотъ же самый крикъ:

— Ты, Зенонъ, сдвинешь гору!

— Такъ это не въ шутку на меня возложили?

— Да, Зенонъ, да! Ты это сдѣлай. Мы всѣ тебя просимъ.

Зенонъ покачалъ головой и сказалъ:

— Кто научилъ васъ задавать мнѣ такую задачу? Неужели я во всей общинѣ всѣхъ лучше вѣрю, и нѣтъ человѣка, котораго смѣлѣе можно бы выставить на такое великое дѣло—испытаніе вѣры.

А епископъ ему отвѣчалъ:

— Напрасно, Зенонъ, ты стараешься спрятаться за свое смиреніе! Мы сами считали тебя въ вѣрѣ некрѣпкимъ, но узнали одну твою тайну и теперь перемѣнили свое мнѣніе. Ты напрасно будешь отговариваться: ты одинъ можешь сдвинуть гору.

— Но объясните мнѣ... о какой такой моей тайнѣ вы говорите?

— А отчего ты потерялъ глазъ?

— Глазъ?

— Да!

Зенонъ смутился и поникъ головой.

— То-то и дѣло,—сказалъ ему, ударяя его по плечу рукой, епископъ: — сюда приходила красивая госпожа и все про тебя разсказала. Въ тебѣ природа повинуется Богу. Мы знаемъ теперь, какъ ты освободилъ себя отъ соблазновъ, входившихъ въ сердце твое черезъ глазъ: ты его выкололъ. Не марай себя ложью, скажи намъ: такъ это было?

— Такъ,—уронилъ тихо Зенонъ.

— Я старъ, но не даромъ я избранъ въ епископы: я понимаю, какое ты сильное одолѣлъ искушеніе. Вѣрѣ твоей больше нельзя да и не должно таиться; какъ старшій въ общинѣ нашей, я совлекаю съ тебя темный хитонъ твоего смиренія. Отселѣ ты, Зенонъ, долженъ просіять всему міру и спасти насъ передъ издѣвающимся гонителемъ.

Кривой художникъ очень долго отказывался; но епископъ не освобождалъ его отъ труднаго послушанія, а видя его непреклонность, сказалъ людямъ, чтобы всѣ люди Зенона просили, и тѣ всѣ стали плакать, бить себя въ груди и громко кричать:

— Или ты, строя крокодиловъ изъ золота, и самъ уже сталъ крокодилъ, а не человѣкъ, и не имѣешь состраданія? Отчего же ты умѣлъ спасти себя одного, а теперь все множество людей хочешь оставить въ жесточайшемъ бѣдствіи? Устыдись своего жестокосердія, испробуй свою вѣру, повели горѣ Адеру двинуться и идти въ воду, чтобы всѣ мы остались цѣлы въ нашихъ жилищахъ!

Такого общаго жалостнаго вопля художникъ не выдержалъ.

— Братья мои, — сказалъ онъ: — не укоряйте меня въ томъ, что я мастерствомъ моимъ произвожу изъ камней и изъ золота подобія созданныхъ въ природѣ твореній. Отъ этого нѣтъ никакого зла, и самъ я не сдѣлался черезъ то ни камнемъ, ни золотомъ, и скорбь ваша жжетъ мое сердце. Повѣрьте, что если бы для спасенія вашего нужно вамъ было, чтобъ я выкололъ себѣ второй глазъ, то я бы это сдѣлалъ сейчасъ же и не искалъ бы себѣ за то ни возмездья, ни славы; но повелѣть горѣ, чтобъ она двинулась съ мѣста и поверглась въ Нилъ—я не могу, потому что я не вѣрю, чтобы слабая вѣра моя на это годилась. Не себѣ, а всѣмъ вамъ, всѣмъ христіанамъ, я боюсь сдѣлать укоръ и ученію Христа постыжденье, ибо не мнѣ ту вмѣнятъ неудачу, а Его станутъ укорять безразсудно.

А тѣ отвѣчали:

— Оставь, Зенонъ, оставь! И мы, и епископъ, всѣ тебѣ вѣримъ, что крѣпка твоя вѣра, и потому не медли, спѣши прославить всеобщее упованіе на вѣру твою: помолись и повели горѣ идти съ мѣста!

Кривой златокузнецъ воздвигнулъ плечами и воскликнулъ:

— Всемогущій и Вѣчный Отецъ! Ты видишь скорби этихъ людей, которымъ Ты далъ уразумѣть Тебя черезъ Іисуса, Отрока Твоего! Передъ Тобою открыта безконечность вселенной и всѣ глубины бездны, но Ты же видишь и терзаніе моего сердца, которое не можетъ сносить слезъ моихъ братьевъ. Прости мнѣ, что смѣю Тебя умолять,—не постыди насъ всѣхъ, оживившихся вѣрою, и соверши невозможное, какъ возможное, ибо Твоя есть сила и слава во вѣки!

Всѣ александрійскіе христіане повторили эту краткую молитву кривого художника и всѣ сразу, поднявшись, запѣли псаломъ и пошли изъ города въ смиреньѣ толпой къ горѣ Адеру, а впереди ихъ шелъ, тихо молясь, ихъ епископъ.

О движеніи христіанъ въ тотъ же часъ дали знать градоправителю, у котораго въ ту пору было много именитыхъ гостей, и онъ, и всѣ его гости захотѣли поѣхать къ горѣ, гдѣ надѣялись видѣть, какъ будутъ смѣшны христіане. Градоправитель, въ пурпуровой съ золотомъ тогѣ, ѣхалъ впереди всѣхъ въ колесницѣ, выложенной серебромъ и слоновою костью, съ львиными головами на гайкахъ, гдѣ колеса были привернуты къ оси. Вороные кони его были прямые потомки коней фараона; ихъ челки и остриженныя гривы покрыты золотою тяжелою сѣткой работы Зенона, поводья изъ золотистаго желтаго шелка съ золотой бахромою. Въ другихъ колесницахъ также парадно ѣхали гости. Къ нимъ приставали по пути прохожіе на убранныхъ ослахъ и дорого стоившихъ бѣлыхъ верблюдахъ съ пушистою шерстью. Пѣшіе люди въ большомъ изобиліи ихъ окружали несмѣтной толпою. Явились крестьянки съ кувшинами свѣжей воды и съ корзинами фруктовъ. Толпа становилась все больше и больше, и всѣ шутили и смѣялись, ожидая, что когда гора не пойдетъ, то правитель дастъ знакъ отряду слѣдовавшихъ за ними воиновъ, и они сгонятъ христіанъ къ Нилу и всѣхъ ихъ помечутъ съ берега въ воду. Появились на старыхъ ослахъ и закладчики съ мѣшками монетъ и съ таблицами, на которыхъ писали заклады. Никто

ни секина не хотѣлъ держать за то, что гора сдвинется, но держали за то: всѣхъ ли утешитъ правитель, или только немногихъ, а другихъ отдастъ въ рабство.

Между тѣмъ христіане съ епископомъ, не спѣша, подошли къ подошвѣ горы, опять помолились и пошли обходить гору вокругъ. Со смиренной молитвой они обошли «все основанье горы», и когда возвратились на то мѣсто, откуда начали обходъ, то епископъ сказалъ кривому художнику, чтобъ онъ еще помолился. И чуть художникъ преклонилъ колѣно, какъ подъ землей послышался гулъ, и гора Адеръ колыхнулась, какъ шапка на сонномъ феллахѣ.

Толпа горожанъ, забывъ смѣхъ и заклады, шарахнулась назадъ и испугала коней и верблюдовъ; вышло смятеніе, колесницы одна зацѣпляла другую, верблюды зафыркали и подняли шеи, а ослы закричали и начали биться...

Напрасно трубили въ рожокъ и напрасно кричалъ градоправитель: «Уймитесь, безумцы! Это не больше, какъ грохотъ колесъ, или простой гулъ отъ волнъ Нила!»

Всякій чувствовалъ, что земля подъ нимъ колебалась, и замѣтили всѣ, какъ кремнистыя ребра горы внали, потомъ вдругъ напряглись, вышли наружу и стали крошиться. Осколки острыхъ камней и песокъ сыпались внизъ, и порой, какъ изъ пращи, разлетались въ стороны съ трескомъ; внизу же необъятнымъ пластомъ ползли оползни глины... Казалось, какъ будто разрушалось созданье горы, а разстояніе, которое отдѣляло Адеръ отъ Нила, на виду у всѣхъ начало убавляться съ обѣихъ сторонъ, ибо вода въ рѣкѣ также шумѣла, билась на берегъ и затопляла пространство...

Тутъ не только тѣ, которые были на мѣстѣ, но всѣ, кто оставался въ Александріи, такъ испугались, что потеряли всякое обладанье собой; всѣ бросились скорѣе вонъ изъ своихъ колебавшихся домовъ и устремились бѣгомъ къ подножію Адера. Среди нихъ, то мѣшаясь въ толпѣ, то выдвигаясь впередъ, шла въ волненіи Нефорисъ и говорила всѣмъ о своемъ поведеніи, и о стыдѣ, и о страхѣ, которые испытывала она у Зенона, и этотъ Зенонъ теперь по ея винѣ погибаетъ. На нее смотрѣли какъ на сумасшедшую. Гдѣ спокойно стояли одни христіане со своимъ епископомъ и кривымъ художникомъ,—всѣ тѣ, которые пришли сюда съ торжествомъ и насмѣшками, метались, рыдали и, хватаясь одинъ за другого, другъ друга отталкивали, чтобы не стать

тяжелѣй отъ того, что другой человѣкъ держится, и не провалиться съ нимъ вмѣстѣ въ трещины, которыя, къ вящшему ужасу, стали обозначаться подъ осѣдавшею глиной.

Тогда прибѣжавшіе александрійцы издали закричали христіанамъ:

— Безчинные люди! вотъ до чего довело насъ милосердіе, съ которымъ мы васъ терпѣли! Что̀ вамъ за польза дѣлать намъ зло? Для чего вы ведете недвижную Адеръ-гору съ ея вѣковѣчнаго мѣста? Для чего хотите завалить нашу рѣку? Нилъ орошаетъ всѣ наши поля и дынныя гряды; черезъ его мѣрный разливъ земля всѣхъ насъ кормитъ, а вы хотите сдѣлать такъ, чтобы гора запрудила сразу всю воду и чтобы Нилъ выступилъ вдругъ и началось по всѣмъ полямъ и по дыннымъ грядамъ потопленіе! О, проклятый народъ! о, жестокіе люди! И вы еще смѣете уничтожать крокодиловъ! Нѣтъ людей хуже васъ во вселенной! Вы злѣй гальскихъ друидовъ и вашъ Богъ — Аримана персидскаго злѣе!

Тогда христіанскій епископъ поднялъ руку и отвѣчалъ александрійцамъ:

— Богъ христіанскій проститъ и въ вину не поставитъ вамъ то, что̀ вы, не зная Его, о Немъ говорите. Онъ есть Отецъ всѣхъ и Отецъ милосердія. Вы въ заблужденіи. Не мы, христіане, хотѣли, чтобы нарушенъ былъ священный покой мірозданія. Если же гору ведемъ, то не своею мы это дѣлаемъ волей.

— Кто же могъ вамъ это велѣть?

— Спросите о томъ своего градоправителя: это онъ повелѣлъ намъ, а мы, христіане, повинуемся власти.

Въ это время проносили въ носилкахъ градоправителя, которому въ суматохѣ переѣхало колесницею ноги, и онъ услыхалъ это и, тяжко стоная отъ мучительной боли, воскликнулъ:

— О, какъ я наказанъ, и какъ о безумствѣ моемъ сожалѣю! Но довольно: я вѣрю вамъ, вѣрю, великъ Богъ христіанскій, и я не хочу впередъ съ Нимъ состязаться! Если вы въ самомъ дѣлѣ не противитесь власти, то теперь я повелѣваю вамъ: сейчасъ же остановите гору!

— Господинъ, — отвѣчалъ ему христіанскій епископъ: — мы власти покорны, но мы не знаемъ, можемъ ли мы исполнить второе твое повелѣніе. Ты вѣдь самъ перечиталъ наши

книги и ихъ знаешь: тамъ точно сказано, что можно велѣть горѣ *двинуться* и *идти въ воду*; но припомни—тамъ вѣдь ничего нѣтъ о томъ, можно ли остановить гору, когда она уже тронулась и пошла со своего мѣста.

Земли же между горою и Ниломъ въ это время все убавлялось; ползучая глина тѣснила народъ съ одной стороны, а вода хлестала съ другой, и песокъ въ промежуткѣ засыпалъ людей по колѣно.

— Земля поглощаетъ насъ!—воскликнули люди. — Проклятіе правителю! Смерть ему, ненавистнику! Великъ Богъ христіанскій!

Тогда правитель остановилъ носилки и сталъ просить александрійцевъ простить ему его дерзость; но тѣ его не слушали, а сами упали предъ христіанами на колѣни и завопили:

— Святая вѣра ваша, и всѣ мы хотимъ принять эту вѣру. Возьмите нашего правителя; мы отдаемъ вамъ его и даже сами сейчасъ бросимъ его въ Нилъ предъ вами, только спасите насъ,—пусть гора станетъ.

Епископъ сказалъ имъ:

— Нѣтъ. Вы не знаете, какого мы духа. Намъ не желанна погибель ничья. Богъ не хочетъ смерти грѣшныхъ. Со смертью кончается путь къ исправленію. Всякій же здѣсь себя обязанъ исправить. И правитель нашъ тоже жизнь имѣетъ отъ Бога. Пусть живетъ, пока дни его совершатся. Злое отвергши, въ сердцѣ съ одною любовью воскликнемъ всѣ безъ различія:

— Помилуй, Владыко!

— Помилуй! помилуй!—прокатило въ народѣ, и всѣ пали лицами въ землю.

Все стало стихать; вѣтеръ умчался, осыпи крѣпли, сухіе камни перестали лопаться и крошиться, влажные оползни огустѣвали и твердѣли. Епископъ все тихо молился. Порядокъ возстановился. Гора, которая *двинулась* по вѣрѣ художника, стала на своемъ мѣстѣ по молитвѣ епископа. Люди и животныя какъ бы пробуждались отъ сна. Всѣ наслаждались покоемъ, кони трясли головами, а верблюды лежали, поджавъ подъ себя широко-копытныя лапы и жевали свою безконечную жвачку. На деревьяхъ показались глиноцвѣтные голуби и заворковали. Нефорисъ благовѣствовала: она

незамѣтно подошла тихо къ Зенону и, держа его за руку, говорила:

— О, если бы ты зналъ, какъ мнѣ тебя жаль, и какъ я чту и люблю твоего Бога и какъ укоряю себя!

— Въ чемъ ты себя укоряешь?

— Око... твое гдѣ, твое око, бѣдный Зенонъ!

— Оставь это. Зенонъ блаженъ, а не бѣденъ. Я счастливъ, Нефора, что вижу въ тебѣ однимъ окомъ теперь тихую мысль христіанки, и ты сама мнѣ милѣй, чѣмъ тогда... когда я въ два глаза смотрѣлъ, какъ лицо твое рдѣло безстыдствомъ порока.

— О, замолчи!.. Я призналась во всемъ передъ всѣми...

— Ты очень достойно поступила, Нефора.

— Да, теперь я удаляюсь... въ пустыню.

— Въ пустыню!.. Помедли, на тебѣ есть мой долгъ.

— Долгъ мой!.. Чѣмъ должна я тебѣ?—удивилась Нефора.

— Чтобы исполнить совѣтъ моего Учителя, я отдалъ мой глазъ; ты была въ этомъ отчасти причинна; но когда ты не пожалѣла себя и обнажила передъ людьми свой сокровенный грѣхъ — ты себя исправила и привлекла меня къ себѣ. Мы теперь одного духа и можемъ быть подпорой другъ другу... Для чего намъ теперь разставаться? Нефора! будь ты женою Зенона!

И они сдѣлались супругами.

Отсюда видимъ, что соблазнъ, устроенный художнику модницей III вѣка, не имѣлъ успѣха. Египетская красавица не только не могла соблазнить нравственнаго человѣка, но еще сама была поражена твердостью христіанскихъ правилъ, и вся эта исторія послужила къ обращенію въ христіанство множества людей, не признававшихъ до тѣхъ поръ ничего выше соблазновъ чувственности.

Кривой художникъ «сдвинулъ» эту гору *).

Второй случай соблазна.

19) (2) *Декабря 24.* Былъ монахъ Никола, который прежде служилъ въ войскѣ. Когда при Никифорѣ царѣ случилась война, онъ не утерпѣлъ, чтобы оставаться при мирныхъ занятіяхъ въ монастырѣ, и опять пошелъ воевать.

*) Нельзя не подивиться, какъ это сказаніе могло оставаться до сихъ поръ незамѣченнымъ тѣми, которые держатся буквальнаго пониманія словъ: «отсѣки и брось!».

Никола былъ родомъ грекъ и находился въ цвѣтущей порѣ возраста. Онъ былъ высокій ростомъ, статный, сильный и красивый и съ молодецкою, военною выправкой.

Когда Никола проходилъ по Болгаріи, на него постоянно обращали вниманіе женщины, а онъ не замѣчалъ ихъ; но вотъ случилось ему разъ зайти переночевать въ одну болгарскую гостиницу, и тутъ случилось съ нимъ нѣчто опасное.

Пока онъ ходилъ, вечерялъ и потомъ укладывался спать, «примѣтила его юная болгарыня, дѣвица вельми младая, дочь гостинника болгарскаго, и плѣнилась его красотой». Инокъ же, воинственный Никола, ничего этого не подозрѣвалъ; онъ спокойно поужиналъ, помолился Богу и легъ спать, и какъ онъ отъ дороги очень усталъ, то сейчасъ же и заснулъ очень крѣпко. Но только-что онъ разоспался «ко второй стражѣ нощи», неожиданно почувствовалъ, что его кто-то тихо, но неотступно потрогиваетъ. Монахъ простеръ руки и ощутилъ горячее человѣческое тѣло и встрѣтилъ молодыя, тонкія руки, которыя страстно сплелись съ его руками, и въ то же время чьи-то страстныя уста во тьмѣ стали покрывать лицо его поцѣлуями. А при этомъ всѣ прочіе люди, ночевавшіе въ гостиницѣ, спали крѣпкимъ сномъ и никто не могъ бы помѣшать страстной сценѣ, но инокъ самъ освободился отъ искушенія.

Никола «воспряну», отстранилъ отъ себя ласкающую его прелестницу и «вопроси се: кто еси и чесо хощеши?»

«Она же отвѣща ему: дщерь есмь гостинникова, — раченіемъ любви къ тебѣ уязвленна и притекоша влекущися страсти ради неисцѣльныя».

Монахъ началъ останавливать страстную болгарку, и напомнилъ ей, какъ она еще молода, и что ей должно стараться соблюсти свою дѣвичью чистоту, чтобы вступить честно въ бракъ или сдѣлаться инокиней; но дѣвушка такъ имъ увлеклась, что не слушала его нравственныхъ увѣщаній и совѣтовъ, а обратилась къ хитростямъ, чтобы выиграть время и опять напасть на него, не надѣлавъ шума. Она «отползла отъ него», улеглась потихоньку на своей постели и притворилась—какъ будто заснула, но «къ третьей стражѣ нощи паки припаде къ нему влекущи». Тогда Никола опять заговорилъ съ нею уже строго и притомъ громко. Этого дѣвушка испугалась, чтобы другіе отъ ихъ переговоровъ не проснулись, и она «сего ради отступи мало» отъ

Николы, но тяжело дышала и «клегцающе», какъ клегчатъ въ гнѣздахъ молодыя орлицы, опять кинулась цѣловать Николу. Это уже переполнило «мѣру терпѣнія инока». Монахъ Никола плюнулъ, сказалъ: «ты бѣсъ, а не дѣвушка»,— и, вставъ, ушелъ ночью изъ гостиницы. Тѣмъ дѣло и кончилось.

Слѣдовательно, и вторая соблазнительница тоже не могла соблазнить нравственнаго мужчину. Теперь увидимъ, какой успѣхъ ждалъ третью, — женщину самую смѣлую и самую настойчивую въ искусствѣ соблазна.

---

20) (3) *Декабря 27.* Въ одной нижне-египетской пустынѣ жилъ очень воздержный отшельникъ, о которомъ разсказывали много необычайнаго, и особенно хвалили его за то, что онъ не поддается никакимъ соблазнамъ. Соблазнить его считалось невозможнымъ. Одни этому вѣрили, а другіе нѣтъ. Разъ знатные люди, пировавшіе съ городскими гетерами, переходя отъ одного соблазнительнаго разговора къ другому, заговорили объ этомъ пустынникѣ, и кто-то изъ нихъ — шутникъ и затѣйникъ — сказалъ одной изъ самыхъ славныхъ гетеръ:

— Вотъ этотъ человѣкъ — не то, что мы, — онъ васъ, женщинъ, презираетъ, и никакая красавица его не соблазнитъ.

Гетера же отвѣчала:

— Это пустяки: я никогда не повѣрю, чтобы какой-нибудь мужчина могъ устоять передъ женщиной, если она хороша изъ себя и хочетъ его привлечь къ своимъ ласкамъ.

Съ этихъ словъ завязался оживленный разговоръ, въ которомъ приняли участіе всѣ пировавшія вмѣстѣ гетеры и угощавшія ихъ знатныя лица, и, будучи распалены виномъ и взаимнымъ сближеніемъ половъ, всѣ они стали спорить: возможно или нѣтъ, чтобы мужчина, хоть и благочестивый и постникъ, устоялъ передъ соблазномъ, который поставитъ ему красивая женщина, если она рѣшится ни передъ чѣмъ не останавливаться для достиженія своей цѣли. И гетеры, и знатные богачи высказывали на этотъ счетъ разныя предположенія, и спору ихъ не предвидѣлось конца; но тогда одна самая красивая изо всѣхъ тутъ бывшихъ гетеръ сказала: «Чтобы намъ не толковать объ этомъ долго безъ доказательствъ, я предлагаю вамъ рѣшить споръ нашъ опы-

томъ; положимъ сейчасъ же закладъ: могу ли я соблазнить вашего отшельника или нѣтъ. Это больше докажетъ, чѣмъ споръ на словахъ, и будетъ гораздо интереснѣе. А потомъ я пойду и попробую силу моей красоты надъ его благочестіемъ, и мы увидимъ на дѣлѣ, кто изъ насъ правѣе: вы ли, которые думаете, что на свѣтѣ есть твердые мужи, недоступные силѣ женской красоты, или правы мы, женщины, которыя стояли за силу нашей власти надъ природой мужчины? Но только я не стану дѣлать этого задаромъ: я хочу знать, что вы мнѣ за это дадите болѣе противъ того заклада, какой я сама за себя положу вамъ?

Пировавшіе же друзья пообѣщали дать ей «очень дорогую вещь».

— Хорошо, — сказала гетера: — я увѣрена, что низложу вашего старца, и, не теряя времени, сейчасъ къ нему отправлюсь въ пустыню, а вы вставайте завтра утромъ раньше передъ тѣмъ, когда изъ-за горъ поднимется солнце; возьмите съ собою цвѣтовъ и вѣтвей со смолистыми шишками кедра, пусть за вами несутъ корзинцы съ сочными гроздями и пусть будетъ все какъ надо идти къ новобрачнымъ, а подъ одежды себѣ сокройте свирѣль и пектиду; когда же придете къ пустынной пещерѣ, то приближайтесь безъ шума и тихо туда черезъ тынъ загляните: я вамъ ручаюсь, что анахоретъ вашъ въ утомленіи страсти будетъ лежать въ крѣпкомъ снѣ, преклонясь къ моимъ ногамъ, — и вотъ это будетъ отвѣтъ вамъ на всѣ ваши споры со мною!

Собесѣдники весело согласились такъ сдѣлать. Тогда гетера безъ малѣйшаго промедленія переодѣлась въ сѣрую одежду съ неподрубленными краями и, имѣя видъ скромной странницы, вышла изъ города, а къ вечеру дошла до пещеры отшельника. Придя же къ самой двери отшельника, она притворилась утомленною до совершеннаго изнеможенія и стала просить, чтобъ онъ пустилъ ее къ себѣ переночевать. Старецъ былъ остороженъ и ни за что не хотѣлъ и слышать о томъ, чтобы пустить къ себѣ женщину: онъ отгонялъ ее прочь всякій разъ, какъ она къ нему «вопіяла»; но она не отставала и была очень искусна въ притворствѣ. Послѣ того, какъ старецъ отгонялъ ее нѣсколько разъ, она начала прежалобно плакать и представлять ему, какимъ страшнымъ опасностямъ она вскорѣ подвергнется, если онъ не пуститъ ее хоть за ограду, окружающую его

пещерку, и она должна будетъ остаться на всю ночь въ неогражденномъ мѣстѣ.

— Разсуди, отче, — говорила она: — вѣдь и я человѣкъ, подобный тебѣ...

— Въ томъ-то и дѣло, что—«подобный»,—отвѣчалъ тихо, какъ бы про себя старецъ.

— Такъ куда же мнѣ дѣться?

— А развѣ мала пустыня и нѣтъ въ ней пещерокъ? Иди и поищи себѣ пріюта.

Но переодѣтая притворщица отвѣчала:

— Ахъ, я не знаю, гдѣ искать, и къ тому же я сегодня такъ много прошла, что мои ноги болѣе уже не носятъ моего усталаго тѣла: я не могу дальше идти и бродить впотьмахъ въ пустынѣ.

Старецъ молчалъ.

Гетера выдержала нѣсколько минутъ и продолжала со скорбною рѣшимостью:

— Ну, пусть будетъ такъ: если ты не открываешь мнѣ двери, такъ я, все равно, лягу здѣсь на голыхъ камняхъ, у кольевъ твоей загородки, и тутъ наскочатъ на меня тигръ или левъ, и пусть они здѣсь же меня растерзаютъ.

Старецъ опять не отвѣчалъ, а она продолжала:

— Вотъ пусть здѣсь и найдутъ мои кости у пещеры христіанскаго отшельника. Это будетъ тебѣ похвала за то, какъ ты соблюдалъ свою славу, что согласился, чтобы женщину разорвали у твоего порога, лишь бы о тебѣ какой-нибудь болтунъ не сказалъ пустого слова въ корчмѣ или на торжищѣ, или не посмѣялись бы надъ тобой глупыя бабы, полоская бѣлье у запруды.

Старца начало уязвлять это, но онъ все-таки не подавалъ голоса, а та еще продолжала:

— Муки и смерть моя навсегда останутся тебѣ укоризной. Оставляй меня на съѣденіе звѣрю — и будешь самъ одного достоинства со звѣремъ.

Рѣчь эта тронула пустынника. Онъ слушалъ ее, держась рукою за подножье деревяннаго распятія, которое было у него въ пещерѣ во впадинкѣ, и все сильнѣе и сильнѣе сжималъ его въ рукахъ своихъ; но когда женщина представила въ словахъ, какъ звѣри будутъ терзать ее за его частоколомъ, сердце старца стало смягчаться состраданіемъ, руки, ослабѣвая, освобождались и самъ онъ, обращаясь по-

немногу лицомъ къ двери, чрезъ которую у нихъ шелъ разговоръ, сказалъ пришедшей:

— Окаянница! Что за напасть ты мнѣ несешь, и откуда ты мнѣ навязалась?

— О, старче Божій! — отвѣчала искусительница. — Не все ли это равно для тебя, откуда я пришла? Стыдись объ этомъ вопрошать! «Аще богобоенъ и человѣколюбивъ еси», то довольно съ тебя того, что я человѣкъ, что я изнемогаю и что жизнь моя въ смертной опасности; а ты можешь избавить меня отъ этой опасности и ничего не дѣлаешь, да даже, кажется, еще думаешь угодить своимъ безчувствіемъ Богу, Который создалъ людей и слышитъ всѣ ихъ стоны и жалобы. О! какъ ты удаляешь себя отъ Бога! Бѣдственно теперешнее мое положеніе, но, знай, я ни за что не согласилась бы промѣнять его на твое! Оставайся въ затворѣ, жестокій старикъ! — я не хочу болѣе отягчать мученіями твою совѣсть, я не хочу, чтобы люди укоряли тебя за твою жестокость. Пусть никто, кромѣ Бога и меня, не знаетъ, какое у тебя безсострадательное сердце, — я удаляюсь въ пустыню, и пусть звѣри меня растерзаютъ.

Пустыннику сдѣлалось жалко ее, сердце его сжалось отъ представленія объ ожидающемъ ее ужасѣ, и онъ воскликнулъ:

— Не уходи, окаянница,—такъ и быть, я впущу тебя.

— Ну, я благодарю Бога, что Онъ послалъ состраданіе ко мнѣ въ твое сердце,—скромно отозвалась гетера.

— Да; но только я все-таки не введу тебя въ мою пещерку, а впущу тебя только войти въ огородочку.

— Все равно,—для меня будетъ довольно и этого: лишь бы не съѣли меня звѣри.

Пустынникъ вытащилъ изъ частокола двѣ плахи и, открывъ лазъ, впустилъ гетеру, не глядя въ лицо ей, и опять задвинулъ лазъ плахами, а ей сказалъ, чтобъ она пріютилась тутъ въ этой загородкѣ и не просилась бы далѣе въ самую пещеру.

Гетера согласилась и дала ему обѣщаніе болѣе его не безпокоить до утра; но едва прошло малое время и старецъ сталъ на ночную молитву, какъ она начала потихоньку постукивать въ его дверь тонкимъ пальчикомъ, а голосомъ нѣжно жаловалась, что ея одежды слишкомъ легки, а ночь становится будто очень холодна, и вотъ она сильно зябнетъ.

Старецъ выбросилъ ей черезъ оконце свое ветхое рубище и сказалъ:

— Вотъ тебѣ, окаянница, все, что у меня есть! Возьми это себѣ и помни, что больше теперь уже ничего для тебя нѣтъ! Укрой этимъ свою смрадную плоть и не мѣшай мнѣ молиться.

Гетера его благодарила, и, отбросивъ отъ себя прочь рубище пустынника, которое казалось ей столь же смраднымъ, какъ тому была смрадна ея плоть,—обѣщала быть спокойною и ничѣмъ болѣе не нарушать его моленій.

Но обѣщаніе это, разумѣется, опять было неискренно, и спустя небольшое время, какъ только старецъ, начавшій продолжать прерванную молитву, «устремилъ свой умъ на высокая», безпокойная гетера опять начала къ нему тихо стучаться и царапаться, напирая легкимъ тѣломъ своимъ на узкую дверку его пещеры.

Старецъ смутился, потому что дверка, сколоченная его неискусными руками, была непрочна и во многихъ мѣстахъ сквозилась.

— Что же еще нужно тебѣ, окаянница? — спросилъ старецъ.

— Ахъ, я ужасно претерпѣваю! — отозвалась гетера.— Здѣсь на меня прыгаютъ съ земли аспиды! Ахъ, я несчастная! Это ужасно!

— Не бойся ихъ: я помолюсь за тебя, и аспиды тебѣ ничего не сдѣлаютъ.

Но гетера горько расплакалась и говорила, что уже теперь страшно страдаетъ, чувствуя опасный зудъ отъ уязвленій, сдѣланныхъ ей аспидами.

— Я буду молиться и объ этомъ,—сказалъ старецъ; но она, какъ бы не внимая сему, или не довѣряя таинственной силѣ молитвъ, вскричала съ болью и гнѣвомъ:

— Нѣтъ, ты мнѣ не то говоришь!.. Ты злой и гордый старикъ, или ты трусъ, надъ которымъ насмѣется врагъ твой, дьяволъ, за то, что ты боишься бѣдной, слабой женщины и не хочешь прикоснуться своею святою рукой къ моему страждущему тѣлу и исцѣлить меня отъ укушенія аспидовъ!

Старецъ ей отвѣтилъ:

— Не прикоснуся!—и вложивъ въ уши свои персты, началъ качать головой и громко молиться.

Но какъ только гетера увидала, что онъ заткнулъ уши, то она такъ сильно застучала въ дверь, что «все всколебалось», и старецъ невольно обратился къ ней съ вопросомъ:

— Теперь еще что̀ тебѣ, окаянница?

— Я слышу, какъ ползутъ огромныя змѣи; вотъ онѣ шуршатъ по травѣ, — вотъ изгибаются, чтобы проникнуть межъ кольевъ, — сейчасъ онѣ меня уязвятъ и обольютъ смертоноснымъ ядомъ.

— О, если бы ты, окаянная, знала, колико ты сама для меня хуже всякой змѣи! Но вотъ на̀ тебѣ мой посохъ,— онъ изъ такого дерева, котораго змѣи боятся. Возьми его и положи возлѣ себя и спи. Когда посохъ мой будетъ возлѣ тебя, змѣи отъ тебя удалятся.

И подумалъ старецъ, что теперь уже всѣ опасности для ночующей въ оградѣ женщины предотвращены, и хозяину, и гостьѣ—обоимъ можно мирно уснуть, каждому на своемъ мѣстѣ.

Онъ уже хотѣлъ загасить мерцавшій предъ нимъ свѣтильникъ и лечь на свое жесткое, тростниковое ложе, какъ женщина вдругъ бросилась на его дверь съ страшнымъ воплемъ и въ неописуемомъ ужасѣ закричала:

— О, старецъ! старецъ! впусти меня скорѣе къ себѣ! Я погибаю!

— Да что же еще тебѣ приключилось?—вскричалъ разгнѣванный старецъ.

— Ахъ, неужели же ты столько глухъ, сколь и жестокосердъ, что не слышалъ, какъ страшные звѣри рыщутъ вокругъ твоей огорожи!

— Я ничего особеннаго не слышу, — отвѣтилъ старецъ.

— Это оттого, что ты затворилъ свое сердце, и вотъ затворяется слухъ твой и скоро затворятся очи. Но отпирай мнѣ сейчасъ!—вотъ уже одинъ левъ съ палящею пастью поднялся на лапы, вотъ онъ бьетъ себя хвостомъ по бокамъ и уже перевѣсилъ сюда голову... О, скорѣй скорѣй!— вотъ онъ уже трогаетъ мое тѣло своимъ языкомъ... Твои ветхіе колья сейчасъ обломятся, и кости мои затрещатъ въ его пасти...

Пустынникъ отодвинулъ трепещущею отъ страха рукой задвижку двери, чтобъ удостовѣриться въ томъ, справедливо ли сказывала ему лукавая женщина, а она не дала

ему опомниться и сейчасъ же «впала» къ нему «въ его затворецъ», и съ тѣмъ вмѣстѣ и дверь за собою захлопнула, и вырвала изъ рукъ старца деревянный ключъ и бросила за оконце...

— А-га, окаянница, такъ вотъ ты вскочила!—произнесъ, увидя себя обманутымъ, старецъ.

Она же посмотрѣла «безстудно» и отвѣтила:

— Да, ты теперь въ моей власти!

И затѣмъ она сейчасъ же сѣла въ уголъ и, глядя съ безстыдною улыбкой на старца, начала снимать съ себя одежды одну за другою, и съ страшною быстротой сняла съ себя все, даже до послѣднихъ покрововъ...

Цѣломудренный отшельникъ былъ такъ пораженъ этимъ, что не успѣлъ ничѣмъ помѣшать поступку своей наглой гостьи; но, увидя ее уже раздѣтою, всплеснулъ руками и бросился лицомъ ницъ на землю, стеня и моля гетеру:

— О, жестокая! о, окаянная! О, пощади меня... Скройся!

Она же ему отвѣтила:

— Что̀ тебѣ до меня? Я тебя и не касаюсь! Ты во власти у Бога, и обладаешь собой, а я вольна надъ собой; мнѣ тяжелы мои ризы, и для того я сняла ихъ.

Пустынникъ ей что-то хотѣлъ отвѣчать, но вдругъ ощутилъ, что въ немъ побѣжало «адово пламя», и впало ему въ мысль «повлектись» къ этой женщинѣ. И тутъ онъ одолѣлъ и себя, и ее, и любителя всякой нечистоты—діавола. Онъ вскочилъ съ земли, быстро расправилъ огонь въ своемъ свѣтильникѣ какъ можно пылче, и, вложивъ въ пламя свою руку, началъ жечь ее...

Кожа его затрещала и по пещерѣ поползъ острый смрадъ горящаго тѣла.

Гетера ужаснулась и хотѣла вырвать у него фитиль, но онъ не далъ и оттолкнулъ ее. Тогда она отошла отъ него и заговорила:

— Оставь это безумство! — я лучше уйду отъ тебя, ибо мнѣ противно обонять запахъ твоего горящаго тѣла!

Но—увы!—ей выйти изъ пещеры было невозможно, потому что двери ея же хитростію были заперты и поневолѣ она и пустынникъ должны были ночевать вмѣстѣ. И напрасно она во всю ночь молила его перестать жечь себя—пустынникъ оставался непреклоненъ и все продолжалъ свою муку, а самъ смотрѣлъ въ сторону, ибо и при терзаніи себя

огнемъ онъ все-таки еще боялся смотрѣть на обнаженную соблазнительницу, а она, оцѣпенѣвъ отъ страха, не могла собрать свои платья и оставалась нагою.

Такъ прошла цѣлая ночь, и къ утру рука у пустынника была вся обуглена, а гетера «окаменѣла отъ ужаса».

Когда стала заниматься заря, то, по условію между гетерой и ея пріятелями, къ пещерѣ пришли юноши и съ ними подруги этой несчастной, которая взялась соблазнить отшельника; всѣ они были еще въ пьяномъ загулѣ и приближались къ пещерѣ съ виноградными гроздями и жаренымъ мясомъ и мѣхомъ вина, а также съ пахучими шишками смолистыхъ деревъ, и, ставъ у дверей частокола, заиграли на своихъ свирѣляхъ, но гетера имъ не отвѣчала. Тогда они поднялись и заглянули черезъ оконце въ пещеру и увидали, что отшельникъ продолжаетъ жечь себя на огнѣ, а обнаженная гетера сидитъ, окаменѣвши отъ ужаса.

Тутъ они выломали дверь и вынесли на свѣжій воздухъ свою лишившуюся чувствъ сообщницу, и когда она пришла въ чувство, то созналась, что не могла соблазнить старца, и горько въ своемъ намѣреніи каялась.

Такимъ образомъ выходитъ, что и третья соблазнительница тоже не имѣла успѣха, какъ и двѣ первыя, напавшія на такихъ людей, которые не искали любовныхъ забавъ. Теперь остается четвертая, которую приходится ставить въ эту группу.

21) (4) *Апрѣля 1.* Житіе преподобной Маріи Египетской въ первомъ періодѣ ея жизни описываетъ цѣлый рядъ грѣхопаденій все противъ одной и той же заповѣди о цѣломудріи. Эта, дѣйствительно, успѣвала въ соблазнѣ молодыхъ людей; но какъ она причислена къ лику святыхъ, и притомъ житіе ея весьма общеизвѣстно, то здѣсь никакихъ извлеченій изъ него дѣлать не будемъ. Но для своихъ систематическихъ выводовъ замѣтимъ, однако, что въ первомъ періодѣ жизни Маріи Египтянки соблазнительное поведеніе составляло ея профессію, такъ что и она тоже отнюдь не прилагала заботъ къ тому, чтобы соблазнять людей цѣломудренныхъ и удалявшихся отъ сближенія съ непостоянными женщинами, а она обращалась съ безпорядочными и развратными мужчинами просто потому, что жила въ такомъ кругу, гдѣ она иначе и не могла жить, пока ей открылось, что такая жизнь унижаетъ человѣка, и она,—опять къ

чести ея женской природы, — сама эту позорную жизнь оставила.

Соблазнительницъ или прелестницъ на 35 женщинъ, описанныхъ въ древнемъ, отреченномъ Прологѣ, оказывается *всего три*, и то изъ нихъ одна гетера, для которой это дѣло было ея ремесломъ. Стало-быть, отъ нея никакой высшей нравственности невозможно и требовать. Другая соблазнительница, пристававшая ночью къ монаху Николѣ въ болгарской гостиницѣ, несовершеннолѣтняя дѣвочка, была очевидно больная, всего вѣроятнѣе нервно-разстроенная. И затѣмъ, значитъ, въ настоящей, соблазнительной роли остается *только одна*, египетская щеголиха, употребившая чары своей красоты на то, чтобы соблазнить художника, дѣлавшаго красивые женскіе уборы. Эта красавица изъ высшаго круга александрійскихъ горожанокъ дѣйствовала какъ настоящая соблазнительница изъ-за того, что хотѣла пріобрѣсти себѣ цѣной своей красоты уборъ на голову. Слѣдовательно, по разсмотрѣніи всей этой галлереи, мы находимъ всего только *одну* соблазнительницу на тридцать пять женщинъ... Надо признаться, что эта доля чрезвычайно малая, но притомъ и эта изящная женщина, равно какъ и истерическая болгарская дѣвчонка и гетера—всѣ въ своихъ искательствахъ на мужчинъ не имѣли успѣха...

Послѣ этого позволительно спросить: изъ чего же можно вывесть, будто житійная литература представляетъ женщинъ въ особенно худомъ видѣ сравнительно съ мужчинами? Систематическое обозрѣніе нашего источника не показываетъ основаній для такого вывода.

Продолжая нашъ обзоръ, увидимъ нѣчто еще болѣе интересное и еще сильнѣе противорѣчащее старому повѣрью.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

22) *Сентября 29.* «Былъ монахъ Кононъ—попъ саномъ и устроенъ бѣ на крещеніе». Когда онъ крестилъ дѣтей или мужчинъ, все дѣло шло у него благополучно; но когда Конону приходилось крестить взрослыхъ женщинъ — ему были искушенія: «егда мазаша жены—люте соблазняшеся». Какъ ни старался попъ Кононъ возобладать надъ этимъ искушеніемъ—оно отъ него не отступало, и, терзаясь такимъ образомъ при всякой новокрещенницѣ, попъ Кононъ

рѣшился оставить свое соблазнительное послушаніе и бѣжать изъ монастыря. Онъ уже и привелъ свое намѣреніе въ исполненіе, то-есть вышелъ изъ монастыря и пошелъ куда глаза глядятъ, только чтобъ удалиться отъ монастыря и никогда болѣе не крестить взрослыхъ женщинъ; но не успѣлъ Кононъ далеко отойти изъ монастыря, какъ ему въ степи «явился Іоаннъ Креститель» и сказалъ ему: «не ходи, — я тебя облегчу отъ этой брани». Попъ Кононъ повѣрилъ словамъ Крестителя и воротился опять къ своему дѣлу въ монастырь. И нѣкоторое время не жалѣлъ объ этомъ. Теперь попу Конону въ самомъ дѣлѣ какъ будто было сноснѣе, такъ что онъ уже могъ помазывать новокрещенницъ безъ особеннаго для себя мученія; но вдругъ отъ одного незначительнаго, повидимому, случая все испортилось. Пришла въ монастырь креститься одна молодая персіянка, и Кононъ ее окрестилъ въ водѣ, но никакъ не могъ помазать своими руками тѣло ея освященнымъ масломъ, — «бѣ бо толико красна лицемъ персіяныня, яко не мощи попови помазати ногу ея». Дѣлалось съ нимъ что-то такое, что̀ передо всѣми обнаруживало въ немъ большое страданіе, котораго онъ ни скрыть, ни преодолѣть не могъ. Что̀ такое именно было съ Конономъ и какими припадками выражалось—въ древнемъ сказаніи не объяснено. Цѣлый день мучился съ этимъ искушеніемъ попъ Кононъ и все-таки никакъ не могъ помазать персіянку. О происшествіи этомъ сообщили епископу Петру, — и епископъ велѣлъ сейчасъ же привести персіянку къ себѣ; но отъ этого сдѣлалось не лучше, а хуже, ибо и самъ епископъ Петръ, «увидавъ персіянку, удивися добродію ея и восхоте пояти ее къ себѣ за діакона». Молодая же персіянка, хотя еще и мало была наставлена въ истинахъ христіанской вѣры и даже была еще не совсѣмъ докрещена, однако, она не захотѣла согласиться на предложеніе епископа Петра,—чтобы жить при немъ подъ видомъ діакона, и, несмотря на всѣ убѣжденія епископа, «не сотвори сего». Такъ она и осталась съ непомазанными ногами, потому что когда персіянку повели къ епископу, попъ Кононъ «разгнѣвася, вземъ ризы своя и отъиде въ горы». Теперь онъ уже ни за что не хотѣлъ идти назадъ въ монастырь и мѵропомазывать персіянку. Но когда попъ Кононъ, разсердясь на своего епископа, блуждалъ по пустынѣ, его опять встрѣтилъ Іоаннъ

Креститель и сказалъ ему: «возвратися, попе, въ монастырь, уже азъ облегчу тебя теперь отъ брани».

«Тогда Кононъ рече съ гнѣвомъ: не обращуся, многажды бо обѣщался облегчити ми и но сотвори».

«Емъ же его св. Іоаннъ посади и открыл ризы его и знаменіемъ крестнымъ перекрести и глаголя: хотѣлъ, дабы ты имѣлъ мзду брани, но понеже не хощеши, се уже облегчихъ тя, но мзды уже не имаши отъ вещи сея».

«И возвратися въ монастырь пресвитеръ, на утро же крестивъ помаза персіянку, даже яко бы не разумѣвъ яко жена есть естествомъ».

Вниманіе читателя не должно проскользнуть безъ замѣчанія мимо того, что оба мужчины, то-есть попъ Кононъ и епископъ Петръ, страдали, и Кононъ даже не могъ справиться съ собой безъ особаго чуда со стороны Іоанна Крестителя, а персіянка, дѣвушка, безъ особыхъ усилій охраняла себя и воздержала отъ паденія обоихъ священнослужителей *).

23) *Апрѣля 29.* Нѣкоторый монахъ, жившій въ недостаточномъ монастырѣ, былъ посланъ во время рабочей поры въ міръ, чтобы поработалъ на людей и, прокормивъ себя, принесъ бы также что-нибудь въ обитель. Монахъ этотъ зналъ одного очень честнаго и довѣрчиваго поселянина и пришелъ къ нему предложить свои услуги. Поселянинъ принялъ его съ полнымъ довѣріемъ и, встрѣтивъ

---

*) Въ тѣ времена, къ которымъ относится разсказъ, крестильныя обязанности соединены были для крещающаго съ довольно значительными трудами. Въ знаменитомъ «Ученіи двѣнадцати апостоловъ», открытомъ Бріеніемъ, встрѣчаемъ слѣдующее (см. переводъ журнала *Дѣтская Помощь*, М. 1885 г., № 8): «Что касается до омовенія (по кіевскому переводу «крещенія»), то омывайте (кіевск. «крестите») такъ: напередъ скажите тому, кого вы омываете, все, что тутъ сказано (о пути жизни и о пути смерти) и *потомъ омывайте* во имя Отца и Сына и Св. Духа, въ водѣ проточной. Если же не имѣешь проточной воды, то омывай въ другой водѣ; если нѣтъ ни той, ни другой, то облей три раза водой голову. Предъ омовеніемъ же пусть постится *тотъ, котораго будутъ омывать, и тотъ, который будетъ омывать, и другіе, если могутъ*». «Попъ, учрежденный на крещеніе», прежде чѣмъ омывать крещаемую, имѣлъ обязанность поститься съ ней и внушать ей: «берегись тѣлесныхъ и мірскихъ побужденій, не прелюбодѣйствуй, не распутничай, не умерщвляй младенца въ утробѣ и рожденнаго не убивай, не сквернословь, не сквернмысли и не озирайся на то, чего тебѣ не надо видѣть—это ведетъ къ распутству» (стр. 426).

надобность отлучиться изъ дома, оставилъ монаха на хозяйствѣ «домоглядѣльцемъ», поручивъ ему также свою очень молодую дочь, которая была замужемъ всего только одинъ годъ и овдовѣла.

Судя по тому, въ какіе ранніе годы выдавали тогда дѣвочекъ замужъ на Востокѣ, надо полагать, что эта молодая вдовица, съ которою монахъ остался «домоглядѣльцемъ», имѣла что-нибудь около 12—13 лѣтъ, то-есть, по нашимъ нынѣшнимъ представленіямъ, она сама была еще почти дитя.

Оставшись съ этою юницей, монахъ, которому было поручено охранять ее, вдругъ самъ началъ чувствовать, что «онъ побѣждается ею». Не сказано, какъ «побѣждаемый» боролся; но сказано, что онъ сразу же сталъ вести себя такъ странно, что и побѣдительница его стала это замѣчать, и побѣда ея надъ нимъ была ей нежелательною. Она испугалась своего положенія, которое и въ самомъ дѣлѣ было небезопасно, такъ какъ она оставалась съ монахомъ съ глазу на глазъ одна, и даже возлѣ дома ихъ не было близко сосѣдей, которые могли бы ей подать помощь. Молодая женщина все это сообразила и поняла, что она ни откуда не могла надѣяться получить себѣ защиту въ томъ случаѣ, если «побѣждаемый ею» монахъ совсѣмъ побѣдится и, утративъ самообладаніе, обратится къ дерзкимъ мѣрамъ насилія. Она не могла разсчитывать на свою силу, чтобы отразить его. А къ несчастію, скоро въ этомъ оказалась надобность. Монахъ однажды, «пришедъ по обычаю, нача смущатися и къ ней подвизатися». Приступъ его былъ столь рѣшителенъ, что молодицѣ казалось уже невозможно въ этотъ разъ спастись отъ него; но она, однако, отыскала средство къ спасенію. «Бывъ смышлена и благоразсудна», молодица не стала сопротивляться иноку силой и даже не подняла никакого безполезнаго шума, такъ какъ она понимала, что при всякомъ сопротивленіи «побѣжденному» перевѣсъ оказался бы не на ея побѣдной сторонѣ, и вотъ она не захотѣла сопротивляться ему какъ животному, а отважилась повліять на лучшую сторону его духовной природы,—не на его взбунтовавшіяся физическія силы, а на его совѣстливость.

— О, отче! — сказала она монаху: — для чего ты такъ усиленно на меня нападаешь! Развѣ я и безъ того не въ твоей власти! Мы съ тобой вдвоемъ въ цѣломъ домѣ, и я

слишкомъ слаба, чтобы тебѣ сопротивляться. Не загораживай же напрасно всѣ двери и окна: я не птица и не муха и не могу отсюда ни улетѣть, ни выйти. Сейчасъ я буду вся въ твоей власти, но только оставь мнѣ покуда еще одно малое мгновеніе, чтобъ я могла сдѣлать то, что желаю.

Монахъ сказалъ:—Сдѣлай!

А она попросила, чтобъ и онъ, «аще милосердъ», сдѣлалъ то же самое, что она будетъ дѣлать.

«—Что же ты хочешь сотворить?»—спросилъ монахъ.

«—Хощу рещи глаголъ нѣкій Богу», — отвѣчала молодица:—а такъ какъ сіе и твое дѣло, то потому давай оба вмѣстѣ помолимся, и потомъ ты, помолясь Богу, поступай со мной какъ пожелаешь.

Монахъ нашелъ, что это ему совершенно нежелательно, и не только не сталъ молиться, а еще болѣе «побѣждался, мятошася отъ брани». Тогда молодица стала умолять его, чтобъ онъ хоть ей далъ время помолиться. На это монахъ согласился, и она сейчасъ же начала молиться и молилась вслухъ, выражая въ словахъ, относимыхъ къ Богу, свою беззащитность и свою покорность предъ несчастіемъ, которое можетъ надъ ней совершиться; а притомъ излила и свое горячее сожалѣніе о несчастномъ человѣкѣ, который хочетъ оскорбить ея чистоту, и просила простить ему грѣхъ его, потому что онъ далъ надъ собой такую власть страсти, что сталъ хуже всякаго животнаго, ибо посягаетъ на цѣломудріе женщины, которая сама довѣрилась его защитѣ... Монахъ все ее слушалъ—и совѣсть его стала пробуждаться, и, наконецъ, дѣло дошло до того, что онъ прослезился, и вдругъ увидалъ, что молящуюся женщину окружаютъ какіе-то свѣтлые духи, и онъ испугался и убѣжалъ отъ нея.

Можно подумать, что этотъ легендарный случай былъ извѣстенъ Мильтону и что онъ вызвалъ у него прекрасныя строфы:

«Такъ свято предъ очами неба дѣвство,
Что если искренно душа блюдетъ его завѣты —
Тьмы ангеловъ на службу ей готовы».

Послѣ такихъ юныхъ, нѣжныхъ и граціозныхъ женскихъ лицъ, какъ эта молодица и персіянка, встрѣчаемъ опять цѣломудренную и энергическую женщину стоненнаго воз-

раста, которая, сообразно своей житейской опытности, не только себя оберегла отъ соблазна, но еще дала прекрасный урокъ соблазнителю. Эта степенная женщина тоже обрезониваетъ и спасаетъ монаха, но совсѣмъ инымъ пріемомъ.

24) *Іюня 13.* «Братъ нѣкій посланъ бысть изъ монастыря по службѣ» и, идучи дорогою, «пришелъ на мѣсто нѣкое, имущее воду». Здѣсь ему понравилось положеніе, и онъ присѣлъ, чтобъ отдохнуть и подкрѣпить себя пищей; но едва расположился, какъ примѣтилъ женщину, которая, стоя на берегу, мыла «платно». Разстояніе мѣшало брату опредѣлить возрастъ и разсмотрѣть черты лица женщины, но, тѣмъ не менѣе, братъ засмотрѣлся, какъ она моетъ и нагибается, и на него сейчасъ же «пріиде брань»: братъ былъ неопытный и не могъ долго бороться; онъ сейчасъ же подошелъ къ этой женщинѣ близко и, не стѣсняясь тѣмъ, что женщина была значительно старше его, сдѣлалъ ей предложеніе, чтобъ она раздѣлила съ нимъ удовольствіе загорѣвшейся въ немъ страсти.

А женщина, надо полагать, была разсудительная и спокойная: она посмотрѣла на взволнованнаго инока безо-всякаго страха и отвѣчала ему съ ироніей:

— Мнѣ не трудно тебя послушаться, но только смотри, не пришла бы тебѣ послѣ отъ этого скорбь?

— А какая мнѣ можетъ быть скорбь?

— Не стала бы тебя мучить совѣсть и не впалъ бы ты въ отчаяніе?

— Нѣтъ, я этого ничего не боюсь,—отвѣчалъ монахъ.

— Ну, смотри: многіе послѣ каются.

— Да нѣтъ, ужъ я себя знаю.

— Нѣтъ, ты хорошенько подумай: не сталъ бы ты сильно жалѣть!

— Да нѣтъ же, не безпокойся: ни о чемъ я жалѣть не буду!

— А ты сколько лѣтъ прожилъ уже въ монастырѣ?

— Семнадцать.

— И неужели тебѣ не жаль ихъ?

— Нимало.

— А ты знаешь ли еще («имаши ли искусъ»,—то-есть испыталъ ли?), что̀ есть жена?

— Нѣтъ, не знаю.

— Ну, такъ какъ же ты, не зная, *что̀ есть*, согла-

шаешься бросить за это невѣдомое то, въ чемъ наставленъ и чего добивался цѣлыхъ семнадцать лѣтъ? Ты знай, что взять женщину — это значить взять на себя большое обязательство. Я, изволь, соглашусь, на что ты манишь меня, и пусть это будетъ по-твоему; но помни, что потомъ я отъ тебя не отстану, и можетъ случиться, что тебѣ придется принять на себя еще и бо́льшую тягость.

— Какую же еще бо́льшую тягость?

— А такую, что есть ли у тебя гдѣ содержать меня и дѣтей, и чѣмъ кормить насъ?

— Нѣтъ, у меня жилья нѣтъ и кормить васъ нечѣмъ.

— Такъ какъ же ты смѣешь меня звать?

— Я объ этомъ не думалъ.

— Ты, вѣрно, думалъ, что послѣ можешь удалиться?

— Да, я вотъ именно такъ намѣревался.

— Ну, такъ ты очень глупъ, а ты впередъ знай, что женщины не для того только созданы, чтобъ угашать въ васъ огонь вашей страсти, а что онѣ имѣютъ стыдъ и любовь къ дѣтямъ, и себя и своихъ дѣтей оберегаютъ и за виновникомъ ихъ рожденія всюду готовы слѣдовать. Осмѣлься-ка, тронь меня, я посмотрю, куда ты отъ меня дѣнешься? Я пойду къ твоему аввѣ и скажу: авва! не давай ему ни хлѣба, ни сочива и прогони его вонъ: я черезъ него стала тяжелою и не могу больше гнуться,—пусть онъ идетъ со мною и кормитъ меня, и вмѣстѣ со мною питаетъ и дитя, которое имѣетъ родиться. Авва твой тебя и выгонитъ, а я тогда заставлю тебя полоскать вмѣсто меня въ водѣ портомойню.

— Ты меня вельми просвѣтила,—отвѣчалъ монахъ.

— То-то и есть. Образумься. Если ты ужъ посвятился въ монахи, то иди скорѣй въ свой монастырь, а не стой по такимъ мѣстамъ, гдѣ женщины моютъ на рѣчкѣ.

Братъ почувствовалъ себя пристыженнымъ и, испугавшись того, чѣмъ пристрашила его прачка, возвратился бѣгомъ въ монастырь и никогда больше не засматривался на женщинъ, ибо всегда помнилъ эту прачку и со встрѣчи съ нею питалъ опасеніе къ рѣшительности женскихъ характеровъ.

Трогательны и способны вызывать живое сочувствіе выведенные вслѣдъ за симъ типы профессіональныхъ «блудницъ» и «блудницъ нищеты ради уготованныхъ».

25) *Августа 3.* Въ городъ Тиръ пришли разъ два черноризца, и когда они проходили по уединенному мѣсту, гдѣ притаивались городскія блудницы, то одна изъ этихъ несчастныхъ женщинъ, по имени Порфирія, томимая голодомъ, бросилась къ одному изъ братій и, рыдая, восклицала: «Отче! спаси меня, какъ Христосъ спасъ блудницу!» Тутъ же были проходящіе люди и все это видѣли.

Черноризецъ зналъ, что тогдашніе люди имѣли самое невысокое мнѣніе о монашескомъ цѣломудріи и теперь, увидя его съ блудницей, навѣрное станутъ смѣяться надъ нимъ и осуждать его,—особенно если онъ исполнитъ просьбу блудницы и станетъ о ней заботиться; но, съ другой стороны, онъ разсудилъ,—что же важнѣе: снести ли напрасное осужденіе отъ толпы, или явно отвергнуть человѣка, который умоляетъ «спасти» его во имя Христово? Выбрать правильное рѣшеніе, разумѣется, было не трудно, и черноризецъ отвѣтилъ блудницѣ: «иди за мною» и, «взявъ ее за руки, повелъ ее сквозь народъ изъ города».

Тогда по всему городу и по окрестностямъ быстро распространилась молва, что «черноризецъ поялъ себѣ блудницу Порфирію», и всѣ видѣли въ этомъ большой соблазнъ; но ни черноризецъ, ни его игуменъ не обращали на это никакого вниманія, а спасенная отъ позорнаго промысла блудница Порфирія, отдохнувъ и поправясь у брата, обнаружила въ себѣ большую сердечную доброту и нѣжность. Она нашла у какого-то уединеннаго бѣднаго храма брошенное дитя и, исполнившись къ нему жалости, взяла его и стала его воспитывать. «По лѣтѣ же единемъ простая чадь (то-есть простолюдины) изъ Тира» пришли для молитвенныхъ цѣлей въ обитель, куда укрыта была Порфирія, и узнали ее, а увидавъ при ней годовое дитя, заговорили: «добре чернище-черничища еси породила!» Люди эти разсказали въ Тирѣ, что видѣли у черноризца Порфирію и при ней годового ребенка, какъ разъ будто похожаго на того брата, который взялъ ее и провелъ съ собою черезъ весь городъ. Черноризецъ слышалъ объ этомъ и семь лѣтъ молчалъ, а въ это время пріемышъ Порфиріи выросъ, а она сама сдѣлалась монахиней. Тогда чернецъ, чувствуя приближеніе смерти, взялъ эту женщину и ея пріемыша и пошли всѣ трое вмѣстѣ въ Тиръ. Здѣсь инокъ собралъ въ одно мѣсто сто человѣкъ и велѣлъ принести

полную кадильницу жарко горящихъ угольевъ, и при всѣхъ ссыпалъ эти пламенѣющіе уголья въ свой стихарь. Стихарь не загорѣлся и даже не чадилъ. Всѣ это видѣли и удивлялись, а черноризецъ сказалъ:—«Вотъ и смотрите: въ этомъ есть знаменіе, что я отъ рожденія своего никогда не зналъ грѣха женскаго». Раздѣлявшая же съ нимъ напраслину Порфирія, прежде бывшая тирская блудница, а потомъ благочестивая отшельница, посвятила остатокъ своей жизни спасенію другихъ женщинъ, переносившихъ въ Тирѣ такое же самое унизительное положеніе, изъ котораго она вырвалась при состраданіи монаха, котораго она никогда не склоняла къ любовному сближенію со собою, а хранила къ нему только высокое чувство благодарности и уваженія.

Другая блудница къ самому паденію своему приводится такимъ трогательнымъ путемъ, какому не представляетъ равнаго никакой художественный вымыселъ.

26) *Апрѣля* 8. Въ Александріи жила одна очень молодая и очень красивая дѣвушка, египтянка. Она была круглая сирота. Родители ея умерли, едва только она вышла изъ дѣтства, и оставили ей хорошій достатокъ. Дѣвица имѣла благоустроенный домъ и обширный виноградный садъ по скату къ рѣкѣ Нилу. Наслѣдства, которое она получила, достаточно было бы, чтобъ ей прожить цѣлую жизнь въ довольствѣ; но молодая египтянка была чрезвычайно участлива ко всякому человѣческому горю и ничего не жалѣла для того, чтобы помочь людямъ, впадающимъ въ бѣдствіе. Черезъ это съ нею произошелъ слѣдующій роковой случай.

Разъ передъ вечеромъ, когда схлынулъ палящій египетскій жаръ, египтянка пошла со своими служанками купаться къ Нилу. Она выкупалась и, освѣженная, покрывшись легкимъ покрываломъ, тихо возвращалась къ себѣ назадъ черезъ свой виноградникъ. Служанки ея этимъ временемъ оставались еще на рѣкѣ, чтобъ убрать купальныя вещи.

Вечеръ послѣ знойнаго дня былъ прелестный; работники, окончивъ свое дѣло, ушли, и виноградникъ былъ пустъ. Египтянка могла быть увѣрена, что она одна въ своемъ саду; но вдругъ, къ удивленію своему, она замѣтила въ одной куртинѣ присутствіе какого-то незнакомаго ей человѣка. Онъ какъ-будто скрывался и въ то же время торопливо дѣлалъ что-то у одного плодовитаго дерева. Можетъ-

быть, онъ рвалъ плоды и оглядывался, боясь, что его поймаютъ вертоградари.

Египтянкѣ пришло на мысль подойти ближе къ незнакомцу съ тѣмъ, чтобы помочь ему скорѣе нарвать больше плодовъ и потомъ тихо проводить его черезъ ходъ, выводившій на берегъ Нила, къ купальнѣ. Съ этою цѣлью она и пошла къ незнакомцу.

Но когда египтянка подошла ближе, то она увидала, что этотъ незнакомецъ не срывалъ плоды, а дѣлалъ что-то совсѣмъ другое: онъ закрѣплялъ для чего-то шнуръ къ суку стараго дерева. Это показалось ей непонятно, и она притаилась, чтобы видѣть, что̀ будетъ дальше, а незнакомецъ сдѣлалъ изъ шнура петлю и вложилъ въ нее свою голову... Еще одно мгновеніе—и онъ удавился бы въ этой петлѣ, изъ которой слабой дѣвушкѣ не по силамъ было бы его вынуть, а пока она успѣла бы позвать на помощь людей, удавленникъ успѣлъ бы умереть... Надо было помѣшать этому немедленно.

Египтянка закричала: «остановись!» и, бросаясь къ самоубійцѣ, схватилась руками за петлю веревки.

Незнакомецъ былъ пожилой человѣкъ, эллинъ, съ печальнымъ лицомъ и въ печальной одеждѣ, съ неподрубленнымъ краемъ. Увидавъ египтянку, онъ не столько испугался, сколько пришелъ въ досаду, и сказалъ ей:

— Какое несчастіе! Злой демонъ, что ли, выслалъ тебя сюда, чтобъ остановить мою рѣшимость?

— Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь такъ прекрасна?—отвѣчала ему египтянка.

— Можетъ-быть, жизнь и прекрасна для тебя и для подобныхъ тебѣ, которыя живутъ въ полномъ довольствѣ. Раньше и я находилъ въ ней хорошее, но нынче судьба отъ меня отвернулась и жизнь моя составляетъ мнѣ несносное бремя: ты не права, что мѣшаешь мнѣ умереть. Иди отсюда своею дорогою и оставь мнѣ возможность вылѣзть по моей веревкѣ вонъ изъ этой житейской ямы, гдѣ я не хочу болѣе терзаться между грязью и калеными угольями.

Дѣвушка не соглашалась его оставить и сказала:

— Я не позволю тебѣ удавиться: я закричу—и сейчасъ прибѣгутъ мои люди. Лучше возьми свой шнурокъ подъ одежду и поди за мною въ мой домъ: разскажи мнѣ тамъ

твое горе, и если есть возможность облегчить его, то я это сдѣлаю, а если оно въ самомъ дѣлѣ такъ безпомощно, какъ ты думаешь, тогда... выходи отъ меня со своимъ шнуромъ куда хочешь: я тебѣ ни въ чемъ не помѣшаю, и ты еще не опоздаешь тогда повиснуть на деревѣ.

— Хорошо, — отвѣчалъ незнакомецъ: — и какъ мнѣ ни тяжело медлить на землѣ, но ты мнѣ кажешься такою участливою, въ глазахъ твоихъ столько ума, а въ голосѣ ласки, что я тебѣ хочу повиноваться. Вотъ уже шнуръ мой спрятанъ подъ моею одеждой, и я готовъ идти за тобою.

Египтянка привела отчаяннаго въ свой благоустроенный домъ, приказала служанкѣ подать фрукты и прохладительное питье и, усадивъ гостя среди мягкихъ подушекъ на пышномъ коврѣ, вышла, чтобы перемѣнить свое купальное платье на другое. Когда же она возвратилась, то сѣла тутъ же рядомъ съ гостемъ, а за ними стали двѣ черныя служанки и легкимъ движеніемъ шелковыхъ кистей начали приводить въ колебаніе спускавшееся съ потолка огромное, напитанное ароматами, опахало изъ большихъ пестрыхъ перьевъ.

Египтянка желала какъ можно скорѣе узнать горестную исторію незнакомца, что онъ и исполнилъ. Разсказъ его былъ простъ и немногосложенъ. Покусившійся на самоубійство эллинъ недавно еще имѣлъ большое состояніе, но потерпѣлъ неудачи въ дѣлахъ и до того задолжалъ, что не могъ разсчитаться со своимъ заимодавцемъ. Въ этомъ затрудненіи онъ прибѣгнулъ къ его состраданію; но это было напрасно: богачъ соглашался оказать ему снисхожденіе, но не иначе, какъ на одномъ ужасномъ условіи.

— Въ чемъ же заключается это условіе? — спросила египтянка.

— Я не могу сказать тебѣ этого при твоихъ слугахъ.

Она велѣла служанкамъ удалиться.

— У меня есть дочь, дѣвушка твоихъ лѣтъ. Она такъ же, какъ ты, стройна станомъ и прекрасна лицомъ, а о сердцѣ ея суди какъ можешь по слѣдующему. Заимодавецъ мой, большой и безнравственный сластолюбецъ, сказалъ мнѣ: «отдай мнѣ твою дочь на ложе, и тогда я освобожу тебя отъ темницы,—иначе ты задохнешься въ колодкѣ». Я оскорбился и не хотѣлъ слышать объ этомъ. Это было мнѣ тѣмъ болѣе тяжко, что у моей бѣдной дочери есть женихъ.

Онъ бѣденъ, но имѣетъ возвышенный умъ, и дочь моя горячо любитъ его съ самаго дѣтства; кромѣ того, и жена моя не снесетъ такого безчестья, чтобы дочь наша стала наложницей. Но бѣда настигаетъ бѣду: представь себѣ новое горе: дочь моя все это узнала и сегодня сказала мнѣ тихо:

«— Отецъ, я все знаю... я уже не ребенокъ... я рѣшилась, отецъ... Чтобы на твою старую шею не набили колодку... Прости мнѣ, отецъ... я рѣшилась...»

Она зарыдала, и я вмѣстѣ съ нею рыдалъ еще больше и сталъ ее отговаривать, но она отвѣчала:

«— Любовь къ тебѣ и къ матери, которая не снесетъ твоего униженія, во мнѣ теперь говоритъ сильнѣе любви къ моему жениху: онъ молодъ, — продолжала она, глотая бѣжавшія слезы:—онъ полюбитъ другую и съ ней пусть узнаетъ счастье супружеской жизни; а я... я твоя дочь... я дочь моей матери... вы меня воспитали... вы стары... Не говори мнѣ больше ни слова, отецъ, потому что я твердо рѣшилась».

Притомъ она пригрозила, что если я буду ей противорѣчить, то она не станетъ ждать завтрашняго дня, когда заимодавецъ назначилъ мнѣ срокъ, а уйдетъ къ нему сію же минуту.

Незнакомецъ отеръ набѣжавшія на лицо его слезы и кончилъ:

— Что̀ еще скажу тебѣ дальше? Моя дочь имѣетъ рѣшительный нравъ и нѣжно насъ съ матерью любитъ... Что̀ она порѣшила, противъ того напрасно съ ней спорить... Я упросилъ ее только подождать до завтра, и солгалъ ей, будто имѣю еще на кого-то надежду... День цѣлый я ходилъ какъ безумный, потомъ возвратился домой, обнялъ жену и дочь и оставилъ ихъ вмѣстѣ, а самъ взялъ тихонько шнурокъ и побѣжалъ искать уединеннаго мѣста, гдѣ могъ бы окончить мои страданія. Ты мнѣ помѣшала, но зато облегчила горе мое своимъ сердобольнымъ участіемъ. Мнѣ мило видѣть лицо твое, прекрасное и доброе, какъ лицо моей дочери. Пусть благословитъ тебя Небо, а теперь прощай и не мѣшай мнѣ: я пойду и покончу съ собой. Когда я не буду въ живыхъ, дочь моя не станетъ бояться колодки, которую могутъ набить на шею отцу, и она выйдетъ замужъ за своего жениха, а не продастъ себя, ради отца, богачу на безчестное ложе.

Египтянка внимательно выслушала весь разсказъ незнакомца, а потомъ сказала, глядя ему твердо въ лицо:

— Я понимаю во всемъ твою милую дочь — она добрая дѣвушка.

— Тѣмъ это тяжелѣй для меня,— отвѣчалъ незнакомецъ.

— Я понимаю и это; но скажи мнѣ: сколько ты долженъ заимодавцу?

— О, очень много, — отвѣчалъ незнакомецъ и назвалъ очень знатную сумму.

Это равнялось всему состоянію египтянки.

— Приди ко мнѣ завтра—я дамъ тебѣ эту сумму.

Незнакомецъ изумился: онъ и радовался, и не могъ вѣрить тому, что̀ слышитъ, а потомъ сталъ ей говорить, что онъ даже не смѣетъ принять отъ нея такую великую помощь. Онъ напомнилъ ей, что долгъ его составляетъ слишкомъ значительную сумму, и просилъ ее подумать, не подвергаетъ ли она себя слишкомъ большой жертвѣ, которой онъ даже не въ состояніи и обѣщать возвратить ей.

— Это не твое дѣло,—отвѣчала египтянка.

— Притомъ же,— сказалъ онъ: — припомни и то, что я изъ другого народа—я эллинъ, и другой съ тобой вѣры.

Египтянка опустила рѣсницы своихъ длинныхъ, какъ миндалины, глазъ и отвѣчала ему:

— Я не знаю, въ чемъ твоя вѣра: это касается нашихъ жрецовъ; но я вѣрю, что грязь такъ же мараетъ ногу гречанки, какъ и ноги всякой иной, и одинаково каждую жжетъ уголь каленый. Не смущай меня, грекъ; твоя дочь покорила себѣ мое сердце, — иди, обними твою дочь и жену и приди ко мнѣ завтра.

А когда незнакомецъ ушелъ, дѣвушка тотчасъ же опять взяла свое покрывало и пошла къ богатому ростовщику. Она заложила ему за высокую цѣну все свое имущество и взятое золото отдала на другой день незнакомцу.

Черезъ малое же время, когда прошелъ срокъ сдѣланнаго заклада, ростовщикъ пришелъ съ закладной и взялъ за себя все имущество египтянки, а она должна была оставить свой домъ и виноградникъ и выйти въ одномъ бѣдномъ носильномъ платьѣ. Теперь у нея не было ни средствъ, ни пріюта.

Скоро увидѣли ее въ этомъ положеніи прежніе знакомые ея родителей и стали говорить ей:

— Ты безумная дѣвушка и сама виновата въ томъ, до чего тебя довела твоя безразсудная доброта!

Она же имъ отвѣчала, что ея доброта не была безразсудна, потому что теперь она лишь одна потерпитъ несчастье, а безъ этого погибало цѣлое семейство. Она разсказала имъ все о несчастьѣ эллина.

— Такъ ты вдвое безумна, если сдѣлала это все для людей чужой вѣры!

— Да вѣдь не порода и вѣра страдали, а *люди*,—отвѣтила она.

Услыхавъ такой отвѣтъ, знакомые почувствовали противъ нея еще бо́льшее раздраженіе.

— Ты хочешь блистать своей добротою къ чужевѣрнымъ пришельцамъ, — ну, такъ живи же, какъ знаешь! — и всѣ предоставили ее судьбѣ, а судьба приготовила ей жестокое испытаніе.

Великодушная дѣвушка не могла избѣжать тяжкихъ бѣдствій по причинамъ, которыя крылись въ ея воспитаніи: она совсѣмъ не была приготовлена къ тому, чтобы добывать себѣ средства своими трудами. Она имѣла молодость, красоту и свѣтлый, даже проницающій умъ и возвышенную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Прелестное, дѣвственное тѣло ея было слабо для того, чтобъ исполнять грубыя работы—береговыя поденщицы ее отгоняли; она не могла носить ни корзины съ плодами, ни кирпичи на постройки, и когда она хотѣла мыть бѣлье на рѣкѣ, то зола изъ сгорѣвшаго нильскаго тростника разъѣдала ея нѣжныя руки, а текучая вода производила у нея головокруженіе, такъ что она упала въ воду и ее, полуживую, безъ чувствъ вытащили изъ Нила.

Она очутилась въ отчаянномъ положеніи: въ мокромъ платьѣ и голодная. Съ ней подѣлилась сухою ячменною лепешкой береговая блудница, — одна изъ тѣхъ, которыя во множествѣ бродили по берегу Нила, поджидая проходившихъ здѣсь вечеромъ чужеземныхъ матросовъ (навклировъ); одна эта женщина подѣлилась съ нею и на ночь своею цыновкой, она же прикрыла ее и отъ стужи ночной своею сухою одеждой, а потомъ... прекрасная египтянка стала такою же, какъ эта, прибрежной блудницею.

Всѣ знавшіе Азу отъ нея отвратились — она погибала. Иногда она приходила въ свой бывшій виноградникъ, подъ

то самое дерево, на вѣтвяхъ котораго хотѣлъ удавиться избавленный ею незнакомецъ, и вспоминала его разсказъ, и всегда находила, что не могла поступить иначе, какъ поступила: пусть страдаетъ она, но другіе спасены!.. Это радовало египтянку и давало ей силу терпѣть ея униженіе; но случались минуты слабости, когда она была близка къ отчаянію и готова была броситься въ Нилъ. Тогда она садилась надъ кручей на красномъ, какъ сгустѣлый комъ крови, песчаномъ холмѣ и размышляла о томъ: неизбѣжно ли такъ должно быть, чтобы добрый всегда былъ между грязью и калеными угольями?

Или будь безучастенъ къ горю людскому, или утони въ горѣ самъ? Третій выборъ—плетись между грязью и углемъ. Для чего же тогда нашимъ сердцамъ дано знать состраданіе? Или Небо жестоко? Зачѣмъ оттуда никто не сойдетъ и не укажетъ — какъ людямъ сдѣлать жизнь свою лучше, чтобъ отверженныхъ не было, и чтобы не было гордыхъ, пресыщенныхъ и нищихъ? О, если бы снизошелъ оттуда такой великій учитель, если бы былъ такой человѣкъ, — какъ бы она хотѣла рыдать у его ногъ и во всю жизнь исполнять все, что онъ ей прикажетъ!

Въ такомъ настроеніи она однажды тихо брела вдоль берега Нила, по уединенному мѣсту, и не встрѣчала въ этотъ день даже буйныхъ мореходцевъ. Она уже два дня не ѣла и чувствовала мучительный голодъ. Въ глазахъ у нея мутилось. Она подошла къ рѣкѣ и нагнулась, чтобы напиться, но сейчасъ же отскочила въ испугѣ: такъ самой ей показалось страшно ея изнуренное лицо съ померкнувшимъ взглядомъ. А такъ недавно еще ее всѣ называли «прекрасной».

— О, я понимаю теперь, что это значитъ. Я уже больше не «прекрасная», — я страшна даже самымъ потеряннымъ людямъ!.. Голодъ приблизился, мучительный голодъ... но я не ропщу... Я посылаю послѣдній привѣтъ мой Небу, которое внушило мнѣ рѣшенье любитъ другихъ больше себя, и съ тѣмъ умираю!

Она бросилась къ рѣкѣ, чтобъ утонуть, и непремѣнно бы исполнила это, но ее неожиданно кто-то удержалъ за плечо, и она, оглянувшись, увидала передъ собой пожилого человѣка, скромнаго вида и въ чужестранной одеждѣ.

Египтянка приняла его за одного изъ чужестранцевъ,

приходящихъ на это мѣсто съ цѣлями, о которыхъ ей было извѣстно, и сказала ему:

— Оставь меня въ покоѣ: я не хочу идти сегодня съ тобой.

Но чужеземецъ не отошелъ, а взглянулъ на нее ласково и сказалъ ей:

— Напрасно думаешь, сестра моя, что я былъ намѣренъ сказать тебѣ что-либо дурное. Мнѣ показалось, что ты въ какомъ-то бореньѣ съ собой.

— Да; я вынимаю ноги мои изъ грязи и хочу ступить на горячіе уголья. Это требуетъ силы.

— Ты очень слаба.

— Я два дня не ѣла.

— Такъ ѣшь же скорѣе: со мной есть хлѣбъ и печеная рыба.

Чужеземецъ поспѣшно перебросилъ изъ-за спины холщевую сумку и подалъ дѣвушкѣ рыбу и хлѣбъ и флягу воды съ виномъ.

Египтянка стала ѣсть, запивая глотками воды, а когда первый мучительный голодъ ея былъ утоленъ, она повела глазами на незнакомца и тихо сказала:

— Не хорошо, что я ѣмъ твою пищу: ты путешествуешь и тебѣ нуженъ запасъ для себя.

— Не безпокойся, сестра, — я могу потерпѣть, и повѣрь, что терпѣть гораздо отраднѣй, чѣмъ видѣть терпящихъ.

Египтянка вздрогнула.

— Чужестранецъ!—сказала она:—ты меня накормилъ и хорошо говоришь... но зачѣмъ ты два раза уже назвалъ меня своею *сестрой?* Развѣ не понимаешь ты, кто я такая?

— Ты такое же созданіе Бога, какъ я, и сестра мнѣ. Какое мнѣ дѣло, чѣмъ житейское горе и жестокость людей тебя теперь сдѣлали.

Дѣвушка вперила въ него свои глаза, опять засверкавшіе бывалымъ огнемъ, и вскричала:

— Ты жжешь меня своими словами! Ты, быть-можетъ, посланникъ боговъ?

— Нѣтъ, я такой же, какъ ты, простой человѣкъ.

— Но кто научилъ тебя такъ говорить, что сердце мое горитъ и трепещетъ?

— Сядемъ здѣсь вмѣстѣ, и я разскажу тебѣ, кто научилъ меня такъ говорить.

Несчастная еще больше смутилась.

— Какъ,—сказала она:—ты хочешь сидѣть со мной рядомъ! Тебя могутъ увидѣть съ блудницей почтенные люди, и что ты имъ скажешь тогда въ свое оправданіе?

— Я скажу имъ, что Тотъ, Кто всѣхъ ихъ почтеннѣе, не гнушался такою, о какой ты вспоминаешь.

— Кто жъ это былъ *онъ?*.. Я о такомъ не слыхала... но ты о немъ говоришь, и слова твои льютъ новую жизнь въ мое сердце... Можетъ-быть, онъ-то и есть твой учитель?!

— Ты не ошиблась. Это *Онъ*—мой Учитель.

Египтянка заплакала.

— Какъ ты счастливъ, какъ ты счастливъ, чужестранецъ! Гдѣ же онъ, гдѣ этотъ небесный посланникъ?!

— Онъ съ нами.

— Съ нами!.. со мной!.. Не смѣйся надъ бѣдною блудницей!.. я несчастна... Скажи мнѣ, гдѣ онъ, и я побѣгу... Я стану его умолять... быть-можетъ, и мнѣ онъ дастъ новую жизнь!

Чужеземецъ самъ взволновался.

— Успокойся,—сказалъ онъ:—ты ее будешь имѣть—новую жизнь,—развяжись только со старой,—развяжись скорѣй съ тѣмъ, что гнететъ тебя въ прошломъ.

— Слушай же, кто я такая!—воскликнула съ оживленіемъ дѣвушка, и разсказала все, что съ ней было, и когда повѣсть ея была кончена, она добавила въ свое оправданіе:

— Говорятъ, будто мнѣ надлежало иначе размыслить, но я не могла: мое сердце тогда одолѣло разсудокъ.

— Кто кладетъ руку на плугъ и самъ озирается вспять, тотъ не пахарь. Не жалѣй о томъ, какъ ты поступила.

Она потупила взоръ и сказала:

— Я не о томъ сожалѣю... но мнѣ тягостно думать о томъ, что было послѣ...

— Послѣ того, когда ты совершила святѣйшее дѣло любви,—прервалъ ее чужестранецъ:—послѣ того, когда ты позабыла себя для спасенія другихъ... Оставь сокрушенія эти!.. Когда каленое уголье жжетъ ноги, ноги ползутъ въ холодную грязь, но любовь покрываетъ много грѣховъ и багро-

выя пятна бѣлитъ, какъ волну на ягненкѣ... Подними лицо твое вверхъ... Прими отъ меня привѣтъ христіанскій и знай, что *Онъ*, къ Кому душа твоя рвется, перстомъ на сыпучемъ пескѣ твой грѣхъ написалъ и оставилъ смести его вѣтру.

Египтянка подняла лицо свое и плакала, а христіанинъ глядѣлъ на нее, колѣни его незамѣтно согнулись, онъ поклонился ей въ ноги и тихо промолвилъ:

— Ты была мертвая и стала живая!

Утѣшеніе совершилось,—пришла новая жизнь въ смущенную душу египтянки. Христіанинъ разсказалъ ей, въ чемъ состоитъ ученіе Христово, и египтянка непремѣнно захотѣла узнать: есть ли люди, которые живутъ по этому ученію, во взаимной любви, и у которыхъ нѣтъ ни осужденія, ни зла, ни нищеты.

— Они были,—отвѣчалъ христіанинъ.

— Отчего же не всѣ таковы и теперь?

— Это трудно, сестра.

— Въ чемъ же тутъ трудность?

— Слушай, какъ они жили.

Христіанинъ прочелъ ей на память мѣсто изъ *Дѣяній:*

«У множества увѣровавшихъ въ спасительность Его ученія было одно сердце и одна душа, — никто изъ имѣнія своего ничего не называлъ своимъ, но все у нихъ было общее и все, что у нихъ было, они раздѣляли по нуждѣ каждаго и каждый день собирались вмѣстѣ и вмѣстѣ принимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца» (Дѣян. IV, 32).

— Такъ вѣдь это прекрасно!—воскликнула Аза.

— Но для иныхъ это трудно!

«Такъ Іоссія, прозванный отъ апостоловъ Варнавою, что значитъ «сынъ утѣшенія»—левитъ, родомъ изъ Кипра, у котораго было свое помѣстье,—продалъ его и принесъ деньги къ ногамъ апостоловъ» (37).

Послѣ многихъ сумрачныхъ дней лицо египтянки освѣтилось отрадной улыбкою: Варнава отдалъ помѣстье, и назвали его: «сынъ утѣшенія»...

Она выше подняла лицо и сказала:

— Это вовсе не трудно. Это только *такъ должно*!

— Такъ иди же отсюда, куда я тебя научу, и разскажи тѣмъ людямъ, къ которымъ придешь, все, что ты мнѣ разсказала.

Чужеземецъ назвалъ ей мѣсто, гдѣ сходятся христіане Александріи и кто ихъ епископъ.

Египтянка, ни минуты не медля, встала и пошла по его указанію.

Когда она пришла, ее сейчасъ же узналъ одинъ клирикъ и сказалъ ей:

— Красотка! мнѣ очень знакомо твое лицо: ты похожа на блудницу, которая часто ходила по берегу Нила.

— Я сама и есть та блудница,—отвѣчала египтянка:— но то уже кончено: я хочу быть христіанкой.

— Ну, это не сразу: ты должна прежде очистить себя постомъ и раскаяніемъ.

— Я все готова исполнить, что̀ нужно.

Ей сказали, какъ надо поститься; она пошла и долго постилась, питаясь тѣмъ, что̀ ей давали изъ состраданія. Наконецъ, она изнемогла и пришла снова съ просьбой, чтобы ее крестили и приняли со всѣми въ общенье. Клирики сказали ей: «Ты такъ мерзко жила у всѣхъ на виду, что должна принести при всѣхъ покаяніе».

— Да, я затѣмъ и пришла, чтобы сказать всѣмъ, какъ дурна моя жизнь, но я изнемогаю и боюсь, что скоро умру. Прошу васъ: скажите епископу, что я прошу скорѣе принять меня въ общеніе.

Клирики сказали епископу, и тотъ скоро велѣлъ назначить ей катехизатора, который долженъ былъ протолковать ей символъ и всѣ догматы вѣры и потомъ удостовѣрить ея познанія, и тогда египтянку положили крестить.

Но она этого не дождалась; нетерпѣливое желаніе ея получить христіанское имя и жить съ христіанами вмѣстѣ снѣдало ее; она жаловалась и плакала, «а всѣ пренебрегали ею».

Тогда совершилось чудо: когда отверженная египтянка лежала больная «въ малой хлевинѣ», туда къ ней среди ночи вошли «два свѣтлые мужа» и одѣли ее въ бѣлыя, «крестильныя ризы». Въ нихъ и осталось на землѣ ея мертвое тѣло, а живой духъ ея отлетѣлъ въ обитель живыхъ.

Кончина египтянки, одѣтой въ крестильныя ризы, сдѣлала затрудненіе клирикамъ: они недоумѣвали, по какому обряду надо похоронить эту женщину, но неожиданно пришелъ тотъ чужестранецъ, который говорилъ съ усопшею у

берега Нила. Онъ былъ философъ и пресвитеръ сирійскій, другъ Исаака-Сирійца,—онъ вернулся сюда съ дороги по внушенію духа. Онъ наклонился къ усопшей и сталъ читать христіанскія молитвы, а пока онъ молился, тѣло ея зарыли въ землю, но сиріецъ еще долго стоялъ и смотрѣлъ вдаль—онъ что-то думалъ, онъ былъ въ восторгѣ и двигалъ устами.

Его спросили:

— Вѣрно ты видишь чудное что-нибудь?

— Да, — отвѣчалъ онъ: — я вижу какъ будто бы небо отверсто... и туда... кто-то входитъ...

— Неужто блудница?

— О, нѣтъ!.. блудницу вы закопали въ грязи: я вижу... какъ легкая струйка съ каленаго угля сливается съ свѣтомъ; мнѣ кажется, это восходитъ *дочь утѣшенія.*

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Слѣдующее женское лицо является въ иной, но не менѣе трогательной обстановкѣ, также ярко рисующей и общую картину нравовъ V вѣка.

27) *Іюня 14.* Евсевій изъ Аскалона разсказывалъ, что у нихъ въ городѣ былъ купецъ, имѣвшій свои корабли, на которыхъ онъ возилъ дорогіе товары въ Африку. Разъ сдѣлалось кораблекрушеніе, и купецъ этотъ сразу обѣднѣлъ: корабли его потонули, а выкинутые на берегъ товары были расхищены. Тогда заимодавцы посадили этого купца въ тюрьму, а его молодая и очень красивая жена ходила на поденщину и что̀ успѣвала зарабатывать, на то приготовляла пищу и приносила ее мужу въ темницу. При этихъ посѣщеніяхъ она иногда долго засиживалась съ заключеннымъ, стараясь облегчить его несносное томленіе. Въ Аскалонѣ же у знатныхъ людей было обыкновеніе, чтобы по особливымъ днямъ ходить посѣщать содержащихся въ тюрьмахъ и подавать имъ милостыню. Одинъ изъ такихъ знатныхъ людей пришелъ разъ въ темницу, когда жена разорившагося купца сидѣла у своего мужа, и какъ только взглянулъ на нее, такъ и плѣнился ею. «Уязвися вельможа сердцемъ, видя красоту ея, бѣ бо по истинѣ красна зѣло». Вельможа сейчасъ же «подосла къ ней нѣкоего странника», чтобъ она подошла къ нему «пріяти милостыню».

Женщина, не подозрѣвая ничего дурного со стороны

вельможи, встала и подошла къ нему, чтобы «пріять его милосердіе», а онъ сталъ ее спрашивать: за что она сидитъ въ темницѣ? Женщина отвѣчала, что заключенъ здѣсь ея мужъ, а она только приходитъ посѣщать его и остается съ нимъ по любви и состраданію, чтобъ облегчать его участь. Тогда вельможа сказалъ ей прямо: «я тебѣ помогу: приходи нынче вечеромъ и пробудь со мной ночь, а я завтра выкуплю твоего мужа изъ темницы».

Женщина не обнаружила ни гнѣва, ни досады и не стала устыжать вельможу за то, какъ онъ пользуется затрудненіями бѣдности, а сказала ему:

— Я должна спросить объ этомъ своего мужа, и какъ онъ скажетъ, такъ я и сдѣлаю. Хочешь — я пойду и спрошу его?

Вельможа не стѣснялся и отвѣтилъ ей: «Спроси».

Она подошла къ мужу и передала ему съ совершенною простотой предложеніе, сдѣланное ей вельможей.

Купецъ заплакалъ и, глубоко вздохнувши, сказалъ:

— Да, не даромъ сказано: «не надѣйтесь на князи и сыны человѣческіе». Пусть проститъ ему Богъ обиду, которою онъ хотѣлъ насъ унизить еще болѣе, чѣмъ мы унижены. Подойди къ нему и скажи, что мы не хотимъ купить свободу такою цѣной.

Жена подошла и въ той же самой простотѣ передала слова мужа вельможѣ. Вельможа разсердился и вышелъ. Сидѣлъ же тутъ неподалеку отъ купца въ другомъ углѣ темницы одинъ дорожный разбойникъ, который все это видѣлъ и слышалъ. Взаимная любовь и вѣрность супруговъ его тронули, и онъ «поману къ себѣ жену и рече ей: азъ умилихся, видя цѣломудріе ваше. Азъ разбойникъ есмь и имамъ злато сокровенно въ зиданіи граднѣмъ. Иди на мѣсто, имя рекъ, раскопай и возьми злато тамъ сокровенное на воздаяніе долга мужа твоего и иныя потребы ваши».

Женщина пошла и нашла золото и искупила мужа милосердіемъ разбойника.

За симъ наступаетъ типъ возвышеннѣйшей деликатности.

28) *Мая 30.* Блаженный отецъ Маркъ плылъ однажды на кораблѣ въ Константинополь, но поднялась буря и загнала его «кораблецъ» къ «нѣкоторому пустынному острову». Пока корабельщики справлялись съ поврежденными

спастями, блаженный Маркъ сошелъ походить на безлюдный островъ и, къ удивленію своему, вдругъ замѣтилъ на пескѣ слѣдъ ноги человѣческой. Онъ пошелъ дальше по этому слѣду и вскорѣ увидѣлъ въ отдаленіи человѣка, который, впрочемъ, былъ въ очень странномъ и непонятномъ видѣ и, замѣтивъ Марка, видимо старался отъ него скрыться. Блаженный Маркъ, заинтересованный неожиданною встрѣчей, погнался за удалявшимся жильцомъ необитаемаго острова и скоро сталъ его настигать. Тогда преслѣдуемый имъ дикій или полудикій человѣкъ, видя, что ему уже не скрыться отъ настигающаго пришельца, сталъ передъ нимъ «присѣдать», сгибаясь къ землѣ, и что-то говорилъ ему неразборчивымъ и жалобнымъ голосомъ. Бл. Маркъ, слыша этотъ жалкій и слабый стонъ или мольбы, пріостановился и сказалъ:

— Не убѣгай отъ меня: я христіанинъ и не намѣренъ сдѣлать тебѣ никакого зла.

А присѣдавшій дикарь еще ниже пригнулся и отвѣчаетъ:

— Я не боюсь тебя; но стыжусь, ибо я нагая женщина, а ты мужъ, и потому я ухожу отъ твоего взгляда. Если же ты милостивъ и хочешь со мной говорить, — то брось мнѣ что-нибудь изъ твоей одежды, чтобъ я могла хоть немножко закрыться,—тогда я стану къ тебѣ лицомъ, и мы можемъ поговорить.

Бл. Маркъ имѣлъ на себѣ въ ту пору двѣ ризы. Одну онъ оставилъ на себѣ, а другую свернулъ комкомъ и бросилъ нагой женщинѣ, а самъ отворотился. Женщина подхватила одежду, покрылась ею и подошла къ бл. Марку. Они сѣли, и когда разговорились, то бл. Маркъ узналъ отъ нея слѣдующее: женщина эта родилась въ простомъ и бѣдномъ семействѣ и притомъ родители ея скоро умерли, а она осталась совершенно безпомощною сиротой. Попалась она какъ-то разъ на глаза одному именитому и богатому человѣку, который тронулся ея положеніемъ, изъ жалости взялъ ее къ себѣ въ домъ и сталъ воспитывать вмѣстѣ со своими дѣтьми. У него она выросла и стала красива, и обнаружила умъ и добрый характеръ, и этимъ нашла себѣ такое благорасположеніе у своего воспитателя, что онъ не хотѣлъ искать для своего сына лучшей жены, какъ эта сиротка. Молодой человѣкъ тоже лю-

билъ ее и тоже не хотѣлъ себѣ иной невѣсты, но женщины-родственницы съ материной стороны жениха имѣли непремѣнное намѣреніе женить «наслѣдника всего имѣнія» на дѣвушкѣ богатой и знатнаго рода. Это повело къ большимъ семейнымъ непріятностямъ, отъ которыхъ молодой человѣкъ много страдалъ и, наконецъ, сильно заболѣлъ, но и лежа въ огнѣ болѣзни все одно повторялъ: «люба̀ ми есть та, еже воспиталъ мой отецъ». Тогда, чтобъ онъ не лишился жизни, — ихъ соединили. Молодые супруги были вполнѣ счастливы,—особенно мужъ, который и послѣ свадьбы все еще повторялъ: «люба ми есть, еже дахъ мой отецъ!»— но мать его и ея родственницы постоянно старались сѣять раздоръ въ домѣ и поносили молодого человѣка за его любовь къ женѣ, избранной имъ изъ бѣднаго и низкаго круга. Тогда эта молодая женщина, видя, что семейныя смуты въ домѣ и страданія любимаго ею мужа не прекратятся, пока ее видятъ въ домѣ,—рѣшилась пожертвовать собою и, для водворенія семейнаго спокойствія, бѣжала изъ дома. Сначала она шла, куда глаза глядятъ, а потомъ плыла на кораблѣ, но корабль разбило, и ее выбросило на этотъ самый безлюдный островъ, гдѣ нашелъ ее блаженный Маркъ. Здѣсь она испытала холодъ, голодъ и безпріютность и вдобавокъ ощутила въ себѣ младенца, котораго и родила, воспитала и живетъ съ нимъ уже тридцатый годъ, не видя лица человѣческаго. Блаженный Маркъ видѣлъ и сына этой великодушной женщины: совсѣмъ нагой, онъ прятался въ пещерѣ и былъ пораженъ ужасомъ и удивленіемъ при видѣ третьяго человѣка, притомъ покрытаго одеждами.

Слѣдующій очеркъ представляетъ женскій типъ и очень энергическій, и не лишенный своеобразной ироніи, напоминающей русскую княгиню Ольгу въ ея дѣлѣ съ древлянами.

29) *Августа 14.* Въ одномъ прибрежномъ торговомъ мѣстѣ жили въ большой дружбѣ два купца: одинъ женатый, а другой холостой. У женатаго жена была очень красивая, а притомъ очень умная и цѣломудренная, но супружеское счастье ихъ не было продолжительно: мужъ внезапно умеръ, а красавица-жена его осталась вдовой, и какъ она очень любила своего мужа, то не хотѣла вступать во второй бракъ, а желала посвятить остальную жизнь служенію добрымъ дѣламъ. Между тѣмъ ея красота и извѣстная скромность ея въ сожительствѣ съ первымъ мужемъ влекли къ ней мно-

гихъ жениховъ, которымъ она всѣмъ спокойно отказывала, совѣтуя имъ брать себѣ въ жены дѣвушекъ. Многихъ она такъ отводила; но явился одинъ такой пылкій соискатель, съ которымъ ей нелегко было раздѣлаться. Это былъ тотъ самый искренній другъ ея перваго мужа, въ которомъ она и не подозрѣвала, что и онъ увлеченъ ея красотой, а онъ такъ «уязвился къ ней страстію неисцѣльною, что мало не изгибе».

Тогда эта красавица, какъ женщина уже опытная и не разъ видавшая передъ собою влюбленныхъ, замѣтила томленія друга своего покойнаго мужа и безъ ошибки разгадала, какого они свойства. Она признала за лучшее вывесть дѣло на чистоту и потомъ оказать этому человѣку помощь.

— Друже!—сказала она ему:—я вижу, что ты самъ не въ себѣ, когда говоришь со мною. Не должна ли я изъ этого заключить, что ты вѣрно имѣешь ко мнѣ что-нибудь особенное, но стѣсняешься сказать это. Прошу тебя, не продолжай далѣе такого для тебя вреднаго, да и для меня безпокойнаго состоянія, потому что я не хочу видѣть тебя страдающимъ. Скажи мнѣ, что̀ тебѣ отъ меня надобно, и будь увѣренъ, что я сдѣлаю все, какъ могу лучше, и надъ твоимъ признаніемъ не посмѣюся.

Онъ же, услыхавъ такое поощреніе, очень обрадовался и съ откровенностію ей сказалъ, что плѣненъ ея красотой, почитаетъ извѣстныя ему ея душевныя качества и желаетъ взять ее себѣ въ жены.

Разсудительная вдова поблагодарила его за уваженіе, но отвѣчала ему, что, испытавъ радости брака съ мужемъ любимымъ, она уже не желаетъ второй разъ испытывать того же самаго съ другимъ человѣкомъ, ибо думаетъ, что лучшее время жизни уже не повторится, а худшее родитъ только сожалѣнья о прежнемъ и не составитъ ни для той, ни для другой стороны счастія. А потому она предпочитаетъ не вступать въ новый союзъ ни съ кѣмъ, а будетъ жить для дѣтей и для общественныхъ заботъ, которыя всегда достойны вниманія и поглощаютъ досугъ съ пользой для ближняго. Молодому же человѣку она указывала на молодыхъ, только дошедшихъ до брачнаго возраста дѣвушекъ, съ которыми и совѣтовала ему вступить въ бракъ, ибо съ такою онъ можетъ жить въ любви, свободной отъ воспоминаній о прошломъ.

Но молодой человѣкъ «толико уязвися любовью ко вдовицѣ, иже вся иныя ни за что вмѣняя»,—онъ не слушалъ никакихъ доводовъ и указаній на дѣвушекъ, а нетерпѣливо «припадалъ ко вдовѣ и молилъ ее быть его женой», причемъ онъ «люте истаевалъ», былъ унылъ и «ко гробу склоняся, ходилъ неистовъ яко бы бѣсенъ».

Такая докучная неотвязчивость и непріятное приставаніе нестерпимо надоѣли вдовицѣ, которая разсуждала такъ, что не можетъ же она «ради влеченія его исполнить все, елико онъ хощетъ»!.. И тогда, чтобы покончить съ нимъ, она ему сказала:

— Что̀ ты терзаешь себя и меня? Долго ли это еще будетъ?

Онъ же отвѣчалъ ей:

— Такъ будетъ до вѣку, пока я или ты живемъ на свѣтѣ, потому что душа моя и сердце все стремятся къ тебѣ, и ты напрасно говоришь мнѣ о юныхъ дѣвахъ. Я ихъ видя не вижу и онѣ чужды желаніямъ моего сердца, а по тебѣ истаеваютъ всѣ силы моего тѣла и мозгъ костей моихъ сворачивается. Исцѣли меня, уязвленнаго твоею красотой: стань женой моею, или я иначе умру.

— Горе мнѣ съ тобою! — отвѣчала вдова и, замысливъ нѣчто въ умѣ своемъ, сказала: — Да не обманываешься ли еще ты, будто такъ меня любишь, что и жить не можешь? Неужели въ самомъ дѣлѣ для счастья твоего нѣтъ ничего драгоцѣннѣе моей взаимности?

Купецъ клялся въ этомъ, а она ему отвѣчала какъ бы въ недовѣріи:

— Остановись клясться предо мною, такъ какъ я уже не дѣвица и страстнымъ мужскимъ словамъ не довѣряю. Всѣ вы таковы, что когда плѣняетесь женщиной, то становитесь безразсудны, и въ ту пору уста у васъ черезъ мѣру полны восхищеній, но послѣ бываетъ иное. Я потребую отъ тебя доказательствъ, что для твоего счастія всего потребнѣе обладаніе мною и ничто иное тебя привлечь къ себѣ не можетъ.

Купецъ съ радостію воскликнулъ:

— «О, я вельми готовъ, и аще мнѣ міръ весь предложатъ—не взгляну на него, а къ тебѣ устремлюся».

Вдова улыбнулась и отвѣчала:

— Міръ весь не нашъ, а Божій, и такой великой об-

ласти для искушенія твоего я предложить не могу, но я поставлю тебѣ нѣчто меньшее и увидимъ: не устремишься ли къ этому неважному, а меня, столь тебѣ необходимую, отринешь.

— Никогда этого не случится! — воскликнулъ влюбленный.

— Иди же сейчасъ отсюда домой, затворись въ своей верхней комнатѣ, выкинь мнѣ ключъ въ окно и оставайся тамъ, пока я пришлю за тобой. Обѣщаешь ли мнѣ это исполнить?

— О, что̀ говорить о такихъ пустякахъ!

— Хорошо, и если потомъ твое стремленіе будетъ все то же, то я даю тебѣ слово, что перестану вспоминать объ умершемъ мужѣ и отдамъ себя въ твое угожденіе. Теперь, съ этой минуты, все, чему быть и чему не быть—отъ тебя зависитъ.

Купецъ побѣжалъ домой весело, потому что почиталъ свое дѣло выиграннымъ. Онъ взошелъ въ домъ свой и веселою рукой затворился у себя въ верхней горницѣ, а ключъ выбросилъ въ окно и велѣлъ отнести его вдовѣ въ доказательство, что онъ свой урокъ уже началъ. Вдова же приняла ключъ, но ничего больше жениху не заказала.

Купецъ пробылъ въ горницѣ день, провожая часы ожиданія въ любовныхъ мечтаніяхъ и ожидая, въ чемъ будетъ дальше его испытаніе; но сутки прошли, а вдова ни о чемъ новомъ ему не сообщала. На другой день онъ опять думалъ о вдовѣ, но вспомнилъ также нѣсколько разъ и о своемъ желудкѣ, который былъ пусть и требовалъ пищи, а на третій день голодъ сталъ такъ напоминать ему о себѣ, что купецъ не обращался въ сладкихъ мечтахъ ко вдовѣ, а гнѣвался на нее и все думалъ о пищѣ, а въ ночи онъ не могъ спать, потому что и сонъ его наполнялся уже не видѣніями обольстительной вдовы, а запахомъ яствъ. Утро же четвертаго дня купецъ встрѣтилъ въ мучительныхъ боляхъ желудка и послалъ преданнаго ему человѣка ко вдовѣ спросить: не забыла ли она о немъ? Вдова отвѣчала, что она не забыла.

— Но онъ умираетъ! —сказалъ ей посланецъ.

— Не пугай меня этимъ, — отвѣчала вдова сквозь улыбку: до смерти еще далеко. Но, впрочемъ, я не хочу томить его дольше. Пусть онъ теперь одѣвается въ гостиное

платье, я за нимъ скоро пришлю, и онъ получитъ все, чего пожелаетъ.

Въ предобѣденный же часъ въ домъ купца пришла довѣренная отъ вдовы и, имѣя ключъ отъ жениховой двери, открыла ее и сказала:

— Радуйся, господинъ! ты вполнѣ сдержалъ свое обѣщаніе, иди же теперь къ моей госпожѣ: она тебя ожидаетъ и, со своей стороны, свое обѣщаніе сдержитъ.

Но купецъ, одѣтый въ гостиное платье, смотрѣлъ на посланницу впавшими глазами и уныло, слабымъ голосомъ, отвѣчалъ, что готовъ за ней слѣдовать. Онъ былъ такъ изнуренъ, что надо было позвать людей, которые взяли его подъ руки и помогли ему идти.

Вдова встрѣтила гостя въ дверяхъ своего жилища. Она была во всемъ блескѣ своей красоты, ибо и она тоже смѣнила одежду вдовства и надѣла легкотканную одежду, державшуюся на ея плечахъ самоцвѣтными стяжками и открывавшую шею и руки, съ которыхъ неслось благоуханіе амбры.

Принявъ входившаго гостя подъ руки, вдова ввела его въ большую горницу, которая была раздѣлена на-двое повѣшеннымъ на кольцахъ ковромъ. Въ одной половинѣ, ближайшей ко входу, былъ накрытъ столъ, установленный прозрачными кувшинами съ искрометнымъ питьемъ и блюдами, изъ которыхъ одно было покрыто; а на другой половинѣ возвышалось пышное ложе съ двойнымъ изголовьемъ.

— Ты теперь господинъ въ моемъ домѣ, — сказала вдова: — и я тебѣ повинуюсь. Вотъ здѣсь трапеза, здѣсь ложе. Избирай, что̀ ты хочешь; я готова раздѣлить съ тобой то и другое.

Купецъ же отвѣчалъ ей:

— Ахъ, помилуй меня, — «азъ вельми истощахъ, дай мнѣ впередъ насытиться!» — и онъ потянулся къ столу и возлегъ, озирая посуду.

— Мы имѣемъ достаточно время, такъ какъ яства въ приспѣшнѣ еще не поспѣли, — сказала вдова.

— А это здѣсь что же покрыто на блюдѣ?

— Это пшено, — оно безвкусно, пока къ нему не поспѣетъ облива.

— Мнѣ все теперь вкусно! — воскликнулъ купецъ и,

открывъ блюдо, сталъ насыщаться пшеномъ, безъ обливы, а вдова сказала ему:

— Вотъ ты теперь видишь: потреба потребѣ есть рознь: безъ одного жить человѣку нельзя, а безъ другого жить можно!—и съ этимъ она велѣла подавать кушанья и опустила коверъ, который навсегда закрылъ отъ купца ея ложе.

30) *Апрѣля 5.* Стремясь возвышаться надъ силой страстей, женщины Пролога представляютъ еще одинъ такой высокій характеръ, которому удачи и безмятежное счастье были даже въ тягость.

Одинъ изъ александрійскихъ отцовъ увидѣлъ разъ женщину, которая чрезвычайно усердно молилась и притомъ горько плакала. Это его тронуло, и онъ спросилъ молившуюся: какое у нея горе? Она же отвѣчала ему: «ахъ, я очень счастлива, и у меня нѣтъ никакого горя, но я живу среди людей и вижу много огорченныхъ, и теперь молю Бога, чтобъ Онъ отдѣлилъ на мою долю часть ихъ страданія, дабы я не пристрастилась къ здѣшней жизни». Александрійскій отецъ подивился этой благоразумной женщинѣ, которая лучше многихъ знала, въ чемъ заключается высшая опасность для человѣка.

Этимъ оканчивается группа женскихъ лицъ, которыя то удивляютъ мужчинъ высотой своихъ порывовъ, то исправляютъ ихъ, отвлекая отъ чувственной грубости, то прямо спасаютъ людей съ полнымъ самоотверженіемъ и потомъ безъ малѣйшаго ропота сами несутъ отверженіе, нищету и всевозможныя униженія. Въ такомъ санѣ превосходной чистоты мы насчитываемъ по Прологу *девять* женщинъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Систематическая схема наша являетъ намъ теперь такую пропорцію: изъ 35 женщинъ, составляющихъ цѣлую треть лицъ, представляющихъ интересъ въ повѣствовательномъ родѣ, 17 не соблазняли мужчинъ, а пострадали отъ ихъ соблазновъ и насилій; 4 соблазняли — одна съ успѣхомъ, а три безъ успѣха, причемъ изъ нихъ безъ успѣха остались: одна свѣтская дама изъ Александріи, одна гетера, нанятая знатными богачами, и одна припадочная болгарская дѣвчонка. Успѣвала въ своихъ намѣреніяхъ только Марія изъ Египта, но и она, впрочемъ, держала себя какъ простая

«блудница», какою она была до возвышеннаго поворота во второй половинѣ ея жизни. Девять же не только останавливали мужчинъ отъ ихъ грубыхъ страстей, но даже научили ихъ обуздывать свою природу и жить для болѣе возвышенныхъ цѣлей.

Въ дурномъ видѣ Прологъ представляетъ только *двухъ* женщинъ, изъ которыхъ одна обнаруживаетъ жестокое сердце, омраченное страстью къ мужчинѣ, а исторія другой такъ мало понятна, что ее, слѣдуя опредѣленію Ѳеофана Прокоповича, очевидно, остается только отнести къ разряду «пустыхъ басенъ».

31) *Марта 19.* Молодая вдова, по имени Марія, имѣя двухъ маленькихъ дѣтей, влюбилась въ одного «воина» и захотѣла выйти за него замужъ. Воинъ же, хотя и былъ близокъ съ ней, но не хотѣлъ брать ее въ замужество. Онъ нагло выставлялъ на видъ свой эгоизмъ и отказывался тѣмъ, что не желаетъ «пещися о дѣтяхъ перваго мужа». Тогда влюбленная Марія, подъ наитіемъ страсти, «заколола обоихъ дѣтей и послала вѣсть воину, что у нея уже нѣтъ дѣтей». Воинъ, когда получилъ эту «вѣсть», тотчасъ же догадался, въ чемъ дѣло, и поправился на другой ладъ: онъ «поклялся не брать дѣтоубійцы». Онъ остался правъ, а женщина погибла. Случаи въ этомъ родѣ, съ замѣчательнымъ тождествомъ мотивовъ и частностей, повторяются въ изобиліи даже и до сего дня.

32) *Мая 5.* Одна «постница» тщательно берегла себя: она много постилась и молилась и избѣгала всякаго сообщества мірскихъ людей, а держалась только съ клириками, но и тутъ по неосторожности сблизилась съ однимъ пѣвчимъ, который, по сказанію, самъ не былъ ни въ чемъ повиненъ передъ ней, а она сама «растлилась и зачала». Увидѣвъ такое серьезное и, какъ видно, нежеланное послѣдствіе отъ своего сближенія, постница опять обратилась къ Богу и начала пламенно молиться, «чтобы зачатое сю въ беззаконіи *родилось мертво*», и это такъ и случилось.

Два эти сейчасъ приведенные случая (31 и 32) представляютъ самое худшее, что есть въ ряду всѣхъ исторій съ женщинами, описанными въ Прологѣ; но если и на эти два самые худшіе «прилога» смотрѣть безпристрастно, что отъ критики безусловно и требуется, то нельзя не видѣть, что обѣ здѣсь представленныя женщины тоже отнюдь не

являютъ собою особеннаго коварства къ погубленію мужчинъ, а напротивъ, онѣ по своему безразсудству и страстности губятъ только себя и своихъ дѣтей.

Слѣдуетъ также замѣтить и то, что у всѣхъ прологовыхъ женщинъ высшаго настроенія, при большой примитивности ихъ пріемовъ, постоянно видна ясность въ ихъ цѣляхъ и отчетливость въ дѣйствіяхъ, чего нѣтъ въ описаніяхъ, изображающихъ мужчинъ, желавшихъ исправлять женщинъ. У женщинъ (кромѣ двухъ дѣтоубійцъ) *совсѣмъ нѣтъ грубости,* а у мужчинъ безъ нея не обходится никакое дѣло.

33) Нѣкто Виталій изъ Каира послужилъ при кельѣ старца Спиридона шестьдесятъ лѣтъ и ушелъ въ Александрію, потому что не захотѣлъ болѣе аскетической славы, а «нача жить на соблазнъ», то-есть юродовать. Самое соблазнительное въ юродствѣ этого старика, которому не могло быть менѣе какъ лѣтъ семьдесятъ, было то, что Виталій всякую ночь шелъ туда, гдѣ собирались блудницы. Онъ это затѣялъ, какъ ниже увидимъ, не съ дурною, а съ доброю цѣлью, и это ему стоило не мало хлопотъ и трудовъ, ибо для такого рода жизни нужно было постоянно имѣть съ собой изрядныя деньги. Виталій и старался доставать нужныя ему средства: онъ вставалъ рано утромъ, выходилъ на поденщину и цѣлый день работалъ, получая серебренникъ за день, а пошабашивъ, тотчасъ же несъ этотъ серебренникъ въ блудный домъ, нанималъ себѣ за эту цѣну блудницу, и когда оставался съ нею наединѣ, то передавалъ ей серебренникъ и говорилъ: «вотъ, дочь моя, я за эту монету цѣлый день проработалъ, а ты теперь возьми ее себѣ и цѣлую ночь за нее проспи спокойно».

Женщина, которой Виталій, такимъ образомъ, покупалъ возможность спокойно провести ночь, ложилась и спала, а Виталій становился тамъ же возлѣ нея, какъ возлѣ ребенка, и не смущаясь ни ея присутствіемъ, ни тѣмъ, что достигало до его слуха изъ-за утлыхъ перегородокъ и завѣсъ переполненнаго буйными гостями блудилища, возносилъ въ молитвахъ за міръ духъ свой къ Богу, а утромъ опять поспѣвалъ на работу. И такъ юродивый Виталій дѣлалъ всякій день, причемъ онъ всегда упрашивалъ бывшихъ съ нимъ женщинъ, чтобъ онѣ никому не разсказывали, какъ онъ съ ними обходится, а говорили бы, что онъ точно такой же

блудникъ, какъ и всѣ другіе, вхожіе въ ихъ жилище. Многія женщины такъ и говорили, и тайна Виталія долго оставалась неизвѣстною; но вдругъ одна изъ женщинъ разсказала, что она любитъ Виталія за то, что онъ, оставаясь съ нею, не безпокоитъ ее, а только молится во всю ночь. Другія же женщины оспаривали эту свою подругу и говорили, какъ научилъ ихъ Виталій, то-есть, что онъ бываетъ у нихъ за тѣмъ же самымъ, за чѣмъ и всѣ прочіе ихъ посѣщающіе мужчины.

Услыхавъ объ этомъ спорѣ, Виталій и огорчился, что одна женщина выдала тайну его юродства, — тогда онъ «помолился и женщина взбѣсилась». Это отвѣчало дальнѣйшимъ цѣлямъ юродиваго Виталія, потому что слова «бѣшеной» уже не пользовались ничьимъ довѣріемъ, а онъ хотѣлъ, чтобъ о добродѣтели его не знали, а считали бы его блудникомъ.

Такъ цѣлая группа открыто промышлявшихъ собой блудницъ оберегали тайну юродиваго, оказывавшаго имъ трогательное участіе.

34 и 35) Въ заключеніе видимъ сразу двухъ женщинъ: мать и дочь — въ ужасномъ положеніи. У одной матери было двое дѣтей, — сынъ и дочь. Сынъ не захотѣлъ работать для поддержанія жизни матери и сестры, а покинулъ ихъ и ушелъ въ монахи. Онъ постригся и сталъ жить въ монастырѣ очень строго. Старуха же осталась на рукахъ одинокой дочери, которая никакъ не могла честнымъ трудомъ заработать столько, чтобы прокормить и одѣть себя и старуху. «Отъ нищеты она поползнулася и впала въ напасть во огражденіи баннѣмъ» (то-есть на банномъ дворѣ). Въ странѣ той, гдѣ это было, женщинъ строго карали за распутство, и эту дѣвушку «взялъ князь» и «по закону хотяше убить ю». По строгости такого рѣшенія надо думать, что «напасть во огражденіи баннѣмъ» заключалась въ какомъ-нибудь особенномъ развратномъ дѣяніи, за которое «по закону» полагалось убивать для устрашенія другихъ. Такіе случаи бывали, но разсказывать о нихъ неудобно. Мать осужденной на смерть дѣвушки пришла къ князю и просила его не казнить ея дочь, потому что послѣ этого не будетъ кому напоить ее, старуху, водой. А если уже дочь за ея беззаконіе нельзя помиловать, то старуха умоляла князя, чтобы повелѣлъ и ее самоё тоже убить одно-

временно вмѣстѣ съ дочерью. Князь спросилъ: «Развѣ у тебя нѣтъ больше дѣтей?»

— У меня есть сынъ, — отвѣчала старуха:—но онъ монахъ и не живетъ съ нами.

— Пусть придетъ ко мнѣ этотъ монахъ и поговоритъ о сестрѣ,—сказалъ князь.

Старуха отправилась въ монастырь къ сыну, но она потрудилась напрасно: монахъ не пошелъ къ князю говорить о сестрѣ, а сказалъ еще:

«— Вѣру ими ми, мати, аще и тебя побіютъ съ нею— азъ и о томъ орудія не имамъ. Умрохъ бо міру».

Старуха пересказала это князю, и князь помиловалъ дочь старухи безъ разговора съ монахомъ.

Этими тридцатью пятью женскими лицами представлено полное обозрѣніе женскихъ типовъ Пролога, какъ древняго житійнаго источника, отреченнаго церковною критикой, но до сихъ поръ уважаемаго русскимъ простонародіемъ. Держась самой сжатой краткости, мы имѣли цѣлью показать, что въ этомъ житійномъ сборникѣ женщины представлены отнюдь не такъ дурно, какъ это думаютъ и утверждаютъ люди, не потрудившіеся обозрѣвать подобные сборники обстоятельно и безпристрастно. Если мы этого хоть мало достигли, то весьма тому радуемся.

МАЛАНЬЯ—ГОЛОВА БАРАНЬЯ.

(СКАЗКА.)

Въ одномъ глухомъ и отдаленномъ отъ городовъ мѣстѣ была большая гора, поросшая дремучимъ лѣсомъ. У подошвы этой горы текла рѣка, и тутъ стояло селеніе, гдѣ жили зажиточные рыболовы и хлѣбопашцы. Отъ этого селенья шла черезъ лѣсъ дорожка въ другую деревню, а на этой дорожкѣ въ сторонѣ на полянкѣ стояла избушка, въ которой жила бѣдная женщина по имени Маланья, а по прозванію «Голова баранья». Такъ прозвали ее потому, что считали ее глупою, а глупою ее почитали за то, что она о другихъ больше, чѣмъ о себѣ, думала. Если, бывало, кто-нибудь попроситъ о такомъ, что нельзя сдѣлать безъ того, чтобы лишить себя какихъ-нибудь выгодъ, то такому человѣку говорили:

— Оставь меня въ покоѣ; мнѣ это не выгодно—вонъ тамъ на пригоркѣ живетъ Маланья—голова баранья: она не разбираетъ, что̀ ей выгодно и что̀ не выгодно,—ее и попроси,—она, небось, сдѣлаетъ.

И человѣкъ шелъ на пригорокъ и просилъ у Маланьи, и если она могла ему сдѣлать, о чемъ онъ просилъ,—то она дѣлала, а если не могла, то привѣтитъ, да приласкаетъ и добрымъ словомъ утѣшитъ,—скажетъ:

— Потерпи,—Христосъ терпѣлъ и намъ велѣлъ.

У Маланьи избушка была крошечная, такъ что только можно было повернуться около печечки, а жили здѣсь съ нею сухорукій мальчикъ Ерашка, да безногая дѣвочка Живулечка сидѣла на хромомъ стуличкѣ.

Оба они были не родня Маланьѣ — головѣ бараньей, а чужіе,—родныхъ ихъ разбойники въ лѣсу закололи, а ихъ бросили; поселяне ихъ нашли и стали судить—кому бы ихъ взять? Никому не хотѣлось брать безрукаго, да безногую,—никогда отъ нихъ никакой пользы не дождешься, а Маланья услыхала и говоритъ:

— Это вы правду, добрые мужички, говорите: безъ рукъ, безъ ногъ ничего не обработаешь, а пить-ѣсть надобно: давайте мнѣ Ерашку съ Живулечкой. Случается, что мнѣ одной ѣсть нечего — тогда намъ втроемъ веселѣй терпѣть будетъ.

Мужички захохотали.

— Беззаботная, говорятъ,—Маланья,—прямая ты голова баранья,—и отдали ей и Ерашку, и дѣвочку Живулечку.

А Маланья ихъ привела и оставила у себя жить.

Живутъ часомъ съ квасомъ, а порою съ водою. Маланья ночь не спитъ: то богатымъ бабамъ пряжу прядетъ, то мужикамъ вязенки изъ шерсти вяжетъ, и мучицы и соль заработаетъ, и хворосту по лѣсу наберетъ—печку затопитъ и хлѣба спечетъ, и сама поѣстъ, и Ерашку съ Живулечкой покормитъ.

Сошлись передъ вечеромъ у колодца домовитыя бабы и спрашиваютъ Маланью:

— Какъ ты, Маланья—голова баранья, съ ребятишками прокуратничаешь.

— А все хорошо, слава Богу,—отвѣчаетъ Маланья.

— Чѣмъ же хорошо? вѣдь они у тебя безсчастные!

— А тѣмъ, бабоньки, и хорошо, что они безсчастные, — что на ихъ долю немного нужно. Если бы они были посчастливѣе, да позадачливѣй,—мнѣ бы не послужить ими Господу Богу, а какъ они плохіе да бездомные, то что̀ я имъ ни доспѣю—все это для нихъ лучше того, какъ если бы я ихъ не приняла, да объ нихъ не подумала.

Покивали бабы головами и говорятъ:

— А ты еще впередъ-то подумала ли: что̀ съ ними будетъ?

— Нѣтъ,—говоритъ Маланья:—я объ этомъ не думала.

— Да какъ же такъ можно? Надо всегда о переду думать!

А Маланья отвѣчаетъ:

— Что̀ пользы думать о томъ, чего знать невозможно, дастъ Богъ день — дастъ и пищу на день, а ночью намъ всѣмъ есть покой на печечкѣ.

— И то правда,—сказали бабы:—они—плохіе,—можетъ-быть, и умрутъ скоро на твое счастье!

А Маланья руками замотала.

— Что вы! что вы!—говоритъ,—зачѣмъ смерть звать: я ее къ себѣ на порогъ не хочу—пусть она за дверьми присохнетъ.

Домовитыя бабы распотѣшились и разсмѣялись:

— Ну, Маланья,—говорятъ,—голова баранья,—да какая же ты удалая да смѣшная: саму смерть у порога засушить хочетъ.

Пошла Маланья къ Ерашкѣ съ Живулечкой — понесла имъ водицы напиться дать и ее согрѣть въ горшкѣ, да головенки вымыть у припечка, а бабы стоятъ у колодца, — вслѣдъ ей смотрятъ и пересмѣиваются. А къ нимъ изъ лѣсу выходитъ старый старичокъ, на двѣ клюки опирается:

— Бабоньки,—говоритъ:—кто у васъ тутъ есть на селѣ живъ человѣкъ, что пущаетъ къ себѣ неимущаго путника?

А бабы ему отвѣчаютъ:

— А ты чей человѣкъ и какъ тебя звать по имени и по отчеству?

Старикъ отвѣчаетъ:

— Странникъ я свѣта Божьяго, и имя мнѣ Живая Душа на костылькахъ; пріусталъ въ пути да уснуть хочу.

— Мы не знаемъ тебя,—отвѣчали бабы:—и пустить къ себѣ безъ мужиковъ не смѣемъ, а мужики у насъ строгіе да грозные—придутъ, заругаютъ насъ.

— Что же, вы, видно, своихъ мужиковъ больше Бога боитесь. Богъ-то, вѣдь, велѣлъ принять и покормить неимущаго.

Бабы отвѣчаютъ:

— И то правда твоя, странничекъ: Божье слово помнимъ, а человѣческаго боимся.

Живая Душа покачала головой и говоритъ:

— А вѣдь это, бабоньки, по худу быть — такъ бы вѣдь вовсе не надобно. Пойду къ самимъ мужикамъ: у нихъ попрошусь.

Пошелъ къ мужикамъ, и мужики его не пустили.

— Кто тебя знаетъ,—сказали:—можетъ-быть, ты слабымъ прикинулся и самъ разузнать хочешь, гдѣ у насъ дорогое добро лежитъ, да ворамъ открыть, а можетъ-быть, у тебя

на тѣлѣ прыщи да вереды, а у насъ избы чистыя и полы стланые—иди-ка по тропиночкѣ въ гору, тамъ есть бѣдная избушка — въ ней живетъ Маланья — голова баранья, она всѣхъ пущаетъ и тебя пуститъ.

— Спасибо вамъ, добрые хозяева, — отвѣчалъ старичокъ Живая Душа и пошелъ къ Маланьѣ.

А Маланья увидѣла его изъ окна и послала безрукаго Ерашку, чтобы звать его ужинать.

Ерашка добѣжалъ къ старику и кричитъ:

— Иди-ко-сь, дѣдко: тетушка Маланья наварила горшокъ снытки, сольцой посолила, зоветъ тебя ужинать.

Старикъ Живая Душа погладилъ Ерашку по головѣ.

— И то,—говоритъ:—къ вамъ иду. Другіе-то не пускаютъ.

И только влѣзъ въ избу,—тѣсно стало и сѣсть не на чемъ, а Маланья говоритъ:

— Садись, дѣдушка, со ребятками ѣшь, а я постою.

Сѣлъ дѣдко и поужиналъ, и заговорилъ по-учтивому и по-ласковому.

— Спасибо,—говоритъ:—тебѣ, что не спросила, откуда я и какъ меня звать по имени, а посадила хлѣба ѣсть. Я теперь пойду въ лѣсъ—у тебя тѣсно—всѣмъ намъ лечь негдѣ.

— Что ты! что ты! Живая Душа Божія! Въ лѣсу медвѣди и волки ходятъ — развѣ я тебя ночью туда выпущу! Здѣсь намъ всѣмъ мѣсто будетъ. Вотъ Ерашка на печку, а Живулька за печку, а ты тутъ протянись, гдѣ просторъ опростается, а мнѣ мое мѣсто найдется.

— Ну, будь по-твоему,—сказалъ старикъ, а самъ думаетъ: «гдѣ-же это ей-то самой мѣсто будетъ?»

Легъ, покрылся своей ветошью, да и уснулъ съ одного вздоха отъ усталости, а послѣ третьихъ пѣтуховъ проснулся— и видитъ: Маланья стоитъ на ногахъ и прядетъ кудель, которая у нея на колочекъ подъ потолкомъ приткнута.

Посмотрѣлъ на нее старикъ однимъ глазкомъ и говоритъ:

— А вѣдь это ты, тетка, должно-быть, и не ложилась.

А Маланья отвѣчаетъ:

— Да мнѣ, Живая Душа, и не хотѣлося.

Старикъ покачалъ головой и говоритъ:

— Ну-ну-ну! Водилъ, водилъ меня Господь долго по свѣту; думалъ я, что позабылъ Онъ меня и покинулъ, а Онъ привелъ меня въ отрадное мѣсто и сподобилъ узрѣть любовь чистую.

Скажи теперь мнѣ за то въ одно слово: что у тебя есть въ желаніи—я тебѣ то у Бога и выпрошу.

А Маланья говоритъ:

— Что мнѣ недостаетъ? я и такъ всегда радостна, а желаю только, чтобы смерть моего порога не переступала, а если придетъ, такъ чтобы за дверью присохла.

Старикъ отвѣчаетъ:

— Что-жъ,—такъ и будетъ.

Ушелъ старикъ, а смерть вотъ же тутъ и жалуетъ; наряжена богатой казачкой въ парчевомъ шугаѣ съ золотой пикою, юбка штофная, на боку стальная коса на золотой цѣпочкѣ, чеканной на манеръ мертвыхъ костей человѣческихъ, вся рожа накрашена, черные зубы во рту бѣлымъ платочкомъ въ рукѣ заслоняетъ и въ избу просится.

— Покажи,—говоритъ:—мнѣ дѣтушекъ-голубятушекъ, я имъ принесла по медовому груздочку и по точеному яблочку.

А Маланья какъ взглянула на нее, такъ и признала ее, что это смерть,—вскричала ей:

— Хорошо имъ со мной и безъ яблочекъ, а тебя бы лучше не было и присохни ты на одномъ мѣстѣ.

Та и присохла и не можетъ оторвать ногъ отъ того мѣста, гдѣ пристала, а Маланья ее сухимъ хворостомъ заслонила, чтобы не видать ея было.

И славно бы дѣло сдѣлалось, да пошли отъ селенія ужасные стоны и слезы: сильный слабаго тѣснитъ и бьетъ безъ милости, и нѣтъ на злодѣя въ жестокомъ сердцѣ его никакой угрозы, и какъ были люди жестоки, то стали еще жесточе того, и приходятъ къ Маланьѣ всякій день столько несчастныхъ, сколько она во всю свою жизнь не видала, и она уже не можетъ помогать имъ, и слышитъ, какъ они плачутъ и смерть кличутъ: «Смертюшка-матушка, гдѣ ты завѣялась! зачѣмъ міръ покинула! приди, укрой насъ отъ злодѣевъ нашихъ немилостивыхъ—безъ тебя они зазнались безъ памяти!»

Тутъ Маланья ума хватилась.

— Это я,—говоритъ:—дура, все лихо надѣлала, захотѣла поправлять дѣла Божіи—чему быть, а чему не быть сотворенному. И завяла смерть, а заслонена у меня кучкой хвороста.

— Ахъ, спусти ее, матушка, умилосердися! Вѣдь вотъ

уже сто лѣтъ у насъ ни однѣхъ похоронъ не было, и обезсердечили люди жестокіе, а мы состарѣлись, измаялись. Спусти ее и ихъ убрать отъ большихъ грѣховъ, и насъ — отъ страданія.

И пошла Маланья, развалила хворостъ, а смерть-то такъ ужъ не румяною казачкой глядитъ, а какъ паутиночка, и коса у ней вся заржавѣла.

— Иди, куда тебя Богъ послалъ! — сказала Маланья смерти: и та колыхнулась и поплыла къ селу паутинкою по сжатому полю, и послышался вскорѣ погребальный звонъ, и перекрестились бѣдняки и встрепенулись богатые мужики.

— Мы, было, думали, — она навсегда кончилась, а вотъ она, какъ змѣя, изъ хворосту выскочила. Нельзя вѣкъ лютовать и властвовать.

А убогіе крестились и сами въ гробы ложились:

— Устали, — говорятъ: — наши косточки—насилу дождались земли горсточки.

И обошла смерть все село за лѣсомъ и убрала все, что̀ было нужно убрать, — а съ другими вмѣстѣ и Ерашку, и Живулечку, потому что было уже и безрукому, и безногой болѣе, чѣмъ по сту лѣтъ, а Маланья осталась жить и все живетъ, какъ прежде жила, и все то же дѣлаетъ, что̀ и прежде дѣлала, и всѣ тѣ умерли, кто звалъ ее «Маланьей—головой бараньей», и сама она это имя позабыла. И какъ смерть обойдетъ весь свѣтъ да придетъ къ ней и спроситъ:

— Какъ тебя звать?

Она старается вспомнить и никакъ вспомнить не можетъ и говоритъ:

— Не знаю—вѣрно, мое имя перемѣнилося.

Смерть стала вопрошать: «какъ имя этой женщинѣ?» А ей въ отвѣтъ и упалъ съ неба бѣлый, какъ снѣгъ, чистый камень, какъ сердце обточенный, и на немъ огнистымъ золотомъ горитъ имя: «Любовь».

Увидѣла это смерть и сказала:

— Ты не моя, — нѣтъ твоего имени въ моемъ приказѣ: любовь не умираетъ: ты доживешь до тѣхъ поръ, когда правда и милосердіе встрѣтятся, и волкъ ляжетъ съ ягненкомъ и не обидитъ его.

Оглавленіе

XXXIII ТОМА.

	стр.
Юдоль. (Рапсодія)	3
О «квакереяхъ». (Post-scriptum къ «Юдоли»)	97
Пустоплясы. (Святочный разсказъ)	106
Дурачокъ. (Разсказъ)	118
Легендарные характеры. (Опытъ систематическаго обозрѣнія).	126
Маланья—голова баранья. (Сказка).	196

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Пемгайл. пр., № 29.

ПОЛУНОЩНИКИ.

(ПЕЙЗАЖЪ И ЖАНРЪ.)

«Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья бѣготня».
Пушкинъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

....Я былъ грустно настроенъ и очень скучалъ. Уѣхать изъ города на лѣто было еще рано, и мнѣ посовѣтовали сдѣлать непродолжительную прогулку съ цѣлью увидѣть новыя, непримелькавшіяся лица. Я сдался на убѣжденія моихъ друзей и поѣхалъ. Я не зналъ никакихъ порядковъ города, куда держалъ путь, ни нравовъ людей, съ которыми мнѣ тамъ придется встрѣтиться, но фортуна начала благопріятствовать мнѣ съ перваго шага. На первыхъ же порахъ во время путешествія я нашелъ услужливыхъ и опытныхъ людей, которые дѣлали это путешествіе уже не первый разъ, и они научили меня, гдѣ надо пристать и какъ себя пристойнѣе держать. Я все принялъ къ свѣдѣнію и остановился тамъ, гдѣ останавливаются всѣ, кого влечетъ сюда призваніе. Учрежденіе это не отель и не гостиница, а оно совершенно частный домъ, приспособленный сообразно вкусу и надобностямъ здѣшнихъ посѣтителей, и называется онъ — «Ажидація».

Мнѣ досталась маленькая комната. Выбирать помѣщеній здѣсь не принято, а равно не принято и претендовать на ихъ относительныя неудобства. Это все человѣкъ узнаетъ

еще во время короткаго переѣзда. Всякій помѣщается здѣсь на томъ мѣстѣ, какое ему отведутъ; а что кому надо отвести—это сразу опредѣляетъ проницательное око очень бойкой женщины, которую называютъ «риндательша»; если же нѣтъ на мѣстѣ самой «риндательши», тогда сортировкою посѣтителей занимается состоящая при ней подручная ключница. Обѣ онѣ, повидимому, благороднаго происхожденія, или, по крайней мѣрѣ, это дамы, которыя достаточно видѣли свѣтъ и имѣютъ о немъ надлежащее понятіе. Нынѣшній солидный возрастъ обѣихъ дамъ, кажется, долженъ бы хранить ихъ отъ всякаго злоязычія, а здравый смыслъ и благочестіе начертаны на ихъ лицахъ, хотя, впрочемъ, довольно различными пошибами. Ликъ «риндательши» ударяетъ въ сухой, византійскій стиль, а ключница съ дугообразными бровями принадлежитъ итальянской школѣ. Обѣ эти женщины несомнѣнно умны и относятся къ разряду тѣхъ, о которыхъ сказано: «ихъ же не оплетеши». Другъ другу онѣ улыбались какъ друзья, но въ глазахъ ихъ, казалось, свѣтились какія-то иныя чувства, совсѣмъ несхожія съ искренней дружбой. Наблюдательный человѣкъ могъ подумать, что этихъ женщинъ связываетъ какъ будто какое-то взаимное опасеніе.

Въ ихъ необыкновенномъ домѣ господствуетъ система: какъ къ нимъ «привалитъ» публика, или, какъ ее называютъ—«толпучка», дамы встрѣчаютъ гостей и тотчасъ же ихъ сортируютъ; знакомыхъ лицъ онѣ прямо размѣщаютъ по извѣстнымъ комнатамъ, а незнакомыхъ подвергаютъ предусмотрительному разбору, послѣ чего каждый ожидатель получитъ въ «Ажидаціи» такое помѣщеніе, какого онъ заслуживаетъ *).

Для этого прежде всего всѣхъ ожидателей сначала «собьютъ въ уголъ къ Владычицѣ». Здѣсь «въ ажидаціи» немножко помолятся передъ большимъ образомъ, а ихъ въ это время расцѣнятъ и разсортируютъ.

Довольно большой домъ въ два этажа составляетъ одно помѣщеніе — «для ожидающихъ». Дѣло, очевидно, ведется очень просто, но основательно: въ особѣ ключницы сосредо-

*) Слово «Ажидація» здѣсь употребляется въ двухъ смыслахъ: а) какъ названіе учрежденія, гдѣ «ожидаютъ», и б) какъ самое дѣйствіе ожиданія. Въ одномъ случаѣ оно пишется съ прописной буквы, а въ другомъ—со строчной.

точена большая экономическая сила и исполнительная полицейская власть.

Сила нравственная и политическая находится въ рукахъ самой «риндательши». Остальной домашній штатъ «Ажидаціи» состоитъ изъ услуживающихъ лицъ женскаго пола, которыя находятся почти въ постоянныхъ побѣгушкахъ. Кромѣ того есть «куфарка». Весь этотъ подборъ принадлежитъ къ служебнымъ типамъ самаго низшаго сорта. Впрочемъ, у «куфарки» есть драповая тальма, въ которой она, должно-быть, служила еще «генералу»,—теперь она ее соблюдаетъ больше для важности, и показывается въ ней публикѣ, или «толпучкѣ».

Мужчинъ усматривается двое: одинъ стоитъ при дверяхъ въ нижнемъ этажѣ, а другой сидитъ у окна въ концѣ коридора за шкафикомъ.

Первый производитъ впечатлѣніе придурковатаго простачка; второй бойкій жохъ изъ отставныхъ военныхъ.

Размѣщеніе въ «Ажидаціи» отлично приноровлено къ ожидательской цѣли. Въ обоихъ этажахъ вдоль всего зданія идетъ посрединѣ коридоръ, а по сторонамъ — стойлицы.

Это «номера для ожидателей». Здѣсь не называютъ: «пріѣзжающіе» или «прибывающіе», а «*ожидающіе*». Это солиднѣе и соотвѣтственнѣе.

Коридоры наверху и внизу просторны и свѣтлы. Въ концѣ каждаго изъ нихъ по окну. Коридоръ нижняго этажа содержится въ посредственной чистотѣ. Особенной чистоты нѣтъ,—ее здѣсь и не убережешь, потому что сюда входятъ прямо съ надворья и тутъ же раздѣваются и обтираютъ обувь. Тутъ же и печурка, гдѣ ставятъ самовары, и ходъ въ кухню, откуда пахнетъ грибнымъ и рыбнымъ. На одной изъ стѣнъ большой образъ Владычицы и рядомъ поменьше образъ, передъ нимъ лампада, аналой и на полу вытертый коврикъ, а напротивъ деревянная скамья со спинкой, изъ такъ-называемыхъ твердыхъ дивановъ.

Въ разныхъ мѣстахъ фотографическіе и печатные портреты одного и того же духовнаго лица.

Съ прихода всѣ ожидатели идутъ къ Владычицѣ и молятся, или, какъ говорятъ, «припадаютъ». Затѣмъ всѣхъ разводятъ въ ихъ номера.

Знакомые имѣютъ номера излюбленные, которые какъ

бы всегда состоятъ за ними. Изъ нихъ нѣкоторые даже и не «принадаютъ» въ коридорѣ, а поздоровавшись съ хозяйками, прямо проходятъ въ «свои номера». Имъ только говорятъ:

— Пожалуйте.

Другихъ, «которые первенькіе, но почище», водворяютъ по усмотрѣнію въ свободныхъ номерахъ перваго и второго этажа.

Это—аристократія необыкновеннаго дома.

Они получаютъ распредѣленіе скоро. Имъ нѣтъ нужды ждать, пока размѣстятъ всѣхъ остальныхъ. Прочихъ ключница беретъ и ведетъ въ общую.

У одного изъ оконъ нижняго коридора за маленькимъ желтымъ шкафикомъ помѣщается отставной военный съ очень серьезнымъ выраженіемъ. Возлѣ него на табуретикѣ сидитъ ребенокъ, мальчикъ лѣтъ девяти, имѣющій въ чертахъ большое сходство съ военнымъ. Передъ мальчикомъ куча вскрытыхъ конвертовъ, съ которыхъ онъ смачиваетъ слюнами марки и переклеиваетъ ихъ въ тетрадь. Дѣлаетъ онъ это скоро и ловко и съ замѣчательною, не дѣтскою серьезностью, которою, повидимому, очень заинтересована стоящая возлѣ него кухарка въ драповой тальмѣ. Она долго на него смотритъ и наконецъ вздыхаетъ и говоритъ:

— Прелесть какъ ловко,—лапочки будто у мышеночка—такъ и виляютъ!

Отецъ этого прилежнаго отрока, очевидно, имѣетъ здѣсь довольно серьезное значеніе и сидитъ прочно на дебеломъ стулѣ, подъ которымъ постланъ мягкій коврикъ. Военный просматриваетъ какія-то записки и что-то выкладываетъ на маленькихъ счетахъ; но это его не вполнѣ поглощаетъ: онъ все видитъ и слышитъ; мимо него никто не пройдетъ, чтобы онъ не увидѣлъ и не повелъ на него глазомъ и усами.

Шкафикъ у него покрытъ черною, запачканною клеенкою, на которой стоитъ чернильница съ гусинымъ перомъ и лежатъ нарѣзанные листки бумаги.

Въ серединѣ въ шкафѣ есть чистыя поминальныя книжки, лампадное масло, восковыя свѣчи и ладанъ, а также какія-то брошюрки и фотографическіе портреты меньшаго и большаго размѣра.

Воинъ этотъ — человѣкъ солиднаго вѣка и, несомнѣнно, очень твердаго характера.

Прислуга дала ему прозваніе «балыкъ».

Номера нижняго этажа «Ажидаціи» всѣ немножечко съ грязцой и съ кисловатымъ запахомъ, который какъ-будто привезенъ сюда изъ разныхъ мѣстъ крѣпко запеченнымъ въ пирогахъ съ горохомъ. Всѣ «комнатки», кромѣ двухъ, имѣютъ по одному окну, съ худенькими занавѣсками, расщипанными дырками по серединѣ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ удобно можно сколоть булавками. Меблировка скудная, но, однако, въ каждомъ стойлицѣ есть кровать, вѣшалка для платья, столикъ и стулья. Въ двухъ большихъ комнатахъ, имѣющихъ по два окна, стоитъ по скверному клеенчатому дивану. Одна изъ этихъ комнатъ называется «общею», потому что въ ней пристаютъ такіе изъ ожидателей, которые не желаютъ или не могутъ брать для себя отдѣльнаго номера. Во всѣхъ комнатахъ есть образа и портретики; въ общей комнатѣ образъ значительно бо́льшаго размѣра, чѣмъ въ отдѣльныхъ номерахъ, и передъ нимъ теплится «неугасимая». Другая неугасимая горитъ передъ Владычицей въ коридорѣ.

Передъ образами въ номерахъ тоже есть лампады, которыя, впрочемъ, зажигаются при входѣ сюда ожидателей и притомъ, безъ сомнѣнія, на ихъ счетъ, такъ какъ здѣсь же есть кружка «на масло». Лампады возжигаетъ воинъ, имѣющій свой торговый постъ у шкафика.

Нѣкоторые изъ ожидателей не довольствуются огнемъ лампадъ и еще прилѣпливаютъ передъ номерными образами восковыя свѣчки. Это имъ дозволяется и даже поощряется, но не иначе, какъ тогда, когда сами ожидатели находятся въ комнатѣ и не спятъ. При выходѣ же изъ комнаты или при отходѣ ко сну, они обязаны гасить свѣчи, но лампады у нихъ могутъ горѣть во всю ночь.

Бываютъ случаи, что нѣкоторые, помолившись и легши въ постель, оставляютъ прилѣпленныя свѣчи «догорать», но «риндательша» или ея помощница непремѣнно это замѣчаютъ и сейчасъ же постучатъ рукой въ двери и попросятъ погасить.

Наблюдаютъ онѣ за этимъ тщательно и укрыться отъ нихъ никому невозможно.

Въ верхнемъ этажѣ «Ажидаціи» все чище и лучше. Коридоръ такъ же широкъ, какъ и внизу, но несравненно свѣтлѣе. Онъ имѣетъ пріятный и даже веселый видъ и служитъ мѣстомъ бесѣдъ и прогулокъ. Въ окнахъ, которыми заканчивается коридоръ по одну и по другую сторону, стоятъ купеческіе цвѣты: герань, бальзамины, волкамерія, красный лопушокъ и мольное дерево, доказывающее здѣсь свое безсиліе противъ огромнаго изобилія моли. На одномъ окнѣ цвѣты стоятъ прямо на подоконникѣ, а у другого окна—на дешевой черной камышевой жардиньеркѣ. Вверху подъ занавѣсками—клѣтки съ птичками, изъ которыхъ одна канарейка, а другая—чижикъ. Птички порхаютъ, стучатъ о жердочки носиками и перекликаются, а чижикъ даже поетъ. Торговыхъ приспособленій здѣсь никакихъ не видно. Напротивъ, тутъ все имѣетъ претензію казаться чинно и благородно. На стѣнѣ, приблизительно въ такомъ же разстояніи, какъ и въ нижнемъ коридорѣ, помѣщается другой Владычный образъ, тоже большого размѣра и въ бѣленомъ окладѣ съ золоченымъ вѣнцомъ. Онъ въ рамѣ за стекломъ съ отводинами, освѣщенъ лампадою въ три огня и передъ нимъ разостланъ на полу совершенно свѣжій коврикъ съ розовыми букетами и стоитъ аналой, а на немъ крестъ и книга. Книга и крестъ завернуты въ эпитрахиль на зеленой подкладкѣ.

Полъ коридора крашеный и блеститъ. Онъ, очевидно, вымытъ съ мыломъ и натирается воскомъ. Вдоль всего коридора довольно широкая джутовая «дорожка» съ цвѣтною каемкою.

Вдоль стѣнъ противъ образа поставлено одно кресло и нѣсколько легкихъ вѣнскихъ стульевъ съ тростниковыми плетенками. Въ углахъ плевательницы.

Комнаты верхнихъ номеровъ всѣ гораздо лучше омеблированы, чѣмъ внизу. Здѣсь, кромѣ кроватей и стульевъ, есть комодики и умывальники. Нѣкоторыя комнаты передѣлены ситцевыми драпировками на-двое: одна половина образуетъ спальню, другая—что-то въ родѣ гостиной. Тутъ на комодѣ туалетное зеркальце и въ углу образъ, передъ которымъ тоже можно зажигать лампаду, или, по желанію, свѣчку.

Свѣчки, однако, больше зажигаютъ «сѣрые ожидальщики», которые собственно составляютъ «толпучку» и имѣютъ

остановку въ нижнихъ номерахъ, а «верхняя публика» почти всегда ограничивается однѣми лампадами.

Кислаго запаха гороховой начинки здѣсь не слышно, и только внутри комодныхъ ящиковъ пахнетъ прогорклою конторскою икрою и семгой, отъ которыхъ и остались въ изобиліи жирныя пятна.

Наверху, также какъ и внизу, есть тоже общая комната, помѣщающаяся рядомъ съ собственнымъ покоемъ «риндательши». Эта комната имѣетъ, впрочемъ, видъ гостиной. Она уставлена мягкою мебелью и имѣетъ большую образницу, въ которой много образовъ, а передъ ними опять коверъ и аналой съ крестомъ и съ книгою въ эпитрахили. Лампада горитъ «общая», и огонь ея красиво дробится въ широкомъ стаканѣ изъ мелко ограненнаго алмазной гранью хрусталя. Возлѣ образника укрѣплена и припечатана зеленая кружка для доброхотныхъ вкладовъ.

Въ комнатѣ этой ночуютъ только въ такихъ случаяхъ, если число ожидателей бываетъ больше, чѣмъ сколько есть номеровъ. Тогда здѣсь помѣщаютъ «залишнихъ ожидателей» одного пола или какое-нибудь цѣлое семейство; въ остальное же время комната эта считается «бесѣдною» и открыта для всѣхъ прибывающихъ въ домъ ожидателей.

Послѣ ранней обѣдни здѣсь ежедневно служатъ молебенъ, за которымъ всѣ могутъ молиться и подавать свои поминанья и записки. Тѣ же, которые, кромѣ общаго моленія, желаютъ такъ устроить, чтобы еще отдѣльно за себя молиться въ своемъ номерѣ, должны заявлять о своемъ желаніи особо. Ходатайство объ этомъ надо вести черезъ «риндательшу». Ключница за это не берется. Непосредственныя же просьбы объ этомъ часто не доходятъ.

Свѣчи, масло и все прочее, что нужно къ служенію, требуется наверхъ снизу, и завѣдующій этимъ хозяйствомъ воинъ подаетъ все это въ молчаніи и съ торжественной серьезностью.

Главный надзоръ за учрежденіемъ принадлежитъ самой «риндательшѣ», которая, какъ сказано, живетъ тутъ же на верхнемъ коридорѣ, въ маленькой комнатѣ, рядомъ съ «бесѣднымъ» покоемъ, а внизу правитъ дѣломъ помогающая ей ключница, которая присматриваетъ тоже за кухонной частью и за свѣчнымъ унтеръ-офицеромъ.

Обязанности у обѣихъ дамъ раздѣлены. «Риндательша», какъ собственница учрежденія, избрала себѣ часть болѣе умственную: она держитъ кормило корабля. Ей одной извѣстна ея касса и тѣ средства, которыя приходятъ въ нее ей одной открытыми путями. Она даетъ надлежащій тонъ всему своему заведенію и владѣетъ возможностью доставлять особыя душевныя утѣшенія тѣмъ, кто ихъ разумно ищетъ при ея посредствѣ.

Ея часть, такъ-сказать, генеральная, а часть ключницы, помѣщающейся внизу, болѣе обозная, узко-хозяйственная, полная мелочныхъ хлопотъ и отчасти даже непріятностей, потому что она имѣетъ дѣло съ прислугою, избранною изъ людей самаго низшаго качества, и съ ожидателями изъ того слоя общества, который называется «сѣростью». «Сѣрость», выражаемая не однимъ званіемъ и относительною бѣдностью, имѣетъ также очень грубые навыки и не всегда отличается честностью въ расчетѣ. «Риндательша» удаляется отъ всякихъ непріятныхъ столкновеній въ денежномъ родѣ и слыветъ «доброю»; но, по словамъ прислуги, она «большая скрытница» и «ужасно» требуетъ отъ ключницы охраненія всѣхъ своихъ выгодъ и интересовъ. Ключница должна прибѣгать къ разнымъ пріемамъ, чтобы все было заплачено.

— «Сила вся въ ихъ рукахъ»,—говоритъ общій голосъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я прибылъ къ нимъ безъ всякой протекціи. Я могъ бы получить рекомендаціи, но это не входило въ мои скромные и безпритязательные планы. Я искалъ облегченія отъ тоски и томленья духа и явился просто въ чинѣ ожидателя. Какъ человѣкъ средній, я былъ помѣщенъ по непосредственному усмотрѣнію дамъ въ маленькой комнатѣ верхняго этажа.

Не зная, какъ здѣсь лучше вести себя, я присматривался во всемъ къ другимъ и старался дѣлать то, что дѣлаютъ опытные люди. Только такимъ образомъ я и могъ попасть въ господствующій тонъ пріютившаго меня учрежденія, что̀ было необходимо. Я не хотѣлъ обнаруживать никакого диссонанса въ чувствахъ и настроеніи группы необыкновенныхъ людей, по лицамъ которыхъ было видно, что всѣ они прибыли сюда съ очень большими и смѣлыми

надеждами, и хотятъ, во что бы ни стало, получить что̀ кому нужно. Я «припадалъ» съ ними вездѣ, гдѣ они припадали, и держался сколь можно ближе всѣхъ ихъ обычаевъ, и скоро ощутилъ, что это невыразимо тяжело и неописуемо скучно. Притомъ мнѣ казалось, что здѣсь всѣ особенно другъ друга остерегаются и боятся, и что я пріѣхалъ очевидно напрасно, потому что пребываніе здѣсь не можетъ мнѣ представить ничего интереснаго.

Я ошибался.

Вечеромъ я погулялъ немножко въ одиночествѣ по городу, и это произвело на меня еще болѣе удручающее впечатлѣніе: изобиліе портерныхъ и кабаковъ, группы солдатъ, испитыя тѣни какой-то бродяжной рвани и множество снующихъ по тротуарамъ женщинъ извѣстной жалкой профессіи.

Я долженъ бы помнить, что благодать преобладаетъ тамъ, гдѣ преизбыточествуетъ грѣхъ, но я это забылъ и возвратился домой подавленный и съ окончательно разстроенными нервами; я на̀скоро напился чаю въ «бесѣдной» и потомъ вышелъ постоять на крыльцо, но, кажется, потревожилъ кухарку въ тальмѣ. Она разговаривала съ какою-то военною особою и все повторяла: «Ну, такъ что!.. А мнѣ хоть бы что̀-шеньки». Чтобы не сердить ее, я ушелъ въ свой номеръ, съ рѣшительнымъ намѣреніемъ уснуть какъ можно крѣпче до утра, а завтра встать пораньше и уѣхать восвояси утромъ же, ничего не дожидаясь.

Усталость и скука сильно клонили меня къ изголовью довольно сносной постели, которую я, впрочемъ, на всякій случай посыпалъ порядкомъ порошкомъ персидской ромашки.

Намѣреніе хорошо спать, однако, не удалось. Сначала мнѣ все страшно казалось: нѣтъ ли въ кровати клоповъ, съ которыми я въ моей кочевой жизни имѣлъ много непріятныхъ столкновеній на русскихъ ночлегахъ, а потомъ стало лѣзть въ голову желаніе опредѣлить себѣ: въ какую это я попалъ компанію, что̀ это за люди — больше дурные или больше хорошіе, больше умные или больше глупые, простаки или надувалы? И никакъ я этого не могъ разобрать и не зналъ, какъ ихъ назвать и къ какой отнести категоріи. А межъ тѣмъ сонъ развѣялся, и мнѣ, вмѣсто отдыха, угрожала раздражающая тоска безсонной ночи. Но,

по счастію, едва все стихло въ коридорахъ, какъ по обѣ стороны моей комнаты пошли ночные звуки. У меня оказалось разговорчивое сосѣдство, на которое я сначала сердился, а потомъ увлекся и началъ слушать.

Справа пришлись у меня сосѣди только досадительные и даже, кажется, не совсѣмъ съ чистою совѣстью. По говору слышно было, что тутъ, должно-быть, помѣщены какой-то старичокъ со своею старушкою. Они все что-то перекладывали и бурчали, при чемъ старикъ употреблялъ букву *ш* вмѣсто *с* и *ж* вмѣсто *з*, а также онъ употреблялъ что-то и изъ «штакана» и называлъ это «анкоръ». У нихъ, очевидно, было какое-то безпокойное домашнее обстоятельство, которое они пріѣхали уладить и кому-то угрожать, но при этомъ они и сами ощущали какой-то большой страхъ за себя. Впрочемъ, больше безпокоилась одна старуха, которая была, очевидно, довольно трусливаго десятка, а старикъ былъ отваженъ.

— Ничего, мама,—говорилъ онъ старушкѣ:—ничего, «не робѣй, воробей». Это штарая наша кавкажская поговорка. Ты увидишь, что онъ намъ даштъ — непремѣнно даштъ... плохо-плохо, что четвертную даштъ. Меньше ѣхать не штоило.

— Хорошо, если дастъ!

— Даштъ, нелькя чтобы не далъ, я ужъ шамую жадобрилъ и клюшницу тоже. Шама-то вше поняла, какъ я могу ей и вредъ, и польжу шдѣлать, — могу штаратьша вше ужнавать, и она будетъ жа нашъ штаратьша.

— Очень ты ей нуженъ!

— Нѣтъ, мамка, нуженъ. Ей надо жнать, кто лиъ какими мышлями пріѣжжаетъ, а я жнаешь... я вше што ештъ въ человѣкѣ — вше это могу ужнать и шкажать. Я буду чашто шуда публику шопровождать и шо вшѣми ражговаривать и отъ каждаго его прошлую жижтъ ужнавать, а они потомъ будутъ ихъ этимъ удивлять, что вше жнаютъ. Я имъ хорошо придумалъ. Я надобный! Ну, давай же анкоръ!

— А ты теперь какъ ей сказался?

— Какъ? Какъ мы шъ тобой рѣшили, такъ я и шкажался: ижъ благородныхъ, кавкажской арміи, брошены — непочтительный шынъ — шкажокъ начиталша... Ну, давай анкоръ!

— Что онъ Богу не молится, ты это сказалъ?

— Да, шкажалъ: шкажалъ, что и Богу не молитша, и что шлужить не жахотѣлъ, а шапоги шьетъ... и у жидовъ швѣчки пошлѣ шабаша убираетъ. Я вше шкажалъ, вше шкажалъ, и дай мнѣ жа это шомужки и анкоръ!

А старушка отвѣчала:

— Сёмужки нà, а анкоръ не надо.

— Отчего же не надо? Я именно хочу анкоръ.

— Такъ, нельзя анкоръ.

— Что жа такъ! что жа нельжа!.. Налей, налей мнѣ, мама, штаканчикъ! Я умно, хорошо вждумалъ, — мы теперь уштроимша.

Она налила, а онъ выпилъ и крякнулъ.

— Тише!—остерегла его старушка.

— Чего ты вше такъ боишьша?

— Всего боюсь.

— Не бойша, вше пуштаки... ничего не бойша.

— Скандалъ можетъ выйти.

— Какой шкандалъ? отчего?

— Еще спрашиваетъ: отчего? будто не знаетъ.

— Да; не жнаю.

— Вѣдь мы съ чужою рекомендаціею пріѣхали.

— Да; ну, такъ што-жъ такое?

— Тѣ, сосѣдніе жильцы, ее теперь, небось, вѣдь хватились,—своей рекомендаціи-то.

— Можетъ быть, и хватилишь...

— Ну, они сюда и придерутъ.

— Анъ не придерутъ.

— Почему?

— Дай анкоръ, тогда шкажу почему.

— Пьяница!

— Шовшѣмъ нѣтъ, а я умный человѣкъ. Дай анкоръ.

— Отчего же жильцы не могутъ пріѣхать?

— Налей анкоръ, такъ шкажу.

Она налила, а онъ выпилъ, и сказалъ, что подалъ вчера «подозрѣніе» на какихъ-то своихъ сосѣднихъ жильцовъ, у которыхъ этими супругами, надо думать, была похищена какая-то блистательная рекомендація.

Старушка промолчала; очевидно, средство это показалось ей годнымъ и находчивымъ.

Черезъ минуту она спросила его: совѣтовался ли онъ съ

кѣмъ-то насчетъ какого-то придуманнаго сновидѣнія, и что ему сказали?

Старичокъ отвѣчалъ, что совѣтовался, и тотчасъ же понизилъ голосъ и добавилъ:

— Она меня отлично научила, какъ про шонъ говорить.

— А какъ?

— Шмотрѣть на него, какъ онъ шлушаетъ, и ешли онъ вожметъ шебѣ руку въ бокъ, то тогда шейчашъ перештать и больше не шкаживать. Ешли вжалъ руки въ бокъ по-офицершки—жначитъ шердитша. А что-жъ ты мнѣ анкоръ? Вѣдь я бежъ того не ушну.

Я закрылъ голову подушкой и пролежалъ такъ минутъ двадцать. Стало душно. Я опять раскрылъ голову и прислушался. Разговоръ не то продолжается, не то конченъ, и старички даже, кажется, спятъ. Такъ и есть: слышны два сонныя дыханія: одно какъ будто задорится вырабатывать «анкоръ», а другое пускаетъ въ отвѣтъ тоненькое: «пли-пли».

— Encore!

— Пли-пли.

Травятъ кого-то, или даже, можетъ-быть, казнятъ—разстрѣливаютъ, что ли, кого-то во снѣ.

Будь наше мѣсто свято!

Я тихо всталъ съ постели и поскорѣе завѣсилъ своимъ плэдомъ дверь, изъ-за которой до слуха моего доползала эта затѣя.

Жадный тарантулъ и его ехидна, обнявшіеся на супружескомъ ложѣ, для меня исчезли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Зато, чуть стихла эта сцена справа, совсѣмъ другая начала обнаруживаться за стѣною слѣва.

Говорили двѣ дамы; одна, младшая, называла старшую: Марья Мартыновна; а другая, старшая, звала эту: Аичка. (По купечеству въ Москвѣ «Аичка» дѣлаютъ въ ласкательной формѣ изъ имени *Раиса).* Онѣ говорили тихо и такъ мирно и обстоятельно, что я сразу могъ понять даже, какъ онѣ теперь размѣщены въ своей комнатѣ и какъ другъ къ другу относятся.

Старшая, то-есть Марья Мартыновна, вкрадчивымъ, медовымъ голосомъ говорила младшей, Аичкѣ:

— Вотъ, мой ангелъ, я и рада, что вы у меня улеглись на покой въ постельку. Эта комнатка своей чистотой здѣсь изъ всѣхъ выдающаяся и постелька мякенькая. И вы понѣжьтесь, моя милочка. Вы должны хорошенько отдохнуть, иначе вамъ немыслимо. Вставать вамъ ни зачѣмъ не нужно. Я ваши глазурныя очи при лампадочкѣ прекрасно вижу, и что только вы подумаете—я сейчасъ замѣчу и все вамъ подамъ на постельку.

— Нѣтъ, я сама встану и лампадъ закрою, — отвѣчала Аичка молодымъ голосомъ съ московской оттяжкой.

— Анъ вотъ же и не встанете,—вотъ я лампадъ ужъ книжкой и загородила.

— Да ужъ вы извѣстная—пожилая, да скорая.

— Да, я и не могу иначе: у меня вѣдь игла ходитъ въ тѣлѣ.

— Какая игла въ тѣлѣ?

— Самая тонкая, одиннадцатый нумеръ.

— Зачѣмъ же она вамъ въ тѣло попала?

— По моей скорости шила и въ ладонь ее воткнула— она и ушла въ тѣло. Лѣкаря ловили, да не поймали. Сказали: «сама выйдетъ», а она ужъ тридцать лѣтъ во мнѣ по всѣмъ мѣстамъ ходитъ, а вонъ не выходитъ... Вотъ теперь вашимъ глазурнымъ очамъ не больно, и я покойна, и буду здѣсь же у вашихъ ножекъ сидѣть и потихоньку васъ гладить, а сама буду что-нибудь вамъ разсказывать.

— Нѣтъ, не надо меня гладить, я это не люблю! Садитесь въ кресло и изъ кресла мнѣ что-нибудь разсказывайте,— отвѣчала Аичка.

— А я непремѣнно здѣсь хочу! Это мое самое любимое— услужить милой дамѣ, въ чемъ пріятно, и у ея ножекъ посидѣть, и помечтать съ ней о какихъ-нибудь разностяхъ! Воспоминается, какъ еще, бывало, сами мы молоденькими дѣвушками, до невѣстинья, все такъ-то по ночамъ другъ съ другомъ шу-шу про всѣ свои тайности по секрету шушукались, и такъ, бывало, расшалимся, что и заснемъ вмѣстѣ, обнявшись.

— А по-моему женщинѣ съ женщиной обнявшись ласкаться никакой и особенной радости нѣтъ, даже и мечтать не о чемъ.

— Ласки, мой ангелъ, сами и мечты привлекутъ, и которыя дружныя, тѣ для того уединясь и мечтаютъ. Разумѣется, не

со всякой такая дружба возможна, но если у которой есть настоящій другъ, выдающійся, то «сколько счастья, сколько муки»!... Это испытать и не позабыть!

— Ничего не понимаю.

— Удивляюсь! Но я понимаю: у меня въ дѣвушкахъ былъ такой заковычный другъ, Шура. Ахъ, какая была прелесть пріятненькая, и зато ужъ мы любили другъ друга! Мамаша, бывало, сердится и говоритъ: «не расточайте вы, дурочки, попусту свои невинныя нѣжности—мужьямъ ласки оставьте». А мы и замужъ не хотѣли, да и что еще ждетъ замужемъ-то! Я только и свѣту видѣла, что до замужества, а ужъ какъ двумъ Пентефріямъ въ жертву досталась, такъ и не обрадовалась.

— Какъ же вы это двумъ достались? Это интересно.

— Одного закопала, а за другого вышла.

— Ахъ... такъ!.. вы за одного послѣ другого вышли!

— Да, а то какъ же?

— Вы сказали, что «двумъ досталась».

— А ужъ ты подумала, что я вмѣстѣ была за двумя разомъ.

Марья Мартыновна разсмѣялась дробнымъ горошкомъ и весело проговорила:

— Ахъ, ты, шалуша, шалуша! Ты думала, что у меня одинъ мужъ былъ праздничный, а другой для будни?

— Да вѣдь это-жъ тоже бываетъ.

— Бываетъ, мой другъ, бываетъ. Въ нынѣшнемъ свѣтѣ чего не бываетъ, но со мной не было.

— Иные вѣдь обманываютъ: женатый, да скроетъ про первую жену, и еще разъ женится. Ему за это достанется, а второй женщинѣ ничего.

— Да, если она отведетъ отъ себя, что не знала, то тогда ей особенно выдающагося наказанія нѣтъ, но только все-таки въ судѣ ее защитники-то процыганятъ и прокуроръ о постыдныхъ вещахъ разспрашивать будетъ.

— А какая бѣда, что спрашиваютъ? черезъ это женщина-то, когда о себѣ разскажетъ, такъ послѣ еще всѣмъ интереснѣе дѣлается; да и съ тѣмъ же, съ кѣмъ разведутъ, послѣ опять жить можно.

— Да, но только ужъ придется жить все равно какъ невѣнчанные.

— Извините-съ, настоящій разводъ предъ престоломъ

нынче не дѣлаютъ, въ церкви вѣнцовъ не снимаютъ, а только и всего, что въ судѣ прочитаютъ.

— А все ужъ по отдѣльному виду надо прописываться.

— Это не важность!

— Да; по полицейскимъ правиламъ это все равно, но прислуга меньше уважаетъ.

— Платите больше, и отлично уважать будетъ.

— Все—какъ при законѣ—такъ жить нельзя.

— А при капиталѣ какъ хочешь жить можно, такъ это еще и лучше.

— Разумѣется, при твоемъ капиталѣ, какъ выдающемся, и ты молодая вдова, въ двадцать четыре года, такъ тебѣ всѣ пути не заказаны, дѣлай что хочешь. И я тебѣ совѣтъ дамъ: не губи время и дѣлай.

— Совѣтуете?

— Отъ всей моей души совѣтую. Вѣкъ молодой надо чѣмъ помянуть; тоже вѣдь за старикомъ-то ты пять лѣтъ промучилась—это не шутка.

— Не вспоминайте мнѣ про него!

— Прости, милуша, прости! Я не знала, что ты про покойниковъ вспоминать боишься.

— Я его не боюсь, а... мнѣ противно вспомнить, какъ онъ храпѣлъ ночью.

— Да, ужъ мужчина, который если храпитъ—это немыслимая гадость.

— Я, бывало, цѣлыя ночи не сплю, заверну голову одѣяломъ и сижу въ постели, да и плачу. А теперь, если приснится, какъ онъ храпѣлъ, сразу весь сонъ и пропадетъ.

— Да, кто храпитъ, имъ и не стоитъ жениться, тѣмъ больше, что это при твоей молодости, и при капиталѣ, да еще и при выдающейся красотѣ...

— Ну, вы мнѣ про мою красоту много не льстите,—я вѣдь сама себя въ зеркало видывала... Разумѣется, я такъ себѣ,—не уродъ, но аляповата.

— А чѣмъ же вы нехороши?

— Не о томъ, что нехороша, а я не люблю, если ко мнѣ съ лестью подъѣзжаютъ. Это вѣдь не ко мнѣ, а все къ капиталу.

— Ну, мой другъ, я вѣдь у васъ сколько живу, а вы

мнѣ про свой капиталъ до сихъ поръ никогда ничего не объясняли.

— И не обязана. Я и никому никогда о капиталѣ ничего не скажу. Капиталъ—дѣло скрытное.

— Я и знать не стараюсь. Я взялась быть при васъ компаньонкою и по хозяйству — въ томъ и состою, и что̀ вы хотите, я то̀ и дѣлаю: въ садъ—такъ провожаю въ садъ, въ театръ—такъ въ театръ, а сюда захотѣли ѣхать — я и здѣсь пригодна, потому что я и здѣшніе порядки знаю; а о чемъ ваше сердечное прошеніе и желаніе совершенія завтрашней успѣшной молитвы—этого я не знаю.

— И тоже и это вы никогда не узнаете. О чемъ я хочу молить—это мое одно дѣло.

— Да я и не любопытствую.

— Конечно! И если не будете любопытничать, то вамъ же спокойнѣй у меня жить будетъ. А вы мои мечты оставьте,—лучше что-нибудь про себя мнѣ разсказывайте.

— Что же, мой ангель?

— Что-нибудь «выдающееся».

— Ишь, шалуша, какъ мое слово охватила!

— Да, я люблю, какъ вы разсказываете.

— Нравится?

— Не то что нравится, а какъ-то... такъ, бывало, у насъ въ домѣ одна монахиня про Гришку Отрепьева разсказывала... сейчасъ смѣшно, и сейчасъ жалостно.

— Да, я говорю грамматически. Это многіе находили. Николай Ивановичъ Степеневъ, деверь вдовы, который всѣми ихъ дѣлами управляетъ, когда, бывало, боленъ послѣ гуляньевъ, всегда, бывало, проситъ меня, чтобы съ нимъ быть и разговаривать.

— А у него не было ли чего другого на умѣ-то?

— Ничего, мой другъ, кромѣ того, что шутитъ надъ собою и надо мною: «Я, говоритъ, мужъ вышѣвающій, а ты—жена-переносица, — играй мнѣ на чей-нибудь счетъ увертюру».

— Ишь какъ разсказываетъ!

— Хорошо?

— Да что̀ вамъ допрашиваться, говорите грамматически о своей жизни,—вотъ и все.

— А у меня въ жизни, мой другъ, кромѣ горя ничего и нѣтъ выдающагося.

— Ну, вотъ, и разскажите всю эту увертюру: какого вы роду и племени и что вы занапрасно терпѣли. Я люблю слушать, какъ занапрасно страдаютъ.

— А я все такъ страдала. Я вѣдь, не забудь, откупной породы и Бернадакина крестница, потому что папаша у него въ откупахъ служилъ. Большое жалованье онъ получалъ, но говорилъ, что страсть какъ много за то на себя и грѣха принялъ. Впослѣдствіи сталъ страшнаго суда бояться и все пилъ, и умеръ, ничего намъ не оставилъ. А у Бернадакина повсемѣстно много было крестниковъ и не всѣмъ даже давалось на воспитаніе, а только чьи выдающіяся родительскія заслуги. Меня опредѣлили учиться; но у меня объявилась престранная способность: ко всѣмъ рѣшительно понятіямъ развитіе очень большое, а къ наукамъ совсѣмъ никакой памяти не было. Ко всему память и соображенія хорошія, а къ ученью нѣтъ—долбицу умноженія сколько ни долбила, а какъ, бывало, зададутъ задачу на четыре правила сложенія — плюсить или минусить, или въ умѣ составить, напримѣръ, пять изъ семьи—сколько въ отставкѣ? — то я и никакихъ пустяковъ не могу отвѣчать. Тоже и по словесности — выговоръ у меня для всего былъ очень хорошій, окатистый, но постоянно отчего-то особливыя слова дѣлались, и какъ на публичномъ экзаменѣ архирей задалъ мнѣ вопросъ: кто написалъ Апокалипсъ Іоанна Богослова—я и не знала.

— Еще бы! — протянула Аичка. — Да на что это и нужно.

— Рѣшительно ни на что — только сбиваютъ. А тутъ я на шестнадцатомъ году, милуша моя, вдругъ очень выровнялась и похорошѣла, стала рослая, а личико миліатюрное и маленькая родинка у подбородка. Точно я будто французинка. И тутъ со мною самый подлый поступокъ и сдѣлали.

— Кто же въ этомъ виноватъ былъ?

— Все черезъ родныхъ.

— Это ужъ какъ разумѣется.

— А потомъ и пошли меня, бѣдную, мыкать: французинку, да скорѣй меня съ рукъ спихивать, кому попало, за русскихъ. Сейчасъ же вскорѣ мамаша стала просить о помощи и торопиться, чтобы скорѣе пять тысячъ мнѣ въ приданое назначили. Сейчасъ и жениха какого-то нашли мнѣ этакого хвата, въ три обхвата, и животъ этакій имѣлъ, —

ахъ, какой выдающійся! Представь себѣ, такъ весь огурцомъ «а-ля-пузе».

— Чортъ знаетъ, что такое!—сказала въ возбужденіи Аичка.

— Да, мой другъ, ужъ лучше бы и не вспоминать его,— отвѣчала Марья Мартыновна и продолжала: — а я-то тогда еще всего боялась; но меня вѣдь и не спрашивали. Онъ какъ пріѣхалъ, такъ тотчасъ съ мамашей поладилъ и три тысячи приданаго до вѣнца сорвалъ. Что же,—вѣдь не родительскіе, а конторскіе, — Бернадакины. Двѣ тысячи маменька еще себѣ отшибла: «мы, говоритъ, тебя воспитывали и кормили. Надо теперь и о младшей сестрѣ подумать». Я ничего и не спорила, своей пользы не понимала. Съ женихомъ обо всемъ маменька разсуждала и съ тѣмъ уговаривалась, чтобы онъ уважалъ мою сердечную невинность и никогда никакого попрека мнѣ отъ него не было, а между тѣмъ, какъ ему двѣ тысячи не додали, то онъ послѣ только и зналъ, что сталъ попрекать, и ужасно все мотивировалъ и посылалъ, чтобы я ходила просить, и дома со мной ни за что не хотѣлъ сидѣть. Даже часто ни обѣдать, ни ночевать не приходилъ, и моя эта французская миліатюрность, и стройность, и родинка, ничего его не только не утѣшали, а даже онъ сталъ меня терпѣть не мочь, и именно за то, чѣмъ могла я понравиться, дѣлалъ мнѣ самыя обидныя колкости.

— «Что мнѣ, говоритъ, съ тобой за удовольствіе? въ кости, что ли, я буду играть? я обожаю въ дамѣ полноту въ обхожденіи».

— Значитъ, вы его въ воображеніе не умѣли привести,— вставила Аичка.

— И нельзя.

— Это пустяки!

— Нѣтъ, нельзя.

— Отчего же?

— Хладнокровіе такое имѣлъ, какъ настоящій змѣй, и это, его-то испугавшись, я и иглу въ себя впустила. Онъ на меня топнулъ, а я иглу-то вмѣсто подушки въ себя воткнула. А потомъ, когда я больная была, и если, бывало, почувствую гдѣ игла колетъ, и прошу, чтобы скорѣе доктора пригласить, чтобы изъ меня иглу вонъ вытащить, потому что я ее чувствую, такъ онъ и тутъ преспокойно отвѣчаетъ:

— «Для чего такая нетерпѣливость? подожди, можетъ-быть, игла изъ тебя теперь и сама гдѣ-нибудь скоро выскочитъ».

Аичка разсмѣялась и спросила:

— И что же, наконецъ, вышло?

— Наконецъ, то вышло, что у меня игла нигдѣ не вышла, а зато онъ самъ у своей полной дамы закутился и попалъ ему такой номеръ, что онъ померъ, а я тогда ему на зло взяла да сейчасъ и вышла за подлѣкаря.

— Этотъ лучше былъ?

— Еще хуже.

— Неужели опять въ три обхвата?

— Нѣтъ!.. Чего тамъ!—этотъ, напротивъ, весь былъ съ пѣтушій гребешокъ, но зато самый выдающійся язвитель. А маменька пристала: «иди, да иди». «Ты, говоритъ, на французинку подобна, и онъ къ этой породѣ близокъ». А его всей близости только и было, что его фамилія была Померанцевъ, а лѣкаря его называли «Флёръ-д'оранжъ». А его просто лучше бы звать Антихристъ. Мнѣ даже пророчество было за него не идти.

— Ахъ, это люблю—пророчества! Что же было?

— Я только изъ воротъ къ вѣнцу съ нимъ стала выѣзжать и на передней лавочкѣ въ каретѣ завитый отрокъ съ образомъ сидѣлъ, — видно, что свадьба, — а какой-то прохожій въ воротахъ заглянулъ и говоритъ: «Вотъ кого-то везутъ наказывать».

— Вотъ удивительно! Ну, и какъ же онъ васъ наказывалъ?

— Всего, мой другъ, натерпѣлась. Прежде всего онъ былъ большой хитрецъ и притворялся, будто ему нравится моя миліатюрность, а мои деньги ему не нужны. И пришелъ свататься въ распарадѣ, какъ самый свѣтскій питомецъ: на рукѣ перстень съ бриллiантомъ, и комплиментъ такой отпустилъ, что какъ онъ человѣкъ со вкусомъ, то въ женщинѣ обожаетъ гибкую худобу и легкость, а потомъ оказалось, что онъ это вралъ, а кольцо было докторово, и я ему совсѣмъ и не нравилась. Я говорю: въ такомъ случаѣ зачѣмъ же вы врали и притворялись влюбленнымъ? А онъ безъ всякаго стыда отвѣчаетъ: «Золото красиво — съ нимъ намъ милой быть не диво», и объяснилось, что онъ самъ обидѣлся въ томъ, что ожидалъ получить за мною

большой капиталъ, а какъ не нашелъ этого, то тоже желаетъ мою худобою пренебрегать, и дѣйствительно такъ началъ жить, что какъ будто онъ мнѣ и не мужъ.

— А за это вы могли на него его начальству жаловаться.

— Я и жаловалась. Главный докторъ его призвалъ и при мнѣ же ему сталъ говорить: «Флёръ-д'оранжъ! что же это?» а онъ началъ въ свое оправданіе объяснять: «Помилуйте, ваше превосходительство, — это немыслимо: въ ней игла ходитъ», и опять и этотъ тоже пошелъ мотивировать. Главный докторъ даже удивился: велѣлъ мужу выйти, а мнѣ говоритъ: «Что же вы послѣ этого хотите, чтобы я какое распоряженіе сдѣлалъ? Я не могу. Если вы съ иглою, то я только и могу вамъ посовѣтовать: молитесь, чтобы изъ васъ скорѣе игла вышла».

— Ишь, какая вы, Мартыновна, на мужское расположеніе къ себѣ несчастная!

— Да, Аичка, да! За что молоденькую ласкали, за эту миліатюрность и легкость, за то самое потомъ отъ мужей ничего не видала, кромѣ холодности и оскорбленія. Особенно этотъ подлѣкарь, — онъ даже не хотѣлъ меня иначе называть, какъ «индюшка горбатая», и всякую ложь на меня сочинялъ.—«Я, говоритъ, по анатоміи могу доказать, что у тебя желудокъ и потомъ спина, и больше ничего нѣтъ». Но Господь же Богъ истинно милосерднѣйшій,—Онъ меня скоро отъ обоихъ отъ нихъ освобождалъ: сталъ и этотъ Флёръ-д'оранжъ тоже пить и пропадать, и одинъ разъ допился до того, что поѣхалъ дачу нанимать и въ саду повѣсился, а я ни съ чѣмъ осталась и въ люди жить пошла.

— Въ людяхъ жить трудно.

— Ничего, у меня характеръ хорошій: меня всѣ любятъ.

— Ну, это вы только хвалитесь.

— Нѣтъ! правда.

— А вѣдь вотъ вы долго у Степеневыхъ жили, а они васъ за что-то выгнали.

— Извините, Аичка, меня никто и ни откуда не выгонялъ.

— Ну, отпустили. Вѣдь это только такъ, для вѣжливости говорится, а все равно—выгонъ.

— И не отпускали, а я сама ушла.

— Черезъ что же вы ушли? Вѣдь ихъ домъ хорошій, какъ вы говорите—«выдающійся».

— Домъ былъ самый очень выдающійся, да черезъ одну

причину началъ портиться, и къ тому же вотъ съ этимъ мѣстомъ вышло замѣшательство.

— Съ которымъ мѣстомъ?

— Вотъ, гдѣ мы съ вами теперь находимся въ нашей сегодняшней «ажидаціи».

— Ну, такъ вотъ вы про это-то теперь и разсказывайте. Да только отсядьте вы отъ меня, пожалуйста, подальше на кресло, а то и я боюсь, что въ васъ иголка.

— Вотъ какая ты мнительная! Но я, мой другъ, теперь вѣдь ужъ тѣльца на себя собрала, и тѣльце у меня — попробуй-ка—крѣпкое, просвирковатое!

— Не буду я къ вамъ касаться: я очень мнительная. Подайте мнѣ тоже сюда и мою сумочку съ деньгами.

— Я ее хорошенько въ комодъ прибрала.

— Нѣтъ, дайте—я люблю деньги подъ подушкой имѣть... А теперь сказывайте: отчего вы ушли изъ степеневскаго дома?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

— Тутъ много сдѣлалъ падёжъ бумагъ.

— Вы развѣ на биржѣ обращались?

— Не я, а деверь у Степеневыхъ, у Маргариты Михайловны. У нихъ въ семьѣ вѣдь немного: всего сама она, эта Маргарита съ дочерью, съ Клавдинькой, да сестра ея, Ефросинья Михайловна—обѣ вдовы. Ефросинья-то бѣдная, а у Маргариты мужъ былъ, Родіонъ Ивановичъ, отличный фабрикантъ, но къ рабочимъ былъ строгъ до чрезвычайности, «Иродомъ» его звали — все на штрафахъ замаривалъ; а другой его братъ, Николай Ивановичъ, къ народу былъ проще, но зато страсть какой предпріятельный: постоянно онъ въ трехъ волненіяхъ, и все спѣшитъ вездѣ постановъ вопросу дѣлать. Сначала онъ болѣе всего мимоноски строилъ, и въ это время страсть какъ распустился кутить съ морскими голованерами. Гдѣ онъ ѣдетъ, тамъ ужъ шумъ и громъ на весь свѣтъ, а домой пріѣдетъ—чтобы сейчасъ ему была такая тишина, какой невозможно. Жена у него была писаная красавица и смиренница, такъ онъ ее до того запугалъ, что она, бывало, если и одна сидитъ да ложечкой о блюдце стукнетъ, то сейчасъ сама на себя цыкнетъ и сама себѣ пальцемъ пригрозитъ и «дуру» скажетъ. Но онъ съ нею все-таки ужасно обращался и въ гробъ ее сбилъ,

а какъ овдовѣлъ, такъ и жениться въ другой разъ не захотѣлъ: сына Петю въ нѣмецкій пансіонъ отдалъ, а самъ сталъ жить съ француженками, и всѣ мимоноски туда сплавилъ. Думали: конченъ нашъ Николай Ивановичъ «выпѣвающій»; но онъ опять выплылъ: присталъ къ какимъ-то въ компанію дѣлать постановъ вопроса, и завели они подземельный банкъ, и опять сталъ таскать при себѣ денегъ видимо и невидимо и пошелъ большія количества тратить на польскую даму, Крутильду Сильверстовну. Ея имя было Клотильда, но мы Крутильдой ее называли, потому что она все, бывало, не прямо, а крутитъ, пока какое-то особенное удареніе ко всѣмъ его чувствамъ сдѣлаетъ, и тогда стоитъ ей, бывало, что-нибудь захотѣть и только на ключъ въ спальнѣ запереться, а его къ себѣ не пустить, такъ онъ тогда на что хочешь сдѣлается согласенъ, лишь бы вслѣдъ за нею достигнуть.

— Вотъ это такъ и слѣдуетъ!—замѣтила Аичка.

— Да, да; это правда. Онъ для нея и по-французски сталъ учиться, а когда сынъ свое ученье кончилъ, онъ его изъ дома прогналъ. Придрался къ тому, что Петя познакомился съ Крутильдиной племянницей, и отправилъ его съ морскими голованерами навкругъ свѣта плыть, а Крутильда свою племянницу тоже прогнала, а та была молоденькая и миліатюрная, а оказалась въ тягости, и Богъ одинъ знаетъ, какія бы ее ожидали послѣдствія. А самъ ужъ не зналъ, чѣмъ тогда своей Крутильдѣ заслужить: ходилъ постоянно завитъ, обритъ и причесанъ, раздушенъ и одѣтъ а-ля-морда, и все учился по-французски. Стоитъ, бывало, передъ зеркаломъ и по ляжкамъ хлопаетъ и поетъ: «Пожолія, пополія». А тутъ вдругъ кто-то въ ихнихъ бумагахъ въ подземельномъ банкѣ портежъ и сдѣлалъ. Страшная кучма народу толпучкой бросилась, чтобы у нихъ свои деньги вынимать, и онъ до того не въ себѣ домой пріѣхалъ, что кричитъ:

«Запри скорѣй ножницы и принеси мнѣ калитку!»

И еще сердится, что этихъ его словъ не понимаютъ!

Мы думали, что онъ съ ума сошелъ, а онъ это испугался падежа бумагъ и привезъ къ намъ какіе-то купоны стричь, да такъ все и потерялъ, и за эту стрижку подъ судъ попался, но на счастье свое несчастнымъ банкрутомъ сдѣланъ. Ну, тутъ Крутильда его, разумѣется, было бро-

сила, а сестра, Маргарита Михайловна, взяла его къ себѣ въ службу и всѣ дѣла ему поручила. Онъ же годъ и два простоялъ хорошо, а потомъ опять гдѣ-то съ голованерами встрѣтился и какъ разъ напосудился и такъ застотертилъ, что никакъ его нельзя было успокоить. Маленькій удержъ недѣли на двѣ сдѣлаетъ, а потомъ опять ударитъ и возвращается домой съ страшными фантазіями, — называетъ одну сестру Бланжей, а другую Мимишкой... не понимаетъ, гдѣ себя воображаетъ. А станешь просить его, чтобы онъ велъ себя степеннѣе, онъ сейчасъ: «Что такое? Какъ ты смѣешь? Давно ли ты на домашняго адвоката курсъ кончила? А я на этихъ увертюрахъ съ дѣтства воспитанъ!» И всегда въ это время у него со мной ссора, а потомъ послѣ ужасно поладитъ и шутитъ: «Мармартынъ, мой Мармартынъ, получай съ меня алтынъ», и опять до новой ссоры.

— А вы зачѣмъ встрѣвали?

— Для золовокъ,—золовки просили.

— Мало ли что! Развѣ можно мужчинѣ препятствовать!

— Ахъ, мой другъ, да какъ же ему не препятствовать, когда онъ въ этихъ своихъ трехъ волненіяхъ невѣдомо чего хочетъ, и ему вдругъ вздумается куда-то ѣхать, и онъ самъ не знаетъ. куда ѣхать

— Знаетъ, небось.

— Нѣтъ, не знаетъ. «Мнѣ, — говоритъ, — три волненія надоѣли, и я хочу отъ нихъ къ самому чорту въ адъ уѣхать». Золовки пугаются и просятъ меня: «Разговори его!» Я и говорю: «Туда дороги никто не знаетъ,— сиди дома».—Нѣтъ,— говоритъ,— Мармартынъ, нѣтъ; нужно только на антихристова извозчика попасть, у котораго шестьсотъ-шестьдесятъ-шестой нумеръ, — тотъ знаетъ дорогу къ чорту».

И пристанетъ вдругъ ко мнѣ: «Уйдемъ, Переносица, со мною потихонечку изъ дома и найдемъ шестьсотъ-шестьдесятъ-шестой нумеръ и поѣдемъ къ дьяволу! Что намъ еще здѣсь съ людьми оставаться! Повѣрь, всѣ люди подлецы! Надоѣли они!» И такъ упроситъ, что даже со слезами, и жаль его станетъ.

— И неужели вы съ нимъ ѣздили? — спросила Аичка.

— Да что, мой другъ, дѣлать. По просьбѣ золовокъ, случалось, — отвѣчала Марья Мартыновна. — Какъ своя

въ домѣ у нихъ привыкла, и когда, бывало, сестры просятъ: «видишь, какой случай выдающійся, прокатись съ нимъ за городъ, досмотри его»,—я и ѣздила, и всѣ его глупыя шутки и надсмѣшки терпѣла. Но только въ послѣдній разъ, когда докончательный скандалъ вышелъ, онъ меня взялъ насильно.

— Какъ же онъ могъ васъ насильно взять?

— Я въ лавкѣ себѣ сапоги купила и очень занялась, а приказчикъ обмануть хочетъ и шабаршитъ: «Помилуйте... первый сортъ... фасонъ бамбе, а товаръ до того... даже Миллера». А онъ входитъ — и вдругъ ему увертюра московскаго воспоминанія въ лобъ вступила:

— «Я, — говоритъ, — мать-Переносица, ѣхалъ, и тебя увидалъ, и очень нужное дѣло вспомнилъ: отбери мнѣ сейчасъ шесть паръ самыхъ дорогихъ сапожковъ бамбе и поѣдемъ ихъ одной дамѣ мѣрить». Я говорю: «Ну васъ къ Богу!» а онъ говоритъ: «Я иначе на тебя сейчасъ подозрѣніе заявлю».

— Ишь какой, однако, прилипчивый!

— Ахъ, ужасный! совершенно вотъ какъ піявокъ или банная листва, — такъ и не отстанетъ. И чего ты хочешь: какъ его образумить? Во-первыхъ, кутила, а во-вторыхъ, бабеляръ, и еще какой бабеляръ! Какъ только напосудится, такъ и Крутильду забылъ, и сейчасъ новое удареніе къ дамской компаніи, и опять непремѣнно не какія попало дамы, а все чтобы выдающіяся, напримѣръ, ѣздовщицы съ аренды изъ цирка или другія прочія выдающіяся сужекты своего времени. А угощать благородно не умѣлъ: въ какомъ хочешь помѣщеніи дезгардьяжъ надѣлаетъ, всего, чего попало, натребуетъ и закричитъ: «Лопайте шакецъ-а-гу!» Многія, бывало, обидятся и ничего не хотятъ, или еще его «свиньей» назовутъ, но ему все ничего, шумитъ:

— «Глядите, инпузоріи, въ пространство, что я могу: я не плотецъ Скопицынъ, который съ деньгами запирался, а я со всѣми увертюрами живу!» И сейчасъ и начнетъ свою первую обыкновенную увертюру: всю скатерть съ приборами на полъ, а платить—«убирайся къ чорту».

Того и гляди, что его когда-нибудь отколотятъ.

Я это и говорю его сестрамъ: «какъ хотите, а по-моему его надо молитвою избавить отъ его безстыдства», и Афро-

синья сейчасъ этому и обрадовалась; но онъ самъ ни за что и слышать не хотѣлъ о молитвахъ.

— «Постановъ вопроса, говоритъ, такой: что я—порченный, что ли, чтобы меня отмаливать? Я въ духовныхъ дѣлахъ самъ все знаю: я пилъ чай у преосвященнаго Макаріуса и у патріарха въ Константинополѣ рахатъ-лукумъ ѣлъ, и послѣ нихъ мнѣ теперь въ молитвахъ даже самъ Мономахъ не можетъ потрафить».

Разумѣется, надо было сразу не пощадить на самое выдающееся; но вдова Маргарита Михайловна Степенева хоть и богачка, а замялась въ неопредѣленномъ наклоненіи. Я вашего капитала, разумѣется, вполнѣ не знаю...

— Это вамъ и не надо знать, — оторвала Анчка: — вы ведите свои исторіи, а меня врасплохъ не испытывайте.

— Конечно. Я только такъ къ слову сказала, я и не любопытна, но все равно на то же вышло. У Маргариты Степеневой, какъ я вамъ сказала, есть дочь Клавдія, молодая и прекрасивая этакая дѣвица, собой видная, — красоты видъ въ родѣ англичанскаго фасона, но съ буланцемъ... Воспитывалась она въ иностранномъ училищѣ для дѣвицъ женскаго пола, вмѣстѣ съ одною нѣмочкою, и сдѣлалась ея заковычнымъ другомъ, а у той былъ двоюродный ея братъ, докторъ Ферштетъ; онъ, этотъ Ферштетъ, ее и испортилъ.

— Спуталъ?—спросила живо Анчка.

— Нѣтъ,—отвѣчала Марья Мартыновна: — спутать онъ ее не могъ, потому что она безчувственная, но разныя пустыя мысли ей вперилъ.

— Про что же?

— Да вотъ, напримѣръ, насчетъ повсемѣстнаго бѣдствія людей. Самъ онъ такой неслыханный оригиналецъ былъ, что ничего ему не нужно; такъ и назывался: «безсчетный лѣкарь». Ко всѣмъ онъ шелъ, а что ему кто заплатитъ, или даже ничего не заплатитъ, это ему все равно, всѣхъ одинаково лѣчилъ и къ бѣднымъ даже еще охотнѣе ходилъ и никогда не отказывался, а если дадутъ, такъ онъ сунетъ въ карманъ и не считаетъ, чтобы не знать, кто сколько далъ. Вотъ онъ ее этимъ безразличіемъ плѣнилъ и къ такой простотѣ ее свелъ, что она обо всемъ образѣ жизни людей стала иначе думать и все она начала желать чего-то особеннаго, чего невозможно и что всѣхъ огорчаетъ.

— Непочтительная, что ли, стала?

— Нельзя даже понять — какъ она, почтительная или непочтительная, но только стало ей нравиться все удивительное. Вотъ этотъ ея подругинъ братъ въ ниверситетѣ учился, и весь свой курсъ вышелъ, а служить нигдѣ не захотѣлъ. Всѣ этимъ огорчились, а ей это хорошо.

— Отчего же онъ служить не пошелъ?

— Такъ разсудилъ, что «на службѣ, говоритъ, можно получать различныя порученія, какихъ я дѣлать не хочу, надо въ пустякахъ для угожденія много время тратить, и уважать кого не стоитъ, и бояться, какъ бы съ дурной стороны не представили, — а я-де ни съ кѣмъ ни въ какую общественную исторію попадать не хочу, а хочу лучше самъ по своимъ понятіямъ людямъ услуживать». И такъ безъ всякихъ чиновъ и остался, и всю зиму и лѣто въ одной прохладной шинелишкѣ ко всѣмъ бѣднымъ ходилъ, пока въ прошломъ году простудился и умеръ, и семью какъ есть ни съ чѣмъ оставилъ. Спасибо, нѣмцы при похоронахъ сговорились между собою и все семейство устроили. По Клавдинькиному это все и превосходно, и Клавдинька какъ только съ нимъ познакомилась, такъ сдѣлалась отъ всѣхъ своихъ семейныхъ большая скрытница и все начала евангеліе читать, и все читала, читала, а потомъ всѣ наряды прочь и начала о бѣдныхъ убиваться. Сидитъ и думаетъ. Спросишь: «что ты все думаешь? чего тебѣ недостаетъ?» А она отвѣчаетъ: «у меня все есть и даже слишкомъ больше, чѣмъ надобно, но отчего у другихъ ничего нѣтъ необходимаго?» Ей скажешь: «Что же тебѣ до этого? это отъ Бога такъ, чтобы было кому богатымъ людямъ служить и чтобы богатые имѣли кому отъ щедротъ своихъ помогать», — а она головою замахаетъ, и опять все думаетъ и доведетъ себя до того, что начнетъ даже плакать.

— О бѣдныхъ? — воскликнула Аичка.

— Да!

— Что же они ей лучше богатыхъ, что ли?

— И я это самое ей говорила: чего? Если тебѣ жаль, поди въ церковь и подай на крыльцѣ. Отъ состраданія нечего плакать. А она отвѣчаетъ: «Я не отъ состраданія плачу, а отъ досады, что глупа и зла, и ничего придумать не могу». Ну, и стала все думать, и придумала.

Аичка сказала:

— Это интересно.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Стала она такъ жить, что начала не надѣвать на себя ни золота, ни дорогихъ нарядовъ. «Для чего мнѣ это?— говоритъ:—это совсѣмъ ненужное, и нисколько не пріятно и не весело; да это даже и имѣть стыдно».

— Отчего же ей это стыдно?—спросила Аичка.

— Для чего на ней дорогія вещи будутъ, когда на другихъ и самыхъ простыхъ одеждъ нѣтъ.

— Такъ это же вѣдь нарочно такъ и дѣлаютъ, для отлички другъ отъ друга.

— Ну да! какъ же иначе и разобрать, кто котъ — кто поваръ? А для нея мать сдѣлала тальму изъ фонъ-горской козы и морской травы цвѣта плющъ покрыла, а она ее и не надѣла.

— Это почему?

— «Стыдно, говоритъ,—такую роскошь носить»—простое пальто ей больше нравится. Сшила себѣ сама черное кашемировое платье и бѣлые рукавчики и воротнички и сама ихъ моетъ и гладитъ, и такъ англичанкою и ходитъ, а лѣтомъ въ свѣтленькомъ ситцѣ, а что ей мать подаритъ деньгами или шелковье, она сейчасъ пойдетъ шелковье все продастъ и всѣ деньги неизвѣстно кому отдастъ. Мать сначала, бывало, шутя спрашиваетъ:

— «Что же ты это, Клавдичка, на молитвы, что ли, все раздаешь?»

— «Нѣтъ, говоритъ,—маменька, зачѣмъ же мнѣ покупныя молитвы? Это долженъ всякъ для себя, а я просто такъ отдаю тѣмъ, которымъ трудно заработать сколько нужно, или нечѣмъ за ученье платить, когда ихъ дѣтей исключаютъ».

Мать ей и не перечила:—«Что же, говоритъ,—отдавай, если хочешь: пусть за тебя бѣдные Бога молятъ». —Но ей никакъ не потрафишь сказать.

— «Я, говоритъ,—маменька, это совсѣмъ не для того, а просто мое сердце не терпитъ, когда я вижу, какъ я счастлива, а люди живутъ бѣдственно».

— «Вотъ потому-то и нехорошо, что ты все ходишь, эту бѣдственность смотришь: ты на нихъ насмотришься и себя этимъ и разстраиваешь».

— «Все равно, говоритъ, — мама, если я на нихъ хоть

и смотрѣть не буду, такъ я знаю, что они есть и страдаютъ, и что я должна дѣлать облегченіе въ ихъ жизни».

— «Ну, поступи членомъ въ общество и ѣзди съ хорошими дамами; я тебѣ столько денегъ дамъ, что можешь больше всѣхъ графинь и княгинь сыпать».

Не захотѣла.

— «Я знаю,—говоритъ,—что̀ нужно дѣлать».

— «Такъ скажи, что̀ такое?»

Она молчитъ.

— «Отчего же ты такая грустная и такая печальная? На тебя смотрѣть больно! Отчего это?»

— «Это, мама, оттого, что я еще очень зла: я себя еще не переломила и борюсь».

— «Съ кѣмъ, мой ангелъ?»

— «Съ собою, мама. Не обращайте на меня вниманія, мнѣ скоро легче будетъ. Я какъ-нибудь перейду на свою сторону, а теперь я не на своей сторонѣ,—я себѣ противна».

Дядя Николай Ивановичъ хоть шабарша, но онъ любилъ ее и говоритъ:

— «Не приставайте къ ней: она иначе не можетъ; это въ ней все отъ рояльнаго воспитанія. Я знаю, что̀ съ ней надо сдѣлать: надо дать ей развязку на веселыхъ увертюрахъ».

Взвился и привезъ ей театральный билетъ въ ложу на «Африканскаго Мавра».

Хоть и великій постъ былъ, но для нея поѣхали. А она у нихъ въ театрѣ и разрыдалась.

— Это еще чего?

— «Я, говоритъ, — вамъ говорила, что я не могу видѣть дикія грубости!—Въ чемъ вамъ представляется занимательность, я въ томъ же самомъ вижу ужасъ и горе».

— Какой же ужасъ? Въ чемъ тутъ горе?»

— «Какъ же не ужасъ: такой огромный, черный мужчина душитъ слабую женщину и по какой причинѣ?».

Николай Ивановичъ говоритъ:

— «Ты этого еще не понимаешь: за любовь отъ ревности самый образованный человѣкъ долженъ изъ вашей сестры всю кровь пролить».

— «Не правда это, говоритъ, — какой это образованный человѣкъ: это глупость, это звѣрство! Не должно это такъ быть и не будетъ,—я не хочу это видѣть!»

И уѣхали изъ театра, и такъ и пошло съ ней съ этихъ поръ во всѣхъ междометіяхъ. Благородныя удовольствія, театръ или концерты, или оперы, все это ей не нравится, а назоветъ къ себѣ безпортошныхъ ребятишекъ, дастъ имъ мармеладу и орѣховъ и на фортепіанахъ имъ заиграетъ и поетъ, какъ лягушки по дорожкѣ скачутъ, вытянувши ножки, и сама съ ними утѣшена и плачетъ, и пляшетъ. Этакая красавица, а лягушкой прыгаетъ!..

Видѣвши это, мать своего священника приходскаго на духу упросила поговорить съ ней, и онъ на Пасхѣ, когда пріѣхалъ съ крестомъ и какъ сталъ послѣ закусывать, то началъ Клавдинькѣ выговаривать:

— «Нехорошо, барышня, нехорошо, вы въ заблужденіи».—А она ему брякъ наотрѣзъ:

— «Да, говоритъ, — благодарю васъ, благодарю, вы правы—и мнѣ тоже кажется, что мы живемъ въ большомъ заблужденіи, но теперь я уже немножко счастливѣе».

— «Чѣмъ же-съ?»

— «Тѣмъ, что я уже собой недовольна; я теперь уже не на своей сторонѣ; я себя осуждаю и вижу, гдѣ свѣтъ».

Онъ говоритъ:—«Не много ли вы на себя берете?»

Она замялась и отвѣчаетъ:—«Я не знаю».

А батюшка говоритъ: — «То-то и есть! А мы знаемъ, что на свѣтѣ должны быть и богатые, и бѣдные, и это такъ повсемѣстно».

Она отвѣчаетъ:—«Это, къ несчастію, правда».

— «Такъ и нечего бредить о томъ, чтобы у насъ всѣ были равны».

А она вся стынетъ и виски себѣ третъ, и шопотомъ говоритъ:—«Бредятъ невольно».

А батюшка говоритъ:—«Да, бредятъ невольно, а однако и за невольный бредъ иногда далеко очутиться можно. Не идите противъ религіи».

— «Я не иду, я люблю религію».

— «А зачѣмъ противнаго желаете?»

— «Развѣ желать въ жизни простоты и чтобъ не было терзающей бѣдности противно религіи?»

— «А вы какъ думаете? Да Христосъ-то признавалъ нищихъ или нѣтъ?»

— «Признавалъ».

— «Такъ что же, вы Ему хотите возражать?»

— «Я вамъ отвѣчаю, а не Христу. Христосъ самъ жилъ какъ нищій, а мы всѣ живемъ не такъ, какъ Онъ жилъ».

Священникъ всталъ и говоритъ:

— «Такъ вотъ вы какая!»—и оборотился къ матери ея и сказалъ:

— «Маргарита Михайловна! Откровенно вамъ скажу, уважая васъ какъ добрую прихожанку, я съ вашей воспитанной дочерью поговорилъ; но, уважая себя, я нахожу, что съ нею, сударыня, не стòитъ разговаривать. Вамъ одно остается: молиться, чтобы она не погибла окончательно».

Маргарита Михайловна, вся красная и въ слезахъ, извиняется и проситъ у него прощенья, что это вышло какъ на смѣхъ.

Священникъ смягчился и отвѣчаетъ:

— «Мнѣ, разумѣется, Богъ съ нею, пусть чтò хочетъ болтаетъ, теперь этихъ глупыхъ мечтаній въ обществѣ много, и мы къ нимъ наслышавшись; но попомните мое слово, это новое, но стòитъ стараго зла—ингилизма, и дочь ваша идетъ дурнымъ путемъ! дурнымъ! дурнымъ!»

Маргарита Михайловна ему скорѣе красненькую, но онъ не подкупился, деньги подъ большой палецъ зажалъ, а указательнымъ все грозится и свое повторяетъ:

— «Дурнымъ путемъ, дурнымъ!»

Маргарита Михайловна сама разсердилась и, какъ онъ вышелъ, говоритъ ему вслѣдъ:

— «Какой злюка сталъ!»

А Клавдинька безъ гнѣва замѣчаетъ:

— «Вы, другъ мой, мама, сами виноваты, зачѣмъ вы ихъ безпокоите. Онъ такъ и долженъ былъ говорить, какъ говорилъ».

— «А кого же мнѣ на тебя, какую власть просить?»

— «Ну, полноте, мамочка, зачѣмъ на меня власть просить, чѣмъ я вамъ непокорна?»

— «Въ очень во многомъ, въ самомъ важномъ ты непокорна: грубить ты мнѣ не грубишь, но ты не одѣваешься сообразно нашему капиталу, чтобы всѣ видѣли; не живешь, а все съ бѣдностью возишься, а богатства стыдишься, которое твой дѣдъ наживалъ и за которое отецъ столько грѣха и несправедливости сдѣлалъ».

А Клавдинька тутъ одною рукою мать за руку схватила,

а другою закрыла свои вѣщія звѣницы и, какъ актриса театральная, вдругъ дрожащимъ голосомъ закричала:

— «Мамочка! мама!.. Милая! не говорите, не говорите! Ничего не будемъ объ отцѣ,—такъ страшно вспомнить!»

— «Разумѣется, — царство ему небесное, — онъ былъ аспидъ, а я тебя сама избаловала, и за то, думала, пусть хоть духовный отецъ тебя наставитъ».

— «Мама! да вы сами меня лучше всѣхъ можете наставить».

— «Нѣтъ, я не могу и не берусь!»

— «Почему?»

— «Мнѣ тебя жаль!»

— «Ну, вотъ я и наставлена. Вы меня пожалѣли и этимъ меня и наставили! Я вѣдь люблю васъ, мама, и ничего не сдѣлаю такого, что̀ можетъ огорчить мать-христіанку. А вѣдь вы, мама, христіанка?»

И глядитъ ей въ глаза, и ласти̇тъ ее, и такъ и поладятъ, и все такъ, потихоньку, что̀ только сама она съ собой вздумаетъ, то̀ съ матерью и сдѣлаетъ. Ужъ не только на представленіе «Мавра» отклонила смотрѣть, а даже въ оперу «Губинотовъ» слушать — и то говоритъ: «не надо, мама; пѣсни хороши, когда ихъ поютъ отъ чувства для скорби или для веселости, а этакъ, за деньги—это пустяки, и за такія трилюзіи стыдно деньги платить, лучше отдадимъ ихъ босымъ дѣтямъ». И мать сейчасъ съ нею въ этомъ согласна и улыбается: «На, отдавай, ты какая-то Божія». А та ей съ большимъ восхищеніемъ: «О, если бы такъ! если бы я въ самомъ дѣлѣ была Божія!» и вдругъ опять со смѣхомъ шутя запоетъ и запляшетъ: «Вотъ, говоритъ,— вамъ даровой театръ отъ моей радости». А мать ужъ не знаетъ, какъ и навеселиться. И стало ужъ Клавдинькѣ такое житье, что дѣлай все, что̀ ей угодно, у матери и позволенія не спрашивай.

— «Я, говоритъ,—вѣрю, что она меня любитъ и ничего такого, что̀ меня огорчитъ, она не сдѣлаетъ».

Стала Клавдинька ходить въ искусственные классы, гдѣ разныя учебныя моды на оба пола допущены, и пристряла къ тому, чтобы изъ глины рожи лѣпить, и научилась. Всѣ, всѣ, какія только есть принадлежности, она возьметъ и вылѣпитъ, а потомъ на фарфорѣ научилась красить, и весь домъ намусорила, а въ собственную въ ея комнату хоть и

не входи, да и не позволяетъ, и прислуги даже не допускаетъ. Намѣшаетъ въ тазу зеленой глины, вывалитъ все на доскѣ, какъ тѣсто, и пойдетъ пальцами вылѣпливать.

— Это, однако, вѣдь трудно,—замѣтила Аичка.

— Ничего не трудно,—отвѣчала нетерпѣливо Марья Мартыновна. — Обозначитъ сначала носъ и ротъ, а потомъ и всѣ остальныя принадлежности—вотъ и готово. А фарфоръ нарисуетъ, но безъ мужика обойтись не можетъ,—выжигать русскому мужику отдаетъ. А потомъ всѣ эти предметы въ магазины продавать несетъ. Мать и тетка, разумѣется, сокрушаются: ей ли такая крайность, чтобы рукодѣлье свое продавать! При такомъ капиталѣ и такія послѣдствія! А выручитъ деньги—и неизвѣстно куда ихъ отнесетъ и неизвѣстнымъ людямъ отдастъ. А тогда, знаешь, какъ разъ такое время было, что разомъ дѣйствовали и поверхностная комиссія, и политическій компотъ. Кому же она носитъ? Если бѣднымъ, то я, бѣдная женщина, сколько лѣтъ у нихъ живу, и отъ матери и отъ тетки подарки видѣла, а отъ нея ни на грошъ. Одинъ разъ сама прямо у нея попросила: «что же, говорю, ты, Клавдичка, мнѣ отъ своихъ праведныхъ трудовъ ничего не подаришь? хоть бы купила на смѣхъ ситчику по нѣтовой землѣ пустыми травками». Такъ она и шутки даже не приняла, а твердо отрѣзала: «вамъ ничего не надобно, вы себѣ у всѣхъ выпросите». Господи помилуй! Господи помилуй! Этакое безчувствіе! Правда, что я не горжусь,—если у меня нѣтъ, я выпрошу, но какое же ей до этого дѣло! Такъ же и противъ матери: въ самыя материны именины, вообрази себѣ, розовый цвѣтокъ ей сорвала и поднесла: «Другъ мой, мама!—говоритъ:—вамъ вѣдь ничего не нужно». И вообрази себѣ, та соглашается: «У меня, говоритъ, все есть, мнѣ только твое счастье нужно»,—и цѣлуетъ ее за эту розу. А Клавдинька еще разговариваетъ:

— «Мамочка! что есть счастіе? Я съ вами живу и счастлива, но въ свѣтѣ есть очень много несчастныхъ».

Опять, значитъ, за свое,—даже въ именинный день! Тутъ я уже не вытерпѣла и говорю:

— «Вы, Клавдинька, хоть для дня ангела маменькинаго нынче эту заунывность можно бы оставить вспоминать, потому что въ этомъ вѣдь никакой выдающейся пріятности нѣтъ».

Но мать, представь себѣ, сама за нее заступилась и говоритъ мнѣ:

— «Оставь, Марья Мартыновна, и скажи людямъ, чтобы самоваръ отсюда убирали.—А въ это время, когда я вышла, она даритъ Клавдинькѣ пятьсотъ рублей: «отдай, говоритъ, своей гольтепѣ-то! Кто они тамъ у тебя такіе, Господи! можетъ, страшно подумать».

— А вы какъ же это видѣли?—спросила Аичка.

— Да просто въ щелочку подсмотрѣла.—Но Клавдинька вѣдь опять и изъ этихъ денегъ никому изъ домашнихъ ничего не удѣлила.

— Отчего же?

— Вотъ оттого, дескать, что «здѣсь всѣ сыты».

— Что же, она это и правильно.

— Полно, мой другъ, какъ тебѣ не стыдно!

— Ни крошечки.

— Нѣтъ, это ты меня дразнишь. Я знаю... Будто человѣку только и надо, если онъ сытъ? И потомъ сколько разъ я ни говорила: «ну, пракрасно, ну, если ты только къ чужимъ добра, зачѣмъ же такъ скрытна, что никто не долженъ знать, кому ты помогаешь?

— «Добръ,—отвѣчаетъ,—тотъ, кто не покоится, когда другіе безпокойны, а я не добра. Вы о добротѣ какъ должно не понимаете».

— «Ну, прекрасно, я о добротѣ не понимаю, но я понимаю о скрытности: для чего же ты такъ скрываешься, что никакими слѣдами тебя услѣдить нельзя, куда ты все тащишь и кому отдаешь? Развѣ это мыслимо или честными правилами требуется?»

А она, вообрази, съ улыбкою отвѣчаетъ:

— «Да, это мыслимо и честными правилами требуется!»

— «Такъ просвѣти же,—говорю,—матушка: покажи, гдѣ эти правила, въ какой святой книжкѣ написаны?»

Она пошла въ свою комнату—выноситъ маленькое евангеліе.

— Все съ евангеліемъ!—перебила Аичка.

— Да, да, да! Это постоянно! У нея все сейчасъ за евангеліе и оттуда про текстъ, какого никогда и не слыхивала; а только понимать какъ должно не можетъ, а выведетъ изъ него что-нибудь совсѣмъ простое и обыкновен-

ное, что даже и не интересно. Такъ и тутъ подастъ мнѣ евангеліе и говоритъ:

— «Вотъ сдѣлайте себѣ пользу, почитайте тутъ»,—и показываетъ мнѣ строчки—какъ надо, чтобы правая моя не знала, что дѣлаетъ лѣвая моя, и что угощать надо не своего круга людей, которые могутъ за угощенье отплатить... И прочее.

Я знаю, что съ ней не переспоришь, и отвѣчаю: «Евангеліе—это книга церковная и премудрость ея запечатана: ее всякому нельзя понимать».

Она сейчасъ возражать:—«Нѣтъ, то-то и дѣло, что евангеліе для всѣхъ понятно».

— «Ну, а я все-таки,—говорю,—я евангеліе лучше оставлю, а у батюшки спрошу, и въ какомъ смыслѣ мнѣ священникъ про это скажетъ, такъ я только съ ними, съ духовными, и согласна».

И точно, дѣйствительно, я захотѣла ее оспорить и пошла къ ихъ священнику. Я ему въ прошломъ году пахучую ерань услужила—у его матушки сѣра очень кипитъ, такъ листокъ въ ухо класть,—а теперь зашла на рынокъ и купила синицу; перевязала ее изъ клѣтки въ платочекъ и понесла ему, такъ какъ онъ приходящихъ безъ презента не любитъ и жаловался мнѣ разъ, что у нихъ во всемъ домѣ очень много клоповъ и никакъ вывести не могутъ.

— «Вотъ,—говорю,—вамъ, батюшка, синичка: она и поетъ, и клопа истребляетъ. Только, пожалуйста, не надо ее ничѣмъ кормить,—она тогда съ голоду у васъ вездѣ по всѣмъ щелямъ клоповъ выберетъ».

— Неужли это правда?—спросила Аичка.

— Что это?

— Насчетъ синицы, что она клоповъ выберетъ?

— Какъ же! всѣхъ выберетъ.

— Удивительно!

— Что ты, что ты! Это самое обыкновенное: бывало, наши откупные и духовные всегда для этого синицъ держатъ. И священникъ меня поблагодарилъ.

— «Знаю, говоритъ. Старинный способъ! Перепусти синичку въ клѣточку, а когда она оглядится, я ее по комнатѣ летать выпущу,—пусть ловитъ; а то нынче персидскій порошокъ стали продавать такой гадостный, что онъ ничего и не дѣйствуетъ. Во всемъ подмѣси».

Я сейчасъ же къ этому слову и пристала, что теперь, молъ, ужъ ничего не разберешь, что̀ какое есть. И разсказываю ему про Клавдюшины выходки съ евангеліемъ и говорю:

— «Неужто же,—говорю я,—въ евангеліи, дѣйствительно, такое правило есть, что знакомства съ значительными людьми надо оставить, а все возись только съ одной бѣдностью?»

Онъ мнѣ отвѣчаетъ:

— «А ты слушай, дубрава, что̀ лѣсъ говоритъ; они берутся не за свое дѣло: выбираютъ сужекты, а не знаютъ, какъ ихъ понять, и выводятъ суетная и ложная».

— «А вы отчего же,—спрашиваю,—о такихъ ихнихъ ложныхъ сужектахъ никому не доводите?»

— «Доводили,—говоритъ,—матушка, и не разъ доводили».

— «Такъ какъ же они смѣютъ все-таки отъ себя разсуждать и утверждать все свое на евангеліи?»

— «Такое ужъ стало положеніе; ошибка сдѣлана: намножены книжки и всякому ни по чемъ въ руки дадены».

— «И зачѣмъ это?»

— «Ну, это долго разсказывать. Раньше негодовали, что слабо учатъ писанію, а я и тогда говорилъ: «учатъ хорошо и сколько надо для всякаго, не мечите бисеръ—попрутъ»; вотъ они его теперь и попираютъ. И вотъ, говоритъ, и пошло—и неурожай на поляхъ, и на людяхъ эта непонятная боль—виѳіемція».

Словомъ, очень хорошо говорилъ, но помощи не подалъ Даже и побывалъ у нихъ послѣ этого, но, прощаясь съ нею сказалъ только:

— «Пересаливаете, барышня, пересаливаете!»

А она вскоряхъ и еще лучше сдѣлала: взяла, да и пропала

— Такъ совсѣмъ и пропала?—удивилась Аичка.

— Нѣтъ, прислала матери депешъ, что у нея одна бѣдная подруга заболѣла въ черной оспѣ и у нея престарѣлая мать и за ней никто ходить не хочетъ, такъ вотъ докторъ Ферштетъ и взялся лѣчить, а наша Клавдичка ее навѣстила и осталась при ней сестрой милосердной ухаживать, а домой депешъ прислала, у матери прощенія проситъ, что боится заразу занести.

Аичка вздохнула и сказала:

— Повѣрьте, она испорчена.

— Да, все можетъ-быть; а поговори съ ней, такъ у нея

опять и это тоже будто по евангелію. А сколько мать перемучилась—рябая или безъ глазъ дочь вернется,—это ей ничего. И когда она благополучно вернулась, то опять просили священника съ нею поговорить, и онъ ей опять сказалъ: «Пересаливаете! жестоко пересаливаете». А она ему шутитъ:

— «Это лучше; а если соль разсолится—это хуже. Тогда чѣмъ ее сдѣлать соленою?»

Но священникъ ей на этомъ хорошо осадилъ:

— «Тексты, говоритъ,—барышня, мало знать,—надо знать больше. Разсаливается соль не наша, которую всѣ нынѣ употребляютъ, а слабая соль палестинская; а наша соль елтонка крѣпкая,—она не разсаливается. А вотъ у насъ есть о соли своя пословица: что «недосолъ на столѣ, а пересолъ на спинѣ». Это бы вамъ знать надобно. Недосоленное присолить можно, а за пересолъ наказываютъ».

Но она хоть бы что̀, весь страхъ потеряла.

Тогда я говорю ея матери:

— «Ее простой священникъ ничего и не можетъ пристрастить, это очевидно; на нее теперь надо ужъ что-нибудь выдающееся». И упоминаю про «здѣшняго».

А сестра ея Ефросинья и себя не слышитъ отъ радости, и много стала разсказывать, что̀ въ здѣшнемъ мѣстѣ бываетъ.

— «Попробуемъ, — говорю, — обратимся, пригласимъ, кстати и для Николая Ивановича тоже вѣдь это очень хорошо, для его воздержанія».

Но Маргарита Михайловна какъ-то замялась и что-то, вижу, утаиваетъ и неправильно отвѣчаетъ:

— «Въ моемъ горѣ,—говоритъ,—съ нею никто не поможетъ».

— «Отчего это не поможетъ?»

— «Оттого, что она вѣдь и сама все руководитъ себя по евангелію».

— «Полноте, пожалуйста,—говорю,—у васъ это въ душѣ отчаяніе, а отчаяніе—смертный грѣхъ. Другое дѣло, если вамъ жаль денегъ; такъ вѣдь ему нѣтъ положенія, сколько денегъ давать, а сколько дадите, да и то онъ себѣ вѣдь совершенно ничего не беретъ, даже ни малости, а все для добрыхъ дѣлъ, — такъ вѣдь Клавдія Родіоновна и сама добрыя дѣла обожаетъ».

— «Не о деньгахъ,—говоритъ,—а...»

— «Хлопоты, что ли?»

— «И не хлопоты, а какую же вѣру онъ у насъ встрѣтитъ?.. вотъ съ чѣмъ совѣстно: вѣдь не только Клавдинька, а и деверь Николай Ивановичъ — онъ въ церковь ктиторомъ только для ордена пошелъ, а о своемъ воздержаніи онъ молить и не захочетъ».

— «Да, голубчикъ мой, вѣдь на это же средство есть: мы ему вѣдь и не скажемъ, что о немъ молятся: мы дадимъ видъ, будто это для Клавдиньки».

— «А Клавдинька еще хуже обидится».

— «А мы и отъ нея скроемъ; ей мы скажемъ, что это для дяди».

— «Вотъ все, значитъ, такъ и начнется у насъ обманомъ, и будетъ ли это угодно?»

— «Что же такое? да, сначала будетъ будто немножко обманъ, а кончится все въ ихъ пользу».

Маргарита стала соглашаться, а я кую желѣзо пока горячо и предлагаю, что сама готова съѣздить и все въ здѣшнемъ мѣстѣ уладить.

— «Я, молъ, найду выдающихся лицъ, которыя все знаютъ, и съѣзжу, и приглашу, и въ каретѣ навстрѣчу ему выѣду. Вамъ только и хлопотъ, что мнѣ на расходъ выдать».

А она отвѣчаетъ:

— «Не о томъ рѣчь, а что если онъ дѣйствительно всѣ принадлежности-то въ человѣкѣ насквозь видитъ, такъ я боюсь, и удивляюсь, какъ это вамъ не страшно. Или вы обѣ безгрѣшныя?»

И я, и сестра ея Ефросинья Михайловна стали ее успокаивать, что и мы не безгрѣшныя, но что этого не надо бояться, потому что онъ хоть на что ни прозритъ — все видитъ, но онъ все въ себѣ и задержитъ, а на весь свѣтъ не скажетъ. Да, наконецъ, и какіе же у васъ особенные грѣхи?

А она говоритъ:

— «Есть».

— «Что же это за грѣхъ?»

— «А я,—говоритъ,—и сама не знаю, а только всегда, когда что-нибудь противъ Клавди завожу, то это выходитъ дурно».

— «Ну, это искушеніе. А еще что жъ?»

— «А еще вонъ деверь Николай Ивановичъ въ безбракѣ съ Крутильдой живетъ и для угожденія ей законнаго сына Петю отъ себя выгналъ. Я его жалѣю конфузить».

— «Матушка,—говорю,—да вѣдь это же онъ для женскаго угожденія! Вѣдь это же влюбленные мужчины и всѣ надъ дѣтьми своими подлости дѣлаютъ,—это такіе невыдающіеся пустяки!»

— «Нѣтъ, это,—говоритъ,—не пустяки, чтобъ свое дитя прогнать. Я постоянно того и гляжу, что у Клавдиньки съ дядею за его несправедливость съ Петей можетъ самый горячій скандалъ выйти».

Я поняла, что она умомъ всюду вертится и боится того, чтобы не обнаружилось, что въ ея дорогой Клавдинькѣ заключается; но въ этотъ разъ я на своемъ не настояла: не поспѣлъ еще тогда часъ воли Божіей.

Заботилась она опять, чтобы Клавдію развлекать: пробовала опять брать ложи на «Губинотовъ» и Бурбо слушать, но изъ силъ съ нею выбилась и говоритъ мнѣ:

— «Милый другъ нашъ, Марья Мартыновна, мы тебя за свою семьянку считаемъ и къ тебѣ прибѣгаючи: ты бы пустилась разъ подсмотрѣть, куда она ходитъ и кому свои деньги отдаетъ, и отчего удовольствій никакихъ не желаетъ».

Я говорю: «извольте, я для васъ готова».

И послѣ этого сразу же, какъ только Клавдинька со двора, и я сейчасъ за нею, какъ полицейскій аргентъ, и все издали. Она пѣшкомъ—и я пѣшкомъ, она на гонку—и я въ слѣдующемъ агонѣ, она на извозчика—и я тоже, но изъ глазъ ее не выпускаю. Разъ, два, три такимъ манеромъ за ней погонялась, и наконецъ выслѣдила, что чаще всего она проникаетъ въ бѣдный домикъ, и въ одну квартирку юркнула съ свертками. Я сейчасъ къ дворнику, дала ему на чай и стала разспрашивать: кто въ этой квартиркѣ живетъ?—Говоритъ: «одна бѣдственная старушка обитаетъ». Кто же къ ней ходитъ?—«Приходятъ, говоритъ, одна барышня, да племянникъ ейный». Молодой, спрашиваю, племянникъ?—«Молодой!»—И вмѣстѣ сходятся?—«Бываютъ и порознь, бываютъ и вмѣстѣ».

Поймала голубку!..

— Ее вы поймали, а меня не жмите: я вамъ сказала,

что хоть вы и просвирковатая, а я вашей иголки боюсь,— отозвалась съ усиленной полусонной оттяжкой Аичка.

— Ахъ, ты, пріятненькая! дай мнѣ только хоть твое мармеладное плечико-то поцѣловать...

— Ни за что на свѣтѣ! мои плечи не для такихъ поцѣлуевъ созданы. Продолжайте разсказывать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Взворотилась я домой къ Степеневымъ и, какъ умѣла, все имъ передала.

— Ну, да ужъ я думаю, вы сумѣете!

— Конечно, сумѣла. Парень съ дѣвкою такой выдающейся у старухи сходятся,—что̀ тутъ еще угадывать, чѣмъ они занимаются? Я, впрочемъ, — не думай, — я не матери, а только теткѣ Ефросиньѣ Михайловнѣ сказала, а она вспомнила, что у нихъ мать была раскольница и хоть по поведенію своему была препочтенная, но во всѣхъ книгахъ у своего же дворника «дѣвкой» писалась, то ей и стало Клавдію жалко, и она дала мнѣ тридцать рублей и просила:

— «Молчи, другъ мой Мартыновна, никому объ этомъ грандеву не разсказывай: тайно бо содѣянное — тайно и судится. Ежели это уже сдѣлалось, то пусть погуляетъ, ея фигура миліатюрная, ничего незамѣтно будетъ, а мы тѣмъ часомъ ей жениха найдемъ. Тогда ужъ она не станетъ капризничать.

Стала тетка Ефросинья Михайловна ходить по свахамъ, Клавдинькѣ жениховъ выспрашивать, и успѣхъ былъ очень порядочный, даже, можно сказать, выдающійся; но она, вообрази себѣ, кто ни посватаетъ, обо всѣхъ одинъ отвѣтъ:

— «Я не знаю его образъ мыслей; нужно, чтобы мы были другъ другу по мыслямъ».

Вотъ вѣдь у нихъ — не то, чтобы какъ слѣдуетъ человѣкъ по своему роду или капиталу подходилъ, или по наружности личности нравился, а у нихъ чтобы себѣ по мыслямъ добирать!

А потомъ вдругъ сама объявляетъ, что ей по мыслямъ пришелъ Ферштетовъ родственникъ, докторъ.

Мать-то Маргарита—полная,—какъ услышала это, такъ и брякъ съ ногъ, сѣла на полъ.

Клавдинька ее поднимать, а она приказываетъ:

— «Оставь!.. Убивай меня здѣсь! Онъ изъ нѣмцевъ?»

— «Да, мама».

— «А какой онъ вѣры?»

— «Реформаторъ».

— «Что̀ такое еще за реформаторъ, съ кѣмъ родниться приходится?»

Дядя же Николай Ивановичъ былъ подвыпивши и говоритъ:

— «Реформаторы, это я знаю: это тѣ самые, которыхъ вѣшаютъ».

— «Господи!»

А Клавдинька обернулась на него въ полъ-оборота и говоритъ:

— «Перестаньте, дяденька, мою мать тревожить и себя стыдить. Реформатская церковь есть».

Николай Ивановичъ говоритъ:

— «А это другое дѣло, но постановъ вопроса такой: я, какъ выдающійся членъ въ домѣ и петріотъ, желаю, чтобы ты выходила за правильнаго человѣка настоящей православной вѣры».

А она отвѣчаетъ:

— «Ну, полно вамъ, дядя, что̀ вы за богословъ! вы такъ говорите, а сами и никакого православія отличить не можете».

— «Нѣтъ, это ты лжешь! Я старостой былъ и своему батюшкѣ даже набрюшникъ выхлопоталъ».

Тогда Клавдюшенька ласково его потрепала и говоритъ:

— «Вотъ только-то всего вы и знаете, какъ набрюшники выхлопатывать. Встаньте-ка лучше съ этого табурета да подите велите себя обчистить, а то вы всѣ глиною замарались».

Николай Ивановичъ ушелъ и все покончилось, но на другой день опять приходитъ къ ней въ высшемъ градусѣ и видитъ кругомъ рожи съ рожками да съ козлиными ножками, и опять ей началъ говорить:

— «Когда это можно было ждать, чтобы дѣвушка, наслѣдница купеческаго рода, и этакое уродство лѣпила! На что̀ они кому-нибудь, эти болвашки?»

А она нимало не злобится и говоритъ:

— «Вы мнѣ что-нибудь другое закажите, я вамъ по вашему заказу другое сработаю».

Дядя говоритъ:

— «Я согласенъ и могу тебѣ бюстру заказать, но только божественное».

— «Закажите».

— «Сдѣлай моего ангела Николу, какъ онъ Арія въ щеку бьетъ. Я прійму и заплачу».

— «Лучше сдѣлайте, какъ онъ о бѣдныхъ хлопоталъ или осужденныхъ юношей отъ казни избавилъ».

— «Нѣтъ, этого я не могу. Я самъ бѣднымъ подаю и видѣлъ, какъ казнятъ... Это тоже необходимо надобно... ихъ священникъ провожаетъ... А ты представь мнѣ, какъ святитель посреди собора Арія по щекѣ хлопнулъ».

Сейчасъ и пошелъ у нихъ новый споръ, пошелъ и о казни, и о пощечинѣ, и Клавдинька въ концѣ говоритъ:— «Я этого не могу».

— «Почему? Развѣ тебѣ не все равно?»

— «Во-первыхъ, мнѣ это не равно, потому что хорошо тò работать, чтò нравится, а мнѣ это не нравится; а во-вторыхъ, слава Богу, теперь извѣстно, что этой драки совсѣмъ и не было».

Николай Ивановичъ сначала удивился, а потомъ и сталъ кричать:

— «Не смѣй этого и говорить!.. Потому что это было, да, было! Онъ его при всѣхъ запалилъ».

А Клавдія говоритъ:—«Нѣтъ!»

Дядя говоритъ: — «Ты это только для того со мной споришь, чтобы мнѣ досадить, потому что я его уважаю».

А Клавдія отвѣчаетъ:

— «А мнѣ кажется, что я его уважаю больше, чѣмъ вы, и хочу, чтобы и вы то знали, за чтò его уважать должно».

И чтобы споръ порѣшить, Николай Ивановичъ вздумалъ ѣхать ко всенощной, а оттуда къ какому-то профессору спрашивать у него: было ли дѣйствіе съ Аріемъ? И поѣхалъ, а на другой день говоритъ:

— «Представьте, я вчера съ профессоромъ на блеярдѣ игралъ и сдѣлалъ ему постановъ вопроса объ Аріи, а онъ дѣйствительно подтверждаетъ, что наша ученая правду говоритъ — угодника на этомъ соборѣ дѣйствительно совсѣмъ не было. Мнѣ это большая непріятность, со мной черезъ это страшный переломъ религіи долженъ выйти, потому что я этотъ фактъ больше всего обожалъ, и вчера какъ

заспорилъ, то этому профессору даже блеярдный шаръ въ лобъ пустилъ; теперь или онъ на меня жалобу подастъ и я долженъ за свою вѣру въ тюрьмѣ сидѣть, или надо ѣхать къ нему прощады просить. Вотъ какая мнѣ катастрофа отъ Клавдіи сдѣлана!»

Сѣлъ и зарыдалъ.

Тутъ Ефросинья Михайловна за него вступилась и говоритъ сестрѣ:

— «Какъ ты себѣ хочешь, Маргаритенька, а что же это такое въ самомъ дѣлѣ, что отъ Клавдюши уже всѣ плачутъ; теперь и мнѣ въ твоемъ домѣ жутко, хоть со двора бѣги».

Тогда и Маргарита согласилась и ко мнѣ обращается:

— «Съѣзди, — говоритъ, — пожалуйста, Мартыновна, и пригласи».

Я отвѣчаю:

— «И давно бы такъ: благо теперь такой выдающійся случай, что окончательно всѣ принадлежности можно спутать, такъ что изъ нихъ никто и не разберетъ, для кого это дѣлается: Николай Ивановичъ будетъ думать, что это для Клавдиньки, а Клавдинька пусть думаетъ, что для Николая Ивановича».

И Маргарита, и Ефросинья меня расцѣловали.

— «Ты,—говорятъ,—у насъ умница, прокатись, милая, и все какъ должно обдѣлай, чтобы мнѣ безъ хлопотъ, только деньги выдать».

— «Извольте, но только напишите привѣтственное письмо отъ себя и отъ Николая Ивановича, какъ отъ выдающагося члена фамиліи, чтобы мнѣ было съ чѣмъ пріѣхать приглашать. Безъ этого немыслимо».

Онѣ согласились; но только вышло затрудненіе, кто это письмо напишетъ, потому что старухи пишутъ куриляпкою и своего руки подчерка совѣстятся, а у меня *те*, *ша* и *ша*, *те* всегда въ одинъ видъ сливаются, и въ другой разъ смысла не выходитъ. Да и не знаемъ, какъ ему надо подписывать: просто его высокопреподобію, или высоко-оберъ-преподобію.

Вздумали: позовемъ Клавдиньку,—она больше всѣхъ катехизисъ учила и должна всѣ формы духовнаго обращенія знать.

Но только попросили Клавдиньку, чтобы пришла изъ

своей комнаты письмо написать, съ нею сейчасъ опять сразу же непріятность готова: пришла, сѣла и перо въ руки взяла, а какъ только узнала, къ кому,—опять перо положила и руку вытерла, и встала.

Мать спрашиваетъ, что̀ это значитъ, а она извиняется:

— «Я,—говоритъ,—мама, не знаю, какъ къ этимъ господамъ писать принято, а потомъ, мнѣ кажется, что если позволите сказать вамъ мое мнѣніе, то мнѣ кажется, зачѣмъ призывать лицо изъ такой отдаленности, а своихъ ближнихъ лицъ этого званія устранять. Вѣдь они всѣ одно и то же могутъ исполнить, зачѣмъ же обижать ближнихъ?»

Старуха и задумалась.

Ну, я вижу, что это пойдетъ опять множественный разговоръ въ неопредѣленномъ наклоненіи, и скорѣй перебила.

— «Оставьте,—говорю,—я слетаю въ мѣховой магазинъ на линію, тамъ всегда ажидацію сбиваютъ, и должны знать, какъ къ нему письма писать!»—и полетѣла.

Тамъ сразу написали, и я къ Николаю Ивановичу понеслась, чтобы онъ подписалъ.

— Вотъ хлопотунья вы!—протянула Аичка.

— Да, внутри себя съ иголкой... я ужъ всегда этакая развязная и живая. Но представь ты себѣ... я не знаю, ты вѣришь или не вѣришь въ искушенія?

— Какъ же, вѣрю, а въ другой разъ не вѣрю.

— Завсегда вѣрь; я всегда вѣрю, и они какъ нарочно бываютъ, когда человѣкъ къ вѣрѣ близится. Такъ и тутъ, вообрази, что̀ случилось!..

Николая Ивановича я въ ихъ магазинѣ не застала. Приказчики говорятъ, что онъ опять въ угарѣ и пошелъ съ галантерейными голанцами въ «Паганистанъ» завтракать и шары катать. Я въ «Паганистанъ» и посылаю съ швейцаромъ письмо, чтобы Николай Ивановичъ подписалъ, а онъ уже всѣхъ голанцевъ разогналъ и одинъ сидитъ, черный кофе съ коньякомъ пьетъ и къ себѣ меня въ кабинетъ требуетъ. Я вхожу и вижу, что у него рожа бургонская, потому что онъ не только отъ вчерашняго еще не прохладился, а на старыя дрожди еще много и новаго усердія подбавилъ. Сталъ читать и ничего уже не разбираетъ. Держитъ листокъ и самъ спрашиваетъ меня:

— «Про что это здѣсь настрочено это къ Корифеямъ посланіе,—я ничего не понимаю».

Я говорю:—«Это въ вашемъ же желаніи, о выдающемся благочестіи, чтобы Клавдинькѣ дать полезную назидацію».

А онъ отвѣчаетъ:—«По мнѣ теперь все равно; если Арію плюхи не дано, такъ не надо никому и назидаціи».

А я и ухватилась за это.

— «Вотъ,—говорю,—мы въ этомъ же и сдѣлали политическій компотъ, чтобы ее, нашу ученую, и упровергнемъ и покажемъ ей плюху во всю щеку румянца. Такъ и такъ: я вотъ кого на нее привезть хочу и только за вами дѣло стало, чтобы вы письмо подписали и встрѣтить поѣхали. Вамъ это не трудно будетъ надѣть на себя на одинъ часъ свои принадлежности».

— «Нѣтъ,—говоритъ,—теперь такой постановъ вопроса, что я въ выдающемся родѣ разстроенъ, у меня въ подземельномъ банкѣ самыя вредныя послѣдственныя дѣла вскрываются, и если еще узнаютъ ко всему этому, что я особенное благочестіе призываю, то непремѣнно подумаютъ, что я совсѣмъ прогорѣлъ, и это мнѣ всего хуже. А вашъ женскій политическій компотъ я и знать не хочу, а поѣду, все остальное промотаю и на сестру векселей напишу».

Я вижу, что онъ въ такомъ безразсудкѣ, и домой его зову, но онъ и слышать не хочетъ.

— «Да ты,—говоритъ,—что это... давно, что ли, на домашняго адвоката экзаменъ сдала? такъ я тебя сейчасъ же или по-домашнему побью, или такой постановъ вопроса сдѣлаю, что позову изъ общей залы политическаго аргента и тебя за компотъ подъ надзоръ отдамъ. А если хочешь всего этого избавиться, то отправимся со мною вмѣстѣ, заѣдемъ въ родительный домъ».

— «Зачѣмъ,—говорю,—батюшка, зачѣмъ въ родительный домъ?»

— «Мы тамъ захватимъ съ собою одну знакомую дежурную акушерку, Марью Амуровну».

— «Да что ты, осатанѣлъ, что ли! мнѣ не нужно дежурную акушерку».

Но онъ вѣдь такой неостойчивый, что какъ прицѣпится, то точно піявокъ или банная листа. Къ чему онъ затѣялъ эту акушерку, и пошелъ ее выхвалять такъ, что я даже понять не могу, на какомъ она иждивеніи.

— «Марья Амуровна,—говоритъ,—въ акушеркахъ состоитъ только для принадлежности званія, а она живетъ

въ свое удовольствіе: поѣдемъ съ ней въ отель Лангетеръ и будемъ безъ всего дурного антруи клюко пить, и она будетъ одна танцовать».

— «Такъ зачѣмъ же,—говорю,—антруи ѣхать? Я не хочу, вдвоемъ поѣзжайте».

— «Нѣтъ, — говоритъ, — теперь къ женскому полу кто вдвоемъ ѣздитъ—гоненіе; Марьѣ Амуровнѣ могутъ быть непріятности, а ты будешь при насъ въ родѣ родственной дамы за ширмой торчать. Я тебѣ за это на караганчатомъ мѣху тальму дамъ».

И какъ присталъ, какъ ущемилъ меня: ѣдемъ и ѣдемъ антруи, такъ и не отпалъ какъ піявокъ, и я должна была ѣхать, и все его безобразіе видѣла; до самаго утра они короводились, а я за ширмой спала, пока акушерка дальше и больше начала съ нимъ спорить, и онъ съ нею поссорился, и она одна уѣхала. Тогда я насилу могла уговорить его выйти и въ карету сѣсть. Но и то дорогой все назадъ рвется,—говоритъ:

— «Мнѣ еще рано, вѣдь я полунощникъ».

Я говорю: — «Какая же теперь полнощь! Посмотри на часы-то на каланчѣ: вѣдь ужъ утро!»

А онъ отвѣчаетъ:—«Эти часы невѣрно стрѣлку показываютъ, а я по тому сужу, что фиміазмы слышу; это значитъ ночные фортепьянщики съ ящиками ѣдутъ, — сталобыть, до утра еще далеко».

И вдругъ ему показалось, будто ему въ «Лангетерѣ» чужую шляпу надѣли. Никакъ его не могу переспорить, что на немъ его собственная шляпа, которая и была.

— «Нѣтъ, — говоритъ, — я отлично помню, что у меня былъ надѣтъ круглый цимерманъ, а зачѣмъ теперь на мнѣ плоскій цилиндръ? Это, можетъ-быть, какой-нибудь вашъ политическій компотъ дѣйствуетъ, а съ меня такъ монументальную фотографію снимутъ, и я потомъ долженъ буду за тебя или еще за какую-нибудь другую фибзу отвѣчать и послѣдую въ отдаленныя мѣста, даже и самимъ ангеламъ невѣдомыя... Нѣтъ, ты меня въ компотъ не запутаешь. Я тебѣ самъ политическій процессъ сдѣлаю и буду кричать:— Спаси, Господи...»

И началъ городового звать.

Чтобы его утихомирить, я уже и говорю ему: — «Чортъ

съ тобою совсѣмъ, возвращайся въ «Лангетеръ», я на всѣ ваши виды согласна.

Онъ и успокоился.

— «Хорошо,—говоритъ,—вотъ это я люблю. Мы теперь и не будемъ возвращаться, а поѣдемъ съ тобою на танцовальный вечеръ. Этихъ хозяевъ осуждаютъ, для чего къ нимъ честныя дамы не ѣздятъ,—ну, вотъ я къ нимъ тебя и привезу вмѣсто честной дамы. Тамъ до поздняго утра безобразить можно... Но только смотри — дома объ этомъ типунъ... ни слова!»

— «Да ужъ, разумѣется, говорю, типунъ. Что̀ мнѣ за радость про свой срамъ-то разсказывать, куда ты меня, несчастную, возишь».

А онъ ласковый сдѣлался и говоритъ:

— «А ты, если хочешь покойна быть,— не думай ничего дурного: это мѣсто общественное, тутъ пальтошниковъ нѣтъ, а разная публика и при ней популярные совѣтники и интригантусы; мы здѣсь въ своей компаніи всю анкогниту видимъ и называемъ себя: «дружки». Три мускатера: Тупасъ, Тушасъ и Тулясъ, а я у нихъ командиръ. Тупасъ— это веселый голанецъ; а Тушасъ химикомъ съ завода считается, но онъ не химикъ, а вотъ именно самый популярный совѣтникъ, онъ присовѣтуетъ; а Тулясъ—интригантусъ, онъ всѣхъ и спутаетъ. Ему сто̀итъ чью-нибудь карточку показать—и все сдѣлаетъ, познакомится, спутаетъ и въ руки доставитъ».

— «Господи! да это насчетъ чего же?»

А онъ отвѣчаетъ:—«Насчетъ чего хочешь и не хочешь».

— «Жалованье большое вамъ идетъ?»

— «Аргенту,—говоритъ,—и интригантусу идетъ, а я по своему благородному желанію изъ чести поступилъ, а теперь назадъ вонъ выйти уже невозможно».

Публика же въ этомъ ихъ обществѣ все оказались больше одни кукоты да кукотки, и кукоты всѣ неглиже какъ попало, а кукотки однѣ разодѣты въ шелковье, а нѣкоторыя скромно, будто въ траурѣ, и всѣ подходятъ къ Николаю Ивановичу, какъ знакомыя, и кричатъ: «Командиръ», «Командиръ», и меня нисколько не конфузятся, а руки подаютъ и зовутъ вѣжливо: «метеву-плясъ», то-есть значитъ: садитесь на мѣсто. А ему — вообрази, какъ только онъ увидалъ аргента и интригантуса, — опять постановъ

вопроса о компотѣ въ голову лѣзетъ, и онъ мнѣ шепчетъ на ухо:

— «Ты, пожалуйста, пей и не отказывайся, а то у меня этотъ интригантусъ теперь передъ глазами вертится, и если я на тебя разсержусь, то я ему могу про компотъ разсказать, а онъ послѣ, пожалуй, и меня самого запутаетъ».

Я ни жива, ни мертва. Думаю: пьяный все сказать можетъ,—но пью поневолѣ и не знаю, чѣмъ дѣло кончится. А компанія у нихъ ужаснѣйшая: голанецъ этотъ, какъ арбузъ комышенскій, а аргентъ и интригантусъ сами небольшіе, но съ страшными усами, а Николаю Ивановичу и всѣхъ еще мало и онъ набираетъ еще въ компанію кого попадя и мнѣ рекомендуетъ: «этотъ актеръ — я его, говоритъ, люблю: онъ въ томъ состарѣлся, что при столахъ всѣхъ смѣшитъ». И цѣлуетъ его: «Пей, мамочка!»—«Этотъ сочинитель: онъ мнѣ къ именинамъ нѣжную эпитафію напишетъ». «Этотъ—художникъ: онъ мнѣ планъ садовой керамиды Крутильдѣ на дачу сдѣлаетъ, а этотъ въ оперѣ генералъ-басъ, лучше Петрова пѣть можетъ»... А потомъ на минуту мужчинъ броситъ и къ траурнымъ кукоткамъ по-французски... да все плохо у него выходитъ,—все вставляетъ: «команъ-диръ», да «команъ-диръ», а тѣ ему—«трешепете», да «тре-журавле», — и вѣерами его хлопаютъ, а онъ тыръ-тыръ-тыръ, и пермете муа сортиръ, и заикнется, и спятится. И опять скорѣй по-русски чего-нибудь требуетъ: все ему подавайте, что̀ нужно и что̀ никому не нужно, а французинки только «пасе», да «перепасе», не столько ѣдятъ, сколько ковыряютъ, а фиціанты все еще тащутъ и расковыренное назадъ уносятъ, а за буфетомъ втройнѣ счетъ приписываютъ, а онъ знай командуетъ: «клюко, корнишонъ, брадолѣсъ, цыгаръ такихъ, да цыгаръ этакихъ!» И все «пасе» да «перепасе», и отъ ѣды отпали, а только пьютъ, чокаются и заспорили про театральныхъ.

Актеръ сталъ генералъ-баса упровергать и говоритъ, что противъ Петрова ему никогда не спѣть, и такую Ругнѣду развели, что всѣ кукотки ушли, а маскатеры ужъ одинъ другого крошатъ какъ попало и все ни во что не считаютъ. Кто-то кричитъ уже, что про Петрова совсѣмъ и вспоминать не сто̀итъ. А другой перекрикиваетъ: «я Тумберлика всѣмъ предпочитаю». А третій: «я Кальцонари и Бозю слушалъ»... «А я помню еще какъ Бурбо выходила въ

«Трубедурѣ», а Лавровская въ «Волшебномъ Стрѣльцѣ». Тутъ кто-то про Лавровскую сказалъ: «А зачѣмъ она когда поетъ, то глазами моргаетъ?» А Николай Ивановичъ за нее заступился и закричалъ, что онъ всѣхъ выше одну Лавровскую обожаетъ, и сталъ ее представлять: заморгалъ вѣками и запѣлъ женскимъ голосомъ:

«Мѣдный конь въ полѣ палъ!
Я пѣшкомъ прибѣжалъ!»

А одному военному это не понравилось, и онъ говоритъ: — «Лучше нашу кавказскую полковую»,—и завелъ:

«Въ долинѣ Драгестанна
Съ винцомъ въ груди
Заснулъ отрадно я».

А другіе раздѣлились и хватили подтягивать кто кому попало, и завели такую кутинью, что стало невозможности, и вдобавокъ вдругъ у Николая Ивановича съ офиціантами возъярился споръ изъ-за цыгаръ и дѣло до страшнаго рубкопашнаго боя угрожается. Онъ спрашивалъ какое-то «Буэно-Густо», и палили, а когда ящикъ потребовалъ, то оказалась надпись «Гуэно-Бусто», или будь оно пусто, а Николай Ивановичъ взялъ всѣ цыгары разломалъ и расшвырялъ и ногами притопалъ. Это ужъ такой обыкновенный конецъ его поведенія, чтобы сдѣлать рубкопашную.

Тогда сейчасъ, чтобы этого не допустить, явился нѣмецъ или еврей изъ-за буфета и начинаетъ его стыдить по-французски, а онъ, когда до денегъ дошло, уже не хочетъ затруднять себя по-французски, а высунулъ впередъ кукишъ и по-нѣмецки спрашиваетъ:

— «Это хабензи гевидѣлъ?»

— «То-есть, значитъ, вы не хотите платить?»

— «Нѣтъ,—говоритъ:—подавай мнѣ счетъ!»

А когда подали счетъ, такъ онъ не принимаетъ: «Тутъ, говоритъ, все присчитано».

Провѣряетъ.—«Что это писано: «салатъ съ агмарами»— я это не требовалъ.... «Огурцы капишоны»—не было ихъ».

Еврей ему ужъ по-русски говоритъ:

— «Помилуйте, какъ же не было! — Вѣдь этакъ можно сказать, что и ничего не было подано».

— «Нѣтъ,—говоритъ,—этакъ со мной не разговаривать! Я что̀ видѣлъ на столѣ, за то плачу. Вотъ я вижу, что на столѣ лежитъ рыба-фишъ и изволь бери за нее шишъ, я

за нее плачу, а супъ братаньеръ здѣсь не былъ и ты его приписалъ, и я не плачу».

— «Да какой супъ братаньеръ?.. про него и не писано».

— «Ну, все равно, ты другое приписалъ».—И такъ заспорилъ—что̀ хочешь съ нимъ дѣлай, онъ ни гроша не платитъ.

Я говорю этому хозяину:

— «Сдѣлайте милость, теперь его оставьте... вѣдь это онъ только теперь этакъ... а завтра пришлите ему въ кладовую счетъ... онъ вообще господинъ очень хорошій».

А еврей отвѣчаетъ:

— «Мы знаемъ, что онъ вообще господинъ очень хорошій, но только зачѣмъ онъ такой дурной платитъ!»

Однако выпустили. Думаю, наконецъ, съ миромъ изыдемъ, анъ нѣтъ: въ швейцарской захотѣлъ-было что-то дать швейцару изъ мелочи и заспорилъ:

— «Не мои калоши,—говоритъ,—мнѣ подали: мои были на пятакахъ съ набалдашниками!»

Шумѣлъ, шумѣлъ и всю мелочь опять назадъ въ карманъ сунулъ и ничего не далъ, и уѣхалъ.

На воздухѣ дремать сталъ и въ просоньяхъ все крестится и твердитъ: «сан-петь, сан-петь».

Я его все потрогиваю — какъ бы онъ не умеръ — онъ и очнулся.

— «Я, говорю,—испугалась, чтобы ты не умеръ».

— «И я,—говоритъ,—испугался: мнѣ показалось, что у меня тузъ и дама самъ-пикъ и король самъ-бубенъ»...

«Эге! думаю, батюшка: вонъ ты ужъ какъ залепеталъ!»

— «Высуньтесь, — говорю, вы, Николай Ивановичъ, въ окошко—вамъ свѣжесть воздуха пойдетъ».

Онъ высунулся и подышалъ, и говоритъ:

— «Да, теперь хорошо... теперь уже нѣтъ фиміазмы. Значитъ, всѣ фортепьянщики проѣхали... и вонъ мелочныя лавочки ужъ открываютъ. Утро, благослови, Господи! Теперь постановъ вопроса такой, что ты вылѣзай вонъ и ступай домой, а я одинъ за заставу въ простой трактиръ чай пить поѣду».

Я говорю:—«Отчего же не дома пить чай?»

— «Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ,—отвѣчаетъ:—что̀ ты за домашній адвокатъ, я за заставу хочу и буду тамъ ждать профес-

сора: я съ нимъ теперь объ Аріи совсѣмъ другой постановъ вопроса сдѣлаю».

— «А какъ же,—говорю,—письмо подписать?»

А онъ меня—къ чорту.

Я даже заплакала, потому что какъ же быть? Все, что я претерпѣла, значитъ, хинью пошло. Начинаю его упрашивать, даже руку поцѣловала, а онъ хоть бы что!

— «Не задерживай, — говоритъ,—вотъ тебѣ рубль, иди въ мелочную лавку, пускай за меня лавочникъ подпишетъ: они это дѣйствуютъ».—А самъ меня вонъ изъ кареты пихаетъ.

Я и высѣла, и вошла въ лавочку. Лавочникъ крестится,—говоритъ: «первая покупательница, Господи благослови», а подписать за Николая Ивановича не согласился,—говоритъ: «Конечно, это дѣло пустое, но мы нынче полиціи опасаемся, и даже чернилъ въ лавкѣ не держимъ». На мое счастье тутъ читальщикъ вбѣжалъ, покислѣе квасу захотѣлъ напиться, и онъ мнѣ совѣтъ далъ вскочить въ церковь къ вынимальщику, который просвиры подписываетъ. Тотъ, говоритъ, подпишетъ. Онъ и подписалъ, да на что-то, глупецъ, ненужныя слова прибавилъ: «Николай Степеневъ *и всѣхъ сродниковъ ихъ*».

Я этого тогда, спасибо, и не досмотрѣла.

Довольно съ меня, намучилась, сунула письмо за лифъ и домой пришла и все поведенье его степенства сестрамъ разсказала, начиная съ Марьи Амуровны, но подъ клятвою, и говорю:

— «Теперь сами думайте, что съ нимъ дѣлать».

Маргарита Михайловна, однако, еще и тутъ не рѣшалась,—все держалась наклоненія неопредѣленнаго, думала, что для нея довольно того будетъ, если она у него довѣренность назадъ отберетъ. «Но впрочемъ,—прибавила,—если Клавдинька не откажется отъ своей жизни и простоты и чтобы за реформатора замужъ идти, то я согласна: поѣзжайте и просите».

Позвали Клавдиньку.

— «Клавдія! можетъ-быть, ты ночью обдумалась и не будешь стоять на томъ, что тебѣ Ферштетовъ братъ по мыслямъ, тогда скажи, мы Марью Мартыновну и не пошлемъ».

А та со всегдашнею своею ласковостью отвѣчаетъ:

— «Нѣтъ, мамочка, я не могу это отдумать: онъ честный и добрый человѣкъ, и я его потому люблю, что могу съ нимъ согласно къ одной цѣли жизни идти».

— «Какая же это цѣль жизни вашей: чтобы не столько о себѣ, какъ о другихъ заботиться?»

— «Да, мама, чтобы заботиться не только о самихъ себѣ, но и о другихъ».

— «Это, значитъ, чужія крыши крыть».

Тогда Маргарита Михайловна обратилась ко мнѣ и говоритъ:

— «Въ такомъ разѣ, Марья Мартыновна, поѣзжайте».

Тутъ я въ первый разъ видѣла, какъ Клавдинька себѣ измѣнила.

Скрытница, скрытница, однако покраснѣла и твердо заговорила:

— «Мама! Если вы эту непонятную посылку дѣлаете для меня, то увѣряю васъ... это ни къ чему не поведетъ».

— «Ничего, ничего! Пусть это будетъ».

— «Да вѣдь, родная, изъ этого ровно ничего не выйдетъ!»

— «Ну, это мы еще увидимъ. У людей польза была, и намъ поможетъ. Поѣзжайте, Марья Мартыновна».

Клавдинька еще просить стала, чтобы оставить, но мать отвѣтила:

— «Наконецъ, что̀ тебѣ за дѣло: я просто для себя желаю въ выдающемся родѣ молиться! Надѣюсь, я имѣю на это право?»

— «Ну, какъ вамъ угодно, мама!»—отвѣтила Клавдинька и ушла къ себѣ своихъ лѣсныхъ чертей лѣпить, а я отправилась творить волю пославшаго и думала все здѣсь просто обхлопотать, вотъ какъ и ты теперь смѣло надѣешься.

— Да вы про меня не безпокойтесь!—отозвалась Аичка.— Я смѣла и знаю, почему я могу быть смѣла: я капиталу не пожалѣю, такъ кого захочу, того къ себѣ, куда вздумаю, туда въ первомъ классѣ въ купэ и выпишу.

— Ну, я не знаю, сколько ты намѣрена не пожалѣть, но, однако, и съ капиталомъ иногда шишъ съѣшь.

— Полноте, съ капиталомъ-то... всякому можно сказать: «хабензи гевидѣлъ».

— Нѣтъ, какъ ототрутъ, такъ и не «гевидишь».

— Какъ же это меня отъ собственнаго моего капитала ототрутъ?

— Да, да, да! Такъ и я тогда поѣхала, такъ и мнѣ тогда все казалось очень легко.

— А отчего же тяжело-то сдѣлалось?

— Оттого, что ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ не можетъ себѣ всего представить, что̀ можетъ быть при большой ажидаціи.

— Да вы это не закидывайте, чтобы услугу свою выставлять, а разсказывайте: что̀ же такое было съ вами самое выдающееся?

— «Хабензи» увидишь.

— Ну... послушайте... вы этакъ со мною не смѣйте... я это не люблю.

— А отчего̀ же?

— А оттого̀ же, что вы моихъ шутокъ не повторяйте, а разсказывайте мнѣ: какъ вы сюда пріѣхали и что̀ за этимъ начинается.

— Ну, начинаются басомпьеры.

— Вотъ и постойте: начинаются «басомпьеры»—что̀ же это такое за басомпьеры?.. Вы, кажется, на меня дуетесь? такъ вы не дуйтесь и тоже и не говорите сердитымъ голосомъ: я вѣдь при своемъ капиталѣ ничего не боюсь, и я васъ не обидѣла, а баловать, кто у меня служитъ, я не люблю. Говорите же, что же это такое басомпьеры?

— Люди такъ называемые.

— Вотъ и разсказывайте.

Бѣдная Марья Мартыновна вздохнула и, затаивъ въ себѣ вздохъ на половину, продолжала повѣствованіе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

— Начались мои муки здѣсь,—заговорила снова Марья Мартыновна:—съ перваго же шага. Какъ я только высѣла и пошла,—сейчасъ мнѣ попался очень хорошій человѣкъ извозчикъ — такой смирный, но рѣчистый — очень хорошо говорилъ. И вотъ онъ видитъ, что мнѣ здѣсь мѣсто не знакомое, кланяется и говоритъ:

— «Пожелавъ вамъ всего хорошаго, осмѣлюсь спросить: вѣрно вамъ нужно къ пѣвцу или въ Ажидацію?»

Я даже не поняла и говорю:

— «Что̀ такое за пѣвецъ, зачѣмъ мнѣ къ нему?»

— «Онъ,—говоритъ,—все аккордомъ дѣлаетъ».

И это мнѣ извозчикъ говорилъ очень полезное и хорошо, но я не поняла, что̀ значитъ: «аккордъ», и отвѣчала:

— «Мнѣ нужно просто—гдѣ собирается ажидація».

Извозчикъ тихо говоритъ:

— «Просто ничего не выйдетъ, а пѣвецъ лучше вамъ устроитъ аккордъ, такъ какъ онъ его сопровождающій и всегда у него при локтѣ».

— «Ну,—я говорю,—вѣрно это какой-нибудь аферистъ, а я съ такими не желаю, и тебя слушать не намѣрена».

— «Ну, садитесь,—говоритъ,—я васъ за двугривенный свезу въ Ажидацію».

И привезъ меня сюда честно, но мнѣ и здѣсь какъ-то дико показалось. Внизу я тогда никого не застала, кромѣ мальчика, который съ конвертовъ марки склеиваетъ. Спросила его:

— «Здѣсь ли ожидаютъ?»

Онъ шопотомъ говоритъ:—«Здѣсь».

— «А гдѣ же старшіе?»

Не знаетъ. И все, о чемъ его ни спрошу, все онъ не знаетъ: видать—школеный, ни въ чемъ не проговорится.

— «А зачѣмъ,—говорю,—столько марокъ собираешь? Это знаешь ли?»

Это знаетъ.

— «За это,—отвѣчаетъ,—въ Ерусалимѣ бутыль масла и цыбикъ чаю даютъ».

Умный, думаю, мальчишка,—какой хозяйственный, но все-таки, чѣмъ его дѣтскія рѣчи здѣсь слушать, пойду-ка я лучше въ храмъ, посмотрю, не тамъ ли сбиваютъ ажидацію, а кстати и боготворной иконѣ поклонюсь.

Около храма—вижу—кучка людей, должно быть тоже съ ажидаціей, а какіе-то люди еще все подходятъ къ нимъ и отходятъ, и шушукаются,—ни дать, ни взять, какъ пальтошники на панеляхъ. Я сразу ихъ такъ и приняла за пальтошниковъ и подумала, что, можетъ-быть, и здѣсь съ прохожихъ монументальныя фотографіи снимаютъ, а послѣ узнала, что это они-то и есть здѣшней породы басомпьеры. И между ними одинъ ходитъ этакой аплетическаго сложенія, и у него страшно выдающійся бугровый носъ. Онъ подходитъ ко мнѣ и съ фономъ спрашиваетъ:

— «По чьей рекомендаціи и гдѣ пристали?»

Я говорю:—«Это что̀ за спросъ! Тебѣ что̀ за дѣло?»

А онъ отвѣчаетъ:—«Конечно, это наше дѣло; мы всѣ при немъ отъ Моисея Картоныча».

— «Брысь! Это еще кто такой Моисей Картонычъ и что̀ онъ значитъ?»

— «Ага!—говоритъ,—а вамъ еще неизвѣстно, что̀ онъ значитъ! Такъ узнайте: онъ въ болотѣ на цаплиныхъ яйцахъ сидитъ—живыхъ журавлей выводитъ».

Я ему сказала, что мнѣ это не интересно, и спросила: не знаетъ ли онъ, гдѣ риндательша?

Онъ качнулъ головой на церковь.

— «А скоро ли, спрашиваю, кончатъ вечерню?»

— «У насъ ноньче не вечерня, а всенощная».

— «Не можетъ быть,—говорю,—завтра нѣтъ никакого выдающагося праздника».

— «Да, это у васъ нѣтъ, а у насъ есть».

— «Какой же у васъ праздникъ?»

— «А право,—говоритъ,—въ точности не знаю: или семь спящихъ дѣвъ, или теченіе головы Потоковы».

— «Ну,—говорю,—я вижу, что хотя вы и возлѣ святыни чего-то ожидаете, а сами мерзавцы».

— Да, да,—отвѣчаетъ,—а вамъ, пожелавъ всего хорошаго, отходи, пока не выколочена».

Я больше и говорить не стала, вошла въ храмъ и отстояла службу, но и тутъ все замѣчаю, будто шепчутъ аргенты,—и напало на меня безпокойство, что непремѣнно какъ сунутся къ боготворной иконѣ, такъ у меня вытащатъ деньги. Вышла я и возвратилась сюда и помѣстилась вотъ точно такъ же здѣсь, только въ маленькой-премаленькой комнаткѣ, за два рубля, и увидала тутъ въ коридорѣ самыхъ разныхъ людей и стала слушать. Одинъ офицеръ изъ Ташкента пріѣхалъ и оттуда жену привезъ: такъ съ нею вѣдь какое невообразимое несчастіе сдѣлалось: они по страшной жарѣ въ тарантасѣ на верблюдѣ ѣхали, а верблюдъ идетъ неплавно, все дергаетъ, а она грудного ребенка кормила, и у нея отъ колтыханья въ грудяхъ изъ молока кумысъ свертѣлся!.. Ребенокъ отъ этого кумыса умеръ, а она не хотѣла его въ песокъ закопать и получила черезъ это родъ помѣшательства. И они вотъ эти-то желали, чтобы имъ завтра получить самое первое благословеніе и побольше денегъ. То-есть, разумѣется, не сама

сумасшедшая этого добивалась, а ея мужъ. Этакой, правду сказать, съ виду непріятный, и съ красными глазами, такъ около всѣхъ здѣшнихъ и юлитъ, чтобы ему устроили полученіе, и всѣхъ подговариваетъ: «Старайтесь, — что̀ Богъ дастъ—все пополамъ». А его и слушать не хотятъ. Зачѣмъ дѣлить пополамъ, когда всякъ самъ себѣ все радъ получить! Ну, а я какъ денежнаго благословенія у него себѣ просить не намѣрена, то по самолюбію своему и загордячилась — думаю: что̀ мнѣ такое? — мнѣ никто не нуженъ! Такъ все и надѣялась своимъ бабскимъ умомъ сама обхватить и достигнуть выдающейся цѣли своей ажидаціи: но въ комъ сила содержится и что̀ есть самое выдающееся, того и не поняла.

— А что же здѣсь самое выдающееся?—полюбопытствовала Аичка.

— Вотъ отгадай.

— Я не люблю отгадывать: впрочемъ, вѣрно—благословеніе?

— То-то и есть: благословеніе, но какое? Всякій говоритъ «благословеніе», а что̀ именно такое заключаетъ въ себѣ благословеніе, это не всякій понимаетъ. Ты вѣдь священную исторію, небось, учила?

— Учила, да ужъ все позабыла.

— Какъ это можно! Все позабыть это немыслимо.

— Ну, вотъ, а я забыла.

— Ну, вспомни про Исава и Якова. Ихъ Богъ еще въ утробѣ не сравнилъ: одного возлюбилъ, а другого возненавидѣлъ.

Аичка разсмѣялась.

— Чего же ты, милушка, смѣешься?

— Да что вы какіе пустяки врете!

— Нѣтъ, извини, это не пустяки.

— Да какъ же, развѣ я не понимаю... въ утробѣ ребенокъ ничего не пьетъ и не ѣстъ, а только потѣетъ. Въ чемъ же тутъ причина, за что можно ихъ одного возлюбить, а одного возненавидѣть? Это только мать можетъ ненавидѣть, которая стыдится тяжелой быть, а Богъ за что это?

— Ну, ужъ за что возненавидѣлъ Богъ—объ этомъ ты не у меня, а у духовныхъ спроси; но первое благословеніе всегда бываетъ самое выдающееся. Яковъ надѣлъ себѣ

на руки овечьи наглинки и первое выдающееся благословеніе себѣ и сцапалъ, а Исаву осталось второе. Второе благословеніе—это уже не первое. Въ здѣшнемъ мѣстѣ ужъ замѣчено, что самое выдающееся—это то, гдѣ его раньше получатъ. Тамъ и исполненіе будетъ и въ деньгахъ, и отъ виѳліемціи, а что позже пойдетъ, то все будетъ слабѣе. «Сила его исходяще и совѣщающе».

— Вотъ это я помню; что объ этомъ я гдѣ-то учила,— вставила Аичка.

— Нѣтъ, а я хотя объ этомъ и не учила, а взяла да свою записку сверху другихъ и положила, но риндательша меня оттолкнула и говоритъ: «Пожалуйста здѣсь не распоряжайтесь». Однако, онъ мое письмо прочиталъ и говоритъ:

— «Вы сами, или нѣтъ, Степенева?»

— «Никакъ нѣтъ,—говорю,—я простая женщина».

Онъ перебилъ:

— «Всѣ простые, но вѣдь есть еще Ступины—или Стукины».

— «Нѣтъ,—отвѣчаю,—я не отъ тѣхъ,—я отъ Степеневыхъ. Домъ выдающійся».

— «Кто у нихъ боленъ?»

— «Никто, — отвѣчаю, — не боленъ: всѣ, слава Богу, здоровы».

— «Такъ о чемъ же вы просите?»

Отвѣчаю:—«Я по ихъ порученію: просятъ васъ къ себѣ и желаютъ на добрыя дѣла пожертвовать».

— Хорошо,—говоритъ,—я послѣзавтра буду и ожидайте».

Я благословилась и съ первымъ отходомъ ѣду назадъ съ ажидаціей. И на душѣ у меня такая побѣдная радость, что никому я не кланялась и ничего не дала ни пѣвцу, ни сѣвцу, ни риндательшѣ, а все такъ хорошо и легко обдѣлала. Всѣмъ, кто вмѣстѣ со мною возвращается, я какъ сорока болтаю: вотъ послѣзавтра онъ у насъ первыхъ будетъ, мнѣ велѣлъ себя ждать съ каретою. Разспрашиваютъ: какъ моя счастливая фамилія? А я по своей простотѣ ничего дурного не подозрѣваю и всѣмъ, какъ дура, откровенно говорю, что моя фамилія ничтожная, а счастливая фамилія—это выдающіеся купцы Степеневы. Тутъ еще споръ вышелъ изъ-за того, что это фамилія выдающаяся или не выдающаяся. Только одинъ поваръ вступился:

— «Я,—говоритъ,—знаю фруктовщиковъ Степеневыхъ, такъ тѣ выдающіеся: я черезъ нихъ у генерала мѣста лишился за то, что они мнѣ фальшивый сыръ подвернули».

А другіе пассажиры совсѣмъ будто никакихъ Степеневыхъ не знаютъ, а я имъ сдуру и пошла все расписывать,—совсѣмъ и въ понятіи не имѣю, что̀ изъ этого при человѣческой подлости можетъ выйти.

— А что же выйдетъ?—протянула Аичка.

— Ахъ, какой фортъ ангейль вышелъ! Вдругъ на меня напалъ ташкентскій офицеръ и началъ кричать: «Замолчите вы, пустозвонка! мнѣ васъ скверно слушать, вы меня раздражаете! Я этому человѣку въ его святость совсѣмъ не вѣрю: я вотъ къ нему со своею больною двѣнадцать рублей проѣздилъ, а онъ мнѣ всего десять рублей подалъ! Это подлость! Пьетъ изъ ушата, а цѣдитъ горсточкой; а его подлокотники въ трубы трубятъ и печатаютъ. Это базаръ!»

Всѣ отъ его крика даже присмирѣли, потому что видъ у него сдѣлался очень жадный: женѣ онъ швырнулъ два баранка, какъ собаченочкѣ, а самъ ходитъ и во всѣ стороны глаза мечетъ.

Люди тихо говорятъ:—«Не отвѣчайте ему,—это петріотъ механику строитъ».

Но одинъ лавочникъ его призналъ и пояснилъ:

— «Никакой онъ, — говоритъ, — не петріотъ, а просто мошенникъ, и которую онъ несчастную женщину при себѣ за жену возитъ—она ему вовсе не жена, а съ постоялаго двора дурочка».

И точно, только-что мы пріѣхали и стали вылѣзать, къ нему сейчасъ два городовыхъ подошли и повели его въ участокъ, потому что эту женщину родные разыскиваютъ.

Повздыхали всѣ: ахъ, ахъ, ахъ! Какая низость! Какой обманъ! И подивились, какъ онъ ничего этого не прозрѣлъ! А потомъ испугались. Да и гдѣ можно все это проникать въ такой сутолокѣ! И разсыпались всѣ по своимъ домамъ.

Пріѣзжаю и я прямо къ Маргаритѣ Михайловнѣ и говорю ей: «Креститесь и радуйтесь, Богъ милость послалъ. Послѣзавтра на нашей улицѣ праздникъ будетъ и васъ счастье осѣнитъ: я согласіе получила и утромъ мнѣ надо ѣхать встрѣчать его на ажидаціи».

Всѣ тутъ обрадовались, и Маргарита Михайловна, и Ефросинья Михайловна, и начали меня разспрашивать: «узнала ли я, чѣмъ его принимать и просить». Я говорю: я все узнала, но не надо ничего особенно выдающагося, кромѣ чаю съ простой булкой и винограду; а если откушать согласится, то надо супъ съ потрохами.

— «А можетъ-быть, какого-нибудь вина превосходнаго?»

— «Вина,—говорю,—можно подать только превосходной мадеры, но самое главное вы сейчасъ разрѣшите, кто поѣдетъ его встрѣчать на ажидацію: вы ли сами, или я, или Николай Иванычъ, если онъ въ своей памяти. По-моему, всѣхъ лучше Николай Иванычъ, такъ какъ онъ мужчина и членъ въ домѣ выдающійся. Только если онъ теперь опять не съ буланцемъ».

Рѣшили, что Николай Иванычъ и я вдвоемъ поѣдемъ. Какъ-нибудь ужъ его на этотъ часъ уберечь можно. Оттуда Николай Иванычъ пусть съ нимъ вмѣстѣ въ карету усядется, а я назадъ на пролеткахъ пріѣду.

На счастіе наше, Николай Иванычъ ввечеру явился въ раскаяніи и въ забытьи: идетъ и самъ впереди себя руками водитъ и бармутитъ:

— «Дорогу, дорогу... идетъ гласъ выпѣвающій... уготовьте путь ему въ пустынѣ... о, Господи!»

Да и застрялъ въ углу, и началъ искать чего-то у себя по карманамъ.

Я подошла и говорю: — «Чего, опять вчерашняго дня, небось, ищете? Удаляйтесь скорѣй на покой».

А онъ отвѣчаетъ:

— «Подожди... тутъ у меня въ карманѣ очень важный сужектъ былъ, и теперь нѣтъ его».

— «Какой же сужектъ?»

— «Да вотъ Твердамасковъ мнѣ съ Крутильды пробный портретъ безбилье сдѣлалъ, и я его хотѣлъ сберечь, чтобъ никому не показать, да вотъ и потерялъ. Это мнѣ непріятно, что его могутъ разсматривать. Я поѣду его разыскивать».

— «Ну ужъ, — говорю, — это нѣтъ. Попалъ домой — теперь типунъ, больше не уѣдешь», — и мы его на всѣ два дня заперли, чтобъ опомнился.

И спала я послѣ этого у себя ночь какъ въ раю, и все

вокругъ меня летали безплотные ангелы,—ликовъ не видно, а этакъ все машутъ, все машутъ!

— Какіе же они сами?—полюбопытствовала Аичка.

— А вотъ похожи какъ пѣвчіе въ формѣ и въ такихъ же халатикахъ. А какъ сонъ прошелъ и начался другой день, то начались опять и новыя мученія. Съ самаго ранняго утра стали мы хлопотать, чтобы все къ завтрему приготовить. И все уже они безъ меня и ступить боятся: мы съ Ефросиньюшкой вдвоемъ и въ курятную потроха выбирать ходили, чтобы самые выдающіеся, и Николая Иваныча наблюдали, а на послѣзавтра, когда встрѣчѣ быть, я сама до свѣта встала и побѣжала къ Мирону-кучеру, чтобы онъ закладывалъ карету какъ можно лучше.

А онъ у нихъ престрашный грубіянъ и искусный отвѣтчикъ, и ни за что не любитъ женщинъ слушаться. Что̀ ему ни скажи, на все у него колкій отвѣтъ готовъ:

— «Я самъ все формально знаю».

Я ему говорю:

— «Теперь же, нынче ты не груби, а хорошенько закладывай, нынче случай выдающійся».

А онъ отвѣчаетъ:

— «Ничего не выдающее. Мнѣ все равно: заложу какъ слѣдно по формѣ, и кончено!»

Но еще больше я безпокоилась, чтобы безъ меня Клавдинька изъ дома не ушла или какую-нибудь другую свою трилюзію не исполнила, потому что всѣ мы знали, что она безвѣрная. Твержу Маргаритѣ Михайловнѣ:

— «Смотри, мать, чтобы она не выкинула чего-нибудь выдающагося».

Маргарита Михайловна сказала ей:

— «Ты же, Клавдюша, пожалуйста нынче куда-нибудь не уйди».

Она отвѣчаетъ:—«Полноте, мама, зачѣмъ же я буду уходить, если это вамъ непріятно».

— «Да вѣдь ты ни во что не вѣришь?»

— «Кто это вамъ, мамочка, такія нелѣпости наговорилъ, и зачѣмъ вы имъ вѣрите!»

А та обрадовалась.

— «Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, ты во что-нибудь вѣруешь?»

— «Конечно, мама, вѣрую».

— «Во что же ты вѣруешь?

— «Что есть Богъ и что на землѣ жилъ Іисусъ Христосъ, и что должно жить такъ, какъ учитъ Его Евангеліе».

— «Ты это истинно вѣришь—не лжешь?»

— «Я никогда не лгу, мама».

— «А побожись!»

— «Я, мама, не божусь; Евангеліе вѣдь не позволяетъ божиться».

Я вмѣшалась и говорю:

— «Отчего же не побожиться для спокойствія матери?»

Она мнѣ ни слова; а та ее уже цѣлуетъ съ радости и твердитъ:

— «Она никогда не лжетъ, я ей и такъ вѣрю, а это вотъ вы всѣ хотите, чтобы я ей не вѣрила».

— «Что вы, что вы!—говорю я:—во что вы хотите, я во все вѣрю!»

А сама думаю: вотъ при немъ вся ея вѣра на повѣркѣ окажется. А теперь съ ней разводовъ разводить нечего, и я бросилась опять къ Мирону посмотрѣть, какъ онъ запрягаетъ, а онъ уже запрягъ и подаетъ, но самъ въ простомъ армякѣ.

Я зашумѣла:

— «Что же ты не надѣлъ армякъ съ выпухолью?»

А онъ отвѣчаетъ:

— «Садись, садись, не твое дѣло: выпухоль только зимой полагается».

Вижу его, что онъ злой-презлой.

Николай Иванычъ сѣлъ смирно со мною въ карету, а двѣ дамы дома остались, чтобы насъ встрѣтить, а между тѣмъ съ нами начались такія выдающіяся приключенія, что превзошли все, что̀ было у Исава съ Яковомъ.

— Что̀ же это случилось?—воскликнула Аичка.

— Отхватили у насъ самое выдающееся первое благословеніе.

— Какимъ же это манеромъ?

— А вотъ это и есть Моисей Картонычъ!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пріѣхали мы съ Николаемъ Иванычемъ въ каретѣ,—онъ со всѣми принадлежностями, съ ктиторской медалью на шеѣ и съ иностраннымъ орденомъ за шахово подношеніе,

а я одѣта по обыкновенію, какъ слѣдуетъ, скромно, ничего выдающагося, но чисто и пристойно. А народу совокупилась непроходимая куча, и стоитъ нѣсколько каретъ съ ажидаціей, и на простыхъ лошадяхъ, и на стриженыхъ,— на козлахъ брумы съ хлопальными арапниками и полицейскіе со всѣми въ рубкопашню бросаются—хотятъ всѣхъ по ранжиру ставить, но не могутъ.

Помощникъ пристава тутъ же, какъ встрепаный воробей, подпрыгиваетъ и уговариваетъ публику:

— «Господа! не безобразьте!.. всѣ увидите. Для чего невоспитанность!»

Я думаю, вотъ этотъ образованный! и подхожу къ нему и прошу, чтобы велѣлъ нашу карету впереди другихъ поставить, потому что намъ назначена первая ажидація: но онъ хоть бы что̀!.. на всѣ мои убѣдительныя слова и вниманія не обратилъ, а только все топорщится воробьемъ и твердитъ: «что̀ за изверги христіанства! что̀ за свинская невоспитанность!» А я вдругъ замѣчаю, что здѣсь же въ толпучкѣ собрались всѣ мои третьёводнишніе знакомые, съ которыми я назадъ ѣхала, и особенно та благочестивая старушка, у которой весь домъ отъ виѳліемціи боленъ, и я ей все разсказывала.

— «Вотъ и вы,—говоритъ,—здѣсь?»

— «Какъ же, — отвѣчаю я, — здѣсь; къ намъ вѣдь къ первымъ обѣщано».

— «Вы вѣдь отъ Степеневыхъ, кажется?»

— «Да, — отвѣчаю, — я отъ Степеневыхъ, — въ ихъ каретѣ,—Миронъ кучеръ».

— «Ахъ!—говоритъ,—Миронъ кучеръ...»

А тутъ весь народъ вдругъ вздрогнулъ и стали креститься, и ужъ какъ попрутъ, то ужъ никто другъ друга и жалѣть не сталъ, но всѣ какъ дикій табунъ толпучкою одинъ другого задавить хотятъ... Раздался такой стонъ и пискъ, что просто сказать, какъ будто бы всѣ люди озвѣрѣли и другъ друга задушить хотятъ!

Помощникъ ужъ не можетъ и кричать больше, а только стонетъ: «что̀ за изверги христіанства! что̀ за скоты безъ разума и безъ жалости!» А городовые пустились-было въ рубкопашную, но вдругъ протиснулись откуда-то эти тамошнія бургонскія рожи, — эти басомпьеры,—тѣ, которые про спящихъ дѣвъ говорили, — и вразъ смяли всѣхъ, и городо-

выхъ, и ожидателей! Такъ и смяли! Обхватили его и прутъ прямо къ какимъ знаютъ каретамъ, и кричатъ: «сюда, сюда!» — и даже, я слышу, Степеневыхъ называютъ, а межъ тѣмъ въ чью-то не въ нашу карету его усадили и повезли.

Я стала кричать:

— «Позвольте! вѣдь это немыслимо,—это... не отъ Степеневыхъ карета... у насъ Миронъ кучеръ называется!»

А межъ тѣмъ его обманомъ усадили въ другую карету, съ той самой старушкой, съ моей-то съ благочестивой попутчицей, у которой всѣ въ виѳіемціи, и увезли къ ней!

Аичка вмѣшалась и сказала:

— Что же—это такъ и слѣдовало.

— Почему?

— У нея больные, а у васъ нѣтъ.

Мартыновна не стала спорить и продолжала:

— Я къ помощнику, говорю:

— «Помилуйте, господинъ полковникъ, что̀ же это за безпорядокъ!»

А онъ еще на меня:

— «Вамъ, — говоритъ, — еще что̀ такое сдѣлали? Язычница! вы больше всѣхъ лѣзли. Что̀ вамъ на любимую мозоль, что ли, кто наступилъ? Вотъ аптека, купите себѣ пластырю».

— «Не въ аптекѣ,—говорю,—дѣло, а въ томъ, что мнѣ была назначена первая ажидація, а ея нѣтъ».

— «Чего же вы ее не ухватили—ажидацію-то?»

— «Я бы ухватила, а отъ полиціи порядка не было — вы видѣли, что мнѣ и подойти было немыслимо, у меня выхватили...»

— «Что у васъ выхватили?»

— «Отсунули меня...»

— «А у васъ ничего не украдено?»

— «Нѣтъ, не украдено, а сдѣланъ обманъ ажидаціи».

А онъ на это рукою махнулъ.—«Экая важность!—говоритъ,—это и часто бываетъ».

И больше никакого вниманія.

— «Ну, васъ,—говоритъ,—совсѣмъ, отстаньте».

Я къ Николаю Иванычу, который въ каретѣ усѣлся, и говорю ему:—«Что же здѣсь будемъ стоять, надо за ними рѣзво гнаться, и взять хоть со второй ажидаціи».

Онъ отвѣчаетъ, что ему «все равно», а Мирошка сейчасъ же спорить:

— «Гнаться,—говоритъ,—нельзя».

— «Да вѣдь вотъ еще ихъ видно на мосту. Поѣзжай за ними, и ты ихъ сейчасъ догонишь».

— «Мнѣ нельзя гнаться».

— «Отчего это нельзя? Ты вѣдь всегдашній грубецъ и искусный отвѣтчикъ».

— «То-то и есть, — говоритъ: — что я отвѣтчикъ: я и буду въ отвѣтѣ; ты будешь въ каретѣ сидѣть, а меня за это формально съ козелъ снимутъ да въ полиціи за клинъ посадятъ. Во всю мочь гнать не позволено».

— «Отчего же за ними вонъ въ чьей-то каретѣ какъ рѣзво ѣдутъ?»

— «Оттого, что тамъ лошади не такія».

— «Ну, а наши какія? Чѣмъ хуже?»

— «Не хуже, а тѣ—аглицкіе тарабахи, а наши—тамбовскіе ѳетюки: это разница!»

— «Да ужъ ты извѣстный отвѣтчикъ, на все отвѣтишь, а просто ихъ кучеръ лучше умѣетъ править».

— «Отчего же ему не умѣть править, когда ему ихъ экономка при всѣхъ здѣсь цѣлый флаконъ вишневой пунцовки дала выпить, а мнѣ дома даже поклеванникъ съ чаемъ не дали допить».

— «Ступай и ты такъ поспѣшно, какъ онъ, тогда и я тебѣ дома цѣльную бутылку пунцовки дамъ».

— «Ну,—говоритъ,—въ такомъ разѣ формально садись скорѣй».

Сѣла я опять въ карету и погнали. Миронъ поспѣваетъ: куда они на тарабахахъ, туда и мы на своихъ ѳетюкахъ, не отстаемъ; но чуть я въ окно выгляну—все мнѣ кажется, будто всѣ кареты, которыя ѣдутъ — это все съ ажидаціей. Семь каретъ я насчитала, а въ восьмой увидала—двѣ дамы сидятъ, и закричала имъ:

— «Отстаньте, пожалуйста,—это моя ажидація!»

А Николай Ивановичъ вдругъ рванулъ меня сзади изо всей силы, чтобы я сѣла, и давленнымъ, злымъ голосомъ шипитъ:

— «Не смѣйте такъ орать! мнѣ стыдно!»

Я говорю: — «Помилуйте! какой съ безстыжей толпучкой стыдъ!»

А онъ отвѣчаетъ:

— «Это не толпучка, а моя знакомая блондинка; она мнѣ можетъ черезъ одно лицо самый непріятный постановъ вопроса сдѣлать».

И опять такъ меня рванулъ, что̀ платье затрещало, и я его съ сердцовъ по рукѣ, а по дверцамъ локтемъ, да и вышибла стекло такъ, что оно зазвонило въ дребезги.

Къ намъ сейчасъ подскочилъ городовой и говоритъ:

— «Позвольте узнать, что̀ за насиліе? О чемъ эта дама шумятъ?»

Николай Иванычъ, спасибо, ловко нашелся:

— «Оставь, — говоритъ,—насъ,—эта дама не въ своемъ умѣ, я ее везу въ сумасшедшій домъ на свидѣтельство».

Городовой говоритъ:—«Въ такомъ разѣ прослѣдуйте!»

Опять погнались, но тутъ какъ разъ впоперекъ погребальный процессъ: какъ на зло какого-то полкового мертвеца съ парадомъ хоронить везутъ, — духовенство много выступаетъ — всѣ по парамъ другъ за другомъ въ линію, архирей позади, а потомъ гробъ везутъ; солдаты протяжно тащатся и двѣ пушки всѣмъ вслѣдъ волокутъ, точно всей публикѣ хотятъ разстрѣлъ сдѣлать, а потомъ ужъ каретъ и конца нѣтъ, и по большей части всѣ пустыя. Ну, пока все это передъ своими глазами пропустили, онъ, конечно, уѣхалъ и тарабахи скрылись.

Поѣхали опять, да не знаемъ, куда ѣхать; но тутъ, спасибо, откуда-то взялся человѣкъ и говоритъ:

— «Прикажите мнѣ съ кучеромъ на козлы сѣсть—я сопослѣдователь и знаю, гдѣ первая ажидація».

Дали ему рубль, онъ сѣлъ и поѣхалъ, но куда ѣдемъ — опять не понимаю. Степеневыхъ домъ въ Ямской слободѣ, а мы пріѣхали на хлѣбную пристань, и тутъ, дѣйствительно, оказалась толпучка народу, собралась и стоитъ на ажидаціи... Смотрѣть даже ужасти, сколько людей! А самого-то его уже и не видать, какъ высѣлъ, — и говорятъ, что насилу въ домъ проводили отъ ожидателей. Теперь за нимъ и двери заключили, и два городовыхъ не пущаютъ, а которые загрубятъ, тѣхъ пожмутъ и отводятъ.

Но однако, впрочемъ, всѣ ожидатели ведутъ себя хорошо, ждутъ и о разныхъ его чудесахъ разговариваютъ,—гдѣ что̀ имъ сдѣлано, а все больше о выигрышахъ и о виѳіемціи, а у меня мой сударь Николай Иванычъ вдругъ взбеленился.

— «Что̀ мнѣ, говоритъ, тутъ съ вами, ханжами, стоять! У меня виѳіемціи нѣтъ, а еще, пожалуй, опять за банкрута сочтутъ!.. Я не хочу больше здѣсь съ вами тереться и ждать. Оставайся здѣсь и жди съ каретою, а я лучше хоть на простой конкѣ на волю уѣду».

Я уговариваю:—«У Бога, говорю,—всѣ равны. Вѣдь эта ажидація для Бога. Если хотите что-либо выдающееся сподобиться, то надо терпѣливо ждать».

Кое-какъ онъ насилу согласился одинъ часъ подождать и на часы отмѣтилъ.

Часъ этотъ, который мы тутъ проманежились, я весь языкъ свой отбила, чтобы Николая Иваныча уговаривать, и за этими разговорами не замѣтила, что уже сдѣлался выходъ изъ подъѣзда, и его опять въ ту же самую секунду въ другую карету запихнули и помчали на другую ажидацію. Боже мой! второе такое коварство! Какъ это снесть! Мы опять за ними слѣдомъ, и опять намъ въ третій разъ та же самая удача, потому что Николай Иванычъ съ орденами и со всѣми своими принадлежностями нейдетъ на видъ, а прячется, а меня въ моемъ простомъ видѣ всѣ прочь отираютъ.

А въ концѣ концовъ Николай Иванычъ говоритъ:

— «Ну, ужъ теперь типунъ! я не намѣренъ больше позади всѣхъ въ свитѣ слѣдовать. Ты сиди здѣсь и ѣзди, а я не хочу».

И съ этимъ всѣ свои принадлежности снимаетъ и въ карманъ прячетъ.

Я говорю:—«Помилуйте, какъ же я одна останусь?!. это немыслимо...»

А онъ вдругъ дерзкій сталъ и отвѣчаетъ:—«А вотъ ты и размышляй о томъ, что мыслимо, а что немыслимо, а я въ трактирѣ хоть водки выпью и закушу миногой».

— «Такъ вотъ,—говорю,—и подождите же, Богу помолитесь натощакъ, а тогда кушайте; тамъ все уже приготовлено, не только миноги, а и всякая рыба, и потроха выдающіеся, и прочія принадлежности».

Онъ меня даже къ чорту послалъ.

— «Очень мнѣ нужно!—говоритъ.—Не видалъ я, поди, твои потроха выдающіеся!»—и вмѣсто того, чтобы забѣжать въ трактиръ, сѣлъ на извозчика да и совсѣмъ уѣхалъ.

Тутъ я даже заплакала. Много я въ моей жизни низо-

стей отъ людей видѣла, но этакой выдающейся подлости, чтобы такъ и силомъ оттирать, и обманно чужимъ именемъ къ себѣ завлекать и, запихнувши въ карету, увозить—этого я еще и не воображала.

Въ отчаяніи разсказала это другимъ, какъ это сдѣлано, а другіе и не удивляются, говорятъ: «вы не огорчайтесь, это съ нимъ такъ часто дѣлаютъ».

А какъ только онъ вышелъ, такъ смотрю—эти же самые, которые такъ хорошо говорили, сами же въ моихъ глазахъ, какъ тигры, рванулись и въ четвертый разъ подхватили его, запихнули въ карету и повезли.

Я просто залилась слезами и кричу Мирошкѣ:

— «Миронъ, батюшка, да имѣй же хоть ты Бога въ сердцѣ своемъ, бей ты своихъ ѳетюковъ безъ жалости, чтобы мнѣ хоть на пятую ажидацію шибче всѣхъ подскочить, и не давай другимъ ходу! Я тебѣ двѣ пунцовки дамъ».

Миронъ отвѣчаетъ: — «Хорошо! формально дамъ ходу!» И такъ нахлесталъ ѳетюковъ во всю силу, что они понеслись шибче тарабаховъ, и въ одномъ мѣстѣ старушонку съ ногъ сшибли, да скорѣй въ сторону, да боковымъ переулкомъ—опять догнали, и какъ передняя карета стала подворачивать, Миронъ ей наперерѣзъ и что-то вразъ имъ и обломалъ... Такъ зацѣпилъ, что чужая карета на бокъ, а наша только завизжала.

Кучера стали ругаться.

Городовые нашихъ лошадей сгребли подъ уздицы и Мироновъ адресъ стали записывать.

А онъ ужъ опять выходитъ, но тутъ я скорѣй дверцы настежь и прямо къ нему:

— «Такъ и такъ, — говорю, — что же вы изволили намъ обѣщать къ купцамъ Степеневымъ... Они люди выдающіеся и съ самаго утра у нихъ всеобщая ажидація».

А онъ на меня смотритъ, какъ голубокъ въ усталости или въ большомъ изумленіи, и говоритъ:

— «Ну, такъ что жъ такое? Вѣдь я уже сегодня у Степеневыхъ былъ».

— «Когда же?—говорю.—Помилуйте! Нѣтъ, вы еще не были».

Онъ вынулъ книжку, поглядѣлъ и удостовѣряется:

— «Степеневы?»

— «Да-съ».

— «Купцы?»

— «Выдающіеся купцы».

— «Да, вотъ они... выдающіеся... Они у меня и зачеркнуты... Въ книжечкѣ ихъ имя зачеркнуто. Значитъ, я у Степеневыхъ былъ».

— «Нѣтъ,—говорю,—помилуйте. Это немыслимо. Я отъ васъ ни на минуту не отстаю съ самаго утра».

— «Да я у самыхъ первыхъ у Степеневыхъ былъ. И семейство помню: старушка такая въ темномъ платочкѣ меня къ нимъ возила».

Я догадалась, кто эта старушка! Это та, передъ которой я о выдающейся фамиліи Степеневыхъ говорила.

— «Это,—говорю,—обманъ подведенъ; она не отъ Степеневыхъ, Степеневы совсѣмъ не тамъ и живутъ, гдѣ вы были».

Онъ только плечомъ воздвигнулъ и говоритъ:

— «Ну, что жъ теперь дѣлать! Теперь еще подождите; я здѣсь справлюсь и съ вами поѣду».

Я опять осталась ждать на шестую ажидацію, и тутъ я только поняла, какіе бываютъ на свѣтѣ народы, какъ эти басомпьеры! Ихъ совокупившись цѣлая артель и со старостой, который надо мною про семь спящихъ дѣвъ-то ухмылялся—это онъ и есть, аплетическаго сложенія, съ выдающимся носомъ. Бродяжки они, гольтепа, работать не охотники, и нашли такое занятіе, что подсматриваютъ... и вдругъ скучатся толпучкой и никому сквозь ихъ не пролѣзть... Если имъ дашь, они къ той каретѣ такъ его и насунутъ, а не дашь—станутъ отодвигать... и...

— Типунъ!—пошутила Аичка.

— Типунъ. Мнѣ уже послѣ старушка одна разсказала: «Полно тебѣ, — говоритъ, — дурочкой-то вослѣдъ ѣздить. Неужели не видишь — въ комъ сила! Подзови мужчину въ зеленой чуйкѣ да дай ему за труды—онъ его къ тебѣ вразъ патиснетъ. Они вѣдь съ этого только кормятся».

Я подманила этого промыслителя и дала ему гривенникъ, но онъ малый смирный—недоволенъ моей гривной, а проситъ рубль. Дала рубль—онъ къ нашей каретѣ ходъ и открылъ, понапёръ, понапёръ и впихнулъ его въ самыя дверцы и крикнулъ:

— «Съ Богомъ!»

Получила и везу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Я было-хотѣла отдѣльно отъ него ѣхать, какъ недостойная, но онъ, препростой такой, самъ пригласилъ:

— «Садитесь, говоритъ, вмѣстѣ, ничего».

Простой-препростой, а лицо выдающееся.

Слушательница Марьи Мартыновны перебила ее и спросила:

— Чѣмъ же его лицо выдающееся?

И мнѣ, признаться, очень любопытно было это услышать, но разсказчица уклонилась отъ отвѣта и сказала:

— Вотъ завтра сама увидишь,—и затѣмъ продолжала:— Я сѣла на переднемъ сидѣньѣ и смотрю на него. Вижу, усталъ совершенно. Зѣваетъ голубчикъ и все изъ кармана письма достаетъ. Много-премного у него въ карманѣ писемъ, и онъ ихъ все вынимаетъ и раскладываетъ себѣ на колѣни, а деньги сомнетъ этакъ, какъ видно, что онѣ ему ничего не стоющія, и равнодушно въ карманъ спущаетъ и не считаетъ, потому что онъ вѣдь изъ нихъ ничего себѣ не беретъ.

— Почемъ вы это знаете?—протянула Анчка.

— Ахъ, мой другъ, да въ этомъ даже и сомнѣваться грѣшно, за это и Богъ накажетъ.

— Я и не сомнѣваюсь, а только любопытствую—у него, говорятъ, крали—кто жъ это знаетъ?

— Не думаю... не слышала

— А я слышала.

— Что же—онъ, вѣрно, свои доложилъ.

— То-то.

— Да вѣдь это видно. Его и занимаетъ... Распечатаетъ, прочитаетъ, а деньги въ карманъ опуститъ и крандашомъ отмѣтитъ, и опять новое письмо распечатаетъ, а между тѣмъ и шутитъ препросто.

— О чемъ же, напримѣръ, шутитъ?

— Да вотъ, напримѣръ, спрашиваетъ меня: — «Что же это значитъ? я у Степеневыхъ, значитъ, еще не былъ?»

— «Навѣрно,—говорю,—не были».

Онъ головой покачалъ, улыбнулся и смѣется:

— «А можетъ-быть, вы меня туда во второй разъ везете?»

— «Помилуйте,—говорю,—это немыслимо».

— «Съ вами,—отвѣчаетъ,—все мыслимо».

Потомъ опять читалъ, читалъ и опять говоритъ:

— «А у кого же это, однако, я былъ вмѣсто Степеневыхъ? Вотъ я теперь черезъ это замѣшательство не знаю, кого мнѣ теперь въ своей книжкѣ и вычеркнуть».

Я понимаю, что ему досадно, но не знаю, что̀ и сказать.

Аичка перебила:

— Какъ же онъ такой святой, а ничего не видитъ, что̀ съ нимъ дѣлаютъ!

— Ну, видишь, онъ полагалъ такъ, что Степеневы—это тѣ первые, у которыхъ онъ былъ по обману, и они его о сынѣ просили, что сынъ у нихъ ужасный грубіянъ — познакомился съ легкомысленною женщиной и жениться хочетъ, а о другихъ невѣстахъ хорошаго рода и слышать не хочетъ.

— Отчего же такъ?—спросила Аичка.

— Долгъ, видишь, обязанность чувствуетъ воздержать ее въ степенной жизни.

— Просто, небось, въ красоту влюбился.

— Разумѣется... Что-нибудь выдающееся... Но я опять къ своему обороту; говорю, что у настоящихъ Степеневыхъ сына выдающагося нѣтъ...

— «А невыдающійся что же такое дѣлаетъ?»

Я отвѣчаю, что у нихъ и невыдающагося тоже нѣтъ.

— «Значитъ, совсѣмъ нѣтъ сына?»

— «Совсѣмъ нѣтъ».

— «Такъ зачѣмъ же вы путаете: «выдающагося», «невыдающагося»?»

— «Это, извините, у меня такая поговорка. А у Степеневыхъ не сынъ, а дочь, и вотъ съ ней горе».

Онъ головой, уставши, покачалъ и спросилъ:

— «А какое горе?»

— «А такое горе, что она всему капиталу наслѣдница, и молодая, и очень красивая, но ни за что какъ слѣдуетъ жить не хочетъ».

Онъ вдругъ вслушался и что-то вспомнилъ:

— «Степеневы, говоритъ... Позвольте, вѣдь это именно ихъ братъ Ступинъ?»

Я не поняла, и онъ затруднился.

— «Вѣдь мы это теперь къ Ступинымъ?»

— «Нѣтъ, къ Степеневымъ: Ступины — это особливые, а Степеневы—особливые; вотъ ихъ и домъ и на воротахъ сигналъ: «купцовъ Степеневыхъ».

Онъ остро посмотрѣлъ, какъ будто отъ забытья прокинулся, и спрашиваетъ:

— «Для чего сигналъ?»

— «Надпись, чей домъ обозначено».

— «Ахъ, да, вижу, надпись».

И вдругъ всѣ остальные не распечатанные конверты собралъ и въ нутреной карманъ сунулъ и сталъ выходить у подъѣзда.

А народу на ажидацію у нашего подъѣзда собралось видимо и невидимо. Всю улицу запрудили толпучкой и еще за нами слѣдомъ четыре кареты подъѣхали съ ажидаціей.

Мы за нимъ двери въ подъѣздѣ сильно захлопнули, и тутъ случилась большая досада: одной офицершѣ, которая въ домъ насильно пролѣзть хотѣла, молодецъ два пальца на рукѣ такъ прищемилъ, что съ ней даже сдѣлалось въ родѣ обморока.

А только-что это уладили, полицейскій звонится, чтобы Мирона за задавленіе старухи и за полдомъ чужого экипажа въ участокъ брать протоколъ писать. Мы скорѣй спрятали Мирона въ буфетную комнату, и я ему свое обѣщанье — пунцовку — дала, а внутри въ домѣ ожидало еще больше выдающееся.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Онъ вошелъ, разумѣется, чудесно, какъ честь-честью, и сказалъ: «миръ всѣмъ», и всѣхъ благословилъ, и хозяйку Маргариту Михайловну, и сестру ея Ефросинью Михайловну, и слугъ старшихъ, а какъ коснулось до Николая Иваныча, то оказывается, что его, милостивѣйшаго государя, и дома нѣтъ. Тогда маменька съ тетенькой бросились къ Клавдичкѣ, а Клавдичка хоть и дома, но, изволите видѣть, къ службѣ выходить не намѣрена.

Онъ спрашиваетъ:—«Дочка ваша гдѣ?»

А бѣдная Маргарита Михайловна, вся въ стыдѣ, отвѣчаетъ:

— «Она дома, она сейчасъ!»

А чего «сейчасъ», когда та и не думаетъ выходить!

Раньше этого была съ матерью ласкова и обнимала ее и ни слова не сказала, что не выйдетъ, а тутъ, когда мы уже пріѣхали и мать къ ней внѣ себя вскочила и стала говорить:

— «Ѣдетъ, ѣдетъ!»

Клавдичка ей преспокойно отвѣчаетъ:

— «Ну, вотъ, мама, и прекрасно; я за васъ теперь рада, что вамъ удовольствіе».

— «Такъ выйди же его встрѣчать и подойди къ нему!»

Но она тихую улыбку сдѣлала, а этого исполнить не захотѣла.

Мать говоритъ:—«Значитъ, ты хочешь сдѣлать мнѣ непріятность?»

— «Вовсе нѣтъ, мама, я очень рада за васъ, что вы хотѣли его видѣть, и это ваше удовольствіе исполняется».

— «А тебѣ, стало-быть, это не удовольствіе?»

— «Мнѣ, мамочка, все равно».

— «А какъ же ты говорила, что и ты въ Бога вѣришь?»

— «Конечно, мама, вѣрю, и мнѣ кромѣ Его никого и не надобно».

— «А исполнять по вѣрѣ, стало-быть, тебѣ ничего и не надобно?»

— «Я, мамочка, исполняю».

— «Что же ты исполняешь?»

— «Всѣмъ повелѣнное: ѣсть хлѣбъ свой въ потѣ лица и никому зла не дѣлать».

— «Ахъ, вотъ въ чемъ теперь твоя вѣра? Такъ знай же, что ты мнѣ большое зло дѣлаешь».

— «Какое?.. Что вы, мама!.. Ну, простите меня».

— «Нѣтъ, нѣтъ! Ты меня срамишь на весь нашъ родъ и на весь городъ. Въ малярихи или въ прачки ты, что ли, себя готовишь? Что ты это на себя напустила?»

А та стоитъ да глинку мнетъ.

— «Брось сейчасъ твое лѣпленье!»

— «Да зачѣмъ это вамъ, мама?»

— «Брось! сейчасъ брось! и сними свой фартукъ и выйди со мною, а то я съ тебя насильно фартукъ сорву и всю твою эту глиномятную антиллерію на полъ сброшу и ногами растопчу!»

— «Мамочка,—отвѣчаетъ,—все, что вамъ угодно, но выходить я не могу».

— «Отчего?»

— «Оттого, что я почитаю, что все это не слѣдуетъ».

Тутъ мать уже не выдержала и—чего у нихъ никогда не было—браннымъ словомъ ее назвала:

— «Сволочь!.. гадина!»

А дочь ей съ ласковымъ укоромъ отвѣчаетъ:

— «Мамочка! мама!.. вы послѣ жалѣть будете».

— «Выходи сейчасъ!»

— «Не могу».

— «Не можешь?»

— «Не могу, мама».

А та—хлопъ ея фигуру на полъ и начала ее каблуками топтать. А какъ дочь ее захотѣла-было обнять и успокоить, то Маргарита-то Михайловна до того вспылила, что прямо ее въ лицо и ударила.

— Эту статую?—спросила Аичка.

— Нѣтъ, другъ мой, саму Клавдиньку. «Не превозносись!» Клавдинька-то такъ и ахнула и обѣими руками за свое лицо схватилась и зашаталась.

— За руки бы ее!—замѣтила Аичка.

— Нѣтъ, она этого не сдѣлала, а стала просить только:

— «Мамочка! пожалѣйте себя! Это ужасно, вѣдь вы женщина! Вы никогда еще такой не были».

А Маргарита Михайловна задыхается и говоритъ:

— «Да, я никогда такой не была, а теперь вышла. Это ты меня довела... до этого. И съ этой поры... ты мнѣ не дочь: я тебя проклинаю и въ комиссію прошеніе пошлю, чтобы тебя въ неисправимое заведеніе отдать».

И вотъ въ этакомъ-то положеніи, въ такомъ-то разстройствѣ, сейчасъ послѣ такого представленія — къ нему на встрѣчу!.. и можешь ли ты себѣ это вообразить, какое выдающееся стенаніе!

Онъ, кажется, ничего не замѣтилъ, что къ нему не всѣ вышли, и сталъ передъ образами молебенъ читать, — онъ вѣдь не поетъ, а все отъ себя прочитываетъ, — но мы никто и не молимся, а только переглядываемся. Мать взглянетъ на сестру и видъ даетъ, чтобы та еще пошла и Клавдиньку вывела, а Ефросинья сходитъ да обратный видъ подаетъ, что «не идетъ».

И во второй разъ Ефросинья Михайловна пошла, а мать опять все за ней на дверь смотритъ. И во второй разъ дверь отворяется, и опять Ефросинья Михайловна входитъ одна и опять подаетъ мину, что «не идетъ».

А мать мину дѣлаетъ: отчего?

Маргарита Михайловна мнѣ мину даетъ: иди, дескать, ты уговори.

Я—мину, что это немыслимо!

А она глазами: «пожалуйста», и на свое платье показываетъ: «дескать, платье подарю».

Я пошла.

Вхожу, а Клавдинька собираетъ глиняные оскребки своего статуя, котораго мать сшибла.

Я говорю: — «Клавдія Родіоновна, бросьте свои трелюзіи—утѣшьте мамашу-то, выйдите пожалуйста».

А она мнѣ это же мое послѣднее слово и отвѣчаетъ:

— «Выйдите пожалуйста!»

Я говорю: — «Жестокое въ васъ сердце какое! Чужихъ вамъ жаль, а мать ничего не стоитъ утѣшить, и вы не можете. Вѣдь это же можно сдѣлать и безъ всякой безъ вѣры».

— Разумѣется,—поддержала Аичка.

— Ну, кончено! Господи, вѣдь не во все же вѣришь, о чемъ утверждаютъ духовные, но не препятствуешь имъ, чтобы другіе имъ вѣрили.

Но только-что я ей эту назидацію провела, она мнѣ повелѣваетъ: «Выйдите!»—А за что?—«За то, говоритъ, что вы—воплощенная ложь и учите меня лгать и притворяться. Я не могу васъ выносить: вы мнѣ гадкое говорите».

Я вернулась и какъ только начала объяснять миною все, что было, то и не замѣтила, что онъ уже читать пересталъ и подошелъ къ жардинверкѣ, сломалъ съ одного цвѣтка вѣточку и этой вѣточкой сталъ водой брызгать. И самъ всѣхъ благодаритъ и поздравляетъ, а ничего не поетъ. Все у него какъ-то особенно выдающееся.

— «Благодарю васъ, — говоритъ,—что вы со мной помолились. Но гдѣ же ваши прочіе семейные?»

Вотъ и опять лгать надо: о Николаѣ Ивановичѣ и солгали, сказали, что его къ графу въ комиссію потребовали.

— «А дочь ваша, гдѣ она?»

Ну, тутъ уже Маргарита Михайловна не выдержала и молча заплакала.

Онъ понялъ, и ее какъ ангелъ обласкалъ, и говоритъ:

— «Не огорчайтесь, не огорчайтесь! въ молодости много необдуманнаго случается, но потомъ увидятъ свою пользу и оставятъ».

Старуха говоритъ:

— «Дай Богъ! дай Богъ!»

А онъ успокаиваетъ ее:

— «Молитесь, вѣрьте и надѣйтесь, и она будетъ такая-жъ, какъ всѣ».

А та опять:

— «Дай Богъ».

— «И дастъ Богъ! По вѣрѣ вашей и будетъ вамъ. А теперь если она не хочетъ къ намъ выйти, то не могу ли я къ ней взойти?»

Маргарита Михайловна, услыхавъ это, отъ благодарности ему даже въ ноги упала, а онъ ее поднимаетъ и говоритъ:

— «Что вы, что вы!.. Поклоняться одному Богу прилично, а я человѣкъ».

А я и Ефросинья Михайловна тою минутою бросились обѣ въ Клавдинькину комнату и говоримъ:

— «Скорѣе, скорѣе!.. ты не хотѣла къ нему выйти, такъ онъ теперь самъ къ тебѣ желаетъ придти».

— «Ну, такъ что же такое?»—отвѣчаетъ спокойно.

— «Онъ тебя спрашиваетъ, согласна ли ты его принять?»

Клавдинька отвѣчаетъ:

— «Это домъ мамашинъ; въ ея домѣ всякій можетъ идти куда ей угодно».

Я бѣгу и говорю:—«Пожалуйте».

А онъ мнѣ ласково на отвѣтъ улыбнулся, а Маргаритѣ Михайловнѣ говоритъ:

— «Я вамъ говорю, не сокрушайтесь; я чудесъ не творю, но если чудо нужно, то всегда чудеса были, и есть, и будутъ. Проводите меня къ ней и на минуту насъ оставьте, мы съ ней должны говорить въ одномъ вездѣприсутствіи Божіемъ».

— «Конечно, Боже мой! развѣ мы этого не понимаемъ! Только помоги, Господи!»

— Ну, я бы не вытерпѣла,—сказала Аичка:—я бы подслушала.

— А ты погоди, не забѣгай.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Мы его въ Клавдинькину дверь впустили, а сами скорѣе обѣжали вокругъ черезъ столовую, откуда къ ней въ комнату окно есть надъ дверью, и вдвоемъ съ Ефросиньей Михайловной на столъ влѣзли, а Маргарита Михайловна,

какъ грузная, на столъ лѣзть побоялась, а только къ дверному створу ухо присунула слушать.

Онъ, какъ вошелъ, сейчасъ же положилъ ей свою руку на темя и сказалъ по-духовному:

— «Здравствуй, дочь моя!»

А она его руку своею рукою взяла да тихонько съ головы и свела и просто пожала, и отвѣчаетъ ему:

— «Здравствуйте».

Онъ не обидѣлся и началъ съ ней дальше хладнокровно на «вы» говорить.

— «Могу ли я у васъ сѣсть и побесѣдовать?»

Она отвѣчаетъ:

— «Если вамъ это угодно, садитесь, только не запачкайтесь: на васъ одежда шелковая, а здѣсь есть глина».

Онъ посмотрѣлъ на стулъ и сѣлъ, и не замѣтилъ, какъ рукавомъ это ея маленькое евангельице нечаянно столкнулъ, а безъ всякаго множественнаго разговора, прямо спросилъ ее:

— «Вы лѣпленіемъ занимаетесь?»

Она отвѣчаетъ:—«Да, лѣплю».

— «Конечно, вы это дѣлаете не по нуждѣ, а по желанію?»

— «Да, и по желанію, и по нуждѣ».

Онъ на нее посмотрѣлъ выразительно.

— «По какой же нуждѣ?»

— «Всякій человѣкъ имѣетъ нужду трудиться; это его назначеніе и въ этомъ для него польза».

— «Да, если это не для моды, то хорошо».

А она отвѣчаетъ:

— «Если кто и для моды сталъ заниматься трудомъ вмѣсто того, что прежде ничего не дѣлалъ, то и это тоже не плохо».

Понимаешь, вдругъ сдѣлала такой оборотъ, какъ будто не онъ, а она ему будетъ давать назидацію. Но онъ ее сталъ строже спрашивать:

— «Мнѣ кажется, вы слабы и нездоровы?»

— «Нѣтъ,—говоритъ она:—я совершенно здорова».

— «Вы, говорятъ, мяса не ѣдите?»

— «Да, не ѣмъ».

— «А отчего?»

— «Мнѣ не нравится».

— «Вамъ вкусъ не нравится?»

— «И вкусъ, и просто я не люблю видѣть передъ собою трупы».

Онъ и удивился.

— «Какіе,—спрашиваетъ,—трупы?»

Она отвѣчаетъ:—«Трупы птицъ и животныхъ. Кушанья, которыя ставятъ на столъ, вѣдь это все изъ ихъ труповъ».

— «Какъ! это жаркое или соусъ—это трупы! Какое пустомысліе! И вы дали обѣтъ соблюдать это во всю жизнь?»

— «Я не даю никакихъ обѣтовъ».

— «Животныхъ, — говоритъ, — показано употреблять въ пищу».

А она отвѣчаетъ:—«Это до меня не касается».

Онъ говоритъ:

— «Стало-быть, вы и больному не дадите мяса?»

— «Отчего же, если ему это нужно, я ему дамъ».

— «Такъ что же?»

— «Ничего».

— «А кто васъ этому научилъ?»

— «Никто».

— «Однако, какъ же вамъ это пришло въ голову?»

— «Васъ это развѣ интересуетъ?»

— «Очень! потому что эта глупость теперь у многихъ распространяется, и мы ее должны знать».

— «Въ такомъ разѣ я вамъ скажу, какъ ко мнѣ пришла эта глупость».

— «Пожалуйста!»

— «Мы жили въ деревнѣ съ няней и некому было зарѣзать цыплятъ, и мы ихъ не зарѣзали, и жили, и цыплята жили, и я ихъ кормила, и я увидала, что можно жить, никого не рѣзавши, и мнѣ это понравилось».

— «А если-бъ въ это время къ вамъ пріѣхалъ больной человѣкъ, для котораго надо зарѣзать цыпленка?»

— «Я думаю, что для больного человѣка я бы цыпленка зарѣзала».

— «Даже сама!»

— «Да,—даже сама».

— «Своими, вотъ этими, нѣжными руками!»

— «Да,—этими руками».

Онъ воздвигъ плечами и говоритъ:

— «Это ужасъ, какая у васъ непослѣдовательность!»

А она отвѣчаетъ, что для спасенія человѣка можно сдѣлать и непослѣдовательность.

— «Просто мракобѣсіе! Вы, можетъ-быть, и собственности не хотите имѣть?»

— «При какихъ обстоятельствахъ?»

— «Это все равно».

— «Нѣтъ, не равно; если у меня два платья, когда у другой нѣтъ ни одного, то я тогда не хочу имѣть два платья въ моей собственности».

— «Вотъ какъ!»

— «Да вѣдь это такъ же и слѣдуетъ, это такъ и указано!»

И съ этимъ ручку изволитъ протягивать къ тому мѣсту, гдѣ у нея всегда ея маленькое евангельице лежитъ, а его тутъ и нѣтъ, потому что онъ его нечаянно смахнулъ, и теперь онъ ее самъ остановилъ,—говоритъ:

— «Напрасно будемъ объ этомъ говорить».

— «Отчего же?»

— «Оттого, что вы только къ тому все и клоните, чтобы доказывать, что прямое криво».

— «А мнѣ кажется, какъ будто вы все только хотите показать, что кривое прямо!»

— «Это,—говоритъ,—все мракобѣсіе въ васъ, оттого что вы не несете въ семействѣ своихъ обязанностей. Отчего вы до сихъ поръ еще дѣвушка?»

— «Оттого, что я не замужемъ».

— «А почему?»

Она на него воззрилась.

— «Какъ это почему? Потому что у меня нѣтъ мужа».

— «Но вы, можетъ-быть, и бракъ отвергаете?»

— «Нѣтъ, не отвергаю».

— «Вы признаете, что самое главное призваніе женщины жить для своей семьи?»

Она отвѣчаетъ:—«Нѣтъ, я иного мнѣнія».

— «Какое же ваше мнѣніе?»

— «Я думаю, что выйти замужъ за достойнаго человѣка очень хорошо, а остаться дѣвушкою и жить для блага другихъ—еще лучше, чѣмъ выйти замужъ».

— «Почему же это?»

— «Для чего же вы меня объ этомъ спрашиваете? Вы навѣрно сами это знаете: кто женится, тотъ будетъ нести

заботы, чтобы угодить семьѣ, а кто одинъ, тотъ можетъ имѣть заботы шире и выше, чѣмъ о своей семьѣ».

— «Вѣдь это фраза».

— «Какъ,—говоритъ,—фраза!» — И опять руку къ столику, а онъ ее опять остановилъ и говоритъ:

— «Не трудитесь доказывать: я знаю, гдѣ что сказано, но все же надо умѣть понимать: родъ человѣческій долженъ умножаться для исполненія своего назначенія».

— «Ну, такъ что же такое?»

— «И должны рождаться дѣти».

— «И рождаются дѣти».

— «И надо, чтобы ихъ кто-нибудь любилъ и воспитывалъ».

— «Вотъ, вотъ!—это необходимо!»

— «А любить дитя и пещись о его благѣ дано одному только сердцу матери».

— «Совсѣмъ нѣтъ».

— «А кому же?»

— «Всякому сердцу, въ которомъ есть любовь Божія».

— «Вы заблуждаетесь: никакое стороннее сердце не можетъ замѣнить ребенку сердце матери».

— «Совсѣмъ нѣтъ; это очень трудно, но это возможно».

— «Но вѣдь заботиться объ общемъ благѣ можно и въ бракѣ».

— «Да, но это еще труднѣе, чѣмъ не вступать въ бракъ».

— «Итакъ, у васъ нѣтъ ничего жизнерадостнаго».

— «Нѣтъ, есть».

— «Что же такое?»

— «Пріучаться жить не для себя».

— «Въ такомъ случаѣ, вамъ всего лучше идти въ монастырь».

— «Для чего же это?»

— «Тамъ ужъ это все приноровлено къ тому, чтобы жить не для себя».

— «Я совсѣмъ не нахожу, чтобы тамъ это такъ было приноровлено».

— «А вы развѣ знаете, какъ живутъ въ монастыряхъ?»

— «Знаю».

— «Гдѣ же вы наблюдали монастырскую жизнь?»

А она уже его перебиваетъ и говоритъ:

— «Извините меня... развѣ не довольно, что я вамъ отвѣчаю на все, о чемъ вы меня допрашиваете обо мнѣ

самой, но я не имѣю обыкновенія ничего разсказывать ни о комъ другомъ», — и сама берется при немъ мять свою глину, какъ бы его тутъ и не было.

— Ишь какая, однакоже, она шустрая!—замѣтила Аичка.

— Да чѣмъ, мой другъ?

— Ну все, однако, какъ хотите—этакъ отвѣчать можетъ, и онъ ее не срѣжетъ.

— Ну, нѣтъ... онъ ее срѣзалъ, и очень срѣзалъ!

— Какъ же именно?

— Онъ ей сказалъ:—«Неужто вы такъ обольщены, что вамъ кажется, будто вы лучше всѣхъ понимаете о Богѣ?» А она на это отвѣчать не могла и созналась, что: «я, говоритъ, о Богѣ очень слабо понимаю и вѣрую только въ то, что̀ мнѣ нужно».—«А что вамъ нужно?»—«То, что есть Богъ, что воля Его въ томъ, чтобы мы дѣлали добро и не думали, что здѣсь наша настоящая жизнь, а готовились къ вѣчности. И вотъ, пока я объ этомъ одномъ помню, то я тогда знаю, чего во всякую минуту Богъ отъ меня требуетъ, и что̀ я должна сдѣлать; а когда я начну припоминать: какъ кому положено вѣрить? гдѣ Богъ и какой Онъ?—тогда у меня все путается и позвольте мнѣ не продолжать этого разговора: мы съ вами не сойдемся».

Онъ говоритъ:—«Да, мы не сойдемся, и я вамъ скажу—счастье ваше, что вы живете въ наше слабое время, а то вамъ бы пришлось покоптиться въ кострѣ».

А она отвѣчаетъ: — «И вы бы меня, можетъ-быть, проводили?»

И сама улыбнулась, и онъ улыбнулся и ласково ей говоритъ:

— «Послушайте, дитя мое: вашу мать такъ сокрушаетъ, что вы не устроены, а долгъ дѣтей свою мать жалѣть».

Ее все будто вдругъ погнуло и на глазахъ слезы выступили.

— «Умилосердитесь,—говоритъ,—неужто вы думаете, что я, проживши двадцать лѣтъ съ моею матерью, понимаю ее и жалѣю меньше, чѣмъ вы, пріѣхавши къ намъ сейчасъ по ея приглашенію!»

А онъ говоритъ:—«Ну, и хорошо, и если вы такая добрая дочь, такъ изберите же себѣ достойнаго жениха».

— «Я его уже избрала».

— «Но этотъ выборъ не одобряетъ ваша мать».

— «Мама его не хочетъ узнать».

— «Да что-жъ ей его и узнавать, когда онъ иновѣрецъ!»

— «Онъ христіанинъ!»

— «Полноте! отчего вамъ не уступить матери и не выбрать себѣ мужа изъ своихъ людей, обстоятельныхъ и извѣстныхъ ей и вашему дядѣ?»

— «Чѣмъ же не обстоятеленъ тотъ, кого я выбрала?»

— «Иновѣрецъ».

— «Онъ христіанинъ, онъ любитъ всѣхъ людей и не различаетъ ихъ породы и вѣры».

— «А вотъ и прекрасно: если ему все равно, то пусть и приметъ нашу вѣру».

— «Для чего же это?»

— «Чтобы еще тѣснѣе соединиться во всемъ съ вами».

— «Мы и такъ соединены тѣсно».

— «Но отчего же не сдѣлать еще тѣснѣе?»

— «Оттого, что тѣснѣе того, чѣмъ мы соединены, насъ ничто больше соединить не можетъ».

Онъ посмотрѣлъ на нее внимательно и говоритъ:

— «А если вы ошибаетесь?»

А она вдругъ порывисто отвѣчаетъ:

— «Извините, я совершеннолѣтняя, и я себя чувствую и понимаю: я знаю: что я была до извѣстной поры и чѣмъ я стала теперь, когда во мнѣ зародилась новая жизнь, и я не промѣняю моего теперешняго состоянія на прежнее. Я люблю и почитаю мою мать, но... вы вѣрно знаете, что «тотъ, кто *въ насъ*, тотъ больше всѣхъ», и я принадлежу ему, и не отдамъ этого никому, ни даже матери».

Сказала это и даже задохнулась и покраснѣла.

— «Извините, — добавила: — я вамъ, кажется, отвѣтила рѣзко, но зато я больше уже ничего не могу дополнить», — и двинула стулъ, чтобы встать.

И онъ тоже двинулся и отвѣтилъ:

— «Нѣтъ, отчего же, если вы ужъ такъ соединены... чувствуете новую жизнь...»

А она встала и строго на него посмотрѣла и говоритъ:

— «Да, мы такъ соединены, что насъ нельзя разъединить. Кажется, больше говорить не о чемъ!»

Онъ отъ нея даже откачнулся и тихо сказалъ:

— «Мнѣ кажется, вы на себя... наговариваете!»

А она ему преспокойно:

— «Нѣтъ! все, что я говорю, все то и есть!»

А Маргарита Михайловна въ это же самое мгновеніе— «ахъ!» да и съ ногъ долой въ обморокъ, а я, какъ самая глупая овца, забыла, что стою на концѣ гладильной доски, и спрыгнула, чтобъ помочь Маргаритѣ, а гладильная доска перетянулась, да Ефросинью Михайловну сронила и меня другимъ концомъ пониже поясницы, и всѣ трое ниспроверглись и лежимъ. Грохотъ этакой на весь домъ сдѣлался. И онъ это услыхалъ, и всталъ, и весь въ волненіи сказалъ Клавдинькѣ:

— «Какія ужасныя волненія!.. И все это черезъ васъ!..»

Она ему ни словечка.

Тогда онъ вздохнулъ и говоритъ:

— «Ну, я не могу терять больше времени и ухожу».

А Клавдинька ему тихо въ отвѣтъ:

— «Прощайте».

— «Прощайте,—и ничего болѣе? Прощаясь со мною, вы не имѣете сказать мнѣ отъ души ни одного слова?»

И она,—вообрази,—вдругъ сдобрилась и подала ему обѣ руки,—и онъ радъ и взялъ ее за руки, и говоритъ ей:

— «Говорите! говорите!»

А она съ ласкою ему отвѣчаетъ:

— «Пренебрегите нами, у насъ всего есть больше, чѣмъ нужно; спѣшите скорѣе къ людямъ бѣдственнымъ».

Даже изъ себя его вывела, и онъ, какъ будто задыхаясь, ей отвѣтилъ:

— «Благодарю васъ-съ, благодарю!»—и попросилъ, чтобы она и провожать его не смѣла.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

А когда онъ изъ дому на видъ показался, Клавдинька вернулась и прямо пришла въ темную, гдѣ мы лежали повержены, двери распахнула и кинулась къ матери, а что мы съ Ефросиньей никакъ подняться не можемъ — это ей хоть бы что! Ефросиньѣ Михайловнѣ девятое ребро за ребро заскочило, а мнѣ какъ-будто самый сидѣльный хвостикъ переломился, а кромѣ того и досадно, и смѣхъ разрываетъ.

«Хороша, думаю, дѣвушка! объяснилась... и ужъ сама не скрываетъ»...

Такъ въ этакомъ-то неслыханномъ постыдномъ безпорядкѣ все и кончилось. Мы и не видали, какъ онъ сѣлъ

и вся ажидація разсѣялась, и опять обманъ былъ, опять онъ въ чужую карету сѣлъ и не замѣтилъ — сталъ письма доставать. Такъ его и увезли, а наши служащіе въ домѣ всѣ ужасно были обижены, потому что все это вышло не такъ, какъ ждали, и потомъ всѣ, оказалось, слышали, какъ Клавдія сама, хозяйская дочь и наслѣдница, при всѣхъ просила: «пренебрегите нами»... Чего еще надо! Онъ и вправду, я думаю, этого никогда еще ни отъ кого не слыхивалъ. Всѣ его только просятъ и молятъ-со слезами, чтобы онъ осчастливилъ, чтобы пожаловалъ, а она какъ-будто гонитъ: «нами пренебрегите и ступайте къ бѣдственнымъ». Молва поднялась самая всенародная. Кучеръ Миронъ, какъ всегдашній грубіянъ, да еще двѣ пунцовки выпивши, вывелъ на дворъ своихъ ѳетюковъ, чтобы ихъ пѣтой водой попрыскать, а ѳетюки его сытые — храпятъ, кидаются и грызутся, а Миронъ старается ихъ словами унять, а въ конюшню назадъ ни за что вести не хочетъ.

— «Я, говоритъ,—слава-те, Господи! Я формально знаю, какъ и что велитъ законъ и религія: всегда перво-наперво хозяевъ прыскаютъ, а потомъ на тотъ же манеръ и скотовъ».

Насилу у него лошадей отняли и спать его уложили, какъ вдругъ Николай Иванычъ пріѣзжаетъ и въ самомъ выдающемся градусѣ.

— Скверный мужчина!—отозвалась Аичка.

— Преподлецъ!—поддержала Марья Мартыновна и продолжала:—съ этимъ опять до тѣхъ поръ безпокоились, что безъ всѣхъ силъ сдѣлались, и какъ пали въ сумерки, гдѣ кто достигъ по диванамъ, такъ тамъ и уснули. Но мнѣ и во снѣ все это снилося, какъ Клавдинька отличилась съ своимъ безстыдствомъ... Николай Иванычъ на весь домъ храпитъ и Ефросинья тоже ничкомъ дышитъ, а мнѣ даже не спится, будто какъ что меня поднимаетъ,—и не даромъ. Прислушиваюсь и слышу, что Маргарита Михайловна тоже не спитъ... ходитъ...

И такъ это она меня, моя Маргарита, заинтересовала, что я лежу и присапливаю, будто сплю, а о снѣ и не думаю, а все на нее однимъ глазкомъ гляжу и слушаю, куда она пойдетъ.

А она неслышной стопою тихонечко по всѣмъ комнатамъ, у жердинверки остановилась, съ цвѣтковъ будто

сухіе листики обираетъ въ руку, потомъ канарейкѣ сахарокъ въ клѣткѣ поправила, лоскуточекъ какой-то маленькій съ полу подняла, а сама, вижу, все слушаетъ, всѣ ли мы спимъ крѣпко, и потомъ воровски, потихонечку—топъ-топъ и вышла.

Я сейчасъ же вскочила на диванъ и уши навострила... Слышу, она кружнымъ путемъ черезъ залъ къ Клавдинькиной комнатѣ пошлепала.

Такъ во мнѣ сердце и заколотилось... Что̀ у нихъ будетъ?

Горошкомъ я съ дивана спрыгнула, туфли сбросила да подъ мышку ихъ, и въ однихъ чулкахъ черезъ другой кругъ обѣжала и въ гардеробную,—оттуда тоже въ Клавдинькину комнату надъ дверью воловье око есть. Опять тамъ тихонечко все взмостила, поставила на столъ стулъ и стала на него и гляжу.

Въ комнатѣ полтемно. Лампа горитъ, но колпакъ такъ сноровленъ, что только въ одно мѣсто свѣтъ отбиваетъ, гдѣ она руками лѣпитъ... Все это она сама себѣ всегда и зажигаетъ, и гаситъ, и на конфоркѣ воду грѣетъ—все безъ прислуги.

И теперь такъ — весь домъ въ покоѣ отдыхаетъ, а она, завистная работница, какъ ни въ чемъ не бывало, опять уже всѣ свои принадлежности расправила.

Мнетъ да приставляетъ, да чортъ знаетъ что̀ вылѣпливаетъ, и я даже на фигуру ея посмотрѣла, что она сама на себя высказала, но нѣтъ еще, — ничего не замѣтно,— вся высокая и стройная.

Мать вошла, а она не видитъ, а у меня сердце токъ-токъ-токъ! — такъ и толчется... Что̀ будетъ? — прибьетъ ее старуха, что ли, и какъ та—съ покорностью ли это выдержитъ, или, помилуй Богъ, забудется, да и сама на мать руку подниметъ? Тогда я тутъ и нужна окажусь, потому что по крайней мѣрѣ я вскочу да схвачу ее за руки и подержу—пусть мать ее хорошенько поучитъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Все дыханіе я въ себѣ затаила.

Маргарита Михайловна постояла въ полутемнотѣ и ближе къ ней подходитъ...

Тогда госпожа Клавдинька вздрогнула и глину свою уронила.

— «Мамочка! — говоритъ,—вы не спите! какъ вы меня испугали!»

Маргарита удерживаетъ себя и отвѣчаетъ:

— «Отчего же это тебѣ мать страшна сдѣлалась?»

— «Зачѣмъ вы, мама, такъ говорите: вы мнѣ вовсе не страшны! Я вамъ рада, но я занялась и ничего не слыхала... Садитесь у меня, милая мама!»

А та вдругъ обѣими руками, ладонями ея голову обхватила и всхлипнула:

— «Ахъ, Клавдичка моя! дитя ты мое, дочка моя, сокровище!»

— «Что вы, что вы, мама!.. Успокойтесь».

А старуха ея голову крѣпко зацѣловала, зацѣловала и вдругъ сама ей въ ноги сползла на колѣни и завопила:

— «Прости меня, ангелъ мой, прости, моя кроткая! я тебя обидѣла!»

Вотъ, думаю, такъ оборотъ! Она же къ ней пришла и не строгостью ее пристрастить, а еще сама же у нея прощенія проситъ.

Клавдинька ее сейчасъ подняла, въ кресло посадила, а сама передъ нею на колѣни стала и руки цѣлуетъ.

— «Я, — говоритъ, — милая мама, ничего и не помню, что̀ вы мнѣ осердясь сказали. Вы меня всегда любили, я весь вѣкъ мой была у васъ счастливая, вы мнѣ учиться позволили...»

— «Да, да, другъ мой, дура я была, я тебѣ учиться позволила, и вотъ что̀ изъ этого ученья вышло-то!»

— «Ничего, мамочка, дурного не вышло».

— «Какъ же «ничего»?.. Что̀ теперь о насъ люди скажутъ?»

— «Что, мама?.. Впрочемъ, пусть что̀ хотятъ говорятъ... Люди, мама, вѣдь рѣдко умное говорятъ, а гораздо чаще глупое».

— «То-то «все глупое». Нѣтъ, ужъ если это случилось, то я согласна, чтобы скорѣе твой грѣхъ скрыть: выходи за него замужъ, я согласна».

Клавдія изумилась.

— «Мама! милая! вы ли это говорите?..»

— «Разумѣется, я говорю; мнѣ твое счастье дорого, только не уходи отъ меня изъ дома,—тоска мнѣ безъ тебя будетъ».

— «Да никогда мы не уйдемъ отъ васъ...»

— «Не уйдешь? Онъ тебя отъ меня не уведетъ?»

— «Да ни за что, мама!»

Старуха такъ и заклохотала:

— «Вотъ, вотъ! вотъ,—говоритъ,—опять ты всегда такая добрая... А онъ добрый ли?»

— «Онъ гораздо меня добрѣе, мама!»

— «Почему же такъ?»

— «Онъ смерти не боится».

— «Ну... для чего же такъ... Пусть живетъ».

— «Вамъ жаль его?»

А та заморгала и сквозь слезы говоритъ:—«Да!»

И опять обнялись и обѣ заплакали.

Вѣришь, что даже мнѣ и то стало трогательно!

Аичка поддержала:

— Да и очень просто—растрогаютъ!

— А Клавдинька-то и пошла тутъ матери не спѣша и спокойно разсказывать: какой у него братъ былъ добрѣйшей души, и этотъ тоже,—ко всѣмъ идетъ, ни съ кѣмъ не ссорится, ничего для себя не ищетъ и всѣмъ все прощаетъ, и никого не боится, и ничего ему и не надобно.

— «Кромѣ тебя?»

А она законфузилась и отвѣчаетъ:

— «Мама!.. я его такъ уважаю... онъ меня научилъ жить... научилъ чувствовать все, что людямъ больно... научилъ любить людей и ихъ Отца... и... и вотъ я... вотъ я... счастлива навѣки!»

— «Ну, и пусть ужъ такъ... пусть. А только все-таки... зачѣмъ... ты такъ себя допустила?»

— «До чего, мама?»

— «Да ужъ не будемъ лучше говорить. Пусть только будетъ ваша свадьба скорѣй — я тогда опять успокоюсь... Я вѣдь тебѣ все простить готова... Это меня съ тобою только... люди разстраиваютъ, сестра... да эта мать-переносица Мартыниха».

— «Богъ съ ней, мама: не сердитесь на нее, — она несчастная».

— «Нѣтъ, она мерзкая выдумщица... по всѣмъ домамъ бѣгаетъ и новости затѣваетъ... я ее выгоню...»

— «Что вы, что вы, мама! Какъ можно кого-нибудь выгонять! Она безпріютная. Вы лучше дайте ей дѣло какое-

нибудь, чтобы она занятіе имѣла, и не слушайте, что она о комъ-нибудь пересуживаетъ. Она вѣдь не понимаетъ, какое она зло дѣлаетъ».

— «Нѣтъ, понимаетъ; онѣ приступили ко мнѣ съ сестрой, что ты странная, и такъ мнѣ надоѣли, что и мнѣ ты стала казаться странною. Что же дѣлать, если я такая слабая... Я повѣрила и послала ее приглашать, и отъ этой общей ажидаціи сама еще хуже разстроилась».

— «Все пройдетъ, мама».

— «Ахъ, нѣтъ, мой другъ... ужъ это, что съ тобою сдѣлалось, такъ это... не пройдетъ».

Клавдинька на нее недоумѣнно смотритъ:

— «Я васъ,—говоритъ,—не понимаю».

— «Да я и не стану говорить, если тебѣ это непріятно, но я и о томъ думаю: какъ же это онъ провидецъ, а его обманомъ въ чужую карету—обмануть можно?»

— «Ахъ, не станемъ, мама, спорить объ этомъ!»

— «Я ему хотѣла пятьсотъ рублей послать, — а теперь пошлю завтра за непріятность тысячу».

— «Посылайте больше, мама,—мнѣ жаль его».

— «Чего же его-то жаль?»

— «Какъ же, мама... какое значеніе на себя взять: какая роль!.. Люди видятъ его и теряютъ смыслъ... бѣгутъ и давятъ другъ друга какъ звѣри, и просятъ: *денегъ... денегъ!!* Не ужасно ли это?»

— «Ну, это мнѣ все равно... только не хорошо, что теперь сплетни пойдутъ; а я не люблю, кто о тебѣ дурно говоритъ. И зато вотъ я деверя Николая Иваныча, какой онъ ни есть, и кутила, и бабеляръ, а я его уважаю, потому что онъ самъ съ тобою въ глаза спорится, а за глаза о тебѣ никому ничего позволить не хочетъ. — Сейчасъ, говоритъ, прибью за нее!»

— «Дядя добрякъ, мнѣ жаль его,—онъ во тьмѣ».

— «И для чего это все необыкновенное затѣяли! У насъ все было весь вѣкъ по-обыкновенному: свой, бывало, придетъ и попоетъ, и закуситъ, и въ карты поиграетъ, и на все скажетъ:—Господь проститъ».

— «Простое, мама, во всѣхъ случаяхъ всегда самое лучшее».

— «Да, онъ тебя крестилъ, онъ пусть и перевѣнчаетъ.

А Мартынниха пусть къ намъ и не приходитъ, чтобы никакихъ выдающихся затѣй отъ нея больше не было».

Вотъ что было-выходило мнѣ за мои хлопоты, но дѣло рѣшилось иначе, и совсѣмъ неожиданно.

— Кто же его рѣшилъ?—спросила Аичка.

— Кошка, да я немножко, — продолжала Марья Мартыновна.

Но Клавдинька, къ чести ея приписать, и въ концѣ опять за меня заступилась, стала просить, чтобы меня какою-нибудь выдающеюся прислугою въ домѣ оставили.

Старуха ей отвѣчаетъ:

— «Изволь, и хотя мнѣ это непріятно, но для тебя я ее оставлю».

Но во мнѣ ужъ сердце закипѣло.

«Нѣтъ ужъ, думаю я, голубушки, я и безъ васъ проживу: я птичка-невеличка, но горда, какъ самый горделивый звѣрь, и у меня кромѣ васъ по городу много знакомства есть,—я въ услуженіе лакейкой никуда не пойду»... И честное тебѣ слово даю, что я въ ту же минуту хотѣла потихоньку отъ нихъ, не прощаясь, со двора сойти, потому что я, ей-Богу, какъ звѣрь горда; но вообрази же ты себѣ, что это не вышло. Ко всему этому случаю подпалъ еще другой, который и задержалъ. Пока я стояла на стулѣ и, на столѣ взгромоздившись, слушала ихъ совѣты, жирный котъ разыгрался, подхватилъ мои войлочныя туфли, которыя я на полу оставила, и началъ, мерзавецъ, швырять ихъ лапой по всему полу.

Отъ этакаго пустяка — а меня просто ужасъ обхватилъ: задѣнетъ, думаю, мерзавецъ, туфлею за какое-нибудь легкое стуло или табуретку и загремитъ, и онѣ тогда сейчасъ сюда взойдутъ, и какова я имъ покажусь на своей каланчѣ? куда мнѣ тогда и глаза дѣвать и что выдумать и сказать: зачѣмъ я это въ здѣшнемъ мѣстѣ, вскочивши на столъ, случилась?

Снялась я съ великимъ страхомъ, чтобъ не упасть, и стала кругомъ на полу ползать—туфли свои искать. Ползла-ползла, весь полъ выползла, а туфлей не нашла. А между тѣмъ страхъ боюсь, что теперь мать съ дочерью совсѣмъ поладили и сейчасъ выйдутъ и увидятъ, что меня нѣтъ на томъ диванѣ, гдѣ я спала. И какъ тогда мнѣ при нихъ да черезъ Николая Иваныча комнаты идти? Что подумать могутъ? Бросилась я безъ туфлей бѣжать и вернулась на

свое мѣсто благополучно. Николай Иванычъ безъ воротничковъ спитъ и не храпитъ, и не ворочается; а я въ однихъ чулкахъ легла на диванъ и только-что притворилась, что будто сплю, какъ Маргарита съ дочерью и взаправду входятъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Маргарита Михайловна спокойнымъ голосомъ съ прохладою велитъ, чтобы всѣ лампы зажечь и чай подавать, и стала всѣхъ будить къ чаю, а какъ ко мнѣ подошла, я говорю:—«я сейчасъ сама встану», и начинаю туфли искать.

А она, какъ на грѣхъ, спрашиваетъ:—«Что ты ищешь?»

— «Туфли ищу».

— «Гдѣ же ты ихъ приставила?»

— «На мнѣ онѣ были, на ногахъ».

— «Куда же онѣ съ ногъ могли дѣться?»

— «И сама не знаю».

— «Женихъ, что ли, приходилъ тебя разувать, — такъ вѣдь это только на святкахъ бываетъ».

— «Нѣтъ, — я говорю, — женихи ко мнѣ не ходятъ, а это, быть-можетъ, надсмѣшка».

— «Ну, вотъ еще! Кто будетъ надсмѣхаться? Ищите, пожалуйста, всѣ Мартыновнины туфли!»

И что это ей за неотступная забота припала искать — ужъ и не понимаю. А въ это самое время, какъ на грѣхъ, вдругъ Николай Иванычъ выбѣгаетъ въ трехъ волненіяхъ изъ своихъ комнатъ и, должно-быть, еще не проснавшись или въ испугѣ, кричитъ:

— «У-е-ля хамъ? У-е-ля хамъ?»

Золовки ему отвѣчаютъ:

— «Что ты, батюшка! что ты!.. Какой Хамъ?»

А онъ даже трясется отъ злости и отвѣчаетъ:

— «Хамъ значитъ женщина!»

Маргарита Михайловна его перекрестила и говоритъ:

— «Какая женщина?»

— «Которая мнѣ гадость сдѣлала».

— «Что сдѣлала? какую гадость? Небось сказать нельзя?»

А онъ, какъ козелъ, головой замоталъ и въ самомъ повелительномъ наклоненіи:

— «Я,—говоритъ,—всѣмъ такой постановъ вопроса даю:

какая это фибза меня разбудила и на постели у меня вотъ эту свою туфлю оставила?»

И показываетъ въ рукѣ мою туфель...

Ну, разумѣется, всѣмъ смѣшно стало.

А я отвѣчаю:

— «Это туфля моя, но надо знать, какъ она туда попала».

А онъ и не слушаетъ.

— «Это всякому,—говоритъ,—извѣстно, какъ попадаетъ».

А тутъ мальчишка Егорка, истопникъ, весь блѣдный, бѣжитъ и кричитъ:

— «У насъ въ ванной кто-то чѣмъ-то съ печки швыряется».

Пошли туда, а тамъ въ ванной въ водѣ другая моя туфля плаваетъ, а на печкѣ на краю проклятый котъ сидитъ.

— «Господи! — воскликнула я: — что же это! если всѣ меня выживаютъ, то мнѣ лучше самой уйти».

А Николай Иванычъ поспѣшаетъ:

— «И сдѣлай свою милость, уйди! У насъ безъ тебя согласнѣй будетъ»,—и съ тѣмъ повернулъ меня лицомъ къ зеркалу и говоритъ:

— «Вѣдь ты только посмотрись на себя и сдѣлай постановъ вопроса: пристойно ли тебѣ своими туфлями заигрывать!»

То-есть, чортъ его знаетъ, что̀ онъ такое въ своей пьяной безпамятности понималъ, а тѣ дуры такое ко мнѣ приложеніе приложили, что будто я и у него въ комнатѣ, и въ ванной вездѣ его преслѣдую.

— А можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ?—протянула Аичка.

— Полно, пожалуйста! Будто же я этакъ могла сдѣлать, что вдругъ одна моя нога въ комнатѣ, а другая въ ванной!.. Вѣдь это же и немыслимо такъ растерзать себя! Но представь себѣ, что вѣдь старая дура обидѣлась и начала шептать:

— «Я,—говоритъ,—никого не осуждаю, но для чего же это... непремѣнно въ моемъ домѣ... и послѣ посѣщенія»...

Я и не вытерпѣла, и съ своей стороны фехтовальное жало ей въ грудь вонзила:

— «Полно,—говорю,—пожалуйста, что̀ такое вашъ домъ, да еще послѣ посѣщенія!.. Проводили этакаго посѣтителя такъ, что чуть его не выгнали»,—и разсказала, какъ Клавдія его просила ихъ домомъ пренебречь, а спѣшить къ людямъ бѣдственнымъ.

А Николаю Ивановичу это и за-любо стало.

— «Такъ,—говоритъ,—и слѣдовало: чего онъ, взаправду, все здѣсь? Ему надо къ неурожайнымъ полямъ ѣхать и большой урожай вымолить, для умноженія хлѣбовъ. Съ нашей сытостью ему, взаправду, и возиться бы стыдно».

Я отвѣчаю:

— «Что же вы все мнѣ говорите про стыдное! Не я дѣлаю что-то стыдное въ вашемъ домѣ... а поищите стыднаго при себѣ ближе...»

А Николай Иванычъ, какъ всегда, любитъ срывать свое зло на комъ попало, и вдругъ кинулся на меня, какъ ястребъ на цыпленка, и началъ душить меня...

— Ахъ, Боже мой!—пожалѣла Аичка.

— Да, да, да,—продолжала Марья Мартыновна.—Золовки у него меня даже отнять не могли. Задушилъ бы, — но Клавдія вошла и сказала: «дядя, прочь!» Совершенно какъ на пуделя крикнула. Онъ и оставилъ. Тогда Маргарита выноситъ изъ спальни пятьсотъ рублей и говоритъ мнѣ:

— «Вотъ тутъ, Марья Мартыновна, пятьсотъ рублей отъ меня вамъ награжденія, и какъ вамъ угодно — хоть эти деньги за свою обиду примите, хоть на Николая Иваныча жалуйтесь, но я, Богъ съ вами, на васъ не сержусь, и если хотите проститься съ нами по-хорошему, я вамъ и еще дамъ, но уходите».

— «Я, — говорю, — жаловаться не пойду, потому что я православная».

А Николай Иванычъ зарычалъ:

— «Не потому, а ты знаешь, что, пожаловавшись, ты меньше получишь».

— «Можете,—говорю,—располагать какъ хотите, а я не желаю, чтобы на судѣ произносили священный типъ личности наравнѣ съ госпожи Клавдіи дѣвичьими секретами».

Но тутъ онъ опять какъ сорвется... а Клавдія его схватила и вывела и сама вышла, а Маргарита подаетъ мнѣ еще триста рублей и говоритъ:

— «Другъ сердечный, на̀, возьми это скорѣй себѣ и уходи. Хорошаго ждать теперь нечего».

— «Я,—говорю,—и не жду».

— А деньги взяли?—спросила Аичка.

— Неужли же имъ ихъ оставила!

— То-то! А то Клавдинька ихъ своимъ «бѣдственнымъ» сволокла бы!

— Разумѣется!

Помолчали.

— Такъ-то вы и называете, что простились, «по-хорошему»?— спросила Аичка.

— Да, уложила свои вещи, все забрала, а имъ сказала, ошибкою, вмѣсто «покойной ночи» — «упокой васъ Господи», да и уѣхала.

— И не жалѣете, что такъ вышло?

— И не жалѣю, да и жалѣть-то грѣхъ: они сами себя па все осудили. Каковъ отъ нихъ былъ пріемъ святой ажидаціи, таково же и имъ отъ Бога наклоненіе. Былъ домъ выдающійся въ великолѣпіи, а теперь одна катастрофія за другою слѣдуетъ, и жительство ихъ спускается до самаго обыкновеннаго положенія. И все черезъ Клавдіи Родіоновны рояльное воспитаніе; и никто этого не останавливаетъ — такъ всѣхъ она въ свои прелюзіи и привлекаетъ.

— Неужли всѣ стали лѣпить принадлежности? — спросила Аичка.

— Нѣтъ, это она одна лѣпитъ, и ей теперь даже заказы бюстровъ заказываютъ, а она своихъ семьянъ привела гораздо въ худшія послѣдствія.

— Что же такое, напримѣръ, съ ними сдѣлалось?

— А, напримѣръ, вотъ что сдѣлалось: начать съ того, что Николай Иванычъ, возвратившись разъ изъ своего маскатерства, забылъ, про что онъ позабылъ.

— Ну!

— А это оказалось впослѣдствіи, что онъ позабылъ у себя въ карманѣ депешъ о томъ, что къ нему завтрашній день сынъ его Петруша изъ кругосвѣта возвращается. Онъ и возвратился, и пріѣхалъ утромъ на извозчикѣ, когда его никто не ждалъ, и отецъ тогда только вспомнилъ про депешъ и принялъ сына какъ нельзя хуже, и даже совсѣмъ не желалъ-было его видѣть.

— «Мнѣ, — говоритъ, — никакой заатлантическій дуракъ не нуженъ».

Но Клавдія этого Петрушу обласкала, а дядѣ только лѣвою рукою однимъ пальцемъ погрозила, а потомъ и начала Петинькой руководствовать и привела его къ тому, что онъ вдругъ, самъ безпріютный, да сталъ еще просить у отца

позволенія жениться на той самой Крутильдиной племянницѣ, за которую его отецъ выслалъ. Отецъ объ этомъ, разумѣется, и слышать не хотѣлъ, да и немыслимо было это допустить, потому что у той въ это время еще одинъ проступокъ былъ, — и вотъ чего мы всѣ объ этомъ не знали, а Клавдія Родіоновна знала, потому что она, какъ оказалось, за этою особой слѣдила и отыскала ее въ напасти и содерживала у той старушки, куда я ее прослѣдовала, и тамъ ее отъ всѣхъ бѣдъ укрывала и навѣщала, и навела-таки своего двоюроднаго брата на то, что «вотъ ты предъ ней виноватъ, потому что черезъ то, что ты ее покинулъ, она еще разъ пала, и ты долженъ это загладить, и ее взять и никогда ни въ чемъ ее не укорять, потому что ты самъ всѣмъ ея бѣдамъ виновникъ». И все опять ему изъ евангелія, и что онъ будто ни на комъ другой, кромѣ этой, жениться не смѣетъ, и тѣмъ кончила, что сбила его на свое— Петька согласился. И тогда она явилась просить за нихъ дядю и стала ему доказывать, что та очень хорошаго сердца, а проступокъ ея былъ именно чрезъ то, что она была брошена.

Старикъ говоритъ:

— «Стало-быть, постановъ вопроса такой, что это потвоему хорошо?»

— «Не хорошо,—отвѣчаетъ Клавдія:—но это такое, что вы должны простить, потому что все это произошло черезъ васъ; оттого, что кто безпомощную бросаетъ—тотъ и виноватъ за нее».

— «Гдѣ же это писано?»

А она сейчасъ-было за евангеліе, но онъ ее за руку.

— «Оставь»,—говоритъ.

— «Нѣтъ, не оставлю, и если вы будете жестоки и потребуете, чтобы еще разъ также ее оставить, то съ нею можетъ быть худшее».

— «Что же,—спрашиваетъ,—худшее?»

Она говоритъ:

— «Вы это лучше знаете, что̀ ожидаетъ тѣхъ, кого вы сбиваете съ честнаго пути, а потомъ бросаете. Но вы знайте, что вашъ сынъ теперь не въ вашихъ рукахъ».

— «А въ чьихъ же?»

— «Въ тѣхъ рукахъ, съ Кѣмъ вы не смѣете спорить: Петя послушаетъ не васъ, а Того, Кто не дозволилъ пускать соблазнъ въ міръ».

— «Такъ ты его бунтуешь?»

— «Я не бунтую,—говоритъ Клавдія:—а я говорю, что другъ друга бросать нельзя! Отъ этого—страданье и грѣхъ. Послѣ этого Петрушѣ нельзя будетъ жить съ чистой совѣстью, и я его убѣдила и еще буду убѣждать, чтобы онъ почиталъ волю Небеснаго Отца выше воли отца земного. А вы если не хотите слушать, что̀ я вамъ говорю о вѣчной жизни, то вы умрете вѣчной смертью».

И заговорила, заговорила, и такъ его пристрастила и умаяла, что онъ, какъ рыба на удочкѣ, ротъ раскрылъ и отвѣчать не умѣетъ.

А тутъ и Петруша сталъ за ней то же самое повторять, что его совѣсть три года во всѣхъ мѣстахъ мучила и теперь покою не даетъ, и что онъ эту преступной дѣвушки вину на своей совѣсти почитаетъ и желаетъ ея и свою жизнь исправить.

Тутъ Николай Иванычъ сталъ губы кусать и вдругъ говоритъ:

— «А это вѣдь точно, — пожалуй, можно и умереть, мы дѣйствительно всѣ грѣшные: зришь на молодую мамзель и сейчасъ свое исполняешь, какъ бы ее такъ обратить, чтобы она завтра была уже не мамзель, а гутъ-моргенъ. Это подлость всей нашей увертюры; а Клавдя прямо идетъ!» — и благословилъ сыну подзакониться, и вдругъ даже мальчика ихъ, своего внучка, очень любить сталъ и безъ стѣсненія всѣмъ рекомендовать началъ: «вотъ это сынъ мой — европей, а это мой внукъ подъевропникъ». Но Крутильда свою гордость выдержала и этого не перенесла, взяла и за своего Альконса замужъ вышла, а на Николая Ивановича векселя подала, чтобы его въ тюремное содержаніе.

— Вотъ эта хорошій типунъ сдѣлала, — отозвалась, засмѣясь, Аичка.

— Да. Но Клавдинька дядю въ тюрьму не допустила,— у матери уйму денегъ выпросила: «это, сказала, будетъ мнѣ за приданое», и та за него заплатила, и домъ продали, а сами стали жить круглый годъ на фабрикѣ. Такъ и теперь всѣ круглый годъ живутъ въ этой щели, и Клавдинькѣ это очень нравится.

— И красота ея, стало-быть, та̀къ тамъ и вянетъ?— спросила Аичка.

— Разумѣется, такъ у дуры все и завянетъ, но, однако, до сихъ поръ еще очень хороша, злодѣйка.

— А какъ же ея Ферштетъ?

— Ахъ, съ нимъ оборотъ такъ еще всего чище!

— Вышла она за него или не вышла?

— Ничего не вышла!..

— Спятился?..

— Нѣтъ, онъ не спятился, а они оба себя одинъ въ другомъ превзошли, и потомъ она его на тотъ свѣтъ и отправила.

— Какимъ же это манеромъ?

— Да никакимъ!

— Что же, однако, было?

— Да ничего, и не было. «Мы,—говоритъ,—нашли, что намъ не нужно на себя никакихъ обязательствъ и имѣть семью тоже не надобно». Рѣшили остаться друзьями по своей вѣрѣ и довольно съ нихъ.

— Что̀ за уроды!

— Оглашенные!

— А какъ же она его уморила?

— Ничего никто не зналъ. Вдругъ она приходитъ домой блѣдная и ничего не разсказываетъ, а потомъ оказалось, что онъ умеръ.

— Вотъ и разъ!

— Да. Дитя какое-то бѣдное такую заразность въ горлѣ получило, что никто его въ домѣ лѣчить не хотѣлъ, а онъ по примѣру брата пошелъ и для другихъ все о болѣзни списалъ, а самъ заразился и умеръ.

— Очень она убивалась?

— Не знаю, какъ сказать,—точно каменная. Мать говорила: «Что же, всѣ твой грѣхъ знаютъ: если ты Бога не стыдилась, такъ ужъ людей и стыдиться не сто̀итъ, — иди, простись съ нимъ, поцѣлуй его во гробѣ. Тебѣ легче будетъ». А она тутъ только зарыдала и на плечи матери вскинулась и говоритъ: «Мамочка! я съ нимъ уже простилась»...

— Призналась?

— Да;—«когда,—говоритъ,—онъ уходилъ туда, я его живого поцѣловала; прости мнѣ это».

— Значитъ, всего-на-все и было, что разъ одинъ поцѣловала?

— Такъ она сказала.

— Ну, а это-то... про что она раньше-то еще сознавалась?

— Что такое?

— Ну, вотъ, что̀ вы разсказывали...

— Ахъ, это про родительный въ неопредѣленномъ наклоненіи?

— Да.

— А это такъ и осталось въ неопредѣленномъ наклоненіи.

— Какъ же это такъ вышло?

— Такъ, совсѣмъ ничего не вышло

— Значитъ, вы тогда на нее все наврали?

— И вовсе не то значитъ, а значитъ только то, что я ожидала правильно, чего слѣдуетъ по сложенію всѣхъ вѣроятностей, а у нихъ все верченное, и «новую жизнь» она въ себѣ оказывается нашла по божеству, какъ будто Христосъ ихъ соединяетъ въ однѣхъ вѣчныхъ мысляхъ. Подумай только, какъ смѣть этакое выдумать и такую святость себѣ приписывать!

Аичка не скоро процѣдила въ отвѣтъ:

— Нѣтъ, это пустяки, — а откудова только у нихъ берется терпѣніе, чтобы этакъ жить!

— Ужасть! ужасть!.. Ничѣмъ, ничѣмъ ихъ изъ себя не выведешь... Какое хочешь огорченіе и обиду—они все снесутъ, какъ будто горе земное до нихъ совершенно и не касающее!..

— Донимать ихъ, я думаю, какъ слѣдуетъ не умѣютъ.

— Это можетъ быть.

— Нѣтъ, навѣрно!

— А ты что̀ бы имъ хотѣла.

— На'сковородку бы ихъ босыми ножками, да пожаривать.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Ну, такъ, говорятъ, будто это жестокости.

Аичка ничѣмъ не отозвалась. Или она засыпала, или, можетъ-быть, стала думать о чемъ-то «въ сторону».

ГЛАВА НЯТНАДЦАТАЯ.

Марья Мартыновна встала, куда-то прошлась и опять сѣла на мѣсто.

Въ это время Аичка вздохнула и, повидимому, какъ будто ни къ тому, ни къ сему промолвила:

— Словесницы безплодныя!

Марья Мартыновна поняла, къ чему это, и подхватила:

— Да, ужъ именно! Другая какая-нибудь... этакая простой души — живетъ и втихомолочку чего только она ни дѣлаетъ и потихоньку во всемъ на духу покается, и никто ничего не знаетъ, а эти,—что ступятъ, то стукнутъ, а потомъ вдругъ лишатся всякаго счастья и впослѣдствіи коротаютъ вѣкъ не для себя, а сами остаются въ неопредѣленномъ наклоненіи... Нѣтъ, ты мнѣ этотъ постановъ вопроса рѣши: что съ ними дѣлать, чтобы ихъ вывести?

Но Аничка снова молчала, и Марья Мартыновна опять сама заговорила:

— Ну, пускай такъ, какъ ты говоришь, что не знаютъ, что съ ними дѣлать, я съ этимъ съ тобою согласна; но отчего же они такіе особенные, что ни слезъ у нихъ нѣтъ, ни моленья и жалобы, а принимаютъ все, что надъ ними учинится, какъ будто это такъ и надобно?

— Притворяются.

— И я то же думаю! Гдѣ же, скажи на милость, только-что вышла такая катастрофа — женихъ умеръ, а она въ тотъ же день, какъ его схоронили, сѣла работать и завела еще школу, чтобы даромъ бѣдныхъ дѣтей учить. Но только одно хорошо, что хоть ты и говоришь, что съ ними не знаютъ, что дѣлать, но и имъ тоже повадки заводить что хотятъ не даютъ: ей школу скоро прикончили. И замѣть, она и тутъ тоже опять ничего не томилась и не жаловалась.

— Они закоренѣлые.

— То-то и есть! Что же съ ними подѣлаешь, когда они такіе безпечальные? Ей школу прикрыли, а она теперь всѣмъ людямъ, чѣмъ только можетъ, услуживаетъ, и книжки дѣтямъ раздаетъ, и сама съ ними садится гдѣ попало читать.

— И этого не надо позволять.

— И было непозволеніе, становой и изъ-за книжекъ пріѣзжалъ, чтобы всѣмъ ея книжкамъ повальный обыскъ сдѣлать, но посмотрѣлъ книжечки и всѣ ей оставилъ, да еще началъ и извиняться.

— «Я,—говоритъ,—приказаніе исполнилъ, а мнѣ самому совѣстно».

— Вонъ тебѣ какъ!

— Да еще что! — Какъ она ему отвѣтила, что не обижается, и руку свою подала, такъ онъ у нея и руку поцѣловалъ, и говоритъ:

— «Простите меня, вы праведница».

— А замужъ она, стало-быть, такъ ужъ и не пойдетъ?

— Мать ее спрашивала: не дала ли она обѣтъ, чтобы послѣ смерти перваго жениха ни за какого другого не выходить? Она отвѣчала, что «обѣта не давала». По-ихнему вѣдь тоже и обѣтъ давать будто не слѣдуетъ. Старуха добивалась, что, можетъ-быть, она въ разговорахъ покойнику обѣщалась ни за кого не выходить? И этого, говоритъ, нѣтъ.

— «Ну, такъ, можетъ-быть, еще обрадуешь меня, выйдешь замужъ?»

И на это тотъ же отвѣтъ:

— «Не знаю, мама, но только не думаю».

— «Отчего же?»

— «Со мной, мама, жить очень трудно».

Сама такъ и созналась, что съ нею жить—адъ. А потомъ въ день именинъ матери такой даръ поднесла, что говоритъ:

— «Мамочка! я ваша! я сегодня, въ вашъ день, рѣшилась и подарила себя служить вамъ и бѣднымъ людямъ. Я замужъ не пойду».

Такъ и остается, и такъ и живетъ теперь вѣковушею. Вмѣсто того, чтобы народить своихъ дѣтей, да ихъ въ ласкѣ нѣжить и имъ свой остатокъ капитала передать, она собрала опять безпортошную дѣтвору, да одѣваетъ ихъ, да поетъ имъ про лягушку на дорожкѣ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Собесѣдницы умолкли: Марья Мартыновна, вѣроятно, наслаждалась удовольствіемъ, что довела до конца сказаніе, въ которомъ ея главный врагъ, Клавдинька, была опозорена; а Аичка не отзывалась, — можетъ-быть, потому, что опять куда-то перенеслась и о чемъ-то думала.

Это и подтвердилось.

Послѣ довольно продолжительной паузы она вздохнула и сказала:

— Какъ мнѣ это все-таки, однако, удивительно!

— Что такое?

— Представьте, что я у себя точно такого же дурака знаю.

— Мужчину?

— Да, и очень интересный, а вотъ и въ немъ сидитъ точно такая же глупость.

— Что же, какъ онъ въ своемъ полѣ уродуетъ?

— То же самое, какъ и эта: ничего ему не нужно — ни вкусно ѣсть, ни носить красивое платье и ничто на свѣтѣ.

— И любовь женская не нужна?

— Представьте—тоже не нужна!

— Этого никогда быть не можетъ! Это при какомъ хочешь положеніи изъ моды не выходитъ!

— Нѣтъ, то-то и есть, что выходитъ!

— Ни за что не повѣрю!

— Да какъ же вы не вѣрите, когда я васъ увѣряю!

А я, моя дорогая, не вѣрю. Мужчину женской фигурой всегда соблазнить можно.

— А я вамъ, моя дешевая, говорю, что и не соблазните.

Марья Мартыновна какъ будто поперхнулась, но оправилась и договорила:

— Разумѣется, мое время прошло.

— Хоть бы ваше и время не прошло, и хоть бы въ васъ иголки не было, а ничего не убѣдите.

— Отчего же это?

— Оттого, что у нихъ все нечеловѣческое—они красоту совсѣмъ не обожаютъ, а ищутъ все себѣ чего-то по мысли, и потому, если изъ нихъ кого полюбить, то съ ними выйдетъ только одно неудовольствіе.

— А онъ тебѣ очень нравится?

— Почему вы знаете?

— Неужли же не видно!—Ты тѣмъ все и портишь, что свои чувства ему оказала.

— Ничего я не порчу, а я ему просто противна.

Какъ нищему гривна?

— Нѣтъ, совсѣмъ противна.

Какъ же этакая молодая, богатая — и противна? Что же это за дуракъ выдающійся!

— Не дуракъ, а вотъ въ этомъ же самомъ родѣ, какъ ваша Клавдинька: все тоже смотритъ въ евангеліе, и все чтобъ ему жить просто, да чтобъ работать и о гольтепѣ думать,—и въ этомъ все его пустое удовольствіе.

— И будто ужъ нельзя его всѣмъ твоимъ капиталомъ привлечь?

— Ахъ, да на что ему капиталъ, когда ему больше того, что есть, ничего не надобно! Ему вкусный кусокъ положите, а онъ отвѣчаетъ: «не надо, я уже насытился»: за здоровье

попросите выпить, а онъ отвѣчаетъ: «зачѣмъ же пить?—я не жажду».

— Ну, что это взаправду за уродство!

— Да; я такъ жить ни за что не хочу.

— Разумѣется; пусть онъ себѣ беретъ такую и жену, къ ихъ фасону подходящую.

Но Раичка, услыхавъ это, вскрикнула:

— Что-о-о!—И сейчасъ же рѣзко добавила, что она этого никогда не позволитъ.

— Лучше на столѣ подъ полотномъ его увижу, чѣмъ съ другою!

— Что же,—и это можно,—успокоила ее мирнымъ тономъ Мартыниха.

Раичка понизила голосъ.

— То-есть, что же... развѣ вы это можете?

— Подъ полотно положить?

— Да... но вѣдь за это отвѣчать можно.

— Стóитъ только ему рубашку выстирать да на ночь дать одѣть... вотъ и все.

— Ишь, какая вы вредная!

— Да вѣдь я это для тебя же!—сконфуженно остановила ее Мартыниха.

— Нѣтъ, а какъ вы смѣли для меня это подумать! Рубашку вымыть!

— Ну, оставь, пожалуйста: видишь, чай, что я пошутила!

— Пошутила!.. Нѣтъ, вы думали, что ужъ влюбленную дуру нашли, и я вамъ дамъ такое порученіе, что въ вашихъ рукахъ буду! Я не дура!

— Да кто жъ тебѣ говоритъ, моя дорогая, что ты дура!

— То-то и есть, моя дешевая!

— Фу ты, Господи!

— Да, да, да.

— Такъ какъ же ты жить хочешь?

— Чтобы онъ былъ мой мужъ и жилъ какъ я хочу, и больше ничего.

— Такъ ты бы ему лучше прямо такъ и изъяснила, что: «люблю и женись!»

— И вотъ, представьте же себѣ, что я уже до этой низости дошла, что и изъяснилась.

— И что же онъ—возвеличился?

— Нимало, а только пожалъ мнѣ руку и говоритъ:

«Раиса Игнатьевна, вы на этотъ счетъ ошибаетесь!» Меня даже въ истерику и въ слезы бросило, и я говорю: «Нѣтъ, я васъ люблю, и весь капиталъ вамъ отдамъ». А онъ...

Аичка вдругъ всхлипнула и заплакала.

— Полно, полно, пріятненькая, убиваться! — попросила ее Марья Мартыновна.

— Не гладьте меня, я не люблю! — скапризничала Аичка.

— Ну, хорошо, хорошо, я не буду. Что же онъ тебѣ сказалъ?

— Не вѣритъ, дуракъ.

Послышались опять слезы.

— Ну, значитъ, онъ или безчувственный, или безпонятный,—рѣшила Марья Мартыновна.

— Нѣтъ, онъ не безчувственный и даже очень понятный; а онъ говоритъ: «вы въ вашихъ чувствахъ ошибаетесь — это вы мою презрѣнную плоть любите и хотите со мною своихъ свиней пасти, а самого меня вы не любите и не можете меня полюбить, потому что мы съ вами несогласныхъ мыслей и на разныхъ хозяевъ работаемъ; а я хочу работать своему хозяину, а свиней съ вами пасти не желаю».

— Что же это такое?.. И къ чему это?.. Какихъ свиней пасти, и на какихъ разныхъ хозяевъ работать?—протянула ледоумѣнно Марья Мартыновна.

— А вотъ въ томъ и дѣло, что если не понимаете, то я не спорьте!—дрожащимъ отъ гнѣва голосомъ откликнулась Аичка и черезъ минуту еще сердитѣе добавила:—Поихнему, любовью утѣшаться—это значитъ «свиней пасти».

— Тьфу!

Мартыновна громко плюнула и вскрикнула:

— Свиньи! Ей-Богу, они сами свиньи!

— Да,—отвѣчала Аичка:—и онъ еще хуже говорилъ... Онъ отвѣтитъ...

— За что, пріятная, за что? Что онъ еще... чѣмъ тебя оскорбилъ?

— Онъ меня ужасно оскорбилъ... онъ сказалъ, что я не христіанка, что со мною христіанину жить нельзя и нельзя дѣтей въ христіанствѣ воспитывать...

— Ахъ, за это отвѣтитъ!

— Да; я ему это и сказала: «Я говѣю и сообщаюсь, а вы никогда... Кто изъ насъ—христіанинъ?»

— Онъ отвѣтитъ.

— А я своего характера не переломлю!

— И не ломай! Что ихъ еще баловать!

— Я ему сказала, что я ожесточусь, и лучше кому захочу, тому все богатство и отдамъ, но только я по-своему отдамъ, а не по-ихнему.

— Вотъ я теперь тебя и поняла... зачѣмъ ты сюда пріѣхала! Конечно, тебя тутъ на рукахъ носить будутъ!

— Очень мнѣ нужно ихъ ношенье! Но только вы ничего и не поняли!

— Нѣтъ, ты теперь проговорилась.

— Ни капли я не проговорилась. Я, просто, буду пробовать: вѣрно ли это, что здѣсь можно умолить, чтобъ въ немъ сердце затомилось и все стало—какъ я хочу.

Но Марья Мартыновна на этомъ Аичку перебила.

— Ангелъ мой!—воскликнула она живо:—здѣсь умолить можно все; здѣшнее мѣсто—все равно, что гора Ѳаворъ; но только должно тебѣ знать, что Богъ вѣдь на зло молящему не помогаетъ!

Аичка совсѣмъ разсердилась.

— Что вы за глупости говорите!—вскричала она:—какое же здѣсь «на зло молящее», когда я хочу его отъ безсемейнаго одиночества въ законъ брака привесть и потомъ такъ сдѣлать, чтобы онъ любилъ непремѣнно все то, что всѣ люди любятъ.

— Да; то-есть, чтобы онъ не косоротился бы къ простотѣ, а искалъ бы себѣ прямо не одно душеполезное, но и тѣлополезное?

— Вотъ и только!

— Да, если только въ этомъ, то это, конечно, благословенный законъ супружества, и въ такомъ случаѣ Богъ тебѣ навѣрно поможетъ!

— Да,—а вы, пожалуйста, теперь ужъ дальше замолчите, потому что скоро будетъ разсвѣтъ, и я очень разстроилась, и буду блѣдная.

Шехерезада умолкла. Сосѣдки больше ничего не говорили и, можетъ-быть, уснули; послѣдовавъ имъ благоразумному примѣру, заснулъ передъ утромъ немножко и я, но потомъ

вскорѣ снова проснулся, оставилъ на столѣ деньги за свою «ажидацію» и уѣхалъ изъ Рима, не видавъ самого папы...

А поѣздка эта все-таки принесла мнѣ пользу: мнѣ стало веселѣе. Я какъ будто побогатѣлъ впечатлѣніями, — и теперь, когда мнѣ случается возвращаться ночью по купеческимъ улицамъ и видѣть теплящіяся въ ихъ домахъ разноцвѣтныя лампады, я уже не воображаю себѣ тамъ однѣхъ безстыжихъ притворницъ или робкихъ и безнадежныхъ плаксъ «темнаго царства», а мнѣ сдается, будто тамъ уже дышитъ бодрый духъ Клавдиньки, дающій рессурсъ къ жизни во всякомъ положеніи, въ которомъ Высшей волѣ угодно усовершать въ борьбѣ со тьмою все рожденное отъ свѣта.

Павлинъ.

(разсказъ).

Я былъ участникомъ въ небольшомъ нарушеніи строгаго монастырскаго обычая на Валаамѣ. На этой суровой скалѣ не любятъ праздныхъ прогулокъ: откуда бы ни приплылъ сюда далекій посѣтитель и какъ бы ни велико было въ немъ желаніе познакомиться съ островомъ, онъ не можетъ доставить себѣ этого огромнаго удовольствія,—говорю *огромнаго*, потому что островъ поистинѣ прекрасенъ, и грандіозныя картины его восхитительны. На Валаамѣ за обычай всякій паломникъ подчиняется *послушанію;* онъ долженъ ходить въ церковь, молиться, трапезовать, потомъ трудиться и, наконецъ, отдыхать. На прогулки и обозрѣванія здѣсь не разсчитано; но, однако, мнѣ, въ сообществѣ трехъ мужчинъ и двухъ дамъ, удалось обойти въ одну ночь весь островъ и запечатлѣть навсегда въ памяти дивную картину, которую представляютъ при блѣдномъ полусвѣтѣ лѣтней сѣверной ночи дикія скалы, темныя урочища и тихіе скиты русскаго Аѳона. Особенно хороши эти скиты, съ ихъ непробудною тишью, и изъ нихъ особенно поражаетъ скитъ Предтечи на островкѣ Серничанѣ. Здѣсь живутъ пустынники, для которыхъ суровость общей валаамской жизни кажется недостаточною: они удаляются въ Предтеченскій скитъ, гдѣ начальство обители бережетъ ихъ покой отъ всякаго нашествія мірского человѣка. Здѣсь теплятъ свои лампады люди умершіе міру, но неустанно молящіеся за міръ: здѣсь вѣчный постъ, молчанье и молитва.

Не зная направленія валаамскихъ тропинокъ, мы подошли къ проливу, отдѣляющему островокъ Серничанъ отъ

главнаго острова, неожиданно—и, плѣнясь густыми папоротниками, которыми заросла здѣшняя котловина, сѣли отдохнуть и заговорили о людяхъ, избравшихъ это глухое уединеніе мѣстомъ для своей молитвенной и созерцательной жизни.

— Какіе это люди, съ какими силами и съ какимъ прошлымъ приходятъ они сюда, чтобъ погребсти себя здѣсь заживо?—воскликнулъ одинъ изъ нашихъ собесѣдниковъ.— Я никакъ не могу иначе думать, что это должны быть какіе-то титаны и богатыри духа.

— Да, и вы правы,—отвѣчалъ другой:—это богатыри, но только богатыри мощные нищетою. Это зерна, которыя уже *прозябли* и пошли въ ростъ.

— А пока они прозябли?

Собесѣдникъ улыбнулся и отвѣтилъ:

— Пока они прозябли... они лежали при дорогахъ, глохли подъ терніемъ и погибали, какъ вы и я, и цѣлый свѣтъ, пока вѣтеръ схватилъ ихъ и бросилъ на добрую почву.

— Вы говорите такъ, какъ будто вы знали кого-нибудь изъ людей, имѣвшихъ силу погребсти себя заживо въ этихъ дебряхъ.

— Да, мнѣ кажется, что я, дѣйствительно, зналъ такого человѣка.

— Онъ былъ уменъ?

— Да.

— И разсудителенъ?

— Гм!.. да. А впрочемъ, я о немъ судить не берусь, но я его любилъ и очень уважаю его память.

— А онъ уже умеръ?

— Да.

— Здѣсь?

— Неподалеку,—отвѣтилъ, снова тихо улыбнувшись, собесѣдникъ.

— Жизнь такого человѣка всегда способна возбуждать во мнѣ большой интересъ.

— И во мнѣ, и во мнѣ тоже,—подхватили другіе.

Дамы интересовалися еще болѣе мужчинъ—и одна изъ нихъ, красивая блондинка съ черными глазами, обратясь къ этому нашему попутчику, сказала:

— Знаете ли, что вы сдѣлали бы намъ чрезвычайно большое одолженіе, если бы здѣсь же, въ тиши этой

дебри, гдѣ мы такъ неожиданно очутились, разсказали намъ исторію извѣстнаго вамъ отшельника.

Другая дама и всѣ мы присоединились къ этой просьбѣ— и тотъ, къ кому она относилась, согласился ее исполнить и началъ:

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Назадъ тому лѣтъ двадцать, когда я былъ школяромъ и ходилъ въ одну изъ петербургскихъ гимназій, мы съ покойницей моей матушкой и ея сестрою, а моею теткой Ольгой Петровной, жили въ домѣ моей другой богатой тетки по отцу. Хотя этой послѣдней теперь уже нѣтъ въ живыхъ, но я все-таки не выдамъ ея настоящаго имени и назову ее Анной Львовной. Домъ ея стоитъ и теперь на томъ же мѣстѣ, на которомъ стоялъ; но только тогда онъ былъ извѣстенъ какъ одинъ изъ большихъ на всей улицѣ, а нынче онъ тамъ одинъ изъ маленькихъ. Громадныя новѣйшія постройки его задавили—и на него никто болѣе не указываетъ какъ было въ то время, съ котораго начинается моя исторія.

Начавъ свой разсказъ не съ людей, а съ дома, я уже долженъ быть послѣдователенъ и разсказать вамъ, что это былъ за домъ; а онъ былъ домъ страшный—и страшный во многихъ отношеніяхъ. Онъ былъ каменный, трехъ этажный и съ тремя дворами, уходившими одинъ за другой внутрь и обстроенными со всѣхъ сторонъ ровными трехъэтажными корпусами. Видъ его былъ мрачный, сѣрый, почти тюремный. Впечатлѣніе, производимое имъ, было самое тягостное. Домъ этотъ составлялъ часть приданаго моей тетки, когда она выходила замужъ за своего не совсѣмъ далекаго родственника, очень много обѣщавшаго, въ свое время блестящаго, свѣтскаго молодого человѣка, который, впрочемъ, кончилъ тѣмъ, что необыкновенно проворно спустилъ все незначительное свое и значительное женино состояніе и протянулъ руки къ остаткамъ ея приданаго, т. е. къ этому дому. Такое поползновеніе мужъ моей тетки обнаружилъ въ Парижѣ, гдѣ супруги въ то время жили и гдѣ Анна Львовна думала, что она блистаетъ красотою и можетъ удивить ею весь свѣтъ—если бы только на глазахъ у этого свѣта не мелькала какая-то дама полусвѣта, съ которою борьба была неудобна, да и невозможна, потому что роскошь

сей послѣдней была до того баснословна, что самыя солидныя дамы интересовались: откуда все это берется у этой куртизанки? Интересовалась, вѣроятно, этимъ и моя тетушка Анна Львовна и получила отъ своего мужа въ отвѣтъ, что завидное положеніе проходимки зависитъ отъ щедрости какого-то разбогатѣвшаго въ индійской кампаніи англичанина; но вскорѣ оказалось, что все это вздоръ и что богачъ-англичанинъ былъ не кто иной, какъ самъ супругъ моей тетушки, самымъ неосмотрительнымъ образомъ распорядившійся ея состояніемъ въ пользу этой темной звѣзды. Увлеченіе его зашло такъ далеко, что у нихъ не осталось ничего, кромѣ петербургскаго дома, о которомъ я говорю. Узнавъ объ этомъ, тетка Анна Львовна побѣсновалась, порыдала, а потомъ взялась за умъ и проявила не только большую силу характера, но даже и порядочную долю жестокосердія: она уничтожила формальнымъ порядкомъ свои довѣренности на имя мужа—и, бросивъ его въ Парижѣ на жертву кредиторамъ, укатила назадъ въ Россію и поселилась въ своемъ домѣ. Домъ этотъ давалъ изрядный доходъ, такъ что тетка могла безнуждно жить этими средствами и воспитывать сына Вольдемара, или по-домашнему Додю. Мужу она ничего не посылала и никогда о немъ не говорила: такъ онъ гдѣ-то пропадалъ и, наконецъ, совсѣмъ пропалъ за границею въ полной безвѣстности. Одни говорили, что онъ умеръ гдѣ-то въ долговой тюрьмѣ; другіе увѣряли, что онъ служилъ въ должности крупьэ въ какомъ-то игорномъ домѣ. Но это для насъ все равно. Тетка Анна Львовна къ тому времени, когда я ее узналъ, была женщина лѣтъ сорока пяти; она еще сохраняла слѣды довольно замѣчательной, хотя самой непріятной, сухой и жесткой красоты, составляющей принадлежность женщины русскаго бомонда. Анна Львовна жила въ своемъ домѣ, занимая половину прекраснаго бельэтажа. Это было большое помѣщеніе, которое давало тетушкѣ возможность жить какъ должно большой дамѣ, притомъ дамѣ строгой и солидной, какою она слыла у огромнаго числа посѣщавшихъ ее высокопоставленныхъ людей. Она любила немножко рисоваться своимъ положеніемъ, жаловалась при случаѣ на свою беззащитность и ограниченность вдовьихъ средствъ—и превосходно обдѣлывала свои дѣла. Благодаря ея связямъ и ловкости, воспитаніе сына ей ничего не стоило, она кромѣ того какимъ-то

образомъ исходатайствовала себѣ очень порядочную субсидію за «безпримѣрное несчастіе», а доходы съ дома копила. Анна Львовна была женщина очень разсчетливая и, по правдѣ сказать, весьма безсердечная, что вы, я думаю, можете отчасти заключить изъ ея поступка съ мужемъ, которому она никогда не простила его вины и не помогла ему въ его бѣдственномъ положеніи ни однимъ грошемъ. Въ домѣ тетки всѣ ея боялись и трепетали: я это зналъ отлично, потому что, живучи въ одномъ изъ флигелей ея дома, я могъ наблюдать какъ на нее смотрѣли люди. У тетки не было управляющаго: она сама завѣдывала домомъ, и была госпожею строжайшею и немилосерднѣйшею. У нея былъ порядокъ, что всѣ жильцы должны были платить ей за квартиры за мѣсяцъ впередъ—и если кто не платилъ одинъ день, тому сейчасъ же выставляли окна и черезъ два дня вышвыривали жильца вонъ. Льготы и снисхожденія не оказывалось никому — и ихъ никто изъ жильцовъ не пытался добиться, потому что всѣ знали, что это было бы напрасно. Тетка правила мудро: она сама была для жильцовъ никогда невидима и къ ней никого изъ нихъ не допускали, ни подъ какимъ предлогомъ,—она только отдавала приказанія, и немилостивыя приказанія эти приводились въ исполненіе. Говорили, что въ исполненіи этихъ приказаній никогда не допускалось ни малѣйшей поблажки, — но тетка все-таки находила, что исполнители ея воли дѣйствовали еще довольно слабо, и перемѣнила многихъ изъ нихъ, пока не нашла, наконецъ, одного, который вполнѣ удовлетворялъ ея немилосердой строгости. Этотъ замѣчательный человѣкъ былъ швейцаръ Павлинъ Петровъ, по фамиліи Пѣвуновъ, или попросту, какъ его звали, *Павлинъ*.—Рекомендую этого человѣка особенному вашему вниманію, потому что, несмотря на его скромное положеніе, онъ будетъ героемъ начатаго вамъ разсказа. Поэтому же самому я и опишу его вамъ нѣсколько подробнѣе и разскажу: какъ мы лично имѣли удовольствіе познакомиться съ этимъ антикомъ въ пестрой ливреѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Когда мы съ матушкою поселились въ маленькой квартиркѣ одного изъ флигелей второго двора теткинаго дома, Павлинъ Пѣвуновъ уже лѣтъ шесть состоялъ у нея въ

должности швейцара и считался преданнѣйшимъ ей человѣкомъ и, что называется, ея правою рукою. Насчетъ безграничнаго довѣрія Анны Львовны къ Павлину и еще болѣе насчетъ того, что онъ жилъ у нея безсмѣнно много лѣтъ, тогда какъ до него никто изъ людей у нея не уживался, по дому ходили даже разные нелѣпые толки, основанные на самыхъ глупыхъ выводахъ и болѣе всего на томъ, что Павлинъ, по мнѣнію многихъ, былъ красавецъ. Опишу вамъ наружность Павлина въ ту пору его жизни, какъ я его зналъ. Ему въ то время было лѣтъ съ небольшимъ за сорокъ, онъ былъ мужчина высокій, плотный и очень стройный; свѣтлый блондинъ, съ большими, очень пріятными сѣрыми глазами, прекраснымъ умнымъ лбомъ, замѣчательною строгостію въ лицѣ и достоинствомъ въ движеніяхъ и во всей его въ глаза бросавшейся многозначительной позитурѣ. Можно держать какое угодно пари, что ни въ одной изъ столицъ Европы не было и нѣтъ швейцара импозантнѣе Павлина. Я думаю, что онъ былъ бы еще важнѣе въ какой-нибудь другой, болѣе важной, не швейцарской ливреѣ; но, однако, и этотъ пестрый уборъ шелъ къ нему чрезвычайно. Въ расшитомъ галунами, длинномъ ярко-синемъ сюртукѣ съ капюшономъ, въ широкой убранной галуномъ перевязи, въ трехугольной шляпѣ и съ блестящею вызолоченною булавою въ рукахъ, Павлинъ былъ настоящій *павлинъ*, и притомъ самый нарядный павлинъ, способный поспорить съ наилучшимъ экземпляромъ щеголеватой птицы, передѣланной Юноною изъ Аргуса. По этой представительности Павлинъ могъ бы получить мѣсто швейцара въ любомъ изъ клубовъ, или при какомъ-нибудь изъ самыхъ блестящихъ посольствъ, но Павлинъ за этимъ не гнался и служилъ въ довольно скромномъ и буржуазномъ домѣ моей тетки. Сюда онъ поступилъ на первое мѣсто въ Петербургѣ, а мѣнять мѣста было не въ его правилахъ. Павлинъ у тетушки содержался не въ особой холѣ и по обычаю буржуазныхъ домовъ несъ на себѣ нѣсколько обязанностей. Павлинъ былъ тетушкинъ Аргусъ: при его содѣйствіи она могла знать все, что только желала. Онъ, кажется, видѣлъ весь домъ сквозь его каменныя стѣны и зналъ, что дѣлается въ самыхъ сокровенныхъ его закоулкахъ,—и это для всѣхъ было тѣмъ удивительнѣе, что Павлинъ не имѣлъ во всемъ домѣ ни съ кѣмъ изъ прислуги никакихъ сношеній. Онъ былъ очень гордъ и

важенъ не только съ вида, но и по характеру — самоуважающему, твердому и даже надменному. Павлинъ жилъ въ небольшой, но очень чисто содержимой имъ комнатѣ, скрытой за колоннадою просторнаго параднаго антрэ, гдѣ на небольшомъ возвышеніи между двухъ колоннъ стоялъ его тронъ, старинное черное кресло съ мѣднымъ дракономъ на высокой спинкѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ Павлинъ поселился въ своей комнатѣ, у него не былъ никто изъ постороннихъ людей и никому не было извѣстно, что̀ тамъ у него за убранство. Два выходившія на улицу окна клѣтки Павлина были всегда задернуты чистою кисеею, на нихъ стояли горшки съ цвѣтами—и если кому доводилось заглянуть въ эти окна вечеромъ, когда комната освѣщалась изнутри горѣвшею передъ образникомъ лампадою, то тотъ могъ только видѣть верхъ очень чистыхъ, густою голубою краскою выкрашенныхъ стѣнъ и ширмы; а болѣе ничего невозможно было разсмотрѣть. Комната постоянно была заперта и ключъ отъ ея маленькой двери всегда былъ у Павлина въ карманѣ. Досужихъ людей, которые подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ пытались проникнуть въ покой Павлина, онъ не допускалъ до этого самымъ рѣшительнымъ и безцеремоннымъ образомъ, такъ что его, наконецъ, всѣ оставили и никто въ гости къ нему не порывался. Что такъ тщательно хранилъ Павлинъ въ своей вѣчно-запертой комнатѣ,—этого никто не могъ отгадать, а такъ какъ нельзя же было оставить этого безъ объясненія, то учредившійся въ домѣ наблюдательный комитетъ за Павлиномъ открылъ, что онъ тоже чрезвычайно бережливъ, умѣренъ въ пищѣ и не пьетъ ничего кромѣ воды и молока, — поэтому комитетъ объявилъ, что Павлинъ «молоканъ». Это всѣмъ очень понравилось и удовлетворило общественную пытливость насчетъ личности Павлина настолько, что всѣ почили въ спокойной увѣренности, что Павлинъ *гордецъ по религіи*. Какъ во всякомъ вздорѣ есть своя доля истины, такъ было и здѣсь: Павлинъ, дѣйствительно, былъ заносчивъ и гордъ и не хотѣлъ допускать ни малѣйшаго сближенія съ собою никого изъ служащихъ людей. Оно и было понятно: онъ былъ поставленъ съ ними въ одну среду, но не имѣлъ съ ними ничего общаго ни по уму, ни по характеру. Прошлое его было мало извѣстно: были слухи, что онъ изъ крѣпостныхъ людей, служилъ камердинеромъ у какого-то важнаго лица

и лѣтъ пять тому назадъ откупился на волю, взнеся своему господину чуть ли не тысячу рублей серебромъ за одну свою гордую и суровую душу; но этимъ слухамъ не совсѣмъ довѣряли. Гораздо охотнѣе вѣрили чьей-то выдумкѣ, что Павлинъ ограбилъ почту, убилъ шесть почтальоновъ и потомъ добылъ себѣ фальшивую бумагу, съ которою и живетъ въ швейцарахъ, храня въ своей запертой каморкѣ несмѣтныя сокровища ограбленной почты. Впрочемъ, и это, разумѣется, разсказывали только стороною; самъ же Павлинъ никогда ничего не говорилъ о своемъ прошломъ. Жизнь свою онъ провождалъ однообразно и разсчитанно какъ часы: рано утромъ онъ появлялся въ антрэ, мелъ его и потомъ скрывался въ свою комнату, гдѣ пилъ чай или кофе изъ какого-то особаго самоварчика, котораго устройство и способъ кипяченія оставался для всѣхъ секретомъ и предметомъ неразъяснимаго любопытства. Затѣмъ Павлинъ выходилъ въ одной ливреѣ на лѣстницу и отправлялся къ тетушкѣ: тутъ у нихъ шелъ докладъ или бесѣда, по поводу которой никто ничего достовѣрнаго не зналъ и всѣ сплетничали невѣроятный и невозможный вздоръ. Бесѣда длилась около часа, и послѣ нея Павлинъ снова появлялся на лѣстницѣ, но уже не съ пустыми руками, а съ домовою книгою, которую клалъ на столъ подъ клеенку, надѣвалъ перевязь, бралъ въ руки булаву и отпиралъ двери подъѣзда. — Совершивъ эту церемонію, онъ садился въ широкое, обитое краснымъ сафьяномъ кресло и начиналъ просматривать домовую квартирную книгу, дѣлая изъ нея карандашомъ отмѣтки въ особую тетрадку. Этимъ дѣломъ Павлинъ занимался до десяти. Съ послѣднимъ ударомъ десятаго часа онъ ставилъ къ колоннѣ булаву, смѣнялъ треугольную шляпу обшитою галуномъ фуражкою и въ этой полуформѣ выходилъ черезъ ворота на дворъ: мимоходомъ онъ молча ударялъ рукою въ дворницкую дверь, и когда оттуда на этотъ знакъ тотчасъ же выскакивали два рослые парня, одинъ съ топоромъ, другой съ молоткомъ и клещами, и оба ему низко кланялись, онъ отвѣчалъ имъ на ихъ привѣтствіе молчаливымъ поклономъ и шелъ далѣе. Дворники, вооруженные топоромъ и клещами, слѣдовали за нимъ молча и въ почтительномъ отдаленіи. Павлинъ направлялъ свои стопы туда, куда указывала ему раскрытая передъ нимъ на рукѣ квартирная книга.

Я вамъ едва ли сумѣю передать хотя слабую тѣнь того, что̀ такое производило на всѣхъ въ домѣ это утреннее шествіе Павлина по дому, въ сопровожденіи двухъ слѣдовавшихъ за нимъ ликторовъ. Изъ всѣхъ оконъ длинныхъ флигелей внутренняго двора, занимаемыхъ бѣдными жильцами, на Павлина устремлялись то злые, то презрительные, а чаще всего тревожные взоры; нерѣдко вслѣдъ ему слышались бранныя слова и ядовитыя насмѣшки, еще чаще проклятія и слезные вопли; Павлинъ не обращалъ ни на что на это никакого вниманія. Онъ совершалъ свое теченіе, какъ планета въ ряду расчисленныхъ свѣтилъ по закону своего вращенія, и не удостоивалъ никакія заявленія ни гнѣва, ни сожалѣнія. Шествіе это выражаетъ, что Павлинъ идетъ собирать ежемѣсячную плату съ бѣдныхъ жильцовъ дробныхъ квартиръ, на которыя тетушка передѣлала всѣ внутренніе флигеля — въ томъ основательномъ расчетѣ, что дробныя квартиры всегда приносятъ болѣе, чѣмъ крупныя, потому что онѣ занимаются людьми бѣдными, которыхъ всегда болѣе, чѣмъ богатыхъ, и которые не претендуютъ ни на вкусъ, ни даже на чистоту. А почему это шествіе Павлина представлялось столь внушительнымъ и возбуждало столько ужаса, мы сейчасъ увидимъ, если послѣдуемъ за нимъ на одну изъ узкихъ темныхъ лѣстницъ, по которымъ онъ взбирается въ сопровожденіи своихъ ассистентовъ. Вотъ онъ останавливается у извѣстнаго ему нумера и звонитъ у двери; ему не скоро отворяютъ, но онъ терпѣливъ и не докучаетъ; онъ слышитъ какъ тамъ шушукаются, бѣгаютъ, что-то прячутъ и плачутъ—и все стоитъ, а потомъ звонитъ во второй разъ, не особенно сильно, но такъ внушительно, что болѣе не отпираться нельзя, и двери нехотя отпираются. Павлинъ снимаетъ фуражку и спокойно входитъ въ нихъ со своею книгою, а сопровождающіе его люди между тѣмъ ждутъ на террасѣ. Если онъ минуты черезъ три выходитъ назадъ, то вы непремѣнно видите, что онъ кладетъ что-то за широкій обшлагъ своей пестрой ливреи. Это онъ прячетъ хозяйскія деньги и идетъ далѣе, въ другую квартиру, для которой сегодняшній день есть тоже день очередной расплаты за мѣсяцъ впередъ. Дворники опять слѣдуютъ за нимъ по пятамъ съ топоромъ и клещами и ждутъ его *распоряженій*. Всѣ ждутъ этихъ распоряженій и всѣ молятъ Бога, чтобы ихъ не послѣдовало.

Но что же это за распоряженія?.. А вотъ что: вотъ Павлинъ, выйдя изъ одной квартиры, ничего за свой обшлагъ не спряталъ, а только кивнулъ головою, и сейчасъ же въ одномъ изъ оконъ этой квартиры появляются двѣ головы павлиновыхъ сопутниковъ; топоръ и клещи работаютъ съ неописанною быстротою и ловкостью, рама исчезаетъ—и въ обезрамленное окно несется женскій крикъ и дѣтскій плачъ, а Павлинъ течетъ далѣе, и теченіе его опять гдѣ-нибудь выражается исчезающею изъ окна рамою.. И опять крикъ и плачъ, и въ пустыя окна вырывается клубомъ незащищенная комнатная теплота, которую вымораживаемая бѣдность напрасно силится удержать и сберечь вывѣшиваемыми на рычагахъ и щеткахъ лохмотьями...

Чѣмъ далѣе вглубь дворовъ и чѣмъ выше этажи по лѣстницамъ, тѣмъ эти въ содроганіе приводящія распоряженія Павлина повторяются чаще. Я хотѣлъ-было сказать «и тѣмъ рѣшительнѣе», но у Павлина ничего никогда не было малорѣшительно.

Обойдя всѣ двери, въ которыя ему надлежало въ этотъ день постучаться, онъ текъ обратнымъ теченіемъ, а дворники за нимъ несли выставленныя рамы, которыя Павлинъ собственною рукою запиралъ въ особый чуланъ у себя подъ лѣстницею и затѣмъ спокойно садился въ свое высокое кресло съ бронзовымъ дракономъ на спинкѣ и начиналъ читать *Пчелку* и другія газеты, которыя получались въ домѣ, проходя непремѣнно предварительно черезъ павлиновы руки. Это чтеніе, повидимому, очень его интересовало, и онъ занимался имъ во всѣ свои свободныя минуты. Просмотрѣвъ газеты и потомъ уже раздавъ ихъ подписчикамъ, Павлинъ брался за чтеніе книгъ, преимущественно или даже исключительно переводныхъ французскихъ романовъ, которыхъ, впрочемъ, онъ по гордости своей ни у кого не выпрашивалъ, а абонировался на нихъ въ библіотекѣ.

За этимъ занятіемъ, кромѣ посѣтителей, которымъ Павлинъ долженъ былъ оказать то или другое содѣйствіе по должности швейцара, за этимъ же занятіемъ его заставали другіе посѣтители,—это тѣ жильцы, квартиры которыхъ онъ подвергнулъ утромъ усиленной вентиляціи черезъ вынутыя рамы.

Если неисправный жилецъ приносилъ деньги, Павлинъ молча бралъ ихъ, отмѣчалъ въ книгѣ — и дергалъ

звонокъ, на который являлись дворники и, вынеся изъ чулана молча указанную имъ раму, отправлялись ее вставить. Если же жилецъ или жилица являлись съ жалобою, пенями или просьбою льготы, то опять молчаніе, звонокъ, дворники—и проситель выводится, не услыхавъ въ отвѣтъ на свои жалобы ни одного слова.

Такъ исполнялъ свою службу моей теткѣ ея знаменитый Павлинъ, съ которымъ потомъ съ самимъ судьба сыграла не менѣе знаменитую штуку, чѣмъ всѣ разыгранныя имъ съ жильцами теткина дома.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мы съ матушкою и ея сестрою Ольгой Петровной, занимавшеюся при нездоровіи maman моимъ воспитаніемъ, имѣли въ домѣ Анны Львовны небольшую квартирку по одной изъ лѣстницъ второго двора. Я не вспомню теперь, сколько мы платили за нашу квартиру и не могу сказать, какъ бы съ нами было поступлено, если бы мы хотя одинъ разъ не сдѣлали за нее своего взноса въ срочное время. Вѣроятно, что, по щадя своего запропавшаго мужа, Анна Львовна не обличила бы слабости и къ его сестрѣ, а моей матери, которая, Богъ вѣсть почему, заблагоразсудила жить въ домѣ своей золовки, гдѣ насъ на первомъ же шагу встрѣтила памятная непріятность, при которой мы въ первый разъ познакомились съ Павлиномъ. Мы перебирались въ тетушкинъ домъ въ самый рождественскій сочельникъ. День былъ морозный и по обыкновенію въ это время года въ Петербургѣ очень короткій, такъ что когда возы съ нашею небогатою мебелью въѣхали на дворъ, настали уже сумерки. Матушка до этого времени сидѣла у тетки Анны Львовны, а мы съ тетей Ольгой, которая терпѣть не могла Анны Львовны, расхаживали по пустой квартирѣ; но чуть прибыла наша мебель, матушка тоже пришла въ свою квартиру, чтобы распорядиться, гдѣ ставить вещи. По ея словамъ, Анна Львовна сама посовѣтовала ей придти для этого, и она пришла и сказала людямъ: «вносите»; но люди только переглянулись, а изъ-за плечъ ихъ выросъ Павлинъ и за нимъ два его адъютанта съ извѣстными инструментами.

— Что тебѣ, батюшка, угодно?—спросила maman.

— Деньги пожалуйте за мѣсяцъ, — отвѣчалъ Павлинъ, разворачивая передъ maman свою книгу.

— Хорошо, батюшка мой, хорошо; я завтра утромъ пришлю,—отвѣчала maman съ родственною короткостію, отстраняя отъ себя рукою и книгу, и Павлина, и подзывая своихъ слугъ; но слуги не трогались, а Павлинъ едва замѣтно улыбнулся и отвѣчалъ, что онъ до завтра не можетъ ничего отсрочивать, что деньги должны быть заплачены ему непремѣнно сію же минуту.

Maman сочла это за невѣжливость и обидѣлась, и поблѣднѣла.

Павлинъ это замѣтилъ, и это ему, очевидно, было непріятно: онъ насупилъ брови и съ нѣкоторою нервною нетерпѣливостью въ голосѣ проговорилъ:

— Сударыня! здѣсь такой порядокъ.

— Прекрасно, что у тебя такой порядокъ, но вѣдь ты же, я полагаю, можешь разсудить...

Матушка, горячась, теряла слова и запнулась.

Павлинъ отвѣтилъ ей на ея послѣднее замѣчаніе:

— Могу-съ.

— Ты знаешь, что Анна Львовна мнѣ не чужая, а своя?..

— Знаю-съ.

— А знаешь, такъ что... такъ чего же тебѣ?..

— Деньги-съ... я безъ того не могу позволить вносить вашихъ вещей.

— Какъ не можешь позволить? Но неужто же вещамъ стоять ночь на дворѣ, а намъ на полу спать?

— И вамъ не спать на полу, а вы потрудитесь отсюда уйти, или я сейчасъ велю выставить окна,—отвѣчалъ Павлинъ и, опять сдѣлавъ нетерпѣливое движеніе бровями, прибавилъ:—у насъ такой порядокъ.

Между прислугою и извозчиками, доставившими наши вещи, начались говоръ и смятеніе. Павлинъ стоялъ съ книгою въ передней и не обращалъ ни на что это никакого вниманія.

— Но это смѣшно, — воскликнула maman: — я сейчасъ видѣлась съ Анной Львовной, и она мнѣ ни слова не сказала, что не вѣритъ мнѣ до завтра... Засидѣвшись у нея, я опоздала взять въ банкѣ деньги... Но... но что за глупость! Я вовсе не хочу съ тобой разсуждать, — добавила разсерженная матушка и сказала, что она сейчасъ сама идетъ къ Аннѣ Львовнѣ.

— Это будетъ напрасно-съ,—сухо отвѣтилъ Павлинъ.

— Ну, ужъ это не твое, батюшка, дѣло.

И она, взволнованная, накинула на себя платокъ и пошла къ хозяйкѣ, межъ тѣмъ какъ Павлинъ, не покидая своего поста, сдѣлалъ незамѣтный для насъ знакъ своимъ ассистентамъ—и черезъ минуту, къ немалому нашему удивленію, изъ комнаты, назначавшейся для маменькиной спальни, потянулъ проницающій холодъ. Я, занимавшійся до сихъ поръ разсматриваніемъ пестраго убранства Павлина, оглянулся и увидалъ, что дворники несли въ рукахъ по одной внутренней рамѣ, а въ то же время съ другой стороны появилась maman и, вся дрожа отъ холода и негодованія, сказала по-французски:

— Представь, Ольга: какова эта Анна Львовна? Вообрази: она меня не приняла!

Добрая тетя Ольга отвѣчала, что она этого и ожидала.

— Это ужасно!—отвѣчала maman.—Я увѣрена, что она дома, потому что нѣтъ четверти часа, какъ мы разстались; но мнѣ сказали, что она уѣхала ко всенощной. Какъ она можетъ быть у всенощной, когда здѣсь въ ея домѣ такъ оскорбляютъ родню ея мужа! Уѣдемъ отсюда: пусть все бросаютъ на дворѣ, но я не хочу здѣсь жить, и моя нога болѣе не будетъ въ этомъ домѣ! Одѣвайся и уѣдемъ куда-нибудь въ гостиницу. Я не могу одной минуты видѣть этого негодяя!

Отпустивъ этотъ послѣдній комплиментъ по адресу Павлина, моя нервная maman начала порывисто надѣвать на меня мое теплое платье. Между прислугою смятеніе еще болѣе усиливалось; дворники съ вынутыми рамами въ рукахъ тихонько пересмѣивались; извозчики внизу кричали и шумѣли ропща, что ихъ долго не отпускаютъ; по квартирѣ расползался черезъ выставленныя рамы холодъ. Павлинъ стоялъ въ своей строгой позитурѣ и на лицѣ его не было замѣтно ни малѣйшаго безпокойства. Какъ ни странно можетъ показаться вамъ мое сравненіе, но онъ мнѣ сразу напомнилъ тогда собою Гёте, величавую и до холодности спокойную фигуру котораго я зналъ по гравюркѣ, вклеенной въ моей дѣтской книжкѣ. Павлина какъ будто вовсе не трогали мелкія страданія людей: онъ имѣлъ въ виду одну какую-то общую гармонію того, что совершалъ и видѣлъ.

Но, помимо этихъ моихъ наблюденій, я не знаю чѣмъ бы все это смѣшное и досадное замѣшательство съ нами кон-

чилось; вѣроятно насъ бы прогнали, если бы въ дѣло не вмѣшалась тетка Ольга. Она отвела maman немножко въ сторону и, говоря съ нею по-французски, успѣла ее убѣдить, что дѣло отъ каприза ничего не выиграетъ и что мы почтенной Аннѣ Львовнѣ ничего не докажемъ, потому что она уже, вѣроятно, видѣла всякія доказательства въ этомъ родѣ и ни однимъ изъ нихъ не переубѣдилась.

— Но я увѣрена, что это не она, а этотъ грубіянъ,— молвила, смягчаясь, maman.

— А я увѣрена напротивъ, что это именно *она,* а не «этотъ», какъ ты его называешь, «грубіянъ». Онъ мнѣ кажется очень хорошимъ и честнымъ человѣкомъ, потому что онъ точно исполняетъ то, что обязанъ исполнить; я это уважаю и цѣню,—отвѣчала Ольга.

— Но что же намъ дѣлать? Это смѣшно: у меня недостаетъ денегъ, я забыла ихъ взять...

— Мы ихъ достанемъ и заплатимъ.

— Гдѣ? теперь банкъ закрытъ, на дворѣ вечеръ, а у насъ нѣтъ никого изъ знакомыхъ (мы тогда только переселились въ Петербургъ изъ провинціи). Не у Анны же Львовны занимать, чтобы ей же заплатить.

— Нѣтъ, не у нея, — молвила тетя Ольга, и съ этимъ, подойдя къ Павлину, сняла со своей руки два брильянтовыя кольца и спросила:—Не можете ли вы взять отъ насъ это до послѣзавтра въ залогъ? Послѣзавтра мы возьмемъ деньги и выкупимъ.

— Сударыня, я долженъ сейчасъ представить госпожѣ деньги,—отвѣчалъ Павлинъ съ глубокимъ уваженіемъ къ Ольгѣ.

Отвѣчая ей на вопросъ, онъ точно благодарилъ ее интонаціею своего голоса за то, что она о немъ сказала maman.

— Ну, пошлите заложить эти вещи въ какую-нибудь лавку.

Павлинъ подумалъ—и, моргнувъ одному изъ своихъ дворниковъ, велѣлъ ему исполнить требованіе Ольги, заложивъ ея кольца у какого-то извѣстнаго ему лавочника, имя котораго имъ названо было и потомъ для обстоятельности еще разъ повторено.

Пока посланный дворникъ возвратился съ деньгами, которыхъ принесъ болѣе, чѣмъ намъ на этотъ случай было нужно, Павлинъ молча помогалъ другому вставить вынутыя у насъ рамы—и, получивъ, что ему слѣдовало, за квартиру, вѣжливо поклонился и вышелъ.

Тетка Ольга, обладавшая не только большимъ смысломъ и добротою, но и превосходнымъ веселымъ характеромъ и остроуміемъ, тотчасъ же по уходѣ Павлина начала очень забавно трунить надъ нашимъ минувшимъ затрудненіемъ и привела въ самое веселое расположеніе не только maman и меня, но даже всю нашу прислугу и извозчиковъ, которые, внося каждую вещь снизу въ комнаты, не упускали случая отпускать разныя остроты насчетъ Анны Львовны, величая ее чертовкой и вѣдьмой, и другими лестными названіями.

Черезъ часъ у насъ вся мебель была поставлена на мѣсто, мелкія вещи, болѣе или менѣе, были убраны, и квартира приведена въ возможный порядокъ; а еще черезъ другой часъ, который мы съ матушкою и теткою провели у всенощной, мы застали нашу квартиру уже теплою и встрѣтили праздникъ на своихъ чистыхъ постеляхъ. Черезъ день кольца тетки Ольги, разумѣется, были выкуплены, и мы зажили, но безъ рѣшимости оставаться здѣсь долго, послѣ встрѣтившихъ насъ на первыхъ же шагахъ непріятностей. Maman говорила, что мы здѣсь не останемся долѣе мѣсяца, а если она ранѣе найдетъ удобную квартиру, то мы переѣдемъ отсюда и ранѣе. Ей никто не противорѣчилъ, но другой удобной квартиры, къ крайней досадѣ maman, не находилось, а та, въ которой мы теперь жили, была тепла, суха и какъ нельзя болѣе для насъ удобна. Къ тому же, суровый домъ тетки Анны Львовны, благодаря царившему въ немъ строгому духу Павлина, отличался тишиною и опрятностью, на что тетка Ольга указывала maman и мало-по-малу убѣдила ее не горячиться и не переѣзжать отсюда до лѣта.

— Мы ее этимъ не накажемъ,—говорила тетка Ольга, намекая на почтенную Анну Львовну: — а только себѣ надѣлаемъ хлопотъ и убытковъ. Стóитъ ли она этого?

Матушка мало-по-малу согласилась, что Анна Львовна этого не стóитъ, и рѣшилась остаться еще на мѣсяцъ, но только съ тѣмъ, чтобы «грубіянъ», то-есть Павлинъ, не возмущалъ ея спокойствія и никогда не показывался къ намъ въ квартиру.

Тетка Ольга взялась это устроить — и подъ тотъ день, когда намъ предстоялъ второй мѣсячный платежъ, она сама занесла деньги въ швейцарскую и вручила ихъ Павлину.

Съ Анной Львовной не видались ни maman, ни тетка

Ольга, въ отношеніяхъ которой къ Аннѣ Львовнѣ я, при всей моей тогдашней неопытности, замѣчалъ неодолимое отвращеніе. Мы жили совершенно какъ чужіе и вовсе незнакомые хозяйкѣ люди и это насъ нимало не тяготило,—се это тоже, вѣроятно, не очень смущало. — Мы видали изъ своихъ оконъ, какъ Павлинъ отъ времени до времени совершалъ свои роковые обходы по дому за сборомъ денегъ; послѣ чего то въ одной, то въ другой квартирѣ открывались въ окнахъ прорѣхи; но это насъ непосредственно не касалось, и мы къ этому скоро привыкли, и даже стали понемножку подсмѣиваться. Что дѣлать?—такова сила «чудовища привычки». Мы смѣялись не надъ горемъ вымораживаемыхъ жильцовъ, а надъ тѣмъ способомъ, какъ это дѣлалось среди многолюднаго города, словно на постояломъ степномъ дворѣ. Этотъ важный пестрый Павлинъ съ физіономіею и позитурою Гёте, эти дворники съ инструментами, напоминающіе распинателей Іисуса Христа на картинѣ Штейбена, и это быстрое выставленіе и вставленіе оконъ и полное равнодушіе всѣхъ къ этому самоуправству,— все это въ самомъ дѣлѣ имѣло въ себѣ что-то траги-комическое. Къ намъ Павлинъ не появлялся, потому что въ концѣ второго мѣсяца тетка Ольга опять отвратила его появленіе, лично занеся ему деньги въ его швейцарскую наканунѣ срока; точно такъ же опять наканунѣ заплатила она и на четвертый мѣсяцъ, и такой порядокъ у насъ установился—и, благодаря ему, мы продолжали жить въ своей хорошей и удобной квартирѣ, вовсе позабывъ, что домъ этотъ принадлежитъ Аннѣ Львовнѣ, по милости которой мы такъ оригинально встрѣтили канунъ Рождества. Мы вспоминали о ней, впрочемъ, когда видѣли изъ своихъ оконъ огни въ ея парадныхъ комнатахъ, но вспоминали такъ, мимоходомъ, равнодушно: «вотъ-де у нея гости» или что-нибудь подобное. Что же касается до Павлина, то я и самъ не знаю, какъ это сталось, что имя его, бывши у насъ долгое время подъ запретомъ, вдругъ начало произноситься не только безъ раздраженія и злобы, но даже съ чѣмъ-то похожимъ на уваженіе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Если установившееся у насъ доброе мнѣніе о Павлинѣ могло ему на что-нибудь пригодиться, то онъ обязанъ былъ

за это теткѣ Ольгѣ, къ которой онъ при всякой встрѣчѣ относился съ безконечной аттенціей и самъ обрѣлъ у нея себѣ благоволеніе. Матушка шутя смѣялась надъ тетей Ольгой, что она совершила Даніилово чудо надъ звѣремъ, поработивъ себѣ Павлина; но въ этой шуткѣ была своя доля истины: Павлинъ благоговѣлъ передъ теткой, хотя къ чести его надо сказать, что онъ, однако, и это благоговѣніе выражалъ съ полнымъ сохраненіемъ своего неприступнаго достоинства. Онъ только кланялся ей гораздо ниже, чѣмъ прочимъ, и уступалъ ей дорогу почтительнѣе, чѣмъ самой Аннѣ Львовнѣ, которую онъ, по наблюденіямъ тетки Ольги, терпѣть не могъ и презиралъ. На чемъ она основывала эти свои выводы и заключенія, никогда не говоря съ Павлиномъ, я не знаю, но въ выводахъ этихъ чувствовалась правда. Изъ этого вы видите, что у насъ почему-то постоянно занимались Павлиномъ: онъ заинтересовалъ насъ собою, не исключая даже и меня, засматривавшагося на его пеструю ливрею, и maman, начавшую симпатизировать ему за подмѣченное въ немъ теткой Ольгой презрѣніе къ Аннѣ Львовнѣ.

Такъ шло довольно долго: мы все продолжали жить въ домѣ Анны Львовны и наблюдали Павлина издали, какъ вдругъ совершенно неожиданно представился поводъ къ ближайшему съ нимъ знакомству. Это случилось такимъ образомъ, что maman, будучи недовольна кѣмъ-то изъ прислуги, нанимала другого человѣка. Вмѣсто отходящаго былъ отысканъ и ангажированъ другой, и на слѣдующій день этотъ новый слуга долженъ былъ прибыть и вступить въ отправленіе своей должности, но, въ предшествовавшій этому дню вечеръ, тетя Ольга получила съ дворникомъ конвертъ, надписанный на ея имя. Почеркъ былъ незнакомый и изъ нещегольскихъ,—какимъ пишутъ на Руси грамотные самоучки; въ конвертѣ оказалось письмо, писанное опрятно, на чистой бумажкѣ, но съ тѣмъ же самоучковымъ почеркомъ, и содержало оно въ себѣ, сколько я помню, отъ слова до слова слѣдующее: «Ваше Высокоблагородіе Ольга Петровна! Госпожа ваша сестрица договорили себѣ прислугу (имя рекъ), но сей договоренный есть человѣкъ легкомысленный, а потому къ довѣренности ему ненадежный, о чемъ пріемлю смѣлость вамъ для предосторожности доложить». Поднись: «швейцаръ Павлинъ Пѣвуновъ». Тетка показала

это письмо матушкѣ, и та рѣшила послушаться предостереженія, которое дѣлалъ Павлинъ; договоренному легкомысленному слугѣ былъ посланъ отказъ, и maman, идучи на свою обычную прогулку и встрѣтивъ на дворѣ Павлина, поблагодарила его за доброжелательство. Антикъ снялъ свою шляпу съ галуномъ и отвѣтилъ maman молчаливымъ, но вѣжливымъ поклономъ.—Вечеромъ maman, сидя за чаемъ, сказала теткѣ Ольгѣ:

— Но, однакоже, намъ все-таки нуженъ слуга. Господинъ Павлинъ намъ одного опорочилъ, а гдѣ искать лучшаго—не показалъ.

— Это и не его дѣло,—отвѣчала тетка.

— Знаю; но... онъ бы, я думаю, могъ намъ порекомендовать, если бы захотѣлъ.

— А ты его развѣ просила?

— Нѣтъ; да онъ, кажется, со мною и не желаетъ говорить—взглянулъ окомъ по меньшей мѣрѣ министерскаго величія и откланялся. Другое дѣло,—пошутила она:—если бы ты его объ этомъ попросила: для тебя онъ вѣрно за высокую для себя честь почтетъ оказать намъ эту услугу.

Тетка приняла эту шутку съ обыкновенно-свойственною ей веселостью и такъ же шутя отвѣчала:

— Хорошо: я его попрошу.

На другой же день тетушка, идучи куда-то передъ вечеромъ, вмѣстѣ со мною зашла въ швейцарскую, гдѣ Павлинъ по обыкновенію сидѣлъ одинъ въ своемъ креслѣ и читалъ передъ зеленою лампою книгу.

Увидѣвъ тетку, онъ тотчасъ же положилъ на столъ книгу, вѣжливо поклонился и, выпрямившись во весь свой длинный ростъ, принялъ позитуру Гёте.

Тетушка высказала ему просьбу. Павлинъ сдвинулъ брови, подумалъ и отвѣчалъ:

— Нынче обстоятельныхъ слугъ къ своей должности нѣтъ.

— Такъ вы и не можете намъ никого рекомендовать?

— Не смѣю-съ, потому что никого такого не предвижу.

Мы отошли ни съ чѣмъ, и когда вернулись домой, то maman не мало потрунила надъ тетушкой, что власть сей послѣдней надъ Павлиномъ Пѣвуновымъ не плодотворна и онъ все-таки грубый бирюкъ; но тетя и тутъ защищала его, говоря, что она и въ этомъ его отказѣ видитъ только новое доказательство его обстоятельности и благоразумія:

онъ остороженъ, говорила она, потому что «обстоятельный человѣкъ». А знай онъ кого-нибудь, за кого бы могъ поручиться, онъ бы, конечно, непремѣнно порекомендовалъ.

И тетка не ошиблась: къ ея вставанью на слѣдующее утро опять появилось краткое письмо, которымъ Павлинъ, въ лапидарномъ стилѣ, просилъ ее повременить дня два наймомъ слуги, ибо онъ получилъ какія-то свѣдѣнія объ извѣстномъ «обстоятельномъ господскомъ служителѣ, бывшемъ однихъ съ нимъ господъ».

Тутъ сказались настоящія чувства maman къ Павлину: она перестала говорить о немъ, какъ о грубіянѣ, и очень обрадовалась, что можетъ имѣть слугу одной съ нимъ школы, и изъявила согласіе ждать рекомендованнаго Павлиномъ человѣка хоть цѣлый мѣсяцъ. Но это было вовсе не нужно, потому что ожидаемое лицо явилось на другой же день и тотчасъ же было нанято и вступило въ должность скромнаго лакея нашего скромнаго жилища.

Поставленный Павлиномъ человѣкъ былъ нѣсколько старше его и гораздо его простодушнѣе и добрѣе. Онъ даже совсѣмъ былъ добрякъ, имѣлъ веселый, открытый характеръ и необычайную кротость и исполнительность, чѣмъ и заслужилъ у насъ сразу всеобщее довѣріе и расположеніе, хотя, разумѣется, ему въ этомъ не мало содѣйствовала рекомендація Павлина, оказавшаго намъ такимъ образомъ первую услугу.

Вскорѣ онъ сдѣлалъ и другую: мы собрались на лѣто въ деревню и грустили, что должны были оставить нашего любимаго человѣка дома при квартирѣ, и что же? Не успѣли мы объ этомъ поговорить дома за нашимъ вечернимъ чаемъ, какъ утромъ опять къ тетушкѣ посланіе: Павлинъ опять въ томъ же лапидарномъ стилѣ извѣщаетъ, что намъ отнюдь не нужно никого оставлять на лѣто въ своей квартирѣ, такъ какъ онъ, Павлинъ, «самъ достаточно можетъ ее досмотрѣть безъ всякаго затрудненія». Принять это одолженіе было очень соблазнительно; это отлично улаживало всѣ наши дѣла и вопросъ могъ быть только въ томъ: какъ вознаградить Павлина за его досмотръ? Къ обсужденію этого вопроса былъ допущенъ нашъ слуга, но отъ него получился по этому поводу рѣшительный протестъ.

— Павлинъ Петровичъ человѣкъ амбиціонный,—сказалъ онъ:—онъ это предоставляетъ изъ чести и платою его можно несносно обидѣть.

Такъ это и осталось: ни maman, ни тетка Ольга рѣшительно не могли придумать: чѣмъ бы поблагодарить *добраго* Павлина.

Павлинъ у насъ началъ именоваться *«добрымъ»*. Такъ измѣнялъ онъ въ нашихъ глазахъ свою репутацію въ преддверіи наступающей эпохи, когда ему предстояло явить себя на искусѣ въ борьбѣ чувствъ, ему, повидимому, вовсе не свойственныхъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Мы уѣхали и, возвратившись, застали свою нежилую во все время нашего отсутствія квартиру въ чрезвычайномъ порядкѣ, а изъ дверей въ двери противъ насъ въ другой квартирѣ появились новые жильцы. Это была молодая дама съ престарѣлою матерью и шестилѣтнею дочерью, очень красивою дѣвочкою. Намъ, разумѣется, до этихъ новыхъ сосѣдей не было никакого дѣла, но maman и тетка невольно обратили вниманіе на одну замѣчательную странность фамильной черты всѣхъ трехъ лицъ нашихъ новыхъ сосѣдокъ: всѣ три онѣ были въ разныхъ порахъ жизни, но у всѣхъ у нихъ на лицахъ—въ красотѣ меркнущей, цвѣтущей и еще только распускающейся—была какъ бы растворена какая-то родовая печаль и роковое предназначеніе къ несчастію.

Тетка Ольга первымъ дѣломъ позаботилась узнать: не бѣдны ли онѣ,—и отрадно успокоилась, что у этой семьи есть кормилецъ; оказалось, что у молодой дамы есть мужъ, который служитъ полковымъ врачомъ, и онѣ живутъ не нуждаясь. Тетка перекрестилась и сказала: «слава Богу». Это «слава Богу» касалось и нашихъ сосѣдокъ, и самой тетки, которая въ первую же ночь по нашемъ возвращеніи въ городъ видѣла во снѣ, будто къ нашимъ сосѣдкамъ пришелъ Павлинъ и его распинатели, и будто изъ ихъ оконъ выкидывали все на дворъ и въ ту же пору со двора поѣхалъ гробъ, на этомъ гробу сидѣла та прекрасная дѣвочка съ растворенною печалью въ лицѣ и чертами рокового несчастія, и за этимъ поѣздомъ очутился Павлинъ въ своей пестрой ливреѣ съ расписною перевязью и въ шляпѣ. Въ одной рукѣ у него, будто, была его блестящая булава и факелъ, а въ другой—его собственная отрѣзанная голова, а вокругъ него изъ-подъ земли выныривали какія-то блѣдноро-

зовыя птицы: онѣ быстро поднимались вверхъ, производя нестерпимый свистъ своими крыльями, а оттуда съ высоты съ этихъ крыльевъ сыпались бѣлыя перышки и по мѣрѣ приближенія къ землѣ обращались въ перетлѣвшій пепелъ. Минута—и отъ всей пестроты павлинова убора уже не осталось и знака, а онъ стоялъ весь черный, какъ обгорѣлый пень, и былъ опять съ головою, но съ какою то такою страшною, что тетушка пришла въ ужасъ, закричала и проснулась,—но проснулась съ убѣжденіемъ, что она видѣла сонъ вѣщій, который не можетъ пройти безъ послѣдствій.

Тетка не ошиблась: ея сонъ былъ въ руку и непререкаемаго Павлина ждало тяжкое и роковое испытаніе.

Дѣло началось съ того, что, проснувшись однажды въ жестоко холодное крещенское утро, мы увидали въ квартирѣ нашихъ новыхъ сосѣдей три выставленныя окна. Матушка и тетка тотчасъ же поняли, что это работа нашего *«добраго»* Павлина, и такъ и ахнули. На дворѣ, какъ я вамъ сказалъ, стояла жестокая стыдь и не трудно было себѣ представить, что̀ теперь должны были переносить злополучныя женщины, жилище которыхъ добрый Павлинъ привелъ среди зимы на лѣтнее положеніе. Очевидно, онѣ должны были коченѣть въ своихъ комнатахъ безъ оконъ. Maman съ свойственною ей нервностью страшно разгнѣвалась; назвала нѣсколько разъ «добраго» Павлина палачомъ, жидомъ и разбойникомъ и послала дѣвушку просить сосѣдокъ сдѣлать ей одолженіе занять на время одну изъ нашихъ комнатъ, которая сію же минуту и была приготовлена къ ихъ принятію. Но дѣвушка возвратилась съ отвѣтомъ, что самой сосѣдней барыни нѣтъ дома, — что она куда-то ушла, а старушка-мать ея благодаритъ за участіе, но рѣшительно отказывается принять матушкино предложеніе. Отказъ старушки былъ мотивированъ тѣмъ, что она ждетъ дочь и увѣрена, что та скоро возвратится съ деньгами, тогда-де заплатимъ и все опять будетъ въ порядкѣ. Maman опять послала второго посланца просить, чтобы къ намъ отпустили хоть маленькую дѣвочку, которой вынутыя изъ оконъ рамы угрожали простудою. Это посольство было задачливѣе: я точно сейчасъ вижу, какъ къ намъ привели шестилѣтнюю дѣвочку съ прехорошенькимъ, но будто отмѣченнымъ какою-то печатью несчастія лицомъ. Есть такія лица, есть: по крайней мѣрѣ я не разъ встрѣчалъ ихъ. Наша маленькая

гостья, очевидно, не ясно понимала тогда затруднительное положеніе своего семейства—и, освободясь изъ шелковаго ватошника, въ которомъ ее привели въ нашу переднюю, обратила свое вниманіе на то, чтобы взойти съ извѣстною граціею и сдѣлать реверансъ, что̀ ей вполнѣ и удалось. Видно было, что о ея внѣшней благовоспитанности и манерахъ заботились,—впрочемъ, тогда дѣти, неумѣющія войти и поклониться, еще не входили въ моду, — фребелевскихъ матерей у насъ еще не было.

Пока мы обогрѣвали дѣвочку, которую звали Любою,— ея мать, имени которой я теперь не помню, возвратилась домой. Наши видѣли, какъ эта молодая дама прошла къ себѣ въ квартиру, но, къ величайшему нашему удивленію, она не спѣшила изъ квартиры прибѣжать или прислать за дочерью--и за нею, какъ бывало въ подобныхъ случаяхъ, если недоимка была вымогнута, не несли выставленныхъ рамъ... Все это были плохіе знаки: не трудно было отгадать, что бѣдная сосѣдка наша вернулась безъ денегъ: мать и тетя Ольга поняли это сію же минуту, и послѣдняя, нимало не медля, бросилась въ разоренную квартиру, а еще черезъ минуту вернулась назадъ, щелкнула ключикомъ своей шкатулки и снова убѣжала къ сосѣдямъ. Десять минутъ спустя по двору подвигалась извѣстная процессія: дворники, рамы, молотки, клещи, гвозди и жестяной жбанъ съ замазкой, а за всѣмъ этимъ пестрый Павлинъ съ его до сихъ поръ въ трепетъ меня приводящею платежною книгою. Было понятно, что добрая тетка Ольга нашла у себя нужныя деньги и что сосѣдки наши приняли ихъ и заплатили за свою квартиру, которая немедленно же была приведена въ порядокъ и топилась. Но какъ комнаты, оставаясь въ теченіе нѣсколькихъ часовъ безъ оконъ, значительно настыли, то maman и тетя не только не отпустили домой маленькой Любы, но залучили къ себѣ на весь день и ея мать. Просили и бабушку Любы, но старушка вѣжливо благодарила, но ни за что не пошла и оставалась дома. Мать же Любы просидѣла у насъ до полуночи и, горько плача, разсказала, что мужъ ея служитъ врачомъ въ одномъ изъ находившихся тогда въ Венгріи русскихъ полковъ, — что состоянія у нихъ никакого не было и нѣтъ; но что они жили безъ нужды до тѣхъ поръ, пока мужъ ея выступилъ съ полкомъ въ походъ. Сначала онъ присылалъ имъ на содер-

жаніе, но вдругъ два мѣсяца замолкъ, и онѣ не имѣютъ о немъ ни слуха, ни духа.

— Богъ вѣсть,—говорила, рыдая, дама:—можетъ-быть... его уже нѣтъ въ живыхъ, или онъ въ плѣну, или съ нимъ случилось еще что-нибудь худшее — и тогда... мое бѣдное дитя... мое бѣдное дитя, что̀ съ нимъ будетъ?

Она взглянула на Любочку, которую я развлекалъ, усадивъ ее на кресло и стоя передъ нею на колѣняхъ, и вдругъ быстро отвернулась и закрыла рукою глаза, молвивъ въ какомъ-то вдохновеніи:

— Темно, темно: я не могу глядѣть въ эту тьму!

И она вдругъ затрепетала, рванулась къ ребенку и, прижавъ къ груди своей ребенка, замерла.

Тетка Ольга знала болѣе: она знала, что кормильца этихъ сиротъ уже не было на свѣтѣ: его не то поразила венгерская пуля, не то прикончила лихорадка. И бабушка знала объ этомъ и сказала это теткѣ Ольгѣ съ тѣмъ, чтобы она помогла ей открыть роковую вѣсть бѣдной вдовѣ и пособила бы ей принять весь ужасъ ея безпомощнаго положенія.

Тетка, вѣроятно, исполнила какъ-нибудь это печальное порученіе, хотя я не знаю, какъ и когда она это сдѣлала, потому что моя впечатлительная и нервная maman послѣ этого дня ни за что не хотѣла оставаться въ нашей квартирѣ, и мы вскорѣ же дѣйствительно выбрались въ другой домъ, гдѣ не было ни Павлина, ни жестокихъ порядковъ, которые онъ съ такою суровостью приводилъ въ исполненіе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Maman, какъ очень многія впечатлительныя женщины, болѣе всего избѣгала сценъ возмущавшаго ее жестокосердія и заботилась о томъ, чтобы *не видѣть ихъ*; но нервы тетки Ольги были крѣпче, и она не боялась становиться съ горомъ лицомъ къ лицу, а потому она и здѣсь не оставила нашихъ сосѣдокъ и навѣщала ихъ съ своей новой квартиры. Тонкая деликатность тетки, вѣроятно, не позволяла ей спросить у нихъ: есть ли чѣмъ у нихъ заплатить за слѣдующій, наступающій мѣсяцъ, но она стерегла и подкарауливала, какъ имъ обойдется урочный день наступающаго срока платежа. Я помню, какъ она тревожно и съ какимъ сердобольнымъ безпокойствомъ она берегла въ своей па-

мяти этотъ день, страшась какъ бы не просчитать его,—и, дождавшись, когда онъ наступилъ, рано утромъ побѣжала въ домъ, гдѣ наши бѣдныя сосѣдки оставались во власти Павлина. Взбѣжавъ на дворъ, она прежде глянула на ихъ окна... рамы были на мѣстѣ... Тетка успокоилась. Прошелъ и еще мѣсяцъ—и тетка Ольга опять точно такъ же стерегла срочное число и опять съ деньгами въ карманѣ побѣжала къ старымъ сосѣдкамъ, и опять все застала въ полномъ порядкѣ и спокойствіи, какое было возможно въ ихъ стѣсненномъ положеніи. По крайней мѣрѣ квартира была тепла, хотя, видимо, все мало-по-малу пустѣла. На третьемъ мѣсяцѣ у этихъ бѣдныхъ жильцовъ умерла старушка бабушка... Ходили странные слухи: говорили, будто она отравилась фосфорными спичками и сдѣлала это въ полной памяти и съ знаніемъ дѣла: она распустила фосфоръ не въ водѣ и не въ спиртѣ, какъ это дѣлаетъ большинство отравляющихся этимъ способомъ, а въ маслѣ, въ которомъ фосфоръ растворяется совершенно. Говорили, что она отравилась съ единственной цѣлію не обременять собою бѣдную дочь, которая не хотѣла ее оставить и бѣдствовала, давая дешевые уроки, тогда какъ она съ одною дѣвочкою могла бы поступить куда-нибудь классною дамою или гувернанткою. Бабушка хотѣла развязать своей дочери руки и развязала ихъ съ удивительнымъ спокойствіемъ. Справедливы или нѣтъ были всѣ эти толки объ отравѣ—я навѣрно не знаю; но только старушку, однако, схоронили безъ всякихъ полицейскихъ исторій, а расчетъ ея оказался невѣрнымъ: хотя она и развязала руки дочери, но дочь ея не получила желаемаго мѣста,—а напротивъ, бѣгая по своимъ дешевымъ урокамъ, совсѣмъ надломила свой потрясенный организмъ, послѣ чего ей довольно было самой маленькой простуды, чтобы у нея развилась жестокая болѣзнь, менѣе чѣмъ въ мѣсяцъ низведшая эту бѣдную женщину въ могилу.

Она умерла, не оставляя дочери ничего: ни имѣнія, ни добрыхъ людей; даже моей доброй тетки Ольги не было тогда въ городѣ, потому что она объ эту пору ѣздила въ другой городъ къ роднымъ и возвратилась въ очень скверный день, когда по грязному снѣгу раннимъ февральскимъ утромъ на Волково кладбище тащились бѣдныя дроги съ гробомъ, у изголовья котораго тутъ же на дрогахъ сидѣла заплаканная Люба, а сзади дрогъ шелъ—Павлинъ... Сло-

вомъ: все точь-въ-точь, какъ тетка Ольга видѣла когда-то во снѣ. Павлинъ былъ съ непокрытою головою, облаченный для сего печальнаго случая въ сѣрую шинель на старомъ волчьемъ мѣху. Тетка Ольга ужасно встревожилась этимъ событіемъ и, переговоривъ съ maman, рѣшила взять сиротку Любу къ намъ пока удастся ее куда-нибудь устроить; но все это оказалось излишнимъ: Люба уже была устроена и, вѣроятно, не хуже, чѣмъ бы могли устроить ее мы съ нашими весьма ограниченными средствами и безъ всякихъ сколько-нибудь вѣскихъ и значительныхъ связей. Виновникомъ попечительныхъ заботъ объ осиротѣвшей дѣвочкѣ явился тотъ же самый Павлинъ, который два мѣсяца тому назадъ вымораживалъ ее вмѣстѣ съ ея матерью и бабушкой.

Когда тетка Ольга, окончивъ свои переговоры съ maman, пришла въ швейцарскую Павлина, чтобы узнать отъ него, гдѣ Люба,—она не нашла его на его обычномъ креслѣ. Это было едва ли не первое нарушеніе Павлиномъ своихъ обязанностей съ тѣхъ поръ, какъ онъ надѣлъ въ этомъ домѣ пеструю ливрею и взялъ въ руки блестящую булаву.

Освѣдомясь у кого попало о швейцарѣ, тетка узнала, что онъ уже возвратился съ кладбища къ себѣ и принесъ туда на рукахъ въ свою комнату дѣвочку.

Тетка, долго не раздумывая, направилась къ неприкосновенному апартаменту Павлина и растворила дверь. Передъ нею открылась очень маленькая комнатка, съ диванчикомъ, на которомъ помѣщалась плачущая Люба, а передъ нею стоялъ на колѣняхъ Павлинъ и перемѣнялъ на ребенкѣ промокшую обувь.

При входѣ тетки онъ всталъ и, вѣжливо поклонясь ей, сказалъ:

— Сударыня, вѣрно изволили пожаловать насчетъ барышни?

— Да,—отвѣчала тетка.

— Изволите желать взять ихъ?

— Да.

— Какъ вамъ угодно.

Дѣвочка тянулась къ теткѣ, и мы ее взяли, но ввечеру того же дня къ намъ появился Павлинъ и просилъ доложить теткѣ, что онъ пришелъ переговорить о сиротѣ.

Павлина позвали въ залъ, куда къ нему вышла и тетка.

Они говорили около получаса, по истеченіи котораго Павлинъ ушелъ, а тетка возвратилась къ maman въ восторгѣ отъ ума и твердости характера Павлина.

Павлинъ, явясь къ теткѣ, объяснилъ ей, что желаетъ взять Любу на свое попеченіе, но не настаиваетъ на этомъ, если дѣвочка можетъ быть устроена лучше. А для того, чтобы дать теткѣ возможность судить о его средствахъ и благонадежности, онъ нашелъ нужнымъ разсказать ей свое прошлое и представить нынѣшнее свое положеніе и планы насчетъ Любы. По его словамъ, онъ былъ крѣпостной человѣкъ, обученъ музыкѣ, но не любилъ ее, и изъ музыкантовъ попалъ въ камердинеры, потомъ откупился дорогою цѣною на волю самъ, своею единственною душою; но послѣ, собравъ трудами и бережливостью довольно большую для его положенія сумму, онъ выкупилъ на волю свою старухумать, сестру и зятя и снялъ имъ на большой тульской дорогѣ хорошій постоялый дворъ. Затѣмъ, считая себя обязаннымъ помогать хозяйству этихъ родственниковъ, онъ самъ не женился и жилъ для родныхъ; но, назадъ тому съ мѣсяцъ, онъ получилъ извѣстіе, что всѣ его родные вслѣдъ другъ за другомъ поумирали холерою. Оставаясь теперь совершенно одинокимъ и находя, что ему время для женитьбы уже прошло, Павлинъ выразилъ желаніе остатокъ дней своихъ посвятить сиротѣ Любѣ, которая, по своему положенію, сдѣлалась ему чрезвычайно жалка.

Тетку мою такъ тронуло это доброе движеніе, что она подала Павлину руку и посадила его, чтобы онъ обстоятельно изложилъ ей свой планъ, которому думаетъ слѣдовать насчетъ Любы. Тетка была увѣрена, что степенный Павлинъ, рѣшаясь взять дитя на свои руки, непремѣнно имѣетъ ясныя намѣренія, которыя и разсчитываетъ привести въ выполненіе, и она не ошиблась. Павлинъ, дѣйствительно, имѣлъ планъ, и притомъ весьма обстоятельный, удобоисполнимый и вполнѣ отвѣчающій его солидному и твердому характеру. Онъ приготовился не только взять дѣвочку и воскормить ее, но расчелъ весь путь, какимъ она должна была войти въ жизнь и стать въ ней твердою ногою. При этомъ онъ обнаружилъ въ своемъ характерѣ нѣкоторыя до сихъ поръ еще незамѣченныя въ немъ черты, а именно: прямоту, скромность и презрѣніе къ тщеславнымъ посягательствамъ человѣка на высшій полетъ. Павлинъ избиралъ

сиротѣ, можетъ-быть, очень скромную долю: онъ сказалъ теткѣ, что намѣренъ отдать Любу въ школу къ одной извѣстной ему очень хорошей дамѣ, гдѣ дѣвочка года въ четыре обучится необходимымъ, по его соображенію, наукамъ, то-есть чтенію, письму, закону Божію и ариѳметикѣ, а также «историческимъ свѣдѣніямъ», а потомъ онъ отдастъ ее учиться рукодѣліямъ, а самъ въ это время къ выходу ея изъ этой послѣдней науки соберетъ ей денегъ, откроетъ магазинъ и потомъ выдастъ ее замужъ за честнаго человѣка, «который ее могъ бы стоить. Этакъ,—говорилъ онъ,—я располагаю, будетъ гораздо вѣрнѣе, потому что къ благородству, если удастся судьба, можно всегда очень легко привыкнуть, но самое первое дѣло человѣку имѣть средства на себя надѣяться».

Теткѣ, которая всегда была сама очень умна и проста, этотъ простой и удобный планъ воспитанія необыкновенно какъ нравился, но maman планъ Павлина не совсѣмъ былъ по мысли: она находила, что никто не имѣлъ права такимъ образомъ «исковеркать будущность бѣдной сиротки противъ того, на что она имѣла право по своему происхожденію». На этомъ maman и тетка никакъ не могли согласиться, и онѣ, вѣроятно, долго бы спорили, если бы въ дѣло не вмѣшался случай и не порѣшилъ все это по-своему: здоровье maman потребовало перемѣны климата, и она должна была уѣхать на годъ далеко изъ Петербурга къ своему брату; меня отдали въ Петербургѣ въ пансіонъ, а моя добрая тетка отъѣхала въ иную сторону и устроилась особеннымъ образомъ: она поступила въ одинъ уединенный женскій монастырь на берегу Днѣпра за Кіевомъ. Сиротку Любу такимъ образомъ волею-неволею пришлось ввѣрить исключительнымъ попеченіямъ Павлина, котораго рвеніе устроить это дитя и средства все это сдѣлать были притомъ едва ли не далеко превосходнѣе нашихъ. Притомъ же и нравственныя ручательства, которыя Павлинъ далъ теткѣ при прощаньи съ нею, значительно успокоивали ее за судьбу Любы. Павлинъ объяснился теткѣ въ такомъ родѣ:

— Я знаю, сударыня,—сказалъ онъ:—что меня считаютъ злымъ человѣкомъ, а это все отъ того, что я почитаю, что всякій человѣкъ долженъ прежде всего свой долгъ исполнять. Я не жестокое сердце имѣю, а съ практики взялъ, что всякій въ своей бѣдѣ много самъ виноватъ, а потвор-

ство къ тому людей еще болѣе располагаетъ. Надо помогать человѣку не послабленіемъ, такъ какъ отъ этого человѣкъ еще болѣе слабнетъ, а надо помогать ему на ноги становиться и о себѣ вдаль основательно думать, чтобы могъ отъ немилостивыхъ людей самъ себя оберегать.

Итакъ, maman и тетка, оплакавъ Любу, оставили ее Павлину на его произволъ дѣлать изъ нея женщину безъ слабостей и способную сама себя оберегать; а вышло, что она—эта маленькая дѣвочка—сдѣлала изъ самого Павлина то, чѣмъ этотъ крѣпкій человѣкъ врядъ ли думалъ сдѣлаться.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Время шло; Павлинъ воспитывалъ Любу точно такъ, какъ обѣщалъ моей тётѣ въ первомъ ихъ разговорѣ объ этой сироткѣ. Пока я проводилъ послѣдніе годы въ гимназическомъ пансіонѣ, Люба училась въ домашней школѣ у одной дамы, которой Павлинъ платилъ за ученіе и содержаніе своей питомки съ свойственной ему аккуратностью. Здѣсь Люба, разумѣется, не набралась большихъ знаній, но, однакоже, все-таки узнала гораздо болѣе, чѣмъ считалъ для нея нужнымъ и полезнымъ Павлинъ. Занятый своимъ дѣломъ, я-было совсѣмъ позабылъ о Любѣ, но, увидавъ ее случайно на улицѣ вскорѣ послѣ своего поступленія въ университетъ, я тотчасъ же ее вспомнилъ и очень ей обрадовался. Мнѣ тогда было лѣтъ восемнадцать, а Любѣ шелъ четырнадцатый годъ. Она расцвѣла и обѣщала быть очень красивою дѣвушкой, у нея выполнялась очень стройная и преграціозная, миньонная фигурка; головка ея была повита густыми волнующимися золотистыми волосами самаго пріятнаго цвѣта, и при этомъ черныя брови и длинныя темныя рѣсницы, изъ-подъ которыхъ глядѣли два большіе темно-синіе глаза. Я такъ былъ пораженъ ея красотою, что противу воли моей не умѣлъ этого скрыть, и мы оба другъ друга сконфузились и разстались, не успѣвши наговориться. Потомъ еще черезъ годъ мы съ нею снова встрѣтились въ церкви за ранней обѣдней, гдѣ она, еще болѣе расцвѣтшая, стояла впереди Павлина, глядѣвшаго на нее, какъ мнѣ тогда казалось, съ глубочайшею нѣжностью. Восемь лѣтъ имѣли на Павлина небольшое вліяніе, но вліяніе не особенно разрушительное: онъ только началъ сѣдѣть и потуч-

нѣлъ, но все-таки былъ молодцомъ для своихъ пятидесяти лѣтъ. Въ его выходномъ костюмѣ не было никакой разницы; Люба же у него была одѣта скромно, но очень опрятно, и держалась барышней,—Павлинъ, въ поношенной коричневой бекешѣ, казался ея дядькой. Онъ, какъ я вамъ сказалъ, стоялъ сзади Любы и держалъ на рукѣ ея плащъ и вязаную гарусную косыночку, которую та сняла, потому что въ церкви было довольно жарко. Жарко было всѣмъ, но казалось, что Любѣ было особенно знойно и томно: она краснѣла, какъ маковъ цвѣтъ, и взглядъ ея представлялся мнѣ безпокойнымъ и растеряннымъ. И еще что̀ было замѣчательнѣе, что эта видимая напряженность ея состоянія усиливалась по мѣрѣ приближенія службы къ концу. Мнѣ сдавалось, что въ этой напряженности кое-что принадлежитъ моему неожиданному появленію передъ Любой, такъ какъ она, увидавъ и очевидно узнавъ меня, не переставала наблюдать меня своими большими зрачками изъ-подъ густыхъ и длинныхъ темныхъ рѣсницъ. Послѣдствія убѣдили меня, что я не ошибался; когда я по окончаніи обѣдни подошелъ къ Любѣ, которой Павлинъ подавалъ въ это время ея верхнее платье, напряженность ея достигла крайней степени: она мнѣ едва кивнула головкой и, спѣшно одѣваясь, все совала руку мимо рукава, межъ тѣмъ какъ на опущенныхъ книзу рѣсницахъ ея потупленныхъ глазъ сверкала большая полная слеза,—слеза не умиленная и добрая, а раздражительная и досадная. Люба, несомнѣнно, страдала отъ того, что я видѣлъ ее *съ макеемъ,* но не въ томъ положеніи, въ какомъ лакей могъ бы быть пріятенъ для человѣческой суетности. Павлинъ не показывалъ ни малѣйшаго вида, что онъ это замѣчаетъ, но я былъ увѣренъ, что онъ все это видѣлъ и понималъ; однакоже, онъ, повидимому, не смущался, но дѣлалъ свое дѣло, какъ всегда, точно и аккуратно, то-есть въ данномъ случаѣ онъ одѣлъ Любу и оправилъ все на нее надѣтое не болѣе какъ со вниманіемъ служителя; а Любѣ, казалось, и это не нравилось: она, что̀ называется, *пижонилась*, — сторонилась отъ него какъ голубенокъ отъ сосѣдящагося къ нему грача.

Во мнѣ шевельнулись старыя воспоминанія: припомнилось уваженіе, которое моя добрая тетка выражала къ этому суровому блюстителю всякаго принятаго на себя долга,—и мнѣ стало досадно на Любу: я одновременно по-

далъ правую руку ей, а лѣвую Павлину и, какъ умѣлъ, ласково сказалъ ему:

— Я очень радъ, что вижу васъ, Павлинъ Петровичъ,— простите, что подаю вамъ лѣвую руку, но она ближе правой къ сердцу.

Онъ сжалъ мою руку крѣпко-крѣпко, и мнѣ показалось, что на глазахъ у него тоже блеснула слеза, но не такая, какъ у Любы. Это не скрылось отъ Любиной наблюдательности, и потупленные глаза ея поднялись: она точно обрадовалась, что между всѣми нами тремя какъ-будто возстановилось равенство, и просіяла. Павлинъ опять былъ тотъ же по внѣшности, но было что-то такое, что̀ и въ немъ сказалось тихо-сдержаннымъ удовольствіемъ.

— Любовь Андревна-то-съ,—заговорилъ онъ ко мнѣ, выходя изъ церкви:—какъ перемѣнились... выросли совсѣмъ.

— Да, выросла и... я хотѣлъ сказать, что она похорошѣла, но нашелъ, что не слѣдуетъ ей этого говорить, и добавилъ, что я едва узналъ ее.

— Какъ же,—отвѣчалъ Павлинъ:—помните... вѣдь онѣ тогда остались... совсѣмъ ребенокъ... А теперь имъ нынче пятнадцать лѣтъ.

Я очень некстати удивился, что будто уже со дня сиротства Любы идетъ десятый годъ. Тѣмъ это и кончилось; но въ слѣдующее воскресенье я опять свидѣлся съ Любой и Павлиномъ въ той же церкви, и встрѣчи эти пошли все чаще и чаще, пока, наконецъ, я однажды увидалъ Павлина въ церкви безъ Любы и освѣдомился: что̀ это значитъ?

— Онѣ... Любочка... нездоровы-съ,—отвѣчалъ швейцаръ, называвшій Любу въ ея присутствіи не иначе, какъ Любовь Андревна.

Я спросилъ: что̀ съ нею такое случилось?

Павлинъ задумался и развелъ руками, а потомъ неохотно промолвилъ:

— Должно-быть что-нибудь отъ воображенія.

— Развѣ, говорю,—Любочка очень мнительна?

— Нѣтъ-съ,—если вы полагаете мнительность насчетъ болѣзни, то нѣтъ-съ; на этотъ счетъ онѣ не мнительны, а даже напротивъ... не занимаются собой; а... такъ... въ характерѣ у нея сохраняется что-то... этакое...

Мы на этомъ разстались, и послѣ долго не видѣлись, но вдругъ, совсѣмъ неожиданно, въ одинъ осенній вечеръ ко

мнѣ приходитъ Павлинъ и съ тревожнымъ выраженіемъ сообщаетъ, что Люба заболѣла.

— Пришла,—говоритъ,—въ прошлую субботу ко мнѣ вечеркомъ на одну минуту и вдругъ разнемоглась и всѣхъ перепугала. Анна Львовна своего доктора прислали, и даже сами приходили и молодой баринъ... но теперь ей лучше: спала немножко и, проснувшись, говоритъ: «какъ бы мнѣ хотѣлось что-нибудь о моей мамашѣ слышать!» Сдѣлайте милость, пожалуйте къ ней посидѣть. Она про васъ вспомнила—и я замѣчаю, что ей хотѣлось бы про дѣтство свое поговорить, такъ какъ вы ея мать видѣли. Вы этимъ ей, больной, большое удовольствіе можете принести.

Я всталъ и пошелъ.

— Только, знаете, если она будетъ много спрашивать, вы ей не все говорите,—шепнулъ Павлинъ, вводя меня въ заповѣдную дверь своей швейцарской комнатки.

Эта комната, которую я теперь видѣлъ въ первый разъ, была очень маленькая, но преопрятная и пріютная; она мнѣ съ перваго же взгляда напомнила хорошенькую коробочку, въ которой лежитъ хорошенькая саксонская куколка: куколка эта и была пятнадцатилѣтняя Люба.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Павлинъ оставилъ насъ здѣсь съ Любою вдвоемъ, а самъ пошелъ хлопотать о чаѣ. Люба сидѣла въ креслѣ, съ ногами, положенными на скамеечку и укутанными старенькимъ, но очень чистымъ пледомъ. Я привѣтствовалъ ее выраженіемъ удовольствія, что она поправляется, и сѣлъ напротивъ ея черезъ столикъ.

Она мнѣ ничего не отвѣтила, но вздохнула и сдѣлала гримаску, которую я принялъ за выраженіе какого-нибудь болѣзненнаго ощущенія, но это была ошибка: Люба хотѣла показать своею гримасою, что она недовольна и безутѣшна.

— Я вовсе не рада, что я выздоравливаю,—проговорила она мнѣ, наконецъ, надувъ свою губку.

— Не рады! что же, вамъ нравится болѣть?—отвѣчалъ я, стараясь настроить разговоръ на шутливый тонъ; но Люба еще больше насупилась и молвила:

— Нѣтъ, не болѣть, а у...

— «У?..»—отвѣчалъ я съ попыткою обратить дѣло въ шутку.—Вамъ еще рано «у...»

— Я очень несчастна, — пропепетала больная, и слёзы ручьями полились по обѣимъ ея щекамъ.

Я старался ее успокоить общими утѣшеніями въ родѣ того, что вся ея жизнь еще впереди и пройдетъ тяжелая полоса, наступитъ и лучшая, но она махнула мнѣ ручкою и нетерпѣливо сказала:

— Никогда мнѣ ничего лучшаго не будетъ.

— Почему?

— Такъ... мнѣ это на роду написано.

Я посмотрѣлъ на нее и не нашелся, что ей отвѣчать: въ ея словахъ звучало не минутное болѣзненное настроеніе, а въ самомъ дѣлѣ что-то роковое, и во всемъ существѣ ея лежало что-то неотразимое, феральное. Молодое ея личико напоминало мнѣ лица ея бабушки и матери. Разговоръ нашъ перервался и не шелъ далѣе. Люба не выспрашивала меня о своемъ прошломъ, какъ ожидалъ Павлинъ, а молчала и сердилась. На что?—очевидно, на свое положеніе. Кого же она въ немъ винила? устроившее такъ Провидѣніе?.. нѣтъ; у нея, кажется, былъ на умѣ другой виноватый—и этотъ виноватый, какъ мнѣ показалось, едва ли не Павлинъ. Подозрительность подсказывала мнѣ, что, вѣроятно, между ними незадолго передъ этимъ произошла какая-нибудь сценка, отъ которой Павлинъ растерялся—и, не желая безпокоить Любу своимъ присутствіемъ, а въ то же время жалѣя оставить ее одну, позвалъ меня къ ней самъ, безъ всякаго ея желанія. Та же, можетъ-быть, не совсѣмъ основательная подозрительность подсказывала мнѣ, что Павлинъ нажилъ себѣ въ Любѣ напасть. Люба казалась мнѣ дѣвочкою не въ мѣру чувствительною, претензіозною и суетною,—а я уже тогда зналъ, что съ такими существами серьезному человѣку не легко ладить. Мнѣ сдавалось, что все страданіе Любы, главнымъ образомъ, происходитъ отъ того, что она живетъ въ швейцарской, а не въ бельэтажѣ, и что она обязана благодарностью *лакею*, а не его госпожѣ... И вотъ, придя съ тѣмъ, чтобы сожалѣть Любу, я невольно началъ жалѣть Павлина. Онъ, казалось, уже пассовалъ передъ нею, и теперь чувствовалъ, что онъ прирожденный лакей,—а она, всѣмъ ему обязанная, все-таки прирожденная барышня, въ которой сила привычки заставляетъ его признавать существо чѣмъ-то его превышающее. Люба тоже несомнѣнно замѣчала это преобладаніе надъ своимъ воспи-

тателемъ, но у нея не было великодушія, чтобы быть скромною и благодарною. Разговорившись со мною, она всего охотнѣе разсказывала лишь о томъ, что у нея сегодня и вчера была сама Анна Львовна и ея старшій сынъ Вольдемаръ, тогда только-что произведенный въ корнеты одного изъ щегольскихъ гвардейскихъ кавалерійскихъ полковъ. Надутая и молчаливая. Люба чрезвычайно охотно распространялась объ ихъ посѣщеніи и о томъ, что они «говорили съ нею по-французски, потому что не хотѣли, чтобы Павлинъ понималъ ихъ разговоръ», и при этомъ Люба со вниманіемъ разсматривала и нюхала оставленный ей старою генеральшею флаконъ съ ароматическимъ уксусомъ. Послѣ этого разговора я былъ окончательно убѣжденъ, что для того, чтобы вылѣчить Любу—надо бы ее только какъ кошечку перекинуть съ мѣста на мѣсто, то-есть перенести изъ швейцарской въ бельэтажъ,—и послѣдствія невдалекѣ же показали мнѣ, что я не ошибся.

Выздоровѣвъ и побывавъ въ бельэтажѣ у генеральши, молоденькая Люба нашла отраду въ томъ, чтобы хотя нѣсколько часовъ въ день не удаляться оттуда. Въ мастерскую, куда она была отдана Павлиномъ, теперь ей было такъ тяжело идти, что при одной мысли объ этомъ она снова разнемогалась. Павлинъ не зналъ, что̀ ему съ нею дѣлать: онъ все только жаловался, говоря:

— Вотъ, вотъ люди!.. Гм!.. подруги... наговорили ей, знаете, про то, что она... благородная! Теперь не хочетъ! А что̀ такое это благородство?—пустяки.

Принудить же Любу, заставить, поневолить ее идти въ мастерскую... на это непреклонная воля Павлина была безсильна. Взять же ее къ себѣ и держать въ своей каморочкѣ онъ тоже находилъ неудобнымъ и непристойнымъ, такъ какъ каморка была тѣсна, а Люба была уже почти совсѣмъ взрослая дѣвушка. Однимъ словомъ, дѣло гнуло совсѣмъ не туда, куда направлялъ его Павлинъ,—и что̀ же вы думаете: какъ онъ нашелся уладить всю эту неладицу? Ручаюсь, что вы не отгадаете!.. Павлинъ черезъ годъ женился на этой шестнадцатилѣтней Любѣ, на этой пустой и напыщенной дѣвчонкѣ, которая его презирала со всею жестокостью безнатурности,—и вы были бы несправедливы, если бы хоть на одну минуту подумали, что Павлинъ Любу къ этому прямо или косвенно чѣмъ-нибудь приневоливалъ.

Нимало нѣтъ; молодая дѣвушка сама этого захотѣла. А какъ ей это пришло въ голову—про это я вамъ сейчасъ разскажу

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Какъ иногда люди женятся и выходятъ замужъ? Хорошіе наблюдатели утверждаютъ, что едва ли въ чемъ-нибудь другомъ человѣческое легкомысліе чаще проглядываетъ въ такой ужасающей мѣрѣ, какъ въ устройствѣ супружескихъ союзовъ. Говорятъ, что самые умные люди покупаютъ себѣ сапоги съ гораздо большимъ вниманіемъ, чѣмъ выбираютъ подругу жизни. И вправду: не въ рѣдкость, что этимъ выборомъ какъ-будто не руководствуетъ ничто, кромѣ слѣпого и насмѣшливаго случая. Такъ было и у Павлина съ Любою.

Люба хотѣла только не идти въ магазинъ, гдѣ какая-то дѣвочка сказала ей грубость,—и въ этихъ цѣляхъ «пижонилась» и, ластясь подъ крылышко Анны Львовны, жаловалась и горевала, что ей опять надо идти туда, гдѣ люди такъ необразованны и грубы, что не умѣютъ цѣнить преимуществъ ея происхожденія, а напротивъ, какъ бы мстятъ ей за него.

— Да и навѣрное они мстятъ тебѣ,—отвѣчала, глядя на Любу, Анна Львовна.

Онѣ обѣ въ это время сидѣли и работали у матоваго карселя въ уютномъ кабинетѣ.

— И чему этотъ Павлинъ хочетъ тебя еще учить? Не понимаю я этого!—продолжала Анна Львовна, взглянувъ на Любину работу:—по-моему, ты и теперь уже превосходная мастерица.

— *Онъ* хочетъ мнѣ открыть магазинъ...

— *Онъ*... Позволь мнѣ тебѣ сказать, что этотъ твой *онъ*—ужасный, пестрый, гороховый шутъ. Зачѣмъ онъ будетъ тебѣ открывать магазинъ?

— А что же ему со мной дѣлать?

— Что дѣлать?.. Очень просто; я не понимаю: зачѣмъ онъ на тебѣ не женится?

Дѣвушка потупилась и промолчала. Она тогда еще едва ли думала о замужествѣ, но во всякомъ случаѣ оно представлялось ей желаннымъ вовсе не съ Павлиномъ. Генеральша видѣла, что высказанная ею мысль не приходила въ голову Любы, но видѣла и то, что она ее, однако, не

пугаетъ и, повидимому, довольно хорошо укладывается въ ея головѣ.

— Конечно такъ,—продолжала генеральша.—Ты думаешь, это легко быть модисткой: лгать всякой рожѣ: «это хорошо! это вамъ идетъ», да потрафлять на всякій капризъ и становиться передъ каждою на колѣни да мѣрку снимать?.. А между тѣмъ, выйди ты замужъ... это гораздо лучше. Особенно если за него, за Павлина; тогда бы мы съ тобой никогда не разставались: ты бы у насъ при гостяхъ разливала чай и кофе, я бы тебѣ что-нибудь платила, на гардеробъ; а по вечерамъ мы бы съ тобою сидѣли и вмѣстѣ работали, ожидали бы, пока Володя пріѣдетъ и разскажетъ намъ гдѣ что дѣлается. Володя очень любитъ съ тобою говорить, и ты всегда будешь какъ своя въ нашемъ домѣ.

Люба, краснѣя, молчала, и на рѣсницахъ у нея стали поблескивать слезки, а генеральша продолжала:

— А то ты подумай, что же, если ты, открывши магазинъ, когда-нибудь и выйдешь хоть и за молодого человѣка, да за необразованнаго какого-нибудь, положимъ, хоть ремесленника, или даже художника—ничего вѣдь изъ этого лучше не будетъ. Такъ въ томъ кружкѣ и погрязнешь. А за кого-нибудь другого, повыше, тебѣ выйти мудрено. потому что ты не такъ поставлена.

— Я это знаю,—произнесла, глотая слезы, Люба.

— Вотъ и прекрасно, что ты такая умница! А Павлинъ, какъ ты хочешь, онъ хоть не молодъ, но человѣкъ рѣдкихъ правилъ, онъ тебя ни въ чемъ не стѣснитъ: я его болѣе двадцати лѣтъ знаю и всегда онъ честенъ, всегда уменъ, всегда въ порядкѣ и при томъ всемъ, хотя я не вѣрю, что люди болтаютъ, будто бы онъ нажилъ себѣ у меня порядочныя деньги, но онъ человѣкъ очень бережливый и какія-нибудь деньжонки у него непремѣнно есть въ запасѣ. Вотъ пусть онъ на тебя этотъ запасецъ-то и порастрясетъ. Да, мой другъ, да! И ты этого стоишь. И оно, конечно, такъ все и будетъ, потому что что же ему можетъ быть пріятнѣе, какъ не наряжать молоденькую и такую хорошенькую жену? Повѣрь-ка мнѣ, что люди его лѣтъ гораздо надежнѣе, чѣмъ всякіе вертопрахи въ родѣ этого художника, который ходитъ снимать съ меня портретъ и все на тебя заглядывается.

Люба пламенѣла: она еще въ первый разъ слышала,

что на нее заглядываются мужчины — и притомъ слышала это отъ такой солидной женщины, какъ генеральша, къ которой молодая дѣвочка стремилась какъ травка къ солнцу. Ей было пріятно, что Анна Львовна ее такъ бережетъ—и Люба разнервничалась и, сбросивъ съ колѣнъ работу, кинулась къ ней на грудь и заплакала, лепеча:

— Заступитесь за меня, я васъ во всемъ буду слушаться.

Анна Львовна отвѣчала ласками на ея ласки и продолжала ее наставлять и уговаривать и, наконецъ, заключила:

— Я только одного боюсь, можетъ-быть Павлинъ въ самомъ дѣлѣ тебѣ кажется немножко старъ?

Люба молчала.

— Можетъ-быть тебѣ непремѣнно хочется молоденькаго мужа?

— Ахъ, я ничего объ этомъ не говорю,—перебила Люба.

— Ну, и прекрасно, если ты этого не говоришь, такъ и дай Богъ добрый часъ.

Дѣвушка испугалась, что все было такъ скоро кончено, и, краснѣя, поспѣшила сказать, что она ни за кого не пойдетъ замужъ; но Анна Львовна пропѣла ей стишокъ изъ «Краснаго сарафана», что «не вѣкъ-де пташечкой въ полѣ распѣвать и златокрылой бабочкой порхать» и, разсмѣявшись, приподняла рукою ея личико и спросила:

— Не хочешь ли ты въ монастырь?

— Мнѣ все равно,—отвѣчала шопотомъ Люба.

— О-о-о, лжешь; не тѣ у тебя глазенки, чтобы идти въ монастырь. Нѣтъ, ты тамъ всѣхъ будешь смущать: мужчины, вмѣсто того, чтобы Богу молиться, будутъ на тебя смотрѣть.

Дѣвушка разсмѣялась.

— А вотъ что... шутки въ сторону, ты подумай, на что тебѣ рѣшиться: я тебѣ объ этомъ давно хотѣла сказать и теперь такъ серьезно говорю, потому что вижу, что ты насъ очень полюбила...

— Я васъ очень, очень люблю!—подтвердила Люба, покрывая поцѣлуями генеральшины руки.

— Да, и я понимаю, что, побывъ съ нами, ты въ мастерскую къ этимъ своимъ швеямъ рѣшительно не можешь идти...

— Рѣшительно не могу! Я скорѣе утоплюсь.

— Я все это понимаю; рѣшительно все понимаю, но но

знаю, зачѣмъ топиться: это грѣхъ. Павлину не дѣлаетъ чести, что онъ такой умный человѣкъ, а посылаетъ тебя, гдѣ ты наслушиваешься всѣхъ этихъ нехристіанскихъ мыслей: я уже ему про это говорила...

— Вы ему говорили *про это*?

— Да; я ему говорила, и онъ тоже это понимаетъ и согласенъ со мною, но ты посуди: куда же ему тебя дѣть? Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь съ тобою очень трудно что-нибудь придумать: ты такъ воспитана, что гувернанткою ты не можешь быть, потому что мало знаешь; бонною при дѣтяхъ ты тоже еще не годишься, потому что очень молода; а вѣдь въ швеи или въ горничныя тебя опредѣлить—это ему будетъ очень тяжело... Онъ о тебѣ все-таки заботился... Неправда ли?

Дѣвушка уронила тихое «да»

— Ну, вотъ видишь, — продолжала генеральша: — я бы, положимъ, сама взяла тебя къ себѣ жить...

Люба кинулась передъ нею на колѣни и воскликнула:

— Ахъ, возьмите! возьмите! Бога ради, возьмите!

— Но какая же будетъ у меня твоя роль?

— Это все равно; только бы у васъ...

— Да и Павлинъ этого не захочетъ, онъ непремѣнно найдетъ, что это не хорошо, и не захочетъ; къ тому же у меня взрослый сынъ мужчина. Положимъ, что онъ у меня добрый молодой человѣкъ, и очень тебя любитъ, но все-таки ты теперь уже совершеннолѣтняя дѣвушка и это не идетъ. А разъ, что ты выйдешь за Павлина замужъ... тогда все это прекрасно улаживается.

Дѣвушка молчала, а Анна Львовна продолжала:

— Мой совѣтъ вотъ: послушайся меня и выходи за Павлина замужъ, и ты будешь жить преспокойно; а время свое ты будешь проводить у насъ: я стара и мнѣ всѣ простятъ, что я тебя къ себѣ приблизила...

Люба опять молчала.

— Ну, что же, надо говорить, а не молчать: быть такъ или нѣтъ?

Дѣвушка опять припала къ мягкой пухлой рукѣ своей покровительницы и прошептала:

— Вы лучше знаете, что̀ мнѣ нужно: я на все согласна.

Такъ экспромтомъ подготовилось это несчастье для Павлина съ Любою, въ которую Павлинъ дѣйствительно былъ

жестоко влюбленъ, но только не смѣлъ о ней думать. Когда же генеральша все это за него обдумала и прямо открыла передъ нимъ двери рая—у него закружилась голова, онъ позабылъ всѣ доводы разсудка, заставлявшаго его не мечтать о Любѣ.

Я какъ сейчасъ помню визитъ, которымъ онъ почтилъ меня, приглашая къ Любѣ шаферомъ; Павлинъ былъ неузнаваемъ: онъ просидѣлъ у меня съ часъ и все дѣлалъ въ это время себѣ разные комплименты, чего съ нимъ прежде никогда не бывало. Мысль, что его любитъ молодая дѣвушка, очевидно, до того вскружила ему голову и развязала языкъ, что онъ сдѣлался несносно болтливъ и даже хвастливъ, но, конечно, совершенно по-своему. Онъ и въ этомъ порывѣ говорливости все стоялъ на почвѣ долга.

— Я человѣкъ простой,—говорилъ онъ:—но я человѣкъ довольно начитанный, и я, извольте видѣть, раньше времени себя не погубилъ. Я давно развѣ не могъ бы жениться-съ? Очень бы могъ-съ и многія женщины мнѣ къ этому виды подавали, но я имѣлъ такой долгъ, чтобы этого не сдѣлать. Проще сказать: я для родныхъ этого не сдѣлалъ. Глупые люди говорили, что родные мои будутъ мнѣ неблагодарными родственниками, а я останусь на старости лѣтъ одинъ. Что же, я никогда на это не уважалъ. Я вѣдь роднымъ помогалъ не изъ благодарности, а долгъ свой исполнялъ: я и Любовь Андревну воспиталъ совсѣмъ не изъ благодарности и не изъ какихъ-нибудь видовъ, а вышло вотъ, что счастье себѣ и подругу въ нихъ получилъ. Надо всегда дѣлать все какъ должно, а уже оно само непремѣнно все выйдетъ какъ слѣдуетъ на настоящую пользу.

Этотъ обобщающій выводъ меня чрезвычайно заинтересовалъ, и я съ величайшимъ вниманіемъ слушалъ, какъ Павлинъ все подводилъ подъ это правило: выходило, что онъ и окна у жильцовъ выставлялъ для блага человѣчества, въ тѣхъ видахъ, что *она*, т. е. Анна Львовна, жалости не знаетъ и надо, чтобы на свѣтѣ никто на жалостливыхъ не разсчитывалъ, потому что ихъ немного, да и въ тѣхъ можно ошибиться и «тогда хуже выйдетъ». А строгость лучше: при ней всякъ о себѣ больше заботится и, злыхъ людей опасаясь, лучшее себѣ во всемъ получаетъ.

И за симъ, менѣе чѣмъ черезъ двѣ недѣли послѣ этого разговора, Павлинъ сдѣлался мужемъ своей питомки, Любы,—

а вскорѣ и очень большимъ страдальцемъ по ея милости и по милости другихъ, не пощадившихъ ни его заслугъ, ни его сѣдинъ и достоинствъ его замѣчательнаго, твердаго и честнаго характера.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Я не знаю, достаточно ли я обрисовалъ въ началѣ своего разсказа генеральшу Анну Львовну?—вѣроятно, нѣтъ,—и потому теперь еще разъ обращусь къ этому и вкратцѣ скажу, что это была женщина не только сухая, своекорыстная и жесткая, но и едва ли не жесточайшая и разсчетливѣйшая эгоистка въ мірѣ, способная не остановиться ни передъ чѣмъ, ради самыхъ ничтожныхъ своихъ выгодъ. Она всегда была готова съ невозмутимѣйшимъ спокойствіемъ приносить въ жертву для самомельчайшихъ своихъ расчетовъ и счастіе, и самую жизнь своего ближняго.

То самое сдѣлала она и теперь, соединивъ пожилого Павлина узами брака съ юною Любой. Анна Львовна знала, что Люба не можетъ любить Павлина, и не ошибалась: ни лежавшая между супругами огромная разница лѣтъ, ни строгость Павлинова характера, ни его внѣшняя суровость,—ничто не позволяло надѣяться, что Люба рано или поздно привыкнетъ къ своему мужу и станетъ питать къ нему что-нибудь, кромѣ страха и отвращенія—не столько какъ къ старику, сколько какъ къ лакею...

Генеральша Анна Львовна сама хотя давно умерла для всякихъ увлеченій, но все-таки она была женщина—и знала, что въ такомъ супружествѣ, какое она устроила для Павлина и Любы, у послѣдней непремѣнно будетъ много горькихъ минутъ если не бѣшеной, то тихой, но ядовитой тоски; а отъ тоски разовьется мечтательность, мечтательность воспитываетъ безпокойное воображеніе, а безпокойное воображеніе чего не нарисуетъ и чего не подстроитъ? Анна Львовна знала, что въ молодой головѣ съ безпокойнымъ воображеніемъ непремѣнно скоро пойдутъ сравненія—и, какъ вообще никакая жизнь не можетъ выдержать сравненій съ пылкою мечтою, мечта ее одолѣетъ, и... Люба увлечется и очутится въ рукахъ Анны Львовны.

Вы не подумайте, пожалуйста, что я обмолвился, сказавъ вамъ, будто генеральшѣ понадобилось, чтобы Люба попала въ *ея руки*. Нѣтъ, ей дѣйствительно такъ было нужно.

Чтобы скорѣе вести мою исторію къ концу, скажу вамъ прямо, что Анна Львовна, соединивъ Павлина съ Любою, затѣяла на ихъ счетъ прежестокую игру, мысль и планъ которой внушили ей самыя возвышенныя чувства, именно *материнскія*.

Володичка, служа въ щегольскомъ полку, стоилъ Аннѣ Львовнѣ дорого и велъ себя рискованно. Аннѣ Львовнѣ хотѣлось его немножечко присадить дома, а какъ его присадишь, когда его тянетъ на десно и налѣво. Женить его было рано; вниманіемъ свѣтскихъ женщинъ онъ хотя и хвастался, но на самомъ дѣлѣ ни въ чемъ подобномъ никогда никакого успѣха не имѣлъ; иностранныя дамы изъ «морскихъ» и въ тѣ времена обходились такъ дорого ихъ адораторамъ, что генеральша трепетала всякаго слуха о сближеніи Володички съ этими кровопійцами, — а, между тѣмъ, Володичка доказывалъ, что онъ, какъ русскій барчукъ извѣстнаго тона, непремѣнно долженъ жить, какъ всѣ «порядочные люди»; а для того, чтобы жить такъ,—онъ, конечно, хотѣлъ обнаруживать покровительственныя права на какую-нибудь женщину, которая бы была не хуже другихъ за веселымъ столомъ у любого изъ «морскихъ» ресторaторовъ.

Генеральша и сама понимала, что это настоящему свѣтскому кавалеристу необходимо и противъ этого не спорила; но это и тогда, какъ и теперь, стоило чертовски дорого, и вотъ... Но добрая мать, послѣ долгоночныхъ думъ и соображеній, набрела на мысль, что у нея противъ всего этого есть подъ рукою универсальнѣйшее средство, и это средство есть Люба. Люба молода, хороша и пикантна,—и если ее немножечко *поразвить*, то она очень и очень можетъ отслужить Додѣ службу за выѣздную даму; а что Додя влюбитъ ее въ себя—въ томъ можетъ ли быть сомнѣніе?

Онъ на взглядъ матери былъ хорошъ собою—и хотя она считала его «дуракомъ на службѣ», но у него такой красивый мундиръ, онъ умѣетъ подбирать себѣ аккомпанементъ и поетъ романсы въ родѣ кружившаго тогда женскія головы пѣснопѣнія объ «удаломъ постояльцѣ».

«Какъ хорошъ, не правда-ль, мама
Постоялецъ нашъ удалый?..
Мундиръ золотомъ весь шитый,
И какъ жаръ горитъ ланиты..
Боже мой, Боже мой, ахъ, когда бы онъ былъ мой!»

Анна Львовна знала, что того скуднаго обаянія, какимъ владѣлъ ея «дуракъ на службѣ», было много, слишкомъ много для легкомысленной женщины, имѣющей семнадцать лѣтъ отъ роду и мужа-старика, котораго она стыдится... Игра казалась безпроигрышною и началась подтасовка и сдача на руки картъ.

Прежде всего, чтобы повысить соціальное положеніе Любы, обратились къ шуткѣ: ее всѣ въ домѣ звали «швейцаркой Любой». Это очень хорошо звучало и удачно маскировало ея лакейскій марьяжъ. Всѣ молодые люди, вертѣвшіеся въ домѣ Анны Львовны, видѣли въ Любѣ не молоденькую жену надутаго швейцара Павлина, а что-то совсѣмъ особенное, стоящее совсѣмъ ни отъ кого независимо и... и привлекательно.

За Любою началось волокитство, умѣренное и сначала благоприличное, но постоянное, упорное и неотвязчивое. Ухаживали за нею безъ исключенія всѣ товарищи Доди. Любѣ не нравился изъ нихъ никто: она довольна была всѣми, кого видѣла въ домѣ Анны Львовны, но, какъ говорили встарь поэты, сердце ея еще никого не избрало, и Павлинъ былъ счастливъ. Счастливъ чѣмъ? Развѣ Люба такъ любила и счастливила? Нѣтъ; Люба была все та же: она отъ него только тщательно сторонилась и проводила все свое время у Анны Львовны за работою или разливаніемъ кофе и чая, но Павлинъ безмѣрно любилъ ее и не желалъ ничего, кромѣ ея счастья. Для ея счастья нужно было не быть съ нимъ—онъ и это принималъ съ удовольствіемъ.

Уязвленный страстію, Павлинъ совсѣмъ, что называется, ослѣпъ и осуетился: его прирожденный демократизмъ стаялъ какъ снѣгъ, и онъ самъ хотя и не стыдился своей пестрой ливреи, но, видимо, желалъ, чтобы Люба забирала крыломъ повыше. Люба, знакомая съ французскимъ языкомъ съ дѣтства и подучившаяся ему еще болѣе въ школѣ, а потомъ окончательно напрактиковавшаяся у Анны Львовны, радовала своего мужа тѣмъ, что она могла держать себя совсѣмъ какъ барышня, совсѣмъ какъ иностранка,—словомъ, швейцарка по всѣмъ статьямъ.

Въ Павлинѣ, который всего этого какъ бы самъ желалъ, въ то же время развивалась особенная, весьма странная робость, которую онъ чувствовалъ передъ капризами Любы.

[illegible]

Нѣкто изъ пріятелей сына генеральши, имѣвшій небольшой талантъ граціозно рисовать карандашомъ женскія головки, безпрестанно набрасывалъ во всѣхъ альбомахъ легкую, бѣлокурую головку швейцарки Любы. Головка эта ему особенно удавалась, и молодежь наперебой выпрашивала себѣ у автора эти пріятные абрисы.

Эскизы эти, расходясь по рукамъ jeunesse dorée, сообщали Любѣ довольно широкую популярность. Люба, сама того не зная и вовсе о томъ не заботясь, сдѣлалась въ нѣкоторомъ родѣ магнитомъ для очень многихъ молодыхъ людей, желавшихъ видѣть оригиналъ художественнаго списка. Такимъ образомъ, у Любы являлось все больше и больше поклонниковъ: за нею волочились, насколько это было удобно, и генеральша это видѣла и допускала.

Что же касается до Павлина, то онъ обнаруживалъ въ отношеніяхъ къ своей молоденькой женѣ такую толерантность, какой не встрѣтите у очень многихъ крикуновъ о независимости чувствъ и о равноправіи половъ въ разсужденіи свободы. Павлинъ, впрочемъ, предавался въ это время нѣкоторой суетности: онъ *молодился* и съ этою цѣлію досталъ гдѣ-то рѣдкую, по его словамъ, книгу, изъ которой вычитывалъ замѣчательныя вещи. Такъ, напримѣръ, онъ однажды разсказывалъ мнѣ, что «совсѣмъ утвердился въ своихъ правилахъ насчетъ обязанности человѣка, который, если будетъ жить по правоученію долга, то проживетъ на свѣтѣ по меньшей мѣрѣ сто лѣтъ».

Свой вѣкъ въ пятьдесятъ лѣтъ Павлинъ разсматривалъ на основаніи той книги только какъ *совершеннолѣтіе* и по той же книгѣ увѣрялъ, что «умираютъ ранѣе ста лѣтъ одни глупцы,—а болѣютъ негодяи, которые практики жизни не понимаютъ». Что же касается до него, то онъ всеконечно былъ глубоко убѣжденъ, что имъ эта «практика» вполнѣ усвоена.

— Я,—говорилъ онъ:—никогда боленъ не былъ и не знаю зачѣмъ болѣть: живи какъ слѣдуетъ; не пей вина, ни кофею; не копти грудь табакомъ и не заболишь; спи безъ подушки въ правильную линію и не будешь гнуться; а ѣшь солонѣе и пей кислѣе, такъ и умрешь не сгніешь.

Изъ этихъ сказовъ Павлина я позналъ тайны его обыденной гигіены и подумывалъ: врядъ ли все это можетъ нравиться молоденькой и свѣженькой Любѣ?

Бѣдный старикъ, кажется, безпрестанно стѣснялся тѣмъ, что она родовая барышня, а онъ лакей. Ему, вѣроятно, никогда и въ голову не приходило, что онъ будетъ ее такъ любить и такъ ея стѣсняться, какъ это вышло. Онъ противъ этого нимало не возставалъ и не возмущался: напротивъ, ему даже нравилось служить Любѣ и во всемъ поблажать ей. Онъ рядилъ ее какъ куколку, рядилъ именно, чтобы она походила не на швейцаршу, а на настоящую швейцарку.

Это порядкомъ опустошало мѣшокъ его завѣтныхъ, но относительно, конечно, весьма незначительныхъ сбереженій; но онъ все это терпѣлъ безропотно и усугублялъ экономію на себя и на всѣ тѣ статьи, гдѣ могъ замѣнить расходы личнымъ трудомъ. Такъ, съ женитьбою своею онъ хотя не ослабѣлъ въ исполненіи своихъ служебныхъ обязанностей, но у него уже не оставалось такъ много времени для чтенія романовъ, потому что чуть Люба, вставши и разодѣвшись, утромъ отправлялась наверхъ къ Аннѣ Львовнѣ, Павлинъ убиралъ свою комнату, пересматривалъ женинъ гардеробъ и, наконецъ, брался приводить его въ порядокъ.

Люба наверху шила для Анны Львовны разные broderie anglaise, а Павлинъ, запершись на ключъ въ своей чистенькой каморочкѣ, чистилъ женины сапожки, закрѣплялъ подпоровшуюся прюнель, закрѣплялъ пуговки и крючочки и грѣлъ въ маленькой круглой печкѣ плоильные щипцы и утюги, а когда они раскалялись—вытаскивалъ изъ-за шкапа гладильную доску, покрывалъ ее чистымъ закатникомъ и начиналъ гладить и плоить ея рукавчики, юбки и манишки.

Взявшись за эти занятія въ видахъ экономіи, Павлинъ скоро достигъ въ глаженьѣ и плойкѣ надлежащаго совершенства, но сбереженія отъ всего этого были ничтожны въ сравненіи съ огромными расходами, какихъ требовало франтовство Любы и страсть Павлина утѣшать ее хорошими нарядами, о которыхъ Люба его никогда не просила, но которыми влюбленный старикъ самъ хотѣлъ ее забавлять и тѣшить.

При такомъ баловствѣ и холѣ, Любѣ не трудно было для всѣхъ посѣтителей дома Анны Львовны оставаться на счету интересной «швейцарки»,—иностранки, которою заниматься въ качествѣ хорошенькой, пикантной женщинки, отнюдь не предосудительно: съ нею говорили, смѣялись, шутили и вообще обращались какъ съ ровною.

Нѣкто изъ пріятелей сына генеральши, имѣвшій небольшой талантъ граціозно рисовать карандашомъ женскія головки, безпрестанно набрасывалъ во всѣхъ альбомахъ легкую, бѣлокурую головку швейцарки Любы. Головка эта ему особенно удавалась, и молодежь наперебой выпрашивала себѣ у автора эти пріятные абрисы.

Эскизы эти, расходясь по рукамъ jeunesse dorée, сообщали Любѣ довольно широкую популярность. Люба, сама того не зная и вовсе о томъ не заботясь, сдѣлалась въ нѣкоторомъ родѣ магнитомъ для очень многихъ молодыхъ людей, желавшихъ видѣть оригиналъ художественнаго списка. Такимъ образомъ, у Любы являлось все больше и больше поклонниковъ: за нею волочились, насколько это было удобно, и генеральша это видѣла и допускала.

Что же касается до Павлина, то онъ обнаруживалъ въ отношеніяхъ къ своей молоденькой женѣ такую толерантность, какой не встрѣтите у очень многихъ крикуновъ о независимости чувствъ и о равноправіи половъ въ разсужденіи свободы. Павлинъ, впрочемъ, продавался въ это время нѣкоторой суетности: онъ *молодился* и съ этою цѣлію досталъ гдѣ-то рѣдкую, по его словамъ, книгу, изъ которой вычитывалъ замѣчательныя вещи. Такъ, напримѣръ, онъ однажды разсказывалъ мнѣ, что «совсѣмъ утвердился въ своихъ правилахъ насчетъ обязанности человѣка, который, если будетъ жить по нравоученію долга, то проживетъ на свѣтѣ по меньшей мѣрѣ сто лѣтъ».

Свой вѣкъ въ пятьдесятъ лѣтъ Павлинъ разсматривалъ на основаніи той книги только какъ *совершеннолѣтіе* и по той же книгѣ увѣрялъ, что «умираютъ ранѣе ста лѣтъ одни глупцы,—а болѣютъ негодяи, которые практики жизни не понимаютъ». Что же касается до него, то онъ всеконечно былъ глубоко убѣжденъ, что имъ эта «практика» вполнѣ усвоена.

— Я,—говорилъ онъ:—никогда боленъ не былъ и не знаю зачѣмъ болѣть: живи какъ слѣдуетъ; не пей вина, ни кофею; не копти грудь табакомъ и не заболишь; спи безъ подушки въ правильную линію и не будешь гнуться; а ѣшь солонѣе и пей кислѣе, такъ и умрешь не сгніешь.

Изъ этихъ сказовъ Павлина я позналъ тайны его обыденной гигіены и подумывалъ: врядъ ли все это можетъ нравиться молоденькой и свѣженькой Любѣ?

Бѣдный старикъ, кажется, безпрестанно стѣснялся тѣмъ, что она родовая барышня, а онъ лакей. Ему, вѣроятно, никогда и въ голову не приходило, что онъ будетъ ее такъ любить и такъ ея стѣсняться, какъ это вышло. Онъ противъ этого нимало не возставалъ и не возмущался: напротивъ, ему даже нравилось служить Любѣ и во всемъ поблажать ей. Онъ рядилъ ее какъ куколку, рядилъ именно, чтобы она походила не на швейцаршу, а на настоящую швейцарку.

Это порядкомъ опустошало мѣшокъ его завѣтныхъ, но относительно, конечно, весьма незначительныхъ сбереженій; но онъ все это терпѣлъ безропотно и усугублялъ экономію на себя и на всѣ тѣ статьи, гдѣ могъ замѣнить расходы личнымъ трудомъ. Такъ, съ женитьбою своею онъ хотя не ослабѣлъ въ исполненіи своихъ служебныхъ обязанностей, но у него уже не оставалось такъ много времени для чтенія романовъ, потому что чуть Люба, вставши и разодѣвшись, утромъ отправлялась наверхъ къ Аннѣ Львовнѣ, Павлинъ убиралъ свою комнату, пересматривалъ женинъ гардеробъ и, наконецъ, брался приводить его въ порядокъ.

Люба наверху шила для Анны Львовны разные broderie anglaise, а Павлинъ, запершись на ключъ въ своей чистенькой каморочкѣ, чистилъ женины сапожки, закрѣплялъ подпоровшуюся прюнель, закрѣплялъ пуговки и крючочки и грѣлъ въ маленькой круглой печкѣ плоильные щипцы и утюги, а когда они раскалялись—вытаскивалъ изъ-за шкапа гладильную доску, покрывалъ ее чистымъ закатникомъ и начиналъ гладить и плоить ея рукавчики, юбки и манишки.

Взявшись за эти занятія въ видахъ экономіи, Павлинъ скоро достигъ въ глаженьѣ и плойкѣ надлежащаго совершенства, но сбереженія отъ всего этого были ничтожны въ сравненіи съ огромными расходами, какихъ требовало франтовство Любы и страсть Павлина утѣшать ее хорошими нарядами, о которыхъ Люба его никогда не просила, но которыми влюбленный старикъ самъ хотѣлъ ее забавлять и тѣшить.

При такомъ баловствѣ и холѣ, Любѣ не трудно было для всѣхъ посѣтителей дома Анны Львовны оставаться на счету интересной «швейцарки»,—иностранки, которою заниматься въ качествѣ хорошенькой, пикантной женщинки, отнюдь не предосудительно: съ нею говорили, смѣялись, *шутили* и вообще обращались какъ съ ровною.

Нѣкто изъ пріятелей сына генеральши, имѣвшій небольшой талантъ граціозно рисовать карандашомъ женскія головки, безпрестанно набрасывалъ во всѣхъ альбомахъ легкую, бѣлокурую головку швейцарки Любы. Головка эта ему особенно удавалась, и молодежь наперебой выпрашивала себѣ у автора эти пріятные абрисы.

Эскизы эти, расходясь по рукамъ jeunesse dorée, сообщали Любѣ довольно широкую популярность. Люба, сама того не зная и вовсе о томъ не заботясь, сдѣлалась въ нѣкоторомъ родѣ магнитомъ для очень многихъ молодыхъ людей, желавшихъ видѣть оригиналъ художественнаго списка. Такимъ образомъ, у Любы являлось все больше и больше поклонниковъ: за нею волочились, насколько это было удобно, и генеральша это видѣла и допускала.

Что же касается до Павлина, то онъ обнаруживалъ въ отношеніяхъ къ своей молоденькой женѣ такую толерантность, какой не встрѣтите у очень многихъ крикуновъ о независимости чувствъ и о равноправіи половъ въ разсужденіи свободы. Павлинъ, впрочемъ, предавался въ это время нѣкоторой суетности: онъ *молодился* и съ этою цѣлію досталъ гдѣ-то рѣдкую, по его словамъ, книгу, изъ которой вычитывалъ замѣчательныя вещи. Такъ, напримѣръ, онъ однажды разсказывалъ мнѣ, что «совсѣмъ утвердился въ своихъ правилахъ насчетъ обязанности человѣка, который, если будетъ жить по правоученію долга, то проживетъ на свѣтѣ по меньшей мѣрѣ сто лѣтъ».

Свой вѣкъ въ пятьдесятъ лѣтъ Павлинъ разсматривалъ на основаніи той книги только какъ *совершеннолѣтіе* и по той же книгѣ увѣрялъ, что «умираютъ ранѣе ста лѣтъ одни глупцы,—а болѣютъ негодяи, которые практики жизни не понимаютъ». Что же касается до него, то онъ всеконечно былъ глубоко убѣжденъ, что имъ эта «практика» вполнѣ усвоена.

— Я,—говорилъ онъ:—никогда боленъ не былъ и не знаю зачѣмъ болѣть: живи какъ слѣдуетъ; не пей вина, ни кофею; не конти грудь табакомъ и не заболѣнь; спи безъ подушки въ правильную линію и не будешь гнуться; а ѣшь солонѣе и пей кислѣе, такъ и умрешь не сгніешь.

Изъ этихъ сказовъ Павлина я позналъ тайны его обыденной гигіены и подумывалъ: врядъ ли все это можетъ нравиться молоденькой и свѣженькой Любѣ?

Онъ нимало не претендовалъ, что Люба почти не жила въ его швейцарскомъ затворѣ, въ которомъ съ женитьбою Павлина появились новые занавѣсы, цвѣты и канарейки. Онъ даже не ревновалъ, когда выходящіе отъ Анны Львовны молодые люди, принимая изъ его рукъ свои шинели, расточали неосторожно не совсѣмъ скромныя похвалы красотѣ «швейцарки». Павлинъ при этихъ хваленьяхъ только молчалъ и улыбался въ свои густые, свѣтлорусые усы.

Благоразумный и разсудительный, но всегда строгій къ себѣ и честный Павлинъ, не будучи способенъ ни къ какому коварству и предательству, не подозрѣвалъ его и въ другихъ—и потому, имѣя умъ свой чистымъ и свѣтлымъ, являлся совершенно слѣпымъ. Глядя на него, можно было провѣрить всю истинность словъ Бакона Веруламскаго о людяхъ, которые, вслѣдствіе преобладанія философскаго настроенія, дѣлаются совами, видящими только во мракѣ своихъ умозаключеній и слѣпотствующими при свѣтѣ дѣйствія, а особенно, лишенными способности видѣть то, что всего яснѣе и очевиднѣе. Такъ какъ «сынове міра сего мудрѣе сыновъ свѣта въ родѣ своемъ» и какъ Павлинъ въ своемъ родѣ былъ сынъ свѣта и слуга долга, то сынове міра перемудрили его и обокрали...

Люба была окончательно отвращена отъ мужа и затѣмъ, конечно, сбита съ толку и обманута сама. Какъ это произошло—я не стану вамъ разсказывать, потому что самъ при томъ не былъ и ни отъ кого этихъ подробностей не слыхалъ,—да и наконецъ, не все ли это равно намъ, какъ это сдѣлалось. Довольно того, что имѣющій стадо овецъ таки взялъ и отнялъ послѣднюю у имѣвшаго одну овцу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Вамъ, я думаю, едва ли нужно говорить, кто былъ виновникомъ увлеченія Любы? Не трудно отгадать, что она, при всеобщемъ за нею волокитствѣ, должна была сдѣлаться львиною долею Доди, которому особенно благопріятствовали на этотъ счетъ всѣ домашнія обстоятельства. Люба проводила съ нимъ дни и ночи подъ однимъ кровомъ—и, такъ-сказать, противъ воли поддалась увлеченію. Она видѣла, что онъ готовъ мстить ей, нарушая дорогое ей расположеніе Анны Львовны; видѣла, что когда онъ сунится и дуется на нее, это огорчаетъ ея благодѣ-

тельницу—и та плачетъ и страдаетъ... Люба не нашлась какъ поступить иначе и отерла ея слезы... Додя былъ малый пустой, онъ моталъ деньги, когда онѣ были, а когда ихъ не было, добывалъ ихъ подъ тройные векселя и при всемъ томъ не имѣлъ дамы, которая бы слыла его фавориткою. Люба ему представилась удобною для этой роли, и онъ ее къ тому предназначилъ и довелъ. На этотъ выходъ ее снарядилъ и одѣлъ самъ Павлинъ своими собственными руками (онъ мнѣ впослѣдствіи разсказывалъ объ этомъ въ одну прискорбнѣйшую минуту своей жизни).

Это былъ такой случай: на дворѣ стояла зима; въ городѣ шли балы и маскарады—и Анна Львовна, желая доставить бѣдной Любѣ маленькое удовольствіе, снарядила ее на одинъ изъ костюмированныхъ баловъ въ какомъ-то клубѣ. Объ этомъ выѣздѣ Павлину было сказано чуть ли не за мѣсяцъ, а въ теченіе этого мѣсяца въ домѣ шли хлопоты о любимомъ костюмѣ. Въ этихъ хлопотахъ принимали участіе всѣ, начиная отъ самой Анны Львовны до Павлина, который, сверхъ обыкновенія, былъ постоянно отрываемъ отъ должности и бѣгалъ съ записками то въ одинъ, то въ другой магазинъ за мелочами, требовавшимися къ волшебному костюму Любы. Самымъ же выполненіемъ костюма, требовавшимъ особыхъ художественныхъ соображеній, завѣдывалъ художникъ—другъ Доди, рисовавшій такіе удачные карандашовые портреты Любы. Все это, разумѣется, сближало молодыхъ людей до самой дружественной короткости и совсѣмъ затушевывало въ головкѣ Любы стараго мужа-лакея. Наконецъ, костюмъ былъ готовъ и вышелъ какъ нельзя болѣе удаченъ. Павлинъ увидалъ жену, сходившую по лѣстницѣ сверху въ сопровожденіи родственницы Анны Львовны, оберегавшихъ Любу кавалеровъ, въ числѣ коихъ были художникъ и Додя.

Люба была одѣта *Зарею*: на ней былъ легкій эѳирный хитонъ изъ расцвѣченной красками въ тѣнь дымки. Низъ этого широкаго, густыми складками падающаго платья былъ теменъ какъ ночь, но чѣмъ выше, тѣмъ болѣе темнота рѣдѣла, облегчалась, переходила мягкими полутонами въ другіе болѣе легкіе и яркіе цвѣта—и съ пояса вверхъ становилась уже воздушной и легкой, такъ что фигура Любы словно уносилась и таяла какъ облака. И посреди-то этого таянія, свѣтлая головка Любы сіяла вѣнчанная лиліей и

красною розой; а за плечами у нея сквозили переливами свѣта испещренныя тысячью цвѣтовъ восковыя крылышки, въ рукахъ же у нея былъ золотой свѣточъ, обвитый голубыми незабудками и махровымъ макомъ. Сонъ и пробужденіе, томная дрема страстей и яркій разгаръ ихъ—все знаменовалось въ Любѣ приличными приспособленіями, — и Павлинъ такою усадилъ ее въ карету, а черезъ четыре часа вынулъ ее изъ этой же кареты совсѣмъ другою... Люба, встрѣтивъ мужа, не сказала ему ни слова; не хотѣла прикоснуться къ приготовленной имъ для нея жареной курицѣ и пастилѣ, а сорвавъ съ себя платье, бросилась въ постель, обернулась къ стѣнѣ и, не двигаясь, пролежала въ такомъ положеніи остатокъ ночи и весь слѣдующій день. Павлинъ берегъ ея долгій сонъ, но берегъ его напрасно; Люба не спала,—она сначала долго плакала и потомъ лежала съ краснымъ воспаленнымъ лицомъ и сухими, открытыми глазами, устремленными въ одну точку.

Всякій мало-мальски наблюдательный человѣкъ, взглянувъ на эту женщину, не усомнился бы сказать, что у нея черезъ руки прошла большая игра, и это было вѣрно. Люба сама хотѣла открыть что-то на этотъ счетъ Павлину, но передумала и, дождавшись вечера, одѣлась и пошла жаловаться на Додю Аннѣ Львовнѣ. Однако, жалоба такъ дурно сочинялась въ ея головѣ, что она и это отмѣнила—и ограничилась тѣмъ, что пожаловалась на Додю ему самому и... заключила миръ поцѣлуемъ. Разъ начатые выѣзды и веселости подъ маскою—стали повторяться. Когда Павлинъ, дремля поздно вечеромъ въ своихъ креслахъ, поджидалъ запаздывающихъ жильцовъ парадной лѣстницы, или укладывался безъ подушки на жесткій коникъ за колоннами—онъ и не подозрѣвалъ, что въ это время его жена отнюдь не скучаетъ съ Анной Львовной, а носится въ черномъ домино по ярко-освѣщеннымъ маскарднымъ заламъ, въ вихрѣ танцевъ, а въ тѣ часы, когда онъ пробуждается и посылаетъ женѣ вверхъ на генеральшину половину мысленный привѣтъ, нѣжная Люба, съ головкою отуманенною парами шампанскаго, мчится на погромыхивающей бубенчиками тройкѣ, жадно глотая распаленными устами свѣжій воздухъ...

Долгонько все это шло шито да крыто. Обстоятельства такъ хорошо сложились, что, казалось, обманщицѣ никогда нечего было опасаться. Старая генеральша такъ рано ухо-

дила въ свою комнату и такъ плотно запирала за собою двери изъ маленькой моленной, гдѣ спала на обитомъ мягкимъ ковромъ отоманѣ Люба, что послѣдней не стоило никакого труда встать и одѣться въ свои лучшія платья, которыя по милости той же генеральши хранились въ шкафахъ ея гардеробной. Анна Львовна или крѣпко спала, или была такъ занята своими счетами, что никогда не слыхала этихъ сборовъ. Болѣе: она была такъ простодушна, что даже никогда невзначай имъ не помѣшала ни уходить, ни приходить. Возвращаясь въ образную, Люба могла, если хотѣла, поплакать передъ слабо освѣщенными строгими темными ликами фамильныхъ иконъ. Но плакала ли передъ ними Люба о своемъ паденіи? Вѣрно немножко поплакалось вначалѣ, но зато очень много поплакала она въ концѣ своего яркаго блистанія въ томъ крѣпко затягивающемъ кругѣ, который былъ затрогиваемъ очень многими писателями въ литературахъ всѣхъ образованныхъ странъ свѣта, но едва ли онъ имѣетъ гдѣ-нибудь полное, комплектное описаніе, которое могло бы знакомить съ физіологіею его роковой и чудовищно-затягивающей жизни. У насъ онъ вовсе никѣмъ не изображенъ, ни въ одной мало-мальски живой и яркой картинѣ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Въ томъ кругѣ страсти кипятъ и пылаютъ часто гораздо сильнѣе, чѣмъ въ свѣтѣ, и наша швейцарка увлеклась своей новой жизнью и играла видную роль въ своей средѣ. Сначала она такъ дичилась и конфузилась, что едва рѣшилась на это. А потомъ тутъ вскорѣ замѣшалось самолюбіе. Люба увидала, что Додя труситъ и сомнѣвается: можетъ ли онъ предстать съ нею, не опасаясь, что она будетъ хуже другихъ; отнюдь не лишенная ума и проницательности, Люба замѣтила эту обидную неувѣренность, въ ней заговорила гордость суетной красавицы—и она во что бы то ни стало положила себѣ быть первою между тѣми, куда спускалась, и все, что она себѣ тогда въ уязвленіи своей гордости положила, то все такъ въ совершенствѣ и исполнила. Додичкѣ не приходилось краснѣть за Любу: она сразу же вошла въ свою роль и исполняла ее съ такимъ апломбомъ, что всѣ должны были признать полный успѣхъ madame Paulin. Это сладостное имя, можетъ-быть, даже не разъ долетало до ушей

самого Павлина; но что̀ ему было за дѣло до этого? онъ не зналъ, что̀ оно значитъ.

Успѣхъ Любы усиливался, темная слава ея росла, но Люба была кладъ не купленный: она любила Додю и тѣмъ окончательно сбила его съ толку. Онъ возмечталъ о себѣ такъ высоко, что возмнилъ, будто для любой женщины нѣтъ человѣка его драгоцѣннѣе. Этимъ воспользовались дышавшая на Любу зависть и злоба соперницъ: зазнавшагося Додичку коварно приласкали и потомъ все это вывели наружу. Люба была уязвлена въ самое сердце и стала мстить равнодушіемъ. А между тѣмъ, пока она вела эту игру, Додичку трясли за карманъ и трясли такъ немилосердно и ловко, что онъ не успѣлъ оглянуться, какъ погрязъ въ самыхъ запутанныхъ долгахъ. Тутъ началась исторія обыкновенная, кончившаяся, однакоже, не совсѣмъ обыкновенно. По мѣрѣ того, какъ средства Додички истощались, соперницы Любы охладѣвали къ ея измѣннику и, наконецъ, насытясь местью и не видя въ Додѣ болѣе ничего лестнаго, покинули его на жертву скорби и униженія. Между тѣмъ, въ это время съ глазъ Павлина начала опускаться завѣса: Люба, обнаруживавшая такъ много способностей скрывать свою любовь, рѣшительно оказалась безсильною такъ же скрытно переносить свое страданіе: она, во-первыхъ, сбѣжала изъ апартаментовъ своей благодѣтельницы и плотно поселилась у мужа. Этимъ шагомъ Люба, разумѣется, не хотѣла начинать шаговъ безповоротныхъ, къ доброму житью, а желала только не видать нѣкоторое время своего измѣнника; бѣдняжка надѣялась дать ему этою порою почувствовать, что она къ нему равнодушна и легко можетъ обойтись безъ него... Павлинъ напрягъ умъ и зрѣніе, чтобы проникнуть: что̀ за сокровенная, но злая скорбь мучитъ его жену? Доискиваясь этой разгадки, онъ сначала-было подумалъ: не обидѣла ли Любу Анна Львовна, но Люба успѣла увѣрить мужа, что Анна Львовна ничего ей не сдѣлала обиднаго. Тогда подозрѣнія Павлина пошли по другому пути и все прямѣе и ближе къ цѣли—онъ мекнулъ: не обидѣлъ ли его жену баринъ—и сердце его упало въ груди и заныло. А тутъ вдругъ—нежданно-негаданно подоспѣло и полное раскрытіе тайны. Додичка, подобно большей части пускающихся на этотъ путь безъ громадныхъ средствъ, окончательно запутался и принужденъ былъ оставить свой

полкъ и удалиться въ одинъ изъ очень отдаленныхъ городковъ на сѣверо-востокѣ Россіи. Понятно, что все это не обошлось безъ семейныхъ сценъ, во время которыхъ и Павлина, какъ ударъ грома, поразила вѣсть о невѣрности его жены.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Павлинъ, прійдя въ себя, ни съ того, ни съ сего явился поздно вечеромъ ко мнѣ съ просьбою дозволить ему переночевать у меня, такъ какъ онъ *боялся* ночевать въ домѣ Анны Львовны, ибо «понявъ все дѣло какъ слѣдуетъ, опасается какъ бы не могъ во гнѣвѣ сдѣлать чего не должно». Я, разумѣется, ему въ этомъ не отказалъ—и вотъ тутъ-то наступила довольно странная въ моей жизни ночь, когда я въ теченіе нѣсколькихъ часовъ жилъ въ нѣдрахъ чужой души и самъ ощущалъ то палящій жаръ ея любви и страданія, то смертный леденящій холодъ ея ужаснаго отчаянія. Павлинъ находился въ состояніи сильнѣйшаго возбужденія—но какого возбужденія? Какого-то страннаго и непонятнаго. Хотѣлъ бы для болѣе точнаго опредѣленія наблюдаемаго мною тогда состоянія этого человѣка воспользоваться библейскимъ выраженіемъ и сказать, что онъ былъ *восхищенъ* изъ самого себя и поставленъ на какую-то особую ступень созерцанія, открывающаго ему взглядъ во что-то сокровенное. Если помните, въ Эрмитажѣ, недалеко отъ рубенсовской залы, есть небольшая картинка Страшнаго суда, писанная чрезвычайно отчетливо и мелко какимъ-то средневѣковымъ художникомъ. Тамъ есть эмблематическая фигура, которая помѣщена въ серединѣ картины, такъ что ей одновременно виденъ вверхъ Богъ въ Его небесной славѣ, а внизъ—глубина преисподней съ ея мрачнымъ господиномъ и отвратительнѣйшими чудищами, которыя терзаютъ тамъ грѣшниковъ. Всякій разъ, когда я становлюсь передъ этой картиной и гляжу на описанную мною фигуру, мнѣ непремѣнно невольно припоминается Павлинъ: такъ, мнѣ казалось, схоже было его душевное состояніе съ положеніемъ этого эмблематическаго лица. Павлинъ, если такъ можно выразиться, страдалъ мучительно, но торжественно и благоговѣйно: онъ не палъ духомъ, не плакался и не рыдалъ, но и не замкнулся въ суровомъ и гордомъ молчаніи, въ чемъ многіе полагаютъ силу характера. Напротивъ, онъ

созерцалъ, откуда ниспалъ и куда еще глубже того долженъ погрузиться и низвести съ собою другое существо,—и онъ принялъ все надъ нимъ разразившееся, какъ вполнѣ заслуженный имъ ударъ учительской лозы, и заговорилъ въ самомъ неожиданномъ для меня тонѣ самоосужденія. Взойдя ко мнѣ, онъ сѣлъ въ моей залѣ безъ всякаго моего приглашенія и нѣсколько минутъ провелъ въ глубокомъ и тихомъ молчаніи, переводя глаза съ предмета на предметъ и потирая на колѣняхъ одну руку другою, а потомъ вдругъ окинулъ меня тяжелымъ, какъ бы усталымъ взглядомъ и спросилъ:

— Слышали-съ?

Я отвѣчалъ ему утвердительно.

Онъ покачалъ въ раздумьѣ головою и тихо произнесъ: «Это ужасно!», а вслѣдъ за тѣмъ, какъ бы спохватясь, добавилъ живѣе: «Вы извините меня, что я такъ... сѣлъ...»

— Сдѣлайте милость, Павлинъ Петровичъ!

— Колѣни гнутся-съ... Не могу успокоиться-съ... пока не услышу отъ *нея* самой... Все хотѣлъ утвердиться во всемъ.

— И что же: разспросили вы *ее*?

Онъ ничего не отвѣтилъ, но склонилъ въ знакъ согласія молча голову и черезъ минуту началъ таинственнымъ шопотомъ:

— Благородная-съ!.. Всю душу свою мнѣ открыла... на груди моей плакала-съ и прощенія просила...

— Вы простили?

— То-есть... въ чемъ же-съ? Она мнѣ, открывъ душу свою, вглубь меня зрѣнье открыла, и я-съ ужаснулся-съ. Ея вина про себя какъ легкій жаворонокъ пропѣла и подъ небомъ скрылась; а мой грѣхъ, какъ грачъ разботѣлый, понизу крячетъ и отъ земли не поднимется... Я сейчасъ ходилъ къ духовному отцу; онъ меня утѣшалъ, говоритъ: «ты законъ сохранилъ, а она жена невѣрная». Позвольте!.. это все смоковничье листье: ими я себя не закрою. Богъ видитъ, гдѣ былъ я, когда къ годамъ моимъ сопрягалъ ея юность? Я насильникъ: я вижу, что я палъ какъ гора и разсыпался... Вы полагаете, что я тотъ, какой былъ вчера и третьяго дня? Нѣтъ-съ; нынѣ въ день скорби Господь мнѣ явилъ свою милость: я внялъ, что я прахъ, что я весь образованъ изъ бренія и что всѣ вожди страстей могутъ орать и сѣять на хребтѣ моемъ: страсть, гордость, нечи-

стота и сластолюбіе, и ревность, и... и... склонность къ убійству... Ахъ! ахъ! ахъ!..

Онъ вскочилъ и, заметавшись по комнатѣ, продолжалъ:

— Простите меня... Я... самъ я теперь ничьего прощенья не стою, а ради Христа... во имя Христово... простите!.. Я все говорю и... молчать не могу... Духъ внутри... меня тѣснитъ какъ вино не открытое и... бьетъ въ совѣсть и языкъ подвигаетъ въ гортани... Прошу... если со мной что случится... чтобъ знали, что я *ее* погубилъ... Правъ Господь... меня наказуя: благословляю огорчившаго душу мою и исполню все къ счастію ихъ.

— Что вы такое думаете?

— Я... я хочу сдѣлать... чтобы я не мѣшалъ.

— То-есть какъ же это?.. Умереть, что ли?

Онъ посмотрѣлъ на меня и вдругъ неожиданно улыбнулся, чрезвычайно странной улыбкой, давшей его гордому лицу такое доброе и прелестное выраженіе, какого я никогда на немъ не видалъ, и проговорилъ:

— Умру-съ и живъ буду. Надо спасаться. Она теперь дома. Позвольте мнѣ у васъ немножко уснуть!

«Вино вѣрно открылось и духъ его болѣе не тѣснилъ». Онъ казался глубоко спокойнымъ и, оставшись одинъ въ комнатѣ, тотчасъ же легъ на диванъ и заснулъ. Утромъ я еще спалъ, когда Павлинъ всталъ и, умывшись на кухнѣ, ушелъ. Мой человѣкъ, по любопытству своему прослѣдивъ Павлина, видѣлъ, что онъ пошелъ въ церковь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Когда я, въ то время еще довольно нетерпѣливый, утромъ появился къ огорченной ma tante Аннѣ Львовнѣ, она уже была вставши и довольно граціозно сидѣла въ глубокихъ креслахъ—и, изображая изъ себя невинную страдалицу, понемножечку плакала, обтирая платкомъ глаза. Она была говорлива и даже краснорѣчиво распространялась на тему о злонравномъ товариществѣ, которое будто бы подвело ея неосторожнаго Додю подъ незаслуженныя имъ подозрѣнія и погубило его при содѣйствіи отвратительнѣйшей женщины.

Тутъ Анна Львовна несла всякій вздоръ, рисуя такія фантастическія картины, что всякій поневолѣ убѣждался, что все это вздоръ и клевета.

Во весь этотъ день, приходя и уходя отъ Анны Львовны,

я не видѣлъ ни Любы, ни Павлина, должность котораго въ этотъ суматошный день оставалась безъ отправленія, и мнѣ не у кого было о немъ даже освѣдомиться. Не получивъ о немъ никакихъ слуховъ и во весь другой день, я къ вечеру пошелъ безъ церемоніи о немъ справиться. Я узналъ слѣдующее. Комната Павлина еще со вчерашняго дня оказалась пустою: имущество его найдено все брошеннымъ зря и какъ попало, точно послѣ воровского визита; ни Павлина, ни жены его нигдѣ не было, и никто о нихъ не могъ дать никакого ни слуху, ни духу. Одинъ я могъ свидѣтельствовать, что Павлинъ говорилъ мнѣ, будто жена его теперь дома и онъ желаетъ освободить ее отъ грѣха и соблюсти свою душу; но что̀ могли значить всѣ эти его слова? Теперь имъ приписывались разныя иносказательныя значенія, въ истолкованіи которыхъ казалось по временамъ что-то не совсѣмъ невѣроятное. «Жена дома теперь»—это, говорили, будто бы значитъ, что онъ ее прикончилъ и такимъ образомъ проводилъ въ вѣчный домъ; а пошелъ соблюдать свою душу, это—онъ ушелъ куда-нибудь въ пустыню. Какъ вы хотите, въ этомъ было нѣчто столь вѣроподобное, что всѣ такъ на этотъ разсказъ и положились. Вдобавокъ же ко всему, недѣли черезъ двѣ, или нѣсколько позже, гдѣ-то у Екатерингофа или въ Чекушахъ, волною прибило къ берегу подвергшееся гнилости тѣло молодой женщины, лица которой узнать было невозможно, но на ней оказалось тонкое бѣлье и черное шелковое платье... какъ разъ такое, въ которомъ видѣли въ послѣдній разъ швейцарку Любу. Правда, что большинство черныхъ шелковыхъ платьевъ всѣ похожи одно на другое, но подозрѣніе не разсуждаетъ: къ молодой утопленницѣ никто не признавался ни изъ родныхъ, ни изъ знакомыхъ,—а потому домашними Анны Львовны и ею самою было рѣшено и утверждено, что эта утопленница не кто иная, какъ несчастная Люба, жена свирѣпаго и мстительнаго Рауля, швейцара Павлина Пѣвунова, пропавшаго безъ вѣсти.

Это обстоятельство не прошло безъ послѣдствій: погибшую женщину схоронили, и Анна Львовна была такъ добра, что отпустила для нея десять рублей на гробъ и на поминъ души Любы. Такимъ образомъ, благодаря христіанской заботливости Анны Львовны, были устроены заупокойныя молитвы о душѣ безвременно-погибшей Любы, а про Пав-

лина забыли. И позабыли про него такъ хорошо, что не вспомнили о немъ и до сихъ поръ, кромѣ одного раза, когда въ аукціонной камерѣ продавали неразворованные остатки имущества «безвѣстно-пропавшаго Пѣвунова».

Но гдѣ же дѣлись Павлинъ и Люба?

Для этого мы должны вернуться назадъ къ тому времени, когда потеряли ихъ изъ виду.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Павлинъ, простясь со мною, прошелъ къ женѣ никѣмъ не замѣченный. Люба, увидя мужа, затрепетала: она никогда не видала его такимъ добрымъ, и оттого онъ ей и показался такимъ страшнымъ.

Онъ наскоро переодѣлся, одѣлъ жену, взялъ все, что находилъ нужнымъ, и вывелъ Любу изъ дома Анны Львовны. Люба не сопротивлялась и понимала только одно, что ее куда-то везутъ. Павлинъ и Люба встрѣтили Додичку на одной изъ станцій за Петербургомъ. Люба не показывалась, но Павлинъ предсталъ моему кузену и — предсталъ не въ злобѣ оскорбленнаго мужа, а въ великой кротости смирявшаго себя христіанина и сказалъ ему:

— Будьте милостивы и великодушны, скажите: любили ли вы мою жену?

— Да; что же тебѣ нужно?—отвѣчалъ Додичка, еще не отвыкшій тогда чувствовать свое превосходство передъ стоявшимъ противъ него лакеемъ.

— Я вамъ сейчасъ скажу, что мнѣ нужно, — отвѣчалъ смиренный Павлинъ:—но вы извольте прежде отвѣтить: любите ли вы ее и теперь?

— Да, люблю, ну, и что же такое?

— Только-съ, только-съ всего, и она васъ тоже любитъ, ужасно любитъ... и... и сама мнѣ объ этомъ сказала.

— Ты ее объ этомъ спрашивалъ?

— Да-съ, я ее объ этомъ спрашивалъ, и она мнѣ прямо во всемъ призналась и плакала... Что дѣлать: я виноватъ за нее Богу!

Додичка ушамъ своимъ не вѣрилъ и не понималъ: что это значитъ? А Павлинъ вышелъ въ это время въ сосѣднюю комнату и вывелъ оттуда за руку свою смущенную жену и сказалъ:

— Вотъ она-съ; она мнѣ больше не жена!

— Ну?! — воскликнулъ, не понимая, чѣмъ это кончится, Додичка.

— По всему этому я ее по божественному закону отъ себя отпускаю... И какъ она васъ столь преданною любовью любитъ, то берите ее и женитесь на ней!

— Ты съ ума сошелъ!—оправился Додичка.—Какъ я могу на ней жениться?

— Почему же нѣтъ? Развѣ вамъ унизительно?.. Напрасно-съ. Я бы ей даже не совѣтовалъ выходить за васъ, потому что я знаю, какой вы человѣкъ, и ей счастья съ вами не будетъ, но и она сама это знаетъ и все-таки васъ въ сердцѣ имѣетъ, такъ тутъ дѣлать нечего... Ей бы надо въ монастырь идти, а ее еще въ пропасть тянетъ, такъ пусть же это будетъ хоть безъ грѣха и срама; а потому... женитесь...

— Но ты постой, Павлинъ,—залепеталъ, оправдываясь, Додичка:—я вѣдь... не потому... а что ты живъ еще...

— Да-съ, я живъ; я живъ еще и Богъ знаетъ сколько еще промаячу, но я рукъ на себя и для нея даже не наложу. Вчера я объ этомъ думалъ, но...

При этихъ словахъ Люба взвизгнула и бросилась въ темный уголъ съ сжатыми у лица руками.

— Г-мъ, видите! — молвилъ, болѣзненно улыбнувшись, Павлинъ:—она меня не любитъ и ей за меня тяжко, а вамъ за нее словно бы нѣтъ, а между тѣмъ она васъ все-таки любитъ... Люби она меня сотую долю такъ, какъ она васъ любитъ, я бы даже ссылку съ нею за рай почиталъ... Ну, да что толковать!.. все равно: извольте ее теперь взять и поѣзжайте... и... женитесь на ней... я за этимъ буду наблюдать и... если вы не сдѣлаете, какъ я говорю, то... Онъ пригнулся къ уху Доди и добавилъ:—не понуждайте меня ко грѣху: я теперь говорю вамъ смиренно, какъ христіанинъ, а то я васъ убью; гдѣ бы вы ни были—я васъ найду и убью, за нее... за жену... за беззащитную...

Павлинъ, должно-быть, говорилъ это очень рѣшительно, или кузенъ мой былъ уже слишкомъ большой трусъ, но только у него вдругъ отпала всякая охота отказываться отъ женитьбы на Любѣ, и онъ изъявилъ на это свое полное согласіе. Впрочемъ, возможно, что онъ далъ это согласіе, имѣя въ умѣ твердое намѣреніе никогда его не исполнить, тѣмъ болѣе что имѣлъ основаніе разсчитывать на

возможность скрыться отъ Павлина. Въ этихъ соображеніяхъ онъ только указалъ старику на то обстоятельство, что немедленное бракосочетаніе его съ Любою невозможно, потому что жену живого мужа съ другимъ не перевѣнчаютъ, но Павлинъ отвѣчалъ:

— Ну, ужъ объ этомъ вы не безпокойтесь, это мое дѣло: я къ тому времени умру, а васъ съ ней перевѣнчаютъ.

— Ты умрешь?

— Да; я умру.

«Умретъ, а между тѣмъ хочетъ убивать меня, — думалъ Додя.—Бѣдный старикъ, какъ они, эти простые люди, иногда любятъ!.. Мнѣ его даже жалко: онъ помѣшался».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Съ этимъ они разъѣхались — и Додя, конечно, считалъ себя совершенно освобожденнымъ и отъ наскучившей ему жены Павлина, которую онъ не прочь былъ показывать какъ свою любовницу, но никакъ не хотѣлъ имѣть своею женою. Додя ѣхалъ хорошо. Онъ путешествовалъ не спѣша, не по срочному маршруту; останавливался въ подорожныхъ городахъ, принималъ посѣщенія и самъ посѣщалъ лицъ, вниманію которыхъ былъ рекомендованъ доброжелателями Анны Львовны изъ Петербурга, и даже заживался кое-гдѣ подъ предлогомъ усталости и болѣзни. Словомъ: все шло для нашего странника какъ нельзя лучше, и онъ такимъ образомъ отбылъ почти весь свой путь, какъ вдругъ на самомъ перевалѣ черезъ Уралъ на него—какъ будто изъ вѣковѣчныхъ снѣговъ и тумановъ — грянулъ Павлинъ!.. Да вѣдь какой Павлинъ: грозный и неотразимый, видимый и незримый, дѣйствующій и несуществующій.

Знаете: когда читаешь въ повѣсти или романѣ какое-нибудь чрезвычайное событіе, всегда невольно думаешь: «эхъ, любезный авторъ, не слишкомъ ли вы широко открыли клапанъ для вашей фантазіи?» А въ жизни, особенно у насъ на Руси, происходятъ иногда вещи гораздо мудренѣе всякаго вымысла—и между тѣмъ такія странности часто и остаются совсѣмъ незамѣченными.

Додичка пріѣхалъ въ какой-то городокъ, котораго я вамъ не назову, да тутъ и не въ названіи дѣло. Здѣсь мой милый кузенъ надѣялся найти лицъ, къ которымъ онъ имѣлъ письма. Разсчитывая тутъ пріотдохнуть и понѣжиться, онъ,

приставъ за болѣзнію въ единственной тамошней гостиницѣ рядомъ со станціей, уже успѣлъ à la Хлестаковъ перемигнуться съ какою-то сосѣдкою изъ противуположнаго дома,—сосѣдкою, лица которой онъ, къ слову сказать, надлежащимъ образомъ не разсмотрѣлъ, потому что чуть она появилась у окна въ комнатѣ, снаружи передъ этимъ окномъ вдругъ всталъ и началъ протирать рукавомъ стекла высокій, лохматый, сѣдой старикъ съ огромною бородою и въ неестественной, по понятіямъ Доди, оленьей шубѣ. И чортъ его знаетъ, откуда онъ взялся? Додичка его, правда, слегка замѣтилъ сидящимъ у окна на заметенной снѣгомъ завалинѣ, но онъ ему съ перваго взгляда показался болѣе похожимъ на стараго козла, чѣмъ на человѣка — и вдругъ это чучело вскакиваетъ и ѣздитъ по стекламъ своими лапами, точно нарочно для того, чтобы лишить добраго юношу возможности наслаждаться красотою сосѣдки... И онъ таки своего достигъ, этотъ старикъ. Додя не разсмотрѣлъ заинтересовавшей его сосѣдки, но это, впрочемъ, ему было совершенно все равно: она ему понравилась по одному чутью — и съ его стороны не было болѣе никакихъ препятствій разыграть съ ней мимолетную интрижку, тѣмъ болѣе что сосѣдка (сколько онъ могъ судить) тоже имъ вѣроятно заинтересовалась. По крайней мѣрѣ Додя имѣлъ основаніе такъ думать, потому что занимательная незнакомка, замѣтивъ его, очевидно не безъ умысла нѣсколько разъ мелькнула въ окнѣ. Досадно было только то, что она все мелькала немножко слишкомъ быстро, такъ что Додя никакъ не могъ ее хорошо разсмотрѣть. Но зато это, конечно, еще болѣе раздражало любопытство, и онъ присѣлъ къ окну съ твердою рѣшимостію не вставать съ мѣста прежде, чѣмъ ее хорошенько увидитъ. Дѣло было подъ вечеръ; Додя все сидѣлъ у окна и все дожидался, не покажется ли еще разъ пояснѣе въ окнѣ его интересное vis-à-vis... Судьбѣ заблагоразсудилось его побаловать: вотъ въ окнѣ блеснулъ слабый свѣтъ, на столѣ появилась зажженная свѣча, а между нею и окномъ выдвинулся и сталъ силуэтъ женской фигуры. Опять весьма эффектное, но самое неудобное положеніе. Какая же женщина, желая показать себя, станетъ или сядетъ между темнымъ окномъ и свѣчою, освѣщающею ее сзади? Очевидно, это или совершенная невинность, или ужъ очень опытная кокетка, желающая производить свои ковар-

ныя упражненія надъ неопытнымъ человѣкомъ. Но Додя не провинціальная простофиля: онъ прошелъ хорошую петербургскую школу у женщинъ и, конечно, хотѣлъ считать себя человѣкомъ опытнымъ: онъ не зажжетъ у себя огня и сосѣдкѣ его нельзя будетъ видѣть: занимается онъ ею или нѣтъ? Такимъ образомъ, если она не кокетка, а податливая романическая простушка, то она непремѣнно попадется на эту удочку. Это ей покажется досадно: она не поостережется и, разсердясь, подойдетъ сама принять свою свѣчку—и тогда онъ ее увидитъ; а если она ловка и хитра, какъ... какъ, напримѣръ, была въ Петербургѣ эта Люба, отъ которой онъ, слава Богу, такъ далеко теперь откатился, то тѣмъ лучше: она будетъ хорошо наказана за свою хитрость и можетъ просидѣть хоть до завтра, или пока этотъ ея сѣдой козелъ закроетъ ставни... А кстати, гдѣ дѣлся этотъ сѣдой козелъ? его что-то нѣтъ... Впрочемъ, легокъ оказался и онъ на поминѣ: не успѣлъ сидящій во тьмѣ Додя о немъ подумать, какъ ему послышалось, будто скрипнула дверь его номера, — и когда онъ обернулся, передъ нимъ стоялъ упомянутый козловатый старикъ. Онъ взошелъ тихо и, имѣя на ногахъ мягкіе валеные сапоги, тихо же подошелъ къ самому креслу Додички и остановился у него за плечами такъ близко, что когда мой кузенъ обернулся, то они стали носъ къ носу съ таинственнымъ пришельцемъ. Додя, какъ всѣ наглые люди, былъ большой трусъ, и, при подобной встрѣчѣ невыразимо потерявшись, едва произнесъ упавшимъ голосомъ:

— Что вамъ нужно?..

— Не безпокойтесь-съ, — отвѣчалъ таинственный посѣтитель голосомъ, въ которомъ не было ничего страшнаго, но отъ котораго трусливаго Додю забила лихорадка. — Не безпокойтесь, я къ вамъ по маленькому дѣлу не отъ себя...

— Павлинъ!.. это ты?

— Тссъ! позвольте... Что такое: Павлинъ? никакъ нѣтъ: вы ошибаетесь: я не Павлинъ, я не знаю никакого Павлина; я совсѣмъ другой человѣкъ. Я мѣщанинъ Спиридонъ Андросовъ, простой мѣщанинъ... да-съ, и со мною мой паспортъ есть... хорошій паспортъ, законный: съ печатью и все пропменовано. Спиридонъ Андросовъ, мастеровой, хожу для промысла и бумагу свою часто прописываю: куда прі-

ѣду, сейчасъ же ее прописываю... для осторожности; тоже и здѣсь недѣлю тому назадъ прописалъ...

— Но это ты... ты самъ Павлинъ! развѣ я тебя не знаю?

— Никакъ нѣтъ, я Спиридонъ Андросовъ.

— Что̀ же вамъ отъ меня нужно?

— Мнѣ совершенно ничего; а вамъ я принесъ записочку, вотъ извольте получить.

— Отъ кого это?

— Отъ одной вдовы тутъ... да, молодая вдова... извольте прочесть: сами увидите, что̀ тутъ такое.

Кузенъ мой за минуту предъ симъ былъ увѣренъ, что передъ нимъ стоитъ не кто иной, какъ окосматѣвшій Павлинъ, но, услышавъ соблазнительныя слова о вдовѣ и ея запискѣ, онъ какъ-то все упустилъ изъ виду и торопливо зажегъ свѣчу, чтобы скорѣе прочитать бумажку,—и вдругъ неожиданно уронилъ ее снова: теперь не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что стоявшій передъ нимъ человѣкъ былъ Павлинъ Пѣвуновъ. Онъ только чрезвычайно обросъ сѣдыми волосами вокругъ всей головы и лица, да вырядился въ какой-то полуазіатскій костюмъ, но, тѣмъ не менѣе, всякій, кто его зналъ, не могъ бы не сказать, что это онъ, Павлинъ, самъ собственнѣйшею своею особой. И въ его-то глазахъ ясно видно, что онъ видитъ, что его узнали и понимаетъ, что не узнать его невозможно. Кузенъ мой ото всего этого такъ растерялся, что на сей разъ уже громко закричалъ:—Павлинъ!.. Клянусь честью, это ты, Павлинъ, но...—Но при этихъ словахъ пришлецъ такъ сильно сдавилъ Додю въ косточкахъ руки, что молодой франтъ присѣлъ книзу и пролепеталъ: «что же это такое?» и въ растерянности опять взялъ оброненную имъ бумагу: это была церковная выпись изъ книги объ умершихъ, гдѣ значилось, что около полутора мѣсяца тому назадъ въ такомъ-то городѣ скоропостижно умеръ и погребенъ царскосельскій мѣщанинъ Павлинъ Петровъ Пѣвуновъ, а вдовѣ его, Любови Андреевой Пѣвуновой, выдано въ томъ сіе свидѣтельство съ подписью и печатью.

Такъ вотъ кто эта вдова! Эта вдова была не кто иная, какъ сама влюбленная въ Додю Люба. Дѣло было поставлено круто и узловато—и результатомъ всего этого вышло, что Додичка, не доѣхавъ до мѣста своего назначенія, женился на «швейцаркѣ Любѣ.» Посягнулъ онъ на это, не

оказавъ ни какого сопротивленія, а какъ будто даже и съ удовольствіемъ. Почему это произошелъ въ немъ такой куркенъ-переверкенъ—разсказать не умѣю, но думаю, что тутъ играли роль все большее и большее удаленіе его отъ дома—и по мѣрѣ бо́льшаго удаленія все болѣе и болѣе чувствуемое сиротство. Они-то, вѣроятно, пробудили въ немъ живыя чувства къ нѣжно любившей его женщинѣ, а тутъ и ея красота, романическое положеніе, а можетъ-быть и угрожающія настоянія Павлина,—однимъ словомъ: все это вмѣстѣ или порознь подвигнуло моего кузена къ тому, что онъ даже съ удовольствіемъ обвѣнчался съ женою Павлина, а мѣщанинъ Спиридонъ Андросовъ былъ при ихъ свадьбѣ и расписался свидѣтелемъ въ обыскной книгѣ.—Надѣюсь, вы меня не станете разспрашивать: какъ же это могло статься, что Павлинъ похоронилъ самого себя и добылъ въ томъ свидѣтельство своей вдовѣ? Эти вещи у насъ не сказка, но побывальщина: умеръ на постояломъ дворѣ прохожій; Павлинъ стакнулся съ кѣмъ надо, сунулъ въ суму покойника свой паспортъ, а его бумагу взялъ себѣ, — вотъ и дѣло сдѣлано. Въ Новороссійскомъ краѣ когда-то это систематически дѣлалось и отъ того такъ люди по паспортамъ до полутораста лѣтъ доживали. Умретъ Иванъ 70-ти лѣтъ, его паспортъ беретъ сорокалѣтній Петръ, и пошло продленіе возраста... Однако, я продолжаю, или, лучше сказать, оканчиваю мною повѣсть.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Молодые, поселясь въ назначенномъ имъ для житья крохотномъ городишкѣ, рѣшительно не знали, чѣмъ занять себя и что̀ дѣлать. Привязанность Любы не могла надолго осчастливить Додю, который, въ качествѣ петербургскаго свѣтскаго юноши, любилъ жизнь общественную и душа котораго жаждала сильныхъ ощущеній. Не имѣя желанія, а можетъ-быть, не находя въ себѣ и силы отстать отъ этого образа времяпрепровожденія, онъ и теперь въ этомъ скверномъ своемъ положеніи отыскалъ, какихъ могъ, подходящихъ ему по вкусамъ людей между разнымъ сбродомъ, пьянствовалъ съ ними простой водкой, игралъ на мелкія деньжонки въ карты, дергалъ и передергивалъ, былъ часто битъ, и наконецъ къ великому своему, но едва ли сознаваемому имъ счастію, совсѣмъ убитъ въ дракѣ, за неправильно взя-

тый съ кону цятіалтынный. Во все время этой жизни, продолжавшейся около двухъ лѣтъ, Люба пила, что называется, горькую чашу жесточайшаго страданія, но въ этой унылой горести своей постоянно была поддерживаема письмами и деньгами Спиридона Андросова, который, какъ видно, не выпускалъ ее ни на минуту изъ вида и былъ на стражѣ ея спокойствія. Онъ опредѣлился гдѣ-то неподалеку на службу— и при отличной честности, умѣренности и аккуратности, не измѣнившихся въ немъ съ перемѣною имени, онъ скоро пріобрѣлъ себѣ уваженіе и деньги, и изъ послѣднихъ почти ничего на себя не тратилъ, а все берёгъ для Любы. Не знаю какъ Люба распоряжалась этими сбереженіями, которыя пересылалъ ей ея отставной мужъ, но вѣрнѣе всего можно полагать, что если не всѣ эти деньги, то по крайней мѣрѣ бо́льшую ихъ часть пропивалъ и проигрывалъ ея мужъ, совершенно распившійся и омужичившійся Додичка. Говорили, что онъ отнималъ у Любы все, иногда самыми грубыми требованіями, а въ другой разъ даже и побоями. Павлинъ все это зналъ, какъ будто онъ тутъ вотъ и жилъ съ ними, но не смутилъ души Любы ни на одно мгновеніе и не воспользовался ея разочарованіемъ въ Додѣ, для того, чтобы разлучить ихъ другъ съ другомъ. Совсѣмъ напротивъ: Павлинъ поддерживалъ Любу большими и прекрасными письмами, которыя по нѣкоторому случаю сдѣлались моимъ достояніемъ—и я храню ихъ, какъ рѣдкій и превосходный образецъ простого, но глубокаго философски-мистическаго умствованія необразованнаго, но умнаго и могучаго волею человѣка. Эти письма, писанныя «отъ грѣшнаго раба» къ сострадущей Любови, имѣютъ немножко характеръ посланій: въ нихъ авторъ говоритъ, какъ бы уже онъ все вынесъ; онъ страдалъ и, бывъ искушенъ, самъ теперь можетъ помогать искушаемымъ. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, и даже очень во многихъ, Павлинъ ничего не пишетъ женѣ объ интересѣ дня, а даетъ совѣты, убѣждаетъ ее быть терпѣливою, благоразумною, доброю, неизмѣнно-вѣрною и преданною избранному ею мужу. Если читать эти письма въ хронологическомъ порядкѣ и читать по времени ихъ слѣдованія одного за другимъ, то въ нихъ невольно обращаетъ на себя вниманіе постоянно усиливающійся духъ религіознаго мистицизма. Авторъ сначала какъ будто соболѣзнуетъ о долѣ Любы и говоритъ о необходимости терпѣнія, потому

что отъ нетерпѣнія бываетъ еще горше; но потомъ онъ мало-по-малу видоизмѣняетъ этотъ мотивъ и начинаетъ ее убѣждать, что она должна радоваться, если несчастна, и самъ радуется, да радуется такъ, что вначалѣ поневолѣ чувствуется смущеніе: не овладѣло ли душою автора низкое злорадство къ очевиднымъ несчастіямъ измѣнившей ему Любы; но потомъ, ближе вникая въ дальнѣйшія письма, вы видите, что перомъ ихъ сочинителя водитъ иное чувство, чувство какой-то совершенно особенной, прямо, можно сказать, неземной любви—и притомъ любви самой заботливой и самоотреченной, но строгой. Павлинъ все учитъ Любу терпѣть для блага другихъ и для искупленія своихъ заблужденій и, убѣждая въ этомъ доводами довольно старыми, издавна извѣстными изъ книгъ духовнаго содержанія, излагаетъ эти доводы съ такою живостью и непосредственнымъ даромъ убѣдительнаго краснорѣчія, что какъ бы придаетъ имъ новую живую силу. Онъ несомнѣнно заботится объ одномъ: *возродить духомъ* погибающую Любу—и, вѣроятно, видя изъ ея отвѣтныхъ писемъ, что это озабочивающее его возрожденіе возможно, даже въ самомъ обращеніи къ ней употребляетъ слова «дочь моя». Послѣднее письмо съ этимъ воззваніемъ вначалѣ исполнено своеобразнѣйшей и трогательной нѣжности, непоглощаемой покрывающимъ его общимъ локальнымъ суровымъ тономъ: въ этомъ письмѣ Павлинъ, подписывающійся «Спиридономъ Андросовымъ», пишетъ: «не унывай: не намъ, слабымъ, а святому апостолу Павлу ангелъ сатаны былъ данъ въ плоть его, но онъ его побѣдилъ, и ты побѣдишь его силою, ибо уже и недолго остается».

Это «недолго» было пророчествомъ провидца, и Люба его такъ и приняла, когда черезъ нѣсколько дней послѣ полученія этого письма отъ перваго своего умершаго міру мужа, второй ея мужъ былъ избитъ въ дракѣ и умеръ у ея двери, въ которыя не могъ попасть съ-пьяна. Она тотчасъ же извѣстила объ этомъ событіи Павлина—и тотъ немедленно же явился къ ней: они вмѣстѣ похоронили какъ должно Додю и вслѣдъ за тѣмъ немедленно же вмѣстѣ исчезли. Куда? Никто этого не зналъ; но я вамъ разскажу и то, чего никто не знаетъ. За Кіевомъ, надъ Днѣпромъ, въ темномъ дремучемъ бору есть бѣдный женскій монастырекъ. Бѣдность и незначительность этой обители такова, что ее иначе не называютъ какъ *монастырекъ*: тамъ-то была мо-

нахиня, потомъ схимница, Людмила. Она скончалась нѣсколько лѣтъ тому назадъ, далеко еще не въ преклонныхъ годахъ, *ослѣпнувъ отъ слезъ*. Эта милая, чистая сердцемъ старица съ *выплаканными глазами*, въ орбиты которыхъ у нея для благообразія были вставлены кругленькіе перламутровые образки, была настоящій ангелъ кротости и милосердія; о добротѣ ея и всепрощающей христіанской любви и теперь еще съ умиленіемъ и слезами вспоминаютъ не только сестры бѣдной обители и посѣщающіе монастырекъ богомольцы, но даже еврей близко-лежавшаго торговаго мѣстечка. О ней извѣстно, что она вдова человѣка очень хорошей фамиліи и поступила въ монастырь, потерявъ мужа, а привезъ ее сюда на собственной лошади очень издалека какой-то суровый человѣкъ, *молчальникъ*, отъ котораго никто не слыхалъ ни одного слова. На могилѣ ея нѣтъ памятника, объясняющаго ея происхожденіе, а стоитъ простой дубовый крестъ съ надписью: «Схимонахиня Людмила, въ мірѣ грѣшная Любовь». Крестъ этотъ надъ нею поставилъ тоже схимникъ, приходившій въ монастырекъ послѣ смерти сестры Людмилы изъ далекой суровой обители, которой мнѣ вамъ называть не за чѣмъ. Не знаю также, нужно ли вамъ пояснять и то, что эта схимница Людмила, «въ мірѣ грѣшная Любовь», была не кто иная, какъ наша знакомая швейцарка Люба; а схимникъ, который пришелъ поставить на ея могилѣ крестъ, былъ Павлинъ, иноческаго имени котораго я не знаю. Вотъ какія тайны и какіе характеры живутъ иногда въ стѣнахъ монастырей!

Оглавленіе

XXXIV ТОМА.

стр.
Полунощники. (Пейзажъ и жанръ) 3
Павлинъ. (Разсказъ) 105

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

МЕЛОЧИ
АРХІЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ.

(КАРТИНКИ СЪ НАТУРЫ.)

ВЪ ПРИЛОЖЕНІИ:

1. Архіерейскіе объѣзды.
2. Епархіальный судъ.
3. Русское тайнобрачіе.

Предисловіе.

Общеизвѣстные очерки Лѣскова: «Мелочи архіерейской жизни», посвященные изображенію быта нашего духовенства въ первой половинѣ истекшаго столѣтія, т.-е. въ дореформенное время, имѣютъ большое историческое значеніе и преслѣдуютъ одну чрезвычайно важную цѣль: установленіе болѣе безпристрастнаго отношенія русскаго общества къ представителямъ церкви, а вмѣстѣ съ тѣмъ и устраненіе усиливающагося отчужденія между ними.

Прошло почти два вѣка съ тѣхъ поръ, какъ выдающійся представитель нашей церкви, знаменитый Ѳеофанъ Прокоповичъ, и родоначальникъ нашей свѣтской литературы Кантемиръ дѣйствовали рука объ руку, какъ два вѣрнѣйшихъ союзника.

Съ тѣхъ поръ пути духовной и свѣтской литературы стали расходиться, конечно, ко вреду истиннаго просвѣщенія, въ которомъ такъ сильно нуждается наше отечество. Свѣтская литература игнорировала духовную, а та платила ей тѣмъ же. Какъ мало, въ сущности, въ теченіе всего XVIII-го вѣка и первой половины XIX-го свѣтская литература занималась духовенствомъ, т.-е. представителями церкви, одной изъ главныхъ насадительницъ просвѣщенія въ Россіи! Великая заслуга автора «Соборянъ», «На краю свѣта», «Владычнаго суда» и многихъ другихъ великолѣпныхъ очерковъ изъ жизни нашего духовенства, состоитъ въ томъ, что онъ первый, и притомъ въ такое время, какъ 60-е годы прошлаго вѣка, снова обратилъ вниманіе свѣтской литературы на духовен-

ство и изобразилъ его такъ, что пастыри русской церкви стали людьми, близкими сердцу всякаго русскаго интеллигентнаго человѣка. Незабвенные образы протоіерея Туберозова, архіепископа Нила, митрополита (кіевскаго) Филарета и мн. др. согрѣваютъ нашу душу и наполняютъ ее чувствомъ глубокой благодарности къ этимъ самоотверженнымъ работникамъ въ вертоградѣ Господнемъ.

Къ тому же циклу высоко-даровитыхъ произведеній принадлежатъ и «Мелочи архіерейской жизни», появившіяся въ 1878 г. и живописующія намъ интимную жизнь русскихъ пастырей первой половины прошлаго столѣтія. Многое измѣнилось съ тѣхъ поръ; не мало страницъ этихъ очерковъ имѣютъ теперь уже чисто-историческое значеніе, потому что условія и порядки, встрѣчавшіеся полвѣка и болѣе тому назадъ, составляютъ достояніе прошлаго: архіерейскіе объѣзды, такъ, какъ ихъ описываетъ Лѣсковъ, значительно видоизмѣнились, нынѣшній духовный судъ не могъ не подчиниться духу времени, и факты, сообщаемые тутъ Лѣсковымъ, относятся къ далекому прошлому, тогдашнія злоупотребленія при совершеніи таинства брака (т.-наз. тайнобрачіе) теперь уже немыслимы, развившаяся съ тѣхъ поръ миссіонерская дѣятельность въ значительной степени ослабила отрицательный смыслъ сообщенныхъ Лѣсковымъ фактовъ относительно положенія крещеныхъ язычниковъ (черемисовъ). И, тѣмъ не менѣе, «Мелочи архіерейской жизни» могутъ и теперь быть признаны книгою громаднаго современнаго значенія. Всѣ встрѣчающіеся въ ней отрицательные факты не новы: они рѣзче отмѣчены въ другихъ произведеніяхъ Лѣскова. Но нигдѣ, быть-можетъ, ему не удалось съ такимъ талантомъ и тактомъ ввести предубѣжденнаго русскаго интеллигентнаго читателя въ кругъ тѣхъ понятій и стремленій представителей нашей церкви, которыя одинаково дороги всѣмъ просвѣщеннымъ людямъ, желающимъ потрудиться для ближняго въ духѣ нашего общаго великаго Учителя. Трудно назвать книгу (да ея и нѣтъ), которая болѣе «Мелочей архіерейской жизни» способствовала бы сближенію русской интеллигенціи съ церковью, потому что сквозь всѣ факты, разсказываемые Лѣсковымъ, просвѣчиваютъ всюду и всегда

глубокое сочувствіе и уваженіе къ достойнымъ представителямъ нашей церкви. Вспомнимъ трогательную характеристику кіевскаго митрополита Филарета, невольную симпатію, которую внушаетъ намъ столичный протоіерей въ очеркѣ «Русское тайнобрачіе», вспомнимъ, какъ умно и толково многіе архіереи рѣшаютъ у Лѣскова самые трудные и сложные вопросы, какъ онъ, сообщая даже отрицательные факты изъ архіерейской жизни, подкупаетъ читателей въ пользу тѣхъ пастырей, которые по природѣ добры и благожелательны, но подвергаются вліянію низкопоклонства и пошлости самого общества. Юмористическое освѣщеніе сообщаемыхъ Лѣсковымъ фактовъ, столь свойственное роду его дарованія, оказываетъ здѣсь несомнѣнную услугу дѣлу, потому что предубѣжденный читатель при такомъ освѣщеніи продолжаетъ съ интересомъ слѣдить за изложеніемъ автора, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, основная цѣль послѣдняго достигается вѣрнѣе. А цѣль эта сводится къ тому, чтобы убѣдить читателя, какъ легкомысленно поступаютъ тѣ, кто держится въ сторонѣ отъ церкви и не признаетъ огромнаго ея значенія въ жизни русскаго общества и народа.

«Мелочи архіерейской жизни» вышли вторымъ изданіемъ въ 1880 г. Съ тѣхъ поръ онѣ не переиздавались. Приступая теперь, почти послѣ 25-лѣтняго промежутка времени, къ новому ихъ изданію, мы переставили нѣкоторыя главы и сдѣлали нѣкоторыя, впрочемъ, незначительныя сокращенія, вызываемыя обстоятельствами времени. Побуждаетъ насъ приступить къ новому изданію не только уваженіе къ творчеству выдающагося русскаго писателя, но и убѣжденіе, что книга его сослужитъ немаловажную службу именно теперь, т.-е. въ такой моментъ, когда сближеніе между обществомъ и церковью особенно необходимо.

Р. Сементковскій.

„Нѣтъ ни одного государства, въ которомъ бы не находились превосходные мужи во всякомъ родѣ, но, къ сожалѣнію, каждый человѣкъ собственному своему взору величайшей важности кажется предметомъ.“

(*Народная гордость*. Москва, 1788 г.).

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Съ легкой руки смоленскихъ корреспондентовъ,—въ теченіе 1878 года русскою печатью сообщено очень много интересныхъ и характерныхъ анекдотовъ о нѣкоторыхъ изъ нашихъ архіереевъ.

Правъ ли я или не правъ, но я имѣю основаніе думать, что извѣстное выраженіе Ларошфуко: «всякое правленіе впору своему народу»,—одинаково можетъ быть прилагаемо къ различнымъ видамъ управленія и, между прочимъ, даже къ нашему «архіерейско-владычнему».

Изъ моего житейскаго опыта я имѣлъ возможность не разъ убѣждаться, что наши владыки и даже самые непосредственнѣйшіе изъ нихъ, по своимъ оригинальностямъ, отнюдь не такъ нечувствительны и недоступны воздѣйствіямъ общества, какъ это представляютъ корреспонденты. Объ этомъ я и хочу разсказать кое-что, въ тѣхъ цѣляхъ, чтобы отнять у нѣкоторыхъ обличеній ихъ очевидную односторонность, сваливающую непосредственно все дѣло на однихъ владыкъ и не обращающихъ ни малѣйшаго вниманія на ихъ положеніе и на отношеніе къ нимъ самого общества. По моему мнѣнію, наше общество должно понести на себѣ самомъ хоть долю укоризнъ, адресуемыхъ архіереямъ, для которыхъ настала пора похлопотать о своего рода эмансипаціи.

Какъ бы это кому ни показалось парадоксальнымъ, однако, прошу вниманія къ тѣмъ примѣрамъ, которые приведу въ доказательство моихъ положеній.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Былъ у насъ генералъ Я—ль. Онъ скончался недавно послѣ окончанія послѣдней турецкой войны, которую тоже дѣлалъ. Это былъ замѣчательный человѣкъ по складу ума, складу привычекъ и складу фигуры; онъ же обладалъ и краснорѣчіемъ, притомъ такимъ, какому въ наше стереотипное время нѣтъ подобнаго. Онъ былъ человѣкъ большой, сутуловатый, нескладный и неопрятный. Лицо имѣлъ самое некрасивое, монгольскаго типа, хотя происходилъ изъ татаръ. По службѣ считался хорошимъ генераломъ и шелъ въ повышенія, но въ отношеніи образованности былъ очень своеобразенъ: литература для него не существовала, свѣтскихъ людей онъ терпѣть не могъ и на этомъ основаніи избѣгалъ даже родственниковъ по женниной линіи. Особенно же не любилъ баловъ и собраній, на которыхъ притомъ и не умѣлъ себя вести. Былъ извѣстенъ случай, что однажды, подойдя къ вазамъ съ вареньемъ, онъ преспокойно выбралъ себѣ пальцами самую приглядную ягоду, пальцами же положилъ ее себѣ въ ротъ, и отошелъ отъ стола, не обращая ни на кого вниманія. Быть съ нимъ въ обществѣ одни считали мученіемъ, другіе же хотя и переносили его, но болѣе ради того, чтобы за нимъ подмѣчать его «деликатности». Но въ своемъ, въ военномъ дѣлѣ онъ былъ молодецъ, хотя тоже все съ эскивоками. Подчиненные его ни любили, ни не любили, потому что сближеніе съ нимъ было невозможно, а солдаты его звали «татариномъ». Но мы имѣемъ дѣло только до его краснорѣчія.

Военное краснорѣчіе генерала Я—ля, какъ выше сказано, было оригинально и пользовалось широкою и вполнѣ заслуженною извѣстностью. Оно и въ самомъ дѣлѣ, какъ сейчасъ убѣдится читатель, имѣло очень рѣдкія достоинства. У меня есть одинъ образецъ рѣчей этого военнаго оратора, — притомъ образецъ наилучшій, ибо то, что я передамъ, было сказано при обстоятельствахъ, особенно возбуждавшихъ духъ и талантъ генерала Я—ля, а онъ хорошо говорилъ только тогда, когда бывалъ потрясенъ или чѣмъ-нибудь взволнованъ.

Генералъ Я—ль занималъ очень видное мѣсто въ арміи. У него было много подчиненныхъ немелкаго чина, и особенно одинъ такой былъ въ числѣ полковыхъ командировъ, нѣкто Т., человѣкъ съ большими свѣтскими связями, что Я—ля къ такимъ людямъ не располагало.

Неизвѣстно, какихъ онъ любилъ, но такихъ положительно не любилъ.

Была весна, — хорошее время года, а тѣмъ больше на югѣ. Генералъ предпринялъ служебное путешествіе, съ цѣлію осмотрѣть свои «части». Онъ ѣхалъ запросто и съ однимъ адъютантомъ.

Пріѣхали въ городъ, гдѣ стоялъ полкъ Т., и въ тотъ же день была назначена «выводка».

Дѣло происходило, разумѣется, на открытомъ мѣстѣ, невдалекѣ за конюшнями. Офицеры стоятъ въ отдаленіи, — на обозрѣвательномъ пунктѣ только трое: генералъ Я—ль, у праваго его плеча—его адъютантъ, а слѣва, рядомъ съ нимъ, полковой командиръ Т.

Выводятъ первый эскадронъ: лошади очень худы.

Я—ль только подвигалъ губами и посмотрѣлъ черезъ плечо на адъютанта.

Тотъ приложилъ почтительно руку къ фуражкѣ и общей миной и легкимъ движеніемъ плечъ отвѣчалъ, что «видитъ и разумѣетъ».

Выводятъ второй эскадронъ—еще хуже.

Генералъ опять полковому командиру—ни слова, но опять оглядывается на адъютанта и на этотъ разъ уже не довольствуется мимикой, а говоритъ:

— Одры!

Адъютантъ приложился въ знакъ согласія.

Полковникъ, разумѣется, какъ на иголкахъ, и когда вывели третій эскадронъ, гдѣ лошади были еще худѣе, онъ не выдержалъ, приложился и говоритъ:

— Это удивительно, ваше сіятельство... никакъ ихъ нельзя здѣсь ввести въ тѣло...

Я—ль молчалъ.

— Я уже,—продолжалъ полковникъ:—пробовалъ ихъ кормить и сѣчкою, и даже... морковь...

При словѣ морковь, въ смыслѣ наилучшаго или цѣлебнаго корма для лошадей, генералу показалось, что это идетъ какъ будто изъ вольнаго экономическаго общества, или другого какого-нибудь подобнаго оскорбительнаго учрежденія, и генералъ долѣе не выдержалъ. Его тяжелый, но своеобразный юморъ и краснорѣчіе начали дѣйствовать,—онъ обернулся снова къ командиру и сказалъ:

— Морковь... это такъ... А я вамъ еще вотъ что, полковникъ, посовѣтую: попробуйте-ка вы ихъ овсомъ покормить.

И съ этимъ онъ повернулся и ушелъ, не желая смотрѣть остальныхъ «одровъ», но на завтра утромъ назначилъ смотрѣть ѣзду. Легъ онъ недовольный и всталъ недовольный, а при ѣздѣ пошли такія же неудовлетворительности. Генералъ и закипѣлъ и пошелъ все переѣзжать съ мѣста на мѣсто,—что у него выражало самую большую гнѣвность, которой надо было вылиться въ какомъ-нибудь соотвѣтственномъ поступкѣ: изругать кого, за пуговицу подергать или же пустить такой цвѣтъ краснорѣчія, который забыть нельзя будетъ.

Дѣла пошли такъ, что командиръ самъ подалъ ему поводъ къ послѣднему, и живой даръ генерала началъ дѣйствовать

Какъ вчера полковникъ пустилъ себѣ на выручку морковь, такъ теперь онъ хотѣлъ найти оправданіе въ молодости эскадронныхъ командировъ. Генералу всякаго повода къ рѣчамъ было довольно, а этого даже съ излишкомъ. Услыхавъ, что вся бѣда въ томъ, что молоды офицеры,—онъ отскочилъ на своей лошади въ сторону, сдѣлалъ свою обыкновенную въ гнѣвномъ времени гримасу и страшнымъ,

громовымъ голосомъ, долетавшимъ при разстановкахъ до послѣдняго фурштата, заоралъ:

— Вздоръ говорить изволите!.. Что это еще за манера другъ на друга ссылаться-я-я!.. Полковой командиръ долженъ быть за все въ отвѣтѣ-ѣ-ѣ! Вы развраты этакіе затѣваете-е-е-е!.. По-о-лковой командиръ на эскадронныхъ!.. А эскадронные станутъ на взводныхъ. А... взво-одные на вахмистровъ, а вахмистры на солдатъ... А солдат-ты на Господа Бога!.. А Господь Богъ скажетъ: «врете вы, мерзавцы,—Я вамъ не конюхъ, чтобы вашихъ лошадей выѣзжать: сами выѣзжайте!»

Это было начало и конецъ краткой, но, какъ мнѣ кажется, очень энергической рѣчи. Генералъ уѣхалъ, а офицеры долго еще были въ недоумѣніи: какъ же это возможно, до чего сталъ доходить въ своемъ гнѣвѣ Я—ль? Особенно этимъ былъ пораженъ одинъ молодой офицеръ изъ нѣмцевъ, у котораго хранились добрые задатки религіозныхъ чувствъ. Ему казалось, что послѣ такой выходки Я—ля, онъ, какъ христіанинъ, не можетъ болѣе оставаться на службѣ подъ его начальствомъ.

Онъ думалъ объ этомъ всю ночь и утромъ, чисто одѣвшись, поѣхалъ потихоньку къ архіерею, чтобы ему, какъ самому просвѣщенному духовному лицу въ городѣ, разсказать все о вчерашней рѣчи и просить его мнѣнія объ этомъ поступкѣ.

Архіерей принялъ и терпѣливо выслушалъ корнета, но съ особеннымъ вниманіемъ слушалъ воспроизведеніе на память генеральской рѣчи. И, по мѣрѣ того, какъ офицеръ, передавая генеральскія слова, все возвышалъ голосъ и дошелъ до «Господа Бога», то архіерей, быстро вставъ, взялъ офицера за обѣ руки и проговорилъ:

— Видите, какъ прекрасно! И какъ послѣ этого не сожалѣть, что духовное ораторство у насъ не такъ свободно, какъ военное. Почему же мы не можемъ говорить такъ вразумительно? Отчего бы на текстъ «просящему дай» такъ же кратко не сказать слушателямъ: не говори, алчная душа, что «Богъ подастъ». Богъ тебѣ не ключникъ и не ларешникъ, а самъ подавай... Повѣрьте, это многимъ было бы болѣе понятно, чѣмъ риторическое пустословіе, котораго никто и слушать не хочетъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

То, что̀ я ниже буду разсказывать, извѣстно мнѣ со словъ моего умершаго друга, художника петербургской академіи художествъ, Ивана Васильевича Гудовскаго, котораго, вѣроятно, еще очень многіе не забыли въ Кіевѣ. Онъ былъ хорошій мастеръ своего дѣла и очень добрый, честный и прямой, правдивый человѣкъ, каждому слову котораго можно было смѣло и несомнѣнно вѣрить.

Ив. В. Гудовскій — сынъ казака изъ г. Пирятина. Онъ еще въ отрочествѣ своемъ былъ привезенъ въ Кіево-Печерскую лавру и, во вниманіе къ замѣченнымъ въ немъ художественнымъ наклонностямъ, отданъ для наученія живописи въ лаврскую иконописную мастерскую. Мастерскою этою (пришедшею при митр. Арсеніи въ совершенный упадокъ) тогда завѣдывалъ іеромонахъ Иринархъ, художественныя способности котораго многихъ не удовлетворяли. Иринарху ставили въ вину, что «кисть его надъ смертными играла»; онъ имѣлъ удивительное несчастіе всѣхъ писать «на одно лицо». И на самомъ дѣлѣ, отецъ Иринархъ былъ не очень большой искусникъ, но человѣкъ очень рачительный и очень полезный. Митрополитъ Филаретъ Амфитеатровъ считалъ іеромонаха Иринарха хорошимъ мастеромъ по иконописанію, и едва ли митрополитъ не былъ правѣе многихъ заѣзжихъ знатоковъ, смущавшихся тѣмъ, что у отца Иринарха «все шло на одно лицо». У него зато не было непріятной *головастости* академика Солнцева и не было сухой *вытянутости* фигуры Пѣшехонова. Вообще онъ писалъ въ иконномъ родѣ довольно пріятно, строгонькимъ, но довольно округлымъ монастырскимъ рисункомъ, въ мягкихъ тонахъ и нѣжными лассировками, что̀, безспорно, приличествуетъ иконописному роду живописи и очень нравилось митрополиту Филарету *). Но всего болѣе о. Иринархъ былъ отлич-

*) Два современника: Филаретъ московскій (Дроздовъ) и Филаретъ кіевскій (Амфитеатровъ) между множествомъ отличавшихъ ихъ различій, различно относились и къ иконописному искусству. Филаретъ Дроздовъ, по собственному его признанію (см. письма, изд. А. Н. Муравьевымъ), не зналъ толку въ этомъ дѣлѣ и даже, судя по тону письма, относился къ этому какъ будто равнодушно; но Филаретъ кіевскій любилъ иконописное дѣло и считалъ себя въ немъ свѣдущимъ. Онъ смѣло вмѣшивался въ работы по реставраціи стѣнописи кіевскихъ соборовъ, пока (какъ разсказывали за достовѣрное) получилъ чувствительныя для него не-

ный *школьмейстеръ*, что совершенно основательно цѣнилъ въ немъ покойный владыка. Лаврская школа при о. Иринархѣ была, относительно, въ такомъ цвѣтущемъ состояніи, что надо было удивляться мастерству кіево-печерскихъ правителей, которые потомъ умѣли привести ее въ самое жалкое состояніе, въ какомъ я ее въ послѣдній разъ видѣлъ незадолго до кончины митрополита Арсенія, многообразныя услуги коего кіевской паствѣ еще не оцѣнены. При Иринархѣ здѣсь не только «тонко» работали, но и недурно держали учениковъ, такъ что у нихъ былъ свой товарищескій *духъ* и преданія, нѣсколько напоминавшія духъ школъ старинныхъ монастырскихъ маэстро. Нѣкоторые ученики о. Иринарха переходили изъ его школы въ академію и тамъ оказывались хорошо подготовленными по рисунку и отличались добрымъ, чисто художественнымъ настроеніемъ, дѣлавшимъ ихъ хорошими товарищами и пріятными людьми въ дальнѣйшей жизни. Все это творилъ о. Иринархъ,—довольно строгій монахъ, но большой любитель своего рукомесла и заботливый укоренитель его въ тѣхъ, кого судьба давала ему въ ученики.

Художникъ Гудовскій *пришелъ* въ Петербургъ, въ академію, изъ этой же школы о. Иринарха, о которой до своей трагической кончины говорилъ всегда съ одушевленіемъ, какъ «о милыхъ годахъ своей юности»; въ этихъ же разсказахъ онъ не разъ упоминалъ слѣдующій анекдотическій случай, лично касающійся митрополита Филарета Амфитеатрова.

«Разъ,—говорилъ Гудовскій:—мы работали лѣтомъ, внизу, подъ митрополичьими покоями *), и тамъ послѣ обѣда и отдыхали. Отецъ Иринархъ, бывало, пообѣдавши, остается уснуть въ своей кельѣ, а мы, ребятишки, находили, что намъ лучше тутъ, потому что здѣсь было прохладнѣе, да и присмотра за нами не было; а самое главное,—что отсюда

пріятности отъ покойнаго государя Николая Павловича, желавшаго правильной реставраціи Софійскаго собора Ярослава. По правдѣ судя, кажется, добрый старецъ болѣе любилъ искусство, чѣмъ понималъ его, и если тамъ въ фрескахъ что излишне «замалевано»,—то едва ли этого не слѣдуетъ, хотя долею, относить на его милую память.

*) Я уже не помню: была ли тутъ временная мастерская, или работы шли въ нижней домовой церкви митрополичьяго дома, или все это было въ Голосѣевѣ, гдѣ кіевскіе митрополиты проводятъ дачное время.

изъ оконъ можно было лазить въ митрополичій садъ, гдѣ насъ соблазняли большія, сочныя груши, называемыя въ Кіевѣ «принцъ-мадамы», которыя мы имѣли сильное желаніе отрясти.

«Послѣ долгихъ между собою совѣтовъ и обсужденія всѣхъ сторонъ задуманнаго нами предпріятія полакомиться митрополичьими принцъ-мадамами, мы пришли къ убѣжденію, что это сладкое дѣло хотя и трудно, но не невозможно. Надежно огороженный садъ никто не караулилъ, а единственный посѣтитель его былъ самъ митрополитъ, который въ жаркіе часы туда не выходилъ. Стало-быть, надо было только обезпечить себя отъ зоркаго глаза отца Иринарха, чтобы онъ не пришелъ въ ту пору, когда мы спустимся въ садъ красть груши. А потому мы, въ одинъ прекрасный день, размѣтили посты, поставили на нихъ махальныхъ и, затѣмъ, одинъ по одному, всею гурьбою, спустились потихоньку въ угольное окно, выходившее въ темное, тѣнистое мѣсто у стѣны, и, какъ хищные хорьки, поползли за кустами къ самымъ лучшимъ деревьямъ.

«Все шло хорошо; работа кипѣла, и пазухи нашихъ блузъ тяжело нависали. Но вдругъ, на одномъ деревѣ появилось разомъ два трясуна, изъ которыхъ одинъ былъ, вѣроятно, счастливѣе другого, и у нихъ тутъ же, на деревѣ, произошла потасовка, но въ это самое время *кто-то* крикнулъ:

«— Отецъ Иринархъ идетъ!

«Не разбирая, *какой изъ нашихъ махальныхъ* это крикнулъ, мы ударились бѣжать, разсыпая по дорогѣ значительную долю наворованныхъ принцъ-мадамъ. А тѣ двое, которые подрались на деревѣ, съ перепугу оборвались и оба разомъ полетѣли внизъ. И всѣ мы, столпившись кучею у окна, чрезъ которое спускались другъ за другомъ веревочкою, смялись и, плохо соображая, что̀ намъ дѣлать, зашумѣли. Каждому хотѣлось спастись поскорѣе, чтобы не попасться отцу Иринарху, и отъ того мы только мѣшали другъ другу, обрывались и падали. А *гдѣ-то*, сверху надъ нами, *кто-то* весело смѣялся спокойнымъ и добрымъ старческимъ смѣхомъ.

«Это всѣ мы замѣтили, но въ суетахъ не обратили на это вниманія, тѣмъ болѣе, что когда мы успѣли взобраться назадъ въ окно и попрятать принесенные съ собою воро-

ванные запасы, то мы обнаружили, что одинъ изъ дравшихся на деревѣ былъ изъ числа нашихъ махальныхъ, которому надлежало стоять на самомъ опасномъ пунктѣ и наблюдать приближеніе отца Иринарха...

«Всѣ часы своей послѣобѣденной работы мы объ этомъ перешептывались за своими мольбертами, а вечернею шабашкою тотчасъ же приступили къ дознанію: какъ это могло случиться, и рѣшили виновника «отдуть». Но чуть только мы хотѣли привести это рѣшеніе въ исполненіе, какъ тотъ струсилъ и, желая спастись отъ наказанія, выдалъ ужасную тайну: онъ сказалъ намъ, что не онъ одинъ, а всѣ три наши махальные не выдержали искушенія, и, покинувъ свои посты, вмѣстѣ съ нами сбѣжали въ садъ за краснобокими принцъ-мадамами».

Ночью, поѣвъ всѣ накраденныя груши, юные артисты рѣшили больше не воровать; но на-завтра забыли это рѣшеніе и снова выступили въ садъ въ томъ же порядкѣ, только съ назначеніемъ новыхъ сторожей, которые, однакоже, за исключеніемъ одного, оказались не исправнѣе прежнихъ. Не успѣли воришки приняться за свое дѣло, какъ и лакомки-сторожа появились между ними,—всѣ, за исключеніемъ одного. Но и этотъ одинъ былъ плохой и злой сторожъ: оставшись при своемъ мѣстѣ, онъ умыслилъ жестокое коварство.

«— Не успѣли мы,—говорилъ Гудовскій:—приняться за работу по деревьямъ, какъ этотъ хитрецъ приложилъ руки трубкою къ губамъ и крикнулъ:

«— Отецъ Иринархъ идетъ!

«Всѣ мы, сколько насъ тамъ было, услыхавъ это, какъ пули попадали сверху на землю и... не поднимались съ нея... Не поднимались потому, что къ одному ужасу прибавился другой, еще бо́льшій: мы опять услыхали голосъ, котораго уже не могли не узнать. Этотъ голосъ былъ тотъ самый, который насъ вчера предупреждалъ насчетъ приближенія Иринарха, но нынче онъ не пугалъ насъ, а успокоивалъ. Слова, имъ произнесенныя, были:

«— Неправда, рвите себѣ, Иринархъ еще не идетъ!»

Это былъ голосъ митрополита Филарета, котораго дѣти узнали и, приподнявъ изъ травы свои испуганныя головенки, оцѣпенѣли... И какъ иначе, — они увидѣли самого

его, владыку кіевскаго и галицкаго, стоявшаго для нихъ на стражѣ у косяка своего окошечка и весело любовавшагося, какъ они обворовываютъ его садъ...

Какъ же приняли эти дурно-воспитанныя дѣти такое странное и, можетъ-быть, съ точки зрѣнія всякаго сухого педагога, конечно, очень неодобрительное отношеніе къ ихъ плохой шалости?

«— Мы, — говорилъ Гудовскій: — потеряли всѣ чувства отъ стыда: мы всѣ какъ бы окаменѣли и не могли двинуться, пока замѣнявшій намъ махальнаго митрополитъ крикнулъ:

«— Ну, теперь бѣгите, дурачки, — теперь Иринархъ идетъ!

«Тутъ мы брызнули: опять по-вчерашнему взобрались на свое мѣсто, но были страшно смущены и болѣе красть митрополичьи груши не ходили.

«Прошелъ день, два, три,—мы все были въ страхѣ: не призоветъ ли митрополитъ о. Иринарха и не откроетъ ли ему, какіе мы негодяи? Но ничего подобнаго не было, хотя «милый дидуся», очевидно, объ насъ думалъ и, догадываясь, что мы безпокоимся, захотѣлъ насъ обрадовать.

«На четвертый день послѣ происшествія, вдругъ намъ принесли цѣлыя ночвы разныхъ плодовъ и большую деревянную чашу меду и сказали, что это намъ владыка прислалъ.

«— По какому же это случаю?—допытывались мы, радостно и робко принимая щедрый подарокъ. Но *случая* никакого не было, кромѣ того, о которомъ мы одни знали и крѣпко о немъ помалчивали.

«Посланный сообщилъ только, что владыка просто сказалъ:

«— Сошлите живописцамъ-мальчишкамъ медку и всякихъ яблочекъ... Дурачки вѣдь они, имъ хочется... Пусть поточатъ».

«— Мы эти его груши и сливы,—честное слово говорю,— со слезами ѣли и потомъ, какъ онъ первый разъ послѣ этого служилъ, окружили его и не только его руки, а и ряску-то его расцѣловали, пока насъ дьякона по затылкамъ не растолкали».

Такъ онъ ихъ наказалъ и, прибавлю, наказаніе его было столь памятно, что лѣтъ черезъ пятнадцать послѣ этого,

когда мы съ Гудовскимъ жили въ домѣ, выходившемъ на Софійскую улицу, этотъ, тогда уже пожилой художникъ, бывало, ни разу не пропуститъ мимо митрополичьей кареты, чтобы не крикнуть вслѣдъ съ дѣтскою радостью:

«— Здоровъ будь, милый дидуню!»

И болѣе того: этотъ человѣкъ, здороваго и остраго ума, вращавшійся въ свое время въ различныхъ кружкахъ Петербурга, не сохранилъ всей вѣры, къ которой былъ наставленъ своею церковью. Онъ былъ религіозенъ, но, къ сожалѣнію, долго жилъ съ монахами, хорошо зналъ ихъ и относился недружелюбно и даже враждебно къ духовенству вообще, и къ черному въ особенности; но на предложенный ему однажды вопросъ: гдѣ же, однако, въ какой церкви самое лучшее духовенство? отвѣчалъ:

«— Въ русской, бо изъ него выйшовъ нашъ старый дидуся Филаретъ, дуже добрый».

И Богъ вѣсть, когда пала въ эту художественную душу любовь къ «дуже доброму дидусѣ». — Можетъ-быть, именно тогда, когда превосходный старецъ покрывалъ своею превосходною добротою *ребячье баловство,* которое любой педагогъ и моралистъ не усомнились бы теперь назвать *воровствомъ* и даже, пожалуй, признакомъ соціалистическаго взгляда на собственность, а какой-нибудь либеральный перевертень съ прокурорскаго кресла потребовалъ бы за все это самую строгую кару. Но, къ счастью, не такъ смотритъ на вещи не направленская, а настоящая добродѣтель, однимъ изъ прекрасныхъ представителей которой можетъ быть названъ Филаретъ Амфитеатровъ, о коемъ, право, кажется, можно сказать, какъ о Моисеѣ, что онъ «смиренъ бѣ паче всѣхъ человѣкъ».

Но чтобы сказать все, что̀ мнѣ, случайно конечно, извѣстно объ истинномъ, неподдѣльномъ смиренствѣ этого истиннаго человѣка, а съ тѣмъ вмѣстѣ, чтобы и не дать пропасть анекдоту, который можетъ пригодиться для характеристики простой, но замѣчательной личности митрополита Филарета, запишу еще слѣдующее событіе, извѣстное мнѣ отъ очевидцевъ,—родного дяди моего, профессора С. П. А—ва, и бывшаго генералъ-штабъ-доктора крымской арміи Н. Я. Чернобаева.

Когда юго-западный генералъ-губернаторъ Дмитрій Гаври-

ловичъ Бибиковъ возвратился въ послѣдній разъ изъ Петербурга, гдѣ онъ былъ назначенъ на должность министра внутреннихъ дѣлъ, то онъ посѣтилъ митрополита Филарета и, разсказывая ему новости, какія считалъ умѣстнымъ сообщить его смиренію, привелъ слова императора Николая Павловича о церковномъ управленіи.

Слова эти, очень вѣрно сохраняемыя моею памятью, были таковы, что, будто покойный государь, разговаривая съ Дмитріемъ Гавриловичемъ о разныхъ предметахъ, сказалъ:

— «О церковномъ управленіи много безпокоиться нечего: пока живы Филаретъ мудрый да Филаретъ благочестивый, все будетъ хорошо».

Услыхавъ это отъ министра, митрополитъ смутился и поникъ на грудь головой, но черезъ секунду оправился, поднялъ лицо и радостно проговорилъ:

— Дай Богъ здоровья государю, что онъ такъ цѣнитъ заслуги митрополита московскаго.

— И ваши, ваше высокопреосвященство, — поправилъ Бибиковъ.

Филаретъ наморщилъ брови.

— Ну, какія мои заслуги?.. ну что... тутъ... Государю наговорили... Все «мудрый» Филаретъ московскій, а я... что,—пустое.

— Извините, владыка: это не вамъ принадлежитъ ваша оцѣнка!

Но митрополитъ замахалъ своею слабою ручкою.

— Нѣтъ... нѣтъ, ужъ позвольте... какая оцѣнка: все принадлежитъ мудрости митрополита московскаго. И это кончено, и я униженно прошу ваше высокопревосходительство мнѣ больше не говорить объ этомъ.

И при этомъ онъ, говорятъ, такъ весь покраснѣлъ и до того сконфузился, что всѣмъ стало жалко «милаго старика» за потрясеніе, произведенное въ немъ неосторожнымъ прикосновеніемъ къ его деликатности.

Такъ дѣтски чистъ и простъ былъ этотъ превосходный человѣкъ, что всякая мелочь изъ воспоминаній о немъ наполняетъ душу пріятнѣйшею теплотою настоящаго добра, которое какъ будто съ нимъ родилось,—жило съ нимъ, и... съ нимъ умерло... По крайней мѣрѣ, для людей, знавшихъ Филарета, долго будетъ казаться, что органически ему при-

сущее добро умерло съ нимъ въ томъ отношеніи, что ихъ глазъ нигдѣ не находитъ другого такого человѣка, который былъ бы такъ подчиненъ кроткому добротолюбію, но по теоріи, не въ силу морали воспитанія и, еще болѣе, не въ силу сухой и нестоящей морали направленія, а именно подчинялся этому требованію самымъ сильнымъ образомъ *органически*. Онъ родился съ своею добротою, какъ фіалка съ своимъ запахомъ, и она была его природою.

Но какъ онъ, съ такимъ характеромъ и въ самыхъ преклонныхъ лѣтахъ, могъ править такою первоклассною епархіею, какъ кіевская? Полагаютъ, что его, вѣроятно, обманывали какіе-нибудь свои «гаврилки» (т. е. родственники) и, пользуясь его добротою, подъ его руку вершили кривду надъ правдою. Но въ томъ-то и дѣло, что онъ не терпѣлъ при себѣ ни одного «гаврилки» и имъ никто не правилъ, кромѣ его собственнаго сердца. Ветхій и немощный Филаретъ имѣлъ прекрасныхъ викаріевъ и замѣчательнаго намѣстника Іоанна, нынѣ епископа полтавскаго, который, можетъ-быть, болѣе сдѣлалъ *для духа* монашества лаврскаго, чѣмъ старательно прославляемый нынѣ намѣстникъ Сергіевской лавры Антоній—*для архитектуры*; но всѣ эти лица сотрудничали м. Филарету, а не верховодили имъ. Во всѣхъ дѣлахъ, требовавшихъ отъ него самостоятельности, онъ дѣйствовалъ самостоятельно и до конца жизни правилъ самъ и вездѣ его доставало (только въ университетъ онъ пересталъ ѣздить, потому что «не хотѣлъ слышать о конкубинахъ») *). Даже гдѣ нужна была строгость и наибольшая

*) Пр. Филаретъ пріѣхалъ на защищеніе диссертаціи, въ которой разбиралась разница права дѣтей, прижитыхъ отъ сожительства connubium и concubinatum. Митрополитъ долго крѣпился и слушалъ, но, наконецъ, не выдержалъ и всталъ. Насилу упросили его «не смущать диспутанта». Онъ это уважилъ, но жаловался.

— Что же, говоритъ, я монахъ, а только и слышу connubium да concubinatum. Не надо было звать меня.

И въ этомъ онъ былъ правъ. Но замѣчательно: это такъ осталось у него въ памяти, что онъ, когда рѣчь касалась университетовъ, всегда любилъ за нихъ заступаться, но шутливо прибавлялъ:

— Одно въ нихъ трудно монаху, что все «connubium» да «concubinatum»,—а больше все хорошо.

Впрочемъ, изъ всѣхъ, такъ называемыхъ, «свѣтскихъ» наукъ, мнѣ извѣстно опредѣлительное отношеніе м. Филарета только къ медицинѣ. Тяжко страдая мочевыми припадками, онъ безпрестанно нуждался въ помощи врача З—го и, получивъ облегченіе отъ припадка, говорилъ со вздохомъ:

— Медицина—божественная наука!

энергія, онъ и тутъ не устранялся отъ дѣла, а только всегда боялся быть жестокимъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Одинъ изъ памятныхъ случаевъ въ самостоятельномъ родѣ устроилъ ему бывшій парадный іеродіаконъ монастыря, о. Ан—ій. Богатырь, красавецъ и жуиръ, діаконъ этотъ пользовался большими льготами въ монастырѣ, гдѣ дорожили его громоподобнымъ голосомъ и спускали ему многое, чего, можетъ-быть, не слѣдовало бы спускать. Все это его до такой степени избаловало, что онъ сталъ не знать мѣры своимъ увлеченіямъ и, придя разъ лѣтнею ночью въ изступленіе ума, вышелъ изъ кельи на житній дворъ, гдѣ на тупору стояли волы пріѣхавшихъ съ вечера мужиковъ. Изступленному іеродіакону пришла мысль сѣсть на вола верхомъ и начать разъѣзжать на немъ по монастырю.

Онъ такъ и сдѣлалъ: отвязалъ отъ ярма самаго рослаго, половаго вола, замоталъ ему на рога налыгачъ (ремень) и взмостился ему на спину. Непривычный къ верховой ѣздѣ, быкъ пошелъ ревѣть, прыгать и метаться, а богатырь-діаконъ сидитъ на немъ, какъ клещъ на жужелицѣ, и, жаря его каблуками въ ребра, кричитъ: «врешь,—не уйдешь».

И волъ реветъ, и сѣдокъ реветъ; сонъ мирной обители нарушенъ,—она встревожена; спавшіе покатомъ по всему двору странники въ переполохѣ мятутся, думаютъ, что видятъ бѣса,—и впопыхахъ никто не разберетъ, кто кого деретъ. Словомъ, смятеніе произошло ужасное: шумъ, гвалтъ, суматоха и, въ заключеніе, когда дѣло объяснилось,—скандалъ и соблазнъ, утаить который было такъ же трудно, какъ сберечь секретъ Полишинеля. Нынѣшней газетной гласности, питающейся отъ скандаловъ, при тогдашней тѣснотѣ еще не было, но слухъ, которымъ земля полнится, на другой же день распространился изъ монастыря въ монастырь, оттуда по приходскимъ причтамъ и, наконецъ, дошелъ до мірянъ, между коими рѣдко кто не зналъ чудака іеродіакона Ан—ія. Онъ, съ его нелѣпымъ басомъ, гигантскимъ сложеніемъ, завитыми кудрями и щегольскими черными бархатными рясами, то на желтомъ, то на голубомъ атласномъ подбоѣ, слишкомъ билъ въ глаза каждому. Я никогда не слыхалъ, чтобы инокъ Ан—ій былъ особенно прославляемъ за свое благочестіе, какъ аскетъ, но его лю-

били, какъ простяка, за его наивную и безтолковую, а часто даже комическую удаль, съ которою онъ, напримѣръ, самъ разсказывалъ, что онъ «изнываетъ отъ силы», потому что, по ужасно-крѣпкому своему тѣлосложенію, онъ болѣе не монахъ, а *паразитъ*.

Послѣ этого не должно показаться удивительнымъ, что вѣсть о ночномъ путешествіи лаврскаго «паразита» верхомъ на быкѣ казалась занятною, и многихъ интересовало: какія это будетъ имѣть для него послѣдствія? Но дни проходили за днями, а паразитъ оставался на своемъ мѣстѣ, и строгіе люди стали смущаться: что же это митрополитъ: онъ ослабѣлъ, онъ слишкомъ старъ, или, наконецъ, отъ него все это скрыли? Возможно ли, чтобы за все это безчинное волтижерство такого виднаго инока ему совсѣмъ ничего не было?

Но всѣ эти люди смущались напрасно: происшествіе не осталось безызвѣстнымъ владыкѣ, да это было и невозможно, такъ какъ разгоряченный волъ или самъ занесъ наѣздника къ митрополичьимъ покоямъ, или же паразитъ нарочно его сюда направилъ. Владыка сталъ на высотѣ своего призванія: онъ взыскалъ съ волтижера и взыскалъ по-своему не только справедливо, но даже строго.

Управлявшій тогда лаврскою типографіею, очень образованный монахъ, къ которому я часто хаживалъ учиться гальванопластикѣ, разсказывалъ мнѣ по секрету всю сцену разбирательства этого дѣла у Филарета.

Митрополитъ, имѣя, какъ я сказалъ, превосходнаго намѣстника въ лаврѣ, не захотѣлъ даже ему довѣрить разбора этого необычайнаго дѣла, а рѣшилъ самъ его разобрать и наказать виновнаго *примѣрно*.

Какъ инокъ строгой жизни, онъ, разумѣется, былъ сильно возмущенъ и разгнѣванъ произведеннымъ безпорядкомъ и собирался быть такъ строгъ, что даже опасался, какъ бы не дойти до жестокости.

Приступая къ открытію судьбища, онъ все обращался къ кому-то изъ приближенныхъ къ нему монаховъ и говорилъ:

— Боюсь, что буду жестокъ—а?

Тотъ его успокоивалъ, говоря, что виновный стóитъ сильнаго наказанія.

— Да, стоитъ онъ, дуракъ, стоитъ, но я боюсь, что я буду уже очень жестокъ—а?—твердилъ митрополитъ.

— Ничего, ваше высокопреосвященство! Онъ снесетъ.

— Снесетъ-то снесетъ, но вѣдь это не хорошо, что я буду очень жестокъ.

Насталъ часъ суда, — разумѣется — суда *келейнаго*, происходившаго только въ присутствіи двухъ-трехъ почетныхъ старцевъ.

Виновный, думавшій, что имъ очень дорожатъ за голосъ, мало смущаясь, ожидалъ въ передней, а владыка, весьма смущенный, сѣлъ за столъ и еще разъ освѣдомился у одного изъ приближенныхъ, какъ тотъ думаетъ: не будетъ ли онъ очень жестокъ? И хотя тотъ его успокоилъ, но онъ все еще просилъ:

— А на случай, если я стану жестокъ, то вы мнѣ подговорите за него что-нибудь подобрѣе.

Открылся судъ: ввели подсудимаго, который какъ переступилъ порогъ, такъ и сталъ у двери.

«Жестокій» судья для внушенія страха принасупился, завертѣлъ въ рукахъ свои бѣленькія костяныя чотки съ голубою бисерною кисточкою и зашевелилъ беззвучно губами.

Богъ его знаетъ: изливалъ ли онъ въ этомъ беззвучномъ шопотѣ самыя жестокія слова, которыя намѣревался сказать виновному, или... молился о себѣ и, можетъ-быть, о немъ же. Послѣднее вѣрнѣе.. Но вотъ онъ примѣрился говорить вслухъ и произнесъ протяжно:

— Ишь, кавалеристъ!

Дьяконъ упалъ на колѣни.

Филаретъ привсталъ съ мѣста и, строго хлопнувъ рукою по столу, защибъ палецъ. Это, кажется, имѣло вліяніе на дѣло: владыка долго дулъ, какъ дитя, на свой палецъ и, получивъ облегченіе, продолжалъ живѣе:

— Что, кавалеристъ!

Виновный упалъ ницъ и зарыдалъ.

Митрополитъ изнемогъ отъ своей жестокости: онъ опять подулъ на палецъ, повелъ вокругъ глазами и, опустясь на мѣсто, закончилъ своимъ добрымъ баскомъ:

— Пошелъ вонъ, кавалеристъ!

Судъ былъ конченъ; послѣдствіемъ его было такое незначительное дисциплинарное монастырское взысканіе, что сторонніе люди, какъ я сказалъ, его даже вовсе и не за-

мѣтили; но митрополитъ, говорятъ, еще не разъ возвращался къ обсужденію *своего* поступка. Онъ все находилъ, что онъ «былъ жестокъ», и когда его въ этомъ разувѣряли, то онъ даже тихонько сердился и отвѣчалъ:

— Ну, какъ же я не жестокъ: а отчего же онъ, бѣдный, плакалъ?

Атлетъ-черноризецъ, котораго терпѣлъ и о которомъ такъ соболѣзновалъ «добрый дидуня», однако, погибъ. По его собственнымъ словамъ, онъ «за свои грѣхи пережилъ своего благодѣтеля», но не пережилъ своей слабости.

Много лѣтъ спустя, въ одну изъ своихъ побывокъ въ Кіевѣ, я ѣздилъ съ моими родными и друзьями погулять въ лѣсистую пустынь Китаевъ. Обходя монастырь, со стороны пруда, надъ бѣлильнымъ токомъ, гдѣ выкладываютъ на солнце струганый воскъ съ свѣчного завода, я увидалъ у св. брамы колоссальную фигуру монаха съ совершенно сѣдою головою и въ одномъ подрясникѣ.

Онъ разговаривалъ съ извѣстною всѣмъ китаевцамъ бродяжкою «монашескою дурочкою», а возлѣ него, безцеремонно держа его за рукавъ, стоялъ послушникъ (по-кіевски *слимакъ*) и урезонивалъ его идти домой.

Я всмотрѣлся въ лицо богатыря и узналъ его: это былъ оный давній «паразитъ», давшій мнѣ много красокъ для лица, выведеннаго мною въ *Соборянахъ*, діакона Ахиллы.

Я заговорилъ съ нимъ, но онъ меня не узналъ, а когда я ему напомнилъ кое-что прошлое, онъ вспомнилъ, осклабился, но сейчасъ же понесъ какой-то жалкій, нескладный и безстыдный вздоръ.

Это былъ человѣкъ уже совершенно погибшій: въ немъ умерло все человѣческое,—все, кромѣ того, что не умираетъ въ душѣ самаго падшаго русскаго человѣка: онъ сохранилъ рѣдкую способность—*добро помнить*.

При одномъ имени покойнаго Филарета онъ весь съежился, какъ одержимый, и, страшно стукнувъ себя своимъ могучимъ кулачищемъ въ самое темя, закричалъ:

— Подлецъ я, подлецъ!—я огорчалъ его, моего батьку!— и съ этимъ онъ такъ ужасно зарыдалъ, что слимакъ, сочтя это неприличнымъ, повернулъ его за плечи къ брамѣ, пихнулъ въ калитку и сказалъ:

— Уже годи,—идить до дому. Це у въ васъ опьять водка плачетъ.

Паразитъ пошелъ:—крѣпость его, видно, уже ослабѣла, и онъ привыкъ повиноваться,—но плакала въ немъ, мнѣ кажется, все-таки *не одна водка*.

Но возможенъ вопросъ: гдѣ же доказательство, что добрякъ Филаретъ не портилъ служебнаго дѣла своею младенческою простотою и правилъ епархіею не хуже самыхъ непростыхъ?

Доказательства есть, хотя ихъ надо взять не изъ сухихъ цифръ офиціальнаго отчета, а изъ живыхъ сравненій, какъ говорится, «*отъ противнаго*».

Что оставилъ митрополитъ Филаретъ въ наслѣдіе своимъ наступникамъ? Сплошное, одновѣрное населеніе, самымъ трогательнымъ образомъ любившее своего «старесенькаго дидусю», и обители, въ которыхъ набожные люди осязали духъ схимника Парѳенія,—этого дивнаго человѣка, тихая слава котораго была равна его смиренію, даже превосходившему смиреніе его владыки.

Онъ завѣщалъ церкви «дитя своего сердца» (племянника) преосв. Антонія, почившаго архіепископа казанскаго, у котораго, можетъ-быть, не было недостатка въ сильныхъ недоброжелателяхъ, но который тѣмъ не менѣе, конечно, небезосновательно, пользовался уваженіемъ и любовью очень многихъ людей въ Россіи, ожидавшихъ отъ него большихъ услугъ церкви.

А посему можно думать, что Русь судитъ о церковномъ правительствѣ митрополита Филарета Амфитеатрова правильно: она держится въ этомъ словъ своего Божественнаго Учителя: «*дерево узнается по плодамъ*» (Мѳ. 12, 33).

Не мнѣ одному, а многимъ, давно кажется удивительнымъ: почему такъ много говорится объ «истинномъ монашествѣ» митрополита Филарета московскаго и, при этомъ, *никогда* не упоминается объ *истиннѣйшемъ* монахѣ Филаретѣ кіевскомъ *). Не дерзая ни одного слова сказать про-

*) Строки эти были уже набраны, когда на страницахъ журнала «*Русскій Архивъ*» появились безцѣнныя извѣстія, восполняющія нравственный обликъ митр. Филарета Амфитеатрова и характеризующія отношенія къ нему императора Николая Павловича.

тивъ перваго, я все-таки имѣю право сожалѣть, что его монашество какъ-будто совсѣмъ застилаетъ того, кого еще при жизни звали не иначе, какъ *«нашъ ангелъ»*. Вся жизнь митрополита Филарета Амфитеатрова можетъ быть поистинѣ названа *самою монашескою* въ самомъ наилучшемъ понятіи этого слова... Но кажется и объ этихъ высокихъ людяхъ надо сказать то, что Сократъ сказалъ о женщинахъ, т. е. что «лучше всѣхъ изъ нихъ та, о которой нечего разсказывать»,—или, по крайней мѣрѣ, нечего разсказывать въ апологіяхъ, а достаточно вспомнить ненастнымъ вечеромъ, у домашняго очага, гдѣ тѣло согрѣвается огонькомъ, а душа тихою бесѣдою о *добромъ человѣкѣ*.

Память подобныхъ людей часто не имѣетъ мѣста въ исторіи, но зато она легко переходитъ въ *житія*, — эти священныя саги, которыя благоговѣйно хранитъ и *чтитъ* память народовъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отъ милостиваго Филарета кіевскаго перейдемъ къ другому, тоже очень доброму старцу, епископу Н — ту. Этотъ былъ въ иномъ — гораздо болѣе веселомъ родѣ, но тоже чрезвычайно простъ, а при всемъ этомъ правилъ епархіею такъ, что оставилъ ее своему наступнику ничуть не хуже иныхъ прочихъ.

Въ отдаленной восточной епархіи, гдѣ недавно «окончилъ жизнь свою смертію» пр. Н—тъ, находятся большія имѣнія

Когда возобновляли великую церковь Кіево-Печерской Лавры, мѣстные художники закрыли старинныя фрески новою живописью, масляными красками. Это считалось и тогда преступленіемъ, а потому была назначена комиссія, и синодъ постановилъ митрополиту Филарету сдѣлать выговоръ. Государь написалъ на докладѣ: «Оставить старика въ покоѣ; мы и такъ ему насолили».

Въ первый затѣмъ пріѣздъ государя въ Лавру, митрополитъ Филаретъ, послѣ обычнаго молебствія, указавъ на группу чернецовъ, сказалъ:

— «Вотъ, ваше величество, художники, расписывавшіе храмъ».

— «Кто ихъ училъ?»—спросилъ государь.

— «Матерь Божія»,—отвѣчалъ простодушно владыка.

— «А! въ такомъ случаѣ и говорить нечего»,—замѣтилъ императоръ.

Судя по времени, къ которому относится этотъ разсказъ, нельзя сомнѣваться, что въ числѣ художниковъ, получившихъ непосредственные уроки отъ Матери Божіей, былъ представленъ и знаменитый от. Иринархъ, писавшій святыхъ «на одно лицо».

г-на N., очень богатаго и чрезвычайно набожнаго человѣка, устроившаго себѣ житницу отъ винныхъ операцій *). Набожность г-на N. такъ велика, что близкіе люди этого праведника, не будучи въ состояніи оцѣнить это настроеніе, готовы были принять ее за требующую лѣченія манію.

Иноческое фантазированіе довело этого человѣка до того, что онъ совсѣмъ очудачѣлъ. Онъ не только «цѣлоденно молился», но даже спалъ въ какой-то освященной «срачицѣ», опоясанный пояскомъ съ мощей св. Митрофана, въ рукавичкахъ св. Варвары и въ шапочкѣ Іоанна Многострадальнаго, а проснувшись, занимался химіей: дробилъ «херувимскій ладанъ» изъ пещеры гроба и гомеопатически разсыпливалъ св. елей и воду для раздачи несчастнымъ.

Эти благочестивыя занятія, однако, ему тоже были вмѣнены въ вину и отнесены къ наученію монашескому, хотя можетъ-быть химикъ получилъ пристрастіе къ подобнымъ занятіямъ гораздо ранѣе. Таковъ этотъ замѣчательный человѣкъ и понынѣ: онъ—строитель церквей, постникъ и ненасытный любитель странниковъ, монаховъ, а наипаче чтитель архіереевъ, съ которыми неустанно ищетъ сближенія—желаетъ отъ нихъ *освятиться*. Когда онъ долго не сподобляется архіерейскаго благословенія натурою, онъ испрашиваетъ онаго письменно. Въ обширныхъ помѣстьяхъ N., соединенныхъ въ той же отдаленной глухой мѣстности, до сихъ поръ водятся «пустынники», которыхъ онъ завелъ, и онъ же ихъ кроетъ отъ нескромныхъ очей міра и особенно отъ полицейскихъ властей. Это разведеніе и сбереженіе пустынниковъ стоитъ дорого и, вдобавокъ, N. не мало претерпѣваетъ отъ нихъ и за нихъ, такъ какъ они порою балуются и попадаются въ дѣлахъ непустыннических.ъ. Въ собственныхъ селахъ N. самыя лучшія церкви, въ которыхъ всегда все въ исправности: чистота, порядокъ, книжный обиходъ, утварь и ризница, — словомъ, все благолѣпіе въ велелѣпіи. А въ селѣ, гдѣ живетъ самъ N., «храмъ сіяетъ», при немъ два штата и ежедневное служеніе, которое изму-

*) Извѣстный авторъ сочиненія о томъ, какимъ святымъ въ каковыхъ случаяхъ надо молиться, пермскій протоіерей Поповъ напечаталъ, будто весь наступающій разсказъ, конечно очень несправедливый, касается одного *пермскаго* епископа и *пермскаго* же помѣщика г-на П. Д. Д—ва. Пусть это такъ и остается, какъ постарался правдивый протоіерей о. Поповъ.

ченные г-номъ N. священнослужители называютъ «безчеловѣчнымъ», оттого, что при немъ не присутствуетъ *ни одного человѣка.* Таковъ уставъ благочестиваго владѣльца, которому, конечно, не смѣетъ и подумать возражать вполнѣ отъ него зависимый причтъ духовенства.

Къ лицамъ бѣлаго духовенства N. строгъ до немилосердія и докучливъ даже болѣе, чѣмъ покойный Андрей Николаевичъ Муравьевъ, котораго, какъ извѣстно, звали въ шутку то «несостоявшимся оберъ-прокуроромъ», то «генералъ-инспекторомъ паномарства». Впрочемъ, при огромномъ ихъ сходствѣ по ревности къ храму и по лютости къ храмовымъ служителямъ, они совсѣмъ не похожи другъ на друга въ томъ отношеніи, что покойный Андрей Николаевичъ былъ знатокъ церковныхъ уставовъ и порядковъ и могъ въ нихъ наставить иного настоятеля, а у г. N. такого знанія нѣтъ. Кромѣ познаній въ химіи и гомеопатическихъ дѣленіяхъ освященныхъ твердыхъ тѣлъ и жидкостей, онъ во всемъ церковномъ человѣкъ кругомъ темный, и оттого у него нѣтъ той рѣшительности и смѣлости, которыми былъ одержимъ А. Н. Муравьевъ, дерзавшій произносить осужденіе не только священникамъ и священноинокамъ, но даже преосвященнѣйшимъ владыкамъ и всему ихъ святѣйшему собору. N. неповиненъ въ такихъ знаніяхъ, но зато не виноватъ и въ продерзостяхъ, за кои А. Н. Муравьевъ, вѣроятно, порядкомъ посудится съ обработанными имъ чернецами *).

*) До чего покойный Андр. Ник. Муравьевъ негодовалъ на высшихъ представителей церкви, могутъ знать только тѣ, кто видалъ его въ послѣдній годъ его жизни, когда онъ контрировалъ, Богъ-вѣсть изъ-за чего, съ митрополитомъ Арсеніемъ. Раздраженіе противъ сего владыки приводило Андрея Николаевича въ состояніе величественнаго паѳоса, въ которомъ онъ даже пророчествовалъ, предсказывая, коею смертью будутъ вскорѣ скончаваться самые величественные столпы церкви. Но предусмотрительный митрополитъ Арсеній, до котораго, вѣроятно, доходили оттолоски этого пророчества, повелъ дѣло такъ тонко, что пережилъ Андрея Николаевича и успѣлъ ему хоть мертвому сдѣлать самую чувствительную непріятность: онъ затруднилъ его выносъ и погребеніе въ Андреевской церкви и чуть не успѣлъ совсѣмъ лишить его права почивать подъ сводами храма. Остальныя пророчества, которыхъ я былъ слушателемъ, тоже еще не исполнились: всѣ возмущавшіе покой Андрея Николаевича «вредоносцы церкви»—здравы и невредимы. Но если онъ невѣрно пророчествовалъ, то вознаградилъ это удивительною законченностью своего собственнаго жизненнаго пути. Цѣлую жизнь инспектируя священнодѣйствія, онъ умеръ въ этихъ же самыхъ занятіяхъ. Наканунѣ смерти онъ пожелалъ особороваться. Таинство это, во главѣ другихъ лицъ,

Г-нъ Н. не таковъ: онъ простецъ и беретъ все отъ одного вдохновенія,—отчего ему угодить трудно и даже невозможно, если блюсти свое правило и хоть немножко хранить свое достоинство, о коемъ позволяетъ заботиться Спрахъ. — Составляя себѣ придворный штатъ духовныхъ, N., обыкновенно, собиралъ кондуитъ человѣка изъ архива всѣхъ четырехъ вѣтровъ и вообще мѣнялъ и перемѣнялъ лицъ до тѣхъ поръ, пока найдется искусникъ ему по обычаю. Тутъ бываетъ отпускъ, пока подъ ловкача не подберется мастеръ еще ловчѣе. Игра идетъ до тѣхъ поръ, пока увидятъ, что сѣвшій на мѣсто новый священнослужитель основательно овладѣлъ своимъ господиномъ. Для этого же нужны: во-первыхъ, чувствительность въ служеніи; во-вторыхъ, любовь къ «таинственнымъ уединеніямъ» въ лѣсахъ или на верхней горницѣ; въ-третьихъ, равнодушіе и сухость къ женѣ, и, въ-четвертыхъ, подъ секретомъ сообщенный тайный обѣтъ монашества. Все это ловкіе люди находятъ возможность продѣлывать вполнѣ удовлетворительно, а когда N. такими ихъ заслугами его вкусу расположится въ ихъ пользу, тогда и ему начинаютъ открываться ихъ заслуги передъ небомъ: онъ сподобляется видѣть сіяніе или около лица самого священника, или вокругъ потира, который тотъ износитъ. Съ этихъ поръ дѣло священнослужителя становится крѣпко, и если бы N. послѣ этого даже самъ увидалъ таковаго дивотворца въ часы уединенія играющаго въ верхней горницѣ въ карты, или сидящаго зимою, подъ вечерокъ, у печки, обнявшись съ женою, то все это ему не только проститъ,

---

совершалъ Филаретъ (Филаретовъ), бывшій викарій уманскій, нынѣ епархіальный архіерей рижскій. Больной во время соборованія былъ уже такъ слабъ, что не подавалъ голоса. Но когда служба была окончена, и архіерей сталъ разоблачаться, умирающій, ко всеобщему удивленію, совсѣмъ неожиданно произнесъ:

— «Благодарю: таинство совершено по чину».

Таковы были его послѣднія слова на землѣ.

Этою, какъ нельзя болѣе отвѣчающею всегдашнему его настроенію фразою Муравьевъ окончилъ свою генералъ-инспекторскую службу русской церкви и доказалъ, что онъ былъ одинъ изъ рѣдкихъ, типическихъ, послѣдовательныхъ и вполнѣ законченныхъ характеровъ. По крайней мѣрѣ, его не могутъ превзойти ни старый Домби у Чарльза Диккенса, ни та старушка у Тургенева, которая сама хотѣла заплатить рубль за свою отходную. Эта послѣдняя черта, по моему мнѣнію, непремѣнно должна бы украсить біографію «несостоявшагося оберъ-прокурора», которая, вообще, могла бы быть очень интересною.

но даже и не вмѣнитъ въ вину, а отнесетъ къ «искушенію», отъ котораго праведному человѣку трудно укрыться. Для того «преобладающу грѣху и преизбыточествуетъ благодать».

Изъ того, что̀ мною вкратцѣ сказано, знатокамъ церковно-бытовой жизни, конечно, будетъ довольно понятно, коего сорта набожность и благочестіе у самого г. N. и коего духа люди могутъ уживаться съ нимъ и угождать *его благочестію*... Для несвѣдущихъ же пояснять это долго и, можетъ-быть, опасно, — «да не соблазнится ни единъ отъ малыхъ сихъ». Но весь этотъ отмѣнный подборъ отмѣнныхъ духовныхъ не могъ умолить Провидѣніе, чтобы всѣ женатые сыновья и замужнія дочери г. N. овдовѣли и ушли въ монастырь, куда онъ и самъ желалъ бы уйти, чтобы тамъ «помириться съ Богомъ».

Изъ всѣхъ своихъ родныхъ N. сподобился устроить въ монашество только одного, запутавшагося въ дѣлахъ, свояка, но и то неудачно. Тотъ оказался до такой степени легкомысленнымъ, что даже изъ монастыря давалъ поводы къ соблазну младшимъ. Такъ, напр., получивъ, однажды, письмо отъ племянницы, институтки, онъ написалъ ей: «не адресуй мнѣ *его благородію*: я уже монахъ, а монахъ благороднымъ быть не можетъ». И этотъ бѣдный инокъ, хотя и былъ скоро поставленъ въ іеромонахи К—го монастыря, но не выдержалъ, запилъ и умеръ.

Вся семья N., очень многочисленная и очень почтенная, тоже не тяготѣетъ къ иночеству. Молодые люди, осемьянившись, нѣжно любятъ свои семейства и религіозны, въ свою мѣру, по-русски; съѣзжаясь лѣтомъ къ отцу, они даже прекрасно поютъ на клиросѣ сельской церкви, и никакихъ религіозныхъ сомнѣній и споровъ не любятъ. Если же промежду ихъ случайно явится безпокойный совопросникъ, то такового отсылаютъ обыкновенно «переговорить съ батюшкой»; а этого, сколько извѣстно, всякій еретикъ боится хуже огня геенскаго и продолжительнаго разговора о религіи съ нимъ не выдержитъ. Словомъ, всѣ дѣти N. простые, добрые, очень милые люди, безъ всякой *ханжеской претенціозности*.

Преосвященный Н — тъ поступилъ изъ г. В. въ г. П. послѣ архіерея суроваго, большого постника, съ которымъ старый N. былъ въ наилучшихъ отношеніяхъ и желалъ

точно такія же отношенія учредить съ Н. Но при первомъ же визитѣ у нихъ дѣло пошло неладно.

N. явился къ новому владыкѣ съ нѣкогда знаменитымъ цензоромъ г. Z., святошество котораго на многихъ дѣйствовало непріятно. Владыка, добрый, весьма почтенный старичокъ, еще не совсѣмъ отдохнулъ и, къ тому же, былъ еще разстроенъ тѣмъ, что доставшійся ему двухъэтажный домъ въ г. П. былъ гораздо хуже одноэтажнаго дома въ г. В., а поправлять его было *не на что*. Да, буквально не на что!... Архіерей былъ *бѣденъ* и хотя у него было триста руб., которые онъ, по его словамъ, «заработалъ честнымъ трудомъ», но онъ поэтому-то и не хотѣлъ отдать ихъ на поправку архіерейскаго дома. Притомъ же ему было досадно, что его *повысили*,—при переводѣ произвели изъ епископовъ въ архіепископы, а болѣе существеннаго ничего не дали. Онъ этимъ обижался, находя, что ему «позолотили пилюлю». Вдобавокъ ко всему, владыка отдыхалъ отъ своего весьма дальняго пути и несовсѣмъ хорошо себя чувствовалъ, а нетерпѣливые благочестивцы въ это время на него набѣжали. Усталый архіерей началъ позѣвывать и замѣчать:

— Не къ дождю ли? что-то моритъ...

И, дѣйствительно, пошелъ дождикъ, сначала маленькій, а потомъ и большой.

— Эге, да вамъ надо зонтъ,—сказалъ владыка и велѣлъ подать зонтикъ, съ которымъ онъ имѣлъ привычку гулять по саду.

Оба святоши встали, но вотъ новая бѣда: оба они считали слишкомъ большою для себя честью «идти подъ *владычнымъ* зонтикомъ» и стали перекоряться.

— Нѣтъ, я не могу, я чувствую, что я не достоинъ идти подъ владычнымъ зонтикомъ.

— А нѣтъ, уже идите вы,—я еще менѣе достоинъ держать владычный зонтикъ.

И все это у самаго крыльца, подъ окнами у владыки, а дождь ихъ такъ и поливаетъ.

Въ это время откуда ни возьмись какой-то балда и говоритъ:

— Оба вы не достойны ходить съ владычнымъ зонтикомъ, а потому я его у васъ беру.

И съ этимъ, хвать! да и былъ таковъ, а глядѣвшій на все это владыка, вмѣсто того, чтобы разсердиться и послать погоню, расхохотался и говоритъ:

— А что же такое: это резенть! онъ умно разсудилъ! Что̀ за святыня, взаправду, въ моемъ зонтикѣ?

N. и Z. долго ломали головы: какъ могъ такъ опрометчиво сказать владыка и не есть ли это своего рода нигилистическая ересь?

Вскорѣ затѣмъ епископъ сталъ собираться лѣтомъ сдѣлать объѣздъ части своей обширной епархіи. Узнавъ объ этомъ, N. тотчасъ же просилъ его не лишить своего посѣщенія его «пустынку» и благословить его дѣтей, которыя обыкновенно съѣзжаются къ старику на лѣто изъ Петербурга.

Владыка едва-ли считалъ нужнымъ быть въ «пустынкѣ», гдѣ, какъ онъ достаточно зналъ, благодаря усердію помѣщика, не только все внѣшнимъ образомъ исправно, но даже великолѣпно; однако, по добротѣ своей и по отличавшему его неумѣнію говорить слово «нѣтъ», онъ склонился на просьбу N. и далъ ему обѣщаніе быть у него въ гостяхъ около Петрова дня.

Къ Петрову дню молодые люди, живущіе обыкновенно въ столицѣ, всегда пріѣзжали на отдыхъ къ отцу въ «пустынку», и потому обѣщаніе архіерея было во всѣхъ отношеніяхъ удобно и пріятно для благочестиваго хозяина. Загодя еще объ этомъ было возвѣщено мѣстнымъ причтамъ, которые сейчасъ же и взялись за «Божіе дѣло», т.-е. начали тщательно перетирать всѣ вещи въ храмѣ и мыть стекла, а самъ N. въ это время блаженствовалъ за хлопотами по приготовленію помѣщенія для владыки. Ему, разумѣется, устраивали покои въ домѣ, а во флигеляхъ—для его свиты, которая у прежнихъ здѣшнихъ архіереевъ всегда была очень обширна. Въ покои владыки наставили иконъ и настлали передъ ними ковровъ, чтобы его преосвященству «не грубо было кланяться», а въ свитскихъ покояхъ, во флигелѣ, учредили «столы», такъ чтобы все, могущее здѣсь произойти, произошло *скромно*. N. былъ увѣренъ, что, когда здѣсь вся челядь будетъ питаться, онъ съ владыкою поведетъ цѣлонощную Никодимову бесѣду и сподобится самъ прочесть его высокопреосвященству полунощницу.

Затѣмъ, оставалось только ждать этой радости и притомъ недолго: около Петрова дня, въ самую веселую сельскую пору уборки покосовъ, въ «пустынку» прискакалъ за десять верстъ выставленный N. нарочный съ извѣстіемъ, что владыка ѣдетъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Н. тотчасъ же сѣлъ въ экипажъ и поскакалъ навстрѣчу «дорогому гостю».

Помѣщикъ выѣхалъ одинъ, потому что не считалъ удобнымъ представлять владыкѣ дѣтей на дорогѣ и, къ тому же, онъ не зналъ, «какъ его преосвященство съ нимъ обойдется». Послѣ происшествія съ «владычнымъ зонтикомъ» N. нѣсколько сомнѣвался насчетъ владыки, и сомнѣвался даже до такой степени, что не былъ увѣренъ, удостоитъ ли владыка пересадить его къ себѣ въ карету, какъ это дѣлали всѣ его предшественники, или же оставитъ его скакать по-полицмейстерски спереди или сзади. Это, и въ самомъ дѣлѣ, могло серьезно озабочивать N., потому что онъ очень любилъ почетъ, и всѣ прежніе и—скіе владыки обыкновенно сажали его съ собою въ карету. Отчего же было его этимъ не утѣшить, особенно послѣ такой *двусмысленной* исторіи съ «владычнымъ зонтикомъ», которую человѣкъ болѣе рѣшительный назвалъ бы просто «владычнымъ нигилизмомъ»?

И вотъ, съ небольшимъ черезъ полчаса, на пологомъ косогорѣ, далеко видномъ съ верхняго этажа дома, показался быстро несшійся столбъ пыли, а въ немъ архіерейскій поѣздъ, который, однако, оказался очень малымъ. Къ храму подскакали только троечныя дрожки, въ которыхъ сидѣлъ нѣсколько недовольный или смущенный N., а въ каретѣ очень простой старичокъ съ добродушнымъ лицомъ, въ черномъ клобучкѣ, за нимъ же, въ заднемъ кабріолетѣ за каретою, человѣкъ, который одинъ и составлялъ *всю свиту* архіерея. Это, между прочимъ, было одною изъ причинъ замѣтнаго на лицѣ хозяина смущенія. N. не привыкъ къ такой простотѣ и считалъ ее новымъ признакомъ всюду проникающаго нигилизма, который могъ имѣть дурное вліяніе не только на крестьянъ, но и на дѣтей владѣльца и на самое духовенство. Къ тому же, эта, столь желанная и столь благодѣтельная для бѣднаго сельскаго духовенства, простота оставляла безъ употребленія многое изъ приготовленнаго къ угощенію предполагаемой обширной компаніи и портила весь эффектъ встрѣчи. Даже и «исполлаетидеспота» некому было грянуть при входѣ владыки. Какъ хотите судите, а добрый православистъ не могъ оставаться спокоенъ и доволенъ, видя такое «разореніе отеческаго обычая».

Но, кромѣ того, N. имѣлъ еще сугубое огорченіе въ томъ, что владыка не только не посадилъ его въ карету, а даже «уязвилъ его» за усердіе. А именно, онъ просто раскланялся съ N. въ окно и спросилъ:

— Куда поспѣшаете? вѣрно по дѣлу хозяйственному? Резентъ! Дѣла прежде всего, а я и безъ васъ справлюсь.

— Нѣтъ, какъ можно, владыка! Я нарочно выѣхалъ навстрѣчу вашему преосвященству.

— А для какой причины?

N. смѣшался: онъ не ожидалъ такого страннаго вопроса и отвѣчалъ:

— Такъ.... хотѣлъ засвидѣтельствовать вамъ мое почтеніе.

— Ну, вотъ! эко дѣло какое! Это и дома бы можно.

— Хотѣлъ благословенія, владыко....

— Ага! благословенія; ну, Боже васъ благослови,—отвѣчалъ владыка: — а теперь садитесь же поскорѣй на свое мѣсто да погоняйте. Жарынь, я усталъ, въ холодокъ хочется.

И, усадивъ N. на его прежнее мѣстечко, владыка прикатилъ, какъ доселѣ ѣхалъ, одинъ въ своей каретѣ и затѣмъ непосредственно началъ рядъ крайне смущавшихъ благочестиваго хозяина «странныхъ поступковъ, въ нигилистическомъ штилѣ».

Во-первыхъ, епископъ ходилъ скоро и когда, при вступленіи его въ церковь, дѣти помѣщика (между коими одинъ былъ въ мундирѣ кавалерійскаго офицера) пропѣли «Достойно есть» и «исполатіе», то онъ остановился и слушалъ ихъ съ большимъ вниманіемъ и удовольствіемъ, а потомъ похвалилъ ихъ и, скоро обойдя храмъ, опять принялся хвалить ихъ стройное пѣніе. Узнавъ же отъ молодыхъ людей по выходѣ изъ церкви, что они составляютъ домашній хоръ, которымъ исполняютъ оперное хоровое пѣніе, пожелалъ послушать ихъ *свѣтское пѣніе*. Это старому N. казалось уже совсѣмъ соблазнительно, а молодые съ удовольствіемъ спѣли для епископа нѣсколько мѣстъ изъ «Жизни за Царя» и изъ «Руслана», а также изъ «Фауста» и изъ «Пророка».

Владыка все слушалъ и все одобрялъ. Затѣмъ, усмотрѣвъ, что не далеко передъ домомъ на лужайкѣ убираютъ сѣно, онъ захотѣлъ пройтись на покосъ и былъ такъ простъ, что взялъ изъ рукъ одной дѣвушки грабли и самъ прогребъ

рядъ сухого сѣна. А на обратномъ пути съ сѣнокоса къ дому, повстрѣчавъ возы съ сѣномъ, онъ до того увлекся мірскими воспоминаніями, что проговорилъ изъ козловскаго «Чернеца»:

— Вотъ возъ, укладенный снопами,
И на возу, среди сноповъ,
Сидитъ въ вѣнкѣ изъ васильковъ
Младенецъ съ чудными глазами.

И опять все простое свѣтское, а ничего ни о попахъ, ни о дьяконахъ, и вообще ни о чемъ божественномъ. Къ вечеру же владыка даже пожелалъ половить въ мѣстномъ пруду карасей, смотрѣлъ на эту ловлю съ большимъ удовольствіемъ и не разъ ее похваливалъ, приговаривая:

— Хорошая работка,—апостольская! Надо быть ближе къ природѣ,—она успокоиваетъ. Іисусъ Христосъ все горки любилъ, да при озерцахъ сиживалъ. Хорошо надъ водою думать.

И такъ онъ провелъ весь день, совсѣмъ безъ всякихъ разговоровъ о странникахъ и юродивыхъ, и, покушавъ чаю, отказался отъ ужина и попросилъ себѣ только «Христова кушанья», т.-е. *печеной рыбки*. Затѣмъ онъ ушелъ въ отведенныя ему комнаты, но отъ услугъ N., который его сопровождалъ и просилъ позволенія прочитать ему полунощницу, отказался, сказавши:

— До полунощи еще далеко; я тогда самъ помолюсь, а пока пришлите-ка мнѣ какой-нибудь журнальчикъ.

— Какой прикажете, владыка: «Странникъ» или «Православный Собесѣдникъ»?

— Ну, эти я дома прочту, а теперь нѣтъ ли—гдѣ господинъ Щедринъ пишетъ?

Старый N. этого не понялъ, но молодые поняли и послали владыкѣ «Отечественныя Записки», которыя тотъ и читалъ до тѣхъ самыхъ поръ, пока ему приспѣлъ часъ становиться на полунощницу. Своего дѣла онъ, несмотря на всю усталость, не опустилъ,—огонь въ его окнахъ свѣтился далеко за полночь, а рано утромъ, на другой день, епископъ уже далъ духовенству аудіенцію, но опять очень странную: онъ переговорилъ съ духовенствомъ *на ходу*,—гуляя по саду, и потомъ немедленно сталъ собираться далѣе въ путь, въ городъ О.

Бенефисъ, который готовилъ себѣ въ архіерейскомъ посѣщеніи N., совершенно не удался и только «высокое почтеніе къ сану» воздерживало хозяина отъ критики «не по поступкамъ поступающаго» гостя. Зато младшее поколѣніе было въ восторгѣ отъ милой простоты владыки, и владыка, въ свою очередь, повидимому, чувствовалъ искренность сердечно возлюбившей его молодежи.

Это можно было видѣть изъ всего его поведенія и особенно изъ того, что, не соглашаясь оставаться обѣдать по просьбѣ самого N., онъ не выдержалъ и сдался, когда къ нему приступили съ этою просьбою кавалеристъ, два студента и молодыя дѣвушки и дамы. Онъ ихъ только спросилъ:

— Но для какой же причины я долженъ еще остаться?

— Да намъ, ваше преосвященство, хочется съ вами побыть.

— А по какой причинѣ вамъ такъ хочется?

— Такъ... съ вами очень пріятно.

— Пріятно!

Владыка улыбнулся и отвѣчалъ:

— Ну, если пріятно, такъ резентъ: я остаюсь, — только вы мнѣ за это хорошенько попойте.

И онъ остался, попросивъ хозяина не безпокоиться особенно объ его обѣдѣ, потому что онъ все «предлагаемое» кушаетъ. Просидѣвъ почти все дообѣденное время въ залѣ, владыка опять слушалъ, какъ ему, подъ аккомпаниментъ фортепіано, пропѣли лучшіе нумера изъ «Жизни за Царя», «Руслана» и многихъ другихъ оперъ.

Откушавъ же, онъ тотчасъ сталъ собираться ѣхать, и карета его была подана во время кофе. Онъ какъ пріѣхалъ одинъ съ своимъ слугою «Сэмэномъ», такъ съ нимъ же однимъ хотѣлъ и уѣзжать, но три молодые брата N. явились къ нему съ просьбою позволить имъ проводить его до г. О.

— А по какой причинѣ меня надо провожать? — спросилъ владыка.

— Здѣсь глухая дорога, ваше преосвященство.

— А я не боюсь глухой дороги: у меня денегъ только триста рублей, и тѣ честнымъ трудомъ заработаны.

— Да намъ хочется васъ провожать, владыка.

— А если хочется... это резентъ,—сопровождайте.

И поѣздка состоялась съ провожатыми. Архіерей сѣлъ, какъ пріѣхалъ, въ свою карету, а впереди его курьерами снарядились въ большомъ казанскомъ тарантасѣ три рослые молодца: мировой посредникъ, офицеръ и университетскій студентъ. Самъ хозяинъ, видя, что его владыка не приглашаетъ, остался дома. Онъ удовольствовался только тѣмъ, что проводилъ поѣздъ за рубежъ своихъ владѣній и, принимая здѣсь прощальное благословеніе отъ архіерея, выразилъ ему свою о немъ заботливость.

— Въ О. тамъ ничего нельзя достать, владыка, такъ вы меня не осудите.

— А по какой причинѣ я васъ могу осуждать?

— Я велѣлъ кое-что сунуть вашему слугѣ подъ сидѣнье.

— А что именно вы подъ моего Сэмэна подсунули?

— Немножко закусочекъ и... шипучаго.

— А для чего шипучаго?

— Пусть будетъ.

— Ну, резентъ; пусть будетъ. Сэмэнъ, сохрани, другъ подъ тебя подложенное.

И съ тѣмъ хозяинъ возвратился, а поѣздъ тронулся далѣе.

Отъ «пустынки» до города О. на хорошихъ разгонныхъ коняхъ ѣздятъ одною большою упряжкою, и владыка, выѣхавшій послѣ ранняго обѣда, долженъ былъ пріѣхать въ городъ къ вечеру. Время стояло погожее, и грунтовыя дороги были въ порядкѣ, а потому никакихъ «непредвидѣнностей» не предвидѣлось, и оба экипажа пронеслись доброе полпути совершенно благополучно и даже весело. Веселости настроенія, конечно, не мало содѣйствовало и то, что путники, скакавшіе впереди въ тарантасѣ, молодые люди, тоже выѣхали не безъ запаса и, притомъ, не закладывали его очень далеко. Но они не совсѣмъ вѣрно разочли и раньше времени замѣтили, что оживлявшая ихъ возбудительная влага исчезла прежде, чѣмъ путь пришелъ къ концу. Достать же восполненіе оскудѣвшаго дорогою негдѣ было... кромѣ какъ у архіерея, которому хлѣбосольный старецъ предупредительно сунулъ что-то подъ его Сэмэна.

И вотъ, расшалившаяся молодежь немножко позабылась и пришла къ дерзкой мысли воспользоваться архіерейскимъ запасомъ. Весь вопросъ былъ только въ томъ: какъ это

сдѣлать? Просто остановиться и попросить у архіерея вина изъ его запаса—казалось неловко, обратиться же за этимъ къ Сэмэну — еще несообразнѣе. А между тѣмъ, вина достать хотѣлось во что бы то ни стало, и желаніе это было исполнено.

Ѣхавшій впереди тарантасъ вдругъ остановился, и три молодые человѣка, въ самыхъ почтительныхъ позахъ, явились у дверецъ архіерейской кареты.

Владыка выглянулъ и, увидавъ стоявшаго передъ нимъ съ рукою у козырька кавалериста, вопросилъ:

— По какой это причинѣ мы стали?

— Здѣсь, ваше преосвященство, въ обычаѣ: на этомъ мѣстѣ всѣ останавливаются.

— А по какой причинѣ такой обычай?

— Тутъ, кто имѣетъ съ собою запасъ, всегда тосты пьютъ.

— Вотъ-те на! А по какой же это причинѣ?

— Съ этого мѣста... были замѣчены первыя мѣсторожденія рудъ, обогатившихъ отечественную промышленность.

— Это резентъ! — отвѣтилъ владыка: — если сіе справедливо, то я такому обычаю не противникъ.

И, открывъ у себя за спиною въ каретѣ форточку, черезъ которую онъ могъ отдавать приказанія помѣщавшемуся въ заднемъ кабріолетѣ Сэмэну, скомандовалъ:

— Сэмэнъ, шипучаго!

Сэмэнъ открылъ свои запасы, пробка хлопнула, и компанія, распивъ бутылку шампанскаго, поѣхала далѣе.

Но проѣхали еще верстъ десять, и опять тарантасъ сталъ, а у окна архіерейской кареты опять три молодца, предводимые офицеромъ съ рукою у козырька.

Владыка снова выглянулъ и спрашиваетъ:

— Теперь по какой причинѣ стали?

— Опять важное мѣсто, ваше преосвященство.

— А по какой причинѣ оно важно?

— Здѣсь Пугачовъ проходилъ, ваше преосвященство, и былъ разбитъ императорскими войсками.

— Резентъ,—и хотя фактъ сомнителенъ, чтобы это было здѣсь, но, тѣмъ не менѣе, Сэмэнъ, шипучаго!

Прокатили еще, и опять тарантасъ стоитъ, а молодые люди снова у окна кареты.

— Еще по какой причинѣ стали?—освѣдомляется владыка.

— Надо тостъ выпить, ваше преосвященство.

— А по какой причинѣ?

— Здѣсь, ваше преосвященство, самая высокая сосна во всемъ уѣздѣ.

— Резентъ, — и хотя фактъ совершенно недостовѣренъ, но, Сэмэнъ, шипучаго!

Но «Сэмэнъ» не отвѣтилъ, а звавшій его владыка, глянувъ въ форточку, всплеснулъ руками и воскликнулъ:

— Ахъ-ти мнѣ! Мой Сэмэнъ отвалился!

Происшествіе случилось удивительное: за каретою, дѣйствительно, не было не только Сэмэна, но не было и всего задняго кабріолета, въ которомъ помѣщалась эта особа со всѣмъ, что̀ подъ оную было подсунуто.

Молодые люди были просто поражены этимъ происшествіемъ, но владыка, опредѣливъ значеніе факта, самъ ихъ успокоилъ и указалъ имъ, что̀ надо дѣлать.

— Ничего,—сказалъ онъ:—это событіе естественно. Сэмэнъ отвалился по той причинѣ, что карета и вся скоро развалится. Поищите его поскорѣе по дорогѣ, не зашибся ли?

Тарантасъ поскакалъ назадъ искать отвалившагося Сэмэна, котораго и нашли всего версты за двѣ, совершенно цѣлаго, но весь бывшій подъ нимъ запасъ шипучаго исчезъ, потому что бутылки разбились при паденіи кабріолета.

Насилу кое-какъ прицѣпили этотъ кабріолетъ на заднія долгія дроги тарантаса, а Сэмэна усадили на козлы и привезли обратно къ владыкѣ, который тоже не могъ не улыбаться по поводу всей этой исторіи и, тихо снося довольно грубое ворчаніе отвалившагося Сэмэна, уговаривалъ его:

— Ну, по какой причинѣ такъ гнѣваться? Кто виноватъ, что карета *напьянилась*.

По такомъ финалѣ поѣздъ достигъ города, гдѣ сопровождавшіе владыку молодые люди озаботились тщательно укрѣпить кабріолетъ Сэмэна къ каретѣ и здѣсь, прощаясь съ пр. Н—мъ, испросили у него прощенія за свою вчерашнюю шалость.

— Богъ проститъ, Богъ проститъ,—отвѣчалъ владыка.— Ребята добрые, я васъ полюбилъ и угощалъ за то, что согласно живете.

— Но, владыка... вы сами такъ снисходительны и добры... Мы васъ никогда не забудемъ.

— Ну, вотъ! пѣтушки хвалятъ кукука за то, что хвалитъ онъ пѣтушекъ. Меня помнить нечего: умру—однимъ монахомъ поменѣетъ, и только. А вы помните Того, Кто велѣлъ, чтобы всѣ мы любили другъ друга.

И съ этимъ молодежь разсталась съ добрымъ старцемъ навсегда.

Кажется, по осени того же года старшій изъ этихъ трехъ братьевъ, необыкновенно хорошо передававшій manière de parler епископа Н—та, войдя съ пріѣзда въ свой кабинетъ, гдѣ были въ сборѣ короткіе люди дома, воскликнулъ:

— Грустная новость, господа!

— Что такое?

— Сэмэнъ больше уже не даетъ пѣтушкамъ шипучаго! — сказалъ онъ, подражая интонаціи преосвященнаго Н—та.

— А по какой причинѣ?—вопросили его въ тотъ же голосъ.

— Милый старичокъ нашъ умеръ,—вотъ нумеръ газеты, читайте.

Въ газетѣ, дѣйствительно, стояло, что пр. Н—тъ скончался, и скончался въ дорогѣ. Вѣроятно, при немъ былъ его «Сэмэнъ», но какъ о малыхъ людяхъ, состоящихъ при такихъ особахъ, не говорится, то о немъ не упоминалось. Впрочемъ, хотя все это было сказано по-казенному, но, однако, не обошлось безъ теплоты, вѣроятно, совсѣмъ не зависѣвшей отъ хроникера. Сказано было о какомъ-то сопровождавшемъ владыку протоіереѣ, которому добрый старецъ, умирая, устно завѣщалъ употребить на доброе дѣло все тѣ же пресловутые триста рублей, «нажитые имъ честнымъ трудомъ» и составлявшіе *все* оставленное этимъ архіепископомъ наслѣдство. Деньги эти онъ всегда носилъ при себѣ, и онѣ оказались въ его подрясникѣ.

Какъ онъ ихъ «нажилъ честнымъ трудомъ», это остается не выяснено, но нѣкто, знавшій покойника, полагаетъ, что, вѣроятно, онъ получилъ ихъ за сдѣланный имъ когда-то переводъ какой-то ученой греческой книги.

Наступникъ этого ласковаго и снисходительнаго епископа, ѣздившаго въ ветхой каретѣ и читавшаго на сонъ грядущій сатиры Щедрина, кажется, не имѣлъ никакихъ поводовъ жаловаться, что предмѣстникъ его сдалъ ему епархію въ безпорядкѣ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

У графини В., рожденной Д., изящной и очень бойкой свѣтской дамы, въ одной ея м—ской деревнѣ завелся не въ мѣру деньголюбивый попъ. Онъ притѣснялъ крестьянъ графини до того, что тѣ вышли изъ терпѣнія и не разъ уже на него жаловались.

Но вотъ пріѣхала изъ-за границы навѣстить свои маетности графиня, обыкновенно постоянно проживавшая въ Парижѣ. Крестьяне тотчасъ же пали ей въ ноги, умоляя ея сіятельство «стать за отца за матерь: ослобонить ихъ отъ ворога», причемъ, разумѣется, разсказали всѣ или, по крайней мѣрѣ, многія продѣлки «ненасытнаго» пастыря.

Графиня вскипѣла и позвала къ себѣ «ненасытнаго», но тотъ не только не покаялся, а еще оказался искуснымъ отвѣтчикомъ и нагрубилъ барынѣ вволю.

Пылкая и тогда еще очень молодая дама сейчасъ же написала обо всемъ этомъ самое энергическое письмо владыкѣ, и была увѣрена, что его преосвященство непремѣнно обратитъ вниманіе на ея справедливую просьбу.

Но владыка не отвѣчалъ графинѣ: онъ или совсѣмъ не удостоилъ вниманія ея письмо, или же ея хлопоты о какихъ-то притѣсненіяхъ, чинимыхъ попомъ какимъ-то крестьянамъ, казались ему «суетными». А можетъ-быть и самое нетерпѣніе крестьянъ представлялось ему «малодушествомъ», къ которому онъ стоически относилъ всѣ человѣческія скорби и несчастія. Но графиня, привыкшая къ иному съ нею обхожденію, обидѣлась и послала его преосвященству другое письмо, за другимъ третье, четвертое, пятое, десятое... Владыка все не отвѣчалъ ни однимъ словомъ, и ни о какомъ распоряженіи къ удовлетворенію просьбы графини вѣсти не было.

Не оставалось сомнѣнія, что владыка такъ и преодолѣетъ даму, покрывъ пылъ ея свѣтскаго негодованія своимъ молчаливымъ безучастіемъ «истоваго монаха».

Но на этотъ разъ нашла коса на камень. Оскорбленная невниманіемъ владыки, графиня не хотѣла ему «подарить» этого и, какъ только приспѣлъ часъ ея спѣшить съ милаго сѣвера къ своимъ сезоннымъ удовольствіямъ въ Парижъ, она призвала безутѣшныхъ крестьянъ и дала имъ слово «сама быть у владыки и не уйти отъ него до тѣхъ поръ, пока попъ будетъ смѣщенъ».

Крестьяне откланялись графинѣ на ея ласковомъ словѣ, но едва ли вѣрили въ возможность его исполненія.

Судьба, однако, опредѣлила иначе.

Графиня повела дѣло своихъ крестьянъ съ свойственною ей энергіею и нетерпѣливостью. Она и мысли не допускала, чтобы это смѣло задержать ее въ городѣ болѣе трехъ-четырехъ часовъ, которые она могла пожертвовать крестьянамъ въ ожиданіи поѣзда, приближавшаго ее къ границѣ. Поэтому она тотчасъ же съ дороги переодѣлась въ черное платье и въ ту же минуту полетѣла къ владыкѣ.

Время было неурочное: владыка *никого* не принималъ въ эти часы, но келейникъ, очутясь передъ такою ослѣпительною, въ свою пору, дамою, съ громкимъ титуломъ и дышащимъ негодованіемъ, энергическимъ лицомъ, оплошалъ и отворилъ передъ ней двери.

Ей только и надо было.

Графиня смѣло взошла въ залъ и, сѣвъ у стола, велѣла «*попросить* къ себѣ владыку».

— Попросить!..

Келейникъ только руки развелъ; но гостья стояла на своемъ: «сію же минуту *попросить къ ней* владыку, такъ какъ она пріѣхала къ нему *по дѣлу церкви*».

— По церковному дѣлу пожалуйте завтра,—упрашивалъ ее шопотомъ келейникъ.

— Ни за что на свѣтѣ: я сейчасъ, сію минуту, должна видѣть владыку, потому что мнѣ некогда; я черезъ полтора часа уѣзжаю и могу опоздать на поѣздъ.

Келейникъ увидалъ спасеніе въ томъ, что графиня не можетъ долго ожидать, и съ удовольствіемъ объявилъ, что теперь владыку рѣшительно нельзя видѣть.

— Это ложь, онъ меня приметъ. Я требую, чтобы вы сейчасъ обо мнѣ доложили.

— Помилуйте, спросите у кого угодно, принимаетъ ли кого-нибудь владыка въ эти часы? и вы изволите убѣдиться...

— Нѣтъ, это вы изволите убѣдиться, что вы говорите ложь! Сейчасъ прошу обо мнѣ доложить, или вы увидите, какъ я сумѣю васъ заставить дѣлать то, что составляетъ вашу обязанность.

— Воля ваша, но я не могу.

— Не можете?

— Не могу-съ,—не смѣю.

— Хорошо!

Съ этимъ графиня быстро поднялась съ мѣста, сбросила съ плечъ мантилью и, подойдя къ висѣвшему надъ столомъ зеркалу, стала развязывать ленты у своей шляпки.

Келейникъ смѣшался и уже умоляющимъ голосомъ заговорилъ:

— Что это вамъ угодно дѣлать?

— Мнѣ угодно снять мою шляпу, чтобы было спокойнѣе и терпѣливо ожидать, пока вы пригласите ко мнѣ вашего владыку.

— Но я... извините... я не имѣю права васъ здѣсь оставить...

Но на это графиня уже совсѣмъ не отвѣчала: она только обернулась къ келейнику и, смѣривъ его съ головы до ногъ презрительнымъ взглядомъ, повелительно сказала:

— Отправляйтесь на свое мѣсто! Я устала васъ слушать и хочу отдыхать.

— Отдыхать?!

Послушникъ совсѣмъ опѣшилъ: сатаны въ такомъ привлекательномъ и въ то же время въ такомъ страшномъ видѣ онъ еще не видалъ во всю свою аскетическую практику, а графиня, между тѣмъ, достала бывшій у нея въ карманѣ волюмчикъ новаго французскаго романа и сѣла читать.

Что бы рѣшился предпринять еще далѣе противъ этого навожденія неопасливый келейникъ, — это неизвѣстно. Но, къ его счастью, затруднительному его положенію *поспѣшилъ* на помощь самъ дипломатическій владыка.

По разсказу графини, только-что она раскрыла свою книгу, какъ келейникъ стихъ, а въ противоположномъ концѣ зала *что-то зашуршало.*

— Я,—говоритъ графиня:—догадалась, что это, можетъ-быть, *самъ онъ* идетъ на расправу съ моимъ сорванствомъ, но притворилась, что не замѣчаю его появленія, и продолжала смотрѣть въ книгу. Это его, конечно, немножко затрудняло, и я этимъ пользовалась. Онъ не дошелъ до меня на кадетскую дистанцію, т.-е. шаговъ на шесть, и остановился. Я все продолжаю сидѣть и гляжу въ мою книгу, а сама вижу, что онъ все стоитъ и тихо потираетъ свои,

какъ будто, зябнущія руки... Мнѣ стало жалко старика; и я перевернула листокъ и какъ бы невзначай взглянула въ его сторону. Посмотрѣла на него, но не тронулась съ мѣста, дѣлая видъ, какъ будто я не подозрѣваю, что это самъ *онъ*. Это было для меня тѣмъ болѣе удобно, что онъ былъ въ одной легкой ряскѣ и какомъ-то колпачкѣ.

— Увидавъ, что я смотрю на него (продолжаю словами графини), онъ пристально вперилъ въ меня свои проницательные сѣрые глазки и проговорилъ мягкимъ, замирающимъ полушопотомъ:

— Чѣмъ могу вамъ служить?

— Мнѣ нужно видѣть владыку, — отвѣчала я, попрежнему не оставляя своего мѣста и своей книги.

— Я тотъ, кого вы желаете видѣть.

— А, въ такомъ случаѣ, я прошу у вашего высокопреосвященства благословенія и извиненія, что я васъ такъ настойчиво безпокою.

И, бросивъ на столъ свой волюмъ, я подошла подъ благословеніе: онъ благословилъ и торопливо спряталъ руку, какъ бы не желая, чтобы я ее поцѣловала; но на мое извиненіе не отвѣтилъ ни слова, а продолжалъ стоять столбушкомъ.

«О, нѣтъ же,—подумала я себѣ: — такъ въ свѣтѣ не водится: объясненіе въ подобной позиціи мнѣ неудобно»,—и я, отодвинувъ отъ стола свое кресло, пригласила его преосвященство сѣсть на диванъ.

Онъ моргнулъ раза два глазами и проговорилъ:

— Я васъ слушаю.

— Нѣтъ,—отвѣчала я: — вы извините меня, владыка: я не могу такъ съ вами говорить. Это неудобно, чтобы я сидѣла, а вы меня слушали стоя. Усердно васъ прошу присѣсть и сидя меня выслушать.

При этомъ я, какъ бы опасаясь за его слабость, позволила себѣ подвести его за локоть къ дивану.

Онъ не сопротивлялся и сѣлъ на диванъ, а я на кресло.

Мы оба, казалось, были изрядно взволнованы,—я его невниманіемъ, а онъ моимъ нахальствомъ, и оба нѣсколько времени молчали.

Я начала первая, и скоро, овладѣвъ собою, разсказала ему, кажется, о всѣхъ главнѣйшихъ обидахъ, какія терпятъ

отъ его попа мои крестьяне, и просила дать вмѣсто него въ мое село лучшаго человѣка.

Во время всего моего разсказа я наблюдала владыку и видѣла, что онъ рѣшилъ себѣ ни за что не исполнить моей просьбы. И тутъ моя врожденная отцовская вспыльчивость сказалась во мнѣ до того рѣшительно, что я способна была наговорить ему такихъ вещей, о которыхъ, конечно, сама послѣ бы жалѣла. Но я собрала всѣ свои силы и ждала отвѣта, который послѣдовалъ неспѣшно.

Онъ опять началъ потирать свои руки, взмахнувъ вѣками, а потомъ опять ихъ опустилъ и опять взмахнулъ, и тогда только заговорилъ съ медлительными разстановками:

— Я получилъ... ваши письма...

Воспользовавшись первою паузою, я замѣтила, что «сомнѣвалась въ судьбѣ моихъ писемъ и очень рада, что они дошли по назначенію». А въ сущности это меня еще болѣе бѣсило.

— Да, они дошли, — продолжалъ онъ — я опасаюсь, что вы вовлечены въ заблужденіе...

— О, будьте покойны, владыка, я не заблуждаюсь: все что̀ я вамъ писала и что̀ теперь говорю,—это сущая правда.

— На духовенство... часто клевещутъ.

— Очень можетъ быть, но я сама была свидѣтельницею многихъ поступковъ этого нечестнаго человѣка.

При словахъ «нечестный человѣкъ» владыка опять взмахнулъ вѣками и, остановивъ на мнѣ свои сѣрые глаза, укоризненно молчалъ. Но, видя, что я смотрю ему въ упоръ, и, можетъ-быть, замѣтивъ, что во мнѣ хватитъ терпѣнія пересмотрѣть и перемолчать его, онъ произнесъ:

— И при собственномъ видѣніи... все еще возможна... ошибка.

— Нѣтъ, извините, владыка, — я знаю, что въ томъ, о чемъ я вамъ говорю, нѣтъ ошибки.

Онъ опять замолчалъ и потомъ произнесъ:

— Но я долженъ быть... въ этомъ удостовѣренъ.

— Что̀ же вамъ угодно будетъ считать достаточнымъ удостовѣреніемъ?

— Я велю спросить благочиннаго и... тогда распоряжусь.

— Но это будетъ не скоро—и вы простите меня—я не думаю, чтобы благочинный, его родственникъ, былъ болѣе

достовѣрнымъ свидѣтелемъ, чѣмъ я, дочь человѣка, извѣстную правдивость котораго цѣнилъ государь.

— Я чту память вашего родителя, но... дѣла должны идти въ своемъ порядкѣ.

— Такъ дайте хотя средство унять его какъ-нибудь, пока это дѣло будетъ переходить свои несносные — порядки! — сказала я, чувствуя, что болѣе не могу да и не хочу владѣть собою.

— Прикажите сказать ему... моимъ именемъ, что мнѣ... о немъ доложено.

— Для него ничего не значитъ ваше имя.

Владыка остановилъ свои ручки, но терпѣливо отвѣтилъ:

— Это... не можетъ быть.

— Нѣтъ, извините: я не пріучена лгать, и если я вамъ это говорю, то это, именно, такъ и есть. Я ему давно говорила, что буду вамъ жаловаться, но онъ отвѣчалъ: «Владыка намъ ни пьетъ, ни поретъ, а намъ пить-ѣсть надо».

И только-что я это проговорила, какъ тихій голосъ владыки исчезъ и угасшій взглядъ его загорѣлся: онъ пристально воззрился на меня во всѣ глаза и, точно выростая съ дивана, произнесъ звучнымъ, сильнымъ и полнымъ голосомъ:

— *Онъ вамъ это сказалъ?!*

— Да,—отвѣчала я:—онъ сказалъ: «владыка намъ ни пьетъ, ни поретъ...»

И не успѣла я повторить всей фразы, какъ въ дрожащей рукѣ владыки судорожно зазвенѣлъ серебряный колокольчикъ, и... я черезъ полчаса могла со станціи желѣзной дороги послать въ деревню извѣстіе, что корыстолюбивый попъ отъ насъ уже взятъ.

Этотъ незначительный случай, я думаю, можетъ показать съ одной стороны, что наши владыки очень осторожны въ своихъ расправахъ съ духовенствомъ и склонны къ рѣшительнымъ мѣрамъ только тогда, когда узнаютъ о недостаткѣ субординаціонной почтительности въ іерархіи. Съ другой же стороны, отсюда можно видѣть, что, при всей прозорливости нашихъ епископовъ, каковою, по мнѣнію многихъ, особенно отличался сейчасъ упомянутый святитель, и они все-таки могутъ погрѣшать и быть жертвами своей довѣрчивости. Такъ это и случилось въ разсказанномъ мною случаѣ. Ко-

рыстолюбивый попъ,—виновный во множествѣ дурныхъ поступковъ,—не виноватъ былъ только въ томъ, что ему навязала приведенная въ азартъ графиня: *онъ никогда не говорилъ погубившихъ сю словъ, что «владыка ему ни шьетъ, ни поретъ»*.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Однако, если бы предшествовавшій случай былъ поставленъ въ вину владыкѣ, который такъ незамѣтно попалъ въ женскія сѣти, то не надо забывать, что этихъ опасныхъ сѣтей иногда не избѣгали даже и такіе святые, которые творили чудеса еще за-живо. Но зато у насъ извѣстны и другіе епископы, которыхъ никакія жены не могли уловить въ свои сѣти. Одинъ изъ таковыхъ, напримѣръ, достойный Іоаннъ Смоленскій, о которомъ ходитъ слѣдующій анекдотъ.

Вскорѣ по прибытіи его въ Смоленскъ, даже едва ли не послѣ первой, совершенной имъ тамъ, службы, двѣ мѣстныя «аристократки» пожаловали въ его пріемную и приказали о себѣ доложить.

Архіерей, между тѣмъ, уже успѣлъ снять рясу и сѣлъ съ стаканомъ чая къ своему рабочему столу, на которомъ, вѣроятно, написаны многія изъ его вдохновенныхъ и глубокихъ сочиненій.

Услыхавъ докладъ о посѣтившихъ его дамахъ, Іоаннъ удивился ихъ желанію его видѣть и, не оставляя своего мѣста, приказалъ докладчику спросить ихъ: «что̀ имъ нужно?»

Тотъ вышелъ и черезъ минуту возвратился съ отвѣтомъ, что дамы пришли «за благословеніемъ».

— Скажи имъ, что я сейчасъ всѣхъ благословилъ въ церкви.

Келейникъ пошелъ съ этимъ отвѣтомъ, но опять идетъ и докладываетъ, что—«дамы желаютъ особо благословиться».

— Скажи имъ, что моего одного благословенія на всѣхъ достаточно.

Келейникъ пошелъ разъяснять безпредѣльность расширяемости архіерейскаго благословенія, но снова идетъ назадъ съ неудачею.

— Требуютъ, говоритъ, чтобы ихъ *особенно благословили*.

— Ну, скажи имъ, что я ихъ и особо благословляю и посылаю имъ это мое особое благословеніе чрезъ твое посредство.

Но келейникъ пошелъ и опять возвращается.

— Онѣ,—докладываетъ,—и теперь не уходятъ.

— Чего же имъ еще нужно?

— Говорятъ, что желаютъ поученія.

— Попроси извинить, я усталъ, а поученіе имъ въ церкви скажу.

Но келейникъ опять возвращается.

— Еще что?—спрашиваетъ епископъ.

— Недовольны: говорятъ, «мы для домашней бесѣды пришли».

Преосвященный, продолжая оставаться за рабочимъ столомъ, протянулъ руку къ полкѣ, на которой у него складывались получаемыя имъ газеты, и, взявъ два нумера «*Домашней Бесѣды*» г. Аскоченскаго, сказалъ келейнику:

— Дай имъ поскорѣе «*Домашнюю Бесѣду*» и скажи, что я тебѣ не позволяю мнѣ о нихъ болѣе докладывать.

Дамы удалились и никогда болѣе не возвращались для домашней бесѣды съ епископомъ, который зато съ этой поры сталъ слыть у нѣкоторыхъ смолянъ нелюдимымъ и даже грубымъ, хотя онъ, на самомъ дѣлѣ, таковымъ не былъ. По крайней мѣрѣ, люди, имѣвшіе счастіе знать его ближе, полны наилучшихъ воспоминаній о пріятности его прямого, искренняго обхожденія и поражавшей всѣхъ прелести его смѣлаго и глубокаго ума и истинно-христіанской свободы мнѣній.

Повторяемый же въ разсказахъ о немъ вышеприведенный анекдотъ съ двумя смоленскими дамами, кажется, нѣтъ нужды относить къ *нелюдимству* покойнаго епископа. Его, можетъ-быть, скорѣе надо отнести къ тому чувству, какое должны были возбуждать въ этомъ умномъ человѣкѣ праздныя докуки, такъ-называемыхъ, «архіерейскихъ барынь», которыя, къ сожалѣнію и къ униженію своего пола, еще и до сихъ поръ въ изобиліи водятся повсюду, гдѣ есть владыки, склонные напрасно баловать ихъ своимъ вниманіемъ и тѣмъ поощрять и развивать въ нихъ суетность, нераспознающую благочестія отъ святошества.

Этотъ анекдотъ также долженъ относиться не къ укоризнѣ нашимъ епископамъ, а, напротивъ, къ похвалѣ ихъ проницательности, и онъ, по моему мнѣнію, прекрасно поясняетъ собою анекдотъ о пріемѣ, котораго достигла графиня В... Смоленскія дамы, докучавшія епископу, такъ

сказать, по ханжеской *рутинѣ*, встрѣтили твердый отпоръ и были отосланы къ «*Бесѣдѣ*» г. Аскоченскаго, а графиня В., настойчиво дѣйствовавшая *по вдохновенію*, была принята и удовлетворена, какъ требовало дѣло.

Кто бы что ни говорилъ, но такая способность отстрапить, съ твердостію, мертвящую рутину и отдать должное живому вдохновенію, конечно, говоритъ въ пользу, а не во вредъ того высокаго представленія, какое намъ пріятно имѣть о нашихъ іерархахъ, положеніе коихъ часто бываетъ очень трудно и очень непріятно. Въ обществѣ этого и не воображаютъ, потому что въ обществѣ не знаютъ множества тягостныхъ мелочей архіерейскаго обихода.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Дамы, даже очень благочестивыя, не исключая принявшихъ санъ «ангельскій», имѣютъ удивительную способность доводить нашихъ святителей до прегрѣшеній, которыхъ тѣ, по своей извѣстной праведности, конечно, ни за что бы безъ женской докуки не сдѣлали. Такъ, напр., о покойномъ «Русскомъ Златоустѣ» Иннокентіи таврическомъ (Борисовѣ) извѣстно, что онъ былъ человѣкъ не только умный и даровитый, но и до того свободомысленный, что, бывши кіевскимъ ректоромъ, прощалъ и покрывалъ грубыя, кощунственныя выходки В. И. Аскоченскаго, а въ письмахъ своихъ къ Максимовичу, даже прежде Флуранса, вступался за «душу бѣдныхъ животныхъ». Анекдотовъ о его либерализмѣ было много, и они достовѣрны, хотя добрая ихъ половина свидѣтельствуетъ, что этотъ замѣчательный человѣкъ былъ несвободенъ отъ нѣкотораго фатовства. Однако все это можно совмѣстить и помирить съ многосторонностію увлекавшейся художественной натуры Иннокентія. Но вотъ чему совершенно трудно повѣрить, это—что высокопреосвященный либералъ Иннокентій могъ хоть разъ въ жизни драться.

И что же: кто довелъ до такого поступка нашего даровитѣйшаго витію Иннокентія? Женщина и, вдобавокъ, инокиня, и даже игуменья.

Одинъ сотрудникъ пр. Иннокентія по переводу богослужебныхъ книгъ на зырянскій языкъ разсказывалъ мнѣ и многимъ другимъ слѣдующую энергическую расправу «русскаго Златоуста». Владыка Иннокентій служилъ какъ-то въ

вологодскомъ или въ Устюжскомъ женскомъ монастырѣ, сестры котораго вмѣстѣ съ своею игуменьею поднесли ему за это довольно цѣнный образъ. Зная скудость средствъ бѣдной обители, Иннокентій не захотѣлъ принять этого цѣннаго и, притомъ, ему совершенно ненужнаго подарка. Онъ усердно поблагодарилъ мать игуменью и сестеръ, но икону просилъ ихъ оставить у себя. Вѣрно онъ думалъ, что онѣ найдутъ какъ-нибудь средство реализировать произведенныя на нее затраты: поступокъ, конечно, благоразумный и вполнѣ достойный памяти Иннокентія. Послушайся благочестивыя сестры обители своего добраго и резоннаго архипастыря,— все бы прекрасно и обошлось. Но имъ это пришлось не по обычаю, и онѣ-таки доставили образъ въ архіерейскій домъ, гдѣ келейникъ взялся тотъ образъ передать владыкѣ и, яко бы, это и исполнилъ. Благочестивыя сестры добились своего и успокоились.

Прошло не мало времени; владыка занимается своими учеными трудами и свѣряетъ съ сотрудникомъ зырянскія книги, какъ вдругъ однажды ему понадобился его келейникъ, который, какъ на грѣхъ, на ту пору отлучился и не явился по владычному зову. Сотрудникъ хотѣлъ пойти и позвать его, но живой Иннокентій предупредилъ и самъ прошелъ въ келейницкую, гдѣ думалъ застать своего служку спящимъ. Но келейника онъ тутъ не нашелъ, а зато нашелъ на его стѣнѣ знакомый образъ сооруженія сестеръ вологодской обители. Владыка вскипѣлъ и, призвавъ келейника, сію же минуту избилъ его и послалъ отнести игуменьѣ образъ, которымъ эта назойливая женщина, по своему непослушанію и упрямству, довела своего владыку до такого гнѣва, что онъ, по словамъ очевидца, «несмотря на свой досадительно-малый ростъ, являлъ энергію и силу Великаго Петра».

Поступокъ, конечно, горячій и не архипастырскій, но не нужно и не должно забывать, что все это происходило въ оныя, относительно недавнія времена, когда считалось неблаговиднымъ, чтобы духовный правитель имѣлъ у себя даже для чистки сапогъ и другихъ домашнихъ услугъ простого наемнаго человѣка, который удобнѣе тѣмъ, что онъ привычнѣе къ лакейскому дѣлу и не пользуется въ глазахъ невѣждъ авторитетомъ лакея монашествующаго. Нѣтъ, архіерей непремѣнно долженъ былъ терпѣть при себѣ если

не ту, такъ другую «несытую скотину», облеченную въ долгую одежду и препоясанную по чресламъ поясомъ усменнымъ. Этого требовалъ закорузлый этикетъ владычныхъ домовъ, объ упраздненіи котораго, впрочемъ, еще и понынѣ скорбятъ иные ханжи и пустосвяты.

Теперь все это уже отошло въ область минувшаго: нынче уже не слыхать, чтобы архіереи дрались; вѣроятно, они не дерутся, да и не будутъ впередъ драться. И въ этомъ опять нельзя не видѣть ихъ важнаго преимущества передъ всѣми обыкновенными смертными: обыкновенные люди, на Руси, по общимъ примѣтамъ, посмирнѣли со времени введенія мировыхъ учрежденій, — говоря простымъ языкомъ, они «испугались мирового», но архіерею мировой не страшенъ. Всеобщій русскій укротитель, нашъ мировой, несомнѣнно, не укрощалъ ни одного архіерея, — архіерей самъ себя укротилъ и засмирѣлъ. Отчего же это? Что̀ такъ благодѣтельно подѣйствовало на архіерейскіе нравы? Нѣкоторые указываютъ, какъ на причинное въ этомъ событіе, на соборную исторію калужскаго епископа Григорія, котораго кинулся бить недовольный имъ дьячокъ. Но это, очевидно, такое же случайное происшествіе, какъ и другая соборная исторія кіевская, когда была провозглашена анаѳема епископу Филарету Филаретову (нынѣшнему рижскому), и третья исторія въ петербургскомъ соборѣ съ викаріемъ Добронравинымъ, въ котораго былъ брошенъ камень. Все это происшествія чисто случайнаго характера, каковыя бывали и прежде, но на архіереевъ не производили вліянія *). А потому въ замѣтномъ нынѣшнемъ самоукрощеніи особъ этого сана, я думаю, нельзя считать виновниками раздражительныхъ маньяковъ, возглашающихъ архіереямъ анаѳемы или мечущихъ въ нихъ камни. Мнѣ кажется, что, можетъ-быть, гораздо основательнѣе видѣть здѣсь вліяніе общаго *духа времени*, кото-

*) Охотники видѣть во всякой такой случайности что-то «систематическое», забываютъ харьковскій случай, когда анаѳему архіерею хватилъ посреди собора въ день православія его же соборный протодіаконъ. Но тутъ систематическаго было только то, что прежде, чѣмъ хватить анаѳему своему архіерею, отецъ протодіаконъ хватилъ дома что-то другое, безъ чего будто бы этимъ особамъ «нельзя выкричать большое служеніе». Епископъ Филаретъ Гумилевскій (историкъ церкви), котораго это всѣхъ ближе касалось, однако, очевидно не считалъ это ни за что систематическое: онъ хотя и наказалъ виновнаго, но не строго и не мстительно.

рый, какъ бы онъ кѣмъ ни понимался и ни истолковывался, но, по прекрасному выраженію И. С. Тургенева, оказываетъ на всѣхъ неодолимое давленіе, побуждая всякое величіе *опрощаться*. Правда, что нѣкоторые изъ особъ гражданскихъ и военныхъ до сихъ поръ еще какъ бы этого не чувствуютъ, и, опять по выраженію того же Тургенева, продолжаютъ въ военномъ генеральствѣ «хрипѣть», а въ статскомъ «гундосить»: но архіереевъ и нельзя ставить съ этими на одну доску, такъ какъ между архіереями, несмотря на ихъ владычное своенравіе, всегда были и есть люди, по преимуществу умные, и потому нимало не удивительно, что истина жизни ими почувствована сильнѣе, чѣмъ другими.

Тотъ бы глубоко заблуждался, кто хотѣлъ бы настаивать, будто архіереи измѣнились поневолѣ и съ напуга. У нихъ не можетъ быть никакого напуга. Живой русскій тактъ, присущій этимъ людямъ, выросшимъ на русскихъ поповкахъ и погостахъ, даетъ имъ вѣрную оцѣнку всякихъ событій, въ которыхъ, несмотря на ихъ порою суматошный характеръ, нѣтъ ничего способнаго напугать настоящаго русскаго человѣка, знающаго Русь, какъ она есть. Нѣтъ, архіереи *опростились* просто потому, что все живое и все желающее еще жить теперь опрощается по неодолимому закону событій, которыхъ никакіе тайные гундосы не могутъ ни остановить, ни направить по иному направленію. Такъ-называемый *престижъ* потерялся въ заботахъ тяглой жизни, и его не только не для чего искать, но даже и не у кого болѣе искать. Даже тѣ, которые были окутаны этимъ *престижемъ* съ ногъ до головы, и тѣмъ «сіе оружіе оскудѣша въ конецъ». Остается еще какое-то русско-татарское кочевряженье, но и оно уже никому не внушаетъ ни почтенія, ни страха. «Жизнь, по выраженію поэта (И. С. Никитина), изнываетъ въ заботѣ о хлѣбѣ».

Русь хочетъ *устраиваться, а не великатиться,* и измѣнить ея настроеніе въ противоположномъ духѣ *невозможно.* Кто этого не понимаетъ, о томъ можно *только жалѣть*...

Понимать свое время и умѣть дѣйствовать въ немъ сообразно лучшимъ его запросамъ—это не значитъ раболѣпствовать волѣ массъ; нѣтъ, это значитъ только чувствовать потребность «одной съ ними жизнью дышать и внимать ихъ сердецъ трепетанью». И наши лучшіе архіереи этого хотятъ. Откидывая насильственно къ нимъ привитой и никогда имъ

не шедшій византійскій этикетъ, они сами хотятъ *опроститься* по-русски и стать людьми народными, съ которыми, по крайней мѣрѣ, отраднѣе будетъ ждать какихъ-либо *настоящихъ* мѣръ, способныхъ утолить нашу религіозную истому и возвратить изнемогшей вѣрѣ русскихъ людей духъ животворящій.

Затѣмъ, снова продолжаемъ передвигать нашу портретную галлерею, открывая новое ея отдѣленіе лицами иного «благоувѣтливаго» характера.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Самая неукротимая, желчная раздражительность оныхъ «бывыхъ» епископовъ никакъ не можетъ быть строго осуждаема, безъ вниманія къ нѣкоторымъ тяжкимъ условіямъ ихъ, повидимому, счастливаго и даже, будто бы, завиднаго положенія. Теперь, когда, благодаря новому порядку вещей, въ судахъ резонно и основательно ищутъ снисхожденія, а иногда и полнаго оправданія преступныхъ дѣяній, совершенныхъ въ состояніи болѣзненнаго раздраженія, вызваннаго ненормальностью функцій организма, несправедливо и жестоко было бы не примѣнить этого, хотя въ нѣкоторой степени, къ людямъ, осужденнымъ вести жизнь самую вредную для своего здоровья, отъ котораго, по увѣреніямъ ученыхъ врачей, весьма много зависитъ и расположеніе духа, и сила самообладанія.

Я смѣю думать, что такое вниманіе было бы со стороны общества только справедливостью, въ которой оно не должно отказывать никому, въ какомъ бы онъ ни находился званіи. И причину думать такимъ образомъ я имѣю на основаніи словъ одного очень умнаго и прямодушнаго архіерея, о которомъ мы сейчасъ будемъ бесѣдовать.

Но прежде скажу два слова о нелѣпомъ представленіи, существующемъ у многихъ людей, о такъ-называемомъ «архіерейскомъ счастіи» и о «привольностяхъ владычной жизни», которая на самомъ дѣлѣ гораздо тягостнѣе, чѣмъ думаютъ.

Надо признаться, что русскіе міряне, часто ропща и негодуя на своихъ духовныхъ владыкъ, совсѣмъ не умѣютъ себѣ представить многихъ тягостей ихъ житейской обстановки и понять значеніе тѣхъ условій, отъ которыхъ владыки *не могутъ освободиться*, какова бы ни была личная

энергія, ихъ одушевляющая. Такъ-называемые, «свѣтскіе люди» видятъ только одну сторону епископскаго житья,— такъ-сказать, «казовой его конецъ», а никогда не промѣряли всей матеріи. Въ нѣкоторыхъ мірскихъ кружкахъ, гдѣ сужденія особенно неразборчивы, но смѣлы, считаютъ «архіерейское житье» верхомъ счастія и блаженства. Простолюдины, напримѣръ, говорятъ обыкновенно о томъ, «какія важныя рыбы архіереи ѣдятъ, и какъ поѣвши зобовъ не просиживаютъ». А между тѣмъ, какая мука и досада хоть бы съ этимъ «счастіемъ» «ѣсть» и съѣденнаго «не просиживать» *).

Одинъ изъ нашихъ молодыхъ епископовъ, извѣстный уже своими литературными трудами, усердно воздѣлывалъ садъ при своемъ архіерейскомъ домѣ. Гостя лѣто въ томъ городѣ и часто посѣщая его преосвященство, я почти всегда заставалъ его или за граблями, или за лопатой и разъ спросилъ: съ какихъ поръ онъ сдѣлался такимъ страстнымъ садоводомъ?

— Ничуть не бывало,—отвѣчалъ онъ:—я вовсе не люблю садоводства.

— А зачѣмъ же вы всегда трудитесь въ саду?

— Это по необходимости.

Я полюбопытствовалъ узнать: по какой необходимости?

— А по такой,—отвѣчалъ онъ:—что съ тѣхъ поръ, какъ, учинившись архіереемъ, я лишенъ *права двигаться*, то на-

*) Впрочемъ, въ самомъ сказаніи объ архіерейскихъ рыбахъ тоже не мало преувеличеннаго и даже баснословнаго. Такъ, напримѣръ, разсказываютъ въ народѣ, будто на «коренную» ярмарку (подъ Курскомъ) съѣзжаются архіерейскіе повара и отбираютъ для своихъ владыкъ «всю головку», т.-е. весь первый сортъ проковой копченой и вяленой рыбы, преимущественно бѣлужьяго и осетроваго балыка; но, разумѣется, все это вздоръ. Встарь, говорятъ, что-то такое бывало, но уже давно минуло. Встарь, какъ видно и изъ записокъ Гавр. Добрынина, между архіереями, дѣйствительно, бывали не только любители, но и знатоки тонкаго рыбнаго стола; но въ наше время и этотъ слѣдъ иноческаго аристократизма исчезъ. Нынѣшніе епископы плохіе гурмандисты: настоящій архіерейскій вкусъ къ тонкимъ рыбамъ у нихъ утраченъ и, живя по простотѣ, они и кушать стали простую, но болѣе здоровую пищу, какую вкушаютъ всѣ люди здраваго ума и скромнаго достатка. Дорогіе рыбные столы у архіереевъ теперь бываютъ рѣдко и то только для дорогихъ гостей,—сами же они, въ своемъ уединеніи, рыбы себѣ не заготовляютъ, а кушаютъ, большею частію, одно... грибное. Нѣкоторые епископы теперь даже берутъ для себя столъ по-просту изъ кухмистерскихъ, гдѣ питается всякій «разночинецъ».

чалъ страдать невыносимыми головными болями; жирѣю какъ каплунъ и, того и гляжу, что меня кондрашка стукнетъ.

Взаправду: кто изъ всѣхъ смертныхъ, не исключая даже колодниковъ, можетъ считать себя лишеннымъ такого важнаго и необходимаго права, какъ *«право двигаться»?* Кажется никто... кромѣ русскаго архіерея. Это его ужасная привилегія: *ему нельзя выйти* за ворота своего двора, а позволяется только *выѣхать,* и то не на одномъ и даже не на двухъ, а непремѣнно на четырехъ животныхъ, да еще, пожалуй, подъ трезвонъ колоколовъ.

Надо пожить въ такомъ положеніи, чтобы понять, до чего оно тягостно и какъ вредно оно отзывается на всемъ организмѣ. Сколько силъ и способностей, можетъ-быть, погибло жертвою одной этой привилегіи? И какъ тяготятся этою привилегіею многіе изъ тѣхъ, которымъ завидуютъ люди, считающіе блаженствомъ «ѣсть и не просиживать зобя».

Мой ближайшій родственникъ, довольно извѣстный врачъ, *спеціалистъ по женскимъ болѣзнямъ,* живетъ въ г. К., въ собственномъ домѣ, бокъ-о-бокъ съ М. монастыремъ, гдѣ обыкновенно проживаетъ мѣстный викарный епископъ. По своей акушерской практикѣ, родственникъ мой никакихъ сношеній съ своими черными сосѣдями не имѣлъ и не надѣяся практиковать у нихъ, но вотъ, однажды, темною осеннею ночью (лѣтъ пять-шесть тому назадъ), къ нему звонится монахъ и, во что бы то ни стало, проситъ его поспѣшить на помощь къ преосвященному.

Докторъ подумалъ, что монахъ ошибся дверями, и приказалъ слугѣ разъяснить иноку, что онъ врачъ-акушеръ и для епископа не годится. Но слуга, вышедшій къ монаху съ этимъ отвѣтомъ, возвращается назадъ и говоритъ, что монахъ не ошибся, что онъ именно присланъ къ моему родственнику, котораго владыка проситъ придти какъ можно скорѣе, потому что ему очень худо.

— Что же такое съ нимъ?—спрашиваетъ докторъ.

— Очень худо говоритъ: въ животѣ что-то разнесло.

«Ну, — думаетъ акушеръ, — если дѣло въ животѣ, такъ это уже не далеко отъ моей спеціальности», — и пошелъ, какъ всегда ходитъ къ требующимъ его помощи, съ мѣшкомъ своихъ акушерскихъ снастей и снарядовъ. Мы-было отсовѣтовали ему не заносить въ монастырь этого духа, но онъ не послушался:

— Надо взять,—говоритъ:—я безъ нихъ, какъ безъ рукъ.

И онъ отлично сдѣлалъ, что настоялъ на своемъ.

Возвращается онъ назадъ передъ самымъ утромъ, съ ароматною сигарою въ зубахъ, и смѣется.

Разспрашиваемъ его: гдѣ былъ?

— Да, дѣйствительно,—говоритъ:—былъ у архіерея.

— А кому же у него помогалъ?

— Да ему же и помогалъ.

— Неужели,—спрашиваемъ:—и инструменты не даромъ бралъ?

— Да,—говоритъ:—одна инструментина пригодилась,—и разсказываетъ вообще слѣдующее:

— Прихожу,—говоритъ:—въ спальню и вижу—архіерей лежитъ и стонетъ:

— «Охъ, докторъ! какъ вы медлите... мнѣ худо».

— Я ему отвѣчаю: «Извините, владыка, вѣдь я акушеръ и лѣчу спеціально однѣхъ женщинъ». А онъ говоритъ:

— «Ахъ, полноте, пожалуйста: есть ли когда теперь это разбирать,—да у меня, можетъ-быть, и болѣзнь-то женская».

— Что же у васъ такое?

— «Брюхо вспучило—совсѣмъ задыхаюсь».

— И вижу, — говоритъ докторъ: — онъ, дѣйствительно, такъ тяжело дышитъ, что даже весь побагровѣлъ и глазами нехорошо водитъ; а въ брюхѣ, гдѣ ни постучу, все страшно вздуто.

— У васъ, говорю, все это газами полно, — и ничего болѣе.

— «Да я и самъ,—отвѣчаетъ,—думалъ, что въ иномъ-то ни въ чемъ вы меня не обличите, а только помогайте».

— Желудокъ надо скорѣе очистить,—сказалъ докторъ.

— «И не трудитесь, все напрасно: одеревянѣлъ и не чистится».

И архіерей назвалъ самыя сильнѣйшія слабительныя, которыя онъ (самъ изрядный знатокъ медицины) употреблялъ, но все безполезно.

— Худо,—молвилъ акушеръ.

— «Да-съ,—отвѣчалъ епископъ:—совсѣмъ весь свой аппаратъ испортилъ. Хоть ничего не ѣшь и не пей, а все его не убережешь въ этой нечеловѣческой жизни. Но теперь... умоляю... хоть какую-нибудь струменцію, что ли, въ ходъ пустить, только бы полегчало.»

Тутъ-то и пригодилась инструментина изъ акушерскаго ридикюля, а послѣ принесеннаго ею быстраго облегченія насталъ пріятный разговоръ, начавшійся съ того, что врачъ сказалъ облегченному святителю, что онъ ему не будетъ ничего прописывать, потому что болѣзнь его не отъ случайной неумѣренности, а отъ недостатка воздуха и движенія, но что состояніе его, обусловливаемое этими причинами, очень серьезно и угрожаетъ его жизни.

— «Ахъ,—говоритъ архіерей:—я съ вами согласенъ. Но что же вы мнѣ посовѣтуете?»

— Больше ходить по воздуху, преимущественно по горкамъ, которыхъ у насъ такъ много.

— «Какъ же, какъ же... прекрасно; да еще бы, можетъ-быть, часа полтора въ сутки верхомъ на конѣ поѣздить?»

— Это бы очень полезно.

— «Сядьте же, дорогой сосѣдъ, поскорѣе къ моему столу и напишите мнѣ все это, по старой формулѣ «Cum Deo».

— Зачѣмъ же это писать, когда я вамъ это такъ ясно сказалъ.

— «Да мало ли что вы мнѣ сказали! Я и самъ безъ васъ все это знаю. Нѣтъ, а вы мнѣ это напишите, а я попробую въ синодъ просьбу послать и приложу вашъ рецептъ: не разрѣшатъ ли мнѣ, хоть *ради спасенія жизни, часа два въ день по улицѣ пѣшкомъ ходить?* Но нѣтъ, впрочемъ, не хочу васъ напрасно и затруднять, не пишите. И св. синодъ мнѣ такой льготы не разрѣшитъ, да и благочестивые люди мнѣ не дадутъ пѣшкомъ ходить: все подъ благословеніе будутъ становиться. Другое бы дѣло верхомъ ѣздить, я это и люблю, и когда-то много на Востокѣ на конѣ ѣздилъ, и тогда никакихъ этихъ припадковъ не зналъ, но на Востокѣ нашъ братъ счастливѣе,—тамъ при туркахъ проще можно жить и свободнѣе можно двигаться».

— Ну, вы бы,—говоритъ докторъ:—какъ-нибудь у себя дома устроили себѣ моціонъ.

— «Лѣтомъ, когда садъ открытъ,—я хожу по саду. Хоть и скучно все по одному мѣсту топотать, но топочу. А вотъ, какъ придетъ осень съ дождями, такъ и сѣлъ. Куда же въ топь-то лѣзть? А на дворѣ на мощеныя дорожки выйти—опять благословляться пристанутъ. И сижу въ комнатѣ. Зима, всѣ дни дома, и весь весенній ранокъ тоже дома. Вотъ вы и посчитайте: много ли архіерею по воздуху-то можно ходить?»

— У васъ по монастырскому двору зимою дорожки есть.

— «Какъ же: есть, — только мнѣ-то по нимъ ходить нельзя».

— Отчего же?

— «Санъ великъ ношу: монахи будутъ стѣсняться со мною гулять, да и мнѣ, скажутъ, непристойно съ ними панибратствовать; а потомъ благочестивцы прознаютъ, что архіерей наружи ходитъ, за благословеніемъ одолѣютъ. Словомъ, безпокойство поднимется: даже мой монастырскій журавль и конюшенный козелъ, которые нынче имѣютъ передо мною привилегію разгуливать по той дорожкѣ, — и они почувствуютъ стѣсненіе отъ моего появленія на воздухъ. Какой же вы мнѣ иной, болѣе подвижной, образъ жизни можете указать?

Врачъ развелъ руками и отвѣчалъ:

— Никакого.

— «А вотъ, то-то и есть, что «никакого». Я давно говорю, что мы, архіереи, самые, можетъ-быть, безпомощные и даже совсѣмъ пропащіе люди, если за насъ медицина не заступится.»

— Медицина? — повторилъ врачъ: — ну, ваше преосвященство, врядъ ли вы отъ насъ этого дождетесь.

— «А почему?»

— Да вѣдь мы не набожны... Скорѣе набожные люди пусть за васъ заступятся.

— «Такъ-то и было! Экъ вы куда хватили! Нѣтъ! медицина, государь мой, одна медицина можетъ насъ спасти, и она тутъ не выйдетъ изъ своей роли. Медицина должна нами заняться не для насъ и не для благочестія, а для обогащенія науки.»

— Какую же услугу можетъ оказать медицинѣ занятіе архіереями? Это очень интересно.

— «Очень интересно-съ! Медицина черезъ насъ можетъ обогатить науку открытіями. Я вотъ, за столько лѣтъ моихъ кишечныхъ страданій, очень зорко слѣжу за всѣми новыми медицинскими диссертаціями и все удивляюсь: что̀ они за негодныя и неинтересныя темы берутъ! Тотъ пишетъ о лучистомъ эпителіѣ, другой — о послѣ-родовомъ послѣдѣ, словомъ, все о томъ, что̀ выплевывается да извергается, а нѣтъ того, чтобы кто-нибудь написалъ диссертацію, напримѣръ, «объ архіерейскихъ запорахъ». А это было бы и

ново, и оригинально, и вполнѣ современно, да и для человѣчества полезно, потому что мы, освѣжившись, сдѣлались бы добрѣе... намекнуть бы только объ этомъ надо гдѣ-нибудь въ газетахъ, а то навѣрное найдется умный медикъ, который за это схватится. И ужъ какая бы къ нему отборная, духовная публика на диспутъ съѣхалась и какую бы онъ себѣ выгодную практику приготовилъ, спеціализовавшись по этому предмету. А наше начальство, увидавъ изъ этого разсужденія доказательства, отчего родъ преподобныхъ наиболѣе страждетъ и умаляется, можетъ-быть, смилостивилось бы и позволило бы намъ ходить пѣшкомъ по улицѣ. И, можетъ-быть, тогда и люди-то къ намъ больше привыкать бы стали, и начались бы другія отношенія,—не чета нынѣшнимъ. Право, такъ! Я или другой архіерей, ходя межъ людьми, можетъ-быть, кого-нибудь чему-нибудь доброму бы научилъ, и воздержалъ бы, и посовѣтовалъ. Пожалуйста, докторъ, поверните насъ на пользу науки и пустите объ этомъ, промежду своими, словечко за насъ *).»

И больной съ докторомъ, пошутивъ, весело разстались.

А между тѣмъ, подумайте, читатель: сколько горькаго въ этой шуткѣ, которою отводитъ свою досаду русскій человѣкъ свѣтскаго и духовнаго чина? сколько въ томъ, что онъ осмѣиваетъ, чего-то напраснаго, обременяющаго и осложняющаго жизнь невыносимыми условіями, которыя, чуть не цѣлые вѣка, стоятъ неизмѣнными только потому, что никто не хочетъ понять ихъ тяжесть и снять съ людей «бремена тяжкія и неудобоносимыя»...

Положимъ, что наше духовенство невозможно ставить на одну доску съ протестантскими пасторами, которые ходятъ повсюду, куда можно ходить честному человѣку; но если даже сравнить положеніе нашего епископа съ положеніемъ лица соотвѣтственнаго сана римской церкви, то насколько свободнѣе окажется въ своихъ общественныхъ отношеніяхъ даже римскій епископъ? Этотъ не только можетъ проѣхать

---

*) Лица, имѣющія какія-либо сношенія съ спеціальными медицинскими органами, можетъ-быть, дѣйствительно принесли бы нѣкоторую пользу человѣчеству, если бы не пренебрегли точно мною передаваемымъ мнѣніемъ епископа объ особенномъ характерѣ ихъ, такъ-сказать, сословнаго недуга. Можетъ-быть, гг. медики убѣдили бы общество и начальство, что такъ людямъ жить нельзя.

къ знакомому мірянину безъ звона и на простомъ извозчикѣ, но онъ посѣщаетъ безвредно для себя и для церкви музеи, выставки, концерты, самъ покупаетъ для себя книги, а съ однимъ изъ таковыхъ, епископомъ Г—мъ, большимъ любителемъ стариннаго искусства, я даже не разъ хаживалъ къ букинистамъ на петербургскій Апраксинъ дворъ, и все это не вредило ни сану епископа, ни его доброй репутаціи, ни римской церкви.

Почему же нашъ епископъ лишенъ этой свободы, и почему лишеніе это идетъ, напримѣръ, такъ далеко, что когда одинъ изъ русскихъ епископовъ, человѣкъ весьма ученый и литературный, пожелалъ заниматься на ряду съ другими людьми въ залахъ публичной библіотеки, то говорили, будто это было найдено нѣкоторыми широко разставленными людьми за непристойность и даже за «фанфаронскую браваду» (два слова, и оба не русскія)... Мы такъ не привыкли, чтобы наши епископы пользовались хотя бы самою позволительною свободою, что приходимъ въ недоумѣніе, если встрѣчаемъ ихъ гдѣ-нибудь запросто. Я помню, какъ однажды, покойный книгопродавецъ Николай Петровичъ Кораблевъ (вмѣсто котораго, по газетнымъ извѣстіямъ, вѣроятно изъ вѣжливости, преждевременно былъ зачисленъ умершимъ его товарищъ Сиряковъ) встрѣтилъ меня въ самомъ возбужденномъ состояніи и съ живостью и смущеніемъ возвѣстилъ, что къ нимъ въ магазинъ *заходилъ епископъ!* Но и то это было еще во время оно; да и епископъ тотъ былъ краса нашей церковной учености, трудолюбивый Макарій литовскій, нынѣшній митрополитъ московскій...

Въ обществѣ о такомъ «укрывательствѣ архіереевъ» думаютъ различно: одни находятъ, что этого, будто, «требуетъ санъ», а другіе утверждаютъ, что санъ этого не требуетъ. Люди сего послѣдняго мнѣнія, ссылаясь на простоту и общедоступность «оныхъ давнихъ архіереевъ», склонны винить въ отчужденіи архіереевъ отъ міра, такъ называемую, «византійскую рутину», или, наконецъ, кичливость самихъ архіереевъ, которымъ, будто бы, особенно нравится сидѣть во свѣтѣ неприступнѣмъ и ѣздить на шести животныхъ.

Можетъ-быть, что все это имѣетъ мѣсто въ своемъ родѣ и склоняетъ дѣло къ одному положенію. Кто хоть разъ бы-

валъ въ архіерейскомъ домѣ, тотъ знаетъ, какъ тамъ все нелюдимо, дико и какъ-то безпріютно, и кто видалъ много владычныхъ домовъ, тотъ знаетъ, что нелюдимость и безпріютность — это неотъемлемое качество сихъ жилищъ; а всякое жилище, говорятъ, будто бы выражаетъ своего хозяина. Еще одно общее архіерейскимъ домамъ отличительное и притомъ удивительное свойство, это необъяснимый запахъ *старыми фортепіанами*, который очень легко чувствовать, но причину его отгадать трудно, ибо фортепіанъ въ архіерейскихъ домахъ не бываетъ, но этотъ *скучный запахъ* тамъ есть точно въ залѣ стараго нежилого помѣщичьяго дома, гдѣ заперты фортепіаны, на которыхъ никто не играетъ. Есть и еще *нѣчто*, какъ мнѣ кажется, еще болѣе дѣйственное. Довольно общее и, притомъ, не безосновательное убѣжденіе таково, что православные любятъ пышное велелѣпіе своихъ духовныхъ владыкъ и едва ли могли бы снести безъ смущенія ихъ «опрощеніе». Объ этомъ даже очень недавно говорилъ «*Голосъ*» по поводу непріятности, случившейся съ епископомъ Гермогеномъ Добронравинымъ въ Исаакіевскомъ соборѣ. Однако, впрочемъ, по игрѣ случая, сказано это было въ томъ же самомъ нумерѣ, гдѣ говорилось, что въ оное время всѣ газеты, будто бы, писали не то, что думали.

Любовь къ пышности, мнѣ кажется, — несомнѣнна, и она не ограничивается требованіемъ пышности только въ служеніи. Есть православные, которымъ, какъ будто, нужно, чтобы ихъ архіереи и внѣ храма вели себя поважнѣе, — чтобы они ѣздили не иначе, какъ «въ простяжъ», по крайней мѣрѣ четверкою, «гласили томно» и «благословляли авантажно», и чтобы при этомъ показывались не часто, и чтобы доступить до нихъ можно было не иначе, какъ «съ подходцемъ». А въ домѣ у нихъ все стояло чинно въ рядъ безъ всякаго удобства,— словомъ, не такъ, какъ у людей. Напрасно было бы оспаривать, что все это дѣйствительно такъ; но едва ли можно было бы доказать, что такое «любленіе» пышности выражаетъ любовь къ лицамъ, отъ которыхъ она требуется, и укрѣпляетъ уваженіе къ ихъ высокому сану. Совсѣмъ нѣтъ; въ этомъ желаніи православныхъ «превозвышать» своихъ архіереевъ есть живое сродство съ извѣстнымъ съ рыцарскихъ временъ «обожаніемъ женщинъ», которое отнюдь не выражало собою ни

любви, ни уваженія рыцарей къ дамамъ: дамы отъ этого «обожанія» только страдали, въ томительной зависимости. Мертвящая пышность нашихъ архіереевъ, съ тѣхъ поръ какъ они стали считать ее принадлежностію своего сана, не создала имъ народнаго почтенія. Народная память хранитъ имена святителей «простыхъ и препростыхъ», а не пышныхъ, и важныхъ или вообще «не простыхъ» нашъ народъ никогда не считаетъ ни праведными, ни благовѣрными. Русскій народъ любитъ глядѣть на пышность, но уважаетъ *простоту*. Пышность скорѣе всего просто слѣдствіе привычки и, можетъ-быть, вкуса, воспитаннаго византизмомъ и давно требующаго перевоспитанія *истиннымъ христіанствомъ*. Тотъ же самый народъ, которому, будто бы, столь нужна пышность, узнавъ о такомъ «простомъ владыкѣ», какъ жившій въ Задонскѣ Тихонъ, еще при жизни этого человѣка оцѣнилъ его духъ и назвалъ его *святымъ*. Этотъ самый народъ жаждалъ слова Тихона и слушался этого слова болѣе, чѣмъ всякихъ иныхъ словесъ владыкъ пышныхъ.

Не безызвѣстенъ и другой подобный же примѣръ и нынче, но только мы не назовемъ этого современнаго намъ епископа, изъ уваженія къ его скромности и тщательному старанію, съ коимъ онъ таится отъ міра и его похвалъ. Стало-быть, не пышность и не велелѣпіе, а еще болѣе не важность и не неприступность служатъ лучшимъ средствомъ добраго вліянія архіереевъ на ихъ паству, а, напротивъ,— качества совсѣмъ иныя,—качества, не только не утверждающіяся на пышности, но даже совсѣмъ съ нею несродныя: нужна *простота*.

Есть, однако, люди, которые утверждаютъ, что плѣнительная простота, отличавшая Тихона, возможна только для епископовъ, отказавшихся отъ дѣлъ управленія. Правящій же епископъ, будто бы, не можетъ вести себя такъ просто,— ибо «нашъ-де народъ еще не достигъ того понятія, чтобы чтить простоту»

Помимо отвратительнаго и горькаго чувства, внушаемаго симъ подобными словами, которыя дышатъ и невѣжествомъ, и предательствомъ, они совершенно несправедливы.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Первый архіерей, котораго я узналъ лично, былъ Сма-

рагдъ Крижановскій, во время его управленія орловскою епархіею.

Это воспоминаніе относится къ самымъ раннимъ годамъ моего отрочества, когда я, обучаясь еще въ орловской гимназіи, постоянно слышалъ разсказы о дѣяніяхъ этого владыки и его секретаря, «ужаснаго Бруевича».

Свѣдѣнія мои объ этихъ лицахъ были довольно разносторонніе, потому что, по нѣсколько исключительному моему семейному положенію, я въ то время вращался въ двухъ противоположныхъ кругахъ орловскаго общества. По отцу моему, происходившему изъ духовнаго званія, я бывалъ у нѣкоторыхъ орловскихъ духовныхъ и хаживалъ иногда по праздникамъ въ монастырскую слободку, гдѣ проживали ставленники и томившіеся въ чаяніи «владычнаго суда» подначальные. У родственниковъ же съ материной стороны, принадлежавшихъ къ тогдашнему губернскому «свѣту», я видалъ губернатора, князя Петра Ивановича Трубецкого, который терпѣть не могъ Смарагда и находилъ неутолимое удовольствіе вездѣ его ругать. Князь Трубецкой постоянно называлъ Смарагда не иначе, какъ «козломъ», а Смарагдъ, въ отместку, величалъ князя «пѣтухомъ».

Губернаторъ князь Трубецкой и епископъ Смарагдъ не взлюбили другъ друга съ первой встрѣчи и считали долгомъ враждовать между собою во все время своего совмѣстнаго служенія въ Орлѣ, гдѣ, по этому случаю, насчетъ ихъ ссоръ и пререканій ходило много разсказовъ, по бо́льшей части, однакоже, или совсѣмъ невѣрныхъ, или, по крайней мѣрѣ, сильно преувеличенныхъ. Таковъ, напр., повсемѣстно съ несомнѣнною достовѣрностію разсказываемый анекдотъ о томъ, какъ епископъ Смарагдъ, будто бы, ходилъ съ хоругвями, подъ звонъ колоколовъ, на съѣзжую, посѣщать священника, взятаго, по распоряженію князя Трубецкого, въ часть ночнымъ обходомъ, въ то время, какъ этотъ священникъ шелъ съ дароносицею къ больному.

На самомъ дѣлѣ, такого происшествія въ Орлѣ вовсе не было. Многіе говорятъ, что оно было, будто бы, въ Саратовѣ или въ Рязани, гдѣ тоже епископствовалъ и тоже ссорился преосвященный Смарагдъ, но не мудрено, что и тамъ этого не было. Несомнѣнно одно, что Смарагдъ терпѣть не могъ князя Петра Ивановича Трубецкого и еще болѣе

его супругу, княгиню Трубецкую, рожденную Витгенштейнъ, которую онъ, кажется не безъ основанія, звалъ «буесловною нѣмкою». Этой энергической дамѣ Смарагдъ оказывалъ замѣчательныя грубости и, въ томъ числѣ, разъ при мнѣ сдѣлалъ ей такое рѣзкое и оскорбительное замѣчаніе, что это всѣхъ ужаснуло. Но княгиня отвѣтить Смарагду не нашлась или не посмѣла.

Епископъ Смарагдъ былъ человѣкъ раздражительный и рѣзкій, и если ходящіе о его распряхъ съ губернаторами анекдоты не всегда фактически вѣрны, то всѣ они въ самомъ сочиненіи своемъ вѣрно изображаютъ характеръ ссорившихся сановниковъ и общественное о нихъ представленіе. Князь Петръ Ивановичъ Трубецкой во всѣхъ этихъ анекдотахъ представляется человѣкомъ заносчивымъ, мелочнымъ и безтактнымъ. О немъ говорили, что онъ «пѣтушится»,— топорщитъ перья и брыкаетъ шпорою во что попало, а покойный Смарагдъ «козляковалъ». Онъ дѣйствовалъ съ расчетомъ: онъ, бывало, нѣкое время посматриваетъ на пѣтушка и даже бородой не тряхнетъ, но чуть тотъ не поостережется и выступитъ за ограду, онъ его въ ту же минуту боднетъ и назадъ на его насѣсть перекинетъ.

Въ кружкахъ орловскаго общества, которое не любило ни князя Трубецкого, ни еп. Смарагда,—послѣдній все-таки пользовался хотя нѣкоторымъ вниманіемъ. Въ немъ цѣнили по крайней мѣрѣ его умъ и его «неуемность». О немъ говорили:

— «Сорванецъ и молодецъ, — ни Бога не боится, ни людей не стыдится». Такіе люди въ русскомъ обществѣ пріобрѣтаютъ авторитетъ, законности котораго я и не намѣренъ оспаривать, но я имѣю основаніе думать, что покойный орловскій дерзкій епископъ едва ли на самомъ дѣлѣ «ни Бога не боялся, ни людей не стыдился».

Конечно, если смотрѣть на этого владыку съ общей точки зрѣнія, то, пожалуй, за нимъ, какъ будто, можно признать такой авторитетъ; но если заглянуть на него со стороны нѣкоторыхъ мелочей, весьма часто ускользающихъ отъ общаго вниманія, то выйдетъ, что и онъ не совсѣмъ былъ чуждъ способности стыдиться людей, а, можетъ-быть, даже и бояться Бога.

Вотъ тому примѣры, которые, вѣроятно, однимъ вовсе неизвѣстны, а другими, можетъ-быть, до сихъ поръ позабыты.

Теперь я сначала представлю читателямъ оригинальнаго человѣка изъ орловскихъ старожиловъ, котораго чрезвычайно боялся «неуемный Смарагдъ».

Въ то самое время, когда жили и враждовали въ Орлѣ кн. П. И. Трубецкой и преосвящ. Смарагдъ, тамъ же, въ этомъ «многострадальномъ Орлѣ», въ небольшомъ сѣренькомъ домикѣ на Полѣшской площади, проживалъ не очень давно скончавшійся отставной маіоръ Александръ Христіановичъ Шульцъ. Его всѣ въ Орлѣ знали и всѣ звали его съ титуломъ: «маіоръ Шульцъ», хотя онъ никогда не носилъ военнаго платья и самое его маіорство нѣкоторымъ казалось немножко «апокрифическимъ». Откуда онъ и кто такой,—едва ли кто-нибудь зналъ съ полною достовѣрностію. Шутливые люди рѣшались даже утверждать, что «маіоръ Шульцъ» есть вѣчный жидъ Агасѳеръ или другое, столь же таинственное, но многозначащее лицо.

Александръ Христіановичъ Шульцъ съ тѣхъ поръ, какъ я его помню, — а я помню его съ моего дѣтства, — былъ старикъ, сухой, немножко сгорбленный, довольно высокаго роста, крѣпкой комплекціи, съ сильною просѣдью въ волосахъ, съ густыми, очень пріятными усами, закрывавшими его совершенно беззубый ротъ, и съ блестящими, искрившимися сѣрыми глазами въ правильныхъ вѣкахъ, опушенныхъ длинными и густыми темными рѣсницами. Люди, видѣвшіе его незадолго до его смерти, говорятъ, что онъ такимъ и умеръ. Онъ былъ человѣкъ очень умный и еще болѣе—очень пріятный, всегда веселый, всегда свободный, искусный разсказчикъ и досужій шутникъ, умѣвшій иногда ловко запутать путаницу и еще ловчѣе ее распутать. По душѣ и по сердцу онъ былъ человѣкъ добрый и дѣлалъ не мало добра. Офиціальное положеніе Шульца въ Орлѣ выражалось тѣмъ, что онъ былъ безсмѣннымъ старшиною дворянскаго клуба. Никакого другого мѣста онъ не занималъ и жилъ неизвѣстно чѣмъ, но жилъ очень хорошо. Небольшая квартира его всегда была меблирована со вкусомъ, на холостую ногу; у него всегда кто-нибудь гостилъ изъ пріѣзжихъ дворянъ; закуска въ его домѣ подавалась всегда обильная, какъ при немъ, такъ и безъ него. Домомъ у него завѣдывалъ очень умный и вѣжливый человѣкъ Василій, питавшій къ своему господину самую вѣрную пре-

данность. Женщинъ въ домѣ не было, хотя покойный Шульцъ былъ большой любитель женскаго пола и, по выраженію Василія, «страшно слѣдилъ по этому предмету».

Жилъ онъ, какъ одни думали, картами, т.-е. велъ постоянную картежную игру въ клубѣ и у себя дома; по другимъ же, онъ жилъ, благодаря нѣжной заботливости своихъ богатыхъ друзей К—скихъ. Послѣднему вѣрить гораздо легче, тѣмъ болѣе, что Александръ Христіановичъ умѣлъ заставить любить себя очень искренно. Шульцъ былъ человѣкъ очень сострадательный и не забывалъ заповѣди «стяжать себѣ друзей отъ мамоны неправды». Такъ, въ то время, когда въ Орлѣ еще не существовало благотворительныхъ обществъ, Шульцъ едва ли былъ не единственнымъ благотворителемъ, который подавалъ больше гроша, какъ это дѣлало и вѣроятно доселѣ дѣлаетъ орловское православное христіанство. Маіора хорошо знали безпомощные бѣдняки Пушкарской и Стрѣлецкой слободъ, куда онъ часто отправлялся въ своемъ куцомъ коричневомъ сюртучкѣ съ запасомъ «штрафныхъ» денегъ, собиравшихся у него отъ позднихъ клубныхъ гостей, и здѣсь раздавалъ ихъ бѣднымъ, иногда довольно щедрою рукою. Случалось, что онъ даже покупалъ и дарилъ рабочихъ лошадей и коровъ и охотно хлопоталъ объ опредѣленіи въ училище дворянскихъ сиротъ, что̀ ему почти всегда удавалось, благодаря его обширнымъ и короткимъ связямъ.

Но, помимо этой пользы обществу, Шульцъ приносилъ ему еще и другую, можетъ быть не менѣе важную услугу: онъ олицетворялъ въ своей особѣ мѣстную гласность и сатиру, которая, благодаря его неутомимому и острому языку, была у него безпощадна и обуздывала много пошлостей дикаго самодурства тогдашняго «добраго времени». Тонкій и язвительный юморъ Шульца преслѣдовалъ, по преимуществу, мѣстныхъ свѣтилъ, но преслѣдованіе это велось у него съ такимъ тактомъ и наивностью, что никто и думать не смѣлъ ему мстить. Напротивъ, многіе изъ преслѣдуемыхъ бичомъ его сатиры нерѣдко сами помирали со смѣху отъ насмѣшекъ маіора, а боялись его *всѣ*, по крайней мѣрѣ, всѣ, имѣвшіе въ городѣ вѣсъ и значеніе и потому, конечно, желавшіе не быть осмѣянными, лебезили передъ неимѣвшимъ никакого офиціальнаго значенія клубнымъ маіоромъ.

Шульцъ, конечно, это зналъ и мастерски пользовался почтительнымъ страхомъ, наведеннымъ имъ на людей, нежелавшихъ почитать ничего болѣе достойнаго почтенія.

Шульцу было извѣстно все, что происходило въ городѣ. Самъ онъ, по преимуществу и даже исключительно, держался компаніи въ «высшемъ кругѣ», гдѣ его и особенно боялись, но онъ не затворялъ своихъ дверей ни передъ кѣмъ, и оттого всѣ сколько-нибудь интересныя или скандальныя вѣсти стекались къ нему всяческими путями. Шульцъ былъ принятъ и у кн. Трубецкого, и у архіерея Смарагда, распрями которыхъ онъ тѣшился и рачительно ими занимался, то собирая, то сочиняя и распуская объ этихъ лицахъ повсюду самыя смѣшныя и въ то же время способныя усиливать ихъ ссору вѣсти. Мало-по-малу, Шульцъ до такой степени увлекся этой травлею, что предался ей съ исключительнымъ жаромъ и, можно сказать, нѣкоторое время, просто, какъ бы ею только и жилъ.

Смарагдъ, по прибытіи въ Орелъ, очень скоро узналъ о Шульцѣ и оцѣнилъ его значеніе. Онъ, разумѣется, не только не пренебрегъ маіоромъ; но отнесся къ нему съ самою лестною внимательностью. Долго онъ все зазывалъ Шульца къ себѣ черезъ К—скихъ и заигрывалъ съ нимъ черезъ другихъ, поручая попенять ему, что онъ не хочетъ «навѣстить бѣднаго монаха». Шульцъ не шелъ, но какъ бы благоволилъ къ архіерею и похваливалъ его насчетъ губернатора. Наконецъ, они встрѣтились съ Смарагдомъ, кажется, на обѣдѣ въ с. Шаховѣ, и маіоръ здѣсь совсѣмъ очаровалъ скучавшаго епископа своими ѣдкими сарказмами надъ Трубецкимъ и докторомъ Л—цемъ, а также и надъ другими видными орловскими гражданами. Знавшій толкъ въ людяхъ, Смарагдъ тутъ же постарался подмѣтить слабость самого маіора: онъ замѣтилъ, что Шульцъ любилъ хорошо покушать и, притомъ, былъ тонкій цѣнитель «добраго винца», въ чемъ довольно свѣдущъ оказывался и покойный епископъ. И онъ пригласилъ зоила къ себѣ въ городъ запросто и угостилъ его, что называется, «по знатоцки».

Съ тѣхъ поръ они стали знакомы и, какъ люди очень умные, не много чинясь другъ съ другомъ, скоро сблизились. Но Смарагду, конечно, не удалось закормить Шульца до того, чтобы онъ совсѣмъ положилъ печать молчанія на свои уста, и хотя многимъ казалось, будто маіоръ какъ бы

щадилъ архіерея и, даже, нападалъ за него на князя, но весьма вѣроятно, что это происходило оттого, что Смарагдъ безъ сравненія превосходилъ губернатора въ умѣ, а Шульцъ былъ любитель ума, въ комъ бы ни встрѣчалъ его. Однако, послабленіе епископу длилось не долго: разъ, когда Шульцу стали замѣчать, что онъ щадитъ архіерея, онъ отвѣтилъ:

— Не могу же я, господа, не дѣлать разницы между Трубецкимъ, у котораго мнѣ подаютъ блюдо его лакеи, и архіереемъ, который всегда самъ меня потчуетъ.

Это было передано Смарагду и послужило началомъ владычнаго неудовольствія, которое вскорѣ затѣмъ усилилось еще однимъ обстоятельствомъ, послѣ котораго между владыкою и Шульцемъ произошелъ разрывъ. Причиною тому былъ пріѣздъ въ Орелъ какого-то важнаго чиновника центральнаго духовнаго учрежденія. Можетъ-быть, это былъ какой-нибудь директоръ канцеляріи, а можетъ быть, что-нибудь даже еще болѣе достопримѣчательное. Смарагдъ чествовалъ заѣзжаго гостя въ своемъ архіерейскомъ домѣ вечернею трапезою, а Шульцъ былъ въ числѣ возлежавшихъ, и, по обыкновенію, одинъ оживлялъ пиръ своимъ веселымъ и злымъ остроуміемъ.

Благодаря ему, зашла бесѣда за ночь и «недоставшу вину» владыка восплескалъ руками, что у него было призывнымъ знакомъ для слугъ; но слуги, не чая поздняго дополненія къ столу, отлучились. Тогда архіерей живо всталъ и, чтобы не распустить компанію, подобравъ свою бархатную рясу, побѣжалъ съ такою рѣзвостію, что, чрезвычайно удивленный этою прыткостію епископа, Шульцъ на другой же день началъ разсказывать, какъ рѣзво умѣютъ наши владыки бѣгать передъ чиновниками.

Смарагду это совсѣмъ не понравилось. Онъ нашелъ, что Шульцъ «не хорошъ въ компаніи», но, однако, его высокопреосвященство никакъ не могъ освободиться отъ довольно тяжкаго нравственнаго вліянія маіора: Шульцъ ни за что не хотѣлъ спускать съ глазъ архіерейскую распрю съ губернаторомъ и умыслилъ весьма хитрую штуку, чтобы обнародовать положеніе ихъ фондовъ во всеобщее свѣдѣніе.

Это имѣетъ особенный интересъ, потому что тутъ мы можемъ получить довольно ясное указаніе: какъ несправедливы нѣкоторыя нареканія на архіереевъ, будто бы нимало не дорожащихъ общественнымъ мнѣніемъ.

Нижеслѣдующій случай покажетъ, что даже и Смарагдъ былъ чутокъ къ совѣту Сираха «пещись объ имени своемъ», которое, по словамъ Ѳеокрита, «каждый себѣ въ сладостный даръ получаетъ».

На свѣтломъ окнѣ сѣраго домика на Полѣшской площади «сожженнаго» города Орла, въ одинъ прекрасный день, совершенно для всѣхъ неожиданно, появились два чучела: одно было красный пѣтухъ въ игрушечной каскѣ, съ золочеными игрушечными же шпорами и бакенбардами, а другое—маленькій, опять-таки игрушечный же козелъ, съ бородою, покрытый чернымъ лоскуткомъ, свернутымъ въ видѣ монашескаго клобука. Козелъ и пѣтухъ стояли другъ противъ друга въ боевой позиціи, которая отъ времени до времени измѣнялась. Въ этомъ и заключалась вся штука. Смотря по тому, какъ стояли дѣла князя съ архіереемъ, то-есть: кто кого изъ нихъ одолѣвалъ (о чемъ Шульцъ всегда имѣлъ подробныя свѣдѣнія), такъ и устраивалась группа. То пѣтухъ клевалъ и билъ взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживалъ лапою сдвигавшійся на затылокъ клобукъ; то козелъ давилъ копытами шпоры пѣтуха, поддѣвая его рогами подъ челюсти, отчего у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылокъ, хвостъ опускался, а жалостно разинутый клювъ какъ бы вопіялъ о защитѣ.

Всѣ знали, что̀ это значитъ, и судили о ходѣ борьбы по тому, «какъ у Шульца на окнѣ архіерей съ княземъ дерутся».

Это былъ первый проблескъ гласности въ Орлѣ и, притомъ, гласности безцензурной.

Не знаю, какъ интересовался этимъ князь Петръ Ивановичъ. Можетъ-быть, что этотъ губернаторъ, по приписываемымъ ему словамъ, «сильно занятый поджогами», за недосугами и не зналъ, что̀ изображали Шульцевы манекены; но преосвященный это зналъ, очень слѣдилъ за этимъ дѣломъ и частенько, говорятъ, посылалъ нѣкоего, понынѣ еще, кажется, здравствующаго въ Орлѣ мужа, «приватно пройтись и посмотрѣть, что̀ представляютъ у Шульца на окнѣ *фигуры*: какая какую боретъ?»

Надѣюсь, что разсказанными мелочами изъ моихъ отроческихъ воспоминаній объ архіереѣ, котораго я зналъ въ

оную безгласную пору на Руси, я въ нѣкоторой степени показалъ примѣромъ, что и самые крутые изъ архіереевъ не остаются безучастными къ общественному мнѣнію, а потому такое нареканіе на нихъ едва ли справедливо. Теперь же я на томъ же самомъ Смарагдѣ представлю другой примѣръ, который можетъ показать, что и обвиненіе архіереевъ въ безучастіи и жестокости тоже можетъ быть не всегда вѣрно.

Но пусть, вмѣсто нашихъ разсужденій, говорятъ сами маленькія «событія».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

У насъ на орловской монастырской слободкѣ жилъ одинъ мой гимназическій товарищъ, сынъ этапнаго офицера, семья котораго мнѣ въ дѣтствѣ представлялась семьею тѣхъ трехъ праведниковъ, ради которыхъ Господь терпѣлъ на землѣ орловскія «проломленныя головы». Это, въ самомъ дѣлѣ, была очень добрая семья, состоявшая изъ отца, бѣлаго, какъ лунь, коротенькаго старичка, который два раза въ недѣлю съ огромною «валентиновскою» саблею при бедрѣ садился верхомъ на сытую игренюю кобылку и выводилъ за кромскую заставу арестантскіе этапы. Арестанты его любили и, какъ былъ слухъ, не бѣгали изъ-подъ его конвоя только потому, что имъ «было жалко его благородіе». Онъ былъ совсѣмъ старецъ и, давно потерявъ всѣ зубы, кушалъ лишь одну манную кашку. Жена его, золотушная старушка, тоже была въ дѣтскомъ состояніи: она питала безграничную и ничѣмъ не смущаемую довѣрчивость ко всѣмъ людямъ, любила получать въ подарокъ игрушечныя фарфоровыя куколки, которыя она разставляла въ минуты скуки и унынія, посѣщавшія ее при появившихся подъ старость дѣтскихъ болѣзняхъ. У нея обыкновенно дѣлались то свинка, то корь, то коклюшъ, а незадолго передъ смертью появились какіе-то припадки въ родѣ родимца. Оба этапные супруга были добры до безконечности. Ихъ сынъ, — мой гимназическій товарищъ, постоянно читавшій романы Вальтеръ-Скотта, и дочь, миловидная дѣвушка, занимавшаяся вышиваньемъ гарусомъ, — тоже были олицетвореніемъ простоты и кротости. И вотъ, у этихъ-то добрыхъ людей на дворѣ, по сѣнямъ и закуткамъ, всегда проживали «духовенные», изъ призванныхъ «подъ началъ» или «ожидав-

шихъ резолюціи». Съ нихъ въ этомъ христіанскомъ домѣ ничего не брали, а держали ихъ просто по состраданію, «Христа ради». Изрѣдка развѣ, и то не иначе, какъ «по усердію», кто-нибудь изъ подначальныхъ бѣдняковъ бывало промететъ дворъ или улицы или выполетъ гряды, или сходитъ на Оку за водою, необходимою сколько для хозяйскаго, столько же и для собственнаго употребленія самихъ подначальныхъ.

Въ кромѣшномъ аду, который представляла собою орловская монастырская слободка, уютный домикъ этапнаго офицера и его чистенькій дворикъ представляли самое утѣшительное и даже почти сносное мѣсто. Сострадательные хозяева жалѣли злополучныхъ «подначальниковъ» и облегчали ихъ тяжкую участь безъ разсужденія, которое такъ легко ведетъ къ осужденію. Но, однако, и здѣсь, кромѣ пріюта, «духовеннымъ» ничего не давали, потому что не имѣли, что имъ дать. Имъ дозволяли только дергать на огородѣ чрезвычайно разросшійся хрѣнъ, который угрожалъ заглушить всякую иную зелень и не переводился, несмотря на самое усердное истребленіе его «духовенными».

Домомъ этимъ дорожили «духовенные» и, прощаясь съ офицерскимъ семействомъ, всегда молили «паки ихъ не отвергнуть, если впадутъ въ руцѣ Бруевича и паки сюда послѣдуютъ». Дорожилъ этими добрыми людьми и я, не только потому, что мнѣ всегда было пріятно въ этой простой доброй семьѣ, но и потому, что я могъ здѣсь встрѣчать многострадальныхъ «духовенныхъ», съ дѣтства меня необыкновенно интересовавшихъ. Они располагали меня къ себѣ ихъ жалкою приниженностію и сословной оригинальностію, въ которой мнѣ чуялось несравненно болѣе жизни, чѣмъ въ тѣхъ, такъ называемыхъ, «хорошихъ манерахъ», внушеніемъ коихъ томилъ меня претензіонный кругъ моихъ орловскихъ родственниковъ. И за эту привязанность къ орловскимъ духовеннымъ я былъ щедро вознагражденъ: единственно благодаря ей, я съ дѣтства моего не раздѣлялъ презрительныхъ взглядовъ и отношеній «культурныхъ» людей моей родины къ бѣдному сельскому духовенству. Благодаря орловской монастырской слободкѣ, я зналъ, что среди страдающаго и приниженнаго духовенства русской церкви не все одни «грошевики, алтынники и блинохваты», какихъ выводили многіе повѣствователи, и я дерзнулъ написать

«*Соборянъ*». Но въ тѣхъ же хранилищахъ моей памяти, изъ коихъ я черпалъ типичныя черты для изображенія лицъ, выведенныхъ мною въ названной моей хроникѣ, у меня остается еще много клочковъ и обрѣзковъ или, какъ нынче говорятъ по-русски, «купюровъ». И вотъ теперь одинъ изъ этихъ «купюровъ» просится къ настоящему случаю подъ перо. Герой моего наступающаго разсказа—молодой сельскій дьячокъ Лукьянъ, фамиліи котораго я не помню. Это былъ человѣкъ очень длинный и, отъ своей долготы, сгорбленный, худой, смуглый, безбородый, со впалыми щеками, несоразмѣрно маленькою головкою «рѣпкою» и веселыми желтыми глазками. Онъ былъ «безпокойнаго характера», постоянно имѣлъ разнообразныя стычки съ разными лицами, попалъ за одну изъ нихъ подъ начало и сдѣлался мнѣ особенно памятнымъ по своей отважной борьбѣ съ Смарагдомъ, котораго онъ имѣлъ удивительное счастіе и растрогать, и одолѣть, — во всякомъ случаѣ, по собственнымъ его словамъ, онъ «побѣдилъ воеводу непобѣдимаго».

Дьячокъ Лукьянъ появился въ офицерскомъ домѣ на монастырской слободкѣ лѣтомъ, передъ ученическимъ разъѣздомъ на каникулы. Родъ вины его былъ оригинальный: онъ попалъ сюда «*по обвиненію въ кисейныхъ рукавахъ*». Подробнѣе этого о своемъ преступленіи Лукьянъ вначалѣ ничего не сообщалъ, и я такъ и уѣхалъ на каникулы въ деревню съ одними этими поверхностными и скудными свѣдѣніями о его виновности. Извѣстно было только, что преступленіе съ «кисейными рукавами» стряслось на Троицу и что виновный въ немъ былъ взятъ и привезенъ въ Орелъ, по его словамъ, какъ-то «нагло», такъ что онъ даже оказался безъ шапки. Это я очень хорошо помню, потому что бѣднякъ поперваначалу чрезвычайно стѣснялся быть безъ шапки и все хлопоталъ отыскать «оказію», чтобы выписать изъ «своихъ мѣстъ» какую-то, будто бы имѣвшуюся у него, другую шапку. По своему легкомысленному ребячеству, я почему-то все сближалъ Лукьяна съ тогдашнимъ романсомъ:

Ахъ, о чемъ ты проливаешь
Слезы горькія тайкомъ
И украдкой утираешь
Ихъ кисейнымъ рукавомъ.

Я думалъ: не онъ ли сочинилъ этотъ романсъ, или не занѣлъ ли онъ его ошибкою, гдѣ не слѣдуетъ. Но дѣло заключалось совсѣмъ въ иномъ.

По возвращеніи съ каникулъ, я засталъ Лукьяна въ прежней позиціи, т.-е. на этой же монастырской слободкѣ, въ офицерскомъ домѣ, но только уже не простоволосаго, а въ желтомъ кожаномъ картузѣ, съ длиннымъ четырехъугольнымъ козыремъ. Это меня очень обрадовало, и я, при первой же встрѣчѣ, выразилъ ему свое удовольствіе, что онъ нашелъ хорошую оказію вытребовать себѣ шапку. Но Лукьянъ только махнулъ головою и, снявъ съ себя свой оригинальный картузъ, отвѣчалъ, что оказіи онъ еще не нашелъ, а что носимый имъ теперь на головѣ снарядъ добытъ имъ «по случаю». При этомъ, осматривая картузъ съ глубокимъ пренебреженіемъ, какъ вещь несоотвѣтствующую его духовному званію и употребляемую только по крайности, онъ сказалъ:

— Колпачокъ этотъ, чтобы покуда накрываться, мнѣ царскихъ жеребцовъ вертинаръ *) за регистры подарилъ,— и при этомъ Лукьянъ добавилъ, что колпакъ этотъ «дурацкій» и что какъ только онъ въ скорости возвратится домой, то сейчасъ же этотъ «колпачокъ» сдастъ на скворешню и скворца въ него посадитъ, чтобы тотъ научился въ ней по-нѣмецки думать: «кому на Руси жить хорошо».

Однако, ни одинъ скворецъ не дождался этой чести, потому что нѣмецкій колпачокъ успѣлъ разрушиться на головѣ самого Лукьяна, прежде чѣмъ онъ уѣхалъ во-свояси. Онъ гулялъ въ немъ все лѣто, осень и зиму до Алексѣя Божія человѣка, когда въ судьбѣ моего страдальца неожиданно произошла счастливая перемѣна.

За этотъ терминъ страданій я узналъ отъ Лукьяна въ подробности о кисейныхъ рукавахъ и о прочемъ, — о чемъ теперь, вѣроятно, безъ всякихъ для него послѣдствій, могу сказать въ воспоминаніе: какія важныя дѣла иногда судятъ наши владыки.

Лукьянъ былъ человѣкъ холостой и состоялъ дьячкомъ въ очень бѣдномъ приходѣ, въ селѣ, которое, кажется, на-

*) «Царскими жеребцами» въ Орлѣ тогда звали заводскихъ жеребцовъ случной конюшни императорскаго коннозаводства. Она помѣщалась противъ монастырской слободы.

зывалось Цвѣтынь и было гдѣ-то неподалеку отъ извѣстнаго надъ Окою крутого Ботавинскаго спуска. При Лукьянѣ жила мать, которую онъ очень любилъ, но болѣе всего онъ, по своему кавалерскому положенію, любилъ нѣжный полъ и, по этому случаю, часто попадалъ въ «стычки». Въ этихъ случаяхъ Лукьянъ нерѣдко былъ «мятъ», но все это ему, однако, не приносило всей той пользы, какую должно приносить «тѣлесное наученіе». Увлеченіе страсти и слабости сердца заставляли его забывать все былое, и вскорѣ опять гдѣ женщины—тамъ и Лукьянъ, а затѣмъ невдалекѣ его и колотятъ и—что всего удивительнѣе—колотятъ иногда при помощи тѣхъ же самыхъ женщинъ, у которыхъ онъ, благодаря крутымъ завиткамъ на вискахъ и обольстительному духовному краснорѣчію, имѣлъ замѣчательные успѣхи. Но, на его несчастіе, онъ былъ слишкомъ непостояненъ и, притомъ, слишкомъ находчивъ. Въ такомъ родѣ было и его послѣднее преступленіе, за которое онъ теперь томился въ Орлѣ. Удостоенный вниманія пожилой постоялой дворничихи, онъ въ то же самое время воспылалъ страстію къ другой, молодой и болѣе красивой женщинѣ, и тутъ такъ «попутался», что во время одного визита къ дворничихѣ «скрылъ» у нея и «потаенно вынесъ» пышные кисейные рукава, которые немедленно же и презентовалъ соблазнительной красавицѣ. Сердце красавицы онъ этимъ преклонилъ на свою сторону, но самъ за это «двукратно пострадалъ». Во-первыхъ, когда молодая женщина появилась въ «скрытыхъ» Лукьяномъ кисейныхъ рукавахъ на Троицынъ день подъ качелями, то она тѣмъ привела въ неистовство обиженную дворничиху. Послѣдствіемъ этого было, что обѣ бабы произвели сначала взаимную потасовку, а потомъ, увидя желавшаго ихъ разнять Лукьяна, соединили свои силы и *обѣ* принялись за него: его онѣ жестоко растрепали и исцарапали, а еще болѣе «пустили молву», вслѣдствіе чего объ этомъ было «донесено репортомъ», который предсталъ на архіерейскій судъ.

Но судъ былъ еще далекъ: обвиняемый томился, а Смарагду о немъ, вѣроятно, или совсѣмъ не докладывали, или же владыка не считалъ дѣло «о кисейныхъ рукавахъ» подлежащимъ немедленному разбирательству и хотѣлъ нарочно потомить духовнаго волокиту. На огородѣ офицера отцвѣлъ и свернулся наперенный Лукьяномъ «по усердію» горохъ и

посинѣли тучные бобы, въ буйной ботвѣ которыхъ, бывало, спрятавшійся Лукьянъ громко и пріятно наигрывалъ что-то на зеленой ракитовой дудкѣ. Онъ плѣнялъ этою чудесною игрою и насъ съ товарищемъ, слушавшихъ его съ чердака, куда мы забирались читать Веверлея, и многихъ сосѣдокъ офицерскаго домика, старавшихся открыть черезъ частоколъ: гдѣ кроется въ своемъ желтомъ картузѣ пострадавшій за любовь трубадуръ? Все это отошло: огороды опустѣли, Лукьянъ убралъ офицершѣ по усердію и картофель, и рѣпу, и нарубилъ съ батрачкою большіе наполы капусты, а собственное его дѣло о кисейныхъ рукавахъ нимало не подвигалось.

Настала суровая, холодная осень,—онъ все еще сидѣлъ на опустѣломъ огородѣ и спалъ въ нетопленномъ курятникѣ. Питался онъ *хрѣномъ*, самъ готовя себѣ изъ этого фрукта и кушанье, и напитокъ. Кушанье это было — скобленный хрѣнъ съ сальными «шкварками», которыя выбрасывали изъ кухни, а напитокъ дѣлался изъ тертаго хрѣна съ бѣлымъ квасомъ «суровцомъ».

Шутя надъ своею нуждою, Лукьянъ называлъ свое блюдо изъ хрѣна «лимонадъ-буштекцъ», а напитокъ «лимонадъ-бышквитъ».

Кажется, если бы не только самаго узловатаго нѣмца, но даже самаго сильнаго изъ древнихъ русскихъ могучихъ богатырей покормить этимъ «лимонадъ-буштекцомъ» и попоить «лимонадъ-бышквитомъ», то и онъ черезъ недѣлю задралъ бы ноги, но тщедушный Лукьянъ живъ и здравъ бывалъ. Однако, наконецъ, вся эта истома и его пересилила: онъ заскучалъ и сталъ говорить, что «надо къ кому-нибудь подольститься и искать протекціи», чтобы «подвинуть свое дѣло». И онъ въ этихъ цѣляхъ, дѣйствительно, «подольстился» къ кому-то такому, кто попросилъ о немъ жандармскаго вахмистра, который имѣлъ сношенія съ случайными людьми архіерейскаго дома, и тѣ явили Лукьяну благостыню, по началу судя, весьма странную, но по послѣдствіямъ, дѣйствительно, очень полезную.

У полнокровнаго и тучнаго Смарагда бывали тяжелые припадки, — надо полагать, гемороидальнаго свойства. Въ эту пору у него, по разсказамъ, болѣла поясница и напухало между «крылъ». Архіерейское *междукрыліе* находится

на спинѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ у обыкновенныхъ людей движутся лопатки. Поэтому опухоль между крылъ, по-просту говоря, значила, что у епископа напухала спина между лопатками, и отъ этой опухоли, причинявшей больному тяжесть, докторъ (кажется Деппишъ) совѣтовалъ Смарагду полѣчиться активной гимнастикой. Но какія же гимнастическія упражненія удобны и приличны для человѣка такого высокаго и притомъ священнаго сана? Нельзя же архіерею метать шарами или подскакивать на трапеціи. Но Смарагдъ былъ находчивъ и выдумалъ нѣчто болѣе солидное и, притомъ, патріархальное, а вдобавокъ, и полезное: онъ пожелалъ *пилить дрова* съ подначальными, которые въ его бытность постоянно исполняли при архіерейскомъ домѣ черныя дворовыя работы и, между прочимъ, пилили и кололи дрова для архіерея и его домовыхъ монаховъ.

Дьячокъ Лукьянъ былъ при чемъ-то въ сторожахъ и искалъ «протекціи», чтобы попасть въ пильщики, дабы такимъ образомъ имѣть случай не только встрѣтиться со своимъ владыкою, но, такъ-сказать, стать съ нимъ лицомъ къ лицу. Этимъ способомъ онъ надѣялся обратить на себя владычное вниманіе и извлечь изъ того для себя нѣкоторую существенную пользу. Жандармскій вахмистръ, силою своихъ связей съ архіерейскимъ домомъ, все это устроилъ.

Смарагдъ избралъ для своихъ упражненій во врачебной гимнастикѣ послѣобѣденные часы. Прямо изъ-за стола онъ шелъ въ сарай, гдѣ труждались за топорами и пилою подначальные, и съ очередными изъ пильщиковъ перепиливалъ три, четыре, а иногда и пять плахъ. Такъ шло уже нѣсколько времени, и хотя епископъ неопустительно продолжалъ свои занятія, но они, вѣроятно, не оказывали желаемаго воздѣйствія на его владычныя междукрылія: онъ все ходилъ пригорбясь и насупясь и бѣ яко Исавъ «нрава дикаго, угрюмаго, ко гнѣву склоннаго и мстительнаго».

Дьячокъ Лукьянъ, наблюдая все это, приходилъ отъ такого архіерейскаго вида въ неописанный страхъ, который потомъ вдругъ сталъ переходить въ раздраженіе. Всѣ горести Лукьяна разомъ точно поднялись у него изъ сердечной глубины, и онъ сталъ такъ свирѣпо ругаться, что дѣлалось за человѣка страшно. Позже онъ даже началъ угрожать чѣмъ-то нестаточнымъ, и отъ его возбужденности, дѣй-

ствительно, можно было ожидать какого-нибудь очень нехристіанскаго поступка.

— Отекъ очень съ сытости,—говорилъ онъ непочтительно о своемъ владыкѣ:—оттого ничего и не чувствуетъ, а отцы наши все поддѣлываются: самыя тоненькія да сухія плашки ему пилить подкладываютъ. Низкое ихъ обхожденіе такъ научаетъ, но дай срокъ, пусть онъ первый разъ меня за пилою, а не за топоромъ застанетъ, я его такимъ полѣномъ разуважу, что будетъ онъ меня вѣкъ помнить.

Мы съ товарищемъ пожелали узнать, что̀ такое, именно, Лукьянъ придумалъ подстроить своему архіерею, и узнали, что подначальный дьячокъ, полный кипящаго мщенія къ Смарагду, желаетъ подложить ему самыя толстыя коряги, надъ которыми бы его преосвященство «хорошенько пропыхтѣлся». Я и мой товарищъ, по своему отроческому легкомыслію, находили эту мысль чрезвычайно счастливою и достойною тѣхъ представленій, какія мы имѣли о Смарагдѣ, но сильно боялись за предпріимчиваго Лукьяна, чтобы это не обошлось ему дороже, чѣмъ онъ разсчитываетъ.

Лукьянъ, однако, былъ на такой возвышенной степени воодушевленія, что не хотѣлъ слушать никакихъ доводовъ.

— Ребра онъ мнѣ, говоритъ, не сокрушитъ, а что ежели онъ меня костылемъ отвозитъ, то я этого только и желаю, потому что онъ опосля битья, говорятъ, иногда сдабривается.

Такъ онъ и пошелъ неуклонно на эту желанную мѣру сближенія съ своимъ архипастыремъ; а мы все не забывали интересоваться ходомъ его исторіи, которая, впрочемъ, не замедлила принять оборотъ самый краткій и самый рѣшительный. Лукьянъ сдѣлалъ, какъ намѣревался, и въ укромномъ мѣстѣ, подъ стѣною, въ пильномъ сараѣ, припасъ для своего владыки десятка полтора самыхъ толстыхъ суковатыхъ плахъ. Онъ тщательно берегъ этотъ отборъ до того случая, когда Смарагдъ застанетъ его за работою и возьмется съ нимъ за другой конецъ пилы, чтобы размнять свои междукрылія. Случай этотъ не замедлилъ. Дня черезъ два послѣ того, какъ Лукьянъ сообщилъ намъ о своемъ смѣломъ предпріятіи, онъ явился домой въ невыразимомъ отчаяніи и, бросивъ подъ кухонную лавку свой желтый шлыкъ, объявилъ, что «надѣлалъ себѣ бѣды, какой не ожидалъ».

— Приходитъ, говоритъ, владыка, а я пилю съ кром-

ской округи попомъ старенькимъ; владыка попа прогнали: «пошелъ прочь», говорятъ, потому онъ имъ не по таліи, а мнѣ приказали: «клади плаху». Я-было оробѣлъ и хотѣлъ, подобно какъ и другіе-прочіе, — положить плаху какая собою поделикатнѣе, но раздумался, что этакъ я себя долго ни къ чему счастливому не произведу и, благословясь, выхватилъ изъ своего амбара штуку самую безобразную. Владыка взглянули на меня и ничего не сказали, стали рѣзать, два ряда прошли и ряску сняли, говорятъ: «повѣсь на колокъ». А еще рядъ отпилили и совсѣмъ стали, а я имъ другую еще коряжистѣе на козлы положилъ. Тутъ онъ на меня ужъ такимъ святителемъ взглянулъ, что у меня и въ животѣ захолодѣло. «Ничего, говоритъ, ничего, я и эту перепилю, а ужъ зато ты у меня еще цѣлый годъ въ пильщикахъ останешься». Съ тѣмъ и ушли.

Мы опросили Лукьяна: что же онъ теперь думаетъ дѣлать? А онъ въ отчаяніи отвѣчалъ, что и самъ не знаетъ, но что, кажется, ему лучше всего продолжать свой терминъ держать,—потому что, такъ онъ надѣялся, можетъ-быть ему Богъ поможетъ на семъ тяготѣніи своего владыку раньше года постоянствомъ «преодолѣть и замучить».

И точно, прошло не болѣе недѣли, какъ «державшій свой терминъ» Лукьянъ возвратился съ веселымъ видомъ и объявилъ, что онъ «архіерея замучилъ» и дѣло о кисейныхъ рукавахъ, кажется, поправляется.

— Какъ же это такъ счастливо обернулось? — спрашиваемъ.

— А такъ, отвѣчаетъ, оно обернулось, что я его преосвященство совсѣмъ заморилъ и отъ болѣзни ихъ совершенно вполнѣ этими толстыми полѣньями выпользовалъ.

— А почему, говоримъ, это видно?

— Разсердился, и нынѣ меня, слава Богу, такъ костылемъ отвозилъ, что и сейчасъ загорбокъ больно.

— За что же это?

— Досадно стало, что характеръ имѣю большія плахи класть, и самъ мнѣ наклалъ.

— Что же, говоримъ, тутъ хорошаго?

— Теперь сдобрится.

— А какъ нѣтъ?

— Нѣтъ, сдобрится: всѣ, которые опытные, завидуютъ,

говорятъ: «Экое счастіе тебѣ отъ святителя! теперь, какъ сердце отойдетъ, онъ твое дѣло потребуетъ и рѣшитъ».

Приходитъ Лукьянъ на другой день и еще веселѣе.

— Вчера же, сказываетъ, дѣло къ себѣ потребовали.

А еще черезъ день послѣ этого нашъ Лукьянъ какъ вбѣжалъ на дворъ въ калитку, такъ прямо, ни съ того ни съ сего, и пошелъ на рукахъ колесомъ.

— Отпустилъ, кричитъ, отпустилъ, ко двору благословилъ идти.

— А какое же, спрашиваемъ, было наказаніе?

— Вовсе безъ наказанія,—кромѣ того, какъ третьяго дня костылемъ поблагословлялъ, ничего другого не вмѣнено.

— Да вѣдь костылемъ это было не за кисейные рукава, а за другое.

— Ну, что̀ тамъ разбирать, что̀ за что̀ выпало! Одно слово: иду благополучный, все равно, какъ плетьми да на выпускъ. Чего еще надо?

«Плетьми на выпускъ» въ то время на Руси за большую непріятность не считалось. Нынче русскіе люди на этотъ счетъ немножко избаловались.

Итакъ, не поучаетъ ли насъ сей приснопамятный Лукьянъ, приведеннымъ случаемъ своей судьбы, что никогда не должно отчаиваться въ милосердіи русскихъ владыкъ, ибо хотя иные изъ нихъ и гнѣвны, но и ихъ гнѣвности бываетъ порою ослабленіе. И не достоинъ ли сей, повидимому, какъ будто маловажный случай особеннаго вниманія, именно потому, что онъ былъ не съ какимъ-нибудь слабохарактернымъ лицомъ, а со Смарагдомъ, о которомъ въ Орлѣ говорили, что онъ никого не боится и единственно лишь тѣмъ уступаетъ московскому митрополиту, что тотъ «ѣздитъ на шести животныхъ, съ двумя человѣками на запяткѣ». Другой же, менѣе Смарагда, нравный архіерей, конечно, можетъ оказаться еще податливѣе, если только случай сведетъ его съ человѣкомъ, въ коемъ онъ замѣтитъ настоящее «savoir faire». А безъ сноровки, конечно, ничего не подѣлаешь не только съ архіереями, но даже и съ своими собственными дѣтьми.

Въ подтвержденіе же моихъ словъ о способности архіереевъ переходить отъ гнѣва къ благоувѣтному добродушію, разскажу еще одинъ такой случай о другомъ архіереѣ,

тоже вспыльчивомъ и гнѣвномъ, но укрощавшемся еще легче и проще.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Одна изъ моихъ тетокъ была замужемъ за англичаниномъ Ш., который управлялъ огромными имѣніями у гр. П., въ восточной полосѣ Россіи. Англичанинъ Ш. былъ человѣкъ очень благородный и добрый, но своеобычный. Онъ любилъ вѣжливость и если встрѣчалъ съ чьей-либо стороны грубость и наглость, то не прощалъ ихъ безъ нотаціи. Еще въ молодости онъ имѣлъ въ орловской губерніи исторію съ однимъ кавалерійскимъ полковникомъ, котораго Ш., просто-на-просто, прибилъ за нахальство. Не измѣнился онъ въ этомъ отношеніи и подъ старость. Когда я жилъ въ п—ской губерніи, онъ тогда, имѣя уже 60 лѣтъ отъ роду, вызывалъ на дуэль губернскаго предводителя дворянства А., съ которымъ не раздѣлался только потому, что умеръ. Теперь они уже оба покойники.

Разъ, лѣтомъ, не помню теперь котораго именно года, дядя Ш., строившій *первую* въ п—ской губерніи паровую мельницу, купилъ для нея въ селѣ К. огромные штучные французскіе жернова, которые были уже скованы крѣпкими шинами и которыхъ намъ очень не хотѣлось разбирать и сковывать за-ново. Мы рѣшили катить ихъ цѣликомъ и послали приготовленную для того снасть, лошадей и людей; но вдругъ получаемъ извѣстіе, что камни наши, едва отъѣхавъ десять верстъ отъ К., *проломили мостъ* и засѣли въ сваяхъ.

Мы съ Ш. сейчасъ же поѣхали на мѣсто крушенія и, пріѣхавъ въ К. довольно поздно вечеромъ, остановились въ домѣ тамошняго священника, тогда еще очень молодого человѣка, который былъ намъ и радъ, и не радъ. По личнымъ добрымъ отношеніямъ къ Ш. онъ встрѣтилъ насъ весьма радушно, но былъ встревоженъ и смущенъ тѣмъ, что преосвященный В., объѣзжавшій въ ту пору епархію, ночевалъ всего въ десяти верстахъ отъ К. и завтра долженъ былъ нагрянуть со всѣми провожатыми. Священнику, конечно, было о чемъ позаботиться: надо было ихъ и накормить, и размѣстить. Особенно его затрудняло послѣднее, такъ какъ его сельскій домикъ былъ очень не великъ, а поврежденный мостъ съ застрявшими въ сваяхъ камнями не по-

давалъ никакой надежды скоро переправить «объ онъ полъ потока» архипастырскую карету.

Мы были, нѣкоторымъ образомъ, виновниками тягостныхъ для батюшки осложненій и чувствовали это, но помочь ему не могли ничѣмъ, кромѣ того, что, не претендуя на его гостепріимство въ домѣ, приготовленномъ «подъ владыку», легли спать на сѣновалѣ. Мы встали утромъ, чѣмъ свѣтъ, и отправились къ изломанному мосту, о поправкѣ котораго нельзя было и думать прежде, чѣмъ мы найдемъ какое-нибудь средство снять камень, засѣвшій въ проломѣ настилки, между сваями.

Снять камень оказалось, однако, совершенно невозможно, и мы, послѣ многихъ соображеній, рѣшили разсѣчь шины, которыя его связывали въ одно цѣлое, послѣ чего онъ долженъ былъ раздѣлиться на штуки и упасть въ ручей, откуда уже его предстояло послѣ вытащить и перевезти на колесняхъ.

Распорядясь этою работою и оставивъ людей при дѣлѣ, мы около десяти часовъ утра возвратились въ домъ священника, выкупались въ рѣкѣ, съѣли яичницу и усталые кувырнулись на сѣновалъ и заснули. Но только-что мы разоспались, какъ внезапу бысть шумъ: мы были разбужены разливавшимся надъ поповкою оглушительнымъ трезвономъ колоколовъ и крикомъ: «ѣдетъ! ѣдетъ! архіерей ѣдетъ!»

Было очень любопытно посмотрѣть, какъ *онъ ѣдетъ?*

Съ неубранными спросонья головами, заспанными лицами и въ сыромъ, неотчищенномъ отъ грязи дорожномъ платьѣ, мы вышли къ калиткѣ и увидали, что *онъ ѣхалъ* неважно—на своихъ-на-двоихъ. По-просту говоря, *онъ шелъ пѣшкомъ,* потому что его карета не могла переѣхать черезъ мостъ. Зато шелъ святитель окруженный толпою, состоявшею человѣкъ изъ двадцати духовныхъ и недуховныхъ людей, между которыми особенно замѣчательны были двѣ бабы. Одна изъ этихъ усердныхъ христіанокъ все подстилала передъ святителемъ полотенце, на которое тотъ и наступалъ для ея удовольствія, а другая была еще благочестивѣе и норовила сама лечь передъ нимъ на дорогу,—вѣроятно, съ тѣмъ, чтобы святитель по самой по ней прошелся, но *онъ* ей этого удовольствія не сдѣлалъ. Самъ онъ представлялъ изъ себя особу съ красноватымъ геморроидаль-

нымъ лицомъ, на которомъ свѣтились маленькіе, сердитые сѣрые глазки, раздѣленные толстымъ, дубоватымъ носомъ. Во всей фигурѣ владыки не было не только ничего «святолѣпнаго», но даже просто ничего внушительнаго. Онъ казался только разгнѣваннымъ и «преогорченнымъ». Тревожный взоръ его какъ будто вопрошалъ всѣхъ и каждаго: «Что это такое? Отчего это я могу ходить пѣшкомъ?»

Дядя Ш. былъ человѣкъ религіозный и даже ѣзжалъ въ русскую церковь, къ которой принадлежала его жена и дѣти, но, на несчастіе, онъ о ту пору былъ сердитъ на архіереевъ. Это вышло по одному, незадолго передъ тѣмъ случившемуся, случаю съ дочерью его великобританскаго друга, миссъ Сп—нгъ. Дѣло это состояло въ томъ, что миссъ Сп—нгъ, гостя у своихъ и у нашихъ друзей въ орловской губерніи, заболѣла и, какъ дѣвушка религіозная, позвала къ себѣ единственное духовное лицо въ деревнѣ,—приходскаго священника. А добрый сельскій батюшка не только помазалъ ее мvромъ и причастилъ, но и примазалъ ей это въ ея документѣ, т.-е. сейчасъ же «учинилъ о семъ надпись на ея паспортѣ».

Между тѣмъ, умиравшая миссъ Сп—нгъ, послѣ совершеннаго надъ нею тайнодѣйствія, не только выздоровѣла, но вскорѣ же была помолвлена за сына извѣстнаго московскаго англійскаго коммерсанта г. Л—ви. И тутъ, когда дѣло дошло до вѣнчанія, московскій англиканскій паспортъ набрелъ на самый неожиданный сюрпризъ: невѣста значилась «*православною*». Обѣ англійскія семьи и весь московскій англійскій приходъ, не сумѣвъ достойно оцѣнить это обстоятельство, пришли въ непонятное смятеніе и ужасъ. И вотъ пасторъ съ моимъ дядею отправились къ митрополиту Филарету Дроздову «отпрашивать» присоединенную по невѣдѣнію англичанку, но митрополитъ имъ отказалъ. Тогда дѣло поправили иначе и гораздо легче. Помогъ въ этомъ случаѣ одинъ московскій квартальный, указавшій средство переписать оправославленную невѣсту снова въ ея прежній еретическій англиканизмъ. Секретъ, сколько припоминаю, состоялъ въ томъ, что паспортъ англичанки съ надписью о ея присоединеніи *утратили* и вытребовали ей новый, на которомъ никакой надписи о присоединеніи не было. Такъ ее и перевѣнчали какъ *будто англиканку*. Но все-

таки московскихъ англичанъ Леонтьевскаго переулка всѣ эти хлопоты сердили, и дядя Ш. былъ, по его словамъ, «золъ на архіереевъ» и далъ слово не имѣть съ ними никакихъ дѣлъ. Однако, нижеслѣдующій случай заставилъ его нарушить это слово.

Когда мы вошли въ церковь, недовольный путешествіемъ архіерей шумѣлъ на кого-то въ алтарѣ и, наконецъ, все обозрѣвъ и сдѣлавъ всѣ распорядки въ алтарѣ, вышелъ къ солеѣ, у которой стояли ктиторъ и еще человѣка два-три не изъ духовныхъ. Здѣсь же находилась и «матушка» отца-настоятеля, пришедшая просить его преосвященство на чай.

Преосвященный все супился и, раздавая всѣмъ по рукамъ благословеніе, спрашивалъ каждаго:

— «Чей такой», или «чья ты?»—и, раздавъ эти благословенія, на низкій поклонъ и привѣтъ матушки отвѣтилъ:

— «Ступай, готовься, — приду».—И затѣмъ онъ вдругъ неожиданно обратился къ намъ, смиренно стоявшимъ на лѣвомъ клиросѣ, и громко крикнулъ:

— А вы что? Чьи вы? Чего молчишь, старикъ?

Англичанинъ мой замоталъ головою, что̀ у него обыкновенно бывало признакомъ неудовольствія, и неожиданно для всѣхъ отвѣтилъ:

— А ты чего кричишь, старикъ?

Архіерей даже покачнулся и вскрикнулъ:

— Какъ? что̀ ты такое?

— А ты что̀ такое?

Шумливый епископъ какъ-будто совсѣмъ потерялся и, ткнувъ по направленію къ намъ пальцемъ, крикнулъ священнику:

— Говори: кто этотъ грубецъ? (sic).

— Грубецъ да не глупецъ,—отвѣчалъ Ш., предупредивъ отвѣтъ растерявшагося священника.

Архіерей покраснѣлъ, какъ ракъ, и, защелкавъ по палкѣ ногтями, уже не проговорилъ, а прохрипѣлъ:

— Сейчасъ мнѣ доложить, *что это* такое?

Ему доложили, что *это* А. Я. Ш., главноуправляющій имѣніями графовъ П—скихъ.

Архіерей вопросилъ:

— А для чего онъ въ такомъ уборѣ?—но, не дождавшись на это никакого отвѣта, направился прямо на дядю. Моментъ былъ самый рѣшительный, но окончился тѣмъ, что архіерей протянулъ Ш. руку и сказалъ:

— Я очень уважаю англійскую націю.

— Благодарю.

— Характерная нація.

— Ничего: хороша,—отвѣчалъ Ш.

— А что здѣсь случилось, прошу покорно, пусть остается между насъ.

— Пусть остается.

— Теперь же прошу къ священнику: откушать вмѣстѣ моего дорожнаго чаю.

— Отчего не такъ?—отвѣчалъ дядя:—я люблю чай.

— Значитъ, обрусѣли?

— Нѣтъ,—значитъ—чай люблю.

Преосвященный хлопнулъ дядю по-товарищески по плечу и еще разъ воскликнулъ:

— Ишь, какая характерная нація! Полно злиться!

А затѣмъ онъ оборотился ко всѣмъ предстоявшимъ и добавилъ: а вы ступайте по своимъ мѣстамъ.

И, наговорившіе другъ другу комплиментовъ, англичанинъ и архіерей долгонько кушали чай и закусывали «изъ дорожныхъ запасовъ» владыки, при чемъ его преосвященство въ это время не разъ принимался хлопать Ш. по плечу. Оба они остались другъ другомъ столько довольны, что на прощаньи братски расцѣловались, причемъ Ш. такъ сильно сжалъ поданную ему архіереемъ руку, что тотъ сморщился и еще разъ вскрикнулъ:

— Охъ, какая здоровая нація!

Такъ все это мирно и пріятно кончилось въ мимолетномъ свиданіи этого архипастыря съ англичаниномъ, а между тѣмъ этого самаго архіерея иные его современники представляли человѣкомъ и злымъ, и желчнымъ, да и позднѣйшіе некрологисты не могутъ согласиться въ его оцѣнкѣ. Я же болѣе согласенъ съ тѣмъ изъ нихъ, который старается доказать, что преосвященный В. имѣлъ очень доброе сердце. По крайней мѣрѣ, я не вижу причины, которая не позволяла бы мнѣ заключить, что этотъ человѣкъ владѣлъ золотою способностью дѣлаться очень незлобивымъ, *если* чувствовалъ, что имѣетъ дѣло съ человѣкомъ, принадлежащимъ

къ «здоровой націи». А въ такомъ случаѣ очень возможно, что тѣ, которымъ онъ казался неукротимымъ, вѣроятно, только не умѣли себя съ нимъ держать. Не надо забывать стараго правила: «кто хочетъ, чтобы съ нимъ уважительно обходились другіе, тотъ прежде всего долженъ уважать себя самъ».

Мнѣ кажется даже, что его преосвященство имѣлъ нѣсколько высокій для русскаго человѣка идеалъ гражданскаго общества и потому-то именно онъ и раздражался презрѣннымъ низкопоклонствомъ и лестью окружающихъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Есть очень распространенное, но совершенно ложное мнѣніе, будто наши архіереи люди крутые и неподатливые, будто они совсѣмъ безжалостны къ скорбямъ и нуждамъ мірскихъ человѣковъ. Такое, давно сложившееся, но, какъ я смѣю думать, неосновательное или, по крайней мѣрѣ, слишкомъ одностороннее мнѣніе особенно раздражительно выразилось въ послѣднее время (въ концѣ семидесятыхъ годовъ)... Причиною было, такъ-называемое въ газетахъ «фіаско брачнаго вопроса въ св. синодѣ».

Синодальныя сужденія по этому ноющему вопросу русской жизни далеко не вполнѣ извѣстны всему обществу, которое должно было довольствоваться только краткими «резюме», а въ нихъ для него не было ничего утѣшительнаго. Люди, несчастливые въ бракѣ, опять остались въ безотрадномъ и безвыходномъ положеніи—тянуть цѣлую жизнь тяжкое и неудобоносимое бремя несноснаго сожительства при взаимныхъ неладахъ и ненависти. Выходы остались прежніе: или смерть, или клятвопреступническая процедура нынѣшняго развода, или преступленіе въ родѣ того, какое намъ являетъ судебная хроника въ харьковскомъ дѣлѣ объ убійствѣ доктора Ковальчукова. Желать смерти даже ненавистнаго человѣка отвратительно; искать союза съ клятвопреступниками, содѣйствіе которыхъ необходимо при нынѣшнихъ законахъ о разводѣ, не менѣе отвратительно и притомъ стоитъ очень дорого. Это возможно только людямъ богатымъ, а семейное счастіе желательно и потребно каждому, — и бѣдному оно даже нужнѣе, чѣмъ богатому. Третій способъ раздѣлаться съ ненавистнымъ союзомъ есть преступленіе, на которое, къ счастію человѣчества, способны очень немногіе

относительно всего числа несчастливыхъ супруговъ. Далѣе, выходя изъ всякаго терпѣнія, люди, при какой-нибудь долѣ благоразумія, предпочитаютъ то, что̀, по господствующимъ понятіямъ, хотя и составляетъ позоръ, но при всемъ томъ даетъ людямъ какой-нибудь призракъ семейнаго счастія: у насъ все болѣе и болѣе распространяется безбрачное сожительство по-неволѣ. Люди эти несутъ нѣкоторое тяжкое отчужденіе и, страдая отъ него, конечно, не благословляютъ и никогда не благословятъ тѣхъ, кого они считаютъ виновниками своихъ несчастій, т.-е. защитниковъ тягостнѣйшихъ и невыносимыхъ условій нерасторжимаго брака при несходствѣ нрава и характеровъ.

Понятно, что когда, при такихъ обстоятельствахъ, обществу стало извѣстно, что брачный вопросъ, поднятый въ синодѣ по почину лица свѣтскаго чина, «потерпѣлъ полнѣйшее фіаско» по неподатливости лицъ чина духовнаго, то это не содѣйствовало притупленію чувства раздраженія, питаемаго многими противъ епископовъ. Послышались рѣчи памятныя и страшныя, которыя можно извинить только тѣмъ состояніемъ ужасной намученности, отъ которой впадали въ отчаяніе люди, потерявшіе въ этомъ «фіаско» всякую надежду поправить свою несчастную жизнь.

И были эти раздраженныя, но неосновательныя слова такъ внятны и такъ жестоки, что они, кажется, должны бы проникнуть и за тѣ высокія стѣны, которыми ограждали себя неподатливые устроители этого фіаско. И было бы непонятно и ужасно, какъ этотъ стонъ не тревожилъ ихъ сна и не вредилъ ихъ аппетиту, если бы... *если бы они могли поступить иначе.* Но дѣло, именно, таково, что, при данномъ ему направленіи, они, *какъ люди духовнаго чина*, не могли поступить иначе: они не могли руководиться ни чувствами, ни логикою явленій, которыя рѣшительно становятъ насъ на сторону лицъ, считающихъ пересмотръ и реформу брачнаго вопроса въ Россіи настоятельно-необходимыми. Ихъ дѣйствіями правила и должна была править логика иныхъ началъ, отъ которыхъ они не могли и не могутъ отступить своею властію. Но общество наше, или вовсе незнающее церковной исторіи, или знающее ее только по учебникамъ, никакихъ подобныхъ вопросовъ не можетъ здраво обсуждать, а умѣетъ только раздражаться. Оно *такъ воспитано.*

Но здѣсь не мѣсто разбирать интереснѣйшій и самый животрепещущій брачный вопросъ, съ непостижимымъ и, можно сказать, предосудительнымъ равнодушіемъ оставляемый нынче безъ вниманія нашей печатью *). Тронувъ его, надо тронуть очень большую и важную матерію, для чего потребовалось бы не только много времени и мѣста, но и много знанія и обстоятельности, а моя задача иная, болѣе легкая и болѣе общая. Я не пишу изслѣдованія причинъ послѣдняго фіаско брачнаго вопроса въ св. синодѣ и не обязанъ представлять критикѣ воззрѣній, руководившихъ устроителями этого фіаско. Я хочу только показать живыми очерками архіерейскихъ отношеній къ людямъ, страдавшимъ отъ путъ этого рокового вопроса, что объ архіереяхъ несправедливо заключать по этому «фіаско». Многіе (если не всѣ) епископы въ душѣ совсѣмъ не такъ жестки и безсердечны, какъ это думаютъ озлобленные мученики семейнаго ада, и я приведу тому небезынтересные и характерные примѣры въ наступающихъ разсказахъ. Они, какъ я надѣюсь, могутъ показать, что нашимъ архіереямъ вовсе не чужды

*) Очень замѣчательно, что печать довольно усердно и довольно основательно трогала этотъ вопросъ, когда онъ совсѣмъ не циркулировалъ въ правительственныхъ сферахъ (см. статьи г. Филиппова въ «*Современникѣ*»); но когда вопросъ поступилъ на очередь и подлежалъ рѣшенію, печать не оказала ему сравнительно самой малой доли того вниманія, на которое надлежало бы, кажется, разсчитывать въ интересахъ общества. Потеря отъ этого для общества произошла большая. Конечно, нѣтъ никакого основанія думать, что даже самая энергическая поддержка со стороны печати могла измѣнить сущность рѣшенія, которое можно было предвидѣть и которое не могло быть инымъ при данномъ этому дѣлу направленіи. Но печать, несомнѣнно, могла придать вопросу всю важность его общественнаго значенія и указать другія основанія, на коихъ вопросъ о бракѣ можетъ быть и долженъ быть разсмотрѣнъ въ сферахъ, властныхъ дать ему исходъ болѣе надежный и болѣе удовлетворяющій положенію самому мучительному и невыносимому. Печать, въ этомъ случаѣ, не была связана *ничѣмъ*, кромѣ развѣ изобилія болѣе интересныхъ матерьяловъ, постоянно накопляющихся въ дѣловыхъ портфеляхъ русскихъ редакцій. Мнѣ, однако, достовѣрно извѣстно, что лучшій компромиссъ, при которомъ можно было ожидать самаго удовлетворительнаго рѣшенія нашего брачнаго вопроса, былъ предложенъ не публицистами и не юристами, а однимъ изъ нашихъ современныхъ архіереевъ, неофиціальное заявленіе котораго, къ сожалѣнію, оставлено безъ вниманія. Не мудрено, что когда мучительный вопросъ о брачной реформѣ снова появится на сценѣ, резонное мнѣніе умнаго владыки будетъ уже слишкомъ прочно позабыто, и дѣло опять пойдетъ въ долгій ящикъ.

доходящія до нихъ скорби мірскихъ человѣковъ, нуждающихся въ милосердномъ снисхожденіи къ ихъ брачнымъ затрудненіямъ. Мы увидимъ, что архіереи иногда дѣлаютъ для облегченія этихъ затрудненій не только все, что могутъ, но даже порою идутъ въ своемъ соболѣзнованіи гораздо далѣе.

Первый случай такого рода я знаю въ моемъ собственномъ отдаленномъ свойствѣ.

Нѣкто А. Т., довольно родовитый и крупный помѣщикъ о—ской губерніи, былъ женатъ на своей кузинѣ. Несмотря на ихъ непозволительный по степени родства бракъ, они были обвѣнчаны. И мужъ, и жена были извѣстны за очень хорошихъ людей, каковыми, вѣроятно, считалъ ихъ и мѣстный преосвященный П—нъ, очень строгій монахъ и чудакъ, но очень добрый человѣкъ, неоднократно посѣщавшій супруговъ Т—выхъ въ ихъ родовомъ селѣ Х—ахъ, на берегу рѣки Оки. У Т—выхъ было уже нѣсколько дѣтей, и вдругъ надъ ними грянулъ громъ и, притомъ, что называется, грянулъ не изъ тучи, а изъ навозной кучи. Божіе благословеніе, благоуспѣшно призванное на это семейство церковью и видимо на немъ опочившее, захотѣлъ снять и снялъ пьяный дьячокъ. Это былъ изрядный забулдыга, который повадился ходить къ А. Т. «кучиться», т.-е. просить у него то дровецъ, то соломы. Онъ страшно надоѣдалъ этимъ попрошайствомъ, которое, вдобавокъ, обратилъ въ промыселъ: что выпрашивалъ, то не довозилъ до дому, а переводилъ въ кабакѣ на вино.

Узнавъ объ этомъ, Т. прекратилъ отпускъ дьячку яровой соломы, и когда тотъ опять сталъ докучать и попалъ подъ руку во время крайней досады, причиненной прорвою мельничной плотины, то Т. прогналъ его не совсѣмъ вѣжливо и, по былой дворянской распущенности, не придалъ этому особеннаго значенія. Велика ли важность велѣть людямъ вытолкать пьянаго дьячка изъ дому? Но дьячокъ былъ на сей разъ съ амбиціею: онъ почелъ причиненную ему обиду за важное и отмстилъ за себя знатно и чисто подьячковски.

Недѣлю или двѣ спустя послѣ этого домашняго событія въ селѣ Х—хъ, Т. получилъ отъ домашняго секретаря

преосв. П—па приглашеніе немедленно пожаловать въ городъ къ владыкѣ по самому важному дѣлу.

Таинственное дѣло это былъ доносъ, присланный обиженнымъ дьячкомъ, на незаконность брака Т—выхъ, повѣнчанныхъ въ недозволенной степени родства.

Епископъ П—пъ вызвалъ Т—ва только для того, чтобы сообщить ему объ этомъ непріятномъ событіи, котораго архіерей никакъ не могъ оставить безъ послѣдствій, и рекомендовалъ Т—ву по дружбѣ спѣшить въ Петербургъ, гдѣ назвалъ дѣльца, способнаго уложить все дѣло о расторженіи брака «подъ сукно, до умертвія».

Т. запасся знатною и, по его соображеніямъ, достаточною для удовлетворенія дѣльца суммою, простился съ дѣтьми и съ опечаленною женою и прикатилъ въ Петербургъ.

Я его постоянно видѣлъ у себя въ эту пору и знаю всѣ перипетіи дѣла до мельчайшихъ подробностей. Оно началось, какъ говорятъ, «съ удавки». Хорошо аттестованный преосвященнымъ П—помъ дѣлецъ, даже и состоятельному Т—ву приходился не подъ силу. Не за то, чтобы опровергнуть доносъ и утвердить бракъ двоюроднаго брата съ сестрою, а только за то, «чтобы уложить дѣло до умертвія», онъ, не обинуясь, запросилъ русскую сказочную цѣну «до полцарства», и ни о чемъ меньшемъ не хотѣлъ и разговаривать. «Полцарства»—это былъ его прификсъ. Что было дѣлать? «Отдать до полцарства», какъ онъ просилъ съ остроумною шутливостію, конечно, было жалко, да и жирно. Это составляло тысячъ около тридцати. Но остановиться на однихъ переговорахъ и не дать этихъ денегъ, значило явно погубить дѣло самымъ рѣшительнымъ и, притомъ, безотлагательнымъ способомъ. Дѣлецъ слылъ за человѣка сколько смѣлаго и ловкаго, столько же корыстолюбиваго, злого и мстительнаго.

Все это Т—въ соображалъ и обсуждалъ, бродя цѣлыхъ три мѣсяца въ Петербургѣ, между тѣмъ какъ въ О. дѣло его было уже рѣшено какъ нельзя для него хуже.

Думалъ, думалъ бѣдный Т—въ и, наконецъ, истерзанный мученіями жены и раздраженный тоскою и огромными упущеніями по хозяйству, рѣшился дать алчному чиновнику «до полцарства». Но какъ такой наличной суммы у помѣщика въ рукахъ не было и реализовать ее тогда было еще труднѣе, чѣмъ нынче, дѣлецъ же былъ, разумѣется, чело-

вѣкъ осторожный и не шелъ ни на какія сдѣлки, а требовалъ наличность, то, въ виду всего этого, Т. послалъ женѣ распоряженіе немедленно запродать все свое имѣніе прицѣнившемуся къ нему богачу М—ву, а деньги доставить какъ можно скорѣе въ Петербургъ для врученія ихъ дорогому благодѣтелю.

Молодая дама, конечно, не прочь была исполнить требованіе мужа, но, по свойственной большинству дамъ бережливости, не могла разстаться съ своимъ добромъ, по крайней мѣрѣ, хоть не оплакавъ его. Ей хотѣлось спасти свой бракъ, но нестерпимо жаль было сразу лишиться «до полуцарства».

И вотъ, по непростительному, но опять весьма свойственному нѣкоторымъ дамамъ радикализму, разстроенной молодой женщинѣ вдругъ стало представляться, что вся эта игра не стоитъ такой дорогой свѣчки.

— «Бросить все, да и конецъ сразу со всѣми дьячками и попами и тѣми, кто еще ихъ повыше»—вотъ что внезапно пришло ей въ ея разсчетливую головку. Она съ большимъ трудомъ удержалась отписать въ этомъ тонѣ мужу и еще съ бо̀льшимъ усиліемъ заставила себя ѣхать въ г. О. съ тѣмъ, чтобы начать тамъ переговоры о желаніи продать родовое имѣніе, которое злополучные супруги надѣялись передать дѣтямъ.

Въ горѣ, почти близкомъ къ отчаянію, прибыла Т—ва въ О. и послала человѣка за нѣкіимъ «Воробьемъ», мѣщаниномъ, исполнявшимъ тогда въ этомъ городѣ всякія маклерскія комиссіи, но посолъ не засталъ знаменитаго «Воробья» дома; огорченная же дама, чтобы не сидѣть одной вечеръ съ своимъ горемъ, вздумала проѣхать къ кому-нибудь изъ своихъ, посовѣтоваться. Но дѣло было лѣтомъ, когда О., представлявшій тогда, по выраженію близко знавшаго его романиста, «дворянское гнѣздо», былъ пустъ: вся его родовая знать жила въ эту пору въ своихъ маетностяхъ, и совѣтоваться было не съ кѣмъ, съ мѣстными же дѣловиками дама не хотѣла говорить, да и не видѣла въ томъ никакой для себя пользы.

Въ такомъ положеніи, грустная и одинокая, не видя ни въ комъ изъ людей помощи и защиты, она вспомнила о самомъ послѣднемъ помощникѣ, призываемомъ какъ бы

изъ-за штата,—она вспомнила о Богѣ.—Мысль отдать праздный и тяготящій своею пустотою часъ молитвѣ показалась ей такою утѣшительною и счастливою, что она немедленно же привела ее въ исполненіе.

Случай благопріятствовалъ молитвенному настроенію огорченной дамы: въ то самое время, какъ она пожелала обратиться къ «послѣднему защитнику», въ церквахъ ударили ко всенощной, и люди потянулись къ храмамъ. Въ это время въ О. была «болѣзнь на людяхъ», и все населеніе города было настроено построже, почутче и побогобоязненнѣе. Т—ва вспомнила объ уютномъ уголкѣ въ домовой церкви преосв. П—па и немедленно же отправилась туда «выплакаться: не просвѣтитъ ли Богъ, что̀ ей сдѣлать?»

Таковы, по ея собственнымъ словамъ, были ея мысли, которымъ она намѣрена была просить услышанія.

Вздумано и сдѣлано:—Т—ва пріѣхала въ монастырь и застала домовую церковь довольно отдаленнаго архіерейскаго дома почти совсѣмъ пустою. Всенощную служилъ простой іеромонахъ, а архіерея не было видно: какъ послѣ оказалось, онъ стоялъ у себя въ комнатѣ, изъ которой, по довольно общему архіерейскимъ домамъ обычаю, было продѣлано въ церковь окно, занавѣшенное голубою марлею.

Т—ва стала на колѣни въ уголкѣ, за лѣвымъ клиросомъ, и молилась жарко, сама не помня, откуда взявъ для своей молитвы слова:

— «Боже! по суду любящихъ имя Твое спаси насъ!»

Иного она ничего не могла ни собрать въ своемъ умѣ, ни сложить на устахъ, и, какъ ветхозавѣтная Анна, только плакала и шептала:

— «Спаси насъ, по суду любящихъ Твое имя», и въ томъ была услышана.

Выплакавшись вволю, молодая женщина даже не замѣтила, какъ окончилось служеніе и немногіе богомольцы, бывшіе въ церкви, стали выходить. И она встала съ колѣнъ и хотѣла идти вонъ, но вдругъ къ ней подходитъ архіерейскій служка и, отъ имени владыки, проситъ ее завернуть на минутку къ преосвящ. П—пу.

Т—ва почитала преосвящ. П—па и въ другой разъ была бы рада его зову, но теперь она чувствовала себя слишкомъ разстроенною и отказалась.

— Поблагодарите владыку,—сказала она:—я очень бы рада услыхать его слово, но я очень, очень разстроена...

И она пошла далѣе, но не успѣла сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ ее снова остановилъ запыхавшійся келейникъ и говоритъ,—что владыка потому-то и проситъ ее къ себѣ, что онъ видѣлъ въ окно, какъ она разстроена.

— Ихъ преосвященство и сами не совсѣмъ хорошо себя чувствуютъ,—добавилъ келейникъ:—но они непремѣнно хотятъ говорить съ вами.

Дама подумала, что архіерей, можетъ-быть, скажетъ ей что-нибудь полезное по ея дѣлу, и пошла за провожатымъ.

Едва она вошла въ залъ, какъ тотчасъ была встрѣчена самимъ архіереемъ, который ласково протягивалъ ей обѣ руки.

Наблюдая бѣдную женщину въ церкви и замѣтивъ ея сильное разстройство, онъ, очевидно, и самъ растрогался.

— Что̀ за горе печальное съ вами?—заговорилъ преосвященный участливо, переводя даму въ гостиную, гдѣ усадилъ ее на диванъ, и, приказавъ подать чай, попросилъ гостью разсказывать «все по порядку».

Дама разсказала все, что̀ мы уже знаемъ изъ верхнихъ строкъ нашего повѣствованія.

Архіерей закачалъ головою, всталъ и молча началъ ходить.

Пройдясь нѣсколько разъ по комнатѣ, онъ остановился передъ гостьею и произнесъ:

— Дорого.

— Ужасно, владыка.

— Дорого... весьма дорого... очень весьма дорого!

— И посудите, владыка: гдѣ же я могу такъ скоро взять столько денегъ?—продолжала сквозь слезы дама.

— Гдѣ взять столько денегъ? Негдѣ взять столько денегъ! Нѣтъ, это дорого.

— Но что же дѣлать, владыка? Я должна исполнить, что̀ приказываетъ мужъ...

— Должны, должны исполнить:—мужняя воля прежде всего для хорошей жены... Но только очень дорого!

— Но какъ же намъ быть, владыка?

— Какъ быть, какъ быть?—Право̀, не знаю, какъ вамъ быть, но только это дорого.

— Я уже не знаю, что̀ и предпринять...

— Да и не мудрено... Ишь какъ дорого!

— Не подадите ли вы, владыка, какого-нибудь совѣта?

— Да какіе же мои совѣты? Я вѣдь вотъ указалъ на этого дѣловитаго мужа,—думалъ хорошо выйдетъ, а онъ, видите, какъ дорого. Нѣтъ, вамъ надо съ кѣмъ-нибудь изъ умныхъ людей подумать.

— Но когда думать, владыка, и гдѣ этихъ умныхъ людей теперь искать?

— Да, это правда: умные люди у насъ нонѣ рѣдки,— очень рѣдки, очень рѣдки, и кои есть еще—очень извертѣлись и на добро не сродны. Ишь какъ дорожится... подай ему «до полуцарства». А самому съ чѣмъ оставаться?

— Съ половиною только, владыка.

— Какъ говорите?

— Я говорю: самимъ намъ придется оставаться съ половиною.

— Съ половиною-то это бы еще ничего...

— Какъ ничего?

— Такъ, половины вашей еще бы, пожалуй, достаточно, чтобы поднять дѣтей на ноги, но... Вы, право, лучше бы обо всемъ этомъ съ какимъ-нибудь умнымъ человѣкомъ поговорили: умный человѣкъ могъ бы васъ *однимъ* словомъ на полезное наставить.

— Ахъ, Боже! да гдѣ я его сейчасъ возьму, владыка, такого умнаго человѣка? вы же сами изволите говорить, что они очень рѣдки.

— Правда, правда, умные люди очень рѣдки, но все-таки они есть гдѣ-нибудь въ черномъ углѣ.

— Да Богъ съ ними; въ какой еще уголъ мнѣ метаться?.. Да и въ моемъ теперешнемъ положеніи, я думаю, и никакой умный ничего для меня полезнаго не скажетъ, кромѣ какъ: выпь да положь деньги, сколько требуютъ.

— Охъ, не говорите этого,—это не такъ.

— Право такъ, владыка.

— Нѣтъ, я сомнѣваюсь: умный иначе скажетъ.

Дама посмотрѣла на архіерея и думаетъ:

«Что же это, твое преосвященство хитритъ или помочь мнѣ хочетъ», и спрашиваетъ его:

— А что же, напримѣръ: какое такое «одно слово» могъ бы мнѣ сказать умный человѣкъ?

— Умный человѣкъ умно и скажетъ.

— Да, ваше преосвященство, но что же бы онъ могъ мнѣ сказать? Какое онъ можетъ знать *«одно слово»*?

— Ну, вѣдь это вамъ у него надо спросить.

— Да, но вы предположите, что я его спросила и жду его отвѣта... Что же онъ мнѣ проговоритъ? Вы простите меня, ваше преосвященство,—я такъ растерялась, что совсѣмъ безтолковая сдѣлалась и думаю, что въ помощь мнѣ никакой мудрецъ ничего изречь не можетъ.

— Да, конечно, съ васъ требуютъ очень дорого, но мудрецъ все-таки могъ бы поразсудить...

— Но что же такое, владыка, онъ будетъ разсуждать?

— Что такое? Ну, напримѣръ, будемъ говорить такъ...

— Я васъ слушаю, владыка.

— Если онъ мудръ и, къ тому же, добръ и сострадателенъ...

— Добръ и сострадателенъ, какъ вы, владыка.

— Нѣтъ, не какъ я, гораздо меня болѣе, то... отчего бы ему, напримѣръ, не разсуждать такъ...

— Какъ же, какъ, владыка?—вопросила нетерпѣливая дама.

— Ну, положимъ, хоть вотъ какъ,—продолжалъ съ разстановками архіерей:—положимъ, что онъ, какъ мудрецъ, могъ бы знать, какъ этого петербургскаго жадника безо всего оставить: онъ бы вамъ это такъ ясно досвелъ, что вы бы и успокоились.

Т—ва заплакала.

— Ахъ, бѣдное дитя! Но чего же вы плачете?

— Владыка! вы ко мнѣ немилостивы,—это вы дѣлаете, что я плачу.

— Я это дѣлаю, но чѣмъ я это дѣлаю, бѣдняжка?

— Конечно, вы, владыка! Я и такъ изстрадалась, но уже привыкла къ мысли, что намъ нѣтъ спасенія, а вы оживили во мнѣ надежду, а не хотите сказать, что же мнѣ можетъ присовѣтовать очень умный человѣкъ?

— Ну, вотъ! развѣ я это знаю.

— Знаете.

— Да откуда же я знаю?

— Знаете.

Дама улыбнулась, и архіерей тоже.

— Позвольте,—сказалъ онъ:—я уже давно ни съ однимъ умнымъ человѣкомъ не говорилъ, но развѣ для васъ переговорить.

— Ахъ, переговорите, владыка,—воскликнула, всплес-

нувъ руками, дама и хотѣла, кажется, упасть передъ нимъ на колѣна.

Архіерей ее удержалъ, посадилъ опять на кресло и молвилъ:

— Переговорить... да... переговорить... надо бы переговорить, но только...

На этомъ словѣ онъ неожиданно сморщился и сказалъ:

— Ахъ, извините, пожалуйста, я долженъ васъ на минутку оставить...

Съ этимъ онъ повернулся къ гостьѣ спиною и быстрою походкою удалился въ свои внутреннiе покои, откуда, черезъ неплотно притворенную дверь, послышалось торопливое щелканье повернувшагося въ пружинномъ замкѣ ключа,— затѣмъ все стихло.

Молодая дама внезапно очутилась въ полномъ недоумѣнiи: она рѣшительно не могла понять, что̀ такъ неожиданно отозвало отъ нея добраго и, повидимому, принимавшаго въ ней живое участiе архiерея. Но, къ счастью ея, въ эту минуту появился келейникъ съ подносомъ, на которомъ стояли двѣ чашки чаю, сухари и варенье.

— Куда вышелъ владыка?—спросила тихонько дама; но келейникъ, не смотря на то, что имѣлъ въ ухѣ серебряную серсжку, сдѣлалъ видъ, будто не слышитъ.

— Гдѣ теперь владыка?—переспросила гостья.

Келейникъ болѣе не отмалчивался, но, въ тонѣ вопрошавшей, такъ же тихо отвѣтилъ, что онъ этого ей никакъ объяснить не можетъ.

— Но, однако, онъ дома?

— О, совершенно дома-съ. Они скоро выйдутъ.

И, какъ бы для бо̀льшаго успокоенiя гостьи, что внезапно покинувшiй ее хозяинъ, дѣйствительно, скоро вернется,—служитель его преосвященства поставилъ на столъ большую голубую севрскую фарфоровую чашку, изъ которой архiерей всегда кушалъ, и самъ скрылся.

Дама снова осталась одна, но уже гораздо въ болѣе оживленномъ настроенiи. Ей, во-первыхъ, думалось, что архiерей выйдетъ или не съ пустыми руками, а съ нужными ей тысячами, которыя и предложитъ ей немедленно взаймы, или же онъ принесетъ ей то «одно слово» умнаго человѣка,

которое можетъ обуздать и сдѣлать безвреднымъ петербургскаго жадника.

Конечно, вынести деньги было бы всего лучше, да притомъ, и всего легче, такъ какъ, по мнѣнію нашихъ дамъ, у всѣхъ архіереевъ десятки и даже сотни тысячъ всегда такъ и лежать готовыя, на всякій случай, въ шкатулкѣ:— стоитъ только его преосвященству щелкнуть ключомъ, опустить туда руку, вынуть пачки да отсчитать,—вотъ и дѣло въ шляпѣ. Ключомъ, уже она сама слышала, какъ его преосвященство щелкнулъ, а теперь онъ, очевидно, занятъ только отсчитываніемъ,—поэтому келейникъ и не смѣлъ сказать, гдѣ владыка находится и чѣмъ онъ занятъ,—по сейчасъ онъ отложитъ, сколько ей нужно денегъ, и придетъ прежде, чѣмъ остынетъ чай въ его севрской чашкѣ. Конечно, ей будетъ немножко совѣстно брать, но что дѣлать?— если онъ предложитъ ей, она, хоть это и конфузно немножечко, все-таки возьметъ, а потомъ она ему отдастъ. Какая же въ этомъ бѣда?

И вотъ, дамѣ стало все легче и легче смотрѣть на свѣтъ и думать о своемъ дѣлѣ. Легкій, игривый умъ ея теперь ужъ только для забавы занимался разгадкою, какое это могло быть «*одно слово*», которое стоило только сказать— и все дѣло поправится. Разумѣется, архіерей только для политики отсылалъ ее разспрашивать о такомъ словѣ умнаго человѣка, а въ существѣ никакой другой человѣкъ тутъ не нуженъ, потому что владыка самъ и есть человѣкъ умный и нужное гостьѣ магическое слово онъ самъ же и знаетъ. Конечно, можетъ-быть, ему нельзя, неловко выговорить это слово по его монашескимъ обѣтамъ или почему-нибудь другому, но надо его къ этому вынудить: надо вырвать у него это слово или *подловить* его на словѣ, какъ былъ подловленъ извѣстный своею тонкостью министръ, котораго она видѣла въ театрѣ, въ прекрасно исполняемой Самойловымъ пьескѣ «Одно слово министру». Она вспомнила и Самойлова, и то слово, которое онъ такъ художественно ловитъ. Въ пьесѣ это слово было: «*молчать*»,—но какое же должно быть то слово, не въ театральной пьесѣ, а въ русскомъ дѣлѣ «о расторженіи незаконнаго брака и о прекращеніи безнравственнаго сожительства»? Это, конечно, не мѣшаетъ знать.

И только-что отвлеченная всѣмъ этимъ дама немножко поразсѣялась и даже утѣшилась, до слуха ея долетѣла опять звучная пружина замка какой-то отдаленной двери какого-то таинственнаго архіерейскаго покоя, и преосвященный П—пъ, съ нѣсколько измѣнившимся и какъ бы озабоченнымъ лицомъ, появился на порогѣ. Онъ шелъ медленно, и, конечно, не безъ причины, держалъ свою правую руку за пазухою виднѣвшагося изъ-подъ черной рясы шелковаго коричневаго подрясника.

Нечего было и сомнѣваться, что онъ бережетъ тутъ отсчитанныя имъ деньги.

Милой дамѣ, имѣющей *общія* понятія объ архіерейскихъ богатствахъ, конечно, и въ голову не приходило, что преосвящ. П—пъ, какъ о немъ говорили, «былъ не богаче церковной мыши»: этотъ архіерей былъ до такой степени бѣденъ, что самъ занималъ у своихъ подчиненныхъ по «четвертной ассигнаціи».

Но, въ такомъ случаѣ, что же онъ такъ бережно несъ въ рукѣ, спрятанной за пазуху? Неужто «одно слово умнаго человѣка»? Но гдѣ же онъ нашелъ такъ скоро этого умнаго человѣка? Или у него есть свой «черный уголъ», гдѣ такой человѣкъ спрятанъ? Но тогда зачѣмъ же онъ посылалъ ее разыскивать умнаго человѣка, если такой, какъ Святогоровъ конь, у него всегда наготовѣ подъ замкомъ, удила грызетъ и бьетъ отъ нетерпѣнья копытомъ объ измрамранъ полъ?

Все это было невыразимо любопытно и раздражительно.

Преосвященный молча сѣлъ къ столу, положилъ себѣ въ свою голубую чашку ложечку варенья, и молча же началъ ее долго и терпѣливо размѣшивать.

Вѣжливая гостья не прерывала хозяина,—она только искоса поглядывала на него, стараясь проникнуть, принесъ ли онъ ей нужныя для взятки деньги, или онъ принесъ только одно могучее слово очень умнаго человѣка, съ которымъ, какъ ей казалось, владыка удалялся для совѣщанія.

И ей было крайне досадно на застѣнчивость архіерея, который, очевидно, былъ чѣмъ-то смущенъ и какъ бы не рѣшался возобновлять прерваннаго разговора.

Она допила свою чашку, поставила ее на столъ и сдѣлала рѣшительное движеніе, какъ будто готовясь встать и распроститься.

Архіерей это замѣтилъ и, тронувъ ее слегка за руку, произнесъ:

— Не торопитесь.

Она осталась. Владыка опять мѣшкалъ, работая въ чашкѣ ложечкою, и, наконецъ, отпивъ чайку, началъ, покряхтывая и морщась:

— Все такъ и идетъ, повѣтріями... то такая болѣзнь, то другая... У меня на сихъ дняхъ проѣздомъ изъ Петербурга генералъ былъ... тоже дѣла имѣетъ и тоже досадуетъ и жалуется:—«совсѣмъ, говоритъ, умные люди у насъ переводятся; прежде, будто, были, а потомъ стало все менѣе и менѣе, и теперь совсѣмъ нѣтъ». Какъ бываетъ годами отъ вѣтровъ неурожай на груши или на яблоки, такъ теперь недородъ на умы. Отчего бы это?

— Я не знаю, владыка.

— И я не знаю. Я ему только сказалъ, что неужели уже мы стали такое сплошь дурацкое соборище? Не встрѣчали ли, говорю, хоть проѣздомъ кого потолковѣе? «Да удивительно, говоритъ: ѣдешь по дорогамъ, бесѣдуешь, все будто умные люди,—обо всемъ такъ хорошо судятъ, а дойдутъ до дѣла, ни въ комъ дѣловитости нѣтъ». Вотъ не въ томъ ли, говорю, и есть наше повѣтріе, что дѣловитые-то умы у насъ все по путямъ ходятъ, а при дѣлахъ замѣсто нихъ приставлена безтолочь?

— Къ чему же это мнѣ, владыка?

— А къ тому, что умныхъ людей, дѣйствительно, остается искать только въ глупомъ мѣстѣ, куда мы ихъ забили точно какую непотребность. Вотъ отчего все и трудно, и нудно.

Архіерей опять остановился, а дама обнаружила новое намѣреніе встать, но онъ придержалъ ее.

— Это очень дорого съ васъ хотятъ,—заговорилъ владыка.

— Уже вы въ этомъ, ваше преосвященство, согласились. Но какъ это ни дорого, а все-таки я понимаю такъ, что надо скорѣе давать деньги.

— Изъ чего же это явствуетъ?

— А изъ того, что нѣтъ другого спасенія.

— Да, а въ этомъ-то развѣ есть спасеніе?

— Мм!.. по крайней мѣрѣ, обѣщаютъ, тогда какъ,—добавила она, улыбнувшись:—вы, владыка, даже не хотите мнѣ сказать, что̀ думаетъ о моемъ несчастіи очень умный человѣкъ.

Архіерей поглядѣлъ на нее съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ и, въ свою очередь, спросилъ:

— Кого вы подъ симъ разумѣете?

Дама пошла на рискъ и отвѣтила напрямикъ, что она говоритъ о томъ, съ кѣмъ владыка выходилъ поговорить, оставляя ее одну въ своей гостиной.

Архіерей посмотрѣлъ на нее еще съ бо̀льшимъ недоумѣніемъ, но потомъ сію же минуту улыбнулся, махнулъ рукою и заговорилъ:

— Ахъ, такъ вы объ этомъ!.. Куда я выходилъ... а что же? Пусть такъ. Ну, извольте: я отъ васъ не скрою, что̀ оный умникъ думалъ. Онъ тѣхъ мыслей, что деньги, разумѣется, пустяки, пометъ въ сравненіи съ семейнымъ счастьемъ, но для иной свиньи и помета жалко. По его мыслямъ, деньги давать не слѣдуетъ, ибо черезъ то ваше семейное спокойствіе не устроится.

— А какъ же оно можетъ устроиться?

— Это другой вопросъ.

— Но умный человѣкъ, можетъ-быть, и объ этомъ вопросѣ имѣетъ мысли?

— Имѣетъ.

— И какъ же онъ разсуждаетъ?

— Сократически.

— Помилуйте, владыка: что же? Я ничего въ этомъ не понимаю. Сократъ былъ философъ, а я простая женщина.

— Это ничего не значитъ. Сократа всѣ понимать могутъ.

— Ну, позвольте,—я попробую.

— Извольте. Въ мысляхъ умнаго человѣка предлагается такое сужденіе, какъ я сказалъ, почти въ сократической формѣ. По какому поводу возникла вся эта исторія, простирающаяся нынѣ до половины вашего царства?

— Она возникла потому, что я и мой мужъ между собою двоюродные братъ и сестра.

— Изрядно сказано: иначе она не могла возникнуть. Но если бы объ этомъ никто не доносилъ, то не могла ли бы эта исторія не подниматься?

- Конечно, она никогда бы не поднялась.

- Да, возможно допустить, что она не поднялась бы, хотя это всегда подвержено случайности.

— Какой, напримѣръ?

— Такой, напримѣръ, что кто-нибудь изъ родственниковъ

вашего мужа послѣ его смерти могъ претендовать на родовое наслѣдство и доказывать незаконность вашего брака.

— Намъ это и въ голову не приходило.

— Вѣрю. Теперь, продолжая держаться того же сократическаго метода, основательному человѣку представляется нужнымъ опредѣлить: не былъ ли причиною всего доносъ?

— Да, разумѣется, доносъ, владыка! Я не знаю даже, зачѣмъ на этомъ такъ долго путаться?

— Позвольте, позвольте! Причиною былъ доносъ, — и кѣмъ же сдѣланъ тотъ доносъ?

— Вы отлично изволите это знать: доносъ сдѣланъ дьячкомъ.

— Дьячкомъ! Дѣйствительно, доносъ сдѣлалъ дьячокъ. Но человѣку разсудительному можетъ придти въ голову: одни ли только дьячки способны дѣлать доносы, или же этимъ могутъ заниматься и другіе?

— Разумѣется, не одни дьячки, ваше преосвященство, могутъ доносить. Вы все это изволите знать.

— Вѣрно, такъ: я это знаю; но дѣло не во мнѣ. Умный человѣкъ, далѣе, судитъ: доносы могутъ дѣлать не одни дьячки; а кто же еще можетъ дѣлать доносы?

— Разные гадкіе люди.

— Гадкіе...—вамъ непремѣнно хочется назвать ихъ «гадкими»... Что же... конечно... разумѣется... но, можетъ-быть... гмъ!.. дѣло ничего не потеряетъ, если мы нравственную оцѣнку доносчиковъ отбросимъ. Для умнаго человѣка достаточно просто установить тотъ фактъ, что доносы могутъ дѣлать *разные люди*. Согласны ли вы съ нимъ на этотъ счетъ?

— Съ кѣмъ, владыка?

— Какъ—съ кѣмъ?.. ну, съ этимъ человѣкомъ, который такъ разсуждаетъ?

— Да, я съ нимъ во всемъ согласна.

— Прекрасно! Теперь, если такъ, — разсмотрите же съ нимъ: не слѣдуетъ ли допустить, что въ числѣ различныхъ людей, способныхъ дѣлать доносы, могутъ быть и нѣкоторые понамари?

— Конечно, допускаю, владыка.

— Прекрасно! Но какъ вы думаете: не могутъ ли дѣлать доносы также и нѣкоторые дьяконы.

— Вѣрно, могутъ и дьяконы.

— Могутъ; но прослѣдимъ далѣе. Если это могутъ дѣлать дьяконы, то увѣрены ли вы, что это совершенно не по силамъ инымъ священникамъ?

— Ахъ, имъ все по силамъ!

— И имъ это по силамъ, — такъ. Ну, теперь, выше восходя: что же вы скажете объ иныхъ отцахъ благочинныхъ? Не благонадежны ли и они въ разсужденіи способностей доносить?

— То же самое скажу и о нихъ, ваше преосвященство.

— Выше отцовъ благочинныхъ намъ подниматься уже не для чего. Уяснивъ себѣ все сказанное, толковый человѣкъ знаетъ, что доносы могутъ поступать не отъ одного дьячка, а еще и отъ дьякона, и отъ попа, и отъ благочиннаго. Теперь обслѣдуемъ другую сторону. По какимъ побужденіямъ сдѣлалъ свой доносъ дьячокъ?

— Ему понадобился возъ соломы; онъ пришелъ не вовремя, ему не дали,—онъ разсердился и донесъ.

— Такъ; а не допускаете ли вы возможности, что понамарю можетъ когда-нибудь понадобиться возъ мякины, дьякону—возъ ухоботья, попу и отцу благочинному—возы овса и сѣна, да еще мѣшокъ крупчатки?

— Это все возможно, владыка.

— Да, свѣдущему человѣку можетъ показаться, что всѣ такія случайности возможны, и онъ смотритъ, какое каждое изъ нихъ можетъ имѣть для васъ послѣдствіе.

— То же самое, къ какому привелъ доносъ дьячка.

— Вы хорошо судите, очень хорошо судите. Слѣдовательно, если дьячокъ достигаетъ «даже до полуцарства», то того же самаго могутъ достигнуть и попъ, и дьяконъ?

— Все равно.

— И всякій такъ долженъ судить, что это все равно; ну, а въ вашемъ царствѣ сколько половинъ?

— Конечно, двѣ только.

— Непремѣнно двѣ. Каждому извѣстно, что во всякомъ цѣломъ бываютъ только двѣ половины. Какъ же тогда быть, если половины всего двѣ, а охотниковъ уничтожить ихъ множество? Не опасно ли, что, такимъ образомъ, изъ всего цѣлаго для себя не останется ни одной половины?

— То-есть, какъ это, владыка?..

— Да такъ; это человѣку дѣловитому очень просто представляется. Если дьячковъ доносъ обойдется до полуцар-

ства, и вы не успѣете отдохнуть, какъ на васъ уже понамарь донесетъ,—подавай другую половину. Отдадите, а затѣмъ, когда дьяконъ съябедничаетъ, вамъ уже и давать больше нечего. Такъ или нѣтъ?

— Совершенно такъ, владыка.

— Думается, что такъ, потому что третьей половины уже нѣтъ; и тогда что же? Тогда сукно-то вскроется, и все, подъ него упрятанное, выскочитъ на свѣтъ. И не будетъ тогда у васъ ни всего царства, ни законнобрачія, котораго васъ лишаютъ доносы. А посему благоразумный человѣкъ думаетъ: не лучше ли сберечь себѣ, по крайней мѣрѣ, свое царство и, притомъ, не повреждать съ ожесточеніемъ нравовъ ближнихъ!

— Какихъ же это ближнихъ, владыка?

— А духовенства.

— Да позвольте, что̀ мнѣ до него за дѣло, владыка?

— Какъ что? Развѣ вы не русская?

— Русская я, русская,—я это знаю, но потому-то я и не хочу ни о комъ думать, а только боюсь доносовъ.

— А вы ихъ не бойтесь.

— Да какъ же ихъ не бояться?

— Такъ не бойтесь; развѣ вы не знаете, что кто холеры не боится, того сама холера боится?

— Но, вѣдь, однако, насъ съ мужемъ по доносу развели.

— Ну, и что же: какая отъ сего бѣда?

— Та, что дѣтей нашихъ признали незаконными.

— А хуже этого что?

— Что же еще хуже, владыка! Я ужъ и сама не помню, что̀ тамъ я читала: вы вѣдь сами изволили это утвердить.

— Утвердилъ, согласился,—не могъ не согласиться: рѣшенье по закону правильно.

— Ужасно, ужасно!

— Да то-то: что же такое?

— Тамъ что-то еще «предать покаянію», «возбранить безнравственное сожительство»... Одно слово страшнѣе другого.

— Да, вы правы, страшныя слова, страшныя слова, а вы имъ... не того...

— «Не чего», владыка?

— *Не довѣряйте.*

Дама поняла, что *это* и есть *одно слово умнаго человѣка*, и спросила:

— И это все?

Но архіерей вмѣсто отвѣта опять сморщился, задвигалъ рукою, которая была у него подъ рясою, и проговорилъ:

— Да, ужъ извините... я долженъ уйти... опять повѣтріе.

И съ этимъ онъ быстро убѣжалъ, даже не затворивъ за собою двери. Очевидно, что на этотъ разъ онъ особенно спѣшилъ уединиться съ «умнымъ человѣкомъ».

Вѣрно или нѣтъ поняла молодая дама *одно слово* своего епископа, но только она не возвратилась въ домъ свой, въ деревню, а прикатила прямо въ Петербургъ и потребовала отъ мужа подробнаго объясненія о ходѣ дѣла.

Тотъ ей разсказалъ.

— Ну, такъ это все надо бросить,—рѣшила дама.

— Какъ бросить?—удивился мужъ.

— А такъ, что теперь на насъ донесъ дьячокъ, и за это мы отдадимъ половину состоянія; потомъ на насъ донесетъ дьяконъ, и мы должны будемъ отдать другую половину; а послѣ донесетъ попъ, и намъ уже и давать будетъ нечего. И тогда насъ разведутъ, и дѣти наши будутъ и безъ правъ, и безъ состоянія. А потому надо сберечь имъ что-нибудь одно. Надо дорожить существеннымъ: сбережемъ имъ состояніе.

— А права?

— Они ихъ получатъ по образованію.

— А мы сами?

— Что же о насъ?

— Мы не будемъ болѣе мужемъ и женою.

— Мы будемъ тѣмъ, чѣмъ мы есть другъ для друга и для нашихъ дѣтей, къ которымъ намъ пора возвратиться.

— Но... меня все тревожитъ...

— Что тебя еще тревожитъ?

— Что̀ о насъ будутъ говорить? Тебя будутъ называть не женою моею, а...

Но дама не дала мужчинѣ договорить тяжелаго слова: она закрыла его губы своею ручкою и съ доброю ласкою проговорила:

— Мы будемъ этому *не довѣрять*.

Онъ поцѣловалъ ея руку, и оба они обняли другъ друга и заплакали слезами, въ которыхъ смѣшались и горе, и радость.

Такъ эта Евва безъ большихъ затрудненій склонила своего Адама *«не довѣрять»* тому, что о нихъ писали въ губернскихъ и столичныхъ инстанціяхъ, и оставила петербургскаго жадника безъ куша. Полцарства своего они никому не дали и нынѣ сидятъ на немъ и преблагополучно господствуютъ. Ихъ, разумѣется, развели, и подписку съ нихъ взяли, и покаяніе ихъ, гдѣ надо, значилось. Всѣ мѣры къ прекращенію ихъ безнравственнаго сожительства были приняты, всѣ страшныя слова проговорены и прописаны, но разведенные супруги, держась совѣта, который ими, можетъ-быть, невѣрно и понятъ, все-таки никакимъ этимъ страстямъ «не довѣряли» и понынѣ не довѣряютъ, и Богъ ихъ на доброй русской землѣ терпитъ. Семья ихъ до сихъ поръ сохраняетъ свой прежній счастливый составъ и мирное благоденствіе, а недовѣріе ихъ имѣетъ столько заразительнаго, что всѣ, ихъ знающіе, продолжаютъ ихъ посѣщать по-старому, и даже сами совершенно не довѣряютъ, что тутъ что-либо кѣмъ-нибудь измѣнено. Словомъ, все, что гдѣ-то когда-то было постановлено объ этихъ супругахъ, общественнымъ довѣріемъ не пользуется. Только дьячка, по доносу котораго возникла эта поучительная исторія, преосв. П—пъ убралъ въ другое мѣсто, прежде чѣмъ самъ скончался отъ того самаго повѣтрія, которое мѣшало его этюдамъ въ сократической формѣ.

Поэтому, читатель, если вы имѣете неосторожность раздѣлять довольно общее мнѣніе, будто наши епископы по собственной охотѣ стремятся отяготить лежащія на насъ бремена тяжкія и неудобоносимыя, то повѣрьте, что это неосновательно. Повѣрьте, что, можетъ-быть, ни въ какой другой русской средѣ, особенно въ средѣ, такъ-называемыхъ, *«особъ»*, вы не встрѣтите такого процента людей свѣтлыхъ и вполнѣ доброжелательныхъ, какъ среди епископовъ, которые, къ сожалѣнію, большинству извѣстны только съ сухой, офиціальной ихъ стороны. Человѣкъ же, какъ сказалъ нѣкто, *наилучше познается въ мелочахъ.*

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Показавъ отношеніе одного архіерея къ мірянамъ, находившимся въ затрудненіи по случаю расторженія ихъ брака, я теперь покажу другого архіерея и другихъ мірянъ въ еще болѣе трудномъ и строгомъ моментѣ въ брачномъ дѣлѣ.

Въ нѣкоторомъ большомъ городѣ жилъ и теперь живетъ довольно крупный чиновникъ, человѣкъ почтенныхъ лѣтъ, но съ юношескимъ сердцемъ. Этого человѣка любятъ всѣ, кто его знаетъ, и не любить его очень трудно, такъ какъ онъ чрезвычайно обязательный и милый добрякъ. У него только два порока, или двѣ слабости, изъ коихъ одну можно ему поставить даже и въ добродѣтель: онъ большой *хлопотунъ*. Всю свою жизнь онъ за кого-нибудь просилъ или за кого-нибудь ручался, кого-нибудь вызволялъ изъ разнаго рода напастей, получая за это самъ нерѣдко болѣе или менѣе чувствительныя непріятности. Великое множество разнообразныхъ несчастливцевъ считаетъ его своимъ благодѣтелемъ, а онъ скорбитъ, что не можетъ вызволить всѣхъ, потому что фонды его понизились и курсъ палъ. Его безпрестанныя за всѣхъ просьбы и поруки однимъ наскучили, а у другихъ потеряли вѣсъ и значеніе. Лядащая мораль нашихъ прожженныхъ дней такой сердечной докуки не терпитъ и не переноситъ.

Въ городѣ этого чудака прозвали: «Мать Софья о всѣхъ сохнетъ», а въ семейномъ кружкѣ его зовутъ—«*дядя Никсъ*», и мы удержимъ для него это послѣднее имя въ нашемъ разсказѣ.

Дядя Никсъ былъ женатъ первымъ бракомъ очень рано, на дѣвицѣ очень хорошаго семейства, изъ рода владѣтельныхъ князей К. Онъ былъ какъ нельзя болѣе счастливъ въ этомъ бракѣ,—жена его раздѣляла общую къ нему симпатію и уваженіе и нѣжно его любила, но счастіе ихъ было непродолжительно: молодая женщина умерла родами, оставивъ мужу маленькаго сиротку.

Вдовецъ очутился въ грустномъ и трудномъ положеніи—одинъ съ маленькимъ ребенкомъ, котораго ни за что не хотѣлъ отдать изъ дома. Но Богъ о добрыхъ людяхъ печется: семья покойницы, принимая живое участіе въ осиротѣвшемъ добрякѣ, прислала къ нему пожить и заняться имъ и ребенкомъ младшую сестру умершей,—тоже недавно потерявшую мужа, молодую и очень симпатичную женщину, имѣвшую о ту пору 22 или 23 года и двоихъ своихъ сиротокъ, которыхъ она тоже привезла къ дядѣ Никсу.

Прекрасная вдовица обладала душою самою нѣжною и была религіозна. Она имѣла весьма разностороннее образованіе и довольно замѣчательный музыкальный талантъ, а

дядя Никсъ, вдобавокъ ко всему, о немъ сказанному, былъ «поэтъ въ душѣ» и любилъ музыку.

Вдовцы важили дружно, душа въ душу: дитя одного нашло въ теткѣ нѣжность утраченной матери, а дѣти другой обрѣли въ попечительности дяди Никса самаго заботливаго отца.

Сводная семья въ самое короткое время совсѣмъ слилась воедино, какъ родная, и глубокій трауръ, который всѣ носили въ этомъ миломъ *живомъ домѣ,* скоро совсѣмъ утратилъ свой суровый характеръ. Его какъ бы забыли замѣчать.

Цѣлую зиму всѣ знакомые люди охотно хаживали посидѣть вечерокъ у дяди Никса и охотно предпочитали его тихіе вечерки всякимъ инымъ болѣе шумнымъ собраніямъ. Но вдругъ, подъ исходъ великаго поста, пріятныя бесѣды разстроились. Причиною тому было, что хозяйка стала часто прихварывать, и хотя болѣзнь никому не казалась опасною, но она какъ-то сверхъ мѣры озабочивала всегда милаго и веселаго дядю Никса.

Грубые мужчины, по своей тяжеломысленности, не знали, какъ объяснить и чему приписать эту непостижимую и грустную перемѣну, но всепроницающія очи и всезнающій умъ женщинъ скоро разгадали тайну и объяснили ее краткимъ опредѣленіемъ: милый дядя Никсъ, по женскимъ примѣтамъ, очень основательно утѣшился.

Утѣшительница была въ положеніи, которое не могло оставаться безъ компрометирующаго ея вдовство результата.

Все это происходило въ то недавнее безалаберное, но живое время, когда мы, по выраженію нынѣшнихъ безнатурныхъ благоразумцевъ, *«захлебывались либерализмомъ»* или, попросту сказать, бурлили, не зная сами «что льзя и то, чего не можно».

Въ томъ изъ «большихъ центровъ», гдѣ невзначай произошелъ такой случай съ утѣшительною дамою, это невѣдѣніе ходило безшабашными волнами и проницало всю глубь нашего мелкаго житейскаго моря, которое не хитро на глазомѣръ взять отъ гребня его валовъ до самаго дна. И на высотѣ, и въ преисподнихъ творились разныя чудеса. О томъ, какъ околесили маленькіе люди, мы болѣе

или менѣе знаемъ, а что въ этомъ же родѣ натворено людьми иныхъ положеній, то только едва-едва еще вылѣзаетъ на свѣтъ. Во главѣ мѣстной администраціи нашего «центра» тогда стоялъ высокодаровитый генералъ, самой необъятной непосредственности. Его непосредственность была такъ велика, что онъ, напр., могъ судить о книгахъ, не читая ихъ, и, притомъ, судить очень оригинально. Такъ, напр., выдавая себя другомъ литературы, онъ говорилъ, что запретилъ бы только одну вышедшую тогда книгу,—именно, «Исторію конституцій» А. В. Лохвицкаго, но и то запретилъ бы ее потому, что «все это уже старо и узко». Въ государственномъ устройствѣ сановникъ мѣтилъ гораздо дальше, чѣмъ брала эта книга. Въ семьѣ онъ желалъ видѣть, чтобы дѣти росли на свободѣ безъ всякаго «воспитанія», и достигъ этого вполнѣ въ своихъ собственныхъ дѣтяхъ, *таскающихъ* его имя гдѣ попало и съ кѣмъ попало. Между множествомъ анекдотовъ его административной свистопляски были извѣстны его слова, что онъ «не только терпѣть не можетъ низкопоклонниковъ, но даже *любитъ, чтобы ему грубили*».

Находились люди, которые пробовали доставлять ему такое удовольствіе, и, къ чести его сказать, онъ *иногда* сносилъ это довольно терпѣливо. Впрочемъ, послѣ сталъ обижаться. Но еще болѣе, чѣмъ грубіяновъ, онъ любилъ людей *неподзаконныхъ*, т.-е. такихъ совершенныхъ людей, которые любятъ становиться выше закона, будучи сами себѣ законъ. Въ такихъ людяхъ на Руси, какъ извѣстно, недостатка нѣтъ, и самъ высокій сановникъ тоже былъ изъ такихъ совершенныхъ людей; но онъ заблуждался, думая, что таковы и всѣ остальные современные ему правители отдѣльныхъ частей управленія. Особенно же онъ ошибался въ мѣстномъ владыкѣ, котораго всегда очень хвалилъ, говоря:

— C'est un brave homme, у него нѣтъ ni foi, ni loi.

Что касается архіерейской foi, то этого высокаго вопроса мы повѣрять не будемъ, но что до loi, то на этотъ счетъ генералъ ошибался и получилъ за то распеканцію.

Узнавъ какъ-то отъ состоявшихъ при его важной особѣ сплетниковъ по особымъ порученіямъ объ анекдотѣ, случившемся при утѣшеніи дяди Никса его свояченицею, ге-

нералъ сейчасъ же его пожалѣлъ, назвалъ pauvre diable-мъ и возымѣлъ намѣреніе уладить это дѣло.

— Что же такое, что она сестра его жены? — Это не бѣда... Вѣдь та первая ея сестра уже умерла?

— Умерла,—отвѣчаютъ.

— Ну, а умерла, такъ эта и должна занять ея мѣсто. Она кто такая урожденная?

— Такая-то.

— А сестра ея?

— То же самое.

— А онъ какой урожденный?

Ему назвали фамилію.

— Ну вотъ, видите: у нихъ совсѣмъ и фамиліи разныя. Это можно. Что такое за важность!

— Конечно,—говорятъ: — но по-нашему, по-православному...

— Ахъ, полноте, пожалуйста, что это такое за православіе, и въ чемъ оно состоитъ, я не знаю, кромѣ какъ «Господи помилуй», да «Тебѣ Господи съ подай Господомъ». Но я знаю, что это можно, потому, вѣдь, та его жена уже умерла. Такъ или нѣтъ?

— Такъ.

— Ну, и можно. Если бы онѣ обѣ живы были, — ну, тогда, конечно... могли быть соображенія, ну, а теперь... Скажите ему, чтобы онъ мнѣ повинился и попросилъ помочь, — я очень радъ и самъ съѣзжу къ нашему бонзѣ. Старикъ мнѣ не откажетъ,—сейчасъ подмахнетъ разрѣшеніе.

Кто-то выразилъ-было нѣкоторое сомнѣніе насчетъ такой податливости владыки, но правитель совсѣмъ обѣлилъ его преосвященство.

— Полноте, пожалуйста; я,— говоритъ: — вамъ ручаюсь, что онъ ни во что не вѣритъ и не имѣетъ ni foi, ni loi.

Близкія послѣдствія показали, что оба эти мнѣнія о владыкѣ были невѣрны.

Генералъ взялся за дѣло не только съ ловкостью, но и съ отвагою настоящаго военнаго человѣка.

Горячность его была такова, что онъ, при первомъ же свиданіи съ дядей Никсомъ, самъ разспросилъ его въ шутливомъ тонѣ: «какъ это вышло?» — и, узнавъ о справедливости смущавшаго Никса анекдота, сразу же его ободрилъ.

— Вы не смущайтесь,—сказалъ онъ:—все это въ наше время сущіе пустяки. Теперь, когда, можно сказать, уже никто изъ порядочныхъ людей не живетъ съ своими женами, на эти дѣла смотрятъ иначе. А вы, если хотите еще держаться старины, чтобы надѣвать «узы Гименея», такъ можете свободно жениться вторымъ бракомъ на сестрѣ вашей жены. Зачѣмъ и не побаловать даму: онѣ вѣдь его зятъ, будто стремятся къ свободѣ, а въ самомъ дѣлѣ — очень любятъ выходить замужъ. Имъ это нравится «законъ принимать», — точно онѣ всѣ кухарки. Ну, да это ваше дѣло. Женитесь, я васъ благословляю, и сегодня же съѣзжу къ нашему бонзѣ и привезу вамъ отъ него разрѣшеніе. Онъ на этотъ счетъ безподобенъ: что̀ вамъ нужно, все разрѣшитъ.

Дядя Никсъ не отказалъ генералу въ правѣ ходатайствовать, и тотъ поскакалъ съ этимъ полномочіемъ къ владыкѣ, но оттуда возвратился чрезвычайно скоро и такой разсерженный, что сразу же началъ передъ дядею Никсомъ бранить «безподобнаго» *толстоносымъ невѣжею, тупымъ бонзою и упрямымъ козломъ.*

— Никогда себѣ этого не прощу, что взялся съ нимъ объ этомъ говорить, — пылилъ генералъ. — Помилуйте, я всегда былъ увѣренъ, что онъ прекрасный старикъ, что у него ni foi, ni loi, а онъ выходитъ прехитрый мужиченко! Онъ все отъ меня выслушалъ и улыбался, а потомъ вдругъ давай ахать: «Ай-ай-ай! говоритъ, какое ужасное дѣло! Беременна родная сестра его жены. Боже, какая безнравственность!»

«Я хотѣлъ въ шутку—говорю:

— «Ну, полноте, ваше преосвященство: что̀ за важность!»

«А онъ скроилъ этакую благочестивую мину и отвѣчаетъ:

— «Какъ: что за важность! Ай-ай-ай!. Беременна.... родная сестра его жены.... и онъ хочетъ на ней жениться.... на родной сестрѣ своей жены.... И вы, верховный сановникъ и правитель, изволите сообщать объ этомъ мнѣ, вашему епархіальному архіерею, и требуете, чтобы я, вашъ епархъ, далъ на это разрѣшеніе! Ай-ай-ай! ай-ай-ай! Какъ вы могли за это взяться!

«Я говорю: просятъ меня, ну, и я прошу.

— «Да помилуйте, мало ли о чемъ иногда просятъ! Нѣтъ: это ужасно, ужасно, ужасно! Я, разумѣется, не удивляюсь вашей всѣмъ извѣстной добротѣ, притомъ же, хотя вы и должны знать закòны, но вы въ военной службѣ служили и законовъ не изучали.

«Я говорю: — чортъ ихъ знаетъ,—я ихъ, дѣйствительно, не знаю!

— «Ну, онъ говоритъ, это васъ, конечно, и извиняетъ, но тотъ, кто васъ объ этомъ просилъ, неизвинителенъ. Удивляюсь, много удивляюсь, какъ онъ, зная законы, могъ рѣшиться позволить себѣ безпокоить особу столь высокаго, какъ вы, званія такою беззаконною просьбою! Статочно ли это, чтобы вы, въ вашемъ положеніи, просили меня, архіерея, разрѣшить извѣстному человѣку жениться на родной сестрѣ его покойной жены! Ай-ай-ай! Надо его пощунять, да, пощунять его, пощунять. Пожалуйста, ко мнѣ его пришлите,—пришлите: я его у себя самъ погоняю. Ишь, какой дерзкій, какъ онъ смѣлъ васъ такъ подводить подъ такую глупость! Пришлите! Этого безъ штрафа оставить нельзя».

И, передавъ съ точностію рѣчь архіерея, сановникъ отмахнулъ, по-военному, рукою и добавилъ:

— Такъ вотъ, что̀ теперь изволили заварить, то и извольте расхлебывать: отправляйтесь къ нему и извольте объясняться съ нимъ сами, а я болѣе — пасъ. Да-съ, я пасъ, пасъ, хоть бы у васъ не одна свояченица, а полный домъ всѣхъ родныхъ сдѣлались беременными.

Переконфуженный дядя Никсъ попробовалъ-было отговориться, что уже лучше, молъ, все это бросить и не просить и не ѣхать объясняться, но сановникъ былъ не такъ настроенъ.

— А, нѣтъ-съ, покорно васъ благодарю, — отвѣчалъ онъ: — нѣтъ-съ, извините, вѣдь это я тутъ замѣшанъ, а я не хочу, чтобы это на мнѣ и оставалось. Начали, такъ надо додѣлывать. Онъ теперь еще, пожалуй, пойдетъ разсказывать, что я пріѣзжалъ по такому дѣлу... Нѣтъ-съ, вы начали, — вы и кончайте: извольте ѣхать, да-съ, и даже немедленно извольте ѣхать. Завтра, именно, извольте ѣхать и объясняйтесь съ нимъ, какъ знаете, только чтобы я тутъ былъ ни при чемъ. Онъ мнѣ, можетъ-быть, сто разъ повторилъ, чтобы васъ прислать, и я васъ посылаю, да, сейчасъ извольте ѣхать, сейчасъ!

— Завтра,—говоритъ дядя Никсъ.

— Нѣтъ-съ, сейчасъ, сейчасъ, — сію минуту! Я имѣю основаніе не хотѣть, чтобы такое скандальное дѣло за мною числилось, и я васъ прошу, я вамъ, наконецъ, *приказываю* отъ этого скандальнаго дѣла меня очистить.

Дядя Никсъ насилу могъ отпроситься отложить свою явку владыкѣ до завтра. Онъ провелъ самую безпокойную ночь, скрывая отъ семейныхъ причину своей тревоги, но открылъ ее одному изъ близкихъ друзей и все у него допытывался мнѣнія, какъ тотъ думаетъ: «съѣстъ или не съѣстъ его завтра разгнѣванный епископъ?»

Но вопрошаемый зналъ объ этомъ столько же, какъ вопрошавшій, и разсуждалъ, что «пожалуй съѣстъ, а пожалуй и не съѣстъ».

Шутя, они даже по пальцамъ гадали, но ничего не угадали: разъ выходитъ, что съѣстъ, а другой—не съѣстъ.

Не добьешься толку: ворожба тайныхъ думъ освященнаго лица не раскрывала. Такъ, ничего не зная, что будетъ, дядя Никсъ на слѣдующій день, въ подходящій часъ, отправился съ стѣсненнымъ сердцемъ къ его высокопреосвященству, отъ котораго ожидалъ услыхать нивѣсть какія непріятныя для себя напрягаи и строгости.

Архіерей не забылъ о дядѣ Никсѣ и даже, вѣроятно, ждалъ его. По крайней мѣрѣ, какъ только его ввели въ залъ и доложили о немъ, владыка самъ распахнулъ двери гостиной и привѣтливо заговорилъ:

— Прошу покорно, добро пожаловать, добро пожаловать. Сердечно радъ васъ видѣть.

И, усадивъ дядю Никса на диванъ, онъ продолжалъ въ томъ же мягкомъ и привѣтливомъ тонѣ:

— Давно и очень давно желалъ съ вами познакомиться. Много наслышался о васъ хорошаго. Благо тому, о комъ такъ говорятъ, какъ о васъ, особенно у насъ, гдѣ ни за умъ, ни за доброту хвалить некого.

Дядя Никсъ кланяется, а архіерей продолжаетъ:

— Мало у насъ, очень мало умныхъ, и еще менѣе — добрыхъ и благонамѣренныхъ людей на общественной дѣятельности, а вы не такой, не такой... Да, вы не недотрога.

Дядя Никсъ опять кланяется, а архіерей снова продолжаетъ:

— Я давно интересовался вашими хлопотами о народномъ образованіи. Могу сказать, не для вида одного занимаетесь, а дѣйствительную пользу дѣлаете. За это вамъ за нашъ бѣдный темный народъ поклонъ до земли. Но вы вѣдь, кромѣ того, и еще во многихъ комитетахъ.

— Точно такъ, ваше преосвященство.

— Усердны, очень усердны.

— Что дѣлать: избираютъ.

— Да, да, гдѣ ни прочитаю, все вы сидите. Хвалю, очень хорошо, очень хорошо дѣлаютъ, что такого доступнаго добру человѣка избираютъ. Ну, и что же у васъ, напримѣръ, по такому-то комитету дѣлается?

Дядя Никсъ опять отвѣчаетъ. А владыка далѣе любопытствуетъ: какъ идутъ дѣла въ третьемъ, въ пятомъ и въ десятомъ изъ тѣхъ безчисленныхъ комитетовъ, при посредствѣ которыхъ такимъ живымъ ключомъ кипитъ наша смѣлая и оригинальная административная дѣятельность.

Дядя Никсъ обстоятельно, по всѣмъ пунктамъ, удовлетворилъ любознательность владыки и успѣлъ ему показать въ этомъ разговорѣ свою свѣдущность, искреннее добросердечіе и пріятный умъ. Владыка съ удовольствіемъ его слушалъ и не разъ принимался похвалять словомъ.

— Одобряю васъ, весьма одобряю, — а потомъ и самъ высказалъ нѣсколько замѣчаній, поразившихъ гостя не только своею глубиною и мѣткостью, но и благороднымъ свободомысліемъ, въ которомъ, впрочемъ, у русскихъ людей не бываетъ недостатка, пока они не видятъ необходимости согласовать свои слова съ дѣломъ.

Дядя Никсъ, конечно, зналъ эту черту нашихъ нравовъ и не обольщался ея проявленіями у владыки.

«Знаю я васъ,—думалъ онъ,—широко ты, братъ, расписываешь въ томъ, что до тебя не касается, а небось, въ чемъ дѣло къ тебѣ клонитъ, такъ ты мнѣ жениться не позволилъ, а про законъ запѣлъ, да вотъ и о сю пору все виляешь, а о моемъ дѣлѣ ни слова не говоришь!»

А владыка какъ бы прочелъ эти мысли на его лицѣ и говоритъ:

— Ну, пріятно, очень мнѣ пріятно было съ вами побесѣдовать, а теперь позвольте же мнѣ, ваше превосходительство, спросить: что̀ такое у васъ дома случилось неловко по женской части?

— Да, владыка... извините, что я осмѣлился...

— Сшалили?

— Виноватъ, владыка.

— Да, вчера князь налетѣлъ съ этимъ на меня, какъ съ ковшомъ на брагу, — говоритъ, что будто вы его просили со мною на этотъ счетъ переговорить. Да вѣдь онъ на гулянкахъ много празднословитъ, — я, признаюсь, ему не повѣрилъ.

— Нѣтъ, это точно такъ, владыка.

— Вы его просили?!

— Просилъ, владыка.

Владыка пожалъ плечами и закачалъ головою.

— Для чего же вы это сдѣлали?

Дядя Никсъ молчалъ.

— Вѣдь вы, кажется, безъ шутокъ... имѣете *серьезное* намѣреніе жениться на сестрѣ вашей покойной первой жены?

— Да, то-есть... я имѣю это желаніе, я имѣю въ этомъ нужду... потому что у меня есть сиротка, который въ этой женщинѣ только могъ бы найти вторую мать, но если это нельзя...

— Позвольте, позвольте, вы совершенно справедливо и совершенно основательно судите: дѣйствительно, кто же сиротѣ по женской линіи ближе тетки; но вѣдь такой бракъ у насъ недозволителенъ.

— Я думалъ, что, какъ у всѣхъ другихъ, напримѣръ у католиковъ и у лютеранъ, это не считается препятствіемъ; такъ, можетъ-быть, теперь уже и у насъ...

— Нѣтъ, опять позвольте... Во-первыхъ: что̀ такое значитъ это ваше «*теперь*»? Въ разсужденіи духа времени — это такъ, но въ разсужденіи правилъ соборныхъ постановленій это «*теперь*» и тогда, и всегда будетъ одно и то же. Указываете, что у инославныхъ это дозволяется, но вѣдь мы съ вами не инославные, а православные, и, родясь въ лонѣ православной церкви, должны знать, что этого нельзя. Зачѣмъ же вы о такой невозможности просите?

— Извините великодушно, владыка; я вижу, что сдѣлалъ непростительную глупость, и умоляю васъ, не гнѣвайтесь и простите.

— Простить — извольте, прощу, потому что просящему прощенія и Богъ прощаетъ, а извинить — не извиняю.

Другому, менѣе васъ умному человѣку, я охотно бы это извинилъ, но вамъ не могу. Какъ, помилуйте, возможно, чтобы по этакому деликатному дѣлу прислать ко мнѣ, монаху, этакого безстыжаго пѣтуха, который и безъ того вездѣ оретъ во все горло, что у меня нѣтъ ни foi, ни poi (sic), и давно на грудь мнѣ наступаетъ, чтобы я закона не почиталъ. Помилуйте вы меня! Да къ чему же мнѣ это и для чего намъ, бѣднымъ людямъ, такая роскошь? Я вѣдь не въ корпусѣ на Садовой улицѣ учился, а Эврипида читалъ:

Nam si violandum est jus, regnandi gratia
Violandum est, aliis rebus pietatem colas.

«Нарушить законъ *для того, чтобы царствовать*», — это и умные люди дѣлали, но нарушать его для того, чтобы одинъ дѣйствительный штатскій шалунъ, съ моего разрѣшенія, на своей свояченицѣ женился, это уже никакого резона нѣтъ».

Владыка всталъ съ мѣста и подалъ руку дядѣ Никсу, но не выпустилъ ее, а тепло придержалъ своею другою рукою и добавилъ:

— Нѣтъ, напрасно вы, напрасно прямо сами ко мнѣ не пожаловали: я бы вамъ разрѣшенія, разумѣется, все равно не далъ, но зато прямо бы вамъ объяснилъ, что вамъ мое разрѣшеніе вовсе и не нужно.

— А безъ разрѣшенія, ничего нельзя сдѣлать, владыка.

— Да, и я бы такъ думалъ, но мнѣ говорили, что, именно, *такъ только и можно*, какъ вы сказали: «безъ разрѣшенія». Для чего же въ эти дѣла епископовъ путать, да еще черезъ важныхъ русскихъ либераловъ это дѣлать? Помилуйте... Сей родъ самый опасный и ничимъ же изымается; съ ними надо очень, очень опасливо: они сами подзадорятъ, да сами же первые и выдадутъ хуже школьниковъ. До свиданія. Поѣду вашему покровителю визитъ отдать.

— Сдѣлайте милость, владыка, посѣтите его: онъ радъ будетъ.

— Знаю... Чудакъ! а то подумаетъ, что я на него сержусь, и «предупреждать» пойдетъ повсюду. Свистунъ, а мужикъ добрый. Будьте покойны, я сейчасъ ему либеральнаго елея на самый главный винтикъ капну и до дна его смаслю. Богъ съ нимъ. Такихъ разболтаевъ тоже надо беречь. Онъ еще, можетъ, пригодится вамъ на всякій слу-

чай. Храни Богъ доноса—тогда умомъ ужъ ничего не возьмешь, а этакой цыцарь какъ разъ «цыцъ» и выхлопочетъ... Прощайте, и желаю вамъ счастливаго успѣха.

Гость тронулся, но хозяинъ его опять придержалъ и добавилъ:

— А говорятъ, если здѣсь неустойка, то къ единовѣрамъ въ Молдавію хорошо съѣздить: тамъ, будто, говорятъ, никакихъ затрудненій не знаютъ: за деньги эти православные молахи и валдахи не только на матери, а даже и на отцѣ родномъ женятъ. Невѣроятно, а впрочемъ, чего на свѣтѣ не бываетъ! Прощайте!

Съ тѣмъ дядя Никсъ и вышелъ отъ владыки, а черезъ недѣлю послѣ этого разговора онъ уже былъ обвѣнчанъ со своею свояченицею.

Читателя можетъ поинтересовать: какъ все это сдѣлалось и какъ это вообще дѣлалось? А потому я въ концѣ моихъ очерковъ разскажу, что̀ мнѣ на этотъ счетъ извѣстно, теперь же еще два послѣдніе портрета.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

За несомнѣнное разсказываютъ слѣдующій характерный случай, имѣвшій мѣсто съ однимъ полицейскимъ генераломъ у покойнаго московскаго митрополита Филарета Дроздова.

Генералъ, обязанный блюсти благочиніе столицы, не всегда хорошо зналъ предѣлы своей власти и, случалось, вмѣшивался куда не слѣдовало. На это иногда жаловались, или пробовали дать ему сдачи собственными средствами, но къ общему огорченію все это выходило малоуспѣшно. Генералъ же, отъ ряда такихъ безпрестанныхъ удачъ, дѣлался смѣлѣе, и безъ оглядки «забывая задняя—на передняя простирался» и въ такомъ неуклонномъ стремленіи наскочилъ на митрополита Филарета.

Случай этотъ возникъ съ слѣдующаго повода. Довелось безпокойному генералу быть на чьихъ-то похоронахъ, или по другому какому случаю заглянуть въ одну изъ приходскихъ церквей столицы, гдѣ его превосходительство не ждали и служили попросту. Служеніе генералу страшно не понравилось.

Генералъ счелъ, что все это надо исправить, и обозначилъ въ самомъ вѣжливомъ письмѣ къ митрополиту Филарету, которое и было послано по адресу безъ лишняго раз-

думья. Отправляя такое посланіе, генералъ, конечно, былъ какъ нельзя болѣе доволенъ собою, потому-что дѣлалъ владыкѣ сообщеніе, которое того не могло не интересовать, такъ какъ касалось самыхъ живыхъ вопросовъ церковнаго благочинія. Генералъ, знавшій, быть-можетъ, очень многое въ петербургскомъ свѣтѣ,—откуда недавно пришелъ,—не зналъ вовсе неприступной щекотливости того лица, къ которому онъ обращался, и за то поплатился очень досадительнымъ урокомъ.

Митрополитъ Филаретъ, получивъ генеральское письмо, возымѣлъ себя совсѣмъ не такъ, какъ предполагалъ и невѣрно разсчитывалъ авторъ. Указаніе на то, что гдѣ-то въ московской церкви неблагочинно служатъ и не хорошо поютъ, обидѣло владыку; онъ усмотрѣлъ въ этомъ дерзость. Такія вещи онъ если и терпѣлъ, скрѣпя сердце, отъ Андрея Николаевича Муравьева, то это была милость безъ образца, и затѣмъ онъ уже никакъ не хотѣлъ этого терпѣть ни отъ кого другого,—тѣмъ болѣе отъ человѣка военнаго и занимающаго полицейскій постъ. Въ его глазахъ это имѣло такой видъ, какъ будто полиція начинаетъ вмѣшиваться въ церковное дѣло, для котораго въ Москвѣ не упразднена еще своя настоящая власть, сосредоточенная въ крѣпко ее державшихъ рукахъ митрополита Филарета.

И вотъ владыка, отложивъ письмо на уголъ стола, переслушалъ всѣ другія поданныя ему въ этотъ день бумаги,—а потомъ, отпуская секретаря, указалъ на генеральское посланіе и сказалъ своимъ безстрастнымъ и беззвучнымъ голосомъ:

— Это положить въ конвертъ... и надписать генералъ-губернатору.

Секретарь спросилъ: какъ отправить,—т. е. при какого содержанія письмѣ или бумагѣ? Но митрополитъ былъ не доволенъ этимъ разспросомъ и отвѣчалъ:

— Безъ всякой бумаги, послать просто.

Такъ и было послано.

Дѣло родилось и назрѣвало втиши, но вдругъ и забурлило.

Генералъ - губернаторъ (который именно, я этого не знаю) *), вскрывъ поданный ему конвертъ и доставъ оттуда

*) Во всякомъ случаѣ это не былъ Закревскій, которому представлялось, что м. Филаретъ сочинилъ и велѣлъ читать въ церквахъ молитву

генеральское письмо къ митрополиту, сталъ искать въ пакетѣ какого-нибудь препроводительнаго писанія отъ самого владыки. По всему, онъ имѣлъ основаніе предполагать, что такое писаніе непремѣнно есть, но его, однако, не было. Тогда родилось другое, тоже весьма естественное въ семъ случаѣ предположеніе, что препроводительное писаніе, по недосмотру или иной какой оплошности секретаря, не положено въ конвертъ и осталось гдѣ-нибудь, въ митрополичьей канцеляріи.

Поэтому генералъ-губернаторъ помѣтилъ на письмѣ карандашомъ: «справиться у секретаря: гдѣ бумага, при которой прислано».

Справка была сдѣлана немедленно и притомъ не письменная, а личная, черезъ посредство одного изъ чиновниковъ генералъ-губернаторской канцеляріи. Но тотъ, побывавъ съ пакетомъ у митрополичьяго секретаря, привезъ назадъ этотъ пакетъ безъ всякаго восполненія и притомъ съ страннымъ отвѣтомъ, что никакого препроводительнаго письма отъ митрополита не будетъ.

Опять доложили генералъ-губернатору и опять отряженъ старшій по чину и званію посолъ съ посольствомъ, имѣвшимъ прямою цѣлію узнать: «что его высокопреосвященству угодно?» Но это новое посольство было не удачнѣе перваго: не легко секретарь поддался просьбѣ спросить владыку: «что̀ ему угодно?» черезъ посылку упомянутаго письма, да не привело ни къ чему и вопрошаніе.

Филаретъ посмотрѣлъ на секретаря долгимъ, укоризненнымъ взглядомъ и тихо молвилъ:

— Мнѣ ничего не угодно.

Въ гражданской канцеляріи генералъ-губернатора отъ всего этого смущеніе только возрастало. По чиновничьему скудовѣрію, тамъ находили невозможнымъ удовлетвориться такимъ безмятежнымъ отвѣтомъ и считали неотразимо нужнымъ добиться: для чего вседовольный владыка прислалъ это письмо и чего ему хочется? Дѣлая такія и иныя соображенія, нашли наконецъ, что удивительное событіе это

объ избавленіи Москвы отъ лютаго положенія, т.-е. отъ управительства Закревскаго. Объ этомъ было офиціальное дознаніе, память о которомъ уберетъ будущему историку митрополитъ Исидоръ. См. списокъ рукописей, пожертвованныхъ высокопреосв. Исидоромъ Петербургской Д. Академіи.

всѣхъ болѣе обязанъ разъяснить не кто иной, какъ самъ полицейскій генералъ, который заварилъ всю эту кашу, Богъ знаетъ, зачѣмъ и для чьего удовольствія.

И, какъ это часто водится, прежде чѣмъ хваткій генералъ успѣлъ показаться и дать какія-нибудь разъясненія объ этомъ безпокойномъ обстоятельствѣ, про самое обстоятельство уже меньше говорили, чѣмъ про его вздорливый нравъ и его зливость, съ которою онъ безпрестанно надоѣдаетъ то одному, то другому, то пятому и десятому. И всѣмъ уже становилось радостно и мило, что вотъ-таки онъ нарвался. И съ чѣмъ присталъ? «Не хорошо поютъ!» Да ты, что ли, регентъ,—тебѣ какое дѣло? Не нравится—выйди и не слушай, ступай къ цыганамъ, тамъ хорошо поютъ. А чего лѣзть, зачѣмъ надоѣдать?.. Вѣдь это не какой-нибудь простой митрополитъ, а Филаретъ; онъ тайны знаетъ; его боятся... Его только тронь, такъ и самъ не обрадуешься. Вотъ и наскочилъ,—такъ тебѣ, сорванцу, и надо! Радовались не только люди русскіе, которымъ, по справедливому замѣчанію Пушкина, «злорадство свойственно», но даже нѣкій нѣмецкій чиновникъ, имѣвшій за свою солидность особый вѣсъ у начальства. Онъ вѣдалъ это дѣло и онъ же сказалъ о немъ: «нашла коза на камень», и съ этою, немножко измѣненною русскою пословицею, сдѣлалъ такое обобщеніе, что быть за все въ раздѣлкѣ самому безпокойному полицейскому генералу.

Такъ и сталось.

Во утрій день, едва полицейскій генералъ сталъ въ урочный часъ по обычаю передъ генералъ-губернаторомъ, сей послѣдній сразу сморщился и заговорилъ скороговоркою и въ недовольномъ тонѣ:

— Очень радъ васъ видѣть... Вчера почти только-что вы отъ меня уѣхали, я получилъ конвертъ отъ митрополита. Вотъ онъ: возьмите его, пожалуйста; онъ здѣсь прислалъ ко мнѣ ваше письмо, и кто его знаетъ: зачѣмъ онъ его прислалъ? Я посылалъ узнавать, и ничего не узнали... Столкновеніе съ нимъ, это чрезвычайно непріятно... Кончите это, пожалуйста, какъ-нибудь сами.

Генералъ сконфузился и даже не на шутку, но подбодрился и, чтобы выдержать спокойный тонъ, спрашиваетъ:

— Что же... мнѣ самому прикажете съѣздить?

— Какъ хотите... Да впрочемъ я не знаю, какъ же иначе, лучше съѣздите.

— Хорошо-съ, я сейчасъ съѣзжу и сейчасъ же заѣду вамъ сказать, если угодно.

— Пожалуйста... Какъ-нибудь...

— Да вѣдь это такіе пустяки!

— Ну однако... все-таки... пожалуйста кончите и заѣзжайте.

Генералъ поѣхалъ, но неудачно: вмѣсто того, чтобы получить возможность успокоить начальника, онъ заѣхалъ съ самымъ короткимъ, но непріятнымъ отвѣтомъ, что митрополитъ его *не принялъ*.

— Ну вотъ видите!

— Да онъ, говорятъ, дѣйствительно боленъ.

— Положимъ, а все-таки непріятно. Вы уже сдѣлайте милость... постерегите... когда онъ выздоровѣетъ.

— Непремѣнно-съ, непремѣнно.

— Вы тамъ... келейника..

— Да... я уже все сдѣлалъ и *просилъ*.

(Вотъ онъ уже началъ *просить*!)

— Но и сами... навѣдайтесь когда онъ можетъ.

— Я заѣду, заѣду.

Онъ два раза повторилъ слово «заѣду», а довелось ему заѣхать нѣсколько разъ, потому что владыка все недомогалъ, а генералъ-губернаторъ скучалъ, что это еще не разъяснено и не кончено.

Генералу это такъ надоѣло, что онъ говорилъ, будто уже «готовъ хоть пять молебновъ у Иверской отпѣть, лишь бы отвязаться отъ этого письма и отъ всей этой исторіи». И Богъ, который, по изъясненію Іоанна Златоустаго, «не только дѣянія пріемлетъ, но и намѣренія цѣлуетъ»—внялъ нуждѣ утѣсненнаго этими событіями генерала и воздвигъ владыку съ одра болѣзни. Подъ вечеръ одного дня дали генералу съ подворья вѣсть, что владыкѣ лучше, а на другой день, едва его превосходительство собрался на Самотекъ, какъ черезъ подлежащихъ чиновъ полиціи пришло дополнительное извѣстіе, что Филаретъ нынче утромъ раненько совсѣмъ выѣхалъ на лѣто за городъ къ Сергію и затѣмъ въ Новый Іерусалимъ.

Крѣпкій, непокладистый человѣкъ былъ генералъ, но это уже и его вымотало. Теперь хоть и не говори ни слова,

а отправляйся туда же вслѣдъ за нимъ къ Сергію и въ Новый Іерусалимъ. А приметъ ли еще онъ тамъ?—это опять Богъ вѣсть. Скажутъ: усталъ съ дороги, отдохнуть нужно, безпокоить не смѣемъ; или говѣетъ, къ причастію готовится; съ отцомъ намѣстникомъ заняты — да вообще конца нѣтъ претекстамъ. И это такому-то человѣку, который и самъ кипитъ, и любитъ, чтобы вокругъ него все кипѣло и прыгало!..

Чортъ знаетъ, что̀ за глупое положеніе и все изъ-за чистѣйшихъ пустяковъ.

Генералъ давно уже былъ не радъ, что онъ все это поднялъ: крѣпкій и крупный во всѣхъ своихъ неразборчивыхъ поступкахъ, онъ ослабѣлъ и обмелѣлъ отъ этой святительской гонки, которая такъ—не такъ, еще пока и до объясненья не дошла, уже внушала ему необходимость извѣстной разборчивости. Даже ухарская бодрость его подалась и спесь поспустилась до того, что онъ сталъ панибратственно спрашивать людей малыхъ: какъ они думаютъ, что̀ лучше, немедленно ли ему ѣхать вслѣдъ за владыкой, или подождать,—пусть онъ отдохнетъ, начнетъ служить, и тогда... прямо къ обѣднѣ, да отъ обѣдни подъ благословеніе, — на чашку чаю, и объясниться.

Какъ мышь могла оказать великую услугу льву, такъ и тутъ случилось нѣчто малопозволительное—у мелкаго человѣка нашлось ума и сообразительности больше, чѣмъ у крупнаго.

Малый совѣтникъ сказалъ, что прямо отъ обѣдни генералу къ митрополиту являться не хорошо, разъ—потому, что его высокопреосвященство въ такую пору бываетъ уставши, а во-вторыхъ, что и дѣло-то требуетъ свиданія тихаго и переговора съ глаза на глазъ, «чтобы если и колкость какую выслушать, то по крайней мѣрѣ не при публикѣ».

Это было первое упомянутіе о колкости, но оно было принято безъ удивленія и безъ спора. Очевидно, всѣ иначе и думать не хотѣли, что безъ колкости дѣло обойтись не можетъ. Вопросъ могъ быть только въ томъ: какая?

— У него, вѣдь, это все примѣняется, — говорили совѣтники,—что̀ простецу, что̀ ученому, что̀ духовному, а что̀ военному человѣку... Особенно ученымъ строго; онъ вонъ іерея Беллюстина вызвалъ, посмотрѣлъ на него, да опять пѣшкомъ въ Калязинъ прогналъ.

— Господи!.. это чортъ знаетъ что такое... И что за мысль попа пѣшкомъ гонять!

— А-а, онъ ученый, статьи пишетъ.

— Да хоть бы и какія угодно статьи писалъ, — все же, вѣдь, онъ не скороходъ или не пѣхотинецъ.

— А Голубинскаго еще хуже: прямо по рукѣ ударилъ; онъ къ ученымъ лютъ.

— Ну, а къ военнымъ каковъ, а?

Собесѣдники плечами пожали и говорятъ:

— Про военныхъ не знаемъ, военныхъ, пожалуй, не смѣетъ.

— Вѣдь не можетъ же онъ меня заставить идти отъ Сергія пѣшкомъ за покаяніе—а? что? Я его не послушаю: сяду да и уѣду... что?

— Да, конечно, нѣтъ: не смѣетъ.

— Еще бы!—пускай поповъ гоняетъ, а я не попъ.

На самомъ же дѣлѣ все это приводило генерала въ большую нервность, и онъ, волнуясь, кипятился и попеременно призывалъ то Бога, то чорта, не зная, къ кому плотнѣе пристать.

— Господи, что такое!.. чортъ бы все это дралъ... Съ коронованной особой, кажется, легче бы объясниться!

Но малый совѣтникъ, до бесѣды съ которымъ генералъ не напрасно унизился, вывелъ его на хорошій путь: онъ присовѣтовалъ генералу «сочинить» къ владыкѣ письмо и «по-искательнѣе» просить его высокопреосвященство дозволить представиться по нужному дѣлу, «когда онъ прикажетъ». И при всѣхъ этихъ варварскихъ фразахъ о сочиненіи, искательности и приказаніи, особенно настаивалъ, чтобы послѣдняя фраза была употреблена въ точности.

— А то иначе, говоритъ, онъ прошепчетъ секретарю: «напиши, я готовъ выслушать», а когда и гдѣ—опять не доберетесь. Нѣтъ, ужъ лучше пусть «прикажетъ».

Генералъ въ досадѣ, уже ни за что не стоялъ и готовъ былъ испросить себѣ и «приказаніе», но только «сочинять» ему не хотѣлось.

— Сдѣлайте милость, говоритъ, чортъ бы все это побралъ... Господи!—напишите пожалуйста, какъ это по вашему нужно, я все подпишу.

— Нѣтъ, говорятъ, тутъ нельзя «подписать», а надо

своею рукою написать, или переписать, да еще почище,— хорошенько.

— Да у меня, говоритъ, почеркъ скверный.

— Надо постараться.

— Ахъ ты, Господи!.. ну да чортъ съ ними, со всѣми этими дѣлами; сочините мнѣ, пожалуйста, я перепишу.

И онъ сдержалъ свое слово,—переписалъ. Онъ взялъ черновое домой и хотя вначалѣ сильно его критиковалъ и называлъ «хамскимъ», но дома переписалъ его сполна и очень хорошо: буквы были всѣ аккуратно дописаны, строчки прямы,—очевидно, выведены по транспаранту, а внизу подпись со всякимъ почтеніемъ, покорною преданностью, порученіемъ себя отеческому вниманію и архипастырскимъ молитвамъ и просьбою о его владычномъ благословеніи. Словомъ, сдѣлано, какъ подобаетъ.

Письмо, въ видахъ наибольшей аттенціи, а можетъ быть и ради вѣрнѣйшаго полученія скораго отвѣта, послано не по почтѣ, а съ нарочнымъ, изъ сорока тысячъ курьеровъ, готовыхъ скакать во всѣ стороны, по манію каждаго начальника въ Россіи.

Ждутъ отвѣта. Ждетъ самъ генералъ, поминая то Бога, то чорта. Ждутъ и его подчиненные, которымъ казалось, что онъ имъ уже «протопоталъ голову вдоволя».

Здѣсь, среди этихъ форменныхъ людей, въ которыхъ, несмотря на всю строгость ихъ служебнаго уряда, все-таки билось своимъ боемъ настоящее широкое русское сердце, шли только тишкомъ смѣтки на свойскомъ жаргонѣ: «какъ тотъ нашего: вздрючитъ, или взъефантулитъ, или пришпандоритъ?»

Слова эти, имѣющія не ясное значеніе для профановъ,— для посвященныхъ людей содержатъ не только опредѣлительную точность и полноту, но и удивительно широкій масштабъ. Самыя разнообразныя начальственныя взысканія, начиная отъ «окрика» и «головомойки» и оканчивая непрактикуемыми нынѣ «изутіемъ сапога» и «выволочки»,— всѣ они, несмотря на безконечную разницу оттѣнковъ и нюансовъ, опытными людьми прямо зачисляются къ соотвѣтственной категоріи, и что составляетъ не болѣе какъ «вздрючку», то уже не занесутъ къ «взъефантулкѣ» или «пришпандоркѣ». Это нигдѣ не писано закономъ, но преданіемъ блюдется до такой степени чинно и безспорно, что

когда, съ упраздненіемъ «выволочки» и «изутія», вышелъ въ обычай болѣе сообразный съ мягкостью вѣка «выгонъ на ять—голубей гонять», то чины не обманулись и это мѣропріятіе ими прямо было отнесено къ самой тяжкой категоріи, т. е. къ «взъефантулкѣ». Владыка, однако, не могъ же имѣть такого вліянія, чтобы «сверзнуть» генерала, или сдѣлать ему другую какую-нибудь непріятность, а онъ просто его не болѣе, какъ «вздрючитъ», но, конечно, въ лучшемъ видѣ.

Посолъ возвратился на другія сутки. Ему довелось переночевать у Сергія, но зато онъ привезъ ясный отвѣтъ на словахъ, что его высокопреосвященство можетъ принять генерала.

— Когда же?

— Когда угодно.

— Я поѣду завтра.

Такъ и рѣшено было ѣхать завтра.

Генерала проводили и когда поѣздъ отъѣхалъ, смѣясь въ кулакъ проговорили:

— Напрасно ты, братъ, перемѣны бѣлья съ собой не захватилъ.

Межъ тѣмъ, ко всеобщему удивленію, генералъ возвратился въ Москву раньше вечера и былъ очень живъ, скоръ и веселъ. Онъ тотчасъ же поспѣшилъ успокоить генералъ-губернатора, что они съ митрополитомъ объяснились, и дѣло это теперь кончено.

— Я доказалъ ему, что я правъ, и онъ согласился, и просилъ вамъ кланяться.

Тотъ былъ доволенъ; но подчиненные, которымъ никакъ не хотѣлось такого окончанія, не вѣрили, чтобы дѣло обошлось безъ вздрючки. Краткое сказаніе: «я доказалъ ему, что я правъ, и онъ согласился», малодушнымъ людямъ казалось какъ-то неподходящимъ. Выходило это какъ-то очень ужъ кратко, и не имѣло на себѣ, такъ сказать, никакого облика живой правды. Какъ онъ это доказывалъ, что попъ дурно служилъ и дьячки нехорошо пѣли? Развѣ попа и дьячковъ туда тоже выписывали? Нѣтъ, этого не было и не могло быть, во-первыхъ, потому, что это дало бы дѣлу такое положеніе, что митрополитъ все-таки придалъ какое-нибудь значеніе письму генерала, а во-вторыхъ, этого

не могло быть просто потому, что владыка не зналъ, когда прискачетъ къ нему генералъ съ своимъ объясненіемъ. Не могъ же онъ содержать при себѣ упомянутаго попа и дьячковъ, про всякій случай, по вся дни. Да и все это было бы совсѣмъ не по-филаретовски. Нѣтъ; молодшіе люди имѣли крѣпкое подозрѣніе, что генералъ митрополиту ничего не доказывалъ, потому что ему еще никто никогда не доказалъ ничего такого, что онъ самъ не хотѣлъ считать доказаннымъ, а просто генералъ вытерпѣлъ у него непріятную минуту, но какъ ею кончается вся эта долгая возня, то онъ и радъ, и опять прыгаетъ и носится. А доказать митрополиту нельзя,—нельзя потому, что онъ такія дарованія и способы имѣетъ—сразу самаго доказательнаго человѣка взять и отсадить отъ его доказательствъ. И отсадить въ самый дальній уголъ, гдѣ тотъ даже и самъ себя не сразу узнаетъ.

И вотъ эти-то пріемы его очень интересны, какъ онъ это выведетъ такъ, что правъ—неправъ, а сказать нечего. И все это непремѣнно было съ генераломъ, но какъ же это было? какъ владыка его вздрючилъ и какъ тотъ извивался? Это положили узнать. А взялся за это нѣкто близкій по своимъ связямъ съ какою-то «профессоріею», а та профессорія знала еще кого-то, черезъ котораго доходили прямо до самаго близкаго человѣка. И когда весь этотъ порядокъ былъ ловко и ухищренно пройденъ, то результатъ превзошелъ всѣ ожиданія.

Вотъ вѣрное сказаніе о томъ, какъ объяснялся генералъ съ митрополитомъ.

Владыка, зазвавъ гостя въ отдаленныя палестины, былъ внимателенъ къ его пріѣзду и не заставилъ его ожидать. Пожаловалъ генералъ, доложили митрополиту, онъ и вышелъ: по обычаю своему не великъ, нарочито худъ, а изъ глазъ, яко мнилося, «семь умовъ свѣтитъ».

Разговоръ у нихъ вышелъ недолгій и все объясненіе, до котораго генералъ достигъ съ такимъ досадительнымъ трудомъ, свертѣлося вкратцѣ.

— Чѣмъ позволите служить? — началъ шопотомъ владыка.

Генералъ отвѣчалъ обстоятельно.

— Такъ и такъ, ваше преосвященство, я былъ случайно

мѣсяцъ тому назадъ въ такой-то церкви, и слышалъ служеніе... оно шло очень дурно и даже, смѣю сказать, соблазнительно, особенно пѣніе... даже совсѣмъ не православное. Я думалъ сдѣлать вамъ угодное — довести объ этомъ до вашего свѣдѣнія, и написалъ вамъ письмо.

— Помню.

— Вы изволили отослать это письмо для чего-то къ генералъ-губернатору, но ничего не изволили сказать: что вамъ угодно, и мы въ затрудненіи.

— О чемъ?

— Насчетъ этого письма, оно здѣсь со мною.

Генералъ пустилъ палецъ за бортъ и вынулъ оттуда свое письмо. Митрополитъ посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— Позвольте!

Тотъ подалъ.

Филаретъ однимъ глазомъ перечитывалъ письмо, какъ будто онъ забылъ его содержаніе, или только теперь хотѣлъ его усвоить, и наконецъ проговорилъ вслухъ слѣдующія слова изъ этого письма:

— «Пѣніе совершенно не православное».

— Увѣряю васъ, ваше высокопреосвященство.

— А вы знаете православное пѣніе?

— Какъ же, владыка.

— Запойте же мнѣ на восьмой гласъ «Господи, воззвахъ къ Тебѣ».

Генералъ смѣшался.

— То-есть... ваше высокопреосвященство... Это чтобы я запѣлъ?

— Ну, да... на восьмой гласъ.

— Я пѣть не умѣю.

— Не умѣете; да вы, можетъ-быть, еще и гласовъ не знаете?

— Да, я гласовъ не знаю.

Владыка поднялъ голосъ и проговорилъ:

— А тоже мнѣнія свои о православіи подаете! Вотъ вамъ ваше письмо и прошу кланяться отъ меня генералъ-губернатору.

Съ этимъ онъ слегка поклонился и вышелъ, а генералъ, опять спрятавъ свое историческое письмо, поѣхалъ въ Москву и притомъ въ очень хорошемъ расположеніи духа: такъ ли, не такъ ли, противная докука съ этимъ письмомъ

все-таки кончилась, а мысль заставить его, въ его блестящемъ мундирѣ, пѣть въ митрополичьей залѣ на восьмой гласъ «Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыши мя», казалась ему до такой степени оригинальною и смѣшною, что онъ отворачивался къ окну вагона и отъ души смѣялся, представляя себѣ въ умѣ, что̀ бы это было, если бы эту уморительную штуку узнали друзья, знакомые и особенно дамы? Это очень легко могло дойти до Петербурга, а тамъ какой-нибудь анекдотистъ разскажетъ ради чьего-нибудь развлеченья и шутя сдѣлаетъ тебя гороховымъ шутомъ восьмого гласа.

И онъ не разъ говорилъ «спасибо» митрополиту за то, что при этомъ хоть никого не было.

Но, однако, какъ «нѣтъ тайны, которая не сдѣлалась бы явною», то нерушимое слово писанія и здѣсь оправдалось. Вскорѣ же всѣ въ Москвѣ могли видѣть независтную гравюрку, которая изображала слѣдующее: стоитъ хиленькій старичокъ въ колпачкѣ, а передъ нимъ служитъ на заднихъ лапахъ огромнѣйшій пудель и держитъ на себя въ зубахъ хлыстъ. А старецъ ему говоритъ:

«— Служи (собачья кличка), но на мой дворъ не смѣй лаять. А то я заставлю тебя визжать на восьмой голосъ».

Такова, или сей подобна была подпись подъ картинкою, которая вначалѣ показалась многимъ совсѣмъ не остроумною и даже безсмысленною; а потомъ, когда развѣдали, въ чемъ тутъ соль, уже немногіе лишь экземпляры картинки остались въ цѣлости.

Когда именно, въ какихъ годахъ и при какихъ правительственныхъ лицахъ имѣло мѣсто это происшествіе,—не знаю. Филаретъ Дроздовъ на московской каѳедрѣ пропустилъ мимо себя не одного генералъ-губернатора, а полицейскихъ генераловъ еще болѣе, но сказаніе это, кажется, надо считать вѣрнымъ, потому что его приходилось слышать отъ нѣсколькихъ основательныхъ людей, да и картинка тоже даромъ появиться не могла.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Къ сказанному не излишнимъ будетъ прибавить о томъ, какъ иные изъ нашихъ владыкъ внимательны къ политикѣ, литературѣ, новымъ открытіямъ и проч. Хорошій матеріалъ

для этого мы имѣемъ въ «Спискѣ рукописей, пожертвованныхъ его высокопреосвященствомъ митрополитомъ Исидоромъ въ библіотеку с.-петербургской духовной академіи». Объ этомъ митрополичьемъ дарѣ было говорено газетами въ свое время, при чемъ было объяснено, что рукописи эти не могутъ быть предметомъ изслѣдованія и критики по жизнь ихъ жертвователя. Но и самое содержаніе рукописей, даже по заглавіямъ, оставалось до сихъ поръ неизвѣстнымъ, хотя это, съ одной стороны, очень интересно, а съ другой— нимало не нарушаетъ условій жертвователя, ибо не можетъ быть почитаемо за разработку. Поэтому, встрѣтивъ рѣдкій списокъ (отлитографированный только въ числѣ 50 экземпляровъ), я не захотѣлъ разстаться съ нимъ, не сдѣлавъ изъ него небольшихъ выписокъ, которыя, мнѣ кажется, должны заинтересовать любителей русской давней и недавней старины. Должны онѣ быть любопытны также и для такихъ людей, которымъ небезынтересно само лицо дарителя.

Вотъ изъ чего, судя по списку, состоитъ, между прочимъ, даръ митрополита Исидора петербургской духовной академіи:

Уроки профессора академіи архим. Иннокентія (архіеп. херсонскаго) по общему богословію—293 л.

Его же, уроки по догматич. богословію—188 л.

Его же, уроки по практич. богословію—327 л.

Его же, ученіе о таинствахъ церкви—139 л. (Это, конечно, тѣ знаменитыя лекціи, которыми когда-то хвалились слушатели Иннокентія. Ихъ ждали видѣть въ собраніи сочиненій этого автора, но этому что-то помѣшало).

Сорокъ шесть писемъ кн. Голицына къ архим. Фотію и 12 писемъ къ графинѣ А. А. Орловой-Чесменской. (Матеріалъ никогда не ослабѣвающаго интереса).

Донесеніе Христофора, высокопреосв. вологодскаго, о необыкновенномъ приключеніи съ крестьянкою-дѣвицею Агафьею,—летаргическомъ снѣ, принятомъ за чудо.

Отвѣтное письмо прот. Іосифа Васильева на вопросы, предложенные ему графомъ Павломъ Дмитріевичемъ N, по поводу присоединенія аббата Гетте. (Снова интереснѣйшее обстоятельство, въ оцѣнкѣ котораго до сихъ поръ нѣтъ чего-то самаго важнаго).

Разсказъ дѣдушки Алексѣя Васильевича Перваго, почти

современника св. Тихона, о нѣкоторыхъ частныхъ фактахъ изъ жизни св. Тихона.

Оправдательное письмо М. П. Погодина къ министру народнаго просвѣщенія по поводу признанія его статьи во 2 № газеты «Парусъ» неблагонамѣренною и прекращенія изданія.

Свѣдѣнія объ убійствахъ евреями христіанъ для добыванія крови.

Мнѣніе предсѣдателя цензурнаго управленія о распространеніи у насъ брошюры о непорочномъ зачатіи Дѣвы Маріи (1830 года).

Списокъ сочиненіямъ богословскаго и отчасти политическаго содержанія, привезеннымъ изъ Варшавы въ 1833 и 1834 годахъ.

Приказъ новороссійскаго генералъ-губернатора жителямъ, называемымъ духоборцами, о возвращеніи въ лоно православной церкви или о переселеніи въ другія мѣста жительства.

Судебный допросъ нѣкоторыхъ изъ сектантовъ «Общей» секты (изъ молоканъ).

О сектаторѣ Лукьянѣ Петровѣ—писано собственноручно митрополитомъ Исидоромъ.

Донесеніе подполковника Граббе о новопоявившейся сектѣ, отвергающей храмы, посты, праздники, таинства, и не признающей власти. (Это особенно интересно въ томъ отношеніи, что, по мнѣнію людей, знающихъ толкъ въ русскихъ ересяхъ и расколахъ, у насъ нѣтъ ни одной секты, которая бы «не признавала властей», что, впрочемъ, и невозможно для христіанина какого бы то ни было толка).

Мысли о народѣ, называемомъ ингилайцами, которыхъ предки были христіане.

Свѣдѣнія о евангеліяхъ, записанныя (митрополитомъ Исидоромъ) послѣ разговора съ сыномъ владѣтельнаго князя Сванетіи Мих. Дидишкимани.

Высшая администрація русской церкви, сочиненіе архіепископа Агаѳангела—о незаконности и ошибочности принциповъ, положенныхъ въ основаніе церковно-административныхъ учрежденій. (Это тотъ самый архіепископъ, который одинъ рѣшился открыто противодѣйствовать церковно-судебной реформѣ, какъ ее проводилъ оберъ-прокуроръ гр. Д. А. Толстой).

О вліяніи свѣтской власти на дѣла церковныя.

Продолженіе сочиненія архіеп. Агаѳангела: въ чемъ должно состоять высшее управленіе отечественной церкви.

Записка оберъ-прокурора синода графа Д. А. Толстого о подчиненіи церкви контролю въ хозяйственномъ отношеніи. Писано собственноручно митрополитомъ Исидоромъ.

Разсмотрѣніе записки подъ заглавіемъ «Вдовство священниковъ». (Самый больной вопросъ вдовствующихъ клириковъ).

Отношеніе оберъ-прокурора графа Д. А. Толстого къ митрополиту Исидору о назначеніи послѣдняго членомъ комиссіи по вопросу о порядкѣ разрѣшенія жалобъ на рѣшенія св. синода, по дѣламъ, подлежащимъ его вѣдѣнію. (Жалобы на синодъ, единолично приносимыя митрополиту, состоящему членомъ того же самаго синода!.. Невозможно уразумѣть: какой это должно обозначать порядокъ?).

Записка «по вопросу возраженій (!) на предположенное учрежденіе въ Петербургѣ православнаго братства».

Выписка изъ отношенія министра внутреннихъ дѣлъ о неудобствѣ вышеуказаннаго братства.

Выписка изъ отношенія главнаго начальника III отдѣленія собственной его императорскаго величества канцеляріи о неудобствѣ того же братства. (Всѣ эти три документа получаютъ особенный интересъ въ виду нынѣшняго протестантскаго настроенія общества, при которомъ союзы православныхъ уже дозволяются, но, быть-можетъ, уже нѣсколько поздно).

Письмо нантскаго епископа Жаконэ къ прот. Іос. Васильеву по вопросу о зависимости русской церкви отъ императора.

О тождествѣ бѣжавшаго въ Нью-Іоркъ іеродіакона Агапія съ авторомъ (какого-то) письма. Подробныя свѣдѣнія объ іеромонахѣ Агапіи.

Секретное донесеніе архіерею рядового С. Кулышева о заказѣ ему типографскаго станка для печатанія противоправительственныхъ сочиненій и о снабженіи его неизвѣстными ему лицами сочиненіями такого же характера: «Что нужно народу» и т. п. (Это дѣло, интересное само по себѣ, не менѣе интересно въ томъ отношеніи: почему солдатъ, которому сдѣлали упомянутый заказъ, обратился съ своимъ доносомъ не къ гражданскимъ властямъ и не къ жандарм-

скому офицеру, а къ мѣстному епископу? Все это возбуждаетъ интересъ къ личному составу властей, которые тогда правили въ Перми).

«Объясненіе съ публикой». Программа дѣйствій революціоннаго кружка.

О вліяніи свѣтской власти на дѣла церковныя.

«Тайна», или секретная апологія архимандрита Фотія императору Александру I-му (рукопись на 158 л.).

Письмо протоіерея М. Ѳ. Раевскаго (изъ Вѣны) къ митрополиту Исидору по поводу замѣченнаго сближенія сербскихъ и болгарскихъ воспитанниковъ въ Кіевѣ съ поляками и о вредныхъ слѣдствіяхъ этого сближенія (М. Ѳ. Раевскій, нашъ вѣнскій священникъ, которому приписываютъ много политическихъ дѣлъ между славянскою молодежью,—лицо, небезынтересное на краткій часъ для историка, а, быть-можетъ, еще болѣе для сатирика. От. Раевскій былъ обильно прославляемъ за тонкость, что до сихъ поръ и составляетъ самую выступающую черту его священства).

Славянофилы на Востокѣ.

Письмо архимандрита Леонида о духовномъ состояніи русскихъ богомольцевъ въ Іерусалимѣ.

Письмо съ препровожденіемъ жесткой статьи одной греческой газеты противъ вселенскаго патріарха.

Донесеніе подробное о болгарскомъ вопросѣ.

Письмо посланника французскаго по поводу брака его слуги.

Письмо Тишендорфа съ препровожденіемъ его труда VII édition de Nouveau Testament.

Письмо е. в. императора русскаго къ султану турецкому о венгерскихъ мятежникахъ, бѣжавшихъ въ Турцію.

Рѣчь государя Николая Павловича къ епископамъ польскимъ и русскимъ, приглашеннымъ изъ Польши въ Петербургъ. Писано собственноручно митрополитомъ Исидоромъ.

Изложеніе нѣкоторыхъ обстоятельствъ, обнаруживающихъ невыгодное отношеніе закубанцевъ къ русскому правительству. Писано собственноручно митрополитомъ Исидоромъ.

Послѣдствія неблагоразумнаго управленія генерала Пулло и особенно генерала Засса—возстаніе чеченцевъ, черкесовъ, бѣгство многихъ въ горы, даже такихъ, которые болѣе 50 лѣтъ были вѣрны русскому правительству. Писано высокопреосвященнымъ Исидоромъ.

Стихотвореніе Кукольника въ виду крымской войны.

Письмо генерала Муравьева къ генералу Ермолову изъ крѣпости Грозной о положеніи края и мысли о началахъ управленія.

О чрезмѣрной жадности греческаго духовенства и симоніи (1860 г.).

Замѣтка, содержащая недовольство кавказцевъ, особенно войска, на письмо Муравьева къ Ермолову. Писано высокопреосвященнымъ Исидоромъ.

Особенно замѣчательные случаи дѣйствія благодати Божіей чрезъ митрополита московскаго Филарета, бывшіе при его жизни.

Много писемъ митрополита Филарета Дроздова, изъ коихъ нѣкоторыя писаны по общеинтереснымъ вопросамъ, а два приводятъ въ нѣкоторое недоумѣніе. Это, во-1-хъ, не письмо, а «списокъ съ отношенія къ московскому генералъ-губернатору по поводу слуха, что въ церквахъ Москвы читается особая молитва объ избавленіи отъ того положенія, въ которомъ она находится». А второе письмо «о незаконномъ, причиняющемъ соблазнъ, дѣйствованіи духовнаго цензора въ Петербургѣ».

Легко можетъ быть, что не лишены общаго историческаго интереса и другіе нумера этого митрополичьяго дара, которые мы здѣсь не поименовали единственно потому, что заглавія ихъ показались намъ менѣе интересными. Но кромѣ цѣнности, какую имѣетъ весь этотъ даръ самъ въ себѣ, онъ очень дорогъ и для характеристики самого дарителя. Жизнь нашихъ владыкъ течетъ такъ «прикровенно», что едва о нѣкоторыхъ изъ нихъ можно узнать и сберечь для исторіи что-нибудь образное и живое. Въ древности ихъ жизнеописанія были похожи болѣе на житія, а позже стали походить на послужные списки, изъ которыхъ ничего или почти ничего не извлечешь для исторіи. Не больше того усматриваемъ и въ самыхъ позднихъ некрологахъ, гдѣ уже, впрочемъ, стали иногда на что-то намекать. Былъ больше суровъ или меньше суровъ владыка, постился ли онъ и молился больше или меньше,—и въ этомъ почти все. Исключенія очень рѣдки, но и эти исключенія не обильны фактами. Біографіи даже такихъ людей, какъ Платонъ Левшинъ, Евгеній Болховитиновъ и Иннокентій Борисовъ, скудны: нѣтъ въ нихъ именно тѣхъ мелочей жизни, въ которыхъ

человѣкъ наиболѣе познается какъ живой человѣкъ, а не формулярный замѣститель уряда,—чиновникъ, который былъ да и умеръ, а потомъ будетъ другой на его мѣсто—все равно какой. Правильно и основательно говоря, надо сознаться, что русскіе своихъ архіереевъ совсѣмъ не знаютъ: въ городѣ съ владыкой знакомы нѣкоторыя власти, среди коихъ не всегда находятся люди самые теплые къ вѣрѣ, да духовенство, у котораго отношеніе къ архіерею особое. Народъ же совсѣмъ архіерея не знаетъ. Между тѣмъ, въ числѣ нашихъ архіереевъ есть люди замѣчательнаго ума и иногда удивительнаго сердца. (Припомнимъ архіепископа Д. и состоящаго не у дѣлъ епископа Ѳ.). Знать о такихъ и имъ подобныхъ людяхъ возбудительнѣе, чѣмъ читать иныя старыя сказанія, реторическая ложь которыхъ давно обличена и не перестаетъ обличать себя во всякомъ словѣ. Чтобы изолгавшіеся христопродавцы не укорили насъ въ легкомысліи и «подрываніи основъ», скажемъ, что это не наша мысль, или если и наша, то не исключительно наша, мы встрѣчаемъ ее, напримѣръ, даже у Эбрарда (Апологетика, переводъ протоіерея Заркевича 1880 г., ст. 598). «Если предложить вопросъ о томъ, что служитъ доказательствомъ (христіанства), то это доказательство можно заимствовать собственно не изъ исторіи христіанскихъ обществъ, а исключительно только изъ жизнеописаній частныхъ лицъ въ христіанствѣ, въ которыхъ евангеліе проявило себя, какъ силу Божію». А гдѣ же кажется и искать бы проявленія этой силы, какъ не между тѣми, которые первенствуютъ въ церкви? И вотъ тутъ-то какъ нарочно и приложена превосходно кѣмъ-то подмѣченная манера «минервированія» святителей, т.-е. манера представлять ихъ получившими всѣ совершенства, не возрастая и не укрѣпляясь,—они будто такъ прямо и являются полными всѣхъ добродѣтелей «отъ сосцу матерне». Нѣкоторые изъ нихъ даже не сосали по средамъ и пятницамъ материнской груди... Результатъ этого передъ нами налицо...

Гдѣ всему легко вѣрятъ, тамъ легко и утрачиваютъ *всякую вѣру*.

Литературный даръ высокопреосвященнаго Исидора до извѣстной степени иллюстрируетъ особу нашего петербургскаго митрополита, котораго вообще считаютъ человѣкомъ опытнымъ въ жизни и благожелательнымъ. Разсматривая

этотъ списокъ, мы проникаемъ такъ-сказать въ нѣкую сокровенную сѣнь и узнаемъ: что̀ наиболѣе интересовало и занимало высокопреосвященнаго Исидора—узнаемъ, что онъ не пренебрегалъ весьма разнообразными свѣдѣніями, и даже очевидно думалъ объ очень многомъ, не составляющемъ его прямыхъ обязанностей. Объ немъ всегда говорили, что онъ неутомимый читатель. Значительное количество времени митрополита беретъ ежедневное чтеніе газетъ, въ которыхъ онъ слѣдитъ за обсужденіемъ разныхъ вопросовъ и между прочимъ церковнаго. Было извѣстно, что онъ не остается равнодушнымъ къ заявленіямъ печати и настолько терпимъ ко мнѣніямъ, что очень въ рѣдкихъ случаяхъ жалуется на печать. Сколько извѣстно въ литературномъ кружкѣ, такой, едва ли не первый и не послѣдній случай, былъ не такъ давно по поводу диссертаціи одного молодого университетскаго профессора, разбиравшаго легенду о св. Георгіи. Диссертація была изъ наилучшихъ и составляетъ дорогой и самостоятельный вкладъ въ нашу литературу, но, разумѣется, взглядъ ученаго, основанный на неопровержимыхъ фактахъ, и взглядъ лица, обязаннаго во что бы ни стало защищать преданія, хотя и освященныя временемъ, но совершенно разсыпавшіяся подъ методическою силою настоящей, научной критики, сойтись не могли, и нашъ митрополитъ протестовалъ, но совершенно безвредно и даже безпослѣдственно. Замѣчательное изслѣдованіе молодого ученаго о легендѣ св. Георгія напечатано въ министерскомъ журналѣ, а въ наукѣ неудовольствіе митрополита не получило значенія. Но во многихъ случаяхъ, когда печать указываетъ что-либо дурное въ церковномъ управленіи, митрополитъ не пренебрегаетъ это поправить, притомъ всегда безъ шума и непремѣнно безъ рѣзкостей, которыхъ не одобряетъ его благожелательное настроеніе. Но изъ того, что высокопреосвященный Исидоръ имѣлъ охоту и удивительное терпѣніе собственноручно списать, можно заключить, что его вниманіе особенно часто было привлекаемо дѣлами политики, прямого касательства къ которой онъ по сану святителя не имѣлъ, и, стало-быть, занимался ею прямо con amore: Нѣкоторые списки, сдѣланные его рукою, заставляютъ еще болѣе удивляться трудолюбію его высокопреосвященства потому, что ихъ оригиналы сохранены намъ печатью. Таковы, напримѣръ, значащіеся подъ № 232 «Выписка изъ

газеты «Kurjer Wilenski» о собраніи раввиновъ во Франкфуртѣ на Майнѣ». № 233, «Замѣтка о числѣ и составѣ европейскаго народонаселенія въ Алжирѣ, изъ Morning Chronicle». «О числѣ жителей по всей землѣ по вѣрамъ, изъ газеты «Золотое Руно». Аббата Лакордера, объ увеличивающемся въ Парижѣ числѣ самоубійствъ, найденышей и умалишенныхъ, изъ газеты «Correspondant». «Россія и Западъ», изъ газеты «Indep. Belge». Есть даже списки статей русскихъ газетъ, напр. статьи «Московскихъ Вѣдомостей», изъ № 11, 1855 года. Владыку, какъ надо судить по выпискамъ, занимали также и другіе вопросы: его занимали труды Песталоцци, Нимейера, Коверау и Дистервега, а также пресловутый въ свое время Шедо-Ферротти, «неправильныя дѣйствія австрійскаго главнокомандующаго Гайнау», и «удивительныя дѣйствія зеренъ бѣлой горчицы», а потомъ вопросъ Кобдена: «Что же далѣе?» Словомъ, необыкновенная пестрота, въ которой своя доля вниманія дана вопросамъ самымъ разностороннимъ...

Говоря объ этомъ спискѣ, который хотя отчасти открываетъ передъ нами кабинетную жизнь перваго духовнаго сановника русской церкви, котораго удается видѣть только въ сакосѣ и митрѣ или въ запряженной цугомъ каретѣ, — мы должны упомянуть и о томъ, что въ большинствѣ случаевъ архіерейскія бумаги обыкновенно тотчасъ послѣ кончины ихъ владѣльца «обезпечиваются», и рука изслѣдователя до нихъ добирается очень не скоро, а до иныхъ даже и вовсе не добирается. А потому, если бумаги, подаренныя митрополитомъ Исидоромъ академіи, составляютъ (какъ надо думать), только часть его архива, то и тогда слѣдуетъ быть ему благодарнымъ, что онъ самъ, по собственному почину, устроилъ такъ, чтобы онѣ стали доступны исторіи и критикѣ безъ напрасной траты многаго времени. Но пока что (дай Богъ еще многихъ лѣтъ жизни митрополиту Исидору), одно поверхностное знакомство съ его литературнымъ даромъ, конечно, многихъ должно удивить: сколько нашъ, нынѣ уже ветхій и достопочтенный старецъ, хранилъ въ себѣ постоянно живой способности интересоваться предметами, которые интересуютъ не всякаго изъ лицъ его положенія. Это во всякомъ случаѣ значитъ жить со своимъ вѣкомъ и аскетическое невѣдѣніе о немъ не считать лучшимъ достоинствомъ церковнаго

правителя. Въ такомъ взглядѣ, кажется, нѣтъ ни малѣйшей ошибки.

Такимъ образомъ, при этихъ слабыхъ данныхъ, мы все-таки находимъ нѣкоторую возможность дать самому отдаленному читателю нѣкоторое свободное очертаніе лица, имѣющаго несомнѣнно историческое значеніе, потому что митр. Исидоръ давно стоитъ во главѣ управленія нашей церкви, и притомъ въ ту пору, когда она и лиходѣямъ, и доброжелателямъ,—стала часто представляться въ состояніи, похожемъ на разложеніе, или, точнѣе сказать,—*въ кризисѣ*, который, впрочемъ, переживаетъ все христіанство.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

АРХІЕРЕЙСКІЕ ОБЪѢЗДЫ.

«Нельзя, не видя океана,
Себѣ представить океанъ».

Напечатанные въ 1878 году очерки «*Мелочи архіерейской жизни*» вызвали въ короткое время нѣсколько замѣтокъ, написанныхъ духовными лицами, между которыми были и два архіерея.

Между письмами почтившихъ меня корреспондентовъ есть нѣсколько выражающихъ мнѣ укоризну за «погоню за простотою». Въ этомъ писавшіе усматриваютъ «вліяніе протестантскаго духа».

Я хотѣлъ бы остановиться на этомъ странномъ и неумѣстномъ замѣчаніи; я хотѣлъ бы сказать, по крайней мѣрѣ, сколько несправедливаго и прискорбнаго заключается въ той неосторожности, съ которою наши охотники до важности и пышности уступаютъ протестантамъ такое прекрасное свойство, какъ *простота*; но пройду это молчаніемъ и коснусь только *одной частности* въ вопросахъ объ упрощеніи отношеній архіереевъ къ подначальному имъ духовенству.

Мнѣ пишутъ: «хорошо ли, если наши архіереи, объѣзжая приходы, будутъ трястись въ тарантасикахъ да кибиточкахъ, въ коихъ ихъ иной приметъ, пожалуй, за странствующихъ купцовъ, тогда какъ католическіе епископы будутъ катать шестернями» и т. п.

Тамъ мѣшалъ протестантизмъ, здѣсь—католичество...

Я ничего не могу отвѣчать на такой трудный церковный вопросъ, но я никакъ не думалъ, чтобы намъ былъ очень важенъ примѣръ католическихъ епископовъ!—Какъ бы они

пи катали, — имъ свой путь, а нашимъ — своя дорога, а, притомъ, никто и не добивается, чтобы русскіе епископы «тряслись» въ тарантасахъ и кибиткахъ. Объ этомъ извѣстенъ какой-то анекдотическій разговоръ митрополита Платона (Левшина) и больше ничего. Дѣло вовсе не въ экипажѣ, а въ томъ, кто въ немъ ѣдетъ. Можно и въ каретѣ ѣхать съ мирною простотою, и въ кибиткѣ приближаться съ большою и обременительною требовательностію. Объ этой-то требовательности и идетъ рѣчь у благонамѣренныхъ людей, желающихъ установленія лучшихъ, болѣе искреннихъ и болѣе полезныхъ для церкви отношеній епархіальныхъ начальниковъ къ сельскому духовенству.

Нѣкто бывшій простымъ священникомъ и потомъ достигшій «степеней» пишетъ: «Ожиданіе епископа очень благопріятно дѣйствовало на духовенство именно тѣмъ, что было событіе важное, котораго ждали и къ которому подготовлялись. Тутъ, бывало, все подберется и подтянется въ струнку. Иной, слабый человѣкъ, годы хромлющій на оба колѣна, заслышавъ объ архіерейскомъ пріѣздѣ, позадумается и исцѣлѣетъ. Другой, безпокойный и сварникъ—сходитъ къ мірянамъ и примирится и, вообще, поочистится въ своемъ поведеніи, а иной, давно отупѣвшій и все позабывшій, возьмется за умъ и поучится какъ отвѣчать на вопросы владыки, а отъ того сдѣлается опытнѣе. Наконецъ, самое это ожиданіе бываетъ полно прекрасныхъ минутъ для собравшагося духовенства, которое, совокупясь вмѣстѣ ко встрѣчѣ, ближе ознакомливается другъ съ другомъ и, притомъ, научается полезной солидности, какъ держать себя, сообразно достоинству своего духовнаго сана, серьёзность котораго, порою, въ мелочахъ житейскихъ, позабывается. Вообще, это напоминало что-то въ родѣ сошествія ангела, прилетающаго возмутить и сдѣлать снова цѣлебными застоявшіяся воды сельской купели».

Поистинѣ — прекрасная картина, въ которой, главнымъ образомъ, и пригодится тотъ *прикладъ*, который я имѣю возможность предложить ниже, въ видѣ дополнительной иллюстраціи.

Но прослѣдимъ еще за тѣмъ, что говоритъ опытный корресподентъ.

Начертавъ приведенныя замѣтки, онъ заключаетъ ихъ словами: «Мірянинъ этого знать не можетъ. Какъ бы искусно

онъ ни наблюдалъ бытъ и нравы духовенства, онъ не можетъ дать оцѣнки тому, что, въ этихъ случаяхъ, творится въ душѣ ожидающихъ. Это невозможно для сторонняго наблюдателя, именно потому, что происходитъ *внутри* человѣка. Это знаютъ только тѣ, кто самъ подобное испытывалъ».

Можетъ-быть, все это правда. Вообще, я не стану опровергать моего корреспондента пунктъ за пунктомъ. Хотя, мнѣ кажется, это не особенно трудно было бы сдѣлать, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи нѣкоторыхъ изъ его доводовъ. Такъ, напримѣръ, можно бы попытаться доказать ему, что если бы епископы ѣздили почаще и попроще, — безъ большихъ сборовъ и торжественныхъ оповѣщеній о томъ, что они «скоро будутъ и непремѣнно прибудутъ», то завязывающіяся у духовенства распри съ мірянами не тянулись бы до тѣхъ поръ, пока имъ угрожалъ *ожидаемый* наѣздъ. При опасеніи неожиданности дѣла могли идти иначе, и «отупѣвшихъ» и «храмлющихъ на оба колѣна» тоже могло быть меньше. Но «оставимъ все это астрономамъ доказывать», а обратимся къ одному послѣднему обстоятельству, которое могутъ доказывать не астрономы, а благочестивые отцы наши.

Хотя мой почтенный корреспондентъ, обладая живымъ краснорѣчіемъ, такъ *заговорилъ* дѣло, что мнѣ, не имѣвшему въ указанныхъ обстоятельствахъ личнаго опыта, не оставалось бы ничего иного, какъ повѣрить ему во всемъ на-слово и умолкнуть; но благому случаю и доброй услугѣ нѣкоторыхъ друзей угодно было меня выручить. Ими доставлена мнѣ возможность разсказать нѣчто небезынтересное о серьезныхъ впечатлѣніяхъ, производимыхъ на духовенство въ ожиданіи архіерейской встрѣчи.

Въ моихъ рукахъ находится очень рѣдкая вещь — это выписка изъ дневника, который, въ теченіе довольно многихъ лѣтъ, велъ недавно скончавшійся сельскій священникъ и благочинный. Я называю это вещью *рѣдкою* потому, что до сихъ поръ не встрѣчалъ еще ни одного русскаго сельскаго священника, который бы велъ записки изо-дня-въ-день во всю свою жизнь. То, что̀ издано подъ подобнымъ заглавіемъ гг. Ливановымъ и кн. Владиміромъ Мещерскимъ — есть, кажется, плодъ собственной фантазіи этихъ авторовъ, изъ которыхъ первый, хотя и зналъ бытъ

духовенства, но былъ очень одностороненъ, а другой нигдѣ не обнаруживалъ ни малѣйшаго знакомства ни съ какимъ бытомъ и, притомъ, страдалъ односторонностью еще больше Ливанова.

На самомъ дѣлѣ, наши сельскіе священники совсѣмъ не склонны къ писанію дневника и очень не многіе изъ нихъ способны вести замѣтки съ правдивостью и, въ то же время, съ живымъ юморомъ. Между тѣмъ, всѣмъ этимъ отличается дѣйствительный дневникъ, которымъ я пользуюсь для моихъ иллюстрацій. Тутъ мы безъ всякихъ прикрасъ увидимъ, что̀ иногда происходитъ у собравшихся духовныхъ лицъ во время торжественнаго ожиданія ими своихъ владыкъ.

Во главѣ этого повѣствованія, да позволено будетъ мнѣ сказать два слова о самомъ авторѣ дневника. — Это совершенно необходимо для того, чтобы впередъ опровергнуть всякое подозрѣніе въ вымыслѣ.

Авторъ дневника—о. Фока Струтинскій, священникъ села Горенички, въ 20 верстахъ отъ г. Кіева. Онъ былъ человѣкъ умный, опытный, наблюдательный и немножко юмористъ, что̀ читатель и не преминетъ увидать изъ слѣдующихъ за симъ отрывковъ его дневника. Журналъ свой от. Фока велъ во все время своего служенія, сначала простымъ сельскимъ священникомъ, а потомъ благочиннымъ. За это время (съ 1829 по 1854 годъ) онъ исписалъ десять объемистыхъ томовъ, имѣющихъ весьма разнообразный интересъ и немалое значеніе для исторіи сельскаго духовенства въ Россіи. Дневникъ этотъ, можетъ-быть, составилъ бы не менѣе интересное чтеніе, чѣмъ извѣстныя «Записки Добрынина», но, къ сожалѣнію, все содержаніе десяти томовъ покойнаго отца Фоки теперь не можетъ быть предметомъ нашего разсмотрѣнія. Мы возьмемъ изъ него только то, что̀ имъ записано объ архіерейскихъ встрѣчахъ, которыя онъ справлялъ за свою жизнь, пока скончался, 15-го декабря 1854 года. Внѣшнія хлопоты и внутреннія ощущенія ожидателей здѣсь представлены съ достаточною наглядностью человѣкомъ, котораго никакъ нельзя укорить ни въ малосвѣдущности, ни въ тенденціозности.

За симъ начнемъ ab ovo.

«*1841 г., 2-го іюня.* Располагали сегодня ѣхать въ Кіевъ,

но въ 7 часовъ утра — новость! Завтра въ Бѣлогородкѣ ожидаютъ митрополита (Филарета Амфитеатрова). Розалія В., вчера, вечеромъ, послала въ Вольшку, а сегодня къ намъ за рыбою. Къ счастію, Косьма обѣщаетъ дать съ полпуда вчера пойманной рыбы; я предполагаю послѣ обѣда поѣхать и узнать, что̀ тамъ дѣлается. Протоіерея засталъ только-что пріѣхавшаго и чрезвычайно хлопочущаго,—особенно, что не дали окончить слѣдственнаго дѣла. Указъ полученъ, что митрополитъ отправится для обозрѣнія уѣздовъ кіевскаго, радомысльскаго, махновскаго, сквирскаго и васильковскаго. По предписанію земскаго исправника Волкова, станція должна заготовить для подъема экипажей девятнадцать лошадей. Завтра и мнѣ должно явиться для встрѣчи его высокопреосвященства».

«*Іюня 3-го, вторникъ*. Очевидно,—чѣмъ слишкомъ занятъ, то и во снѣ снится. Уже послалъ черезъ дьячка свое облаченіе, вотъ покушаю и ѣду. Прощай, жена! Прощайте, дѣтки! Ѣду въ путь хоть недалекій, но, впрочемъ, нѣсколько опасный».

«Не удивляйтесь, братія мои возлюбленные, что я, отправляясь навстрѣчу владыкѣ, поставилъ въ своемъ журналѣ три звѣзды. Страху я боюся. Я легко могъ воображать, что можетъ-быть случится и долгое отсутствіе мое отъ моего прихода и отъ журнала, но, слава Богу, — возвратился домой вечеромъ—цѣлъ, живъ, здоровъ, невредимъ, и даже веселъ» *).

«По предписанію о. протоіерея, насъ собралось подвѣдомственныхъ семь іереевъ и почти-что столько же въ стихаряхъ дьячковъ, для встрѣчи высокопреосвященнаго. Всѣ возлежали на муравкѣ подлѣ церкви. Нѣкоторые, подобно Іонѣ, уже и храпляху... Вдругъ раздается тревога и производится колокольный звонъ, мы стремглавъ летимъ къ облаченіямъ, выстраиваемся въ должномъ порядкѣ и продолжаемъ Андреево стояніе съ добрые полчаса. Наконецъ, узнаемъ, что это передовой отрядъ діаконовъ и пѣвчихъ. Звонъ умолкъ, облаченіе снято, и мы опять принялись за разсказы, которые продолжались часа два. Но въ три часа

*) Достойно замѣчанія, что сердце автора сжималось такимъ страхомъ въ ожиданіи добрѣйшаго изъ людей,—митрополита Филарета Амфитеатрова, простосердечіе и мягкость котораго въ кіевской епархіи были всѣмъ извѣстны.

пополудни, опять суматоха прежняя, — и не по пустому, желанная минута настала: святитель встрѣченъ громогласнымъ «*Достойно есть*» и «*Многія лѣта*». Преподавъ намъ миръ и благословеніе, онъ порознь разспрашивалъ: изъ каковыхъ кто?» (Послѣ нѣкоторыхъ обычныхъ дѣйствій). «Разспрашивалъ объ урожаѣ, говоримъ ли проповѣди? Я отвѣчалъ, что, со времени полученія указа, говорю по одной въ мѣсяцъ. Совѣтовалъ составлять и по четыре. Изъ дома шествовалъ въ сопровожденіи всѣхъ насъ къ мельницамъ; пилъ чай у откупщика Александра Якимовича Барскаго и, преподавъ намъ *въ десятый разъ* свое пастырское благословеніе, уѣхалъ въ Мотыжинъ».

Въ этой первой выпискѣ, кажется, не видимъ ничего, кромѣ «страха» да легкаго подшучиванія исподтишка, — ничего, возвышающаго духъ и сознаніе, нѣтъ.

За этимъ слѣдуетъ другая встрѣча. На сей разъ отецъ Фока встрѣчаетъ опять того же митрополита Филарета, но уже довольно много лѣтъ спустя, именно въ 1845 году, — и отецъ Фока теперь уже не простой молодой священникъ, а *благочинный*.

Въ дневникѣ сначала отмѣчено довольно сложное «движеніе» отца Фоки по случаю проѣзда императора Николая Павловича. Это свое «движеніе» отецъ Фока тоже описываетъ, мѣшая важность и даже нѣкоторую восторженность съ благопристойною шутливостью

«Въ $3^3/_4$ часа пополудни, тихо, чинно, стройно перемѣнили лошадей. Экипажъ закрытый, со спящимъ геніемъ Россіи, помчался далѣе. Къ нему навстрѣчу шелъ зарумяненный востокъ, а сзади катился смиренный экипажецъ отца благочиннаго, Струтинскаго, который прибылъ на всходѣ солнечномъ домой и разбудилъ нѣціихъ, еще спавшихъ».

И тотчасъ послѣ этой отмѣтки идетъ слѣдующая. Благочинный Струтинскій встрѣчаетъ другого гостя.

«*Мая 23-го* (1845). Надобно ожидать другого гостя, — митрополита. Опять хлопоты, суета, — за хозяйство некогда и подумать. Вчера, впрочемъ, посѣяно три мѣры проса и малость лёну, а сегодня роздано жалованье и прихватомъ слѣпилъ проповѣденку на недѣлю св. отецъ, и на случай прибытія владыки, о которомъ неизвѣстно еще, гдѣ предполагаетъ литургисать. Посланъ нарочный увѣдать».

«24-го мая. Получивъ обстоятельное описаніе выѣзда нашего пастыря, изъ котораго видно, что онъ будетъ литургисать въ Радомыслѣ, — я побывалъ въ Бѣлогородкѣ для совѣта».

«25-го мая. Въ полдень завезъ Анну В. въ Бѣлогородку и узрѣлъ тамъ животрепещущихъ щукъ, заготовляемыхъ на фрыштыкъ для владыки, имѣющаго завтра служить литургію и завтракать».

«26-го мая. Еще сущу ми на одрѣ, утромъ полученъ съ почты пакетъ, изъ котораго усмотрѣно, что митрополитъ отправится изъ Кіева въ воскресенье. Вотъ и разстройство: священство съѣхавшееся разъѣдется и я тоже».

«27-го, недѣля и новолуніе. Въ служеніи изморился и мокрую рубаху перемѣнилъ. Сплю... Гремитъ, — сплю; проливной дождь—сплю... Снится встрѣча... сплю... и думаю, что владыка въ такую пору не осмѣлится отправиться. Ergo— еще больше сплю и храплю не хуже Іоны. Наконецъ, въ три часа пробуждаюсь,—солнце на небѣ сіяетъ, а грязь въ моихъ сѣняхъ воняетъ. Собравшись, прибыли въ Бѣлогородку и застали восемь священниковъ въ облаченіи. Черезъ часъ и владыка со свитою на тридцати лошадяхъ. Ревилы (ревуны,—басы, дьяконы, пѣвчіе), прибывшіе впередъ, испугали мою Липушку, наговоривъ, что Соколовскій (помѣщикъ с. Горенничи) просилъ владыку на ночлегъ; но я себѣ думаю: брешете, дорога нисколько въ провалѣ не исправлена, да и его нѣтъ въ домѣ... А тутъ приставъ объявилъ уже мнѣ, что владыка намѣренъ далѣе ѣхать и велѣлъ заготовлять лошадей... Вотъ тутъ я, по правдѣ сказать, окаменѣлъ, не зная самъ, что мнѣ и дѣлать?»

Но обстоятельства, поставившія отца Фоку въ такое положеніе, что онъ «окаменѣлъ», измѣняются, благодаря участію отца ключаря, которому было передано, что у отца Фоки «разстройство»,—послѣ чего ключарь «обѣщалъ все уладить».

«Идя изъ церкви, — вслѣдствіе предложенія отца ключаря, — владыка рѣшился остановиться въ Бѣлогородкѣ на ночлегъ, а послѣ изъявилъ согласіе посѣтить гореницкій храмъ... Я бѣгалъ... или, лучше,—я стоялъ... меня *гоняли*,— шептали: «скорѣй, скорѣй, у васъ владыка будетъ пить чай!» Пѣвчіе и дьяконы приставали: «просите, просите владыку, чтобы у васъ остался ночевать на покоѣ». А я себѣ, запыхавшись, думаю: гдѣ тамъ просить ночевать, когда у

меня полны сѣни грязи, и на дворѣ грязь, и въ комнатахъ тѣснота и неисправность? Касательно же пріема: что̀ и было въ запасѣ, то все перевезено на трактъ».

Въ этомъ отчаянномъ положеніи отецъ Фока являетъ новую черту своего характера и своего веселаго юмора. Заручившись обѣщаніемъ ключаря «все уладить», от. Фока суетится, когда его «гоняютъ», и со всѣхъ сторонъ ему «шепчутъ» и тормошатъ его до того, что онъ уже не можетъ разобрать: «бѣгаетъ» онъ или «стоитъ», а все-таки онъ знаетъ ему же вѣруетъ и на кого надѣется. Но когда вся эта докука его одолѣваетъ, то онъ уже не въ силахъ ни стоять, ни бѣгать и отвѣчаетъ въ лапидарномъ стилѣ:

«Какъ себѣ хотите, такъ и дѣлайте, а мнѣ не мѣшайте, по крайней мѣрѣ, сопты (т.-е. сопѣть), да вытирать потъ съ чела».

И дѣло не обошлось безъ того, что митрополитъ побывалъ у отца Фоки. Къ счастію, его высокопреосвященство всѣмъ остался доволенъ и обласкалъ дочь хозяина, а угощеніе было не нужно. При простотѣ и невзыскательности покойнаго м. Филарета, все сошло съ рукъ хорошо, но, однако, мукъ и тревогъ бѣдному отцу Фокѣ, все-таки, какъ видимъ, было не мало. Затѣмъ гости уѣзжаютъ и благочинный съ сотрудниками могутъ вспомнить и о себѣ.

«По выѣздѣ свиты (продолжаетъ дневникъ) мы принялись доставать бутылку мадеры и чай съ пуншомъ».

Подкрѣпясь, от. Фока пустился вслѣдъ за митрополитомъ въ Мотыжинъ. Пріѣхавъ туда «и зашевеливъ всѣхъ, (онъ) принялся переписывать набѣло свою вчерашнюю проповѣдку, которую и удалось, за благословеніемъ архипастырскимъ, сказать въ мотыжинской церкви».

Какъ онъ могъ во всей этой безтолковой суетѣ обдумывать, сочинять и набѣло переписывать свою «проповѣдку»,— это достойно удивленія. Именно, развѣ Богъ помогалъ. Но не легче ему было придти въ себя и собраться съ духомъ, чтобы произнести эту «проповѣдку» въ присутствіи своего маститаго начальника.

«Встрѣча (въ Мотыжинѣ) была сдѣлана только двумя священниками: отц. Тихономъ и Вознесенскимъ. Первый изъ нихъ тотчасъ началъ литургію. Пѣвчіе пѣли, а я шатался и хлопоталъ о чаѣ и фрыштыкѣ, но успѣлъ неробко произнести слово».

«Сопты и отирать съ чела потъ» болѣе было не нужно. Дневникъ далѣе повѣствуетъ: (владыка) «уѣхалъ съ довольно веселымъ къ намъ благорасположеніемъ. Тутъ-то мы, отощавшіе, принялись въ 12 часовъ въ домѣ отца Іакова подкрѣпляться, гдѣ былъ и священникъ Ч—скій, пріѣхавшій просить духовенства на погребеніе жены священника Г—ва, вчера скончавшейся. Напились до избытка и, дремля, въ 6 час. вечера, уѣхали».

Этимъ заключено описаніе второй архіерейской встрѣчи, которою труждался въ своемъ благочинническомъ житіи отецъ Фока Струтинскій. Впечатлѣніе, производимое его характернымъ очеркомъ, опять очень цѣльно и способно надолго оставить въ памяти всю эту комическую суматоху, гдѣ не отличишь серьезное отъ смѣшного. Я, конечно, не берусь опредѣлять: насколько дѣятели описанной суматошной исторіи повысились или понизились послѣ того, какъ чрезъ ихъ мѣста прослѣдовалъ владыка, и они, тотчасъ же за его отъѣздомъ,—не знаю—съ горя или съ радости,—«напились до избытка»,—при чемъ подъ эту же стать попалъ и скорбный посолъ смерти,—священникъ, пріѣхавшій просить духовенство на погребеніе жены другого священника, «вчера скончавшейся»... Вотъ и все возвращеніе «цѣлебныхъ свойствъ застоявшимся водамъ сельской купели!» Живыми и мертвыми здѣсь обладаетъ какая-то жуть, отъ которой даже бѣдной покойницѣ безпокойно. Будь это все проще и не вызывай такой суеты, разумѣется, было бы лучше; тогда передъ нами, можетъ-быть, прошло бы теченіе болѣе чистое и въ которомъ мы могли бы разглядѣть что-нибудь болѣе достойное вниманія и заботъ благочестиваго человѣка вообще, а христіанина въ особенности.

Но и это не все, что можно сказать. Никакъ не надо забывать, что все открываемое намъ дневникомъ отца Фоки происходило при митрополитѣ Филаретѣ Амфитеатровѣ,—человѣкѣ очень простомъ и добромъ, котораго изъ духовенства мало кто боялся. От. Фока его если и трусилъ немножко, то только вначалѣ, при первой встрѣчѣ, да и то какъ будто «въ нарошну», а потомъ только хотѣлъ «сопты да потъ отирать». Но совсѣмъ не то производилъ владыка, которому предтекала молва, что онъ нетерпѣливъ и взыскателенъ.

Дневникъ отца Фоки Струтинскаго даетъ очень интересный образчикъ и въ этомъ забавномъ родѣ.

Другой архіерей, безпокоившій своими встрѣчами отца Фоку, былъ викарій Филарета Амфитеатрова, епископъ чигиринскій Аполлинарій. Этотъ святитель далеко не слылъ за такого добряка, какъ покойный митрополитъ.

Въ дневникѣ отца Фоки отмѣчены двѣ визитаціи этого владыки (тоже уже скончавшагося),—одна вкратцѣ и вскользь, а другая поспокойнѣе и попросторнѣе.

Тревоги по первому наѣзду начинаются 14-го мая, 1847 г.

«*14-го мая*, суббота. Указъ полученъ, что 16-го преосв. Аполлинарій выѣдетъ изъ Кіева, для обозрѣнія по нашему пути церквей.—Новыя хлопоты!»

«*16-го мая.*—Погода ясная, но вѣтеръ столько холодный, что пришлось ѣхать въ теплой шубѣ. Въ Мотыжинѣ долго скучали ожидая;—онъ прибылъ часу въ 5-мъ или въ 6-мъ. Встрѣтили благополучно, только за записку книгъ, за подчистки и проч. нѣсколько пожурилъ. Впрочемъ, обходился довольно ласково. При встрѣчѣ были священники В—въ, Р—скій и дядя Г—съ съ клирами.»

«Когда его п-ство изъявилъ согласіе пить чай, то я, испросивъ у него благословеніе, пустился во всю прыть къ Фасову, а за мною въ погоню дьяконы и пѣвчіе въ двухъ экипажахъ, за обычнымъ ялмужнымъ (нищенскимъ поборомъ), которое и получили отъ меня».

Какъ шибко ни гналъ от. Фока отъ этихъ обирохъ, но не спасся отъ нихъ даже полученнымъ благословеніемъ. Они нагнали и обработали благочиннаго на той самой дорогѣ, по которой, *всего въ четверти часа* разстоянія, ѣхалъ за ними ихъ епископъ, человѣкъ довольно строгій и взыскательный.

«Черезъ четверть часа (продолжаетъ отецъ Фока) прибылъ и владыка Аполлинарій. Здѣсь при встрѣчѣ были отцы В—скій, С—скій и Г—ловъ, *съ пьяными бездѣльниками клириками...*»

Здѣсь упоминается тотъ самый отецъ Г—ловъ, у котораго скончалась жена во время вышеописанной митрополичьей встрѣчи, когда на погребеніе ея приглашали духовенство, «по трудѣхъ своихъ подкрѣпившееся до зѣла».

«Преосвященный велѣлъ конторщику сдѣлать замѣчанія о томъ, что̀ нашелъ въ книгахъ... что̀ сей и учинилъ: а что̀ изъ того выйдетъ—почуемъ хто живой дижде».

«Преосвященный давно уговаривалъ Г—лова къ себѣ въ

монастырь. У дьякона замѣтилъ полуштофъ на окнѣ съ жидкостью. Съ улыбкой допрашивалъ: что это?

— «Уксусъ, ваше преосвященство.

— «Да ну,—точно ли?

— «Ни... уксусъ, уксусъ... да еще и добрый уксусъ. Ось понюхайте, владыка».

«Чудакъ отецъ Калиникъ—смѣшитъ владыку всякій проѣздъ».

«При захожденіи солнца, — преподавъ намъ изъ кареты благословеніе, а отцу Г—лову подтвержденіе одуматься и явиться въ Михайловскій монастырь, преосвященный отправился въ Рожовъ, а я въ сумерки выѣхалъ изъ Фасовы и ночевалъ у отца Т—на безъ чаю... Такъ-то честь благочиннымъ; а трудись и отвѣчай за грѣшки подвѣдомственныхъ».

«*17-го мая.* Зато утромъ выпилъ три стакана и узналъ, что въ Бѣлогородкѣ еще болѣе гонялъ за книги, чѣмъ у насъ. Слѣдовательно, всѣмъ досталось на калачи»

Но эта ревизія пр. Аполлинарія, съ полученіемъ отъ него «на калачи», оставила, повидимому, у сельскаго духовенства довольно сильное впечатлѣніе и значительно усугубила «притрепетность», которую совсѣмъ не имѣлъ таланта возбуждать «старичокъ Божій» Филаретъ Амфитеатровъ. Узнавъ, что викарій значительно строже епарха, сельскіе отцы, при слѣдующемъ, новомъ его объѣздѣ, подтянулись, и зато описаніе второго ожиданія преосв. Аполлинарія въ дневникѣ отца Фоки вышло всѣхъ живѣе и интереснѣе.

«*6-го сентября* (1849 г.). Вечеромъ, ѣхавшій съ Кіева отецъ В—скій потревожилъ насъ нѣсколько *увѣдомленіемъ, полученнымъ въ бузовской корчмѣ*, будто бы владыку ожидаютъ на ночь въ Ясногородку».

«*9-го сентября.* Протоіерей выѣхалъ изъ дому *высматривать преосвященнаго*, а я окрестилъ младенца его прихода. Мужики пьянствуютъ и до крови дерутся между собою,—какая несносная картина! Жиды не въ правѣ ли упрекать христіанъ? Увы! увы! увы!»

«*11-го сентября, недѣля на новолуніе.* Послѣ отдыха, вечеромъ, навѣщалъ бѣлогородскихъ, и узналъ, что о. протоіерей ѣздилъ въ Бышевъ и въ Ясногородку, но ничего не слышно тамъ о приближеніи епископа,—и Богъ вѣдаетъ,

Другой архіерей, безпокоившій своими встрѣчами отца Фоку, былъ викарій Филарета Амфитеатрова, епископъ чигиринскій Аполлинарій. Этотъ святитель далеко не слылъ за такого добряка, какъ покойный митрополитъ.

Въ дневникѣ отца Фоки отмѣчены двѣ визитаціи этого владыки (тоже уже скончавшагося),—одна вкратцѣ и вскользь, а другая поспокойнѣе и попросторнѣе.

Тревоги по первому наѣзду начинаются 14-го мая, 1847 г.

«*14-го мая*, суббота. Указъ полученъ, что 16-го преосв. Аполлинарій выѣдетъ изъ Кіева, для обозрѣнія по нашему пути церквей.—Новыя хлопоты!»

«*16-го мая*.—Погода ясная, но вѣтеръ столько холодный, что пришлось ѣхать въ теплой шубѣ. Въ Мотыжинѣ долго скучали ожидая;—онъ прибылъ часу въ 5-мъ или въ 6-мъ. Встрѣтили благополучно, только за записку книгъ, за подчистки и проч. нѣсколько пожурилъ. Впрочемъ, обходился довольно ласково. При встрѣчѣ были священники В—въ, Р—скій и дядя Г—съ съ клирами.»

«Когда его п-ство изъявилъ согласіе пить чай, то я, испросивъ у него благословеніе, пустился во всю прыть къ Фасову, а за мною въ погоню дьяконы и пѣвчіе въ двухъ экипажахъ, за обычнымъ ялмужнымъ (нищенскимъ поборомъ), которое и получили отъ меня».

Какъ шибко ни гналъ от. Фока отъ этихъ обирохъ, но не спасся отъ нихъ даже полученнымъ благословеніемъ. Они нагнали и обработали благочиннаго на той самой дорогѣ, по которой, *всего въ четверти часа* разстоянія, ѣхалъ за ними ихъ епископъ, человѣкъ довольно строгій и взыскательный.

«Черезъ четверть часа (продолжаетъ отецъ Фока) прибылъ и владыка Аполлинарій. Здѣсь при встрѣчѣ были отцы В—скій, С—скій и Г—ловъ, *съ пьяными бездѣльниками клириками...*»

Здѣсь упоминается тотъ самый отецъ Г—ловъ, у котораго скончалась жена во время вышеописанной митрополичьей встрѣчи, когда на погребеніе ея приглашали духовенство, «по трудѣхъ своихъ подкрѣпившееся до зѣла».

«Преосвященный велѣлъ конторщику сдѣлать замѣчанія о томъ, что̀ нашелъ въ книгахъ... что̀ сей и учинилъ: а что̀ изъ того выйдетъ—почуемъ хто живой дождє».

«Преосвященный давно уговаривалъ Г—лова къ себѣ въ

монастырь. У дьякона замѣтилъ полуштофъ на окнѣ съ жидкостью. Съ улыбкой допрашивалъ: что это?

— «Уксусъ, ваше преосвященство.

— «Да ну,—точно ли?

— «Ни... уксусъ, уксусъ... да еще и добрый уксусъ. Ось понюхайте, владыка».

«Чудакъ отецъ Калиникъ—смѣшитъ владыку всякій проѣздъ».

«При захожденіи солнца, — преподавъ намъ изъ кареты благословеніе, а отцу Г—лову подтвержденіе одуматься и явиться въ Михайловскій монастырь, преосвященный отправился въ Рожовъ, а я въ сумерки выѣхалъ изъ Фасовы и ночевалъ у отца Т—на безъ чаю... Такъ-то честь благочиннымъ; а трудись и отвѣчай за грѣшки подвѣдомственныхъ».

«*17-го мая.* Зато утромъ выпилъ три стакана и узналъ, что въ Бѣлогородкѣ еще болѣе гонялъ за книги, чѣмъ у насъ. Слѣдовательно, всѣмъ досталось на калачи»

Но эта ревизія пр. Аполлинарія, съ полученіемъ отъ него «на калачи», оставила, повидимому, у сельскаго духовенства довольно сильное впечатлѣніе и значительно усугубила «притрепетность», которую совсѣмъ не имѣлъ таланта возбуждать «старичокъ Божій» Филаретъ Амфитеатровъ. Узнавъ, что викарій значительно строже епарха, сельскіе отцы, при слѣдующемъ, новомъ его объѣздѣ, подтянулись, и зато описаніе второго ожиданія преосв. Аполлинарія въ дневникѣ отца Фоки вышло всѣхъ живѣе и интереснѣе.

«*6-го сентября* (1849 г.). Вечеромъ, ѣхавшій съ Кіева отецъ В—скій потревожилъ насъ нѣсколько *увѣдомленіемъ, полученнымъ въ бузовской корчмѣ*, будто бы владыку ожидаютъ на ночь въ Ясногородку».

«*9-го сентября.* Протоіерей выѣхалъ изъ дому *высматривать преосвященнаго*, а я окрестилъ младенца его прихода. Мужики пьянствуютъ и до крови дерутся между собою,—какая несносная картина! Жиды не въ правѣ ли упрекать христіанъ? Увы! увы! увы!»

«*11-го сентября, недѣля на новолуніе.* Послѣ отдыха, вечеромъ, навѣщалъ бѣлогородскихъ, и узналъ, что о. протоіерей ѣздилъ въ Бышевъ и въ Ясногородку, но ничего не слышно тамъ о приближеніи епископа,—и Богъ вѣдаетъ,

когда онъ будетъ въ нашемъ вѣдомствѣ и когда мы сдѣлаемъ ему встрѣчу? Чаяніе нашихъ духовныхъ ослабѣло, хотя я и предписывалъ являться».

«*12-го сентября.* Однакоже и 12-го еще никто не явился. Ночи холодноваты и морозцы проявляются, а тутъ-то гречиха еще у меня не скошена. Черезъ разныя хлопоты, не знаешь за что и приняться. Во время праздника издохла сивая корова, купленная въ Княжичахъ, а прежде двое телятъ».

«*14-го сентября, среда.* Поклонниковъ было до полсотни, и мы послѣ литургіи отправились въ Крюковщину, гдѣ застали духовенства довольно, — кажется, съ восемь священниковъ. Обѣдали, самоварствовали и, наконецъ, по причинѣ мрачной ночи и росившаго дождика, остались ночевать».

«*15-го сентября.* Въ часу первомъ послѣ обѣда уѣхали и достигли благополучно дома. Опять застали издохлую телушку. И у крестьянъ тоже гибнетъ скотъ. Бѣда!»

Но зато при этой бѣдѣ сейчасъ же слѣдуетъ долгожданное событіе, заставляющее отца Фоку забыть бѣду скотопаденія и полагающее конецъ его долгимъ странствіямъ съ цѣлію «высматривать преосвященнаго».

«Въ сумерки летитъ ко мнѣ изъ Бѣлогородки записка, писанная рукою плисецкаго священника, отца Іоанна Колтоновскаго, который увѣдомляетъ, что преосвященный уже къ Плисецкому приближается... Я узналъ, что о. протоіерей противъ ночи (т.-е. на ночь) отправился въ Ясногородку, а я, устроивъ тогда же порядокъ въ своей церкви и *умоливъ* Косьму Иващенка, чтобы до свѣта ѣхалъ въ Кіевъ за покупками для принятія гостей, спокойно проспалъ до разсвѣта».

Это былъ послѣдній спокойный сонъ благочиннаго въ его собственномъ домѣ. Съ этихъ поръ начинается все бо̀льшая и бо̀льшая суета, а за нею и «притрепетность», постоянно возрастающая отъ приходящихъ грозныхъ извѣстій.

«*16-го сентября.* Рано пустился въ легонькой повозочкѣ, при кучерствѣ Кобченка, въ Княжичи и часу въ восьмомъ достигохъ іерейской квартиры. Только хотя о. Александръ и оспаривалъ, что о епископѣ нѣтъ никакихъ слуховъ, однакоже я понудилъ его идти въ церковь и, пока что,

приводить въ порядокъ. Самъ же остался въ домѣ и подготовлялъ кое-какія приказанія и распоряженія, вслѣдствіе чего и посланъ сидящій на костыляхъ В—скій, въ повозочкѣ, въ Новоселки, съ требованіемъ тамошняго причета и для развѣдыванія».

«Во время дѣланнаго распоряженія, мать отца Александра, прибывшая къ сыночку изъ бердичевскаго и сквирскаго уѣздовъ, пересказывала чудеса о весьма и весьма строгомъ обращеніи епископа и, можно сказать, умлѣвала (sic)— дай только, чтобы и мы не испытали жезла строгости... Умилительно просила меня,—какъ можно, и себя поберечь и ея сынуня. Что тутъ дѣлать? Поневолѣ струсишь. Хотѣлъ бы я уже, наслушавшись краснорѣчивыхъ: «*Охъ, таточку жъ мій ридненькій! Да отецъ же благочинный!..*» и проч. сладкоглаголевыхъ словъ,—восхотѣлъ бы и азъ уѣхать за тридевять земель, въ тридесятое царство; но увы, — Кобченокъ уже кони позаводывъ въ конюшню, а самъ потащился выпивать кануннаго княжицкаго меду. Пый, пый, сыну, пòки сòлодко, але якъ буде гирко,—отъ тоди що будемо робыты?...»

«Та вже жъ чы то сякъ, чы то такъ,—пиду, лышень, и я до храму Божого и побачу порядкивъ»...

Лишь отецъ Фока переступаетъ за порогъ «Храму Божого», какъ видитъ такіе «порядки», что весь страхъ у него пропадаетъ, и благочиннымъ овладѣваетъ его веселый юморъ, предавшись которому онъ продолжаетъ писать по-малороссійски.

«Колы-жъ я туды війду (т.-е. въ храмъ)... Гòсподы мылостывый!.. Жинòкъ (бабъ) трòха не зъ десять стоятъ рàкомъ, попидтыкованныхъ и мыютъ въ церкви пидлогу (полы), а чоловиковъ (мужчинъ) мабуть зъ чотыри,—хто зъ винькомъ, а кто зъ крыломъ птычымъ, ходятъ межъ жинками, да все штурхають, да обмитають, то порохъ (пыль), то паутыну... Побачивши таке безладье, я подумавъ соби гришный: ну що якъ владыка до насъ румъ (сейчасъ нагрянетъ) и застанс въ циркви насъ съ пидтыкаными жинками?.. Ото-то реготу (хохоту) богацько буде!»...

«Тымъ часомъ все сдіялось до ладу и мы, взгромоздывши на колокольню старого, слипого сторожа, щобъ на окуляры дывивсь (въ очки смотрѣлъ) на дви дорози: Ясногородску и

Музыцку. Хто буде дуже шпарко котыться по дорози. Але жъ то, отцове, якъ бувъ тоди вельми велыкій и холодный витеръ, то разъ сторожъ збунтовавъ насъ, що катыться брыль по дорози, зирванный зъ головы Пылипона Крупчатника... Другій разъ насъ сполошывъ, якъ побачивъ, що пидъ корчмою на самисинькой дорози покатывься соцькій, якъ іого сперещивъ москаль по потылицы (солдатъ съѣздилъ по затылку). Третій разъ усе-таки нашъ слипый сторожъ крычавъ на дзвоницы якъ дурный, побачивши що гончаръ перекунывсь йдучи (ѣдучи) зъ Ясногородки и горшки зъ воза (телѣги) покотылись... А въ четвертый разъ... да вже совсимъ не до ладу, та що же маете робыты... оглашенный дидъ крычыть, що *копыця овечка!* Тифу ты пропасть! Ходымъ до хаты, да винъ, старый дурень, ще не такъ буде насъ дурыть».

«Ото мы пошли въ комнату вдовой госпожи, не успѣли тамъ натощакъ выпить по стакану кануннаго меду, какъ увидѣли запыхавшись бѣгущихъ мужичковъ и увѣряющихъ, что два экипажа отъ Ясногородки уже приближаются къ селу».

«Тутъ можно было и въ самомъ дѣлѣ ошибиться, ибо два экипажа, — коляски, впряженныя по четыре хорошихъ лошади съ фурманами и ліокаями, — алежъ то ѣхали подлѣ церкви паны якись-то и покатылись по гребли».

«Мы опять возвратились въ комнату госпожы, колы и глядь, ажъ нашъ сторожъ полизъ уже въ свій погребныкъ и каже:

— «Я по-снидаю, та надивши кожухъ вылизу на дзвоныцю, то певне вже якъ засну, то мени во сни що нибудь прывидится».

— «Ей гляды жъ, иду, гляды, а мы пойдемъ снидати, або вжей обидати до прыкащика, г. Сотничевскаго,—Амфилохія Петровича».

«Это было уже въ часу второмъ пополудни, и то дай Богъ здоровье и его женѣ (т.-е. Сотничевскаго, Амфилохія Петровича), подкрѣпились сперва водочкой и маринованною рыбкою, а потомъ чаемъ и рябиновымъ пуншикомъ, къ которому пріѣхалъ и отецъ Стефанъ съ нетрезвымъ Н—мъ. Испивъ въ заключеніе кружку очень пріятнаго хлѣбнаго квасу, мы, въ часу пятомъ, опять пошли къ госпожѣ М—ой. Тутъ является нашъ хромоногій курьеръ изъ Ясногородки

и увѣряетъ, что сейчасъ только возвратился посланникъ изъ Плисецкаго въ Ясногородку съ извѣстіемъ, что должно всенепремѣнно владыку ожидать на слѣдующихъ за симъ двухъ дняхъ, и что онъ уже неотмѣнно будетъ.

«Итакъ, слыша увѣренія хромоногаго гонца и видя приближающееся къ закату солнце, мы уже рѣшились идти на подкрѣпленіе и ночлегъ къ отцу Александру; но вдругъ бѣгущіе даютъ знать намъ, что епископъ ѣдетъ по плотинѣ, и мы едва-едва успѣли выдти къ нему навстрѣчу. Я подошелъ къ самой каретѣ и первое слово его было: «давно ли я пріѣхалъ съ Княжичи!»

«Когда вошли съ нимъ, при пѣніи заныхавшагося и слабаго клира, въ алтарь, тогда только загорѣлся сѣрничекъ въ рукахъ ктитора и начали зажигаться свѣчи».

Столько отецъ Фока употребилъ предусмотрительности и самыхъ опытныхъ предосторожностей, чтобы владыка былъ «высмотрѣнъ», но вотъ какъ оно вышло мизерно и жалостно: хоръ поетъ запыхавшись, архіерей проходитъ въ алтарь впотьмахъ и тогда только еле-еле «загорается сѣрничекъ въ рукахъ ктитора».

Такъ эти злополучные встрѣчальщики съ ихъ хромыми курьерами, слѣпыми махальными и «ракомъ» ползающими по церкви и «пидтыкованными жинками», выбились изъ силъ и сбились съ толку гораздо ранѣе, чѣмъ ихъ толкъ и сила потребовались на настоящее, полезное служеніе отечественной церкви.

Осмотрѣвъ антиминсъ и св. дары, архіерей пошелъ посмотрѣть—какъ живетъ священникъ.

«Тамъ (пишетъ отецъ Фока) я засталъ преосвященнаго, пересказывающаго, что въ иныхъ мѣстахъ (конечно, кіевской же епархіи) священство не въ примѣръ хуже имѣетъ квартиры, и повѣствовалъ намъ о ночлегѣ своемъ у одного пастыря, какъ тамъ дули въ окна вѣтры, а подъ окнами хрюкали цѣлую ночь свиньи».

Засимъ приходитъ какой-то «пьяный панъ К—скій»,—это епископу не нравится, и онъ уѣзжаетъ скорѣе, чѣмъ ожидали.

Проѣзжая черезъ село Гореничи, гдѣ настоятельствовалъ самъ авторъ дневника, преосвященный былъ ласковъ: разговаривалъ съ женою отца Фоки и его дочерями; хвалилъ

вышитую икону, выпилъ стаканъ чаю, «покушалъ ушички и свѣжѣйшаго ляща и проч. и запилъ мадерою».

«По моей просьбѣ,—продолжаетъ о. Фока,—обѣщалъ зайти въ храмъ Господень, который весь тотчасъ же *превратился въ иллюминацію*».

У отца Фоки эта часть, какъ видно, была въ такомъ порядкѣ, что онъ могъ ее смѣло репрезентовать своему епископу. Но архіерей былъ, очевидно, утомленъ обиліемъ почетныхъ церемоній и «просилъ, чтобы не дѣлать никакой встрѣчи и пѣнія».

«Войдя въ церковь не прямыми дверями, а пройдя инуде черезъ понамарню», его преосвященство «нѣсколько сконфузился», замѣтивъ въ храмѣ десятка три прихожанъ, и приложился къ иконѣ Божіей Матери».

Дневникъ не объясняетъ: чего именно «сконфузился» владыка, «замѣтивъ десятка три прихожанъ», — показалось ли ему, что три десятка людей мало для его пріѣзда и «иллюминаціи»; въ которую «превратился» по этому случаю храмъ; или ему уже до такой степени надоѣли сбѣгавшіеся ему навстрѣчу люди, что одинъ ихъ видъ приводилъ его въ смущеніе? Дневникъ также ничего не сообщаетъ,—сказалъ ли что-нибудь архипастырь этому «малому стаду» вѣрныхъ? Видно только, что онъ «приложился» къ иконѣ и осмотрѣлъ «превратившійся въ иллюминацію» храмъ. А это очень жалко, потому что, какъ справедливо кѣмъ-то замѣчено, наши простолюдины особенно любятъ «вѣроучительное слово», просто и прямо обращенное къ нимъ отъ высшихъ лицъ церковной іерархіи, и нѣкоторые изъ нынѣшнихъ архіереевъ, нраву которыхъ не претитъ это простосердечное желаніе, стараются не отказывать въ этомъ (таковъ, напр., преосв. Модестъ, стяжавшій себѣ въ эти самые дни aura popularis на Подлясьѣ). Но любители пышности смотрѣли на эти вещи иначе, и потому сношенія архипастыря съ «малымъ стадомъ» въ Гореничахъ, можетъ-быть, были безсловесныя. Иначе аккуратный записчикъ всего происходящаго, отецъ Фока не преминулъ бы отмѣтить это въ своихъ записяхъ. Но онъ заключаетъ сказаніе о сей встрѣчѣ кратко словами: «простился, благословилъ и уѣхалъ». А затѣмъ слѣдуетъ неинтересная роспись «фургоновъ», на которыхъ повезли конторщика, дьяконовъ и иподіаконовъ, въ числѣ коихъ проименованъ отецъ Адій, съ пояснительною атте-

стаціею: «всѣми презираемый». Маленькихъ пѣвчихъ отецъ Фока пожалѣлъ, оставилъ у себя ночевать и уложилъ «всѣхъ покотомъ», а утромъ супруга отца Фоки накормила этихъ утомленныхъ мальчиковъ «горячими пирогами съ говядиной», за что они, оправясь отъ усталости, въ благодарность хозяйкѣ, «запѣли нѣсколько кантиковъ», а она имъ дала на орѣхи по «злотому» (т.-е. по 15 коп.).

Потомъ и этихъ ребятъ запаковали въ фургоны и отправили.

«Пѣвчіе остались нашимъ угощеніемъ довольны, какъ замѣтно было», отвѣчаетъ практическій отецъ Фока, не пренебрегавшій, повидимому, и единымъ отъ малыхъ сихъ, часто видящихъ лицо его преосвященства. И эта заботливость о ребяткахъ, по правдѣ сказать, представляетъ самое теплое мѣсто въ интересномъ дневникѣ отца Фоки.

Затѣмъ финалъ, по обычаю: «Выпроводивши ихъ, мы порядочно принялись отдыхать и проспали до того времени, какъ пріѣхала къ намъ Анна Ѳедоровна на поклоненіе».

Все кончилось «простенько, но мило», — только много было хлопотъ и шуму, и притомъ чуть-чуть не изъ-за пустяковъ.

Но бывали хлопоты и совсѣмъ изъ-за пустяковъ.

Всѣмъ изобильный дневникъ отца Фоки сообщаетъ небольшую исторійку и въ этомъ родѣ.

Выписываемъ еще одно послѣднее сказаніе изъ лѣтописи отца Фоки, и очеркъ нашъ конченъ.

«*13-го августа* (*1851 г.*). Засталъ дома указы о проѣздѣ епископа по епархіи съ 16-го августа. Труды и заботы, писанія. Хлопоты и ни откуда пособія. Всего уродило 28 копъ».

«*15-го, среда.* Послѣ обѣда, по моему приказанію прибираютъ въ храмѣ, ибо владыка будетъ ѣхать,—чтобы не заѣхалъ въ Гореничи... А у меня дѣлъ по хозяйству пропасть, но о нихъ некогда и подумать».

«*16-го.* Посланецъ донесъ, что владыка Аполлинарій уже въ Рубежевкѣ, и мы вечеромъ въ Копыловѣ».

«Духовенство стало на-чеку, и даже прозвонили (на колокольнѣ) какой-то каретѣ, въ которой (какъ послѣ оказалось) ѣхалъ не архіерей, а сидѣла помѣщица, генеральша Дани-

левская... Въ сумерки еще, сидя за самоваромъ, прислушивались пріѣзда, а послѣ ужина я преспокойно уснулъ».

«*17-ю.* До двѣнадцати часовъ постничали, а послѣ прекрасно покушали свѣжей рыбы и пироговъ, и прекрасно заснули, по обычаю предковъ. По захожденіи солнца настояли нарядить гонца для рекогносцировки (высматривать архіерея), но послѣ ужина довольно поздно положились отдыхать съ о. Василіемъ и Стефаномъ... Долго я не могъ уснуть, ожидая вѣстника; наконецъ, едва только вздремнулъ, какъ послышалось громогласное пѣніе: «*Слава въ вышнихъ Богу*», раздающееся на подворьѣ. Мнѣ вообразилось, что это архіерейскіе пѣвчіе, и я вышелъ, но къ немалому моему удовольствію узналъ, что это хоръ отца протоіерея съ провожатыми».

Архіерей, за различными путевыми неурядицами, заставлявшими его «сердиться и кричать», проѣхалъ мимо. По этому случаю и была пропѣта на дворѣ ангельская пѣснь: «*Слава въ вышнихъ Богу*». А если бы владыка пріѣхалъ, то, конечно, отцы воспѣли бы: «*Днесь благодать Святого Духа насъ собра...*» Вообще, довольно трудно разобрать: что̀ они искреннѣе поютъ или вопіютъ, взываютъ или глаголятъ? И винить ихъ строго нельзя, они такъ спозаранокъ натасканы.

Одна московская газета («Соврем. Извѣстія»), разсуждая о явленіяхъ, которыя составляютъ «потрясающую сатиру на растлѣніе нашего общества», весьма справедливо говоритъ: «то, чему мы теперь осуждены быть печальными свидѣтелями, есть прямой плодъ разлада словъ, мыслей и дѣла: лицемѣріе благочестія обращается въ лицемѣріе атеизма». Это вѣрно, и слѣды этого ясны во всемъ, къ чему бы мы ни обратились ab imo pectore. Надо имѣть все безстыдство людей, для коихъ служитъ поводомъ поговорка: «aprez nous le déluge», чтобы еще и теперь стоять за какое бы то ни было укоренившееся лицемѣріе, въ какой бы то ни было формѣ. Во всякой формѣ оно ведетъ къ одному: *къ деморализаціи...*

Corruptio optimi pessima.

ЕПАРХІАЛЬНЫЙ СУДЪ.

«Отъ Меня произойдетъ законъ и правду Мою я выставлю свѣтомъ для народовъ». Исаія 51, 4.

Въ обширной и многосторонней полемикѣ, возбужденной недавно выходомъ въ отставку бывшаго министра народнаго просвѣщенія и оберъ-прокурора святѣйшаго синода, графа Толстого, далеко не послѣднее мѣсто занимаетъ споръ о заслугахъ этого сановника по духовному вѣдомству. Одна изъ петербургскихъ газетъ,—именно «Новое Время»,—дѣлая общую оцѣнку заслугамъ графа, пришла къ тѣмъ заключеніямъ, что по духовному вѣдомству его распоряженія были во многихъ отношеніяхъ лучше и цѣлесообразнѣе его распоряженій по министерству народнаго просвѣщенія. Это подало поводъ къ замѣчательному спору, который, по моему мнѣнію, до сихъ поръ не выясненъ и не оконченъ. Между тѣмъ, это очень интересно не для того только, чтобы сойтись на одномъ мнѣніи о графѣ Толстомъ; нѣтъ, тутъ есть дѣло гораздо болѣе важное.

Я не имѣю никакой нужды входить въ оцѣнку справедливости высказаннаго мнѣнія, но долженъ замѣтить, что оно довольно распространено и было поддержано въ Петербургѣ «Церковно-Общественнымъ Вѣстникомъ», газетою очень здравомыслящею и въ церковныхъ вопросахъ свѣдущею. Зато въ Москвѣ это мнѣніе показалось очень обиднымъ и несправедливымъ, и одна изъ тамошнихъ газетъ, «Современныя Извѣстія», выступила съ рѣзкими замѣчаніями противъ такой оцѣнки заслугъ гр. Д. А. Толстого по св. синоду. Московская газета вспомянула объ оскудѣніи плодовъ вѣры

и, какъ на особенную вредность для церкви,—указала на неудачную попытку графа Толстого ввести, вмѣсто нынѣшняго безконтрольнаго консисторско-архіерейскаго суда,— судъ въ другой формѣ, — болѣе правильной и болѣе защищающей личность отъ произвола.

На этомъ разыгралось дѣло, доведенное только до того, что поспорившія стороны высказались и замолчали: московская газета осталась при своемъ мнѣніи, а петербургскія— при своемъ; дѣло же не подвинулось ни на волосъ, да даже едва ли и уяснилось для публики, которой, однако, необходимо имѣть о немъ вѣрное понятіе. Правда, «Церк.-Общ. Вѣстникъ», возражая «Современнымъ Извѣстіямъ», далъ хорошій отвѣтъ на нападки московской газеты и указалъ, что нынѣшній закрытый консисторско-архіерейскій судъ не только во всѣхъ отношеніяхъ неудовлетворителенъ, но и не согласенъ съ древнею церковною практикою; но всѣ эти доказательства, — убѣдительныя и вѣскія для людей свѣдущихъ, — большинству публики почти совсѣмъ недоступны. Кто у насъ знаетъ законы? кто знакомъ съ старою церковною практикою? Такихъ людей очень немного въ духовенствѣ и почти совсѣмъ нѣтъ въ публикѣ. А между тѣмъ, то, что̀ мы, по обыкновенію, называемъ публикою, есть, въ извѣстномъ смыслѣ, та же *церковь*, т.-е. собраніе людей, связанныхъ единствомъ духовныхъ интересовъ, и ради этихъ-то интересовъ, *всѣмъ намъ* пристойно знать объ этомъ дѣлѣ и имѣть свое мнѣніе о значеніи нынѣшняго нашего духовнаго суда, такъ какъ отъ него зависитъ клиръ, а отъ хорошаго или дурного клира зависитъ развитіе духовной жизни народа, до сихъ поръ еще весьма мало и весьма неудовлетворительно наставленнаго въ христіанскомъ ученіи. Поэтому, мнѣ кажется, не напрасно будетъ предложить общественному вниманію вопросъ о духовномъ судѣ еще въ одной простѣйшей и понятнѣйшей формѣ, въ которой всякому, и незнакомому съ канонами, человѣку станутъ понятны недостатки нынѣшняго консисторско-епископскаго суда. Тогда и враги реформъ въ этомъ вопросѣ, и враги всего вообще новаго судопроизводства въ состояніи будутъ сравнить то, за что̀ они стоятъ, съ тѣмъ, что̀ они гонятъ,— и, можетъ-быть, совѣсть и здравый смыслъ и имъ вложатъ что-нибудь другое въ сердце. Къ счастію, и, благодаря небольшой дозѣ вниманія, какое мнѣ всегда внушало мое не-

равнодушіе къ церковнымъ дѣламъ, я имѣю возможность предложить объ этомъ не большую, но документальную бесѣду; а непререкаемымъ документомъ, на который я буду ссылаться, мнѣ будутъ служить вѣдомости одной епархіи, издающіяся не совсѣмъ такъ, какъ издаются вѣдомости прочихъ епархій. Я говорю о «Новгородскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ», въ которыхъ принято не дѣлать секрета изъ судебныхъ рѣшеній, постановляемыхъ епархіальною властью о преступленіяхъ и проступкахъ мѣстнаго духовенства.

Находя эти краткія отмѣтки самымъ живымъ и интереснымъ матеріаломъ для сужденій о достоинствахъ духовнаго суда, я имѣлъ терпѣніе четыре года къ-ряду слѣдить за этимъ судомъ въ Великомъ-Новгородѣ и дождался, что теперь мои замѣтки могутъ пригодиться въ дѣло.

Пропуская безконечныя штрафовки духовныхъ за пьянство, беремъ только тѣ случаи, которые намъ кажутся болѣе замѣчательными и характерными, какъ по роду вины, такъ и по формѣ наказаній.

Рясофорная послушница Горицкаго женскаго монастыря Августа, за неодобрительное поведеніе, уволена изъ обители и обращена въ первобытное званіе. Діаконъ дворецкой церкви Крутяковъ запрещенъ за нетрезвость. Боровичскаго уѣзда священникъ Василій Знаменскій запрещенъ за нетрезвость, неисправность и неблагочиніе.

Такимъ образомъ, простая нетрезвость и нетрезвость, соединенная съ неисправностью и неблагочиніемъ, при всей совокупности преступленій, наказываются *одинаково*. Почему это такъ—объясненій, конечно, нѣтъ. *Благочинный*, старорусскій протоіерей Ѳедоръ Барсовъ, по дѣлу о недоставленіи имъ 21 проц. сбора, въ размѣрѣ 809 р., удаленъ отъ благочиннической должности. Здѣсь уже надо замѣтить, что преступленіемъ является *растрата*, за что удаленіе отъ должности не есть надлежащее наказаніе по русскимъ законамъ.

Понамарь черновскаго собора, Вознесенскій, отрѣшенъ за крайнюю нетрезвость. Благочинный устюженскаго уѣзда, священникъ Алексѣй Владимірскій, за нетрезвость и оскорбленіе помѣщика, отрѣшенъ отъ должности благочиннаго и посланъ въ Моденскій монастырь, а потомъ опять на прежнее мѣсто. Счелъ ли обиженный помѣщикъ это достаточ-

нымъ возмездіемъ за свою обиду—не видно. Но, во всякомъ случаѣ, ясно, что монастырь здѣсь замѣняетъ тюрьму,—что совсѣмъ съ учрежденіемъ монастырей несогласно, да и никакъ не отвѣчаетъ ихъ назначенію.

Однако, впереди мы съ этимъ фактомъ будемъ встрѣчаться очень часто.

Священникъ В. Быстровъ, за служеніе молебновъ иногда въ нетрезвомъ видѣ, за отказы въ требоисправленіяхъ и нетрезвость,— въ Клопскій монастырь, а потомъ опять на мѣсто. Дьячокъ Конст. Богословскій, за самовольное израсходованіе братскихъ доходовъ, нетрезвость, упущенія по службѣ и разгульную жизнь въ сообществѣ крестьянъ и женщинъ неодобрительнаго поведенія, назначенъ къ отрѣшенію. Священникъ Александроневскій, за нетрезвость—въ Кирилловъ монастырь, а потомъ обратно на мѣсто. Дьячокъ Н. Косинскій за то, что, несмотря на присужденное наказаніе и сдѣланную милость (отсрочку наказанія), вновь предался нетрезвости и *учинилъ въ церкви во время богослуженія безчиніе*, — въ монастырь, а потомъ — на прежнее мѣсто. Если бы «учинилъ въ церкви безчиніе» мірянинъ, то онъ едва ли не былъ бы лишенъ правъ состоянія и сосланъ; но духовному лицу—наказаніе меньше. Церковникъ, который долженъ подавать мірянину примѣръ благочестія, за буянство въ церкви наказывается только однимъ пребываніемъ въ монастырѣ... Этого уже никакъ понять нельзя, и обыкновеннымъ разсужденіемъ невозможно признать ни за справедливое, ни за цѣлесообразное. Но есть впереди нѣчто еще болѣе невѣроятное: этотъ же церковный дебоширъ, послѣ пребыванія въ монастырѣ, *возвращается «на прежнее мѣсто»*... Хотѣлось бы спросить, можетъ ли все это не служить къ соблазну бѣдныхъ прихожанъ, безобразному пьянству которыхъ часто дивуются, забывая, что ихъ первые въ томъ учители—*духовенство*.

Дьячокъ Усердовъ, за нетрезвость, многократныя оскорбленія священника, сопровождавшіяся *грубою бранью*—въ монастырь и на прежнее мѣсто—конечно, опять при томъ же самомъ священникѣ. Иначе, конечно, нельзя думать, такъ какъ смѣстить священника было бы еще высшею несообразностію. Но не угодно ли кому-нибудь представить себѣ, каково было потомъ положеніе этого оскорбленнаго священника, котораго опять свели вмѣстѣ съ его обидчикомъ-дьяч-

комъ... Кому, для чего и въ какихъ цѣляхъ это могло казаться необходимымъ и наилучшимъ?

Но продолжаемъ наши сухія выписки: іеродіаконъ Кирилловскаго монастыря Савватій, за нетрезвость и *безчинство, произведенное въ церкви во время богослуженія*—запрещенъ до раскаянія и посланъ въ другой монастырь. Дьячокъ Литовскій, за нетрезвость, въ каковой иногда присутвовалъ при богослуженіи—въ монастырь и на прежнее мѣсто. Псаломщикъ Бальзаминовъ, за крайнюю нетрезвость и *неприличное веденіе себя въ храмѣ, «сопровождавшееся прекращеніемъ богослуженія»*,—въ монастырь и на другое мѣсто (1876 г.).

Вотъ случай изъ новгородскихъ епархіальныхъ хроникъ 1879 года.

Понамарь Волковъ, за бродяжничество, грубости и неисправность отрѣшенъ, съ правомъ искать другого мѣста. Бродяга «съ правомъ» искать мѣста церковника,—это уже что-то феноменальное и едва ли сообразное съ какимъ бы то ни было понятіемъ о правахъ, достоинствахъ, законѣ и чести.

Діаконъ Викторъ Орловъ, за нарушеніе долга подчиненности, порядка и благочинія «принародно» въ храмѣ, во время литургіи, и за насильственное держаніе у себя церковныхъ документовъ—въ причетники, впредь до раскаянія. Понамарь Свѣтловъ, за распространеніе ложныхъ слуховъ, обманъ и по подозрѣнію въ похищеніи документовъ—въ монастырь съ переходомъ на другое мѣсто.

Наказаніе *«по подозрѣнію»*—въ новѣйшее время—вещь невѣроятная. Средневѣковая инквизиція и наша жестокая юрисдикція XVIII вѣка—и тѣ добивались доказательствъ или сознанія, хотя бы *вымученнаго.* Оставляемыхъ же въ подозрѣніи по XV т. св. зак. *не наказывали.*

Священникъ Быстровъ (о которомъ выше, въ хроникахъ 1876 года, сказано, что онъ служилъ молебны въ нетрезвомъ видѣ и отказывалъ въ исполненіи требъ, за что̀ и былъ въ монастырѣ), послѣ исправленія его въ монастырѣ, вновь священнодѣйствуетъ и вновь судится «за пролитіе св. даровъ, сопровождавшееся, притомъ, явнымъ невниманіемъ къ величайшей святынѣ». Какое же наказаніе положено этому рецидивисту храмовыхъ безчинствъ? Онъ «удаленъ отъ мѣста

въ Блазнихѣ съ предоставленіемъ права искать себѣ другого священническаго мѣста»...

Испр. должность псаломщика Земляницынъ, за нетрезвость, неисправность, неприличное поведеніе себя въ храмѣ, «какъ и прежде сего неоднократно судимый за предосудительные поступки», отрѣшенъ отъ мѣста съ предоставленіемъ права пріискивать себѣ другое (!). Св. Любаньской церкви, священникъ о. Травлинскій, за повѣнчаніе князя Дондукова-Корсакова съ Ильиною безъ соблюденія предбрачныхъ предосторожностей, за допущеніе неправильностей при другихъ бракахъ и «оскорбленіе благочиннаго при исполненіи *имъ* обязанности своей въ *нетрезвомъ видѣ*»,—на полтора мѣсяца въ монастырь. Просвирня Екатерина Пальмова за небрежное печеніе просфоръ, неумѣренное расходованіе церковной муки на нихъ, непокорность и непочтительность къ священнику, уволена и вакансія ея закрыта, съ возложеніемъ обязанности заготовленія просфоръ на мѣстнаго священника. Свящ. Любомудровъ, за служеніе молебна въ нетрезвомъ состояніи—на 2 недѣли въ монастырь. Свящ. гор. Новгорода, Александръ Троицкій, за жестокое обращеніе съ женою, сопровождавшееся то непристойною бранью, то нанесеніемъ побоевъ и *за разбитіе иконъ*—на два года въ причетники.

За что и съ какою цѣлью о. Троицкій разбивалъ св. иконы,—въ краткой хроникѣ «Новгородскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» не объяснено, но очевидно, что о. Троицкій не принадлежалъ ни къ штундѣ, ни къ иконоборству и ни къ какой иной предосудительной ереси, а содержалъ чистое православіе. Можетъ-быть, онъ просто имѣлъ какое-нибудь личное неудовольствіе на св. иконы, которое и вымещалъ на нихъ «разбитіемъ». Это въ православномъ мірѣ неоднократно случалось. Еретики, въ родѣ штундистовъ, отвергающіе поклоненіе иконамъ, обыкновенно выносятъ ихъ изъ домовъ, въ церкви или «пускаютъ на воду», по текучимъ рѣкамъ, но повреждать ихъ избѣгаютъ. Православныхъ же мірянъ, которымъ приходитъ такая фантазія, за это лишаютъ правъ состоянія и ссылаютъ; но священникъ, который подаетъ такой примѣръ, какъ видимъ, оставляется при храмѣ церковникомъ и потомъ можетъ опять священнодѣйствовать. (Во II томѣ сборника г. Любавскаго, есть интересное въ этомъ родѣ дѣло о рядовомъ Карнѣ Ор-

довѣ, который тоже, возымѣвъ личность къ иконамъ и взойдя въ церковь села Перелетъ, началъ стрѣлять по иконостасу изъ казеннаго ружья. Онъ пришелъ для этого съ большимъ запасомъ патроновъ въ сумкѣ. Происшествіе это, какъ видно изъ книги г. Любавскаго, считалось дѣломъ особой важности. Кишиневскій епископъ писалъ объ этомъ свѣтскимъ властямъ и началось «секретное» дѣло, которое окончилось тѣмъ, что рядовой Орловъ оказался сумасшедшимъ и посаженъ въ домъ умалишенныхъ).

Дьяч. Вл. Сперанскій, за отмѣтку въ исповѣдныхъ росписяхъ такого лица, которое не исповѣдывалось и не причащалось, за упрекъ священника въ присвоеніи 25 р. и «за чтеніе однажды апостола довольно безобразно»—на 1 мѣсяцъ въ монастырь. Въ чемъ заключается безобразіе—не объяснено, но отмѣтка по росписямъ того, чего не было, есть *подлогъ по службѣ*, а за подлогъ ни на какомъ судѣ нельзя отдѣлаться мѣсяцемъ пребыванія въ монастырѣ. Случай этотъ имѣетъ такой видъ, какъ будто одному духовенству принадлежитъ какое-то исключительное право дѣлать подлоги почти безотвѣтственно.

Дьяч. Ловцовъ за «названіе понамаря неприличными словами *принародно*», въ бытность за вечерней въ не совсѣмъ трезвомъ видѣ и, вообще, за употребленіе спиртныхъ напитковъ—на 1 мѣсяцъ въ монастырь.

Замѣчательно, что за подлогъ и за простую пьяную перебранку въ этихъ двухъ, рядомъ стоящихъ случаяхъ, назначено одинаковое наказаніе!..

Дьяч. Вихровъ, «за оскорбленіе священника *грубобранными* словами въ нетрезвомъ видѣ»—въ монастырь на 1 мѣсяцъ. Понамарь Цвѣтковъ за крайнюю нетрезвость, утайку братскихъ и церковныхъ денегъ, «проматываніе собственныхъ вещей» (такого преступленія, какъ «проматываніе *собственныхъ* вещей», нѣтъ въ уголовномъ кодексѣ; вѣроятно, это отнесено къ *расточительству*) и какъ не подающій надежды на исправленіе, отрѣшенъ навсегда. Дьяч. Ставровскій, неоднократно подвергавшійся суду и вновь уличенный въ тѣхъ же поступкахъ, «какъ рекомендуемый, поведенія *только хорошаго*» (надо имѣть отмѣтку «*препохвальнаго*» или *постоянно тщательнаго*) — отставкѣ въ заштатъ. Но при этомъ достойно вниманія, что и товарищъ дьячка Ставровскаго, аттестовавшагося въ поведеніи до-

вольно хорошемъ, дьячокъ Фортунатовъ, былъ тоже отмѣнный молодецъ и одновременно посланъ на полтора мѣсяца въ монастырь «за личныя оскорбленія священника...» Можно себѣ представить положеніе священника, который одинъ въ селѣ долженъ былъ служить съ этакими двумя хватами «довольно одобрительнаго поведенія»!..

Лѣтопись 1878 года начинается съ лица женскаго пола. Монахинѣ Хіоніи, за подачу безымяннаго доноса, заключающаго въ себѣ оскорбительныя выраженія для чести вновь избранной игуменьи, запрещено (временно) ношеніе мантіи и клобука. Іеромонахъ Св. Духова монастыря Варлаамъ, за нетрезвость, сопровождавшуюся *соблазномъ для монастырской братіи и для жителей города*, запрещенъ на 1 м. и перемѣщенъ въ Перекомскій монастырь. Причетникъ Тихоміровъ, по поводу *тяжкаго оскорбленія* священника въ храмѣ и притомъ *въ церковномъ облаченіи* — устраненъ отъ исполненія обязанностей, «въ виду *неудовольствій* со священникомъ, которыя зашли слишкомъ далеко, и въ предотвращеніе на будущее время *скандаловъ въ церкви*». Каждый знаетъ, какое тяжкое наказаніе ожидало бы того мірянина, который поднялъ бы руку въ церкви на священника въ облаченіи, но дьячку и такая расправа по епархіальному суду стоитъ не тяжеле «устраненія, въ предотвращеніе скандаловъ».

Этимъ можно не возмущаться только съ нашею русскою привычкою ничѣмъ не возмущаться, но стоять за таковыя рѣшенія, кажется, рѣшительно невозможно. Испр. должность псаломщика Лебедевъ, за похищеніе денегъ, собранныхъ въ пользу герцеговинцевъ—въ монастырь на $1^1/_2$ мѣсяца. Такому же самому наказанію подвергнутъ дьяконъ Локотскій—«за наклонность къ винопитію», а понамарь Виноградовъ—«за недоставленіе на проскомидію просфоръ, за употребленіе хмѣльныхъ напитковъ, за дозволеніе себѣ бушевать въ своемъ домѣ и за произнесеніе сквернoматерныхъ словъ».

Всѣ эти очень разнохарактерныя провинности, какъ будто, одинаково вѣсятъ на вѣсахъ духовнаго правосудія: воровство, мошенничество и винопійство! Іеродіаконъ нилосорской пустыни, какъ неблагонадежный для монастырской жизни по своему поведенію, — исключается. Священникъ Моревъ, за ссору въ церкви, *недопущеніе одного крестья-*

нина приложиться ко кресту и за употребленіе грубыхъ, ругательныхъ словъ—на 1 мѣсяцъ въ монастырь. Священникъ Тюльпановъ за служеніе молебновъ и хожденіе съ иконами въ нетрезвомъ видѣ, а также (тутъ только и начинается) за допущеніе въ служеніи *неприличій* (?!) и за то, что «потерялъ мѵрницу» и «совершилъ крещеніе двухъ младенцевъ въ нетрезвомъ видѣ и, притомъ, безъ мѵропомазанія и съ опущеніемъ нѣкоторыхъ обрядовъ», — въ монастырь на 3 мѣсяца. Весьма интересный представляется отсюда вопросъ: поправлено ли, и какимъ именно образомъ, священное тайнодѣйствіе, совершенное этимъ пьянымъ тайностроителемъ?—Это не объяснено. А между тѣмъ возможно, что несчастный христіанинъ, у купели котораго іерей Тюльпановъ произвелъ описанныя упущенія и безчинства, придя въ возрастъ, услышитъ на это насмѣшки и попреки и позоветъ къ суду *кого-то*, не озаботившагося своевременно исправить его крещеную репутацію. Это уже было въ церковной практикѣ и еще *можетъ повториться* (напоминаю исторію о *некрещеномъ попѣ*).

Исправляющій должность дьячка Лавровъ, за нанесеніе побоевъ одному лицу, стрѣляніе изъ ружья, прибытіе въ храмъ въ *одной рубашкѣ*, и проч., и проч. — уволенъ отъ должности, и только!.. Знаменитому протопопу Аввакуму подобный фарсъ обошелся гораздо дороже.

Исправляющій должность псаломщика Добряковъ, «за неблагоповеденіе», отрѣшенъ отъ мѣста. Такимъ образомъ, простое «неблагоповеденіе» и «стрѣляніе» пошли по одной категоріи? *). Священникъ, за повѣнчаніе вторымъ бракомъ прежде расторженія перваго—въ монастырь на 3 мѣсяца, а съ іеромонаха Іоасафа, за пьянство, снята на время монашеская одежда.

Столько интересныхъ для судебныхъ соображеній случаевъ, сколько мы выписали, даетъ всего за четыре года только *одна* епархія, и притомъ не самая многолюдная. Всѣ болѣе мелкіе случаи, подъ рядъ состоящіе въ одномъ пьянствѣ и «неблагоповеденіи», — я не выписываю и не считаю; нѣтъ въ моемъ счетѣ и проступковъ, въ родѣ кражи коровъ и мошенничествъ, учиненныхъ духовными лицами,

*) Мнѣ кажется, что 1878 годъ, можетъ-быть, начинается съ этого мѣста. Въ моихъ выпискахъ это неаккуратно отмѣчено: годы 1877 и 1878 немножко смѣшаны, но факты, разумѣется, вѣрны.

но подпавшими за эти дѣла свѣтскому суду, причемъ судъ духовнаго вѣдомства обыкновенно только спѣшитъ сбыть съ рукъ виноватаго посредствомъ исключенія его изъ духовнаго званія. Объ этихъ двухъ категоріяхъ скажемъ лишь вообще, что случаевъ соблазнительнаго пьянства чрезвычайно много, а подсудимость у свѣтскихъ судовъ—довольно рѣдка. Кажется, она имѣетъ мѣсто только, какъ явленіе исключительное, при такихъ случаяхъ, когда, напримѣръ, духовное лицо прямо изловлено мірскою властью на воровствѣ коровы. Если же что-нибудь подобное попадетъ на судъ духовный, то, несмотря на уголовный характеръ, едва ли не кончится монастыремъ. Изъ приведенныхъ примѣровъ явствуетъ, что множество случаевъ съ подлогами въ документахъ, святотатствомъ, буйствомъ, нарушеніемъ благочинія и порядка въ храмахъ, а также съ нанесеніемъ побоевъ равнымъ и старшимъ и убытковъ кому попало — въ противность русскимъ законамъ, обязательнымъ для всѣхъ русскихъ подданныхъ, для дебошировъ, пьяницъ и мошенниковъ духовнаго званія обходятся болѣе или менѣе продолжительными молитвами и благоугодными трудами въ мирныхъ обителяхъ. Давнишнія просьбы и воздыханія многихъ настоятелей о томъ, чтобы перестали считать ихъ монастыри исправительными заведеніями острожнаго характера, ни къ чему не повели и не ведутъ.

«Не слышатъ,—видятъ и не знаютъ!»

А если все это такъ идетъ по одной новгородской епархіи,—по епархіи самой близкой къ столицѣ и имѣющей съ нею неразрывную связь въ лицѣ главнаго епархіальнаго начальника, то, кажется, вполнѣ позволительно предположить, что и во всѣхъ другихъ епархіяхъ на всѣ подобныя дѣла едва ли существуетъ лучшій взглядъ и болѣе совершенные порядки. Если же допустить то, что и слѣдуетъ допустить, т.-е. что новгородская епархія, подвѣдомая с.-петербургскому митрополиту, не хуже всѣхъ прочихъ епархій въ Россіи и что обнаруженный здѣсь порядокъ имѣетъ свое мѣсто повсюду, то мы получимъ возможность судить о разсмотрѣнныхъ нами случаяхъ *какъ объ образцѣ явленій, общихъ всей современной Россіи.* И тогда станетъ ясно, что порядокъ этотъ нельзя признать удовлетворительнымъ, а затѣмъ, что нельзя не сожалѣть и о томъ, что въ недавней порѣ вопросъ о церковно-судебной реформѣ у насъ

былъ такъ торопливо стертъ съ очереди, какъ нѣчто несвоевременное и для насъ совершенно излишнее.

Тутъ и выдвигается на видъ только-что сошедшая съ перваго плана личность графа Д. А. Толстого и становится необходимымъ сдѣлать нѣкоторую характеристику общихъ отношеній къ дѣлу духовнаго суда, недостатки коего бывшій обѣръ-прокуроръ, конечно, понималъ, настойчиво желая учредить иной судъ.

Съ самаго перваго движенія графа Толстого къ пересмотру духовнаго вопроса, онъ не встрѣтилъ ни сочувствія, ни поддержки; *всѣ* имъ были недовольны: одни за то, что графъ «подбирается подъ епископовъ»,—другіе за то, что *онъ* взялся за это дѣло. Въ томъ, что за дѣло это взялся «*онъ*», а не кто иной, видѣли вѣрное ручательство, что оно «провалится».

Такъ, разумѣется, и вышло, и этому безразсудно радовались,—только уже не всѣ: были люди, которые понимали дѣло серьезнѣе и начинали сожалѣть, что личныя чувства къ графу Толстому получили слишкомъ большое значеніе.

Лучшіе люди въ нашемъ духовенствѣ, не стоя на сторонѣ графа Д. А. Толстого,—который сдѣлалъ, кажется, все, отъ него зависѣвшее, чтобы его не укоряли въ исканіи людского расположенія, — въ этомъ дѣлѣ глубоко сожалѣли о томъ, какъ далеко зашла враждебность, какую возбудилъ противъ себя этотъ сановникъ, говоря о которомъ можно припоминать пословицу: «гнулъ, не парилъ, — сломалъ, не тужилъ». Въ духовенствѣ пророчили и не ошибались, что вопросъ о судебной реформѣ погибнетъ, именно потому, что его проводитъ нелюбимый гр. Дмитрій Андреевичъ Толстой. Но всѣ знали, что правда была на его сторонѣ, что нынѣшній духовный судъ не удовлетворяетъ и не можетъ удовлетворять требованій справедливости. Въ знаменитыхъ, въ свое время, возраженіяхъ волынскаго архіепископа Агаѳангела, въ которыхъ свѣтскіе клерикалы усматривали манну небесную, — духовные видѣли болѣе непосредственности, чѣмъ полноты, разносторонности и безпристрастія. Правда, отвѣты арх. Агаѳангела одобряли и въ духовенствѣ, но не изъ сочувствія мыслямъ пр. Агаѳангела, а изъ радости, что нашелся хоть одинъ человѣкъ, который противорѣчитъ графу Толстому, смиряя тѣмъ всѣмъ надокучившее его «колкое самовластіе». И, такимъ образомъ,

въ этомъ неосмотрительномъ злорадствѣ люди, вовсе несочувствовавшіе неподвижности духовнаго суда, дали своимъ зложеланіемъ перевѣсъ идеямъ этой неподвижности: реформа настоятельной надобности была отвергнута, и это было большою радостію для людей, у которыхъ любовь къ родинѣ и ея вѣрѣ и церкви не могла возобладать надъ ихъ личными чувствами къ гр. Толстому.

Нѣтъ спора, что въ постановкѣ дѣла, какъ за него взялся графъ Д. А. Толстой, кажется, было не безъ ошибокъ, и даже весьма большихъ; но всѣ онѣ могли быть поправлены, а, вмѣсто того, все дѣло было отвергнуто.

Это было конечно хуже, чѣмъ всѣ ошибки графа въ его предположеніяхъ о реформѣ. Теперь объ этомъ вспомнили при отставкѣ графа Толстого; но вспомнятъ и еще не одинъ разъ.

Такъ-называемый консерватизмъ, чаще всего у насъ сходящійся съ полною косностію, недавно дошелъ было до того, что наши пустосвяты были склонны видѣть зло въ самомъ возрастающемъ вниманіи мірянъ къ дѣламъ церкви. Людямъ этого образа мыслей и о сю пору болѣе нравится то время, когда въ свѣтскомъ обществѣ ни о чемъ церковномъ не разсуждали и исторіи церковной не знали, — архіереевъ угощали ананаснымъ вареньемъ, архимандритовъ—вишневымъ, а поповъ поили чаемъ въ конторѣ или даже въ передней. Но всѣ эти сѣтованія напрасны; пробудившееся вниманіе къ церковнымъ дѣламъ уже не можетъ быть остановлено, да и не добромъ помянетъ христіанскій міръ усилія тѣхъ, которые считаютъ полезнымъ остановить это вниманіе. Оно достойно поддержки, а не противодѣйствія, потому что оно истекаетъ изъ самаго чистаго источника,—изъ любви къ родинѣ и ея вѣрѣ. Вѣра же наша, несомнѣнно, страдаетъ и подвергается самымъ ужаснымъ, почти неслыханнымъ въ христіанствѣ, порицаніямъ не по вліянію «заносныхъ ученій», на которыя мы охочи все сваливать, а по причинамъ, зависящимъ отъ устройства нашей церкви. При чемъ не малаго удивленія достойно, что порицанія эти приходится не только выслушивать отъ жителей странъ образованныхъ, которые имѣютъ показать нѣчто благоуспѣшно-развиваемое и совершенствуемое въ ихъ церковной жизни, но и отъ простодушныхъ невѣждъ, усматривающихъ, конечно по нашей винѣ, нѣкоторый, весьма

для нихъ осязательный вредъ въ христіанствѣ, *какъ въ культѣ.* Примѣровъ тому бездна, и я не стану приводить ихъ въ томъ изобиліи, въ какомъ они очень легко могутъ быть собраны изъ самыхъ достовѣрныхъ хроникъ, но укажу на послѣдній, недавно обнаруженный случай,—по моему мнѣнію, чрезвычайно тяжелый и мучительный для сознанія христіанина. Императорское русское географическое общество недавно издало изслѣдованіе одного своего члена-сотрудника, г. Кузнецова, о черемисахъ. Мы читаемъ въ этой книжечкѣ, что наши давно окрещенные черемисы и въ 1878 году были такіе же язычники, какими были до крещенія... Имъ было какъ-то проповѣдано евангеліе; у нихъ настроены церкви, въ которыхъ есть штаты духовенства; это духовенство совершаетъ крещеніе младенцевъ и ведетъ, конечно, исповѣдныя росписи, въ которыя надо вписаться, чтобы не подпасть отвѣтственности,—а христіанства все нѣтъ какъ нѣтъ... И это еще не самая большая бѣда, что крещеные черемисы до сихъ поръ не сдѣлались христіанами: это у насъ случалось и съ татарами, и съ мордвой, у которой до сихъ поръ во весь развалъ идетъ эпоха двоевѣрія, но вотъ въ чемъ бѣда, что окрещенные черемисы *стали нравственно хуже, чѣмъ были;* что всякій, вынужденный имѣть съ ними дѣло—старается отыскать стараго, не крещенаго черемиса (изъ тѣхъ, кои отбѣжали крещенія), потому что, по общему наблюденію, у некрещеныхъ больше совѣстливости... Этого оскорбленія святѣйшей религіи Христа не можетъ не поставить намъ въ вину вселенское христіанство! О своемъ же, крещеномъ поколѣніи черемисы самаго невыгоднаго мнѣнія; да иначе не можетъ и быть. Это окрещенное, но ничему въ христіанствѣ не наставленное поколѣніе, какъ свидѣтельствуетъ та же книга, изданная императорскимъ русскимъ географическимъ обществомъ (стр. 6), «относительно христіанства столь же невѣжественно, какъ ихъ отцы и дѣды, а къ язычеству оно успѣло охладѣть, потому что представители его рѣдѣютъ. Теперь можно изъ подросшаго поколѣнія встрѣтить такихъ, которые *не придерживаются никакой религіи*»... Вотъ положеніе, которое едва ли нельзя назвать *водвореніемъ религіознаго нигилизма посредствомъ крещенія.* А это заявлено твердо и никѣмъ не опровергнуто, и, хотя или не-хотя, ему, очевидно, приходится вѣрить и съ нимъ соображаться. Принимая же въ

расчетъ, что такое явленіе далеко не единично, его надо считать важнымъ и требующимъ самыхъ скорыхъ и самыхъ энергическихъ мѣръ къ всестороннему поправленію церковнаго дѣла. И *скораго* непремѣнно потому, что церковная бѣда не ждетъ. Мнѣніе это есть едва ли не общее мнѣніе всей церкви,—кромѣ тѣхъ, которые свои вкусы предпочитаютъ истинамъ Евангелія. Литература, во всѣхъ ея органахъ, которыхъ нельзя считать противународными и противувѣрными, неустанно твердитъ объ этомъ почти въ одно слово. Недавно еще всѣ мы читали рядъ правдивыхъ и талантливыхъ статей г. Евгенія Маркова о нашемъ «крещеномъ язычествѣ»,—а теперь, когда уже дописывается эта статья, получаемъ іюньскую книгу журнала «Русская Рѣчь», гдѣ съ религіозными вопросами обращаются почтительно и бережно. И здѣсь, въ интересномъ этюдѣ о духовенствѣ, снова читаемъ, что вопросъ о немъ «нельзя откладывать, такъ какъ отъ этого зависитъ подъемъ того жалкаго состоянія, въ какомъ находится большинство нашего духовенства. Вопросъ о свободѣ совѣсти тоже не ждетъ, и горе, если онъ рѣшится ранѣе преобразованія духовенства».

Какія же мѣры въ этомъ положеніи могутъ казаться самыми надежными и дѣйствительными? Ихъ, кажется, двѣ: 1) лучшее обезпеченіе православнаго духовенства, при которомъ оно не было бы вынуждено прибѣгать къ унизительнымъ поборамъ, роняющимъ его во мнѣніи прихожанъ, и 2) болѣе совершенный судъ, при коемъ правый человѣкъ могъ бы безтрепетно доказать свою правоту, а виновный принять наказаніе, сообразное дѣйствительной мѣрѣ его вины, какъ слѣдуетъ по закону, а не по произволу.

Улучшеніе быта, конечно, требуетъ очень большихъ средствъ, въ изысканіи которыхъ *на дѣло* мы бываемъ особенно несчастливы. Духовное вѣдомство очень богато, — но оно скопидомно и любитъ неприкосновенность своихъ капиталовъ. А потому вопросъ объ обезпеченіи служащаго духовенства есть вопросъ очень сложный и очень трудный для удовлетворенія. Ему, вѣроятно, еще долго будетъ мѣшать наша бѣдность, почти неизбѣжная при нашей системѣ государственнаго хозяйства, въ которомъ господствуетъ сильное смѣшеніе въ понятіяхъ о нужномъ и ненужномъ. Но судебная реформа гораздо удобоисполнимѣе, такъ какъ ее

можно произвести при несравненно меньшихъ капитальныхъ затратахъ,—для этого нужны только здравый умъ и добрая воля вывести дѣло изъ нынѣшняго вполнѣ непригоднаго положенія. А между тѣмъ, одна ужъ эта реформа, произведенная удовлетворительно, помогла бы духовенству стать независимѣе отъ принижающаго его произвола... Судебная реформа помогла бы духовенству очистить свою среду отъ тѣхъ людей, которые своимъ поведеніемъ не только роняютъ все духовное званіе, но даже унижаютъ имя человѣка, и, несмотря на все это, терпимы въ духовенствѣ къ соблазну всѣхъ прихожанъ, стремящихся бѣжать отъ такихъ пастырей въ какое попало разновѣріе. А въ то же время сознаніе свободы отъ нынѣшняго произвола привлекло бы къ служенію церкви многихъ благороднѣйшихъ молодыхъ людей духовнаго званія, которые нынче до такой степени шибко бѣгутъ отъ своей среды, что потребовались особыя и, очевидно, совершенно безполезныя мѣры къ удержанію ихъ въ духовномъ званіи.

Къ чему приведетъ подобная мѣра, — понять не трудно: вакантныя мѣста будутъ замѣщены, но кѣмъ, какими людьми?

Указанія на эти вещи наглые люди нынче приравниваютъ къ нигилизму и даже къ «бунтарству». Пусть такъ, пусть ханжеское лицемѣріе или глупость говорятъ, что̀ позволяетъ имъ ихъ бѣдный смыслъ и прожженная совѣсть; но имъ никогда не удастся убѣдить разсудительныхъ людей, что сдавленность, въ которой наше духовенство утрачиваетъ свои достоинства, есть наилучшая форма, навсегда необходимая для нашей церкви. Пусть они считаютъ русскую церковь обреченною окаменѣть, на чемъ она разъ стала, но мы имѣемъ право считать ее еще живою и способною возродиться и исполнять свое духовное служеніе русскому народу, а потому и говоримъ о ея нуждахъ, съ кѣмъ бы насъ за это ни сравнивали изолгавшіеся христопродавцы. Здѣсь нами приведены не разсужденія, а *факты,* и эти факты говорятъ, что духовный судъ судитъ неудовлетворительно,—что онъ гораздо погрѣшимѣе суда свѣтскаго. Пусть друзья этого суда приведутъ, въ соотвѣтственномъ количествѣ, факты иного значенія и восторжествуютъ.

Оглавленіе

XXXV ТОМА.

стр.

Мелочи архіерейской жизни. (Картинки съ натуры). 3

Приложенія:

Архіерейскіе объѣзды 141

Епархіальный судъ 159

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

МЕЛОЧИ АРХІЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ.

(Картинки съ натуры).

ПРИЛОЖЕНІЯ:
РУССКОЕ ТАЙНОБРАЧІЕ.

Тайнобрачіе въ Россіи, несомнѣнно, существуетъ и, притомъ, въ довольно значительныхъ размѣрахъ. Едва ли въ какомъ-либо общественномъ кружкѣ неизвѣстно хотя одно супружество, сочетаніе котораго не вполнѣ законно или, даже, совсѣмъ противозаконно. А между тѣмъ, всѣ эти браки кѣмъ-то повѣнчаны и гдѣ-то записаны и терпятся «ради слабости человѣческой» и ради страха суровой строгости неподатливаго закона. Наше положеніе таково, что мы какъ бы не можемъ обходиться, не обходя закона. Оттого, кажется, у насъ такъ и велика народная терпимость. Но, тѣмъ не менѣе, наше тайнобрачіе не представляетъ собою чего-нибудь совершенно безшабашнаго и безнравственнаго. Напротивъ, въ немъ замѣтно даже уваженіе русскаго человѣка къ границамъ свободы въ предѣлахъ нравственности и эстетики. Это всего удобнѣе можно наблюдать въ интересной практикѣ, которую выработало русское тайнобрачіе, до сихъ поръ удивительнымъ образомъ пренебрегаемое изслѣдователями нашего народнаго духа въ самыхъ глубокихъ и смѣлыхъ его проявленіяхъ

За «обиліемъ матеріаловъ», упорно скопляющихся въ нашихъ повременныхъ изданіяхъ, изслѣдованіямъ такого рода нѣтъ еще мѣста, и потому приходится касаться ихъ только слегка и издали и, притомъ, по какому попало случаю и въ какой попало формѣ.

Я разскажу, что̀ мнѣ извѣстно объ этомъ интересномъ предметѣ, именно, по поводу свадьбы дяди Никса, которая, въ связи съ другимъ случаемъ тайнобрачія въ нашемъ литературномъ кружкѣ, дала мнѣ возможность ознакомиться съ удивительнымъ механизмомъ этого своеобразнаго тайностроительства.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мнѣ довелось быть въ одномъ гостепріимномъ домѣ, гдѣ собралось много разнаго званія людей.

Это относилось уже къ послѣднему времени, которое нѣкто удачно называетъ временемъ «реставраціи упадка нравовъ». Охота ко всякаго рода трактаментамъ и преніямъ тогда уже прошла, и такъ-называемые образованные люди не находили болѣе удовольствія въ обмѣнѣ мыслей. Мысли были изгнаны изъ обращенія, и всѣ, отъ прыткаго поручика до авантажнаго тайнаго совѣтника, обратились къ универсальному русскому средству «убивать время»,—*сѣли за карты*. Литераторы и ученые не отставали отъ явныхъ поручиковъ и тайныхъ совѣтниковъ: и они садились за ломберные столы безъ всякаго зазрѣнія совѣсти и рѣзались съ тѣми самыми чиновниками, на которыхъ недавно еще изливали жгучій ядъ своихъ обличительныхъ сарказмовъ.

Объ эту пору литературный старовѣръ, не приручившій себя къ картамъ, уже составлялъ для хозяевъ извѣстное бремя. Онъ это чувствовалъ и, сознавая свою отсталость отъ современнаго общественнаго прогресса, прятался куда-нибудь «къ чудакамъ». Если же случай застигалъ его врасплохъ среди «новѣйшихъ» людей, онъ спѣшилъ сокращаться и исчезать, не нарушая господствующаго строя занятій.

Въ такомъ положеніи очутился и я на томъ вечерѣ, съ котораго начинаю мое повѣствованіе.

Драгоцѣнными свѣдѣніями въ области этихъ, не имѣющихъ письменной исторіи, событій, я обязанъ духовнику моего гостепріимнаго хозяина, столичному протоіерею, внушительную фигуру котораго описать дано не моему перу.

Онъ появился на пиршествѣ какъ разъ въ то время, когда я собирался оттуда удалиться во-свояси, и былъ виновникомъ, что мнѣ это не удалось,—о чемъ я, однако, не жалѣю. Такъ какъ всѣ столики уже были заняты и для преподобнаго отца не находилось пристойной партіи, то хозяева

были въ затрудненіи: къ чему имъ пристроить своего почтеннаго духовника, и рѣшили принести ему въ жертву мое безприкаянное недостоинство.

Съ этою цѣлью меня немилосердно придержали и представили протоіерею съ рекламирующею аттестаціею, какъ автора «дьякона Ахилки».

Но преподобный отецъ сначала былъ неутѣшенъ: подавъ мнѣ руку, онъ поправилъ у себя на груди важныя кавалеріи и обратился къ хозяевамъ съ словами горькаго упрека:

— Ахилку мы читали, и кто онаго авторъ — знаемъ, а чтобы своего духовнаго и вѣнчальнаго отца безъ пульки оставить, такъ это можно сдѣлать только совсѣмъ забывши законъ.

Но однако потомъ дѣло обошлось и, притомъ, къ неописанному моему удовольствію, потому что я встрѣтилъ въ отцѣ протоіереѣ человѣка чрезвычайно пріятнаго: умнаго, добраго и большого практика.

Какъ только хозяева устроили его за однимъ столомъ «въ мотью», онъ пересталъ негодовать и, усѣвшись въ мягкомъ креслѣ, позволилъ мнѣ заговорить съ нимъ объ одномъ, нѣкогда сильно меня интересовавшемъ, церковномъ дѣлѣ.

Поводомъ къ развившейся у насъ интересной бесѣдѣ послужило одно чрезвычайно казусное событіе, о которомъ въ свое время много говорили въ русской печати, но никогда не коснулись того, что въ этомъ было самаго возмутительнаго и самаго интереснаго и прямо било въ глаза.

Одинъ довольно извѣстный въ свое время литераторъ принималъ къ себѣ въ домъ тоже довольно извѣстнаго педагога. Они были друзья, но потомъ поссорились, и педагогъ поступилъ непедагогично: онъ сдѣлалъ на своего гостепріимнаго товарища доносъ съ цѣлью доказать, что особа, почитаемая за жену этого писателя, совсѣмъ ему не жена, и дѣти ихъ не могутъ считаться дѣтьми признающаго ихъ отца.

Ежедневныя газеты занимались этимъ дѣломъ съ одной общедоступной стороны,—именно, со стороны «скандала въ благородномъ семействѣ», и притомъ въ такомъ семействѣ, глава котораго принадлежалъ не къ фаворитному изъ тогдашнихъ направленій. Болѣе достойнаго вниманія въ этомъ

дѣлѣ печать ничего не усмотрѣла, но я позволю себѣ теперь, въ запоздалый слѣдъ, указать то, что тутъ составляло самый важный интересъ и было пропущено.

Супружество, о которомъ сдѣлалъ доносъ педагогъ, дѣйствительно было не изъ законныхъ, но оно, во всякомъ дѣлѣ, было супружество вѣнчанное или, какъ говорятъ иные, «въ церкви пѣтое». А между тѣмъ, когда, вслѣдствіе доноса, представилась надобность доказать вѣнчаніе, то объ этомъ нигдѣ не оказалось никакихъ записей и никакого слѣда.

Стояла на землѣ церковь, въ которой все сіе «пѣта бяху», жилъ и наслаждался полнымъ благоденствіемъ батюшка, который призывалъ на брачившихся Божіе благословеніе, даже и дьячокъ игралъ на гитарѣ точно въ тотъ день, когда новобрачный записывалъ у него въ церковной квартирѣ свой «обыскъ», но теперь выходило, что всего этого никогда не было, что ни батюшка, ни дьячокъ этихъ супруговъ никогда не вѣнчали и,—что всего важнѣе,—въ обыскной книгѣ, дѣйствительно, *ничего не записано.*

Приняты были самыя энергическія и настойчивыя попытки разоблачить эту таинственнѣйшую продѣлку и доказать фактъ вѣнчанія, но все оказалось безуспѣшно. Между тѣмъ, бракъ, дѣйствительно, былъ вѣнчанъ,—въ этомъ со всею искренностью ручались оба супруга и очень престарѣлая мать одного изъ нихъ, *лично сидѣвшая* во время совершенія брачнаго обряда въ церкви. Но куда же это исчезло изъ обыскныхъ книгъ церкви и гдѣ брачное свидѣтельство, которое должно быть у каждой обвѣнчанной пары?

Его не было.

Почему?

Жена въ этомъ случаѣ ссылалась на мужа, а мужъ на свою оплошность.

Все это было какъ-то темно и маловѣроятно.

Въ родствѣ у супруговъ оказался очень проницательный и ловкій адвокатъ московской заправки, котораго такъ и звали «московскій пекарь». Пекаря выписали и пустили въ ходъ, но онъ мѣсилъ, мѣсилъ въ этой дѣжѣ и ничего не вымѣсилъ... Концы были такъ похоронены, что ни одного изъ нихъ нельзя было отыскать.

Долго адвокатъ рылся въ архивахъ, много рыскалъ по

разнымъ мѣстамъ, отыскивая свидѣтелей, которые подписывали поручительныя записи въ обыскной книгѣ, но ни одного изъ нихъ нигдѣ не отыскалъ. Обращались, помнится, къ содѣйствію особыхъ властей, но и тѣ ничего не помогли, что, впрочемъ, было и неудивительно, потому что ни мужъ, ни жена не знали свидѣтелей, подписавшихъ ихъ обыскную книгу. Супруги увѣряли только, что свидѣтели были и подписывались, но что они были поставлены самимъ батюшкою, который взялся за ихъ дѣло *аккордомъ*, т. е. что и свидѣтели, и пѣвцы,—все будетъ *отъ него*.

— Мы,—говорили супруги:—считали это за самое удобное, а оно вышло вотъ какъ... неудобно.

Добиться подтвержденія отъ батюшки—нечего было и думать: онъ разъ навсегда наотрѣзъ отрѣзалъ, что онъ «лично таковыхъ супруговъ не помнитъ», а потомъ особымъ властямъ довелъ, что онъ и не можетъ помнить всѣхъ, кого онъ вѣнчалъ, тѣмъ болѣе, что, по словамъ самихъ этихъ людей,—если они не лгутъ,—ихъ вѣнчаніе происходило десять лѣтъ назадъ, а въ десять лѣтъ воды утечетъ много.

— «Если я ихъ вѣнчалъ,—отвѣчалъ батюшка:—то бракъ ихъ долженъ быть записанъ въ обыскную книгу, и у нихъ должно быть свидѣтельство. Это порядокъ всѣмъ извѣстный, даже не исключая и такихъ безбожниковъ, какъ писатели. А если въ обыскныхъ книгахъ записей нѣтъ и свидѣтельства нѣтъ, такъ, значитъ, вѣнчалъ ихъ не попъ вокругъ аналоя, а заяцъ вокругъ ракитоваго куста. Опять и это тоже по-литературному, но только пусть они теперь туда и идутъ справки брать. А я, говоритъ, если мнѣ съ этимъ докучать еще будутъ,—за шиворотъ ихъ да къ прокурору стащу, за оклеветаніе».

Ясно было, что батюшка крѣпко кованъ и ничего не боится.

Но что выходило всего хуже, такъ это то, что ветхая старушка, мать одного изъ супруговъ, во всей этой сумятицѣ совсѣмъ сбилась съ толку и стала говорить самый безсвязный вздоръ. Московскій софистъ до того изнурилъ ее, заставляя подробно припоминать всѣ детали событія, что она совсѣмъ все позабыла.

Старушка увѣряла, будто хорошо помнитъ, что, ѣдучи въ церковь, она чуть не выпала изъ саней и такъ прозябла, что сидѣла въ церкви, не снимая шубы, тогда какъ, по показанію супруговъ, выходило, что бракъ ихъ происходилъ

въ іюнѣ. Потомъ супруги говорили, что они перевѣнчались за нѣсколько дней до рожденія ихъ старшаго сына, который появился на свѣтъ 2-го іюля, а матушка ихъ помнила, что она тогда, будто, очень спѣшила къ внучку.

Словомъ, выходила путаница, которая только прибавляла досаду къ досадѣ.

Старушка, которую всѣмъ этимъ мучили, думала, думала: какъ ей согласить свою шубу и сани съ іюльской жарой и ея поспѣшливость къ внуку прежде его рожденія, и, наконецъ, объявила, что ей забило памороки.

— Теперь,—божилась она:—хоть къ присягѣ идти,—ничего не понимаю, что въ самомъ дѣлѣ было и что мнѣ только кажется. Можетъ-быть,—говоритъ,—я въ саняхъ-то точно ѣхала, а про свадьбу вашу мнѣ только такъ кажется. А можетъ-быть я никуда и не ѣздила. Гдѣ это помнить!

Твердыми въ своемъ оставались одни супруги, которыхъ всѣ, ихъ знающіе, считали за людей очень правдивыхъ и честныхъ. Но ихъ показаніе въ своемъ собственномъ дѣлѣ не представляло никакого юридическаго доказательства, да, притомъ, и оно, въ виду всѣхъ другихъ несообразностей, начало казаться страннымъ. Даже московскій адвокатъ, по близкому родству съ супругами, первый готовъ былъ заподозрить основательность ихъ свидѣтельства, а его примѣру послѣдовали другіе. И пока газеты потѣшались насчетъ злополучныхъ супруговъ съ безтактною злобою, которой тѣ нимало не заслуживали, судьба супруговъ и ихъ дѣтей была рѣшена: дѣло было проиграно не только въ надлежащихъ инстанціяхъ, но и въ общественномъ мнѣніи людей, имѣющихъ несчастіе подчиняться давленію всякой печатной строчки.

Правда, что добрые знакомые супруговъ послѣ всей этой передряги отъ нихъ не отшатнулись, а напротивъ, даже еще болѣе о нихъ соболѣзновали; но что касается недоказаннаго вѣнчанія, то ему уже положительно болѣе не вѣрили и даже ставили въ упрекъ: зачѣмъ они такъ упорно стоятъ на своей неискусной выдумкѣ?

Но могли ли такъ нагло и такъ упорно лгать эти люди, безусловно честные и безусловно правдивые, какими я ихъ считалъ и имѣю всѣ основанія таковыми же считать ихъ и понынѣ.

Это меня не переставало занимать и дало мнѣ поводъ вызвать скучающаго отца протоіерея на разъясненіе: можетъ ли случиться, чтобы бракъ, обвѣнчанный въ церкви и записанный въ книги, исчезъ безслѣдно, или же все это невозможная ложь?

Батюшка, дай Богъ ему здоровья, все это мнѣ и разъяснилъ и, притомъ, такъ обстоятельно, какъ можетъ разъяснить человѣкъ, стоящій на высотѣ своего пастырскаго призванія и имѣющій умъ тонкій и проницательный, а знаніе сердца человѣческаго самосовершеннѣйшее.

На мой вопросъ: возможно ли, чтобы безслѣдно исчезъ бракъ, «пѣтый въ церкви», мой собесѣдникъ отвѣчалъ:

— Нынче все возможно.

— Отчего же это только *нынче* стало возможно? Можетъ-быть, и прежде такъ бывало.

— Нѣтъ, прежде такихъ мошенниковъ не было, какъ нынѣшніе. Прежде были разбойники, грабители да воры,— люди все отчаянные да крупные, а теперь всякая Голь, Шмоль, Ноль и компанія аккордомъ плутуетъ. Да вы это, впрочемъ, по какому случаю меня разспрашиваете?

Я назвалъ случай, т.-е. пересказалъ вкратцѣ исторію непостижимаго вѣнчанія литератора Z., который никакъ не могъ доказать, что онъ былъ обвѣнчанъ.

— Слыхалъ,—проговорилъ отецъ протопопъ:—слыхалъ про эту исторію, хотя и не помню гдѣ.

— Не въ газетахъ ли читали?

— Вотъ именно дѣти въ газетахъ гдѣ-то читали, а мнѣ разсказывали.

— Не правда ли, удивительное и непонятное дѣло?

— Отчего же непонятное? И удивительнаго мало, а непонятнаго еще менѣе.

— Однако, что же вы подумали: какъ это могло сдѣлаться?

— Я подумалъ только: должно быть отецъ N. вѣнчалъ.

Это дѣйствительно было такъ, какъ отгадывалъ мой собесѣдникъ, и потому я позволилъ себѣ предложить ему особый вопросъ объ отцѣ N., вѣнчанія котораго отличаются такою характеристическою непрочностью.

— Почему вы узнали, что это вѣнчаніе трудовъ отца N.?

— Вотъ странный вопросъ: а почему вы узнаете работу одного мастера отъ работы другого?

— По красотѣ исполненія, по прочности, иногда по фасону. Но вѣдь это совсѣмъ иное.

— То же самое. Отецъ N. это тоже сихъ дѣлъ портной безъ узелка...

— Извините,—говорю,—я этого не понимаю.

— Чего же вы не понимаете? Что значитъ «портной безъ узелка»? Значитъ, что у него нитка въ швѣ не остается, а все насквозь проходитъ.

— И значитъ—шва совсѣмъ нѣтъ?

— Нѣтъ, или есть—это уже какъ хотите, но только его шовъ не держится.

— Но какая же ему выгода такъ шить?

— Есть выгода.

— Но онъ рискуетъ, съ этакою манерою шва, остаться со временемъ безъ работы?

— Очень можетъ быть, только это будетъ еще не скоро,— не ранѣе, какъ иже по просвѣщеніи.

— То-есть, когда это «по просвѣщеніи»?

— А когда въ обществѣ распространятся настоящія понятія о *тайнѣ брачія* и люди не будутъ вертѣть этого дѣла какъ попало и съ кѣмъ попало, лишь бы скорѣе да подешевле.

— Да неужто вы полагаете, что тутъ дѣло въ цѣнѣ?

— А разумѣется; по платѣ и шитво: дешевая цѣна,— такая и работа. Нынче, знаете, время такое базарное, ну и предложеніе по запросу: теперь человѣкъ и любитъ какъ-нибудь, и вѣнчается какъ-нибудь; беретъ для этого попишку какого-нибудь, а тотъ его свяжетъ тоже какъ-нибудь. А тамъ, гляди, оно и развязалось.

— Вы, замѣчаю, батюшка, кажется расположены въ пользу старины.

— Нѣтъ-съ, не особенно,—а впрочемъ—какъ въ чемъ и насчетъ чего. Если насчетъ того, будто бы древле было все лучше и дешевле,— такъ я не старовѣръ. А что насчетъ любви и склонности, а также серьезности брачныхъ отношеній, такъ тутъ я дѣйствительно люблю старинныхъ людей. Они, конечно, кое-чего такого, что̀ мы знаемъ, не знали, а ужъ что касается любить, то это они посерьезнѣе насъ умѣли.

— Такъ ли? говорю.

— Да ужъ такъ-съ. Вы вѣдь,—я знаю,—сейчасъ готовы, небось, заговорить про рыцарей. А что за кушанье рыцари?—Это чушь. Нѣтъ, а вы въ глубь вѣковъ погрузитесь, отколѣ ключъ жизни идетъ: тамъ настоящую прелесть любви и найдете.

— Гдѣ же это?

— Въ Библіи. Страстная книга: оттого сю многіе иноки соблазняются. У меня ее разъ инспекторъ изъ рукъ вырвалъ: «начитаешься, говоритъ, жениться захочешь». А онъ хлопоталъ, чтобы я въ монахи пошелъ. Вотъ тамъ любовь такъ любовь. Дочери-то человѣческія каково описаны: голенькія, безъ всякихъ нарядовъ, исполиновъ плѣняли.

— Это, говорю, все до-историческое.

— А въ историческомъ-то еще лучше: начнемъ хоть съ отца нашего Іакова. Посмотрите, пожалуйста, что̀ это за молодчина былъ по сердечной части! Вотъ настоящій месопотамскій рыцарь влюбился въ Рахиль и шесть лѣтъ за нее, сердяга, прослужилъ ея отцу,—да вѣдь какъ отслужилъ: не въ прохладномъ магазинѣ за прилавкомъ, а на полѣ подъ палящимъ солнцемъ. И что же? Его надули, и надули самымъ подлымъ образомъ: ему дурнолицынькую Лію подложили, а онъ впопыхахъ не разобралъ. Винить нельзя: разговоровъ вѣрно не было, а впотьмахъ всѣ кошки сѣрыя. Но вѣдь онъ не унялся:—не потянулъ тестя въ судъ, а еще шесть лѣтъ себя забатрачилъ, чтобы добыть-таки свою зазнобу, и добылъ. Такъ вѣдь это-съ человѣкъ—во всемъ значеніи слова, значитъ *любилъ*. И женщинѣ-то, какъ ей этакого чудеснаго мужчину не полюбить,—потому что хоть пастушокъ, да рыцарь, кавалеръ во весь ростъ и во всю силу. Ну, а нынче что же?.. Все прохвосты,—все приданаго ищутъ, либо завертятъ дѣвчонку и уговорятъ, будто ей стыдно, если мужъ на нее работать станетъ. «Сама, говоритъ, матушка, рукъ не покладай-работай». Это женское равноправіе, видите, называется; хитрость все,—чтобы самому легче было. Снизойдетъ къ ней когда-нибудь вечеркомъ, какъ Юпитеръ на ложе, и то если дѣться некуда,—осчастливитъ ее, когда той, бѣднягѣ, уже съ усталости и не до утѣхъ любовныхъ вовсе, а потомъ, на утро̀, встряхнулся, да и пошелъ опять свои рацеи разводить. А она опять работай, да еще глядишь,—съ шарманочкой. Вотъ ей

и равноправіе. А другой если увозитъ дѣвушку,—будто ее крадетъ, однимъ словомъ—«тайно вѣнчается», а самъ чортъ его не разберетъ, что такое онъ этимъ фортеле устраиваетъ; даже, право, не разберешь, для чего это они дѣлаютъ: по любви, или по глупости, или еще того хуже—по подлости, тайнобрачіе ломаютъ.

— Но по какой же подлости-то можетъ быть нужно ломать тайнобрачіе?

— По какой подлости?.. Эхъ, государь мой, еще какіе, когда бъ вы знали, нынче являются на этотъ фасонъ выжиги и какія отхватываютъ колѣнца,—такъ иной разъ просто либо только съ диву дашься и расхохочешься, или прямо вонъ подлеца выгонишь.

— Скажите хоть одинъ примѣръ.

— А вотъ, напримѣръ: подло или не подло сбить съ толку дурочку, которую родные берегутъ и не даютъ обобрать? Ко мнѣ явился разъ съ такою просьбою опекунъ и въ большомъ чинѣ... ухъ, выжига.

— Вы ихъ обвѣнчали?

— Нѣтъ, я-то не обвѣнчалъ. Я ему сказалъ: «Вы вельможа большая, да я не плутъ большой», а отецъ N и ихъ обвѣнчалъ.

— Но, однако, какъ же онъ: неужели всѣхъ, кого попало, вѣнчаетъ?

— Рѣшительно кого попало, но это у него жадность, по привычкѣ отъ отца, потому что его покойникъ отчаянный мастеръ на эти дѣла былъ; только я ихъ не сравню: тотъ былъ благороденъ—дорого бралъ, но и зналъ, съ кѣмъ подѣлиться. А этотъ какъ гіэна: все ничкомъ, самъ съ собою,—одинъ только все новыя штуки подлыя выдумываетъ.

— Значитъ, и тутъ, въ тайнобрачіи, замѣчается пониженіе тона и измельчаніе типа?..

— Да вѣдь какъ иначе. Все «идетъ со временемъ»,—какъ говоритъ блаженный Августинъ,—«все, освѣщаемое солнцемъ, раздѣляетъ его движимость, все изнемогаетъ подъ тяжестью вѣковъ». А ужъ нашего брата, попа, тяжести вѣковъ-то давили, давили, да еще и сейчасъ не даютъ ослабы... Въ старину, напримѣръ, тайнобрачіе часто по страху дѣлалось. Мнѣ мой дѣдъ разсказывалъ, какъ онъ въ царствованіе Екатерины одного помѣщика съ насильно увезенной

боярышней вѣнчалъ. Взяли дѣдушку обманомъ, изъ дому вызвали, да первое дѣло, благослови Господи, веревочную петлю ему на шею накинули и повели въ церковь. Дѣдушка думалъ:—разбойники,—грабить храмъ хотятъ, и ключи имъ выставляетъ: «Берите, дескать, все, что хотите,—послѣднюю ризу съ Царицы небесной снимайте, только мою грѣшную душу пощадите». Но видитъ: помѣщикъ и его люди стоятъ въ церкви и пучки розогъ держатъ. «Вѣнчай, говорятъ, сію минуту, а то запоремъ или на колокольнѣ повѣсимъ».

Дѣдушка былъ уже очень старый старичокъ и до безпамятства перепугался, но одно только вспомнилъ — про архіерея.

— Смилуйтесь, говоритъ, нашъ архіерей безжалостный,— онъ узнаетъ, тогда меня разстрижетъ, и моя старуха-попадья безъ хлѣба околѣетъ.

А помѣщикъ отвѣчаетъ:

— Не блекочи, старый баранъ, о пустякахъ: кому онъ архіерей, а кому все равно что ничего. Сейчасъ надѣвай ризу да пой покороче, за нами погоня скачетъ. Успѣешь обвѣнчать,—я тебѣ за это выгонъ цѣлины дамъ и до смерти вашей съ попадьею мѣсячину давать буду, а не сдѣлаешь по-моему, сейчасъ повѣшу.

Дѣдушка поклонился и сталъ облачаться, только просилъ, чтобы съ него петли уже и не снимали, на тотъ конецъ, чтобы все-таки оправданіе было.

— Такъ онъ и вѣнчалъ ихъ въ петлѣ?

— Такъ и вѣнчалъ: впереди вокругъ налою гайдукъ идетъ и дѣда ведетъ на обрывкѣ, а онъ молодыхъ ведетъ за руки.

— Что же, говорю, сказать?.. Дѣдъ вашъ сдѣлалъ дѣло невеликодушное.

— Чѣмъ-съ?

— Способствовалъ насилію:—вы же сами говорите, что невѣста была взята насильно.

— Да разумѣется, только вѣдь это дѣло-то, государь мой, все подъ петлей шло. Ишь вы захотѣли еще при нашихъ порядкахъ геройства! Героевъ, сударь, вообще на свѣтъ родится немного, да много-то ихъ и не нужно, а особенно на Руси ихъ не требуется. У насъ вѣдь ихъ не жалуютъ. И знаете черезъ что?.. Хлопотно съ ними. Право. Вотъ, посмотри, напримѣръ, на насъ теперь откуда-нибудь честные люди,—могутъ сказать, зачѣмъ это здѣсь всѣ въ карты

играютъ, а не занимаются чѣмъ-нибудь серьезнымъ; а займись-ка серьезностью,—скажутъ: что это они засерьезничали: о чемъ закручинились? Или всѣ говорятъ: мало правды на свѣтѣ. И оно точно: ея мало. А начни-ка иному правдолюбцу всю правду-то сказывать, такъ онъ и слушать не станетъ, да еще «безпокойнымъ» прозоветъ. Оттого и нѣтъ правды... А что до духовенства, то попишки наши, конечно, худы, но, повѣрьте, они по нашему времени такіе и надобны. И это не отъ крови, а отъ тьмы вѣка сего,—отъ духовъ злобы поднебесной. Были бы у насъ и не такіе попы, да... говорить только не хочется. А то я, не выходя вотъ изъ этой же самой семейной моей, такъ сказать, хроники, имѣю тому доказательство, что попики съ огонькомъ у насъ бывали и есть, но только они намъ не годятся и ждетъ ихъ конецъ часто бѣдственный.

Это касается родного брата моего отца и моего дяди, тоже сельскаго священника той же губерніи, откуда всѣ мы родомъ, а начало тому дѣлу восходитъ къ двѣнадцатому году.

Дядюшка, отецъ Алексѣй, былъ старше моего отца и поступилъ на мѣсто того самаго дѣда, который съ веревкою на шеѣ помѣщика-то вѣнчалъ. А былъ онъ человѣкъ, по тогдашнему времени, новаго поповскаго закала, что называлось «платоновскаго»,—разумѣется, не по Платону-философу, а по митрополиту Платону Левшину, которымъ тогда по семинаріямъ восторгалось не мало пылкихъ и благородныхъ юношей и пламенно старались ему подражать въ высотѣ мысли, въ стойкости нрава, въ достоинствѣ поведенія и въ благородствѣ чувствъ.

Вотъ такой былъ и дядя, отъ котораго произошелъ на свѣтъ мой двоюродный братъ.

Священствовать дядя о. Алексѣй началъ незадолго передъ отечественною войною, а въ ту пору въ одно село, его прихода, отъ французовъ прибѣжало изъ Москвы нѣкое семейство чиноничье. Люди были бѣдные, безпристальные и безкровные,—мужъ да жена съ однимъ груднымъ сынишкой. Помѣщикъ, сынъ того же самаго насильника Катерининыхъ временъ, почему-то знавалъ немножко этихъ можайскихъ сиротъ и теперь, въ ихъ тяжкой бѣдѣ, принялъ, но не на радость, а на новое горе. У чиновника жена была

раскрасавица-красавица, изъ московскаго купеческаго рода. Помѣщикъ чиновнику мѣсто гдѣ-то по карантинамъ досталъ, а жену у себя во флигеляхъ помѣстилъ, да и воспользовался ея одиночествомъ. Не знаю уже: сталось это волею, или неволею, или своею охотою, а говорили только, будто она сдѣлалась его добычею, хотя при этомъ всегда мужа любила.

Долго ея грѣхъ, разумѣется, не утаился, потому что у помѣщика прежде этого свой крѣпостной гаремъ былъ, и отставныя наложницы все скоро развѣдали и заныли. Особенно одна, какъ сейчасъ помню,—старухою ее мнѣ еще показывали,—она въ такое пришла неистовство, что, вѣроятно изъ мести, стала выкликать объ этомъ въ церкви за обѣднею. Какъ херувимскую пѣснь запоютъ на клиросѣ, она ладанъ почуетъ и сейчасъ съ ногъ хлопъ на полъ въ растяжку и пойдетъ причитать обличенія. Всю эту публицистику она вела отъ лица помѣщеннаго, будто, въ нее бѣса... «Сижу, выкликаетъ, у Афимьи въ утробѣ, подъ горячимъ сердцемъ,—тоской ее мучу ревнивою, а самъ все вижу. Вижу, какъ Самоха съ Давыда примѣръ взялъ: Урію на войну услалъ, а къ его Вирсавѣ со грѣхомъ ходитъ. Я то все знаю, и тѣмъ Химкино сердце сушу». Кричитъ, кричитъ этакъ, а потомъ взвоетъ: «Ахъ, куда дѣться, куда дѣваться». Жуткость даже этими криками на весь приходъ навела, тѣмъ болѣе, что за нею, по ея примѣру, и другія закликали, и все про ту же бѣдную барыньку, которая, можетъ-быть, и сама не рада была, что такого прелестника у подобныхъ соперницъ отбила.

Шла эта безцензурная гласность до тѣхъ поръ, пока узналъ про нее «самъ Самоха» и расправился съ обличительницами по силѣ своей божественной власти,—то-есть, однѣхъ отечески перепоролъ, а самую главную зачинщицу замуровалъ въ какой-то чуланъ и держалъ тамъ чуть не цѣлыхъ десять лѣтъ. А въ это время, разумѣется, невольный грѣхъ барыньки все продолжался, или по крайности такъ о немъ всѣ полагали.

Дядя же, отецъ Алексѣй, больше всѣхъ зналъ, потому что и чиновникъ, и жена его, да и «самъ Самоха» у него исповѣдывались и, какъ люди вѣрующіе, сами ему все на духу сказывали. А чиновникъ-то даже и не на духу, а такъ, прямо, по пріязни, не разъ ему свое горе открывалъ и

искалъ у него духовнаго утѣшенія. Въ селахъ, вѣдь, попамъ сердечное горе и до сихъ поръ сказываютъ,—особенно если попикъ не жаденъ да простъ.

Дядя же былъ человѣчекъ добрый и, въ свою мѣру, благочестивый; его всѣ любили. Онъ и чиновника этого въ его огорченіи добрымъ словомъ пользовалъ: когда бывало ему что-нибудь изъ Евстафія Плакиды приведетъ, или изъ другой трогательной книжечки прочитаетъ, а другой разъ, вечеркомъ, съ нимъ домашнихъ наливочекъ попьетъ, или въ мушку отъ скуки поиграетъ, и такими разнообразными пріемами добраго участія очень успѣлъ его успокоить и примирить съ его положеніемъ. Такъ жили они всѣ лѣтъ пятнадцать, и всякій день, какъ нынѣ въ удивленіе пишутъ, «втроемъ по утрамъ чай пили». Мужъ считался управителемъ и помѣщался на особой половинѣ, а помѣщикъ вблизи къ его супругѣ, утромъ же опять къ чаю трое садятся. Ревности мужъ по привычкѣ уже никакой не чувствовалъ, но только сталъ, горькій, запивать жестоко запоемъ и тогда опять, взволновавшись, плакался. Однако и это горе минуло; но настало новое, еще худшее, да и поучительное, поучительное въ томъ смыслѣ, что можетъ показать вамъ, какъ иногда священникъ-то бываетъ высокъ и совѣстливъ, да, къ тому же, и свѣдущъ въ дѣлахъ, ускользающихъ всякаго контроля не только высшей духовной власти, но и самаго закона, который вотще все предузрѣть тщится.

У чиновницы съ тѣхъ поръ, какъ она стала по утрамъ втроемъ чай пить, народилось много дѣтей, и въ числѣ оныхъ была одна дочка, красавица-раскрасавица, не хуже матери. Помѣщикъ, лихо его ѣшь, глядѣлъ, глядѣлъ на нее, выбиралъ, выбиралъ ей жениховъ, да вдругъ, въ одинъ прекрасный день, *самъ* вздумалъ на ней жениться. Законные всѣ претексты были къ тому, что ихъ можно было обвѣнчать, а только дядя, отецъ Алексѣй, больше всѣхъ законовѣдовъ зналъ: онъ, какъ духовникъ, зналъ грѣхи родительскіе. Да-съ; онъ зналъ, что̀ тутъ незаконнаго:—дѣвочка приходилась дочь жениху,—и какъ дѣло дошло до отца Алексѣя, онъ и уперся.

— Нѣтъ, говоритъ, не только не могу васъ вѣнчать, но обличаю васъ. Бога убойтесь, сами вѣдь во грѣхѣ каялись, и мать ея каялась: эта дѣвица ваша дочь есть.

Помѣщикъ разсвирѣпѣлъ и покатилъ къ архіерею, а архіерей о ту пору былъ Г—іилъ. Умный былъ человѣкъ, но любилъ пожить, а жить было не на что, и потому онъ не всегда себѣ господиномъ выходилъ. Тутъ архіерей видитъ, что дѣло кормное, и сейчасъ вытребовалъ къ себѣ въ О. дядю, отца Алексѣя, и спрашиваетъ:

— Почему ты такого-то помѣщика на такои-то дѣвицѣ не вѣнчаешь? Какія къ тому препятствія?

А отецъ Алексѣй отвѣчаетъ:

— Такъ и такъ, ваше преосвященство, вотъ что мнѣ, какъ духовному отцу, извѣстно, и вотъ мои причины и основанія не вѣнчать.

Архіерей задумался, покряхтѣлъ и говоритъ:

— Ишь ты, какъ ты очень много знаешь!—и отослалъ дядю домой, а однако и помѣщику, должно быть, разрѣшенія не далъ, потому что тотъ въ сосѣдней епархіи вѣнчался.

— Что же, говорю, вашъ дядюшка, дѣйствительно, показалъ своего рода героизмъ.

— То-то, героизмъ, зато оно ему худо и вышло. Героизма-то, повторяю, у насъ не жалуютъ. Такъ это, прочитать гдѣ-нибудь о героѣ, который дѣйствовалъ при царѣ Горохѣ, или хоть и недавно, да только не на нашей землѣ,— это мы любимъ; а если у себя на дворѣ что-нибудь хоть мало-мальски съ характеромъ заведется, такъ и согнемъ его сами въ три погибели. То было и съ дядею: вмѣсто того, чтобы его взять да перевести на другое мѣсто отъ разлютовавшагося помѣщика,—его взяли да нарочно тамъ и оставили. И что онъ только, бѣдный, вытерпѣлъ въ этомъ загонѣ: на дворъ его помѣщичій не пускали, собаками псари не разъ травили, и, наконецъ, до того довели, что онъ съ ума сошелъ и точно, какъ та баба Химка, все бывало сидитъ, какъ подстрѣленный голубь, и стонетъ:

— Куда дѣться? Куда дѣваться?

Ужасное это было зрѣлище. Помню его: бывало, дни и ночи все сидитъ въ батрацкой избѣ на холодной печкѣ и все одно жалобно стонетъ:

— Куда дѣться, куда дѣваться?

Въ одну сторону метнется, голоситъ: «Куда дѣться?» и сейчасъ въ другую повернетъ: «Куда дѣваться?» Насилу

Господь его вспомнилъ: дочернину свадьбу за дьячка справляли послѣ Крещенія, да за суетами про него позабыли,— онъ и замерзъ въ холодной избѣ на нетопленной печкѣ. Утромъ послѣ свадьбы пришли къ нему, а онъ лежитъ мертвый, скорчившись, и ручку крестомъ сложилъ: вѣрно въ послѣднюю минуту въ себя пришелъ и Богу помолился о себѣ и о своихъ мучителяхъ. Вотъ вамъ и примѣръ нравственнаго, какъ вы говорите, героизма, и того, чѣмъ онъ для насъ на Руси увѣнчивается. Жестко, сударь, жестко на Руси геройствовать...

Разсказчикъ вздохнулъ и добавилъ:—Такъ вотъ съ дѣтства-то видѣвъ это направленіе и эту практику, молодое-то поколѣніе наше и росло до того возраста, до котораго нынче выросло, и выработало себѣ, что необходимѣе, именно: не героизмъ, а практицизмъ.

— Въ какомъ же родѣ?

— Да въ родѣ нѣкотораго, такъ сказать, самоуправленія, или, пожалуй, если хотите, самоуправства, но только это, во-первыхъ, вызвано необходимостію, а во-вторыхъ, и не совсѣмъ безосновательно и не совсѣмъ безчинно. Даже къ чести духовенства сказать,—оно во многихъ случаяхъ дѣйствовало весьма человѣколюбиво, а главное—практику выработало, которая хорошо рекомендуетъ духовныхъ и даетъ полную возможность полагаться на ихъ умъ и нравственное чувство.

— Но вотъ этого-то, говорю, я и не понимаю: въ чемъ эта практика и ручательство?

— А въ томъ, что кого не слѣдуетъ вѣнчать, такъ будьте увѣрены—у насъ не перевѣнчаютъ.

— Не ошибаетесь ли вы, батюшка?

— Нѣтъ-съ, я не ошибаюсь.

— Воздержусь отъ противорѣчія вамъ, а только въ обществѣ объ этомъ думаютъ иначе.

— «Въ обществѣ»! Нашли на кого ссылаться! Что оно знаетъ и чего не болтаетъ это такъ-называемое наше общество!

— Ну какъ, говорю, такъ... о всемъ обществѣ...

— А то какъ еще говорить о людяхъ, которые судятъ и рядятъ о томъ, о чемъ и понятія не имѣютъ? Или доказательствъ еще требуете, — такъ они у васъ налицо. Разберите-ка, вѣнчанъ или не вѣнчанъ этотъ писатель Z.,

съ котораго нашъ разговоръ пошелъ, — вотъ и не разберете. Да они даже и сами не разберутъ, потому что въ церковь не ходятъ, служенія никогда не видятъ и не знаютъ, что̀ надъ ними дѣлаютъ: крестятъ ихъ, вѣнчаютъ, или хоронятъ. Ей право,—одичали хуже дикихъ!

И мой собесѣдникъ весело разсмѣялся.

— Но позвольте, — возразилъ я, слегка уязвленный его насмѣшкою, которая мнѣ все-таки не открывала интересовавшихъ меня практическихъ пріемовъ тайнобрачія.—Надѣюсь, вы, однако, допустите, что если общество неправильно судитъ о духовенствѣ, то, напримѣръ, архіереи ваши имѣютъ же о васъ настоящія понятія.

— Ну, что же такое? къ чему этотъ вопросъ?

— Да такъ. Вы скажите: имѣютъ они или не имѣютъ?

— Можетъ-быть нѣкоторые и имѣютъ.

— «Нѣкоторые» только?

— Да, нѣкоторые.

— Да и то «можетъ-быть». Но пусть такъ, — пусть будетъ по-вашему, а вотъ я знаю одинъ случай.

И я назвалъ дядю Никса.

Но едва я произнесъ это имя, какъ мой собесѣдникъ снова покатился со смѣху.

— Право, говорю, не могу понять, почему все это васъ такъ смѣшитъ.

— Да какъ же не смѣшить-съ! Такъ вотъ это вы этакую-то младенческую свадьбу считаете отчаянною смѣлостію? Ну, поздравляю васъ съ знаніемъ русской жизни. Вотъ оттого-то у васъ, господа, по большей части и въ романахъ-то въ вашихъ отвлеченнѣе, чѣмъ въ Аристофановой комедіи,—все «на облакахъ» происходитъ.

— Романы, говорю, отодвиньте въ сторону, — нынче на нихъ и спроса нѣтъ, а вы разубѣдите меня, что свадьба съ родною сестрою первой жены не есть свадьба незаконная и рискованная.

— Что она незаконная, противъ этого я спорить не стану, а рискованнаго въ ней нимало нѣтъ, да и вѣнчалъ ее основательный священникъ, котораго я какъ самъ себя знаю. Онъ никогда и ни за какія благополучія рискованнаго дѣла дѣлать не станетъ.

— Но вамъ, я думаю, надо бы подробнѣе знать эту пару, о которой мы говоримъ.

— Нечего мнѣ о ней узнавать, когда я о ней все существенное знаю.

— Когда же вы это узнавали?

— Тогда, когда того надобность требовала. Не хотите ли поэкзаменовать: я все отлично помню, со всѣми, можно сказать, деталями. Тутъ еще было нагажено тѣмъ, что разныя большія лица были впутаны. Не правда ли?

— Да.

— И къ тому же они владыку просили?

— Да, да, да.

— Помню. Братъ у невѣсты былъ, длинный-предлинный офицеръ съ ученымъ значкомъ.

— Былъ.

— Имени не помню, а по батюшкѣ, кажется, Данилычъ.

— Вы отлично помните.

— Вотъ онъ и приходилъ. Чудесный парень, все разсказалъ, по-военному: благородно и откровенно, и о своихъ неудачахъ у владыки открылъ.

— И это не испугало священника?

— Нимало. Штрафъ, разумѣется, на нихъ маленькій накинулъ въ цѣнѣ, чтобы старшихъ не безпокоили, и все тутъ.

— Однако, я помню, говорю, что этотъ Данилычъ не сразу какъ-то сговорился со священникомъ, а было два-три дня томительныхъ.

— Неправда: всего на-все одинъ день только ихъ просили подождать, и то это совсѣмъ не для притѣсненія, а уже это всегда такъ, нарочно, «заминка» дѣлается.

— Для чего?

— Чтобы давальцевъ не отпугнуть, а въ то же время справки навести.

— Какія же справки?

— Есть или нѣтъ у брачущихся недвижимое имущество или значительное наслѣдство.

— Но зачѣмъ это священнику?

— А это въ тайныхъ бракахъ и есть самое нужнѣйшее.

— Будто это такъ важно?

— Это только и важно. Если есть родовое имѣніе, которое могутъ наслѣдовать родственники, или если дѣти могутъ быть претендентами на какое-либо родовое наслѣдство,

тогда, будьте увѣрены, никакой священникъ такого брака вѣнчать не станетъ.

— А какъ можно это знать?

— Въ тонкости узнаютъ.

— И скоро?

— Да смотря по людямъ и дѣлу: иногда сразу же, а иногда подольше.

— Съ недѣльку, или съ мѣсяцъ?

— О, что вы! Нѣтъ,—сутки, много двое.

— Какимъ же образомъ можно собрать такъ скоро такія щекотливыя справки, о которыхъ люди могутъ все утаить и налгать?

— Надо имѣть способнаго справщика и содержать его, иногда даже и терпѣть отъ него кое-что, какъ вотъ, напримѣръ, нѣкоему ближнему доводилось терпѣть отъ этого молодца, который о дядюшкѣ Никсѣ обыскъ дѣлалъ.

— Какой же у этого дѣльца церковный чинъ?

— Чинъ у него — церковный сторожъ, а ходитъ онъ за причетника.

— И по особымъ порученіямъ?

— Да, преимущественно-то по особымъ порученіямъ. Сдѣлаешь маленькую заминку, а онъ тѣмъ временемъ все и обслѣдуетъ.

— Но какимъ образомъ?

— А ужъ это по его усмотрѣнію.

— А онъ не вретъ?

— Нѣтъ, для чего же? да онъ всегда вѣдь и весь процессъ и источники укажетъ, такъ что можете обсудить основательность и достовѣрность и того, и другого, и третьяго.

— Ну, такъ вотъ, позвольте же, говорю, васъ разочаровать.

— Сдѣлайте милость—если удастся.

— При вѣнчаніи дяди Никса рѣшительно ни отъ кого ни изъ ихъ родныхъ, ни изъ знакомыхъ, никто такихъ справокъ не забиралъ.

— Вѣрно. Нашъ дока свое имя не даромъ носитъ: онъ не такъ глупъ, чтобы съ родными жениха сталъ разговаривать. Онъ понимаетъ, что это дѣло сердечное, и дѣйствуетъ тонко, — собираетъ источники чистые и достовѣрные. Ему было сказано, что вотъ такъ-то и такъ-то, — вотъ этакій крупный человѣкъ желаетъ жениться на се-

стрѣ своей покойной жены, — я на день заминку сдѣлаю, а ты поди и удостовѣрь дѣло какъ нужно. А онъ отвѣчаетъ: «это можно кратко дослѣдить — потому что у нихъ старшій дворникъ Терешка мой пріятель». Если вы все вѣдаете, то вы должны знать: былъ у нихъ дворникъ Терешка или нѣтъ?

— Знаю: дѣйствительно былъ дворникъ Терешка.

— Ну вотъ видите. Справщикъ взялъ на три бутылки пива, посидѣлъ съ этимъ Терешкой въ низкѣ и вернулся, говоритъ:

— Терешка сказалъ: можно вѣнчать.

— Но вѣроятно же при этомъ и какія-нибудь подробности дознанія были представлены?

— Какъ же, — разумѣется, были: подробности необходимы, потому что по нимъ видишь и судишь: вѣрно ли и благонадежно ли все дѣло?

— Ну, а въ отношеніи дяди Никса, напримѣръ, въ чемъ же заключались эти подробности?

— Помнится, онъ разсказалъ такъ: пришелъ, говоритъ, къ воротамъ, Терешку вызвалъ, — пошли въ низокъ, двѣ пары пива выпили, и Терешка сказываетъ: ничего, — дѣло плевое, — можно вѣнчать, господа согласные. Она, говоритъ, барыня къ нему ласковая и теперь тяжела, а всѣ ейные братья и сестры желаютъ, чтобы она съ нимъ подзаконилась. А насчетъ состоянія не сумлѣвайтесь: имѣніевъ у нихъ нѣтъ и что имъ по зимѣ мороженыхъ индюшекъ присылали, такъ это изъ чужой деревни. Онъ съ жалованья живетъ, а она совсѣмъ безпомѣстная. Скажи батюшкѣ, что совѣтую, чтобы крутилъ съ Богомъ.

— И это все?

— А вамъ что же еще надо?

— И вотъ *это*-то, вотъ эту болтовню съ дворникомъ вы называете справкою или свѣдѣніемъ!

— А какъ же это по-вашему надо назвать?

— Да такъ и назвать, пустяками, вздоромъ. Да вы, извините меня, я думаю, что вы шутите.

— Нѣтъ, не шучу.

— Не могу вѣрить!

— Почему же?

— Да потому, что вы не можете не знать, что на слова

такихъ людей, какъ мужикъ-дворникъ, твердо полагаться нельзя.

— Нѣтъ, я этого не знаю, и совсѣмъ другое думаю.

— Что же вы думаете?

— Я думаю: какіе вы все жалкіе, поврежденные люди, и какъ вы безнадежно повреждены, въ самомъ своемъ корнѣ: въ вѣрѣ въ умъ и въ доблесть русскаго человѣка. Кто, какой злой духъ, или какой лихой опытъ далъ вамъ право такъ низко судить о нашемъ умномъ и добромъ народѣ? И сторожъ-то васъ обманетъ, и дворникъ обманетъ, и, наконецъ, уже и я, попъ, васъ обманываю, — шучу, видите, а не правду вамъ сказываю...

Батюшка закачалъ укоризненно головою и добавилъ снисходительно:

— Ахъ вы, господа, господа теоретики. Постыдились бы вы этого своего невѣрія въ русскаго человѣка, да не давали бы другимъ повадки утверждать, что мы сами собою ничего путнаго учредить не можемъ. Тьфу, что̀ за гадость, что̀ за недовѣріе къ русскому человѣку, даже въ томъ случаѣ, если онъ дворникъ, которому сама полиція вѣритъ больше, чѣмъ любому ученому и литератору.

Сказавъ это, батюшка опять плюнулъ и плюнулъ такъ рѣшительно, какъ могъ плевать только извѣстный Костанджогло, и затѣмъ тихо проворчалъ:

— Недовѣріе, вездѣ недовѣріе, на всякое время и на всякъ часъ это проклятое недовѣріе. Оттого и заводятся всякіе портные, что безъ узла шьютъ.

— То-есть вотъ этого-то я и не понимаю: отчего же они заводятся?

— Да отъ боязни живыхъ сношеній съ людьми и отъ возни съ одною бумажною хитростію. И какъ все это сложно и непрочно, и какою хитрою механикой пахнетъ— вообразить гадко. Я увѣренъ, что если я вамъ сейчасъ это разъясню, то вы увидите, какія преимущества имѣетъ простота вездѣ, не исключая и тайнобрачія, гдѣ она должна быть хвалима передъ всѣми иными хитростями, въ которыя теперь жалостно уловляется не мало людей, имущихъ только образъ вѣнчанія, но силы онаго лишенныхъ.

Я весь обратился во вниманіе.

— О тайномъ вѣнчаніи такихъ людей прежде и помина

не было. Вѣнчались тайно, бывало, помѣщики или гусары, или вообще люди значительные, о которыхъ всегда можно что̀ надо разузнать въ разсужденіи родства и наслѣдства; но потомъ, какъ все это съ отъемомъ крестьянъ перепуталось, — тутъ разночинецъ сталъ входить въ силу и тоже полѣзъ тайнобрачиться. Разумѣется, всему этому женщины виною: сейчасъ сороки этакія изъ верхнихъ слоевъ всякую моду перенимаютъ. Иная прежде уже лѣтъ нѣсколько въ простотѣ съ человѣкомъ безъ вѣнца тихо обращалась и нимало не смущалась,—а тутъ прослышала, что въ большихъ кружкахъ всѣ вѣнчаются; и сама стала приставать, чтобы и ей подзакониться. Ну, разумѣется, чего баба захочетъ, того достигнетъ: человѣкъ терпитъ, терпитъ и, наконецъ, плюнетъ: «будь ты совсѣмъ не ладна!» Пойдетъ и проситъ батюшку: «Такъ-молъ и такъ, — не могу бабу усмирить: повѣнчайте!» Иной по нынѣшнему времени и таковыхъ вѣнчаетъ, и уже, разумѣется, не по старинному, за помѣщичью или за гусарскую цѣну, а такъ «что положатъ». И за двѣ десятныхъ пѣвали, и даже менѣе, и, разумѣется, уже въ разсужденіи справокъ стали обращаться съ небрежью, потому что и хлопотать-то было не за что, а къ тому же и трудно. Русскій мужикъ дворникъ — ужасный, вѣдь, аристократъ въ душѣ, особенно если брюхо себѣ наѣстъ: онъ такимъ мелкимъ народомъ, какъ разночинцы, не любитъ заниматься. Вотъ о жильцѣ начиная съ чина статскаго совѣтника—онъ любопытствуетъ, изъ какихъ дошелъ и какого роду и состоянія, и изъ чьего имѣнія ему мороженыхъ индюшекъ присылаютъ, ну, а мелкотою онъ интересоваться не любитъ. Это уже его натура такая, — даже полиція его къ этому пріучить не можетъ. Приставъ нашъ мнѣ не разъ жаловался, — говоритъ: хоть не спрашивай ихъ, дураковъ, про подозрительныхъ людей,—заведетъ такую катавасію:

— «Мы, молъ, ваше-скобродіе, понимаемъ, что какъ эти люди малозначительные, такъ ими не антересуемся, а вотъ генералъ у насъ живутъ—это точно, и съ своей экономкой они обращаются, изъ нѣмокъ, а у той братъ есть при чужомъ грапѣ секлетаремъ служитъ».—И пойдетъ, говоритъ, дуракъ вверхъ все въ аристократію лѣзть.—И это справедливо: съ этой стороны они намъ неудобны, и это-то собственно и есть для браковъ небольшихъ людей большое препятствіе. А между тѣмъ, какъ вамъ докладываю, и эти

въ послѣднее время, по бабьему настоянію, все туда же лѣзли, чтобы секретно вѣнчаться, да еще и задешево, потому что и платить-то какъ слѣдуетъ они не могутъ. Тогда этотъ самый отецъ «вѣнчальный батюшка» и выдумалъ фортелé, и такое фортелé, что долго его никакъ нельзя было понять, въ чемъ оно заключается. Слышимъ только между собою, что онъ вѣнчаетъ и направо, и налѣво, и уже никакихъ справокъ не собираетъ. Да-съ, и задешево: всѣ прификсы сбилъ, а крутитъ за предложенную цѣну. Понять невозможно было, въ чью это голову онъ содитъ и за что рискуетъ, какъ вдругъ оказывается, что онъ, плутяга, ничѣмъ и не рискуетъ. И выплыло это дѣло самымъ нежданнымъ маперомъ, къ которому я какъ разъ могу подвести дѣло вашего тайнобрачнаго знакомца.

Въ лѣтнее время семья моя на дачѣ была, а я наѣзжалъ сюда чередное служеніе отбывать. На всю недѣлю для обѣденъ я «ранняго батюшку» за себя нанималъ, а въ субботу самъ пріѣзжалъ: служилъ всенощное и въ воскресенье—позднюю. Только-что выхожу я послѣ всенощной,—пройтись по набережной хотѣлъ, — а ко мнѣ подходитъ какой-то господинъ съ дамочкой и объясняютъ, что они женихъ съ невѣстою и хотятъ повѣнчаться. Я отвѣчаю: доброе дѣло, доброе дѣло; а самъ на него смотрю инквизитерски, потому-что онъ мнѣ что-то фертоватъ показался.

— А документы, говорю, въ порядкѣ?

— Да, документы, отвѣчаютъ, есть.

— Разсмотрѣть, говорю, надо. — Благоволите оставить. Завтра отвѣтъ дамъ.

Онъ утромъ занесъ всю свою герольдію въ одномъ пакетикѣ. Поглядѣлъ я, — все въ порядкѣ, а только легковѣсность какая-то: у него указишко объ отставкѣ и чинишко шаршавенькій,—губернскій секретарь, а она—вдова учителя. Кто ихъ тутъ разберетъ, въ какой они другъ къ другу позиціи?

Я велѣлъ своему докѣ-сторожу адресъ ихъ замѣтить и справиться, — справка вышла пустая. Приходитъ мой вѣстовщикъ и говоритъ:

— Такъ и такъ, говоритъ, живутъ они вмѣстѣ третій годъ на одной квартирѣ, и дѣвочка маленькая у нихъ есть, а прислугу одну держатъ и въ мелочной берутъ на

книжку, а мясникъ не даетъ въ долгъ. Впрочемъ, говоритъ, пить не пьютъ, но знакомцевъ окромя писателевъ никого изъ достойныхъ лицъ у нихъ не бываетъ и ничего про нихъ знать нельзя. Мое, говоритъ, такое мнѣніе, что не надо ихъ вѣнчать, — что-то опасно. Пусть къ своему приходскому батюшкѣ идутъ.

А я ему въ тонкихъ дѣлахъ вѣрилъ, да и мнѣ самому показалось, что это опасно. У насъ, знаете, ужъ свой нюхъ на это есть. Дѣла по дѣламъ будто ничего, а своимъ верхнимъ чутьемъ поведешь—и другое слышишь. Такъ и тутъ: бумаженки тощія и людцы маленькіе, и что-то не порядкомъ отдаетъ, да опять, самое главное, и дворникъ не ручается.

Подумалъ я, подумалъ: есть что-то сомнительное, и отказалъ. Свернулъ бумажки въ его же конвертъ, подлѣпилъ клейкомъ и отдалъ сторожу.

— Какъ придетъ, говорю, этотъ господинъ,—скажи ему, что, молъ, батюшка уѣхали, и бумаги отдай. А впередъ, молъ, просили не приходить.

Такъ и сдѣлалось, тотъ его отправилъ. Я рукою махнулъ и позабылъ. Но господинъ этотъ женихъ былъ мстивъ и, встрѣтивши разъ гдѣ-то моего сторожа, какъ бы въ веселіи объявляетъ: — «Вотъ твой батюшка не хотѣлъ меня перевѣнчать, а отецъ такой-то (называетъ вѣнчальнаго батюшку) насъ, говоритъ, перевѣнчалъ». Тотъ мнѣ это передаетъ, а черезъ малое время говоритъ, что онъ и самъ желаетъ перейти къ тому вѣнчальному батюшкѣ, на «соотвѣтственную должность».

— На какую это?—спрашиваю.

— Въ пѣвцы.

— Да ты пѣть не умѣешь.

— Что жъ такое, говоритъ,—и не умѣвши поютъ.

— Но у тебя и голоса нѣтъ.

— Въ церкви, отвѣчаетъ, можно пѣть и безъ голоса.

— Нѣтъ, ты, говорю, откройся: чѣмъ мальчикъ Гришка мачихою недоволенъ?

— Да что, говоритъ, батюшка: откровенно сказать, вы еще по старинѣ: все справляетесь. Теперь это надо оставить.—Тамъ смѣлѣе крутятъ, и черезъ то служить авантажнѣе.

— Ну, смотри, молъ, не попадись, съ большимъ авантажемъ-то.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, тамъ придумана механика умная.

Я и полюбопытствовалъ, что это за механика и какъ онъ про нее провѣдалъ.

— А я, говоритъ, отъ этого же барина все провѣдалъ.

— Да у тебя, молъ, какія же съ нимъ сношенія?

— За совѣтами онъ ко мнѣ приходилъ.

— А ты что за юристъ-консультъ такой, что къ тебѣ за совѣтами ходятъ?

— Нѣтъ, я, отвѣчаетъ, не консулъ, а когда человѣка хорошенько нажгутъ, такъ онъ ко всякому лѣзетъ.

— Да, молъ, если глупъ, такъ лѣзетъ.

— Однако, отвѣчаетъ, и у васъ, какъ въ прошломъ году зубы хорошенько разболѣлись, такъ вы вотъ и не глупы, а тоже на Моховую къ цырюльнику заговаривать пошли.

— Да, говорю, это правда,—ходилъ.

— А вотъ то-то, говоритъ, и есть. А вѣдь онъ, этотъ цырюльникъ, ничего не знаетъ: молитовку какую-то пошепчетъ, да обрывокъ человѣку, какъ теленку, нацѣпитъ и велитъ не скидывать. И вамъ, небось, то самое вѣшалъ?

— Вѣшалъ.

— И вы, пожалуй, такъ и служили въ обрывкѣ?

— Служилъ.

— Ну, такъ это и я бы вамъ могъ нацѣпить, да стыдъ только не позволялъ. А баринокъ этотъ ко мнѣ первый разъ съ весельемъ заговорилъ, чтобы черезъ меня васъ подзадорить, а потомъ, вчера—гляжу, нарочно идетъ, и лица на немъ нѣтъ.

— Что, говорю, вамъ такое?

— Ужасная, говоритъ, непріятность: мнѣ надо еще разъ перевѣнчаться.

Я гляжу на него и думаю: не помѣшался ли онъ?

— Да вѣдь вы же, говорю, сказывали мнѣ, что васъ обвѣнчали.

— Да, отвѣчаетъ: обвѣнчать-то обвѣнчали, да очень легко сдѣлали: надо еще разъ гдѣ-нибудь обвѣнчаться основательнѣе.

— Что же это за дѣло такое? Вы, говорю, если хотите отъ меня помощи, такъ въ подробности объясните, потому что безъ этого и лѣкарь не лѣчитъ.

Онъ и сталъ объяснять.

— Батюшка, говоритъ, насъ обвѣнчалъ, велѣлъ поцѣловаться и отпустилъ, а потомъ я пошелъ за свидѣтельствомъ,— дома его не засталъ. И еще черезъ день пошелъ, и опять не засталъ, и опять черезъ недѣлю пошелъ и тоже не сподобился видѣть.

И такъ ходилъ, ходилъ, и счетъ ходинкамъ потерялъ, а тѣмъ временемъ жена родила и надо крестить; брачное свидѣтельство уже необходимо. — Тутъ этотъ супругъ уже не съ короткимъ полѣзъ звониться, и дозвонился, хоть не до самого батюшки, такъ до его причетника, и сообщилъ ему свою нужду и неудовольствіе. А причетникъ проговорилъ:

— Что, господинъ, напрасно ходите, и себя, и насъ напрасно затрудняете: никакого вамъ свидѣтельства не будетъ.

Баринокъ вскипятился: какъ не будетъ?

— Что, грозитъ, вы думаете—я церковныхъ порядковъ, что ли, не знаю! я юристъ—у насъ на лекціяхъ все это преподавали; я сейчасъ къ благочинному, да въ консисторію, или къ самому владыкѣ!

А дьячокъ-то у нихъ очень умный.—Все чернило и марки у него на рукахъ *). Онъ этому барину и отвѣчаетъ:

— Не пужайте, господинъ; что вы такъ страшно пужаете? Идите не только къ владыкѣ, а хоть къ самому Господу Богу, такъ мы стоимъ во всѣхъ дѣлахъ чисты, — и никого не боимся.

— Да, вѣдь, я же, говоритъ, вѣнчался.

— Спору нѣтъ, что вѣнчались, — отвѣчаетъ дьячокъ: — мало ли кто вѣнчался, но не всякій же беретъ свидѣтельство. Вотъ наши мужички православные и знать этихъ пустяковъ никогда не знаютъ. А намъ совсѣмъ неизвѣстно: кому нужно такое свидѣтельство, а кому оно не нужно. Если

*) Содержать «чернило на рукахъ»—значитъ вести письменную часть, а марками называются жестянки, выдаваемыя священниками исповѣдникамъ, съ каковыми послѣдніе подходятъ къ записчикамъ, вносящимъ имена въ исповѣдныя росписи. Марки эти должны служить доказательствами. что исповѣдникъ дѣйствительно былъ у священника на духу и получилъ разрѣшеніе въ своихъ согрѣшеніяхъ, а не записывается въ книги безъ исповѣди. Впрочемъ, эти марки или бляшки теперь уже почти повсемѣстно выводятся изъ употребленія, какъ не достигающія цѣли.

вы вѣнчались для уваженія таинства, то и будетъ съ васъ, и оставайтесь тѣмъ довольны.

Баринъ вскипѣлъ:—Что вы разбойники, что ли, говоритъ, на что мнѣ таинство!

А дьячокъ свой шагъ спокойно держитъ.

— Нѣтъ, говоритъ, мы не разбойники, а вы, господинъ, про таинство потише, да и не ругайтесь, а то я сейчасъ и дверь захлопну, чтобы такихъ словъ не слыхать, за коп къ отвѣту потянуть могутъ. А вы тогда оставайтесь на улицѣ и идите куда вамъ угодно жаловаться.

Тутъ баринокъ видитъ, что имѣетъ дѣло съ человѣкомъ крѣпкимъ: пересталъ пылить и говоритъ:

— Да нѣтъ, вы, милый другъ, сами посудите... я этого себѣ даже уяснить не могу: въ какомъ же я теперь положеніи?—Да при этомъ рублевый билетикъ ему въ руку и сунулъ.

Тогда, разумѣется, и дьячокъ къ нему перемѣнился.

— Давно бы, говоритъ, господинъ, вы этакъ... честью всегда все скорѣе узнаете. Вы къ батюшкѣ на домъ больше не докучайте, потому что они дома никакихъ объясненій по непріятнымъ дѣламъ не даютъ, а пожалуйте завтра, въ воскресенье, за литургію,—тамъ и объяснитесь.

Тотъ такъ и учинилъ: пошелъ къ обѣднѣ съ пыломъ въ сердцѣ, за обѣднею постоялъ, немножко поуморился и отмякъ, а, дождавшись времени, подходитъ къ батюшкѣ:

— Такъ и такъ, до васъ, батюшка, дѣло имѣю.

— Какое?

— Свидѣтельство мнѣ позвольте.

— Въ какомъ смыслѣ?

— Что я вами обвѣнчанъ съ моею женою.

— А какъ ваша фамилія?

— Такъ-то.

— Не помню. А когда я васъ вѣнчалъ?

— Да вотъ, мѣсяца два тому назадъ.

— Мѣсяца два назадъ... не помню. Но что же вы такъ долго не брали свидѣтельство?

— Я, говоритъ, нѣсколько разъ приходилъ, да все дома васъ не могъ застать.

— Ничего не слыхалъ, а дома меня точно трудно застать. Впрочемъ, я сейчасъ здѣсь справлюсь.

Оборачивается къ дьячку и говоритъ:

— Покажи мнѣ, какъ ихъ обыскъ записанъ.

Долго, долго онъ гдѣ-то съ этою справкою возился и, наконецъ, идетъ съ обыскною книгою въ рукахъ и кладетъ ее передъ батюшкой.

— Что же?—спрашиваетъ тотъ: — на которой страницѣ?

— Ни на которой нѣтъ,—отвѣчаетъ дьячокъ.

— Какъ такъ нѣтъ?

Дьячокъ молчитъ.

— Должно быть, если вѣнчали?

— Не знаю, — отвѣчаетъ дьячокъ, а самъ налѣво кругомъ за двери.

А батюшка вручаетъ книгу супругу и говоритъ:

— Вотъ вамъ, милостивый государь, самому книги въ руки, отыщите вашу запись.

Супругъ ищетъ, ищетъ и, разумѣется, ничего не находитъ.

— Нѣтъ, здѣсь, говоритъ, не записано.

— Вотъ тебѣ и разъ, — отвѣчаетъ батюшка и началъ самъ листки перекидывать.

— Что-же это можетъ значить?

— Значитъ: нѣтъ.

— Но вѣдь, помилуйте, говоритъ: я самъ расписывался въ такой книгѣ.

— Но гдѣ же эта ваша роспись?

— Да нѣтъ ея здѣсь.

— А нѣтъ, такъ и суда нѣтъ.

Да съ этимъ хлопъ, — книгу закрылъ и въ шкапикъ заперъ.

Супругъ взвылъ не своимъ голосомъ.

— Что же это такое? У васъ вѣрно другая похожая книга есть?

А батюшка говоритъ:

— Т-съ, милостивый государь,—потише. Здѣсь церковь, а не окружный судъ, что вы кричите. Не угодно ли попросить васъ о выходѣ, а то вѣдь вы помните,—здѣсь за всякое неумѣстное слово отвѣтственность по закону усугубляется.

Господинъ и спекся,—милосердія запросилъ.

— Батюшка, говоритъ, помилуйте, вѣдь это же не можетъ быть; вѣдь вы же, конечно, помните, что я къ вамъ при-

ходилъ и вы меня вѣнчали, и я вамъ, что̀ было условлено, впередъ заплатилъ.

— Еще бы, говоритъ, это уже такое правило, — впередъ отдавать.

— Ну, такъ что же, говоритъ, за что же вы меня такъ обижаете?

— Чѣмъ-съ?

— Да какъ же, помилуйте, я вѣдь это все не для себя, а для жены, да для дѣтей только и дѣлалъ, а теперь не могу даже разобрать: въ какихъ мы всѣ отношеніяхъ? Это хуже, чѣмъ было.

— Напрасно вы такъ говорите, отвѣчаетъ батюшка, чѣмъ же *хуже?* Ничего вы хуже не надѣлали. Во всякомъ случаѣ, если вы взяли благословеніе въ церкви, это безвредно и для супруги вашей хорошо—женщина должна быть религіозна. А въ разсужденіи прислуги отъ этого въ домѣ гораздо спокойнѣе,—прислуги законъ брачный уважаютъ и вѣнчанную барыню лучше слушаютъ. Что же тутъ худо?

— Но мнѣ не это нужно... мнѣ свидѣтельство нужно!

— Свидѣтельство-о-о?

— Да?

— А я вамъ развѣ его обѣщалъ?

— М... н... то-есть.... мы объ этомъ не говорили.

— Надѣюсь, что не говорили. Вы пришли ко мнѣ и просили васъ повѣнчать и представили документики какіе-то ледащенькіе, темные, и говорите, что другихъ достать не можете, и къ тому же, вы человѣкъ не богатый и заплатить много не въ состояніи. Такъ это или нѣтъ?

— Такъ-съ.

— Ну, что же, развѣ я васъ обидѣлъ или притѣснилъ? Ничуть не бывало: я вамъ, напротивъ, во-первыхъ, добрый совѣтъ далъ, я вамъ сказалъ: если вы человѣкъ незначительный, такъ для чего вамъ обо всемъ хлопотать! Вы не графъ, ни князь, ни полковникъ, — и живите себѣ, какъ жили. Но вы на своемъ стояли, что вамъ это нужно,—что *она* «пристаетъ», что «надо отъ этого отвязаться». Что же — я и тутъ васъ не огорчилъ:—васъ никто бы не сталъ вѣнчать, а я васъ пожалѣлъ. Я знаю, что барыни охочи вѣнчаться, и вамъ на ваше слово повѣрилъ и обвѣнчалъ васъ для ея утѣшенія, и всего тридцать рублей за это взялъ, ничего болѣе съ васъ не вымогалъ. А если бы вы мнѣ

тогда сказали, что вамъ не только вѣнчаніе, а и свидѣтельство нужно, такъ я бы понялъ, что это уже не для женской потѣхи, а для чего-то иного прочаго, и за это бы съ васъ трехсотъ рублей не взялъ. Да-съ, не взялъ бы, и не возьму, потому что у меня и своя жена, и свои дѣти есть. Прощайте.

— Но... позвольте... какъ же... гдѣ же я и жена, въ какую книгу мы себя записали?

— А это, я вамъ скажу,—не ваше дѣло.

— Нѣтъ, это мое дѣло: вѣрно у васъ другая книга есть.

— Да, для такихъ супруговъ, какъ вы, есть другая книга.

— Но это не можетъ быть.

— Вотъ тебѣ разъ,—почему это не можетъ?

— Консисторія не выдаетъ двухъ книгъ.

— А вы посмотрѣли въ ту книгу: откуда она была выдана!

— М... н... нѣтъ.

— А то-то и есть, что нѣтъ. Плохо видно васъ на вашихъ лекціяхъ учили, если пишете не взглянувъ: на чемъ пишете.

— Такъ вѣдь это все подлогъ, фальшь..

— Нимало не фальшь, — а просто предварительная чернетка, которая по минованіи надобности посѣкается и въ огонь вметается.

— Такъ я же найду, кто были свидѣтели...

— Поищите, такъ они вамъ и объявятся.

— Ага! такъ вотъ зачѣмъ вы и сказали, что вамъ не надо моихъ свидѣтелей, а какую-то свою сволочь поставили.

— Да уже конечно такъ; только все же моя сволочь лучше вашей: они хоть сволочь, да я-то ихъ знаю, а вы бы мнѣ такихъ своихъ энгелистовъ привели, что каждый вмѣсто крестнаго имени чужою чортовой кличкой назовется, а потомъ ни знать, гдѣ его и искать, — въ какомъ болотѣ. Нѣтъ, государь мой, мы, въ наше умное время, отъ вашего брата тоже учены.

— Тьфу!

— Здѣсь не плюйте, а то подтереть заставлю.

— Но что же мнѣ дѣлать: вы меня сгубили, такъ дайте хоть мнѣ совѣтъ.

— Совѣтъ извольте: достаньте себѣ съ супругою хорошіе

документы и ступайте, ничего не говоря, къ приходскому священнику, — онъ васъ обвѣнчаетъ и дастъ вамъ свидѣтельство. А со мною всѣ ваши объясненія кончены.

— И ничего болѣе?

— Да, ни одного слова болѣе.

Какъ мнѣ разсказалъ все это мой сторожъ, продолжалъ собесѣдникъ, я и руки растопырилъ.

Вотъ это, думаю, артистъ, такъ артистъ. Что̀ за работа, что̀ за милая работа! И просто все, и вѣрно, и безопасно, и даже по-своему *юридически честно:* за что взялся, — то и сдѣлалъ, а неуговорнаго съ него и не спрашивай. За что̀ человѣкъ не брался, за то и не отвѣчаетъ.

— Чудесно, говорю: спасибо тебѣ, братъ, безголосый пѣвецъ, что ты мнѣ, глупому человѣку, такія умныя дѣла открылъ. Хотя я самъ ихъ дѣлать и не стану, но все-таки просвѣщеннѣе буду. И отпустилъ его отъ себя къ тому батюшкѣ съ миромъ и даже съ наградою, на тотъ конецъ, чтобы не забывалъ ко мнѣ заходить и порою просвѣщать мое робкое невѣжество тѣмъ, что они, совокупивъ свою опытность, дѣлать будутъ.

— И что же, спросилъ я: онъ къ вамъ заходилъ?

— И сейчасъ иногда заходитъ.

— И интересныя дѣла сказываетъ?

— Охъ, сказываетъ, разбойникъ, сказываетъ.

— Удивляюсь, какъ теперь это стало откровенно.

— Дѣйствительно, откровенно; да вѣдь что еще и сокровенничать-то, когда — какъ мои дѣти на фортепіано куплетъ поютъ:

«Расплясалась вся Россія
«Въ ахенбаховщинѣ мерзкой,
«Лишь одинъ Іеремія
«Намъ остался,—князь Мещерскій!»

А главное, замѣтьте, любо-дорого то, что все это хорошо практикуется. Откровенно, а комаръ носу ни подо что не подточитъ.

— Батюшка! говорю: будьте благодѣтель, познакомьте меня съ этимъ интереснымъ человѣкомъ.

— Съ пѣвцомъ-то съ безголосымъ?

— Да.

— Извольте. Давайте вашу карточку.

Я подалъ, а батюшка начерталъ на ней рекомендацію и

наименовалъ меня «дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ», что мнѣ показалось неудобнымъ.

— Извините, говорю: это не годится, — у меня такого чина нѣтъ.

— Ну, вотъ важность! нынче никого меньше не называютъ, а къ тому же онъ сталъ гонористъ, и если узнаетъ, что вы писатель, а не генералъ, такъ, пожалуй, знакомиться не захочетъ.

— Да, а я, говорю, все-таки, стѣсняюсь...

— Есть чѣмъ стѣсняться? суньте два пальца вмѣсто руки,—вотъ и сановникъ. Неужели у васъ на это образованія не достанетъ?..

Однако я не былъ у безголосаго пѣвца, потому что это представляло слишкомъ большія трудности: выходило, что для собесѣдованія съ этимъ интереснымъ лицомъ мнѣ не только надлежало выдать себя за дѣйствительнаго статскаго совѣтника, и тыкать два пальца человѣку, который подаетъ мнѣ цѣлую руку, но надлежало еще изобразить собою предъ пѣвцомъ жениха или, по крайней-мѣрѣ, тайнобрачнаго переговорщика. Я опасался, что не выдержу этихъ замысловатыхъ ролей передъ такимъ проницательнымъ человѣкомъ, а къ тому же думалось мнѣ, что самъ отецъ протоіерей открылъ мнѣ довольно, чтобы не гнаться за большимъ. Кромѣ того, пѣвецъ могъ сообщить мнѣ только факты, разнообразіе которыхъ зависитъ отъ случайностей, а ихъ природа почти неизслѣдима, между тѣмъ какъ настоящій мой собесѣдникъ могъ ввести меня въ самую философію вопроса, въ самую суть нравственныхъ побужденій, руководящихъ духовенствомъ въ дѣлахъ тайнобрачія. Это мнѣ казалось интереснѣе, потому что нѣкоторое знаніе нравовъ нашего духовенства внушало мнѣ твердую надежду, что и здѣсь, въ этомъ путанномъ дѣлѣ долженъ дышать тотъ духъ простоты и практическаго добротолюбія, который присущъ русскому человѣку на всѣхъ ступеняхъ его развитія и дѣятельности.

И я не ошибся: Роковые случаи, представляющіеся на практикѣ при вѣнчаніяхъ паръ, которыя не могутъ быть повѣнчаны съ разрѣшенія начальства, почти всѣ совершенно невозмутительны, а нѣкоторые изъ нихъ такъ трогательны, что надо имѣть мертвое, «почившее на законѣ», сердце,

чтобы не оцѣнить благодати, движущей сердцами живыми, которыя ласково усыпляютъ законъ, вмѣсто того, чтобы самимъ азартно уснуть на немъ.

Такой случай мой собесѣдникъ разсказалъ мнѣ, даже не отдѣливъ отъ него немножечко и самого себя.

Я продолжаю и доканчиваю его бесѣду, а съ нею и мои очерки.

— Ко всему нынѣшнему тайнобрачію, — изрекъ онъ:— какъ къ каждому историческому явленію, надо относиться беззлобно и съ разсмотрѣніемъ. И когда такъ станете смотрѣть, то и увидите, что оно потребно и отвѣчаетъ времени. А по сему времени даже и самые залихватскіе «вѣнчальные батюшки» тоже, въ своемъ родѣ, нужны и годны. Право, право, годны: въ большомъ хозяйствѣ все сдается. И хотя я ихъ методы, безъ узловъ шить, въ принципѣ и не одобряю, но знаю, что и это у насъ инымъ въ прокъ пошло.

Я было обнаружилъ попытку выразить нѣкоторое сомнѣніе, но батюшка, замѣтивъ это, придержалъ меня за руку и сказалъ:

— Не спѣшите поспѣшать. Я живой случай знаю, гдѣ если бы не эта благодать, такъ нельзя было бы оказать помощи очень жалкимъ людямъ, которые однажды пришли ко мнѣ съ преудивительною исторіею.

Лѣтъ восемь назадъ ко мнѣ въ домъ хаживала дочернина подруга. Славная дѣвица Нюточка,—все онѣ съ моей дочерью въ четыре руки играли. Но потомъ она вдругъ какъ-то сникла. Перестала ходить, — я этого не замѣтилъ, а потомъ, когда дочь скоро замужъ вышла, то я и совсѣмъ про эту чужую дѣвочку забылъ. Проходитъ такъ годъ, два и три,—и пять лѣтъ, но вдругъ тоже вотъ такъ, въ лѣтнее время (у меня замѣчательно, что большая часть казусовъ со мною все лѣтомъ случается, когда я въ одиночествѣ дома бываю), приходитъ ко мнѣ нѣкая молодая особа женскаго пола, съ виду мнѣ незнакомая, собою, однако, довольно благоприличная, но смутная и чѣмъ-то, какъ бы, сильно подавленная. Я думалъ, что потеряла себя и вѣрно хочетъ исповѣдываться, но вышло другое. Называетъ себя по имени и говоритъ, что была она подругою моей дочери по гимназіи, а потомъ пошла достигать высшаго знанія, но не сподобилась онаго, потому что попала въ нѣкоторыя «трудныя

комбинаціи». Словомъ сказать, дойдя, вмѣсто научнаго совершенства, до нищеты и убожества, вспомнила о своей подругѣ, а о моей дочери, и пришла просить ее, не можетъ ли она достать ей гдѣ-нибудь переводовъ.

Ужаснуло меня это младенчество просьбы и младенчество страннаго ея вида.

— Извините, говорю, дочери моей здѣсь нѣтъ: она уже давно замужъ вышла и живетъ въ другомъ городѣ, да и переводами не занимается, а наипаче занята домашнимъ хозяйствомъ и чадорожденіемъ. Поэтому, если бы вы и писать ей захотѣли, то это будетъ для васъ безполезно. А васъ я теперь дѣйствительно немножечко припоминаю: васъ, говорю, кажется, звали Нюточкою?

— Да, отвѣчаетъ, меня такъ прежде называли.

— Очень радъ, говорю, васъ видѣть, но что же довело васъ до такихъ комбинацій?

Она хлопъ-хлопъ глазенками, да и заплакала.

— У васъ есть родные?

— Да, говоритъ, у меня есть братъ, и называетъ фамилію одного довольно извѣстнаго адвоката.

— Вы, говорю, вѣрно у него живете?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ.

— А почему же такъ?

— Онъ женатъ.

— Такъ что же такое, развѣ при женѣ для сестры и за ширмою мѣста нѣтъ.

— Нѣтъ, мы съ его женою не ладили, я одна съ дѣтьми живу.

— Такъ вы вдова?

— Нѣтъ, не вдова.

— Тогда гдѣ же вашъ мужъ—вѣрно сосланъ?

— Нѣтъ, говоритъ, не сосланъ, а его нѣтъ со мною.

— Отчего?

— Онъ въ очень затруднительномъ положеніи.

— Въ какомъ затруднительномъ положеніи, чтобы своихъ дѣтей бросить?

— Его обманули, когда онъ женился.

Тутъ уже я глазами захлопалъ.

— Милая барынька, говорю: да вы что же это такое, шутите, что ли? Что вы мнѣ разсказываете: какъ же онъ

могъ отъ живой жены во второй разъ жениться? развѣ вы разведены?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, мы жили въ гражданскомъ бракѣ, а одна моя подруга хотѣла въ акушерки, и ей понадобилось выйти въ фиктивный бракъ, она меня попросила, чтобы я позволила....

— Ну-съ?

- А она устроила комбинацію....

- Какую, милостивая государыня?

— Она, вмѣсто того, все обратила въ серьезъ и заставляетъ его, чтобы онъ ей деньги давалъ, и теперь онъ что получаетъ—ей носитъ, а мнѣ помогать не можетъ.

— Что же, онъ и съ нею не живетъ вмѣстѣ?

— Нѣтъ, онъ съ нею вмѣстѣ не живетъ; она одного полицейскаго любитъ, а этого только заставляетъ, чтобы онъ часть жалованья ей приносилъ.

— И онъ носитъ?

— Да что же дѣлать, а то она жаловаться пойдетъ.

— Да кто же онъ такой, вашъ общій мужъ-то?

— Ветеринаръ.

— Гм! думаю себѣ: однако она должно быть очень ловкая, эта акушерка, если на самомъ ветеринарѣ ѣздитъ.

— Да, она, говоритъ, очень развита.

— Развита? А извините, говорю, за вопросъ: онъ не дурачокъ, этотъ господинъ ветеринаръ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ: какъ дурачокъ? — онъ тоже очень развитъ.

— Какъ же, говорю, развитъ, а отъ акушерки отбиться не можетъ?

— Да онъ отбился и живетъ у товарищей, а больше нельзя, потому что у нея по полиціи всѣ ей полезныя связи.

— Ага, говорю: это дѣйствительно «комбинація». Ну, а гдѣ же ваши дѣтки?

— Недалеко, говоритъ, тутъ за вокзаломъ на третьей верстѣ по желѣзной дорогѣ у сторожихи живутъ, — я ихъ тамъ оставила, а сама пришла перевóдовъ искать.

— Стало-быть, вы теперь всѣ врозь?

— Да.

— Ветеринаръ съ товарищемъ, вы съ своими котятками, а та съ полицейскими?

— Да.

— А въ городѣ-то, говорю, у васъ есть пріютъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ — нѣту, да это ничего не значитъ: теперь тепло,—я ночь по бульвару прохожу.

— Какъ проходите?

И не дождавшись, что̀ она мнѣ отвѣтитъ, скорѣе взялъ ее обѣими руками за голову, поцѣловалъ въ темя и говорю:

— Ничего я, бѣдное дитя, не понимаю, что̀ вы мнѣ такое разсказываете. Вы ко мнѣ съ своими «комбинаціями» точно пришелица изъ другого свѣта упали. Но я, во всякомъ случаѣ, не ксендзъ, чтобы васъ укорять, и не протестантскій пасторъ, чтобы отъ вашихъ откровеній придти въ ужасъ или въ отчаяніе, а какъ простой попъ я только васъ на бульваръ ночевать не пущу. Вотъ у меня вся пустая квартира къ вашимъ услугамъ, а на кухнѣ есть баба-старуха смотрѣлка. Я ее сейчасъ къ вамъ призову. Разуйте поскорѣй свои бѣдныя ноженьки, напейтесь чаю, да ложитесь на диванъ въ гостиной спать. А впрочемъ, я старикъ—со мною и съ однимъ неопасно оставаться.

Она согласилась. И все это какъ-то тупо: и одно предполагаетъ, и сейчасъ другое располагаетъ, на все согласна— и все какъ не живая. Видно уже, что весь человѣкъ въ ней до-мертва въ порошокъ растолченъ.

Ужасно мнѣ ее стало жалко. Въ голову впало: какъ такой горемыкѣ на свѣтѣ жить? Свои дѣти у меня хорошо устроены, благодаря Бога и добрымъ людямъ, потому что заботился о нихъ, да къ тому же они дѣти іерейскія, — въ свѣтѣ могли ходъ имѣть, а эта тля безпомощная: кѣмъ она покрыта? Можетъ быть, съ дѣтства на произволъ пущена. А все же вонъ въ ней еще какое-то добро ерошится: и за наукою она стремилась, и мужа своего гражданскаго отдала на подержаніе, а теперь, какъ кошка мечется и своихъ котятъ по сторожкамъ носитъ... И все это во имя чего-то возвышеннаго. Право, точно пришлецы изъ другого міра, а между тѣмъ страдаютъ какъ люди. Оставилъ я ее и пошелъ на вечеръ къ коллегѣ, у котораго жена зимою не позволяетъ въ карты играть, такъ онъ лѣтомъ, пріѣзжая съ дачи на служеніе, и собираетъ кружочекъ.

Засталъ тамъ ближнихъ и искреннихъ и «вѣнчальнаго батюшку». Провинтилъ въ винтъ рублей за сорокъ и, по

склонности человѣческой, сваливаю всю вину этого проигрыша на кого-нибудь другого.

— Это, говорю, ребята, я такъ провинтился отъ разстройства: одна дѣвчонка меня нынче очень размазала. И разсказалъ имъ о своей гостьѣ.

Всѣ выслушали и особеннаго вниманія не обратили, но мой вѣнчальникъ, идучи вмѣстѣ со мною домой, вѣрно нѣчто почувствовалъ, сдобрился и уронилъ мнѣ «крылатое слово»:

— Еще такъ ли это, какъ они сказываютъ. Можетъ быть, имъ еще можно пособить. Вы у нихъ свидѣтельство спросите.

— Да какъ имъ пособить, если они обвѣнчаны? Вѣдь у нихъ грошей на разводъ нѣтъ.

— Да я, отвѣчаетъ, о разводѣ и не думаю, а можетъ быть это дѣло совсѣмъ не порчено, — и развода никакого не надо.

— Все равно, если и свидѣтельства нѣтъ, а вѣнчаны, такъ уже пропадай они совсѣмъ,—второй разъ перевѣнчивать зазорно.

— Я, говоритъ, думаю, что ихъ не вѣнчали. Небось пропѣли что-нибудь, да и конецъ.

— Ну, можетъ ли это быть?

— А отчего нѣтъ? Они вѣдь энгелисты,—въ церковь не ходятъ, службы не знаютъ, не все ли имъ равно, что̀ имъ споютъ: молебенъ, или вѣнчанье. Нѣтъ, вы спросите-ка свидѣтельство.

Думаю: и вправду, дай-ка спрошу! Онъ это даромъ на вѣтеръ не бросилъ.

Отслуживъ на утро обѣдню, напился съ своей гостьей чаю и говорю:

— Я вамъ переводишко устроилъ, и вотъ вамъ пока изъ редакціи три рубля впередъ, а передъ вечеромъ пожалуйте,— тогда и переводъ получите. Да не можете ли пригласить ко мнѣ вашего ветеринара, — я и ему кое-что хочу предоставить.

Такъ, разумѣется, вздоръ вралъ, но въ случаѣ если бы она стала разспрашивать, сказалъ бы, что хочу его отрекомендовать въ Москву бѣснаго слона лѣчить. Но только она не спросила, а прямо его обѣщала привести.

А я тѣмъ временемъ спосылалъ за безголосымъ пѣвцомъ

и спрашиваю: есть ли у нихъ *для себя* какія-нибудь памятки, кто у нихъ легко вѣнчанъ?

Отвѣчаетъ: есть.

— Нельзя ли, говорю, мнѣ справиться про такого-то студента?

Онъ это минутою сдѣйствовалъ и воротился,—говоритъ:

— Очень легко сдѣлано.

— Такъ что можно ему еще разъ жениться?

— Сколько угодно. Имъ просто молебенъ спѣтъ.

— Ишь, говорю, что вы, разбойники, строите.

— А что же, отвѣчаетъ, да они безбожники больше и не стоятъ. До какихъ лѣтъ доживутъ, въ церковь гроша не подадутъ, и не слышали о томъ, какая служба есть. Имъ и молебна-то жаль, — не токма что Исаію для нихъ безпокоить.

— Такъ, значитъ, они съ акушеркой не вѣнчаны?

— Не вѣнчаны.

Я это принялъ къ свѣдѣнію, пообѣдалъ и только маленько соснулъ, какъ смотрѣлка меня будитъ:

— Утрешняя мадамка, говоритъ, вдвоемъ пришла.

— Съ кѣмъ?

— Женихъ, говоритъ, ейный, что ли, не знаю.

Я велѣлъ подождать, обтерся со сна полотенцемъ и выхожу.

Они кланяются.

Не знаю, что она въ немъ и полюбила, — смотрѣть совсѣмъ не на-что.

Я его туда, сюда повернулъ и въ первыхъ же разспросахъ вижу, что дѣтина самая банальная: откровенно глупъ и откровенно хитеръ. Такъ сказать — фруктъ нашего урожайнаго года.

— Я, говоритъ, обманутъ низостью, какой не ожидалъ. Жена моя, говоритъ, казалась развитою женщиною, — увѣряла, будто ей нужно выйти замужъ только для того, чтобы отъ родительской власти освободиться, а потомъ стала требовать, чтобы я Анюту бросилъ, а съ нею на одной квартирѣ жилъ, или чтобы я ей на содержаніе давалъ. А послѣ къ ней полицейскіе стали ходить и она меня начала пугать.

— Чѣмъ?

Молчитъ.

— Доносъ какой-нибудь хотѣла сдѣлать?

Пожимаетъ плечами и отвѣчаетъ:

— Вѣроятно.

— Да вы развѣ въ чемъ-нибудь замѣшаны?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, я не замѣшанъ, но мы еще со студенческаго времени всѣ безъ замѣшательства, такъ, просто боимся, а она теперь и сама въ полицію акушеркой поступила.

— Ахъ ты, думаю, дурачокъ горькій. И спрашиваю:

— Она въ полиціи, а вы-то гдѣ служите и подъ чьимъ начальствомъ?

Называетъ мѣсто и начальника—лицо мнѣ, по старымъ памятямъ, весьма знакомое: еще съ табелькой съ нимъ игрывали.

— Да у тебя, голубчикъ, въ формулярѣ-то записано ли, что ты женатъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, не записано.

— А вѣнчальное свидѣтельство есть?

— Тоже нѣтъ.

— Почему?

— Не дали.

— Хорошо, что не дали. А теперь отвѣчай мнѣ: радъ бы ты имѣть женою, вмѣсто твоей акушерки, Нюточку?

Молчитъ.

— Что же ты молчишь?

— Я, говоритъ, вѣдь совсѣмъ противъ брака.

— Ага, молъ, ишь ты какой: норовишь лизнуть да и сплюнуть. А по доброму порядку, говорю, когда человѣкъ съ женщиною дѣтей прижилъ, такъ ему ужъ эти рацеи надо въ сторону. Женись-ка, братъ, на ней да и баста.

— Да, вѣдь, это невозможно.

— А если бы возможно было?

Опять молчитъ.

— Ну, стало быть, говорю, ты, братъ, лукавишь. Отвѣчайте-ка вы, Нюточка: вы желали бы быть его женою?

Та, молодцомъ, сразу прямо отвѣтила, что желала бы. Видно уже игра-то сія ей надоѣла.—Но онъ молчитъ.

— Что же ты, говорю, сталъ? Поверни тебя, батюшка Спиридонъ-поворотъ.

— Я, говоритъ, больше уже не попадусь.

— Кому это?—женщинѣ, которая вашихъ дѣтей таскаетъ и васъ любитъ?

— Все равно, говоритъ, я могу жить граждански.

— Нѣтъ, думаю, если ты по-граждански, такъ я же съ тобой съ разбойникомъ сдѣлаюсь по-военному.

Язычокъ-то себѣ прикусилъ и о родѣ его вѣнчанія съ акушеркой ничего ему не сказалъ,—чтобы онъ не считалъ себя свободнымъ, а озаботился имъ иначе.

Какъ онъ ушелъ, я положилъ передъ его супругой листъ бумаги и говорю:

— Пишите-ка, какой я вамъ переводъ продиктую.

И задиктовалъ, указывая, гдѣ что ставить: «Его превосходительству, господину такому-то, отъ такой-то докладная записка. А затѣмъ продолженіе въ такомъ смыслѣ, что «я, просительница, проживъ внѣ-брачно съ такимъ-то, служащимъ подъ вѣдѣніемъ вашего превосходительства, двухъ дѣтей, въ чемъ онъ чистосердечно признался при священникѣ такомъ-то, и не получая отъ него ничего на содержаніе сихъ невинныхъ малютокъ, коимъ сама не въ состояніи снискать пропитанія, а потому всепочтительнѣйше прошу побудить его на мнѣ жениться, или по крайности оныхъ моихъ малютокъ обезпечить должнымъ, по средствамъ его, содержаніемъ, вычетомъ части изъ его жалованья».

Она это все написала, а потомъ спрашиваетъ:

— Къ чему это писано?

— А къ сему, говорю, подпишись.

— Но, вѣдь, это доносъ.

— Нѣтъ: это докладная записка.

— Въ такомъ случаѣ, отвѣчаетъ, я подпишу. И подписала.

Я взялъ этотъ манускриптъ въ карманъ, надѣлъ новую ряску и пошелъ къ генералу, котораго, какъ вамъ говорю, еще въ малыхъ чинахъ коротко по картамъ зналъ. Отлично шельмецъ съ табелькой игралъ и, вообще, былъ чудесный парень,—любилъ выпить и закусить, и отношенія наши, по полковому, были на «ты».

Конечно, honores mutant mores,—можетъ быть, онъ и перемѣнился, но я какъ-то этого не надѣялся и рѣшилъ держаться съ нимъ на прежней ногѣ.

Велѣлъ о себѣ доложить, а самъ сталъ передъ зеркаломъ, чтобы орденки поправить. Но въ это же зеркало и вижу: онъ въ ту же минуту выходитъ, прямо ко мнѣ, крадется и— цапъ сзади ладошами глаза мнѣ и закрылъ.

— Жоздра! говорю,—радость моя,—это ты.

— А ты,—восклицаетъ,—почему узналъ?

— Мудрено ли узнать: кто, кромѣ тебя, можетъ мою священную особу за лицо брать, а къ тому же я и въ зеркало тебя видѣлъ. Давай, поцѣлуемся.—Я, говорю, къ тебѣ по дѣлу, Жоздра.

Его Егоромъ величали, но мы его Жоздрою звали, потому что такъ ему одна нѣкогда влюбленная въ него простонародная дѣвица бѣлошвейка писала.

— Есть у тебя такой-то подчиненникъ?

— Есть.

— Повели ему, мой ангелъ, на одной мамзелькѣ жениться.

Онъ расхохотался.

— Что ты это, попъ-чудила,—говоритъ,—выдумалъ. Въ моей власти конскія свадьбы, но человѣческіе браки не по моему вѣдомству.

— Нѣтъ, говорю, Жоздра, жизненокъ мой, маточка,—не говори глупостей: у русскаго генерала все во власти! Я иначе не вѣрую. Не огорчай меня, не отказывайся отъ христіанскаго дѣла, повели дураку жениться на дурѣ, чтобы вышла цѣлая фигура, а то мнѣ ихъ и ребятъ очень жалко.

Онъ было опять смѣяться, но я говорю:

— Нѣтъ, ты ангелъ мой, не смѣйся,—это дѣло серьёзное. И разсказалъ ему все дѣло.

— Понимаешь ли, говорю, что этого ни въ какой конклавъ нельзя пустить, чтобы кто-нибудь не пострадалъ, а зачѣмъ страдать, когда ты по-генеральски, одинъ все дѣло поправить можешь.

— Какимъ манеромъ?

— Просто—повели, да и баста, на то ты начальникъ.

— Я выгнать его, говоритъ, могу, но принудить его жениться не имѣю права.

— Тпру, тпру, тпру, отвѣчаю,—остепенись. Что̀ ты это такое выдумалъ? Какъ можно человѣка выгнать, да еще особенно этакого глупаго. Куда онъ безъ казенной службы годится? Нѣтъ, ты не ожесточай несчастнаго сердца, а просто потребуй его передъ себя и накричи.

— Что же я буду кричать?

— Да что хочешь, только посердитѣе: это все равно. Но если замѣтишь, что отвѣчать хочетъ, этого не допускай,—топни и скажи: молчать.

— И съ тебя этого будетъ довольно?

— Совершенно, мамочка, довольно. Только, пожалуйста, посердитѣе и чтобы не смѣлъ отвѣчать.

— Изволь, говоритъ, уважу,—и съ этимъ позвонилъ, а мнѣ добавляетъ: пойди, тамъ, за ширмой, посиди, покури и послушай, что̀ выйдетъ. Я ни за что не ручаюсь.

— Да тебя, говорю, никто и не проситъ ручаться, только сдѣлай свое начальническое дѣло добросовѣстно,—накричи.

Ну, онъ и дѣйствительно сдѣлалъ все это очень хорошо: какъ тотъ вошелъ, онъ сразу его афрапировалъ. Всѣ нынѣшнія жестокія хитрости сентиментальнаго обхожденія откинувъ, прямо ему сочиненною мною докладною запискою мимо носа на землю швырнулъ.

— Знаете ли вы, спрашиваетъ, какая женщина это пишетъ?

И чуть тотъ было только ротъ разинулъ, чтобъ сказать: «знаю»,—онъ какъ крикнетъ:

— Молчать! Почему вы на ней не женитесь?

Но прежде, чѣмъ тотъ отвѣтилъ, я ему черезъ ширму пальцами махнулъ, онъ—опять крикнулъ:

— Молчать! Я знать ничего не хочу! Слышите?

— Слу-слу-слу-ш-ш-шаю.

— Завтра мнѣ чтобы брачное свидѣтельство было. Слышите?

— Слу-слу-слу-ш-ш-шаю.

— Вонъ! и до тѣхъ поръ на глаза мнѣ не смѣть показываться. Слышите?

— Слу-слу-слу-шаю.

— Деньги на свадьбу есть?

— Нѣтъ.

— Вспомоществованіе дамъ, а пока... Батюшка!—зоветъ меня:—пожалуйте сюда.

Я вышелъ.

— Извольте взять, говоритъ, этого соблазнителя: онъ дѣвицу соблазнилъ и долженъ немедленно быть съ нею обвѣнчанъ. Прошу васъ исполнить это и завтра же прислать мнѣ его брачное свидѣтельство.

— Слушаю-съ, отвѣчаю. Извольте, молодой человѣкъ, идти и приготовьте разрѣшеніе начальства. Я за нимъ зайду.

Тотъ вышелъ, а генералъ спрашиваетъ меня:

— А что̀, я каково кричу?

Я его въ обѣ щеки чмокнулъ и говорю:

— Дивно, дивно! но теперь довершп свою работу: сплавь ихъ отсюда.

— Куда?

— Назначь его куда-нибудь въ провинцію отдѣльную должность занимать.

— Это для чего?

— Да онъ тамъ успокоится и съ простыми людьми въ разумъ придетъ.

И въ этомъ успѣлъ. Такъ я ихъ въ одинъ день развелъ, а на другой день обвѣнчалъ, съ малымъ упущеніемъ по числу оглашеній, и свидѣтельство выдалъ, а черезъ недѣлю и на службу ихъ выпроводилъ. Онъ ничего и понять не могъ. Однако пробовалъ меня пугать.

— Вы отвѣчать, говоритъ, будете.

— Ну это, молъ, не твое дѣло: мнѣ начальство приказало вѣнчать, а я власти покоренъ.

Такъ онъ и сейчасъ настоящимъ образомъ всего не понимаетъ, а живутъ, судьбою довольны и назадъ не просятся,—думаютъ, небось, что они въ самомъ дѣлѣ законопреступно обвѣнчаны, да, чай, и акушерки боятся.

— А что же, акушерка не приходила?

— Къ кому?

— Къ вамъ.

— Какъ же,—приходила. Я ее къ пѣвцу отправилъ.

— И послѣ не видали?

— Нѣтъ, видѣлъ одинъ разъ у пристава на крестинахъ.

— Что же она: сердилась?

— Н-н-нѣтъ. Поискала вчерашняго дня и увидала, что она дура.

— «Отличную, говоритъ, батюшка, ваши духовные со мною штуку сыграли».

— А что такое?

— «Да то, что я по ихъ милости все равно, какъ будто вмѣсто кадрили вальсъ протанцовала».

— Ну, что дѣлать, когда-нибудь утѣшитесь, вмѣсто вальса кадриль протанцуете. На кого же ей сердиться?

— Просто невѣроятно!

— Вотъ то-то и есть. А поведите-ка все это черезъ настоящія власти,—какая бы кутерьма поднялась, а путнаго

ничего бы не вышло, потому что законъ и высокое начальство, стоя превыше людскихъ слабостей, къ глупости человѣческой снисхожденія не могутъ оказывать, а мы, малые люди, можемъ, да и должны. Дурачки, да наши. Что жъ ихъ хитрецамъ въ обиду давать? Надо ихъ пожалѣть. Поживутъ съ наше—и они обумнѣютъ,—тоже людей жалѣть будутъ. Но довольно мнѣ вамъ эти сказки сказывать. Я ужъ очень разболтался, пойду—посмотрю, что̀ мнѣ въ мотьѣ написали.

— Да, говорю, это и впрямь все отдаетъ сказками.

— Сказки, сударь, и есть, сказки. Живи да посвистывай... «Патока съ инбиремъ, ничего не разберемъ, а ты дядя Еремѣй, какъ гораздъ, такъ разумѣй».

Собесѣдникъ мой подалъ мнѣ руку, которую я придержалъ и спросилъ:

— Но неужто же у насъ никто не можетъ помочь вмѣсто всей этой городьбы прямую улицу сдѣлать?

— А объ этомъ намъ еще ничего неизвѣстно. Впрочемъ, никогда, ни въ чемъ не должно отчаиваться: одна набожная старушка въ дѣтствѣ меня такъ утѣшала: все, говорила, можетъ, поправиться, ибо «рече Господь: аще могу—помогу». Гдѣ она это вычитала,—я тоже не знаю, но только она до ста лѣтъ благополучно дожила съ этимъ упованіемъ, чего я и вамъ отъ души желаю.

ИМПРОВИЗАТОРЫ.

(КАРТИНКА СЪ НАТУРЫ.)

Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидѣть вечеркомъ.
А. Фетъ.

«Одни представляли ее себѣ въ видѣ женщины, отравляющей воду, другіе— въ видѣ запятой. Врачи говорили, что надо убить запятую, а народъ думалъ, что надо убить врачей».

С. Смирнова («Нов. Вр.» 18 ноября 1892).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Остроумная писательница, изъ послѣдняго литературнаго этюда которой я выписалъ этотъ эпиграфъ, обрисовываетъ дѣло чрезвычайно вѣрно. Когда лѣтомъ 1892 г., въ самомъ концѣ девятнадцатаго вѣка, появилась въ нашей странѣ холера, немедленно же появилось и разномысліе, что̀ надо дѣлать. «Врачи говорили, что надо убить запятую, а народъ думалъ, что надо убить врачей».

Слѣдуетъ добавить, что народъ не только такъ «думалъ», но онъ пробовалъ и приводить это въ дѣйствіе. Нѣсколько врачей, старавшихся убить запятую для лучшей пользы дѣлу, были сами убиты.

Это случилось, говорятъ, оттого, что простымъ людямъ всего своевременно и терпѣливо не объяснили и, главное, не показали имъ нигдѣ эту самую «запятую», чтобы они видѣли, какъ она имъ вредитъ. Это, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ хорошо было бы показать, но только сдѣлать

это было очень трудно: запятая видима только подъ микроскопомъ, а въ слободахъ и селеніяхъ, гдѣ живетъ «народъ по преимуществу», микроскоповъ (или «мелкоскоповъ») нѣтъ. Поэтому нельзя удивляться, что народу, который впервые услыхалъ про «запятую», вѣсти о ней показались сомнительными. Народъ довольно пріученъ не вѣрить ученымъ, и онъ смекнулъ, кому эта выдумка о «запятой» могла быть выгодна, и порѣшилъ наказать лѣкарей за ихъ выдумку.

Въ столицахъ, гдѣ образованность несравненно выше, наукѣ оказано совсѣмъ иное довѣріе: здѣсь запятую видѣли увеличенную подъ микроскопомъ, засушенную и выставленную на окнѣ «въ квартирѣ извѣстнаго журналиста, живущаго на окраинѣ города». Объ этомъ было напечатано въ петербургской газетѣ, особенно слѣдящей за разнообразными явленіями столичной жизни.

«Журналистъ, проживающій на окраинѣ», демонстрировалъ «запятую» множеству людей, между которыми были особы достопримѣчательнаго положенія. Видъ козявки всѣхъ удивлялъ; большинство людей отбѣгали отъ нея въ страхѣ, и лишь немногіе поддавались успокоительнымъ увѣреніямъ журналиста, что «запятая обезврежена», и тогда брали ее въ руки.

Такъ образованнымъ жителямъ столицы не было никакого труда увѣровать въ «запятую»; но слободскимъ и деревенскимъ мужикамъ никто этого не показалъ, и они въ запятую не повѣрили и до сихъ поръ еще не вѣрятъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Разсказанный случай съ «увеличенной запятою» газета объясняла такъ, что журналистъ, живущій на окраинѣ, «купилъ шутки ради курьезную японскую козявку», а когда одинъ генералъ спросилъ его: что это такое?— онъ, по вдохновенію, сказалъ, что это «увеличенная и засушенная запятая». Генералъ этому повѣрилъ, а журналистъ сталъ пробовать: неужто и другіе образованные люди могутъ вѣрить такой очевидной нелѣпости. И оказалось, что *всѣ этому вѣрили!*

Если сопоставить то, что̀ замѣчено г-жею Смирновою насчетъ несоотвѣтствія народныхъ взглядовъ на «запятую», съ тѣмъ, что̀ журналистъ, живущій на окраинѣ, обнару-

жилъ въ людяхъ высшаго порядка, то выйдетъ, что степень легковѣрія и безразсудства на томъ и на другомъ концѣ общественной лѣстницы получается какъ бы одинаковая; но вверху дѣйствуетъ козявка засушенная, а по низамъ ползетъ что-то живое, и не заморское, а простое доморощенное.

Что же такое замѣняло и замѣняетъ засушенную «запятую» въ народѣ? Я попробую показать эту штуку такъ, какъ я ее видѣлъ.

Тургеневъ изобразилъ, какъ говоритъ съ простолюдиномъ интеллигентъ и раскольничій начетчикъ. У перваго все умно направлено къ дѣлу, а второй вертитъ «яко» да «аще», и смотришь — этого слушаютъ, а того нѣтъ. Малороссу, чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой братъ сказалъ: «граю и воропаю». Я самъ помню, какъ въ давнія времена въ Кіевѣ польскій актеръ Рекановскій игралъ роль въ какой-то малороссійской пьесѣ, гдѣ послѣ происшедшаго въ семьѣ горя жена начинаетъ выть, а мужъ бросаетъ ее за руку на полъ и говоритъ: «Мовчи, бо скорбь велыка!» И послѣ этихъ словъ настала пауза, и театръ замеръ, а потомъ изъ райка кто-то рыдающимъ голосомъ крикнулъ: «Эге! це не вашъ Шекспыръ!» И мнѣніе о Шекспирѣ было понижено до безконечности.

Надо сочинять что-то такое «дуже простое», чтобы было въ ихъ вкусѣ—съ дымкомъ и съ грязью, даже, пожалуй, съ дуринкой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Лѣтомъ 1892 года я жилъ на морскомъ берегу въ Шмецкѣ. Тяжко больной, я былъ далекъ отъ личнаго участія въ дѣлахъ, и даже равнодушно читалъ въ газетахъ энергическіе приказы генерала Баранова, но потомъ мнѣ стало интересно сравнивать ихъ съ приказами другихъ администраторовъ, которые ему подражали и блистали только отраженнымъ или заимствованнымъ свѣтомъ. Изъ этой литературы я узнавалъ, что появились люди, которые распускаютъ вредные слухи о болѣзни, и что нижегородскій генералъ такихъ людей сѣчетъ розгами и можетъ когда угодно повѣсить.

Мѣры генерала Баранова «въ наказаніи разговоровъ» производили въ большой публикѣ впечатлѣніе не особенно

сильное и неясное; многіе не могли взять въ толкъ: отчего одного разговорщика довольно только высѣчь, а другого надо еще отдать въ санитары, а третьяго—«повѣсить» или, по простонародному выраженію, «удавить». Какое тутъ «распредѣленіе всеобщей провинности»? Многіе думали, что все это послѣдовательно будетъ сдѣлано надъ каждымъ охотникомъ разговаривать, т.-е. что разговорщика сначала высѣкутъ, потомъ опредѣлятъ «горшокъ выносить», а потомъ уже, когда онъ станетъ ни къ чему неспособенъ, тогда дадутъ ему глухую исповѣдь и удавятъ на площади. О самомъ повѣшеніи тоже разнорѣчили: одни были увѣрены, что «вѣшать будутъ только для испуга публики», а потомъ «курьера выпустятъ съ прощадою», а другіе увѣряли, что «это не для шутки, и никакой прощады не будетъ, а удавятъ какъ слѣдуетъ», отмѣна же противъ обыкновенія будетъ только въ томъ, что, «по удавленіи разговорщика, отдадутъ онаго родственникамъ для его погребенія». Возникалъ тоже вопросъ о женщинахъ: «какъ таковую сѣчь, если разговариваетъ, а сама беременна?» По множеству всѣхъ этихъ сомнѣній мы съ толку сбились и спрашивали разъясненій у четырехъ отставныхъ губернаторовъ, которые въ это лѣто ходили у насъ по плажу, но они были заняты своимъ положеніемъ и говорили, что ничего не понимаютъ.

Видаясь со своими сосѣдями — кузнецомъ, лавочникомъ, лѣсникомъ—и съ своими домохозяевами, я замѣтилъ, что они недоумѣваютъ: «Какія же это *вредныя слова* бываютъ?» Этого имъ никто объяснить не могъ, а имъ это было очень нужно знать.

— Вѣдь вотъ,—говорили они: — можетъ случиться что-нибудь такое умственное услышишь и не поймешь въ необъясненіи случая, и скассируютъ на-смерть! Мы не можемъ узнать агитатора!

Это такъ говорилъ лавочникъ, образованный и краснорѣчивый человѣкъ, съ ораторскими дарованіями котораго мы ниже еще познакомимся.

То, что предвидѣлъ лавочникъ, то и на самомъ дѣлѣ отчасти случилось.

Разъ, когда я шелъ домой лѣскомъ изъ Мерекюля, нагоняетъ меня няня изъ одного моего знакомаго семейства и говоритъ, что «въ Петербургѣ уже народъ отравляютъ».

Я ее отговариваю, чтобы она этому не вѣрила, и напо-

минаю ей про опасность отъ генерала Баранова; но она не обращаетъ на мои предостереженія никакого вниманія и говоритъ, что то, что она знаетъ, это тоже произошло отъ генерала.

— Ну,—говорю я:—если отъ генерала, то въ такомъ случаѣ разсказывайте, что вамъ извѣстно... Но только, смотрите, увѣрены ли вы, что это точно отъ генерала?

— Отъ генерала.

И она разсказала исторію, которую я здѣсь передамъ съ возможною точностью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Живетъ у рынка отставной генералъ. Отъ команды отставленъ, но военныхъ правъ не лишенъ и ходитъ въ военномъ образцѣ съ поперечиной. На дачу онъ не любитъ ѣздить, а остается въ Петербургѣ, потому что веселаго характера и любитъ разъѣзжать по знакомымъ, а вечеромъ на закатъ солнца смотритъ и слушаетъ, какъ поютъ француженки. Онъ пожилой, но очень веселый, и все бы ему съ дамами да съ красотками; а жена у него старушка, съ нимъ не живетъ. Прислуги у него три человѣка, мужчины: камердинеръ, поваръ и буфетчикъ, и всѣ ему вѣрные, потому что имъ жить у него прекрасно; гости часто въ карты играютъ и приходимыя красотки жалуютъ, и тогда уже ни въ чемъ нѣтъ сожалѣнія. И теперь же, на этихъ дняхъ, поѣхалъ этотъ генералъ въ «Аркадію» или «Ливадію» и пробылъ тамъ до послѣдняго времени, а потомъ поѣхалъ домой въ простомъ намѣреніи раздѣться, Божинькѣ помолиться и бай-бай заснуть; но только-что онъ хотѣлъ въ дверь свой ключъ вставлять, какъ вдругъ запятая! Сама дверь распахнулась, и на него вылетаетъ оттуда его буфетчикъ, блѣдный какъ шутъ Пьеро, и лопочетъ незнамо что.

Генералъ подумалъ, что вѣрно онъ немножко выпилъ, или тоже приходимую крошку ожидаетъ, а тотъ ему отвѣчаетъ: «Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство; а у насъ огромное несчастіе: вашего камердинера умирать увезли». Генералъ разсердился. «Какъ, безъ меня? Какъ смѣли?.. Говори скорѣй, какъ это сдѣлалось?»

Буфетчикъ дрожитъ и путается языкомъ, но разсказалъ, что камердинеръ, проводивши генерала, совсѣмъ былъ здо-

ровъ и ходилъ на рыбный садокъ, себѣ рыбу купилъ, а потомъ пошелъ къ графу Шереметеву къ второму регента помощнику спѣвку слушать, а оттуда на возвратѣ встрѣтилъ приходимую бѣдную крошку и принялъ ее и съ нею при открытомъ окнѣ чай пилъ, а когда пошелъ ее провожать, то вдругъ сталъ себя руками за животъ брать, а дворники его тутъ же подхватили подъ руки, а городовой засвиристѣлъ—и увезли. Онъ не хотѣлъ ѣхать и не давался,—кричалъ:

— Прощайте, други!.. Ваше превосходительство, заступитесь! Но они его усадили и неизвѣстно куда увезли.

— Ахъ, несчастный!—сказалъ генералъ и, растроганный до слезъ, сейчасъ же поѣхалъ къ оберъ-полицеймейстеру. Но его тамъ не приняли; говорятъ: «Есть пріемные часы—тогда можете!» Онъ—къ приставу, и пристава нѣтъ. «Гдѣ же онъ?»—«Помилуйте,—говорятъ,—по участку ходитъ!»—«Кого же я могу видѣть?» — «А вотъ дежурный за стѣнкой». Выходитъ изъ-за стѣнки дежурный офицеръ, застегиваетъ на себѣ мундирный сюртукъ и спрашиваетъ: «Что угодно?»

Генералъ ему все и передаетъ: «Такъ и такъ, мой камердинеръ, на рукахъ котораго вещи, серебро и весь домъ, а его въ мое отсутствіе взяли и увезли безъ извѣщенія меня, какъ будто какого-нибудь учебнаго разсуждателя. Прошу мнѣ его сейчасъ возвратить».

А полицейскій говоритъ: «Я этого не могу, потому что его у насъ нѣтъ; мы его еще въ двѣнадцатомъ часу въ больницу отправили».

Генералъ обругалъ его какъ не надо хуже и вскочилъ опять на извозчика и все извозчика послѣ этого вслѣдъ скорѣе подгоняетъ.

А извозчикъ догадался, для чего онъ ѣздитъ, и говоритъ:

— А осмѣлюсь спросить: котораго часа вашего человѣка взято?

Генералъ говоритъ:—О полуночи.

— Ну, такъ теперь,—говоритъ,—ему уже аминь.

— Что̀ ты вздоръ говоришь!

— Помилуйте, какой же вздоръ! — Теперь они ему уже струменцію запустили.

— Ты глупости говоришь.

А извозчикъ полуоборотился и крестится рукой, а самъ шепчетъ:

— Ей-Богу, ей-Богу,—говоритъ:—вѣдь они теперь всѣхъ струменціей пробуютъ. Сначала начнутъ человѣка въ ванной шпарить и кожу долой стирать и притомъ въ ротъ лѣкарства льютъ; а которые очень крѣпкаго сложенія и отъ лѣкарства не могутъ умереть, тѣмъ послѣднюю струменцію впустятъ—и этого ужъ никто не выдержитъ.

Генералъ же думаетъ: вретъ извозчикъ, — бросилъ ему деньги, а самъ вбѣжалъ въ больницу и вскричалъ:

— Попросить ко мнѣ старшаго доктора! Кто здѣсь старшій докторъ?

Старшій докторъ выходитъ—этакій въ заспанномъ видѣ и никакого особливаго вниманія не обращаетъ, а спрахвола спрашиваетъ:

— Что вамъ угодно?

Генералъ ему отвѣчаетъ живо и бойко и рукой простираетъ, что вотъ такъ и такъ: «Я, говоритъ, въ нынѣшнемъ лѣтѣ на дачу не переѣзжалъ и остался въ городѣ»... А лѣкарь его перебиваетъ: «Вы, говоритъ, пожалуйста, покороче, а то мнѣ изъ отдаленныхъ началъ слушать некогда»...

Генералъ немножко разсердился и говоритъ: «Я вамъ начинаю такъ, чтобы было понятно. Я вечеромъ человѣка въ цвѣточный магазинъ посылалъ за букетомъ и оставилъ его въ цвѣтущемъ видѣ, и онъ еще послѣ меня пошелъ на садокъ и спѣвку слушалъ».

Но лѣкарь опять перебиваетъ: «Ваше превосходительство, мнѣ, говоритъ, некогда! Нельзя ли, въ чемъ дѣло?»

— Дѣло въ томъ,—говоритъ генералъ:—что этого человѣка взяли и увезли, и онъ у васъ, а я желаю его къ себѣ взять.

Старшій докторъ обернулся къ фельдшеру и говоритъ:

— Справься!—А тотъ справился и сразу отвѣчаетъ:

— Есть!

— Что же онъ?

— Умеръ.

Докторъ говоритъ:—Вотъ и можете получить.

Генералъ и осомлѣлъ.

— Что это такое?—говоритъ.—Я не вѣрю... Всего нѣсколько часовъ тому назадъ человѣкъ былъ полный жизни...

А докторъ говоритъ: — Это и очень часто такъ бываетъ. А впрочемъ, пожалуйте, служитель васъ проведетъ и его покажетъ!—и велѣлъ служителю:—Проводи генерала!

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Служитель привелъ генерала въ мертвецкій покой; но тутъ покойниковъ нѣсколько и еще на нихъ только нумерки лежатъ, а нѣтъ никакого воззванія, и по лицамъ отличить нельзя, потому что всѣ лица почернѣвшія, и руки отъ судорогъ въ перстахъ сдерганы такъ, что не то благословеніе дѣлаютъ, не то растопыркою кызю представляютъ.

Генералъ и говоритъ: — Я такъ не могу своего человѣка узнать! Мнѣ пусть покажутъ!

Служитель побѣжалъ въ контору, спросить, подъ какимъ оный нумеромъ, а генералъ остался и замѣчаетъ, что сзади его кто-то вздохнулъ. Видитъ, это читальщикъ, человѣкъ степенный, въ очкахъ, въ углу стоитъ, но не читаетъ, а на него сверхъ очковъ смотритъ и, какъ генералу показалось,—съ сожалѣніемъ.

Генералъ его и спросилъ:

— Что, старина, съ сожалѣніемъ смотришь?

— Да,—говоритъ,—ваше превосходительство.

— Жутко, я думаю, и тебѣ въ этакомъ адскомъ мѣстѣ?

— Да, — говоритъ, — но главное дѣло, что мнѣ утромъ всегда пить очень хочется, а тутъ нигдѣ лавчонки нѣтъ. Въ другихъ больницахъ, которыя строены въ порядкѣ домовъ, это хорошо: тамъ сейчасъ, какъ дождешь утра, такъ и выбѣжишь: квасу или огуречнаго разсолу выпьешь, и оживетъ душа; а тутъ эта больница на площади... ни одной лавки вблизи нѣтъ... Просто, ей-Богу, даже ротъ трубкой сталъ.

Генералъ вынулъ два пятиалтынныхъ и говоритъ:

— Сходи, за моего усопшаго чайку въ трактирѣ напейся.

Читальщикъ, разумѣется, доволенъ и благодаритъ.

— Видно,—говоритъ,—вамъ дорогой человѣкъ былъ?

— Да, братецъ! Я бы ста рублей не пожалѣлъ, чтобы его поставить.

А читальщикъ ему и шепчетъ:

— Какъ же ихъ поставить! У нихъ ужъ всѣ чувства убиты и пульсы заморены, потому что, вѣдь, струменцію-то

ставятъ подъ самую мышку, а въ пяткахъ подъ щиколоткой еще и послѣ смерти пульсы бьются.

Читальщикъ это сказалъ и ушелъ, а генералъ евонный намекъ, на что онъ намекалъ,—понялъ, и какъ служитель вернулся и сказалъ, подъ которымъ нумеромъ камердинеръ лежитъ,—тотъ ему говоритъ:

— Хорошо, братецъ, я надъ нимъ здѣсь останусь, а ты поди и сейчасъ мнѣ батюшку попроси, — я хочу панихиду отпѣть.

Служитель опять побѣжалъ, а генералъ зажегъ читальщикову свѣчечку да прямо покойника огнемъ подъ пятку... Тотъ вразъ и вскочилъ, а генералъ его сейчасъ на извозчика да домой, а потомъ въ баню, а другого человѣка, буфетчика, къ этимъ же докторамъ съ письмами послалъ—къ старшему и къ двумъ его главнымъ помощникамъ,—чтобы пришли къ нему его самого лѣчить.

Тѣ и рады: думаютъ, генералъ съ состояніемъ, тутъ ужъ мы хорошо попользуемся! И притомъ же они были напугавшись, куда отъ нихъ изъ мертвецкой мертвый дѣлся; весь лишній форсъ съ себя сбросили и пришли.

А генералъ велѣлъ, чтобы какъ они придутъ и сядутъ, такъ чтобы сейчасъ открыть изъ другой комнаты дверь и чтобы камердинеръ, во фракѣ, съ большимъ подносомъ чаю въ рукахъ входилъ.

Доктора, какъ это увидали, такъ всѣ трое съ креселъ на полъ и упали. А генералъ выхватилъ пистолетъ и одному и другому помощникамъ груди прострѣлилъ, а старшаго доктора выступкой подкинулъ и началъ трепать его со щеки на щеку, а послѣ, какъ уморился, говоритъ: «Иди теперь, жалуйся».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

И когда няня докончила мнѣ этотъ разсказъ, она добавила съ радостью: «вотъ какъ!»—и я удивился. Она была женщина опытная, понятливая и осторожная, такъ что во всякомъ дѣлѣ обмануть ее было не легко, и неужели же этой нелѣпости она вѣрила?

Да, она вѣрила, или, если и не вѣрила, то *хотѣла, чтобы это было такъ,* потому что это ей было *во вкусъ.*

Я съ нею вступилъ въ пререканіе, приводилъ ей самыя простыя соображенія и доказательства того, что такое

происшествіе совершенно невозможно. Она все слушала и со мною соглашалась, но вслѣдъ за тѣмъ съ усиленнымъ самодовольствомъ добавляла:

— Ну, однако, генералъ докторовъ все-таки угостилъ, какъ заслужили! И вотъ такъ бы и всѣхъ ихъ стоило.

— Да за что же? Какая имъ выгода морить людей?

— Вотъ, вотъ, вотъ!.. Вотъ это-то отъ нихъ и надо узнать! И узнаютъ...

Мнѣ чувствуется, что эта женщина — заодно съ тѣми, которые думаютъ, что надо убить не «запятую», а докторовъ. Но, можетъ-быть, я ошибаюсь. Любопытствую у ея госпожи, у которой она служитъ двадцать лѣтъ и воспитала ей «гвардейцевъ». Спрашиваю: не слыхали ли, какіе няня пустяки разсказываетъ о генералѣ?

— О, — отвѣчаетъ мнѣ дама: — это она уже давно говоритъ... А впрочемъ, вѣдь это и всѣ разсказываютъ.

— Какъ всѣ?

— Да вотъ и у X, и у Y, и у Z дѣвушки говорили мнѣ то же самое, да и ваша Саша.

— Что такое — моя Саша?

— Она тоже говоритъ то же самое.

А «моя Саша» — молодая дѣвушка, восемнадцати лѣтъ, которая «тиха не по лѣтамъ» и которую всѣ зовутъ «мокрою курицей». Что же она можетъ говорить?

Но оказывается, что и она дѣйствительно знаетъ о генералѣ и его камердинерѣ, и о приходимой красоткѣ, — и сама, хоть она «мокрая курица», но очень весело сочувствуетъ тому, что «лѣкарей надо бить».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Захожу на другой день къ лавочнику посидѣть у его лавки. Лавочникъ, — человѣкъ молодой, очень пріятный и обладаетъ совершенно непосредственнымъ краснорѣчіемъ. Онъ «изъ поваровъ», кротокъ, благовоспитанъ и благоувѣтливъ; имѣетъ нѣжное сердце, за которое и претерпѣваетъ. Онъ «прибылъ къ здѣшней предмѣстности» тоже при генералѣ, у котораго ему было «хорошо наживать», но влюбился въ «этой предмѣстности» въ красивую эстонскую дѣвушку, и они «подзаконились». Отсюда начался «переломъ его жизни»: у нихъ вдвоемъ было пятьдесятъ рублей капитала, и на этотъ капиталъ они повели разностороннюю

дѣятельность: онъ снялъ сельскую лавчонку, а она стала заниматься стиркою бѣлья. Съ тѣхъ поръ прошло уже нѣсколько лѣтъ, и они во все это время неутомимо старались устроиться, и кое-чего достигли: у нихъ уже трое дѣтей и всѣ прехорошенькія, но весь основной капиталъ ушелъ въ предпріятія. Теперь они живутъ только однимъ оборотомъ и, кажется, сами удивляются: какъ до сихъ поръ ихъ отсюда не выгнали, или они не умерли съ голоду? Но ихъ любовь и нѣжное и страстное «другъ ко другу стремленіе» не охладѣваютъ, и потому лица ихъ, равно какъ и личики ихъ дѣтей, всегда веселы и пріятны. Видѣть эти счастливыя лица—удовольствіе.

Спрашиваю я этого коммерсанта: не слыхалъ ли онъ исторіи о воскресшемъ генеральскомъ камердинерѣ, о которомъ будто бы всѣ говорятъ? Лавочникъ подумалъ и отвѣчаетъ:

— Кажется, будто что-то слышалъ.

— Да вѣдь это же,—говорю,—нисколько не похоже на правду.

— Не знаю, какъ вамъ изъяснить въ опредѣленіи факта; но мнѣ, впрочемъ, это и ни къ чему... Ну ихъ!

А во мнѣ уже разыгрывается подозрительность, что и этотъ мой собесѣдникъ тоже не чистосердеченъ и что онъ тоже не за докторовъ, а за запятую; но поговорили мы дальше, и на душѣ становится яснѣе: лавочникъ оказывается человѣкомъ совершенно объективнымъ, и даже самъ называетъ уже «исторію» *глупостью* и припоминаетъ, что «эта глупость пошла словно съ тѣхъ поръ, какъ сталъ ходить *порціонный мужикъ*».

Слово это касается въ первый разъ моего слуха, и я спрашиваю: что это такое—порціонный мужикъ?

— А это,—отвѣчаетъ,—я такъ его прозвалъ.

— За что же?

— Да ужъ малъ онъ очень, совершенно цыплепокъ или порціонная стерлядка, которую дѣлить нельзя, а надо всю сразу съѣсть... Амкнулъ—и нѣтъ его... Да неужели вы его не видали?

— Не видалъ.

— Да вонъ онъ!

И тутъ я его увидѣлъ въ первый разъ, и вѣроятно съ тѣмъ, чтобы никогда его не забыть; но такъ какъ это ви-

дѣніе стòитъ того, чтобы передать его въ точности, то я долженъ обрисовать и рамку, въ которой оно мнѣ показалось.

Шмецкъ—это длинная береговая линія домиковъ, соединяющая Устье-Наровы, или Гунгербургъ, съ мерекюльскимъ лѣсомъ, за которымъ непосредственно начинается и самъ знаменитый нѣкогда Мерекюль,—нынѣ довольно демократизованный или «опрощенный».

Мѣстоположеніе такое: море, за нимъ полоса плотно уложеннаго песку (plage), за плажемъ береговая опушка изъ кустовъ и деревьевъ, и тутъ построены дачи или домики, а мимо нихъ пролегаетъ шоссированная дорога и за нею лѣсъ, довольно сырой и довольно грязный.

Лавчонки, такъ же какъ и домики, построены лицомъ къ дорогѣ, за которою начинается лѣсъ. А потому, когда лавочникъ, разсказывавшій мнѣ о «порціонномъ мужикѣ», заключилъ свои слова указаніемъ: «вонъ онъ!»—я прежде всего взглянулъ прямо передъ собою на лѣсъ, и первое, что̀ мнѣ представилось, навело меня не на ближайшую дѣйствительность, а на отдаленное воспоминаніе о годахъ, когда я жилъ также противъ лѣса и, бывало, смотрю на этотъ лѣсъ долго и все вижу одни деревья, и вдругъ сидитъ заяцъ, подгорюнился и ушки ставитъ, а у меня сейчасъ, бывало, является охотницкая забота: чѣмъ бы его убить? И въ это время что-то около себя хватаешь, а опять взглянулъ—зайца ужъ и нѣтъ!

Теперешнее видѣніе было совершенно въ этомъ родѣ: на сѣро-зеленомъ, туманномъ фонѣ стояло что-то маленькое и грязно-розовое; но прежде, чѣмъ я могъ хорошо разсмотрѣть, что̀ это такое, оно уже и сникло.

— Боится,—проговорилъ лавочникъ.

— Чего же онъ боится?

— Запуганъ, знаете... бѣдность... Смотрите, смотрите! Вонъ онъ гдѣ, ниже на дорожку выходитъ.

И съ этимъ лавочникъ заложилъ себѣ за губу два пальца и пронзительно свистнулъ.

Порціонный мужикъ вздрогнулъ и оглянулся.

— Иди-ка сюда, Лишенный!—позвалъ его лавочникъ.

«Лишенный» къ порціонному мужику прилагалось въ родѣ обозначенія званія: такъ теперь зовутъ административно «высланныхъ» или «лишенныхъ столицы».

Мужиченко молча вернулся и пошелъ, и по мѣрѣ того,

какъ онъ ближе къ намъ подходилъ, я могъ яснѣе его разсматривать. Лѣтъ его нельзя было опредѣлить съ точностью; у него такое лицо, что ему можетъ быть между 20 и 50. Ростъ крошечный, какъ ростъ пятнадцатилѣтняго мальчика; худъ точно скелетъ, но обтянутый не кожею, а вылинявшею и вывѣтренной набойкой; губъ нѣтъ вовсе,— открыты два ряда превосходныхъ бѣлыхъ зубовъ; носъ тоненькій и свернувшійся какъ корешокъ у сухой фиги; два глаза небольшіе, круглые, какъ у птицы, и оба разнаго цвѣта, какъ у знаменитаго Анастасія Дирахита: въ одномъ глазѣ зрачокъ чистый, голубой, а въ другомъ весь испещренъ темными штрихами и крапинами, и оттого кажется коричневымъ; бороденка и волосы на головѣ—это все какіе-то клочья. На головѣ шапки нѣтъ, босъ и почти-что нагъ, потому что весь уборъ его состоитъ изъ портокъ и рубашки: портки изъ набойки, изношенныя до лепестковъ; они спускаются только немножечко ниже колѣнъ и оканчиваются «бахмарою». Рубашка была когда-то изъ розовой пестряди, но теперь это одна розовая грязь.

Гейне видѣлъ въ Пиренеяхъ надъ бездною нищаго-испанца, который былъ покрытъ лохмотьями, и «у него глядѣлась бѣдность въ каждую прорѣху; изъ очей глядѣла бѣдность», но «исхудалыми перстами онъ щипалъ свою гитару» *). И описаніе этой бѣдности разрывало душу людей чувствительныхъ и добрыхъ, а испанецъ все-таки былъ «въ лохмотьяхъ» въ тепломъ климатѣ, и у него была еще «своя гитара»...

Западные писатели совсѣмъ не знаютъ самыхъ совершенныхъ людей въ этомъ родѣ. Порціонный мужикъ былъ бы моделью получше испанца съ гитарой. Это былъ не человѣкъ, а какое-то движущееся ничто. Это сухой листъ, который оторванъ гдѣ-то отъ какого-то ледащаго дерева, и его теперь гонитъ и кружитъ по вѣтру, и мочитъ его, и сушитъ, и все это опять для того, чтобы гнать и метать куда-то далѣе...

И видишь его, и не разумѣешь: въ чемъ же есть смыслъ этого существованія?

«Господи! что̀ сей самъ или родители его согрѣшили, и какъ проявятся въ немъ дѣла Божіи?!» Неужели, если бы

---

*) «Атта-Троль».

птицы исклевали его въ зернѣ, или если бы камень жерновый утопилъ его въ дѣтствѣ — ему тогда было бы хуже?

Конечно, «вѣсть Господь, чего ради изнемождаетъ плоть сыновъ человѣческихъ», но человѣку все-таки будетъ «страшно за человѣка»!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Онъ подошелъ и сталъ, и никому не сказалъ ни слова... Босыя ноги его всѣ въ болотинѣ, волоса шевелятся... Я близорукъ, но я вижу, что̀ тамъ дѣлается. Руки его висятъ вдоль реберъ, и онъ большими перстами запнулъ ихъ за веревочку, которою подпоясанъ. Какія бѣдныя, несчастныя руки! Онѣ не могли бы щипать гитару... Нѣтъ, это какія-то увядшія плети тыквы, которую никто не поливалъ въ засуху. Глаза круглые, унылые и разнаго цвѣта — они не глядятъ ни на что въ особенности, а замѣтно, что они все видятъ, но ему ничто не интересно. За щеками во рту онъ что-то двигаетъ; это ходитъ у него за скулою какъ орѣхъ у бѣлки.

Съ этого и началась бесѣда.

Лавочникъ спросилъ у него:

— Что ты, Лишенный, во рту сосешь?

Онъ плюнулъ на ладонь и молча показалъ мѣдный грошъ, и сейчасъ же опять взялъ его въ ротъ вмѣстѣ съ слюнями.

— Хлѣба купить желаешь?

Порціонный отрицательно покачалъ головою.

Лавочникъ въ его же присутствіи наскоро изъяснилъ о немъ, что онъ «изъ-за Москвы», — «оголѣлъ съ голоду»: чей-то скотъ пригналъ въ Петербургъ и хотѣлъ тамъ остаться дрова катать, чтобы домой денегъ послать, но у него въ ночлежномъ пріютѣ какой-то странникъ укралъ пятнадцать рублей и скрылся, а онъ съ горя ходилъ безъ ума и взятъ и высланъ «съ лишеньемъ столицы», но не вытерпѣлъ и опять назадъ прибѣжалъ, чтобы свои пятнадцать рублей отыскивать.

И когда разсказъ дошелъ до этого, порціонный отозвался; онъ опять выплюнулъ на руку грошъ и сказалъ:

— Теперь уже не надо.

Голосъ у него тоненькій и жалостный, какъ у больныхъ дѣвочекъ, когда онѣ обмогаются.

— Отчего же не надо?

— Дѣтки померли...

— Развѣ ты письмо получилъ?

— Нѣтъ; журавли летѣли да пѣли.

— А гдѣ же твоя жена?

— Къ слѣпымъ пошла. Слѣпымъ-то вѣдь хорошо жить: имъ подаютъ... имъ надо стряпать...

Мы всѣ замолчали,—кажется, мы всѣ страдали, а *онъ*, безъ сомнѣнія, всѣхъ больше; но лицо его не выражало *ничего!*

— Убитый человѣкъ!—прошепталъ нищій-лавочникъ:— въ разсудкѣ рѣшается,—и подалъ ему булку.

Тотъ ее взялъ, не поблагодаривъ, сунулъ за локоть, и опять опустилъ руки вдоль реберъ.

— Съѣшь!—сказалъ лавочникъ.

Мужикъ не отвѣчалъ, но взялъ булку въ руку, подержалъ и даже что-то съ нея хотѣлъ счистить и опять туда же сунулъ, за локоть.

— Не хочешь ѣсть?

— Не хочу... дѣтямъ снесу.

— Да дѣти вѣдь померли!

— Ну, такъ что-жъ... Имъ тамъ дадутъ, въ раю, по яблочку.

— Ну, да; а ты булку самъ съѣшь.

Мужикъ опять взялъ булку въ руки, опять снялъ съ нея то, что ненадлежаще явилось, и затѣмъ вздохнулъ и тихо сказалъ:

— Нѣтъ; все-таки пущай лучше дѣтямъ.

Лавочникъ посмотрѣлъ на него,—вздвигнулъ плечами и прошепталъ:

— Господи! тоже и родитель еще называется!

Мужикъ это услыхалъ и повторилъ:

— Родители.

— И всѣ чувства къ семьѣ имѣешь?

— А то какъ же!

— А какое твое впередъ стремленіе?

— Не знаю.

— Разскажи барину, какъ генералъ докторовъ билъ. Баринъ тебѣ тоже на хлѣбъ дастъ: можетъ-быть, въ Нарву съѣздишь, а тамъ какую-нибудь работу найдешь.

И порціонный сейчасъ же началъ сразу ровнымъ, тихимъ голосомъ всю ту исторію, которую я передалъ уже со

словъ своей знакомой няни, но только порціонъ ее излагалъ въ самомъ сильномъ конкретѣ: «Жилъ возлѣ рынка генералъ... имѣлъ вѣрнаго слугу-камердинера. Отлучился въ кіятеръ, а вѣрный камердинеръ къ себѣ приходимую кралю принялъ чай пить... какъ вдругъ ему рѣзь живота... Взяли его и стали надъ нимъ опытъ струментой пробовать, всѣ чувствія угасили, но въ подциколкѣ еще пульсъ билъ. Генералъ его восхитилъ—и въ баню; потомъ позвалъ докторовъ въ гости, а камердинеру велѣлъ войти и чай подать... Тѣ и попадали... А генералъ двухъ разстрѣлялъ, а третьяго въ морду набилъ и сказалъ: «ступай, жалуйся!»

Этимъ все и кончилось.

Я далъ мужику два двугривенныхъ и хотѣлъ ему собрать завтра между знакомыми всѣ пятнадцать рублей, которые у него странникъ укралъ. Онъ мои двугривенные кинулъ себѣ въ ротъ (кармановъ у него, какъ у настоящаго праведника, не было). И затѣмъ онъ ушелъ и болѣе уже въ нашихъ мѣстахъ не показывался. Я ужъ думалъ, не повлекъ ли его рокъ въ Нижній за краткой развязкою?..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

А тѣмъ временемъ пріѣзжаетъ съ кѣмъ-то извозчикъ изъ Нарвы и говоритъ, что къ нимъ ждутъ генерала Баранова и полкъ артиллеріи.

— Для чего же?

— Да на фабрикахъ,—говоритъ,—очень живой разговоръ пошелъ.

— О чемъ?

— Все объ струментѣ.

А дальше разсказываетъ, что у нихъ дѣло будто уже и разыгралось такимъ образомъ: пошелъ будто у нихъ какой-то докторъ на Нарову купаться, раздѣлся и сталъ при всѣхъ глупость дѣлать: спустилъ на шнуркѣ съ мостка въ воду трубку и болтаетъ ее и взадъ, и впередъ водитъ. Пополоскаетъ-пополоскаетъ и опять вытянетъ, поглядитъ и опять запуститъ... Люди увидали это и нѣсколько человѣкъ остановились, а потомъ вскричали ему: «Докторъ, молъ, докторъ! Слышь-ко, оставь, молъ, лучше эту... струментацыю-то! Полно тебѣ ее полоскать!.. Оставь же, молъ; а то нехорошо будетъ!» А онъ не послушался и еще разъ закинулъ. Ну, ужъ тутъ его одинъ по голой плоти хворостиной

и дернулъ. И стали приставать. «Подай инструментъ, мы его отнесемъ узнать: что̀ тамъ насажено». А онъ первой же хворостины испугался и бѣжать, и инструментъ съ собой... Ну, тогда, разумѣется, за нимъ ужъ и многіе рушили, и кои догоняли, тѣ били его; но, слава Богу, что онъ рѣзво бѣжалъ, а если бы онъ на грѣхъ споткнулся, либо упалъ— такъ на̀-смерть бы убить могли. Докторъ успѣлъ вспрыгнуть на извозчика и въ полицію голый такъ и вскочилъ... Тутъ послѣ и пошли по всѣмъ сходнымъ мѣстамъ и трактирамъ сходиться всѣ фабричные и ихъ эти тоже приходимыя красотки и пошли говорить по-русски и по-эстонски, для чего же полиція могла скрыть такого человѣка, который не постыдился при всѣхъ въ водѣ черезъ инструментъ микробу впускать... И теперь безпокойства, и ждутъ, что съ одной стороны выѣдетъ губернаторъ изъ Ревеля, а съ другой вступитъ графъ Барановъ—и начнетъ всѣмъ публиковать свои правила.

«Инструментъ» и «приходимыя красотки» — это прямо отдавало тѣмъ самымъ источникомъ, изъ котораго были почерпнуты первые матеріалы для легенды, получившей свое развитіе у насъ на plage. Вѣтеръ или вода, значитъ, занесли «запятую» прежде всего туда, въ наше фешенебельное мѣсто; но тамъ, на plage, «запятой» «среда не благопріятствовала», и запятая не принялась, или, культивируясь, вырождалась во что-то мало схожее и постороннее: а вотъ тутъ, когда она попала въ среду ей вполнѣ благопріятную, она «развила свои разведенія».

А что это была именно она, та самая «запятая», которую мы видѣли и не узнали, а еще сунули ей въ зубы хлѣбъ и два двугривенныхъ, то это вдругъ сообразили и я, и лавочникъ. И лавочникъ къ тому имѣлъ еще и «подтвержденіе на фактѣ», такъ какъ онъ самъ ѣздилъ на лошади въ Нарву за товаромъ, и когда назадъ возвращался, то порціонный мужикъ самъ явился ему за городомъ: онъ совершенно неожиданно поднялся къ нему изъ мокрой канавки и закричалъ: «Журавли летятъ! Журавли! Аллилуія!» Но только лавочникъ на этотъ разъ былъ уже умнѣе: онъ теперь зналъ, что порціонный мужикъ—человѣкъ опасный: лавочникъ поскорѣе хлеснулъ лошадь и хлѣба ему не кинулъ, а кнутомъ ему погрозилъ да прикрикнулъ:

— Вонъ графъ Абрамовъ наступаетъ съ публикацыей— онъ тебя удовольствуетъ!

А на «порцыонѣ» какъ разъ, кстати, теперь уже и рваныхъ портъ совсѣмъ не было, такъ что и легко было его «удовольствовать»... Но сумасшедшій домъ, однако, могъ бы безъ грѣха укрыть его отъ этого «удовольствія».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Вотъ и весь сказъ о запятой. Тутъ налицо все: какая у нея видимость и умственность, что̀ у нея за характеръ и какова она въ словахъ и въ разсужденіи своего вліянія на мозгъ человѣческій. Кажется, ничто особенно хитро не задумано и не слажено: что̀ есть, то̀ все взято безъ всякой пропорціи, не на вѣсъ, а на глазомѣръ или, еще проще,— сколько влѣзло. Во всякомъ случаѣ, всего менѣе попало сюда злого намѣренія и расчета. Этого снадобья тутъ не болѣе, чѣмъ поэзіи Фета, которая участвуетъ въ составѣ преступленія «запятой» только однимъ стихомъ: «Приходи, моя милая крошка». Такимъ образомъ муза поэта, ненавидѣвшаго народныя несуразности, изловлена гдѣ-то въ то время, какъ она гуляла въ ароматномъ цвѣтникѣ или неслась надъ деревнею по воздуху, слетѣвъ съ устъ пѣвицы, «запузыривавшей» за фортепіаномъ въ дворянскомъ домѣ. Аѳ. Аѳ. Фетъ вѣрно былъ бы недоволенъ тѣмъ, что сѣрый народъ безъ толку тормошитъ его «милую крошку», но вины Фета въ томъ нѣтъ. Столько же виновата и вся дѣйствительность. Вѣтеръ листъ сухой гоняетъ и треплетъ, и онъ то летитъ, то катится, то гніетъ въ грязи и потомъ опять сохнетъ, и опять изъ темныхъ мѣстъ поднимается. Вотъ это самое дѣйствительное и несомнѣнное; все остальное—зыбь поднебесная, марево, буддійская ка̀рма, которая всѣмъ точно снится... Никакого перваго заводчика пѣсни и сочинителя легенды нѣтъ! Порціонный мужикъ, конечно, не сочинялъ «бѣдную крошку». Гдѣ ему! Онъ получилъ ее уже готовую и за горемъ своимъ онъ развивалъ ее гораздо слабѣе, чѣмъ всѣ другіе импровизаторы... За что же его такъ участь жестока?

О, Господи! сжалься надъ нимъ да сошли и намъ просвѣщающую вѣру вмѣсто суевѣрія!

Изъ всѣхъ «запятыхъ» самыя ужасныя тѣ, которыя скрываются во тьмѣ суевѣрій.

РАСТОЧИТЕЛЬ.

ДРАМА ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

(Посв. артисту Н. Зубову).

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Иванъ Максимовичъ Молчановъ, молодой купецъ, 30 лѣтъ. Одѣвается по-современному; держится ловко; носитъ бороду.

Марья Парменовна, жена его, 28 лѣтъ.

Парменъ Семеновичъ Мякишевъ, тесть Молчанова, купецъ рослый, тяжелый, съ большою просѣдью; одѣвается по-старинѣ.

Анна Семеновна, жена его, купчиха лѣтъ за 40.

Фирсъ Григорьевичъ Князевъ, купецъ лѣтъ 60, бодрый, сдержанный и энергическій. Сѣдые волосы на его головѣ острижены низко и причесаны по-кадетски; борода довольно длинная, но узкая и тоже сѣдая; одѣтъ въ длинный сюртукъ, сдѣланный щеголевато. Вообще фигура очень опрятная. На носу золотые очки. — Первый человѣкъ въ городѣ.

Иванъ Николаевичъ Колокольцовъ, товарищъ Молчанова, 30 лѣтъ, городской голова.

Вонифатій Викентьевичъ Минутка, думскій секретарь, изъ поляковъ.

Калина Дмитріевичъ Дробадоновъ, дядя Молчанова по женской линіи, купецъ очень крупнаго тѣлосложенія, лѣтъ 42; одѣтъ неряшливо.

Иванъ Петровичъ Канунниковъ
Матвѣй Ивановъ Варенцовъ
Илья Сергѣевъ Гвоздевъ
} пожилые купцы и члены Думы.

Марина Николаевна Гуслярова, молодая женщина лѣтъ 27, дочь няньки Ивана Молчанова, воспитанная въ дѣтствѣ въ Молчановскомъ домѣ.

Старуха, мать Марины, слѣпая.

Алеша Босый, помѣшанный, слыветъ юродивымъ; онъ не носитъ никакой обуви и зиму и лѣтомъ ходитъ босой въ одной длинной рубашкѣ.

Спиридонъ Обрѣзовъ, старый ткачъ.

Павлушка Челночекъ, мастеровой.

Служанка въ домѣ Мякишевыхъ.

Алена } слободскія дѣвушки.
Саша }
Пріѣзжій парень.
Двое дѣтей Молчанова.
Фабричные, купцы и мѣщане, полицейскіе солдаты и квартальный.
Дѣйствіе происходитъ въ 1867 году, въ большомъ торговомъ городѣ:
1-е—въ садовой бесѣдкѣ у Князева.
2-е—въ городскомъ домѣ Молчанова.
3-е—въ домѣ Мякишевыхъ.
4-е—въ паркѣ при Молчановскихъ фабрикахъ.
5-е—въ домѣ Дробадонова.
Между 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ и 4-мъ дѣйствіями проходитъ нѣсколько дней, а между 4-мъ и 5-мъ—три мѣсяца.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Просторная садовая бесѣдка, обращенная въ лѣтнее жилище Князева и убранная, какъ кабинетъ достаточнаго человѣка, но нѣсколько въ старинномъ вкусѣ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Князевъ *(при поднятіи занавѣса сидитъ за стариннымъ бюро корельской березы и читаетъ письмо).* «А къ сему еще и то тебѣ, любезный Фирсъ Григорьевичъ, прибавлю, что у насъ въ столицѣ нынѣ нѣчто совсѣмъ отъ прежняго отмѣнилось, и хоша то и справедливо, что на всякую болѣзнь свое зелье растетъ, только нынѣ аптекъ тѣхъ уже нѣту, гдѣ зелье противу нашихъ немочей приготовлялось. Судъ старый рухнулъ, и при новыхъ судебныхъ выдумкахъ я въ дѣлѣ, о коемъ ты пишешь, пособникомъ быть считаю не безопаснымъ. Одно, что могу тебѣ присовѣтовать, то признайся ты питомцу своему Молчанову, въ чемъ грѣшенъ, и ненадлежаще отъ него присвоенное возврати. Иной же поправки сему дѣлу въ нынѣшнія тяжкія времена не ожидай». *(Нетерпѣливо дергая письмо, продолжаетъ скороговоркою):* «Молчановъ пылокъ и добръ, и если ты передъ нимъ, какъ прочіе купцы дѣлаютъ, хорошенько расплачешься, то онъ, пожалуй, и разжалобится...» *(Комкаетъ письмо).* Дуракъ, а не стряпчій! Чортъ его знаетъ, что онъ мнѣ за отвѣтъ написалъ! Я его спрашивалъ: какъ мнѣ быть, чтобы не уронить себя, чтобы оправиться въ Молчановскомъ опекунскомъ дѣлѣ и сдать отчеты безъ приплаты, а онъ вонъ что отвѣчаетъ: «отдать!» Отдать!... Да нечего отдать,

глупецъ!... Расплакаться!... Кто это видѣлъ, какъ Фирсъ Князевъ плачетъ! и передъ кѣмъ? И отъ чего заплакать?.. Вашъ новый судъ! Что жъ это—люди, что ль, перемѣнились? Вздоръ! Не можетъ быть, чтобъ человѣкъ съ умомъ не сдѣлалъ въ Россіи того, что хочетъ... Все это выдумка! Да наконецъ и графъ Александръ Андреичъ этого не можетъ допустить. На него на полмилліона векселей при такомъ судѣ представятъ, а онъ платить долговъ не поваженъ. Пустое, вздоръ, мечтанье, форма.... Нѣтъ, меня не запугаете, и пока этотъ лобъ наружу, на Фирса Князева узды вамъ не накинуть. *(Слышенъ стукъ въ двери.)* Кто тамъ?

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Минутка *(входя).* Не безпокойтесь: это я.

Князевъ. Что ты тамъ пропадалъ столько времени? Велики, знать, очень секретарскіе разносолы.

Минутка *(усаживаясь).* Нѣтъ, какіе тамъ наши разносолы, а все же старуху восемь дней не видалъ.... да ей и нездоровится.

Князевъ. Ну, что тамъ нездоровится... псовая болѣзнь до поля, бабья до постели: выспится и здорова будетъ.

Минутка *(подобострастно улыбаясь).* Это такъ, такъ... онѣ, какъ кошки: переволоки на другое мѣсто и опять живутъ... Ну ахъ, чтобъ вы знали только зато, какъ я разбился... Кажется, заничто на свѣтѣ теперь бы съ постели не всталъ. Вѣдь шутка ли, въ самомъ дѣлѣ, въ восемь дней въ Петербургъ и назадъ. Хороша дорога, слова нѣтъ, особенно отъ Питера до Владиміра по чугункѣ, какъ въ комнатѣ сидишь; но ужъ отъ Владиміра...

Князевъ *(перебивая).* Да, отъ Владиміра многимъ не нравится... Ну, да къ чорту это! Разскажи ты мнѣ теперь, братецъ, что же ты сдѣлалъ въ Петербургѣ по моему приказанію? Письмо ты мнѣ отъ стряпчаго привезъ столь глупое, что я этого человѣка послѣ этого сумасшедшимъ считаю.

Минутка *(осклабляясь).* Нѣтъ, большого ума, большого ума человѣкъ, Фирсъ Григорьевичъ! Не дѣти, а мужи, самые настоящіе мужи, дѣльцы и тѣ пріуныли. Одно слово, какъ стряпчій сказалъ, нечего и рецептовъ писать, когда наши аптеки всѣ закрыты. *(Разводитъ руками).*

Князевъ. Какъ же это,—стало-быть, и ты уже безъ взятокъ жить собираешься?

Минутка. А что жъ подѣлаешь!

Князевъ *(встаетъ и начинаетъ ходить).* А вытерпѣть надѣешься?

Минутка. Представьте, Фирсъ Григорьичъ... чтобъ вы знали, ни денегъ дать, ни упросить его, ни подкупить... какъ вамъ это нравится?

Князевъ. А обмануть?

Минутка *(смотритъ на Князева съ изумленіемъ и растерянно повторяетъ).* Обмануть...

Князевъ. Да... обмануть?

Минутка. И обмануть... Ну, чтобъ вы знали, и обмануть я, Фирсъ Григорьичъ, не въ надеждѣ.

Князевъ. Ну обойти, коли не обмануть?

(Минутка молча разводитъ у себя подъ носомъ руками).

Князевъ *(про себя).* Однако, и у піявки брюшко залубенѣло. *(Громко.)* Нѣтъ, панъ Вонифатій, вижу я, что двадцать лѣтъ назадъ, когда тебя только-что прислали изъ Польши на смиреніе, ты смѣлѣй былъ. Помню я, какъ ты, первый разъ, какъ я тебя у полицеймейстера за завтракомъ увидѣлъ, разсуждалъ, что «въ Россіи невозможности нѣтъ». За одно это умное слово я тебя, сосланца, возлюбилъ и на службу принялъ и секретаремъ въ Думѣ сдѣлалъ, и двадцать лѣтъ намъ съ тобой и взаправду невозможности не было.

Минутка. То двадцать лѣтъ назадъ вѣдь говорилъ я, Фирсъ Григорьичъ.

Князевъ. Да; въ эти двадцать лѣтъ ты понажился, а я... а я прожился.

Минутка. Кто жъ этому причиной, Фирсъ Григорьичъ? Не я тому причиной: я жилъ по средствамъ, вы же...

Князевъ *(перебивая).* Молчи, сморчокъ!... Въ тебѣ сидитъ одинъ польскій чортъ, а во мнѣ семь русскихъ чертей съ дьяволомъ, такъ не тебѣ про то судить, кто виноватъ. Когда бъ не эти черти, я и теперь бы дома не сидѣлъ и не послалъ бы тебя въ Питеръ. *(Успокоиваясь.)* Говори, велико ли время еще дадутъ мнѣ на передышку?

Минутка *(пожавъ плечами).* Сказали такъ, что дѣло объ отчетѣ два мѣсяца не болѣе могутъ продержать, и тогда потребуютъ остатки.

Князевъ. Сколько?

Минутка. Начету будетъ тысячъ двѣсти.

Князевъ. Двѣсти тысячъ!.. Ты врешь!

Минутка. Помилуйте, на что мнѣ врать.

Князевъ. На что?.. А ты соври себѣ, чтобъ легче было отвѣчать.

Минутка *(вскакивая и дрожа).* Да я-то что же здѣсь? Я здѣсь при чемъ же, Фирсъ Григорьичъ?

Князевъ. Агу, дружочекъ! Ты здѣсь при чемъ? А не знаешь ли ты того подьячаго, что намъ съ Мякишевымъ двадцать лѣтъ отчеты по Молчановской опекѣ выводилъ? Что, голубь! Я вѣдь бумажки прячу.

Минутка *(потерявшись, не знаетъ, что сказать).*

Князевъ. А! Ишь, какъ дрожитъ! Вотъ тѣмъ-то вы, ляшки, и скверны. На каверзу вотъ тутъ васъ взять, а если гдѣ придется стать лицомъ къ лицу съ бѣдою, такъ тутъ вы ужъ и жидки на расправу. *(Грозя пальцемъ.)* Эй, панъ, со мною не финти! *(Смѣло.)* Я крѣпко кованъ! Я знаю, куда ступаю. Я сѣлъ опекуномъ, такъ изъ всѣхъ должностей высѣлъ, а тебя, дурака, въ Думу посадилъ, и... придетъ къ тому, такъ... я же тебя и въ тюрьму посажу. Чего дрожишь! Чего? не бойся. Вѣдь новый судъ надъ нами еще не начался, а до тѣхъ поръ держись... вотъ тутъ вотъ... за полу мою держись, покуда... *(съ омерзѣніемъ)* покуда въ носъ сапогомъ не тресну.

Минутка. Да что вы, Фирсъ Григорьичъ! Я, что ль, за новый судъ! Да заничто на свѣтѣ! Тифу! вотъ ему что отъ меня, новому суду. Я, чтобъ вы знали, я всѣмъ чѣмъ угодно готовъ служить вамъ, Фирсъ Григорьичъ.

Князевъ. Ну, всѣмъ — гдѣ тебѣ всѣмъ служить? Я тебя посылаю каверзить—слышишь, каверзить. Больше вы, паны, ни на что не способны.

Минутка. Да ну-те бо, Богъ зъ вами, какой я панъ: я такой же, какъ и вы, русскій человѣкъ.

Князевъ *(презрительно).* Ну, врешь—такой же! — что у тебя на русской службѣ польская кость собачьимъ мясомъ обросла, такъ ужъ ты отъ этого и русскимъ сдѣлался! Впрочемъ, не русись: ты мнѣ такой и нуженъ, какой ты есть! Гдѣ ума потребуется, тамъ мы своего поищемъ; а ты ступай повсюду... бунтуй народъ, мѣщанъ, особенно фабричныхъ.. Заслать людей, чтобы и малому и старому твердили,

что Фирсъ Григорьичъ ихъ отецъ, что онъ застоя ихъ; онъ благодѣтель ихъ и покровитель... Понимаешь? Сказать, что помните, молъ, въ прошломъ году совсѣмъ-было быть набору... а какъ министерскій чиновникъ черезъ нашъ городъ проѣхалъ да съ Князевымъ повидался, — и набору, молъ, конецъ. Ты все это долженъ помнить: самъ, вѣдь, распускалъ. Теперь опять все это имъ напѣть, да растолковать имъ, канальямъ, что я все могу сдѣлать.

Минутка. Это... это, что и толковать! Этому, чтобъ вы знали, они и такъ всѣ вѣрятъ.

Князевъ. Знаю! И то... да! скажи, что опять въ Петербургѣ про наборъ слышалъ... Это старо, да еще не изъѣздилось... Скажи и поприбавь, что я, освободившись теперь отъ Молчановской опеки, не откажусь быть головою и... «его, молъ, выберутъ». Это ничего, что не ты, а они выбирать будутъ—ты прямо говори, что выберутъ.

Минутка *(смѣясь).* Быдло!.. Скотъ, скотъ... бараны... я про народъ-то говорю: бараны!

Князевъ. Да; ступай и дѣйствуй смѣло, а я здѣсь кое-о-чемъ подумаю.

Минутка. Одно только, какъ бы это такъ получше, Фирсъ Григорьичъ, пустить, чтобы оно всюду прокатило?

Князевъ. Ну, объ этомъ ты не заботься: у насъ правда молчкомъ лежитъ, а брехню пусти съ уха на ухо, она пролетитъ съ угла на уголъ. Ступай.

Минутка *(порываясь къ двери).* Прощайте, до свиданья.

Князевъ. Да то еще... Да! если что-нибудь тебѣ случится разузнать, что Ванюшка Молчановъ не спокоенъ, что что-нибудь затѣваетъ...

Минутка. То дать вамъ знать?

Князевъ. Да, ту жъ минуту; ту жъ секунду... Слышишь: ту жъ секунду. Бѣги сюда хоть ночь, хоть за-полночь... да не ломись дворомъ, гдѣ люди видятъ, а оттуда, знаешь, съ выгона подергай за веревку. Я самъ тебя впущу въ садовую калитку.

Минутка. Не учите... знаю.

Князевъ. Не дай зѣвка.—Мнѣ кажется, что онъ не даромъ что-то очень тихъ. *(Про себя.)* Чортъ знаетъ... я бойкихъ людей не люблю и очень тихихъ не люблю тоже. Не вѣрю я тихимъ. *(Минуткѣ.)* Не вѣрю я тихимъ!

Минутка. Фирсъ Григорьичъ, не безпокойтесь! Кто тихо ходитъ, того чохъ выдаотъ... чохъ выдастъ... хе-хе-хе, чохъ...

Князевъ. Ступай.

(Минутка уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Князевъ *(одинъ медленно и съ усталостію).* Проклятая самая вещь чужіе милліоны въ рукахъ держать: ладони сами словно клеемъ приклеиваются—все такъ и пристаетъ къ нимъ, такъ и пристаетъ; а потомъ вотъ какъ поналипнетъ—и трудно приходится разсчитываться. Двѣ недѣли! Что тутъ можно сдѣлать изъ ничего въ двѣ недѣли? А не сдѣлай,—бубновый тузъ тебѣ на спину и въ каторгу. Гм! Но и еще и не въ томъ дѣло, что въ двѣ недѣли, и не въ томъ, что изъ «ничего»; а когда это? въ какое время? когда я уязвленъ, когда я умомъ помраченъ и только мечтаю о сласти, когда все наконецъ ужъ такъ доведено, что Маринѣ шагу ступить безъ меня невозможно... Сегодня ей ужъ послѣдній ударъ нанесенъ: я вчера велѣлъ Дросидѣ, чтобъ нынче выгнать ихъ — и ее и мать — если Марина еще ломаться будетъ. Теперь ей одинъ выборъ — идти съ слѣпою матерью питаться желудьми или... придти ко мнѣ. *(Глядя на часы.)* Теперь девятый часъ въ исходѣ... Непремѣнно должна бы сейчасъ быть... Небось, закутается... идетъ, словно земля подъ ней проваливается, и все плачетъ. Гм! *(Подумавъ.)* А я очень люблю иногда плачущихъ женщинъ... *(Страстно.)* У нихъ въ это время, когда онѣ плачутъ, губы такія... жаркія, и все какъ бабочка на булавкѣ трепещутся... Давно ужъ, давно я не цѣловалъ этакой! *(Задумывается.)* Изучились всѣ, всѣ ужъ и здѣшнія-то пріучились, какъ рыбы холодныя на блесточку ходятъ, только блесточекъ заготавливай... Ахъ, эти блесточки, блесточки!... Вотъ, чортъ возьми, вертись, какъ жидъ передъ жолнеромъ: то баба, то свое спасенье. *(Садится къ столу, на которомъ стоятъ книги законовъ.)* Неужто же въ самомъ дѣлѣ ни умъ, ни законъ, ничто не поможетъ? Нѣтъ! чтобъ выгонять вонъ изъ головы эту проклятую бабу, давай лучше законы читать стану. Теперь мода на законы пошла. Прежде была мода на возможность, а нынѣ на законъ *(Раскрываетъ одну за другою нѣсколько книгъ.)* Что жъ!... Говорятъ, подьячій отъ закона питается: не утѣшитъ ли онъ и насъ чѣмъ? *(Читаетъ.)*

«О фальшивыхъ монетчикахъ».—Вотъ эта статья интересная. Только велика труппа требуется. *(Ищетъ далѣе.)* «О нарушеніи союза брачнаго». *(Останавливается и нѣсколько секундъ читаетъ.)* Мужъ можетъ потребовать жену къ совмѣстному сожительству... а чтобы онъ не потребовалъ... *(Съ досадой.)* Но это опять все про нее! про нее!.. *(Оглядывается на дверь.)* Однако, что-то вотъ ея и нѣтъ. *(Глядя въ книгу.)* «О расточительствѣ». Вотъ этимъ закономъ меня хорошо было съ дѣтства отчитывать. *(Вздыхаетъ и бросаетъ книгу.)* Все вздоръ! Есть только то, чего не надо; а за что зацѣпиться? на чемъ выскочить?.. На что стать да насмѣяться этимъ и новымъ судамъ, и новымъ людямъ,—того и нѣтъ! *(Слышится стукъ въ двери).* Ага, вотъ и она! *(Откидываетъ крючокъ.)* Одна?

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Тѣ же и **Дросида** *(входя).* Одна, родимый. Да и съ кѣмъ же быть-то? Не съ кѣмъ.

Князевъ. Какъ не съ кѣмъ! Что такое?

Дросида. Да вѣдь ушла она, Марина-то, еще вчера ушла. Я думала, что ты ужъ знаешь, потому весь городъ знаетъ. Я про то и идти и глазъ тебѣ показать боялась, что ты, молъ, этакой человѣкъ... гнѣвенъ теперь...

Князевъ. Ты толкомъ мнѣ говори. Я твоей этой болтовни ничего не понимаю. Я дома сидѣлъ: ничего не слышалъ, а докладывать—кто мнѣ смѣетъ про эти глупости докладывать?

Дросида. А коли не знаешь, изволь, родимый, все разскажу. Я все ей баяла. Я говорю, ты вспомяни, Маринушка, что кто вѣдь былъ твоей застоей? Подумай, молъ, что ты вѣдь мужняя жена, а мужъ твой есть убивецъ. Кто за тебя вступился? Фирсъ Григорьичъ. Кто мужа твоего по чести спровадилъ въ Питеръ да еще и денегъ на разживу далъ,—кто? все же Фирсъ Григорьичъ. Кто этотъ домикъ-то, не домикъ, а хоромы добрыя тебѣ удержалъ, не далъ твоему мужу прогусарить?—опять же Фирсъ Григорьичъ!

Князевъ. Ну!

Дросида. Да какъ же тебѣ, говорю, того не чувствовать? Ну, а она свое: я бы, говоритъ, отъ мужа и сама убѣгла, потому что онъ, всѣмъ извѣстно, разбойникъ; а что хоромы, такъ это, говоритъ, вѣдь наши притоманныя, свои хоромы: ихъ Фирсъ Григорьевичъ обманствомъ выманилъ: говорилъ,

чтобъ только переписать за него, чтобы мужъ меня подъ домъ денегъ занимать не заставлялъ; а нынче видно шутку эту въ правду ужъ повернулъ. Такъ мнѣ плевать, говоритъ, на эти и хоромы Я, говоритъ, нужды не боюся, а ужъ тѣла своего не продаю. Дура ты, говорю ей, такъ же вѣдь съ своимъ съ разбойникомъ-то жила и тѣло ему предавала. Ну, то, говоритъ, законъ.

Князевъ. Скажите, пожалуйста, и бабы про законъ запѣли!

Дросида. Да, говоритъ, законъ. Да что, молъ, намъ, нищимъ, законъ! Хорошо въ законѣ ходить, кому Богъ обужку далъ, а у насъ рѣдкая-рѣдкая, которая отъ Фирса Григорьича чѣмъ не пользовалась... Моя, говорю, дочь не хуже тебя была...

Князевъ. Ну, это ты проѣзжай мимо съ своей дочерью.

Дросида. Не хуже тебя, говорю, Алена-то моя была, да за счастье даже это почитала. А она съ этимъ харкъ мнѣ въ глаза, да говоритъ: змѣя ты, да еще змѣи хуже, потому и змѣя своихъ черёвъ не ѣстъ, а ты къ чему дочь устроила. Я ужъ тутъ-то не стерпѣла, да и говорю: ну, коли ты говоришь, что я свое дитя съѣла, то ты хуже меня будешь и свою мать съѣшь. Мнѣ, говорю, отъ Фирса Григорьича такой приказъ данъ теперь, что если ты нонѣ своихъ капризовъ не переломишь да не пойдешь къ нему, такъ замѣстъ того, чтобы онъ домъ на тебя записалъ, вотъ тебѣ Богъ да порогъ: выходи вонъ отсюдова съ своею матерью.

Князевъ. Ну, и что жъ она?

Дросида. Что жъ ей, безчувственной, Фирсъ Григорьичъ! Она тому и рада словно. Прегордо плюнула еще, да и была такова. «Собирайся, маменька: нашъ домъ-то не нашъ, говоритъ, вышелъ». Повязала узлы, да и слѣдъ ихъ таковъ.

Князевъ. Скажите, пожалуйста, какой, однако, въ этой бабенкѣ гоноръ сидитъ. *(Отходя.)* Вѣдь это... вѣдь это я вамъ говорю *(цѣлуетъ пальцы)*... вѣдь это сюпер-фейнъ! Эта... разомнетъ кости, пока ее къ знаменателю приведешь. Я и этотъ родъ знаю. Знаю, знаю! Сей родъ ничѣмъ же изымается, но хорошъ, хорошъ, заманчивъ. Дуру, какъ галку, сейчасъ подманишь, и сама и на плечо садится; а этакую... какъ сокола ее надо вынашивать... Маять ее, чтобы одурь ее взяла... чтобъ отдыху ей не было, чтобъ изъ силъ выбилась, съ тѣла спала... Въ нихъ вѣдь это не то... не мя-

коть, не тѣло дорого... а въ нихъ... Да дьяволъ ихъ знаетъ, что въ нихъ такое! *(Дросидѣ).* Ну, и куда же она пошла?

Дросида. Да ужъ прежде, видно, Фирсъ Григорьичъ, у нихъ мѣсто-то готовлено. Она такъ прямо, плюнувши, и говоритъ: стращать было вамъ, говоритъ, меня допрежъ сего, да и тогда-то бы я не больно испужалась, а нонѣ мнѣ спасибо вамъ, что выгнали. Взяла слѣпую мать и повела къ Молчанову на дачу.

Князевъ *(вскакивая).* Къ Молчанову? Ты врешь!

Дросида. Мнѣ ли лгать тебѣ, родимый Фирсъ Григорьичъ. Сама я видѣла, какъ взяли за уголъ и полемъ поплелись вдвоемъ къ Молчановской слободкѣ.

Князевъ *(проворно вскочивъ и расхаживая. Про себя).* А, братъ Иванъ Максимычъ, ты что-то частенько сталъ мнѣ впоперекъ дороги шныряить. За тебя терплю, да и отъ тебя терпѣть — это ужъ не много ли будетъ по двѣ собаки на день! *(Слышенъ стукъ въ двери.)*

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Тѣ же и Минутка.

Минутка *(блѣдный и взволнованный вбѣгаетъ и, обращаясь къ Дросидѣ).* Ступай отсюдова, ступай! Прикажите ей, Фирсъ Григорьичъ, поскорѣе вонъ выйти.

Князевъ *(Дросидѣ).* Поди тамъ подожди въ саду.

(Дросида уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Тѣ же безъ **Дросиды.**

Князевъ. Чего ты мечешься, какъ угорѣлый?

Минутка. Да, угорѣлъ... прекрасно вы всѣхъ насъ учадили: на цѣлый вѣкъ этого угару хватитъ.

Князевъ. Не ври: всякій угаръ пройдетъ, какъ свиньи спать лягутъ. Ты говори, въ чемъ дѣло?

Минутка. Помилуйте, да вамъ вѣдь лучше знать, въ чемъ дѣло. Скажите-ка вы, гдѣ у васъ черновые счеты, которыми вы меня пугали?

Князевъ. Въ коробьѣ спрятаны.

Минутка *(плачевно.)* Да что вы шутите! намъ не до шутокъ. Нѣтъ, онѣ точно въ коробьѣ, да не въ вашей... Ихъ нѣтъ у васъ: вы обронили ихъ хмельной у Марины Николавны, да и не хватитесь. Стыдно вамъ, Фирсъ Григорьичъ!

Князевъ *(въ ужасѣ).* Она могла Молчанову отдать ихъ!

Минутка *(нервно).* Да что угадывать, когда ужъ отдала. *(Плачетъ).* Вотъ то-то вотъ... винцо да бабочки... библейскаго Самсона и того остригли, и васъ остригутъ! Повѣрьте, остригутъ. *(Къ публикѣ.)* Лѣзетъ къ женщинѣ: та его терпѣть не можетъ, говоритъ такъ съ нимъ, съ омерзѣніемъ съ такимъ, что смотрѣть совѣстно, а онъ все къ ней... Съ ума сошелъ дряхлецъ... Гдѣ гордъ, а тутъ ужъ и гордости нѣтъ.

Князевъ *(не слушая).* Теперь не остается много думать... Ступай сейчасъ къ Молчанову... не дожидайся утра, а сейчасъ ступай... скажи ему, что я кланяюсь ему...

Минутка *(перебивая).* Да; теперь мириться съ нимъ, прощенья у него просить готовы.

Князевъ *(кусая губы).* Да, прощенья.

Минутка *(смѣло).* Чего просить? чего просить? Напрасно, чтобы вы знали! Я ужъ просилъ—сейчасъ оттудова. Я какъ узналъ, что всѣ наши счеты и фактуры у него въ рукахъ, такъ первымъ же дѣломъ прямо бросился къ нему... да не въ дворъ, а въ огородъ... подъ окна...

Князевъ *(схватывая Минутку за руку).* Гм!.. да, да, чтобы украсть? Ну, ну! ну, молодецъ, умно.

Минутка. Чтобы посмотрѣть, что можно сдѣлать...

Князевъ. Ну!

Минутка. Ну! *(Нагло.)* Ну и ну! поднялся на карнизецъ да гляжу въ окошко: вижу, свѣчи горятъ, а никого нѣтъ, какъ вдругъ въ это время кто-то хвать меня прямо за... ухо.

Князевъ. Тебя?

Минутка. Да, разумѣется, меня! вѣдь васъ тамъ не было. Оказывается, что это самъ господинъ Молчановъ. Держитъ за ухо и говоритъ: «а, Князевскій шпіонъ, мое почтенье»... и хотѣлъ-было людей звать. — Иванъ Максимычъ, что вы! говорю, да Богъ-бо зъ вами! какой я шпіонъ? Я, говорю, я, чтобъ вы знали, къ вамъ отъ Фирса Григорьича съ тѣмъ и присланъ, чтобы миръ сдѣлать; Фирсъ Григорьичъ, говорю, сами быть у васъ желаютъ... А онъ...

Князевъ *(нетерпѣливо).* Ну да; а онъ? Что жъ онъ?

Минутка *(вздохнувъ).* А онъ... Пословъ, говоритъ, ни худыхъ, ни хорошихъ, не бьютъ, не бранятъ, а жалуютъ. И въ этомъ видѣ, такъ и повелъ.

Князевъ. Гм! все за ухо?

Минутка. Да я жъ вамъ говорю, что за ухо! *(Вздохнувъ.)* Повелъ въ кабинетъ. Провелъ, да и далъ мнѣ прочитать бумагу... Останетесь довольны, Фирсъ Григорьичъ.

Князевъ *(нетерпѣливо).* Что это за бумага?

Минутка *(тихо).* Въ Петербургъ.

Князевъ. О чемъ?

Минутка *(еще тише и спокойнѣе).* О томъ, что начетъ на васъ онъ даритъ на дѣтскіе пріюты.

Князевъ. Всѣ двѣсти тысячъ?

Минутка. Съ процентами... Что-съ, Фирсъ Григорьичъ? Просить было, пока время было. Теперь вѣдь не съ Молчановымъ—тѣ не простятъ.

Князевъ *(хватая Минутку за бортъ).* Украдь эту бумагу съ почты.

Минутка *(спокойно).* Не рвите платья понапрасну. Бумаги нѣтъ: она ужъ третій день тому назадъ пошла съ нарочнымъ. Я видѣлъ копію.

Князевъ *(бросаетъ Минутку).* Что жъ это вы меня живьемъ, что ли, хотите въ руки выдать! *(Снова хватая бѣшено Минутку.)* Ты говоришь, что поздно красть! —*(съ азартомъ)* такъ я же буду рѣзать! жечь!.. душить!.. *(Бѣжитъ къ двери.)*

Минутка. Что вы? что вы? Вы... вспомните вы, что вы говорите?

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Тѣ же и **Дробадоновъ** *(показывается въ это время съ дверяхъ и преграждаетъ Князеву дорогу.)* Что, еще охота все душить, да рѣзать? Довольно, кажется, въ свой вѣкъ ты ужъ и кралъ, и рѣзалъ.

Князевъ *(гнѣвно).* Что это? какъ ты смѣлъ сюда взойти? Пошелъ отсюда вонъ!

Дробадоновъ. Не прогоняй—и самъ не засижусь. *(Беретъ молча Минутку за плечи, выставляетъ его за порогъ и запираетъ за нимъ дверь).* Не по своимъ дѣламъ къ тебѣ я, а отъ людей посланъ. Куда ты вышвырнулъ Марину Гуслярову съ слѣпою матерью изъ дому?

Князевъ. На просторъ.

Дробадоновъ. Да какъ же такъ?

Князевъ. Такъ: очень просто—домъ мой и власть мо.

Дробадоновъ. Домъ твой и власть твоя, да и твое жъ вѣдь и безчестье. Ты домъ купилъ у нихъ за безцѣнокъ; сказалъ, что это только для того, чтобъ мужъ Марину не неволилъ занимать подъ домъ да отдавать ему на пьянство, а что они до вѣку будутъ въ этомъ домѣ жить.

Князевъ. Да вѣдь то-то вотъ видишь — я своему слову господинъ: хочу держу, хочу въ карманъ прячу. Ступай проси на меня, если хочешь.

Дробадоновъ. Что просить? А ты грѣха побойся, Фирсъ Григорьичъ. Извѣстно намъ, чего ты хочешь отъ Марины Николавны. Она не говорлива, да у людей-то вѣдь глаза— не бѣльма. Грѣшилъ ты много, Фирсъ Григорьичъ; но нонѣ, кажется, не тѣ бы ужъ твои года... Ужъ я старикъ почти, а ты вѣдь мнѣ въ отцы годишься. Тебѣ бъ теперь пора молиться Богу, да просить себѣ деревяннаго тулупа.

Князевъ *(раздражительно).* Да ты кашу, что ли, ѣлъ на моихъ крестинахъ, или воду выливалъ?

Дробадоновъ. Да Богъ съ тобой, съ твоими лѣтами. Я въ томъ пришелъ тебя просить: не доводи, пожалуйста, семью племянника Молчанова до безконечнаго раздора. Ты выгналъ изъ дому Марину; имъ съ матерью некуда дѣться было. Въ городѣ, тебя боясь, никто ихъ не приметъ. Я бы радъ ихъ душой принять, да самъ съ сестрой и съ матерью едва мѣщусь:—ну, онѣ, разумѣется, къ Молчанову пошли; а вѣдь тебѣ и безъ того извѣстно, что весь народъ въ одно про нихъ твердитъ и путаетъ Марину съ Ваней. Теперь онъ ихъ вчера пріютилъ, а это до семейныхъ уже дошло, и въ домѣ адъ насталъ.

Князевъ. Ага! и адъ уже насталъ? Чего жъ бы кажется? То ѣздила туда кататься, теперь живетъ: не велико различье.

Дробадоновъ. Будь миротворецъ — вороти ты этотъ домъ старухѣ.

Князевъ *(долго глядя въ глаза Дробадонову).* Калина Дмитричъ! Что ты—дуракъ или родомъ такъ?

Дробадоновъ. Послушай, Фирсъ Григорьичъ! Ругательствомъ твоимъ не обижаюсь. Я не дуракъ и совѣсть у меня чиста, и такимъ меня міръ знаетъ. Я бѣденъ, да въ свою мѣру уважаютъ меня люди. Ты меня не обидишь, да ты мнѣ и не страшенъ: я не боюсь тебя. А я тебя по-христіански прошу и совѣтую тебѣ: опомнись, Фирсъ Григорьичъ,

сдѣлай хоть что-нибудь доброе: пусть не все же боятся — пусть хоть кто-нибудь тебя и любить станетъ.

Князевъ. А мнѣ, любезный, это все равно: люби, не люби, да почаще взглядывай.

Дробадоновъ. Положимъ, что и тутъ ты правъ; но ты подумай, что̀ говорятъ-то о тебѣ.

Князевъ. Плюю!

Дробадоновъ. Ну отчего бъ тебѣ тѣ злыя рѣчи не закрыть добрымъ дѣломъ, чтобы сказали, что и у Князева душа есть?

Князевъ. Плюю на то, что̀ говорили; плюю и на то, что̀ скажутъ.

Дробадоновъ. А ты не плюй.

Князевъ. Что-о-о?

Дробадоновъ. Не плюй — вотъ что. Погода поднимается: неравно назадъ откинетъ, въ свою рожу плюнешь. *(Подходитъ съ значительной миной.)* Говорятъ, будто ты утопилъ Максима Молчанова.

Князевъ. *(съ притворнымъ удивленіемъ).* Неужто?

Дробадоновъ. Говорятъ, что когда Максимъ Петровичъ написалъ духовную, гдѣ, обойдя всю женину родню, завѣщалъ сына въ опеку тебѣ съ Мякишевымъ, ты никакъ дождаться не могъ, когда пріидутъ къ тебѣ въ руки милліоны.

Князевъ. Ишь, какой шельма народъ пронзительный: ничего отъ него не утаишь.

Дробадоновъ *(подходя еще ближе).* Говорятъ, что разъ, когда вы купались втроемъ—ты, онъ, да Алеша Брылкинъ— ты взялъ и началъ окунать Максима Петровича Молчанова, да и заокуналъ шутя; а какъ его заокуналъ, тогда бросился за Брылкинымъ Алешей, чтобы и свидѣтеля не было. Тотъ уходилъ, молился, плакалъ; но ты и съ нимъ покончилъ. Максимъ Молчановъ потонулъ, и не нашли его. А Алешу жъ Брылкина хоша и вынули и откачали, да что по немъ! Ужъ онъ тебѣ не страшенъ: онъ съ ума сошелъ и поднесь остался сумасшедшимъ и бродитъ въ рубищѣ; *(махнувъ рукой)* да въ томъ, можетъ-быть, его и счастье, что онъ въ разсудкѣ помѣшался, а то ты бы и его спровадилъ.

Князевъ. Скажи, пожалуйста... совсѣмъ бы уголовщина, кабы доказательства не Окой снесло.

Дробадоновъ. Что̀ по Окѣ несетъ, то въ Волгу попадаетъ

и Волгою всю Русь проходитъ и широкому Каспію жалуется. Не кичись, что доказательствъ нѣтъ: былинка, травка шепчутъ ихъ и Господу, и людямъ. Припомни: Валаамъ ослицею былъ обличенъ!

Князевъ. Да ты это что̀ пришелъ мнѣ здѣсь читать! Я, братъ, къ попу хожу.

Дробадоновъ. Я тебѣ сказываю, что̀ народъ говоритъ.

Князевъ. А я тебѣ говорю, что я на это плюю.

Дробадоновъ. Плюй, плюй, да ужъ къ сему покрайности не согрѣшай. Нашъ день сѣлъ въ беззаконіяхъ за горы, и нонѣ судъ не прежній. Гляди, не ровенъ часъ, всплывутъ и старые грѣхи.

Князевъ *(взволнованно).* И ты про новый судъ! Холера это, что ли, этотъ судъ, что всѣ вы такъ про него заговорили?

Дробадоновъ. Для иныхъ холера.

Князевъ. А ты не знаешь, что кто холеры не боится, того сама холера боится. Знать не хочу я этого суда!.. Я не пойду на этотъ судъ, гдѣ... тебя и всякаго другого такого скота посадятъ судить меня. *(Въ раскрытомъ окнѣ появляется смотрящій изъ купы сирени темнаго сада Алеша Босый.)* Я никого не боюсь; я ничего не боюсь; я холеры не боюсь, чумы не боюсь, тебя не боюсь, суда не боюсь и сатаны со всей преисподней.

Алеша *(унисономъ протяжно).* Утону!.. Ка-ли-и-на Дми-и-тричъ! Во-озьми меня отсю-ю-да. Здѣсь... страшно... Утону...

Князевъ *(вздрогнувъ).* Что это! Вы меня пугать задумали! *(Алешѣ.)* Прочь, чучело!

(Алеша, вскрикнувъ, убѣгаетъ.)

Дробадоновъ. Ахъ ты ругатель! Гордыня-то тебя куда уноситъ. Сейчасъ ты ничего на свѣтѣ не боялся, а вотъ безумный старичокъ забрелъ—и ты вздрогнулъ. Чего ты на меня остребенился? вѣдь я видѣлъ, какъ ты задрожалъ... Не я его подвелъ сюда, а можетъ это Богъ его послалъ, чтобы напомнить грѣхъ твой. Не пожалѣлъ отца ты, Фирсъ Григорьичъ, — пожалѣй хоть сына. Боясь тебя, никто на дворъ Гусляровыхъ не пускаетъ жить; у меня вся хата съ орѣхъ, да мать съ сестрами и тѣмъ мѣста нѣтъ,—имъ некуда дѣться, кромѣ Молчанова. Не доводи до этого. Не дѣлай ты худой огласки. Оттого, что Марину взялъ Молча-

новъ, великая бѣда можетъ родиться. Верни имъ домикъ, гдѣ онѣ жили, а если честью воротить не хочешь, такъ вотъ тебѣ Молчановъ шлетъ три тысячи рублей за этотъ домикъ. *(Вынимаетъ пачку ассигнацій и кладетъ ихъ на столъ.)* Возьми и выдай купчую, чтобъ жили тамъ гдѣ жили.

Князевъ. Тьфу пропасть! Да что жъ это такое: вездѣ на всякій часъ, во всякій слѣдъ Молчановъ! Ему о нихъ что за забота?

Дробадоновъ. Что жъ, старуха мамкою его была, а молодайка въ ихъ домѣ выросла, они дѣтьми играли вмѣстѣ... онъ человѣкъ богатый, не мотъ, не пьяница, не расточитель... куда жъ ему дѣвать?

Князевъ *(подпрыгнувъ).* Что ты сказалъ? что ты сказалъ? какое слово?

Дробадоновъ. Я говорю, что его достатки милліоны, а онъ не пьяница, не расточитель.

Князевъ *(про себя).* Расточитель! *(Распрямляясь.)* Фу-у! батюшки! Орлу обновилася юность! *(Громко Дробадонову.)* Постой, постой!.. Да, хорошо... я домъ продамъ—на что жъ онъ мнѣ? онъ мнѣ не нуженъ, продамъ и завтра выдамъ крѣпость... Но постой же, братецъ, вѣдь это такъ нельзя. Живой человѣкъ живое и думаетъ, и тамъ кто его знаетъ... Нѣтъ, я деньги съ глазу на глазъ брать не стану. *(Беретъ со стола ассигнаціи и суетъ ихъ въ руки Дробадонову.)* Возьми-ка, возьми пока, возьми. *(Растворяетъ дверь.)* Эй! Вонифатій Викентьичъ!

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Тѣ же и Минутка.

Князевъ. Вотъ я здѣсь домикъ свой, что на провальѣ, продалъ Ивану Максимовичу, и то-есть не Ивану Максимовичу, а Гусляровымъ, Маринѣ Гусляровой, только на Ивана Максимовича деньги, такъ сядь-ка напиши какую слѣдуетъ росписку, что деньги, молъ, три тысячи рублей за сей проданный домъ я отъ Молчанова получилъ и обязываюсь въ мѣсячный срокъ совершить на оный купчую крѣпость на имя Марины Гусляровой, а росписку сію положили до совершенія крѣпости дать за руки секретарю Минуткѣ. *(Сажая его за бюро.)* Пиши такъ, какъ сказано. *(Про себя съ самодовольною улыбкою.)* Очень бы хотѣлось мнѣ видѣть теперь какого-нибудь петербургскаго мудреца,

чтобы онъ, глядючи на меня теперь, сказалъ, что это по его разуму я дѣлаю? Нечего больше и сказать, что Князевъ домъ продаетъ... А Князевъ душу человѣческую и всю совѣсть мірскую подъ ногами затоптать собирается...

Минутка. Готово.

Князевъ *(скоро подписывается. Минуткѣ).* Подпишись свидѣтелемъ. *(Дробадонову.)* Теперь пожалуй деньги. *(Дробадоновъ подаетъ.)* И ты также подпишись. *(Смотритъ черезъ плечо, пока тотъ пишетъ, и потомъ, взявъ въ руки бумагу, читаетъ):* Кипецъ Калина... Какъ ты это, братецъ, скверно пишешь: не кипецъ надо писать, а купецъ. *(Свертываетъ листъ.)* Минутка, спрячь.

Дробадоновъ. Прощай покуда, Фирсъ Григорьичъ.

Князевъ *(быстро).* А?.. Да! Прощай, прощай покудова. *(Дробадоновъ уходитъ.)*

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Тѣ же, безъ **Дробадонова.**

Князевъ *(посмотрѣвъ въ слѣдъ Дробадонову).* Ну что жъ, братъ Вонифатій, понялъ?

Минутка. Домъ продали, я больше ничего не понялъ.

Князевъ. Ничего?

Минутка *(пожимая плечами).* Н... ничего. *(Спохватясь.)* Росписку уничтожить?..

Князевъ *(злобно смѣется).* Ха-ха-ха! *(Дѣлаетъ притворно свирѣпое лицо и наступая на Минутку).* Подай ее! подай сюда росписку!

Минутка *(испуганный, защищаясь и убѣгая).* Фирсъ Григорьичъ, Фирсъ Григорьичъ, я не могу... что жъ вы это въ самомъ дѣлѣ... Фирсъ Григорьичъ? Вы деньги взяли, а я долженъ даромъ...

Князевъ. Давай, давай! я подѣлюсь съ тобой.

Минутка. А сколько же мнѣ? *(Опять убѣгая).* Позвольте прежде: сколько же мнѣ?

Князевъ *(глядя на Минутку).* Ну какъ же васъ, такихъ-то поползней, не запугать судами да законами? Свѣтъ умудряется: вездѣ, на всякій часъ искусства новыя; а вы все только хапъ да цапъ. Это время прошло теперь, чтобъ понижегородски соль красть. Нѣтъ, я, братъ, не въ васъ! Это ты вотъ давеча съ перепугу бормоталъ здѣсь, что ужъ тебѣ теперь и прикоснуться къ взяткамъ страшно; а только по-

сулили — ты ужъ опять и лапу суешь. *(Смѣясь.)* Ахъ ты безстрашный этакой! Въ такія времена, при такомъ судѣ брать взятки! Нѣтъ, я не беззаконникъ! Теперь кто глупъ, такъ тотъ пускай законы нарушаетъ, я чту законъ. Самъ на себя я, видишь, выдаю росписки. Какъ око береги ее! Домъ проданъ, только въ немъ не жить тому, кому его купили: на это есть законъ.

Минутка. Такого нѣтъ закона.

Князевъ *(нервно).* Неправда, есть! *(Бросаетъ на полъ къ ногамъ Минутки лежавшую на столѣ пачку ассигнацій.)* Бери! Три тысячи здѣсь: одну изъ нихъ возьми себѣ; остальныя же двѣ представить въ Думу и объявить народу, что Богъ послалъ мнѣ великую удачу въ дѣлѣ трудномъ, и что за это я отъ своихъ щедротъ плачу за бѣдныхъ города всю податную недоимку. *(Подумавъ).* А на тотъ годъ дарю на подать *(съ удареніемъ)* десять... нѣтъ! двадцать... тридцать тысячъ!

Минутка. Что вы? что... вы? Откуда это будетъ?

Князевъ. Откуда?... Отгадай!

Минутка. Нѣтъ, извините, не могу.

Князевъ *(надѣвая перчатку).* Я кладъ нашелъ.

Минутка *(поникаетъ головой и выражаетъ недоумѣніе).* Ряхнулся!

Князевъ. Аптеку,—понимаешь, аптеку выискалъ.

Минутка *(не понимая).* Какая аптека? Что это вы, Фирсъ Григорьичъ!

Князевъ. А что стряпчій-то писалъ: «нѣтъ — говоритъ — аптеки»! Вздоръ! есть аптека! И не на сей день, а на два вѣка та аптека.

Минутка *(оглядываясь по сторонамъ въ недоумѣніи).* Гдѣ вы это видите? Вы нездоровы! Гдѣ аптека?

Князевъ. Она вотъ въ головахъ въ такихъ премудрыхъ, какъ твоя, да промежъ зубовъ, которымъ чавкать нечего. Подай мнѣ трость и шляпу... Нѣтъ, врете всѣ: Фирсъ Князевъ не пропалъ! Пусть черви грома прячутся, а стрепету за тучами еще простора вволю.

ЯВЛЕНІЕ 10-е.

Тѣ же и двѣ слободскія дѣвушки *(пролѣзаютъ въ дверь. Одна, постарше, очень смѣла, другая, молоденькая, робко жмется).*

Князевъ *(встрѣчая ихъ, обнимаетъ старшую, которая вскрикиваетъ; потомъ трется около младшей и, когда эта закрываетъ рукою глаза, сажаетъ ее на свою постель).* Побудьте здѣсь, Аленушка и Саша. Погрѣйте старичку мѣстечко. А тамъ вонъ въ поставцѣ винцо, наливка и мятные груздочки. Покушайте покуда. Я вразъ сейчасъ вернусь.

Алена *(развязно указывая на Сашу).* Она робѣетъ, Фирсъ Григорьичъ, съ непривычки.

Князевъ *(гладя Сашу по головѣ).* Робѣетъ. Ничего. Ты не робѣй: мы добрый. *(Минуткѣ.)* Ступай домой теперь *(Уходитъ.)*

ЯВЛЕНІЕ 11-е.

Тѣ же, безъ Князева.

Минутка *(выпустивъ Князева, беретъ свою фуражку. Про себя).* Домой? Нѣтъ, я ужъ лучше за тобою издали пройдусь, поприсмотрю, что̀ это ты затѣялъ ночью. *(Уходитъ.)* *(Занавѣсъ падаетъ).*

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Кабинетъ Молчанова, убранный въ современномъ вкусѣ. Утро.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Молчановъ *(одѣтъ въ хорошій, лѣтній, утренній пиджакъ. Выпроваживая изъ своей комнаты двоихъ дѣтей).* Ступайте съ Богомъ, рѣзвитесь и играйте, только пожалуйста не ссорьтесь. *(Выпускаетъ ихъ за дверь и говоритъ съ порога.)* Прошу васъ, няня, не давайте вы имъ этихъ кошекъ мучить, да собачекъ! Усердно васъ прошу объ этомъ. *(Затворяетъ дверь и идетъ къ письменному столу, который стоитъ вправо отъ зрителей.)* Эхъ, не приведи Господи воспитывать дѣтей безъ матери, а еще хуже съ плохою матерью. *(Садится.)* Не женитесь, добрые люди, на деньгахъ... Если и за свою полу недобрая женщина схватится, рѣжьте лучше полу прочь да улепетывайте. Что̀ это вотъ за жизнь моя! Какъ вспомню я, бывало, какъ я жилъ въ Германіи: до вечера на фабрикѣ работаешь, все учишься; домой придешь — святая тишина въ бѣленькой комнаткѣ.

Тишь, тишь, тишь; про философію даже разсуждаешь. Но надокучитъ эта тишь чужая—бѣжишь на родину... бѣжишь... и здѣсь встрѣчаешь свару. Не по какимъ-нибудь такимъ причинамъ, которыхъ отвратить нельзя, все отравляется, а вотъ, словно въ фантастическомъ разсказѣ: Богъ вѣсть откудова, что сыплется; летитъ нежданное и засыпаетъ человѣка.

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Молчановъ и **Минутка** *(который вскакиваетъ черезъ окно).*

Молчановъ *(увидѣвъ въ окнѣ Минутку, дѣлаетъ въ изумленіи одинъ шагъ назадъ).* Это что̀ за явленіе? *(Смѣясь.)* Вѣрно, гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно.

Минутка *(оправляясь).* Пусть это васъ не удивляетъ, Иванъ Максимычъ.

Молчановъ *(улыбаясь).* Однако довольно трудно и не удивляться. Ко мнѣ этой дорогой никто не ходитъ.

Минутка. Въ наше время не всегда можно прямой дорогой ходить. Прикажете присѣсть или убираться?

Молчановъ *(улыбаясь).* Это я предоставляю на вашъ выборъ.

Минутка. Я выбираю сѣсть. *(Садится въ концѣ письменнаго стола.)* Вамъ угрожаютъ большія непріятности, Иванъ Максимычъ.

Молчановъ *(весело).* Скажите, вы что жъ, сегодня за кого?

Минутка *(кланяясь).* За васъ!

Молчановъ *(строго).* Благодарю покорно; но эта шутка мнѣ не понутру.

Минутка. Фирсъ Князевъ вамъ приготовилъ западню.

Молчановъ. Какую западню?

Минутка. Не знаю.

Молчановъ *(гнѣвно).* Вонифатій Викентьичъ! совѣтую вамъ съ вашими домашними въ дурачки играть, а не со мною.

Минутка. Я не знаю, не знаю и не знаю. Понимаете: *я,* я, я хочу знать это—и не знаю; но ждите бѣдъ. По радости, которой онъ полонъ, онъ сдѣлаетъ столь страшное, столь скверное...

Молчановъ. Что на него самого будетъ похоже.

Минутка. Вы не шутите. Я знаю его: онъ никогда такой не былъ. Это уже совсѣмъ сатана во всей славѣ своей. Вы

присылали къ нему вчера Дробадонова? Онъ далъ росписку Князеву, что вы купили домъ Гусляровой.

Молчановъ. Я присылалъ, покупаю. Что же далѣе?

Минутка. Росписку эту я могу... сберечь у себя и могу и возвратить вамъ; а на ней что-то строится. Вы, кажется, мнѣ не вѣрите? Вспомните, что я вѣдь съ васъ ничего не требую за услугу.

Молчановъ. Теперь я вамъ тѣмъ болѣе не вѣрю. Съ какой стати въ васъ явилось вдругъ такое безкорыстное дружество ко мнѣ, когда вы вѣчно служили врагу моему Князеву?

Минутка. Какъ умному человѣку, вамъ бы не грѣхъ знать, что служатъ чаще всего не тому, кого любятъ.

Молчановъ. А кому выгодно служить, — я это знаю. Но отчего же меня-то вы безвозмездно защищаете?

Минутка. Ну, на это у меня есть свои виды.

Молчановъ *(вглядываясь въ Минутку).* Нѣтъ; вѣрно не плохо ли Фирсу, или вамъ не плохо ли отъ Фирса?

Минутка. Можетъ-быть и плохо Фирсу, и мнѣ отъ Фирса плохо, можетъ-быть плохо, но, во всякомъ случаѣ, чтобъ вы знали, и вамъ плохо.

Молчановъ. Онъ надоѣлъ вамъ?

Минутка. Да, немножко. Я порѣшилъ съ нимъ кончить, тѣмъ болѣе, что теперь къ тому и время приспѣло. Ему спасенья больше нѣтъ.

Молчановъ. Какъ нѣтъ спасенья? А въ чемъ опасность заключается?

Минутка. У него нечѣмъ заплатить денегъ, подаренныхъ вами дѣтскимъ пріютамъ.

Молчановъ *(удивляясь).* Фирсу Григорьичу нечѣмъ платить? Я думаю, онъ *не хочетъ* платить?

Минутка. Онъ *не можетъ* платить. *(Оглядываясь.)* Мы съ вами совершенно одни?

Молчановъ. Въ этомъ, кажется, нѣтъ сомнѣнія.

Минутка. Полагаю также, что нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что все, о чемъ я буду говорить съ вами, останется навсегда между нами?

Молчановъ. Я не выдавалъ никого.

Минутка. Потрудитесь не искать съ Князева вашихъ денегъ. Ихъ негдѣ уже искать. Позвольте мнѣ лучше его въ Сибирь отправить. Я вамъ это очень совѣтую.

Молчановъ *(встаетъ).* Г. Минутка, что̀ это за тонъ? Что̀ бы это могло значить!

Минутка. Стою за свою шкуру, Иванъ Максимычъ. Виноватъ передъ вами во всемъ главнымъ образомъ одинъ Фирсъ. Воротить всего заграбленнаго у васъ въ теченіе двадцати лѣтъ невозможно. И я, и голова, и тесть вашъ— всѣ пойдемъ подъ судъ и пропадемъ безъ всякой пользы для васъ. А вотъ я вамъ представлю бумажечки, по которымъ Фирсъ Григорьичъ одинъ отлично прогуляется... *(Отдаетъ бумаги.)*

Молчановъ *(пересматривая).* Счетъ, росписка въ полученіи денегъ за кладовую и накладная на какую-то мочалу... Я ничего не понимаю.

Минутка. Полтора года тому назадъ, ровно за три мѣсяца до вашего возвращенія изъ-за границы, у васъ сгорѣли амбары, а въ нихъ двѣ тысячи пудовъ хлопка. Товаръ этотъ не былъ застрахованъ; а не былъ онъ застрахованъ *(помолчавъ)* потому, что его совсѣмъ не было.

Молчановъ *(пожимая плечами въ недоумѣніи).* Шарада за шарадой.

Минутка. А очень просто: привезли мочалу, да сожгли ее за хлопокъ.

Молчановъ *(помолчавъ и вздохнувъ).* Ловко, другъ мой Фирсъ Григорьичъ!

Минутка *(вставая).* Иванъ Максимычъ! Я много виноватъ передъ вами! Надѣяться на какое-нибудь примиреніе съ вами—это, разумѣется, было бы довольно смѣшно и глупо; но я хочу вотъ чего: хочу одолѣть свою гадость душевную и сказать вамъ: простите меня, Бога ради!

Молчановъ *(грустно).* Богъ васъ проститъ! *(Подаетъ руку, которую Минутка схватываетъ и мгновенно цѣлуетъ. Молчановъ переконфуженный.)* Что вы, что вы! Вонифатій Викентьичъ... Богъ съ вами! *(Удерживаетъ его за руки и ласково сажаетъ назадъ въ кресло.)* Успокойтесь!

Минутка *(горячо).* А я за это весь вашъ, весь, весь! и ужъ у меня Фирсъ желѣзныхъ браслетокъ не минуетъ.

Молчановъ. Вонифатій Викентьичъ, я вижу, вы меня не понимаете. Слушая васъ, поневолѣ вспомнишь, что «самая высшая хитрость на свѣтѣ состоитъ въ томъ, чтобы никогда ни съ кѣмъ не хитрить». Будучи честнымъ человѣкомъ, какимъ я хоть не вездѣ, но по нѣкоторымъ статьямъ имѣю

право себя считать, я ни въ какихъ обстоятельствахъ не допущу васъ сожалѣть о вашей сегодняшней откровенности. Сказанное здѣсь—здѣсь умерло...

Минутка *(кланяясь)*. Я въ этомъ былъ увѣренъ. Я всегда уважалъ васъ за благороднаго человѣка.

Молчановъ. Но вы напрасно думаете, что я желаю мстить Князеву. Взысканіе съ него я уступилъ пріютамъ, чтобы меня не могли долго упрашивать эти деньги ему уступить или отсрочивать ихъ. Онъ не стоитъ этого. Но мстить... я не ищу этого. Съ Фирсомъ Григорьичемъ мои счеты такъ велики и длинны, что ихъ лучше не пробовать сводить. Они начались у моей колыбели и кончатся, можетъ-быть, въ день смерти моей. Этотъ человѣкъ ехидствомъ взошелъ въ дружбу къ моему отцу; онъ оттеръ отъ него мать мою; онъ уговорилъ отца написать завѣщаніе, по которому состояніе могло перейти ко мнѣ только въ такомъ случаѣ, если я, достигнувъ возраста, женюсь на Мякишевой. Иначе, за руками у Мякишева, было другое завѣщаніе, по которому, въ наказаніе мнѣ, цѣлая половина этого состоянія должна была поступить въ пользу богадѣленъ. По милости Князева, я въ наше просвѣщенное время въ шесть лѣтъ сдѣлался женихомъ четырехлѣтней дѣвочки... Кромѣ того... кромѣ того, общая молва говоритъ, что по его же милости я менѣе чѣмъ черезъ годъ послѣ этого завѣщанія сдѣлался сиротою. Не знаю, сколько въ этомъ правды; но...

Минутка. Но правда въ этомъ есть! есть, непремѣнно есть.

Молчановъ. Да, если вѣрить голосу народа — это правда; народъ весь въ одно слово говоритъ это.

Минутка. Шепчетъ. Не говоритъ, а шепчетъ.

Молчановъ. Если вѣрить чувству крови—это правда: она кипитъ во мнѣ, когда я его вижу. Какъ бы я ни былъ спокоенъ, стоитъ произнести при мнѣ его имя—и я не свой. Я не могу, не могу быть своимъ, потому что одинъ видъ его меня въ бѣшенство приводитъ. Я не могу вспомнить, глядя на этого человѣка, какъ онъ въ восемь лѣтъ выучилъ меня пить сладкую водку, въ десять горькую, а въ пятнадцать ромъ и шампанское; какъ самъ онъ у себя на квартирѣ сажалъ мнѣ на колѣни француженокъ да танцовщицъ; какъ я въ его же глазахъ двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ рѣзалъ штоссы, и онъ за меня расплачивался... Уѣзжалъ онъ—я уже самъ по его стопамъ ходилъ въ праздники къ

этимъ танцовщицамъ и француженкамъ, проигрывалъ имъ; поилъ ихъ; векселя имъ давалъ... Меня пороть надо было, а воспитателя повѣсить, а его всѣ нахвалиться не могли. Хвалили! За что жъ хвалили? Что съ голоду не морилъ да въ нанку не одѣвалъ? а онъ душу мою одѣвалъ въ лохмотья. *(Помолчавъ.)* Остальное все идетъ сплошная мерзость: въ двадцать лѣтъ боязнь потерять право на имѣніе ведетъ меня къ женитьбѣ на дѣвушкѣ, къ которой не чувствовалъ никакой привязанности; потомъ три года шлянья съ своею тоской за границею; и когда бъ не открылъ мнѣ глазъ Дробадоновъ, когда бъ онъ не поставилъ меня на нынѣшній путь, я былъ бы вѣрно и теперь прежнимъ поганцемъ и до сихъ поръ довелъ бы ужъ мои дѣла до состоянія, котораго нельзя бъ было поправить. Такъ видите ли, какъ счеты-то мои съ Фирсомъ длинны, и какъ я хорошо ихъ знаю.

Минутка. О состояніи, Иванъ Максимовичъ, еще не безпокойтесь. Конечно, безъ состоянія человѣкъ все равно, что не человѣкъ; но вы... ваше состояніе еще дай Богъ всякому. Вы все-таки самый богатый фабрикантъ въ цѣломъ краѣ.

Молчановъ. Охъ, Боже мой! вы все о состояніи! Помилосердуйте! На что мнѣ жаловаться! У насъ, на Руси, есть люди, которымъ тузами, капиталистами бы быть, а они у своихъ благодѣтелей приказчиками, или кучерами служатъ, либо еще хуже того: папиросы въ веселыхъ домахъ гостямъ подаютъ, да не жалуются. Намъ это въ глупость нашу ставятъ; думаютъ, что мы ужъ и обиды чувствовать не способны!... Нѣтъ!... *(ударяя себя въ грудь)* чувствуемъ мы ее... чувствуемъ... такъ чувствуемъ, что можетъ быть, если бы объ этомъ, о чемъ мы говоримъ съ вами, на народѣ вслухъ заговорить, такъ тысячи сердецъ объ самыя ребра въ грудяхъ стукнулись бы... да не звѣри мы, чтобы месть любить, и не шуты, чтобы на вѣтеръ жаловаться... *(тихо)* потому что и своей вины каждый изъ насъ тоже въ этомъ долю видитъ! Что Фирсъ! Фирсъ прахъ, ходящій на двухъ лапкахъ; а вотъ то, среди чего этотъ Фирсъ выросъ,—это ничтожество, это холопство... это равнодушье... съ которымъ приходится сживаться, которое приходится терпѣть,—вотъ что, вотъ что не переносно! Нѣтъ... я не могу говорить объ этомъ...

Минутка. Вы успокойтесь, Иванъ Максимычъ! Я только вѣдь хотѣлъ васъ предупредить... хотѣлъ сказать вамъ, чтобы вы... были осторожнѣе...

Молчановъ. Благодарю васъ. *(Даетъ руку.)* Не думайте обо мнѣ: я не боюсь враговъ; я себя одного боюсь.

Минутка. Прощайте же, Иванъ Максимычъ.

Молчановъ. До свиданья. *(Минутка идетъ къ окну.)* *(Улыбаясь).* Неужто вы опять черезъ окно?

Минутка. А что жъ вы думаете?... Э! чтобъ вы знали, право такъ лучше.

Молчановъ. Да что вы, Богъ съ вами! Что̀ за охота! Будто я чужой какой! будто вы не могли зайти ко мнѣ просто по какому-нибудь своему дѣлу!

Минутка. Охъ, Иванъ Максимычъ! охъ, Иванъ Максимычъ! Какъ вы плохо еще его знаете! Фирсъ не то, что̀ на землѣ есть, а что подъ землею-то, и то онъ на семь аршинъ вглубь видитъ.

Молчановъ. О, да Богъ съ вами! Сто̀итъ ли онъ того, чтобы о немъ постоянно думать! Но если вы ужъ непремѣнно желаете дѣлать секретъ изъ вашего визита, то я сейчасъ принесу ключъ отъ садовой калитки и черезъ садъ васъ выпущу.

Минутка *(останавливая его).* Онъ нынче ночью ходилъ на телеграфъ и отправилъ въ Петербургъ депешу своему повѣренному и другую... *(на ухо)* Ефиму Гуслярову... мужу Марины Николавны.

Молчановъ *(вздрогнувъ и сжимая руку Минуткѣ).* Т-ссс.

Минутка *(тревожно).* Развѣ насъ кто слышитъ?

Молчановъ. Нѣтъ... не то... *(Живо.)* О чемъ депеша Гуслярову?

Минутка *(пожимая плечами).* Не знаю. *(Молчановъ дѣлаетъ нетерпѣливое движеніе.)* Не знаю, Иванъ Максимычъ, не знаю и узнавать не хочу, потому что изъ его депеши ничего не узнаешь. Онъ пошлетъ депешу, что овса или гречи больше не требуется, а читать это слѣдуетъ: «потребуй къ себѣ свою жену». *(Молчановъ вздрагиваетъ. Минутка, сжимая его руку, говоритъ внушительно.)* Хорошаго ждать нечего: онъ золъ на васъ и на Марину Николавну. Надо быть готовымъ на всякое время и на всякій часъ все встрѣтить... и *(рѣшительно)* отпарировать.

Молчановъ. Какъ отпарировать?

Минутка. Какъ? *(Живо).* Сегодня ѣхать въ Петербургъ съ Мариной Николавной вмѣстѣ: къ отчету Фирса и въ тюрьму! Да, вмѣстѣ уѣзжайте, слышите! Если любите Марину Николавну, не оставляйте здѣсь ее: надъ ней бѣда виситъ не легче вашей.

Молчановъ. Все это вѣдь пока одни лишь подозрѣнія?

Минутка *(смотритъ Молчанову въ глаза и вздохнувъ).* Да, подозрѣнія; а вы когда хотите защищаться?

Молчановъ. Когда на меня нападутъ, когда...

Минутка *(перебивая).* Когда... *(спохватясь)* да, да, когда... когда увидимъ, что онъ противъ васъ задумалъ. Да, да... Ну, я буду за нимъ смотрѣть во всѣ глаза. А теперь, Иванъ Максимычъ, проводите меня покудова. Не равенъ часъ, чтобъ кто-нибудь къ вамъ не зашелъ...

Молчановъ. Сейчасъ. *(Уходитъ въ дверь налѣво.)*

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Минутка *(одинъ).* И этимъ не задѣлъ! Хе-хе-хе-хе! Подозрѣнія! Нѣтъ, ты перекреститься, милый, не успѣешь, какъ Фирсъ клюнетъ тебя въ самую маковку... *(Оборачиваясь къ комнатѣ, куда вышелъ Молчановъ).* А ты, барашекъ, приготовляйся, другъ, на заколенье! Не хочешь волкомъ быть, не хочешь зубъ имѣть, что жъ: самого съѣдятъ въ бараньей шкурѣ. А я... Нѣтъ, мнѣ ты насолилъ ужъ, Фирсъ Григорьичъ! Я двадцать лѣтъ терпѣлъ твою кацапью спесь; а нынче не изъ-за чего: сосать-то больше некого. А на отчаянность... нѣтъ, братъ, при нынѣшнихъ судахъ, на эту штуку не пойду. Я ужъ себѣ собралъ съ ребятками на молочишко и другую дорожку понащупалъ... Одно до дьявола какъ глупо, что я вотъ этому кое про что понамекнулъ... Боюсь теперь, чтобъ ранѣе чѣмъ слѣдуетъ Фирсъ не прозналъ, что я съ нимъ въ союзѣ по-австрійски. Да нѣтъ! Молчановъ честный человѣкъ, а честный человѣкъ въ Россіи мастеръ молчать, гдѣ ему молчать не слѣдуетъ. Нѣтъ: ничего! *(За сценою слышенъ веселый голосъ Колокольцова.)*

Колокольцовъ *(за сценою).* Сейчасъ, кума, сейчасъ. Я только изъ купальни. Вода какъ молоко парное! Просто божественно искупался.

Минутка. Голова Колокольцовъ! Вотъ чортъ возьми, еще этого осла тутъ нужно встрѣтить. *(Бѣжитъ къ окну).* Нѣтъ,

съ симъ писавый кланяюсь! *(Прыгаетъ въ окно, роняя на полъ перчатку.)*

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Молчановъ *(входя)*. Вотъ и ключъ. *(Оглядывается.)* Вонифатій Викентьичъ! Гдѣ же это онъ? Неужто же опять въ окно стрекнулъ? *(Смотритъ въ окно.)* А!.. такъ и есть... Ишь, словно заяцъ чешетъ... *(Закрывая окно)*. Ну, добрый путь тебѣ до лясу. *(Садится)*. Самое скверное изо всего, о чемъ тутъ говорилось, это то, что̀ касается Марины. Я долженъ непремѣнно о ней хорошенько позаботиться и не откладывать болѣе этого: ея доля ужасна. Матушка моя ее мнѣ въ дѣтствѣ въ невѣсты прочила, а я изъ нея чортъ знаетъ что̀ сдѣлалъ... То-есть чортъ знаетъ, что̀ мы такое за люди! Чего? зачѣмъ я ее замужъ выдалъ?... Поблагодѣтельствовалъ... Не казалась вотъ ничѣмъ, пока дѣвчонкой была, а какъ чужою женою стала—женою разбойника—и разсмотрѣлъ ее тогда, и полюбилась; а нынѣ она все мое счастье. *(Задумывается)*. Эхъ, помню я, какъ бывало въ Петербургѣ, бѣлыми ночами слоняясь по островамъ, какіе споры въ юные годы вели мы про русскую женщину, *(декламируя)* «съ которой никто не придетъ зубоскалить, которая въ бѣдѣ не сробѣетъ, спасетъ, коня на скаку остановитъ, въ горящую избу взойдетъ», и думалось: о, если бы я эту женщину встрѣтилъ! *(Въ это время тихо входитъ голова, въ бѣломъ, лѣтнемъ пиджакѣ и съ веселой улыбкой крадется къ Молчанову)*. А встрѣтимъ живую такую женщину — не замѣтимъ ее; либо мимо ея — проста она намъ кажется, не философствуетъ, однообразіемъ утомляетъ — и сами съ рукъ ее сбывать хлопочемъ, и послѣ вспомнимъ про нее... смѣшно сказать, когда — развѣ когда некому тебѣ въ дорогѣ пуговицы къ рубашкѣ пришить, или когда спохватишься, что глазъ теплой рукой завести будетъ некому.

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Тѣ же и Колокольцовъ.

Колокольцовъ *(стоя сзади Молчанова, закрываетъ ему своими руками глаза и держитъ.)*

Молчановъ. Иванъ Николаевичъ! полно пожалуйста буфонничать. *(Отнимаетъ его руки.)*

Колокольцовъ *(весело)*. Чего ты:—замечтался? Здравствуй, мой милый! А отчего ты отгадалъ, что это я?

Молчановъ. Очень трудно отгадать! Одинъ у насъ буфонъ—голова городская. Садись-ка, закуривай сигару.

Колокольцовъ *(садясь)*. А я, братъ, зачѣмъ къ тебѣ пришелъ? Я нынче чортъ знаетъ какъ разстроенъ.

Молчановъ. Это отчего?

Колокольцовъ. Жена у меня очень скверна.

Молчановъ. Что, хуже ей?

Колокольцовъ. Совсѣмъ скверна. Прескверное лицо — и ослабѣла. Такая злость, ей-Богу! Посмотришь, въ прежнее то время какія были женщины, вонъ матушка моя сестру Наташу на сорокъ восьмомъ году родила. Даже стыдно, говоритъ, было ходить беременной; медики говорили: невозможно это; а она взяла да и сотворила «возможно»— вотъ ты и толкуй съ ней:—и ничего съ нею не подѣлалось. А нынѣшнія, какъ выйдутъ замужъ, такъ никакого удовольствія отъ нихъ нѣтъ... *(сдѣлавъ гримасу)* какое-то трень-брень съ горошкомъ.

Молчановъ. Какъ фарфоръ бренны.

Колокольцовъ. Ни къ чорту, душка, не годятся! Говорятъ: отчего мужъ дома не сидитъ; да какъ, скажи, пожалуйста, сидѣть, когда все пискотня да стоны! Я, знаешь... я сравниваю нашъ вѣкъ съ римскимъ, когда всѣ римляне сидѣли у гетеръ. Что хочешь говори, а это мнѣ понятно. Когда жена все эти мины корчитъ, а тамъ, представь себѣ, роскошная этакая краса, этакая веселость, блескъ, рѣчь понятная, и весь ты нараспашку распахнешься... Ахъ, Питеръ, милый Питеръ! Ахъ ты Мабиль въ Парижѣ! Какія пипиньки... Этотъ компресикъ-то свой съ ленточками на головенку какъ приколетъ... Какое остроуміе-то! Ей-Богу, день бы цѣлый все сидѣлъ да пульсикъ щупалъ бы у этакой Аспазіи. *(Грозя шутливо пальцемъ.)* Но ты, я знаю, ты русской почвы держишься—Марины Николавны.

Молчановъ. Боюсь, что всѣ вы скоро посѣдѣете: ничто отъ васъ не скрыто.

Колокольцовъ. Да и не скроется! Представь себѣ: зачѣмъ я къ тебѣ зашелъ? Я вѣдь сейчасъ — всего за полчаса — полицеймейстершу голую видѣлъ въ купальнѣ. Я очень давно ее посмотрѣть собирался и двадцать разъ говорилъ купальщику Титу: проверни ты мнѣ, Титъ милосердный,

для меня щелочку въ тотъ нумеръ. Онъ, дуракъ, все начальства боялся; но я полицейскому солдату, что у будки на часахъ стоитъ, это поручилъ, онъ и провернулъ, и прекрасно, каналья, провернулъ: сдѣлалъ, знаешь, этакую щелочку и вставной сучокъ... Нѣмецъ бы этого ни за что не сдѣлалъ.

Молчановъ. Гдѣ нѣмцу!

Колокольцовъ. Да ты, я знаю, ты западникъ и этому не сочувствуешь! *(Хватаясь за карманъ.)* Ахъ, Господи ты мой! твержу: западникъ, западникъ, а самъ и позабылъ сказать тебѣ, зачѣмъ я къ тебѣ пришелъ... Какую мнѣ, братъ, Фирсъ Григорьичъ новость сообщилъ про нашихъ славянскихъ братьевъ! Я тебѣ скажу, я чувствую, что я съ большимъ бы удовольствіемъ катнулъ посмотрѣть на нашихъ славянскихъ братьевъ.

Молчановъ. Ты, гляди, ты это не на компресики ли съ ленточками посмотрѣть въ Петербургѣ хочешь.

Колокольцовъ. Н-нѣтъ! Какъ можно! Нѣтъ, я вѣдь въ прошломъ году не могъ собраться посмотрѣть своихъ заатлантическихъ братьевъ: денегъ не было. Неужто жъ я и этихъ не увижу? Я еще никогда не видалъ славянскихъ братьевъ! Канунниковъ видѣлъ ихъ, да ничего разсказать не умѣетъ: какъ греки—говоритъ—на грековъ похожи... *(Замѣчая у окна оброненную Минуткою перчатку, бросается и поднимаетъ ее).* А это кто у тебя, милый, рукавчики-то теряетъ? Кто это, милый, былъ у тебя?

Молчановъ *(всматриваясь).* Это Минутка у меня былъ: за лѣчебникомъ заходилъ.

Колокольцовъ. Минутка заходилъ на минутку, ха-ха-ха!— я давно сдѣлалъ этотъ каламбуръ. «Минутка, пожалуйте на минутку». Онъ за это не сердится. Онъ преуморительный ляшокъ. Я, впрочемъ, не знаю, какого ты теперь мнѣнія о полякахъ?

Молчановъ. Да никакого больше.

Колокольцовъ. А нѣтъ, ты не шутя скажи, что̀ они такое по-твоему?

Молчановъ *(шутя).* Чортъ ихъ знаетъ: помѣсь жида съ французомъ.

Колокольцовъ. О, о, о, о! Нѣтъ, это, милый, не годится. Жидъ, чистый и мѣшаный, все держится одной политики:

Мнѣ въ глаза наплюй,
По лицу отдуй,
По щекамъ трезвонь,
Лишь карманъ не тронь:
Въ немъ чувствительность,
Раздражительность.

А у поляковъ... у нихъ есть что-то такое этакое... рыцарское... это... это, какъ тебѣ сказать, этакое все... у нихъ вмѣстѣ... дерзость и мерзость.

Молчановъ. Похвалилъ!

Колокольцовъ. Да; но я говорю, что они все-таки амюзантная нація. Я не люблю, когда противъ нихъ возбуждается эта ненависть. Это не въ нашемъ характерѣ. Разумѣется, я говорю это не какъ голова; какъ голова, я, конечно, гдѣ слѣдуетъ, иначе скажу,—но я это какъ русскій человѣкъ говорю, какъ я чувствую. Я ничего не имѣю противъ поляковъ. Ты помнишь въ Вѣнѣ, что сдѣлалъ одинъ полякъ съ нашимъ русскимъ?—далъ ему одну брошюрку прочитать противъ австрійскаго правительства, а того бацъ ночью и обыскали. Съ тѣмъ лихорадка сдѣлалась, чуть съ ума не сошелъ отъ страху, что сошлютъ. Но этотъ полякъ пришелъ и говоритъ: не бойтесь, говоритъ, это я, говоритъ, на васъ наслалъ, потому что намъ нужно было отвлечь вниманіе полиціи отъ одного своего дѣла: я, говоритъ, и написалъ анонимное письмо, что у васъ есть подозрительныя бумаги... Вѣдь этакая верткая каналья!

Молчановъ. Да, ужѣ чего еще не каналья!

Колокольцовъ. Но какъ ловко-то и въ то же время вѣдь и совершенно безвредно! Ахъ, другъ мой, я того убѣжденія, что вѣдь они не мы. Ихъ положеніе другое. Мы вѣдь гиганты... наше имя исполинъ, а исполины всегда снисходительны. Ты вотъ, я знаю, ты не любишь Фирса Григорьича; а я его за что люблю? Я знаю, что онъ—entre nous soit dit — мерзавецъ cum euximia laude, но я его люблю за его прекрасную натуру — за его русскую натуру. Онъ русскій человѣкъ, и зато посмотри, какъ онъ снисходительно относится къ полякамъ. Онъ говоритъ: что поляки? Это вздоръ, говоритъ, поляки... Такъ-таки и говоритъ: «это вздоръ», ихъ нѣтъ,—и я въ этомъ съ нимъ совершенно согласенъ, потому что гдѣ же нынче Польша? Тюти, душка: мышки ее съѣли.

Молчановъ. Да, чортъ бы ихъ побралъ: теперь, какъ клопы ползутъ сюда, чтобъ кровь сосать тихонько изъ Россіи. Здѣсь подлецовъ и дураковъ еще найдется, чтобъ съ ними заодно якшаться.

Колокольцовъ. Догадываюсь! Богъ знаетъ чѣмъ отвѣчаю, что, сказавши «подлецовъ», ты это на Фирса намекаешь; ты Фирса очень не любишь. И я это понимаю. Я какъ-то очень долго размышлялъ, за что ты его такъ не любишь, и нарочно сегодня зашелъ къ тебѣ сказать, что я открылъ причину вашей ненависти: вы оба очень самолюбивы. Ты самолюбивъ и онъ самолюбивъ. О, онъ чертовски самолюбивъ; онъ въ этомъ случаѣ... онъ даже до поэзіи возвышается... Онъ во многомъ возвышается до поэзіи; но въ самолюбіи онъ даже во вредъ себѣ возвышается до поэзіи. Я этому вчера колоссальный примѣръ видѣлъ; грандіозный примѣръ. Я нарочно пришелъ сегодня разсказать тебѣ объ этомъ. Вчера у меня генералъ Ковалевъ сказалъ о Штукаревѣ... Кто-то сказалъ, что Штукаревъ разоренъ; а Канунниковъ, что ли, или не помню кто говоритъ: Э, говоритъ, это путный человѣкъ пропадетъ, а ихъ брата, откупную піявку, чортъ не возьметъ. А генералъ Ковалевъ говоритъ: да, говоритъ, Штукаревъ нашъ настоящій русскій человѣкъ; я, говоритъ, совершенно въ томъ увѣренъ, что «пока онъ живъ, никто въ его дѣлахъ ничего не разберетъ». Что жъ ты думаешь, Фирсъ вынесъ это? Какъ бы не такъ! «Эхъ, ваше превосходительство, говоритъ,—да я, говоритъ, и умру, такъ послѣ меня никто ничего не разберетъ». Можешь ты себѣ это представить—и здѣсь не упустилъ!

Молчановъ *(смѣясь).* Вотъ! какъ грачъ по пашнѣ прыгалъ съ одного на другое: про все переговорилъ—и опять за Фирса! Когда бъ ты зналъ, какъ мнѣ это надоѣло два часа къ ряду день-изо-дня все слышать: Фирсъ Григорьичъ да Фирсъ Григорьичъ,—точно онъ здѣсь какой король. Да чортъ его дери! Онъ мнѣ вовсе не интересенъ.

Колокольцовъ *(таинственно).* А скажи, правда это, что ты на него искъ дѣтскимъ пріютамъ уступилъ?

Молчановъ *(снова разсмѣявшись).* Опять грачомъ запрыгалъ! *(Серьезно.)* А что такое?

Колокольцовъ *(шутливо и робко).* Ничего, душа моя, ничего... Но это, я думаю, ему... не по носу табакъ.

Молчановъ. Я и не желаю его носа тѣшить.

Колокольцовъ. Да, да, именно носа не тѣшить. Есть на этотъ счетъ французская пословица, только не къ носу, а къ другому, къ плѣши: *il ne faut jamais теше де чужіе ле плеше*... А? понялъ?... По-русски это просто значитъ: не тѣшь чужую плѣшь. *(Нагибаясь къ Молчанову.)* А знаешь ты, я, наблюдая твой характеръ, всегда сравниваю тебя съ Сарданапаломъ? именно съ Сарданапаломъ. Ты очень тихъ, и вдругъ ты этакъ именно являешься Сарданапаломъ, котораго весь вѣкъ считали бабою, а онъ вдругъ взялъ и сжегъ себя.

Молчановъ *(громко расхохотавшись).* Ха-ха-ха! Охъ! ты меня уморишь, Иванъ Николаичъ!... Ха-ха-ха!

Колокольцовъ. Чего ты? чего ты? Ей-Богу, Сарданапалъ!

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Тѣ же и Мякишевъ.

Мякишевъ *(входитъ).* Здорово зять!

Молчановъ *(встаетъ, кланяется и снова садится).* Здравствуйте, Парменъ Семенычъ!

Мякишевъ. Чего же это ты хохочешь? Фирсъ Григорьичъ такое подъ тебя подвелъ... статью такую вывелъ, а ты здѣсь шутки шутишь!

Молчановъ *(желчно).* Что такое? Какую онъ статью подвелъ? Какое мнѣ дѣло до его статей?

Мякишевъ. Дѣло!.. Да мнѣ-то дѣло: вѣдь за тобой дочь моя.

Молчановъ. Чортъ знаетъ, что это такое говорится! статью подвелъ, дочь за мной... Въ чемъ дѣло—разскажите?..

Колокольцовъ *(шутя и заигрывая).* Да я и забылъ, мой милый... Я вѣдь за этимъ и пришелъ къ тебѣ. Ты тамъ своимъ рабочимъ долю назначаешь... Конечно, отъ насъ, какъ говорится, хоть тридцать лѣтъ скачи, ни до какого государства не доѣдешь; но все же вѣдь... Это соціализмъ. Конечно, всѣ могутъ съ тобой согласиться, что это полезно; но это...

Молчановъ *(перебивая).* Это если, Иванъ Николаичъ, и шутка, такъ это очень глупая шутка. О какомъ соціализмѣ тутъ можетъ быть рѣчь, гдѣ всѣ за каждый грошъ брата засудятъ?

Колокольцовъ. Да вѣдь, однакоже, справедливо, что ты фабричнымъ долю обѣщалъ?

Молчановъ. Нѣтъ; это несправедливо. Это было бы слишкомъ справедливо для моей несправедливости. Я хотѣлъ прибавить имъ жалованья, потому что нынче неурожай, хлѣбъ дорогъ. Вы возстали противъ этого, просили меня не дѣлать надбавки, чтобы и ваши того же не потребовали...

Колокольцовъ. Этого, душа моя, нельзя! Какія же наши-то прибыли! Помилуй, я... я правду тебѣ скажу. Я за тѣмъ къ тебѣ сегодня и зашелъ, чтобы у тебя тысченку наличности перехватить, чтобы съѣздить славянскихъ братьевъ посмотрѣть. Когда тутъ намъ въ эти годы съ рабочими сентиментальничать! Вѣдь это въ литературѣ очень хорошо сочувствовать стачкѣ рабочихъ... Ты знаешь, что я и самъ этому сочувствую, и самъ въ Лондонѣ на митинги хаживалъ... Тамъ я этому всему сочувствовалъ, хотя, я тебѣ скажу, что жъ такое Англія? Я вовсе не уважаю Англіи... Гм! стачки позволены—и о-бокъ съ ними лорды и крупное землевладѣніе... Но когда это на самомъ дѣлѣ, когда... когда я самъ сдѣлался фабрикантомъ—это другое дѣло, душа моя! Это стачки, это... это чортъ знаетъ что такое для нашего брата! Да и наконецъ, какъ голова, я долженъ тебѣ сказать, что это вѣдь и закономъ запрещено.

Молчановъ *(вспыльчиво).* Убирался бы ты отсюда, Иванъ Николаичъ, поскорѣе къ своимъ славянскимъ братьямъ и не мѣшалъ бы намъ *свои* русскіе лапти на оборы поднимать. Что это такое? Про что вы встолковались? *Я такъ хочу!* Понимаете, *я такъ хочу!* Я нахожу, что наши рабочіе получаютъ мало. Я хотѣлъ прибавить имъ — вы воспротивились. Изъ этого простого желанія вы сочинили и распустили слухъ, что я у васъ хочу лучшихъ работниковъ хитростью отбить, а потомъ опять сбавлю цѣну ниже нынѣшней. Мастеровые вамъ повѣрили... Что жъ, на вашей улицѣ праздникъ. Побѣдители не судимы.

Колокольцовъ. То-то, я говорю, другъ мой, надо знать нашего человѣка.

Молчановъ. Чортъ его бери, нашего, не нашего: мнѣ всѣ ровны люди. Я знаю, что они голодны, и ихъ голодъ мнѣ мѣшаетъ обѣдать спокойно. Я имъ сказалъ одно, чтобы они составили артель, чтобъ сами поручились мнѣ за цѣлость матеріала, а я отпущу смотрителей и раздамъ смотрительское жалованье рабочимъ. Кажется, я въ правѣ это сдѣлать.

Колокольцовъ. Нѣтъ, не въ правѣ.

Молчановъ. Отчего?

Колокольцовъ *(не знаетъ, что сказать).* Мы... м...

Мякишевъ. Да ты общественный человѣкъ, или тебя подъ крапивой индюшка высидѣла?

Колокольцовъ. Да, да! ты вѣдь не Фридрихъ Великій, чтобъ каждому жареную курицу могъ къ обѣду доставить. Да и тотъ не доставилъ.

Молчановъ. Извольте разбирать пожалуйста: то соціалистъ, то Фридрихъ Великій.

Мякишевъ. А больше всего скажу я тебѣ, зять: ты шутъ.

Молчановъ. Какъ это шутъ?

Мякишевъ. А такъ шутъ, коли ты на общую долю даешь, что еще самому годящее. Можно пожертвовать, кто говоритъ, мало ли купцы на что жертвуютъ, да только вѣдь жертвуютъ, такъ съ умомъ жертвуютъ, съ выгодой: или для ордена, либо что совсѣмъ нестоющее. А ты, накося, отъ себя рвешь, да на міръ заплаты шьешь.

Колокольцовъ. Да; вѣдь именно прежде всего всѣ мы, другъ мой, мы общественные люди... Мы этимъ должны гордиться. Но мы не свободны — это самое первое... мы должны другихъ слушаться... это наше коренное, наше русское... славянское...

Молчановъ. Отстань ты отъ меня, пожалуйста, съ твоимъ и съ русскимъ, и съ славянскимъ! Говори, въ чемъ дѣло?

Мякишевъ. А въ томъ дѣло, что какъ ты по-своему, по-ученому полагаешь: можетъ ли тебѣ общество затрещину дать?

Молчановъ. Какъ это затрещину дать?

Мякишевъ. Такъ, взять да и вышвырнуть. Не надо, молъ, намъ, дуракамъ, такого умника. Не знаешь, какъ изъ общества исключаютъ? Приговоръ напишутъ, да и выключатъ.

Колокольцовъ. Общественный, душа моя, судъ. Общество въ этомъ неограниченно. Я за тѣмъ къ тебѣ и пришелъ сегодня.

Молчановъ. Ты пришелъ за тѣмъ, чтобы сказать, что полицеймейстершу голую видѣлъ.

Колокольцовъ *(недовольно).* Совсѣмъ не то! Это... мм-м... это другое... Я пришелъ потому, что сегодня утромъ всѣ наши первые фабриканты—Иванъ Петровичъ Канунниковъ, Матвѣй Ивановичъ Варенцовъ и Илья Сергѣичъ Гвоздевъ—

подали мнѣ бумагу, что ты своими распоряженіями злонамѣренно дѣйствуешь въ подрывъ нашей фабричной промышленности, и просятъ тебя ограничить. Я вотъ зачѣмъ пришелъ.

Молчановъ. Ты, Иванъ Николаичъ, въ эту минуту мнѣ напоминаешь того анекдотическаго бурмистра, который начиналъ свое письмо барину съ извѣщенія, что въ его имѣніи все, слава Богу, благополучно, а подъ конецъ прибавлялъ, что только хлѣбъ градомъ выбило, скотъ подохъ да деревня сгорѣла. Что жъ ты мнѣ здѣсь торочишь про полицеймейстершу, про атлантическихъ братій, про славянскихъ братій, а не скажешь, что противъ меня затѣваютъ мои русскіе братія?

Колокольцовъ. Да вѣдь я къ этому жъ и велъ, душа моя, когда говорилъ съ тобой про Фирса. Я говорилъ, что онъ *удивителенъ...* я не могу сказать: оригиналенъ, а именно удивителенъ. Какъ бы о немъ что̀ ни говорили, но я долженъ отдать ему справедливость, что онъ владѣетъ удивительной силой убѣжденія. Какъ онъ ловко основалъ всё это! Вотъ какъ это у него написано *(вынимаетъ бумажку и читаетъ).* Мм... м... м... да вотъ! «Такія несоразмѣрныя надбавки задѣльной платы въ подрывъ другимъ фабрикантамъ невозможны со стороны человѣка, радѣющаго о своихъ пользахъ и выгодахъ, а свойственны лишь расточителю, стремящемуся предать свое наслѣдственное имущество чрезъ свою расточительность послѣднему разоренію и окончить банкротствомъ, которую цѣль общество обязано предупредить и отвратить, сколь въ видахъ сохраненія общественнаго кредита, столь же и для того, дабы семейство сего расточителя, доведенное имъ до нищенства, не осталось на рукахъ и на попеченіи общества. А что Иванъ Молчановъ есть расточитель, то сему кромѣ сказаннаго доказательства слѣдующія: онъ окромя прибавки платы рабочимъ, забывъ родныхъ дѣтей, намѣревался пожертвовать двѣсти тысячъ въ пользу дѣтскихъ пріютовъ и преподноситъ покупаемый имъ на свои деньги особый домъ со строеніемъ мѣщанской женкѣ Маринѣ Гусляровой».

Мякишевъ. Не хорошо зятекъ, не хорошо.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Тѣ же, Анна Семеновна и Марья Парменовна.

Марья Парменовна *(быстро входя и вводя за руки двоихъ*

дѣтей. Къ мужу). Что жъ ты это и послѣ этого еще мужъ, а не разбойникъ? Есть же еще гдѣ Пилатъ хуже тебя!

Мякишевъ. Марья! Марья! Марья! не хорошо, не хорошо такъ съ мужемъ.

Марья Парменовна. Что вы, паненька, вмѣшиваетесь? Это не ваше дѣло совсѣмъ въ это мѣшаться. Между мужемъ и женою никто мѣшаться не долженъ; а я именно, какъ дяденька Фирсъ Григорьевичъ совѣтуетъ, я судъ соберу, и пусть насъ разсудятъ, потому что онъ воръ.

Анна Семеновна. Да и хуже вора гораздо.

Молчановъ. Что это такое? Какъ вы смѣете приходить ко мнѣ и говорить такія вещи?

Анна Семеновна. Да отчего жъ правды не говорить? Мнѣ десятскій на ротъ бандероли не накладывалъ?

Марья Парменовна. Гдѣ жъ тебѣ съ воромъ равняться? Воръ что̀ воруетъ, все себѣ тащитъ; а ты все изъ дому.

Анна Семеновна. Да, разумѣется! что ты съ воромъ-то равняешься? Воръ вонъ намедни у насъ козу укралъ, такъ онъ ее не чужимъ же потащилъ, а къ дѣтямъ къ своимъ отвелъ ее, чтобъ пропитаніе имѣли. Это стало отецъ. Онъ и побои за нее принялъ, хоть и не въ дурномъ мнѣніи и укралъ-то ее, а что краденая, говоритъ, молока больше даетъ. Такъ это рачитель. А ты, нако-ся, по двѣсти тысячъ на незаконныхъ дѣтей жертвуешь! Ты бы хоть своихъ-то дѣтей постыдился.

Марья Парменовна. Да ему что̀ свои дѣти! Онъ имъ хлѣба — и того жалѣетъ. На что, говоритъ, вы ихъ по десяти разъ въ день кормите? — они опухли отъ жратвы. Животы понаходилъ у нихъ какіе-то: какъ барабаны, говоритъ, у барабанщиковъ.

Анна Семеновна. Ахъ ты, безбожникъ ты этакой! Развѣ можно этакъ про херувимовъ говорить: барабанщики? Вѣдь они безплотные или нѣтъ: какъ же ты имъ ѣсть-то отказываешь?

Марья Парменовна. Аглицкую болѣзнь отыскалъ въ нихъ.

Мякишевъ. Это не дѣло ты говоришь. Какая у купеческихъ дѣтей аглицкая болѣзнь можетъ взяться? Такъ съ сытости купцы пухнутъ.

Марья Парменовна. Опять же это вы такъ, тятенька, имѣвши разумъ, понимаете; а онъ этого, вѣдь, ничего понимать не можетъ. *(Выставляя дѣтей на видъ и оглаживая*

ихъ.) Онъ даже и того не скрываетъ, что стыдится своихъ дѣтей.

Анна Семеновна. Это законныхъ-то дѣтей стыдится?

Марья Парменовна. Уроды, говоритъ. Людямъ ему ихъ, видите ли, показать будто стыдно!

Анна Семеновна. Да что ихъ кому показывать-то? Чтобъ еще сглазили! Тпфу! *(Забираетъ къ себѣ дѣтей.)* Они, слава Богу, не дворянскія дѣти, а христіанскія, не на показъ растутъ.

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Тѣ же и Князевъ.

Князевъ *(входя).* А все же, сватья, дворянскія дѣти нашихъ умнѣе. Дворянинъ съ четверть роста всего, а спроси его, что, молъ, такое грамматика? говоритъ: «два солдатика»; а нашъ этого объ эту пору не знаетъ.

Молчановъ *(вспыхнувъ).* Фирсъ Григорьичъ! Какое право вы имѣете сюда войти? Прошу васъ вонъ! Сію же минуту вонъ выйдите.

Князевъ *(садясь).* Не слушаю.

Молчановъ *(зоветъ прислугу).* Люди! люди!

Марья Парменовна. Что! ты звать людей? *(Бросается къ двери.)*

Анна Семеновна. Выскочи, выскочи, Маша, на улицу, да заори хорошенько.

Марья Парменовна. Что, хорошо тебѣ будетъ, какъ народъ-то соберется?

Молчановъ. Что ты!.. безумная! *(Схватываетъ ее за руку и возвращаетъ на мѣсто.)*

Анна Семеновна. Что тутъ безумнаго? Да на разбойника мужа только и справы, что на весь народъ крикнуть. *(Молчановъ садится, махнувъ рукой.)*

Марья Парменовна. Я вѣдь тебѣ десять разъ говорила, что я скандаловъ не боюсь; а ты, когда боишься ихъ, такъ такъ и веди себя, не затѣвай свары и покоряйся мнѣ.

Князевъ *(Колокольцову).* Прошу васъ, господинъ голова, его поурезонить.

Колокольцовъ. Постой, Иванъ Максимычъ: мы къ тебѣ собрались по дѣлу.

Молчановъ. Какъ, по дѣлу собираетесь? По какому дѣлу?

Князевъ. Сейчасъ узнаешь.

Молчановъ. Что жъ это... засѣданье, что ли, иль заговоръ?

Князевъ. Да, заговоръ. Не знать только, что заговаривать: не то одни зубы, не то всю гадину. Нѣтъ, братъ, мы не заговорщики, а общественные люди. Заговорщиковъ вѣшаютъ, а намъ и Богъ, и Царь, и совѣсть указали сообща вести мірской корабль и защищать вдовицъ и сиротъ.

Молчановъ. Но здѣсь нѣтъ ни вдовицъ, ни сиротъ, и некому искать у васъ защиты.

Марья Парменовна. Я, я прошу защиты.

Князевъ. Вотъ, видишь, вразъ вдовица-то и объявилась, а сироты, по маломыслію, молчатъ, такъ міръ за нихъ и самъ заговоритъ. *(Строго и важно, стукнувъ въ полъ палкой.)* Ты состояніе родовое сотнями тысячъ транжиришь; работникамъ счеты свои фабричные открывать собираешься; имѣніе продавать надумалъ; да на всемъ честномъ народѣ отъ живой жены любовницу замужнюю къ себѣ въ загородный домъ взялъ... Нѣтъ, братъ *(ударяя себя въ грудь)*, мы не допустимъ этого! Мы, общество, боясь Бога и совѣсть почитая, не допустимъ твоей семьѣ погибнуть. *(Къ присутствующимъ.)* Господа! вы, голова, и ты, Парменъ Семенычъ, и ты, вдова при мужѣ, и всѣ вы, кто меня слышите! объявляю вамъ, что находившійся въ моей опекѣ купецъ Иванъ Молчановъ стремится къ расточенію своего имущества. Вотъ вамъ доказательства, что онъ позавчера купилъ для одной безпутной женщины домъ *(вынимаетъ изъ кармана бумагу и передаетъ ее головѣ)*, а вотъ другое, что онъ позавчера же подарилъ двѣсти тысячъ... *двѣсти тысячъ*, господа, подарилъ, и этотъ подарокъ едва могъ быть остановленъ...

Молчановъ *(быстро)*. Кто смѣлъ его остановить?

Князевъ *(спокойно)*. Я.

Молчановъ. Это ложь! Вы не могли остановить этого.

Князевъ *(еще спокойнѣе)*. Отчего бы это не могъ? Мы не въ Сибири живемъ, да и тамъ нынѣ телеграфы есть, а отъ сумасшедшихъ и отъ расточителей нигдѣ подарковъ принимать не позволяется. *(Присутствующимъ.)* Съ своей стороны, я одинъ своими средствами все, что могъ, сдѣлалъ. Теперь ужъ вы за все въ отвѣтѣ.

Мякишевъ. Что жъ, надо его ограничить.

Князевъ *(подавая бумагу Марьѣ Парменовнѣ)*. Жена его проситъ васъ, господинъ голова, не медливши ни часу, пока

послѣдуетъ какой судъ и приговоръ, устранить его отъ распоряженія имѣніемъ.

(Марья Парменовна подаетъ головѣ бумагу, которую тотъ вертитъ въ рукахъ, недоумѣвая, что̀ ему съ нею дѣлать.)

Молчановъ *(вставая)*. Такъ это не во снѣ?

Князевъ *(обтираясь платкомъ)*. Нѣтъ, сударь, въявь.

Молчановъ. Такъ это вы вправду собралися... меня связать судомъ, какимъ еще ни одинъ человѣкъ на Руси не былъ связанъ?

Князевъ. Были, врешь ты, были.

Молчановъ *(горячо и рѣшительно)*. Ну, были ли, не были ли, мнѣ все равно. Но если вы нашли право такъ поступить со мною, и если точно есть у васъ такое право, такъ... такъ знайте жъ и вы, и дѣти, и жена моя доносчица: — я господинъ своимъ имѣньямъ! Пока вы свой холопій судъ нарядите, я продамъ все... подарю, если купца не будетъ... подарю, первому нищему отдамъ, но этой гадинѣ холодной *(указывая на жену)*, которая передъ Богомъ обѣщалась беречь меня и передъ людьми меня выдала на поруганье... нѣтъ ничего, ничего! Своихъ враговъ награждать никто человѣка обязать не можетъ.

Князевъ *(подкрадываясь тихо, распахиваетъ двери во внутренніе покои, въ которыхъ на самомъ порогѣ стоятъ Минутка, Гвоздевъ, Канунниковъ и Варенцовъ)*. Прошу войти васъ, господа! Вы слышали?

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Тѣ же и Минутка, Гвоздевъ, Канунниковъ и Варенцовъ.

Всѣ *(входя вмѣстѣ)*. Слышали, Фирсъ Григорьевичъ, слышали.

Князевъ. Теперь извольте сами разсуждать по тому, что видите?

Гвоздевъ. Что жъ, нашъ совѣтъ такой, каковъ и твой же, Фирсъ Григорьевичъ: собрать все общество и ограничить.

Всѣ *(разомъ)*. Ограничить, ограничить.

Молчановъ. Да это что жъ такое? Въ домъ шпіоновъ ставить? Вѣдь не было же еще покудова суда, и *я* покуда здѣсь хозяинъ.

Князевъ. Врешь: ты *былъ* хозяинъ, но съ сей поры... ты *расточитель! (Пауза. Картина.)* А вотъ мы сейчасъ еще лучше увидимъ, кто хозяинъ. Хозяинъ дому не кипетъ,

хоть варомъ вари его, а прусакъ отъ слова вонъ побѣжитъ, кто на него слово знаетъ. *(Присутствующимъ.)* Я, господа, за разъ, чтобъ положить конецъ всему этому безобразію, покончилъ и съ его помощницей. *(Вынимая изъ кармана небольшую бумагу и раскрывая ее передъ всѣми.)* Вотъ вамъ депеша изъ Питера отъ Гуслярова: онъ просьбу шлетъ, чтобы жена его Марина Николавна, которую и теперь скрываетъ у себя на дачѣ Иванъ Молчановъ, была бы немедленно же выслана къ нему къ совмѣстному сожительству; а до поры ее теперь, я думаю, уже арестовали.

Молчановъ *(отчаянно)*. Га!.. *(Опрометью бросается въ двери и убѣгаетъ.)*

Князевъ *(Марьѣ Парменовнѣ)*. Смотри, племянница, онъ брильянты схватитъ!

Анна Семеновна *(бѣжитъ)*. Охъ, матушки! ухватитъ.

Марья Парменовна *(бѣжитъ)*. Маменька, маменька, тамъ еще шуба бархатная, что онъ дарилъ. *(Дѣти уходятъ съ ревомъ.)*

Князевъ *(присутствующимъ)*. Смотрите, онъ ушибетъ вѣдь бабъ-то!

(Всѣ кромѣ Минутки бросаются за женщинами.)

Князевъ *(посмотрѣвъ пристальнымъ взглядомъ на Минутку)*. Что?.. какъ ты думаешь объ этомъ, Вонифатій? *(Сжимая руку Минутки.)* Вотъ то-то... Вы всю жизнь на этомъ ремеслѣ стоите, и крестятъ васъ въ такой купели въ Польшѣ, чтобъ каверзу строить, а все... безъ заговоровъ ничего не сдѣлаете. У насъ проще эта политика! Видишь, ты одинъ дѣла верти... да такъ, чтобъ хвостъ не зналъ, что̀ затѣваетъ голова. *(Указывая назадъ на дверь, куда вышелъ Колокольцовъ.)* Не эта голова, что вышла, а вотъ эта *(показывая на себя)*, что дѣло додѣлывать будетъ. *(Сухо.)* Садись къ столу и актъ напиши о всемъ, что было, и приноси туда для подписи. *(Минутка садится къ письменному столу Молчанова.)*

Князевъ *(выходя на авансцену)*. Ну, кашу заварилъ. *(Тихо смѣется.)* Хе-хе-хе-хе... въ колокола про судъ ударили и звонятъ, и звонятъ... ха-ха-ха! Да что̀ тутъ хитраго въ колокола звонить! Вотъ вы пожалуйте прислушать, какъ я вамъ въ лапти звякну. *(Уходитъ.)*

Минутка. Да, ты правъ, панъ Фирсъ, ты правъ. *(Беретъ себя за ухо и подражаетъ Фирсу.)* «Дѣлай такъ, чтобъ

хвостъ не зналъ, что затѣваетъ голова. Не эта голова, что вышла, а вотъ эта *(показывая на свой лобъ)*, что будетъ дѣло додѣлывать».

(Занавѣсъ падаетъ.)

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Большая зала въ домѣ купца Мякишева. Мебель старинная, обитая чернымъ; по обѣимъ сторонамъ два одинаковые дивана; передъ ними столы; бюро; часы съ кукушкой; въ углу колонка краснаго дерева съ букетомъ восковыхъ цвѣтовъ подъ стеклянныемъ колпакомъ. При поднятіи занавѣса черезъ открытыя окна комнатъ слышенъ со двора шумъ многочисленной толпы народа. Шумъ начинается до поднятія занавѣса.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Мякишевъ *(сидитъ за столомъ на диванѣ)*; **Князевъ** *(помѣщается за тѣмъ же столомъ на креслѣ)*; **Минутка** *(пишетъ)*.

Князевъ. Экъ, какъ галдятъ!

Минутка. Съ утра стоятъ здѣсь на дворѣ; пекота, жарко; оголодали, Фирсъ Григорьичъ, а судъ еще, гляди, вѣдь не сейчасъ начнется. *(Оставляя перо.)* Иванъ Максимовичъ, говорятъ, только-что сейчасъ пріѣхалъ съ дачи въ городъ и зашелъ къ головѣ, но голова его не принялъ.

Князевъ. Да; не принялъ. Ну, что намъ до того,—принялъ или не принялъ. *(Смотритъ въ окно.)* Скажи, пожалуйста, чего это они всѣ въ одно мѣсто вверхъ смотрятъ?

Минутка *(тоже выглядывая въ окно)*. Галка вонъ на карнизѣ сидитъ. Галку смотрятъ.

Князевъ. Что-жъ она чудного дѣлаетъ, что они въ нее воззрились?

Минутка. Ничего—хвостомъ трясетъ, а они смотрятъ.

Князевъ *(смѣясь)*. Эко дурачищи!

(Народъ подъ окномъ за сценою: Ха-ха-ха! ¡У-у! у! у! уре! Полетѣла! полетѣла!)

Князевъ. Ха-ха! Что за скоты такіе. *(Минуткѣ.)* Подика ты сюда. *(Отводитъ его въ сторону.)* Тамъ спосылай кого-нибудь скорѣе въ мой шинокъ, что на углѣ здѣсь ближе, и прикажи сидѣльцу, чтобъ всѣмъ имъ въ долгъ далъ,

кто сколько вылопаетъ. Понимаешь ли: не давать даромъ, чтобъ не сказали, что я подпаивать хотѣлъ всю эту сволочь. Въ долгъ пусть лопаютъ. Отдастъ ли, не отдастъ ли который, но только въ долгъ давать... Бѣги.

Минутка. Въ минуту, Фирсъ Григорьичъ.

Князевъ *(Мякишеву).* А ты, отецъ, чего-то нюни распустилъ?

Мякишевъ *(покачавъ головой, тихо).* Жалко мнѣ его. Я его люблю.

Князевъ. Чурилка ты, какъ посмотрю я на тебя, а не купецъ! Что, будемъ такъ къ примѣру разсуждать, — что если я напьюся до-пьяна, да въ твоихъ глазахъ полѣзу въ рѣку—пустишь ты меня? Топись молъ, Фирсъ Григорьичъ, я съ тебя твоей воли не снимаю? или попріудержать бездѣлицу? Что тебѣ долгъ-то твой христіанской повелѣваетъ?

Мякишевъ. Да христіанскій долгъ, конечно...

Князевъ. Ну, то-то и оно «*конечно*». Не то, что просто пріудержишь, а если буянить стану, такъ и свяжешь да положишь, пока умирать охота пройдетъ. Не что иное и съ нимъ дѣлаютъ: онъ топиться хочетъ, а мы его удерживаемъ; онъ буянитъ—что дѣлать—мы его свяжемъ.

Мякишевъ *(тыкая въ столъ пальцемъ).* Вотъ это-то вотъ, *свяжемъ*-то... слово сіе жестоко есть.

Князевъ. А если Марьюшка къ тебѣ назадъ придетъ на хлѣбы, да не одна еще теперь, а съ внучками, которые все ѣсть-то просятъ, сіе не жестоко будетъ?

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Тѣ же и Анна Семеновна.

Анна Семеновна *(входя съ сердитой миной. Къ мужу).* Да ты чего съ нимъ, Фирсъ Григорьичъ, говоришь-то? О чемъ? Онъ вѣдь, небось, не понимаетъ.

Мякишевъ. Небось, понимаю.

Анна Семеновна *(мужу).* Ну, какъ же! Не мало ты когда что-нибудь понималъ. Видишь, осовѣлъ совсѣмъ; все спитъ. Теперь вонъ май мѣсяцъ—народъ въ рѣкѣ купается, а онъ, точно котъ, все на лежанкѣ трется. *(Князеву.)* Не слушай ты его, сватъ, ни въ чемъ. Нечего его слушать. Дѣлай, какъ ты самъ знаешь. Вѣдь ты у насъ, всѣ знаютъ, какой ты умный; тебя умнѣй никого въ городѣ нѣтъ

Князевъ. Да, дуракомъ не ставили.

Анна Семеновна. Да и Марьюшка вчера у меня вечеромъ также была, такъ то-жъ говоритъ: какъ, говоритъ, дяденькѣ Фирсу Григорьичу, говоритъ, угодно, а надо, говоритъ, его ограничить. Не такъ, чтобы вполнѣ, говоритъ, ограничить, а чтобы онъ только, говоритъ, ни до чего бы не доходилъ; а я бы, говоритъ, всѣмъ распоряжалася.

Князевъ. Ну, разумѣется, она.

Анна Семеновна. Потому что иначе она его никакъ съ собой къ любви не приведетъ. Видишь, вонъ онъ какъ позавчера безъ всякаго стыда махнулъ къ Маринкѣ, такъ и теперь до сихъ поръ тамъ... и не бывалъ къ женѣ. Легко это ей, Машѣ-то? Да и скажи-жъ, сватъ, сдѣлай милость,— скоро ее, Марину-то, вышлютъ? Вѣдь непріятно это намъ, что она тутъ живетъ.

Князевъ. Ну, погоди, вышлютъ. Надо, чтобы добро-то прежде было въ вашихъ рукахъ, а тогда въ вашихъ рукахъ и правда будетъ.

Анна Семеновна. Разумѣется такъ! *(Мужу.)* А этотъ еще упирается.

Мякишевъ. Мнѣ суда страшно.

Анна Семеновна. Какого это суда?

Мякишевъ. Страшнаго суда Господня.

Анна Семеновна. Такъ, стало-быть, судъ-то этотъ надъ тобою надъ однимъ, что ли, будетъ? Надъ всѣми вѣдь этотъ судъ будетъ. Такъ вѣдь на то же человѣку положена молитва — отмолить можно. Да тебѣ и отмаливать-то нечего: ты молчи, да и только. Я, молъ, что всѣ, то и я; я ничего не знаю. Такъ тутъ и грѣха нѣтъ.

Князевъ. Вотъ, видишь, жена-то у тебя какая мозговитая.

(Мякишевъ машетъ рукою и уходитъ.)

Князевъ *(по уходѣ Мякишева, фамильярно и съ своеобычнымъ куртизанствомъ, къ Аннѣ Семеновнѣ).* Ахъ ты, копье мурзомецкое! Гляди, какъ она командуетъ.

Анна Семеновна *(улыбаясь изъ-подъ брови).* У тебя научилась.

Князевъ *(вставая и потирая поясницу).* Э, дѣвка, ужъ я и самъ-то все позабылъ: старо становится и ветхо.

Анна Семеновна. Нѣтъ, видно, ты старъ-то никогда не будешь. У тебя, у стараго-то, все слышно идетъ не по-старому, а по-молодому.

Князевъ. Толкуй. Нѣтъ, дѣвушка, того ужъ нѣтъ, что тебѣ, можетъ, помнится. Третьяго дня, вечеромъ, вздумалъ-было на кладбище прогуляться. Пріѣхалъ, анъ ужъ ворота заперты и сторожей нѣтъ. Ахъ вы, волкъ васъ съѣшь совсѣмъ! Черезъ ограду вздумалъ перескочить... Что-жъ ты думаешь, вѣдь насилу перелѣзъ. *(Бьетъ себя по колѣнямъ.)* Тутъ-то вотъ... въ хрящахъ-то жестоко стало... не то, что бывало... Помнишь, Нюра! гдѣ намъ съ тобой большой дороги не было? А-а! Помнишь, что ль?

Анна Семеновна *(потупляя глаза и разбирая бахрому у платка).* Чай вѣдь не вовсе безпамятная.

Князевъ. Ахъ, ты, безпардоннная! Ужъ я тамъ по кладбищу-то ходючи тебя вспоминалъ, вспоминалъ, да и счетъ съ памятью забылъ. И тутъ-то Нюша; и вотъ здѣсь-то она; и вотъ тутъ не безъ нея... Тпфу ты, грѣхи наши тяжкіе!

Анна Семеновна. Не со мной ты съ одной тамъ прогуливался: у тебя стать вѣшать до Москвы на столбахъ по одной—не перевѣшаешь.

Князевъ *(перебивая).* Да не про то, глупая! Я говорю, что, тебя вспоминаючи, вспомнишь, какой народъ-то былъ. И промежъ вашей сестрой, промежъ бабами тогдашними, и то люди были. И строгость была, и мужья, и свекровьи, а у насъ все, бывало, свое идетъ: о полвечерни рѣжешь себѣ прямо на могилки; а Нюша ужъ тамъ... *(Заигрываетъ съ ней.)* Сидитъ, разбойница, на камушкѣ въ кленочкахъ... дожидается... А-а? Ни за что не обманетъ... А? Помнишь что ль? *(Ласкаетъ ее и смѣется.)* Хе-хе-хе-хе! Эхъ ты, звѣзда восточная!

Анна Семеновна *(съ притворнымъ неудовольствіемъ).* Да ну тебя совсѣмъ! Нашелъ про что и вспоминать? Знать видно молодыя-то ужъ нонче прочь гонятъ, такъ хоть про старое поговорить.

Князевъ. Опять же не про то! Что молодыя! Тпфу!.. Козлихи онѣ все нонче, и совки, да неловки. Ихъ самихъ-то надо еще по всякій часъ учить... *(Поглаживая ее по плечамъ.)* Не то, что вотъ эта мать-лебедушка: босой ножкой, бывало, выйдетъ, встрѣтитъ и проведетъ и выведетъ... *(Беретъ ее за руку.)* Ишь, окаянная, и теперь еще пульсы бьются!

Анна Семеновна *(не совладѣвая съ довольной улыбкой, отталкиваетъ Князева).* По-оди про-очь!

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Тѣ же *и возвратившійся* **Мякишевъ** *(входитъ и заводитъ у двери часы).*

Князевъ *(отходя на авансцену).* Глупа какъ ступа конопляная эта женщина, а съ большимъ огнемъ была. Чуть-чуть, бывало, ей кивни, она ужъ тутъ — и время выищетъ и случай и, какъ звѣзда, куда положено и катитъ. Смерть люблю такихъ женщинъ за обычай! *(Секундная пауза.)* Вотъ у Марины обычай совсѣмъ другой: это репеекъ колючій... *(Опять короткая пауза.)* Ну, да я и этакихъ тоже люблю. *(Смѣясь.)* Хуже себѣ ничего не могу представить, какъ то, что послѣ моей смерти на землѣ вино, деньги и красивыя бабы останутся!.. *(Къ публикѣ.)* Вотъ такъ-то разсуждайте, кто какъ любитъ! Говорятъ: «я тебя всѣмъ сердцемъ люблю». По-моему, это ничего не значитъ. А я вотъ *(потирая большими пальцами концы другихъ пальцевъ)*... я все чувствую... какъ только вспомню про Марину... такъ физическіе нервы мои болятъ. Особенно вотъ тутъ, вотъ въ самыхъ въ пальчикахъ ноетъ... Весь боленъ даже стану; а мнѣ свое здоровье мило... Да, ужъ по этому по одному мнѣ нельзя пожалѣть Молчанова... нельзя, никакъ нельзя... я боленъ!.. Я не виноватъ, что это у меня такъ не проходитъ!

Мякишевъ *(подходя).* Знаете, я что? *(Махнувъ рукой.)* Я молчать буду.

Анна Семеновна. Давно бъ вотъ такъ-то лучше.

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Тѣ же и Дробадоновъ.

Дробадоновъ *(входя, про себя).* Съ лучкомъ.

Мякишевъ. А, братъ, Калина Дмитричъ, здравствуй! Какъ? все ли въ своемъ?

Дробадоновъ. Живу. Благодарю покорно. *(Садится.)*

Князевъ *(про себя).* Глядите, пожалуйста, этого только и боялся: и этотъ жукъ-отшельникъ выползъ. Въ два года разъ на сходку ходитъ, а нынче явился... Противный человѣкъ. Всѣ его любятъ, а я вѣкъ цѣлый его терпѣть не могу. Но нынче ему подстроено,—спотыкнется.

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Тѣ же, Гвоздевъ и Минутка.

Гвоздевъ. Хозяевамъ и Фирсъ Григорьичу.

Князевъ. Здравствуй и ты, Илья Сергѣичъ! А что, какъ твоя супружница?

Гвоздевъ. Благодарю покорно — опасности нѣтъ — свинка у нея сдѣлалась.

Минутка. Въ самой вещи свинка?

Князевъ. Ну... ты опять съ своей самой вещью! У русскихъ свинки въ горлѣ бываютъ. *(Гвоздеву.)* Фіалковаго меду надо давать.

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Тѣ же и Варенцовъ.

Варенцовъ *(Князеву).* Здоровья всякаго.

Князевъ. Спасибо, братъ, спасибо. Что это у тебя заборъ, что ль, новый нынче будутъ ставить?

Варенцовъ. Нѣтъ, старенькій пересыпаю, Фирсъ Григорьичъ. Что! ужъ съ этими заборами у насъ одна бѣда: безъ забора скотина все повытравитъ, а поставь заборъ — сейчасъ его народъ на топку растащитъ.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Тѣ же и Канунниковъ *(которому* **Князевъ** *подаетъ руку и удерживаетъ ее въ своей рукѣ).*

Князевъ *(Гвоздеву).* А ты взакрой вели заборъ-то забирать, не на шипы чтобы сажали доску, а взакрой: доска взакрой сидитъ плотнѣе; а сверху скобочку пускай прибьютъ: такъ вотъ оно живетъ и плотно. А что воришки, такъ мы съ головою на воришекъ открыли средство: на той недѣлѣ голова предложитъ приговоръ, чтобъ ихъ при первомъ же наборѣ всѣхъ безъ очереди сдать. Въ газетахъ помѣстимъ, чтобъ всякій зналъ и, ужъ попавшись бы, на общество не плакался. *(Канунникову.)* А ты, нашъ Баянъ Петровичъ, будто нездоровъ?

Канунниковъ *(весело).* Какъ быть здоровымъ, Фирсъ Григорьичъ, когда всю ночь не спалъ.

Князевъ. Банчишку что ли съ головой метали?

Канунниковъ *(также весело).* Да нѣтъ! Какое тамъ банчишка! Собаки все проклятыя. Вотъ надоѣли! То мечутся, то рвутъ, то воютъ... тифу ты совсѣмъ, ровно въ самомъ

дѣлѣ передъ пропастью какою. Заснулъ-было — надавило. Дай, думаю себѣ, спрошу, какъ старые люди учатъ: къ добру или къ худу? Спросилъ — говоритъ: «къ худу». Ну гдѣ-жъ тутъ спать? А проснулся—опять псы воютъ.

Князевъ. А ты бъ подъ собой подушку перевернулъ: они бы и выть перестали. Это у тебя жаръ въ головѣ, съ жару не спится.

Дробадоновъ *(про себя).* И тутъ знаетъ, что посовѣтовать.

Канунниковъ *(смѣясь).* Какое съ жару: со страху. На дачѣ былъ вчера да запоздалъ: жутко одному; ночь темная, лошадь черная: не знай, на чемъ и ѣдешь.

Князевъ. А ты бъ пощупывалъ.

Канунниковъ. Да еще лошадь-то изъ рабочихъ лѣнивая, ободрать ее, попалась, что не дошлешься ея.

Князевъ. Драться надо было съ ней хорошенько, когда лѣнивая.

Дробадоновъ *(очень громко).* Ха-ха-ха-ха!

Князевъ. Чего такъ расхватило?

Дробадоновъ. Съ радости, что и съ лошадьми ужъ учишь драться.

(Входятъ еще нѣсколько купцовъ разомъ и раскланиваются.)

Князевъ. А вотъ и міръ весь въ сборѣ.

Дробадоновъ. Теперь можно и батьку убить.

Минутка *(взглянувъ въ окно).* Иванъ Максимычъ идетъ.

Всѣ. Тссс! *(Кромѣ Дробадонова всѣ сторонятся, очищая дорогу отъ двери.)*

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Тѣ же и **Молчановъ** *(грустный, но спокойный, подходитъ къ столу, за которымъ сидитъ* **Дробадоновъ.** *Молча жметъ ему руку и отходитъ къ окну и становится спиною къ тестю и ко всѣмъ фабрикантамъ. Пауза).*

Канунниковъ *(шопотомъ).* Тихій ангелъ летаетъ.

Князевъ *(громко).* Нѣтъ, не узналъ. Нонѣ говорятъ: это мировой судья родится.

Канунниковъ *(смѣясь).* А воровъ страхъ беретъ. *(Дробадоновъ неожиданно чихаетъ такъ громко, что всѣ вздрагиваютъ и раздаются восклицанія.)*

Князевъ *(гнѣвно).* Тпфу! слонъ египетскій, какъ испугалъ. *(Минуткѣ.)* Ступай, проси сюда скорѣй голову!

Минутка *(взглянувъ въ окно).* Они идутъ-съ.

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Тѣ же, Гвоздевъ и Минутка.

Гвоздевъ. Хозяевамъ и Фирсъ Григорьичу.

Князевъ. Здравствуй и ты, Илья Сергѣичъ! А что, какъ твоя супружница?

Гвоздевъ. Благодарю покорно — опасности нѣтъ — свинка у нея сдѣлалась.

Минутка. Въ самой вещи свинка?

Князевъ. Ну... ты опять съ своей самой вещью! У русскихъ свинки въ горлѣ бываютъ. *(Гвоздеву.)* Фіалковаго меду надо давать.

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Тѣ же и Варенцовъ.

Варенцовъ *(Князеву).* Здоровья всякаго.

Князевъ. Спасибо, братъ, спасибо. Что̀ это у тебя заборъ, что ль, новый нынче будутъ ставить?

Варенцовъ. Нѣтъ, старенькій пересыпаю, Фирсъ Григорьичъ. Что! ужъ съ этими заборами у насъ одна бѣда: безъ забора скотина все повытравитъ, а поставь заборъ — сейчасъ его народъ на топку растащитъ.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Тѣ же и **Канунниковъ** *(которому* **Князевъ** *подаетъ руку и удерживаетъ ее въ своей рукѣ).*

Князевъ *(Гвоздеву).* А ты взакрой вели заборъ-то забирать, не на шипы чтобы сажали доску, а взакрой: доска взакрой сидитъ плотнѣе; а сверху скобочку пускай прибьютъ: такъ вотъ оно живетъ и плотно. А что воришки, такъ мы съ головою на воришекъ открыли средство: на той недѣлѣ голова предложитъ приговоръ, чтобъ ихъ при первомъ же наборѣ всѣхъ безъ очереди сдать. Въ газетахъ помѣстимъ, чтобъ всякій зналъ и, ужъ попавшись бы, на общество не плакался. *(Канунникову.)* А ты, нашъ Баянъ Петровичъ, будто нездоровъ?

Канунниковъ *(весело).* Какъ быть здоровымъ, Фирсъ Григорьичъ, когда всю ночь не спалъ.

Князевъ. Банчишку что ли съ головой метали?

Канунниковъ *(также весело).* Да нѣтъ! Какое тамъ банчишка! Собаки все проклятыя. Вотъ надоѣли! То мечутся, то рвутъ, то воютъ... тифу ты совсѣмъ, ровно въ самомъ

дѣлѣ передъ пропастью какою. Заснулъ-было — надавило. Дай, думаю себѣ, спрошу, какъ старые люди учатъ: къ добру или къ худу? Спросилъ — говоритъ: «къ худу». Ну гдѣ-жъ тутъ спать? А проснулся—опять псы воютъ.

Князевъ. А ты бъ подъ собой подушку перевернулъ: они бы и выть перестали. Это у тебя жаръ въ головѣ, съ жару не спится.

Дробадоновъ *(про себя).* И тутъ знаетъ, что посовѣтовать.

Канунниковъ *(смѣясь).* Какое съ жару: со страху. На дачѣ былъ вчера да запоздалъ: жутко одному; ночь темная, лошадь черная: не знай, на чемъ и ѣдешь.

Князевъ. А ты бъ пощупывалъ.

Канунниковъ. Да еще лошадь-то изъ рабочихъ лѣнивая, ободрать ее, попалась, что не дошлешься ея.

Князевъ. Драться надо было съ ней хорошенько, когда лѣнивая.

Дробадоновъ *(очень громко).* Ха-ха-ха-ха!

Князевъ. Чего такъ расхватило?

Дробадоновъ. Съ радости, что и съ лошадьми ужъ учишь драться.

(Входятъ еще нѣсколько купцовъ разомъ и раскланиваются.)

Князевъ. А вотъ и міръ весь въ сборѣ.

Дробадоновъ. Теперь можно и батьку убить.

Минутка *(взглянувъ въ окно).* Иванъ Максимычъ идетъ.

Всѣ. Тссс! *(Кромѣ Дробадонова всѣ сторонятся, очищая дорогу отъ двери.)*

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Тѣ же и Молчановъ *(грустный, но спокойный, подходитъ къ столу, за которымъ сидитъ* **Дробадоновъ.** *Молча жметъ ему руку и отходитъ къ окну и становится спиною къ тестю и ко всѣмъ фабрикантамъ. Пауза).*

Канунниковъ *(шопотомъ).* Тихій ангелъ летаетъ.

Князевъ *(громко).* Нѣтъ, не узналъ. Нонѣ говорятъ: это мировой судья родится.

Канунниковъ *(смѣясь).* А воровъ страхъ беретъ. *(Дробадоновъ неожиданно чихаетъ такъ громко, что всѣ вздрагиваютъ и раздаются восклицанія.)*

Князевъ *(гнѣвно).* Тпфу! слонъ египетскій, какъ испугалъ. *(Минуткѣ.)* Ступай, проси сюда скорѣй голову!

Минутка *(взглянувъ въ окно).* Они идутъ-съ.

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Тѣ же и **Колокольцовъ** *съ портфелемъ. Съ нимъ подъ руку* **Марья Парменовна.** *Всѣ поднимаются.*

Колокольцовъ. Мое почтеніе, господа! Марья Парменовна, прошу васъ. *(Указываетъ ей на мѣсто за столомъ. Садится рядомъ съ нею и вынимаетъ изъ портфеля бумаги.)* Всѣ здѣсь?

Дробадоновъ *(вздохнувъ).* Которыхъ надо—всѣ.

Колокольцовъ. А, и вы, Калина Дмитричъ, нынче съ нами. Простите, не замѣтилъ.

Князевъ. Махонькій — не вотъ-те-на его разсмотришь. *(Общій смѣхъ.)* Чихнулъ, такъ дома чуть-чуть не опрокинулъ. Вотъ то-то значитъ, что безгрѣшный человѣкъ: надъ нимъ хоть крыша упади, такъ онъ не побоится смерти.

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ!

Молчановъ *(молча отходитъ отъ окна и становится къ столу, за которымъ сидитъ Дробадоновъ, спиною къ нему, лицомъ къ головѣ и къ усѣвшимся фабрикантамъ).*

Колокольцовъ *(Молчанову).* Прежде чѣмъ я черезъ минуту, какъ должностное лицо, открою собраніе по вашему дѣлу, я, какъ частный человѣкъ, прошу у васъ извиненія, что полчаса тому назадъ не могъ принять васъ. *(Молчановъ кланяется.)* Я васъ не могъ принять какъ потому, что я вчера уже разсматривалъ съ бывшими вашими опекунами ваши бумаги и составилъ себѣ о вашемъ дѣлѣ опредѣленное мнѣніе, такъ потому, что въ то время, когда вы ко мнѣ заѣхали, у меня была ваша супруга, и мы съ нею разсуждали о васъ. Я нарочно за тѣмъ пришелъ... Тпфу!.. Простите: я за тѣмъ къ вамъ обращаюсь, чтобы оправдаться передъ вами.

Молчановъ. Я не знаю, въ чемъ вы такъ много извиняетесь: и оскорбленіе не велико, и всякій воленъ кого хочетъ принять или не принять въ своемъ домѣ.

Дробадоновъ. На то ворота вѣшаютъ.

Анна Семеновна. Нѣтъ, квартальнаго, хоть и вороты есть, а не смѣешь не пустить: въ Москвѣ купчиху за это новымъ судомъ судили.

Князевъ *(про себя).* Дробадонъ что-то дробадонитъ... Надо бы ему больничку въ губу вдернуть.

Колокольцовъ *(ко всѣмъ).* Прошу занять мѣсто и объявляю

вамъ, что засѣданіе открыто. *(Усаживаются въ полукругъ. Дробадоновъ и Молчановъ остаются на прежнемъ мѣстѣ.)* Мы взяли эту комнату для засѣданія потому, что присутственная камера думы тѣсна для такого большого собранія, въ какомъ, по справедливости, слѣдуетъ судить дѣло Ивана Максимовича. Впрочемъ, дума здѣсь же, за этою стѣною, въ домѣ Пармена Семеныча, и, я надѣюсь, никто ничего не будетъ имѣть противъ того, что мы собрались по сю сторону стѣны, а не по ту сторону?

Молчановъ. Не въ этомъ дѣло.

Князевъ. Да, онъ умнѣе всѣхъ сказалъ: не въ этомъ дѣло. Пускай дѣло начинается.

Колокольцовъ. Господа! вниманіе. *(Минуткѣ.)* Читайте.

Минутка *(беретъ бумагу и читаетъ).* «Душеприказчики покойнаго коммерціи совѣтника, потомственнаго почетнаго гражданина и первой гильдіи купца, Максима Петровича Молчанова, а впослѣдствіи опекуны и попечители единственнаго его сына и наслѣдника, Ивана Максимова Молчанова, купцы Фирсъ Григорьевъ Князевъ и Парменъ Семеновъ Мякишевъ, довели до свѣдѣнія общества и городского головы, что сказанный купецъ Иванъ Максимовъ Молчановъ, съ дѣтства своего постоянно отличаясь страстію къ расточительству, во время бытности своей въ опекѣ, а потомъ до двадцати одного года, согласно желанію покойнаго отца его, подъ попечительствомъ, былъ отъ сей вредной склонности постоянно воздерживаемъ».

Молчановъ *(перебивая).* Позвольте!

Колокольцовъ. Иванъ Максимовичъ, вы будете имѣть слово.

Минутка *(продолжаетъ).* «По достиженіи же законнаго совершеннолѣтія, онъ, Молчановъ, чувствуя самъ сію слабость и влеченіе къ разсѣянной и безпутной жизни, самъ уполномочилъ бывшихъ опекуновъ своихъ Князева и Мякишева довѣренностію на управленіе своимъ имѣніемъ, а самъ провелъ три года за границею, для изученія будто бы торговаго дѣла, но сего не исполнилъ».

Молчановъ *(перебивая).* Чего не исполнилъ? чего я не исполнилъ?

Колокольцовъ. Иванъ Максимовичъ, вы будете имѣть въ свое время слово.

Молчановъ. Да это и есть мое время говорить, когда на меня клевещутъ. Я изучалъ фабричное дѣло и его знаю.

Князевъ. Читай, Минутка.

Минутка *(продолжаетъ).* «Прибывъ же два года тому назадъ на родину и вступивъ въ управленіе своимъ имѣніемъ, въ самое кратчайшее время привелъ всѣ свои дѣла и счеты въ безпорядокъ; расходы по фабрикаціи непомѣрно увеличилъ; доходы же привелъ къ существующему ничтожеству и кромѣ того обнаружилъ во всей своей силѣ свои прежнія склонности къ мотовству и расточительству, какъ-то: занималъ у разныхъ лицъ деньги и выдавалъ на себя векселя; векселей этихъ своевременно не оплачивалъ, а переписывалъ, увеличивая сумму; затѣмъ имѣющіяся полученія расходовалъ заранѣе самымъ безразсуднымъ образомъ и претензію въ двѣсти тысячъ рублей уступилъ въ пользу пріютовъ, вмѣсто того чтобы сею суммою расплатиться съ долгами. И наконецъ, онъ сдѣлалъ безвкладными пайщиками въ операціяхъ фабричныхъ ремесленниковъ, дабы вредить прочимъ фабрикантамъ; купилъ домъ для посторонней женщины въ ущербъ благосостоянія своей семьи и, наконецъ, при многихъ свидѣтеляхъ, подписавшихъ актъ, выразилъ непремѣнное свое желаніе расточить все свое имѣніе, лишь бы ничего не досталось его женѣ и дѣтямъ. Такой образъ дѣйствія Ивана Молчанова, несомнѣнно клонящійся къ прямому его разоренію, вынудилъ душеприказчиковъ отца его обратить на сіе вниманіе общества и просить объ огражденіи его наслѣдственнаго имущества, составляющаго обезпеченіе семейства, отъ разоренія. Одновременно съ симъ подано прошеніе и женою Молчанова, Марьею Парменовою Молчановою, которая, подтверждая общее мнѣніе, что мужъ ея есть расточитель, проситъ, въ огражденіе ея семейства отъ неминуемо-угрожающей нищеты, взять мужа ея за расточительство въ опеку».

Молчановъ *(глядя на жену).* Въ опеку! *(Качая головою.)* Такъ вотъ кто первый выговорилъ это слово!

Князевъ. Кого это ближе всѣхъ касается, тотъ и выговорилъ это слово!

Варенцовъ *(вздыхая).* Намъ изъ-чужи жаль; а она мать.

Марья Парменовна *(плача).* Я мать; я должна дѣтей обезпечивать.

Князевъ *(Минуткѣ).* Дочитывай.

Минутка. «Городской голова, члены сиротскаго суда и думы, разсмотрѣвъ все это дѣло, нашли представленіе купцовъ

Князева и Мякишева, а равно и прошеніе жены Молчанова заслуживающими вниманія и постановили передать это дѣло на общее обсужденіе всего общества и о томъ, что оно постановитъ, написать приговоръ». *(Кладетъ бумагу на столъ.)*

Колокольцовъ. Вотъ, милостивые государи, предметъ нашего сегодняшняго собранія. Иванъ Максимовичъ и его супруга, голосъ которой имѣетъ первое мѣсто, оба здѣсь. *(Со двора слышатся нетерпѣливые гулы толпы.)* Купечество въ полномъ сборѣ, мѣщане на дворѣ во всемъ своемъ составѣ *(шутливо)* и, какъ слышите, напоминаютъ намъ о себѣ этими воплями.

Дробадоновъ. Какъ вороны крови ждутъ. *(Молчановъ вздрагиваетъ.)*

Князевъ *(тихо)*. Сейчасъ имъ стерву выкинутъ.

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ! вамъ что-то угодно было сказать? Можетъ-быть, вы противъ кого-нибудь что-нибудь имѣете?

Молчановъ. Я противъ всѣхъ имѣю.

Князевъ. Никого, спасибо, не обидѣлъ.

Молчановъ. Здѣсь всѣмъ выгодно, чтобы сдѣлать мнѣ какую-нибудь гадость; но я васъ спрошу: по какому праву вы вздумали устроить этотъ судъ? Пять дней тому назадъ меня никто не признавалъ ни расточителемъ, ни мотомъ, вы сами, господинъ голова, искали у меня перехватить тысячу рублей, для того чтобы истратить эти деньги на какую-то поѣздку. Я совсѣмъ человѣкъ былъ еще, такой же гражданинъ, какъ всѣ здѣсь присутствующіе, какъ Петръ, Иванъ, Сергѣй: у меня можно было денегъ просить, и я могъ дать ихъ или не дать, считая вашу нужду не нуждою, а прихотью. И вы и каждый признавали меня въ такомъ правѣ—и вдругъ вы, тѣ же самые, говорите, что я расточитель, и собираетесь отнять у меня вашимъ мѣщанскимъ судомъ человѣческія права, права, которыя дали мнѣ Богъ, природа. Гдѣ взяли вы такое право?

Князевъ. Минутка, прочитай ему законъ.

Молчановъ. Законъ! Не нужно мнѣ читать закона. Здѣсь дѣло не въ законѣ. Ваши заботы не о томъ, чтобы обстоять законъ, чтобы его исполнить, а о томъ, чтобъ беззаконье сдѣлать на законномъ основаніи. Такихъ расточителей, какъ я, полна Россія. Всѣ люди расточители и всѣ... быть-

можетъ болѣе, чѣмъ я. Гусаръ, который безъ гроша вѣрнаго дохода землянику ѣстъ зимой, по полтиннику за ягодку, — его въ опеку; ремесленникъ, который въ одинъ часъ пропиваетъ недѣльный заработокъ, — его въ опеку; чиновникъ, который сто рублей въ годъ жалованья получаетъ, а въ сто рублей женѣ одно платье шьетъ, — тожъ въ опеку его...

Дробадоновъ. Этого хоть и въ острогъ, такъ у мѣста былъ бы.

Молчановъ. Берите всѣхъ, всѣхъ въ опеку... да и себя ужъ заравно въ опеку сдайте. Такъ пусть и будетъ въ круговую... даже въ ландкартахъ географическихъ, вмѣсто *Россія,* пусть пишутъ *Опека.* Подводя меня подъ это, вы всѣхъ подъ то ведете и сами подъ то же лѣзете.

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ, это все умно сказано и прекрасно, да къ дѣлу не идетъ.

Гвоздевъ. Ты дѣло говори.

Мякишевъ *(подходя, тихо).* А ты оправдывайся, Ваня.

Молчановъ. Да не знаю я, въ чемъ мнѣ оправдываться! Во всемъ этомъ дѣлѣ я дѣла никакого не вижу. Я вижу только одно беззаконіе, взмащивающееся на законъ; одну придирку и ничего болѣе. Я не хвалю себя! я молодъ былъ, кутилъ, любилъ веселую компанію. Что жъ дѣлать! знаю самъ, что, можетъ-быть, полсотни тысячъ промоталъ...

Князевъ *(Минуткѣ).* Запиши.

Молчановъ. Но это было, да прошло.

Князевъ *(сладостно).* А на полсотни тысячъ что̀ вѣдь могло быть сдѣлано-то? Вѣдь это пяти... да что я говорю: пяти! — десяти, пятнадцати семействамъ до вѣку кусокъ хлѣба дать бы можно.

Гвоздевъ. По три тысячи... Это бѣдной семьѣ довѣчный капиталъ.

Молчановъ. Правда, правда. Прокутить полсотни тысячъ — это большая низость; но удивляюсь сердоболью вашему о бѣдныхъ. Всѣ вы такіе, какъ и я. Вотъ здѣсь недалеко ходя сидятъ... ну три, четыре человѣка, которымъ случай кинулъ по милліону: кто же изъ васъ рвался, чтобы свою гортань иль чрево жадное унять и вспомнить неимущихъ?

Колокольцовъ. Тутъ дѣло не о ближнихъ, а о семьѣ, Иванъ Максимычъ.

Князевъ. Да, о семьѣ.

Гвоздевъ. За семью твою боятся: вѣдь вонъ жена что̀ пишетъ: *расточитель.*

Молчановъ. Да позвольте мнѣ спросить васъ: вы отдаете отчетъ своимъ женамъ?

Нѣсколько голосовъ. Да наши жены что жъ понимаютъ?

Канунниковъ. Нашихъ бабъ съ постелей вставать, и то пѣтухи учатъ.

Гвоздевъ. Ребятъ рожать имъ да рядиться — вотъ ихъ рукомесло.

Молчановъ. Такъ что жъ моя-то жена? Особенное она что-нибудь, что ли? Воспитали ее, что ли, какъ-нибудь особенно, что при ней мужъ ничего не долженъ значить? Учили ее, что ли, чему-нибудь полезному?

Анна Семеновна. Да чему полезному учить-то? Нѣшто въ ученьи польза-то бываетъ? У ученыхъ денегъ-то меньше нашего.

Дробадоновъ. У насъ то полезно, что̀ въ ротъ полѣзло.

Канунниковъ *(смѣясь).* Чего ихъ учить-то, когда съ ними и съ неучеными не справишься! Хвосты въ семь аршинъ пораспущаютъ и ходятъ какъ снофиды.

Колокольцовъ. Что жъ, это только значитъ, что наша женщина въ постоянномъ угнетеніи.

Молчановъ. Въ угнетеніи! Гм! и вотъ она, угнетенная, пришла сюда судить предъ всѣми мужа! Она сидитъ здѣсь, съ судьями моими, а я, которому она у алтаря Господняго клялась быть мнѣ подругою... нѣтъ... болѣе того: господиномъ, строителемъ семьи признавать меня... она мой обвинитель здѣсь; она сидитъ въ почетномъ мѣстѣ за то, что посмѣялась надъ клятвой... Она, которой я перстомъ не тронулъ, которой сроду словомъ не обидѣлъ, сидитъ здѣсь съ вами и судитъ мужа такимъ судомъ, какимъ еще Шемяка не судилъ, какимъ не дай Богъ Каину судиться; а я одинъ стою, мнѣ даже мѣста нѣтъ; скамейки у коровницы не заняли, чтобъ посадить меня по крайней мѣрѣ!

Мякишевъ *(встаетъ и торопливо приноситъ Молчанову стулъ).* Сядь, Ваня, сядь, безчастный!

Марья Парменовна. Ну, вотъ тебѣ и стулъ—садись.

Молчановъ *(цѣлуя тестя).* Благодарю. Не надо.

Марья Парменовна. Вотъ ты вѣдь и всегда такой. Вѣдь вотъ при всѣхъ теперь оно и видно: какой ты? То жаловался, мѣста ему нѣтъ, а подали стулъ—и не надо. *(Какъ*

бы тронутая.) Ну, вотъ сюда иди, когда не хочешь тамъ садиться. *(Подвигаясь и освобождая мѣсто).* Иди же что ль? *(Перемѣняя тонъ.)* Вѣдь кланяться не буду.

Молчановъ *(горько).* Намъ съ вами вмѣстѣ больше не жить и не сидѣть.

Князевъ. Кто нынче съ женами изъ образованныхъ людей живетъ!

Марья Парменовна. Такъ что жъ тебѣ съ чужою, стало-быть, показано теперь ужъ жить? Стало чужая лучше?

Князевъ. А какъ же не лучше? въ чужую жену чортъ меду ложку кладетъ.

Марья Парменовна. Нѣтъ, ты когда женился, такъ живи. А не хочешь, такъ заставятъ.

Анна Семеновна. Есть же правило, чтобъ женъ къ мужьямъ отправлять, если требуютъ, — такъ теперь новый судъ, не безпокойся, и на мужей законъ выдастъ. И васъ приводить будутъ.

Князевъ *(съ сдержанной улыбкой).* Будутъ, сватья, будутъ. *(Молчанову.)* А ты, не такъ ты на это дѣло, другъ Иванъ Максимычъ, смотришь. Я, долго твои умныя рѣчи слушавши, вотъ что̀ тебѣ скажу: строитель-то семьи ты строитель, а тебѣ жены чуждаться нечего, да и по нашему, по русскому закону невозможно. Ты самъ вѣдь вспомянулъ сегодня, что вы съ нею въ церкви вѣнчаны; а мы не нѣмцы: у насъ разводовъ нѣтъ. Она здѣсь проситъ на тебя! Да что жъ такое? Мало ль женъ, которыя просили на мужей, не только что въ обществѣ, а и у квартальныхъ на мужей жаловались, да вѣдь не разстаются же съ ними со всѣми мужья— живутъ.

Канунниковъ *(смѣясь).* А у мѣщанъ и у мужиковъ такъ еще и розгами мужа на сходкѣ по жениной жалобѣ отжарятъ, а все опять живутъ. Домой придутъ, онъ ее пощелкаетъ... *(Махнувъ рукою.)* У насъ на этотъ счетъ просто.

Гвоздевъ. Куда подѣнешься! законъ свой надо соблюдать.

Варенцовъ. И воютъ, да живутъ.

Молчановъ *(къ головѣ).* Иванъ Николаичъ, позвольте васъ спросить, для чего я позванъ сюда передъ обществомъ? За расточительность какую-то вы собрались судить меня, такъ прикажите про расточительность и говорить, а не про то... что̀ здѣсь говорится.

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ, вѣдь мы еще не парламентъ, намъ парламентскія формы чужды. Мы народъ.

Князевъ. Мы простецы, такъ попростому и разсуждаемъ, а по-ученому, по-заграничному не умѣемъ и не поймемъ пожалуй.

Колокольцовъ. Быть-можетъ, въ этомъ есть связь во всемъ...

Анна Семеновна. Да какъ же не связно! Теперь ужъ заодно въ одно время его судить и за расточительность, и за нелюбовь.

Колокольцовъ. За нелюбовь, Анна Семеновна, нельзя судить.

Анна Семеновна. А отчего жъ нельзя?

Колокольцовъ. Нѣтъ основаній нравственныхъ; закона нѣтъ.

Анна Семеновна. А развѣ все по закону судятъ? Нѣтъ закона—по писанію судить можно.

Князевъ *(улыбаясь).* Ну, полно, сватья, врать. *(Молчанову.)* А я опять тебѣ, Иванъ Максимычъ, рѣшаюсь доложить. Можетъ ты и вправду честный человѣкъ...

Колокольцовъ *(перебивая).* Да въ этомъ, я думаю, и сомнѣваться невозможно.

Князевъ. Ну да. Честный человѣкъ у насъ, говорятъ, одну жену обманываетъ: такъ ужъ, стало-быть, и потому ты честный. А вотъ ты говоришь, что такое въ твоей женѣ особеннаго. Я тебѣ разскажу это. Ты вспомянулъ, что тамъ вамъ было въ церкви пѣто, а пѣсни-то эти, должно, не всегда памятовалъ. Пять лѣтъ ты, женатымъ бывши, по Вѣнамъ да по Парижамъ разъѣзжалъ—много ты о ней тамъ вспомнилъ? А вѣдь она здѣсь, какъ пташка, взаперти сидѣла; дѣтей твоихъ глядѣла, а суперантовъ, какъ другія прочія, не заводила. *(Съ удареніемъ.)* Имени-то твоего, безпутная ты голова, она вѣдь не замарала, хоша... стоилъ бы ты, можетъ, того, и очень бы стоилъ.

Молчановъ. Вы за собой бы лучше посмотрѣли, Фирсъ Григорьичъ.

Князевъ *(гнѣвно).* Я не бросалъ жены; домовъ любовницамъ не покупалъ.

Молчановъ. А съ задняго крыльца черезъ садовую калитку всю слободу къ себѣ переводили.

Колокольцовъ. Тсс! Господа! господа!.. Иванъ Максимычъ, вѣдь мы не на площади.

Молчановъ *(горячо).* Не позволяйте оскорблять меня. Противъ жару и камень треснетъ.

Колокольцовъ. Во всякомъ случаѣ, Иванъ Максимычъ, на оскорбленья можно жаловаться послѣ; а домашними дѣлами считаться здѣсь не мѣсто.

Варенцовъ *(смирно).* Особенно этакими пустяками: ими какъ и считаться?

Гвоздевъ *(вздохнувъ).* Такое дѣло Богъ одинъ разсудитъ; а ты, милуша, прошлымъ человѣка не кори.

Дробадоновъ. И посейчасъ оно есть.

Колокольцовъ *(улыбаясь).* Калина Дмитричъ... слово здѣсь отвѣтственно.

Молчановъ *(всплеснувъ руками).* О, Господи! И это міръ, и это судьи! *(Бѣшено къ Колокольцову.)* Рѣшайте что-нибудь со мной скорѣй: я не могу здѣсь съ вами оставаться! Это не судъ, а разговоры возмутительные. Я не хочу этихъ разговоровъ слушать: у меня дѣло есть; меня люди дома ждутъ.

Князевъ. Не торопись, не всюду разомъ поспѣшай. Кто ждетъ, такъ подождетъ, а то другая рѣчь — была бъ постелюшка, а милый найдется.

Молчановъ *(быстро сомкиваетъ въ рукахъ шляпу, но, овладѣвъ собою, говоритъ спокойно).* Я просто думаю, что вы издѣваетесь; это болтовня какая-то.

Дробадоновъ. А домъ, что купленъ Гусляровой,—такъ это я совралъ: домъ этотъ *я* купилъ. *(Общее движеніе.)*

Князевъ *(смѣясь).* Ха-ха-ха, проворовался грѣшникъ...

Молчановъ *(перебивая).* Не надо лгать, Калина Дмитричъ: я купилъ. До этого никому дѣла нѣтъ: я свое дарю.

Князевъ. Врешь, не свое, а дѣтское.

Молчановъ. Вы врете! Я своимъ дѣтямъ отецъ, а не холопъ кабальный, чтобы при нихъ уже ничѣмъ не смѣлъ распорядиться. Я долгъ, обязанность имѣю помочь Гусляровымъ.

Анна Семеновна. Гдѣ жъ это такая обязанность, въ какомъ законѣ показана?

Марья Парменовна. А ты еще знаешь ли то, что отъ любви-то дѣти бываютъ?

Молчановъ *(презрительно женѣ).* Знаю! Я и то знаю, что они, къ стыду человѣческому, у низкихъ людей, каковы мы съ вами, и безъ любви рождаются.

Канунниковъ *(весело).* Ребята, что мокрицы, они вездѣ водятся.

Марья Парменовна. Ну, такъ что жъ ты? Такъ ты и долженъ помнить, что вѣдь и другихъ дѣтей надо будетъ награждать.

Князевъ. Ну, гдѣ тамъ нонче дѣти родятся, гдѣ ихъ не хочутъ!

Молчановъ *(бѣшено).* Господинъ голова! велите имъ молчать!... Что это въ самомъ дѣлѣ такое? До чего это дойдетъ? Я протестуюсь и выйду вонъ отсюда.

Колокольцовъ *(тупясь въ бумаги).* А для чего вы вздумали продать свое имѣнье, Иванъ Максимычъ, когда это тревожитъ вашу супругу?

Молчановъ *(вертя свою шляпу).* Для чего?

Князевъ. Да, для чего? Ты не верти шляпы-то, а то голова болѣть будетъ.

Молчановъ *(быстро скомкиваетъ шляпу и въ бѣшенствѣ бросаетъ ее въ Князева. Всѣ вскакиваютъ).* Вотъ для чего, чтобъ этотъ гадъ изъ терпѣнія бы меня не выводилъ. *(Смятенье. Всѣ встаютъ.)*

Колокольцовъ. Иванъ Максимычъ! Вы не въ своемъ умѣ.

Князевъ. Я дураку прощаю.

Колокольцовъ. Но мы простить не можемъ: мы всѣ оскорблены.

Молчановъ *(совершенно забываясь).* Вы!... Вы?... Да что такое вы? *(Указывая на Князева.)* Когда онъ, воръ, убійца, развратитель... когда *онъ* не боится васъ, такъ что жъ такое вы? *(Въ азартѣ.)* Я говорю вамъ: онъ убійца! Пишите протоколъ!! Онъ утопилъ въ рѣкѣ моего отца. Весь городъ это говоритъ! *(Князевъ вздрагиваетъ.)* Что вы меня терзаете допросами, тогда какъ у меня отцовская кровь изъ сердца выступаетъ!.. Вы злить меня вытребовали... Я понимаю васъ... вы всѣ здѣсь Князевская шайка!.. Кто не дуракъ, тотъ плутъ; а кто не плутъ, такъ грошъ ему цѣна. *(Князевъ встаетъ и тихо машетъ рукою по направленію къ двери, давая знакъ всѣмъ выходить. Ближайшіе къ дверямъ купцы тотчасъ же одинъ за другимъ выходятъ. Прочіе, не сводя съ Молчанова глазъ, тоже подвигаются къ двери. Молчановъ же, не замѣчая этого движенія, продолжаетъ.)* Вы понагнали во дворъ сюда мѣщанишекъ, изъ которыхъ Князевъ давно весь мозгъ повытрясъ. Онъ ихъ угощалъ черезъ своихъ сидѣльцевъ. Онъ ихъ стращалъ, что фабрики черезъ меня позакрываются и черезъ меня ни у

кого у нихъ работы не будетъ. Вы научили доброму мою жену просить на мужа... Зачѣмъ еще дѣтей моихъ сюда не привели?..

Марья Парменовна *(проходя во внутреннія комнаты).* Нечего тебѣ здѣсь дѣтей вспоминать.

Молчановъ *(Колокольцову).* А вы! вы... голова, товарищъ мой, вы съ учеными, съ поэтами водили дружбу. Соціалистъ вы были, народникъ... славянинъ вы... *вы* изъ-за чего подличаете? Изъ-за того, что Фирсовымъ радѣтельствомъ попали въ головы... Простите вы меня, вы... вы не голова... а чортъ васъ знаетъ, что̀ вы... *(забываясь)* вы мерзавецъ!

Колокольцовъ *(быстро нагинается подъ столъ и шаритъ тамъ рукою).*

Князевъ *(Колокольцову).* Чего вы ищете?

Колокольцовъ. Бумага, кажется, одна упала; да это ничего... *(Не разгибаясь выбѣгаетъ на дворъ. За головою одинъ за другимъ выходятъ остальные купцы.)*

Молчановъ. *Вы* расточители!.. Вы расточили и свою совѣсть, и у людей расточили всякую вѣру въ правду, и вотъ за это расточительство васъ всѣ свои и всѣ чужіе люди честные—потомство, Богъ, исторія осудятъ... *(Князевъ уходитъ въ среднюю дверь и запираетъ ее за собой.)*

Молчановъ. Не расточителемъ, а стяжателемъ великимъ буду... если Богъ поможетъ мнѣ хоть все, хоть до послѣдняго алтына все отдать тому, кто бы сумѣлъ вдохнуть живую душу въ грудь моимъ открытымъ всякому пороку дѣтямъ!...

Анна Семеновна *(проходя во внутреннія комнаты).* А для чего же сказано: оставь останки младенцамъ своимъ? *(Уходитъ.)*

Молчановъ. Они богаче будутъ, оставшись нищими, да не съ такой волей слабой и не съ такимъ ничтожнымъ сердцемъ, какое тутъ *(бьетъ себя въ грудь)*—какое тутъ у ихъ несчастнаго отца! *(Бледнѣетъ и падаетъ безъ чувствъ въ кресло).*

Дробадоновъ *(сидѣвшій до сихъ поръ съ опущенною головою во все время монолога Молчанова, быстро вскакиваетъ).* Что это? *(Испугавшись).* Всѣ ушли! *(Вскакиваетъ и сильно хватаетъ Молчанова.)* Иванъ Максимычъ! Не время спать! *(Въ ужасѣ.)* Онъ сомлѣлъ... Что дѣлать, Господи! *(Бросается къ двери.)* Га! заперта! *(Толкаетъ дверь, но она не по-*

дается.) Мы здѣсь въ ловушкѣ! *(Кидается къ Молчанову, схватываетъ его безчувственнаго и тащитъ передъ собой къ окну.)* Приди, приди въ себя! Черезъ минуту кончатъ судъ, и нѣтъ спасенья!

Молчановъ *(растрепанный).* А!.. что такое?.. лѣсъ...

Дробадоновъ *(открываетъ окно, черезъ которое тотчасъ же врывается гулъ большой толпы; онъ держитъ Молчанова подъ плечи передъ окномъ и кричитъ громко).* Народъ! міръ! люди, на комъ есть крестъ! кто въ Бога вѣруетъ! глядите: это человѣкъ... *(Замѣчая, что его не слышатъ, бросаетъ Молчанова въ кресло).* Не слышатъ! *(Бѣжитъ съ размаха въ запертыя двери и растворяетъ ихъ. Пауза.)*

ЯВЛЕНІЕ 10-е.

Молчановъ *(одинъ, приходя въ себя).* Что?.. Гдѣ Калина Дмитричъ? Всѣ ушли... *(Схватываетъ себя съ отчаяніемъ за голову.)* Что это было? *(Съ увеличивающимся ужасомъ.)* Я ихъ бранилъ, я велъ себя, какъ мальчикъ... *(За сценой слышенъ голосъ Дробадонова:* «Спросите совѣсть: что кому онъ злое сдѣлалъ».) Пойду имъ въ ноги кинусь... вѣдь осудятъ... *(Прислушивается.)* Калина Дмитричъ говоритъ! *(Падаетъ на колѣни.)* Великій Господи! когда судили Гуса, соловей запѣлъ, и чье-то сердце дрогнуло отъ этой пѣсни,— неужто же ихъ и человѣческое слово не тронетъ! *(Слышенъ вдругъ громкій шумъ снаружи и голоса:* «Врешь! знаемъ мы! Ты не учитель намъ: насъ Фирсъ Григорьичъ не обманетъ». *Свистъ, гамъ и озлобленные крики:* «Вонъ мускательщика! Вонъ Дробадонова!» *Нѣсколько рукъ вталкиваютъ сильно растрепаннаго и помятаго Дробадонова въ двери.)*

ЯВЛЕНІЕ 11-е.

Тѣ же и Дробадоновъ.

Дробадоновъ *(въ совершенно разорванномъ сюртукѣ влетаетъ на сцену отъ сильнаго толчка сзади).* Ухъ! *(Оправляется).*

Молчановъ *(быстро вставая и схватывая Дробадонова за руку).* Что?

Дробадоновъ. Опека.

Молчановъ *(падаетъ съ обморокъ).*

Дробадоновъ *(поднимаетъ Молчанова, разстегиваетъ его жилетъ и даетъ ему со стола стаканъ воды).*

ЯВЛЕНІЕ 12-е.

Тѣ же и Служанка.

Служанка *(вбѣгая на стукъ отъ паденія Молчанова)* Что это здѣсь упало, Калина Дмитричъ?

Дробадоновъ. Что упало, то подняли.

Служанка. Что жъ тутъ случилось?

Дробадоновъ. Деревня мужика переѣхала. Пошла, принеси мнѣ иглу съ ниткою, да поздоровѣе.

(Служанка уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 13-е.

Тѣ же и Князевъ.

Князевъ *(сходитъ съ палочкою, и всѣ, которые выходили съ нимъ на судъ, кромѣ женщинъ).*

Князевъ *(тихо Колокольцову).* Обирайте руки-то, не расходившись.

Колокольцовъ. Не расходитесь, господа! Прошу сейчасъ же подписывать приговоръ! *(Минутка кладетъ бумагу на столъ, и начинается подписываньe. Подписавшіеся отходятъ и садятся. Молчановъ въ это время поднимается, открываетъ глаза и сидитъ въ остолбенѣніи).*

Князевъ *(на авансценѣ).* Про что вѣдь говорилъ?.. Молчановъ-то, я говорю, про что говорилъ? Смѣхъ! Ха-ха-ха! Только задѣнь ихъ, сейчасъ дурь замелютъ. Даже про исторію... Ну скажите вы пожалуйста, кто же этой парни у насъ бояться станетъ?.. Самъ себя осудилъ! *(Вынимаетъ изъ кармана маленькую бомбоньерку, достаетъ изъ нея пастилку и сосетъ.)* А Дробадоновъ-то какъ-было вырвался... Хи-хи-хи... Нѣтъ, это, братъ, не то! Тебя за добродѣтели твои, за справедливости могутъ чтить, кто хочетъ... а тутъ на голодномъ брюхѣ музыка построена, а не на справедливости... Хе-хе... Я слово чуть одно сказалъ, а подголоски подхватили, что ты корысть имѣешь въ томъ, чтобъ стали фабрики, ну и... на кулачьяхъ вынесли... Но онъ ужъ началъ не жалѣть и самого себя: такіе люди въ обществѣ не годны. *(Сердито оборачивается и громко.)* Купецъ Калина Дробадоновъ!

Дробадоновъ *(подписываясь).* Пишетъ.

Князевъ *(съ ироніей).* Что? отъ міра видно не прочь.

Дробадоновъ *(кладя перо).* На міръ не челобитчикъ.

Князевъ. А? *(Подходитъ и смотритъ въ бумагу.)* Опять «*кипецъ*». *(Минуткѣ).* Читай!

Минутка *(беретъ бумагу).* «1867 года, мая»...

Князевъ. Не все, а суть одну читай.

(Входитъ служанка и подаетъ Дробадонову иголку съ длинной бѣлой ниткой. Дробадоновъ садится на видномъ мѣстѣ и начинаетъ зашивать свой разорванный народомъ сюртукъ).

Минутка. Мм...м...м. «А посему приговорили: признать его, Ивана Молчанова, на основаніи всего вышеизложеннаго, злостнымъ расточителемъ *(Молчановъ быстро приподнимается)* и, въ огражденіе разрушаемаго имъ благосостоянія жены своей и двухъ малолѣтнихъ дѣтей, устранить его отъ права распоряженія своимъ имуществомъ и сдать оное въ опеку благонадежнымъ людямъ»...

Молчановъ *(перебивая).* Что? что такое?

Князевъ. Въ опеку. Въ опеку тебя приговорили.

Молчановъ. Нѣтъ! Этого не можетъ быть!

Князевъ *(сося пастилку).* Ну да, не можетъ.

Молчановъ. Да гдѣ жъ былъ этотъ судъ?

Князевъ. Вотъ, видишь, за руганьемъ-то ты не видѣлъ, какъ и овинъ сгорѣлъ.

Молчановъ. Тутъ разговоры одни шли.

Князевъ. А развѣ въ чемъ же судъ, какъ не въ разговорѣ? Ты все парламентовъ смотришь; а у насъ это просто.

Молчановъ *(перебивая).* За что же, господа!.. За что въ опеку? Помилуйте! мнѣ тридцать лѣтъ...

Князевъ *(ворочая во рту пастилку).* Хотя бъ и триста; а міръ тебя ребенкомъ призналъ.

Молчановъ. Господа! *(Всѣ тупятся и смотрятъ на Князева.)* Фирсъ Григорьичъ! За что ты цѣлый вѣкъ меня преслѣдуешь? Пусти меня на волю—я уйду! Или ты, можетъ быть, униженья моего хотѣлъ?.. *(Падаетъ передъ нимъ на колѣни.)* Смотри, я здѣсь при всѣхъ передъ тобою на колѣняхъ... прости меня... прости меня... въ моей передъ тобою невинности! прости! *(Кланяется въ землю.)*

Князевъ *(проглатывая конфетку).* Вотъ такъ-то бы давно, сынокъ! Не гордыбаченьемъ у старыхъ людей берутъ, а почтеніемъ. А вы всѣ молодость цѣны себѣ нынче не сложите. Мы, дескать, честь свою и гордость выше всего ставимъ; а все это вздоръ ваши и честь, и гордость! Пока

лафа вамъ—ходите, какъ павы, хвостъ раскинувши, а супетъ васъ клюкою хорошій старичокъ—и поползете жабами. Не хорошо такъ, другъ!.. Вѣдь вотъ теперь смирился пылкій Шлипенбахъ — стоишь передо мною на колѣняхъ, и въ этомъ умный человѣкъ тебя не покоритъ. Ты знаешь передъ кѣмъ стоишь; не пню почтенье отдалъ. *(Кладя ему на голову руки.)* Ну, Богъ тебя проститъ. Теперь вотъ попроси людей, чтобы тебя простили за грубости.

Молчановъ. Простите. Я себя не помнилъ!

Всѣ *(разомъ).* Богъ проститъ.

Князевъ. Нельзя такъ, другъ, не помнить. Ну, да ужъ это прощено. *(Минуткѣ).* Читай, Минутка!

Минутка. «И опекунами къ имѣнію Молчанова назначить жену его Марью Парменовну и съ нею вмѣстѣ соопекуномъ отца ея, купца Пармена Мякишева; а какъ сей Мякишевъ на сходѣ отъ такой обязанности отказался, то вмѣсто его *(откашлявшись)* поручить сію должность съ полною за цѣлость имущества отвѣтственностію *(Молчановъ встаетъ съ колѣнъ и остро смотритъ на Князева)* купцу Фирсу Григорьевичу Князеву». Иванъ Максимычъ, подпишитесь, что вамъ объявили. *(Подаетъ Молчанову перо).*

Молчановъ *(не принимаетъ пера и совсе не замѣчаетъ Минутки).* Ты! ты!.. ты мой опекунъ! *(Бросается съ азартомъ на Князева. Общее движеніе въ защиту Князева.)*

Князевъ *(поднимая палочку противъ лица Молчанова и позируя).* Иванъ Максимычъ, не шали!.. У насъ, дружокъ, для этакихъ хватовъ есть упокойчекъ темненькій, въ смирительномъ. *(Къ обществу рѣшительно.)* Съ согласія моей соопекунши, сегодня объявляю всѣмъ словесно, а завтра пошлемъ въ газетахъ напечатать, чтобы Молчанову ни отъ кого никакого довѣрія не было и никакихъ его долговъ, ни векселей и ни росписокъ мы принимать не будемъ.

ЯВЛЕНІЕ 14-е.

Тѣ же и Анна Семеновна.

Анна Семеновна. Господа, прошу покорно закусить! *(Всѣ кланяются.)*

Князевъ *(спокойно).* Адмиральскій, господа, ударилъ. Пора и закусить. *(Уходитъ. За нимъ уходятъ всѣ, оставляя въ комнатѣ Дробадонова и Молчанова.)*

Молчановъ. Калина Дмитричъ! что жъ это?

Дробадоновъ. А ты бъ поболѣе бѣсился.

Молчановъ. Неужто жъ это не во снѣ, а вправду?

Дробадоновъ *(окончивъ пришиваніе, закалываетъ въ спинку кресла иголку).* Да, Фирсъ Григорьичъ молодецъ! И не одинъ я его похвалю, а и чортъ, и тотъ его похвалитъ. *(Идетъ къ дверямъ, куда всѣ вышли во внутренніе покои.)* Пойду смотрѣть, какъ запиваетъ міръ, поѣвши человѣчины.

Молчановъ *(останавливая его восклицаніемъ).* Калина Дмитричъ!

Дробадоновъ *(оборотясь).* Что?

Молчановъ. И ты... и ты... ты, честный человѣкъ... одинъ, которому я съ дѣтства вѣрилъ... и ты своей рукой подписалъ!

Дробадоновъ. Иванъ Максимычъ, ты вправду, знать, не знаешь, что̀ такое міръ? Спроси о немъ мои бока. Рѣдко я на него хожу, а все жъ это имъ не первый снѣгъ на голову... Одинъ на міръ не челобитчикъ. Тверезъ ты или пьянъ, всѣ говорятъ, что пьянъ: ступай и спать ложись, а то силкомъ уложатъ.

Молчановъ. Ты подписалъ! *ты подписалъ!*

Дробадоновъ *(возвращаясь къ Молчанову на авансцену и показывая обѣими руками на свою фигуру).* Великъ и силенъ кажется тебѣ купецъ Калина Дробадоновъ?.. а міръ ядущъ: сожретъ и этого съ кишками. *(Быстро поворачивается и уходитъ.)*

ЯВЛЕНІЕ 15-е.

Молчановъ и Марина.

Марина *(которая входитъ со двора, тщательно закутавшись большимъ платкомъ, осматривается и, сбросивъ однимъ движеніемъ платокъ, быстро подбѣгаетъ къ Молчанову).* Иванъ Максимычъ!

Молчановъ *(вздрогнувъ).* Марина! Богъ съ тобой! Зачѣмъ ты здѣсь? *(Стараясь выпроводить ее.)* Бѣги отсюдова! бѣги скорѣй! бѣги!

Марина. Не бойся. Я видѣла въ окно: всѣ за столомъ сидятъ. Я за тобой пришла, чтобы ты не оставался здѣсь.

Молчановъ *(тревожно и какъ бы не сознавая, что говоритъ).* Нѣтъ... мнѣ отсюдова нельзя... Я Фирса жду...

Марина *(рѣшительно).* Вздоръ говоришь! Иди! Тебѣ не нужно больше видѣть Фирса!.. Идемъ!.. идемъ!..

ЯВЛЕНІЕ 16-е.

Тѣ же и Марья Парменовна.

Марья Парменовна *(очень раскраснѣвшаяся, съ алыми губами, выходитъ изъ внутреннихъ покоевъ; она полупьяна. Увидѣвъ Марину, она тихо крадется къ нимъ и становится сбоку Гусляровой, не замѣченная ни ею, ни мужемъ).*

Марина *(Молчанову).* Не будь ребенкомъ. Не злобься и не ползай... Скорѣй, одной минуты не теряя, въ Петербургъ, ищи суда... Въ судахъ, въ сенатахъ не найдешь защиты,— къ Царю иди... пади къ его ногамъ, скажи ему: *(Молчановъ, слушая ее, поднимается со стула)* Надежа, защити! я умаленъ до возраста младенца! будь Богъ земной—создай меня во человѣка... Идемъ! Я буду стоять передъ тобой и молиться, чтобы Господь управилъ сердце Государя. Идемъ, идемъ! что бы ни встрѣтилось, живые въ руки не дадимся!

Молчановъ *(дрожа, повторяетъ).* Я умаленъ до возраста младенца... Будь Богъ земной—создай меня во человѣка!.. *(Бѣжитъ).*

Марья Парменовна *(хватаясь за платье мужа).* Куда? куда?.. Я, вѣдь, все слышала... Нѣтъ, я его не отпускаю!

Марина *(быстро выпроваживаетъ Молчанова однимъ движеніемъ за двери, а сама схватываетъ Марью Парменовну сзади за локти и, перекруживъ ее три раза около себя, сажаетъ на полъ и убѣгаетъ).*

ЯВЛЕНІЕ 17-е.

Марья Парменовна и **Анна Семеновна** *(входитъ совсѣмъ пьяная и красная, какъ піонъ).*

Марья Парменовна *(сидя на полу, съ улыбкою).* У-у-ухъ, какъ вся земля закружилась!

Анна Семеновна *(покачнувшись).* Это тебѣ съ хересу... У меня и у самой кружится...

(Занавѣсъ падаетъ).

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Паркъ при загородномъ домѣ Молчанова. Между множествомъ деревьевъ, вправо въ одной куртинѣ замѣтно старое, толстое дерево, въ которомъ сбоку виденъ лазъ въ большое дупло. Вечерѣетъ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Марина и **Дробадоновъ** *(сидятъ на дерновой скамьѣ подъ старою липою).*

Марина. А ты думаешь, я сама спокойна? Знаетъ про то только грудь моя да подоплека, какъ я вѣрю въ хорошее.

Дробадоновъ. А я опять скажу, не про что много и безпокоиться. Я для того и приговоръ подписалъ, чтобы и спора изъ пустого не заводить. Сегодня вы съ Иваномъ Максимычемъ выѣдете; черезъ четыре дня въ Питерѣ, и дѣло это намъ только за смѣхъ вспоминаться станетъ.

Марина. Все не про то ты говоришь. Опеку снимутъ, разумѣется. Ну, а дальше что-жъ?

Дробадоновъ. Да дальше то жъ, что̀ было...

Марина. Славное житье!.. А все я виновата: сколько любила, вдвое того погубила.

Дробадоновъ. Не было въ его жизни и до тебя много путнаго: души онъ честнѣйшей, да не строитель, по правдѣ сказать. Такъ бы, прямою дорогой, да съ прямыми людьми, онъ бы еще жилъ ничего; а тутъ, чтобы у насъ, промежъ нашимъ народомъ жить, надо, чтобъ шкура-то у тебя слоновая стала. Тогда развѣ вынесешь. А ему гдѣ это вынесть: съ него со всего кожа-то совсѣмъ словно содрана; къ нему еще руку протягиваютъ, а ужъ ему больно—кричитъ. Нашъ народъ деликатности не разбираетъ, и этакъ въ немъ жить невозможно.

Марина. А главнѣй всего, что все спуталось да перепуталось. Чтобъ въ немъ душу поднять, я его тѣшила тѣмъ, потому что имя Государя въ такую минуту много значитъ. А просить — какъ просить? *(Конфузясь.)* Это хорошо съ чистой совѣстью и къ Царю, и къ Богу, а мы... Какъ онъ противъ своего закона, какъ и я... *(Махнувъ рукой.)* Гдѣ еще тутъ и ротъ разѣвать!

Дробадоновъ *(вздохнувъ).* То-то пузо-то у насъ все въ жемчугѣ, а сзади-то и у тѣхъ, которые чище-то, и то на аршинъ грязи налипло... О-ихъ-хе-хе-хе-хе... Ну, да нечего и безпокоить Государя: уповаю несомнѣнно, что все это и такъ, по закону сдѣлается.

Марина *(задумчиво).* Надо ужъ было ему одному-одинёшеньку жить; не путаться, не запутываться, чтобы не за что брать его было.

Дробадоновъ. Разумѣется, такъ бы лучше было; да вѣдь и одному съ горемъ тожъ не радостно.

Марина *(живо).* А ты думаешь, что когда бъ не горе его, такъ промежъ насъ что-нибудь сталось бы? Ни въ жизнь жизненскую! Горе это его меня ко всему къ этому и вывело. Все было слышу, такой онъ, сякой, негодящій. Жена сама коритъ: ужъ что жъ тутъ—стало-бытъ либо жена непутящая, либо это все правда? Вотъ и пойдетъ вспоминаться, какъ мы дѣтьми, бывало, играемъ... Въ мужа съ женой, бывало, все играли *(сквозь горькую улыбку)*... не знали, что не мужъ съ женой изъ насъ будетъ, а чортово радовище... *(Утираетъ тихо слезу.)* Ахъ, какое чудное было дитя! Я такой доброты, такой нѣжности съ той поры ни въ одномъ ребенкѣ не видѣла.

Дробадоновъ. А вотъ эта нѣжность-то на нашемъ народѣ, видишь, чѣмъ сказывается. Самъ нѣженъ, да и отъ другихъ все нѣжности ждетъ. А нѣту ея — онъ сейчасъ на дыбы.

Марина. Онъ простодушный!

Дробадоновъ. Простодушный!.. А это тоже не вездѣ кстати. Насъ вѣдь этимъ не удивишь. У насъ будь простъ, рубашку скинь,—скажутъ можетъ еще крестъ серебряный есть на шеѣ — его подай. У насъ требуется, чтобы человѣкъ былъ во всеоружіи своемъ, а не простоквашею да нетерпячкою. Это все ему еще бѣлою соской рыгается.

Марина. А все, будь у него въ семьѣ все какъ слѣдуетъ... Не такихъ, да и то берегутъ, ни до срама, ни до позора ни до какого не допускаютъ.

Дробадоновъ. Разумѣется. Если бы ты бы жена-то его была, ну ты бы его сберегла и понѣжила и не допустила до этой несносливости. Такъ что жъ, и тутъ вѣдь опять, и въ этомъ дѣлѣ ему его бѣлая соска мѣшала. На тебѣ надо было жениться, надо было половину гамзы потерять. Онъ женился на той, которая у него все взять норовитъ.

Марина *(не слушая).* Чудное было дитя!.. Я, какъ оса, такъ и росла такая ехидная. Безстыжая была я дѣвчонка, заведу его, бывало, куда-нибудь въ ровъ, или въ садъ далеко и прибью. *(Утираетъ глаза.)* Ежели есть что у него—отниму—онъ все-было терпитъ... А разъ покойница мать увидѣла, какъ я его толкла на грядахъ, да ѣсть не дала мнѣ за это, и онъ ѣсть не сталъ... ну, скажи мнѣ пожа-

луйста!.. *(Плачетъ.)* Взрыдался, всплакался: «мою Маринушку! мою Маринушку! не обижайте мою Маринушку!»... Ахъ, чудное было дитя! ахъ, дитя было чудное!.. Ахъ! *(ударяя себя въ грудь)* ахъ! когда бъ знали... вы, какъ я его любила!.. Мнѣ десятый годочекъ ишелъ, когда его въ Петербургъ увозили... я себя не помнила, что̀ со мной было. Фирсъ съ нимъ въ каретѣ сидѣлъ; а я все догнать ихъ хотѣла... бѣжала, бѣжала, пока ямщикъ кнутомъ чуть глаза всѣ не выстегалъ... ножонки подкосились, какъ цыпленокъ въ пыль и упала.

Дробадоновъ. То-то, дитя, не слѣдъ видно намъ, пѣшеходамъ, гоняться за тѣми, что̀ ѣздятъ въ каретахъ.

Марина. Милый! хорошій мой! смыслъ-то во мнѣ какой въ ту пору былъ? Я и черезъ шесть-то лѣтъ, когда ихъ вѣнчали съ Марьей Парменовной, не умнѣе была: сквозь народъ въ церковь пролѣзла, да о бокъ съ нимъ становлюсь, чтобы будто мнѣ съ нимъ это вѣнчаніе пѣто... Да и кромѣ того я скажу тебѣ, я вѣдь какая-то порченая, что ли: ни жизни, ни смерти мнѣ нѣтъ, пока не добьюсь того, что̀ въ голову вступитъ. Изъ чужихъ краевъ когда онъ вернулся, я вѣдь уже тогда три года замужемъ была... Въ эту пору мы мельницу въ Балкахъ держали... Услыхала я, что онъ вернулся, что его здѣсь все злосудятъ опять—вотъ, словно могилу мою разрывать начали: такъ встосковалася. О полуднѣ, какъ жаръ, бывало, нахлынетъ, разморитъ всѣхъ, спятъ, а я уйду тихонько подъ скрынь, гдѣ вода бьетъ съ колесъ, — и вѣришь ли — кто-то со мною тамъ все говорилъ... и я не боялася этого говора... я сама говорила о чемъ-то... Чародѣйкою стала... въ грозу съ серебра умывалась, чтобы ему полюбиться... въ страшную бурю бѣгала въ степь его по-вѣтру кликать... *(въ экстазѣ)* и одинъ разъ... Это ночью случилось подъ Ивана Купала... мужа не было дома... о полуночи буря такая поднялась, что деревья съ кореньями на землю клала... Темень и грохотъ этотъ душили меня. Я горькими слезами плакала, о чемъ—и сама я не знала... и тутъ въ лицо мнѣ все что-то изъ-за плечъ, то съ одной, то съ другой стороны, взглянетъ... Я сорвалась съ постели. Не помню, куда бѣжала, а только его все звала и... *(вздохнувъ)* и тутъ онъ пришелъ... На охоту ходилъ; сбился съ дороги... *(Поникая головою.)* Ни жизни, ни смерти себѣ не чаяла, пока съ нимъ, какъ хотѣла, не

свидѣлась... Спознавалися сладко, а теперь тяжело разставаться... *(Восклонясь.)* Калина Дмитричъ! скажи мнѣ: намъ надо разстаться?.. Скажи?.. Вѣдь это, вѣдь все черезъ меня поднимается вьюга? Ему было бы легче, когда бъ я, лиходѣйка, на шею ему не повисла... Не вкусивши любви, не такъ къ ней манится... Онъ бы къ дѣтямъ ютился.—Правда? Калина Дмитричъ!.. Калина Дмитричъ!.. да что жъ ты молчишь!

Дробадоновъ. Что, дитя, говорить противъ правды?

Марина. Ты посовѣтуй, какъ быть мнѣ?

Дробадоновъ. Совѣтовать надо, когда человѣкъ въ заблужденьи; а тебя Господь самъ ведетъ къ чему-то чудному, такъ ужъ не человѣку тутъ учить, когда Онъ самъ твоей души огненнымъ перстомъ своимъ касается.

Марина *(строго).* Слушай! Пока его судили,—я надъ собою судъ сотворила. Господь вправду былъ въ душѣ моей... Нашъ путь, которымъ мы идемъ, кривой; а по кривой дорогѣ впередъ ничего не видно. Все это я рѣшила кончить. Я съ нимъ, какъ сказано, поѣду въ Петербургъ... поѣду для того, чтобъ поддержать его теперь... а тамъ, какъ онъ съ дѣлами справится, я скроюсь... пропаду... со слуху сгину... Онъ попечалится; тоска въ дѣлахъ пройдетъ... а мнѣ...

Дробадоновъ *(перебивая).* Постой, постой, не части такъ часто. Помыселъ твой—помыселъ великій! Отъ Бога къ намъ, не отъ сластей земныхъ такіе помыслы нисходятъ; а съ даромъ Божьимъ бережливо обращайся. Ты говоришь: «что мнѣ!» то-есть тебѣ-то что? Ты сама о себѣ не думаешь; а въ волѣ Божьей, чтобъ всѣмъ было добро и никому зло. Ты пропадешь, и слуху о тебѣ не будетъ. Вѣдь это ты ему по всякій часъ упрекъ создашь! Гдѣ ты? что̀ сдѣлалось съ тобою? Быть-можетъ, въ воду бросилась изъ-за него, или бродягою непомнящей пошла въ Сибирь по пересылкѣ?.. А можетъ и того еще хуже... вступитъ, пожалуй, въ сердце, что, можетъ, ты и любви-то его не стоила... Этого съ душой человѣку перенести невозможно. Нѣтъ, другъ, не пропадай, живи ему въ подкрѣпленье! Не бѣгай отъ любви. На что? Въ любви Господь намъ указалъ спасать другъ друга! *(схватывая ее за руку)* но сотвори свою любовь во благо... Ты за его дѣтей теперь въ отвѣтѣ! Его жена безумная законовъ ищетъ... да что̀ законъ въ семей-

номъ дѣлѣ можетъ помогать! Она о деньгахъ упадаетъ... да что жъ въ тѣхъ деньгахъ дѣтямъ, когда нѣтъ сѣятеля съ ними, который сѣялъ бы живое слово въ ихъ малыя души? Ты только уразумѣй, что̀ значитъ отецъ? Про птичье молоко хоть въ сказкахъ говорится, а отцовскаго слова довѣчнаго дитя и въ сказкѣ не услышитъ.

Марина *(падая на грудь Дробадонова).* Дѣтки, дѣтки! Ахъ, какъ мнѣ жалко ихъ!

Дробадоновъ. Усугуби жъ для нихъ свою любовь къ отцу. Любовь не разлучитъ отца съ дѣтьми: то грѣхъ, то сласть земная разлучаетъ. Воздвигни свою любовь превыше этой сласти; его своимъ примѣромъ склони къ тому же. Разстаньтеся, но пусть онъ знаетъ, что ты жива, что съ тобою ничего худого не сталося и—главное—что ты любишь его. Это большая сила несчастливому человѣку. Не отрекайся отъ своей любви, зане я знаю, что любовь твоя, слезой твоей омытая теперь, будетъ безгрѣшна. *(Пауза.)* Встань, голубица, встань! черезъ часъ надо вамъ ѣхать. Онъ тамъ бумаги ужъ всѣ приготовилъ. Теперь время удобно: поди къ нему съ ласковымъ словомъ, съ открытымъ лицомъ. Если и тяжко на сердцѣ, какъ я и ожидаю того,— терпи... виду не дай, что страдаешь... Будь весела, если можешь, о чемъ попало говори, будто какъ это даже и въ раздумье тебя не вводитъ. Слышишь, моя дѣтка?

Марина *(восклоняясь и отирая слезы).* Нѣтъ, нѣтъ! не бойся: я сердца не выдамъ. *(Закрываетъ глаза платкомъ.)*

Дробадоновъ. Иди жъ! Слезы твои будутъ въ радость тебѣ... Дѣтей его мать съ бабкою учатъ тебя проклинать, а ты научи ихъ благословлять тебя. Ихъ дѣтское сердце и теперь ужъ, можетъ, слышитъ, какъ твое сердце для нихъ разрывается; а вырастутъ они, ихъ почтенію къ тебѣ мѣры не будетъ. Ты счастливица въ женахъ: твой рай сегодня начнется, какъ только ты вымолвишь слово...

Марина *(сквозь рыданія.)* Дѣти, дѣти! я отдаю вамъ вашего отца! *(Быстро убѣгаетъ.)*

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Дробадоновъ *(одинъ).* О лебядь бѣлая!.. о лебядь чистая!.. о лебядь прохладная!.. *(Задумывается.)* Нѣтъ! Не въ любви людская погибель, а въ томъ, что мала людская любовь на землѣ, что не выросла она еще на вершокъ выше звѣри-

ной. *(Задумывается и садится.) Въ это время за сценою слышна приближающаяся пѣсня).* Ужъ пошабашили фабричные. Пора! *(Встаетъ.)* Надо имъ до свѣту добраться до станціи, чтобъ взять почтовыхъ; а ночь-то вся нынче съ воробьиный носъ. Богъ знаетъ, все чего-то сердце замираетъ. Спаси ихъ Господи: они теперь на Твой правдивый путь готовы! *(Идетъ и встрѣчается съ фабричными.)*

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Мастеровой *Павлушка Челночекъ:* старый ткачъ *Спиридонъ Обрѣзовъ*; *пріѣзжій парень* и *фабричные (выходятъ не спѣшными шагами).*

Челночекъ *(играетъ на гармоніи и поетъ).*

Ахъ, когда бы эту кралію,
Подержать бы мнѣ за талію.

(Встрѣчаясь съ Дробадоновымъ, снимаетъ шапку и кланяясь.)

Здравствуйте, Калина Дмитричъ.

Фабричные *(всѣ кланяются и нѣсколько голосовъ).* Наше почтенье, Калина Дмитричъ!

Дробадоновъ. Спасибо вамъ. Здравствуйте, ребятки! *(Уходитъ.)*

Всѣ подходятъ къ скамейкѣ, съ которой всталъ Дробадоновъ, и располагаются на ней, кто сидя, кто полулежа.

Челночекъ *(поетъ).*

Ой, что же вы, ребята, пріуныли?
Иль у васъ, ребята, денегъ нѣту?

Обрѣзовъ *(Челночку).* Или еще, пустая голова, не всѣ пѣсни перезѣвалъ!

Пріѣзжій парень. А кто это у васъ такой, что̀ съ нами сейчасъ сустрѣтился?

Обрѣзовъ. Пріятель хозяйскій, купецъ Дробадоновъ. По душѣ и по совѣсти первый человѣкъ у насъ въ обществѣ.

Пріѣзжій. А собою на видъ сколь ужасенъ.

Челночекъ. Капидонъ; это онъ тотъ самый и есть Дробадонъ Дробадонычъ Дробадоновъ, что, сказывали, что съ одной стороны на медвѣдя похожъ.

Пріѣзжій. Скажи, антиресный какой! А должно еще того антиреснѣй, что̀ за супруга подъ пару ему пришлася?

Челночекъ. А онъ у насъ буки еръ—кавалеръ, еще женишокъ по сію пору.

Пріѣзжій. Неужто не женатъ? Это ужъ по-купечеству не годится безъ хозяйки.

Челночекъ. А нѣшъ ихъ мало у насъ по городу, хозяекъ-то? У насъ изъ эстаго просто.

Обрѣзовъ. Что̀ ты это все врешь-то? Кто это про Калину Дмитрича сказать можетъ?

Челночекъ. Я совсѣмъ и не про него, а такъ говорю, что у насъ насчетъ женскаго пола все по-душевному, по простотѣ. Надо-ть было обществу по-настоящему воспитательный домъ, какъ въ Петербургѣ, построить; ну, да у насъ про то покудова въ слободѣ сталовѣры: что угодно дѣтей берутъ, только сдавать поспѣвай.

1-й фабричный. А то тоже въ колодецъ—такъ и тамъ они каши не просятъ.

Челночекъ. Ну, это только Князеву такую механику подстроили, потому по-настоящему изъ-за чего у насъ ихъ губить, когда сталовѣры сколько хочешь берутъ и въ свою вѣру крестятъ; а ужъ это въ колодецъ—это не иначе, какъ на злость сдѣлано, и я вотъ, рука отсохни, знаю, что больше никто другой это сдѣлалъ, кромѣ какъ бабушки Дросиды Аленка.

1-й фабричный. И по-дѣломъ ему, Князеву-то.

2-й фабричный. Хоть бы и вдвое онъ поплатился, не жаль бы его.

Челночекъ. Да онъ, небось, и не поплатится. Что-жъ ему такое, что въ его колодцѣ ребенка нашли? Колодецъ на улицѣ—не мало кто мимо его ходитъ. Самого бъ его если бъ туда головою...

Пріѣзжій. У васъ, я вижу, этого Князева терпѣть не мугутъ.

Челночекъ. Не могу-утъ! Съ чего такъ, милый человѣкъ, не могутъ? Нѣтъ, братъ, у насъ міръ-то того добраго короля стòитъ, что̀ всѣмъ восхотѣлъ въ своемъ королевствѣ угожденіе сдѣлать. Докладаютъ ему: пусть, говорятъ, пресвѣтлый король, въ нашемъ королевствѣ хоть разбойникамъ худо будетъ. Нѣтъ, на что же, говоритъ, ихъ обижать: кто жь, говоритъ, у насъ посля того безъ нихъ людей будетъ рѣзать? *(Хохотъ).*

Обрѣзовъ. Шутъ его знаетъ, что̀ онъ только мелетъ, пустомеля!

Челночекъ. Я, братцы, въ Питерѣ жимши, разъ въ Ле-

ксандринскомъ театрѣ видѣлъ, какъ критику одну на купцовъ представляли. Выставленъ бѣдовый купецъ; ну, а все ему противъ нашего Фирса Григорьича далеко. Тотъ все съ бабами больше баталь велъ; а гусаръ его на паромѣ обругалъ, онъ такъ и голосу противъ него не выискалъ. Ну, а нашъ вѣдь одно слово во всей формѣ воитель. Я въ прошломъ году, какъ у головы пріѣзжій чиновникъ обѣдалъ, за столомъ прислуживалъ, такъ подаю кофей, а они меня не видятъ, потому что разговоръ у нихъ непріятный. Чиновникъ говоритъ Фирсу: «Я, говоритъ, ясно удостовѣрился, что вы, Фирсъ Григорьичъ, здѣсь точно помѣщикъ на помѣстьѣ сидите; все здѣсь по вашей дудкѣ пляшетъ: всѣ торги или выборы, какіе бываютъ, то это только проформа одна... все вы кому хотите сдаете, кого вамъ нужно на общественныя мѣста сажаете...» А онъ сейчасъ этакъ спокойно взялъ его, этого чиновника, вотъ этакъ за пуговку, крутитъ ее, эту пуговицу, промежъ пальцевъ, да и говоритъ: «Охота вамъ, говоритъ, ваше превосходительство, этакому вздору вѣрить; вотъ мнѣ, говоритъ, ваше превосходительство, одинъ человѣкъ тоже за вѣрное сказывалъ, что вы изволите взятки брать, такъ развѣ я этому вѣрю?..» Чиновникъ такъ и сѣлъ. *(Хохотъ.)* Одно слово, кабы этому нашему Фирсу Григорьичу да хвостъ приладить, такъ и собаки не требовается. *(Хохотъ.)*

Обрѣзовъ *(вздохнувъ)*. Одно слово, за наши грѣхи у насъ Терехи дьяки.

(Въ это время по сценѣ проходитъ тихо Алеша Босой и скрывается въ своемъ дуплѣ.)

Пріѣзжій. Это что̀ за человѣкъ?

1-й фабричный. Купецъ былъ, да, тонувши, тронулся въ умѣ.

Пріѣзжій. Скажите, страсть какая!

1-й фабричный. Онъ смиренъ: никого не трогаетъ. Облюбовалъ вотъ садъ хозяйскій, вонъ тамъ въ дуплищѣ и ночуетъ. Не любитъ только, если къ нему подойти туда изъ изнавѣсти, и то не сердится, а съ перепугу обхватитъ и держится, что никакъ не оторвать его. Все думаетъ, что тонетъ.

Челночекъ. А я опять, ребята, къ Фирсу! Что̀ я на него, братцы мои, только, въ Питеръ ѣздивши съ нимъ, насмотрѣлся! Молодчина! Поѣдемъ, бывало, на балъ куда или въ

маскарадъ: я сижу съ шубой на лѣстницѣ,—смотрю, что ни лучшую какую барыню, француженку тамъ, или англичанку, мой Фирсъ Григорьичъ и тащитъ; а какую пониже сортомъ—Иванъ Максимычъ. Привезутъ ихъ домой, и ужъ тутъ такое колыванье пойдетъ, что ажъ чертямъ ужасно—ничего не пожалѣетъ для женщины. «Что», говоритъ, «вы вулеву? Потому вулеву, вы», говоритъ, «такъ вулеву; а не вулеву, такъ и какъ хотите». — По болоту, говоритъ, охотиться хочу, амазонкой. «Дѣлай, говоритъ, намъ, Пашка, болото». Ну, и лей на полъ шампанское по самыя щиколотки. Будь, говоритъ, лягашомъ, запей,—я лягу и локчу, а она смѣется. Скусное вино — прелестное. *(Обтираетъ губы.)* А на-утро, глядишь, Иванушко хоть молодешенекъ, да головы не подниметъ, а этотъ соколомъ встрепенется, подкрасится, подфабрится, вздѣнетъ фракъ и пошелъ къ министрамъ тамъ да къ сенаторамъ дѣла обдѣлывать. Устали ему никогда нѣтъ.

1-й фабричный. Да и посейчасъ онъ такой!

Челночекъ. Ему, братъ, такъ кукушка накуковала: ему, пока подъ святые положатъ, перемѣны не будетъ.

1-й фабричный. Онъ и помретъ-то, такъ его не сразу похоронишь.

2-й фабричный. Да одно слово анаѳема.

3-й фабричный. Разбойникъ.

4-й фабричный. Блудникъ и душегубецъ.

Челночекъ. А что про блудъ, такъ вы это и оставьте! Это вотъ этотъ змѣй, что въ сказкѣ сказывается, что изъ озера выходилъ, да что ни есть всѣхъ первыхъ красавицъ то себѣ забиралъ,—это вотъ онъ самый и есть.

Обрѣзовъ *(тихо)*. А не къ лицу бъ ужъ бабушкѣ дѣвичьи пляски.

Челночекъ. Ну, это ты напрасно его, дядя, бабушкой-то зовешь! Онъ еще какъ ястребъ: зацѣлуетъ курочку до послѣдняго перушка. *(Понизивъ тонъ.)* Онъ, вотъ видите, нонѣ все бросилъ и за Мариной Николавной поперъ... ужъ это онъ отъ нея теперь ни въ жизнь свою не отстанетъ.

Обрѣзовъ. Врешь ты, дуракъ, не такая Марина Николавна.

Челночекъ. Да ужъ какая она ни будь, отъ него не отвертится. Ни одной вѣдь такой еще не было. Онъ ужъ, я знаю, онъ чего захотѣлъ, такъ онъ вѣдь не ѣстъ, не

пьетъ, глазъ не сведетъ, а все думаетъ, и ужъ тутъ вотъ скажи ты ему, что его смерть за это ожидаетъ, пусть вотъ море цѣлое передъ нимъ разольется, онъ такъ и въ море полѣзетъ. А опять же и то сказать, что вѣдь и Господь бабу изъ кривого ребра создалъ: никто вѣдь и за нее впередъ отвѣчать не можетъ.

Голоса фабричныхъ. Не такая Марина Николавна.

Челночекъ. Опять же-таки я вѣдь ничего въ ея обиду не сказалъ. Я такъ говорю, что кто знаетъ, что̀ бабѣ на умъ придетъ. Вонъ мнѣ въ Петербургѣ сказывали, что тамъ одна барышня арапа родила. *(Хохотъ.)* Чернищій-пречерный, говорятъ, родился, и какъ только родился, сейчасъ какъ гаркнетъ по-черкесски: я, говоритъ, въ васъ пынжалъ пущу! Окрестили въ нашу вѣру—пересталъ.

2-й фабричный. Да за женщину какъ поручиться!

Челночекъ. То-то и дѣло. Кто ее знаетъ, что̀ и отъ нея отродится. Вѣдь вотъ съ хозяиномъ проклажается же. *(Насмѣшливо.)* Можетъ развѣ, что у нихъ промежъ себя ничего опричь такой любви и нѣтути.

2-й фабричный. Это никакъ невозможно.

Челночекъ. Ну, это тоже опять нельзя сказать, что невозможно. У господъ есть такая ухватка, чтобы вдвоемъ чорта дразнить. Сядутъ, обоймутся, да: «ахъ, какъ я васъ!»... а та: «ахъ, сколь я симъ счастлива!»... *(Хохотъ.)*

1-й фабричный. Вотъ и у хохловъ безмозглыхъ тоже такая мода.

Челночекъ. Да, да, да. Жилъ я у князя Рѣпнина, въ полтавской губерніи, въ имѣніи, тоже видалъ это: сядутъ хохолъ съ хохлушкой, гдѣ-нибудь надъ овражкомъ или надъ рѣкой, да и заведутъ *(пародируетъ)*: «Не помогутъ слезы счастью»... а естественнаго ничего.

1-й фабричный. У насъ этого нѣтъ.

Челночекъ. Какъ можно! *(Сплюнувъ.)* У насъ изъ эстаго просто.

Обрѣзовъ. Что̀ вы все про какой вздоръ мелете! Вотъ ужъ сколько разъ я замѣтилъ, что гдѣ только этотъ Пашка замѣшался, тамъ ужъ добрыхъ рѣчей не дожидайся. Давайте лучше про дѣло-то потолкуемъ. Иванъ Максимычъ вѣдь сейчасъ придетъ и спроситъ, что же мы артель, что ли, составимъ? Надо это порѣшить. Онъ такъ хочетъ, чтобы всѣхъ приставниковъ, что за матеріалами смотрятъ, прочь.

Сами, говоритъ, устройте, чтобъ нечего за вами смотрѣть было, и какъ воровства не будетъ, я вамъ процентъ дамъ.

1-й фабричный. Какой такой процентъ?

2-й фабричный. Это не слыхано.

Обрѣзовъ. Да вѣдь вамъ въ толкъ объ этомъ Иванъ Максимычъ разсказывалъ.

1-й фабричный. Поняли мы! да вѣдь кто его знаетъ

2-й фабричный. Опять какъ же ты за другихъ поручишься, что онъ не украдетъ?

Голоса. Это никакъ невозможно.

Обрѣзовъ. Да съ чего кто красть-то станетъ, если другъ за друга поручимся?

1-й фабричный. Съ чего? Мало ли съ чего кто крадетъ!

Пріѣзжій. Иной привычку такую имѣетъ, что къ этому приверженъ.

2-й фабричный. А есть такіе, что просто со скуки крадутъ.

Челночекъ. Да это что̀ про то толковать! Безъ этого никакъ невозможно.

Обрѣзовъ. Что ты это врешь-то? Почему это невозможно.

Челночекъ. Потому, что мы въ этомъ дѣлѣ въ родѣ какъ порченые: даже кому и не нужно, не своей охотой крадетъ.

Обрѣзовъ. Э-ка дура, что̀ городитъ! Да ты самъ-то русскій или турка?

Челночекъ *(вздохнувъ).* Я не русскій и не турка, а изъ Питера фигурка.

Обрѣзовъ. Да турецкое у тебя и разсужденіе.

Челночекъ. Нѣтъ, дядя, я знаю, что это тоже не спроста, а по благословенью дѣлается.

Обрѣзовъ. Отъ кого жъ это могло быть такое благословеніе, чтобы красть?

Челночекъ. Отъ странника. Ходилъ такой странникъ по свѣту и былъ уловленъ отъ дванадесяти языкъ и пропятъ па древѣ, и никто за него не заступится. Вотъ какъ онъ на древѣ началъ томиться, и начали люди приходить къ нему съ жалостію, чтобы спасать его. Сунулись первые нѣмцы, потому безъ нихъ и вода не освятится, ихъ вездѣ спрашиваютъ. «Господине честной, говорятъ, хочешь ли, мы тебя отторгуемъ?» Онъ покивалъ на нихъ головою и говоритъ: «Ступайте, торгуйтесь-себѣ цѣлую жизнь». Такъ они по этомъ слову его завернулись и пошли, и все тор-

гуютъ, и до вѣка всѣмъ торговать будутъ. Тутъ сейчасъ французы, народъ этакой верткій. «Господине честной, давай, говорятъ, мы тебя отвоюемъ». — «Ступайте, —говоритъ, воюйте-себѣ цѣлую жизнь». Такъ они все и будутъ цѣлый вѣкъ воевать, и все безъ толку. Тогда ужъ наши русаки,—какъ они противъ нѣмцевъ и французовъ, разумѣется, обстоятельнѣй, то видятъ, что не хочетъ онъ ни торговлею, ни отъемомъ спасаться. «Господине честной, давай, говорятъ, мы тебя уворуемъ». А онъ намъ и брякни: «ступайте, говоритъ, воруйте-себѣ цѣлую жизнь». Вотъ намъ этого никакъ переступить и невозможно: мы и воруемъ.

Обрѣзовъ. О, брехунъ, брехунъ! Такъ стало ужъ по-твоему до вѣку намъ со всѣми этими художествами и не разстаться?

Челночекъ. Какъ можно до вѣку художеству быть. Это все до тѣхъ поръ художество, пока у петербургскихъ свинтусовъ въ грудяхъ живое сердце забьется. Мнѣ одинъ человѣкъ на Невѣ на перевозѣ сказывалъ: «видишь, говоритъ, молодецъ, передъ художествъ академіей двѣ каменныхъ собаки въ колпакахъ лежатъ? Это, говоритъ, не собаки, а свинтусы. Изъ города Фивъ, изъ Египта, ихъ привезли; съ тѣмъ, говоритъ, ихъ и привезли, что пока въ этихъ свинтусахъ живое сердце не затрепещется, до тѣхъ поръ, чтобъ ш-ша! чтобъ ничему значитъ настоящему не быть, а будетъ все только какъ для виду. Такъ и Иванъ Максимычъ, хоша онъ и желаетъ это сдѣлать, но только все это для виду будетъ. Да и то сказать, самъ-то онъ еще противъ Фирса уцѣлѣетъ ли? Не довелось бы еще скоро ему самому изъ-подъ печи поросятъ мануть.

Обрѣзовъ. А типунъ бы тебѣ на языкъ за это.

Челночекъ *(сухо)*. Да вѣдь это вчернѣ сказано: коли не нравится, и похѣрить можно.

Пріѣзжій. Нонѣ судъ не такой, чтобъ такія беззаконія съ рукъ сходили.

Челночекъ *(вздохнувъ)*. Что судъ! Что такое, милый человѣкъ, судъ! У насъ до суда заворотятъ тебя туда и сюда хуже мороженаго. Неужли жъ ты такъ думаешь, что если этотъ судъ точно правый, такъ противъ его упираться будетъ некому? Нашъ братъ въ самый послѣдній секундъ—и тогда еще норовитъ штуку выкинуть, чтобъ отъ чего слѣдуетъ уворачиваться. Я вотъ вамъ къ примѣру скажу, я въ Вильнѣ видѣлъ, какъ поляковъ вѣшали. Идутъ, бывало,

который еще съ фантазіей, а который плачетъ. Ну, ужъ какъ увернуться, и думки въ нихъ не видно. А нашъ и тутъ свой терминъ держитъ: все норовитъ на выдумки. Въ Крыму я, въ ратникахъ бывши, видѣлъ, какъ двухъ мѣщанишекъ вѣшали, что провіянтъ непріятелю продавали. Такъ и не очень, чтобъ авантажно ихъ и вѣшали-то—въ простой деревушкѣ—ну только всѣхъ насъ эти висѣльники посмѣшили. Спрашиваетъ одного командиръ: не имѣетъ ли, говоритъ, какой просьбы?—«Имѣю», говоритъ. Что такое? «А чтобъ меня за шею, говоритъ, ваше благородье, не вѣшать, потому я, говоритъ, щекотки боюсь»... Нѣтъ, братъ, хоть ежели чему и неминучее быть, такъ все это хоть на минутую чѣмъ-нибудь за уголъ заводить станутъ.

Пріѣзжій. А вонъ это, гляди, вашъ хозяинъ съ компаніей идетъ.

Челночекъ *(заглядываетъ).* Онъ и есть. Иванъ Максимычъ, Дробадоновъ и Марина Николавна. Вотъ ты теперь посмотри ее: одно слово, хрящикъ.

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

(Показываются вдали **Марина Николавна**, *которая ведетъ за одну руку* **Дробадонова**, *за другую* **Молчанова**. *Фабричные встаютъ и отходятъ въ сторону.)*

Пріѣзжій. Можетъ-быть, уйти намъ отсюда.

Челночекъ. Нѣтъ. У насъ изъ эстаго просто—никому гулять не заказано.

Молчановъ *(въ пальто, съ дорожною сумкою черезъ плечо).* Здравствуйте, ребята!

Голоса. Здравствуйте, Иванъ Максимычъ! *(Молчановъ и Дробадоновъ садятся на скамейку.)*

Марина. Ребятки! слетайте кто-нибудь въ домъ, принесите оттуда сюда столикъ, и самоваръ пусть сюда вынесутъ. Только живо, ребятки!

Челночекъ *(выдвинувшись впереди всѣхъ).* Сейчасъ, Марина Николавна.

Марина. Да Дѣичу вели, чтобы бутыль вина прислалъ. Хозяинъ васъ желаетъ попотчивать.

Челночекъ *(живо).* Сейчасъ. *(Къ фабричному.)* Андрюшка, дуемъ вмѣстѣ. *(Убѣгаютъ. Прочіе фабричные отходятъ далѣе. Молчановъ снимаетъ съ плеча сумку и кладетъ ее.)*

Марина. Вотъ видишь, Ваня, какъ хорошо и какъ легко

теперь на свѣтъ смотрѣть. И выйдетъ все наше горе не къ горю, а къ радости. Не грянулъ бы громъ, мы бы не перекрестились! *(Живо).* Спасибо тебѣ, Калина Дмитричъ! Десять разъ я тебя уже благодарила, а еще и въ одиннадцатый не погнушайся. *(Подаетъ ему руку).* Дай я тебя, Калина Дмитричъ, поцѣлую! *(Встаетъ и быстро его цѣлуетъ.)* Спасибо, другъ нашъ истинный! Ты намъ голову поставилъ на плечи.

Дробадоновъ. Ну, легко ли — есть за что благодарить! Слово сказать всякій скажетъ, не всякая только душа принять его можетъ.

Молчановъ. Нѣтъ, братъ Калина Дмитричъ, твоей услуги я повѣкъ не забуду. Спасибо тебѣ, спасибо. *(Жметъ ему руку.)*

Дробадоновъ. Теперь справляй дѣла, да не сердись: помни, что на Руси у насъ на сердитыхъ воду возятъ.

Молчановъ. Дѣла! *(Вздохнувъ.)* Да, буду дѣлать дѣла и вернусь... и все здѣсь застану... *(беретъ за руку Марину и съ чувствомъ)* все постылое будетъ, одного милаго не встрѣчу.

Дробадоновъ. А ты не сживай со свѣта постылую, чтобы сохранилъ Богъ милую.

Марина *(помолчавъ).* Послушай, Ваня! такого уговора не было, чтобы скучать. Вотъ видишь, какой ты не крѣпкій.

Молчановъ *(долго на нее смотритъ).* Марина, за что ты меня любила? Ничего, таки ровно ничего я не далъ тебѣ, кромѣ слезъ вмѣстѣ и слезъ въ разлукѣ.

Марина. Не урекай себя. Не ты въ томъ виноватъ. Кто любилъ, тотъ и плакалъ. Она любовь, какъ въ пѣснѣ спѣто про нее: «горюча любовь, слезами полита,—такова любовь на свѣтѣ создана».

Дробадоновъ. Слезы тѣ минули. Теперь другое будетъ... Будетъ наша Маринушка жить тихонько, за Невой широкою; будемъ мы наѣзжать къ ней въ Питеръ въ гости; встрѣтимся—поцѣлуемся, разойдемся—другъ о другѣ помолимся... доживемъ тихой старости, станемъ съ клюкою подъ ручки другъ съ дружкой въ церковь ходить да на твоихъ дѣтей радоваться... *(Ударивъ Молчанова по плечу.)* Полно задумываться!

Марина. Ваня! не вѣсь головы.

Дробадоновъ. Не вѣшай головы, тебѣ говорятъ. Примѣта скверная, если конь передъ битвой голову вѣситъ.

Молчановъ *(пріободряясь).* Нѣтъ, я ничего.

Дробадоновъ *(Молчанову).* Ну, я пойду, скажу, чтобъ запрягали. Пора вамъ: ужъ совсѣмъ стемнѣло.

Марина. Иди, вели закладывать.

(Дробадоновъ уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Тѣ же и Челночекъ *(съ самоваромъ въ рукахъ. За нимъ другой парень съ чайнымъ приборомъ. Всходитъ луна).*

Марина *(Челночку, усаживаясь за самоваромъ).* Вотъ Паша молодецъ! А я тебя еще впервой и вижу, какъ ты вернулся. Ты вѣдь теперь совсѣмъ заграничный сдѣлался. Ну, что жъ ты дѣлалъ тамъ, за границей?

Челночекъ. Трактиръ Корещенкову въ Парижѣ, Марина Николавна, становили.

Марина. Понравилось тебѣ въ Парижѣ?

Челночекъ. Н-ничего городишко.

Марина. Лучше нашего?

Челночекъ. Совсѣмъ не сравнивать, Марина Николавна. Гораздо нашего превосходнѣйше.

Марина. Скажи пожалуйста! Что жъ ты тамъ что замѣтилъ такое?

Челночекъ. Какъ же, Марина Николавна, не замѣтить! много есть прикраснаго. Какъ только сейчасъ первый шагъ, какъ изъ самаго агона выйдешь, сейчасъ надписи всякія: тутъ «пуръ для дамъ», тутъ «пуръ для мужчинъ». Прикрасно все.

Молчановъ *(смѣясь).* Ишь, надъ чѣмъ остановился!

Челночекъ. И обращеніе, Иванъ Максимычъ, совсѣмъ другое. Запрещеніевъ тоже меньше. *(Заискивающимъ голосомъ и глядя на Молчанова.)* У нихъ, что господа, что такіе, идутъ по улицѣ да все «*тру-ля-ля—тру-ля-ля*»,—а у насъ теперь Фирсъ Григорьичъ Князевъ даже такой строкуляръ издалъ, чтобъ даже по городу голосу никто взвѣсть не смѣлъ, а тамъ всѣ горланятъ.

Марина. А ему что, Фирсу, ваши пѣсни помѣшали?

Челночекъ. Да такъ это, Марина Николавна, значитъ для политики, чтобъ запретъ отъ него исходилъ.

Марина Эхъ, ребята, смотрю я на васъ, стыдно васъ и

ребятами-то звать. Залучили бъ вы его въ темномъ мѣстѣ, да такую бъ политику ему шпандаремъ задали... Это одному страшно, а вѣдь васъ сколько на фабрикахъ! на всѣхъ вѣдь не разыщется и со всѣхъ не взыщется. А хотя бъ и взыскалось! Рыло въ крови, да наше взяло — вотъ молодцовская ухватка!

Челночекъ. Да развѣ, Марина Николавна, въ томъ? Разумѣется, если-бъ онъ сюда, то бъ... Тутъ ба его по кусочку не достало!

Голоса фабричныхъ. Э, если бъ онъ здѣсь-то показался!— Тутъ-ба его и рѣшеніе!

Марина. Ну, это я шутила. *(Подавая Молчанову чай.)* А ты опять заневѣстился, голову нуришь! Ваня! Ваня! *(Челночекъ отходитъ.)* Ванюша! Ваня! Ваня! *(Поднимаетъ его голову.)* Ахъ, какой характеръ! Тебя въ руки берешь, а ты разсыпаешься. *(Горячо.)* Не вѣсь головы! Уѣдемъ такъ, чтобъ наше горе смѣялось. *(Фабричнымъ, которые пьютъ водку.)* Ребята! повеселите-ка хозяина: онъ что-то скученъ! Пѣсню! пѣсню, ребята! пѣсню! такую, чтобъ горе смѣялось.

Фабричные. Сейчасъ, Марина Николавна! *(Скучиваются. Одинъ достаетъ изъ-подъ полы кларнетъ и даетъ тонъ).*

Хоръ.

Во лузяхъ, во лузяхъ,
Во лузяхъ, во зеленыхъ лузяхъ. (bis)
Выросла, выросла,
Выростала трава шелковая. (bis)
Врознь пошли, врознь пошли,
Врознь пошли духи малиновые (bis).

Марина. Живо, ребята, живо! *(Становится передъ Молчановымъ и подпѣваетъ.)*

Хоръ *(чаще).*

Ужъ я той, ужъ я той,
Ужъ я той травой выкормлю коня. (bis)

Марина. Чаще!

Хоръ.

Выкормлю, выкормлю,
Ужъ я выкормлю, вывожу его. (bis)
Поведу, поведу,
Поведу я коня къ батюшкѣ. (bis)

Марина *(кокетливо трогаетъ плечами и бровью и топаетъ въ тактъ ножкой).*

Хоръ.

Государь, государь,
Государь ты мой батюшка. (bis)

(Марина вынимаетъ бѣлый платокъ и пляшетъ.)

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Въ это время изъ глубины сцены, изъ-за кустовъ выходятъ никѣмъ не замѣчаемые **Князевъ, Анна Семеновна, Мякишевъ, Марья Парменовна, Минутка, Колокольцовъ и купцы.** *Князевъ даетъ своей компаніи знакъ остановиться и одинъ, попрежнему никѣмъ не замѣчаемый, тихо подходитъ къ пѣсенникамъ.*

Хоръ *(продолжаетъ).*

Ты прими, ты прими,
Ты прими мово ворона коня. (bis).

Марина *(останавливается и, положа Молчанову руки на плечи, смотритъ ему въ глаза).*

Хоръ *(протяжнѣе).*

Ты услышь, ты услышь,
Ты услышь слово ласковое,
Ты прими слово привѣтливое.

Марина *(всплескивая руками).* Да услышь же, Ваня, слово ласковое и прими слово привѣтливое!

Молчановъ *(съ чувствомъ).* Жизнь моя! что я съ тобою теряю!

(Оба бросаются другъ къ другу и плачутъ.)

Князевъ. Люблю дѣвку за издѣвку!..

(Всѣ оборачиваются на его голосъ. Общее смятеніе. Молчановъ почти падаетъ на скамью. Марина смѣло выступаетъ и загораживаетъ его собою. Фабричные тихо жмутся и прячутся другъ за друга.)

Князевъ *(язвительно вздохнувъ).* Это хоть бы и на театрѣ представить не стыдно! *(Подходитъ съ палочкой къ фабричнымъ и всматривается въ ихъ лица.)*

Молчановъ *(отодвигая Марину).* Это что̀ еще за штука новая!

Марина *(удерживая его).* Ванюша! Ваня, не горячись!

Молчановъ. Постой,—я даже вовсе не сержусь. Я только смотрѣть хочу, что это? Вломились въ домъ!

Князевъ *(фабричнымъ).* Что же, голосистые соловушки?

Или пѣсня кончена? *(Всматривается пронзительно въ каждое лицо.)*

Челночекъ *(про себя)*. Ухъ, глазищи! *(Юркаетъ въ задніе ряды.)* Въ молоко взглянетъ, молоко скиснется.

Князевъ *(водя палочкой надъ головами толпы и ударяя по маковкѣ спрятавшагося Челночка)*. Ты, какъ тебя? Павлушка, кажется?

Челночекъ *(робко)*. Я, Фирсъ Григорьичъ, здѣсь машіонально... *(Оправляясь.)* Я чай подалъ по Марины Николаевниному приказанію.

Князевъ. А она здѣсь у васъ приказываетъ. *(Фабричнымъ, поднявъ палку по направленію къ дому.)* Вонъ!

(Всѣ уходятъ, перегоняя другъ друга; послѣдній плетется Обрѣзовъ. Челночекъ впереди всѣхъ.)

Марья Парменовна. Ну, это жъ не разбойникъ ты? Есть же еще, думаешь, послѣ этого хуже тебя человѣкъ на свѣтѣ. *(Къ Маринѣ.)* А ты что здѣсь прохлаждаешься? *(Хватая ее за рукавъ.)* Я вѣдь тебя здѣсь не боюсь.

Марина *(топнувъ ногою, отрываетъ руку)*. Прочь!

Марья Парменовна *(въ испугѣ отскакиваетъ)*. Ишь ты какая!

Анна Семеновна. Отойди отъ нея, Маша, отойди.

Марья Парменовна *(отходя и косясь на Марину)*. И-ишь!.. А ты не очень-то!

Марина *(Марьѣ Парменовнѣ)*. Мужеѣдка!

Молчановъ *(вскакивая)*. Кто имъ ворота отперъ?

Князевъ. А кто бы смѣлъ опекунамъ не отпереть воротъ? Я здѣсь хозяинъ нынче, а не ты, безпутникъ! Его сегодня только-что немножечко остепенить хотѣли, а онъ, изволишь видѣть, какъ остепеняется: вино, фабричные, да вотъ распутная бабенка, сбѣжавшая отъ мужа... продажная красавица

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Тѣ же *и* **Челночекъ** *(крадучись возвращается и прячется за деревомъ вблизи Молчанова)*.

Марина *(удерживая Молчанова)*. Молчи, молчи, Иванъ Максимычъ!

Князевъ *(не обращая вниманія на ея слова)*. Прошу полюбоваться, господа! Хорошъ, хорошъ купецъ, супругъ женѣ своей, отецъ дѣтямъ и доброму отцовскому хозяинъ Иванъ

Максимычъ! А эта скромница *(на Марину)*... на всѣхъ глядитъ, не знаетъ, кого выбрать, чтобъ подъ полу кинуться.

Марина *(схватывая Молчанова за руки)*. Оставь, оставь: онъ насъ нарочно дразнитъ!

Князевъ. Вотъ, говорятъ, что почему намъ поучаться у молодыхъ! Какъ нечему? Грѣшили, можетъ, люди и въ наши дни, да все это бывало со стыдомъ, отъ глазъ человѣческихъ прятались, а нынче, видите. *(Указывая обѣими руками.)* Жена вотъ она, вотъ теща-матушка и тесть, а вотъ супругъ съ любовницей обнявшись стоятъ, и словно быть всему тому такъ слѣдуетъ. Дай протереть глаза. *(Протираетъ платкомъ глаза.)* Стоятъ, дѣйствительно стоятъ! *(Строго.)* Ну, будетъ этого! *(Вскинувъ головой)*. Я васъ прошу, господинъ голова, сейчасъ потребовать у него всѣ счеты и фактуры, которые у меня украдены и ему переданы. Они мнѣ нужны, чтобъ принять дѣла. *(Бросается къ Молчанову.)* А ты ступай къ женѣ!

Молчановъ *(устраняя Князева)*. Вы хоть опомнитесь! Мнѣ кажется, вы ужъ съ ума свихнули съ тѣхъ поръ, какъ глупая толпа дала вамъ въ руки власть. Прошу васъ дальше. Не вводите въ грѣхъ: я самъ дамъ сдачи.

Князевъ *(въ азартѣ)*. Ты сдачи дашь? ты? Вяжи его, ребята! Я объявляю вамъ, онъ воръ. Онъ утаилъ билетъ въ двѣ тысячи. *(Грозно.)* Обыскивай его. *(Всѣ порываются и не могутъ рѣшиться. Челночекъ высовываетъ голову.)*

Князевъ *(Челночку)*. Ну! *(Челночекъ схватываетъ Молчанова сзади за локти. Вслѣдъ за нимъ цѣпляются Канунниковъ и Гвоздевъ. Князевъ схватываетъ Марину и жметъ ее съ скрытымъ сладострастьемъ. Молчановъ борется.)* Держи его! *(Получая отъ Марины толчокъ, быстро отлепаетъ и чуть не падаетъ.)*

Марина *(бросается къ Молчанову, разстегиваетъ пуговицу у его сюртука и кричитъ)*. Бѣги, и съ Богомъ!

Молчановъ *(вырывается, оставляя въ рукахъ державшихъ его одинъ сюртукъ, и убѣгаетъ въ глубь парка)*.

Князевъ *(Марьѣ Парменовнѣ)*. Машута! другъ, бѣжи за нимъ! Чего жъ ты смотришь, глупая! Бѣжи скорѣй, останови. Вѣдь онъ твой мужъ... еще пожалуй въ озеро прыгнетъ. *(Марья Парменовна и мать ея убѣгаютъ за Молчановымъ.)* Господа! а вы-то что жъ? вѣдь всѣ въ отвѣтѣ бу-

дете! Ловите! *(Всѣ убѣгаютъ въ паркъ. Остаются на сценѣ Марина и Князевъ.)*

Князевъ *(бросается на лежащій сюртукъ Молчанова).* Топись теперь, дуракъ! Мнѣ этого и надо. *(Вынимаетъ изъ кармана Молчановскаго сюртука бумажникъ.)*

Марина *(глядѣвшая до сихъ поръ вслѣдъ бѣгущимъ, быстро про себя).* Боже, что я надѣлала? *(Князеву.)* Подай! подай назадъ. *(Ловитъ его за руки.)* Подай! разбойникъ!

Князевъ *(скоро прячетъ бумажникъ въ карманъ).* Ага! пеструшечка, ты вотъ она. *(Обнимаетъ ее и цѣлуетъ. Борются.)*

Князевъ *(борясь).* Послушай! Не дурачься, не дурачься...

Марина *(отчаянно).* Подай! подай бумаги!

Князевъ. Ты одурѣла!

Марина. Эй, люди!.. люди!.. люди!..

Князевъ. Кличь вѣтра въ полѣ!..

Марина. Я съ тобой и безъ людей одна справлюсь. *(Отбрасываетъ Князева.)*

Князевъ *(отлетая).* Га! Безъ людей справишься!.. Ну, такъ при людяхъ же не справишься! Эй, люди! люди! люди! Свести ее въ полицію, чтобъ къ мужу выслали.

Марина *(ломая руки).* Что дѣлать? Боже мой, что дѣлать?

Князевъ *(схватывая Марину за руку).* Дѣлать!.. Не гребуй мною! Я немногаго хочу!

Марина. Я не люблю жъ тебя!

Князевъ. И не надо! Ты этимъ докажи ему, что ты его-то любишь... Да, да, любя-то ни за что вѣдь хорошія женщины не стоятъ... Онъ вѣдь про то и знать не будетъ... онъ вздивится, съ чего это все перевернется... *(Обнимаетъ ее.)* Лапка, лапка! все въ твоихъ рукахъ!

Марина *(съ омерзѣніемъ устраняясь отъ объятій).* Эхъ!.. Вѣдь, знаю, ты обманешь...

Князевъ *(еще сильнѣе обнимая).* Нѣтъ! нѣтъ... какіе тутъ обманы! *(Впивается въ нее и цѣлуетъ, держа руками ея лицо.)*

Марина *(съ отвращеніемъ).* Н-н-ну!.. Ахъ, пусти!.. Пусти же на минуту! *(Про себя.)* О Боже, умудри меня, какъ мнѣ отнять? *(Князеву.)* Такъ ты не лжешь?.. Такъ ты его отпустишь?..

Князевъ. Ты отпусти его... Пеструшечка! Змѣенышъ, заслужи... пущу...

Марина *(про себя, глядя на дупло, гдѣ спитъ Босой).* А если, какъ на грѣхъ, его здѣсь нѣтъ сегодня? *(Князеву, грозя пальцемъ.)* Гляди жъ, не обмани!

Князевъ. Толкуй себѣ про глупости!

Марина. Ну, такъ и быть, идемъ... Пойдемъ отсюдова: здѣсь не годится вмѣстѣ быть... Здѣсь люди ходятъ... Здѣсь мы сейчасъ съ нимъ вмѣстѣ сидѣли... не хорошо...

Князевъ *(задыхаясь).* Ничего это мнѣ, ничего!.. я тѣмъ не гребую.

Марина. Нѣтъ! Ты обѣщалъ, что побережешь мой стыдъ... Пойдемъ. Я знаю, куда тебя сведу. *(Бѣгутъ оба, взявшись за руки. Князевъ съ той стороны, въ которой приходится дупло Босого.)*

Марина *(поровнявшись съ дупломъ, быстро толкаетъ въ него Князева, держитъ его и отчаянно вскрикиваетъ).* Душа святая, заступись!

Босой *(хватая Князева).* Тону! тону! *(Держитъ Князева.)*

Князевъ *(въ ужасѣ).* Максимъ! Максимъ! Пусти, я буду каяться! *(Вздымаетъ въ страхѣ руки. Марина быстро выхватываетъ у него изъ кармана бумаги.)*

Марина. Ха-ха-ха! *(Истерически хохочетъ и, оставляя Князева въ рукахъ Босого, бѣжитъ. На половинѣ сцены она встрѣчается съ поспѣшающимъ къ ней Дробадоновымъ.)*

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Тѣ же и Дробадоновъ.

Марина *(падая въ изнеможеніи на грудь Дробадонова).* Ахъ, гдѣ ты былъ, Калина Дмитричъ? Я силъ моихъ лишилась! *(Теряетъ чувства.)*

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Тѣ же *и показываются* **Колокольцовъ, Марья Парменовна, Минутка** *и прочіе бывшіе здѣсь купцы.*

Дробадоновъ *(насмѣшливо купцамъ).* Скорѣй, друзья: хорекъ въ силки попался.

Колокольцовъ *(увидя Князева).* Что это значитъ, Дробадоновъ?

Дробадоновъ *(поднимая на руки Марину).* Должно-быть значитъ то, что гдѣ лукавыя уста молчатъ, тамъ безумныя руки за работу берутся. *(Уноситъ Марину.)*

Минутка *(про себя).* Опять потянуло пчелку на красный

медокъ. Прихватило! *(Купцы освобождаютъ Князева изъ рукъ Босого.)*

Князевъ *(охрипшимъ голосомъ).* Молчаповъ гдѣ?

Колокольцовъ *(къ Князеву).* Это нельзя! Онъ прямо плюнулъ на меня тутъ... на жилетъ... въ лицо, и тутъ вотъ... въ это мѣсто... по плечу... немного выше... по галстуку...

Князевъ. Оставь про вздоръ молоть!

Колокольцовъ. Да, это вздоръ; но я терпѣть не могу такой фамильярности, чтобъ по лицу меня...

Князевъ. Оставь! Всѣ знаютъ, что онъ дрянь, а ты хорошій человѣкъ.

Колокольцовъ. Хорошій? Такъ развѣ всѣхъ хорошихъ такъ ужъ и бить по щекамъ? Вамъ ничего, а онъ вѣдь два раза меня ударилъ. Я хочу знать по крайней мѣрѣ, за что?

Князевъ. Онъ сумасшедшій. *(Приложивъ палецъ къ усталъ, про себя.)* Онъ сумасшедшій!

Челночекъ *(выбгая изъ-за кулисъ).* Хозяина поймали, Фирсъ Григорьичъ, и ведутъ. *(Подобострастно.)* Я первый, Фирсъ Григорьичъ, ухватилъ... подставилъ ножку: онъ и чебурахнулъ!

Князевъ *(про себя).* Га! Ну, храбрый витязь, сражались мы съ тобой до этихъ поръ тупыми концами, теперь давай перевернемъ копья да острыми ударимся. *(Вслухъ.)* Въ мою коляску и везите въ городъ! Вы видѣли его сегодня всѣ: онъ сумасшедшій.

Колокольцовъ. Да, да. Онъ плюнулъ мнѣ въ лицо и три плюхи мнѣ далъ. Онъ сумасшедшій!

Всѣ *(качая головами).* Онъ сумасшедшій, сумасшедшій.

(Занавѣсъ падаетъ).

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

Большая, каменная кладовая, такъ-называемая «полатка». Дверь посрединѣ изъ толстыхъ досокъ, сколоченныхъ массивными гвоздями на тяжелыхъ петляхъ. По сторонамъ этой двери два продолговатыя окна, прорѣзанныя почти подъ потолкомъ. Задымленный очажокъ, служащій для варки клею и красокъ. Тюки, кули, кади съ красками, пуки травъ и разбросанный хламъ. Влево на авансценѣ большой, окованный желѣзомъ сундукъ, передъ нимъ столъ, на

столъ глиняный кувшинъ съ водою и стаканъ, въ которомъ горитъ конопляное масло. Столъ и сундукъ загорожены отъ входа грубыми крашенинными ширмами.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Марина *(въ темномъ шерстяномъ платьѣ съ накинутою на плечи бѣличьей шубкою, крытою алымъ или чернымъ бархатомъ. По открытіи занавѣса сидитъ на сундукѣ. Нѣсколько секундъ молчанія. Она съ утомленіемъ смотритъ въ огонь ночника)*... «Прошло лѣто, прошла осень, прошла теплая весна; наступаетъ злое время — то холодная зима». Славная пѣсенка; да некому ее спѣть... *(Задумывается.)* Да, ужъ и лѣто, и осень почти минула съ тѣхъ поръ, какъ Ивана Максимыча въ сумасшедшій посадили; а на бумагу, которую Калина Дмитричъ отъ него послалъ, до сихъ поръ ни отвѣта, ни привѣта нѣтъ. Сорокоустъ успѣютъ отчитать, пока этой защиты дождешься... И я здѣсь сижу въ этой кладовой у Дробадонова совершенно напрасно... Отъ матери, и отъ той скрыто, гдѣ я; а Фирсъ Князевъ все поиски правитъ: его не обманешь. Вчера опять, Калина Дмитричъ говоритъ, посулы дѣлалъ, что дастъ сто рублей тому, кто его на мой слѣдъ наведетъ; а кормовыя на пересылку давно представлены... За сто ли рублей у насъ не найдется охотника человѣка продать, лишь бы пронюхали. *(Пауза.)* Да мнѣ ужъ и самой наскучило!.. Три мѣсяца изо дня въ день одна-одинёшенька въ этой норѣ съ крысами выси-дѣла... Не умѣла я въ тѣ поры рѣшаться, когда слѣдовало. Не въ Петербургъ мнѣ надо было съ Ванею собираться — да не надѣяться, какъ Калина Дмитричъ увѣрилъ, старости доживать другъ друга жалѣючи; а надо было прямо *его* пожалѣть: разогнаться самой да въ воду. Вотъ бы и конецъ былъ... Пагуба я, какъ есть для всѣхъ пагуба... Теперь еще, если здѣсь найдутъ, и онъ и Калина наотвѣчаются... А онъ еще-было задумалъ гдѣ-то мнѣ фальшивую бумагу хлопотать... Легко ли дѣло: очень нужно людей губить! Уйти я и безъ всякихъ бумагъ уйду; а что со мной будетъ — это мнѣ все равно... Бродяга, такъ и бродяга: развѣ не все равно. Это чѣмъ не острогъ!.. Охъ-охъ-охъ! *(Задумывается и заводитъ вполголоса.)*

Ужъ ты молодость, моя молодость!
Красота ль моя, краса дѣвичья!..

(Плачетъ.) Нѣтъ, не поются съ горя и горькія пѣсни! *(Утираетъ слезы.)* Какія все были рѣшенія, какія большія, да какія хорошія—и ничего изъ нихъ не повыходило... Ты себѣ умудряешься, а врагъ себѣ умудряется: вотъ и поручись за то, что ты сдѣлаешь... Особенно вотъ теперь, какъ въ одиночествѣ одурь взяла и сто дней изо дня въ день не знаешь, чего дожидаешься, кто его знаетъ, на что бъ кинулся, только-бъ истомѣ этой конецъ положить. *(Осматривается.)* Есть тутъ мышьякъ; есть веревки... Прости Господи душу грѣшную... что за дурь въ голову лѣзетъ... А особенно нынче... Нынче ужъ день какой-то... словно ему такъ не минуть безъ чего страшнаго. *(Слышенъ вой бури.)* Ишь, воетъ!.. Неспокойна я всегда въ это время... Что это и Калина Дмитричъ нынче что-то запоздалъ... Не могу сидѣть одна... дверь нарочно отперла... Все вотъ будто смерть мнѣ въ глаза засматриваетъ: нѣтъ, нѣтъ да и вздрогну. *(Кладетъ руки на столъ и опускаетъ на нихъ голову.)*

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Марина и ея **мать** *(слѣпая).*

Мать *(входя ощупью съ клюкою).* Куда жъ я это, дура, забрела? Хотѣла черезъ дворъ пройти на кухню корочекъ поискать, размочить. Провести-то некому — и забрела не знаю куда. *(Громко.)* Эй! есть тутъ живъ человѣкъ, гдѣ это я?

Марина *(вздрогнувъ и вскакивая).* Родимая! родимая! *(Бросается къ матери.)* Ты ль это, матушка?

Мать *(роняя клюку).* Марина! дочка! *(Ощупываетъ руками ея лицо.)*

Марина. Я, матушка! я, я! Иди сюда, садися; дай мнѣ хоть насмотрѣться на тебя. *(Ведетъ мать къ сундуку.)*

Мать. Такъ ты не умерла? А мнѣ все шутятъ, говорятъ на улицѣ: «твою Марину-то, говорятъ, распотрошили».

Марина. Распотрошили, матушка, распотрошили. Я ужъ три мѣсяца здѣсь прячуся отъ нашихъ лиходѣевъ.

Мать. Смотри пожалуйста! А я вѣдь вѣрила, что нѣтъ тебя. Я такъ и говорю, когда меня чѣмъ попрекаютъ здѣсь: я говорю, все это оттого, что нѣтъ моей дочки Маринушки: ужъ она бы, говорю, хоть при какомъ великомъ горѣ, меня въ обиду не дала бы. А ты, голубушка, жива! *(Лаская ее.)* Лебедушка моя! голубка!

Марина. Ахъ, родная моя!.. Жива; да что по мнѣ... куда мнѣ выступить?

Мать. Такъ вмѣстѣ будемъ жить... я при тебѣ останусь... а то меня все... гонятъ вонъ... Калина Дмитричъ выйдетъ со двора, а мать его съ сестрой и гонятъ... «Вонъ, говорятъ, ступай, толпѣга старая»... По всякій часъ ему не жалуюсь... терплю...

Марина. Ахъ, матушка, не говори! У тебя нѣтъ дочки; я не могу тебя взять: я сама въ амбарѣ скрываюсь...

Мать. Въ анбарѣ! Зачѣмъ въ анбарѣ?

Марина. Къ мужу выслать хотятъ.

Мать. На что ты ему? Онъ пьяница, онъ все пропилъ, писали.

Марина. Такъ что жъ? На зло это дѣлаютъ.

Мать. Все на зло, дитя, дѣлаютъ. Какъ я плакала, какъ сказали, что ты пропала, просила, чтобы меня съ Молчановской дачи не выгоняли... *(понижая голосъ)* нѣтъ... не послушали, на зло выгнали. Фирсъ Григорьичъ сказалъ: «Здѣсь, говоритъ, не богадѣльня, а опека теперь... Ступай, говоритъ, свою дочь разыщи, тогда и упокой тебѣ будетъ». А я баю, гдѣ баю мнѣ, родной, искать ее? меня, говорю, слѣпую, собаки съѣдятъ... «А ты, говоритъ, съ палочкой». Все, дѣточка, у насъ наше добро отобрали: два твои матеревыя платья взяли. Ты ихъ сама выработала на кружевахъ; а они говорятъ, это, говорятъ, Молчановъ дарилъ...

Марина. Богъ съ ними, матушка! Какія тамъ платья считать: мы сами пропали.

Мать. Да, да, да, дѣтка! Я ужъ такъ себѣ и думала, какъ меня вчера обидѣли: не найду, говорю, если ее еще три дня, Маринушки, и жизни себя рѣшу; да вотъ и нашла. А то онѣ, мать-то съ сестрой Калины Дмитрича, безъ него все вонъ меня гонятъ. Калина Дмитричъ говоритъ: «иди, старушка, со мной щи ѣсть»; а когда его нѣтъ, онѣ и хлѣбъ отъ меня запираютъ. Не какъ мы съ тобой дуры, когда было что̀, всѣмъ были щедрыя да раздачливыя. «Иди, говорятъ, по міру—ты убога: тебѣ всякій подастъ». Ономедни послушала ихъ: пошла у сосѣдей попросить, а ребятишки собаками травить стали балуючись — песъ злой такой кинулся, тутъ за самую грудь и прокусилъ, а мнѣ отбиться не видно его... Смѣются: это за то, говорятъ, эту грудь прокусилъ, что дочку гордячку выкормила... Я ужъ нонеч

вечеромъ на кухню хожу: тюрьку себѣ изъ корочекъ мочу.

Марина. Мамушка, да ты-бъ самому-то объ этомъ сказала!

Мать. На что, дѣтушка, ссорить ихъ! Онъ говоритъ: «ѣшь со мной щи, старушка». Я съ нимъ и ѣмъ, когда дома онъ. Это онѣ, пересмѣшницы. Онѣ говорятъ: о чемъ, старая, плачешь? Я въ уголкѣ о тебѣ плачу, а имъ говорю: про домикъ свой плачу. По холоду-то теперь, дѐнюшка, похожу, все въ домикъ и манется. Тепленькій, говорю, у насъ свой домикъ былъ; печечка въ углѣ была... старыя косточки плачутъ по печечкѣ... А онѣ на свою печь не пущаютъ... нѣ-тъ, не пущаютъ,—сами спятъ. При немъ погрѣюсь, а безъ него... «не рожать было, говорятъ, дочки гордячки». И Фирсъ Григорьичъ намедни за обѣдней копеечку подалъ мнѣ и тоже говоритъ: «надо бы, говоритъ, тебя дочкѣ-то твоей пожалѣть. Ишь, говоритъ, ты какое мірское челобитье, въ лубочкѣ связанное»... Пожалѣй меня, дочушка!

Марина. Мамушка! сердце мое разорвалося тебя слушаючи; да что жъ я подѣлаю?

Мать. Домикъ, говоритъ, вашъ отдамъ, говоритъ Фирсъ-то Григорьевичъ.

Марина. Матушка! да неужели-жъ ты не знаешь, чего онъ отъ меня хочетъ-то?

Мать. Ничего про то не сказалъ. Такъ вѣрно, чтобъ ты покорилась хочетъ.

Марина. Такъ! такъ!.. Мамушка, кто нынче что-нибудь такъ дѣлаетъ? О, Боже мой! Да скорѣе солнце на востокъ съ запада пойдетъ, чѣмъ мужчина что-нибудь женщинѣ такъ, даромъ сдѣлаетъ!

Мать. «Не хорошо, говоритъ, что даетъ собакамъ грудь-то твою кусать, откуда молоко сосала. Это, говоритъ, была ея житница». Я, говорю, не ропщу на Господа: у меня добрая, честная дочь, а люди смѣются: «Что, баютъ, честь, когда нечего ѣсть». Вотъ, говорятъ, у бабушки Дросиды Аленка може не совсѣмъ очень честная, да у ней, у безчестной дочери, мать и сыта, и одѣта, и въ храмъ Божій выйти ей есть въ чемъ, за дочернинъ грѣхъ помолиться, и ты-бъ, говорятъ, такъ-то молилась. А я того ничего не знаю: мнѣ только въ домикъ нашъ съ тобой хочется.

Марина *(ломая руки).* Охъ, Боже мой! Боже мой! вправду посылай лучше тяжелое свое горе одному несть!

Мать *(лаская Марину)*. Ты не сердися, доня: можетъ, я что глупое говорю.

Марина. Мамушка! дѣлала ты для меня когда грѣхъ какой? что-нибудь такое, въ чемъ каяться надо, сдѣлала такое?

Мать. Не знаю, дитя, какъ тебѣ сказать про это: какъ въ оспѣ ты лежала маленькая, тогда мы тоже были при бѣдности—Молчанова не было—ну, я горохъ для тебя крала и вишеньи, чтобъ тебѣ ротокъ освѣжить.

Марина. А больше?

Мать. Курочку тоже одинъ разъ у дьяконицы словила, изжарила, какъ тебя лихоманка томила. Отецъ дьяконъ-то свелъ меня тогда въ полицію: «Вотъ, говоритъ, воровку поймалъ,—по законамъ ее надо судить», да покойникъ квартальный, Никаноръ Никанорычъ, дай ему Богъ царство небесное, «ничего, говоритъ, это». Два раза меня прутомъ ударилъ, да и говоритъ: «отпустите, говоритъ, ее, отецъ дьякъ, съѣдомое, говоритъ, это не грѣхъ». Я тебѣ ее и зажарила и лапшицы съ нею сварила.

Марина. Больше что, матушка? больше?

Мать *(подумавъ)*. Фирсъ Григорьичъ, какъ Молчанова утопилъ... я это видѣла съ берега, съ тобой — ты у груди была—я съ тобой сидѣла и видѣла... а онъ говоритъ: молчи, я тебя сотенной одарю—я и молчала.

Марина *(въ ужасѣ)*. Мамушка! неужто-жъ ты видѣла это?

Мать. Видѣла, дѣтка. Ты про это молчи. Онъ мнѣ все заплатилъ: я тебѣ тутъ-то все покупила... Онъ послѣ сказалъ: молчи, а то отвѣчать будешь вмѣстѣ со мною. Я тутъ-то и молчала...

Марина. Матушка! ты жъ богобойная.

Мать. Что, дитя, дѣлать-то было. Богъ-то не люди: Онъ, милосердный, помилуетъ. Не моими руками то сдѣлано. Онъ говоритъ вчера: «домика жалко, старуха?» Какъ, говорю, не жалѣть. «А Марина твоя-бъ, говоритъ, ко мнѣ пришла покориться, я-бъ ей отдалъ его». Я, молъ, не знаю. «Такъ, говоритъ, съ постельнаго крыльца пускай стукнетъ, я самъ отопру».

Марина *(заслоняя лицо матери)*. Матушка! Матушка, что ты это сказала! Ты помрачилась. Лучше, хочешь, давай умремъ вмѣстѣ!

Мать. Я ужъ тебѣ про смерть говорила. *(Плача.)* Только домика, дѣточка, жалко... Тамъ теперь... Дросида съ Алеп-

кой живутъ; имъ тамъ тепленько въ нашемъ домикѣ... Тамъ бы, ребенокъ, и умерли... *(Въ трубѣ къ камину раздается довольно громкій гулъ сверху внизъ и падаетъ одинъ кирпичъ.)*

Марина *(въ испугѣ).* Что это! *(Торопливо.)* Иди! иди, матушка, а то тебя хватятся.

Мать *(вставая).* Ты меня гонишь, дочушка!

Марина. Нельзя, нельзя! Обѣ задаромъ пропадемъ.

Мать *(идучи).* А ты жъ теперь завтра меня приди навѣстить.

Марина. Хорошо, хорошо! *(Ведетъ мать къ двери.)* Я буду думать... Спи ты сегодня весело... я буду думать... Я все... все, что въ свѣтѣ есть возможнаго, все тебѣ сдѣлаю. *(У самой двери.)* Но какъ ты дойдешь? *(Выглянувъ за дверь.)* Боже мой! ночь какъ тюрьма,—ты расшибешься вся.

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Въ сводахъ камина показывается спустившийся изъ трубы **Челночекъ.** *Онъ зорко слѣдитъ за Мариной.*

Марина *(матери).* Постой, моя мамушка. Что тамъ ни будетъ, я тебя провожу до крыльца. Темно: авось никто не увидитъ. *(Накидываетъ шубейку на плечи и уходитъ, уводя подъ руку мать.)*

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Челночекъ *(одинъ, вылѣзаетъ изъ камина и отряхивается).* Вотъ какъ! По вѣдьмински лазіимъ. Большою дорогой въ трубу. *(Осматриваясь.)* Тутъ она, голубушка, тутъ. Не даромъ Фирсовъ глазочекъ отсюда дымокъ-то примѣтилъ. *(Возвращается къ камину и дергаетъ за веревку, конецъ которой спустилъ съ собою.)* Андрюша! *(Въ трубу.)* Андрюша!.. есть! *(Закидываетъ веревку въ глубь каминнаго свода и самъ быстро прячется за кули, или за кадь.)*

Челночекъ *(усаживаясь).* Теперь, Фирсъ Григорьичъ, сотенную, братъ, присылай. *(Садится такъ, что его не видно.)*

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Челночекъ и Марина.

Марина *(вбѣгаетъ, сильно взволнованная, едва переводя духъ, падаетъ на сундукъ).* Охъ!.. охъ!.. Они меня видѣли! Теперь все пропало... Удержаться нельзя было. Я ее довела до крыльца и хотѣла вернуться... Она тамъ въ сѣняхъ по-

скользнулась впотьмахъ... я думала, что она расшиблась... вскочила за нею... а они дверь отворили съ огнемъ... *(Челночекъ то высовывается изъ-за кади, то снова прячется.)* Нѣтъ, теперь все равно пропадать... По крайней мѣрѣ пропадать не безъ пользы... Она мнѣ разорвала своими рѣчами всю душу мою, и теперь я своими глазами смотрѣла, въ окно, какъ они надъ нею смѣялись... Вздоръ! вздоръ! Надъ чѣмъ тутъ задумываться! Развѣ она задумывалась, когда для меня крала? Развѣ она задумывалась, когда Фирсовъ страшный грѣхъ брала себѣ на душу? Развѣ ей не больно и не страшно было губить душу свою? А у меня совѣсть! А у меня совѣсть! Совѣсть! совѣсть! Когда мать для насъ и стыдъ, и совѣсть забываетъ, мы не совѣстимся, мы беремъ это; а намъ имъ долгъ отдать совѣсть зазритъ?.. *(Схватывая себя за горло.)* Да развѣ смѣешь ты про совѣсть свою думать, когда у твоей матери псы грудь рвутъ; когда у твоей матери люди ложку изъ рукъ отнимаютъ; когда у твоей матери угла нѣтъ?.. Нѣтъ; въ такой совѣсти нѣтъ совѣсти! нѣтъ! Все, мамушка, все: стыдъ, совѣсть, жизнь... любовь мою и мой позоръ... все, все возьми, родная, за твою прокушенную грудь! *(Накрываясь торопливо платкомъ.)* Теперь, Фирсъ, ты досталъ меня! Звѣзды небесныя! закройте ваши свѣтлые глазки, пока пробѣгу я! *(Бѣжитъ и у двери останавливается и возвращается.)* А для чего жъ, одну любовь блюдя, губить другую? Себя не пожалѣть, такъ можно никого не обидѣть! Себя не пожалѣвши, можно все сдѣлать! *(Кидается къ одному изъ ящиковъ, беретъ изъ него горсть порошка и, всыпавъ его въ кусокъ синей бумаги, быстро сворачиваетъ.)* Это мышьякъ! *(Челночекъ безпрестанно высовывается и слѣдитъ за Мариной.)* Да, я обману его! Я скажу ему, чтобы онъ домъ за мать закрѣпилъ, а потомъ... онъ ничего отъ меня не дождется. *(Строго.)* Что я это путаю? Вѣдь это отъ позора неотвратимаго можно, а отъ горя развѣ это простится... если на жизнь покушаться... Прочь! *(Бросаетъ свертокъ подъ столъ и толкетъ его ногою.)* Я приду; я дамъ обѣщанье; пусть онъ запретъ меня у себя на вышкѣ, пока сдѣлаетъ матери крѣпость; послѣ... подушкой голову оберну и брошусь въ окно, и уйду... иль расшибусь. *(Бѣжитъ къ двери и сталкивается съ Дробадоновымъ.)*

ЯВЛЕНІЕ 6-е.

Тѣ же и Дробадоновъ.

Дробадоновъ *входитъ съ большой лисьей шубѣ, съ загнутымъ за уши воротникомъ. Подъ полою у него зажженный фонарь, который онъ вынимаетъ въ ту самую минуту, когда бѣгущая въ дверь Марина почти-что съ нимъ сталкивается. Челночекъ, порывавшійся бѣжать вслѣдъ за Мариной, при видѣ Дробадонова снова прячется.*

Марина *(увидѣвъ свѣтъ, въ ужасѣ вскрикиваетъ и прижимается спиною къ кади).* Ай! ай! Кто это? кто? кто ты?

Дробадоновъ. Чего ты? Богъ съ тобой! чего?

Марина. Кто это съ свѣтомъ? *(Всматривается и узнаетъ.)* А, это ты, Калина Дмитричъ!

Дробадоновъ. Да что ты? Кому же больше здѣсь и быть?

Марина *(хрустя пальцами).* Да Богъ знаетъ... все какъ-то жутко такъ... *(Оглядывается.)* Будто кто здѣсь не свой есть?

Дробадоновъ. Куда жъ это ты шла?

Марина *(съ замѣшательствомъ).* Я это такъ... Такъ здѣсь хожу покрывшись, чтобъ веселѣй.

Дробадоновъ *(дѣлаетъ добродушную ироническую гримасу, обнимаетъ фамильярно Марину за плечи, ведетъ къ столу и сажаетъ).* Садись-ка и сиди! *(Ставитъ на столъ фонарь. Полуосвѣщенная до сихъ поръ кладовая освѣщается сполна.)*

Дробадоновъ *(усѣвшись и сбросивъ шубу).* Сказать тебѣ по правдѣ, я, братъ, и самъ сегодня трусу чуть не спраздновалъ.

Марина. Что такъ? *(Слышна буря).*

Дробадоновъ. Да вотъ все буря эта. Скажи на-милость, что вѣдь захватитъ цѣлое облако песку, пыли мерзлой, и такъ вотъ и гонитъ, словно какъ сила нечистая передъ мечомъ архангельскимъ мчится. Небо-то все *(дѣлаетъ рукою)* тэкъ-тэкъ-тэкъ... Такъ и трясется, такъ ходоромъ и ходитъ. Дѣйча—по всему городу прошелъ, встрѣтилъ только одного Дѣйча: «иду, говоритъ, Фирсъ Григорьичъ къ головѣ посылаютъ дожидаться его; онъ утромъ депешъ прислалъ, что непремѣнно нынче къ вечеру изъ Питера воротится»; а то кромѣ Дѣйча ни одной Божьей души на улицѣ, и вѣтеръ, знаешь это, вдоль улицы-то такъ и реветъ медвѣдемъ.

Марина *(Буря).* И здѣсь слышно.

Дробадоновъ. Что здѣсь! Нѣтъ, вотъ тамъ на площади ты побыла бъ. Съ собора сорвало крестъ и на цѣпяхъ вертитъ его по крышѣ: грохотъ, звонъ, словно кто съ неба на заупокойную обѣдню звонитъ.

Марина. Что это за страсти, въ самомъ дѣлѣ, въ городѣ пошли!

Дробадоновъ. Ужъ и не говори! Съ весны еще начали люди примѣчать, то куры пѣтухами пѣли; то каша изъ печей уходила. Про псовъ и говорить ужъ нечего, что побѣсилися; а сегодня, скажи ты, иду я сейчасъ отъ Ратищей берегомъ, уронилъ палочку, сталъ поднимать и рукой рака схватилъ. Ну, скажи пожалуйста, въ это время ракъ-то да на сухомъ берегу?

Марина *(живо).* Ты былъ на Ратищахъ?

Дробадоновъ. Сейчасъ оттудова.

Марина *(живо).* Изъ сумасшедшаго дома! Ну что, здоровъ онъ? живъ Иванъ Максимычъ?

Дробадоновъ. Да! Я сегодня лавку заперъ рано: все равно, торговли не было, да думаю: вотъ въ этакой день ужъ и Фирсъ не поѣдетъ, да и махнулъ. Насилу допустили. Теперь еще строжѣе—приставникъ такъ и не отходитъ, и всѣ подкуплены отъ Фирса, чтобъ никого не допускать. Мы, говоритъ, ему въ томъ присягали. Насилу за двѣ четвертныя уломалъ.

Марина *(спокойнѣе).* Ну, и что жъ:

Дробадоновъ *(поглядѣвъ на нее).* Онъ сумасшедшій, люба!

(Пауза. Марина смотритъ на свои ногти.)

Дробадоновъ. Пространства никакого нѣтъ тамъ, тѣснота одна и очень ужъ зловонно. Такъ стойлицо, а по серединѣ каровать, и онъ лежитъ, подъ мышки и въ колѣняхъ перевязанъ.

Марина *(равнодушно).* Это на что онъ связанъ?

Дробадоновъ. Нельзя, говорятъ, не вязать: встоскуется, начнетъ метаться, плакать, о стѣны бьется, а ночью намедни голову, говоритъ, въ рѣшетку въ окнѣ завязилъ. *(Пауза.)* Истомили они его тѣмъ, что отпуску ему никуда нѣтъ: совсѣмъ узнать его нельзя. Другіе прочіе хоть въ коридоръ выпускаются, а онъ никуда... Маринушка, что жъ ты молчишь?

Марина *(сдвигая брови).* А? *(Вздыхаетъ.)*

Дробадоновъ *(тихо).* Я далъ еще десятку, чтобъ его пу-

стили погулять по коридору. Обѣщали. Нонче Фирса не будетъ: погода, и онъ головы изъ Петербурга дожидается; они и пустятъ. *(Смотритъ на свои карманные часы.)* Э, да ужъ онъ теперь разминается, гуляетъ... Марія Николавна! скажи жъ покрайности спасибо! *(Трогаетъ ее за руку.)*

Марина *(раздумчиво).* Скажи пожалуйста... не знаешь ты, что это такое значитъ: что ты мнѣ говоришь о немъ, а мнѣ его... совсѣмъ не жаль?.. Мнѣ словно никогда его и не было.

Дробадоновъ. Что ты это говоришь-то это? Кого ты обманываешь?

Марина *(пожавъ плечами).* Нѣтъ, право!

Дробадоновъ. Да это что жъ такое?.. Послушай! Милушка! Марина Николавна!.. Да что же ты молчишь?.. *(Трясетъ ее за плечо, она сидитъ въ томъ же положеніи.)* Ты вотъ послушай-ка, что люди-то говорятъ: это хорошо, говорятъ, что онъ въ сумасшедшемъ отсидится, а то бы, говорятъ, его за голову въ каторгу сослали. И Минутка, какъ уѣзжалъ, это же самое говорилъ... *(Опять трогаетъ ее.)* Да что же ты пугаешь меня, что ли, Марина Николавна? *(Трясетъ ее за плечо.)* Ну, а если пугаешь, такъ я тебѣ и не скажу... *(Пауза. Др. смотритъ на Марину.)* Такъ и уѣду въ Питеръ... Да; вотъ черезъ два часа и уѣду, потому мнѣ жаль его... я на него сегодня смотрѣть не могъ... а ты каменная... сердце-то у тебя изъ стали, изъ стали сдѣлано... Я бы, можетъ быть, могъ бы и тебя свести теперь показать его... да что жъ брать безчувственную... *(Въ отчаяніи со всей силы качаетъ ее взадъ и впередъ за плечи.)* Да что же ты — окаменѣла, что ли!

Марина *(не слышно).* Чего тебѣ?

Дробадоновъ. Да ты скажи, молъ, отвяжись ты, что ли, прочь!

Марина *(задумчиво).* Мнѣ не нужно его видѣть... Ты не слыхалъ, какъ женщины, которыя отъ родовъ умираютъ, дѣтей своихъ видѣть не хотятъ,—такъ и онъ мнѣ... *(махнувъ рукой)* не нужно! Я имъ измучилась... Я изслабѣла, все это въ себѣ всю жизнь носивши... Теперь мнѣ и его не жалко.

Дробадоновъ. Что ты это, дѣвушка! Богъ съ тобой. Сто дней бодрилась—и вдругъ на сто первомъ...

Марина. На сто первомъ кнутѣ, Калина Дмитричъ, люди умирали.

Дробадоновъ. Перестань! стыдись! У Бога много дней.

Марина. Въ лютой порѣ всѣ дни бываютъ люты. *(Вскинувъ головою.)* Что мать моя у тебя какъ живетъ? Успокой ты ее.

Дробадоновъ. Сударушка ты моя! Будь только ты-то въ своемъ видѣ; а я не хвасталъ тебѣ: я ей ужъ келійку ставлю противъ бани на огородѣ и дѣвчонку въ няньки приставлю къ ней.

Марина. Сбереги ее.

Дробадоновъ. Какъ мать родную сберегу. *(За сценою слышны шумъ и легкій трескъ, какъ бы пошатнулся заборъ. Челночекъ, при первомъ звукѣ этого шума, кидается къ двери, откидываетъ крючокъ и тѣми же стопами крадучись опять скрывается.)*

Марина *(протягивая Дробадонову руку).* Накажешь вѣрить этому?

Дробадоновъ *(сжимая ея руку).* Какъ счастья тебѣ желаю, какъ люблю тебя.

Марина *(удерживая въ своей рукѣ его руку и глядя въ лицо ему).* Спасибо тебѣ за твою дружбу; два спасиба за твою любовь. *(Дробадоновъ конфузится.)* Чего ты застыдился? Мнѣ кажется, что я ужъ вся истлѣла, что все равно, что нѣтъ меня... что стыдиться, что любилъ? Я это знала.

Дробадоновъ *(утираетъ слезу).* Да что жъ съ тобою?

Марина. Спроси жъ вотъ! Изслабѣла.

(Повторяется сильнѣе шумъ.)

Дробадоновъ *(въ испугѣ).* Что это значитъ?

Марина *(спокойно).* Пойди, взгляни. *(Дробадоновъ уходитъ.)*

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Марина одна и **Челночекъ** *(спрятанный, но безпрестанно выставляющійся).*

Марина. Одна! одна, цѣлый вѣкъ одна, а горя столько, что не знаешь, къ которому лицомъ оборачиваться... *(Пауза).* Калина Дмитричъ поѣдетъ въ Петербургъ, а я за нимъ вслѣдъ ночью уйду, куда глаза глядятъ, и будь ужъ то, что въ судьбѣ моей написано!

ЯВЛЕНІЕ 8-е.

Тѣ же и Дробадоновъ.

Дробадоновъ *(вбѣгаетъ встревоженный и смущенный, но старается скрыть это).* Скажи пожалуйста, ты не помнишь, у насъ, какъ мы здѣсь сидѣли, дверь заперта была?

Марина. Разумѣется, была заперта.

Дробадоновъ. Гм... странно! *(Опять шумъ, уже несравненно большій и постоянно увеличивающійся до слѣдующаго явленія.)*

Дробадоновъ. Шумитъ это вѣтеръ; а все дѣло скверно. Ты не сказала мнѣ, что тебя видѣли. *(Челночекъ крадется и снова откидываетъ крючокъ и опять прячется.)* Тамъ мать твоя съ моею матушкой поссорились и... я не знаю... Мой совѣтъ... про всякій случай куда-бъ-нибудь тебѣ отсюдова пока уйти... Куда? *(Думаетъ. Въ это время шумъ вдругъ увеличивается, дверь растворяется и на порогѣ появляется Князевъ, а за нимъ еще видно нѣсколько головъ. Дробадоновъ бросается на нихъ съ неистовымъ крикомъ. выбрасываетъ ихъ за порогъ и схватывается за дверь.)* Га! такъ это вотъ кто вмѣстѣ съ бурею ходитъ! Марина Николавна, заступъ дай мнѣ! ломъ подай! пѣшню! *(Держась за дверную скобу, борется съ усиліями тѣхъ, которые рвутъ дверь снаружи. Челночекъ ползетъ на четверенькахъ, чтобы схватить Дробадонова за ноги. Дверь то отворится усиліями внѣшней партіи, то усиліями Дробадонова снова захлопнется. За сценою голосъ Князева).* Ломай въ мою голову!

Марина *(съ возвратившеюся мгновенно энергіей).* Вотъ онъ, судебъ рѣшитель! *(Беретъ изъ подъ-стола свертокъ съ мышьякомъ, торопливо бросаетъ въ ротъ щепоть яду и, захлебнувъ изъ кувшина, идетъ смѣлою, рѣшительной походкой къ Дробадонову. Въ это мгновеніе Челночекъ уже готовъ схватить ноги Дробадонова, но Марина даетъ ему презрительно толчокъ по лицу тыловою частью лѣвой кисти. Челночекъ отскакиваетъ, держась за щеку. Марина беретъ за обѣ руки Дробадонова.)*

Марина. Пусти! *(Отрываетъ его руки.)* Меня никто отсюда не возьметъ.

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Тѣ же и Фирсъ Князевъ, *въ сопровожденіи многихъ мѣщанъ, квартальнаго и полицейскихъ.*

Князевъ *(входя).* Здорово, добрый другъ Калина Дмитричъ! *(Ядовито Маринѣ.)* Болтаютъ люди, что будто здѣсь кто-то чужихъ женъ скрываетъ. Должно быть врутъ

Марина. А ты еще не радуйся. Что не въ рукахъ, тѣмъ не играй покудова.

Князевъ *(полицейскимъ).* Берите ее!

Челночекъ *(прежде всѣхъ схватываетъ Марину сзади за локти).*

Марина *(презрительно на него оглядывается и не сопротивляется).*

Челночекъ *(Маринѣ).* Не своей волей, Марина Николавна: начальство приказываетъ. *(Глядя на Князева.)* Должны мы, его подначальные, слушаться. *(Киваетъ полицейскимъ.)* Подай веревочку!

Князевъ *(полицейскимъ).* Ну, что жъ вы стали! двое берите! *(Два полицейскихъ солдата съ выраженіемъ тупого равнодушія и трое мѣщанъ, потупивъ глаза, берутся за Марину и завязываютъ ей руки за спиною.)*

Марина. Ха-ха-ха-ха! всѣмъ міромъ ухватитесь! *(Нервно.)* Холопы Князева! *(Вдругъ блѣднѣетъ. Лицо ея искажается муками. Нетерпѣливо).* Прочь! прочь! Прочь, я больна... Вамъ говорю я... дайте сѣсть мнѣ... законъ больныхъ щадитъ.

Дробадоновъ *(съ поднятымъ надъ головою тяжелымъ желѣзнымъ заступомъ, громовымъ голосомъ).* Прочь! распластаю! *(Полицейскіе и мѣщане, держащіе Марину, бросаютъ ее и быстро отскакиваютъ въ стороны.)*

Марина *(Дробадонову тихо и сквозь сжатые зубы.)* Калина Дмитричъ, развяжи!

Квартальный *(солдатамъ).* Освободи ее.

Дробадоновъ *(срывая веревку съ руки Марины).* Уже освободили.

Марина *шатается, схватывается за край одной кади и, поддерживаемая Дробадоновымъ, тихо опускается на полъ. Черты лица ея страшно искажены внутреннею болью).* Воды мнѣ!.. снѣгу!.. льду!.. Я умираю!..

Дробадоновъ *(кидается къ столу, чтобы взять куб-*

шинъ съ водою, и, увидѣвъ мышьякъ, беретъ его и въ ужасѣ роняетъ). Все кончено: она себя отравила! *(Подаетъ Маринѣ кувшинъ съ водою; всѣ разсматриваютъ ядъ.)*

Марина *(отпивъ изъ кувшина, глядитъ на окна, въ которыхъ въ это время во всю ширь показывается яркое зарево).* Вездѣ... вездѣ огонь... *(Мѣшаясь.)* Огонь и тутъ *(указывая на свою грудь)* и тамъ *(указывая на окно)*, вездѣ огонь... *(Падаетъ.)*

Мѣщане. Пожаръ! Городъ горитъ! *(Раздается набатъ.)*

Голоса за сценой. Молчановская фабрика горитъ!

ЯВЛЕНІЕ 10-е.

Тѣ же и Спиридонъ Обрѣзовъ.

Обрѣзовъ *(вбѣгая впопыхахъ).* Фирсъ Григорьичъ! батюшка! несчастье! Въ одну секунду все огнемъ обняло— хлопочка не спасли!

Князевъ *(про себя).* Зато и счеты, и концы сгорѣли.

Обрѣзовъ. Онъ самъ почти весь до костей обжегся.

Марина *(приподнимаясь).* Ванюша? милый? онъ?

Обрѣзовъ *(Маринѣ).* Онъ, матушка Марина Николавна. *(Князеву.)* Его схватили тамъ, за хлопчатыми анбарами. Изъ сумасшедшаго онъ вырвался и какъ архангелъ-мститель все сжегъ свое и со своимъ чужое.

ЯВЛЕНІЕ 11-е.

Тѣ же и 1-й мѣщанинъ.

1-й мѣщанинъ *(вбѣгая).* Поджигателя сюда ведутъ.

Князевъ. Зачѣмъ его сюда?

Челночекъ *(Князеву).* Должно быть къ вашей милости.

ЯВЛЕНІЕ 12-е.

Тѣ же и толпа народа *тащитъ подъ руки Молчанова. Сзади голову Молчанова поддерживаетъ* **Алеша Босой. Молчановъ** *въ пестромъ, тиковомъ больничномъ халатѣ и кожаныхъ туфляхъ на босыя ноги. Онъ оброс бородой, блѣденъ, съ помутившимися угасшими глазами.*

Князевъ. Въ острогъ его!

Одинъ изъ приведшихъ. Нельзя, не доведешь... Ужъ онъ конаетъ, Фирсъ Григорьичъ, весь въ волдыряхъ.

(Молчанова опускаютъ на полъ. Онъ сидитъ одну минуту и падаетъ навзничь, ногами къ зрителямъ.)

Босой *(опускается на колѣни въ головахъ Молчанова, беретъ его голову въ руки, смотритъ ему въ лицо черезъ лобъ и беззвучно шевелитъ губами).*

1-й мѣщанинъ. Т-сс! отходитъ.

Марина *(поднимавшаяся съ усиліемъ и ползшая на колѣняхъ къ Молчанову, падаетъ ему на грудь, съ воплемъ).* Ваня! Ваня!

2-й мѣщанинъ. Скончался.

Босой *(затягиваетъ унисономъ).* «Со избранными избранъ будеши»...

Князевъ *(бьетъ Босою палочкой).* Молчи, юродивый!

ЯВЛЕНІЕ 13-е.

Тѣ же и Колокольцовъ *(въ енотовой шубѣ, подпоясанный хорошимъ ремнемъ, съ большимъ кожанымъ, дорожнымъ портсигаръ черезъ плечо на шнурѣ).* Нигдѣ нельзя проѣхать... Въ огнѣ весь городъ... Что это у насъ дѣлается!

Дробадоновъ. Одна вѣдь намъ работа: изъ ничего дѣла творить; а что воистину у людей слыветъ дѣлами *(разводя руками)*, то въ смѣхъ, да въ дымъ, да въ пепелъ обращать.

Колокольцовъ *(уныло).* Да, да... въ губерніи завтра судъ открывается... и насъ съ вами, Фирсъ Григорьичъ, первыхъ предаютъ суду.

Князевъ. Что врешь? за что? съ какого повода?

Колокольцовъ. Доносъ Минутка сдѣлалъ.

Князевъ. Доносъ! Минутка! Гдѣ онъ?

Колокольцовъ. Онъ тамъ остался въ Петербургѣ. Онъ домъ себѣ купилъ въ Подьяческой и кассу ссудъ открылъ съ крещеными поляками.

Князевъ *(закусываетъ молча губу).*

Дробадоновъ. Вотъ насъ какими новый судъ засталъ.

Князевъ *(съ гнѣвомъ).* Что судъ! Пусть судятъ: міръ это дѣлалъ, а не я.

Колокольцовъ *(обрадованный).* Да; міръ вѣдь цѣлый не осудятъ: его нельзя сослать.

Князевъ. Міръ не судимъ.

Дробадоновъ *(уныло качая головою).* Міръ не судимъ и Фирсъ не судимъ. Они другъ друга создали и другъ другу работаютъ. *(Князеву.)* Вамъ нѣтъ еще суда, ума и совѣсти народной расточителямъ.

Марина *(въ предсмертныхъ мученіяхъ, поднимается на*

локоть. Дробадоновъ ее поддерживаетъ). Тссс!.. Пчела жужжитъ... Господній вѣстникъ смерти... (*Строго.*) Молчите всѣ!.. Она меня зоветъ... домой... къ Судьѣ небесному... отъ васъ, судей ничтожныхъ. *(Умираетъ.)*

Дробадоновъ. Умерла! *(Набатъ.)*

Голосъ за сценой. Никитья церковь занялася.

Квартальный *(солдатамъ).* Къ церкви! *(Убѣгаетъ со всѣми полицейскими.)*

Другой голосъ за сценой. Домъ Фирса Князева горитъ!

Князевъ *(вздрагивая, мѣщанамъ).* Ко мнѣ на дворъ!

Одинъ изъ мѣщанъ *(указывая на Молчанова и на Марину).* А ихъ теперя, Фирсъ Григорьичъ, какъ?

Князевъ *(убѣгая).* Покинь!

(Голоса, и всѣ мѣщане суетливо убѣгаютъ.)

Дробадоновъ *(вслѣдъ Князеву).* Покинь! *(Вздохнувъ.)* Не лопаетъ Фирсъ Князевъ мертвечины.

(Занавѣсъ падаетъ.)

Оглавленіе

XXXVI ТОМА.

стр.

Мелочи архіерейской жизни. Приложеніе III. Русское тайнобрачіе. 3

Импровизаторы. (Картинка съ натуры). 47

Расточитель. (Драма въ 5 дѣйствіяхъ) 65

Общее оглавленіе

всѣхъ 36-ти томовъ сочиненій Н. С. Лѣскова.

стр.

Томъ I.

Николай Семеновичъ Лѣсковъ. Критико-біографическій очеркъ Р. И. Сементковскаго 5
Соборяне. (Хроника). Часть I 67

Томъ II.

Соборяне. (Хроника). Части II—V. 3

Томъ III.

Запечатлѣнный Ангелъ 5
Праведники:
Предисловіе 73
Однодумъ 76
Пигмей 108
Кадетскій монастырь. 122
Прибавленіе къ разсказу о кадетскомъ монастырѣ. 154
Русскій демократъ въ Польшѣ. 158

Томъ IV.

Праведники:
Несмертельный Голованъ 5
Инженеры-безсребренники 51
Лѣвша 109
Человѣкъ на часахъ 142

Томъ V.

Очарованный странникъ 3
Шерамуръ 136

Томъ VI.

Обойденные. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Части I и II. 5

стр.

Томъ VII.

Обойденные. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Часть III 3
На краю свѣта. 103

Томъ VIII.

Некуда. Романъ въ 3-хъ книгахъ. Книга первая, гл. I—XXIV. 5

Томъ IX.

Некуда. Книга первая, гл. XXV и книга вторая, гл. I—VII. 5

Томъ X.

Некуда. Книга вторая, гл. VIII—XXX 5

Томъ XI.

Некуда. Книга третья 5

Томъ XII.

Островитяне. Повѣсть 5

Томъ XIII.

Воительница. Очеркъ. 3
Леди Макбетъ Мценскаго уѣзда. Очеркъ 83
Грабежъ 131
Антука. Разсказъ 173

Томъ XIV.

Овцебыкъ. Разсказъ 3
Колыванскій мужъ. (Изъ остзейскихъ наблюденій) 70
Ракушанскій меламедъ. Разсказъ на бивуакѣ. 130
Бѣлый орелъ. Фантастическій разсказъ 166
Чертогонъ. 187

Томъ XV.

Смѣхъ и горе 5

Томъ XVI.

Старые годы въ селѣ Плодомасовѣ:
Очеркъ первый. Бояринъ Никита Юрьевичъ. 3
Очеркъ второй. Боярыня Мароа Андреевна 30
Очеркъ третій. Плодомасовскіе карлики 61
Котинъ доплецъ и Платонида. 86
Тупейный художникъ. Разсказъ на могилѣ. 126
Томленіе духа. Изъ отроческихъ воспоминаній 148
Пламенная патріотка. 157
Безстыдникъ. 166

Томъ XVII.

Захудалый родъ. Семейная хроника князей Протозановыхъ. Въ двухъ частяхъ.

стр.
Часть первая.—Старая княгиня и ея дворъ. 5
Часть вторая.—Старое старится—молодое растетъ . . . 117

Томъ XVIII.

Святочные разсказы:
Предисловіе 5
Жемчужное ожерелье. 6
Неразмѣнный рубль 22
Звѣрь 31
Привидѣніе въ Инженерномъ замкѣ. (Изъ кадетскихъ воспоминаній). 51
Отборное зерно. (Краткая трилогія въ просонкѣ). 65
Обманъ 91
Штопальщикъ 124
Жидовская кувырколлегія 140
Духъ госпожи Жанлисъ. (Спиритическій случай). 169

Томъ XIX.

Святочные разсказы:
Старый геній. 3
Путешествіе съ нигилистомъ 12
Маленькая ошибка. Секретъ одной московской фамиліи 20
Пугало 28
Фигура 79
Разсказы кстати:
Совмѣстители. 105
Старинные психопаты 138

Томъ XX.

Разсказы кстати:
Интересные мужчины. 3
Таинственныя предвѣстія 61
Александритъ. 91
Загадочное происшествіе въ сумасшедшемъ домѣ. 105
Умершее сословіе 119
Загонъ 132
По поводу Крейцеровой сонаты 165

Томъ XXI.

Разсказы кстати:
Дама и фефёла. 3
Голосъ природы 47
Сибирскія картинки XVIII вѣка. (Изъ дѣлъ сибирской старины) 56
Вдохновенные бродяги. (Удалецкія «скаски») . . 111
Сошествіе во адъ. (Апокрифическое сказаніе). . 146

Томъ XXII.

Некрещеный попъ. Невѣроятное событіе. 3
Владычный судъ. Быль. (Изъ недавнихъ воспоминаній) . . . 55

стр.
Язвительный. Изъ Гостомельскихъ воспоминаній. 114
Продуктъ природы. 134
Домашняя челядь. Историческія справки по современному вопросу 150

Томъ XXIII.

На ножахъ. Романъ въ 6 частяхъ. Часть I и часть II, гл. I—VI. 5

Томъ XXIV.

На ножахъ. Часть II, гл. VII—XV, и часть III, гл. I—VI. . 5

Томъ XXV.

На ножахъ. Часть III, гл. VII—XIX, и часть IV. 5

Томъ XXVI.

На ножахъ. Часть V 5

Томъ XXVII.

На ножахъ. Часть VI. Эпилогъ. 5

Томъ XXVIII.

Загадочный человѣкъ. Истинное событіе. (Съ письмомъ Н. С. Лѣскова къ Ивану Сергѣевичу Тургеневу) 3
Зимній день. (Пейзажъ и жанръ) 112

Томъ XXIX.

Гора. Египетская повѣсть. (По древнимъ преданіямъ). . . . 3
Повѣсть о богоугодномъ дровоколѣ. 91
Прекрасная Аза 96
Скоморохъ Памфалонъ 108
Часъ воли Божіей. Сказка. 166

Томъ XXX.

Легенда о совѣстномъ Данилѣ 3
Левъ старца Герасима. (Восточная легенда). 21
Аскалонскій злодѣй. (Происшествіе въ Продовой темницѣ) . . 29
Сказаніе о Ѳедорѣ-христіанинѣ и о другѣ его Абрамѣ-жидовинѣ. 88
Невинный Пруденцій. (Легенда). 112
Брамадата и Радованъ. (Индійское сказаніе). 179

Томъ XXXI.

Печерскіе антики. (Отрывки изъ юношескихъ воспоминаній) . 3
Чортовы куклы. (Главы изъ неоконченнаго романа). 90

Томъ XXXII.

Блуждающіе огоньки. (Автобіографія Праотцева) 3

Томъ XXXIII.

Юдоль. (Рапсодія). 3
О квакерсяхъ. (Post-scriptum къ «Юдоли»). 97

стр.
Пустоплясы. (Святочный разсказъ) 106
Дурачокъ. (Разсказъ) 118
Легендарные характеры. (Опытъ систематическаго обозрѣнія) . 126
Маланья—голова баранья. (Сказка). 196

Томъ XXXIV.

Полунощники. (Пейзажъ и жанръ). 3
Павлинъ. (Разсказъ) 105

Томъ XXXV.

Мелочи архіерейской жизни. (Картинки съ натуры) 3
Приложенія:
Архіерейскіе объѣзды 139
Епархіальный судъ 157

Томъ XXXVI.

Мелочи архіерейской жизни. Русское тайнобрачіе 3
Импровизаторы. (Картинка съ натуры) 47
Расточитель. (Драма въ 5 дѣйствіяхъ) 65

Алфавитный указатель

сочиненій Н. С. Лѣскова.

	томъ.	стр.
Александритъ .	XX	91
Антука	XIII	173
Аскалонскій злодѣй	XXX	29
Безстыдникъ . .	XVI	166
Блуждающіе огоньки . . .	XXXII	3
Брамадата и Радованъ . . .	XXX	179
Бѣлый орелъ . .	XIV	166
Вдохновенные бродяги . . .	XXI	111
Владычный судъ.	XXII	55
Воительница . .	XIII	3
Голосъ природы.	XXI	47
Гора	XXIX	3
Грабежъ . . .	XIII	131
Дама и фефёла.	XXI	3
Домашняя челядь	XXII	150
Дурачокъ . . .	XXXIII	118
Духъ госпожи Жанлисъ. . .	XVIII	169
Жемчужное ожерелье. . . .	XVIII	6
Жидовская кувырколлегія .	XVIII	140
Загадочное происшествіе въ сумасшедшемъ домѣ	XX	105
Загадочный человѣкъ	XXVIII	3
Загонъ	XX	132
Запечатлѣнный Ангелъ . .	III	5
Захудалый родъ.	XVII	5
Звѣрь	XVIII	31
Зимній день . .	XXVIII	112
Импровизаторы .	XXXVI	47
Инженеры - безсребренники .	IV	51
Интересные мужчины	XX	3
Кадетскій монастырь	III	122
Колыванскій мужъ	XIV	70
Котинъ доилецъ и Платонида .	XVI	86
Левъ старца Герасима . . .	XXX	21
Легенда о совѣстномъ Данилѣ.	XXX	3
Легендарные характеры . . .	XXXIII	126
Леди Макбетъ Мценскаго уѣзда	XIII	83
Лѣвша	IV	109
Маланья - голова баранья . . .	XXXIII	196
Маленькая ошибка	XIX	20
Мелочи архіерейской жизни. . . .	XXXV—XXXVI	

	томъ.	стр.
На краю свѣта .	VII	103
На ножахъ. . .	XXIII—XXVII	
Невинный Пруденцій . . .	XXX	112
Некрещеный попъ	XXII	3
Некуда	VIII—XI	
Неразмѣнный рубль	XVIII	22
Несмертельный Голованъ. . .	IV	5
Обманъ. . . .	XVIII	91
Обойденные . .	VI—VII	
Овцебыкъ . . .	XIV	3
Однодумъ . . .	III	76
О квакерсяхъ. .	XXXIII	97
Островитяне . .	XII	5
Отборное зерно .	XVIII	65
Очарованный странникъ . .	V	3
Павлинъ . . .	XXXIV	105
Печерскіе антики	XXXI	3
Пигмей	III	108
Пламенная патріотка . . .	XVI	157
Повѣсть о богоугодномъ дровоколѣ . . .	XXIX	91
Полуношники. .	XXXIV	3
По поводу Крейцеровой сонаты.	XX	165
Праведники . .	III—IV	
Прекрасная Аза.	XXIX	96
Привидѣніе въ Инженерномъ замкѣ. . . .	XVIII	51
Продуктъ природы.	XXII	134
Пугало	XIX	28
Пустоплясы . .	XXXIII	106
Путешествіе съ нигилистомъ .	XIX	12
Разсказы кстати	XIX — XXI	
Ракушанскій меламедъ . . .	XIV	130
Расточитель . .	XXXVI	65
Русскій демократъ въ Польшѣ.	III	158
Святочные разсказы. . . .	XVIII—XIX	
Сибирскія картинки XVIII вѣка	XXI	56
Сказаніе о Ѳедорѣ-христіанинѣ и о другѣ его Абрамѣ-жидовинѣ . . .	XXX	88
Скоморохъ Памфалонъ . . .	XXIX	108
Смѣхъ и горе. .	XV	5
Соборяне. (Хроника). . . .	I—II	
Совмѣстители. .	XIX	105
Сошествіе во адъ.	XXI	146
Старинные психопаты . . .	XIX	138
Старые годы въ селѣ Плодомасовѣ	XVI	3
Старый геній. .	XIX	3
Таинственныя предвѣстія .	XX	61
Томленіе духа .	XVI	148
Тупейный художникъ	XVI	126
Умершее сословіе.	XX	119
Фигура. . .	XIX	79
Часъ воли Божіей	XXIX	166
Человѣкъ на часахъ	IV	142
Чертогонъ . . .	XIV	187
Чортовы куклы .	XXXI	90
Шерамуръ. . .	V	136
Штопальщикъ. .	XVIII	124
Юдоль	XXXIII	3
Язвительный. .	XXII	114

Stanford University Libraries
3 6105 013 494 948

891.7
L711
ed.3a
v.33-

MAY 10 1987

APR 29 1977

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.